Россия
в Первой мировой войне
1914–1918

Политика и поэтика

Русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПОЛИТИКА И ПОЭТИКА: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Публикации, исследования и материалы

Москва
ИМЛИ РАН
2014

ББК 83.3 (2Рос=Рус)
Р-89

**Издание подготовлено и осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 12-34-10003)**

Редколлегия:
Е.В. Глухова (научный редактор), М.Л. Береснева,
М.В. Козьменко, В.М. Введенская,
В.В. Полонский (ответственный редактор)

Рецензенты:
доктор филологических наук А.М. Грачева,
доктор филологических наук Е.А. Тахо-Годи

Технический набор и подготовка текстов
А.В. Геворкян, А. Сысоева

Политика и поэтика: русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны. Публикации, исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2014. 880 с.

В книге впервые собраны и снабжены научным аппаратом статьи русских писателей начала XX века — Андрея Белого, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Леонида Андреева, Зинаиды Гиппиус — о Первой мировой войне. Во вторую часть издания вошли научно-исследовательские статьи, посвященные отражению военных событий 1914–1918 гг. в литературных и художественных источниках.

ISBN 978-5-9208-0454-9

© Коллектив авторов, 2014
© ИМЛИ РАН, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. *В.В. Полонский* (*Москва*) 6

I. ПУБЛИЦИСТИКА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ФЕДОР СОЛОГУБ

М.М. Павлова. Первая мировая война в публицистике Федора Сологуба 15

Статьи и очерки 1914–1918 гг. *Подгот. текста и коммент. М.М. Павловой* 30

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов. Андрей Белый в Первую мировую войну 165

Очерки 1916 года для газеты «Биржевые ведомости». *Подгот. текста и коммент. Д.О. Торшилова, Е.В. Глуховой* 174

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

А.И. Иванов. Первый год войны в корреспонденциях Валерия Брюсова 243

Г.В. Мурзо. «Перед зрелищем войны…» Корреспонденции В. Брюсова в ярославском «Голосе» 249

Э.С. Даниэлян. Аллюзии войны в прозе В.Я. Брюсова военных лет 256

М.В. Орлова. Статья В.Я. Брюсова «В обстреливаемом городе» под военной цензурой 261

Корреспонденции в газете «Русские ведомости» 1914 г. *Подгот. текста и коммент. А.И. Иванова* 264

Корреспонденции в газете «Голос» 1914–1915 г. *Подгот. текста и коммент. Г.В. Мурзо* 407

Корреспонденции в газете «Русские ведомости» 1915 г. *Подгот. текста и коммент. Э.С. Даниэлян, М.В. Орловой* 457

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Бен Хеллман, М.В. Козьменко. Леонид Андреев. В сей грозный час. 581

В сей грозный час. *Подгот. текста и коммент. Бена Хеллмана, М.В. Козьменко* 586

ЗИНАИДА ГИППИУС

М.В. Козьменко. Зинаида Гиппиус: «…Война уже не может растить душу…». 631

Статьи военных лет (1914–1917). *Подгот. текста и коммент. М.В. Козьменко* 635

II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

В.В. Полонский (*Москва*). «Уют на лобном месте»: Первая мировая война в поэтико-идеологических отражениях литературы русского модернизма. 703

В.А. Келдыш (*Москва*). «Развернулось ведь нечто ужасное. Это первая страница из Библии» (Первая мировая война в творчестве И.А. Бунина) 713

Д.Ю. Козлов (*Москва*). Первая мировая война в русской военно-морской мемуаристике 733

Бен Хеллман (*Хельсинки, Финляндия*). Мобилизация детей: военная тематика в журналах для детей и юношества периода Первой мировой войны. 745

О.А. Симонова (*Москва*). Военная проза для женщин (анализ беллетристики массовых журналов 1914–1916 годов) 758

Д.М. Магомедова (*Москва*). Цитатный слой в массовой поэзии Первой мировой войны (К проблеме прецедентных текстов) 764

И.Ф. Герасимова (*Рязань*). Движение милосердия как тема русской поэзии периода Первой мировой войны 771

А.И. Иванов (*Тамбов*). Первая мировая война в корреспонденциях русских писателей. . . 778

Елена Толстая (*Иерусалим, Израиль*). «Вы будете глазами и ушами вашего народа»: визит русских писателей в Англию в феврале 1916 года 784

О.А. Богданова (*Москва*). Военные корреспонденции А.Н. Толстого из Англии: публикации и автореминисценции (1916–1995). 802

Г.Н. Воронцова (*Москва*). Тема Первой мировой войны в творчестве А.Н. Толстого 808

В.Э. Молодяков (*Токио, Япония*). Германия в военных стихах Валерия Брюсова 1914–1917 гг.: поэзия и пропаганда 815

Ю.Б. Орлицкий (*Москва*). Запоздалые «Цветы под огнем»: книга военных рассказов Михаила Герасимова (1915) 821

В.Н. Терехина (*Москва*). Военный лубок Маяковского и Малевича 827

Михаил Вайскопф (*Иерусалим, Израиль*). Война как обнажение приема: 1917 год в «Сентиментальном путешествии» Виктора Шкловского 835

Д.Д. Лотарева (*Москва*). Неизвестная автобиография В.О. Нилендера — ратника 2-го разряда, рядового 193-го пехотного запасного полка 841

Владимир Оттонович Нилендер. Автобиография. *Подгот. текста, коммент. Д.Д. Лотаревой* 843

Е.Ю. Константинова (*Кнорре*) (*Москва*). Первая мировая война в дневниках М.М. Пришвина 1914–1915 гг. 851

Джованни Савино (*Неаполь, Италия*). «Самая коренная русская область»: образ Галиции в русской националистической периодике в 1914–1915 гг. 857

Л.Ф. Кацис (*Москва*). Владимир Жаботинский и Д. Янов в газете «День» 1912–1913 гг. (К столетию Балканских войн как пролога Первой мировой) 863

Указатель публикуемых статей русских писателей 870

Summary 875

Contents 876

Предисловие

Столетие Первой мировой войны, как и полагается большим юбилейным датам такого рода, ставит перед обществом, культурой, наукой задачи развернутого ретроспективного анализа на новом этапе — с учетом всего накопленного за ушедший век разностороннего опыта — и той роли, какую сыграл этот катаклизм в истории, и его внутренней природы, и его предпосылок. В этом ряду особо важно вглядеться в широкий культурный контекст Первой мировой как грандиозного пролога к катастрофичной истории XX века. Ведь столкновение гигантских армий на мировых фронтах стало внешним политическим следствием глубинных ценностно-культурных и общецивилизационных процессов. И совершенно закономерно, что в итоге Первая мировая не только обрушила ряд империй и перекроила политическую карту, но и сформировала новую культурную парадигму, «модерную» «картину мира», в которой кубизм виделся неизбежным художественным коррелятом газовых атак Ипра, футуризм — эстетическим толчком к формированию большевистской и фашистской риторик, а трагический опыт «маленького человека в траншее» перед лицом массовой технологии смерти открывал широкие пути к экспрессионизму и экзистенциализму в искусстве и философии.

В годы войны ее именовали и «Великой», и «Второй Отечественной». Несомненно, в этом сказывались и ощущения грандиозности трагических событий, и представления о сиюминутной идеологической целесообразности. В перспективе большого исторического времени, наверное, можно поставить под вопрос, скажем, правомерность именования этой войны «второй отечественной». Совсем не очевидно, что глубинные национальные интересы России в начале XX века совпадали с интересами Антанты, на стороне которой наша страна вступила в мировую бойню. То, что было предложено идеологами русскому обществу как его великие национальные задачи — панславистские устремления, освобождение Константинополя и черноморских проливов, борьба с холодным «фаустианским» механицизмом германского «нового варварства» на стороне либеральных демократий, которым, в пику немцам и австрийцам, зачастую приписывалась верность «духовным традициям старой Европы», и проч., — в конце концов все же так и не нашло в солдатской и широкой народной среде глубинного отклика, способного свести воедино большую идею и чаяния простого человека, как то в общем имело место позднее — во времена Великой Отечественной. Но при этом Первая мировая ознаменовала собой, конечно, начало трагического национального перерождения: крушение многовековой исторической реальности «старой России», высвобождение сокровенных «пугачевско-карамазовских» стихий народного духа и т. п. И как «знамение конца», и как пролог Русской революции, рождавшей «новый мир», и как опыт трансформации секулярного новоевропейского гуманизма в обезличенную кубистическую фабрику «оптовых смертей» (по слову О. Мандельштама) — едва ли не главный символ наступающего XX века — это была, скорее, «эсхатологическая» война. Не случайно риторика

ее осмысления в культуре оказалась пронизанной прежде всего апокалиптическим пафосом. И не случайно именно в России этот пафос обрел бóльшую масштабность и всеохватность, чем в какой бы то ни было другой стране.

Но из всех возможных именований Первой мировой до сих пор остается безусловно актуальным одно: это по-прежнему во многом «неизвестная» война. И если сугубо историческая фактура военных событий изучена современной наукой достаточно полно, то широкий внешний контекст войны в России — социальный, общекультурный, художественный, литературный — поныне освоен лишь точечно, не системно, во многом случайно. Отсюда — неизбежные аберрации, вплоть до откровенного мифотворчества, в современных представлениях о культурном фоне Первой мировой.

Именно по этой причине перед нынешней филологической наукой стоят задачи создания комплексной, системной и концептуально выверенной картины, отражающей историко-культурный контекст «кризисного расцвета» русской словесности Серебряного века в годы Первой мировой войны и рецепции политико-фронтовых событий в литературной среде, фронтального изучения массива литературных и историко-культурных материалов этой эпохи, введения в научный оборот большого корпуса прежде неизвестных и не описанных источников, разработки новых моделей анализа литературных и историко-культурных фактов, свидетельствующих о сложной обусловленности феноменов отечественной духовной культуры 1914–1918 гг. военно-политическим фоном, демонстрации взаимосвязи между катастрофизмом отечественного модернизма и реальными обстоятельствами данного исторического периода.

В перспективе решения этих задач особенно важен анализ широкого круга отечественной публицистики и периодики от респектабельных столичных газет до женских журналов, от элитарных художественных еженедельников до церковно-епархиальных изданий. Не менее существенны и исследования литературной образности в соотнесении с религиозно-философскими дешифровками исторических событий, с «иконографией» войны в искусстве, массовой плакатной агитации и проч.

Предлагаемая вниманию читателя книга — результат попыток продвинуться вперед в решении этих задач, которые были предприняты на базе отдела русской литературы конца XIX — начала XX века ИМЛИ РАН при поддержке Российского гуманитарного научного фонда группой ученых из разных научных центров России и зарубежья. Тематически она вырастает из исследовательской и публикаторско-комментаторской работы, первые результаты которой были представлены в коллективном труде «Политика и поэтика. Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны» (М.: ИМЛИ РАН, 2013) в рамках междисциплинарной серии «Россия в Первой мировой войне 1914–1918 годов».

Композиционно книга делится на два раздела.

Первый — и больший по объему — раздел содержит публикации с сопутствующим научным аппаратом не переиздававшихся либо не опубликованных и не введенных до сих пор в литературно-исследовательский оборот корпусов публицистических очерков на военную тему крупнейших русских писателей этой эпохи — Ф. Сологуба, В. Брюсова, А. Белого, Л. Андреева и З. Гиппиус. Эти тексты представляют собой источники первостепенной важности для изучения вопросов рецепции военных событий в отечественной литературной среде. Разумеется, ряд писательских имен начала XX века, оставивших очерковое наследие, посвященное Первой мировой и до сих пор ожидающее научной публикации, существенно

длиннее. Однако поскольку объем книги ограничен, для публикации были отобраны тексты, издание которых особенно актуально с точки зрения источниковедческих потребностей современной науки о русской литературе начала XX века. Принималась во внимание и репрезентативность позиции их авторов в идеологическом ландшафте военных лет в широком веере от патриотического подъема в поддержку военных планов России до «пораженчества». Существенную роль сыграла и способность материала продемонстрировать идейную эволюцию писателя в зависимости от изменения ситуации на фронтах, особенно явственной после событий Великого отступления 1915 года.

Публикуемые тексты Ф. Сологуба, представляющие собой максимально полный корпус статей и заметок (в том числе не опубликованных и печатающихся по архивным оригиналам) на военную тему для периодической печати, служат не только важным источником творческой биографии писателя, отдавшегося с первых дней войны напористому гражданско-патриотическому пафосу, но и примером характерной для либеральной литературной среды эволюции от панславистского энтузиазма 1914 года к умеренному западничеству 1916-го. Блок материалов В.Я. Брюсова содержит полный корпус прифронтовых корреспонденций и статей на военную тему в «Русских ведомостях» и ярославской газете «Голос» за 1914 и 1915 годы. Его уникальность и востребованность обусловлены тем, что это самый большой единый тематический массив из неизданного и не введенного в культурно-научный оборот публицистического наследия крупнейших русских символистов. Очерки А. Белого для «Биржевых ведомостей», помимо прочего, интересны тем, что в них зафиксирован редкий для широкой русской печати этих лет взгляд на военные события с нейтральной заграничной территории — из швейцарского Базеля, принадлежащий к тому же символисту-германофилу, подспудно противостоящему доминирующим идейным сценариям отечественной публицистики. Сборник Л. Андреева «В сей грозный час», в котором в 1915-м автор поместил статьи из периодики предшествующих военных месяцев, демонстрирует свойственный части демократической интеллигенции энтузиазм по поводу войны (писатель именовал ее «борьбой демократии с цезаризмом и деспотией»[1]), способной, с их точки зрения, окончательно поставить крест на российском самодержавии и европейской реакции. Сборник примечателен и тем, что с него начнется постепенный путь Андреева к преодолению энтузиазма и более жертвенно-трагедийному восприятию «голоса войны» как разгневанного и взыскующего «гласа Божия», услышать который — значит пробудиться к полноте страдания и самоотречения, как то происходит с героем повести писателя «Иго войны» (1916) «маленьким человеком» Ильей Петровичем Дементьевым. Подборка материалов З. Гиппиус включает в себя максимально полный корпус в основном газетных («Голос жизни», «День», «Речь», «Биржевые ведомости», «Утро России» и др.) статей на военные и околовоенные темы (за исключением републикованных за последнюю четверть века, а также посвященных в большей части революционным событиям) и иллюстрирует мастерство, с каким последовательный пацифист темперирует злобу дня сущностно важными для себя символико-метафизическими темами культуры и религии и умудряется донести до читателя свою «прикровенно пораженческую» позицию, изощренно обходя рогатины жесткой военной цензуры.

Во второй раздел книги вошли исследовательские статьи, посвященные различным аспектам отражения войны в литературно-художественных источниках: военно-морской

---

[1] Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 546.

мемуаристике, националистической, женской и детской периодике, неореалистической и модернистской прозе, высокой и массовой поэзии, авангардистском лубке, писательских корреспонденциях, в том числе — из союзных стран, литературных дневниках и др.

Думается, что в своей совокупности представленные в книге материалы и исследования помимо иных заключений подводят к выводу о том, что картина освоения военной темы русской литературой оказывается крайне противоречивой и парадоксальной. С одной стороны, патриотический подъем первых военных месяцев сформировал набор устойчивых образов, клише и стереотипных стилистических решений, которые окажутся особо востребованными в годы Великой Отечественной. Но с другой — то, что по прошествии четверти века будет по-настоящему животворным для литературы, сумевшей сочленить общую идею и язык массового подъема с правдой простого человека в окопах, в годы Первой мировой порой не преодолевало сугубо риторических границ: патриотическая бравурная лирика 1914 года тех же Брюсова, Сологуба или, скажем, С. Городецкого — отнюдь не вершинное достижение этих больших художников. Однако там, где военный опыт не ограничивался внешними идеологическими декларациями, а уходил вглубь, определяя пути трагического осмысления реальности на уровне надрывного мирочувствия и рожденного им стиля, тогда, когда, по выражению В. Маяковского, литератор писал не столько «о войне», сколько «войной»[1], русская литература оказывалась способной на истинные художественные обретения.

В.В. Полонский

[1] *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. С. 309.

I

ПУБЛИЦИСТИКА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:

Федор Сологуб
Андрей Белый
Валерий Брюсов
Леонид Андреев
Зинаида Гиппиус

Федор Сологуб

М.М. Павлова

Первая мировая война в публицистике Федора Сологуба

В марте 1917 г., вспоминая август 1914-го, Федор Сологуб писал в «Биржевых ведомостях»: «Так взволнована была Россия в начале войны, взволнована, как теперь это становится понятно, смутным предчувствием того, что из зла выйдет благо, и что война приведет к светлому преображению жизни русской и жизни всемирной. Россия приняла войну. Вместе с Россиею и мы, поэты-символисты, приняли эту войну. Но приняли не в грубо прямолинейном смысле, не как массовое самоистребление, не как хищнический набег или захват чужого, но в совершенно ином представлении, которое согласуется со всем общим нашим мироприятием. ‹…› все же мы ждем от войны еще и еще чудес, ждем совершенного преображения нашего косного, застоявшегося быта»[1].

Слова, прозвучавшие с газетной полосы в первые дни Февральской революции, передают основной пафос публицистической деятельности Сологуба в годы Первой мировой войны, вводят в круг его настроений — с определяющей доминантой: «Принятие войны как всенародного подвига, поднимающего дух нации на небывалую высоту»[2].

Война застала его на распутье: к 1914 г. все наиболее крупные художественные замыслы довоенного времени были воплощены. Роман «Творимая легенда», над которым он работал более семи лет, печатавшийся под заглавием «Навьи Чары» в альманахах «Шиповника» (1907–1909) и сборниках «Земля» (1912–1913), в новой редакции должен был увенчать издание двадцатитомного собрания сочинений (СПб.: Сирин, 1914. Т. 18–20). Затеянный совместно с Ан. Чеботаревской «журнал свободной мысли» — «Дневники писателей» (1914), с которым супруги связывали ближайшие литературные планы, был прекращен по выходе сдвоенного третьего выпуска (№ 3–4, май–июнь), в связи с финансовыми и издательскими сложностями, обозначившимися летом 1914 г.

Всегда сторонившийся публичности, с началом войны писатель вовлекается в общественную жизнь: вместе с Ан. Чеботаревской они выступили одними из инициаторов создания «Русского общества по изучению еврейской жизни», совместно с Л. Андреевым и М. Горьким (Сологуб был одним из редакторов сборника статей и материалов по еврейскому вопросу «Щит», 1915)[3]; учредителями художественного общества «Искусство для всех» (1915,

---

1 *Сологуб Ф.* Дерзание до конца // Бирж. вед. 1917. № 16138 (16 марта). Утр. вып. С. 5 (совместно с Ан. Чеботаревской). Далее цитаты из статей, включенных в настоящее издание, приводятся без отсылок, сведения о публикации сообщаются в разделе «Комментарии».

2 Там же.

3 См.: *Кельнер В.Е.* Очерки по истории русско-еврейской жизни в России в начале XX в. СПб., 2003. С. 97–112; *Соболев А.Л.* Cum scuto: Вячеслав Иванов — участник сборника «Щит» // Donum Homini Universalis: Сб. ст. в честь 70-летия Н.В. Котрелёва. М., 2011. С. 327–358.

цель: «распространение искусства в широких массах»); устроителями и участниками вечеров в пользу раненых и военнопленных («Писатели — воинам»[1] и мн. др.); имена супругов упоминаются в газетных репортажах в связи с благотворительными акциями — организацией Общества писателей для помощи жертвам войны, открытием лазарета деятелей искусства, лазарета Вольного экономического общества[2] и т. д. Литературная деятельность также протекала под знаком военного времени: совместно ими были подготовлены и выпущены в свет составленные Чеботаревской (с предисловиями Сологуба) патриотические сборники «Россия в родных песнях» (Пг., 1915) и «Война в русской поэзии» (Пг., ‹1915›); ею были написаны тезисы лекции «Россия в мечтах и ожиданиях»[3], которую во время лекционных турне по России Сологуб прочел в 39 городах (1915–1916).

За годы совместной жизни у писательской четы сложились общие критерии в оценке культурных и общественно-политических событий, единый стиль литературного поведения, что выразилось в теснейшем сотрудничестве, в том числе и в газете. Во время войны они совместно написали целый ряд публицистических и литературно-критических статей, которые, однако, вошли в читательское сознание как статьи Сологуба. Впрочем, в совместных творческих начинаниях последнюю точку всегда ставил он, даже если его авторство или участие выражалось лишь в общем идейном или редакторском плане.

В 1914–1918 гг. Сологуб опубликовал десятки разножанровых текстов по вопросам общественно-политической жизни (статьи, очерки, путевые заметки, некрологи, письма в редакцию)[4]; по своей проблематике они плотно впаяны в публицистический контекст эпохи и в контекст его собственного художественного творчества[5].

---

[1] См., например, письмо от Комитета лазарета деятелей искусства в газ. «День»: «Позвольте через посредство газеты сообщить, что устроенный А.Н. Чеботаревской 25 января в зале гор. думы вечер “Писатели — воинам” дал 985 рублей дохода и за вычетом 110 руб. расходов — 875 руб. чистого дохода, переданных в распоряжение лазарета деятелей искусства, за что комитет лазарета приносит благодарность устроительнице и участникам вечера» (День. 1915. № 37, 8 февр); в вечере участвовали: А. Ахматова, А. Блок, О. Мандельштам, И. Северянин, Ф. Сологуб, Тэффи, Е. Чириков и др.

[2] Сообщения опубл.: Помощь писателей жертвам войны // День. 1914. № 324 (28 нояб.); Общество писателей для помощи жертвам войны // Речь. 1914. № 322 (28 нояб.); Открытие лазарета деятелей искусства // Петроградский курьер. 1914. № 287 (10 нояб.); Лазарет Вольного экономического общества // День. 1914. № 199 (3 нояб.); Поэты — воинам // Бирж. вед. 1915. № 14751 (29 марта).

[3] *Сологуб Ф.* Россия в мечтах и ожиданиях // Вечерний курьер. 1915. № 434 (8 нояб.). С. 3.

[4] Публицистика Сологуба эпохи Первой мировой войны в некоторых аспектах преемственна по отношению к газетному циклу периода Русско-японской войны (1904–1905). Этой теме посвящена статья Д.В. Верташова «Две войны в газетной публицистике Ф. Сологуба» (Русская публицистика и периодика Первой мировой войны: Политика и поэтика. М., 2013. С. 235–242).

[5] Художественная продукция Сологуба периода Первой мировой войны была многообразна и всецело отвечала его публицистическим установкам: рассказы, стихотворения, драматические произведения; отдельно были изданы сборник стихотворений «Война» (Пг., 1915); сборник рассказов «Ярый год» (М., 1916); «Проводы. Драматический этюд» (СПб., 1914); «Камень, брошенный в воду. (Семья Воронцовых): Драматические сцены в 4-х действиях» (Пг., 1915; совместно с Ан. Чеботаревской). В критической печати эти произведения получили преимущественно отрицательные отзывы (см., например: *Ожигов А. ‹Ашешов Н.П.›* О беллетристической мобилизации // Современный мир. 1915. № 9. Отд. 2. С. 122–134; *Гиппиус З.* Раненая муза // Голос жизни. 1915. № 24. С. 1–2; *Колтоновская Е.* Военные рассказы // Речь. 1915. № 162 (15 июня). С. 3; *Неведомский М. ‹Миклашевский М.П.›* Что сталось с нашей литературой: (О поэзии и прозе наших дней) // Современник. 1915. № 5. С. 253–279; *Измайлов А.* Литература и драма // Бирж. вед. 1915. № 14972 (18 июля). Веч. вып. С. 4). Полемический отзыв: *Чеботаревская Ан.* В защиту «военной» литературы // Бирж. вед. 1915. № 15249 (4 дек.). Утр. вып. С. 2.

В совокупности все эти произведения фиксируют восприятие Сологубом народной трагедии, его гражданскую позицию (последовательный оборонец), геополитические взгляды (сторонник панславизма); отношение к событиям на фронте и проблемам тыла, действиям царского и затем Временного правительства, государственной экономической программе; свидетельствуют о постепенном сдвиге в ориентации, характерном для либеральной части общества[1], — от неославянофильства и панславизма в 1914–1915 гг. в сторону европеизма в конце 1916 г.

Следует заметить, что по своей культурной ориентации Сологуб всегда тяготел к западничеству, его славянофильство 1914–1915 гг. было прежде всего реакцией на начавшуюся войну и изменившийся в Европе политический климат.

В феврале 1913 г. в интервью, данном газете «Славянин», отвечая на вопрос корреспондента о задачах славянства, писатель со всей категоричностью заявил: «Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, чего, собственно, вы хотите от славянства? Если вы преследуете цель политического объединения славянских государств, то где у вас данные, что они тяготеют к России? Вы ссылаетесь на то, что у всех славянских народов существуют газеты и организации, посвященные вопросам славянского объединения. Но много ли членов насчитывают такие организации? Если даже предположить, что в Болгарии имеется организация с 5000 членами, то при 4 милл‹ионах› населения — это капля в море и на это можно смотреть только как на фрондерство против Фердинанда. И это движение не может считаться серьезным. П.Н. Милюков жил в Болгарии, был там профессором, следовательно, знаком с общественными движениями Болгарии, но нигде не упоминает о “тяготении” Болгарии к России. То же можно сказать и о других славянских народах.

Если же вы хотите не политического, а культурного и экономического единения, то где же здесь общность славянских интересов? Их нет! Что общего имеют, например, хорваты и чехи с русскими и болгарами? И вера, и обычаи, и даже язык резко отличаются друг от друга… И потому я не понимаю, чего хотят от славян русские… Когда говорят славяне о “Великой России”, о “России Освободительнице”, — это значит, что они хотят ее подоить… А нам у славян делать нечего… Вот вы говорите о борьбе западных славян с германизмом. И пусть борются — нам-то какое дело?

И если славяне в Австрии кричат о германизации, то славяне в России (малороссы, поляки) говорят о русификации. И это непреложно: государство имеет свои, общегосударственные интересы. А все остальные славяне безусловно ближе Австрии, нежели нам. Нет, я не верю в славянофильство, ни в старое, ни в новое… Впрочем, поживем — увидим!»[2]

Начавшаяся Первая мировая война заставила Сологуба резко пересмотреть свое отношение к славянской идее, по-новому увидеть значение и роль России и славянских народов в политической жизни Европы. Однако реальное развитие событий на Восточном фронте в 1915–1917 гг., хозяйственная несостоятельность тыла, неудовлетворенность действиями правительства, — все это отнюдь не способствовало укреплению панславистских амбиций и идеи русского мессианизма. Возврат к европеизму для Сологуба был закономерным, более чем органичным, и необратимым.

---

1 Об активизации и сосуществовании двух традиционных течений русской мысли в годы войны см.: *Тихонов В.В.* Европеизм и панславизм — два направления в русской научно-исторической публицистике периода Первой мировой войны // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. С. 39–47.

2 *А.В.К. ‹Кондратьев А.В.›* Мнение Ф.К. Сологуба // Славянин. 1913. № 1 (14 февр.).

В отличие от В. Брюсова, Н. Гумилева, Ф. Крюкова, В. Муйжеля, А. Толстого и др., Сологуб никогда не выезжал на боевые позиции в качестве корреспондента; ему не довелось обозревать события из-за рубежа, как находившимся в Европе П. Виноградову, М. Волошину, Н. Минскому, Б. Савинкову, И. Эренбургу, А. Ященко. Вместе с тем он живо откликался на все «горячие» темы современной публицистики.

Материал черпал главным образом из печатных источников, диапазон которых не поддается точному определению; в статьях прочитываются отсылки к самым разным изданиям: от книг видного немецкого публициста и политолога Пауля Рорбаха (Война и германская политика. СПб., 1915, и др.) до общественно-политических сборников, например: «Чего ждет Россия от войны» (СПб., 1915), с участием ведущих историков, экономистов, знатоков международного права, публицистов (Н.Н. Кареев, П.Н. Милюков, М.Н. Туган-Барановский, А.Н. Шингарев и др.).

Среди журналов особым доверием пользовалась «Русская мысль», имевшая наиболее представительный общественно-политический отдел; в течение ряда лет Сологуб входил в круг авторов беллетристического отдела; его отношение к войне складывалось в русле неославянофильских идей ближайших сотрудников «Русской мысли»: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, С.Л. Франка.

Однако не будет преувеличением сказать, что первостепенным источником военной публицистики Сологуба была газетная периодика; его статьи часто начинаются словами «Недавно я читал…» и т. п., как бы в продолжение разговора на актуальную газетную тему; сюжеты многих заметок восходят непосредственно к столбцам хроники («Прочитал я в одной газете такое сообщение…» и т. д.).

В круг «настольных» изданий входили «Биржевые ведомости», а также: «Речь», «Утро России», «День», «Русские ведомости», «Русское слово», «Петроградский голос», «Единство». В публикациях просматриваются связи и с другими периодическими изданиями, как, например: «Петроградская газета», «Петроградский листок», «Новое время», «Новая жизнь», «Правда», «Известия Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов»; в летние месяцы, когда писатель выезжал на отдых под Кострому[1], в ходу была местная пресса: «Поволжский вестник», «Воля народа», «Народная свобода».

Главной журналистской площадкой для писателя были «Биржевые ведомости» (утренний выпуск по преимуществу); отдельные статьи печатались в газетах «Русские ведомости», «Утро России», «День», «Петроградский голос», еженедельниках «Театр и искусство», «Отечество» и некоторых других.

За годы войны Сологуб пережил два периода публицистической активности, оба были вызваны общественным подъемом. Подавляющее число статей актуальной проблематики он написал в 1914–1915 гг. — в первый год войны и в 1917 г. — в месяцы после Февральской революции. Длительный перерыв (с осени 1915 до осени 1916) совпал со стратегическим отступлением русской армии (Великим отступлением) и началом позиционной войны на Восточном фронте. В связи с внедрением государственной программы перевода промышленности на военные рельсы внимание писателя переключилось на хозяйственные проблемы, экономические прогнозы и тыловые сюжеты.

---

[1] В 1916–1921 гг. Сологуб и Ан. Чеботаревская арендовали усадьбу «Княжнино», неподалеку от волжской пристани Нагорово, в шести километрах от Костромы. В последний раз Сологуб приезжал в усадьбу летом 1922 г., после гибели жены (покончила с собой 23 сентября 1921).

В первый военный год Сологуб был сосредоточен на темах широкого общественного резонанса: восприятие великой немецкой культуры в свете германского милитаризма; акты нарушения международного права; акты вандализма и зверства над мирным населением, совершенные армией противника; особенности национального характера; демократизация российского общества; тема социального заказа и патриотизма в литературе и искусстве. Все эти темы осмыслялись им в русле всеобщего диалога об историческом пути России, ее самоопределении между Востоком и Западом.

Свое видение перспектив и целей войны он сформулировал в программных статьях «Мира не будет» (30 октября 1914) и «Выбор ориентации» (14 декабря 1914): «Мы вступили в период решительной борьбы за наше национальное самоутверждение, за самое право наше на жизнь. Мы роковым образом поставлены в необходимость не только победить, но и раздавить Германию, потому что без этого нам не жить. ‹...› Против нашей восточной, мистической, религиозной души встала воплощенная в Германии механизованная душа, антихристианская, рационализованная по-машинному, душа без вещих ведений и прозрений, но с необычайною силою материализма, душа язычников Гёте, Канта, Ницше, и всех этих бесчисленных блестящих, но холодных умов» («Мира не будет»).

«Европейская ориентация у нас терпит кризис, — размеры которого так велики, как мы теперь только с трудом можем представить ‹...›. Никогда, думаю я, не дойдем мы до того “культа вещей”, которым так характеризуется та же немецкая цивилизация, и никогда душу свою, Марию, не променяем на тело ее, Марфу. Мы — не Запад, и никогда Западом не будем. Мы — Восток религиозный и мистический, Восток Христа, предтечами которого были и Платон, и Будда, и Конфуций. Трагедию нашу мы должны разрешить в том, чтобы над крушением европейской ориентации вознести то новое слово, которое мы давно обещаем миру, но которое уже давно дано нам в мистическом миропостижении Востока. Довольно нам ориентироваться на Запад, пора нам найти в самих себе нашу правду и нашу свободу, опереться на исконное свое, вспомнить древние наши были, оживить в душе торжественные звоны вечевых колоколов» и т. д. («Выбор ориентации»)[1].

В определении целей и задач войны Сологуб солидаризовался с неославянофилами[2]; его статьи 1914–1915 гг. зачастую корреспондируют с газетными публикациями Бердяева[3], а также (в меньшей степени) статьями М.О. Гершензона и В.Ф. Эрна. Вместе с тем свойственный его публицистике славянофильский и панславистский популизм имел параллельный, конкретный источник: в восприятии войны он ориентировался на Достоевского — на заметки о начале Русско-турецкой войны в «Дневнике писателя за 1877 г.» (апрель).

Обращение к этому тексту, вероятно, было подсказано исторической параллелью: и в 1877 и в 1914 г. Россия вступила в войну (соответственно с Османской империей и Австро-

---

1 Статья Сологуба (Отечество. 1914. № 6) вызвала полемический ответ А.И. Тинякова в «пораженческом» «Голосе жизни» (1915. № 8); подробнее см.: *Богомолов Н.А.* Неосуществленный цикл О.Э. Мандельштама и журнальная полемика 1915 г. // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. С. 243–254.

2 Подробно см.: *Хеллман Б.* Когда время славянофильствовало: Русские философы и Первая мировая война // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia: Проблемы истории русской литературы начала XX века / Под ред. Л. Бюклинг и П. Песонена. Helsinki, 1989. С. 211–239.

3 Речь идет в первую очередь о статьях Н.А. Бердяева в газете «Утро России»: «Война и возрождение» (1914. № 212, 17 авг.), «Современная Германия» (1914. № 255, 19 сент.) и др.; в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей»: «Война и национальное самосознание» (1914. № 14422, 9 сент.), «Германия, Польша и Константинополь» (1914. № 14424, 10 нояб.) и др.

Венгрией и Германией), встав на защиту братьев-славян: болгар, затем сербов. На полях книги, имевшейся в личной библиотеке Сологуба[1], на страницах с заметками «Война. Мы всех сильнее», «Не всегда война бич, а иногда и спасение», «Спасает ли пролитая кровь?» сохранились обширные владельческие пометы (они сопровождают только эти тексты) — подчеркнуты фрагменты: о необходимости освободительной войны, о значении пролития святой крови, о предназначении России в Европе, о национальном характере, о роли искусства и др.

Например: «Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь “братьев-славян”, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхаемся, сидя в немощи растления и в духовной тесноте» (с. 110); «Нет, нам нужна война и победа. С войной и победой придет новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня, как прежде, — да что как прежде, как до сих пор, господа!» (с. 112); «Подвиг самопожертвования кровью своею за все то, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение» (с. 115); «Спросите народ, спросите солдата: для чего они подымаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне, — и все скажут вам, как един человек, что идут, чтоб Христу служить и освободить угнетенных братьев, и ни один из них не думает о захвате. Да, мы тут, именно в теперешней же войне, и докажем всю нашу идею о будущем предназначении России в Европе, именно тем и докажем, что, освободив славянские земли, не приобретем из них себе ни клочка (как мечтает уже Австрия для себя), а, напротив, будем надзирать за их согласием и оборонять их свободу и самостоятельность хотя бы от всей Европы. А если так, то идея наша свята и война наша вовсе не “вековечный и зверский инстинкт неразумных наций”, а именно первый шаг к достижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к достижению воистину международного единения и воистину человеколюбивого преуспеяния!» (с. 117); «…война есть процесс, которым *именно* с наименьшим пролитием крови, с наименьшею скорбью и с наименьшей тратой сил достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. ‹…› долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой» (с. 118–119) и т. д. Все эти тезисы имели развернутую рецепцию в публицистике Сологуба (особое развитие у него получила идея Достоевского о преображении войной).

На платформе неославянофильства и панславизма писатель оставался до осени 1916 г.; в августе 1915 г., несмотря на трагическую ситуацию, сложившуюся на Восточном фронте, он продолжал утверждать: «Был свой час истины и величия у Германии, когда ее философия и ее искусство навсегда вошли в сокровищницу всечеловеческой культуры. Слишком быстро истощила Германия свое историческое призвание, и в недобрый для себя срок она вызвала на борьбу с собою еще не явленные миру духовные силы славянства» («До Урала», 25 августа 1915). Тезисы его лекции «Россия в мечтах и ожиданиях» были составлены как будто по В.В. Розанову, напутствовавшему сограждан в начале войны: «‹...› ничто так не “относится до войны”, как творения Киреевского, Константина Аксакова, Ив. Серг. Аксакова, Хомякова,

[1] *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. СПб., 1895. Т. 11; хранится в библиотеке ИРЛИ РАН (шифр: 1938-К/2742). См.: *Шаталина Н.Н.* Библиотека Ф. Сологуба: (Материалы к описанию) // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 456–457. Далее цитаты из дневника Достоевского приводятся по личному экземпляру Сологуба с указанием страниц. Развернутый перечень помет см.: *Сологуб Ф.* Мистика войны и утопия вечного мира / Вступ. заметка, публ. и примеч. М.М. Павловой // Русская литература. 2014. № 3. С. 83–102.

Тютчева, как “Россия и Европа” Н.Я. Данилевского, “Борьба с Западом Страхова,” “Восток, Россия и Славянство” Леонтьева. Идите-ка, добрые люди, по магазинам, да выбирайте эти книжки, и штудируйте по ним ваше завтрашнее “будущее”»[1].

В публицистике Сологуба получили отклик почти все центральные события кампании 1914–1915 гг.: вторжение Германии на территорию нейтральной Бельгии, разрушение города-памятника Лувена и Реймсского собора («Мира не будет»); блокада немецким флотом английского побережья («Порог житницы»); потопление у берегов Ирландии американского пассажирского судна «Лузитания» (25 апреля 1915); заседание чрезвычайной следственной комиссии по расследованию нарушений законов войны («Суд людской», 7 мая 1915); вступление в войну Турции и планы вступления в войну Болгарии на стороне Центральных держав («Жаль Болгарию», 1 февраля 1915); вступление в войну Японии на стороне стран Антанты («Японский Гамбург», 29 июня 1915). Он писал о колониальных планах и аппетитах Германии («До Урала»), о политике на Балканах и необходимости утверждения России на Босфоре («Порог житницы», 20 февраля 1915), о применении немецкими и австро-венгерскими войсками запрещенного оружия (некролог «В.А. Мгебров», 3 сентября 1915) и др.

Как авторитетная литературная величина Сологуб в определенном смысле был ангажирован социальным заказом в еженедельниках «Отечество» и «Лукоморье»[2]; участвовал в газетных кампаниях и опросах: о будущих русско-польских отношениях (13 октября 1914)[3], об отмене черты оседлости для еврейского населения («Анкета трех писателей»[4], январь 1915; а также статьи «Отечество для всех», январь 1915, и «Все вместе», 5 февраля 1915, «Вечный жид», 11 августа 1915[5]), о перспективах союза с Англией («Мировая громада», 28 января 1915), о продолжительности войны («Два пути», 1 октября 1915), о военной литературе («Что читать во время войны», 9 декабря 1914)[6] и т. п.

Например, на вопрос «Биржевых ведомостей»: «Какая господствующая мысль, какое преобладающее чувство связывается у вас с войной?», обращенный к деятелям культуры и политики в ноябре 1914 г., Сологуб ответил как опытный газетчик, знающий, какие идеи требуется внедрять в сознание масс:

«Миролюбивая, вовсе не воинственная Россия воюет ныне охотно и хочет победить, что с нею не всегда бывает. Во всяком истинном испытании бывает явлен истинный лик народа,

---

1 *Розанов В.В.* Забытые и ныне оправданные: (Поминки по славянофилам) // Розанов В.В. Война 1914 года и русское возрождение. Пг., 1915. С. 70.

2 В «Лукоморье» Сологуб начал печататься в 1914 г. (№ 31), последняя публикация состоялась в 1915 г. (№ 41). 30 октября в числе одиннадцати авторов он вышел из журнала и заявил в печати о невозможности дальнейшего участия в этом издании, поскольку оно приняло «нежелательную тенденциозную окраску» («нововременскую») (см.: Письмо в редакцию // Бирж. вед. 1915. № 15179 (31 окт.). Утр. вып. С. 5).

3 *Сологуб Ф.* ‹О будущих русско-польских отношениях› // Бирж. вед. 1914. № 14430 (13 окт.). Утр. вып. С. 4 (ответ на анкету). Позиция Сологуба по отношению к «польскому вопросу» в годы Первой мировой войны рассматривается в статьях: *Мисникевич Т.* «Польский вопрос» в лирике и публицистике Федора Сологуба // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XII. Тарту, 2011. С. 401–410; *Вайсбанд Э.* Стихотворение Ф. Сологуба «Братьям»: Польско-еврейская адресация в контексте Первой мировой войны // Политика литературы — поэтика власти. М., 2014. С. 127–146.

4 Опубликовано: Отечество. 1915. № 1. С. 2; Бирж. вед. 1915. № 14652 (5 февр.). Утр. вып. С. 3.

5 Рус. вед. 1915. № 184 (11 авг.). С. 5; литературный сборник под редакцией Л. Андреева, М. Горького, Ф. Сологуба: Щит. М., 1915. С. 169–170.

6 Бирж. вед. 1914. № 14544 (9 дек.). Утр. вып. С. 3.

и мы справедливо можем быть утешены тем явлением народного духа, которое дано нам переживать.

Россия сражается рыцарственно, как страна крестоносная, одушевленная сознанием своей правоты и бескорыстия. Она хочет побеждать, но не мстить. Когда мы услышали о мерзких проявлениях тевтонской злобы над беззащитными русскими в Германии, поднялось много голосов, настаивающих на том, что мы не должны отвечать тем же, что мы перед лицом цивилизованного мира должны выдержать какой-то экзамен гуманности. События показали всю ненужность этих речей: доблестному русскому народу не надо учиться высоким чувствам. На все тевтонские зверства русская негодующая толпа ответила только тем, что сбросила истуканов, нагло воздвигнутых над дикою казармою надменного посольства»[1].

В статьях, затрагивающих вопросы внешней политики, как правило, просматривается авторитетный источник: мнение специалиста или международного обозревателя. Характерный пример — «Мировая громада», появившаяся на страницах «Биржевых ведомостей» вслед за статьей «Англия и Россия» П.Г. Виноградова — историка, профессора Оксфордского университета (Бирж. вед. 1915. № 14612 (15 янв.). Утр. вып. С. 2). Соотнося свой взгляд с авторитетным мнением, Сологуб, однако, старался избирать иной ракурс, с которого подходил к теме; в данном случае отметил точки сближения в национальном характере русских и британцев: «‹…› при всем несходстве учреждений и обычаев есть многое, что делает для нас Англию более близкою, чем всякое иное западное государство. Более чем всякий другой народ в Европе, англичане очарованы стремлением к мировым просторам. Быть в пределах им тесно и скучно, им надобно приобретать земли, и они умеют удерживать их узами своей крепкой гражданственности. Преодолевать пространства, расточать энергию, — вот свойства, в наибольшей чистоте удержанные от времен былых кочеваний только русскими и англичанами. ‹…› Достойным для величия русского народа союз с Англиею представляется мне потому, что союз этот ведет к объединению народов под знаменем истинной, духовной культуры мистического Востока. Единственные мировые державы — только две, Россия и Англия. Знаменательно то, что эти два государства строят основы своего могущества на землях и племенах религиозного Востока, а не материалистического Запада. Им двум предстоит великая задача объединить в одну мировую громаду миролюбивые и воистину культурные народы Индии, Китая, Японии».

В заметке «Японский Гамбург», по-видимому, явившейся откликом на передовицу из «Утра России» (6 марта 1915) о перспективах союза России с Японией и степени участия восточной союзницы в европейских кампаниях, Сологуб заявил: «‹…› более деятельное участие Японии в европейской войне весьма приблизило бы эту войну к благополучному окончанию. ‹…› Для обезвреженія прусского милитаризма Гамбург в руках Японии был бы превосходным средством. Овладеть этим городом в эту войну при помощи англо-японского десанта было бы не так уж трудно»[2]. Заметка не была доведена до печати, вероятно, по цензурным соображениям.

Обращения к событиям на фронтах, итогам военных кампаний, как, например, «Скифская стратегия» (18 июня 1915; реакция на Великое отступление), у Сологуба единичны. С полным правом его можно назвать спецкором тыла. В 1915–1916 гг. он исколесил всю страну и имел возможность вплотную познакомиться с проблемами русской «глубинки».

---

1 Бирж. вед. 1914. № 14358 (7 нояб.). Утр. вып. С. 3.

2 См.: *Ориенталист*. Япония и союз с Россией // Утро России. 1915. № 185 (6 июня). С. 1.

Основная тема «тыловых» заметок — призыв к трудовой дисциплине и организации хозяйственного порядка, к развитию народной инициативы и государственного мышления («Путь вверх», 14 мая; «Единственные сыновья», 22 июня; «Под спудом», 28 августа; «Обывательское», 7 сентября 1915; «Война после войны», 13 декабря 1916, и др.). «Не армии сражаются, — писал Сологуб, — вооруженные народы встретились, и взаимно испытывают друг друга. ‹…› Испытывают людей и порядки, строй жизни и склад своих и чужих характеров и нравов. Вопросом о том, кто такие они, острится вопрос о том, кто же мы сами» («Завоевание правды», 7 апреля 1915).

В публицистике 1914–1917 гг. подчас невозможно провести четкую границу между статьями, имеющими прямое отношение к актуальной проблематике и опосредованное, это разделение весьма условно. В большинстве из них присутствуют приметы военного времени, передана общая атмосфера войны, как, например, в цикле «Парадоксы с пути» (весна 1916) или очерке «От Невских берегов»[1] (29 июня 1917; о разговорах в вагоне поезда пассажиров военных и штатских). В заметке «Снег» речь идет о воспитании здорового поколения (закаливании), однако педагогическая тема подается под знаком времени: «С какою-то ненавистью истребляется снег на улицах наших, сгребается, и поспешно вывозится за город. Словно тевтоны пришли в наш город, и истребляют ненавистный им русский снег. Тот снег, который, может быть, представляется им точным символом великой и загадочной России» (10 февраля 1915)[2].

Цикл «Парадоксы с пути» состоит из нескольких зарисовок с натуры — из жизни провинции, сделанных весной 1916 г. во время лекционного турне. Эти очерки на первый взгляд не имеют прямого отношения к военной проблематике, однако в свете общего дискурса в прессе о причинах отступления русской армии приобретают злободневный характер.

Лейтмотивом в них проходит тема сравнения европейского и отечественного жизнеустройства; Сологуб останавливается преимущественно на негативных сторонах российского уклада и свойствах национального характера: лени, пьянстве, взяточничестве, казнокрадстве, некультурности и т. д. — «родной стихии» (так озаглавлен один из очерков). В заметке «О презрении ко времени и о презрении вообще» русскому хаосу противопоставлена европейская организованность, деловитость и точность (у них говорят «время — деньги», у нас: «время терпит»). «Господа горожане, обитатели городов, имейте в виду! — заключает писатель, обращаясь к согражданам. — Война идет не только на фронте, она идет повсюду — в канцеляриях министерств, в советах обществ (не исключая и ученых и художественных ‹…›), за кулисами театров, в редакциях журналов — везде, во всех областях, и не с июля 1914 г., а гораздо раньше начался и идет этот смертный бой честности с плутоватостью, свободы с холопством, таланта с бездарностью, мужества с малодушием, отваги с трусостью мыслей, чувств, традиций и систем»[3].

Весь цикл фиксирует ослабление исторического оптимизма относительно будущего России, ее миссии спасительницы Европы от нашествия грубых тевтонов, и разворот в сторону европеизма.

---

[1] Парадоксы с пути: *Сологуб Ф.* I. Мы и они. II. О презрении ко времени и о презрении вообще // Бирж. вед. 1916. № 15452 (1 марта). С. 3; *Он же.* Зло добру служит — Там же. № 15563 (17 марта). С. 3; *Он же.* Родная стихия — Там же. № 15464 (26 марта). С. 2; *Он же.* Встречи и недоумения — Там же. № 15482 (4 апр.). С. 3; *Он же.* От Невских берегов — Там же. 1917. № 16308 (29 июня). Утр. вып. С. 2 (совместно с Ан. Чеботаревской).

[2] Бирж. вед. 1915. № 14662 (10 февр.). Утр. вып.

[3] *Сологуб Ф.* Парадоксы с пути. IV: Родная стихия // Бирж. вед. 1916. № 15464 (26 марта). Утр. вып. С. 2.

Главную задачу литературы и искусства в военное время Сологуб, как и подавляющее большинство современников, видел в поднятии и поддержании у соотечественников духа патриотизма. В статье «Ура!» он выступил в защиту слова «патриотизм», дискредитированного деятельностью национал-шовинистов (Союз русского народа и Союз Михаила Архангела) и ставшего для большей части мыслящего общества синонимом «ура-патриотизма»: «Вдруг бы русский человек в соответствующий момент своей жизни закричал: — Да здравствует Россия! — Представить это никак невозможно, — это была бы не российская действительность, а творимая легенда» («Ура!», 25 июля 1916).

На вопрос анкеты «Биржевых ведомостей» «Что читать во время войны» он ответил:

«Находясь под впечатлением происходящего на театрах войны, общество проявляет усиленный интерес к той литературе, которая может дать пищу настроенному в одном направлении воображению.

Во время войны очень важно сочувствие и единомыслие населения, — в нем источник бодрости и твердости духа армии.

Но не менее существенно и другое, в чем должна заключаться обязанность каждого, оставшегося дома. Это — заботы о сохранении и воссоздании собственной национальной культуры, в освобождении ее от чрезмерного и одностороннего влияния Германии, в развитии производительных и творческих сил страны. Наша армия с полным достоинством и вызывающим всеобщий восторг героизмом делает свое большое и трудное дело. Следя с восхищением за ее подвигами, уверенные в конечной победе, мы все, оставшиеся дома, обязаны создавать спокойный темп жизни, помня, что каждый потерянный час несет ущерб для воссоздания отечественной культуры. Таким спокойным порядком должна распределяться и область литературы и искусств, этими же нормами должно быть регулируемо и чтение среднего интеллигента. Так же, как и в мирное время, должны читаться хорошие книги по литературе, искусствам и наукам.

Создавая условия такой спокойной жизни, общество должно в первую очередь озаботиться и делом воспитания детей. Будущие поколения для продолжения наших культурных задач должны быть, как древние эллины, сильны и физически, и умственно. Нужно предохранять наших детей от хилости и слабонервности. Нужно, чтобы чтение для детей состояло из произведений общегуманитарного, а не узко милитарного содержания.

Спокойное состояние страны окажет неоценимое благо и в другом направлении, невидимыми токами передавшись тем, которые сражаются на полях брани. Вызвав новый подъем бодрости в стране и в войсках, оно поведет к новым и новым победам: побеждает ведь всегда более здоровый и более бодрый. И вновь приходящие в армию молодые люди, запасные и ратники, пусть явятся в нее бодрыми и спокойными и не внесут в ряды войск духа уныния»[1].

Подобные опросы зачастую предполагали ответы в духе газетной риторики, которой Сологуб не чуждался, полагая ее естественным атрибутом агитационного стиля: «И у наших врагов, и у наших союзников под грозою войны ярко засияли слова и дела, воодушевляющие и ведущие к победе. ‹…› Габриель д'Аннунцио воодушевляет восторженные толпы, не приученные к преследованию поэтов» («Под спудом», 28 августа 1915).

Мощная патриотическая тенденция объединяет все статьи военного времени, независимо от их проблематики, о чем бы Сологуб ни писал: о переоценке театрального репертуара и массовом закрытии театров и антреприз («Театр кроликов», «Тень трагедии», 1914); гастролях Л. Собинова, концерт которого в Ярославле пыталась сорвать местная администрация, и

[1] Бирж. вед. 1914. № 14544 (9 дек.). Утр. вып. С. 3.

значении русской песни («Бодрая сладость», 30 июня 1915); о мужестве директора театра в Либаве (Лиепае), убитого немцами за постановку пьесы «Культурные звери» («Пропаганда действием», 8 мая 1915); о героическом творчестве поэта «Окровавленной Бельгии» Эмиля Верхарна, который «слишком болел муками современности» («Удел поэта», 23 ноября 1916)[1], и Мориса Метерлинка («Любовь и смерть», 24 февраля 1917, «Мятежные музы», 30 мая 1917)[2], и т. д.

Позднее, в статье «Канун да ладан» (20 марта 1918), писатель заметил: «Когда-то, в начале войны, в стихотворении “Утешение Бельгии” предсказал я, что “будет нашими войсками взят заносчивый Берлин”. Предсказание, что и говорить, неудачное, но почему русские газетчики так радуются неудачливости моей в этом отношении, я, ей-богу, не понимаю. Я верил в мою Россию, я желал ей счастья и славы, — и разве уж это так глупо и смешно?»[3].

Примечательно, что реплика Сологуба получила мгновенный резонанс, 23 марта Ив. Калитин писал в «Вечерней почте»: «Помню я первый страшный год войны: помню, как в минуты тяжелых военных неудач расцветала любовь к нашей несчастной родине, которую любить, и говорить об этой любви было зазорным и предосудительным. Тяжкие удары, наносимые нам врагом, разбудили дремавшие сердца и в них ожили скорбь, любовь и сострадание. Несмотря на свинцовые низкие тучи, нависшие над нашей страной, многие пламенно верили, что среди мрака, обступившего нас, блеснет заря новой жизни и нового счастья. Первым из первых, кто стал петь любовь к своей стране, кто говорил о своей вере и надежде на ее прекрасное будущее, был Федор Сологуб. Помню я также, как отовсюду, изо всех углов и щелей, повылазили человечки с оплешивевшими душами и опустошенными сердцами и, брызгая слюной ненависти, злопыхательствуя, кривляясь и подмигивая на всех перекрестках, стали выкрикивать обидные слова для тех, в ком жила тревога за родную землю и любовь к ней»[4].

Главным стержнем публицистической мысли Сологуба была идея преображения, которую он прокламировал как цель и чаемый итог кровопролитий: «Цель этого всенародного подвига была намечена определенно и явственно: преображение» («Дерзание до конца»).

В годы Первой мировой войны этой теме отдали дань многие писатели, едва ли найдется автор, который обошел ее в своем творчестве. Однако, думается, именно Сологубу здесь по праву принадлежала одна из ведущих партий: пропагандируя идею преображения, он внес весомую лепту в создание образа войны в русской литературе.

В статье «Литература и драма» (1915), обозревая современную военную беллетристику, А.А. Измайлов констатировал: «Большинство наших рассказчиков вменили себе в обязанность теорию, которою бы обосновывали рассказы. Надо всеми иными сейчас господствует одна “умственная” идея — война перерождает. ‹...› Но почему обязателен этот психологический примитив. Почему ничего более сложное, более оригинальное не приходит в творче-

---

1 Бирж. вед. 1916. № 15942 (23 нояб.). Веч. вып. С. 4.

2 Бирж. вед. 1917. № 16118 (24 февр.). Утр. вып. С. 3 (совместно с Ан. Чеботаревской).

3 Петроградский голос. 1918. № 38 (20 марта). С. 2. Сологуб участвовал в специальном выпуске газеты «День» от 21 октября 1914 г. (№ 286), посвященной «Героической Бельгии», где было напечатано его стихотворение «Утешение Бельгии». Об этом выпуске газеты см.: Грякалова Н.Ю. Русские писатели — героической Бельгии // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. С. 266–277.

4 *Калитин Ив*. Иванушки-дурачки и Федор Сологуб // Вечерняя почта (Петроград). 1918. № 42 (23 марта). В заглавии заимствовано выражение из статьи Сологуба «Канун да ладан»: иванушками-дурачками он назвал пораженцев.

ские умы беллетристов. ‹...› Когда Толстой писал “Севастопольские рассказы”, он не ставил перед собой никаких теоритических заданий. Едва ли он хотел показать, как война перерождает людей, какое она зло и так далее»[1] и т. п.

В письме Измайлову от 18 июля 1915 г., отвечая на высказанные им упреки, Сологуб заявил: «‹...› самое удручительное — это Ваши слова о том, что мы кому-то хотели угодить патриотизмом[2]. Вы хорошо знаете, что патриотизмом в России угодить никому нельзя, не только левым, но и правым. И почему Вы считаете всех нас такими продажными? ‹...› Вы отметили, что многие из нас занимаются одною и тою же темою, преображение людей войной, и что это оттого, что мы очень плохи. А я думаю, это потому, что тема существенная, и обойти ее не приходится. Для всех нас эта война трагична, потому что она поразила в нас нашу влюбленность в германскую культуру и потрясла в нас национальное чувство. Вопросы об отечестве, о государстве, о патриотизме, о путях культурного развития очень болезненно встали в нас и произвели в нас истинное чудо преображения»[3].

Идея преображения с новой силой актуализировалась в публицистике Сологуба в 1917 г. в связи с общим подъемом, вызванным Февральской революцией; в этот период он написал почти столько же статей и заметок на актуальные темы, как и в первый год войны. Основное содержание его выступлений в печати: призыв к всесторонней поддержке Временного правительства под лозунгом «Война до победного конца!».

К началу 1917 г. писатель подошел с прежней верой в победу русского оружия; в праздничном выпуске «Биржевых ведомостей» он заявил: «Ведь должны же мы победить! Ведь это — кошмар, тяжело навалившийся на грудь, кошмар — одна мысль о том, что мы можем выйти из этой войны раньше нашей победы» («Хочу и верю», 3 января 1917).

Вступление в войну США и гарантированная помощь с их стороны странам Антанты, казалось, давали надежды на благополучный исход европейских баталий. В первые дни Февральской революции Сологуб не переставал агитировать: «‹...› мы должны помнить, что великое, воистину вселенское дело, начатое родиною нашею, еще не окончено, трагический подвиг еще не доведен до конца, лютый дракон еще не повержен окончательно, еще долгий и трудный путь перед нами» («Дерзание до конца», 16 марта 1917).

В апреле Сологуб и Чеботаревская обратились к деятелям искусства с воззванием поддержать Временное правительство, устроить день «Займа Свободы», который необходим государству для окончания войны и «для залечивания нанесенных ею ран, для восстановления храмов, жилищ, школ, железных дорог, беспощадно разрушенных неприятелем»; в воззвании говорилось: «‹...› художники пусть выявят весь блеск своей фантазии, нарисовав множество разнообразных плакатов, щитов, которыми уберут улицы города, лубочных картин и открыток, которые разойдутся затем по всей стране, заглянут во все глухие деревни

---

1 Бирж. вед. 1915. № 14972 (18 июля). Веч. вып. С. 4. В ряду отрицательных примеров критик назвал: «Мое сердце» Б. Лазаревского, «Душа человеческая» В. Ленского, «Пастырь воинский» М. Кузмина, «Война» и «Еврей» М. Арцыбашева, драмы Л. Андреева, а также повесть Сологуба «Острие меча» (сб. «Лукоморье: Военные рассказы». СПб., 1915) и «Проводы: Драматический этюд» (СПб., 1914).

2 В статье «Литература и драма» Измайлов заметил: «Так хочется предпочесть простые рассказы на тот же военный сюжет, чаще драматический, иногда юмористический, когда в них никто не перерождается, когда автор никому не собирается патриотически угодить».

3 Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская: Переписка с А.А. Измайловым / Публ. М.М. Павловой // Ежегод. РО Пушкинского Дома. 1995. СПб., 1999. С. 256.

и мужицкие избы. Артисты в красивых, живописных костюмах пусть заполнят улицы столицы, проявив все богатство своей выдумки в оригинальных процессиях и шествиях, группах, летучих концертах и т. п. ‹...› Писатели и поэты напрягут все свои силы для создания блестящего выпуска однодневной газеты, содержащей стихи, интервью, статьи по поводу Займа Свободы, освещающие всесторонне одушевляющие нас идеи»[1]. Из газетных отчетов о проведении праздника следует, что идея была поддержана и программа имела успех.

Однако уже в июне настроение Сологуба меняется, в его выступлениях в печати появляется скепсис по отношению к «самой передовой демократии в мире», возмущение вынужденной отставкой с постов министров Временного правительства А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова, протест против исходящей от Советов пораженческой агитации и «преступно размитингованных солдат».

В статье «Впереди всех» (15 июня 1917), написанной по поводу выдворения из страны пацифиста, лидера Циммервальдского движения Роберта Гримма, Сологуб писал: «Заезжий иностранец может у нас без помехи говорить о том, что русские солдаты во время войны не должны сражаться с товарищами-германцами, но что рабочие во время той же войны должны сражаться с буржуями-капиталистами. ‹...› Попробовал бы заезжий иностранец произносить подобные речи в Берлине или в Лондоне, в Вене или в Париже, — да его, пожалуй, и слушать бы не стали. А у нас Роберта Гримма слушали да похваливали», и далее: «‹...› на путях истории мы оказались впереди всех. Мы всех научим, с нашего Востока воссияет миру свет. Другие должны идти за нами. ‹...› Но никто за нами не идет. И мы немало удивлены. В чем дело? Германцы не собираются свергать Вильгельма и производить революцию. Американцы намерены воевать со свойственным им чрезвычайным напряжением энергии. Англичане и французы вкладывают в наши лозунги свое собственное понимание и будут воевать до конца, как бы ни вела себя Россия. Германцы открыто пренебрегают нами как противником, с которым не стоит считаться. Союзники начинают смотреть на нас с чувством, далеким от уважения, хотя пока еще довольно снисходительно. ‹...› Неудобные мы спутники, мы, самая передовая демократия, и когда мы идем, мы поднимаем слишком много нездоровой пыли, которую не хочет вдыхать культурный европеец, хотя бы и социалист».

К концу лета в публицистике Сологуба почти исчезают оптимистические ноты, а вместе с ними и штампы газетной риторики. Он пишет и публикует ряд гневных статей: «Развал», «Умерщвление слов», «Над классами», «Древняя история», «Государственное младенчество», присоединяя свои филиппики к общему протесту против экономического хаоса, деморализации армии, самосудов, дезертирства, разгула бандитизма, отсутствия твердой власти, несостоятельности Временного правительства, пораженческой политики большевиков, бесконечных митингов и заседаний («Вся Россия исходит словотечением», — «Развал», 10 сентября 1917).

Статьи 1917-го — начала 1918 г. отчетливо передают нарастание тревоги за будущее отечества: «Попытка поставить революцию выше России оказалась гибельною», — писал Сологуб 8 августа 1917 г. («Над классами»); «Государственная необходимость, стоящая перед Россиею, есть необходимость довести войну до такого положения, чтобы можно было выйти из нее без унижения и великого ущерба» («Государственное младенчество», 24 августа 1917); «Чтобы войти в социальный рай, надо, прежде всего, разрушить этот ненужный ад. Что бы ни послала нам судьба, войну или мир, но воскреснем мы только тогда, когда

[1] *Чеботаревская Ан.* К деятелям искусства // Бирж. вед. 1917. 2 мая. Утр. вып.

над нашими классовыми и партийными разделениями поставим немудрую, но вечно живую и животворящую любовь к родине нашей, к земле наших предков, к России» («Солоно», 15 марта 1918). Подлинную любовь к России олицетворял генерал Корнилов: «…только люди его душевного склада для России теперь нужны более чем когда-нибудь» («Прямой человек», 28 апреля 1918).

Последним обобщающим высказыванием Сологуба по итогам Первой мировой войны, вероятно, следует считать философический трактат «Мистика войны и утопия вечного мира» (‹май 1917–1918›). В мае 1917 г. писатель выступал с беседой на ту же тему в художественном обществе «Искусство для всех»[1] (в пользу военнопленных), однако окончательное оформление этот текст, по-видимому, получил незадолго до или вскоре после заключения Брестского мира.

В отличие от близкой по содержанию статьи «Международное братство» (18 марта 1917), трактат остался неопубликованным. Оба текста отличаются от подавляющего большинства статей 1914–1917 гг., принадлежат другому дискурсу: в них почти отсутствуют характерные приметы газетной публицистики (факт, конкретность, злоба сего дня). Сологуб завершает военную тему в своем творчестве обобщениями, настраиваясь на волну Достоевского, следуя за ним в двух своих главных тезисах.

Тезис первый: «Ужасы этой войны переживаются нами без отчаяния только потому, что мы все верим в светлое будущее, и что мы верим в его близкое наступление. Верим, что великая мировая война вскроет все злые, порочные несовершенства современного быта, раскалит души людей в пламени трагических и героических переживаний и этим приблизит осуществление великолепной мечты о золотом веке человеческой истории».

Тезис второй: «‹...› совершенное торжество идеи о братстве людей не осуществимо при современном строе общества, при том строе, когда все отношения между людьми строятся на почве территориальных разделений. Доколе власть в мире принадлежит территориальным установлениям, до тех пор общность людей всегда будет подвергаться серьезным опасностям и ограничениям. На всякое, хотя бы и самое благожелательное, вмешательство может последовать ответ:

— Мы лучше знаем наши местные условия. В пределах нашей земли мы — хозяева, и сами устроим свои дела. Вмешательства в наши внутренние дела мы не допустим» («Международное братство»).

Эти мысли получили дальнейшее развитие в «Мистике войны и утопии вечного мира». Однако в новом историческом контексте — в период выхода России из войны мировой (через сепаратный мир с Германией) и начала войны Гражданской — они звучали еще более пессимистично. Мечты о вечном мире и международном братстве отождествляются писателем с социальной утопией: «Пока люди остаются такими, какими мы их знаем, с их человеческими страстями и с их потребностями, всегда будет вспыхивать в их сердцах злоба и жажда взаимного истребления»; для достижения идеального вечного мира необходимо чудо преображения, а оно произойдет не «на путях истории».

К теме социальной утопии в период политических катаклизмов 1917–1918 гг. Сологуб обращался не раз. Скептический прогноз относительно общественного строя, в котором станет возможен «вечный мир» и «международное братство», прозвучал также в его сати-

[1] Сообщение см.: Бирж. вед. 1917. № 16229 (12 мая). Утр. вып.

рическом памфлете «Богдыхан. Эпизоды из романа, который может быть написан» (1918)[1]. Неслучайно во вступлении к этому сочинению, пародирующему установившийся в стране советский режим, Сологуб еще раз вспомнил все названные в «Мистике войны…» утопические произведения мировой литературы — от «Города Солнца» Т. Кампанеллы и «Утопии» Т. Мора вплоть до романов Г. Уэллса и А. Богданова[2]. Очевидно, события Первой мировой войны еще более укрепили взгляд писателя на человеческую природу и общество, получивший наивысшее художественное выражение в романе «Мелкий бес» (1907).

---

1 «Богдыхан» — аналог утраченного «контрреволюционного» текста Сологуба «Китайская республика равных», послужившего со стороны Политбюро причиной отказа писателю и его жене в выезде за границу. См.: *Сологуб Ф.* Богдыхан: Эпизоды из романа, который может быть написан / Публ. М.М. Павловой // Ежегод. РО Пушкинского Дома. 2007–2008. СПб., 2010. С. 528–542.

2 Там же. С. 537.

ФЕДОР СОЛОГУБ

Статьи и очерки

1914

Мира не будет

Изумительная русская доверчивость и высокий строй русской души особенно ярко обнаружились в последнее время. И в ином даже до чрезмерности, до той степени, о которой мы сами, и даже с осуждением, готовы говорить:

— Это возможно только в России.

Мы твердо веровали и продолжаем верить, что все действительное разумно, что все европейское лучше русского, что Германия — страна высокой культуры, что во всех обстоятельствах жизни следует по отношению к заграничным поступать так, чтобы нас не приняли, Боже упаси, за дикарей, питающихся сальными свечами, и во многом еще столь же прекрасном мы твердо уверены. Твердо, простосердечно и смиренно. Ибо Россия представляется нам в виде невежественного мужика, а Европа — в виде Лауры за клавиром. Где-то недавно читал я, будто иные из гонимых из Германии русских так расстилались перед шуцманами, что тем становилось противно.

— Милостивый господин! — униженно кланяясь бульдогообразному шуцману, говорил русский.

И шуцман смотрел презрительно, и говорил:

— Я — не милостивый господин, я — простой крестьянин.

Даже бесчестное разбойническое нападение немецко-турецких кораблей не совершенно и не всех убеждает в низменности побуждений, которыми руководятся наши враги, и в том невысоком строе германской души, который делает возможным такой способ действий. Поэтому нам слишком часто приходится удивляться, негодовать и протестовать. Недаром еще Крылов говорил:

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб слов не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.

Да и протестуем мы очень осторожно. Эта осторожность не покидает нас даже тогда, когда мы протестуем против возмутительных германских зверств.

Мы протестуем, более всего стараясь о том, как бы нам самим не поступить не совсем корректно, — протестуем с соблюдением самого высокого благородства, убеждая в то же время не доводить протеста до крайности, не перевести его в действие

и не обидеть того, против кого мы протестуем. Мы думаем, что должны сами быть хорошими и не глядеть на других. Как мальчикам хороших семей внушают, что они не должны ни с кого брать дурных примеров, так и нам учителя и наставники наши усиленно стараются внушить правила хорошего поведения по отношению к нации грабителей и насильников, к нации, никогда не воевавшей иначе, чем она воюет теперь, к нации, только легкую носящей личину рационализованного христианства.

Начало войны с Германией удивило нас очень. Как же так, — мы всячески уговаривали сильных не обижать слабых, и вдруг кто-то извратил истину и, напавши на нас, завизжал на весь Берлин, что это на него нападают, и что он восстал, как муж, для отражения удара. Кайзер сказал неправду! Он сам готовился к войне, сам объявил ее, а нас в этом обвиняет! Ужасно нехорошо! И как могли ему поверить германцы, которым мы были так долго столь благожелательны и полезны!

Потом мы все время переходили от удивления к негодованию и обратно. Как будто все совершавшееся на свете не могло убедить нас в том, что так именно и будет, и что великолепные германцы с русскими свиньями иначе и не могли поступить.

Мы жили долгие десятки лет в самом близком соседстве с германцами, видели их в России, сами часто ездили к ним, учились по их книгам, восхищались созданиями их искусств, и все же не могли достаточно отчетливо усвоить ту очевидную истину, что германец и русский так отличны один от другого, словно они живут на разных планетах.

Только наиболее проницательные среди нас видели, что в Берлине творится какая-то особая, тяжкая для русского духа, жизнь. Но мы объясняли это тем, что, прежде хорошие, теперь немцы Германии испортились, соблазненные отравами своего милитаризма, и забыли заветы своих великих философов и поэтов.

И вот, когда неожиданно для нас, но многократно предсказанная, возгорелась ужасная по своим размерам война, мы думали:

— Да уж не сошел ли Кайзер с ума? Как же это он решился подвергать империю (не нашу, а чужую нам, Германскую) такой опасности! Да ведь германцы же не хотят войны! Да ведь социал-демократы протестуют против войны! Да ведь Вильгельма свергнут с престола, если он проиграет войну!

Нас занимали не столько те тяготы и труды, которые бодро подняла на свои плечи опять могучая Россия, сколько будущие огорчения и неприятности, ожидаемые нами для германского кайзера.

Мы так были уверены в том, что эта война и для германцев не может не представляться несправедливою, что легко и охотно поверили распространившимся слухам о том, что Розу Люксембург и Либкнехта расстреляли.

Но вдруг оказалось, что в вопросе о войне германские социал-демократы заодно с кайзером. И денег ему дают, и сами в полки идут. И не одни социал-демократы. Если верить газетным сообщениям, Гергард Гауптман писал, что разрушение Лувенского университета его менее огорчает, чем простреленная грудь немецкого солдата; т. е. выходит, что не кайзера винит поэт в пролитии многой крови, а тех доблестных людей, которые твердо решились ценою своей жизни отстаивать ненарушимость мира в их родной стране. Германские ученые заявили, что германская культура неотделима от милитаризма, что прусский милитаризм только для того и изобретен,

чтобы спасти германскую культуру, так как Германия из столетия в столетие подвергается нашествиям, и что, не будь прусского милитаризма, культура Германии давно была бы сметена с лица земного.

Все эти заявления изумили нас чрезмерно.

Между тем, проявляя необычайную изобретательность в злодеяниях, Германия давала многие поводы для негодования: нарушила нейтралитет Бельгии, — совершала жестокости с мирным населением занятых ею стран, — грабила занятые ею места, собирая контрибуцию.

Нарушение договоров, жестокости, грабежи, — все это казалось нам совершенно неожиданным. Как же это так? Страна Шиллера, Гёте, Канта, и вдруг ведет войну так, словно это гунны и авары, а вовсе не культурнейший в мире народ.

Это было для нас так неожиданно, что одни уверяли, будто никаких жестокостей и грабежей нет, что все это — одно газетное вранье; другие же говорили, что прусский милитаризм оказался для Германии вредным и подавил в ней дух Гёте и Канта. В то же время, как одни произносили с ироническою усмешечкою слова «германские зверства», другие воспылали твердым намерением спасти германскую высокую культуру от бешенства прусских юнкеров и мечтали даже о том, что Германия объявит войну Пруссии. Многие из нас уверены в том, что стоит только сокрушить прусский милитаризм, и германская культура расцветет еще более ярким цветом на радость и на пользу всему миру. Опять можно будет ездить на восхитительные германские курорты, пользоваться превосходными германскими фабрикатами, и осыпать Германию ежегодно сотнями русских миллионов, чтобы германская культура имела достаточно средств на вооружение новых полчищ.

Документально засвидетельствованные случаи грабежей и жестокостей продолжались. Доходили или не доходили до Германии наши протесты, — германцы не слушались, и продолжали грабить и насильничать. Появились и другие документы. Представители искусства и науки в Германии заявили, что жестокости и грабежи они одобряют, что прусский милитаризм вполне приемлют, и что в борьбе с внешним врагом они все заодно.

Совершенно недвусмысленно сказано было нам, что германцы даже и не собираются отрицать то, что им ставят в вину. Договоры о нейтралитете Бельгии? Клочок бумаги. Но под ним стоит подпись Пруссии? Да, но тогда Пруссия была слабым королевством, а теперь Германия сильна, и потому смеет снять свою подпись с этого ненужного ей документа. Святость обещаний? Интересы Германии и ее сила должны стоять выше права. Разрушение соборов? Германцы построят очень хорошие здания для проповеди, самой хорошей архитектуры, из самого прочного материала. Сожжение библиотек? Германцы напишут более ценные книги, где не будет мечтательности и заблуждений, а одна только точная наука. Убиение детей и женщин? Ну что ж, германская раса выше всех, и мир ничего не потеряет, если на земле останутся только одни германцы.

Германия, Германия выше всего, выше всего на свете. Берлин — лучший из городов, германская наука, философия, искусство — все это лучшее из всего, что видел мир, и вообще германец — венец создания. Ведь еще столь высоко почитаемый нами Шиллер говорил, что в германцах сочетались римская сила и греческая грация.

В налитом пивом берлинце, конечно, преобладает римская сила, в его голубоглазой Гретхен — греческая прелесть. Римское право и высокое искусство дивной Эллады изучаются в университетах вместе с другими почетными древностями. Применять их на деле не следует, ибо, по представлению германца, сила выше права, а полицейский устав прусского благочиния призван корректировать простодушное и порою слишком откровенное искусство.

Но и после всех германских заявлений русское прекраснодушие продолжало толковать о прусском милитаризме и об обуздании его на благо самой Германии. Русское прекраснодушие не хочет оставить Германию без своих забот, не хочет понять, что Германия сама знает, чего ей надобно и что для нее полезно. Надобно Германии очень многое, и в первую очередь ей нужны славянские земли, — им кажется, что им тесно, нам, по их мнению, слишком просторно, пусть будет наоборот. Говорят, будто Вильгельм в день объявления войны сказал берлинскому народу с балкона своего дворца, что у иного русского помещика больше земли, чем у баварского короля.

Нас движут, конечно, побуждения совести иного порядка, чем те, которыми брошена в бой Германия. Земель чужих нам не надобно, своих достаточно. Германию же движет корысть, тупая и жестокая.

Пора нам, наконец, понять, что мы вступили в период войн с Германиею, и что продолжительность этого периода будет исчисляться столетиями, как целыми столетиями приходилось нам сражаться с турками.

Мы вступили в период решительной борьбы за наше национальное самоутверждение, за самое право наше на жизнь. Мы роковым образом поставлены в необходимость не только победить, но и раздавить Германию, потому что без этого нам не жить. Могущественная Германия рядом с нами всегда будет посягать на нашу экономическую и духовную самостоятельность.

Сокрушить Германию нам придется против желания нашего, не потому, что мы хотим распри, — мы — народ, воистину, миролюбивый и совестливый, — а только потому, что германец не даст нам мира никогда. Он стал силен, и стремится к всемирному господству. Русская равнина до Урала, мечтается ему первым призом; недаром германские шпионы уже долетали на аэропланах до Перми, и уехали, не повешенные, мирно. Завет германца: пардона не давать. Он не знает, и никогда не усвоит русского завета: лежачего не бьют.

Мы вышли в решительный бой с врагом очень сильным, и это — враг не случайный, ‹а› наш роковой и надолго враг. Потому что Германия — совершенно другой, сравнительно с нами, мир. Против нашей восточной, мистической, религиозной души встала воплощенная в Германии механизованная душа, антихристианская, рационализованная по-машинному, душа без вещих ведений и прозрений, но с необычайною силою материализма, душа язычников Гёте, Канта, Ницше, и всех этих бесчисленных блестящих, но холодных умов. Так понятно, что пруссаки разрушают католические соборы! Их лютеранскому рассудительному чувству ничего не говорит таинственный сумрак древних храмов, пронизанный лучами мерцающих светочей, напоенный сладостным шепотом и плачем умиленных воздыханий и покаяний. Их берлинские храмы гладкостенны, как фабрики, и их проповедники говорят такие благоразумные и полезные для жизни нравоучения!

Вот близится время, Россия, сказать миру твое новое слово. Сказать это слово чрезмерно трудно, потому что мы завалены целым Гималаем германской культуры, науки, философии, искусства, и освободиться от всего этого страшно трудно, не под силу одному поколению. Добровольно пошли мы в кабалу к немцу, и «рано веровать привыкли мы, что нам без немца нет спасенья».

С необычайною навязчивостью вливался немец в русскую душу. В «Отцах и детях» есть воистину проникновенная страница, где рассказывается, как юный, но уже наглый выученик нигилистической германской культуры заставляет своего отца читать девятое издание Бюхнеровской брошюры «Материя и сила».

— Сегодня я сижу да читаю Пушкина... (рассказывал об этом казусе отец своему брату). Помнится, «Цыганы» мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и, молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мною другую, немецкую... улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

Материя и сила, — вот что видит в мире германец, и совсем иное в мире видит наш мистический восток, от которого должен сиять миру свет спасения. Борьба вне, и борьба внутри, она будет работою поколений, — и очередная задача наша даже не в том, чтобы победить Германию, Австро-Венгрию и Турцию, — наши доблестные войска сделают это, — а наша задача в том, что мы должны воспитать бодрые поколения, не зараженные холопским поклонением перед тевтонскою материальною культурою, блистательною, но дикою. И для этих поколений мы должны работать над возвеличением и воскрешением русской и иных славянских и восточных культур.

Тень трагедий

На днях читал я где-то, что в Париже 20000 безработных театральных и кинематографических деятелей. Театры и кинематографы закрыты, — почти все актеры и почти все зрители ушли на войну, зрительницам не до театра, и оставшиеся деятели сценического искусства и «великого» Кинемо голодают.

Кто-то, вернувшийся из Лондона в Петроград, был поражен беззаботным видом нашего города. В Лондоне настроение очень серьезное. Опасность в одну непрекрасную ночь услышать грохот разрывающихся бомб, сброшенных с германских цеппелинов, а утром узнать о разрушенных домах и об убитых женщинах и детях, — эта опасность достаточно реальна, и отнюдь не настраивает англичан на развеселое тру-ля-ля. С наступлением сумерек Лондон принимает мрачный и зловещий вид. Зажигаются не все фонари на улицах, а у тех, которые горят, затемнены верхи, чтобы свет не виден был сверху; слабые отблески света льются по мостовым и тротуарам, оставляя верхи домов в тени.

У нас — ничего подобного. Правда, театр Рейнеке не действует; правда, в провинции многие антрепризы не осуществились из-за войны; но Петроград и Москва все же наслаждаются сценическим искусством.

Один опытный режиссер — москвич говорил, что публика, особенно московская, жаждет веселой комедии, чтобы отвлечься от тяжелых впечатлений, которые

даются чтением газет. Не знаю, так ли это, но мне рассказывали, что на одном очень занимательном и дорогом здешнем спектакле чрезвычайные восторги публики вызваны были именно исполнением пьес кафешантанного пошиба. Под величественными сводами, где звучит иногда благородный голос Шаляпина, завизжала разудалая шансонетка, и всем это чрезвычайно понравилось.

А между тем тень высокой трагедии ложится и на наш театр, и на дорогах его уже завиваются пыльные вихри. Правда, в них много сору, — ветер поднял то, что нашел, — но эти вихри предвещают очень хороший спектакль с громыханием великого грома и с могучими вспышками прекрасных молний.

Когда началась война, антрепренеры, актеры, драматурги, все думали, что публика не захочет смотреть ничего, кроме пьес злободневных и патриотических. Такие пьесы посыпались в драматическую цензуру целыми десятками. И это было понятно, — события слишком волновали всех, и многим хотелось на них откликнуться. Некоторые из этих пьес попали на сцену и идут с большим или меньшим успехом.

Затем, к удивлению театральных деятелей, выяснились два обстоятельства: 1) поставленные злободневные пьесы (кроме одной) очень плохи, и 2) публика не желает забивать кредитными бумажками кассы театров в благодарность за доставленную ей приятную возможность созерцать эти плохие пьесы. Тогда-то и началась усердная погоня за разными тру-ля-ля.

Что почти все быстро написанные и быстро поставленные пьесы были плохи, в этом не было ничего удивительного. Скорее странно было бы, если бы иначе случилось. При том решительном разрыве театра с живыми силами русской литературы, на который сознательно идет русский театр, происходит вот что:

С одной стороны, русский писатель, усердно выясняемый со сцены, приучается писать драмы в расчете на потомство и без всякой оглядки на действительные силы и способности современного театра. С другой стороны, существует и укрепляется мнение, что театральная литература есть нечто, к высокому искусству слова имеющее весьма небольшое отношение. Происходит нечто подобное тому, что делается в области детской литературы: люди, приставленные к детям, думают, что настоящих книг детям читать не следует, и потому существуют особые детские писатели, о которых взрослые не имеют понятия. Театральные люди думают, что для театра нужно то, что им кажется легким и удобным для театра, и меньше всего нужна поэзия. Как певец не стесняется петь пошлые и глупые слова и композитор не стесняется писать на такие слова хорошую музыку, так и актер не стесняется произносить пошлые и глупые слова, если они находятся в составе рольки, для актера удобной, приятной и выигрышной.

Нет ничего удивительного и в том, что публика жаждет веселых зрелищ. Как бы ни было высоко общественное настроение, как бы единодушно ни откликался весь народ на великие события, люди всегда останутся людьми со всеми своими слабостями и пороками, и долго держаться на высоте трагических переживаний они не могут. Напряженные нервы требуют новых впечатлений. Выдавив из глаз скупую слезу сочувствия несчастной Бельгии, зритель уже устал, уже он хочет плясовых мотивов. Самому изысканному вкусу может понравиться идея устроить пир во время чумы, и строгий моралист иногда найдет для такого пира кое-какие оправдания

хотя бы в том, что эта искусственная веселость способствует поддержанию бодрого духа в стране, переживающей значительные и трудные события. Изысканному вкусу нужно пиршество; вкусу же общему достаточен просто-напросто кабак, так же достаточно хорошо развлекающий.

Если театр не хочет или не может идти впереди общества; если театр не хочет или не может жить в чистой сфере высокого искусства; если он не хочет очищать душу зрителя волнующими и молитвенными впечатлениями, — то ему остается только плестись за обществом и угодливо спрашивать:

— Что вам угодно?

Ибо во имя чего же он мог бы восстать против общего мнения и терпеть кассовый ущерб?

А все же тень трагедии ложится на путях русского театра, и ветер, предвещая великую очистительную бурю в искусстве, завивает уже пыльные вихри. И пусть в них много сора, — ветер поднял, что нашел, — но нам мило не то, что вьется в серых вихрях пыли, не эта мглистая морока, а то широкое веяние бури, которое предвещает нам расцвет искусства.

Вот наступает час, когда общий вкус, общее мнение, общее чувство, все это общее, что доныне было отвратительно для нас своею пресною обывательщиною, своею нестерпимою и неистребимою пошлостью, теперь возвышается в вихре великих событий, очищается в нем, входит в сферу всенародного, вселенского дела и чувства.

По надменному слову одного из руководителей здешнего Религиозно-Философского Общества, происходит снижение наше до вышедшего на подвиг народа, снижение, ибо война — это есть все еще явление вчерашнего дня, а не того завтра, которым мы живем. Я бы не принял этого надменного, но по существу унижающего нас термина. То и отрадно, что, оставаясь на своих высотах, мы сближены теперь с тем, что казалось нам пребывающим там внизу, в долине. Когда даже пошлая частушка поднимается до такой лирической высоты и кристальности, как хотя бы в таком примере:

Дождик, лей, дождик, лей
На меня и на людей,
А на друга моего
Не брызни разу одного, —

то стоит ли говорить о каком-то там снижении.

Не снижение, а сближение происходит на путях трагического мироощущения. Пусть привычные к этому делу люди разделывают свои тру-ля-ля, — и их искусство возвышенно и прекрасно, если оно веселит душу и поднимает дух, жаждущий высокого подвига, — но истинная радость наша все-таки не в этих песнях с присвистом, а в том, из чего слагаются элементы будущей трагедии.

Для того, чтобы искусство вышло на широкий путь, ему нужны, прежде всего, два элемента: обще-признанный герой и обще-восхваляемый подвиг. Индивидуальный героизм противен духу русского народа, как он исторически сложился к нашим дням; но весь народ, вставший на великую борьбу за неоцененные блага, на борьбу, истинных размеров и последствий которой мы теперь и оценить не можем, — этот

народ носит в себе самом все черты трагического героя. Он встал на подвиг не в гордыне ума и сердца, как наш враг, а со смиренною жаждою очищения. И если эта жажда очищения сознательна и велика, то и течение трагедии будет величественно и славно.

Трагедия индивидуального героя кончилась его гибелью. Борьба с роком не под силу одному. Но трагедия героя коллективного может предвещать иное разрешение. Рок выражает свою волю голосом множеств, и, когда то, что было в античной трагедии хором, берет на себя подвиг и ответственность героя, то жертвы многими жизнями умилостивляют и непреклонность Рока.

Трагедия, разрешающаяся торжеством героя, — вот что мечтается мне на путях нашего театра. Радостная трагедия. Такая радостная, что предшествовать ей не запрещено и скомороху с гремящим бубном. И ты, шансонетка, визжа и приплясывая, выражаешь, как умеешь, предчувствие радостной победы и ликующей трагедии.

Театр кроликов

Некая чувствительная норвежская дама, разочаровавшись вдруг в своей жизни и в своем муже, нашла, что ее жизнь — не настоящая, не серьезная жизнь, и что ее дом — не настоящий, а только кукольный дом. И ушла из кукольного дома, чтобы строить настоящий.

Трагедия Норы — одна из основных трагедий буржуазного склада жизни, для каждого из нас так естественно в одно скверное утро почувствовать вдруг, что масштабы нашей жизни очень мизерны, что кругозор наш очень ограничен, и что, рядом с нашею малостью, с нашею кукольностью, есть нечто иных размеров, не всегда, правда, великое, но, по крайней мере, крупное, громоздкое, не вмещающееся в наш малый ящик кукольного мира.

Такое ощущение особенно часто бывает свойственно благополучному обывателю в дни великих исторических событий, как, например, и в наши дни.

В обыкновенное время увидеть малость наших размеров трудно, и доступно не всякому. Объявить драму нашей жизни театром марионеток решится не каждый. На это решится не каждый потому, что мало кому дано ощутить вселенское значение своего человеческого Я, — ведь только на этой высоте действительно ценным становится великодушное самоотречение и слияние своей малой воли с миродержавною Волею, выраженною в мощном ходе мировых событий; и только поднявшись на эту высоту великого самоутверждения, переходящего в великое самоотречение, возможно понять правильно отношение размеров жизни благополучной и жизни роковой, — той жизни, где господствует капризный случай, порождающий бытовые анекдоты, и той жизни, которую направляет судьба, творящие трагические события.

В наши великие дни эта разница размеров слишком явственна. Какой бы пышный наряд ни надевали на себя исполнители драм и комедий, все-таки нам всем кажется, что настоящий театр — театр войны, громадный по размерам и чрезвычайный по значению развертывающихся на нем событий.

А наш театр? Я бы все же не назвал его театром кукольным. Как-никак, мы все-таки — живые люди, и из нашей среды выходят деятели настоящего театра. Мы — материал. Быть материалом для великого — назначение, конечно, благородное, отнюдь не кукольное. Мы скорее похожи на кроликов.

Кролики очень милы, и сравнение с ними ни для кого не обидно. Да я и говорю о кроликах лишь для того, чтобы назвать наилучшие и наиболее ценные свойства кроличьей натуры, свойства, потребные и гордому роду человеческому, иногда в большей мере, иногда в меньшей. Говоря о кроликах, я разумею, так сказать, сверхкроликов.

Судьба не дала кроликам грозных средств защиты и нападения, и потому кроликам свойственно в большом количестве становиться жертвами свирепых хищных зверей. В вознаграждение за эту неприятность судьба послала кроликам действительное утешение, дав им любезные свойства влюбчивости и плодливости. Гений рода торжествует среди народа кроликов, обольщая их многообразными прелестями любви и страсти, и своенравно терзая их муками отвергнутых исканий и ревности.

Влюбленные кролики, конечно, очаровательны не менее, чем герои любой оперетки, идущей по сту и по двести раз в сезон. Ревнующий кролик, конечно, не менее свиреп, чем любая театральная разновидность Шекспирова обманутого мавра.

Гений рода зажигает кроличьи сердца пылом страстей не напрасно: это ему необходимо для того, чтобы обеспечить продолжение рода, который без того мог бы начисто изничтожиться. Как бы ни свирепствовал враг, — но вот над миром опустошенным возникает сладостная любовь, и воздвигает к жизни новые поколения, прекрасные и сильные.

Конечно, гений рода (кроличьего так же, как и человечьего) употребляет все средства для возбуждения, развития и поддержания в сердцах потребных для него чувств. Для этого он пользуется и всеми обстоятельствами жизни, и всеми обольщениями очаровательных искусств. Пользуется он и театром. Поэтому не следует удивляться тому, что во времена поистине героические, во времена, когда совершаются подвиги, способные зажечь чистым восторгом самое неотзывчивое сердце, в эти времена театр не весьма тяготеет к трагедии, а делается театром влюбленных кроликов. Трагедия придет после, лет через семнадцать, чтобы восторгом зажечь сердца юных, ныне еще не рожденных.

А теперь первая страница газет возвещает нам, что вечером, в великолепном зале, перед рядами декольтированных дам и элегантных фраконосцев, под звуки сладкой музыки, знакомой уже и шарманкам, опять будут любить друг друга и страдать Маргарита и Арман; что в веселом театре под легкую музыку покажут «Причуды страсти», и кто-то опять и опять будет танцевать все еще не надоевшее танго; что в легкой комедии прекрасная актриса изобразит любовь и другие приключения по чьему-то капризу вознесенной в чуждую сферу уличной красавицы; что в театре миниатюр покажут дамские хитрости, битву амазонок, танцы, и еще танцы; словом, что во всех театрах гений рода будет чаровать кроличьи сердца эротическими прелестями.

Иначе и не может быть: где пролитие крови, там и напряжение страсти. Ни одна героическая эпоха не была свободна от этого вплетения в жизнь обывателя кроли-

чьих страстей, и потому не была свободна и от искусства «чувствительного и фривольного», по выражению милого поэта.

Итак, я думаю, что в наши дни театр все более будет склоняться к легким и чувствительным изображениям любовных отношений, ко всему волнующему и влюбляющему, ко всему, что будит в человеке очаровательно кроличью сторону его существа. После войны тема о любви, возможно, станет для театра преобладающею еще в большей степени, чем до войны. И даже не в том смысле, что играются и будут играться пьесы о любви, — такие пьесы всегда ставились и ставятся, — а в том смысле, что самое существо и самый дух пьес сведется на некоторое время к их эротическому и возбуждающему элементу.

Уж раз, что <*так!*> театр, по той или по другой причине, захотел стать пиром во время чумы, ему не остается другого пути, кроме пути чувствительных и фривольных очарований. Мы, оставшиеся в городах, не оказались в должной степени на уровне великих событий; мы не захотели высокой трагедии. Театр не стал для нас храмом экстатического единения с вышедшим на великий подвиг народом; он все еще остался для нас местом забавы, развлечения, отвлечения от мрачных мыслей. Обвинять в этом никого не следует. Очевидно, есть какая-то историческая необходимость в том, чтобы так было. Очевидно, для истории еще нужны кроличьи норы, кроличьи сердца, кроличий театр. И мы все, в театре развлекаясь и отвлекаясь, конечно, выполняем ту историческую роль, которая на нас, оставшихся, возложена ушедшими. И роль эта сводится к тому, чтобы сохранить бодрость в стране, возложившей на себя бремя великого подвига, и чтобы, очаровавшись тем, что кажется нам лично и мелко привлекательным, действительно послужить гению рода созданием нового поколения, счастливо зачатого и счастливо рожденного.

Это новое, бодрое племя, которое явится на свет Божий в ближайшие годы, будет рождено под гул великих исторических бурь, — и для него, счастливого, мы, поэты, сложим высокие трагедии. В 1931 году они увидят свет рампы. (Конечно, эта дата взята приблизительно.) А пока пойте и пляшите, милые кролики!

Выбор ориентации

На днях один умный и талантливый писатель, побывавший близ тех мест, где разрываются шрапнели, говорил мне:

— У солдат совсем другое отношение к врагу, чем у нас, — чисто деловое. Замечательно уже то, что солдат никогда не ругает немца.

Черта утешительная, показывающая высокий строй народной русской души. Гораздо более высокий, чем думают те прекрасные городские люди, которые считают необходимым предостеречь русского человека и оберечь его душу от озлобления против немцев. Мужик пошел на войну, как на высокое и трудное дело, дело необходимое, дело защиты родины от напавшего врага, надобно заступиться при том за обиженных, за сербов и, кроме того, войною добыть какую-то драгоценную правду. Сердиться на врага ему, прежде всего, и некогда; в самой битве он лют, но сердце имеет отходчивое, и крепко помнит, что против него идет такой же, как он, мужик, оторванный от домашней работы и обязанный идти, куда шлют,

защищать с в о ю родину и добывать свою правду. В этом — вся истинная философия и психология войны. Надобно честно и стойко делать свое дело, стоять до конца за свое, а кому победить, — это Бог рассудит. В народном понимании война — суд Божий между народами, почему и нельзя вносить в нее озлобление.

А вот мы, в городах, так называемая интеллигенция, с таким эпическим спокойствием и незлобием отнестись к страшному и трудному делу войны не можем. Враг наш в нашем представлении — не мужик вооруженный и не рабочий около пушки, а воюющая с нами отвлеченная Германия. С этою Германиею мы связаны многообразными узами, связями духовными и материальными, идеями, наукою, искусством, культурою, знакомствами, симпатиями, срослись с Германиею уже очень плотно, и для нас острие меча режет по живому месту, и нам больно. Костромскому мужику легче, — нашей боли он чувствовать не может, — меч, разящий нас больно, у него падает по пустому месту.

Когда мы думаем о войне, мы думаем не столько о прерванном для войны труде мужика тамбовского, или ганноверского, или бретонского, сколько о разрушенном Лувене, о Реймсском соборе, о нехороших поступках курортных германских врачей, о газетных статьях германских публицистов, поэтов, ученых, о их ненависти к нам, русским, которых они зовут варварами, и о том особенно, оказалась ли германская культура на высоте тех гуманных идей, которыми мы, среди всего неустройства и зла жизни нашей, так дорожим. Словом, думаем обо всей роскоши и накипи интеллигентского бытия. И вот в этом узле для нас завязывается трагедия, которая рязанскому мужику так же мало понятна и доступна, как и другие наши радости и огорчения, но которая нам дошла до сердца и исторгает из нас то гневные, то скорбные речи. Перед нами стоит трагический вопрос: сохранить ли нам нашу влюбленность в европейскую, в частности, в германскую культуру, или это европейское, германское, разлюбить.

Вот в этом-то и состоит наша интеллигентская трагедия. Кто милее: Европа или Россия? Где наша истинная родина? в степях восточной Европы или в парках Версаля?

Мне кажется, что нет другого сословия или класса, обреченного на более скорбную трагедию, чем прекрасная, многострадальная русская интеллигенция. Каждый класс имеет свой интерес, отстаивает его, как умеет, и видит врага в том, кто и есть его враг. Русская интеллигенция привыкла видеть свой интерес в торжестве справедливости и гуманности, в устройстве счастия для мужика, для рабочего, для Польши, для евреев. На своем высоком пути она почти всегда одинока, и там, где она видит друзей, к ней, в лучшем случае, холодны.

Мы влюблены в европейскую цивилизацию, в ее внешнюю культурность, а европейцы говорят: «поскребите русского, найдете татарина»; и мы очень стыдимся этой пословицы, как будто и в самом деле трезвый, трудолюбивый и честный татарин хуже смекалистого и плутоватого германского коммивояжера или парижского куафёра. Мы влюблены в народ, но смотрим на него Кавказскими пленниками: «европейца все вниманье народ сей дикий привлекал»; а народ смотрит на нас как на существа бесконечно чуждой природы. Потому что мы приходим к нему, наглотавшись европейского яда, но очень все-таки слабые по части европейской техники;

а ведь только европейская техника нам и нужна, что очень хорошо понимает и пермский, и подольский мужик, очень хорошо умеющий оценить достоинства хитрой немецкой машины, если только она притащена в деревню не зря и без толку, а в строгом согласовании с местными условиями.

С тех пор как Петр Великий, обрив наши бороды и научившись у голландцев кораблестроению, у шведов — ратному делу, и вообще у европейцев многому полезному, прорубил окно в Европу, — вот только с этого времени мы и ведем свою историю цивилизации, и если бы у нас, как у англичан, был свой Бокль, он не начинал бы от времен Олеговых.

Великого Петра
Он звал отцом России новой;
Он видел след руки Петровой
В основе всякого добра.

А раньше Петра мы, по-видимому, были дикими, вроде папуасов.

Европа стала для нас страною святых чудес, вечным образцом того, к чему следует стремиться. Она и дала нам много доброго и полезного. Дала, конечно, не даром. Наши труды и затраты на Европу, поистине, колоссальны. Мы и воевали-то часто за европейские интересы. В мирное же время мы усердно обогащали ее. Русские путешественники своими деньгами помогли германцам иметь отличные дороги, великолепные курорты и превосходные крупповские орудия, в то время как русский мужик кряхтит от бездорожья, а русский горожанин гнушается русскими лечебными местами.

В благодарность за это пользующаяся нами Европа всегда смотрела на нас свысока, и мы всё никак не могли догнать ее, хотя, право же, и у нас кое-что свое было.

Только последние десять лет работы Государственной Думы дали сравнительно более быстрый темп нашей ученической работе. И что в этой работе мы, действительно, двинулись вперед за это десятилетие очень далеко, показывает уже ход войны: ни одна война со времен Петровых не шла так удачно для нас (если принять во внимание ее исключительную трудность), как эта война. И эта творческая работа общественных сил отразилась на простом народе, который пошел на эту войну с таким подъемом, какого он не знал, может быть, со времен Куликовской битвы. В этом и есть залог того, что война принесет народу некое положительное и высокое благо, и что кровь проливается не даром. С таким подъемом ведутся только освободительные войны.

Интеллигенция же наша переживает критический момент. Если она и для себя желает от последствий этой войны некоего блага, если она хочет, чтобы и для нее эта война стала освободительною, то ей придется многое преобразовать в строе своего миропостижения. Европейская ориентация, проводимая слишком прямолинейно и в тех областях, где не она потребна, оказывается для нас столь же трагическою, как для поляков могла бы оказаться ориентация австрийская, если бы поляки пожелали в этом упорствовать.

Кризис европейской ориентации состоит не в том, что европейская культура оказалась несостоятельною; не прав опрометчивый поэт, сказавший про эту культуру, что «гнила культура, как рокфор».

Европейская, в частности, германская культура еще крепка и добротна, что и сказывается, между прочим, в той деловитости и в том одушевлении, с какими германцы ведут эту войну. Но нам-то культура эта не сродни.

Европейская ориентация у нас терпит кризис, — размеры которого так велики, как мы теперь только с трудом можем представить, — потому, что европейская культура потребна нам только о т ч а с т и, в предметной своей части, а не целиком, как мы хотели ее взять. Никогда, думаю я, не дойдем мы до того «культа вещей», которым так характеризуется та же немецкая цивилизация, и никогда душу свою, Марию, не променяем на тело ее, Марфу.

Этот культ вещей порабощает европейца и держит его в очень тесных рамках буржуазного бытия. Мы свободны от этого рабства вещам, и должны остаться свободными.

Это не значит, конечно, что нам следует отвергнуть материальную культуру Европы. Технику и законодательство, манеру строить дороги и дома и строить даже внешние формы жизни, — все это будем брать по-прежнему или даже еще энергичнее, но всему этому дадим только служебное значение. Пусть побывавшая в европейской школе Марфа хлопочет и заботится о всем внешнем, — хозяйкою нашего великого русского дома останется все же мечтательная и молитвенная Мария, сидящая у ног Христовых.

Мы — не Запад, и никогда Западом не будем. Мы — Восток религиозный и мистический, Восток Христа, предтечами которого были и Платон, и Будда, и Конфуций. Трагедию нашу мы должны разрешить в том, чтобы над крушением европейской ориентации вознести то новое слово, которое мы давно обещаем миру, но которое уже давно дано нам в мистическом миропостижении Востока. Довольно нам ориентироваться на Запад, пора нам найти в самих себе нашу правду и нашу свободу, опереться на исконное свое, вспомнить древние наши были, оживить в душе торжественные звоны вечевых колоколов.

В идеалистичности нашей интеллигенции, в ее высокой незаинтересованности лично для себя, вот в этом нашем прекрасном свойстве и сказывается наша тоска по тому сокровищу, которое нам дано, но которое мы держим под спудом.

1915

Отечество для всех

Великая война, которой мы не хотели, но которую мы ведем с великим одушевлением, с чрезвычайным напряжением всех наших духовных и материальных сил, поставила перед нашим сознанием и перед совестью нашею основные вопросы нашего общественного и государственного строительства. Не напрасно газеты поспешили назвать эту войну отечественною. Вопрос об отечестве внезапно приобрел для нас особую остроту и значительность.

Русское общество и русский народ застигнуты войною неожиданно, но светлая сторона этой войны в том, что она пришла к нам тогда, когда представшие нашему решению вопросы в разуме и совести нашей оказались уже решенными.

Героическая работа русской интеллигенции прошла недаром. И теперь нам надо не спорить и доказывать, а только определить смысл событий. И этот смысл совершающегося заставляет нас признать эту войну не только оборонительною, но и освободительною. Мы приемлем ее не только как борьбу за права малых государств, угрожаемых <*так!*> великими, не только как борьбу против германского милитаризма, но и как борьбу за наше внутреннее освобождение, как борьбу против внутренней опасности, в каких бы разнообразных формах эта опасность ни выражалась.

Первая и главнейшая опасность, — опасность внутреннего разделения и нестроения. Готовность всех населяющих Россию племен с равным рвением встать на защиту отечества показывает, как несправедлива в России проповедь человеконенавистничества и узкого национализма. Племена, наравне с русскими несущие все тяготы нашей государственности, наравне с русскими защищающие наше общее отечество, этим самым утверждают, что отечество для всех, что Россия для каждого, кто считается русским подданным и исполняет свои обязанности по отношению к государству. Не для русских только по языку и происхождению Россия, она для всех, кто осенен мощью ее державной государственности. Неравенство в правах разных народностей никому в России не нужно, мощи государственной не увеличивает, и лишь поддерживает наше внутреннее нестроение. Уравнение всех в правах нимало не противоречит определениям русской государственности.

Скажете ли вы, что Россия создана русским племенем? Хорошо, стало быть, она должна определяться свойствами русского народного духа, — а этому духу чужда и противна вражда и замкнутость. Душа русского народа доверчива, открыта всем влияниям, и быть иначе не может: только та народность может служить основою великого государства, которая способна легко и радостно сочетаться со всеми племенами, стоящими на ее историческом пути. Так всегда и было в истории России, и никто же не утверждает, что люди, унаследовавшие от родителей русский язык, составляют чисто славянское, беспримесное племя.

Скажете ли вы, что Россия — государство христианское? Хорошо, но разве заветы Христа не в том, чтобы видеть друга, и брата, и равного себе в каждом человеке? Чем более мы христиане, тем менее в сердце нашем вражды и исключительности.

И разве в зависимости от того, что два человека говорят на разных языках и молятся по-разному, изменяется их отношение к делу? Для того, чтобы платить пошлины и налоги, для того, чтобы носить оружие, защищая отечество, никакого значения не могут иметь ни вероисповедные, ни расовые признаки.

Отечество для всех нас, потому — что и мы все для отечества. Отечество — наш общий дом, и этот дом все мы строим, поддерживаем в порядке и в благолепии, и защищаем. Мы строим наш общий дом не как наемники, которые получат плату и отойдут от строения, и уже оно для них чужое. Строя, украшая и защищая наш общий дом, мы ни с кем не торгуемся, мы даем все, что для строения и защиты потребно, — даем наше достояние, наш труд, самую жизнь нашу. Даже когда кажется нам, что труд наш эгоистичен, и тогда он обращается на пользу нашему общему дому, если он не преступен: ведь все то, что увеличивает счастье, благополучие и свободу каждого, живущего в доме, увеличивает прочность и благолепие дома.

Мы строим наш общий дом, украшаем его и защищаем, не щадя порою самой жизни нашей, и делаем все это радостно и охотно потому, что в общем дому нашем мы все не наемники и не гости. Кто же мы все в общем дому нашем?

Мы все должны знать и всегда помнить, что в общем дому нашем мы — хозяева. Это — не право наше, это — наш долг по отношению к дому, о котором мы должны заботиться, как и всякий добрый хозяин заботится о доме своем. Это сознание, что мы — хозяева общего дома нашего, сказывается и в том, что каждый из нас, в ком не дремлют совесть и разум, не может не чувствовать себя самого ответственным за настроения жизни нашей.

Не кто-нибудь посторонний, не конгресс союзников извне, и не какое-нибудь одно сословие внутри устроит наши дела и скажет Польше: будь такою-то, и еврею: пользуйся такими-то правами, и Финляндии: имей такие-то законы, и всем иным, что кому на пользу. Ни союзники наши, ни одно из сословий наших, ни некоторые мудрейшие или сильнейшие из нас, — мы все, русские подданные, мы все, легко и охотно несущие бремя государственности, мы все призваны в разуме и в совести нашей решить основные вопросы великого домостроительства нашего. И чего мы все, разумом и совестью соединенные, захотим, то и будет.

Мировая громада

Люди, которые очень любят Германию и германскую культуру, — а таких людей в России немало, — склонны думать, что наш союз с Англиею — случайность, вызванная к жизни потребностями момента. Они думают, что цели русской и английской политики весьма различны, и что пути Англии и России ведут в разные стороны; теперь им пока по дороге, а как только сокрушена будет Германия, так немедленно же вскроется глубокий антагонизм между этими двумя внезапными союзницами, Россиею и Англиею, и вспыхнет между ними война, или немедленно же, из-за дележа добычи, или через короткое время, так как вся Западная Европа, а стало быть и Англия, не может не бояться чрезмерного увеличения русской государственной мощи.

Наоборот, люди, пожившие довольно долго в Англии и знакомые хорошо с английскими настроениями, уверены в том, что России и Англии делить нечего, что союз между ними прочен, и что опасаться разрыва нет оснований.

Эта разность мнений только кажется разностью мнений о наших внешних отношениях; на самом деле она является разностью мнений о нашем национальном самоопределении. Хотя Россия и прожила уже тысячу лет, но она все еще находится в пленительном периоде юношеского развития, и еще не твердо знает, что такое она, Запад или Восток. Вопрос о том, нужен ли нам и возможен ли для нас союз с Англиею, есть, в сущности, вопрос о том, какими путями пойдет Россия во внутренней своей жизни.

Было время, когда внешняя политика была делом только дипломатов. Тогда Россия то завоевывала Кенигсберг, то добровольно возвращала его прусскому королю; тогда Россия то освобождала Европу от Наполеона, то покоряла Венгрию, чтобы дать Австрии возможность удивить мир неблагодарностью. Наступило время, когда

внешняя политика должна строиться в точном соответствии с живыми интересами народов. И теперь вопрос о том, будет ли у нас прочный союз с Англиею, является вопросом о том, как мы сами будем жить.

Гадать о будущем — дело, конечно, неблагодарное. Но строить наше будущее по воле нашей — это уже в значительной степени в нашей власти. Хотеть того или другого, — вот что мы можем и что мы должны. Хотеть, а не только ждать, чтобы исполнились какие-то исторические или экономические законы, которых, может быть, и нет, и которые, во всяком случае, неполны, если в них не включен элемент нашей созидающей воли.

Что касается меня, я думаю, что союза с Англиею следует и стоит хотеть. Союз этот представляется мне естественным и достойным великого государства, как Россия.

Естественным он мне представляется потому, что при всем несходстве учреждений и обычаев есть многое, что делает для нас Англию более близкою, чем всякое иное западное государство. Более, чем всякий другой народ в Европе, англичане очарованы стремлением к мировым просторам. Быть в пределах им тесно и скучно, им надобно приобретать земли, и они умеют удерживать их узами своей крепкой гражданственности. Преодолевать пространства, расточать энергию, — вот свойства, в наибольшей чистоте удержанные от времен былых кочеваний только русскими и англичанами.

От этих неутомимых кочеваний, от этого щедрого рассеяния английской энергии по широким пространствам земного шара дух английского народа в большей степени, чем дух всякого иного западного народа, сроднился с мистическими откровениями древнего Востока. Недаром же отделившиеся от Англии Соединенные Штаты Северной Америки впали в грех противоположной крайности, в дикое обóжение материальной культуры. Это — кара за отпадение от связи с родною замлею, крепкою, здоровою, религиозно и нравственно настроенною.

Достойным для величия русского народа союз с Англиею представляется мне потому, что союз этот ведет к объединению народов под знаменем истинной, духовной культуры мистического Востока. Единственные мировые державы — только две, Россия и Англия. Знаменательно то, что эти два государства строят основы своего могущества на землях и племенах религиозного Востока, а не материалистического Запада. Им двум предстоит великая задача объединить в одну мировую громаду миролюбивые и воистину культурные народы Индии, Китая, Японии. И когда это соединение народов мистического Востока произойдет, измученной земле дарована будет последняя свобода и дарован будет благостный мир.

Но для этого надобно, чтобы Россия поняла свое призвание — быть Востоком и строить свою культуру на высоких мистических откровениях, ведущих народы к миру и к любви.

Жаль Болгарию

Говорить о Болгарии, как будто, уж и не стоит: и оправдывали ее, и осуждали достаточно, и, наконец, даже ее защитники должны были обратить к ней слова спра-

ведливой укоризны. И если я все же говорю о Болгарии, то лишь для того, чтобы сказать, что ее ни осуждать, ни оправдывать не стоит, потому что ее надобно жалеть. Так бывает жалко погибающих, и бывает такая степень осуждения, которая претворяется в жалость.

Если бы вы увидели, как точит нож новый Каин на брата своего Авеля, чтобы опять повторить безобразную и страшную комедию братоубийства, и затем нести на себе позорную печать отвержения, бежать от людей, дрожа и стеная, и погибнуть, — неужели над строгим осуждением Каина в сердце вашем не вознеслась бы жалость к погибающему? Ничего не достиг проклятый Каин тем, что убил своего брата, — дым от непринятых жертв его стелется низко по земле.

Если бы перед вами нечестивый Иуда опять взял сребреники, чтобы вновь предать Учителя, то разве не жалость к неразумному должна пронзить сердце ваше? Преданный Иудою в третий день воскреснет, а душа Иуды погибнет навеки. И что он купит на свои жалкие сребреники, если не бросит их к ногам давших ему плату за предательство? Да и предательство его было не особенно ценно, и без его услуг враги Учителя схватили бы Его.

Ничего не достигнет Болгария, если и бросится на измученную Сербию. И если она изменит своей освободительнице и пойдет с врагами России, малоценно будет ее предательство. Судьба взвешивает теперь на весах своих такие тяжкие грузы, которыми на долгие времена определятся судьбы населяющих землю множеств, — и что перед этими мировыми грузами маленькое торгашество и мелочное политиканство провинциальных государств? Восток и Запад стали друг против друга, тонкая сила духовной культуры спорит с грубою тяжестью культуры материальной, — и разделяются племена: носители лучших свойств цивилизованного человечества на Западе, героическая Франция, крепкая в защите прав Англия, самоотверженная Бельгия идут с нами, а последние остатки разбойничьих орд, выброшенных некогда Востоком, сочетались с яростными тевтонами и швабами. Что же может Болгария? Какое ее значение в этой титанической борьбе?

Как в трагические моменты нашей жизни малые и мелкие чувства должны затихнуть перед голосами великих чувств и героических решений, так и в великой борьбе малые людские соединения не должны иметь своих отдельных собственных интересов.

Бельгия пренебрегла своими интересами для защиты возвышенных начал права и справедливости, и судьба ее светла и возвышенна; приобретенная ею слава даст ей великие права. Болгария не может забыть своих маленьких интересов: ей нужна Македония; она торгуется, ведет переговоры, — но, быть может, все тонкое политиканство ее останется тщетным. Она не хочет быть вместе с нами, на нашем великом пути, — чего же она хочет? Быть на путях Германии или процветать в своем провинциальном захолустье? Но правый путь для нее — только один, тот путь, на который указывает ей деятельность генерала Радко-Дмитриева.

Болгарию надо жалеть не только потому, что она стоит на гибельном пути, но и потому, что она не заслужила своей печальной судьбы. Ее народ — трудолюбивый, честный, мирный: ее обычаи и нравы — здравы и просты; из всех балканских пле-

мен болгары и по языку, и по характеру наиболее близки к великорусскому племени. Болгария в союзе с нами и со всем славянством могла бы стать такою же сильною и спокойною, как Бавария в союзе с остальными германскими государствами; в этом только союзе справедливо и прочно могли бы быть устроены и судьбы Македонии. Но Болгария, — не народ Болгарии, а ее правители, — официальная Болгария предпочитает иметь свою собственную политику и воевать с братскими племенами за свой страх.

Чем скорее народ болгарский поймет, что официальная Болгария стоит на ложном и гибельном пути, тем лучше будет для Болгарии живой, народной, — для той Болгарии, которую, верю, всем нам жаль.

Все вместе

Перед общим врагом все вместе. Сплотились для обороны, для защиты родной земли от вражеского нашествия. Все вместе, все — братья, все — дети одной родины, и для всех Россия — добрая, всех равно любящая мать. Собрала многие племена под своею державою, и ко всем равно благосклонна.

Так хочется говорить этими словами, иметь право говорить эти слова! Да вот не скажешь. Не ко всем благосклонна одинаково, и в год великого подвига все не может, все не хочет расторгнуть роковую черту, ужасную черту оседлости.

Встречая за границею русских евреев, всегда приходилось удивляться той странно-живучей любви к России, которую сохранили почти все они. Говорят о России с тою же тоскою и с тою же нежностью, как и русские эмигранты, и так же рвутся возвратиться на родину, и так же томятся, если возврат невозможен. За что им любить эту суровую к ним, эту негостеприимную Россию?

Как это ни странно, а все же бывают дети, которые любят жестоких мачех. Конечно, это — исключения; обыкновенно мачех ненавидят. А вот что касается евреев, здесь исключение обращается в общее правило: евреи любят ту самую Россию, которая так к ним сурова. Любят мачеху? Так ли?

Чей-то интерес требует, чтобы евреи были угнетены, были загнаны в черту оседлости, ограничены в правах на образование и во многих других правах. Чей же это, однако, интерес? Интерес России? Конечно, нет.

Общественные отношения в России, как и во всяком цивилизованном государстве, должны строиться на незыблемых основаниях справедливости, разума и совести. Все, объединенные признаком общей государственности, должны иметь в пределах своего государства тот наименьший объем прав, в котором все еще, к стыду нашему, отказано евреям. Этот наименьший объем прав каждый из нас получает не за свои личные или племенные заслуги и не потому, что он обладает тем или другим личным или групповым признаком: объем общегражданских и общечеловеческих прав должен принадлежать каждому россиянину только потому, что он — россиянин. Подчиняться российским общим законам, платить в российскую казну все, что причитается, сражаться в рядах российской армии, — все это есть долг российского подданного, соответствующий тому объему прав, которого лишить можно только по приговору суда за доказанное преступление.

Человек, по суду не опороченный, не может жить там, где он хочет, потому что он — еврей, мальчик, ни из какого училища не исключенный за неуспешность или дурное поведение, не может поступить в гимназию, где есть вакансии, но где уже заполнены особые, процентною нормою определенные для жиденят места; жена воина не может посетить раненого и умирающего в госпитале мужа, потому что он умирает вне черты оседлости; покойник не может быть похоронен в том городе, где он умер, потому что в этом городе он не имел права жительства. Что все это значит? И кому все это нужно?

Все это — российские подданные, не враги наши, и вот так с ними поступают. Зачем? Затем ли, чтобы ожесточить их, зажечь в их сердцах огонь ярой ненависти к России и сделать из них наших врагов? Но тогда надо быть последовательными, не терпеть их и в черте оседлости, изгнать их или истребить. Однако цивилизованное государство не решится на эти акты, последовательные в своей жестокости. И если оно на это не решается, то оно, из простой заботы о своей безопасности и о своем достоинстве, должно предоставить каждому россиянину общечеловеческие права.

Это диктуется заботою о могуществе и безопасности нашей страны. Необходимо, чтобы каждый россиянин имел причины любить Россию и не имел права ее ненавидеть. Если бесправная часть российского населения все еще любит Россию, то это потому только, что в державном русском племени нет злобы и ненависти к инородцам, и наши сограждане это знают. Они знают, что их бесправие тягостно для нас самих.

Уравнение евреев в правах с нами повелительно диктуется и заботою о государственном достоинстве нашем. Звание российского подданного должно быть уважаемо в пределах нашей страны, потому что иначе цивилизованный мир не привыкнет уважать Россию. Нашу Россию боятся за ее военную мощь, любят за прекрасные качества ее населения, но уважать ее станут только тогда, когда она станет страною свободных людей.

Порог житницы

Где много людей, там мало хлеба. Тучная почва малонаселенных пространств рождает хлеб в изобилии, но зерно избыточное не проливается на землю втуне. Оно течет туда, где его ждут теснящиеся на малых пространствах культурные множества. Только был бы путь свободен, а зерно дорогу себе найдет. Оно — зрячее. Недаром кормит людей, поддерживая в них дыхание живой жизни.

Говорят, что Англии ее собственного зерна хватает каждый год только на три месяца. Что за беда! Америка, или Россия, или Австралия, — кто-нибудь да пришлет ей свои избытки. Зерно меняется на золото, золотом оплачиваются проценты по заграничному долгу, а исправная уплата процентов даст возможность должать снова. И в Аргентине, и в России земли много, зерно родится в изобилии, зерна не жаль. Что хлеб! Не одним хлебом живы.

Шныряют вокруг Англии германские подводные лодки, из каждой сотни приходящих в ее гавани торговых пароходов топят по одному. Сотая часть товаров не дойдет по назначению — небольшая беда. Кто из нас почувствовал бы недостаток

одной сотой части, хотя бы в своем ежедневном питании? Пустяки. Да и этот процент пополнится лишним заказом, и только немного поднимется цена на заморское зерно. Больше моральное действие, чем реальное: неприятно, что кто-то пытается помешать таинственному претворению дремотной энергии зерна в живую энергию человека.

Но есть путь в Англию, почти безопасный, узкий пролив между Францией и Англией. Здесь, на этом небольшом пути от берега до берега можно, говорят, установить такое бдительное наблюдение, что ни одной подводной лодке не удастся просыпать на морское дно ни одного зерна русского хлеба. Стоит только доставить его во Францию, а уж в Англию-то оно попадет. А чтобы доставить русское зерно на запад Европы, необходимо форсировать Дарданеллы. В русской житнице много хлеба, — надо только снять с петель замкнутую дверь нашей житницы.

Но, однако, неужели всегда тот, кому нужно попасть в нашу житницу, должен ходить к ней через чужой двор? И кому может быть выгодно, чтобы дверь нашего дома сторожил наш сосед? В мирное время еще оно ничего себе, хотя и то в достаточной степени нелепо, а в военное не очень весело нашим друзьям тратить лишние усилия на то, чтобы оттаскивать кого-то с порога нашей житницы.

Кто бы ни сидел в Константинополе, кроме русских, все это будет одинаково нелепо. Никто, кроме России, не может вывозить из Черного моря такого громадного количества товаров, нужных для Западной Европы.

Зачем нужен Константинополь нам, русским, про это мы, русские, и знаем. А то, что теперь совершается в Дарданеллах, кажется, показывает, что и Западная Европа начинает понимать, почему ей выгоднее, чтобы Константинополь был нашим, а не чьим-нибудь чужим. По-настоящему выгодно только то, что справедливо, потому что только справедливое отвечает правильно понятым интересам всех людей. А ведь нет никакой справедливости в том, чтобы сидеть на пороге чужого дома и беспокоить чужих гостей.

Завоевание правды

В наши дни люди больше всего любят думать о том, что будет. По крайней мере, здесь, в городах, не на войне. Там, по всей вероятности, — иные думы. А здесь бросается в глаза суетливое старание приподнять уголок завесы, скрывающей неведомое будущее. Отвечая спросу, являются многочисленные предсказатели, и мы уже довольно хорошо осведомлены о том, что будет, когда война окончится.

Может быть, тогда будет совсем не так, как мы теперь представляем. Может быть, те перемены, которых мы ждем, если и осуществятся, то совсем не теми путями, о которых говорят прорицания наших дней. Но есть предсказания, которые легко делать с большою вероятностью их исполнения. И одним из таких возможных к исполнению предсказаний является та перемена в ходячих представлениях о людях и народах, которая будет следствием великого опыта войны.

Не армии сражаются, — вооруженные народы встретились, и взаимно испытывают друг друга. Испытывая противника, попутно испытывают путем сравнения и самих себя. Испытывают людей и порядки, строй жизни и склад своих и чужих ха-

рактеров и нравов. Вопросом о том, кто такие они, острится вопрос о том, кто же мы сами.

У нас, людей городских, людей большого личного, делового и книжного опыта, у нас, перебывавших во многих местах и перевидавших много разных людей, почти окостенели наши представления о своих и о чужих. Что бы нового мы ни услышали, мы невольно ассоциируем это новое со всем содержанием нашего опыта, подгоняем это новое к привычным нам шаблонам и на этом успокаиваемся. Если нам скажут:

— Германцы совершили много жестоких, возмущающих моральное чувство деяний.

То на это у нас уже готовы различные ответы.

Одни скажут:

— Германцы и в предыдущие войны поступали так же точно, как и теперь. Таков их национальный характер. Потому-то у них именно и получил такое сильное развитие милитаризм, потому-то они так легко и забыли заветы Канта, Шиллера и Гёте.

Другие к этому прибавят:

— Ну, знаете, тоже и Кант этот у них, — хвалить погодить. От Канта до Круппа рукой подать.

Иначе думающие скажут:

— Германская культура достигла высокой степени развития, и война с Германией — в высшей степени прискорбное явление.

И другие, сочувствующие им, прибавят:

— А что они на войне суровы, так ведь на то и война. На войне иначе и невозможно.

Случалось, что и здесь менялись мнения о людях и народах. Но эта перемена мнений была только переменою шаблонов. А шаблоны эти выковывались издавна, и слагались они под давлением всего многообразия наших отношений, убеждений и — в особенности — интересов. Интересы повелительнее всего диктовали и диктуют наши симпатии и антипатии. Интересы же у нас очень широкие, потому что потребности у нас культурные, и уровень потребностей довольно высок. А так как обширное отечество наше все еще недостаточно для нас культурно, то интересы наши связывают нас множеством нитей с заграницею.

Войну ведет весь народ, не только городской и культурный. Множество людей с очень невысоким уровнем потребностей и с очень большою свежестью восприятий пришли на войну. Пришли, как дети приходят в школу, — без ясно сознанной потребности учиться, но с неисчерпаемою возможностью воспринимать.

Потребности их не велики, стало быть, и интересы не сложны, и потому восприятия их почти совсем не окрашены заинтересованностью. Мы, культурные горожане, смотрим на врагов и на друзей, как сквозь густую пыль, сквозь наши предубеждения и предвзятости. Они смотрят просто и наивно, как сквозь прозрачный воздух полевых просторов, и почти не думают о том, что перед ними враг, которого надобно ненавидеть, или человек, которого надобно любить.

Каждый случай представляется им в его конкретной первоначальности. Каждый человек, в своих и чужих рядах встреченный ими, является для них не отмеченный

заранее приготовленным ярлыком, — они видят человека только таким, каким он перед ними в данном случае себя обнаруживает.

Незаинтересованная добросовестность свежего восприятия представляет собою огромную силу, и даст могучее веяние новой правды о делах и о людях, — правды, готовой широкими потоками разлиться по всему простору земли русской.

Они вернутся, наши воины, и расскажут нам многое, что, быть может, покажется нам неожиданным. И самое любопытное в их рассказах будет не то, что они скажут о битвах и об окопах, не это внешнее, хотя тоже значительное, — самым любопытным будет то, что они нам скажут о нас самих, русских людях, и о наших соседях, немцах, славянах, турках. Не об артиллерийском огне и не о штыковых атаках, — о душе человеческой и о жизни человека будет самое необходимое для нас откровение этой войны.

Никогда еще не было на Руси, чтобы так много людей вышло в бранное поле, как ныне. Никогда еще не было на Руси, чтобы таким множеством голосов вернувшихся говорила о себе война, как в этот год. И прежде, в старые годы, говорила нашим предкам война голосами славы, побед и доблестей. Но и ныне, в те дни, когда технические совершенства вооружений так велики, гром бесчисленных орудий все же не заглушает простого, ясного и страшного в своей беспощадной откровенности голоса души человеческой.

Дух человека не умаляется, — он возрастает от века к веку. Человек, идущий от трудностей к трудностям, все совершеннее учится не только доблестно умирать, но и достойно жить, — жить в правде и в великой душевной ясности.

Школа жизни бывает очень жестока, но все же эта жестокая школа есть в известном смысле та мастерская гуманности, о которой некогда говорил великий славянский педагог Амос Коменский. Если мы, люди этого дня, все еще так несовершенны, что не умеем поучаться только словом мира и любви, то вот дается нам иное поучение в грохоте великих битв, в катастрофическом шуме великих народных встреч. И поучение это для нас, русских, не будет заветом ярости и злобы, — вооруженный русский народ принесет нам ясную и мирную правду о себе и о тех, кто ныне стоит перед нами, грозя и враждуя.

Какая будет это правда, — вот об этом я не возьмусь пророчествовать. Кто жаден узнать ее скорее, тот пусть уже и теперь спешит собирать доходящие до нас ее крупицы.

Но, — скажут, быть может, — наивное и невежественное восприятие способно и ошибаться? Конечно, отдельные ошибки и нелепости возможны, и всякий, у кого есть сердце и разум, должен бороться против распространения этих ошибок и нелепостей. Мне же хочется верить, что эти возможные отдельные погрешности наивного суждения потонут в том великом море правды, каким представляется мне безмерно-громадный опыт вооруженного народа.

Суд людской

С приличными случаю речами начались заседания чрезвычайной комиссии по расследованию нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и герман-

скими войсками. Разумные и торжественные речи — очень хорошо. «Разумный труд, начатый нами, разумных требует речей: работа с мудрыми речами идет успешней и быстрей», — так передает один из русских переводов слова Шиллеровой «Песни о колоколе». И, конечно, следует пожелать, чтобы работы комиссии шли успешно и быстро и сопровождались определенными последствиями.

Невольно вспоминается при этом приговор коронера, вынесенный недавно по поводу потопления на пароходе «Лузитания» многих женщин, детей и невооруженных граждан нейтрального государства. Это было тоже предварительное следствие, хотя и произведенное публично и торжественно, не так, как на континенте производится предварительное следствие. Коронер объявил только то, что, по мнению двенадцати почтенных граждан, смерть многих погибших при крушении парохода «Лузитания» причинена преступными действиями экипажа германской подводной лодки, и что обвинению в предумышленном убийстве многих подлежит не только этот экипаж, но и те, кто приказал ему так действовать.

О германских жестокостях говорили много, и многие в России склонны или отвергать эти жестокости, или находить для германцев извиняющие обстоятельства. Иногда говорили (особенно в начале войны), что рассказы о германских жестокостях преувеличены. Когда стали накопляться доказательства несомненные, можно было говорить, что все это — отдельные прискорбные поступки, совершаемые немногими, и что это бывает в каждой армии. В худшем случае, исчерпав все оправдательные софизмы, можно еще говорить, что война есть война, что навести ужас на врага есть средство, ведущее к скорейшему прекращению войны. Для тех же, кто не хотел бы пользоваться этим циничным оправданием жестокостей, остается путь якобы гуманных соображений: можно говорить, что рассказы о германских зверствах способны разнуздать зверя в русском человеке, и что народ, начитавшийся таких рассказов, начнет мучить и травить немцев.

Говорящие так, конечно, клевещут на русский народ: наш народ не обнаруживает такой злобы к врагу, которая пылает, если верить рассказам, в сердцах германцев. Добродушие русского народа, поистине, безмерно, и потому мы смело можем говорить о германцах и доброе, и злое, лишь бы это была правда. Но эта аргументация, все-таки, имеет чрезвычайно большую силу, так как она опирается и на альтруистические свойства нашей интеллигенции, и на те многообразные отношения, которыми германцы сумели связать себя с нами: невозможно, например, отрицать хотя бы то, что нигде в свете не интересуются русскою литературою так, как в Германии.

Только беспощадная сила правды может противостоять этим соображениям то идеалистической, то деловой природы. И на этой почве возможны бесконечные споры, раздражающие своею бесплодностью.

Суждение коронера и работы нашей чрезвычайной следственной комиссии переводят эти тягостные разногласия на твердую почву правды и права. Мы можем думать что угодно о германских воинах, о их командирах и о их верховном вожде, императоре Вильгельме, восхищаться или негодовать, но мы не можем не признать великого значения того, что некоторые из этих людей торжественно названы подлежащими уголовному суду за убийство.

Пусть эти люди не досягаемы ныне для английского суда, — много есть преступников, скрывшихся от правосудия, и в этом отношении император Вильгельм и адмирал Тирпиц так же счастливы, как и любой из лондонских убийц, не пойманных английскими полицейскими. Преступление может остаться неотмщенным, — но совесть цивилизованных народов находит успокоение и в том, что злое дело названо преступлением.

В сумятице противоречивых суждений общественное мнение может опереться на авторитетный голос независимого, неподкупного суда: нет, не все можно оправдать состоянием войны! Совесть народов опять получает твердое руководство для отличия самоотверженного, честного боя от подлых проявлений злой воли. И потому приговор коронера по делу о гибели «Лузитании» представляется мне одним из самых величественных явлений этой войны.

Кроме своего грандиозного нравственного значения, этот приговор представляется мне несущим в себе зародыш таких событий, которые теперь кажутся еще невероятными. История Англии знает примеры, которые, может быть, скоро нам придется вспомнить. Среди разбросанных по земному шару владений Англии есть остров Святой Елены, ничем не замечательный ныне, но все же памятный векам.

Пропаганда действием

Германцы очень присматриваются к русской жизни, интересуются русскою литературою, русским искусством. Влечение к знанию в практической душе германца сочетается с полезным умением узнавать то именно, что надобно. Между прочими полезными сведениями бывают и сведения о том, кто в нашей стране их друг и кто их враг. Ведь все мы знаем, как стараются германцы обрабатывать общественное мнение в нейтральных странах. В России обрабатывать общественное мнение не нужно: долголетние связи с Германиею воспитали в нашем обществе достаточно прочные симпатии к ней. Врагов Германии у нас мало, и, по-видимому, все они на счету, — конечно, те из них, которые не таят своей вражды, или хотя бы только своего негодования против германских злодеяний.

До последних дней можно было в этом сомневаться. Но вот из занятой германцами Либавы пришла весть поистине ужасная: германцы убили директора местного латышского театра Экштейна за то, что он поставил пьесу «Культурные звери». Искали и актеров, игравших эту пьесу, но они успели убежать.

Не знаю, что это за пьеса. Весьма возможно, что это — совсем плохая пьеса, и что ее не следовало ставить. Но и смерть директора Экштейна, надобно полагать, не была казнью за преступление против искусства: тому порукою может служить уже и то поразительное безвкусие, которое отличает современную Германию.

Директор либавского латышского театра казнен, конечно, не за то, что он поставил плохую пьесу, — его убили, если верен этот ужасный слух, за то, что он поставил пьесу, где показано, что германцы — культурные звери.

Надобно надеяться, что это известие не подтвердится, и что германцы не совершили этого гнусного преступления. А впрочем, на чем может быть основана

эта надежда? На потоплении «Лузитании»? На отрезанных у наших солдат ушах и языках?

Нет, уж видно, придется помириться с совершившимся фактом и твердо запомнить вот что: германская культура — самая высокая в свете, германцы — самые доблестные люди; кто осмелится утверждать противное, тот должен бояться мести. Всякий, кто решится говорить о германцах нелестно, должен знать, что, если он попадется в руки этих доблестных людей, то расправа с ним будет коротка. Вот мораль для людей с заячьею душою.

Стремящиеся нагнать на всех ужас германцы, впрочем, кое-что упустили из виду. Система запугивания все же очень ненадежна; на одного испугавшегося найдутся сотни вознегодовавших. Правда сильнее угроз, — и германцы, убивая своих врагов безоружных, пользы из этого не извлекут никакой. Для них было бы лучше, если бы их друзьям, и без того многочисленным, не пришлось испытать смущения, когда им напомнят этот странный аргумент.

— Не говори обо мне дурно, а не то я тебя убью!

Сильно, но не убедительно.

Путь вверх

Хочется думать так: до прошлого года жизнь множеств коснела в объятиях тусклого быта; то, что совершается, переводит жизнь в высокие области творимой легенды. Творимой по воле нашей. Народ бодро взялся за великий труд. Этот труд, этот всенародный подвиг, должен придать новый, высокий закал душе нашего народа. Вернувшись с войны, он с удесятеренными силами начнет строительство жизни.

Оставшиеся на месте должны быть готовы к новым трудам строения жизни. Их долг — верность и бодрость. Они должны помнить цели войны, и никогда, ни при каких обстоятельствах не сеять тусклого уныния. Уныние разъединяет людей, бодрость их связывает в новые союзы для творческого дела.

Война и трезвость — сочетание неожиданное. Эта народная трезвость — благой дар, и во благовремении. Несмотря на войну, народные сбережения растут, а водка уже не поглощает времени. Свободное время тратится, между прочим, на чтение и на искусство.

Тот, кто хочет давать народу доступ к искусствам и чтению, должен знать, что вновь приходящим в эти прекрасные области нужны не суррогаты искусства, а искусство настоящее. Искусства для бедных не существует, как не должна существовать и такая литература для детей, которая не удовлетворяла бы и взрослых. Доступность искусства не достигается понижением его уровня.

Если бы кто-нибудь вздумал ставить на народных общедоступных сценах плохие пьесы только потому, что они патриотичны, то он совершал бы неразумное дело, поражая разом и патриотизм, и искусство. Неискушенная в тонкостях искусства публика может и не различить подделки от настоящего произведения искусства. Но те, от кого зависит выбор, должны знать, что это — дело ответственное.

Продавать миолин вместо меда выгодно, — дешевле, но называть его медом не следует, — нехорошо. В области же искусства и соображения дешевизны отпадают:

здесь плохое часто дороже хорошего. Некрасов мечтал о том времени, когда народ понесет домой с базара Белинского и Пушкина, т. е. произведения настоящего, большого искусства.

И у нас, и за границею многие думают, что должна быть особая пролетарская литература; появляются и образцы ее. Но, кажется, большинству пролетариата все же больше нравится чистое, не-тенденциозное искусство. Людям с неиспорченным вкусом свойственно тянуться к здоровой и питательной пище. Кроме того, им так близко знакомы все тягости и несовершенства своего собственного быта, что в искусстве им совершенно естественно искать свободного полета фантазии. Для того у человека на плечах голова, чтобы думать, соображать, придумывать новое, по-новому комбинировать старое, прикидывать так и этак, мечтать, устремляться к строению жизни по своей воле. Для простого отражения жизни и для восприятия элементарных формул достаточно было бы носить под шапкою простое зеркало.

Итак, вы, обращающиеся к народу, ведите его вверх, ведите, пока еще не поздно, пока еще вы впереди и выше его. Смотрите, как бы в ваших отношениях к народу не произошло того же, что случилось в отношениях театра и публики: зритель явственно перерос актера, и перестал верить театру на слово.

Единственные сыновья

Я читал где-то, что германцы боятся наших запасных второго разряда. Казалось бы, что такое оборыши, а если их призовут, то они составят грозную силу. Да и не оборыши вовсе, а, по большей части, очень сильные и здоровые люди, потому что, милостью нашего военного закона, богатого и доныне льготами, значительную часть, если не бóльшую, этого разряда составляют единственные сыновья.

По большей части, один сын в семье вырастает в сравнительно счастливых условиях; как единственным сыном, родители более им дорожат. Материальных и моральных благ семья изливает на него больше, чем в том случае, если эти блага приходится делить на несколько частей. Если же это не единственный в собственном смысле сын, а только переживший других своих братьев к призывному возрасту, то уже и это обстоятельство весьма часто бывает признаком особенной силы и здоровья: в суровой обстановке бедной жизни слабые умерли, выжил только наиболее приспособленный к перенесению трудов и тягостей.

Может быть, самое правильное решение было бы в том, чтобы, во изменение закона, законодательным порядком перевести всех, имеющих льготу по семейному положению, из второго разряда ополчения в первый. Это — то, что может сделать власть законодательная. А что может сделать общество?

Всем известна прекрасная работа не призванной в войска молодежи по уходу за ранеными, по благотворительным сборам, по оказанию помощи семьям запасных. Например, я читал где-то на днях, что 26 тысяч учащихся организованы в сельскохозяйственные дружины и помогают женам призванных в войска крестьян обрабатывать их поля. Правда, этого количества милых, добровольных работников, достойных всякой похвалы, едва ли хватило бы, если бы собрать их в одном месте,

и на один уезд, но все же цифра большая, потому что и эти малые дружины собрать было непомерно трудно при нашей малой организованности.

Признаки этой неорганизованности видны повсюду. Дела, казалось бы, много, а между тем, куда ни глянешь, видишь толпы скучающей от праздности молодежи.

Легко упрекать юношей и девушек в бессмысленной трате времени и сил на спорт и флирт, но ведь и то сказать, — а что же им делать? Организование — не дело подростков. Достойная забота для общества — везде, где только возможно, собирать юношей призывного возраста, подростков, мальчиков, девочек, организовывать их в стройные дружины и направлять их труд на работы, на помощь слабым, на военные и гимнастические упражнения.

Какое доброе дело сделали бы сейчас педагоги, если бы, оставив на время в покое программы школ всех наименований и проекты их новых, усовершенствованных уставов, обратились бы к живому делу собирания юных сил и их организации. Единственные сыновья, которым, быть может, трудно так вдруг покинуть нежно любимых матерей, понемногу втянулись бы в добрый строй трудовых единений и еще до призыва в войска изведали бы истинную ценность личности, расширенной в товарищеских содружествах. Да и для мальчишек и девчонок, какая бы это была славная школа мужества и возвышенных чувств.

И не успокаиваться бы вам, педагоги, пока вся юная Русь не будет сорганизована! А там опять, пожалуй, принимайтесь за любезные вам программы.

Скифская стратегия

С каким трепетным доверием мы все читали еще полгода тому назад военные обзоры, составляемые специалистами сотрудниками газет! Теперь к этим обзорам уже не то отношение, хотя в них ничто не изменилось, и они по-прежнему составляются с большим знанием дела. Фактическая сторона обзоров еще и теперь удовлетворяет читателя, но освещение событий и предсказания уже встречаются скептическою улыбкою. Да и немудрено: ведь весь смысл этих сообщений сводился к успокоению и к убаюкиванию читателя.

Выходило так: если мы идем вперед — хорошо, потому что побеждаем; но и когда идем назад — тоже хорошо: выравниваем фронт, приближаемся к своим базам, отступаем на заранее приготовленные позиции, переходим в хорошо известную местность с дружественным населением, заставляем противника удлинять его сообщения и вступать в полосу русского бездорожья. Все казалось хорошо, все равно похвалялось, и стратегия Аннибала и Наполеона, и скифская стратегия заманивания в глубину страны. Только изредка слышались благоразумные слова о том, что Россия втянулась в очень трудную борьбу, что ее ждут великие испытания, и что ее конечная, несомненная победа достанется ей дорогою ценою.

Теперь, во втором году войны, общество уже знает истинные размеры тех тягостей, которыми сопровождается эта великая война, и знает настоящую цену той победы, которой достойна Россия. Знает и то, что стратегическое отступление всегда есть печальнейшая из военных необходимостей. Родная земля хочет, чтобы ее защищали со всем напряжением военной мощи, и для этого только она и содержит

громадные армии. Армии великого государства должны вести только наступательные и завоевательные войны, чтобы тем защитить родное достояние. Армия должна идти вперед, чтобы старикам, женщинам и детям не пришлось бежать куда-то от родных мест.

Оборонительные войны — удел государств, клонящихся к разделу, теряющих волю к господству и к государственному бытию. Оборона государства только и может состоять в способности его армий вести наступательную войну. Все усилия общества должны быть направлены к тому, чтобы дать армии возможность наступать и завоевывать.

Смысл и пафос войны в том и состоят, чтобы удаляться от своих баз, расширять свой фронт, удлинять свои сообщения, входить в те местности, где для войск нет заранее приготовленных позиций. Это стремление к расширению и умножению и лежит в основе военной гордости.

Лучше, конечно, не воевать, но уж если война зажглась, то цель ее — завоевание чужой земли, а вовсе не отстаивание своей. И даже лучше, выгоднее и славнее терпеть поражения под Берлином или под Веною, чем одерживать блистательные победы под Киевом или под Москвою. Наши союзники весьма похваляют наше, столь искусно выполненное, отступление. Но для воюющего выгоднее изнемочь в нанесении ударов, чем изумлять мир стойкостью в перенесении этих ударов.

Если бы иначе было, то полководцы всех стран и народов вовсе не обнаруживали бы того непреклонного стремления идти вперед, о котором постоянно говорит история победителей. Армии, как деньги, на то и существуют, чтобы их тратить, — так лучше их тратить, идя вперед.

Россия имела в своей истории случаи жестокого поражения вражьих армий, глубоко продвинувшихся в страну, — Карл XII под Полтавою и Наполеон I в Москве видели крушение своих замыслов. В том и другом случае Бог спас Россию, а не мудрость ее стратегов.

Интересно отметить, что оба эти случая спасения России от вражьих нашествий были связаны с вопросом об измене или верности, а вовсе не со стратегическим расчетом.

Карл XII мечтал, что недавно присоединенная Украина изменит России. Украинцы тогда обрели в себе достаточно государственного смысла, чтобы сохранить верность, и Карл XII был разбит. Но война и после этой битвы продолжалась еще многие годы: гибель полков на чужих полях еще не была для Швеции ударом роковым и непоправимым. Родная земля каждый год поднимала новых и новых борцов, — поражение на чужбине было только военным неуспехом, не поразившим истоков жизни и мощи родной страны. Само по себе крушение авантюры Карла XII ничего не отнимало от Швеции, кроме многих жизней, которые, однако, погибают и в победоносных войнах; успех же этого дерзкого предприятия дал бы Швеции неисчислимые преимущества.

Гибель великой армии Наполеона I, состоявшей не столько из французов, сколько из немцев, итальянцев и прочих, также не была для него роковою; война продолжалась еще долго, и была решена более изменою, чем стратегиею. Немцы и австрийцы изменили своему союзнику, вместе с которым отправились завоевывать Россию,

рассчитывая на ее необозримых полях найти достаточное вознаграждение за недавно испытанные унижения; они не только отложились от Наполеона, но и подняли на него оружие. Не будь этой измены, война продолжалась бы так, словно и не было Наполеоновской авантюры. Опять крушение этой авантюры не было крушением Наполеоновой Франции, потому что это была только смерть многих, не поражавшая самого сердца воюющей страны; удача же этого предприятия доставила бы и Франции и ее союзникам, Пруссии, Австрии и другим, достаточные выгоды и приращения.

В том и другом случае отступление в глубь страны было вынужденною прискорбною необходимостью, — продвижение шведов при Карле XII и континентальных войск при Наполеоне I было столь же опасным для России, как продвижение в глубь страны татарских полчищ в XIII веке. Что удалось татарам, то семьсот лет спустя может удаться и другому завоевателю, если неприятель не будет остановлен во что бы то ни стало и какими бы то ни было средствами.

Еще один раз допустить продвижение врагов в глубь страны Россия не хочет, не должна хотеть. Россия должна напрячь все силы, чтобы враг был остановлен возможно скорее. Скифская стратегия, боевая игра в поддавки пусть навеки останется только игрою фантазии людей, которые думают, что великую страну можно убаюкать стратегическим лепетом. Россия знает, что враг непомерно силен, но если она хочет победить, то она и победит. Но для этого надобно не засаживаться на зимние квартиры, а наступать осенью, зимою, весною и летом. Не делать ничего иного, как только наступать.

Гадания

Опять сошлись миллионы людей для решительной битвы. Что-то будет?

Победит не тот, у кого крепче нервы, как думают германцы, а тот, у кого сильнее воля к победе. Судьба на своем роковом аукционе спрашивает не о том, кто даст больше крови и металлов, а только о том, кто хочет. Кто сильнее хочет? Кто хочет больше? И опускает свой тяжелый молоток, когда воля одной стороны превозможет над волею другой.

Мы верим, что хотим победы, и что добьемся ее. Бодрые и сильные люди, приезжающие из армии, привозят и бодрое настроение. Правда, есть люди безнадежно унылые, и рассказы их говорят о другом.

Казалось бы, странно, — об одном месте да разные вести, — но это так. И понятно, почему. Русский мужик, воюющий ныне, сохранил еще в значительной степени привычку быть недоверчивым и осторожным в разговорах с барами. Говорит то, что может понравиться барину, а думает свое, — Бог его знает, что он думает.

— Ну, что, побьем немца?

— Как есть, побьем.

— Ну, что, не справиться нам с немцем?

— Он, немец-то, хитер, с ним не так-то просто.

Бодрый спрашивает выздоравливающего:

— Рвешься в бой?

— Да уж только бы добраться до немчуры, мы ему покажем.

Того же солдата спросит другой иным тоном:

— Не хочется опять в бой?

— Да уж мы свое повоевали. Известно, кто раз в бою побывал, тому боязно.

И каждый спрашивающий выносит из расспросов свое же. И все загадочен лик народный. Кому же верить?

Верить лучше тому, чьи слова — слова надежды. Вот читал я на днях, что после войны сильно поднимется народная самодеятельность. В обстановке современной войны от солдата требуется много находчивости, большое умение найтись во всех обстоятельствах, действовать зачастую на свой страх и риск, не ожидая команды. Это воспитывает волю, и потому вернувшиеся с войны оживят нашу жизнь, начнут бодрее и деятельнее строить ее; могучее развитие получат кооперативы.

Вот предсказание, полное надежды, и я ему радостно верю. Эта война из обывателя, мужика или мещанина, выковывает гражданина, человека с высоким сознанием своих прав и обязанностей; объекты права превращаются в субъекты права; героическая способность самоотверженно сражаться спаивается огнем и кровью с ясным сознанием целей, которые народ себе поставит.

В нашей следующей войне с Германией наша армия будет состоять из людей, которых уже мирная жизнь воспитает в привычках стойкой и деятельной гражданственности.

Следующая война? Дай Бог, чтобы ее не было. Но я боюсь, что германцы долго еще не дадут нам прочного мира. Недаром они так внимательно следят за нашею жизнью. И, может быть, еще долго будут ударяться о наши границы волны тевтонских нашествий, — до той поры, пока прочная гражданственность не скует из России чертога несокрушимого.

Бодрая сладость

В какой-то газете прочитал я, что в Ярославле было отложено заседание городской думы из-за концерта Собинова. Автор заметки отнесся к этому очень сурово. «В настоящее время, когда…» — так приблизительно писал он, воскрешая в памяти знаменитую формулу, так язвительно осмеянную Н.А. Добролюбовым.

А я думаю, что и во всякое время, и в настоящее всякая городская дума поступила бы хорошо, почтив явление искусства. Если бы русское искусство было везде в пределах России в таком почете, то это было бы еще одним, и далеко не лишним, источником национальной гордости, из которой рождается бодрая уверенность в своих силах и в своем достоинстве, та уверенность, которая ведет к победам.

Если ярославская городская дума, действительно, поступила так, то честь и слава ей. Это — один из признаков того, что Ярославль не менее какого-нибудь другого географического места достоин быть столицею новой России, бодрой, сильной, любящей и ценящей свои сокровища, смиренно- благодарной за них Миродержавной Силе, и гордой перед всем миром. Ведь эта гордость, это твердое сознание того, что родина велика и обильна, богата Божиими храмами, сокровищами наук и искусств, и крепка гражданским порядком, — вот это дает и врагам нашим, германцам, силу и бодрость держаться против нас и наших доблестных союзников.

А нашу интеллигенцию в ее значительной части медом не корми, только дай ей всласть поговорить о том, что у нас нет ничего подобного Венеции, Риму и другим чужедальним прославленностям. Пустыня, обвеваемая буйными ветрами. В.В. Розанов восхищался Европою, что там нет таких ветров и дождей, какие так изводны и докучны в нашей какой-нибудь Костроме. Н.А. Некрасов писал: «Ни замков, ни морей, ни гор». Правда, он прибавлял: «Спасибо, сторона родная, за твой чарующий простор!» Из нас редко кто говорит спасибо стороне родной. Думаем, не за что.

А вот Ярославль сказал спасибо Л.В. Собинову. И особенно приятно это торжество искусства над текущими делами, что уж если кого называть русским певцом, то это, конечно, Собинова. Чисто русский, без всякого налета иностранщины, певец, который мог бы блистать на буйных и великолепных пирах князя Владимира в те дальние времена, когда еще Киев был городом чисто русским. И пение такое сладостное, такое широкое, так прямо идущее к русскому сердцу, что и Степан Тимофеевич Разин заслушался бы его, опустив буйную голову на могучие руки.

Для русского уха, для русского сердца звук песни Собинова такой же сладостный, такой же подлинный и чарующий, как для неаполитанца сладчайшая песня о моем солнышке (Sole mio). Жаль только, что иногда этот несравненный певец поет по-итальянски, по-французски, арии из чужих опер. Не надобно ничего этого, как не надобно было несравненной Аделине Патти петь Алябьевского «Соловья»; это было ведь только курьезом, приводящим в восторг скорее своею забавностью, чем искусством.

А какое нам дело до искусства? Скажут читатели газет. Теперь все должно быть для войны.

Понимающий так не скажет. Он знает, что уж что другое, а пение, конечно, для войны. Полнозвучность голоса всегда соединяется с полнотою сил, с мужественным напряжением воли. Пение всегда обращено к эмоциональной стороне человека, всегда погружает его в восторг самозабвения и рождает в душе его возвышенные, торжественные и отважные настроения. Солдату да не петь — как же это можно! И где же есть воинственные армии без песен? И если песня поднимает дух солдата, то не меньшею бодростью и силою наполняет она дух гражданина. Душа, прикоснувшаяся к высоким областям чистой поэзии, обвеянная очарованием дивной песни, еще смелее и решительнее порывается к подвигам деятельной жизни. Ведь не только армии нашей, и даже не столько ей (она доблестно делает свое дело), сколько нам, оставшимся в тылу, нужны все силы, все мужество, все буйное упоение восторга и гордости, для того, чтобы работать, спешить, созидать в труде и борьбе, каждую минуту рабочего дня отдавать на созидание нашего великого и светлого будущего.

Всё для войны, всё на потребу ей, и песня — не помеха, а радостное подспорье.

Японский Гамбург

С того дня, когда Япония объявила войну Германии, все нет-нет да и поднимется разговор о том, что японцы могли бы послать свою армию в Европу. Эти разговоры,

кажется, так и остаются в области бесед и благих пожеланий. Между тем, более деятельное участие Японии в европейской войне весьма приблизило бы эту войну к благополучному окончанию.

Может быть, этот вопрос так туго движется потому, что в Европе у Японии, повидимому, нет интересов и, вследствие этого, европейские территории и европейские отношения не сулят никакой возможности компенсировать японцев за посылку их армии в Европу.

А между тем Япония не менее всякого другого государства, имеющего плотное население и достигшего довольно высокой степени духовной и материальной культуры, нуждается в колониях. Колонии эти могли бы быть нужны Японии или для вывоза своих товаров, или для ввоза чужого сырья.

Очевидно, что это — три, совершенно различные, вида земельных владений.

Для переселения избытка населения нужны обширные территории с редким, малокультурным и необъединенным в сильные государства населением; таковы были земли в Америке и в Австралии, таковы теперь земли в значительной части Африки, кое-где в Азии и на океанских островах. В Европе таких территорий теперь уже не должно быть.

Колонии, приобретаемые для торговых целей, не нуждаются в обширности своих пределов: достаточно несколько квадратных верст вдоль берега с хорошею гаванью. Притом необходимо, в прямую противоположность с колониями первого рода, или то, чтобы территории, прилежащие к этой гавани, представляли хороший рынок для сбыта товаров, привозимых из метрополии, и сами могли бы снабжать в обратный путь корабли продуктами почвы или фабрикатами, — или то, чтобы смежные территории могли доставить много ценного сырья.

Роскошь продавать ценное сырье для вывоза за границу может позволить себе только Россия, но ее берега не представляют никакой возможности для устройства на них чужеземных факторий: сами нуждаемся в хороших гаванях. А вот для колонии второго рода, приобретаемой с целью вывоза своих фабрикатов, Япония могла бы найти очень удобное место в центре Европы, в Гамбурге или хотя бы только в Альтоне.

И почему бы не так? Имела же Германия свою колонию под боком у Японии, в Китае? Расстояние одинаково, что туда, что оттуда. Культура Японии достаточно высока, рыцарски благородный характер японцев мы знаем, высокие качества японского искусства и японских изделий мы уже давно ценим. Владеть Гамбургом Япония могла бы с большим достоинством. То влияние на дела Европы, которое дало бы Японии владение Гамбургом, было бы для Европы полезно, потому что вводило бы в круг ее держав новое, мало заинтересованное и потому беспристрастное могущество. А такое беспристрастное могущество было бы одним из очень существенных устоев европейского мира.

Для обезвреженія прусского милитаризма Гамбург в руках Японии был бы превосходным средством. Овладеть этим городом в эту войну при помощи англо-японского десанта было бы не так уж трудно, — но только в эту войну. Столь благоприятное для Японии и для нас положение может и не повториться.

Прямое действие японцев на Гамбург, может быть, и неудобно; но для японских армий мог бы найтись и другой фронт, хотя бы фронт на путях от Риги к

Петрограду. Гораздо выгоднее при помощи доблестных союзников отбиться от врага и выйти на берлинскую дорогу, чем без этой помощи наклеивать гербовые марки на предложения общественных услуг по эвакуации Петрограда. А Гамбург был бы достаточно славною и ценною целью для напряжения всей военной мощи Японии.

Цена одному

«Уж сколько раз твердили миру, что» роль личности в истории весьма ограниченна. Казалось бы, уже очень твердо вошла в общее сознание мысль о том, что для понимания исторического процесса гораздо полезнее изучать явления, происходящие в народных массах, чем действия и намерения выдающихся людей, — как бы ни были скромны и незначительны эти подробности народной жизни, и как бы ни были величавы и шумны деяния героев. А мы все-таки и теперь с величайшим вниманием читаем рассказы о том, что делал Бисмарк, как ведет себя Вильгельм II, и с большою силою убеждения возлагаем на германского императора ответственность за возникновение настоящей войны.

Откуда же возникает такое противоречие между теоретическою правдою, бездеятельно восседающею на величественном престоле науки, и практическим заблуждением, шумно господствующим на всех путях жизни? Отчего, зная в теории, что земля вращается вкруг солнца, и что герой увлекается жизнетворящею толпою, все-таки упрямо говорим, что солнце восходит и заходит, и что герои ведут за собою множества людей?

Заблуждение относительно солнца еще более понятно, — мы руководствуемся обманчивым свидетельством наших внешних чувств, или, может быть, еще не сумели приспособить наши восприятия к нашим теориям. А вот что касается социальных явлений, то, по-видимому, для каждого должно было бы стать ясным громадное значение людских множеств. Жизнь дает нам постоянные доказательства того, как о сопротивление живых масс разбиваются самые остроумные и глубокомысленные замыслы властных людей, и как настроения и мысли множеств легко претворяются в большие дела, увлекающие в свои могучие потоки многие личные интересы и самолюбия.

Казалось бы, все уже разобрано и взвешено, — германская культура, экономическое положение Германии, основные свойства национального характера германцев, — а все же усы Вильгельма продолжают щекотать наше воображение, и властолюбие германского императора все еще возмущает наши лучшие чувства.

По самому складу человеческого ума мы никак не можем представить себе действия без достаточной причины. Вопрос «почему?» — один из первейших вопросов человека. Как ни наклонна младенческая мысль считать явление достаточно опричиненным предшествующим явлением, но все же разум и размышления многих поколений выработали в уме нашем довольно высокую требовательность в оценке достаточности причин. Верить в то, что миллионы людей идут сражаться и готовы жертвовать своею жизнью только потому, что такова была воля Вильгельма, уже мало кто сумеет. Все мы знаем, что воля одного человека сама по себе еще не до-

статочна для того, чтобы произошел ряд событий всемирного значения, — и все же Вильгельм...

Да что говорить о Вильгельме! Если взять людей, действующих в гораздо более ограниченном кругу, то разве они, в глубине своей совести, не чувствуют себя иногда ответственными за дела, очевидно превышающие их силы? Как бы ни уверен был человек в том, что каждый волевой акт даже и очень властного человека уже и сам опричинен достаточно, а потому и неизбежен, это все-таки не снимает с любого волевого акта моральной оценки. Знаю, что не мог поступить иначе, потому что вся сумма соединившихся в данный момент условий заставила поступить так, а не иначе, и все же или доволен поступком, или порицаю его.

Когда две материальные массы уравновешивают одна другую, то достаточно ничтожного прибавочного груза, чтобы перевесила одна из них. Таким добавочным грузом массы — общества, народа, государства — бывает иногда личная воля одного или нескольких человек. Правда, и эта воля обусловлена достаточными причинами, но, сравнительно с громадностью действия, вся сумма этих частных причин так ничтожна, что, при учете, может быть откинута, как откидывают в последнем итоге бесконечно малые величины. Тогда и получается то, что громадное действие, развивавшееся под влиянием сложных и больших причин, получило решительное направление от действия причин сравнительно бесконечно малых, т. е. направлено чистым действием чьей-то свободной воли. Не будучи свободною по существу, эта причиняющая воля, по справедливости, именуется в данном случае свободною и по сравнительной ничтожности ее побуждений, и по величию достигнутого действия. Нас интересует уже не то, чем опричинена воля (хотя бы Вильгельма II), а то, что опричинено этою волею (мировая война).

Возложить ответственность на лицо в данном случае достаточно справедливо и совершенно полезно для общества, если бы такое возложение ответственности было возможно. Устранение из исторического процесса личной воли Вильгельма II и стоящей за ним касты прусских крупных землевладельцев очень мало что изменило бы в истории, но вернуло бы народные множества к состоянию мирного равновесия.

И если наша мысль так упорно обращалась к Вильгельму II и к прусскому милитаризму, то это было и достаточно справедливо (не безусловно справедливо), и безусловно полезно для практического результата — восстановления мира. Мир между народами легче восстановить, если гневные чувства не обращены на весь народ, а на отдельных лиц.

Что касается нас, русских, то мы определенно знаем, что германскому народу в целом мы не враги. Мы не хотим вреда для Германии, — нам ненавистны воинственные планы, коварно и тайно проводимые немногими властными и влиятельными германцами. Если же, к сожалению, сами германцы нас ненавидят и презирают, и разжигают в себе пламя вражды к нам, то это очень прискорбно, но мы в этом не виноваты. Мы только должны это знать, и после окончания войны быть, при всем своем миролюбии, готовы в каждый час отразить новое нападение.

И другой урок должны мы вынести из опыта этой войны. Мы должны отрешиться от нашего слишком абсолютного историзма, который заставляет нас недооценивать значение личной воли. Воля каждого из нас и сама по себе при известных об-

стоятельствах способна произвести громадное действие. Воля же организованных множеств, слагающаяся из множества частных воль, должна быть всегда в состоянии бодрого напряжения.

А это возможно только тогда, когда каждый из нас имеет сильную и здоровую волю.

Под спудом

В мирное время казалось нам, что личность играет в жизни ограниченную роль, и что вся сила в коллективе. Индивидуализм надобно было преодолеть. Ну что ж, преодолеть так преодолеть, в России это не трудно: вся история России совершалась под знаком преодоления индивидуализма. Недаром на диковинный строй русской общины глядел с недоумением чрезмерно индивидуалистический Запад. Ни татарская орда, ни московские приказы, ни питерское чиновничество развитию личности не способствовали.

Каждому свое: мы пристраивали личность под сень мира, под незыблемый строй порядка, — Запад поощрял личное делание, творчество, изобретательность. Мы травили и преследовали выдающихся людей, — Запад привык относиться к ним с необычайною для нас внимательностью и бережливостью. На Западе даже и незначительный талант распускается пышным цветом, окруженный признанием и почетом, — у нас и крупные таланты едва дышат, усердно поливаемые обывательскими помоями.

Война нудит нас переменить многое в порядках, в строе, в мыслях наших. Толпа поднялась с чрезвычайным единодушием на защиту государства; казалось, что никогда еще народ не вкладывал такого огромного капитала доверия в дело государственное. Миром двинулись, бодро и честно. Оказалось, что против наших воодушевленных любовью к отечеству множеств встали множества, вооруженные всеми ухищрениями индивидуально работавшей мысли. Техника, подготовленная работою многих талантливых и знающих людей, оказалась выше там, где развитие общества совершалось правильно, т. е. где коллективы спаялись крепкими связями вокруг сознательно объединившихся сильных индивидуальностей, где кристаллизация общества шла в порядке постепенного усложнения от простейших ячеек, от личности, семьи, товарищества, а не от аморфной россыпи наших рыхлых соединений. И у наших врагов, и у наших союзников под грозою войны ярко засияли слова и дела, воодушевляющие и ведущие к победе. Жюль Гед и Вандервельде работают в составе правительств, Габриель д'Аннунцио воодушевляет восторженные толпы, не приученные к преследованию поэтов.

Накатившуюся на нас лавину тевтонского нашествия мы обязаны одолеть. Это — наш долг перед предками и перед потомками нашими, и это — наш долг перед человечеством. Начав борьбу с Германиею, восстав против ее стремления к всемирной гегемонии, начав эту борьбу во имя свободы народов, мы не имеем права не победить, как некогда греки не могли не отразить Ксерксовых полчищ. Провозглашенные нами идеи слишком нас обязывают.

А для победы, оказывается, недостаточны прекрасные качества войска и высокое искусство командования; необходимо организовать все живые силы страны для

обороны государства.

И вот читал я на днях в одной газете, что нам нужны организаторы, Карно, Гамбетта, и нужны поскорее, вовремя, а то вот Карно успел, а Гамбетта слишком запоздал. Не мешало бы иметь также Ллойд Джорджа, — очень полезный человек, и там, в Англии, он — настоящий человек на настоящем месте, как раз для того, чтобы давать надлежащее направление работе благоустроенных коллективов. Вот бы нам такого! Нужны организаторы, нужно министерство, пользующееся доверием страны, а во главе его исключительно — одаренный и популярный общественный деятель.

Итак, преодолев с Божьею помощью индивидуализм, мы принялись искать ярко выраженную индивидуальность. Найти не трудно, русская земля не оскудела талантами, но вот что трудно: поставить настоящего человека на настоящее место. Людей у нас много, но разбросаны они причудливо, и на поверхности общественной жизни кипят в горячке напряженного труда все те же немногие люди. Потому с такою особенною скорбью встречаешь горестные вести о кончине то одного, то другого из этих немногих. Давно ли умер Богучарский, теперь мы потеряли Лутугина. Скорбно вспоминаем ушедших от нас, и не ценим еще живущих.

Разве не страшно, напр‹имер›, что член Государственной Думы епископ Никон живет теперь в каком-то Красноярске, а не работает в Таврическом дворце? Его пламенная любовь к родине, его широкие государственные взгляды, — все это не во что вменяется, и самое избрание его народным представителем не преодолевает синодского бюрократизма. И на этом примере мы еще раз видим, как серая, безличная канцелярщина преодолевает ярко выраженную индивидуальность.

Не странно ли, что голос такого просвещенного и высокоталантливого общественного деятеля, как Плеханов, доходит до нас только изредка и издалека? Разве не доказал он не однажды в этом году и свою любовь к России, и свое глубокое понимание государственных ее задач? Но его нет там, где так нужны люди, нет его тогда, когда они так нужны.

С немалым изумлением прочел я недавно о том, что высокоталантливый стратег Куропаткин живет в своем имении, в Торопецком уезде. Что ему там делать? Заниматься сельским хозяйством? Он проиграл кампанию против японцев, — а кто же ухитрился бы победить в той непопулярной у нас войне, имея базу за тысячи верст за собою, имея для сообщения с этою базою только один железнодорожный путь? Не по случайностям побед и поражений, — внимательный историк имеет много иных оснований, чтобы судить о талантах полководцев. Прекрасные воинские качества генерала Куропаткина общеизвестны, и едва ли найдется серьезный военный человек, который решился бы утверждать, что участие генерала Куропаткина в сложной и трудной стратегической работе не принесло бы большой пользы.

Русско-японская война по всем ее отличительным признакам была как бы репетициею настоящей войны, первою войною в новой истории, по грандиозности своих размеров приближающейся к той, которую мы ведем. Разве не полезно было бы в этот грозовой час нашей истории использовать роковой опыт этого превосходного стратега, просвещенного, внимательного, осторожного?

И вот, как подумаешь, поразберешься в людях, много еще и других припомнишь ярко талантливых людей, прозябающих не у дел, пребывающих под спудом.

Матушка Россия, уж слишком ты швыряешься талантливыми людьми, — смотри, не прошвыряйся!

До Урала

В течение этой войны Германия успела уже потерять почти все свои колонии, но это, кажется, не смущает германцев. Они уверены в том, что победят. Да и отчего им не иметь этой уверенности? На их пути к победе стоят только плохо приготовившиеся к войне враги, и нет на этом пути ни Мясоедовых с их покровителями, ни драконов, стерегущих золотое руно, ни всесильных бумаг, запечатленных гербовыми марками.

Если и несовершенная победа, то все же игра кончится, в худшем для них случае, — так должен думать германец, — вничью, и колонии вернутся. Граф Рорбах пишет, что Германия, в сущности, только начала собирать колонии.

На очереди стоят бельгийское Конго, португальская Ангола и еще обширные земли в средней Африке. Все это — земли не очень ценные, и очередная задача Германии, по мнению графа Рорбаха, в том, чтобы приискать колонии ценные.

Он дипломатически умалчивает, где именно лежит этот германский колониальный рай; русская газета, перепечатавшая его мнение, вскрывает смысл загадки: таким германским раем являются теперешние турецкие владения. Для того и нужна железнодорожная линия Берлин–Багдад.

Мне кажется, что загадка двусмысленна, и допускает еще и другое решение.

Что Малая Азия! Далеко Малая Азия. Ведь не в Малой Азии госпожа Гинденбург получила в наследство громадные земельные поместья, и не турецкий эффенди рассказывает в газетах о том, при каких обстоятельствах он приобрел часть этих земель.

Уже второе столетие продолжалась постепенная колонизация восточной европейской равнины германскими землепашцами. Институт частной земельной собственности иностранцев захватывал все большую и большую часть русской государственной территории. В том, построенном трудами многих поколений, великолепном и обширном чертоге, который российский гражданин, на каком бы языке он ни говорил в своей семье, считает по праву своим родным домом, многие покои, и весьма преизрядные, оказались собственностью чужих людей, тех самых, которые, нося личину дружбы и коварно поддерживая в нашем доме дурные порядки отжившего строя, готовились полвека к нападению на наш государственный чертог. Было даже такое время, когда германцы привлекались на наши земли даровыми наделами и льготами. Кому-то казалось, что земля наша слишком велика и обильна.

А между тем, с этой великой и обильной земли русскому мужику постоянно приходилось куда-то бежать, за тридевять земель, переселяться. Угнетаемый последствиями искусственно поддерживаемого невежества, русский мужик никак не мог наладить уплотнения своего землепользования, и уже при довольно крупном сравнительно наделе начинал страдать от малоземелия. В последние десятилетия он усиленно принялся заселять дикие пространства Сибири.

Получилась картина, не лишенная назидательности: в то время как генерал-лейтенант прусской службы Гинденбург, господин высокой культуры, посещал имения

своей супруги и принимал подносимую ему местными мужиками хлеб-соль, наши сиволапые шагали за Урал, хороня в попутных городах и селах во множестве погибавших младенцев, и потом, в суровом своем новоселье, обливали кровавым потом негостеприимную почву далеких пустынь. Когда же вспыхнула война, российский гражданин, проливая свою многоценную кровь, защищал, среди других сокровищ родного края, также и частную собственность госпожи Гинденбург от того вреда, который могли бы ей причинить армии Бем-Ермоли или Данкля.

Если бы у германцев было больше свободных денег, или если бы они рискнули обратить свое накопленное для войны золото на мирное завоевание России, то ничто не помешало бы им купить и гораздо большие участки российской территории: земля, которая продается, достанется тому, кто больше даст. Такое внедрение иностранцев, даже враждебных нам и явно замышлявших войну с нами, основывалось, конечно, на несомненных юридических нормах.

Уж если когда-то было произведено расщепление единого по существу понятия: родная земля, на два различные понятия: государственная территория и частная земельная собственность, то это расщепление должно было, наконец, в процессе исторического развития, вскрыть свою роковую противоречивость. И это вскрытие пришлось испытать нам. Как страна, экономически более слабая, Россия испытывает невыгоды этого расщепления; экономически более сильная, Германия извлекла из него достаточные выгоды, и намерена, конечно, извлечь бóльшие.

Германия думает, что ей нужны колонии, и ей представляется случай не ходить за ними далеко. Азия и Африка имеют еще много девственных земель, но зачем они, если не колонизована до конца восточная Европа? Земля восточной Европы ценнее африканских земель, культурнее их, ближе, и дает возможность иметь колонии в одной меже с метрополиею.

Мы должны знать, что предстоит нам и потомкам нашим, если мы допустим торжество Германии. По реке Лабе жили славяне, — что от них осталось на германской Эльбе? Бранный Бор был славянскою землею, но об этом напоминает только отголосок его имени в названии Бранденбурга. Город Москау уже настроил немало домов в отвратительном стиле модерн, которые не оскорбят мюнхенского или берлинского вкуса, и ярмарка в Нейгарде-ам-Волга будет очень милым дополнением к Лейпцигской ярмарке. Раньше Урала не остановится победоносная Германия.

Что надобно нам для того, чтобы Россия победила в этой первой русско-германской войне? Достаточно ли для этого наготовить много снарядов, пушек, пулеметов, противогазов и других вещей, или необходимо, сверх того, сказать магические слова, бросить в толпу могущественные лозунги, освободить скованные силы всего народа и все их бросить на защиту родины? Год войны, подсказавши этот вопрос, дает на него и недвусмысленный ответ. Счастлив тот, кто в наши дни, вопреки всему, верит в Россию: верный до конца будет утешен.

Германия — опять верит в свою победу! Но да не будет так! Германия, возомнив себя богоизбранною страною сверхчеловека, стала на роковой для нее путь, и на этом пути ей грозит участь иного, действительно богоизбранного племени, которое за святое величие возвещенных через него законов платится веками рассеяния и гонений. Был свой час истины и величия у Германии, когда ее философия и ее искус-

ство навсегда вошли в сокровищницу всечеловеческой культуры. Слишком быстро истощила Германия свое историческое призвание, и в недобрый для себя срок она вызвала на борьбу с собою еще не явленные миру духовные силы славянства.

Как бы ни кончилась эта война, мир в Европе уже невозможен без конечного торжества славянства или германизма. Или Германия расширится до Урала, или и она испытает на себе роковое упрямство России, — и Германия — после монголов, после Польши, после Швеции, после Наполеона. Никогда не начиная ни с кем ссоры, уже не раз испепеляла Россия восставшие на нее силы.

Оглянемся на нашу историю: татары завоевали всю нашу землю; медленно и упрямо отбивались мы от них, освободились от их ига, но и потом терпели их нападения, и, наконец, принуждены были поглотить татарские царства. Долго и упорно враждовала с нами Польша, и уже, наконец, Владислав стал царем и великим князем московским, но качнулись роковые весы судеб, и русский император венчался польскою короною. Карл XII и Наполеон I наслаждались в свой срок миражами побед над нами, но горько было их пробуждение.

После всех этих испытаний опять враг ломится в нашу страну, самое имя которой должно было бы наводить ужас на завоевателей, опять увлечен роковою мечтою о безмерности ее пространств. Что же, или Германия, и в самом деле, расколдовала зарок, положенный на нас судьбою? И ее высокой науке не страшны суеверные заклинания нашей седой колдуньи-истории? Но ведь наука открыта всем. Лить пушки и готовить снаряды сумеет не один германец. И вокруг Германии немало стран, которые в свой срок сумеют разделить ее земли, как делились и раньше земли великих государств.

В.А. Мгебров

Среди имен погибших в этой войне не пройдет незамеченным имя убитого в бою 22 августа штабс-капитана В.А. Мгеброва. Так многое сплелось в узле этой смерти, в гибели этой молодой жизни: талантливость изобретателя, чуткая, открытая высоким очарованиям искусства душа, блистательная воинская доблесть, — и против этого всего холодная жестокость врага: В.А. Мгебров ранен разрывною пулею в бедро (рана, по-видимому, не была бы смертельна, если бы не разрывная пуля), и умер на операционном столе.

Роковое и торжественное совпадение: отец его, генерал-лейтенант Мгебров, случайно был в том городе, куда привезли с поля битвы его раненого сына. Под диктовку сына генерал Мгебров записал предсмертный рапорт начальнику штаба армии, рапорт, напечатанный в одной газете с пропусками, очевидно, названий местностей и войсковых частей. Умирая, он жил героическими переживаниями битвы; служебный долг заставил его диктовать этот рапорт с точными сведениями о деле, и оканчивается рапорт словами: «о дальнейшем течении боя мне ничего не известно».

Остроумный изобретатель, В.А. Мгебров в течение последнего года сделал несколько чрезвычайно важных для войны технических изобретений. Его ближайшее начальство дорожило его техническими знаниями и изобретательностью, ему трудно было добиться разрешения отправиться на передовые позиции. Отважный

и настойчивый, он преодолел все препятствия, получил в свое командование 2 роту одного из доблестных полков, и храбро повел ее в атаку. Он упал, раненный пулею на расстоянии 15 шагов, — как будто бы для того только и попал в ряды передовых бойцов, чтобы в высоком жертвенном порыве принести тебе, Россия, дар безмерный, пламенно-горящую, прекрасную, талантливую жизнь.

Жестокий враг, жаждущий смерти храбрых, дал ему смерть изысканно-мучительную, изорвавши его тело, раздробивши его кости. Но дух отважного воина не трепещет перед злобою жестоких. Хотя бы и горшие страдания готовили враги доблести наших воинов, герои, подобные штабс-капитану В.А. Мгеброву, будут вновь и вновь возникать в рядах нашей армии. Покойному же В.А. Мгеброву воздадим дань скорби и восторга, и да будет ему легка принявшая его земля родная, и да будет имени его слава и вечная память.

Обывательское

Мой знакомый, живущий в Гатчине, жалуется, что нестерпимо тяжко стало ездить с некоторых пор в город.

— Что же, — спрашиваю, — поезда запаздывают? Или тесно уж очень, накурено?

— Нет, — говорит, — ни то, ни другое, ни третье. Просто житья не стало от обывательщины. Вы не поверите, что за страшное зло, например, вагонные беседы дам-обывательниц. И так как я вынужден слушать эти разговоры каждодневно, то просто хочется иной раз заткнуть уши, или спрыгнуть с тормоза вверх тормашками!

— Что же, — говорю, — это они все по поводу роспуска Государственной Думы волнуются?

— Э, куда загнули, батенька! Что им Гекуба, и что они Гекубе? Есть темочки, куда ближе их сердцу, или, лучше сказать, роднее обывательскому желудку. Недавно — разменный голод, потом — вымышленная ими же эвакуация Петрограда, теперь — сахар.

— Как сахар? — удивился я. — Что, собственно, интересного в сахаре? Ну, я понимаю, когда эдакой вальяжной Марье Ивановне не додаст пятиалтынного сдачи с целкового Ванька за проезд с Гавани на Балтийский вокзал. Или вдруг станет ребром вопрос, куда скрыть от варваров-немцев, в случае их нашествия, двадцать полупудовых банок свежего варенья, или репсовый будуарный гарнитурчик, — это я понимаю. Как, в самом деле, прикажете существовать супруге надворного советника без репсового гарнитура и без черносмородинного варенья, изготовленного из свежих ягод самолично на терраске в излюбленном Парголове? Чем наполнить «дни нашей жизни»? Но сахар, сахар?

— Сейчас видно, что вы дальше своего письменного стола и книжной полки ничего не видите, — ответил мне приятель мрачно. — Сахар теперь так же необходим каждой приличной семье, как воздух, как свет и вода. Во-первых, с чем прикажете чай кушать? Во-вторых, сахар, — об этом я даже в газете читал, — повышает мускульную энергию. В-третьих, надо всегда запасаться тем, чего не хватает в лавках. В-четвертых, о чем же и беседовать Марье Ивановне, едущей за

пенсией в казначейство, с Анной Петровной, отправляющейся в Государственный Банк стричь купоны? Ведь не все же о войне? Но, знаете, я, кажется, из-за этих «сахарных» бесед принужден буду распрощаться с милой, уютной Гатчиной. Сил не хватает. И почему не запрещают в вагонах разговаривать вслух? За что я должен все это терпеть?

— Если бы, — сказал я, — наше общество, с одной стороны, имело серьезные общественно-политические навыки, а с другой стороны, реагировало бы настоящим образом хотя бы на художественную, литературную или научную жизнь современности, поверьте мне, не было бы ни разменных, ни эвакуационных, ни всех этих позорных и прискорбных сахарных и мучных паник. В этом, как это ни парадоксально, виноваты отчасти и вы сами, господа критиканы. В это самое время, когда наши «верхи» систематически оберегали наше общество от самодеятельности и общественности, загоняя его в тупик обывательской пошлости, в то самое время вы твердили каждодневно этому обывателю: не читай стихов, не покупай новых книг, не смотри пьес известных авторов, — это все вредно, скучно, «нежизненно». Сходи лучше в кинематограф, посмотри еще раз Глупышкина, или созови к себе друзей-обывателей на винтик с закусочкой. Вы не говорили ему: «Не покупай русского хлеба или русского полотна». Но от русской литературы, русской поэзии и русского искусства вы тщательно и методически в течение десятилетий оберегали и предупреждали русскую обывательскую толщу. И эта толща внимала вам, презрительно морщилась при имени русского литератора или художника, ходила в кинематограф, играла в винт, выпивала и закусывала. И вот, когда разразились мировые события, и обыватель спугнут с жердочки своего мирно-сонного существования, вдруг заколебавшегося во всех основах самым недвусмысленным образом, — какое право имеете вы теперь требовать от него того просветленного взгляда на вещи и того мудрого самоограничения, которые даются только служением науке, искусству или религии? Пожинайте же вашу «сахарную», поистине, «жизненную» жатву!

Два пути

Передо мной в вагоне сидели двое: добродушный капитан с фронта, с веселым, молодым лицом, блестящими глазами (с фронта они у всех блестят), но седоватыми, подстриженными висками, любезный, разговорчивый и жизнерадостный, несмотря на более чем годовую службу в тяжелой артиллерии во время войны; помещик — земец, по-видимому из левых, пожилой, нервный, недоверчивый, беспокойно засыпавший своего случайного собеседника массою самых разнообразных, жгуче-любопытных для обывателя тыла вопросов. Все-то его интересовало, все-то тревожило этого шестидесятилетнего непоседу с седою головою: и механизм стрельбы из тяжелых орудий, и начинка шрапнели, и изготовление снарядов, и продовольствие солдат, и уборка раненых, и санитарная часть, и образовательный уровень неприятеля, и дальнобойность прицела, и боевые достоинства известных в армии лиц, и еще много чего.

Капитан с молодым лицом и седоватыми висками отвечал на всё чрезвычайно предупредительно, с охотою человека, редко балующегося таким вздорным делом,

как частные и безрезультатные разговоры. Коснулись в трехчасовой беседе решительно всего: и роспуска Государственной Думы, к которому и военный (не говоря уже о штатском) отнесся с неодобрением, и психологии неприятеля, отдав дань и немецким «зверствам» и немецкой «аккуратности»; порадовались увеличению (слава Богу!) количества снарядов у нас на фронте, похвалили умелость наших артиллеристов, отвагу кавалерии, выносливость пехоты, мельком отметили перемены в «верхах», одобрили назначение генерала с большим боевым опытом.

Но, как всегда, беседа становилась особенно интересною и искрящеюся, главным образом когда касались отдельных эпизодов, впечатлений и характеристик, хотя бы и мимолетных, но озаренных блеском и трепетом великого художника — Жизни. Тогда оба точно старались перещеголять друг друга в меткости изображения, в блестках юмора, в красочности образов.

Особенно интересен для меня, как для обитателя тыла, становился тогда капитан. С удивительной скромностью, свойственною, — как бы на эту скромность теперь ни нападали, — чисто русской натуре, передавал он о почти невероятных условиях современных войн, когда нападения производятся сразу, чуть не со всех возможных направлений — слева, справа, сверху, снизу, с лба, в спину, — над землею, из-под земли, на воде, под облаками, из-за каждого леска, пригорка, куста, чуть не из-за каждого камня. О ране, из-за которой ему пришлось две недели «проваляться», он упомянул только вскользь, как о чем-то совершенно не стоящем внимания.

Зная, конечно, гораздо больше, чем каждый из его собеседников, об ужасах войны, хладнокровно и добродушно, ничего не преуменьшая, ставя каждое явление и каждую вещь на свое место, ничего не смешивая, во всем отлично ориентируясь, и ни от чего не приходя в уныние, он под конец беседы сразил своего «тылового» слушателя ответом на обычно задаваемый военным вопрос, долго ли будем воевать.

— Да лет шесть, уж не меньше, поверьте. Я так и с начала войны назвал ее — Семилетнею войною.

— Голубчик, родной, смилуйтесь! — отшучивался ошарашенный тыловик. — Сбавьте хоть пятерку. Ведь у нас сыновей не хватит. Я уже двоих отправил, последний остался.

— Нельзя меньше, — говорил капитан, поблескивая глазами и добродушно поводя мягкими губами. — Ведь надо их, подлецов, выбивать теперь из каждой пяди нашей земли. Чего это будет стоить! Если помогут французы, тогда — меньше. Но надо рассчитывать на себя, только на себя.

— Ребятишкам учиться надо, — продолжал тыловик. — Вы посмотрите, что делается, — занимают гимназии, перебрасывают учащихся из Гродны в Екатеринбург, обывателю не угоняться.

— Давайте нам снарядов, давайте подкрепления, — твердил капитан, — а главное, не нервничайте, не «дергайте тыл». А то, что у вас здесь делается, говорится... Нехорошо. Вот я пробыл две недели в тылу (он назвал волжский город), куда перебралась семья из-под Вильны, и чего только не наслушался. Право, чувствую себя не отдохнувшим, а скорее разбитым от этой неврастеничности, растерянности, бестолковщины. А сколько грязи, сколько ненужного, лишнего, только распыляющего

необходимую энергию, которой так много надо, — и бедняга опечаленно поник головою. — А мы там ждем не дождемся.

— Мы, голубчик, рады бы и днем и ночью не отходить от станков, и много еще чего делать. Да ведь нас с вами не спрашивают! — с горечью говорил тыловик. — Ведь если бы нас спросили, мы бы сейчас мобилизовали всю страну. Даже не оставили бы в покое монахов и монахинь, командировали бы на «действенные» дела милосердия, — к раненым, больным, беженцам, сиротам, а их миллиарды конфисковали бы на нужды страны. Когда же, как не теперь, проявлять любовь к ближнему и заветы служения ближнему?

— Пока нам верят, верят и союзники, верит и Америка, зачем починать народные кубышки? — протестовал военный. — А монахов и я бы извлек из их прекрасного далека. Но дело все-таки и не в этом. Поймите, когда мы т а м, — и он указал рукою куда-то далеко перед собою, — у нас о д н а цель — гнать и гнать неприятеля подальше, а здесь... — и он с горечью махнул рукою, — ссоры, борьба самолюбий, обывательщина, паника из-за всякого вздора...

— Дорогой мой, — говорил штатский с необычною мягкостью, — но как устроить все это, как побороть? Ведь мы бьемся как рыба о лед. Победить косную обывательщину, торгашескую недобросовестность, мелкую борьбу честолюбий, ведь это можно только путем реформ, путем планомерных, разумно согласованных организаций, самодеятельностью ответственного и сплоченного общества. Поверьте, ведь я сам во всяких этих комитетах пекусь и жарюсь, и все толку мало. Обратить обывателя в гражданина в какой-нибудь месяц, да еще под грохот канонады, — это, я вам доложу, — задача не совсем заурядная и по плечу только необычно воодушевленным, чем-то зажегшимся людям. Лозунги для этого воодушевления есть, но их не хотят даже выслушать. А вашим пришлось эвакуацию пережить? — продолжал допрос штатский.

— Да, пришлось, — небрежно уронил военный.

— И все бросить? — ужаснулся тыловик.

— Все: и домик, и вещи, и серебро, — отрывисто ответил капитан. — И уехать стоя. Жена только каракулевый жакет захватила, — добавил он с улыбкою. — Да это что! Я и тому рад, что выбрались.

Оба замолкли утомленные. Стали собираться ко сну. Под стук и грохот вагонных колес пытался заснуть и я. Но долго, долго стояли в клубах табачного дыма передо мною оба образа, — одно лицо молодое, с веселыми глазами и седоватыми висками (как оказалось, это произошло в «деле», в котором в течение пяти минут на глазах капитана было перебито три четверти всего его состава), другое — нервное, беспокойное, с тревожным вопросом в глазах. Оба по-своему правы, оба мучительно переживают остроту современного положения родины. Оба по-своему убеждены, что могут спасти мечущегося в смертельных муках. Оба идут к одному двумя — даже едва ли разными — путями.

Подъезжая к Петрограду, сквозь сутолоку одеваний, прощаний, гудков и сборов, я расслышал всё те же молящие ноты:

— Голубчик, сбавьте хоть годик!

— Давайте снарядов, — неслось в ответ.

1916

Ура!

Читал я недавно в газете рассказ о том, как учитель народной школы во Франции, призванный в войска, раненый на фронте и признанный неспособным к военной службе, возвращался в свою школу, на то же самое место, которое он занимал до войны. Его первый урок был торжеством для всей деревни, для всей округи. Все жители деревни, нарядные и гордые, собрались у дверей школы приветствовать инвалида. Президент французской республики, г. Раймонд Пуанкаре, прислал на это торжество полковника доблестной французской армии. Школа была украшена цветами. Мальчики и девочки надели праздничные платья. Свое первое обращение к ученикам учитель начал словами:

— Vive la France!

Очень интересная картина чужих нравов и жизни дальней. Одно из тех газетных сообщений, которые мы прочитываем с любопытством, как страницы экзотического романа. Что-то, совершенно не похожее на отечественные наши нравы, совершенно на них не переложимое, для нас почти досадное или смешное. Вдруг бы русский человек в соответствующий момент своей жизни закричал:

— Да здравствует Россия!

Представить это никак невозможно, — это была бы не российская действительность, а творимая легенда.

Припомнишь, какие крики приходилось слышать в России, — все что угодно, от высокопатриотического ура до отчаянного караул, а восклицания:

— Да здравствует Россия! — память не сохраняет.

Не знаю, как другим, а мне всегда бывает как-то завидно читать о том, что где-то есть эти яркие, бодрые настроения, этот пафос изъявления своей любви к отечеству, этот восторженный возглас:

— Vive la France!

У нас и самые праздники будничны и серы, а в лучшем случае угарно и пьяно шумливы и задирчивы, с непременным сбиванием шапок со всех встречных: я видел однажды, как почтенные горожане хотели сбить фуражку с кадета, державшего руку под козырек.

Говорят, что скромная и простая русская душа чуждается всяких патетических манифестаций. По-моему, это напраслина на русскую душу. Широкие просторы русских полей и дорог постоянно оглашаются ярко выразительными манифестациями страстной любви к чьей-то матери. Сила, яркость и патетичность выражений никогда не изменяют русскому человеку, когда его душа жаждет изъявления обуревающих ее чувствований.

Должно быть, есть какие-то иные причины, которые мешают нам восклицать:

— Да здравствует Россия!

Лучшие из нас, быть может, думают, что Россия должна еще поучиться у них уму-разуму. Худшие из нас желают, наверное, всего что угодно, но уж до благоденствия-то России какое же им дело! Средние не привыкли соединять представление о своем благополучии с представлением о процветании отечества. И все мы находим,

что в торжественных случаях, когда уж совсем невозможно молчать, достаточно ограничиться кратким и внушительным:

— Ура!

Война после войны

Два года тому назад говорили:

— Война против войны.

Теперь уже кое-где стали поговаривать:

— Война после войны.

И начали подготовляться к этой войне. Конечно, подразумевается война рублем. Когда кончится война, придется улаживать отношения экономические. И одни думают, что русский рынок без привычного германского товара не обойдется, т. е. что после войны настанет мир. Другие же думают, что удачно налаженные наши союзы следует сохранить, германских товаров не покупать, и русского сырья в Германию не везти. Это означает, что после войны военной начнется война таможенная, финансовая, торговая.

Что ж, поживем — увидим. Многие закоренелые предрассудки уже опровергнуты этою войною. Может быть, опровергнет она и тот предрассудок, что всякая война кончается миром. Бывали же и такие войны, которые кончались перемириями; бывали и войны, длившиеся по сто лет, т.е. практически, для начавших войну, бесконечные.

Говорят, что Германии придется весною отпустить значительную часть солдат для обработки полей. В этом случае решительные действия со стороны германцев станут невозможными. Только ли с их стороны? Я слышал от помещиков средней полосы России, что такая же мера окажется необходимою и у нас. И станет на очередь вопрос: что выбрать — плохой мир с войною после войны или затяжную войну?

Но разве психологически возможен плохой мир? Когда об этой возможности заговорили в одном салоне, — в том самом, где велась беседа о войне после войны, — как вспыхнула и взволновалась хозяйка дома:

— У меня брат убит на войне, во многих семьях тяжелые потери, — неужели все эти безмерные жертвы пропадут даром!

— Но ведь с этим правительством невозможно победить, — сказал кто-то.

— Отчего же никто не найдет настоящего слова? Мы всё видим, всё знаем, отчего же мы ничего не можем?

Мудрые и старые люди заговорили о том, что возможно, что осуществимо; потом выслушали очень интересный доклад о войне после войны; потом умно и любезно поспорили. Но светлый момент негодования, и запылавших ланит, и засверкавших глаз отсиял, и погас, и никого не зажег.

Ах, милые русские негодующие женщины, в ваши бы руки отдать судьбы России! Когда молодые и отважные проливают в изобилии кровь, когда мудрые старцы так осторожны и так благоразумны, когда значительная часть оставшейся молодежи так успешно работает по обороне от войны, разве жены, матери и сестры русских воинов не имеют права возвысить свой правдивый голос? И пусть вознесется наша

почтительная благодарность к тем доблестным русским женщинам, которые уже сделали это.

А мы пока довольно прохладно беседуем. Не о том, чего мы непременно хотим, и чего мы добьемся, во что бы то ни стало. Где уж нам! Мы бы и не прочь захотеть, да «темные силы» мешают, и нам с ними никак не справиться, мы уже давно читаем, что Австро-Венгрия разгромлена, что Германия истощена, что она не сегодня-завтра начнет издыхать с голода и обливаться кровью голодных бунтов. Мы уже давно слышим, что враг сломлен и надломлен, и скоро будет совсем переломлен. Еще бы сделать только одно усилие, — и конец! Но так как у нас все еще есть «темные силы», то этого последнего усилия сделать не удается, и наступательные порывы наших войск гасятся прискорбною неорганизованностью тыла. И приходится нам вести умные речи о том, чего следует нам захотеть, если не удастся до конца разгромить прусский милитаризм, все еще сильный и живучий. Как поступить в этом случае, чтобы обеспечить народы Европы от повторения ужасов этой «беспримерной в истории» войны?

Средство, по-видимому, одно — держаться и после войны системы счастливо заключенных союзов, и посредством этих союзов свергнуть иго экономической зависимости от Германии, для этого во 1) всемерно заботиться о свободном развитии производительных сил страны, во 2) направить вывоз нашего сырья не в Германию, а в дружественные страны, и в 3) обойтись без торгового посредничества Германии при наших заграничных покупках (говорят, что некоторые наивные русские хозяева даже семена ростовских огурцов выписывали через Гамбург).

Относительно первого из этих пунктов говорил нам известный экономист:

— Ученые химики разных стран занимаются наукою, и мало думают о практическом значении своих открытий; немцы уже давно и много работают над применением химии к технике. Поэтому создалось такое положение, что текстильная промышленность всех стран получает красящие вещества только из Германии. До войны жаловаться на это не приходилось: дешево и пригодно для того, чтобы удовлетворять потребностям спроса. Но с началом войны текстильная промышленность даже и в нейтральных странах стала испытывать затруднения. Германия выпускала свои фабрикаты только при условии доставления ей необходимых для нее товаров, пищи, металлов. Но оказалось, что потребный для производства красящих веществ гудрон находится везде, и во многих странах его даже больше, чем в Германии. В Америке стали возникать заводы для изготовления красящих веществ. Германия всполошилась, и немедленно же приняла свои меры: в Америку было послано 180 тонн красок и дипломатическое сообщение, что так как в Германии стало известно затруднительное положение текстильной промышленности, то Германия посылает это количество красящих веществ, не требуя себе на их доставку никаких льгот и взаимных посылок, желая только сделать приятное вашингтонскому правительству.

Итак, свободное развитие производительных сил страны не такая уж хитрая штука. Везде найдется подходящее сырье, обученные техники и жаждущий приложения капитал. Но мы должны, пожалуй, и в этом оглянуться на наши «темные силы». Не предпочтут ли они получать приятное от Германии, к которой наш рынок уже привык,

и которая тоже привыкла к нашему рынку? Преодолеет ли энергия англо-русских деятелей эту приятную «темным силам» привычку?

Относительно вывоза ученый экономист говорил менее оптимистично. Автор доклада о войне против войны соображал так:

— Англия, Франция и Италия до войны ввозили хлеба в год на 1200 миллионов рублей. Доставляли хлеб на европейские рынки Россия, на полмиллиарда с небольшим, и английские колонии, Австралия, Ост-Индия, Новая Зеландия, Канада, приблизительно столько же. Таким образом, хлеб из России и английских колоний может целиком разместиться в союзных странах, и еще на 180 миллионов рублей придется купить на других рынках.

На это ученый экономист возразил:

— Дело не так просто. Приходится считаться со вкусами потребителей. Наше мукомольное дело стоит очень высоко, но, когда русскую первосортную муку послали в Англию, то ее, к великому изумлению наших мукомолов, там расценили по средним ценам; оказалось, что англичане достаточных классов привыкли совсем к другому, чем у нас, хлебу, который выпекается из разных мук, смешиваемых по особому рецепту, и наша мука была очень мало пригодна. Притом же вывозим мы в Германию преимущественно ячмень для лошадей. А еще неизвестно, понадобится ли этот ячмень в Англии.

Пожалуй, и здесь не лишнее подумать о русских «темных силах». В Германии все хитро соображено и придумано, и лошадиные интересы оберегаются не менее тщательно, чем людские. У немцев, говорят, есть даже говорящие лошади, — не для того ли, чтобы управляющие ими нашли общий язык с управляемыми? Пожалуй, они явятся к нашим «темным силам» как депутация от германских лошадей, и покажутся очень приятными. Настолько приятными, что наши «темные силы» напишут, кому следует, записку:

«Ичмень гаварит што мы все можим, дак гани яго в ерманию приобыкши он истца ерманским лашаткам».

Орфография может быть и более академическою, — ведь это еще предсказание насчет будущего.

Много еще интересного и занятного я слышал, и о многом думал в тот вечер, но одно было истинно радостное, — вспыхнувшее прекрасным негодованием лицо русской женщины.

Удел поэта

В провинции, в дороге, между двумя моими лекциями, застало меня горестное известие о кончине бельгийского поэта Эмиля Верхарена. Прочел я эту весть на скучной, унылой узловой станции, где была пересадка в ожидании поезда. Моросил дождь, в тусклые окна заглядывал скучный ноябрьский день, безрадостная равнина серых полей. И представились мне такие же тусклые сумерки, те же осенние будни на станции провинциального французского городка. С грохотом и лязгом проносится сквозной, сверкающий огнями поезд. Запыхавшийся поэт бежит к поезду, спешит; в вокзальной сутолоке кто-то невнимательно-жестокий толкнул его, он упал;

вздымая искры, пыхча и лязгая, прогрохотали колеса огненного чудовища; и унеслось оно, оставя на рельсах окровавленный прах того, кто назывался поэтом Эмилем Верхареном. Сочувственною тоскою сжалось сердце, такими близкими явились встревоженной мечте обрызганные милою кровью рельсы, что захотелось выбежать на платформу, увидеть эти узкие, эти ужасные полосы стали.

И еще хотелось представить: что пронеслось в ужасный, неповторяемый миг в холодеющем мозгу поэта, в тускнеющем сознании, какие образы, видения ощутил он уже на пороге иного бытия? Представилась ли ему его родина, придавленная, как и он, в этот роковой час чудовищными колесами нещадной Судьбы, «окровавленная Бельгия», его любовь, его мука, страна, с именем которой на устах он испустил последнее дыхание? Или то был вздох горестной скорби, вздох сожаления о том, что ему уж не увидеть ее, — ни страдающей, ни просветленной, ни увенчанной, ни торжествующей, никогда, никак?

Эмиль Верхарен прожил жизнь истинного поэта, со всеми сопутствующими ей волнениями, тревогами, увлечениями, упованиями и сменами настроений. Ни одно из крупных явлений современности, ни одна из грозных проблем, восставших перед смятенной Европою в последнюю четверть века, не прошли мимо поэта, не задев его своим мрачным крылом, не опалив его дум своим огненным дыханием.

Все слышал он, все отдавалось в душе его: угрозы каменных чудовищ, «городов-спрутов», в судорожном ритме которых ему чудились уже кошмарные «звоны оружья и топот шагов, и гул голосов», неизбежно и грозно нарастающих, с каждым днем приближающихся движений масс. При взгляде на мирные поля и тихое, вечернее небо, он спрашивает себя с тоскою:

Ужель и здесь пройдет Она?
Их покой смутит?
И небеса, и мирные поля
окрасит серым пеплом разрушения?

И Смерть видел он, упивающуюся пьянящею багряною кровью, Смерть, царящую и властвующую над покоренною ею Жизнью, Смерть, свершающую свой дикий танец над трупами жертв искупления во имя грядущих «Зорь» человечества. И еще много других темных и светлых снов и пророчеств грезилось поэту, зачастую видящему и слышащему иное, чем дано смертному, в смутных очертаниях и заглушенных шорохах столь остро ощущаемой им Современности.

И долго будем мы ощущать эту Современность со всею властною остротою ее неразрешимых противоречий, с муками ее неизреченной скорби, с проклятиями и стонами ее окровавленных жертв, — долго еще будем жить, думать и чувствовать по Верхарену.

Личная судьба поэта, — за исключением последних лет, облекших в траурный флер всю его страну, — протекла безбурно. Он имел счастье родиться в культурной стране, которая умела слепить и полюбить при жизни родного ей поэта, не ставя ему в укор ни увлечений «гимном королю Альберту», ни горестью выстраданных признаний «окровавленной Бельгии», где поэт-гражданин не стыдится сознаться в том, что воспылал ненавистью к врагу, залившему кровью мирные поля его родины. У нас чувства этого порядка не умеют и не хотят понимать! Был момент, когда наши присяжные

публицисты словно обрадовались, обрушив свои заржавленные громы на великого поэта Верхарена за его якобы «шовинизм», за его ненависть к злому врагу. Я же имею смелость думать, что поэт, истинный и большой, всегда прав, — во всех своих настроениях, сомнениях, колебаниях, увлечениях, ибо каждый момент гнева, восторга, смущения, скорби, радости и тоски им выстрадан и праведно рожден его поэтическою интуициею, дарующею ему приметы гения — Вдохновение и Провидение. Одаренный этими дарами богов, жил, творил и умер поэт, Эмиль Верхарен, и да будет ему легка принявшая его тленный прах неродная земля!

Мученическая кончина его и не могла быть иною. Верхарен слишком болел муками современности, и неизбежно был обречен, в той или иной форме, разделить трагическую участь века и поколения, надежды и скорби которого он воспел с неслыханною силою.

1917

Хочу и верю

Чем дольше живешь на белом свете, тем все сладостнее и больнее вспоминаешь праздники и обряды, все то живое когда-то содержание жизни, которое насквозь все становилось художественно ценною формою и которое так непосредственно радовало еще неопытную в делах житейских душу. И вот что удивляет, пока не разберешься в значении терминов: мил сердцу бытовой обряд, торжественный и веселый, но скучен, отвратителен, постыл унылый, серый быт.

А подумаешь, и видишь, что противоречия никакого в этом противочувствии нет, потому что живому сердцу мил быт живой, в котором еще не иссякла, еще благостно веет воля к бытию, к живому творчеству жизни, и противен быт окоченелый, от которого уже отлетело животворящее дыхание дерзающей воли.

Благ обряд и честен строй, пока этот обряд и этот строй еще хранят в себе знойную теплоту созидающей воли. Хорошо, когда человек говорит:

— Я хочу.

Торжественно и радостно звучат настойчивые пожелания, повеления человека судьбе:

— Да здравствует русский народ!

— Да будет ему триумф!

— Да будет победа!

— Хочу, чтобы «процветала в мире наша сторона»!

Долго и настойчиво повторяет человек, повелевая Року и себе самому:

— Хочу!

— Да будет!

— Явись, встань, возникни!

— Трудись, преодолевай, созидай!

— Будь счастлив, и будь достоин счастия!

И благо ему, если он произносит повелевающие формулы только тогда, когда хочет, и если он вкладывает в звон слов всю мощь воли.

Но беда человека в том, что
Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она.

И замена прескверная, как всякая замена, как всякий суррогат. Если нет привозного кофе, закоренелая кофейница пьет отвар отечественных желудей, испытывая слабую иллюзию чувственного счастия, но изо всех свойств заморского медленного, жуткого и возбуждающего яда родная свиная сыть не имеет ни одного. Если нет человеку пламенного счастия, можно найти утеху в халате и туфлях или в заугольных тараканьих шепотах. Если нет в душе дерзающей воли к созиданию новых форм жизни, то можно приятно провести время в делании и принимании визитов по самым разнообразным поводам, в провозглашении громких тостов, хотя бы и безответных, в повторении любезных благопожеланий, хотя бы никого ни к чему не обязывающих.

В ночь под Новый год раздается всегда очень много приятных, добрых, прекрасных пожеланий, и самый воздух в эту ночь, кажется, благоухает радостными поздравлениями:

— С Новым годом! С новым счастьем!

Но приходит новый, 1917 год к нам так же, как приходили и прежние два года, 1915 и 1916, в таком же окружении легкокрылых, едва только тонкими кончиками розовых ног касающихся нашей грубой почвы, и тяжелообутых, каменно ступающих недоверий, опасений, предчувствий, разочарований. И как ни улыбчивы легкокрылые, молниеглазые, светлоодеждные утешительницы, но от года к году все тяжелее громоподобный топот угрюмых угроз.

А всмотреться в них пристальнее, — да разве вы не видите, что угрожающие сами боятся? Разве вы не понимаете, что от вас самих, — и только от вас, — зависит одним словом прогнать всю эту нахмуренную толпу?

В сказке говорится, что овладевший тайною слова витязь подойдет к горе, крикнет погромче:

— Сезам, откройся!

И тотчас откроется гора, и выдаст витязю все заключенные в ней сокровища.

Попробуйте в наши дни подойти с этими словами к любой горе, — ничего не выйдет. Почему? Слова не те? Или голос слаб?

Да и то, и другое. Сезам, конечно, — слово пустое. И никаких секретных, чародейною магиею обладающих слов нет. Есть в человеческом языке только одно волшебное слово:

— Хочу!

Да и оно зачастую ничего не стоит. Бывает, что стоит человек десятки лет на одном месте, и повторяет:

— Хочу быть дерзким, хочу быть смелым!

А сам ни с места, и ни смелости, ни дерзаний никто не видит. И уже привыкли люди, и мимо идут, равнодушные. Разве только иногда скажет кто-нибудь:

— То же бы слово, да не так бы ты молвил.

А как же?

Со всем напряжением воли, со всею убежденностью пламенной веры!

О, если бы эта воля! О, если бы эта вера! Давно бы горы сдвинулись с места, давно бы достигнуты были поставленные нам судьбою цели, давно бы уже был «взят заносчивый Берлин»!

Ведь должны же мы победить! Ведь это — кошмар, тяжело навалившийся на грудь, кошмар — одна мысль о том, что мы можем выйти из этой войны раньше нашей победы, и что права малых народностей на их национальное самоопределение опять будут раздавлены!

Что же мешает нам сказать надменное «хочу»? Сказать с такою пламенною и простою силою, чтобы слово облеклось живою плотью, чтобы оно заблистало всеми радугами мечтаний, желаний, устремлений, чаяний, чтобы оно зажглось всеми огнями радостей, восторгов, исполнений, достижений!

Или мы недостаточно любим наше отечество? Нет, пролитая кровь и все эти безмерные труды и подвиги одних, воздыхания и слезы других, и весь этот наш крестный путь, — как бы нам все это выдержать, если бы не было в нас этой несокрушимой национальной скрепы, как бы мы ни называли ее? Да, это — правда, что «отечество в опасности». Но я верю, верю, верю, что звон бокалов и шум приветов в эту ночь разорвал пелену холодных привычек и тупых равнодуший, что он смутил толпу унылых, угрожающих призраков.

История любит давать предметные уроки, — это очень верно отметил на днях в своей высоко интересной статье академик Павел Виноградов. Тот предметный урок, который дан России и миру в опыте этой войны, длится достаточно — долго даже и для нашей медлительно-поспевающей родины. Шутка сказать:

— Победит тот, у кого крепче нервы.

Но это — неправда. У тигра нервы крепче, чем у человека, но побеждает человек. Побеждать должен тот, кто прав, и кто хочет победы. Кто прав, тот должен победить, потому что за него Бог и добрые люди. Кто право хочет победы, тот должен победить, потому что в самом акте его правого волеизъявления есть несокрушимая сила.

Действуя в плане историческом, мы все или право сливаем свою волю с широким потоком воли божественной, миродержавной, устремляющей миры и сердца к возвышенным целям, или неправо богоборствуем. Если бы мы сознали себя неправыми, мы обязаны были бы смириться. Но, так как мы знаем, что устремление наше праведно, то обязанность наша состоит в том, чтобы со всем напряжением воли захотеть победы.

После победы — светлое будущее и свободное развитие России. Без победы — уныние и разруха.

Но верю, что нас ожидает светлое будущее. Верю, и хочу, чтобы это светлое настало в те дни, когда еще мы населяем землю, а не далекие наши потомки.

Преображение

Да это же вовсе не революция! Это — светлое преображение, величайшее из земных чудес. Конечно, было героическое воодушевление, непомерное отчаяние, мужественная и непреклонная решимость, и потому уличные бои, пожары, восторг и ужас народного восстания, и против мужественно восставших спрятанные по за-

садам «фараоны» и охранники с пулеметами и револьверами. Было все то, что бывает во всех революциях. Но недаром поэт сказал:

У нас особенная стать, —
В Россию надо только верить...

И над светлым и ярким пафосом восстания в нашей революции, сделанной Петербургом, гордитесь, жители невской столицы! — возносится иной, еще светлейший восторг, — радость преображения.

И произошло это дивное преображение так, не то что безболезненно, а так стихийно и просто, что впечатление слагается такое, как будто с дерева времен свалился давно созревший плод.

Где же защитники старого строя? Если не считать немногих безумцев, которые до пятницы еще прятались кое-где по колокольням, бесцельно стреляя в толпу радостного народа, не видно никого, кто бы, хотя в робких беседах, защищал старый строй. Ах, это злое всем наскучило! Нет защищающих то, что упало. Все согласны. Даже немного жутко и страшно, что так быстро все пришло к согласию.

Согласны, конечно, только в признании переворота. Нет сомнения, споров и несогласий будет еще много, но в главном-то, в основном, кажется, ни у кого нет никаких сомнений: то, что совершилось за эту неделю, бесповоротно. И в этой бесповоротности все более убеждаешься, чем более говоришь с людьми, и чем более ходишь по улицам Петербурга. И даже когда говорит о разногласиях между двумя основными действующими силами переворота, не страшно слушать о этих разногласиях. Какая-то твердая уверенность, что будет найдена должная средняя линия поведения, и что в Берлине нашим раздорам радоваться не придется.

Все эти дни на улицах, даже и там, где не происходит событий, очень много людей. Сначала, в первые дни, чувствовалось настроение мрачное, но решительное. Даже не всегда мрачное.

Когда останавливала толпа движение трамвайных вагонов, было шумно и весело. И потом, когда уже гремели выстрелы, были слышны трагические слова:

— Умирать так умирать! Смерть одна.

До последнего отчаяния дошли люди, но в их решительности уже было зарево того пожара, который стал быстро разгоравшейся зарею преображения России.

Когда наметились первые успехи движения: взятие арсенала, Крестов, настроение уличных толп стало сразу глубже, настороженнее, сосредоточеннее. Не было южной экспансивности, сказывался северный глубокий и устойчивый темперамент. Долго раскачивались, но теперь уже не остановятся.

Потом, уже с середины недели, настроение стало становиться все более светлым и радостным, но оставалось все таким же решительным. И вот что особенно радует, — во всем черты преображения, не только в том, что что-то изменилось в строе жизни, и что исчезло засилие участка, но в самой психологии людей. Те же люди, и словно не те. Куда ни взглянешь, — уже нет той прискорбной и темной озлобленности, которая так больно поражала в дореволюционные дни. Бывало, где толпа, там ссора, толчки, резкие слова. И это в те дни, когда рабочие работали на фабриках и на заводах, когда трамваи ходили исправно, когда везде были извозчики, когда Протопопов казался необычайно прочно сидящим на своем месте. А вот теперь, когда

всё в видимом беспорядке, когда с чердаков и других вышек еще продолжалась беспорядочная стрельба остальных полицейских, еще не арестованных, когда трамваи не ходили и газеты не выходили, вдруг на улицах стало радостно и светло, и все стали друг к другу чрезвычайно любезны, и никто никого не толкает и не ругает. Собираются кучки, читают известия, или спорят, или слушают взгромоздившегося на что-то оратора, спорят с ним, или приветствуют его громкими криками одобрения. Иногда, правда, страсти разгораются, и спор принимает резкий характер. Но то ли бывало в другие революции!

Особенный ли характер русского народа в том сказался, или особенный характер этого переворота, в котором все оказалось столь готовым, с одной стороны, к тому, чтобы грузно и бесславно упасть, с другой стороны, к тому, чтобы решительно восстать, — но замечательно то, что движение носит дружный характер, и, по всем видимостям, число жертв сравнительно незначительно. По настроению уличной толпы чувствуется, что в толпе не разбужены инстинкты жестокости.

В пятницу рассказывали, что у нас на Васильевском острове убили двух полковников. За что, не знаю. Про одного говорят, что он потребовал от солдата, чтобы тот отдал ему честь. Кучка женщин на улице спорила по этому поводу. Дама в пенсне и в нарядной ротонде убеждала просто одетых женщин в том, что убивать людей на улице не следует. Разговор, как все русские разговоры, был бестолков и раскидист. И о городовых зашла речь. И о том, что напрасно выпущены из тюрем уголовные преступники. Но так как во всех этих соображениях было осуждение толпы, то речи нарядной дамы не нравились женщинам из народа. Дама говорила:

— Глупые головы выпустили разбойников.

Женщина в платочке возражала:

— Глупые головы говорят такие слова. Уходи, пока народ тебя не растрепал.

Дама ушла, ссора погасла. Народ, слушавший дебаты, не счел нужным трепать кого-нибудь.

На углу Среднего проспекта и одной из линий оратор говорил:

— Товарищи! Только что вы успели завоевать свободу, у вас уже хотят ее отнять под тем соусом, что надо как можно скорее восстановить свободу.

Из толпы кричат:

— Не правда! Никто не отнимет! Никто не хочет отнять.

На другой день такие речи уже совсем, кажется, стали не слышны. Как только образовалось первое министерство, толпа на улицах стала заметно спокойнее. Почувствовалась вера в то, что все будет делаться дружно и согласно. Разногласия и споры будут потом, а теперь не надо омрачать светлые дни нашего преображения. Россия опять вернула себе свое былое народоправие, и теперь-то, в эти медовые дни своей свободы, еще верит в себя, в свое народное самодержавие. Ведь не потонет же это самодержавие народа в шумных схватках, в преждевременных спорах! Ведь старое, безобразное, безумное чудовище бессмысленного произвола свалилось так же легко, как легко валятся свинцовые или оловянные эмблемы над магазинами придворных поставщиков.

Так, в пятницу на Невском, около городской думы, сбивали, видел я, щит с гербом, прикрепленный над чьим-то магазином. Работала маленькая кучка людей. Лю-

бопытных посмотреть на это зрелище было мало. Не было пафоса к тому, чтобы топтать эту эмблему былого всемогущества. Зачем? Кто-то сказал:

— Свинцовая, на пули пригодится.

Посмотрят, улыбнутся, пройдут дальше. Отношение такое, как к чему-то, несомненно, отошедшему в область истории, и что уже не возбуждает сильного гнева. И мне вспомнились строки из моего стихотворения:

Тяжелыми одеждами
Закрыв мечту мою,
Хочу я жить надеждами,
О счастии пою.
Во дни святого счастия
Возникнет над землей
Блаженного безвластия
Желанный строй.
В пыли не зашевелится
Вопрос жестокий: чье?
И в сердце не прицелится
Безумное ружье.
В полях, шумящих злаками,
Потешится шутя
Поверженными знаками
Беспечное дитя.

Знаки повержены... Но мечта все еще остается мечтою. Далекая, далекая, но опять вспыхнувшая лучезарно. Ах, омрачится ли она ненужным раздором?

Дерзание до конца

Переживая, вспоминаем...

Знать будущее и пророчествовать о нем, по-видимому, совершенно невозможно. Бывают только смутные предчувствия, выраженные в повышении или в понижении настроения. Если эти предчувствия охватывают толпу, народ, то и самые настроения принимают характер экстатических волнений.

Так взволнована была Россия в начале войны, взволнована, как теперь это становится понятно, смутным предчувствием того, что из зла выйдет благо, и что война приведет к светлому преображению жизни русской и жизни всемирной. Россия приняла войну. Вместе с Россиею и мы, поэты-символисты, приняли эту войну. Но приняли не в грубо прямолинейном смысле, не как массовое самоистребление, не как хищнический набег или захват чужого, но в совершенно ином представлении, которое согласуется со всем общим нашим мироприятием.

В основе нашего мироотношения лежит кантовское определение «долг человека — смысл вселенной». Если смотреть на явления с этой точки зрения, т. е. если осмысливать все явления как связные звенья в ходе единого мирового процесса, то не могло быть у нас другого отношения к войне, как приятие этого величайшего социального жертвоприношения. Оно, как и каждое явление этого порядка, сопровождается соот-

ветственным нарастанием жертвенного пафоса и экстатического подъема. Ведь люди идут умирать, приять жертвенное крещение в пламенной купели во имя возвышенной и святой цели, кого-то защищая, за что-то беззаветно отдавая все свое, свою кровь, самую жизнь. Ведь не пустые же понятия в словах «рыцарство, честь, отвага, подвиг, геройство». Недаром воин идет в бой торжественно, под звуки музыки, в лучшей одежде, благословясь молитвою, в величественной обстановке, с высоким, религиозным пафосом вдохновения в душе. «Серафимы, ясны и крылаты, за плечами воинов видны», — говорит Гумилев в одном из лучших стихотворений, посвященных войне.

И другие вспоминаю стихи, чужие и свои, и вижу, что почти все они отмечали особенный, как бы сверх исторический характер этой войны. И как же было не принять этого жертвенного подвига, когда пора к его свершению уже приспела? И когда старый мир багряно и бессильно умирает? И когда весь народ взволнован и поднят одним пафосом восстания, и когда он торопит события, и когда они торопят его, и далекие вчера цели вдруг сегодня становятся близкими?

Валериан Бородаевский говорил:

И где твоим святым дерзаниям предел,
Когда в грозе, о жнец, как жатва, мир поспел?

Цель этого всенародного подвига была намечена определенно и явственно: преображение. Валерий Брюсов в «Последней войне» говорил:

Пусть, пусть из огненной купели,
Преображенный, выйдет мир.
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы.

И преображение это должно было свершиться в братском подвиге великого единения, торжественного соборного действа, как это и происходит ныне, и как об этом говорил Вячеслав Иванов:

На мирской мировщине
Нам скоро друг с другом
Над ясным лугом
Целоваться в соборной святыне.
Жди всходов белых
На ниве просторной,
Народ чудотворный,
Поминаючи верных и смелых,
Крепко радуйся и веруй,
Что небывалое будет.

Да, небывалое уже свершается, но еще не истощена ярость завоевателей, еще вооруженные люди враждебных народов стоят на нашей земле, и усиливаются, и грозят нам еще новыми завоеваниями. О революции в Германии еще не слышно, и опасною наивностью была бы надежда на то, что она близка. Но все же мы ждем от войны еще и еще чудес, ждем совершенного преображения нашего косного, застоявшегося быта.

Вспоминаю еще страницы моей «Творимой легенды», очень урезанные красным карандашом цензора. Эти страницы, изображая «Дым и Пепел» охваченной

пожаром земли, говорили о том, что все эти страдания, кровь и слезы неизбежны и необходимы нам, как великие очистительные жертвы, как пламя всеочищающего вселенского костра. Отдельных смертей, жертвенная красота которых ясна до очевидности, еще мало, — писал критик, разбиравший «Творимую легенду», — нужны еще великие социальные кровопролития, великие революционные жертвоприношения все для той же цели — выявления трагичного, выявления мировой красоты жертвенного страдания. И разве уже давно поэзия символистов не говорила трогательно об эстетической природе страдания, о жертвенной красоте печали?

Принятие войны как всенародного подвига, поднимающего дух нации на небывалую высоту, с достаточной определенностью выражено было хотя бы в моем стихотворении:

Так, не бойся вражьей мести,
Милой жизни не жалей
Для победы и для чести
Славной родины твоей.
Чтобы ты, не зная страха,
Светлой жизни не берег,
Вот зачем тебя из праха
В наши дни восставил Бог, –
И послал на поле брани,
Чтоб и наш увидел век,
До какой высокой грани
Может прянуть человек.

Религиозный смысл искупления войною утверждается моих стихах:

Правда, радость и любовь
Не погибнут в лютом бое.
Мы даем войне иное,
Проливая нашу кровь.
Что Господь нам заповедал?
В ад сходил и сам Господь,
И земле и казни предал
Он божественную плоть.
Кровь, и подвиг, и страданье,
И дерзанье до конца,
И тернового венца
Опьяненное лобзанье.

Но мы должны помнить, что великое, воистину вселенское дело, начатое родиною нашею, еще не окончено, трагический подвиг еще не доведен до конца, лютый дракон еще не повержен окончательно, еще долгий и трудный путь перед нами. И долго не будет нам покоя и отдыха, в буйный век вступили мы, к трудам и заботам принуждают нас торжественные и роковые дни, первые дни нашей свободы. Но да будет дерзание отважных — дерзанием до конца!

Международное братство

В такие дни, как переживаемые нами, хочется верить во все светлое и радостное. Хочется верить, что прекраснейшие надежды благороднейших мечтателей близки к осуществлению, и среди них соками жизни наливается мечта самая лучезарная — о братстве народов. Хочется верить, что уже при дверях то счастливое время, которого мы все жаждем и ждем, время, когда племена «забудут свой раздор и в общую семью соединятся».

Ужасы этой войны переживаются нами без отчаяния только потому, что мы все верим в светлое будущее, и что мы верим в его близкое наступление. Верим, что великая мировая война вскроет все злые, порочные несовершенства современного быта, раскалит души людей в пламени трагических и героических переживаний, и этим приблизит осуществление великолепной мечты о золотом веке человеческой истории, о том веке, когда вся сталь пушек будет перекована на плуги, и когда пугливая некогда лань, внезапно осмелев, ляжет рядом с тигром, позабывшим всю свою былую свирепость.

Нельзя не признать, что идея международного братства все более и более внедряется в сознание людей. Мы уже не живем замкнутою жизнью, уже не отгораживаемся китайскими стенами, для нас уже не безразлично, что о нас говорят и думают в иных странах.

В 1863 году какому-то генералу, слишком беспощадно подавляющему польское восстание, сказали:

— Генерал, на вас смотрит вся Европа.

Он отвечал:

— Пусть смотрят и остальные части света, мне все равно.

Кто найдет в себе достаточно смелости или цинизма, чтобы в наши дни повторить эти наглые слова? Нет, теперь мы знаем, что международное общение между людьми — не пустой звук, что зачастую оно представляет очень серьезную силу, хотя пока и неорганизованную. А вот как организовать эту силу?

Мне представляется, что совершенное торжество идеи о братстве людей не осуществимо при современном строе общества, при том строе, когда все отношения между людьми строятся на почве территориальных разделений. Доколе вся власть в мире принадлежит территориальным установлениям, до тех пор общность людей всегда будет подвергаться серьезным опасностям и ограничениям. На всякое, хотя бы и самое благожелательное, вмешательство может последовать ответ:

— Мы лучше знаем наши местные условия. В пределах нашей земли мы — хозяева, и сами устроим свои дела. Вмешательства в наши внутренние дела мы не допустим.

И такой ответ последует тем вероятнее, чем значительнее будет повод для вмешательства. И что же тогда делать? Воевать? Это при братстве-то народов? Или принимать меры, которые могут задеть и людей неповинных? Придется ограничиться платоническим протестом.

Если, например, местные обстоятельства того потребуют, Кёльнский собор будет обращен в здание городского театра. Интересы искусства против этого вознегодуют, а ведь интересы искусства есть интересы международные, как и интересы филосо-

фии, религии, науки, как и интересы торговли, почт, телеграфов, железнодорожных сношений, как и интересы профессиональные и многие другие.

Все эти интересы границами территориальными только искусственно разрезываются, но по существу они всегда остаются общими и едиными. На нашем земном шаре так уж устроена жизнь, единая вопреки всем искусственным перегородкам. Куда ни поедешь, везде находишь все то же, ту же землю и тех же людей, тот же труд и то же безделье. И если есть различие между людьми, населяющими нашу прекрасную землю, очаровательную изумрудную планету солнечного мира, то это различие не в том, что вот мы — русские, а они — французы, англичане, итальянцы, а только в том, кто чем занимается. Мужик везде одинаков, в России и в будто бы экзотической Мексике, и везде одинаков рабочий, в Генуе, как и в Чикаго, и рантье такой же в Лондоне, как и в Москве. Племенные различия между ними интересны только для психологии и для интересов местного управления в тех тесных пределах, в которых оно необходимо. На нашей земле связи между людьми одного образа жизни и одинаковых занятий сильнее всяких придуманных и природных разделений. Человек в значительной степени делает сам себя своею работою и теми своими отношениями, которые он устанавливает не только с близкими, но и с далекими географически. И эти географически далекие бывают ему зачастую ближе соседей.

Такая общность между людьми одинаковых профессий для них полезна потому, что дает им возможность легче расторгать узы местных ограничений. Это же относится и к общности людей одинакового образа мыслей, одной и той же религии. Католичество так сильно потому, что оно имеет международную организованность. Этим же было сильно и влиятельно масонство. Власть капитала в нашей жизни очень прочна потому, что капитал не имеет отечества. Женевская организация Красного Креста делает большое и полезное дело потому, что она интернациональна. Лувенская библиотека не была бы сожжена, если бы наука была экстерриториальна и державна, потому что все земные территориальные власти принуждены были бы считаться с волею всемирного государства ученых.

Такая несомненная полезность всех международных организаций, полезность, состоящая в том, что, распространяясь на весь глобус, они в меньшей степени зависят от местных прихотей, пристрастий и произволов и могут в наибольшей чистоте осуществлять свои идейные цели, эта полезность должна быть сознана всеми, для кого международное братство дорого. И это ясное, отчетливое сознание полезности и мощности международных организаций должно возлагать большие обязанности и большую ответственность на всякого, кому действительно дороги общечеловеческие начала разума, права и справедливости. Высокие цели, которые ставит себе земное человечество, могут быть осуществлены только общею работою всего сознательного человечества. Эти международные связи мы все должны укреплять, развивать, расширять, распространять их все на новые и новые области жизни, все меньше и меньше властности оставляя на долю местных организаций, всегда, по необходимости, случайных в своем составе и в своей деятельности и всегда неизбежно подчиненных множеству мелких, преходящих, непринципиальных влияний.

В частности, деятели русского искусства сделали бы очень хорошо, если бы оставили свои совсем никому и ни на что не нужные мечты о министерстве изящ-

ных искусств, и если бы они предпочли организоваться на началах международной общности задач искусства. Россия для таких организований особенно удобна по самому своему национальному характеру. Худо это или хорошо, но несомненно, что Россия в большей степени, чем какое-нибудь другое европейское государство, проникнута если не идеями, то настроениями, несомненно, космополитическими. В этом отношении, если уж сравнивать (сравнения всегда надобно делать с большими ограничениями и оговорками), Россия наиболее подходит к Соединенным Штатам Северной Америки. И потому нам легче, чем французам или англичанам, зачинать связи такого свойства, которые постепенно распространятся на весь земной глобус, упразднят чрезмерность местных честолюбий и раздоров и блистательно преобразуют жизнь человека на земле.

Мятежные музы

Многим в наши дни кажется, что искусство есть занятие в высшей степени мирное. Этот взгляд не только очень распространен, но он и очень стар. Давно уже сказано, что при громе оружия умолкают музы. Многим из нас представляется, что в дни революций, великих политических и социальных перемен и переворотов совсем не время думать об искусстве. Не до того, говорят многие. А, между тем, едва ли можно в области понятий найти такие, которые были бы теснее связаны между собою, чем эти три — война, революция, искусство. Оглянемся на историю, и мы увидим, что искусство, если и процветало в дни глубокого мира, то совершалось это по тому же закону, по которому соловей поет слаще, если не видит своей подруги. В дни глубокого мира искусство будило совесть, тревожило сердца, непрерывно революционировало мысль! Одна и та же энергия дышит в тех грандиозных и всегда катастрофических явлениях, которые мы зовем войною, революциею, искусством. Одна и та же энергия, никогда не умирающая, всегда неодолимо влекущая человечество вперед, к завоеванию лучшего будущего, к преображению жизни, застоявшейся в оковах косного быта жизни, к созданию нового, лучшего мира. Движимый этою энергиею человек — вечный завоеватель, бунтовщик и мечтатель. И потому в жизни человека нет резкой грани между состояниями мира и войны, установленного порядка и революции, прозаической действительности и искусства. Насколько жизнь жива, насколько она избегает застоя и косности, насколько она стремится в прекрасные, озаренные дали будущего, настолько она всегда есть завоевание и революция, и всегда руководится вдохновениями искусства. Никто живой на земле не согласился бы жить, не нарушая установленных границ строя, не требуя от неподатливой и упрямой жизни завоеваний и добыч, не ставя всегда свою дерзающую волю над ветхими преградами истлевающего порядка, и не утешая себя теми прелестями и соблазнами, которые даны сердцу человека в произведениях искусства.

Мы, радостно входящие в освобожденную жизнь, не хотим верить, что войны, эти ужасные опустошения, эти отвратительные избиения самых храбрых и самых юных, все еще будут продолжаться и тогда, когда мы будем покоиться в могилах. И потому, встречая эту войну три года тому назад, многие из нас были искренно уверены в том, что это — последняя война, что она станет войною против войны.

Так ли это, покажет будущее. Пока еще не заметно верных признаков такого умиротворения нашей жизни. Но эта жажда преображения нашего мира и преображения самой психологии нашей чрезвычайно характерна для нашего времени; эта жажда преображения была свойственна и всем эпохам великих переворотов.

Велико было то напряжение тоски, страдания, отчаяния, в котором задыхался весь мир перед этою войною и перед этою революциею. Никто не решится сказать, что все переживаемое нами совершилось неожиданно. Наиболее чуткие из наших современников уже давно предчувствовали близость великой мировой катастрофы, близость тех потрясений, которые слабыми и недальновидными были восприняты так болезненно и пугливо. Эта близость катастрофы составляла пафос поэзии Метерлинка, Верхарна, русских поэтов-символистов. Кто видел далеко вперед, тот не имеет причины пугаться ныне, — страшно было жить до этой катастрофы, а теперь стало легко дышаться, как будто в душный подвал, где мы долго были заключены, ворвалась струя свежего воздуха. И вот уже нам кажется, что мы свободны, и это, конечно, ошибка, — свободны станут только наши дети, а мы все еще там, где были, в том же самом подвале, только окна открыли и местами поменялись, но у нас остается все та же психология внутренно несвободных людей, и те же прискорбные споры и разделения. Эти разделения так понятны были среди людей, загнанных в подполье, но они так прискорбны среди освобожденных! Свободы истинной мы еще не знаем, и я не знаю, сумеем ли мы научить этой свободе наших детей, — да может быть, они сами ей научатся, — но все же то, что совершилось, та революция, которую все так радостно приняли и совершили, была бы совершенно невозможна, если бы дух человека уже не был революционирован. И в этом революционировании человеческого духа состояла общественная ценность искусства, и особенно тех областей искусства, которые были противны литературным и художественным староверам и казались им течениями анархическими, индивидуалистическими, противообщественными. Как великая французская революция была подготовлена трудами французских писателей и поэтов, созданиями Вольтера, Ж.Ж. Руссо, энциклопедистов, так и наша революция давно уже приготовлялась работою наших художников слова, целым столетием этой работы. Недаром старая власть так враждебно относилась к русской литературе. Эти люди хорошо и верно знали, где их враги. Свободное слово всегда было злейшим врагом старого строя. Старый строй всячески старался поставить преграды свободному слову. Но заковать слово — задача всегда непосильная для власти, и особенно для власти, презираемой обществом. Если власть опирается на свободную волю большинства, то она может в течение некоторого времени парализовать голос правды и бороться с мнениями меньшинства, подавляя слово насилием. Но все же слово свободное и убежденное рано или поздно преодолеет все преграды, кем бы они ему ни ставились, — произволом ли царя, произволом ли толпы.

Свободное же слово есть, прежде всего, слово о преображении. О преображении жизни, о преображении души, о преображении мира. Свободное слово непрерывно говорит о новой земле и о новом небе, о том обетованном крае, в который, наконец, после долгих скитаний по пустыне мира, войдет человечество, чтобы насладиться вечным миром и не нарушимою ничем свободою. Жизнь смеется над мечтами о светлом преображении, та жизнь, которая так ревниво хочет сохранить все свои

старые грани. Светлый праздник преображения она подменяет будничною работою преобразований.

Все мы знаем, что формы жизни непрерывно изменяются даже и в мирное время.

Но бывают счастливые периоды в истории человечества, когда эта постоянная работа преобразований принимает титанические размеры. Такие размеры, что количество как будто бы уже переходит в качество, и толпа, бывшая только скопищем людей, в лучшем случае хранительницею общего мнения, становится героическим народом, коллективным героем, поднявшим подвиг борьбы с роком. И тогда уже начинает нам казаться, что мы имеем дело не с обыкновенною переменою, что перед нами происходит великое и святое явление преображения. Душа наша расширяется, мы уже кажемся сами себе достойными участниками нового, просветленного мира. Нам кажется, что мы готовы, и что мы не постыдно можем вступить в новую землю мира и свободы, землю, озаренную незакатными светилами нового неба. Историческая удача момента кажется нам великим счастьем, после которого история пойдет совсем новыми путями. Когда-нибудь так и будет. Но так ли это теперь? Совершилось ли с нами и с нашею жизнью великое чудо преображения? Или, быть может, готовится совершиться? И мы на самом деле поймем, что такое свобода, равенство и братство? Если не сегодня, то, может быть, новая жизнь начинается завтра? И мы доживем, узнаем, испытаем? И будем счастливее Моисея и тех, кто вместе с ним вышли из Египта и умерли, не дойдя до страны обетованной? Кто знает! Но то, что переживаем мы, не раз переживали и наши предки.

Жаждем преображения, и все еще не имеем его. Но есть область, в которой мы давно уже свободны, область, в которой нет рабов, и если раб входит в эту область, то немедленно же освобождается.

И эта область есть область искусства. Освобождает человека только восторг творчества. Всякий, кто умеет сделать хоть что-нибудь, знает, какое великое освобождение есть в процессе созидания. Ведь человек для того и пришел в этот мир, чтобы переменить его темную и косную природу, чтобы обратить немую и глухую землю в прекрасный, благоухающий сад, в Божью ниву, в земной рай. Каждый раз, когда человек создает что-нибудь, хотя бы в области самых простых и грубых предметов, ему уже дана радость приближения к этой основной цели на земле, к устроению разумной и радостной земной жизни. Недаром же во все времена революции делаются теми, кто умеет работать, мужиками-землевладельцами, или городскими ремесленниками, или фабричными рабочими. Последняя же и совершеннейшая революция, последний мятеж, последнее восстание духа, который устремится к совершенной свободе и безвластию, это будет совершено теми, кто работают и создают, по преимуществу художниками и поэтами. Революционирование жизни — это и есть основная задача всякого поэта, всякого художника и артиста, всякого, кто знает, какие чары заключены в слове, в краске, в звуке.

Если в наши дни преображение мира кажется нам все еще несбыточною мечтою, то это потому только, что искусство все еще не ощущается всем народом как самая первая и главная необходимость. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — сказал когда-то Некрасов, и, конечно, это верно. Но все же гражданин никогда не войдет в радость свободы, если не утвердится на незыблемом

основании вольности искусства. Даже не свободы, а именно вольности искусства. Свобода имеет границы, определенные законом, искусство же по самому существу своему никаких граней, пределов не признает и закону не может быть подвластно.

Мечта о преображении мира перестанет быть мечтою и станет близка к осуществлению только тогда, когда множество людей на всей земле станет причастниками великих восторгов искусства, когда мечта и подвиг поэтов и художников станут достоянием обрадованных и озаренных толп. До того времени все земные перемены и преобразования бессильны изменить грубую ткань мира. Эта грубая ткань еще долго будет жестка для нас и сурова, и надобно, чтобы на хаотическое смятение жизни нашей сошло благотворное волнение восторгов искусства. Все еще не завершенным останется здание общей жизни, если оно не будет освящено благородным подвигом поэта и художника.

Вот в кратких чертах та связь, которая, по моему мнению, существует между искусством и теми великими народными движениями, которые переменяют внешний облик жизни. Война только выявляет органическое зло мира, достигшее высокой степени напряжения, и из этого зла извлекает сладчайший сок самопожертвования; в явлении войны мировое зло само себя истощает и преобразуется в некоторую форму положительного блага. Революция довершает дело войны, доводя самопожертвование до степени героического восстания во имя совершенного преодоления зла, во имя претворения его энергии в наивысшую степень гражданской доблести. Искусство же подготовляет душу человека к восприятию того катастрофического потрясения и того трагического очищения, которые даны в грозном и святом явлении революции. Неразрывна связь между этими тремя мятежными силами человеческой истории. И потому весьма ошибается тот, кто думает, что в моменты великих переворотов людям не до искусства. Сердце человека и в моменты наивысшего одушевления отбивает правильный, хотя и порывистый ритм, и без песни не совершается никакая общественная литургия, — а ведь восстание — это и есть всенародная литургия, всенародное принесение жертвы за всех.

Итак, в дни народных смятений, переворотов и торжеств не забудем об искусстве. Чем больше вдохновения и восторга, тем прочнее и чище всенародное дело.

Беседа с друзьями

Обыкновенная средняя, если хотите, даже «буржуазная» французская семья.

Единственный сын, 18-летний юноша, прямо с лицейской скамьи отправился добровольно на фронт. Уже два года, как он сражается в Шампани и у Вердена, а родные с замиранием сердца ждут весточки оттуда, из пекла смерти, пред лицом которой бесстрашно стоит мальчик с еле пробивающимися усиками, но с гордым выражением глаз и упорно сжатыми губами, чей портрет мать не снимая носит на шее в медальоне.

— Летом, может быть, мы опять его увидим. Прошлый год жили вблизи стоянки, и каждое воскресенье Луи приходил с нами обедать…

— Мы страдаем, но удержать его разве мы были вправе?.. Ведь вся страна послала своих детей, единственных сыновей, горячо любимых...

Я молчу. Я думаю о своем, — о наших. Думаю о том, что лежит сейчас на сердце пудовым камнем и давит, и гнетет, и душит.

Обыкновенная интеллигентская семья, живущая своим трудом, по идеалам весьма далекая от «капиталистов», ведущих, по мнению наших интернационалистов, «грабительскую» войну. Но, Боже мой, откуда же эта трагическая сосредоточенность и серьезность, эта решимость отдать все, но спасти честь нации? Ну, скажите искренно, в какой степени эти люди могут быть лично заинтересованы в продолжении войны, какие адские силы влекут их, давая им возможность нести невыразимое бремя их национальной трагедии? Почему г. N, отец, ни разу за время войны не посетил театров, а г-жа N, мать, певица и музыкантша, ни разу не подошла к роялю, дав клятву ничем не отвлекаться от мыслей о войне до ее конца?

— Да я и не могу. Меня ничто иное не интересует. Ведь дело идет о жизни моей страны, нашей Франции.

Театр, да, конечно... Но, когда я думаю о театре мировой драмы, о театре военных действий, уверяю вас, наряду с этим все кажется мне игрушкой, забавой, пустой тратой времени.

Мы сидели, притихшие, молчаливые, подавленные. Смотрели на эту бледную немолодую женщину с такою печалью в потускневших синих глазах, живущую в тоске и опасениях от письма до письма с фронта. Перед этим целый месяц не могли собраться к нашим друзьям. Не потому, что времени не хватало, что были очень заняты. Нет, неловко было глядеть в глаза этим людям, выполняющим свою задачу не за страх, а за совесть, знающим так хорошо внутри, наедине с собою, что такое национальная честь, долг, обязанность, отечество, родина.

А теперь пришли проститься перед летом, и сидим потупленные, не поднимая глаз, молчим, обмениваемся короткими недоговоренными репликами.

Пришел французский офицер, два месяца тому назад эвакуированный сюда для лечения. Исхудалое, изборожденное преждевременными морщинами лицо. Строгий пытливый взгляд страдальческих глаз с недоумением останавливается на нас. Поседелый, сосредоточенный, с напряженным, почти трагическим, выражением лица, он, сохраняя свою привычную вежливость и элегантность, в своем изящном френче, кажется мне истинным символом прекрасной, обреченной, уходящей куда-то в даль прошлого, аристократически-интеллектуальной культуры, которая, пожалуй, сейчас кому-то и не нужна, недоступна, а вследствие того и враждебна.

Говорим о том, о сем, лавируя, избегая острых, безумно наболевших вопросов, которые, однако, не выходят из памяти, из души, из разума, из сердца.

Кто-то из русских неосторожно говорит:

— Осенью, когда увидимся, может быть, война уже будет кончена....

— Только не для нас, — решительно и строго говорит французский офицер.

Минута молчания. Хозяин говорит:

— Нет, мы перестали ждать, перестали надеяться. Надо рассчитывать только на себя, только на то, что Франция скорее вся погибнет, чем покорится бошам. Пусть наши дети не получат от нас никакого наследия, кроме честного имени. Это вдохнет в них новые силы, даст им огромный импульс энтузиазма. Наши могилы будут служить им священным напоминанием…

И снова в нашу сторону взгляд, скорбный, полный безмерного страдания, безысходной горечи! Какая жуть в душе, какая волна обиды и самопрезрения! И мы смели обвинять этих людей, несущих с таким героическим мужеством свой голгофский крест, в легкомыслии, в поверхностности, во фразерстве!

— Скажите, будут ли нас, русских, тех, которые не захотят быть причастными к позору России, принимать в иностранное подданство? — говорит сумрачно прислушивающаяся к беседе дама средних лет.

И не получает прямого ответа.

Да и кто ответит на этот странный вопрос? Страшно уже и то, что он мог возникнуть в душе русского человека, и что его приходится слышать не так уж редко.

Прощаемся, выходим. В сумраке летней белой ночи у тротуара темнеет кучка людей, обступивших оратора в соломенной канотьерке. Подхожу, вслушиваюсь. Тусклый голос монотонно зудит все о том же… война... капиталисты…убивать братьев… за чужих кровь проливать… Жадно внимает ему кучка простолюдинов и солдат. Все так понятно, так просто, — так льнет к усталому телу, к усталой душе... бросить все к черту... теперь свобода…

Мутно на душе, гадко... Не знаю, как говорить с этими людьми, на каком языке объяснить им то, что они собираются делать. Чувствую себя с головою в мешке, со связанными руками и ногами. Хотел бы закричать на весь мир. Да что же это, наконец? Свобода... или насилие?!

Впереди всех

Так еще недавно были дни великой радости, — мы наконец почувствовали себя освобожденными от гнета, который тяготел над Россиею в течение столь долгого времени. Была волнующая радость, было светлое чувство преображения, — и это было очень хорошо. Потом скоро настали дни великой гордыни, — и это уже стало не так хорошо.

Мы вдруг начали думать, что мы — самая передовая демократия в свете и что мы призваны учить народы всего мира. Прежде были самыми последними людьми в Европе, а теперь вдруг стали самыми первыми на всей нашей планете. И наше внезапное юное самомнение было не менее заносчиво, чем гордые мечтания славянофилов. Прежде готовы были кричать:

— Шапками закидаем!

А теперь готовы победить мир, закидавши его самыми великолепными идеями.

Теперь мы, легко сказать, самая передовая в мире демократия. Да почему же, однако?

А потому, что у нас теперь совершенная свобода. Например, свобода слова. И такое же совершенное равенство, и такое же братство.

Заезжий иностранец может у нас без помехи говорить о том, что русские солдаты во время войны не должны сражаться с товарищами-германцами, но что рабочие во время той же войны должны сражаться с буржуями-капиталистами. И никто у нас таким проповедям не воспрепятствует. По крайней мере, до тех пор, пока не разразится совершенно невероятный скандал.

Попробовал бы заезжий иностранец произносить подобные речи в Берлине или в Лондоне, в Вене или в Париже, — да его, пожалуй, и слушать бы не стали. А у нас Роберта Гримма слушали да похваливали. Слушали до той поры, пока он и сам, по-видимому, был рад, что его только высылают из России. Это ли не совершенная свобода?

И вот выходит, что на путях истории мы оказались впереди всех. Мы всех научим, с нашего Востока воссияет миру свет. Другие должны идти за нами.

Идем, и горделиво оглядываемся:

— Ну, где же вы, товарищи, пролетарии всех стран? Мы торим вам широкий путь.

Но никто за нами не идет. И мы немало удивлены. В чем дело?

Германцы не собираются свергать Вильгельма и производить революцию. Американцы намерены воевать со свойственным им чрезвычайным напряжением энергии. Англичане и французы вкладывают в наши лозунги свое собственное понимание и будут воевать до конца, как бы ни вела себя Россия. Даже и та демократия, которая до последних дней казалась нам воистину передовою, демократия Австралии, не погасила своих воинственных устремлений.

Мало того, что народы не идут за нами, — они перестают уже и восхищаться нами. Германцы открыто пренебрегают нами как противником, с которым не стоит считаться. Союзники начинают смотреть на нас с чувством, далеким от уважения, хотя пока еще довольно снисходительно. Даже иностранные социалисты настроены совсем не так, как наши.

Что сей сон означает?

А сон дурной, тяжелый. Угарный сон, как после похмелья.

Не идут народы за нами, да и не пойдут, потому что никому с нами не по дороге. Неудобные мы спутники, мы самая передовая демократия, и когда мы идем, мы поднимаем слишком много нездоровой пыли, которую не хочет вдыхать культурный европеец, хотя бы и социалист.

На исходе белой ночи, когда уже солнце, багряное, без лучей, встало, но еще не греет и не заставляет предметы означить свои тени на околдованной Гекатою земле, — в этот милый и томный час иду домой по улицам родного города. Гражданин с метлою в руках, медлительно и флегматично двигаясь, скребет прутьями сорную мостовую, и пыль живописными, но душными и неприятно пахнущими облаками так же медлительно колышется в воздухе. И хочется сказать метущему:

— Почтенный гражданин! Твой полусонный, тошно медленный труд нелеп и бестолков. Ты — учитель вселенной, ты — свободный член самой передовой демократии, но ты не знаешь той азбучной истины, что мостовые следует не мести, а мыть, и что колеблемая твоею метлою пыль вредна для твоих легких, как и для легких твоих сограждан, и товарищей, и буржуев.

Впрочем, метущему это не интересно. Он скажет:

— Про то я не знаю. Сказано — мети, — я и мету. Мне-то что!

Иного он не знает, да и не хочет знать. Я продолжаю свою речь:

— Да, и многого другого ты не знаешь, уважаемый товарищ. И не хочешь узнать. И тебе все равно.

— Мне-то что! — опять говорит метущий.

И я продолжаю:

— Ты думаешь, что твой враг — капиталист, но ты не знаешь, что злейший твой враг сидит в глубине твоего существа и отравляет тебя тупым ядом лености и равнодушия.

— Котелок напялил, — ворчит метущий, — буржуй.

Я продолжаю:

— Ты полагаешь разницу между тобою и капиталистом в том, что у него есть капитал, а ты выносишь на биржу только труд. Но ты своего труда не любишь. Да и ничего не любишь. Не знаю даже, любишь ли те подсолнухи, которые лущишь с утра до вечера, которыми соришь мостовую, — ты возишься с ними просто потому, что маленькие они, берут много времени, удобны убить время досуга.

— Оно точно, — подтверждает метущий, — сколько ни лущи, брюха не набьешь.

Да, мы не любим труда, тяготимся трудом.

И это в наши-то дни, когда нужен колоссальный по напряженности труд!

— Ну его к черту, труд этот самый! Не больно он сладок, — ворчит гражданин.

Не любишь труда? Тем хуже. Если хочешь победить капиталиста, полюби труд, как всякий воин любит свое оружие. Не полюбишь, — судьба отбросит тебя в первозданную нищету.

Умерщвление слов

Говорят, что слово теперь стало свободным. Может быть. Это не мешает иным словам изнашиваться чрезмерно быстро.

Прочитал я в одной газете такое сообщение: проворовался где-то солдат; потаскивал у товарищей казенные вещи; его уличили, обвешали украденными вещами, и в таком виде повели по всему городу, причем на его шее висел ярлык с подробным обозначением его имени, звания и совершенного проступка. Ошельмовали человека наказанием весьма унизительным. Но газета так об этом говорит: «солдаты провели товарища-вора». Почему же, однако, такое странное наименование. Как может вор быть товарищем солдата. Если, и совершив случайный проступок, но подавая надежду на исправление, он не утратил товарищеского доверия, и если те же солдаты опять примут его в свою среду, то шельмовать его не следовало. Звание солдата и всегда считалось по закону почетным; теперь оно должно быть еще в большем почете, потому что солдаты получили гражданские права. Они будут выбирать в Учредительное собрание, стало быть, участвовать в установлении основного закона для страны. Воры не должны бы давать законов государству, — ну а товарищ-вор как‹?› Ошельмованный-то. Тоже подаст голос.

Что-то выходит нескладное.

Еще более тягостное впечатление произвело на меня письмо одного вольноопределяющегося. Он с большим негодованием рассказывает о том, как солдаты убили своего офицера и потом глумились над его трупом. Автор письма обращается к чести и совести убивших (так как теперь свобода слова, то, пожалуй, опасно называть убивающих убийцами), и весьма трогательно объясняет им, как нехорошо, что това-

рищи-солдаты издевались над трупом товарища-начальника. Человек писал искренно, от всего сердца, и все же слова его звучат кощунственно.

Представьте это себе сами. Вот перед нами два человека (товарищи), — один из них, зверски убитый, привязан к хвосту лошади, и бьется мертвою головою о камни (товарищ-начальник), — и другой смотрит на это зрелище, подпирает бока окровавленными руками, приседает от восторга, ухает, свищет и хохочет (товарищ-солдат).

Ну что ж, если товарищи, приведите же товарища-солдата к матери товарища-офицера, и скажите старой женщине:

— Мать, пожми эту руку. Вот это — товарищ твоего сына. Он тебе расскажет, как он и его товарищи провожали твоего сына в последний путь, как они отдавали ему последний долг. Он расскажет тебе о боевом коне и о смертном ложе твоего сына. И не плачь, — товарищ-солдат научит тебя смеяться над милым прахом.

И приведите товарища-солдата к невесте товарища-офицера, и скажите молодой девушке:

— Невеста, лобзанием сестры подари этого человека. Он — товарищ твоего жениха. Он расскажет тебе о последних минутах твоего милого. Заплачь перед ним, — твои вопли позабавят этого человека, который нанес последний удар твоему милому, — удар милосердия, — штыком в сердце.

Вы этого не сделаете, — так и не называйте же убийц, предателей и трусов товарищами доблестных героев. В ответ на прекрасные провозглашения свободы, братства и равенства ужасная действительность голосами множеств дает роковой ответ, вопит неистово, будя наш разум и нашу совесть.

— Нет, мы не свободны, мы не равны, мы не братья.

И разделяется народ не на буржуев и пролетариев, — перед ужасным явлением всенародного позора и гибели стирается это неумное разделение, — он разделяется на отважных, доблестных, самоотверженных, тех, которые достойны лучшего жребия, — и на изменников и презренных трусов.

И даже нельзя слишком негодовать на тех солдат, которые бегут пятеро от одного врага, бросают оружие и кричат:

— Караул‹!›

Они пошли на фронт, преступно размитингованные и совершенно не обученные своему воинскому делу, и виноваты те, кто их распропагандировал, и кто их в таком виде послал. В конечном счете, без сомнения, виноваты очень многие из нас, потому что теперь-то уж мы не имеем права во всем обвинять, как до революции, безответственную власть. Ведь мы и есть — революционный народ, и что мы хотим, то в нашем государстве и делается.

Да, хорошо, что доблестный Бурцев, не смущаясь свирепою бранью, клеймит одного предателя за другим: слова гнева еще долго останутся у нас в России живыми словами, меж тем как многие прекрасные, но преждевременные слова и лозунги неудержимо блекнут и умирают. Умерщвляют их людская низость и людское невежество. Это — наши злейшие враги, и спасение от них одно — моральная революция. Та революция, которой у нас еще не было, о которой мы по-настоящему еще не думали.

Над классами

После стольких дней тягостного уныния видим, наконец, какое-то подобие просвета. Словно через очень густые тучи пробивается первый, еще мутный луч солнца. Люди начинают понимать, что они наделали, как жестоко расправились они с великими завоеваниями революции, как тяжко оскорбили они завоеванную трудами многих поколений гражданскую свободу, и поняли, что необходимо напрячь все силы для спасения. Надо спасать, — что спасать? революцию? Россию? Попытка поставить революцию выше России оказалась гибельною, и теперь разве только духовно слепой не видит, что вчерашний враг России остается ее врагом и на ее новом свободном пути.

И вот чувствуем явственно перелом настроения. И уже знаем, что надо спасать Россию, и что только в борьбе за родину найдем спасение великих завоеваний революции. И уже есть надежда, что жестокое разъединение наше кончается, что для того гнусного яда, который обильно посеян германскими агентами на почву родной земли, родная свобода нашла сильное противоядие. Совещание в Москве объединит все классы, все слои общества в едином, спасительном гражданском порыве самоотвержения и подвига перед грозящею опасностью позора, расхищения и гибели родной страны.

Или надежда обманчива? Или перед грозным натиском верных двум императорам войск простодушные политики наши все еще будут заниматься полезным делом углубления классовой борьбы?

Да, справедливые интересы трудящихся должны быть ограждены. Но почему я должен ломать шапку даже и перед вором и проходимцем, если он именуется пролетарием, и почему надобно забрасывать грязью даже и честного, и благородного человека, если к нему пришпилят ярлык буржуа?

При оценке жизненных явлений не то существенно для жизни человеческих общений, кто в данный момент берет верх, капиталисты или рабочие. Гораздо существеннее получить ответ на вопрос: увеличивается или уменьшается при этом сумма добра или зла на земле? Только в ответе на этот вопрос лежит разгадка будущих судеб наших. Для меня несомненно, что классовая борьба, обостренная в наших условиях, да еще при нашей некультурности и несознательности, при совершенном, младенческом незнании и непонимании вовлеченных в борьбу множеств, не может не увеличить на очень длительный период сумму зла в нашей родине. При наших условиях чрезмерно развиваются в этой борьбе не только (и не столько) высшие стороны духа, но и гораздо сильнее наихудшие качества человека: тщеславие, корыстность, зависть, лживость, трусость, доносительство, угодничество, — и это не в одном каком-нибудь классе, но во всем населении. Словно вся страна становится зараженною этою тяжкою моральною эпидемиею, страшным нравственным помешательством. Повсюду совершаются безумные дела, слышны нелепые речи, и человек, еще не зараженный этою общею болезнью, чувствует себя неловко и бесприютно, один здравомыслящий в толпе буйных помешанных.

Стоящие у власти несут большую тяжесть, но и многое могут сделать. Установления могущественнее людей, а установления создаются не толпою, не множеством, не народом, — они создаются вождями людей. Удачны они бывают или иногда неудачны, годны для людей, и тогда прочны, или непригодны для них в данной обста-

новке, и тогда истлевают скоро, — но всегда они — дело тех, кто правит. Всему населению должны быть открыты широкие возможности образования и развития своих способностей, но совсем не надо наделять особыми привилегиями один класс, да и при том тот именно, в котором менее всего знаний. Жизнь надобно завоевать, а завоевать ее можно только победою, а победу надо организовать, а сделать это могут только люди больших знаний, большого опыта, большой инициативы. Ведь дело не в том, чтобы творить волю революционной демократии, волю народа, а в том, чтобы устроить эти расколовшиеся и нестройные множества. В этих множествах есть, правда, и власть, и сила, но нет свободы и нет равенства.

Государственное младенчество

Легко было бы управлять государством, если бы все дело сводилось к провозглашению и утверждению свобод. К сожалению, кроме гражданской свободы, существует еще и государственная необходимость. Она зачастую противоречит свободе, но, в конечном счете, служит утверждению свободы. При том моральном и умственном уровне, на котором стоит современное человечество, оно не может еще пока обойтись без государства в его современной цивилизованной форме. Все, влекущее за собою ущерб интересу государственному, в конечном итоге поразит свободу гражданина в большей или меньшей степени.

Государственная необходимость, стоящая перед Россиею, есть необходимость довести войну до такого положения, чтобы можно было выйти из нее без унижения и великого ущерба. Хотим мы этого или нет, нам необходимо сражаться теперь с центральными державами, если мы не решимся идти на совершенное раздробление и разорение нашей земли, если мы не решимся оставить нашим детям тяжелую и горькую долю.

Все мы знаем, что война — величайшее несчастие, но из этого не следует, что это несчастие надо усугублять изменою, предательством, трусостью, разгулом низменных страстей. Как совершенно правильно сказал на днях Бонар Лоу в парламенте, результаты этой войны должны показать, будет ли земная жизнь управляться силою добра или силою зла. Необходимо во что бы то ни стало добиться достойного конца войны. А для этого необходимо прекратить тот развал страны и армии, который создан прискорбными ошибками политических вождей.

Идеалистично настроенные люди взялись за власть без ясного понимания свойств тех людских множеств, которым они пожелали даровать счастие. Оказалось, однако, что эти множества чрезвычайно пестры по составу. Громадное большинство народа, как всегда, как везде, обладает теми прекрасными свойствами, которыми оправдывается требование утверждения демократического строя. Но это большинство еще не сказало своего слова, да и не разобралось еще в лозунгах и программах. По всей вероятности, оно и до сих пор голосует вслепую; по всей вероятности, его свойства и желания совершенно не таковы, как это представляется случайным, сегодняшним хозяевам положения. По всему видно, прежде всего, что это большинство очень стоит за институт собственности, и социализм понимает только в том простейшем толковании, что твоя земля, если у тебя много, станет моею, если у меня мало.

Эта наивность народных масс дает возможность устраивать эффектные голосования, но в той же наивности таятся многие неожиданности и разочарования для тех, кто бессознательный вотум принимает за глас воли народной. Воля народная скажется в свое время, а как, этого нельзя предсказать. Это будет зависеть от того, чьи ошибки и чья правда окажутся показательнее на роковом опыте. Пока же этою наивностью пользуются не столько идеалистически настроенные вожди, сколько очень разнообразный набор людей своекорыстных или увлеченных. И кого только здесь нет, в этом примазавшемся к революции сброде! И обманутые фанатики, и хитроумные германские агенты, и мечтательные мальчишки, и хулиганы, и люди с уголовным прошлым, и выбитые из колеи искатели приключений, и холодные карьеристы всех разборов, и расчетливые любители крупной наживы, и мелкие негодяи, воспользовавшиеся случаем стянуть и на свою долю кое-что, и перекинувшиеся в большевизм городовые и жандармы, и самые обыкновенные люди с низменною натурою, ухитряющиеся изо всего выжать сок гнусной мерзости, и многие другие, всех не перечтешь. Вся эта орда шумит, суетится, кричит громче всех, вершит дела и создает общественное настроение. Из среды этих людей раздаются самые громкие крики о великих завоеваниях революции и о гнусных происках контрреволюции. Эти люди сознательно или несознательно обманывают народ и предают Россию, а когда их шулерская или слишком азартная игра оборачивается против них, они принимают очень благородный вид и клянутся в своей невинности. Да многие из них и впрямь не ведают, что творят. Те же из них, которые похитрее, сумеют своевременно скрыться за пределы досягаемости.

И вот эту-то теплую компанию простодушные люди, правящие Россиею, совершенно серьезно и доверчиво отождествляли с лучшею частью революционного народа. Этим людям безвозбранно разрешалось развращать народ и армию. Во имя чего? Во имя свободы? Но свобода терпит низости и предательства. Во имя революции? Но революция совершилась не для того, чтобы опозорить и раздробить отечество. Во имя международного братства трудящихся? Но поражение России усиливает прусское юнкерство, и будет использовано внутри страны во вред демократии.

Я думаю, государственные младенцы и сами не знали, зачем и для кого все это они проделывают. Удалению Милюкова и Гучкова были рады германцы (хотя бы по одному тому, что Милюков не пускал в Россию Гримма, а без Милюкова его пустили), финляндской и украинской авантюрам радуются они же. Да что радуются! Все это было ими продиктовано, большевиками по их политической близорукости исполнено, государственными младенцами по их высокому идеализму допущено. А народу российскому все это было не нужно.

Солдатам, как таковым, совсем не нужно было развращение армии, не нужен был развал порядка, не нужно было разрушение дисциплины. Им не нужны были ни митинги на фронте, ни участие в голосованиях в тылу. Все это подсказано демагогами, авторами нелепых приказов. А то, что им действительно было нужно, дано было уже самым водворением нового строя в России. Армия должна была оставаться армиею, иначе ее ждало поражение, — это и сказал в свое время действительно мужественный гражданин генерал Ромейко-Гурко. Его не пожелали слушать, теперь пришлось выслушать гораздо более горькие и резкие слова другого доблестного гражданина, генерала Корнилова.

Российскому гражданину не нужен был тот развал порядка, который всю жизнь в России сделал во много раз нелепее, сумбурнее, опаснее, чем год тому назад. А то, что гражданину действительно было нужно, было дано ему тем самым движением, которое объединило весь народ вокруг Государственной Думы.

Теперь очень наклонны забывать тот несомненный факт, что успех революции был в значительной степени обеспечен тем, что Государственная Дума совершила в памятные дни переворота. Никакая другая организация в России не могла бы сделать то, что ни в народе, ни в войсках не произошло в те дни междоусобия. Небольшого количества дисциплинированных солдат было бы достаточно, чтобы подавить февральское восстание, как было подавлено июльское. Этих солдат отвратил от Петрограда авторитет Государственной Думы.

Государственные младенцы, а с ними и мы все, забыли это. Государственная Дума нехороша, — она цензовая. А какое же собрание в России — не цензовое? Признаки «рабочий, солдатский» — разве это не ценз?

И вот мы остаемся без законодательных палат в самые роковые минуты нашей истории. И дела государственные обсуждаются только митинговым порядком, да в кабинетских собраниях возвышенно настроенных идеалистов.

Если государственному младенчеству будет положен скорый конец, то это будет счастием для России. Но это не должна быть диктатура. Даже и теперь избави нас Бог от диктатуры! Должно быть сильное и правильно составленное Временное Правительство, опирающееся на всенародный вотум.

Древняя история

Разговор

— Когда все это было? До или после Рождества Христова? Все это — взятие германцами Варшавы, Риги и других городов.

— Что за вопрос? Это все — самая живая современность.

— Да? Откуда же этот академизм рассуждений, как будто речь идет о временах давно прошедших? Когда-то в глубине веков основывались и рушились великие царства, возникали, распространялись и угасали великие культуры. Историки повествуют об этих славных и знаменательных явлениях, разбираются в сложной запутанности их причин и последствий, нередко спорят между собою. Полемика ученых людей принимает иногда резкие формы и приводит к острым столкновениям. Проливаются ручьи чернил, изливаются словесные реки. Слушатели, заинтересованные вопросами древней истории, вникают в аргументы и старательно повторяют то, что говорили знаменитые историки Шингарев и Некрасов и что отвечали им не менее знаменитые историки другой школы — Чхеидзе и Прокопович.

— Да нет, вы путаете, это же вовсе не историки, а современные политические деятели. И разбираются они не в обстоятельствах Первой Пунической войны, — они озабочены тем, что делать в теперешних обстоятельствах.

— А те перенумерованные тезисы, которые всеми этими господами так усердно защищаются? Разве это не тезисы докторских диссертаций?

— Так ведь это же пункты резолюций!

— Резолюций много, но где же дела? Резолюций много, но где же слова живого человеческого чувства? Где же слова, делающие чудеса?

— Чудес не бывает.

— Но все же, почему же этот гром рукоплесканий, когда говорят о несчастиях и позоре великого государства?

— А что же вы хотите, чтоб люди не выражали своего одобрения тем мыслям, с которыми они согласны?

— Да, я хочу, чтобы люди не выражали одобрения или неодобрения, согласия или несогласия, — я хочу только того, чтобы русские люди попросту, без громких фраз, почувствовали, что они любят Россию, что они не дадут ей погибнуть, что в этот грозный час ее жизни они сплотятся все вместе, забудут свои раздоры и, каждый на своем месте, сделают все, что могут.

— Не понимаю, чего вы хотите. На нашем заводе и так работают с 7 часов утра до 3 часов дня; конечно, перерыв для обеда включается в то же время, — не евши нельзя работать.

— Но ведь враг у ворот нашей столицы!

— Тоже надо разобраться, кто в этом виноват, и кому это выгодно.

— Пока вы будете разбираться, время не ждет, события развертываются с ужасающею быстротою. А в это время почтенные и умные люди прохладно разговаривают. Глядя на них, шлепает губами и вся Россия.

— Мы не губами шлепаем, а говорим, что необходимо немедленно заключить мир, достойный великих демократий Европы. Наши противники имеют на этот счет свое мнение, конечно, в корне неверное. Мы посылаем агитаторов, и они стараются убедить всех граждан в необходимости немедленного заключения мира без аннексий и без…

— Да, да, это всем известно. Но ведь вот германцы на это не согласны.

— Это еще неизвестно. Надо с ними переговорить, и надо постараться убедить их.

— А если они не согласятся?

— Ну вот, отчего им не согласиться! К Покрову солдаты все равно домой пойдут.

Нет, солдаты домой не пошли. Началось нечто совсем иное.

Развал

Смотрю со своего балкона на Волгу, — красиво и пустынно. Иногда пробежит по синей излучистой глади «дачник» или розовый «Самолет» с красным поясом на трубе. Редко-редко тяжело пыхтящий буксир протащит нагруженную чем-то баржу. В прошлом году на Волге оживленнее было: везли хлеб, хлопок, лес. Нынче оживление перешло в другие места, переплеснулось на улицы, площади и дороги, переплелось с нудною ерундою безграмотных речей, и цепенеет в пластах пыли и сора.

Вот на улице тихого, хотя и фабричного, поволжского города стоит маршевая рота, — сегодня идут на фронт. Напутствует ее речью (непременно речью, — вся Россия исходит словотечением) член нового городского самоуправления. Говорит о классовой борьбе, о буржуях и о пролетариях. Говорит тем необычайно повышен-

ным тоном, к которому все привыкли до усталости, до скуки. Солдаты, уже достаточно распропагандированные, слушают с вялым и скучающим видом: они уже и без того готовы исполнить все то, что им внушили. Неизвестно, умеют ли они стрелять, окапываться, все ведь это пустяки, мелочи, — как говорила шутливая школьная поговорка, «наплевать на букву ять, важно общее развитие». Развитие же они получили: как говорится в одной моей песенке 1905 года, «наши командиры знают всю словесность», и все аргументы против «буржуазов» крепкими гвоздями вбиты куда следует.

Вот с палубы «дачника» смотрим на пробегающий назад город. От нижней набережной до воды тянется большой пустырь на пологом, сорном берегу: строиться нельзя из-за весеннего половодья и осенних паводков; набережную построить на культурный лад — нет догадки, денег, любви к труду и к порядку, нет самой элементарной бережливости и расчетливости. Наглядное доказательство небережливости и нерасчетливости тут же: на берегу, от набережных строений и до самой воды поставлено громадное количество поленниц. Дрова березовые, очень хорошие. Тянутся поленницы чуть не на версту. Все выложены вдоль реки, ряд за ряд, вверх по откосу. Сложены плохо, коряво, горбато, криво.

Рядом со мною стоит «буржуаз» и ехидно улыбается.

— Вот, — говорит он, — сложили дрова, осенний паводок снесет чуть не половину. Так и поплывут поленья по Волге.

— Так зачем же они здесь сложены? — спрашиваю с удивлением.

— Что же, — отвечает «буржуаз», — они теперь хозяева, товарищи-то. Знающие люди видят, конечно, что не дело, но ведь что ж поделаешь! Везде так. И хоть бы они поленницы поперек берега ставили, подмыло бы только крайнюю клетку, а то, как вода тронет, так сразу вся поленница в воду повалится.

Ну, что же, люди на деле учатся. А все-таки дров жаль. Чем валить их в Волгу, лучше бы отправить в Петроград: ведь там из-за недостатка топлива в декабре и январе школы закроются.

А, впрочем, что нам школы! Мы и так — самая передовая демократия в міре (или, по Мануйловскому начертанию, в мире). Учиться надобно немцам; они, по своей бездарности, без науки не могут; сами научатся, и нам расскажут. Поэтому, когда у них в Берлине оказался недостаток обуви, учащиеся стали приходить в школы босиком, и все-таки ходят и учатся.

Что школы! А вот без хлеба не прожить. А насчет хлеба — туго. По средней и нижней Волге у мужиков хлеба много, прошлогодний кое-где еще не обмолочен, есть и позапрошлогодний. Одна Волга, хвалятся здешние, может прокормить всю Россию. Но не выпускают хлеб из деревни в город две причины: твердые цены и казенная продовольственная волокита.

Говорят, бывали такие случаи: привезут мужики хлеб, а принять его некому, — еще не начинался восьмичасовой рабочий день приемщиков. Ждут, ждут, сдадут кое-как, денег получить нельзя: восьмичасовой рабочий день в кассе кончился. А люди у приемки и в конторе сидят новые, мужикам незнакомые, верить им — сомнительно, кто их знает! И канительно, и беспокойно. Говорят, иногда подводы с хлебом поворачивают и уезжают. Второй раз та же подвода не приедет, — деньги не так

уж очень нужны, дома еще есть, а твердые цены таковы, что торопиться с продажею хлеба не стоит: на полученные деньги в городе дают товару, нужного деревне, обидно мало. Все городское дорого, и мужицкий хлеб обижается. Обижается и прячется.

Так как хлеб все же нужен, а купить его те, кому это официально поручено, не умеют (ждут, что сам придет, а хлеб чванен, сам за брюхом не ходит), то стараются купить его тайком, по вольной цене. Одна наша знакомая крестьянка жаловалась:

— Приехали ночью два черные, юркие. Продай, говорит, хлеба, дадим, сколько хочешь. Откуда они знают, что у меня хлеб есть? Не дала я им ничего.

И понижая голос:

— Вот тебе, А.Н., продала бы по 10 рублей.

Не знаю, дорого это или дешево. Купили бы, да ведь вот пришлось читать на днях, что у приезжающих в Петроград отбирают съестное. Это, конечно, в самой высокой степени глупо, если это верно: чем въезжающий в город, где хлеба мало, повредит общественному благу, если привезет с собою и для себя костромской хлеб, тамбовскую ветчину, шекснинскую рыбу, и тем самым освободит на некоторое время от своих требований запасы пищи в городе? Казалось бы, это только полезно для общества. Но вот, сообщение об этой идиотской заставе на питерских вокзалах я читал, а опровержений пока не видел. И, судя по общему развалу и нелепости современной русской жизни, удивляться этому не приходится. У нас все возможно.

Костромские бабы начали беспокоиться, — будет голод. Костромские большевики уверяют их, что голода не будет, и что толки о голоде — только происки мукомолов, которые хотят отмены твердых цен. Положим, этого хотят не только мукомолы, но и деревенские мужики. Но у большевиков своя логика. Один из них говорил на митинге протеста против Московского Государственного Совещания, что Россию надобно разрушить окончательно, благо она начала разрушаться, и на развалинах построить новое здание.

Это, может быть, и не глупо, но городские бабы с этим не согласны. Они хотят хлеба и не согласны ждать, пока что-то разрушат и что-то новое построят. Им захотелось обеспечить себе возможность иметь хлеб вот именно в эту зиму, пока еще Россия существует в ее настоящем виде. Вопросы государственного и социального строительства они представляют себе смутно и рассуждают попросту:

— Когда купцы хлебом занимались, они умели купить хлеб и продать. Теперь продовольственные управы этим занялись, и хлеба не видно.

И требуют, чтобы хлебное дело перешло к местным мукомолам. Уверены, что если это им позволят, и если твердые цены отменят, то мукомолы и теперь хлеб успеют купить и привезти.

Уездному же и губернскому земствам и продовольственным управам не очень-то доверяют не только городские бабы, но и все местные деревни. В этом отношении очень знаменательно уже попавшее в газеты известие, что в нашей губернии при выборах в волостные земства крестьяне отвергли партийные списки и хотят голосовать по участкам за лично им известных кандидатов, избирая от каждого участка по одному представителю, что и составляет сущность мажоритарной системы выборов.

Пока же везде развал, нелепица, леность, гнойное словоизвержение и полное нежелание энергично работать. И одна только надежда на крепкий хозяйственный

смысл мужика, который, может быть, очнувшись от усердно прививаемого ему «ограбного» яда, спасет Россию.

Спасется же она, конечно, — если ей суждено спастись, — не властными речами наших превосходных и высокоталантливых министров, а чрезмерным напряжением труда. Побеждает нас не Германия, а наша собственная, дикая и тупая распоясанность.

Сонная одурь

— Страшен сон, да милостив Бог, — бормочет спросонок обыватель, переименованный ныне в гражданина. Поворачивается на другой бок, и засыпает. Меж тем, над Россиею носятся вдохновенные, прекрасные речи политических деятелей и наших превосходных министров. Наконец-то, после такого множества бездарных и своекорыстных прислужников ненавистного царизма мы видим на вершине власти людей, которые знают, что надобно для России, людей, которые умеют вывести ее на верный путь, и слышим благородные, возвышенные речи. И как же без речей. Слишком долго молчали лучшие люди в России, домолчались до дней общенародной беды, до дней общенационального позора. Теперь надобно спасать, делать великое, разумное дело. По завету Шиллера, данному в «Песне о Колоколе»,

Разумный труд, начатый нами,
Разумных требует речей.
Работа с мудрыми речами
Пойдет успешней и быстрей.

Правда, кроме речей, мы знаем и другие средства, которыми пользуемся не менее усердно, чем речами, и самое милое для нас средство — забастовка, противоположность работы, ее приостановка. Хотя она и не повышает производительности труда, но зато повышает заработок. Кроме того, дает лишний досуг для произнесения и выслушивания «разумных», по устаревшему, наивному определению поэта, речей.

В том человеку честь и слава,
На то и светлый разум в нем,
Чтоб размышлял он в сердце здраво
О каждом подвиге своем.

Честь, слава, а также и интерес класса. Светлый разум, а также и здоровая глотка. В сердце, а также и в желудке. Насчет подвига — это, понятно, окончательно обветшалое слово, и живо оно только для тех немногих, кто знает, что такое доблесть, честь, самопожертвование, отечество, Россия. Итак,

Обдумаем прилежно,
Что слабой силой совершим.
Презрен, кто действует небрежно,
Не думав над трудом своим.

А главное, по современной русской версии, не поговоривши ‹ни› с кем. И говорят, говорят, говорят. Хорошо говорят. Может быть, будущий составитель хрестоматии красноречия 1917 года и не найдет, что было много классических, достойных бессмертия, речей, может быть, он будет даже утомлен некоторым однообразием этого

красноречия, но все же номер газеты читается с отменным удовольствием. Правда, дурные вести отовсюду сильно портят эстетическое впечатление, но что же делать. К сладостному всегда примешано горькое, и хорошее познается особенно отчетливо по сравнению с худым. Прекрасны речи, отвратительна действительность, — тем хуже для действительности.

А все-таки, однообразие речей начинает тревожить. Ждешь новых слов, и слышишь все те же. События несутся огненною чередою, история с лихорадочною поспешностью чертит все новые и новые страницы, чертит огнем, и кровью, и более красною, чем кровь, и более рдяною, чем огонь, краскою позора и обиды. А слова все те же, горячие, благородные, прекрасные, но все же не зажигающие сердец восторгом.

Льются пламенные речи, а дела идут своим чередом, все хуже и безнадежнее. И кажется, что Россия все еще дремлет, что она все еще никак не может очухаться и понять, что с нею. Ярые огни войны и революции все еще не прожгли толстой коры ее тупого равнодушия.

— Россия в опасности.

Слышали давно.

— Россия на краю гибели.

Знаем.

— Россия погибает.

— Авось, не погибнет.

— Россия уже летит по крутому склону бездны.

Небось, зацепится, удержится. А в крайнем случае, и с немцами можно жить. Они же платят за работу.

Тупое, сонное равнодушие, леность, пассивность. Не хотим воевать, не хотим работать. Хотим высоких заработных плат, а отечество пусть «буржуазы» спасают, если оно им мило.

Огни революции, воодушевления, восторга, кто же их затоптал и залил‹?› Мнится иногда, что стоит над Россиею некий колоссальный и гнусный Гулливер, одною ногою на Берлине, другою на Стокгольме, и заливает тем же способом, каким он заливал пожар в столице пигмеев. Вот, самый воздух бытия нашего дышит на нас нестерпимым, смрадным срамом, а мы, поворачиваясь с боку на бок, бормочем:

— Мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народностей.

Или, пытаясь повернуться спиною и к фронту, и ко всей России, ведем обывательские, нудные, пошлые речи. И посмотрите вокруг, — как много везде благополучных, сытых, жирных, тупых, ленивых, тяжелых на подъем и легких на злословие.

Бывают встречи, в которых синтетически воплощается смысл этой сонной одури. Сидят в каюте дачного парохода две толстые молодые дамы, и беседуют. В тот день, когда опять газеты принесли нестерпимо горькие вести, о чем разговор, о чем мысли этих розовых пышек.

— У меня в городе большая комната, — говорит одна, — и две печки. Даже в самые морозные дни было не меньше 19 градусов. Просто дышать нечем.

— Я тоже люблю тепло, — отвечает другая, — когда я была барышней, у нас тоже было градусов 20, а я спала головой к печке и под тремя одеялами.

— Мне знакомые завидуют, — хвастается первая. — Анна Ивановна говорит: у нас свой дом, и то мы зимой не можем выше 16 градусов натопить, а вы в комнате живете, и то дышать нечем.

У обеих щеки трясутся от набитого там дряблого жира, и животы колышутся тучно. И на тупых, розовых лицах незримо, но внятно для «имеющих очи, чтобы видеть», напечатлен их боевой лозунг:

— Жрать и дрыхнуть. Наивный, чистосердечный Шиллер в той же «Песне о Колоколе» определял долг мужа:

Муж должен потом
В бой с жизнью стремиться.

А русская действительность добавляет:

— Стремиться к высокому окладу, к высокому заработку, но не к высокому качеству работы.

И русское государство угодливо выбрасывает бумажные деньги на сотни миллионов, на миллиарды. И чем меньше, чем ленивее работают люди, чем меньше они производят предметов и чем хуже эти предметы, тем больше получают люди, и тем дороже предметы.

Развращенные праздноболтанием и ничегонеделанием, люди державы Российской все более и более тяготятся трудом, и меньше работают, и хуже. Из школ изъемлется обязательное преподавание Закона Божия, но православные праздники неукоснительно соблюдаются. Дети не обязаны будут знать о Христе, о Марии Деве, но, вместе с взрослыми, будут праздновать все церковные праздники. В самое трудное для государства время работа останавливается только потому, что в этот день священники служат обедню, на которую не пойдет громадное большинство не желающих работать в чужой их душе праздник. Ох ты, русский сон, уж и долог ты. Уж и темен ты, старый лиходей.

Но неужели так, похрапывая и посвистывая носом, и в вечность отойдет великая Россия, страна предков наших, милая сердцам нашим родина, земля Петра Великого и Александра Пушкина‹?› Где пламенные слова, которыми ее разбудить, ее, тяжело дремлющую под словесные громы наших Златоустов, ее, быть может, еще слаще убаюканную этими потоками красноречия‹?› Никто не знает этих слов, никто никому не верит.

А все-таки!

Как ни скверно нам живется, как ни тесны пути перед нами, а все-таки надежда не должна покидать нас. Пусть обстоятельства (скажу так, чтобы не обвинять людей несчастных и заблудившихся) заставляют нас встречать Новый год при бледном свете керосиновых ламп и оплывающих пальмовых свеч, все-таки мы его встретим, все-таки над тусклою скукою наших дней усилиями надеющегося сердца мы вознесем радость новогодних ожиданий.

Ведь все на этом свете зависит от нас самих. Не все, — вы скажете? Но все же очень многое. Надобно только очень сильно хотеть, и надо знать, чего хочешь, и надо постоянно и упрямо хотеть одного и того же.

Чем берут германцы? Им тяжелее, чем нам, но они держатся победителями. Возможно, что они достигнут если не всего, чего хотят, то очень многого. А достигают многого они только потому, что умеют хотеть. Они умеют быть упрямыми и настойчивыми.

На этот Новый год я многого хотел бы пожелать России, но все мои пожелания связываются в один узел, окрашиваются в один цвет. Все они сводятся к одному настоятельному требованию, — научитесь, наконец, хотеть и добиваться своего! То, чего достигли до сих пор, достигли русские люди не от силы, не от воли своей, а от своей слабости, усталости от великого отчаяния и уныния. Захватили наскоком, и уже готовы взятое выронить из рук. И уже страхи ползут по лицу земли русской. Но да не исполнятся злые предвещания! Мужайтесь, русские люди!

Научитесь хотенью упорному,
Наберитесь ликующих сил,
Чтоб зовущий к пристанищу черному
    Вас косой не скосил, —
И поверьте великим вещаниям
Что свобода не ведает зла,
Что она только ясным желаниям
    Силу жизни дала!

Может быть, нас ждет невыгодный и даже позорный мир. Это — великое несчастие для России, для всех нас. Но и несчастия надо переносить мужественно и твердо. Из всякой ямы можно подняться, если есть воля, есть упрямое хотение. А можно погибнуть, сломать себе шею и на ровном месте, если слаба в человеке воля, если разные желания увлекают его в разные стороны.

Чтобы воля наша привела нас к достижению желанного блага, необходимо, прежде всего, очень отчетливо знать всегда, чего хочешь, и совершенно ясно сознавать, что возможно сделать в данных условиях. Ведь все то, что мы видим вокруг себя, каждый день заново свидетельствует нам, что люди, взявшиеся облагодетельствовать Россию да заодно уж и весь мир, совсем не отдают себе отчета в различии осуществимого теперь же и пока еще невозможного. Хотят сразу достигнуть всего, и рискуют повредить и тому малому, чего можно теперь достичь. Явно для всех знающих людей берутся за дела, которых даже и не знают толком.

Один из величайших недостатков современной России в том и состоит, что мы, в общем, ужасно мало знаем. От этого незнания нашего происходит значительная доля неустройств и неудач наших. И потому, самое первое пожелание на Новый год:

— Учитесь как можно больше и усерднее, и не только детей ваших учите, но и сами вы, взрослые, учитесь, читайте, посещайте выставки, школы, музеи, все места, где можно приобрести знания. Изучайте природу, математику, историю, не тратьте времени попусту, учитесь!

Чем больше учится человек, тем больше он начинает ценить то хорошее, что есть в жизни, что создано до него трудами многих поколений, и тем менее он становится склонным к разрушению и уничтожению. Жизнь перестает быть для него каторжною пустынею, где он несчастен и обездолен. Знание открывает перед ним много возможностей, труд и упорство в труде и в хотении помогут ему достигнуть

того, чего он хочет. Знание — первое и самое важное орудие для завоевания себе и другим счастливой жизни на земле.

Знание ставит перед человеком прекрасные цели, постоянство дерзающей и упрямой воли ведет человека к достижению этих целей.

Итак, да процветут в России знание, труд и упорная воля! Жить нам теперь очень тяжело, — а все-таки мы будем надеяться на светлое будущее, а все-таки будем верить, что Россия не погибнет!

1918

Солоно

Уже так всем нам в России тяжело и солоно, что тяжелее да солонее и быть не может. Россия, конечно, не погибнет, в это я верю, и без этой веры как же можно было бы жить! А если и погибнет на время, то в свой срок, Богом определенный, она же воскреснет. Да вот теперь-то нам трудно.

«Утвердят» мир, нет ли, — самое странное в нашем положении не то, что германцы так внезапно и так успешно насели на нас. Самое тяжелое для нас и самое страшное — внутреннее наше разделение. В эти грозные и решающие всю судьбу великой страны минуты все еще не рассеялось то безумие, которое заставляет людей искать, как и при царях, «внутреннего врага». Этот враг — контрреволюционеры, буржуазия, интеллигенция. И этому врагу «трудового» народа приходится теперь, по компетентному свидетельству, солоно.

Кому, однако, солоно? Уж не говоря о том, что солоно теперь всем, кто еще любит свою страну, хотя бы как «социалистическое отечество», — неужели можно утешать себя тем, что солоно признать буржуазии?

Вот, разговаривал я с женою и дочерью одного русского профессора, у которого есть маленькое имение в Новгородской губернии. «Буржуями» называть всю эту семью можно разве только в припадке слепого беснования. Типичная интеллигентская русская семья, живущая духовными интересами и никаких буржуазных устремлений не имеющая. Клочок земли, правда, есть, и на нем культурное хозяйство. Но ведь только у нас в России ведение культурного хозяйства можно считать буржуазною прихотью, для трудового населения страны не имеющею никакого значения. Но, как бы то ни было, этой буржуазной прихоти приходит конец.

С имением поступлено по всей строгости революционных законов. Взято все, что можно взять. Взяли и племенной скот. Зарезали и съели. Кому же от этого истребления племенного скота придется солоно? Профессорской семье, конечно, неприятность и убыток. Но профессор будет по-прежнему преподавать, если не в России, то во Франции, где он сейчас и находится (он проделал всю войну не в тыловых упражнениях, а на фронте), а не во Франции, так в Англии.

Жена и дочь профессора умеют работать и в жизни не потеряются. Не для них будет по-настоящему солоно истребление заведенного ими племенного скота, а для той же, в конечном счете, деревни, нелепой и нескладной, добродушной, быть может, но наученной на глупое и злое. Как дети, захватили, зарезали, сожрали, — ну, а дальше что?

Больше всего приходится солоно не буржуазии, а трудовой интеллигенции. О том, как изворачивается буржуазия, говорить не хочу и не стану, чтобы как-нибудь, хоть краешком, не соприкоснуться с теми, кто занят теперь легким делом травли этого класса, поверженного в политической борьбе. Но посмотрите, кто теперь материально нуждается в Петрограде. Да только представители трудовой интеллигенции, безработные юристы, например. Нуждаются сенаторы, старые и почтенные люди. Слышал об одном из них, — весьма известном человеке, что он принужден продавать книги из своей библиотеки, чем и стараются пользоваться пронырливые скупщики.

Старые почтенные люди голодают, сидят в нетопленых квартирах, сами таскают дрова, когда дворникам захочется бастовать, — но разве социальный строй требует того, чтобы и слабые люди, кашляя и задыхаясь, тащили грузы, а молодые, здоровые и сильные катались в автомобилях? Много прочитал я утопий о грядущем социальном рае, но о таком презрении к старости и к труду долгой жизни читать не приходилось. Не то авторы этих утопий искренно не считают старцев пригодными для всякого труда во имя равенства, не то лукаво умалчивают о такой длительной подробности социального рая.

Но нас прельщает то, что таким образом ущемляется и посрамляется буржуа. Да неправда, не буржуа страдает при этом, — горько и солоно приходится стране.

Что бы мы ни выбрали, войну или мир, и то, и другое требует единения. Когда враг неудержимо идет вперед, — впрочем, может быть, теперь уже он не враг, если мир подписан, — все равно, враг ли, не враг торжествует, мы-то, как можем радоваться тому, что посрамлен наш внутренний враг? Если государство хочет быть прочным, у него не должно быть внутренних врагов. Прискорбная практика старого строя, казалось бы, с очевидною ясностью доказала это.

Если многим людям в стране приходится солоно, то ясно, что государственный строй, насоливший многим, и ненавистен многим. И вот я никак не могу понять, почему надо так устраиваться, чтобы для многих в стране жизнь стала адом. Неужели возможность социального рая обусловливается предварительным созданием ада для противников? Сомнительно что-то!

И если создан ад, то создан он, главным образом, для трудовой интеллигенции. И так не только у нас, но и в Германии, как рассказывают вернувшиеся из Берлина наши гражданские пленные. А ведь трудовая интеллигенция и есть самый настоящий пролетариат.

Чтобы войти в социальный рай, надо, прежде всего, разрушить этот ненужный ад. Пролетариат сделается последним классом и обратится в народ только тогда, когда у него не будет врагов. Враги же пролетариата уничтожаются только созданием совершенного строя. Самый закоренелый буржуа предпочтет пользоваться благами социального строя, чем вечно трепетать за целость своего кошелька. Да и на что кошелек при обилии благ земных, том обилии, которое создается дружною работою трудового народа? А без этого обилия благ всякий строй непрочен. И потому одно, к чему надо призывать людей, это — дружная работа в единении всех живых сил страны.

Что бы ни послала нам судьба, войну или мир, но воскреснем мы только тогда, когда над нашими классовыми и партийными разделениями поставим немудрую, но

вечно живую и животворящую любовь к родине нашей, к земле наших предков, к России.

Прямой человек

И все еще в точности неизвестно, жив ли генерал Корнилов или убит. Все еще время от времени появляются известия о том, что убит кто-то другой, не он. Вероятнее, конечно, что убит. Но так понятно, что около имени этого человека должны слагаться легенды.

Как ни относиться к генералу Корнилову, но несомненно, что роль его сыграна до конца. В данный исторический момент ему нечего делать в России. А между тем только люди его душевного склада для России теперь нужны более чем когда-нибудь.

Он был совсем не такой, как большинство действующих сейчас людей, совсем не такой, как почти все мы в России. Он был из тех, которые услышали и усвоили великий завет прямоты и искренности:

— Да будет слово ваше, да — да, нет — нет.

А мы этого завета не понимаем и не хотим понимать. Мы всегда стараемся рассуждать по знаменитой формуле:

— Постольку — поскольку.

Мы и честны постольку, поскольку это нам выгодно или удобно, и правду скажем постольку, поскольку она не повредит нам, и сделаем то и другое постольку, поскольку это по тем или иным соображениям будет нам полезно. Корнилов же был из тех, о которых сказано:

— Истинный человек, и нет в нем лести. Наша уклончивость, наша политичность, наше бедное и жалкое лукавство помогают нам достигать маленьких целей, устраивать свое зыбкое и призрачное благополучие. Как твари, слишком слабые для того, чтобы открыто идти в широкий мир и отстаивать свои притязания во что бы то ни стало, мы постоянно окрашиваемся в цвет окружающей нас обстановки и готовы хотя ежедневно менять то, что мы деликатно называем ориентациею. Говоря просто и откровенно, мы каждую минуту готовы продать и предать кого угодно и что угодно, и даже самих себя, если думаем, что это — выгодная для нас сделка. Конечно, особенно выгодных сделок мы при этом не совершаем, — уж слишком недоброкачественен и всем доступен тот товар, которым мы торгуем. Мы — просто маленькие и слабенькие людишечки. И если мы делаем то, что вредно и гибельно для России, то это совсем не потому, что мы — ужасные преступники и предатели. Просто, мелюзга, и великие задачи времени нам не по плечу. Задача времени оказалась не по плечу и Корнилову, как и Керенскому. Когда-то, совсем еще недавно, мы были очарованы и тем, и другим. Теперь мы, пожалуй, уже не смогли бы вернуться ни к одному из них. Слишком многое легло за ними и перед нами. Но вот бесстрастно уходящее время взвесило наши пристрастия, и мало-помалу истинная цена того и другого обнаруживается перед нами. Один — неискренний, лукавый болтливец, проговоривший и свою власть, и многое еще, гораздо более ценное. Другой — прямой и честный человек.

Пути, по которым шел Корнилов, не те пути, по которым следует вести Россию. Ближайшее будущее наше чрезмерно темно и опасно, и каждый шаг в той темной

стране неожиданностей, неизбежностей и невозможностей, в которую брошена страна наша, неверен и тревожен. Что мы все знаем о том, что надо делать и куда надо идти? Но одно мы знаем наверное, — только прямые, искренние люди Корниловского склада могут куда-нибудь в более светлое будущее вывести нас.

И я думаю, что спасение наше придет совсем неожиданно и просто, и достигнуто будет самыми нехитрыми и немудреными приемами. Простосердечные люди с невывихнутыми мозгами просто отстраняет весь тот словесный сор, в котором мы нелепо и беспомощно барахтаемся, и скажут нам самые простые, вечно верные и вечно новые слова. И мы вдруг вспомним, что прекрасно и достойно любить свое отечество, что в жизни побеждает только труд, что во всех своих поступках и отношениях люди должны быть добросовестны и честны. Вспомним, что есть в жизни высокие ценности, ради которых стоит жить, которых стоит добиваться, что есть культура, цивилизация, свобода, есть честь и доблесть, есть личное и национальное достоинство. И вдруг увидим, что высокая заработная плата и восьмичасовой труд, да еще особенно в сочетании с восьмушкою полусоломенного хлеба, сущая пустяковина в сравнении с теми высокими ценностями, которыми всегда бывает взволновано верное человеческое сердце. И тогда мы безмерно подивимся своему ослеплению, и глаза наши откроются широко, и мы поймем, как надо жить, работать, добиваться, бороться. Мы обретаем в себе волю к жизни и к творчеству, и, разрубив все хитросплетенные узлы классовых противоречий, восстановим национальное единство, будем сильны, прямы, просты и мужественны.

Впрочем, может быть, это только одна из легенд о сильном и прямом человеке? И ничего такого не будет?

Мистика войны и утопия вечного мира

Нет ничего более легкого в наши дни, как говорить о вреде, жестокости, бессмысленности войны. Ужасная бойня, страшное истребление людей, страдания раненых и изувеченных на войне, горе и отчаяние бесчисленного множества семейств, — и притом погибают на войне, по большей части, самые молодые, самые доблестные, самые отважные и великодушные, самые достойные во всех отношениях люди, те самые люди, которые в дни, подобные нашим, в дни великой государственной и общественной разрухи, были бы так необходимы для устроения достойной жизни в стране, для борьбы с тлетворными элементами уныния и разложения. Страшно представить себе количество жертв войны, — если бы все трупы снести в одно место, возникли бы горы, источающие кровавые потоки. И с этим беспощадным истреблением жизней, юных и прекрасных, сочетается поразительное истребление предметов. Громадное количество фабрик с миллионами рабочих во всех странах выбрасывает поражающее воображение количество орудий и снарядов, и все, выработанное этими громадными скоплениями работающих неустанно людей, обречено на то, чтобы стать не только уничтоженным, но и послужить для уничтожения громадного количества предметов, — домов, общественных зданий, железных дорог, пароходов, — причем погибают мирные труженики, женщины и дети, и многие семейства лишаются всего своего достояния. Вследствие

тех колоссальных затрат, которые несут на войну все государства, во всех странах непомерно увеличивается дороговизна жизни. Многие необходимые для жизни предметы становятся или слишком дороги, или по временам совсем исчезают с рынка. Мы становимся свидетелями таких безобразных явлений, как бессмысленное расточение времени людьми, которые должны целыми часами простаивать в бесконечных очередях за хлебом, за керосином, за сапогами, за железнодорожными билетами. И все это сопровождается большим огрубением нравов, падением нравственности. Людьми владеют наихудшие побуждения. Неимоверные страдания одних дают возможность другим наживать большие состояния, — и чувство самой элементарной справедливости не может не возмущаться тем, что грубые и корыстные люди справляют бесстыдный пир во время чумы.

Нехорошо, что бывает на свете война, — но вот все же она бывает. Давно уже люди знают все бедствия, приносимые человечеству войною, — и все-таки воюют. Давно уже указаны и средства избежать войны, — и все-таки государства не прибегают к этим средствам, или прибегают к ним, только для разрешения вопросов второстепенного значения. Но как только жизнь выдвигает на очередь вопрос, жизненный для государства, люди не хотят подвергнуть своего спора на обсуждение международного трибунала, и предпочитают разрешить его силою оружия. Так было до сих пор во все времена. Может быть, мы вступаем в более счастливое время, и уже близки те дни, когда войн не будет? Может быть. Ведь то, чего никогда не было, все же может когда-нибудь осуществиться. Не было воздухоплавания, была только бессмертная мечта о нем, создавшая миф о высоко взлетевшем на восковых крыльях и упавшем на землю Икаре. И эта мечта многих столетий на наших глазах начинает осуществляться. Так могут осуществиться и многие наши мечты. И в начале этой войны многим из нас казалось, что это — последняя война, что это — война против войны. Кажется, теперь эти иллюзии померкли у многих. И не знаю, многие ли веруют в скорое наступление того времени, когда войны не будет, как не будет и разделения племен на государства и обществ на классы.

Знают люди всю бедственность и всю мерзость войны, и все же влекутся к ней. И если бы они сами к ней не влеклись, то не было бы такой силы на земле, которая могла бы послать миллионы юношей на верную смерть. Вот страшная правда о войне, — люди, такие, какими мы себя знаем, не какие-нибудь мечтаемые сверхчеловеки, а люди нашей европейской цивилизации сами влекутся к войне, сами хотят ее, и любят, и прославляют. Недаром Пушкин говорит: «Есть упоение в бою».

И говорит это не в торжественной оде, где можно было бы подозревать неискренность высказывания, говорит это в одном из самых интимных и глубоких своих произведений. И в наши дни разве новейшие из поэтов, футуристы, не прославляли войну? Имя итальянца Маринетти тесно связано с увлекательным прославлением войны.

Есть упоение в бою, — и для старых, и для новых поэтов, и для мальчишек, которые радостно бегут перед стройными рядами солдат, и с увлечением играют в воинственные игры, и для юношей, которые с таким удовольствием облекаются в военные мундиры, и для молодых девушек, которые во все времена так нежно и сладостно любили отважных и доблестных воинов. Есть упоение в бою. И когда мне говорят, что войну начали цари, или говорят, что войну начали капиталисты, я думаю:

«Может быть, это и правда, но, во всяком случае, это — не вся правда. И даже не самая глубокая часть правды».

Ну да, война — зло, кто же против этого станет спорить. Но разве война — единственное зло на свете? Если вспомнить, как жили общества и государства до войны, в те краткие промежутки времени, которые выпадают между войнами и которые почти ни в одном государстве не могут заполнить всей жизни человека, — то что же мы увидим? Всеобщую борьбу всех против каждого и каждого против всех, ужасную борьбу за существование. И борьба эта ведется самыми ужасными и беззастенчивыми способами, и сопровождается большими жестокостями и бесчестными поступками. Эта всегдашняя борьба ожесточает людей, и они становятся грубы, жестоки и несправедливы даже с близкими, с друзьями, с родными. В простом быту мужья бьют своих жен, родители — своих детей. Почитайте правдивые сказания М. Горького, — какая ужасная, сплошная цепь битья, насилий, издевательств всякого рода! Смотришь на эту жизнь, и думаешь:

«Не ложно сказано, что человек человеку волк».

Да и не хула ли это на волка? Вспомним потрясающие картины еврейских погромов, ужасные буйства черносотенных толп, — все эти свирепости совершались и в мирные времена, и неужели люди громили и грабили только потому, что им кто-то велел это сделать? Ведь есть же пределы для всякого послушания, и никто не может сделать того, что выходит за пределы его моральных сил. Очевидно, злобы еще очень много в современном человечестве, и, к сожалению, органическое зло еще царствует на нашей прекрасной, милой нам планете. Когда напряжение этого зла становится очень сильным, оно выходит наружу, уже перестает носить маску таящегося преступления, откидывает все лицемерные покровы, надменно провозглашает право силы, и начинается грозное явление войны. Начинается, как всякое освобождение задержанной энергии, радостно, с великим подъемом и энтузиазмом.

Когда человек долго таил в себе какое-нибудь чувство, и это чувство наконец находит себе исход, когда он может, например, выразить свой гнев сильными словами, как легко чувствует он себя в первое время, до наступления неизбежной реакции! Чувство, подобное радости, охватывает его, чувство, основанное на том, что преодолено то препятствие, которое сковывало его силы. Таким же подобием радости бывает охвачена вся страна, когда накопившаяся в ней великая и темная энергия зла преодолевает все преграды закона, совести, права, справедливости, жалости, любви к людям, страха перед опасностями и самою смертью, привязанности к жизни, — когда, от всего освобожденная, возвращенная к первобытной дикой вольности, душа человека ничего не боится, на все дерзает, ни от чего не отвращается. Это освобождение скованной энергии бывает обыкновенно так значительно, что количество уже переходит в качество, и обрадованность выносит на поверхность души, вместе с разнузданностью зла, и очень много прекрасного и высокого, достойного похвал и прославления. Совершаются великие подвиги доблести, великодушия, самоотвержения. Воин наших дней не для того идет на войну, чтобы убивать, или, по крайней мере, не только для того, — он идет для того, чтобы отдать свою жизнь за других, за отечество, за родину, за славу родного края, за свободу, за те великие цели национального бытия, которые объявлены как причины войны. И правду ли гово-

рят те, которые начали войну, или что-то скрывают от народа, — во всяком случае, те, которые умирают, очень часто являют высокие образцы героизма и прекрасное одушевление возвышенными идеями, во имя которых оправдана бывает война. Из зла рождается добро, как в самом процессе войны, так и в тех плодотворных последствиях, которые она иногда приносит народам, освобождая их от тирании или создавая новые условия национального существования. Из зла рождалось добро и в прежние времена, — и мы не можем закрывать глаза на то обстоятельство, что вся наша культура создана принудительным трудом. Может быть, было бы лучше, если бы история человечества шла другими путями, но, очевидно, эти другие пути оказались невозможными, и неизбежно было человечеству пройти через все ужасы и жестокости, причиненные господствующим в нашем пока еще несовершенном мире злом. Да, неоднократно рождалось добро из зла, и великая мудрость человека сказалась в том, что он сумел и самое зло сковать и заставил его служить себе, служить высоким идеальным целям, ради которых человек живет на земле.

Человек, как мы его знаем на протяжении человеческой истории, всегда был наделен волею к власти и к господству. Быть выше природы, повелевать ею, — вот что влекло его мечты. Не столько господствовать над другими людьми, сколько господствовать над предметами, над силами природы. Господство одних людей над другими всегда было нужно господствующим классам не само по себе, а только как средство для того, чтобы овладеть наибольшим количеством предметов и в этом предметном мире как можно шире утвердить свою державную власть. Хорошо или худо, что у человека есть эта воля к власти, это ненасытимое стремление к расширению пределов своего господства, — не все ли равно? Но на этом стремлении человека к власти и господству основано очень многое из того, что достигнуто человечеством. В первобытные времена невозможны были бы большие соединения людей без этого могущественного стимула, и не возникла бы никакая цивилизация, если бы люди были мирны и добродушны, и лишены были всякой агрессивности. Самая борьба с природою была бы почти невозможна для человека слишком кроткого.

В одном из своих воплощений Будда встретил голодную львицу. Она не нашла другой пищи для себя и для своего детеныша, кроме того человеческого тела, которое было перед нею. Будда понял ее страдание, и оценил ее материнскую любовь, и с божественным великодушием предал свое тело острым зубам голодного зверя. Это был поступок высокой чистоты и святости, и воистину свят напитавший своим телом зверя. Но, если бы первые люди все были так же святы, едва ли бы человеческому племени удалось бы выжить до наших дней, и землею владели бы хищные звери. Суровость воинов и охотников спаяла человеческие общества, и дала нам возможность дожить до такого строя, когда создатели утопий уже воображают общество, в котором не будет войны, да заодно не будет и многого из того, что для нас так привычно и кажется таким естественным и постоянным. Но в жестокие и смутные наши дни будем справедливы и к войне, и признаем, вместе с ее злом, и то благо, которое человечество извлекло из нее. Недаром же понятие войны так волнует человеческое сердце, и так облечено мистическими, глубокими переживаниями.

Злом рождается добро не только потому что каждое явление, достигшее своего полного развития, неизбежно вызывает появление противоположного начала и его

временное торжество, — почему и победы зла чередуются с победами добра, — но и потому, что очень часто в делах и чувствах человеческих добро и зло не так уж резко разграничены, и являются зачастую различными ступенями одной и той же лестницы, по которой восходит или нисходит человек. И не в том дело, чтобы не совершать зла, — не совершает зла и не делает ошибок только тот, кто ничего не делает, — а в том, чтобы по этой нескончаемой лестнице совершенств подниматься, а не спускаться. Страстная настойчивость в отстаивании того, что считаешь правым, — добро это или зло? Ведь такая настойчивость непременно, в той или иной форме, предполагает возможность насилия над волею другого человека. Во что бы то ни стало добиваться достижения своей цели — это так свойственно человеку, в груди которого бьется живое человеческое сердце, и в жилах которого струится пламенная кровь. Было бы очень скучно жить людям с нашею психологиею, если бы все на свете решалось хладнокровным подсчетом поданных за то и за другое мнение голосов. До наших дней все истинно великое в мире достигалось самоотверженными усилиями и обильно проливаемою кровью. Недаром так трепетно и благоговейно почитаем мы кровь героев и мучеников. Недаром красный цвет — цвет революционного знамени, цвет крови, великодушно и щедро пролитой. Глубокая правда в словах Некрасова:

«Умрешь не даром, — дело прочно, когда под ним струится кровь».

И наша революция, и та свобода, которую она нам дала и даст в будущем еще полнее и совершеннее, — все это вышло из великой войны, которую мы вели в союзе с передовыми демократиями мира, все это родилось в потоках драгоценной крови наших братьев и сыновей. И как ни тяжела была эта война, какими изменами и предательствами она ни сопровождалась, я думаю, что все-таки в истории она останется в светлом ореоле. Потому что свято и таинственно все то, что связано с живою кровью человеческого сердца.

Но устает душа человеческая от невыносимого зрелища смерти и страданий, и хочет мира. Вечного мира. Того, чего еще никогда не было на земле.

Не было, но должно быть. Не было, но мы хотим его, мечтаем о нем, и он будет. Ведь и то, чем мы уже владеем, когда-то было только в области мечты. Но и самые бессмысленные мечтания становятся реальною действительностью, когда наступает срок исполнения.

Мечта о совершенном социальном строе давно уже занимает людей, и много было написано в разное время утопий, изображавших совершенное общество. Утопия — сказка, но этого бояться не приходится. Ведь и научный марксизм происходит не только от классической политической экономии и классической идеалистической философии, но и от утопического социализма в трудах Оуэна, Сен-Симона и Фурье. Да и раньше утопии являлись часто предвестниками переворотов. Знаменитейшее из таких сочинений, утопия Томаса Мора, самое имя которой стало нарицательным для всего этого рода сочинений, появилось за год до начала проповеди Лютера. Не прошло и двадцати лет, как уже влияние этой утопии сказалось в попытке создания совершенного, святого государства в Мюнстере. Булочник Ян Матисен, в сообществе со скорняком Мельхиором Гоффманом, основал новое государство в Мюнстере, древней резиденции епископов. В конституции этого государства он смело соединил мечтания о царстве Божием на земле и о тысячелетнем правлении святых с социа-

листическими идеями, провозгласил общность имущества, бесполезность светской власти государей, и установил, как естественный и божественный, закон многоженства. Ему наследовал Иоанн Бокельзон, портной и потом трактирщик, принявший имя Иоанна Лейденского. Но это государство, осуществившее коммунизм и уничтожение семьи, существовало не более двух лет, и было разрушено владетельными князьями Германии.

Неоднократно и потом мечтания сочинителей утопий люди пытались воплотить в действительности, но удачные попытки едва ли можно указать. Один из наиболее любопытных опытов совершен самим автором одной из утопий. Это был Этьен Кабе. Его «Путешествие в Икарию» появилось в свет в 1842 году, и имело очень большой успех. Для популяризации своих идей Кабе основал особый журнал, и в 1847 г. уже делал приготовления к тому, чтобы основать в Техасе колонию. В феврале 1848 г. из Парижа отправился первый отряд икарийцев, 69 юношей, — пожелания европейских коммунистов сопровождали их. Первый опыт был неудачен из-за случайных причин, — среди колонистов начала свирепствовать малярия, их единственный врач сошел с ума, и немногие оставшиеся колонисты уехали в Нью-Орлеан. Ясно было, что Кабе не виноват в этой неудаче, — но люди нашего времени, очевидно, еще не дозрели до совершенного государственного строя, — некоторые из колонистов возвратились во Францию, и обвиняли Кабе в мошенничестве. Кабе был в это время в Америке. Там, вместе с 240 икарийцами, уехавшими из Парижа в декабре 1848 г., он основал колонию в городке Науву, в Иллинойсе. Этот городок был только что покинут мормонами, и потому там удалось очень дешево купить дома и землю. Дело пошло сначала хорошо. Меж тем Кабе узнал, что он присужден в Париже к двухлетнему тюремному заключению. Он возвратился в Европу, добился возобновления дела, и был оправдан. Когда он приехал опять в колонию, он застал там большие непорядки и раздоры. Его вмешательство было безуспешно, и повело только к тому, что его изгнали из основанной им колонии. Скоро после этого он умер. Колония довольно долго еще продолжала влачить жалкое существование, не прельщая никого присоединиться к ней.

Почти так же безуспешны были и все другие опыты построения общин на новых совершенных началах. Одно из двух, — или люди наших дней еще не могут жить в мирном общении, или невозможно устроить на земле уединенные оазисы добра, когда весь мир лежит во зле.

Эта безуспешность всех таких попыток тем более удивительна, что громадное большинство всех утопий обнаруживает одинаковые понимания того, что нужно для человеческого счастия на земле. Самое большое бедствие, от которого страдают люди, — бедность. Происходящая от несправедливого распределения продуктов труда. Собственность кажется почти всем авторам утопий вредною для человеческих обществ, и потому почти все утопии построены на отрицании собственности. Более чем за 2000 лет до нашего времени «Республика» Платона, хотя по существу и строго аристократическая, по форме была все ж таки коммунистическою. Для того, чтобы уничтожение частной собственности провести возможно тверже и бесповоротнее, Платон не останавливается перед уничтожением семьи, и потому устанавливает общность жен. И те авторы утопий, которые искали счастливый народ где-нибудь на неведомых островах и потому в своих рассказах изображали нередко черты

из жизни первобытных обитателей Америки и Океанийских островов, и те, преимущественно новые, 19 и 20 века, авторы утопий, которые переносят действие своего рассказа в более или менее отдаленное будущее, как Беллами, Вильям Моррис, Уэллс, или те, которые ищут совершенного строя в иных мирах, преимущественно на планете Марс, как автор «Красной Звезды» Богданов или тот же Уэллс, — все они, при всем разнообразии их вымысла, все же сходятся на некоторых общих положениях. Отрицание государства, отрицание частной собственности, отрицание брака, — эти три признака общи почти всем утопиям.

В утопии Морриса, «Вести Ниоткуда», на вопрос гостя из нашего мира:

— Какая у вас форма правления? —

Старый Гомонд, знакомящий его с порядками английской жизни в 21 веке, отвечает:

— У нас совсем нет того, что бы вы, человек с другой планеты, могли назвать правительством. Правительство, охраняя собственность посредством суда и защищая граждан против других государств посредством войны или под угрозою войны, разрушало народное благосостояние.

— Как вы устроились с политикой? — спрашивает гость.

И хозяин отвечает:

— Мы очень хорошо устроились с политикой, так как у нас теперь ее нет совсем.

Хотя люди в Англии и на континенте говорят разными языками, так что дети, играя с маленькими гостями с континента, незаметно для себя научаются говорить по-французски и по-немецки, но государств нет, и понятие о нации молодым поколением уже утрачено. Показывая на прекрасное здание картинной галереи, молодой человек 21 века говорит гостю из 19 столетия:

— Это здание называется почему-то национальною галереею. Я не знаю, что значит это название, но у нас на острове много таких зданий с картинами и статуями, и все они называются национальными галереями, должно быть из подражания этой галерее.

Уэллс менее склонен разрушать государства, и в его романе «Когда спящий проснется» еще существуют Германия и Россия. Но дело идет к тому, что капитал Спящего завладеет всем миром, что и будет, по всей вероятности, переходом к социальному строю.

Так как нет собственности, то все предметы не покупаются, а даются даром. Производятся же они потому, что человеку неестественно и скучно не работать. Счастливая страна Вильяма Морриса считает лень болезнью, которою когда-то страдало человечество, чем-то вроде ослабленной проказы; кажется, эта болезнь была очень заразительна, потому что одержимые ею люди вели уединенный образ жизни, и им прислуживали люди в особой одежде (намек на дворцы современных богачей и на ливреи слуг). Женщины у этих людей были очень уродливы, они имели тоненькие пальцы, узкую талию и бледное лицо. В 21 веке страдающих этой болезнью уже не было, легкие же приступы ее, иначе называемые меланхолиею или хандрою, легко излечивались небольшим приемом слабительного.

Во всех этих утопических странах люди работают без принуждения, всегда приветливы и любезны друг с другом, всегда в хорошем настроении. Это в полном смы-

сле слова счастливые люди, и образ жизни их изображается в идиллических чертах. Счастие их так безоблачно, что авторами утопий, слишком хорошо знающими современного человека, иногда овладевает некоторое сомнение в прочности этого счастия. Некоторые из авторов утопий отвращают неизбежную скуку слишком счастливой жизни эротическими картинами. Такова, например, появившаяся в 1620 году книга монаха Томаса Кампанеллы «Город Солнца». Такова же напечатанная в Берлине на русском языке утопия Константина Сергеевича Мережковского, брата нашего известного писателя. Руководимый, быть может, своим собственным тяжелым опытом жизни человеческого сердца, К.С. Мережковский не верит в возможность долгого безоблачного счастия и для людей 25 века. Они живут на островах в теплом океане, ходят нагие и проводят время в играх, но к 35 годам силы их истощаются, и старцы, взявшие на свою долю мудрость и ве́дение, отправляют их на счастливые острова, где они умирают. Оставшиеся думают, что их увезли на еще счастливейшие острова в награду, — о смерти они ничего не знают. Краткость жизни, веселые игры и неведение, — вот рецепт счастия. Мудрецам же, немногим избранным, ведома тщетность человеческой жизни и тяжесть земной скорби.

Другие авторы ничем и не пытаются прикрыть темные пятна счастливого бытия, — ведь и на солнце есть пятна. Вильям Моррис описывает тяжелую историю убийства из-за любви, — как видно, темные страсти не угаснут и в счастливом веке. Авторы утопий, перенесенных на Марс, озабочены истощением жизненных сил этой планеты, возраст которой старше земли.

По отношению к вечному миру очень резко отличаются новые утопии от древних. Прежние утописты, по-видимому, признавали войну неизбежною, и потому в этих государствах были воины. Новые сочинители утопий предпочитают говорить о таком мире, где войн не будет. Нет причины для войны, нет разделения на классы, и нет соперничества между нациями, да и психология людей совершенно изменилась. Произошла не одна только революция социальная, но революция моральная, та революция, о которой мы теперь едва только смеем мечтать. Едва только мечтаем о моральной революции, потому что видим, что и при новом строе люди остаются те же, и недаром в минуту отчаяния у популярнейшего из бывших министров вырвался вопрос, — да уж не взбунтовавшиеся ли это рабы?

Авторы утопий совершенно согласны в том, что счастливый строй неразрывно связан с коренным преобразованием человеческой психологии. Как произойдет это изменение психологии? Конечно, под влиянием нового строя. Но как вести этот строй, пока психология не изменилась? Почти все авторы утопий говорят, что переход к новому строю совершится посредством насилия. Но как это насилие претворит людей в благожелательные и счастливые существа? Психологические противоречия многочисленны; сфера подсознательная, наследственность, атавизм впечатлений революционных излишеств, — как все это претворится в мир на земле и благоволение в людях? Но как бы то ни было, будущее человечество утопий будет иным, чем мы. А потому и нет войны, и на земле, среди счастливого человечества царит вечный мир.

Но так ли это? Действительно ли высшее человечество обойдется без войны?

Вот утопия «Красная Звезда» Богданова, напечатанная в Петербурге в 1908 году. На Марсе происходит конгресс по вопросу о колонизации. Представитель

центральной статистики рядом точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессе его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией своей планеты, через 30 лет начнется недостаток в средствах питания. Поэтому необходимо организовать массовые переселения марсиан на другие планеты. Этих планет две — Земля и Венера. И вот один из ораторов находит, что переселение возможно только на Землю, но что земные люди не уступят марсианам достаточно места на земле. В длинной и очень убедительной речи он пытается доказать, что колонизация земли требует полного истребления земного человечества. Надо при этом сказать, что Марсианские шпионы были на земле, и на Марсе знают, кого им предлагают истребить. Марсианский шпион Мэнни очень определенно говорит: хотя земное человечество возникло на несколько десятков тысяч лет позже, чем марсианское, но развивалось быстрее, и теперь отстает от марсианского только столетия на два, то есть как от нас современники Петра Великого. Правда, его предложение не было принято, но почему? Относительно Венеры было вполне установлено, что там есть богатые запасы радиоактивных элементов, стало быть, на этот раз можно обойтись без истребления земных людей. Довод не от принципа, а от целесообразности. В разуме же и в чувстве этих высококультурных существ не нашлось достаточно противодействия самой мысли о возможности поголовного умерщвления всех земных людей. Земное человечество случайно было пощажено.

Уэллс идет дальше. В его романе «Война миров» марсиане, высадившись на землю, с того начали, что принялись истреблять людей.

Итак, высокое развитие не обеспечивает умерщвления жестокости в человеке, и ничто не дает нам права думать, что в близком будущем человечеству удастся освободиться от войн и вступить в царство вечного мира. Правда, автор «Красной Звезды» говорит, что на Марсе нет войн. Но насилие допускается как разумный акт разумного существа. Кроме того, марсиане «Красной Звезды» ничуть не стесняются лгать и обманывать для хорошей цели. Земной их гость Леонид этим недоволен, но напрасно: сам себя он называет аморалистом. Пока люди остаются такими, какими мы их знаем, с их человеческими страстями и с их потребностями, всегда будет вспыхивать в их сердцах злоба и жажда взаимного истребления. Только чудо может настолько изменить земной состав человечества, что упразднится всякое зло, и земля станет раем. Это чудо — чудо преображения, величайшее из земных чудес. Оно не лежит на путях истории, его еще никогда не знало бедное человечество, но оно будет. Я верю, что совершится чудо преображения, и дано оно нам будет только в великом восторге творчества, высоко подымающем душу. Сожжется и истлеет ветхий мир, и мы увидим новую землю и новое небо, и войдем в новый мир. Этого не было, но это будет.

КОММЕНТАРИИ

В настоящую подборку вошли наиболее существенные статьи и заметки Федора Сологуба военной тематики, написанные в годы Первой мировой войны. Отдельные из них не прошли в печать вследствие цензурного запрещения или по другим, неизвестным нам причи-

нам. Мы сочли целесообразным поместить их в общем корпусе, чтобы не нарушать целостного представления об актуальной публицистике писателя 1914–1918 гг.

Статьи «В.А. Мгебров», «Обывательское», «Два пути», «Дерзание до конца», «Мятежные музы», «Беседа с друзьями» и «Удел поэта», опубликованные за подписью Сологуба, написаны совместно с Ан. Чеботаревской (по данным авторской библиографии: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546).

Все тексты расположены в хронологической последовательности их появления в печати, неопубликованные — в соответствии с авторскими датировками.

Статьи, напечатанные при жизни автора, воспроизводятся по первой (единственной) публикации; не попавшие в печать — по оригиналам из архива писателя, поздней редакции. В тех случаях, когда при публикации текст подвергся сокращению со стороны цензуры или самого автора (из цензурных соображений), предпочтение отдавалось более полной версии текста, изъятые фрагменты отмечены в примечаниях.

Тексты воспроизводятся в соответствии с современной грамматической нормой, за исключением отдельных особенностей авторской пунктуации.

1914

Мира не будет

Бирж. вед. 1914. № 14462 (30 окт.). Утр. вып. С. 2.

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 343.

...в виде Лауры за клавиром. — Подразумевается романтический образ стихотворения Ф. Шиллера «Лаура за клавесином» (1781) из его любовного цикла, посвященного Лауре; восходит к образу возлюбленной итальянского поэта Франческо Петрарки (1304–1374), к Лауре обращены его многочисленные сонеты, баллады, мадригалы «Книги песен».

...расстилались перед шуцманами... — Шуцман (*нем.* Schutzmann) — полицейский.

...нападение немецко-турецких кораблей...– 19 октября 1914 г.турецкие войска вторглись на территорию Батумской области, 29 октября турецкие и немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» обстреляли Одессу, Севастополь, Феодосию, Новороссийск; 2 ноября (по другой версии — 5 ноября) Россия объявила войну Османской империи, 5 ноября — Англия и Франция.

Где-то недавно читал ~ я — простой крестьянин. — Этот фрагмент в газете отсутствует.

...А я бы повару иному ~ Где нужно власть употребить. — Цитата из басни И.А. Крылова «Кот и Повар» (1813).

...наиболее проницательные среди нас видели, что в Берлине творится какая-то особая, тяжкая для русского духа, жизнь. — Перекличка со статьей С. Городецкого «Германия и культура», ср.: «У многих русских и до войны была стихийная ненависть к немцам. Всякий, кто хоть какое-нибудь имел отношение к творчески-трудовой жизни, кто хоть что-нибудь когда-нибудь создал, попав в Германию и в современный центр ее — Берлин, начинал задыхаться. Атмосфера фальши, поддельности, беспочвенности сразу давала себя чувствовать. Подкрашенная гниль окружала со всех сторон. ‹...› Но таково было ощущение немногих. Многие же соотечественники купались телом и душой в немецком благополучии и возвра-

щались из Берлина с презрением ко всему русскому» (Бирж. вед. 1914. № 14308 (13 авг.). Утр. вып. С. 2).

...слухам о том, что Розу Люксембург и Либкнехта расстреляли. — В августе 1914 г. в русских газетах действительно появились заметки о расстреле К. Либкнехта, см.: Опровержение слухов о расстреле Либкнехта (по телефону из Москвы) // Бирж. вед. 1914. № 14293 (5 авг.). Веч. вып. С. 2. Роза Люксембург (1871–1919), Карл Либкнехт (1871–1919) — одни из наиболее влиятельных деятелей немецкой левой социал-демократии; 2 декабря 1914 г. Либкнехт один голосовал в рейхстаге против военных кредитов; в переданном председателю рейхстага письменном заявлении он охарактеризовал Первую мировую войну как войну захватническую; за антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны Либкнехт и Люксембург подверглись репрессиям, провели в тюрьме около 4 лет. Основатели антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии, схвачены и убиты после подавления восстания берлинских рабочих в январе 1919 г.

...оказалось, что в вопросе о войне германские социал-демократы заодно с кайзером... — Пресса сообщала, что на заседании рейхстага 4 августа социал-демократы проголосовали за 4-миллионный кредит правительству на военные нужды (Бирж. вед. 1914. № 14358 (6 сент.). Утр. вып. С. 3); чуть ранее: «Итальянская социалистическая партия отложила предложение германских социал-демократов Ледебура и Зудекума о свидании. Свой отказ итальянские социалисты мотивируют тем, что германские социал-демократы вступили в тесный союз с цезаристическим правительством, что видно из последней статьи Зудекума ‹...› В этой статье Зудекум оправдывал даже насильственные действия германцев в Бельгии» (Бирж. вед. 1914. № 14328 (23 авг.). Утр. вып. С. 1).

Если верить газетным сообщениям, Гергард Гауптман писал, что разрушение Лувенского университета его менее огорчает, чем простреленная грудь немецкого солдата... — Герхард Иоганн Гауптман (1862–1946) — немецкий драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1912). Его письмо, перепечатанное русскими газетами, вызвало бурный протест со стороны общественности; полный текст публицистического выступления приводится, в частности, на страницах «Биржевых ведомостей» в заметке «Битва на перьях: (Обмен письмами ‹Г.› Гауптмана и Р. Роллана)»: «Два выдающихся современных писателя Ромэн ‹*так!*› Роллан и Гергардт Гауптман выступили в печати с открытыми письмами, в которых ярко отражается точка зрения французов и немцев на настоящую войну. Первым выступил Роллан, поместивший 29-го августа открытое письмо, адресованное немецкому писателю в “Journal de Genéve”. Сделав оговорку, что он смотрит на Германию, как на варварскую страну, что он помнит “нашего Гёте”, Ромэн Роллан требует от Гауптмана прямого ответа. ‹...› “…Я не возвысил голоса даже тогда, когда видел, как ваши войска попирают благородную Бельгию, нарушая ее нейтралитет. Это подлое злодеяние, которое в каждом человеке, проникнутом духом справедливости, возбуждает презрение, слишком соответствует политическим традициям ваших прусских королей, и оно меня ничуть не удивило. Но та ярость, которую вы проявляете по отношению к этой благородной нации, стремящейся лишь с отчаянною храбростью отстоять свою самостоятельность и свои права, — это уже слишком! Весь свет возмущен и поднимается против вас. Приберегите эти ужасы для нас, французов, ваших настоящих врагов! Но не позорно ли так поступать по отношению к вашим жертвам, по отношению к маленькому, несчастному и ни в чем не провинившемуся перед вами бельгийскому народу!” Центрально в письме Роллана — обвинение немцев в войне с вековой культурой. “Вы бомбардируете Малин, вы сжигаете Рубенса;

Лувен представляет кучу золы, — Лувен, этот великолепный город со своими прекрасными и неоценимыми сокровищами искусства. Но кто же вы? И как хотите вы, Гауптман, чтобы вас называли, раз вы отказываетесь от титула “варвары”? Кто вы: потомки Гёте или Аттилы? С кем вы сражаетесь, с армиями или с душой человечества? Убивайте людей, но пощадите произведения искусства. Это требует патриотизм человеческих поколений. Вы принадлежите, как и мы все, к его стражам. Тем, что вы его швыряете за борт, вы доказываете, что недостойны этого великого наследия, недостойны занимать место в рядах маленькой европейской армии, представляющей собой лейб-гвардию цивилизации. Мне безразлично, что думает свет о том, что я обращаюсь к вам. Я делаю это, Гауптман, ради вас самих. Во имя нашей Европы, наиболее выдающимся борцом которой вы считались до сих пор, во имя цивилизации Европы, за которую боролись величайшие люди с незапамятных времен, во имя чести германского народа, обращаюсь я к вам, Гергард Гауптман. Я предлагаю вам, и духовно избранным, среди которых у меня много друзей, всеми силами протестовать против преступлений, которые падут на ваши головы”. Роллан говорит, что уклонение Гауптмана покажет, что он с вандалами, что “духовно избранные Германии подпали под самый ужасный деспотизм, который уничтожает творения культуры и изменнически убивает дух человечества”.

‹...› Гауптман ответил Роллану открытым письмом, в “Vossische Zeitung” ‹...› “Все, что вы говорите, построено на ложном основании. Все, что вы говорите о нашем правительстве, нашей армии и нашем народе, до такой степени неправильно, что в этом отношении ваше открытое письмо представляется мне лишь темным пустым пространством. Война — это война. Вы можете скорбеть по поводу войны, но вы не должны удивляться, когда происходит нечто неотделимое от этой элементарной катастрофы. Конечно, нехорошо, когда в пылу сражения гибнет незаменимый Рубенс, я принадлежу к числу тех, кто чувствует гораздо более глубокую скорбь по поводу простреленной груди своего ближнего. И, г. Роллан, совершенно неуместно, что вы принимаете такой тон, будто ваши соотечественники, французы, пошли на нас с масличными ветвями, тогда как, в действительности, они в изобилии снабжены пушками, картечами и даже пулями дум-дум. Разумеется, наши геройские войска навели на вас ужас. Но немецкий солдат не имеет ничего общего с теми отвратительными, смешными и неправдоподобными наветами, которыми изобилует французская пресса. Пусть англичане называют нас “гуннами”, и вы можете называть наших храбрых воинов сынами Аттилы, — с нас же достаточно, если наши храбрые ополченцы разорвут цепь наших неприятелей. Я предпочитаю, чтобы вы называли нас сынами Аттилы, три раза перекрестили нас и оставались за пределами нашей страны, а не делали на могиле немецкого народа сантиментальную *‹так!›* надпись “потомки Гёте” ‹...›”. Насчет Бельгии Гауптман повторяет жалкое оправдание Вильгельма и — совсем ослабляет силу своего письма, которому нельзя отказать в талантливой колкости, — советует Роллану просчитать “отчет нашего рейхсканцлера Америке и телеграмму, которую послал император президенту Вильсону”» (Бирж. вед. 1914. № 14357 (6 сент.). Веч. вып. С. 5). Националистические выступления писателя получили резкую оценку в столичной прессе с первых дней войны, см., например: «Газета “Речь” телеграфирует из Копенгагена: “В шведских и датских газетах напечатана статья Гергардта Гауптмана, носящая характер воззвания. Статья наполнена восхвалениями оружия и бранью по адресу Бельгии и Франции. Воззвание Гауптмана заканчивается удивительным заявлением, что только полная победа германцев гарантирует самостоятельность и независимость Европы”» (Театр и искусство. 1914. № 33 (17 авг.). С. 684).

Германские ученые заявили, что германская культура неотделима от милитаризма… — Возможно, отклик на статью обозревателя газеты «Речь» Д. Левина, в которой он изложил доктрину расолога Феликса фон Лушана (1854–1924), профессора антропологии Берлинского университета; основной тезис ученого: «Нации могут рождаться и умирать, но антагонизм наций пребудет вечно. И это тем лучше, ибо человечество превратилось бы в стадо баранов, если бы мы должны были утратить наше национальное честолюбие, если бы мы перестали глядеть с чувством радостной гордости не только на завоевания нашей промышленности и нашей науки, но и на наших великолепных солдат и превосходные броненосцы. ‹…› Каждый народ должен уважать права других народов в той же мере, как и свое собственное право. Но раз дело идет о его жизненных интересах, то он их отстоит, если понадобится, железом и кровью». В заключение Левин писал: «Такова наиболее умеренная, объективная наукообразная форма германского милитаризма, воплотившегося в той Германии, в которую теперь обрушился мир» (Речь. 1914. № 217 (15/28 авг.). С. 2).

Представители искусства и науки в Германии заявили… — Тема «бойкота» не раз освещалась на страницах «Биржевых ведомостей», например в заметке «Русские писатели о немецком бойкоте литературы» сообщалось: «…группа немецких литераторов, подписи которых пока России неизвестны, выступила с воззванием к своим германским собратьям о том, чтобы отныне на немецкий язык не было переведено ни одно произведение русского писателя. Нелепое решение свидетельствует только о той невероятной степени запальчивости, какая владеет немецкой интеллигенцией, теряющей просто здравый смысл в зверском раздражении на последние русские победы»; далее приведены комментарии В.И. Немировича-Данченко, А.И. Куприна, С.А. Венгерова, А.М. Ремизова, А.Л. Волынского, А.А. Измайлова, Ф.Ф. Фидлера (Бирж. вед. 1914. № 14331 (24 авг.). Веч. вып. С. 3). В статье «Немцы сняли маски» говорилось: «Известный венский писатель Артур Шницлер поспешил примкнуть к призыву Гергардта Гауптмана и также требует бойкота европейской литературы. Приехавший в Петроград из Вены драматург Х. рассказывает, что несколько дней тому назад в собрании венского драматического общества Шницлер с пеной у рта доказывал, что после неминуемой победы “доблестного” немецкого оружия немецким писателям нужно утвердить раз навсегда свое духовное господство над миром, не останавливаясь даже перед крайними мерами против печатного слова побежденных народов. Пересыпая свою речь отборными ругательствами, Шницлер восклицал: — Что такое Толстой, которым так гордятся в России? Сумасшедший старик, ненавистник цивилизации, всю жизнь призывающий к вонючей жизни без всяких благ просвещения» и т. д. (Там же. № 14341 (29 авг.). С. 4). См. также «Ответ Куприна Шницлеру»: «Для вашего поступка есть только три логических оправдания: трусость, подлость, или то стихийное безумие, которое овладело теперь вашими земляками, потому что вам, настоящему Шницлеру, нельзя отказать в таланте, а следовательно, в уме» (Бирж. вед. 1914. № 14393 (24 сент.). Веч. вып. С. 1); «И мой отклик» И. Ясинского (Там же. № 14333 (25 авг.). С. 4); заметку «Русский ответ на немецкий бойкот»: «Германские ученые, писатели, музыканты и художники объявили поход против русской культуры. Они отрицают ее гениев и призывают к бойкоту русского творчества. Из города в город по всей Германии пересылается воззвание воевать не только с нашим оружием, но и с нашим умом и талантом, с идеями наших мыслителей, с кистью художников и лирой музыкантов. Россия не боялась войны с Германией на бранном поле. Россия не испугается и борьбы с ее культурой», ниже напечатаны отклики на событие отечественных «мыслителей, общественных деятелей и ру-

ководителей мира искусства <…>: тов. министра просвещения бар. М.А. Таубе; Петроградского городского головы гр. И.И. Толстого, члена Гос. совета Д.Д. Гримма, ректора Петроградского университета Э.Д. Гримма, члена Гос. Думы А.И. Шингарева, директора Императорских театров В.А. Теляковского, директора Петроградской консерватории А.К. Глазунова, проф. Академии художеств В.Е. Маковского, И.Е. Репина, академика В.М. Бехтерева и др.» (Там же. № 14425 (10 окт.). С. 4).

Договоры о нейтралитете Бельгии? ~ теперь Германия сильна, и потому смеет снять свою подпись с этого ненужного ей документа. — По Лондонскому договору 1839 г. «вечный нейтралитет» Бельгии лишал противников возможности использовать территорию страны в случае войны, однако 3 августа германские войска вторглись на ее территорию; нарушение бельгийского нейтралитета входило в планы руководства Германии, канцлер Бетман-Гольвег назвал Лондонский договор «клочком бумаги», эти слова стали лейтмотивом в военной публицистике (см., например: Еще о клочке бумаги // Бирж. вед. 1915. № 14936 (30 июня). Веч. вып. С. 4).

Германия, Германия выше всего… — гимн, государственный символ; «Песнь немцев» (*нем.* Das Lied der Deutschen), или «Песнь Германии» (*нем.* Deutschlandlied), текст написан Гофманом фон Фаллерслебеном (1841) на мелодию «Императорской песни» (*нем.* Kaiserlied) Йозефа Гайдна (1797).

...Шиллер говорил, что в германцах сочетались римская сила и греческая грация. — Эти мысли Ф. Шиллер развивал в работах по эстетике: «О грации и достоинстве» (1793), «О наивной и сентиментальной поэзии» (1796).

...недаром германские шпионы уже долетали на аэропланах до Перми… — В августе 1914 г., по сообщению прессы, в Екатеринбурге и др. городах Пермской губернии обыватели видели аэропланы, сигналы и огни, слышали шум пропеллеров. Слухи о проникновении немецких аэропланов в глубь страны, однако, не подтвердились, см. опровержение в газете «Речь»: «Холодным умом трудно понять, как ухитрились германские летчики залететь в столь далекий край и как ухитрились они, летая ночью, спрятаться днем. Но ведь мы живем во время войны, когда многое “возможно”, о чем в обычные дни и не подумаешь. И, припоминая Жюля Верна и Майн-Рида, обыватели верили в таинственных германских летчиков, газеты пестрели сообщениями об их полетах, и даже администрация предписала жителям и полиции смотреть в оба. Теперь, наконец, тайна разъяснилась, 10 августа над Екатеринбургом появился летательный аппарат. Полиция не растерялась, стала следить и заметила нить, которая тянулась по воздуху к одному двору. Начали ее сматывать. Она оказалась длиной не менее 700–800 саженей, и конец ее был во дворе некоего Козьмина. Аппарат, наделавший так много шума, оказался змейком, сделанным в форме аэроплана, длиною около 1 ½ аршин. ‹…› На этом же дворе был найден и другой змеёк, сделанный также в виде летательного аппарата системы “Фарман”. Произведенным расследованием было установлено, что пусканием змейка занимались сыновья домовладельца г. Козьмина Василий 15–16 лет и Петр 22–23 лет. При этом Петр Козьмин заявил, что пусканием такого змейка они занимаются каждое лето в продолжение последних 4–5 лет и нынешнее лето пускают уже не в первый раз. О том, что их змейки смущают население, Козьмины знали. Оба змейка отобраны» (Пермские аэропланы // Речь. 1914. № 216 (16 авг.). С. 4).

...заставляет своего отца читать девятое издание Бюхнеровской брошюры «Материя и сила». — Эпизод из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862), глава X. Людвиг Бюхнер

(1824–1919) — популярный в XIX в. философ-позитивист, естествоиспытатель, дарвинист; его главный труд «Сила и материя», в котором он пропагандирует материализм и отстаивает идею прогресса, выдержал в России до 1905 г. 17 изданий.

Тень трагедий

Театр и искусство. 1914. № 48 (30 нояб.). С. 921–923.

На днях читал я где-то, что в Париже 20000 безработных театральных и кинематографических деятелей. — С началом войны в Париже были закрыты все театры. В сентябре 1914 г. по возвращении из поездки в Европу Ф.И. Шаляпин сообщал газетным обозревателям: «Париж жил особенной жизнью. Театры были все закрыты, улицы полны народа, обсуждающего события. ‹...› Я предполагал устроить концерт в Париже в пользу раненых. Но это оказалось невозможным в виду того, что буквально все театры, концертные залы и другие подобные учреждения были закрыты» (*Двинский ‹Берман М.М.›*. Ф.И. Шаляпин о своих мытарствах // Бирж. вед. 1914. № 14361 (8 сент.). Веч. вып. С. 3). В ноябре 1914 г. «Биржевые ведомости» сообщали: «В Париже маленький праздник. Правительство разрешило открыть театры и другие увеселительные заведения. Ограничения — три: окончание спектакля не позднее 11 час. вечера, репертуар подлежит строгой полицейской цензуре, благотворительный сбор повышен. Все три ограничения приняты охотно. Следует отметить, что увеселительные места, которые были открыты до сих пор — главным образом, кинематографы — сами следили за подобающим характером программ. Разрешением правительства вряд ли воспользуются все частные театры. Директор “Gymnase” и казначей общества театральных антрепренеров Парижа Франк указал, что расходы на содержание театра в военное время слишком обременительны. К тому же в настоящее время почти невозможно составить приличную труппу. “Первых любовников”, например, нет ни одного, — все сражаются под французскими знаменами. Впрочем, несколько частных театров будут все-таки открыты. Вероятнее всего, Opera, Odeon и Opera Comique в этом сезоне не возобновят своей деятельности» (Театральный сезон в Париже // Бирж. вед. 1914. № 14511 (22 нояб.). Веч. вып. С. 3).

Кто-то, вернувшийся из Лондона в Петроград, был поражен беззаботным видом нашего города. — Отклик на сообщение газеты: «Петроградец К., вернувшийся вчера из путешествия в Лондон, поделился впечатлениями, вынесенными из пребывания в столице Англии в ныне переживаемое время. ‹...› Лондон в настоящее время имеет необычайный для него вид военного города. Весь он наполнен массою войск, и защитного цвета мундиры солдат, здоровых и крепких спортсмэнов ‹*так!*›, пестрят на всех улицах и во всех парках, в которых происходит обучение воинов. ‹…› Настроение в Лондоне самое спокойное. Жизнь течет своим размеренным темпом. Функционируют все театры и все рестораны, только насчет спиртных напитков существуют ограничения, в том смысле, что торговля ими разрешается лишь до 10 ч. вечера. Театры и концерты, равно как и рестораны, посещаются публикой очень охотно. ‹…› Вполне удовлетворены англичане действиями своего флота, и кичливые заверения Вильгельма об ожидающем якобы Германию владычестве на морях вызывают в бриттах лишь подозрительную улыбку» (В Лондоне во время войны // Бирж. вед. 1914. № 14509 (21 нояб.). Веч. вып. С. 3).

Правда, театр Рейнеке не действует… — Русский драматический театр А.К. Рейнеке открылся в Петербурге 15 сентября 1912 г. в здании Панаевского театра (Адмиралтейская наб., 4; не сохранилось), в следующий драматический сезон театр действовал как совместное предприятие А.К. Рейнеке (пайщик и актер) и К.Н. Незлобина, перенесшего сюда спектакли из своего московского театра. По сообщениям газет, закрытие театра в разгар сезона 1914/1915 г. вызвало неудовольствие в театральных кругах: «Торговый дом “Конрад Рейнеке с сыновьями” прислал из Саратова в Петроград циркулярное оповещение актерам труппы А.К. Рейнеке, что спектакли в нынешнем сезоне не состоятся, а потому: “потрудитесь в настоящее время вернуть взятый вами аванс”» (Бирж. вед. 1914. № 14561 (17 дек.). С. 4); «Оставшиеся не у дел артисты труппы А.К. Рейнеке, не успевшие пристроиться в других театрах, организуют поездку по провинции со специально написанной пьесой на современные события» (Театр и искусство. 1914. № 38 (21 сент.). С. 756).

По надменному слову одного из руководителей здешнего Религиозно-Философского Общества, происходит снижение наше до вышедшего на подвиг народа… — Основной тезис доклада З.Н. Гиппиус «История в христианстве», прочитанного на заседании Религиозно-философского общества 5 ноября 1914 г. (опубл.: Записки петроградского Религиозно-философского общества. 1914–1916. Пг., 1916. Вып. 6. С. 20–28; подробнее см.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: В 3 т. / Вступ. ст. О.Т. Ермишина, О.А. Коростелева; Сост. и подг. текста О.Т. Ермишина, О.А. Коростелева, Л.В. Хачатурян; Примеч. О.Т. Ермишина, О.А. Коростелева, С.А. Мартьянова, О.В. Самоцветова, Л.В. Хачатурян. М., 2009. Т. 3. С. 33–95, 585–587).

Театр кроликов

Театр и искусство. 1914. № 51 (20 нояб.). С. 575–576.

Статья содержит отголоски дискуссии, развернувшейся перед открытием театрального сезона 1914/1915 г.; на страницах печати и, в частности, газеты «Биржевые ведомости» обсуждались следующие проблемы: сокращение/закрытие театральных площадок, изменение репертуара, безработица театральных деятелей и т. п. Начало дискуссии в газете, по-видимому, положила статья «Нужен ли театр?» О. Миртова (О.Э. Негрескул), опубликованная в 29 августа 1914 г. (с этой статьей корреспондирует «Театр кроликов» Сологуба). О. Миртов писал: «Нужен ли сейчас театр? Не смею сказать — нет. Но театр, как искание духа живого, как преображение жизни, тоже спутан холодной пеленой. Театр больших вопросов души — замкнут невидимым замком… Он стоит, ярко-освещенный, но пустой. Жизнь не нуждается сейчас в преображении. Она получила вдруг самую желательную для себя формулу — самый страстный лик страдания и экстаза. Не один человек, а весь мир в экстазе… И жизни не нужны подмостки. Ей некуда бежать: нет больше серых будней. Жизнь и смерть сдвинулись лицом к лицу. И в эти судные дни, когда жизнь и смерть дышат одним дыханием — как не важны вообще страдания и победная эволюция души какой-нибудь ибсеновской Норы, — сейчас эта маленькая женщина отодвинулась на второй план. Там, на границе, лицом к смерти, стоит ее возлюбленный, ее брат… Нет! Жизнь сейчас не ищет преображения, она сама в себе. Театр пуст, хотя и ярко-освещен, и ничья рука, естественно и без усилий, не отомкнет замкнутых дверей. Если же говорить о театре специальном, о разыгрывании специальных, злободневных, патриотических пьес, так это будет не театр, не преображение жизни, не волнение духа живого, а нечто вроде лабора-

тории или кухни, изготовляющей блюдо на сезон. Может быть, кому-нибудь и полезно такое механическое отвлечение внимания — чтобы скоротать как-нибудь дни, но повторяю, это не театр. Во избежание профанации не будем заставлять богиню спускаться вниз для услуг нам. Не попытаться ли как-нибудь иначе прилепиться к Жизни и с нею вместе внимательно заглянуть в лицо Смерти» (Бирж. вед. 1914. № 14341. (29 авг.). Веч. вып. С. 4). Как будто бы в ответ на категорическое высказывание О. Миртова в следующем номере газета опубликовала мнение И. Ясинского о перспективах театральной жизни: «Жизнь не должна унывать, когда торжествует смерть. Побеждена будет смерть. Побеждена будет смерть, если жизнь будет высоко держать свое знамя. Пусть гремит музыка, сверкают огнями театры, поэты сочиняют стихи, художники творят и выставляют свои картины… Все-таки прекрасна жизнь, даже окруженная, и сама окрыленная страданием и предвкушением смерти!» (Там же. № 14343 (30 авг.). С. 4). Вслед за тем на страницах «Биржевки» появилось интервью с директором Императорских театров В.А. Теляковским, в котором он заявлял: «Мариинский театр открылся. Таким образом, официально зимний театральный сезон вступил в свои права. Все театры должны будут действовать беспрепятственно. Острота переживаний первых дней проходит, мирная актерская армия не может бездействовать. Скажу больше: правильное функционирование театров — желание высших сфер. — Предстоящий репертуар — говорит директор, — сообразно обстоятельствам изменится» (*Двинский*. У директора Императорских театров В.А. Теляковского (беседа) // Бирж. вед. 1914. № 14345 (31 авг.). С. 3; там же (с. 4) помещена заметка «Режиссеры об открытии Мариинского театра»: «…мы решили выполнить все намеченные постановки, хотя в этом сезоне это окажется труднее, чем когда-либо»). Официальная точка зрения была поддержана ведущими режиссерами и актерами столичных театров, в дискуссию о составе репертуара включились В.В. Стрельская, Л.Я. Липковская, М.А. Потоцкая, Е.И. Рощина-Инсарова («Главное, — репертуар должен быть составлен из пьес патриотического содержания»), Е.А. Тиме, Ф.И. Шаляпин («Одолевайте дух праздности и уныния! За родину!»), К.А. Варламов, Л.В. Собинов («Искусство на службе у героев — что может быть выше?»), Н.Н. Богомолов, И.В. Тартаков («…если театр может принести хоть малейшую посильную помощь пострадавшим от войны, он имеет полное право на существование и поддержку»; см.: Нужен ли теперь театр? // Бирж. вед. 1914. № 14347 (1 сент.). С. 4).

...а только кукольный дом. — Имеется в виду пьеса норвежского драматурга Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879), которая в начале XX в. часто ставилась на русской сцене.

...Шекспирова обманутого мавра. — Речь идет о главном персонаже трагедии У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр» (1604).

...первая страница газет возвещает нам ~ в великолепном зале ~ Маргарита и Арман… — Главные герои романа Александра Дюма (сына) «Дама с камелиями» (1848), сюжет которого лег в основу либретто оперы Дж. Верди «Травиата» (1853). В 1914 г. «Дама с камелиями» была поставлена на сцене Суворинского (Малого) театра (наб. реки Фонтанки, д. 65), премьера состоялась 14 апреля; впервые на сцене этого театра (до 1912 г. — Театр Литературно-художественного общества) пьеса была поставлена в 1906 г. (премьера 20 ноября) под заглавием «Как поживешь, так и прослывешь». Объявления о возобновлении спектакля были напечатаны в газетах «Новое время», «Обозрение театров» и др.

...в веселом театре ~ покажут «Причуды страсти»… — По сообщению газеты, в театре «Луна-Парк» (находился на Офицерской ул., ныне ул. Декабристов) «в субботу, 29-го,

гастроль г-жи Рябушинской в новом жанре оперетты “Причуды страсти”» (Бирж. вед. 1914. № 14521 (27 нояб.). Веч. вып. С. 4); постоянный театральный обозреватель «Биржевых ведомостей» Двинский (М.М. Берман) писал по этому поводу: «В настоящее время, когда опереточный импорт из-за границы совершенно прекратился, нашим опереточным театрам волей-неволей приходится освежить прежние новинки. Таким образом, луна-парковской дирекции сам Бог велел вытащить их архива свою прошлогоднюю “маскотту”, мелодичную оперетту г. Вилинского “Причуды страсти”. Правда, главный трюк оперетты — пресловутое танго — уже несколько потеряло свою острую пряность, но все же оперетка дала дирекции почти полный сбор» (Бирж. вед. №14527 (30 нояб.). Веч. вып. С. 4). Александр Борисович Вилинский (1869–?) — композитор, дирижер, оперный и опереточный тенор; автор оперетт «Суд богов», «Заза», популярных песен и романсов; наибольшей известностью пользовались песня «Варяг» на слова Я. Репнинского, романс «Ах, я влюблен в глаза одни»; его романсы исполняли Варя Панина, Анастасия Вяльцева.

...искусства «чувствительного и фривольного», по выражению милого поэта. — Цитата из повести поэта Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) «Картонный домик» (1907), см.: «Играя, Демьянов все время видел через головы других бледное круглое лицо с будто незрячими глазами, устремленными на него. Это его смущало и сердило, и, торопливо кончив песенки на свои же слова, чувствительные и фривольные, он спешно вышел в соседнюю залу ‹...›» (гл. 4).

Выбор ориентации

Отечество. 1914. № 6 (14 дек.). С. 104–107.

...о разрушенном Лувене, о Реймсском соборе... Лувен (*флам.* Лёвен) — средневековый город на территории Бельгии; в августе 1914 г. немецкая артиллерия сравняла его с землей в наказание за обстрел лувенцами немецких солдат; Лувен был подожжен, сгорели университетский городок и богатейшая библиотека, большая часть центра города была полностью разрушена; судьба Лувена в русской печати стала символом «тевтонского варварства» (см.: *Бенуа А.* О вандализмах // Речь. 1914. № 232 (30 авг.). С. 2). И. Ясинский писал: «Город-музей, город-памятник, прекрасный город Лувен разрушен, разгромлен, стерт с лица земли в XX веке, подобно тому, как истреблялись лежащие ныне в развалинах культурные города дикими варварами до Р.Х. и в первое тысячелетие нашей эры. ‹...› Предполагалось, что прусские темные силы совершили это преступление, побивши все рекорды преступности, предусматриваемой уголовными кодексами, независимо от центральной власти; виднее, оптимистам, продолжавшим видеть в императоре Вильгельме выдающегося государя, хотелось это предполагать. Но теперь, после письма Вильгельма к президенту Вильсону, сомнения рассеялись. На то была воля новейшего Аттилы. ‹...› Он пишет, что “некоторые местности, в том числе и Лувен, были уничтожены”; но что “сердце мое истекает кровью при мысли о том, что эти меры вызваны необходимостью”» (*Ясинский И.* Сердце Вильгельма // Бирж. вед. 1914. № 14338 (26 авг.). Утр. вып. С. 3).

Реймсский собор (построен в XIII в.) — один из самых известных образцов готического искусства во Франции, место коронации французских королей; в сентябре 1914 г. Реймс был захвачен немцами, в результате бомбардировки собор был разрушен, уничтожены остатки

витражей, пострадали статуи. Против немецкого вандализма выступили русские писатели и художники, 9 сентября газета «Биржевые ведомости» (№ 14362 (9 сент.). Утр. вып.) напечатала письмо-протест Н.К. Рериха, 10 сентября — С.А. Маковского («Есть жертвы, непереносимые без вопля. Есть позор, перед которым бессильно даже презрение. Этим позором покрыли себя отступающие пруссаки, направляющие свои тяжелые орудия на Реймсский собор, в отместку за поражение на берегах реки Эн. ‹...› Погиб памятник, быть может, величайший по духу животворящему, по вдохновенности сверхчеловеческой, соборной, насыщенный гением веков. ‹...› погиб символ целой эпохи». — Гибель Реймсского собора // Бирж. вед. 1914. № 14364 (10 сент.). Утр. вып. С. 3) и т. п.

...о нехороших поступках курортных германских врачей... — С началом войны русским подданным, находившимся на курортах в Германии, было отказано в медицинской помощи; газеты систематически печатали свидетельства жестокого обращения врачей с бывшими пациентами. Например, 14 августа 1914 г. в газете «Утро России» появилась статья Т. Ардова, основанная на показаниях очевидцев; в частности, он писал: «Как-то весь холодеешь, сжимаешься, дрожишь от подступающего к сердцу и к вискам темного, одуряющего возмущения, когда читаешь о том, что делали и делают немцы. ‹...› В Берлине был врач, притом профессор, одна из тех знаменитостей, к которым всегда ездят лечиться “русские свиньи”, — который, едва лишь разразилась война, выбросил из постели больную, несчастную страдалицу, г-жу Туган-Барановскую, которая имела роковую наивность довериться его немецкой культурности. Изнеможенная, перенесшая ряд тяжелых операций, с лицом и головой, лишенной кожного покрова, она лежала вся в повязках, и он выгнал ее вон, отдал ее солдатам, и они сорвали с ее гноящегося лица бинты и открыли обнаженное человеческое “мясо”, потом бросили ее в вагон и снова выбросили, не довезя до границы; кто-то подобрал ее и донес на руках, а через несколько дней она умерла от заражения крови. Заражение крови — это был ужас, висевший над ней постоянно, каждую минуту, оно угрожало ей при каждом неосторожном прикосновении грязных рук к ее лицу, при каждой случайности; и немец-врач хорошо знал это; он знал, что она потому-то и в его лечебницу пришла, что верила в его профессиональную аккуратность и в его гуманность; он знал, что ее не то что к солдатам отпустить нельзя, но нельзя позволить ей переступить порог лечебницы. И она умоляла его не отдавать ее, “спасти” ее. Однако он выбросил ее вон. Скажите мне теперь, кто же это — “Вильгельм”, “прусский юнкер”, “империалист”? Кто это сделал? И что такое этот народ, если ученый, образованный человек, представитель гуманнейшей из профессий, которая призвана делать дело милосердия даже среди ужасов войны, совершил такое зверство?! Будьте покойны, германская врачебная корпорация и не подумала исключить этого “врача” из своей среды». Статью Ардова, обличающую жестокосердие немцев, в полном объеме привел В.В. Розанов в книге «Война 1914 года и русское возрождение» (Пг., 1915. С. 61–68).

...«европейца все вниманье народ сей дикий привлекал»... — Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» (1821).

...свой Бокль... — Генри Томас Бокль (1821–1862) — английский историк, социолог, позитивист, автор «Истории цивилизации в Англии».

Великого Петра ~ В основе всякого добра. — Цитата из поэмы Н.А. Некрасова «Несчастные» (1856).

...превосходные крупповские орудия... — Альфред Крупп (1812–1887) — немецкий промышленник и изобретатель; крупнейший поставщик оружия эпохи, «пушечный король».

... в последние десять лет работы Государственной Думы... — Государственная дума в России была учреждена царским Манифестом от 6 августа 1905 г. для предварительной разработки и обсуждения принимаемых законов, рассмотрения бюджета, государственных доходов и расходов.

...поэт, сказавший ~ «гнила культура, как рокфор». — Цитата из стихотворения Игоря Северянина «Пролог» («Прах Мирры Лохвицкой осклепен…») (1911).

...хозяйкою нашего великого русского дома останется все же мечтательная и молитвенная Мария, сидящая у ног Христовых. — Ср. полемическое возражение А.И. Тинякова: «…если так, то хозяйке нашего дома не нужны броненосцы и граммофоны и заботы о чем-либо подобном <…>. Здесь не может быть колебаний и совмещений: Христос и Эдиссон идут в разные стороны, и если нам душа Марии действительно ближе души Марфы, то мы пойдем за Христом, не слушая того, что нам будет кричать Эдиссон в усовершенствованную телефонную трубку. И не только сами пойдем, но и наших западных братьев попытаемся увлечь на наш путь!» (*Тиняков А.И.* К переоценке ценностей // Голос жизни. 1915. № 8. С. 12).

1915

Отечество для всех

Отечество. 1915. № 1. С. 2. Подпись: *Ф. С.*

Печ. по: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 396.

...но и как борьбу... — Далее в газете отточие вместо фразы: «за наше внутреннее освобождение, как борьбу».

...вопросы великого домостроительства нашего. — Далее заключительная фраза: «И чего мы все, разумом и совестью соединенные, захотим, то и будет» — в публикации отсутствует.

Мировая громада

Бирж. вед. 1915. № 14638 (28 янв.). Утр. вып. С. 3.

Статья была написана по просьбе А.А. Измайлова в ответ на вопрос анкеты «Биржевых ведомостей»: «Считаете ли Вы необходимым формальный союз России и Англии» (см.: Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская: Переписка с А.А. Измайловым / Публ. М.М. Павловой // Ежегод. РО Пушкинского Дома. 1995. СПб., 1999. С. 252). В оценке перспектив англо-русских отношений Сологуб ориентировался на авторитетное мнение П.Г. Виноградова (ср.: «Союз же Англии с Россией, основанный на взаимном уважении, мог бы сделаться краеугольным камнем для защиты мира и права» — *Виноградов П.* Англия и Россия // Бирж. вед. 1915. № 14612 (15 янв.). Утр. вып. С. 2).

Жаль Болгарию

Бирж. вед. 1915. № 14646 (1 февр.). Утр. вып. С. 3.

Говорить о Болгарии, как будто, уж и не стоит: и оправдывали ее, и осуждали достаточно… — Болгария вступила в войну на стороне Центральных держав 14 октября 1915 г., однако в течение нескольких месяцев до этого акта болгарское правительство не могло принять решение, на чьей стороне выступить. Важное стратегическое положение страны, особенно после вступления в войну Турции, способствовало спекуляциям правительства (на чьей стороне выступить). Австро-Венгрия оказывала давление на правительство Радославова (в переговорах зашла речь о присоединении к Болгарии Македонии и Сербии). Весь январь 1915 г., вплоть до начала Дарданелльской операции, Болгария пыталась «набить цену» за болгарский нейтралитет. В стране ширилось движение за присоединение к Антанте. Дипломатическая битва за Болгарию обострилась в мае 1915 г.; 23 мая, в день вступления в войну Италии, Радославов получил от Германии и Австро-Венгрии декларацию о двух зонах в Македонии (*Шкундин Г.Д.* Динамика болгарских военно-политических целей в ходе Первой мировой войны // Первая мировая война и проблемы переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1991. С. 22).

...указывает деятельность генерала Радко-Дмитриева. — Радко-Дмитриев (Радко Русков-Димитриев, 1859–1918) — болгарский и русский генерал; с 1914 г. — болгарский посланник в Петербурге. С началом войны поступил на службу в русскую армию, в сентябре 1914 г. награжден орденом св. Георгия 4-й степени за отличие в делах против неприятеля; командовал 8-м армейским корпусом, 3-й армией; после поражения его армии под Горлицей, отражавшей главный удар немецких войск, и вынужденного отступления был заменен на посту командующего армией; командовал 2-м и 7-м сибирскими корпусами; с 20 марта 1916 г. — командующий 12-й армией, расположенной в районе Риги. Деятельность болгарского генерала систематически освещалась на страницах русской печати; см., например: «Болгарский посланник, герой последней балканской войны, ген.-лейт. Радко-Дмитриев объявил своему правительству, что выходит в отставку и зачисляется в ряды русской армии. Ген. Радко-Дмитриев говорит: — Я чувствую себя наполовину русским. Военное образование я получил в русской академии генерального штаба, а затем в разное время лет пятнадцать прослужил в рядах славного русского войска, из коих десять лет командовал ротой в Тифлисском гренадерском полку на Кавказе. ‹…› В такой великий момент я не могу смотреть, сложа руки, как мои братья русские идут в бой за общее славянское дело. Мой долг перед Россией и всем славянством властно мне повелел бросить штатскую службу и идти на войну вместе с русскими братьями» (Бирж. вед. 1914. № 14273 (26 июля). Веч. вып. С. 4); в заметке «Письмо Радко Дмитриева на родину» сообщалось: «Письмо ярко характеризует героическую личность “болгарского Наполеона”, который сейчас во главе части русских войск доблестно отражает волны тевтонского нашествия. “Я ни минуты не сомневаюсь в том, что, в конце концов, наше святое славянское дело восторжествует и что вековой враг будет сокрушен. Я всегда любил русских воинов и горячо верил в них, но сейчас, когда я их вижу в доблестном ратном деле, ‹…› я их прямо боготворю”» (Бирж. вед. 1914. № 14507 (20 нояб.). С. 4).

Все вместе

Бирж. вед. 1915. № 14652 (5 февр.). Утр. вып. С. 3.

Статья продолжает серию правозащитных публицистических выступлений Сологуба по еврейскому вопросу: Отечество для всех (см. наст. изд.); Анкета об евреях: (Открытое письмо к публике трех русских писателей) // Бирж. вед. 1915. № 14648 (3 февр.). Утр. вып. С. 4; то же — Война и евреи. 1915. № 5. С. 3–4; *Сологуб Ф.* Вечный жид // Русские вед. 1915. № 184 (11 августа). С. 5; Щит /Литературный сборник под ред. Л. Андреева, М. Горького, Ф. Сологуба. М., 1915. С. 169–170; и др. См. также газетные отчеты о вечерах с участием Ф. Сологуба, М. Горького и Л. Андреева: Русско-еврейский вечер // Речь. 1915. № 64 (7 марта). С. 5; *Ариель*. Вечер в пользу еврейского комитета // Петроградский курьер. 1915. № 402 (8 марта). С. 5; Новый восход. 1915 № 10–11 (13 марта). С. 50–51 и др. Сологуб и Ан. Чеботаревская были одними из инициаторов организации «Русского общества по изучению еврейской жизни» (совместно с Л. Андреевым и М. Горьким) и одними из редакторов (в том же составе) сборника статей и материалов по еврейскому вопросу — «Щит» (Пг., 1915). (Подробнее см.: *Кельнер В.Е.* Очерки по истории русско-еврейской жизни в России в начале XX в. СПб., 2003. С. 97–112; *Соболев А.Л.* Cum scuto: Вячеслав Иванов — участник сборника «Щит» // Donum Homini Universalis: Сб. ст. в честь 70-летия Н.В. Котрелёва. М., 2011. С. 327–358.)

Порог житницы

Бирж. вед. 1915. № 14682 (20 февр.). Утр. вып. С. 3.

Шныряют вокруг Англии германские подводные лодки… — Речь идет о блокаде английского побережья немецким военным флотом; тема широко обсуждалась в печати: например, К. Шумский, постоянный политический обозреватель «Биржевых ведомостей», в статье «Итоги войны за семь месяцев» привел статистику потопленных английских кораблей за месяцы войны (Бирж. вед. 1915. № 14680 (19 февр.). Утр. вып. С. 5); в том же номере газеты тему подводной блокады у британских берегов в деталях освещал А. Ященко: «Германия в настоящее время страдает недостатком жизненных припасов. Это одинаково относится и к ее войску и к ее мирному населению. Совершенно неосновательным потому обвинения германским правительством Англии и Франции в варварстве лишь потому, что английские и французские суда препятствуют доставке в Германию жизненных средств из нейтральных стран. Совсем иное дело — пресловутая германская “подводная блокада” английских берегов. ‹...› Топя без всякого призового суда встреченные суда, немецкие подводные лодки нарушают основные обычаи права морской блокады, и потому они не блокаду осуществляют, а совершают преступные пиратские действия. ‹...› Английское и французское правительства в ноте, обращенной к нейтральным державам, выражают намерение отныне изолировать вполне Германию от внешнего мира. Эта мера предпринимается, однако, в порядке репрессалии, а не блокады. Поэтому она не будет сопровождаться конфискацией нейтральных судов и грузов, если они не носят контрибуционного характера» (*Ященко А.* Допустима ли подводная блокада — Там же. С. 3).

…Западная Европа начинает понимать, почему ей выгоднее, чтобы Константинополь был нашим… — В ноябре 1914 г. турецкий флот блокировал Босфор и Дарданеллы, тем самым перекрыв экспорт пшеницы из России в Европу и поставку грузов от союзников. Статья была написана в контексте общего обмена мнениями в прессе о необходимости для европейских держав (стран Антанты) завоевания Дарданелл, Босфора и Константинополя.

Возможно, отклик на статью П.Н. Милюкова «Территориальные приобретения России» в коллективном сборнике «Чего ждет Россия от войны?» (Пг., 1915), в которой он заявил: «…вступление Турции в число наших врагов существенно изменило дело, дав нам возможность поставить на очередь окончательное разрешение вековых задач нашей ближневосточной политики. Целью ее в настоящее время должно быть сделано приобретение Босфора и Дарданелл в полное обладание России, вместе с Константинополем и достаточной частью прилегающих берегов, чтобы обеспечить защиту проливов. Со стороны европейского берега границы Hinterland'а Константинополя определенно установлены Лондонской конференцией и Константинопольским договором 1912 года» (с. 57).

Завоевание правды

Бирж. вед. 1915. № 14769 (7 апр.). Утр. вып. С. 3.

Согласно заключению цензора С. Виссарионова, «означенная статья подлежала исключению» (РГИА. Ф. 777 (Цензурный комитет СПб.). Оп. 22 (1915). Д. 6, ч. I. Л. 89–90).

Амос Коменский (1592–1670) — чешский педагог-гуманист, писатель и общественный деятель, основоположник научной педагогики; епископ Чешскобратской церкви. В работе «Законы хорошо устроенной школы» и других педагогических трудах формулировал назначение школы как «мастерской гуманности и человечности»: «Главнейшей целью христианской школы должно быть то, чтобы она представляла мастерскую для выработки людей, из христиан — подлинных христиан» (*Коменский Я.А.* Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Предисл. и пер. А.А. Красновского. М., 1939. Т. 2. С. 3).

Суд людской

Бирж. вед. 1915. № 14829 (7 мая). Утр. вып. С. 3.

...начались заседания чрезвычайной комиссии по расследованию нарушений законов и обычаев войны... — Чрезвычайная следственная комиссия открыла свою работу 4 мая 1915 г. в присутствии министра юстиции И.Г. Щегловитова (см.: Бирж. вед. 1915. № 14823 (4 мая). Утр. вып. С. 3). Политический комментарий событию дал А. Ященко в статье «Следствие о преступлениях неприятеля»: «Девять месяцев уже продолжается война ‹…›. И только теперь удосужились мы приступить к образованию чрезвычайной следственной комиссии для расследования преступных действий, совершаемых германскими и австро-венгерскими войсками, между тем как в Бельгии и Франции с самого начала войны действуют такие комиссии, уже опубликованы несколько отчетов, и сама Германия "на всякий случай" и для отвода глаз образовала две следственных комиссии. ‹…› будет выяснена правда о немецких зверствах и преступлениях и авторы их будут пригвождены к позорному столбу в общественном мнении всего цивилизованного мира» (Бирж. вед. 1915. № 14799 (22 апр.). С. 3).

...один из русских переводов ~ Шиллеровой «Песни о колоколе». — Первый русский перевод поэмы «Песнь о колоколе» Фридриха Шиллера (1759–1805) принадлежал Дмитрию Егоровичу Мину (1818–1885), опубл.: Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов / Под ред. Н.В. Гербеля. СПб., 1857. Т. 1. С. 56–72.

...приговор коронера, вынесенный недавно по поводу потопления на пароходе «Лузитания»... — 25 апреля 1915 г. у берегов Ирландии было торпедировано немецкой подводной лодкой пассажирское судно «Лузитания», направлявшееся в США; событие имело широкий резонанс в русской и зарубежной прессе и вызвало мощный протест против нового акта германского зверства. «Биржевые ведомости» сообщали: «На “Лузитании” находилось около трех тысяч человек, и из этой массы людей спаслось не более одной четвертой части. ‹…› потоплено свыше двух тысяч людей, среди которых было много женщин и детей, да и остальные пассажиры “Лузитании” в большинстве американские граждане, никакого касательства к войне не имели. Провозом военных грузов пароход тоже не занимался. ‹…› Это просто разбойничье массовое убийство, и притом предумышленное, по заранее разработанному и с большим упорством и ловкостью проведенному плану» (Наследник Аттилы // Бирж. вед. 1915. № 14807 (26 апр.). Утр. вып. С. 1); «Гогенцоллерны достойным образом ознаменовали 500-летний юбилей своего дома, пустив ко дну полторы тысячи детей, женщин и беззащитных граждан, в значительной части — нейтральных американцев. И обезумевшая Германия встречает диким ликованием это гнусное злодеяние. Творится нечто неимоверное. Многомиллионный народ, потомки Гумбольдта и Гегеля, Бетховена и Шиллера превратились на наших глазах в озверевшую стаю каннибалов, не знающих высшего дара для своего властелина, как человеческая кровь. ‹…› Германия сама поставила себя отныне вне закона. ‹…› все человечество должно сплотиться и подтвердить справедливость слов “New-York Times” “Германия находится в войне со всем цивилизованным миром”. ‹…› Теперь уже вполне определенно дело идет не о героической борьбе двух великих коалиций, а об облаве на дикого зверя. Необходимо с корнями вырвать его ядовитые клыки и отсечь его стальные лапы» (Вне закона // Бирж. вед. 1915. № 14809 (27 апр.). С. 3). У Белого дома в Вашингтоне прошли демонстрации с требованием, чтобы президент Вильсон выступил с декларацией об отказе от политики нейтралитета и начале решительных действий против Германии. Английский коронер (т.е. ведущий расследование преступления) «произнес над Вильгельмом II приговор уголовный» (Честь Вильгельма // Бирж. вед. 1915. № 14827 (6 мая). С. 3).

Тирпиц... — Альфред фон Тирпиц (1849–1930) — гросс-адмирал (27 января 1911), командующий флотом; сторонник неограниченной подводной войны и блокады британских островов; в марте 1916 г. подал в отставку, встретив сопротивление кайзера на его предложение снять ограничения на применение подводных лодок.

...остров Святой Елены ~ памятный векам. — Остров Святой Елены — место ссылки (с 1815) и смерти (1821) Наполеона I Бонапарта.

Пропаганда действием

Бирж. вед. 1915. № 14831 (8 мая). Утр. вып. С. 3.

...из занятой германцами Либавы пришла весть ~ убили директора местного латышского театра Экштейна... — В первых числах мая 1915 г. германские войска взяли Либаву (Лиепае), в печати повсеместно сообщалось о зверствах немцев по отношению к местному населению; «По словам беглецов, в Либаве немцы приказали открыть все трактиры. Пьянство немецких солдат идет вовсю. В кургаузе играет музыка. Подтверждается известие, что немцами застрелен директор либавского латышского театра до-

ктор Экштейн» (Бирж. вед. 1915. № 14827 (6 мая). Утр. вып. С. 1). Врач Э. Экштейн был первым директором Либавского театра, основанного в 1906 г.

Путь вверх

Бирж. вед. 1915. № 14841 (14 мая). Утр. вып. С. 3.

Продавать миолин вместо меда выгодно… — Миолин — техническое масло (солидол), по внешнему виду и консистенции похоже на мед; в годы Первой мировой войны применялось для смазки военной техники (стволов пушек и т. п.).

...народ понесет домой с базара Белинского и Пушкина… — Вольная цитата из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1876): «Когда мужик не Блюхера, / И не милорда глупого — / Белинского и Гоголя / С базара понесет?» (из части 1, гл. 2).

И у нас, и за границею многие думают, что должна быть особая пролетарская литература… — Этой теме Сологуб посвятил заметку в издававшемся им журнале «Дневники писателей» (1914. № 3–4. С. 5–61), ср.: «В Берлине, в Париже и в Вене пришлось говорить о нарождающейся пролетарской литературе…» и т. д.

Единственные сыновья

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 291.

Сведения об отсылке статьи: Бирж. вед. 1915. 22 июня (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546).

Единственные сыновья. — Согласно положению о воинской повинности, в российской армии единственные сыновья пользовались льготою по семейному положению, их не призывали на воинскую службу.

... запасных второго разряда. — Запасные II разряда — ополченцы второй очереди — старших возрастов (32–43 лет).

Казалось бы, что такое оборыши… — Оборыш (прост.) — то, что осталось после отбора хорошего (Толковый словарь русского языка: В 3 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова и др. М., 2001. Т. 2. С. 153).

...я читал где-то на днях, что 26 тысяч учащихся организованы в сельскохозяйственные дружины… — Мероприятие освещалось в печати (сведения газет о численности привлеченных учащихся были разными); см., например: *Л.Г.* 15000 учащихся на полевых работах: (Сообщение вице-директора департамента земледелия Е.Ф. Лискуна) // Бирж. вед. 1915. № 14912 (18 июня). Веч. вып. С. 4 («...в виду начала яровых работ ‹...› отменили экзамены во всех учебных заведениях, предложив учащимся отправиться на полевые работы» и т. д.).

Скифская стратегия

Печ. по автографу: РО ИРЛИ.Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 460.

Сведения об отсылке статьи: Бирж. вед. 1915. 18 июня (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546).

Отклик на отступление русских войск в районе Пинска (на участке между Вислой и Брестом). Стратегическое отступление летом–осенью 1915 г., предпринятое с целью выиграть время для наращивания военной промышленности и подготовки и пополнения резервов, в военной истории получило название Великое отступление.

...и стратегия Аннибала и Наполеона, и скифская стратегия заманивания в глубину страны. — В исторической науке карфагенский полководец Ганнибал (247–183 до н.э.) признан одним из величайших военных стратегов (наряду с Наполеоном I Бонапартом) и одним из величайших полководцев древности; военные историки называют его «отцом стратегии», так как его враги — римляне заимствовали у него стратегические приемы. Согласно историческим источникам, скифы первыми в истории войн успешно применили стратегическое отступление с целью изменения соотношения сил в свою пользу.

Карл XII мечтал ~ Украина изменит... — Король Швеции Карл XII (1682–1718) в период похода на Россию (1709) рассчитывал на военную помощь со стороны Украины; украинские казаки и запорожцы перешли в русское подданство в 1654 г., с сохранением самоуправления и власти гетмана; гетман Иван Мазепа встал на сторону шведского короля, однако не был поддержан основной массой украинского казачества.

Гадания

Бирж. вед. 1915. № 14919 (22 июня). Утр. вып. С. 3 (в сокращении).

Сохранились гранки статьи с цензурным выпуском: РО ИРЛИ.Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 542.

Печ. по наборной рукописи: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 260.

Победит не тот, у кого крепче нервы, как думают германцы... — Перефразированное изречение командующего Восточным фронтом Г. Гинденбурга («Победит тот в этой войне, у кого крепче нервы»), ставшее крылатым; в июле–августе 1915 г. актуализировалось в русской печати в связи с заседаниями Государственной думы (см.: *Л.* Навстречу Гинденбургу // Утро России. 1915. № 238 (29 авг.). С. 1, — в статье говорится о том, что победа всецело зависит от власти людей, которым народ может доверять; *Тарле Е.В.* Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. // Тарле Е.В. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1957. Т. 4. С. 122).

...Бог его знает, что он думает. — Далее в газете цензурный выпуск текста от слов: «— Ну, что, побьем немца?» до «И каждый спрашивающий».

Вот читал я на днях, что после войны сильно поднимется народная самодеятельность. — Это мнение, в частности, развивал П.Б. Струве в статье «Органическое управление» (Бирж. вед. 1915. № 14917 (21 июня). Утр. вып. С. 2); вероятно также, что Сологуб ознакомился со статьей А.И. Шингарева «Земская и городская Россия» из коллективного сборника «Чего ждет Россия от войны» (СПб., 1915), посвященной реформе земского и городского самоуправления и ее значению для послевоенной России (см. с. 188–209).

Бодрая сладость

Бирж. вед. 1915. № 14935 (30 июня). Утр. вып. С. 2, 4.

... концерта Собинова. — Леонид Витальевич Собинов (1872–1934) — выдающийся тенор, один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы.

«В настоящее время, когда…»... — Постоянная формула Добролюбова, «пародировавшая фразеологию либерального оптимизма “эпохи великих реформ”. Впервые употреблена критиком в рецензии на пьесы “Уголовное дело” и “Бедный человек” К.С. Дьяконова» (*Добролюбов Н.А.* Собрание сочинений: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 749. Примеч. Е. Буртиной).

Автор заметки отнесся к этому очень сурово. — Отклик на статью «Г. Собинов и гг. Ярославцы», автор которой с возмущением осуждал решение, принятое городской администрацией в связи с выступлением артиста: «И никого в Ярославле такой взгляд на г. Собинова не удивляет. И в местной газете вы можете прочесть убийственно равнодушную заметку в хронике: “По случаю концерта г. Собинова назначенное на 4-е июня заседание городской думы переносится на 6-е июня”. Точно будто так оно и полагается! Силен в Ярославле культ музыки! В иное время, пожалуй, не стоило бы останавливаться на подобном провинциальном увлечении музыкой. ‹...› Почему и не отменить в иное время заседание городского или земского управления ради звонкоголосого Ромео и Ленского? Но нынче, в наши дни, в переживаемое время? ‹...› Поистине изумительное легкомыслие!» (Бирж. вед. 1915. № 14929 (27 июня). Утр. вып. С. 6).

В.В. Розанов восхищался Европою... — Речь идет о книге Василия Васильевича Розанова (1856–1919) «Итальянские впечатления» (СПб., 1909), в которой собраны путевые очерки о его поездке в Европу и заметки о европейской жизни.

«Ни замков, ни морей, ни гор»; «Спасибо, сторона родная, за твой чарующий простор!» — цитаты из стихотворения Н.А. Некрасова «Тишина» (1856–1857).

Sole mio — «’O Sole mio» — популярная неаполитанская песня (1898), музыка Эдуардо ди Капуа, слова Джованни Капурро.

...несравненной Аделине Патти петь Алябьевского «Соловья»... — Аделина Патти (Adelina Patti, 1843–1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано), любимая вокалистка Джузеппе Верди; в 1869–1877 гг. гастролировала в России. В юности Сологуб слушал Патти, пение которой, по свидетельству биографа писателя, «произвело на него неотразимое впечатление. Уже в старости Федор Кузьмич говорил, что голос Патти узнал бы тотчас, настолько врезался ему в память самый звук, — тембр ее голоса» (*Черносвитова О.Н.* Материалы к биографии Ф. Сологуба / Вступ. ст., публ. и коммент. М.М. Павловой // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 235). А. Патти была в числе первых исполнительниц романса «Соловей» (1827) Александра Александровича Алябьева (1787–1851) на стихи А.А. Дельвига.

Японский Гамбург

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 515.

Сведения об отсылке статьи: Бирж. вед. 1915. 29 июня (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546).

С того дня, когда Япония объявила войну Германии…– 15 августа 1914 г. японское правительство предъявило Германии ультиматум, требуя отзыва германских войск с Тихого океана, вывода кораблей из Циндао и передачи Японии Шаньдунского полуострова; японцы

также потребовали передачи им германских тихоокеанских колоний. Не получив ответа на ультиматум, 23 августа 1914 г. Япония объявила войну Германии.

...японцы могли бы послать свою армию в Европу. Эти разговоры, кажется, так и остаются в области бесед и благих пожеланий. — Ср.: «Ни тройственное согласие, в целом, ни союзница Японии, Англия, в отдельности, не требует появления японского флота в европейских водах или сухопутных японских войск на континенте Европы. Япония сама этого желает, предлагая свои услуги. Но она хотела бы выступить непременно в качестве союзницы России и присоединить свои силы к нашим силам против Германии» (*Ориенталист*. Япония и союз с Россией // Утро России. 1915. № 185 (6 июля). С. 1).

...в Альтоне. — Альтона (*нем.* Áltona) — один из районов Гамбурга на правом берегу Эльбы, крупный порт.

Имела же Германия свою колонию под боком у Японии, в Китае? — Китайский город и военно-морская база Цзяо-Чжоу, оккупированные немецкими войсками в 1897 г.; поводом для ввода в город эскадры немецких крейсеров послужило убийство двух немецких миссионеров, после чего Китай был вынужден подписать договор об аренде данной базы.

Цена одному

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 504.

Сведения об отсылке статьи: Бирж. вед. 1915. 9 июля. Утр. вып.; Утро России. 1916. 22 июня (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546).

Статья была возвращена (вместе с рукописью рассказа «После драки»); в сопроводительном письме от 31 июня (13 июля) 1915 г. А.А. Измайлов писал Сологубу: «Редакция очень просит у Вас рассказа, но не такую шалость, как “После драки”, которую весьма приятно прочитать и засмеяться, но даже нельзя послать в цензуру, потому что там примут это за глумление, и во-вторых, без таких “объективностей”, как в посылаемой статье “Цена одному”, где Вы признаетесь, что “не враг германскому народу” и т. д. Цензура требует, чтобы писали о Германии как враги, и эту статью М‹ихаил› М‹ихайлович› ‹Гаккебуш› просил у меня вернуть Вам» (Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская: Переписка с А.А. Измайловым // Ежегод. РО Пушкинского Дома. 1995. С. 255).

«Уж сколько раз твердили миру, что»... — Цитата из басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица» (не позднее 1807).

...читаем рассказы о том, что делал Бисмарк, как ведет себя Вильгельм II... — Рассказы, дискредитирующие Бисмарка и Вильгельма II, а также антикайзеровские анекдоты составляли постоянную рубрику русских газет; например, 20 июня 1915 г. «Биржевые ведомости» поместили сразу две заметки: 1) «Манифест императора Вильгельма», где автор в ироническом стиле процитировал речь кайзера по случаю годовщины войны («…перед Богом и историей совесть императора чиста. Император не хотел войны. Не жажда завоеваний вовлекла Германию в войну. Германские войска вступили в оборонительную борьбу для защиты существования нации»); 2) «Четыре речи Вильгельма», в которой сообщалось: «Неутомимый кайзер беспрестанно разъезжает по всему гигантскому фронту, не прекращая своих ходульных выступлений. ‹…› Преобладающие мотивы — необузданное самохвальство и бахвальство», далее приведены фрагменты речей Вильгельма (Бирж. вед. 1915. № 16976 (20 июня). Веч. вып. С. 2).

Под спудом

Бирж. вед. 1915. № 15053 (28 авг.). Утр. вып. С. 3.

Жюль Гед и Вандервельде… — Жюль Гед (наст. имя и фам. Матьё Базиль, 1845–1922) — французский политик-социалист, в августе 1914 г., с началом Первой мировой войны, вошел во французское правительство в качестве министра. Эмиль Вандервельде (1866–1938) — бельгийский социалист, в 1914 г. вошел в бельгийское правительство (вплоть до 1937 неоднократно занимал посты министра иностранных дел, юстиции и др.).

...Габриель д'Аннунцио воодушевляет восторженные толпы… — Габриэле д'Аннунцио (наст. фам. Рапаньетта, 1863–1938) — итальянский писатель, драматург и политический деятель; в 1915–1918 гг. участвовал в боях, сначала в авиации, затем, после ранения, в пехоте. Возможно, Сологуб здесь ссылается на заметки: Генуэзские торжества: (Речь д'Аннунцио) // Бирж. вед. 1915. № 14803 (24 апр.). Утр. вып. С. 3; Слава и почет Габриэлю Д'Аннунцио // Бирж. вед. 1915. № 14840 (13 мая). С. 2, — в заметке сообщалось: «Мы уже писали о том ореоле славы, который окружает сейчас в Италии личность великого национального поэта Габриэля д'Аннунцио. Университет гор. Генуи явился выразителем этого народного мнения о поэте и преподнес Габриэлю д'Аннунцио золотой крест со следующей надписью: "Габриэлю д'Аннунцио, который, увенчав новыми лаврами чело родины, указал ей в чудесных образах ее судьбу и назначение. Великолепный ректор университета, сенатор Мараглиано торжественно вручил этот подарок поэту в присутствии восторженной толпы студентов и молодежи"».

...как некогда греки не могли не отразить Ксерксовых полчищ. — Один из решающих эпизодов греко-персидских войн: в 479 г. до н. э. в битве при Платеях армия греков под предводительством спартанца Павсания одержала полную победу над войсками персидского царя Ксеркса I (правил в 486–465 до н. э.), персы были разбиты и изгнаны из Аттики и Беотии.

...читал я на днях в одной газете, что нам нужны организаторы, Карно, Гамбетта… — Лазар Карно (1753–1823) — государственный и военный деятель Франции, проявивший выдающиеся организаторские способности на всех занимаемых постах — как член Конвента, комиссар Комитета общественного спасения (в короткий срок создал 14 армий, организовал оборону по всей границе, благодаря его деятельности французы выиграли битву с австрийцами при Ваттиньи в 1793), как председатель Директории. Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции, организатор народной обороны в период Франко-прусской войны (1870–1871), видный политический деятель Третьей французской республики. Сологуб ссылается на выводы К. Шумского, изложенные в статье «О "русском вооруженном народе"» по результатам заседания Государственной думы 19 и 20 июля: «Из сегодняшнего отчета Государственной Думы видно, что предполагается сделать первый шаг в достижении того "превосходства в числе", которое в нынешних войнах, прежде всего, может дать победу ‹…›. Предполагается призвать "более молодых ратников 2-го разряда", число которых определяется военным министром "свыше 8 миллионов". Конечно, один призыв новых резервных еще не есть гамбеттовская работа и еще не есть создание новых армий, что можно видеть на примере англичан, набравших уже 10 месяцев тому назад до трех миллионов добровольцев, которые, однако, еще не претворены в армии. Потребность в громадном количестве офицеров, в громадном количестве оружий, снарядов, запасов, снаряжений, штабов, необходимость в надлежащей подготовке громадных серых

масс, сплачивание и “спаивание” воедино отдельных частей войск, — все это требует гигантской работы, требует талантливых и воодушевленных организаторов, типа Гамбетты 70-го года или Карно конца XVIII-го века, — все это требует громадного национального порыва, требует простора, права свободной инициативы ‹…›. Нужны Гамбетты и Карно. Нужны талантливейшие организаторы свободных народных сил нашей страны, еще не исчерпанных более чем на три четверти» (Бирж. вед. 1915. № 14976 (20 июля). Веч. вып. С. 2).

Не мешало бы иметь также Ллойд Джорджа… — Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг. (от Либеральной партии).

...умер Богучарский, теперь мы потеряли Лутугина. — Василий Яковлевич Богучарский (1860–1915) — общественный деятель, писатель, публицист, историк революционного движения в России, издатель, редактор журналов «Былое» и «Минувшие годы»; скончался 8 (21) мая. Леонид Иванович Лутугин (1864–1915) — профессор геологии, один из первых исследователей угольных бассейнов России; с началом Первой мировой войны вошел в Комиссию Русского технического общества по промышленности в связи с войной; участвовал в организации питательных и санитарных отрядов; при Вольном экономическом обществе организовал группу музыкантов для устройства концертов в лазаретах; вместе с М.М. Ковалевским отстаивал право этого общества устраивать лазареты для раненых воинов. В 1915 г. рассматривался оппозицией в качестве кандидата на пост министра труда. Скончался 17 (30) августа, некролог был помещен во всех центральных столичных газетах. Сологуб и Чеботаревская присутствовали на панихиде (см.: Панихида по Л.И. Лутугину // День. 1915. № 232 (24 авг.). С. 3).

...член Государственной Думы епископ Никон живет теперь в каком-то Красноярске… — Никон (Николай Николаевич Бессонов, 1868–1919); член IV Государственной думы от Волынской губ. (фракция правых, с 1915 — беспартийная группа); с 1913 по 1917 г. — епископ Енисейский и Красноярский; известен своим радикализмом, идущим вразрез с политикой правых (критиковал деятельность правительства по крестьянскому вопросу, призывал дворянство отказаться от землевладения в пользу крестьян; в 1913 г. выступил против «дела Бейлиса»). Вследствие неожиданного поведения, а также из-за слухов о скандальной истории в женском духовном училище, в которой фигурировал Никон, обер-прокурор Синода В.К. Саблер, по просьбе правых, попытался лишить его депутатского звания посредством перевода на Енисейскую кафедру (согласно постановлению Синода, архиерей, управляющий епархией, не мог являться членом Госдумы). Однако Никону удалось добиться сохранения за собой депутатского звания, он перешел в беспартийную группу.

...голос такого просвещенного и высоко талантливого общественного деятеля, как Плеханов, доходит до нас только изредка…– Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918; с 1880 по 1917 г. в эмиграции в Швейцарии) в годы Первой мировой войны, в отличие от большевиков, меньшевиков-интернационалистов и социалистов-революционеров, занял не «пораженческую», а последовательную «оборонческую» позицию. Плеханов выступил против антивоенного Манифеста европейских социалистов, принятого в 1915 г. на конференции в Циммервальде (Швейцария). В 1915 г. в журнале «Современный мир» были напечатаны его статьи, в которых он утверждал, что пораженческие настроения социалистов способствуют победе германского милитаризма и негативно скажутся на перспективах всего освободительного движения (О войне — № 1. Отд. II. С. 185—203; Интернационализм и защита отечества — № 5–6. Отд. II. С. 49—65); кроме того, в русской печати

(«Утро России», «Речь», «Новое время», «Русские ведомости») было напечатано воззвание за подписями Плеханова, Л.Г. Дейча, П.Б. Аксельрода и др., в котором путь национальной обороны был признан путем к победе и народной свободе. В 1915 г. в Книгоиздательстве бывш. М.В. Попова вышла брошюра Плеханова «О войне», в которой он, в частности, заявил: «Я никогда не говорил, что русский пролетариат заинтересован в победе русского империализма, и никогда этого не думал. А убежден, что он заинтересован лишь в одном: чтобы русская земля не сделалась предметом эксплуатации в руках германских империалистов» (с. 56).

...стратег Куропаткин живет в своем имении... — Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925), генерал от инфантерии (1900), военный министр, член Государственного совета (1906); в начале войны подал прошение об отправке на фронт, однако назначения не получил из-за неприязненного отношения к нему верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича. После вступления Николая II в должность верховного главнокомандующего Куропаткин 12 сентября 1915 г. был назначен командовать Гренадерским корпусом; в конце января 1916 г. занял пост командующего 5-й армией Северного фронта, а затем и всем Северным фронтом, защищавшим путь к Петрограду.

До Урала

Бирж. вед. 1915. № 15047 (25 авг.). Утр. вып. С. 3.

...нет на этом пути ни Мясоедовых с их покровителями... — Сергей Николаевич Мясоедов (1865–1915) — полковник русской армии, повешенный 20 марта 1915 г. по ложному обвинению в шпионаже. По сообщению газеты, в июле 1915 г. был проведен аукцион «для покупки имущества государственного преступника, ныне казненного Мясоедова. Аукцион был произведен в присутствии чинов полиции в квартире германского подданного Валентини, высланного из столицы в начале нынешнего года. После отъезда Валентини передал все свое имущество Мясоедову» (Бирж. вед. 1915. № 14922 (23 июля). Веч. вып. С. 3).

Граф Рорбах пишет, что Германия, в сущности, только начала собирать колонии. — Пауль фон Рорбах (1867–1955) — публицист, один из идеологов пангерманизма, выступал с требованием передела колоний в пользу Германии за счет Англии и Франции и территориальных захватов на Востоке за счет России. К началу Первой мировой войны Германия имела две колонии в Африке (Восточная Африка — совр. Танзания, Бурунди и Руанда; Юго-Восточная Африка — совр. Намибия) и одну в Океании (Земля Кайзера Вильгельма — совр. Папуа — Новая Гвинея); в период войны они были заняты колониальными войсками государств Антанты. Сологуб, вероятно, апеллирует к вышедшей в русском переводе книге: *Рорбах П.* Война и Германская политика / Предисл. проф. С.А. Котляревского. М., 1915.

...железнодорожная линия Берлин–Багдад. — Участок строившейся железной дороги Берлин–Багдад, от Босфора до Персидского залива («Восточная линия»), в начале XX в. был «горячей точкой» международных отношений, так как затрагивал интересы Турции, России, Франции, Германии и др. государств; строительство дороги завершилось в конце 1930-х годов.

...не в Малой Азии госпожа Гинденбург получила в наследство громадные земельные поместья...– Гертруда Вильгельмина фон Гинденбург (урожд. Фон Шперлинг, 1860–

1921) — немецкая аристократка; Пауль фон Гинденбург (1847–1934) — Главнокомандующий Восточным фронтом (1914–1916), начальник Генерального штаба (1916–1919), генерал-фельдмаршал (2 ноября 1914), рейхспрезидент Германии (1925–1934).

Эффенди — звание принцев султанского дома в Османской империи, а также почетный титул придворных должностей.

Было даже такое время, когда германцы привлекались на наши земли даровыми наделами и льготами. — Имеется в виду политика Екатерины II и Александра II, направленная на поощрение заселения пустынных и малонаселенных территорий Причерноморья и средней Волги немецкими колонистами.

В последние десятилетия он усиленно принялся заселять дикие пространства Сибири. — Речь идет об аграрной политике бывшего премьер-министра А.П. Столыпина (1862–1911), состоявшей в поощрении переселения на незаселенные земли Сибири и Алтая крестьян из европейской части России (эта политика была частью его аграрной реформы); за короткое время в Сибирь переселилось около 3 млн человек.

...армии Бем-Ермоли или Данкля. — Эдуард Бем-Ермоли (1856–1941), Виктор Данкль (1854–1941) — генералы австро-венгерской армии.

...ярмарка в Нейгарде-ам-Волга... — Нижегородская ярмарка.

В.А. Мгебров

Бирж. вед. 1915. № 15065 (3 сент.). Утр. вып. С. 3.

Совместно с Ан. Чеботаревской.

В.А. Мгебров — Владимир Авельевич Мгебров (1876–1915), офицер, изобретатель и конструктор оружия и бронетехники, автор проектов бронеавтомобилей «Мгебров-Рено», «Мгебров-Уайт» и мн. др.; все машины Мгеброва использовались на фронте в период Первой мировой и Гражданской войн. 21 августа (4 сент.) 1915 г. Мгебров присутствовал при фронтовых испытаниях своих ружейных гранат; неожиданная атака неприятеля застала воинскую часть врасплох и вынудила к отступлению. Штабс-капитан Мгебров возглавил контратаку, в ходе которой положение на данном участке фронта было восстановлено, однако сам он получил тяжелые ранения и скончался в тот же день (см. о нем: *Коломиец М.В.* Броня русской армии: Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне. М., 2008. С. 192–209, гл. «Броневики конструкции штабс-капитана Мгеброва»). Сологуб и Чеботаревская были знакомы с семьей погибшего, посещали театральный салон его брата, Александра Авельевича Мгеброва, впоследствии театрального режиссера и актера (сохранилось письмо подпоручика А.А. Мгеброва Сологубу от 7 декабря 1917 г. — РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 449; письмо Л.Ф. Мгебровой к Ан.Н. Чеботаревской (не ранее 1915) с просьбой прислать пьесу для прочтения в «Русскую мысль» и зайти в гости — Там же. Оп. 5. Ед. хр. 159).

Среди имен погибших... — Ежедневно в ряде столичных газет печатали списки погибших и раненых.

...разрывною пулею...– Разрывные пули впервые были применены англичанами во время Англо-бурской войны (1899–1902); запрещены к военному применению Первой Гаагской мирной конвенцией (1899); запрет был подтвержден Второй Гаагской конвенцией (1907). В

русской прессе регулярно печатались протесты против применения запрещенного оружия; например, 6 сентября 1915 г. «Биржевые ведомости» поместили обширную статью «Германские разрывные и взрывчатые пули», в которой говорилось: «В нарушение всех международных правил, германские войска изобличены в употреблении на войне разрывных пуль, известных под названием “дум-дум”. ‹...› Но и эти варварские разрывные пули не могли насытить кровожадности немцев. По последним сообщениям, они стали пускать в ход взрывчатые пули с ударником, производящие в теле раненых колоссальные разрушения и причиняющие им нечеловеческие мучения. ‹...› Современная пуля, заключенная в мельхиоровую оболочку, превращается в разрывную, если, надорвав острый конец, снять кусочек мельхиоровой оболочки. ‹...› Входное отверстие такой пули равно ее диаметру, но выходное, если пуля ударилась о кость или прошла через плотный орган, огромно. Взрывчатые пули до сих пор еще не употреблялись и, очевидно, позор их применения всецело падет на голову немцев» (Бирж. вед. 1915. № 14356. Утр. вып. С. 4).

...отец его, генерал-лейтенант Мгебров… — Авель (Авессалом) Иванович Мгебров (Мгебришвили, 1845–1920) — потомственный военный, генерал-лейтенант, занимал пост начальника отделения в Управлении военных сообщений при Военном министерстве, затем — генерала для особых поручений при Главном военно-техническом управлении (ГВТУ) Российской Императорской армии.

Обывательское

Бирж. вед. 1915. № 15093 (17 сент.). Утр. вып. С. 3.

Совместно с Ан. Чеботаревской. Полемический ответ: *Гершензон М.* О мещанстве духа и русской критике // Бирж. вед. 1915. № 15169 (25 нояб.). С. 2. Утр. вып.

...по поводу роспуска Государственной Думы волнуются? — Отклик на сообщения в прессе о роспуске IV Государственной думы (на десять дней), до 15 октября, который, как предполагалось, будет продлен до 15 ноября: «Этот факт, по мнению депутатов, очень ясно показывает, что роспуск Г. Думы является ответом со стороны правительства на декларацию прогрессивного блока и требование со стороны Г. Думы и общества о призыве к власти лиц, пользующихся доверием страны» (*Арно ‹Гессен А.И.›*. Роспуск Г. Думы? // Бирж. вед. 1915. № 15063 (2 сент.). Утр. вып. С. 3).

...вы твердили ~ не читай стихов, не покупай новых книг, не смотри пьес известных авторов… — Мотив получил развитие в заметке Ан. Чеботаревской «Следует ли авторам отвечать критике?», опубликованной за подписью Ф. Сологуба (Бирж. вед. 1915. № 15258 (8 нояб.). Утр. вып. С. 3). Ср. возражение Гершензона: «Да, пошлости у нас много, мещанство духа еще широко разлито в нашем полуобразованном обществе, и теперь, в дни войны, какой мир не видел, эта пошлость режет глаза еще больнее, чем когда-либо. Но виновата в ней не критика, уже потому не виновата, что критика вообще-то довольно слабое орудие: не ей переделать жизнь. Где ей сравниться по могуществу хотя бы с самим искусством, которого она — только тень? ‹…› Виноваты общий склад нашей жизни, ее неустроенность и темнота, виновата непросвещенность, а главное — нравственная вялость нашего общественного мнения, которое легко мирится с пошлостью, и со многим, что хуже пошлости. А инертность нашего общественного мнения опять же имеет свои, более глубокие причины — историче-

ские и, в конце концов, национально-психические ‹…›. Художественная критика — прямое порождение общественного духа и, стало быть, всякое общество имеет такую критику, какую оно заслуживает. ‹…› Тезис Ф. Сологуба надо вывернуть наизнанку: не плохая критика виновата в мещанстве толпы, а духовная скудость общества одна только и делает возможным безвозбранное господство плохой критики» (*Гершензон М.* Указ. соч.).

Два пути

Бирж. вед. 1915. № 15121 (1 окт.). Утр. вып. С. 4.

Совместно с Ан. Чеботаревской.

... перебрасывают учащихся из Гродны в Екатеринбург... — Речь идет об эвакуации учебных заведений из прифронтовой зоны в глубь страны.

...зачем починать народные кубышки?.. — Имеется в виду Государственный военный заем.

1916

Ура!

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 495.

Сведения о публикации: Бирж. вед. 1916. № 15699 (25 июля). Утр. вып. (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546). В этом номере газеты и в ближайших номерах публикация не выявлена.

Читал я недавно в газете... рассказ о том, как учитель народной школы во Франции, призванный в войска ~ возвращался в свою школу... — Имеется в виду нравоучительный очерк «Первый урок героя»: «В деревне Рошетт, близ Тулузы, произошло недавно большое торжество, по случаю возвращения с войны учителя местной школы. Когда началась война, молодой учитель отправился добровольцем, дважды отличился в боях, затем, раненный в ногу, пролежал долгое время в лазарете и признан был к военной службе негодным. Исполнив свой долг как гражданин и воин, учитель решил вернуться к прежнему своему скромному посту, хотя ему предлагали друзья очень выгодную должность.

Ко дню, когда был назначен первый урок возвратившегося учителя, здание школы украсили цветами, все население деревни и соседних деревень ожидало героя-учителя у входа в школу и встретило его появление пением Марсельезы. Кроме того, для встречи учителя от имени президента Пуанкарэ был командирован один полковник.

После торжественных приветствий учитель вошел в класс и обратился к своим ученикам с такими словами:

— Vive France! Да здравствует Франция! — вот первые слова, с которыми я обращаюсь к вам, дети. Этим же возгласом тринадцать месяцев тому назад я прощался с вами же. Эти же слова звучали у меня в ушах во все время моей военной службы. Теперь инвалид, я постоянно и неуклонно намерен их повторять при каждом случае, но не только повторять, но и действовать так, чтобы сохранить по мере сил, их внутренний смысл… Итак, да здравствует Франция! Приступим к урокам, которые должны создать из вас, дети, умных и дельных граждан Франции» (Бирж. вед. 1916. № 15674 (12 июля). Веч. вып. С. 3).

Война после войны

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 242.

В авторской библиографической картотеке в конверте «Ненапечатанное», с пометой: «13 декабря 1916. Вагон: Бологое — Великие Луки».

Вероятно, статья была запрещена цензурой из-за упоминания в ней доклада «известного экономиста», имя которого осенью 1916 г. было у всех на языке, — П.Н. Милюков (1859–1948), историк, публицист, идеолог и лидер кадетской партии, председатель ее Центрального комитета, глава «Независимого блока», редактор газеты «Речь». 1 ноября 1916 г. с трибуны IV Государственной думы Милюков произнес ставшую знаменитой антиправительственную речь, в которой обвинил императрицу Александру Федоровну и премьер-министра Б.В. Штюрмера в подготовке сепаратного мира с Германией. Речь вызвала горячую поддержку в политических кругах, но была запрещена к распространению Штюрмером, однако, несмотря на запрещение, получила самую широкую известность и была воспринята как революционный призыв к свержению царского правительства. Газета «Биржевые ведомости», почти через месяц после события публикуя основное содержание этого выступления, комментировала: «Речи П.Н. Милюкова и В.В. Шульгина, произнесенные с кафедры Г. Думы 1-го и 3-го ноября с.г., до сих пор — по причинам от редакции не зависящим — не были воспроизведены в русской повременной печати. Речи эти как по содержанию своему, так и по политическим своим последствиям представляют исключительный интерес, мы и приводим их здесь» (Речь П.Н. Милюкова и В.В. Шульгина // Бирж. вед. 1916. № 15941 (29 нояб.). Утр. вып. С. 5).

...одни думают, что русский рынок без привычного германского товара не обойдется ~ Другие же думают, что ~ русского сырья в Германию не везти. — Осенью 1916 г. в русской печати горячо обсуждались проблемы послевоенной экономики; здесь, видимо, Сологуб резюмирует основное содержание статьи «Задачи экономической политики после войны: (Записки М.П. Федорова)», посвященной обоснованию главных направлений экономики России в послевоенный период: экспорта, импорта, таможни и пр. (Бирж. вед. 1916. № 15929 (17 нояб.). Утр. вып. С. 5).

...заговорили в одном салоне... — Имеется в виду литературно-художественный салон Чеботаревской и Сологуба в их квартире на Разъезжей, 31.

— *У меня брат убит на войне...* — Со слов Е.Г. Щуко, внучки О.Н. Черносвитовой (урожд. Чеботаревской), среди родных братьев Ан. Чеботаревской погибших на войне не было.

...выслушали очень интересный доклад о войне после войны... — Возможно, речь идет о докладе П.Н. Милюкова, состоявшемся на собрании у Сологуба весной 1916 г., Конст. Эрберг вспоминал: «Обширный зал Сологуба был свидетелем докладов и политического характера. Помню, например, пораженческий доклад Иванова-Разумника на международную тему. Председательствовал и, конечно, возражал “Дарданельских дел мастер” П.Н. Милюков, говорил Карташев, всегда слушавший и говоривший с закрытыми глазами, говорил Леонид Андреев, говорило еще несколько человек “кадетов”, но все с оглядкой (дело было во время войны в марте 1916 года)» (*Эрберг Конст. ‹Сюннерберг К.А.›* Воспоминания // Гречишкин С.С., Лавров А.В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 235).

...да «темные силы» мешают... — Устойчивое выражение в газетной публицистике 1916–1917 гг. Вероятно, здесь отклик на статью С.Б. Любошица «Темные силы» (Бирж. вед. 1916.

№ 15965 (5 дек.). Утр. вып. С. 5; под псевд. Лукиан), ср.: «Эти слова из новой государственной терминологии получили в последнее время особенно широкое распространение. В наши дни слова “темные силы” представляют вполне прозрачный псевдоним. Но само явление не ново. Оно запечатлено кровью трех благородных представителей русского парламентаризма: Герценштейна, Иоллоса и Караваева» (упомянуты убитые террористами-черносотенцами депутаты I Государственной думы: М.Я. Герценштейн (1859–1906) и Г.Б. Иоллос (1886–1907) — оба еврейского происхождения, депутат II Государственной думы А.Л. Караваев (1908) — крестьянин по происхождению, выступал за отмену содержавшихся в законодательстве ограничений для евреев, поляков и армян); далее автор оговаривается: «Не всегда выражение “темные силы” представляет собой псевдоним» и называет ультраправых политиков, лидеров черносотенных и монархических организаций: А.И. Дубровина (основатель и идеолог Союза русского народа), И.Г. Щегловитова (министр юстиции, последний председатель Государственного совета; член монархической организации «Русское собрание», в 1915 г. избран председателем Совета Монархических съездов), Б.В. Штюрмера (в 1916 г. назначен председателем Совета министров, занимал посты министра внутренних дел, министра иностранных дел) и др.

Удел поэта

Бирж. вед. 1916. № 15942 (23 нояб.). Веч. вып. С. 5.

Совместно с Ан. Чеботаревской.

Отклик на гибель бельгийского поэта-символиста Эмиля Верхарна (1855–1916), — погиб 14 (27) ноября 1916 г., случайно попав под колеса поезда.

...в дороге, между двумя моими лекциями ~ известие... — Осенью 1916 г. Сологуб совершал турне по городам России с лекцией «Россия в мечтах и ожиданиях», 12 (25) ноября он выступал в Рязани, 16 (29) ноября — в Курске (подробнее о поездке см.: Федор Сологуб: Письма к Анастасии Чеботаревской / Вступ. ст., публ. и коммент. А.В. Лаврова // Неизданный Федор Сологуб. С. 368–369). Известие о трагической кончине Верхарна вызвало многочисленные отклики; газета «Биржевые ведомости» поместила статьи и некрологи (*Любош С.* Верхарн // Бирж. вед. 1916. № 15929 (17/30 нояб.). Утр. вып. С. 3; *Венгерова З.* Эмиль Верхарн — Там же. С. 6; *Вершинин А.* Бессмысленный трагизм — Там же. № 15935 (20 нояб.). С. 3; *Брюсов В.* Обаяние Верхарна: (Наблюдения и воспоминания) — Там же. № 15959 (2 дек.). С. 3; *Лигин Л.* Великий энтузиаст — Там же. С. 3; *Минский Н.М.* Случай и Рок — Там же. № 16003 (21 дек.). Утр. вып. С. 5; *Волошин М.* Эмиль Верхарн — Там же. 1917. № 14293 (6 янв.). С. 7).

Верхарен — фламандское произношение фамилии; Верхарн — французское, общепринятое; о правильном произношении фамилии писал Брюсов в заметке «Верхарн или Верхарен» (Бирж. вед. 1916. № 15987 (16 дек.). Утр. вып. С. 8).

...«городов-спрутов»... — «Города-спруты» (Les Villes tentaculaires, 1895) — название одного из наиболее известных поэтических циклов Верхарна.

...«звоны оружья и топот шагов, и гул голосов»; Ужель и здесь пройдет Она? ~ окрасит серым пеплом разрушения? — Источник цитаты из Верхарна и автор перевода не установлены; возможно, перевод принадлежит Ф. Сологубу.

...не ставя ему в укор ни увлечений «гимном королю Альберту», ни горестью выстраданных признаний «окровавленной Бельгии»... — Имеется в виду статья «Альберт I, король без

страха и упрека» из книги Э. Верхарна «Окровавленная Бельгия» (М., 1916).

...наши присяжные публицисты словно обрадовались, обрушив свои заржавленные громы на великого поэта Верхарена за его якобы «шовинизм», за его ненависть к злому врагу. — Подобные обвинения звучали со стороны марксистской критики; например, В. Базаров в рецензии на книгу «Окровавленная Бельгия» отметил, что поэт «проникается пафосом наших нововременцев», гневные филиппики Верхарна в адрес врага охарактеризовал как «антисемитский бред». Базаров писал: «Ненавистью распаляет он свою любовь и любовно лелеет свою ненависть, — жадно, почти сладострастно впитывает в себя ужасные образы войны: действительные зверства неприятельского вторжения и порожденные им мрачные, кроваво-садические фантасмагории сплетаются в один кошмарный клубок. Великая ненависть, питаемая великой любовью, обладает иногда могучей силой ‹...›. Но очевидно национальной ненависти не дано этой силы. Окровавленная душа Верхарна с ее гноем сочащимися ранами производит впечатление чуть ли не более гнетущее, чем сама окровавленная Бельгия. Распалась прекрасная и сложная духовная организация, исчез один из благороднейших рыцарей человечности ‹...›. Остались только обломки, только обезображенные войной развалины прежнего Верхарна. Перед нами почти безумец, одержимый маниакальной идеей, слепо-огульный как в своих новых пристрастиях, так и в своей новой вражде» (Летопись. 1916. № 3. Отд. II. С. 351–353; см. также аналогичную рецензию: ‹*Б. п.*› Эмиль Верхарн. Окровавленная Бельгия. Москва. 1916 / Пер. с фр. Н. Копчевской // Русские записки. 1916. № 3. Отд. II. С. 319–322, и т. д.).

...и неизбежно был обречен, в той или иной форме, разделить т р а г и ч е с к у ю участь века... — Близкую мысль высказал Н.М. Минский в статье «Случай и Рок»: «…кажется, никогда еще не было смерти столь явно случайной и столь странно символической, как смерть Верхарна. ‹...› Двойную трагедию — равно болезненную — должен был пережить Верхарн: внешнюю при виде родной страны, покрытой развалинами, и родного города, превращенного в нищих и рабов, и внутреннюю, — крушение своего мировоззрения, своих идеалов, своей веры в культуру. Первую трагедию Верхарн почувствовал глубоко и остро. Подобно Метерлинку, он сделался ходатаем своей разоренной родины, стал разъезжать по свету, умоляя, жалуясь, прося помощи» и т. д. (Бирж. вед. № 16003 (21 дек.). Утр. вып. С. 5); и М. Волошин в статье «Эмиль Верхарн»: «Его смерть под колесами паровоза была символическим отображением того разрыва и смуты, что совершилась в его душе во время войны. Он не предвидел взрыва темных и злых сил, которые на его глазах накипали в европейской культуре, и когда катастрофа произошла, он оказался духовно не над ней, а внутри ее» (Там же. 1917. № 14293 (6 янв.). С. 7).

1 9 1 7

Хочу и верю

Бирж. вед. 1917. № 16016 (3 янв.). Утр. вып. С. 5–6.

...«процветала в мире наша сторона»! — Цитата из четвертой «маленькой трагедии» А.С. Пушкина — «Пир во время чумы. (Из Вильсоновой трагедии: “The city of the plague”)» (1830), из песни Мери.

— *Хочу быть дерзким, хочу быть смелым!* — Первая строка стихотворения К.Д. Бальмонта «Хочу» (1902) из книги «Будем как Солнце» (1903).

...«взят заносчивый Берлин»! — Автоцитата из стихотворения «Утешение Бельгии» («Есть в наивных предвещаньях правда мудрая порой…», 1 октября 1914), из сборника «Война» (Пг., 1915. С. 20); впервые — в специальном выпуске газеты «День» от 21 октября 1914 г. (№ 286), посвященном «Героической Бельгии» (об этом выпуске газеты см.: *Грякалова Н.Ю.* Русские писатели — героической Бельгии // Русская публицистика и периодика Первой мировой войны: Политика и поэтика. М., 2013. С. 266–277).

...отметил на днях в своей высоко интересной статье академик Павел Виноградов. — Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) — русский и английский историк; в 1902 г. подал в отставку с должности профессора истории Московского университета, переехал в Англию, в 1903 г. избран профессором права Оксфордского университета, был членом совета и главой отдела публикаций Британской академии, в 1917 г. удостоен рыцарского звания. Статьи П. Виноградова в годы Первой мировой войны систематически печатались в «Биржевых ведомостях». Здесь речь идет о статье «Англия как мировая держава», в которой позитивно освещается история колониальной политики Великобритании, основной вывод автора: «В настоящей войне, в критическую пору своей истории Великобритания пожинает плоды своей политической мудрости и традиционного свободолюбия. Политически независимые колонисты со всех сторон спешат на помощь к своей метрополии: канадцы, австралийцы, африканцы бьются в первых рядах британской армии» (Бирж. вед. 1916. № 16012 (31 дек.). Утр. вып. С. 3).

Преображение

Бирж. вед. 1917. № 16120 (5 марта). Утр. вып. С. 2.

Перекликается со статьей Н.А. Булгакова «Сила России» (Бирж. вед. 1917. № 16018 (4 янв.). Утр. вып. С. 3), ср.: «Россия стоит перед совершенно новым периодом всемирно-исторического существования. Она должна или активно вступить в этот период, или окончательно выпасть из всемирной истории и пассивно оттесниться на Восток. Это и значит, что Россия стоит на историческом перепутье и переживает самый ответственный момент исторического выбора. ‹...› Тютчев сказал, что “в Россию можно только верить”. Но Россия вступила в тот период исторического существования, когда ее должны узнать, когда ее должны признать и не верующие в нее. А это значит, что вера в силу России должна перейти в явление силы России».

«У нас особенная стать, — / В Россию надо только верить»... — Неточная цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять…» (1866), правильно: «У ней особенная стать — / В Россию можно только верить».

...когда Протопопов казался необычайно прочно сидящим на своем месте. — Александр Дмитриевич Протопопов (1866–1918) — политик, крупный помещик и промышленник, член Государственной думы, последний министр внутренних дел Российской империи (назначен 20 декабря 1916). 28 февраля Протопопов добровольно явился в Таврический дворец и сдался революционерам; с 1 марта по сентябрь 1917 г. — в заключении в Петропавловской крепости, допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства.

...когда с чердаков и других вышек еще продолжалась беспорядочная стрельба остальных полицейских...– Вероятно, речь идет о так называемых протопоповских местах — чердаках домов Литейного и Невского проспектов, откуда полицейские («фараоны») в дни Февральской революции по приказу Протопопова производили расстрелы мирных демонстраций.

...напрасно выпущены из тюрем уголовные преступники. — В первые дни Февральской революции восставшие захватили городские тюрьмы «Кресты», «Литовский замок», следственную тюрьму на Шпалерной улице, все заключенные были выпущены, в том числе уголовники. Тюрьмы «Литовский замок» и «Шпалерка» были сожжены.

На углу Среднего проспекта... — Имеется в виду Средний проспект Васильевского острова.

Тяжелыми одеждами... — Первая строка стихотворения (датировано: 17 ноября 1905), впервые: Народное хозяйство. 1905. № 10 (25 дек.). С. 5.

Дерзание до конца

Бирж. вед. 1917. № 16138 (16 марта). Утр. вып. С. 5.

Совместно с Ан. Чеботаревской.

«Серафимы, ясны и крылаты, за плечами воинов видны»... — Цитата из стихотворения «Война» («Как собака на цепи тяжелой…») Николая Степановича Гумилева (1886–1921) (впервые: Отечество. 1914. № 4 (нояб.), в новой ред.: Там же. 1915. № 1). Вошло в антологию, составленную Ан. Чеботаревской (с предисл. Ф. Сологуба) «Война в русской поэзии» (Пг., 1915. С. 94).

И где твоим святым дерзаниям предел ~ мир поспел? — Цитата из стихотворения «Сонет» («Дымок рассеялся, и только рокотанье…») Валериана Валериановича Бородаевского (1874, по др. дан., 1875–1923) (впервые: Русская мысль. 1915. № 3. С. 93).

На мирской мировщине ~ Что небывалое будет. — Цитата из стихотворения «Убеленные нивы» («Нечеловеческим плугом…») Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949) (впервые: Отечество. 1914. № 7; перепечатано в антологии «Война в русской поэзии», с. 88).

Вспоминаю еще страницы моей «Творимой легенды», очень урезанные красным карандашом цензора. — О цензурных сокращениях романа см.: *Сысоева А.В.* История прижизненных изданий романа Федора Сологуба «Творимая легенда» // Русская литература. 2010. № 2. С. 61–68; *Она же.* Роман Ф. Сологуба «Творимая легенда»: История текста и принципы издания: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2011.

Так, не бойся вражьей мести ~ Опьяненное лобзанье. — Автоцитата, фрагмент стихотворения «Бой-скоуту» («Двух отважных расстреляли…», 1 августа 1914) (впервые: День. 1914. № 208 (4 авг.). С. 3). Стихотворение вошло в сборники «Война. Стихи» (Пг., 1915. С. 26) и «Алый мак. Книга стихов» (М., 1917).

Международное братство

Бирж. вед. 1917. № 16142 (18 марта). Утр. вып. С. 3.

...когда племена «забудут свой раздор и в общую семью соединятся». — Перефразированные строки из стихотворения А.С. Пушкина «Он между нами жил…» («Средь племени ему чужого, злого…», 1934), ср.: «Когда народы, распри позабыв, / В великую семью соединятся».

В 1863 году какому-то генералу, слишком беспощадно подавляющему польское восстание… — Имеется в виду виленский генерал-губернатор граф Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866), прозванный Муравьев-вешатель, Муравьев-палач за жестокое подавление Польского восстания 1863 г.

...деятели русского искусства сделали бы очень хорошо, если бы оставили свои

совсем никому и ни на что не нужные мечты о министерстве изящных искусств… — 4 марта 1917 г. под председательством М. Горького состоялось совещание художников и деятелей искусства, на котором обсуждался вопрос о необходимости принятия мер по охране брошенных дворцов, представлявших художественную ценность, и находившегося в них имущества. Совещание избрало депутацию в составе А.Н. Бенуа, Ф.И. Шаляпина, М.В. Добужинского, М. Горького, К.С. Петрова-Водкина, Н.К. Рериха и И.А. Фомина для переговоров с Временным правительством с целью организации охраны памятников. 5 марта депутация беседовала с членами Временного правительства и Н.Н. Львовым, членом Государственной думы, комиссаром по делам искусства; было принято соглашение об образовании Комиссариата по охране художественных ценностей в составе депутата Государственной думы П.А. Неклюдова и названных участников совещания. «В художественных кругах возник вопрос об образовании вместо министерства императорского двора министерства изящных искусств» (Охрана художественных ценностей // Бирж. вед. 1917. № 16121 (6 марта). Веч. вып. С. 2). 12 марта 1917 г. в Михайловском театре на собрании деятелей искусств представители «левых» выступили с протестом «против недемократических домогательств некоторых художественных групп и возможного захвата ими власти» (*Набоков В*. Революция и культура // Речь. 1917. № 63); «Когда страна борется за демократический принцип, “цвет русского искусства” в обход вотума общего собрания идет к министру и остается на местах» (*Зданевич И*., *Мейерхольд Вс., Пунин Н*. По поводу собрания в Михайловском театре // Бирж. вед. 1917. № 16144 (19 марта). С. 7). Сологуб выступил против политизации искусства и тесного сотрудничества творческой интеллигенции с государственными структурами (см.: *Сологуб Ф*. Охрана искусства // Бирж. вед. 1917. № 16180 (13 апр.). Утр. вып. С. 4).

Мятежные музы

Бирж. вед. 1917. № 16256 (30 мая). Утр. вып.
Совместно с Ан. Чеботаревской.

Беседа с друзьями

Бирж. вед. 1917. № 16274 (9 июня). Утр. вып. С. 3.
Совместно с Ан. Чеботаревской.

...в соломенной канотьерке. — Канотье (*фр.* canotier) — соломенная шляпа жесткой формы с цилиндрической тульёй и прямыми полями; в начале XX в. была популярным мужским головным убором и модным аксессуаром.

Впереди всех

Бирж. вед. 1917. № 16284 (15 июня). Утр. вып. С. 3.

А у нас Роберта Гримма слушали да похваливали... — Роберт Гримм (Robert Grimm, 1881–1958) — политик и публицист, один из лидеров социал-демократической партии Швейцарии и II Интернационала, пацифист, инициатор Циммервальдского движения; содействовал возвращению на родину русских эмигрантов, которым страны Антанты отказывали в визах; в мае 1917 г. в группе эмигрантов прибыл в Россию с целью разведать почву для заключения сепаратного мира (встречался с министрами и политиками); за открытую пораженческую агитацию на митингах и собраниях в Петрограде и Кронштадте и по подозрению в шпионаже в пользу Германии был выслан из России; швейцарские социал-демократы сняли с себя ответственность за деятельность Р. Гримма. События комментировали в печати: «Высылка Гримма произвела превосходное впечатление и считается доказательством того, что Россия с негодованием отвергает мысль о заключении сепаратного мира и что большинство Совета Р. и С. Депутатов руководствуется в своих решениях чувством лояльности и здравого смысла» (Высылка Р. Гримма // Бирж. вед. 1917. № 16271 (7 июня). Веч. вып. С. 2); «Вчера на Васильевском острове, на Петроградской стороне и в разных других местах Петрограда велась агитация, вполне уместная, может быть, на улицах столицы германской, но глубоко возмутительная здесь, в столице русской. ‹...› Против чего же желают протестовать слушатели большевистских призывов? Против высылки “нейтрального” иностранца, призывавшего в Петрограде к братанию с германцами и оказавшегося затем удостоенным такого доверия германского правительства? Гг. Ленину, Троцкому и Луначарскому зачем-то понадобилось расшаркиваться перед Р. Гримом и дать знать всему миру, что они не одни в России такие умники. За ними тянутся и эти вот посетители летучих митингов… Манифестация, таким образом, создается в Петрограде… А в Берлине некто умный улыбается…» (*Лигин Л.* Творцы позора — Там же. № 16273 (8 июня). С. 1; а также: Дело Р. Гримма — Там же. С. 2; *Ган Л.* Дело Гримма-Гофмана — Там же. № 16275 (9 июня). С. 1; Гримм и Балабанова в Кронштадте — Там же. № 16279 (12 июня). С. 3; Балабанова — переводчица Гримма). О деятельности Р. Гримма в России см.: *Балабанова А.* Моя жизнь — борьба. М., 2007. С. 144–167; *Суханов Н.* Записки революционера. М., 1991. Т. 2. С. 257–258; *Соболев Л.Г.* Тайна «немецкого золота». СПб.; М., 2002. С. 208–213.

...где же вы, товарищи, пролетарии всех стран? — Ироническое обыгрывание коммунистического лозунга «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

...на околдованной Гекатою земле... — Геката — древнегреческая богиня мрака и чародейства.

Умерщвление слов

Бирж. вед. 1917. № 16350 (23 июля). Утр. вып. С. 2.

Прочитал я в одной газете ~ «солдаты провели товарища-вора». — О похожем случае, хотя и в других выражениях, сообщалось в костромской газете: «*Позорное наказание*. 27 мая днем на Русиной ул. наблюдалась бытовая картина позорного наказания вора-дезертира. Солдаты водили совершившего кражу дезертира, у которого на груди был вывешен плакат с надписью “вор”. У вора в руках был барабан, в который его заставляли колотить. Вора-дезертира провели по нескольким улицам» (Поволжский вестник. 1917. № 3158 (31 мая). С. 3).

...письмо одного вольноопределяющегося. ~ как солдаты убили своего офицера и потом глумились над его трупом. — Источник публикации письма не выявлен; начиная с июля 1917 г. сообщения о бесчинствах, самосудах и издевательствах солдат над офицерами становятся в прессе рядовым явлением. Об аналогичной истории, например, писала газета «День»: «Комиссар Линде был убит обезумевшими солдатами 443 полка XI-й пехотной дивизии. ‹...› Толпа издевалась над трупом, стреляла в него, колола штыками» (Подробности убийства комиссара Линде // День. 1917. № 153 (2 сент.). С. 4; а также: К убийству Ф.Ф. Линде — Там же. № 156 (6 сент.). С. 2).

...Бурцев, не смущаясь свирепою бранью, клеймит одного предателя за другим... — Владимир Львович Бурцев (1862–1942) — публицист, издатель (издавал основанный им исторический журнал «Былое», субсидированный Временным правительством); получил известность как разоблачитель сотрудников царской «охранки». 7 июля 1917 г. в газете «Русская воля» опубликовал статью «Или мы, или немцы и те, кто с ними», в которой привел список 12 «вредных» большевиков, так называемых немецких агентов, кто «работал над разрушением России» (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.М. Коллонтай, Ю.М. Стеклов, Д.Б. Рязанов, М.Ю. Козловский, А.В. Луначарский, С.Г. Рошаль, Х.Г. Раковский, М. Горький). Текст был перепечатан центральными газетами и дополнен новыми публикациями (например: В.Л. Бурцев о Ленине, Парвусе и др. // Речь. 1917. № 157 (7 июля). С. 2). Особое место в письме автор уделил Горькому: «…мы не можем забыть, что в годы напряженной борьбы русского народа за его существование этот художник, человек по существу чуждый политической борьбы, тем не менее явился вдохновителем пораженческой газеты “Новая Жизнь”, и оказал так много поддержки тем, кто рука об руку с немцами работал над унижением и разорением нашей родины» (цит. по: Из письма В.Л. Бурцева: Двенадцать главных врагов русского народа // Петроградская газета. 1917. № 156 (7 июля). С. 2). 13 июля М. Горький напечатал в «Новой жизни» свой ответ обвинителю; в тот же день Бурцев выступил с письмом-предупреждением «Не защищайте М. Горького», в котором продолжал обвинять писателя за пособничество большевикам: «Как редактор “Новой жизни”, как политический деятель, пригревший около себя сотрудников этой газеты, М. Горький незащитим. Изданием этой газеты он принес много непоправимого зла нашей родине в самый тяжелый момент ее истории — во время войны и во время ее великой революции» и т. п. (Речь. 1917. № 159 (9 июля). С. 2). В последующие дни в столичной прессе муссировалась тема писем Бурцева (и ответных — М. Горького, Л. Троцкого и Х. Раковского).

Над классами

Бирж. вед. 1917. № 16376 (8 авг.). Утр. вып. С. 3.

...Совещание в Москве объединит все классы... — Государственное совещание политических сил России, созванное Временным правительством, состоялось в Москве 12/25 — 15/28 августа 1917 г. В совещании участвовало около 2500 человек, в том числе депутаты Государственной думы всех четырех созывов (488), гласные городских дум, представители армии и флота, кооперативов, торгово-промышленных кругов и банков, профсоюзов и земств, Советов крестьянских депутатов, Советов рабочих и солдатских депутатов; присутствовали представители интеллигенции, национальных организаций, духовенства и т. д. Председательствовал на Совещании министр-председатель Временного правительства А.Ф. Керенский; главными событиями стали выступления А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова.

Государственное младенчество

Бирж. вед. 1917. № 16404 (24 авг.). Утр. вып. С. 2. Вероятно, статья подверглась цензурному сокращению.

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 265.

...сказал на днях Бонар Лоу в парламенте... — Эндрю Бонар Лоу (Andrew Bonar Law, 1858–1923) — премьер-министр Великобритании, состоял в партии консерваторов.

Идеалистично настроенные люди ~ пестры по составу. — Фрагмент текста в публикации отсутствует.

Из среды этих людей ~ революционного народа. — Фрагмент в публикации отсутствует.

Удалению Милюкова и Гучкова были рады германцы... — О П.Н. Милюкове см. комментарий к ст. «Война после войны». Александр Иванович Гучков (1862–1936) — лидер партии «Союз 17 октября»; председатель III Государственной думы (1910–1911), член Государственного совета (1907; 1915–1917); в марте–мае 1917 г. военный и морской министр в первом составе Временного правительства; в апреле из-за неспособности противостоять разложению армии подал в отставку; официально покинул Временное правительство в мае, вместе с П.Н. Милюковым.

...финляндской и украинской авантюрам... — Речь идет о требовании автономии со стороны Финляндского княжества и Украины. В июле 1917 г. парламент Финляндии провозгласил независимость Великого княжества Финляндского от России и одобрил социал-демократический проект о передаче себе верховной власти; закон о восстановлении автономных прав Финляндии был отклонен Временным правительством, парламент Финляндии распущен, а его здание заняли российские войска. В июне 1917 г. украинская Центральная рада объявила национально-территориальную автономию Украины; на переговорах, состоявшихся в Киеве в конце июня, члены Временного правительства (в составе А.Ф. Керенского, М.И. Терещенко и И.Г. Церетели) признали возможность получения Украиной автономии. Центральная рада обязывалась самостоятельно не вводить автономию без решения Всероссийского учредительного собрания; Временное правительство разрешило создание национальных украинских военных частей при условии невыхода их из состава российской армии. В знак протеста против уступок украинцам П.Н. Милюков и А.И. Гучков вышли из правительства.

Все это подсказано демагогами, авторами нелепых приказов. — Имеется в виду «Приказ № 1» (опубликован 2 марта 1917 г. в газете «Известия Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов»), положивший начало развалу царской армии. Одним из авторов «Приказа № 1» был Николай Дмитриевич Соколов (1870–1928) — известный адвокат и общественный деятель, близкий к большевикам в первые месяцы после Февральской революции.

Армия должна была ~ генерала Корнилова. — Фрагмент отсутствует в публикации

...генерал Ромейко-Гурко. — Василий Иосифович Ромейко-Гурко (1864–1937) — российский генерал от кавалерии; потомственный военный, сын генерал-фельдмаршала И.В. Гурко; автор ряда книг; после Февральской революции — главнокомандующий войсками Западного фронта. В мае 1917 г. после обнародования в приказе по армии и флоту Декларации прав военнослужащих подал рапорт Верховному главнокомандующему и министру-председателю Временного правительства о том, что снимает с себя всякую ответственность за благополучное ведение дела; указом Временного правительства был смещен с должности, с 23 мая находился в распоряжении Верховного главнокомандующего. 21 июля 1917 г. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В августе 1917 г., согласно принятому Временным правительством закону об остракизме, выслан за пределы России как представляющий опасность для нового строя в группе освобожденных из тюрьмы придворных и близких к императорскому двору лиц (А.А. Вырубовой, И.Ф. Манасевича-Мануйлова, П.А. Бадмаева и др.) (см.: Высылка ген. Гурко // Бирж. вед. 1917. № 16400 (22 авг.). Утр. вып. С. 3; Высылка за границу — Там же. № 16404 (24 авг.). С. 5).

...вокруг Государственной Думы. ~ разве это не цель? — Фрагмент отсутствует в публикации.

...на всенародный вотум. — Далее в автографе продолжено, незакончено: «Учредительное Собрание — вещь сложная, но опросить весь народ, доверяет ли он министерству Керенского, — да или нет, это».

Древняя история. Разговор

Бирж. вед. 1917. № 16429 (7 сент.) Утр. вып. С. 3.

...взятие германцами Варшавы, Риги... — В августе 1915 г. германская армия под командованием генерала Макензена взяла Варшаву; 19–24 августа 1917 г. немецкие войска заняли Ригу, куда по случаю военного успеха прибыл Вильгельм II; потери русских войск (12-й армии) составили 25 тыс. человек, вместе с пленными и пропавшими без вести.

...что говорили знаменитые историки Шингарев и Некрасов и что отвечали им не менее знаменитые историки другой школы — Чхеидзе и Прокопович. — Речь идет о Государственном московском совещании (12–15 августа 1917), где была принята программа доведения войны до победного конца (ход совещания и доклады печатались в газетах; подробнее см.: Государственное совещание. [Стенографический отчет] / С предисл. Я.А. Яковлева. М.; Л., 1930 (Центрархив: 1917 год в документах и материалах / Под ред. М.Н. Покровского и Я.А. Яковлева). Андрей Иванович Шингарев (1869–1918) — один из основателей кадетской партии (с 1908 г. член ЦК партии), член II–IV Государственной думы; министр земледелия, с 5 мая по 2 июля 1917 г. министр финансов. Николай Виссарионович Некрасов (1879–1940) — член III и IV Государственной думы, министр путей сообщения

и министр финансов Временного правительства; последний генерал-губернатор Финляндии (сентябрь–ноябрь 1917). Николай Семенович Чхеидзе (1864–1926) — один из лидеров меньшевиков, депутат III и IV Государственной думы, председатель ЦИК меньшевиков; на совещании выступил с декларацией в поддержку программы Временного правительства и осудил политику большевиков (делегация большевиков в знак протеста покинула совещание). Сергей Николаевич Прокопович (1871–1955) — экономист, в июле–сентябре 1917 г. министр торговли и промышленности Временного правительства, в сентябре–октябре министр продовольствия.

...разбираются они не в обстоятельствах Первой Пунической войны... — Первая война между Римом и Карфагеном, длившаяся 23 года (264–241 до н. э.).

...почему же этот гром рукоплесканий, когда говорят о несчастиях и позоре великого государства? — Вероятно, Сологуб критикует демагогический стиль выступавших, в частности Чхеидзе, который на заседании 14 августа читал конформистскую декларацию: «В дни, когда самому существованию революции угрожает вражеское нашествие, демократия требует от всех граждан и от правительства напряжения всех усилий для организации обороны страны от военного разгрома. Правительство должно помнить, что, только опираясь на деятельное участие демократических организаций в тылу и на фронте, оно сможет выполнить эту огромную задачу...»; после его речи раздались «шумные аплодисменты. Левые депутаты и часть центра устраивают тов. Чхеидзе бурную овацию» (Государственное совещание. [Стенографический отчет]. С. 86) .

Развал

Бирж. вед. 1917. № 16435 (10 сент.). Утр. вып. С. 3.

Смотрю со своего балкона на Волгу... — В 1916–1921 гг. Сологуб и Ан. Чеботаревская арендовали усадьбу «Княжнино», неподалеку от волжской пристани Нагорово, в шести километрах от Костромы; в последний раз Сологуб приезжал в усадьбу летом 1922 г., после гибели жены (покончила с собой 23 сентября 1921).

...как говорится в одной моей песенке 1905 года, «наши командиры знают всю словесность»... — Стихотворение Сологуба «За чай, за мыло…» («Братцы-солдатушки…», 1905; впервые: Зритель. 1906. № 1 (1 янв.). С. 2, с подзаголовком «Солдатская песня»).

...самая передовая демократия в міре (или, по Мануйловскому начертанию, в мире). — Вследствие реформы орфографии буква і была устранена из русского правописания, в результате слова с разными значениями — мир (общество) и мир (не война) — получили одинаковое написание. Реформа подготавливалась задолго до ее непосредственного введения специальной Орфографической комиссией Императорской академии наук под председательством академика А.А. Шахматова (образована в 1904). Официально о ней было объявлено 11 (24) мая 1917 г. в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания» при Александре Аполлоновиче *Мануйлове* (1861–1929) — министре народного просвещения Временного правительства (2/15 марта — 4/17 июня 1917). Сологуб выступал с критикой реформы и политики Мануйлова в области образования.

...а твердые цены таковы, что торопиться с продажею хлеба не стоит... — Отклик на правительственные меры по урегулированию продовольственного кризиса; газеты

констатировали всеобщее неудовольствие экономической политикой Временного правительства: «Повышение твердых цен на хлеб, и притом довольно значительное, вызвало ряд недоумений, грозящих закончиться рядом нежелательных последствий, в виде “коллективной отставки”. Мало того, в некоторых общественных кругах прямо указывают на нецелесообразность такого хода со стороны Правительства и склонны видеть в этом необоснованную уступку буржуазному классу — помещикам. ‹...› В самом деле, назревающее недовольство твердыми ценами на местах, реально вылившееся в категорических отказах везти хлеб, и притом исключительно со стороны крестьян, наступление вследствие этого продовольственного кризиса в потребительских центрах, в Петрограде и Москве, главным образом, истощение хлебных запасов на фронте, — все это создало тяжелый и опасный момент, грозящий катастрофой, которую надо было обезвредить» (Под диктовку // Бирж. вед. 1917. № 16419 (1/14 сент.). Утр. вып. С. 2).

— *Вот тебе, А.Н., продала бы по 10 рублей.* — А.Н. — Анастасия Николаевна Чеботаревская.

...вот пришлось читать на днях, что у приезжающих в Петроград отбирают съестное. — Возможно, речь идет об «Обязательном постановлении» военного генерал-губернатора Петрограда от 1 сентября 1917 г., согласно которому все владельцы продовольственных магазинов (лавок, лабазов, булочных, кондитерских, хлебопекарен и т. п.) и торговцы продовольствием обязывались дважды в месяц представлять в Центральную продовольственную управу сведения о количестве имеющегося у них продовольствия и местах его хранения. В случае сокрытия продуктов или предоставления неверных сведений, преуменьшающих реальное количество продовольствия, все продукты подлежали изъятию, а хозяева должны были заплатить штраф в размере 3000 руб. (День. 1917. № 153 (2 сент.). С. 4).

...шекснинскую рыбу... — Шексна — река в Вологодской области, левый приток Волги.

Но у большевиков своя логика ~ на митинге протеста против Московского Государственного Совещания... — В репортаже о событиях газета «Петроградский листок» (Петроград в дни Московского совещания // 1917. № 197 (17 авг.). С. 4), например, сообщала: «В ночь на вчера и вчера в Петрограде чрезвычайно сильно чувствовалась большевистская агитация, направленная против московского совещания целиком и против участвующих в нем групп и организаций. Пользуясь праздничным днем, большевики в ночь на вчера устроили ряд уличных митингов. ‹...› Наибольшее количество выступлений большевиков наблюдалось на Песках. Несмотря на все принятые меры в виде усиления постов милиционеров и посылки военных патрулей, большевики устроили здесь целый ряд групповых выступлений. На таких митингах велась беспощадная агитация, направленная против Временного правительства и московского совещания»; говорилось также о вооруженных столкновениях митингующих с солдатами и милицией на Петроградской стороне и на Лиговской улице.

...уже попавшее в газеты известие, что крестьяне ~ отвергли партийные списки и хотят голосовать по участкам за лично им известных кандидатов... — 24 сентября 1917 г. костромская «Воля народа» в заметке «Демократическое совещание» сообщала: «Мы в принципе считаем, что партийный способ составления ‹списков› был бы по партийным группам, но против этого встретились возражения со стороны представителей городов и земств, которые ставили условием при выборах сохранять принцип территориальности делегатов, тот же принцип поддерживали и земства» (№ 72. С. 2); вероятно, в костромских газетах были сообщения и более раннего времени (до 10 сентября), касающиеся непосредственно костромских крестьян.

Сонная одурь

Бирж. вед. 1917. № 16455 (22 сент.). Утр. вып. С. 3.

Разумный труд ~ Пойдет успешней и быстрей. — Цитата из «Песни о колоколе» Ф. Шиллера в переводе Д.Е. Мина (1856); здесь и далее Сологуб цитирует произведение в данном переводе (Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов / Под ред. Н.В. Гербеля. СПб., 1857. Т. 1. С. 56–72).

Россия в опасности; Россия на краю гибели — лозунги «оборонцев», выдвинутые в период апрельского кризиса Временного правительства; «Отечество в опасности» — статья Г.В. Плеханова (Единство. 1917. № 28 (2 мая). С. 1), «Россия на краю гибели» — слова знаменитой речи Керенского, произнесенной на съезде делегатов фронта 29 апреля 1917 г. (Речь Керенского // Единство. 1917. № 27 (30 апр.). С. 3).

...стоит над Россиею ~ одною ногою на Берлине, другою на Стокгольме... — Речь идет о 3-й Циммервальдской антивоенной конференции социалистических партий по вопросу о заключении мира, состоявшейся в Стокгольме в сентябре 1917 г.; основная задача конференции — повлиять на общественное мнение нейтральных и воюющих стран с позиции единого фронта — однако, не была решена. Русская делегация приехала не в полном составе; большевики отказались от участия в конференции, указав на ее империалистический характер. События освещались в прессе; пространную оценку международной встрече в Стокгольме дала газета «Биржевые ведомости»: «Нужно сказать, что неудачу стокгольмской конференции следует в значительной степени приписать лишь доктринерству русской революционной демократии. Как английский, так и французский пролетариат искренне отозвались на призыв Петроградского Совета, и вожди рабочего класса Англии и Франции приняли героические меры для того, чтобы провести в сознание масс идею конференции и добиться согласия рабочих на участие в ней. ‹...› Попытка установить общую платформу была сделана на лондонской конференции; эта платформа была выработана и опубликована в виде резолюции социалистов союзных стран, но русские делегаты не присоединились к этой резолюции, и естественно, что для союзных социалистов, решивших идти на стокгольмскую конференцию, чтобы добиться каких-нибудь практических результатов, весь смысл участия в ней исчез» (Отсрочка стокгольмской конференции // Бирж. вед. 1917. № 16406 (25 авг.). Утр. вып. С. 2).

— Мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народностей. — Основное положение «Декрета о мире», разработанного В.И. Лениным и единогласно принятого 26 октября (7 ноября) 1917 г. на Втором съезде рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Впервые лозунг был сформулирован в годы Первой мировой войны немецким социал-демократом Филиппом Шейдеманом.

...для «имеющих очи, чтобы видеть»... — Мф 11: 13.

Ох ты, русский сон ~ старый лиходей. — Автоцитата из стихотворения «Ох ты, русский сон…» (1888), ср.: «Ох ты, русский сон, уж и долог ты, / Уж и лют же ты, старый наш злодей» (Ежегод. РО Пушкинского Дома. 2002. СПб., 2006. С. 262).

А все-таки!

Петроградский голос. 1917. № 26 (31 дек.). С. 1.

Научитесь хотенью упорному. ~ Силу жизни дала! — Автоцитата из стихотворения «Я дорогой невинной и смелою…» (27 марта 1906; впервые: Образование. 1907. № 7. С. 47).

1918

Солоно

Петроградский голос. 1918. № 34 (15 марта). С. 1.

...солоно теперь всем, кто еще любит свою страну, хотя бы как «социалистическое отечество»... — «Социалистическое отечество в опасности!» — «декрет-воззвание» Совета народных комиссаров, изданный в феврале 1918 г. в связи с начавшимся германским наступлением; декрет печатался в газетах и распространялся в листовках от 21 февраля 1918 г.

...разговаривал я с женою и дочерью одного русского профессора, у которого есть маленькое имение в Новгородской губернии. — Имеется в виду Евгений Васильевич Аничков (1866–1937) — историк литературы, критик, профессор Петербургского университета, Высших женских (Бестужевских) курсов и др. Имение Аничковых «Ждани», в Боровичском уезде Новгородской губернии, в 1920-е годы по предложению жены Аничкова Анны Митрофановны (урожд. Авинова, псевд. Иван Странник, 1868–1935) арендовал Всероссийский союз писателей (Ленинградское отделение) (см.: *Кукушкина Т.А.* Всероссийский союз писателей. Ленинградское отделение (1920–1932): Очерк деятельности // Ежегод. РО Пушкинского Дома. 2001. С. 106).

Но профессор будет по-прежнему преподавать, если не в России, то во Франции, где он сейчас и находится (он проделал всю войну не в тыловых упражнениях, а на фронте)... — Е.В. Аничков неоднократно командировался за границу, участвовал в создании Высшей школы общественных наук М.М. Ковалевского в Париже. В годы Первой мировой войны добровольно вступил в ополчение; в 1917 г. служил во Французской армии в чине лейтенанта. С 1920 г. Аничков — профессор Белградского университета, в 1926 г. — университета в Скопье.

Нуждаются сенаторы ~ он принужден продавать книги из своей библиотеки… — Речь идет об Анатолии Федоровиче Кони (1927) — видном юристе, академике, члене Государственного совета; в мае 1917 г. он был назначен Временным правительством председателем в общем собрании кассационных департаментов Сената; 25 декабря 1917 г. уволен с должности за упразднением Государственного совета по решению СНК РСФСР (декретом о суде была ликвидирована существовавшая судебная система, а вместе с ней и Сенат). Чтобы выжить в первые годы революции, Кони обменивал на хлеб книги своей обширной библиотеки, собранной за 52 года службы (см.: *Высоцкий С.А.* Кони. М., 1988 (Сер. Жизнь замечательных людей).

Прямой человек

Печ. по: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 438.

Сведения об отсылке: Петроградский голос. 1918. 28 апр.; в конверте «Проза ненапечатанная» (РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 546).

И все еще в точности неизвестно, жив ли генерал Корнилов или убит. — Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918) — генерал от инфантерии, герой Русско-японской и Первой мировой войн; в марте–апреле 1917 г. главнокомандующий Петроградским гарнизоном, с июля — Верховный главнокомандующий русской армии; после августовского выступления войск Корнилова на Петроград, предпринятого с целью ликвидации анархии и установления военной диктатуры в стране, был объявлен мятежником, по приказу Керенского арестован и препровожден вместе с ближайшими сподвижниками в тюрьму в Могилеве, затем в Быхове; в ноябре 1917 г. бежал на Дон, где приступил к формированию Добровольческой армии; погиб 31 марта (13 апреля) 1918 г. при штурме Екатеринодара (подробнее о «деле Корнилова» и гибели генерала см.: *Иоффе З.Г.* «Белое дело» генерала Корнилова. М., 1989. С. 148–150).

Мистика войны и утопия вечного мира

Печ. по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 354.

Датируется по содержанию: не ранее мая 1917 — начала 1918 г. Отдельные тезисы статьи впервые прозвучали во вступительном слове Сологуба на вечере художественного общества «Искусство для всех», организованном Ан. Чеботаревской 14 апреля 1917 г. в зале Тенишевского училища «с целью углубления содержания и взаимоотношений понятий “Революция, Искусство, Война”»; в программе вечера значились темы беседы: «Новое Искусство в демократической России» (художник В. Денисов), «Преображение жизни Революцией и Искусством» (Ф. Сологуб), «Революция и Театр» (Вс. Мейерхольд), «Война и революция в процессе Космоса» (А.Н. Брянчанинов), «Революционная природа Искусства» (Ил. Зданевич), «Социальная роль Искусства» (К. Арабажин). Текст вступ. слова см.: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 4. Ед. хр. 51. В мае 1917 г. Сологуб выступил на вечере общества «Искусство для всех» с беседой на тему «Мистика войны. Утопия вечного мира» (Бирж. вед. 1917. № 16229 (12 мая). Утр. вып.), текст выступления не выявлен.

«Есть упоение в бою». — Первая строка песни Вальсингама из драматической сцены А.С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).

Имя итальянца Маринетти тесно связано с увлекательным прославлением войны. — Филиппо Томазо Маринетти (1876–1944) — глава и идеолог итальянского футуризма; автор манифестов и литературных произведений, прославляющих милитаризм («Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть» — «Обоснование и манифест футуризма», 1909); военная проза Маринетти вошла в сборник «Слова на свободе» (1919). Ан. Чеботаревская не разделяла мнение Сологуба по поводу увлекательности брутальной эстетики Маринетти, она писала: «Когда ‹...› бунтующий мещанин объявил всю поэзию прошлого — романтику, лирику, символику — сестрою милосердия (“soeur de Charité”), призывая искусство воспевать жестокость, насилие, братоубийство, становилось ясно, что этой упрощенной “брютальной” ‹*так!*› психике, этому — о, какому скудному, уныло скучному! тупику мысли органически несвойственны все великие движения души — вера, любовь, сострадание, во все времена одушевлявшие человека в его поступательной борьбе не излюбленных лектором механизмов, а духовных ценностей. ‹...› казалась величайшим абсурдом вся эта проповедь невежества, жестокости, анти-интеллектуальности в нашей, только что

просыпающейся к культурной жизни стране» (*Чеботаревская Ан*. На секции Маринетти // День. 1914. № 39, 30 янв.).

Почитайте правдивые сказания М. Горького, — какая ужасная, сплошная цепь битья, насилий, издевательств всякого рода! — Ср. высказывание Сологуба о повести М. Горького «Детство» (1913): «Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне. Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный» (*Сологуб Ф*. Заметки // Дневники писателей. 1914. № 1 (март). С. 17).

...человек человеку волк... — Калька латинского афоризма: Homo homini lupus est.

...Будда встретил голодную львицу. — Притча о том, как Будда пожертвовал свое тело голодной тигрице (а не львице), принадлежит к самым известным сказаниям о прошлых рождениях Будды; входит в священную книгу «Сутра золотистого света» (см.: *Поповцев Д.В.* Сокровища Татхагаты: Индийские сутры в русском переводе. М., 2012).

...«Умрешь не даром, — дело прочно, когда под ним струится кровь». — Цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

...в трудах Оуэна, Сен-Симона и Фурье. — Основоположники утопического социализма, философы и социологи: Роберт Оуэн (1771–1858), Анри Сен-Симон (1760–1825), Шарль Фурье (1772–1837).

...утопия Томаса Мора ~ за год до начала проповеди Лютера. — «Утопия» (1516) английского гуманиста, писателя и политического деятеля Томаса Мора (1478–1535) появилась за год до открытого антипапского выступления Мартина Лютера (1483–1546); 18 октября 1517 г. папа Лев X выпустил буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций с целью «оказания содействия построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира», на которую Лютер отозвался резкой критикой роли церкви в Спасении, изложенной в «95 тезисах» (31 октября 1517), тезисы были отправлены папе, епископу Бранденбургскому и архиепископу Майнцскому, — эти события положили начало европейской Реформации.

...святого государства в Мюнстере. ~ разрушено владетельными князьями Германии. — Теократический режим, установленный в 1534–1535 гг. в Мюнстере, захваченном анабаптистами, во главе с *Яном Матисом* (Матисен, 1500–1534), а после его гибели (5 апреля) *Иоанном Лейденским* (Ян Бейкелсзон, 1509–1536). Мюнстерская коммуна провела конфискацию церковно-монастырского имущества, отмену долгов и денежного обращения, а также уравнительное распределение предметов потребления, было введено многоженство. Просуществовала 14 месяцев. *Мельхиор Хоффманн* (ок. 1495–1543) — один из лидеров анабаптистского движения в Нидерландах и Нижней Германии, его богословское учение (хилиастические воззрения, учение о Новом Иерусалиме) имело последователей — мельхиоритов, в числе которых был Ян Матис.

Это был Этьен Кабе. — Этьен Кабе (1788–1856) — французский философ, публицист, писатель-коммунист, автор утопического романа «Путешествие в Икарию» (1840), пользовавшегося популярностью у русского читателя на рубеже XIX–XX вв. Далее Сологуб приводит сведения, взятые из статьи Н. Водовозова «Этьен Кабе» (см.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1894. Т. 12а. С. 796–797).

...Кабе основал особый журнал... — После июльской революции 1830 г. Кабе основал журнал «Populaire», который запретили за пропаганду коммунистических идей; Кабе был осужден и бежал от тюрьмы в Англию; после его возвращения на родину в 1841 г. журнал был возобновлен.

...«Республика» Платона, хотя по существу и строго аристократическая, по форме была все ж таки коммунистическою. — Имеется в виду диалог «Государство» (360 до н. э.), в котором дан образ идеального государства, являющегося, по Платону, выражением идеи справедливости.

...авторы утопий ~ как Беллами, Вильям Моррис, Уэллс... — Речь идет об утопических романах: «Через сто лет» (1888; в рус. пер. под названиями: «Взгляд на прошлое», «Золотой век», «В 2000 году») американского фантаста Эдварда Бэллами (1850–1898); «Вести ниоткуда, или Эпоха счастья» (1890) английского поэта и художника, близкого группе прерафаэлитов, Уильяма Морриса (1834–1896); «Когда спящий проснется» (1895), «Машина времени» (1895), повести «Грядущие дни» (1911) английского писателя Герберта Джона Уэллса (1866–1946).

...автор «Красной Звезды» Богданов... — Александр Алексеевич Богданов (наст. фам. Малиновский, 1873–1928) — экономист, видный революционер, ученый-естествоиспытатель, предвосхитивший некоторые положения кибернетики, врач, создатель Института переливания крови (1926), писатель. Роман А. Богданова «Красная звезда» (1908) был переиздан в 1918 г.

...книга монаха Томаса Кампанеллы «Город Солнца». — Томмазо Кампанелла (1568–1639) — итальянский философ и писатель, один из первых представителей утопического социализма, автор романа «Город Солнца» (1623).

...напечатанная в Берлине на русском языке утопия Константина Сергеевича Мережковского... — Речь идет о романе «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь» (1903) ученого-естественника, философа и писателя Константина Сергеевича Мережковского (1855–1921; брат писателя Д.С. Мережковского).

...недаром в минуту отчаяния у популярнейшего из бывших министров вырвался вопрос, — да уж не взбунтовавшиеся ли это рабы? — Имеется в виду Александр Федорович Керенский (1881–1970) — министр юстиции Временного правительства (3/16 марта — 18 апреля/1 мая 1917), военный и морской министр Временного правительства (3/16 марта — 1/14 сентября 1917). В дни апрельского кризиса Временного правительства в речи, произнесенной 29 апреля на съезде делегатов фронта, Керенский выразил тревогу за будущее страны и революции в условиях войны: «…у меня нет прежней уверенности, что перед нами не взбунтовавшиеся рабы, а сознательные граждане, творящие новое государство ‹...›. Мы хлебнули свободы, и мы немного охмелели. Но не опьянение нужно нам, а величайшая трезвость и дисциплина» (Речь Керенского // Единство. 1917. № 27 (30 апр.). С. 3).

«Война миров» — роман Герберта Уэллса (1897), описывающий вторжение пришельцев (марсиан) на Землю.

Подготовка текста и комментарии М.М. Павловой

Андрей Белый

Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов

Андрей Белый в Первую мировую войну

Говоря об итогах мировой войны, Андрей Белый писал в «Истории становления самосознающей души»: «Все наши времяизмерители остановились; и стрелки их указывают на все тот же пункт времени, пункт, в котором часы сломались: “1914 год. Мировая война”: то, что было “до”, — объяснимо во времени; то, что после, — необъяснимо; ‹...› а единственное объяснение нами пережитого — не объясняющая ничего “констатация”: Мировая катастрофа, большевики, гибель России, Европы и т. д.»[1]. На самом деле попытки такого объяснения он предпринимал с первых месяцев войны; они в значительной степени отразились в публикуемых очерках.

Во время начала войны Белый находился в швейцарском Дорнахе (под Базелем), в интернациональной (хотя преимущественно все же немецкой) коммуне антропософов, строивших собственными руками своего рода антропософский храм, «Иоанново здание» (или «Гётеанум»). Практически бросив писательскую деятельность, он несколько месяцев работает резчиком по дереву на архитравах Гётеанума. Идеалы интернационализма и мирного строительства светлого будущего были общими для антропософов, например, с коммунистами; война, в которую втянуты все нации, оказалась в разительном противоречии с ними, будто бы их черной изнанкой. В годы войны Белый постепенно возвращается к литературному творчеству, а затем приезжает в Россию; цикл очерков, которые он в это время публикует в «Биржевых ведомостях»[2], имеет отношение и к одному и к другому решению. Впоследствии значительная часть этих очерков вошла, целиком или частями, в книгу «Кризис жизни»[3], а мысли, темы и образы из них появлялись во многих книгах писателя.

Белый с А.А. Тургеневой окончательно поселились в Дорнахе в марте 1914 г.; война началась 31 июля. Сразу за Базелем находится Эльзас, который Германия отобрала у Франции

---

[1] Цит. по: *Андрей Белый*. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности; Воспоминания о Штейнере / Сост., коммент. и послесл. И.Н. Лагутиной, М.Л. Спивак. М., 2000. С. 545.

[2] Мы не включаем в публикацию специфически литературоведческий очерк «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятьи природы», помещенный в «Биржевых ведомостях» 26 июля (после «Востока или Запада», перед «Мертвыми городами»), который потом автор перепечатал в книге «Поэзия слова» (СПб., 1922).

[3] М., 1918. Место в «Кризисе жизни» и степень переработки указаны в комментариях к каждому очерку. Не вошли в «Кризис жизни» ни в каком виде и не перепечатывались:

— конец «Гремящей тишины»;
— вторая половина «Горизонтов сознания»;
— «Природа» (кроме нескольких пассажей; зато часть ее вошла в предисловие к «Котику Летаеву»);
— «Современные немцы»;
— первая часть «Мертвых городов»;
— «Петроград и Москва в освещении прессы немецкой Швейцарии».

в прошлую войну, Франко-прусскую, а Франция пыталась вернуть (и вернула по результатам Первой мировой). Военные действия лета–осени 1914 г. (так называемая Лотарингская кампания) начались в непосредственной близости от антропософской коммуны; ее участникам и жителям Базеля был постоянно слышен грохот немецкой и французской артиллерии. Этому грохоту Белый посвящает первый из публикуемых очерков, а затем воспоминания о нем неоднократно встречаются в его произведениях.

Уже в сентябре Белый начинает писать о войне: «Я начинаю писать дневник, из которого впоследствии вышел материал моих кризисов»[1]. Эта запись в «Материале к биографии» сделана после завершения цикла «Кризисов»; сначала материалы упомянутого «дневника» легли в основу публикуемых очерков.

Военные действия повлекли за собой повсеместный экономический кризис, отразившийся и на книгоиздательской деятельности; в частности, не оправдались надежды писателя на издание Полного собрания сочинений в книгоиздательстве «Сирин», которое закрылось с началом войны. Кроме того, окончательно испортились отношения писателя с Э.К. Метнером, редактором издательства; журнал «Труды и дни» с началом войны фактически прекратился — в 1915 г. он совсем не выходил, а в 1916-м Метнеру удалось собрать лишь один номер из накопившихся в редакционном портфеле работ. Кроме того, в августе 1914 г. вышла книга Э. Метнера «Размышления о Гёте»[2], направленная против Штейнера. Работа над полемическим ответом Метнеру, книгой «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», — основное занятие Белого в первой половине 1915 г. (без какой-либо возможности опубликования книги в ближайшее время)[3]. Работа над этой книгой заставила Белого еще глубже, чем раньше, погрузиться в немецкую философию и науку, следы чего мы также находим в большей части публикуемых очерков.

Белый приводит в первых двух очерках трогательные примеры интернационализма и «настоящего пасифизма» как внутри дорнахской общины, так и со стороны швейцарцев, но в действительности, как можно увидеть по «Материалу к биографии», самоощущение русских в немецкой и немецкоязычной среде не всегда было благополучным[4]. Писатель чрезвычайно болезненно переживает антирусские настроения, отдавая себе отчет в том, что в ситуации, когда военные действия идут уже на границе нейтральной Швейцарии, готовящейся к тотальной мобилизации, — вырваться в Россию нет никакой возможности. Кроме того, работа антропософской общины и до войны находилась под прицелом недоброжелательных взглядов швейцарского обывателя, а в ситуации повсеместной экономической и политической нестабильности подозрительность местного населения обрушивается на головы антропософов. Наконец, и внутри самого Антропософского общества нарастают тенденции внутреннего кризиса. Осенью 1915 г. Белый уезжает в то путешествие по Швейцарии, которое описано в очерках «Природа» и «Мертвые города». После этого начинается — и захватывает его — работа над «Котиком Летаевым» (в предисловии к которому мы находим отрывок из «Природы»).

---

1 Материал к биографии (интимный...). Цит. по: *Малмстад Дж.* Андрей Белый и антропософия // Минувшее. М., 1992. № 8. С. 409.

2 *Метнер Э.К.* Размышления о Гёте. Кн. 1: Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. М., 1914.

3 *Андрей Белый.* Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 1917.

4 См. коммент. к очерку «Гремящая тишина».

К весне 1916 г. обстановка внутри дорнахской общины становится для Белого совсем труднопереносимой, о чем говорят письма к Иванову-Разумнику и Блоку: «2 1/2 года я живу в глухой, злой деревне среди враждебного населения и измученной кучки людей, дотерзывающих свое здоровье непосильным физическим трудом среди... “сумасшедшего дома” *старух, старых дел и “психо-патологических»* дам ‹...› Вот наше положение в Дорнахе: молодежь, *ухлопавшая* свое здоровье и силы, *выдана* 1) населению, 2) сумасшедшему дому; мы все не один раз бывали оклеветаны, опозорены, оплеваны: 1) глупым населением, до сих пор полагающим, что мы — “мормоны”, и на этом основании считающим, что, например, молодые барышни и дамы, стучащие молотками, — “*работницы-проститутки”,* которых топить надо; 2) мы все не раз бывали опозорены “извращенными” старухами (воображение оккультной старой девы — грязно до чудовищности...)»[1]. Одновременно, отправляя Блоку письмо со словами благодарности за выхлопотанную субсидию от Литературного фонда, Белый повторяет слова, сказанные в письме Иванову-Разумнику: «‹...› мне открылась картина этой зимы: воет ветер, в оконные стекла бьет жалкая изморось; свинец облачный припадает к земле; из свинца рычит грохот пушек; ты приходишь домой — иззябший физически и иззябший морально ‹...› из-за загородки “злых”, “ведьмовских” взглядов, опорачивающих тебя, из трескотни чужеземных слов — из толпы тебя презирающих, как дурачка, и ненавидящих иногда, как русского, к которому с симпатией относится д‹окто›р: с сознанием, что еще ряд безысходных месяцев ты будешь обречен вращаться среди полусумасшедших “оккультических” старых дев ‹...› вот с таким сознанием возвращаясь домой ‹...› я бывал охвачен воистину безысходностью»[2]. Белому, как рассказывается в «Материале к биографии», мерещится и слежка; можно объяснять конкретные случаи опасений расстроенными нервами (так их иногда объяснял и сам автор), но все же маловероятно, что разведка обеих воюющих за Эльзас и Лотарингию держав не обращала внимания на соседнюю нейтральную территорию (хотя бы в виду возможности обхода с фланга и предупреждения аналогичных планов противника).

На фоне описанной выше ситуации с издательствами любой писательский заработок казался Андрею Белому благом; устройством издания его трудов занимался Р.В. Иванов-Разумник, живое участие принимал и Александр Блок; именно они пытались организовать отдельное издание романа «Петербург» и опубликовать хотя бы частично, в газетах, цикл «Путевые заметки», посвященные путешествию по Италии и Северной Африке. В начале марта 1916 г. Белый неожиданно получил денежную субсидию и, предполагая, что деньги являются гонораром за публикацию «заметок», радостно сообщал Иванову-Разумнику: «Получил я приглашение писать фельетоны в “Биржевые ведомости”. И уже отослал 2 фельетона: шлю еще два»[3]. Однако Иванов-Разумник неожиданно резко отреагировал на сотрудничество Белого с «Биржевыми ведомостями»: «‹...›я сговорился с П.Е. Щеголевым, редактором литературного отдела газеты “День”, о помещении в этой газете 10 фельетонов из “Путевых заметок” ‹...›, но на днях он отказался от своего обещания, ввиду появления Ваших статей в “Биржевых ведомостях”. Это, действительно, досадно; к тому же Вы, за границей, не знаете российских

---

1 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка / Публ., вступ. ст., коммент. А.В. Лаврова, Дж. Малмстада. СПб., 1998. С. 68–69.

2 Андрей Белый и Александр Блок: Переписка 1903–1919 / Публ., предисл., коммент. А.В. Лавров; подг. текста А.В. Лавров, Г.В. Нефедьев. М., 2001. С. 506–507.

3 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 63.

литературных дел и нашей “желтой прессы”; к ней принадлежат и “Биржевые Ведомости”, хотя в них, к сожалению, сотрудничают и Бердяев и Гершензон и иные многие»[1]. Можно понять возмущение Иванова-Разумника, однако «Биржевка», как ее называли, была одной из самых читаемых газет предреволюционных лет[2]. В ответ Белый оправдывался: «Придется писать в *Б‹иржевых› В‹едомостях›*. Вы спросите, как я попал туда. Скажу, что и сам не знаю. Но я слышал еще за 8 месяцев до приглашения меня о коренной реорганизации этой газеты, что там распоряжается Тан (которого я привык уважать), что *все* там пишут и т. д. (Газеты я не видел.) И когда я получил вдруг приглашение туда в критический момент моей жизни, я, признаться сказать, думал, что это приглашение — результат Вашей любезности; у меня денег не было: надо было найти хоть какой-нибудь заработок, давалась мне *carte-blanche* относительно тем: я ответил согласием ‹...› Я топлю свои “горестные минуты” в фельетонах; верите ли: как ребенку дорога игрушка, так мне дорого хотя бы где-нибудь писать, чувствовать себя — в круге другой, литературной, а не этой “*дорнахской”* жизни»[3].

Нам неизвестно, кто пригласил Белого к сотрудничеству в «Биржевых ведомостях». Можно лишь догадываться: например, литературным редактором газеты в эти годы был А.Л. Волынский (Флексер); его упоминает Белый в «Современных немцах». Волынский давно сотрудничал с Д.С. Мережковским и Зинаидой Гиппиус, и не исключено, что инициатива исходила от них (тем более, что именно Мережковский и Гиппиус выступили поручителями при назначении денежной субсидии, которая была выдана писателю Литературным фондом в это же время).

Так объясняется появление в «Биржевых ведомостях» столь неожиданного для газеты цикла очерков — лирико-философских, иногда историко-культурных, иногда пейзажных, один раз даже профессионально литературоведческого[4]. Хотя Белый, как он писал Иванову-Разумнику, по договоренности с редакцией «имел *carte blanche* относительно тем», идея «военной корреспонденции» в этой договоренности все же в каком-то виде присутствовала. Ответ на вопросы «Что в Швейцарии говорят о войне?» и «Что в Швейцарии пишут о России?» явно прослеживается в «Гремящей тишине» и в «Москве и Петербурге в прессе немецкой Швейцарии». Автор не был на фронте, но мы видим некоторые характерные реалии военного времени: панику ожидания мобилизации и затем терпеливое оцепенение под «гремящую тишину» гражданского населения, мгновенную гибель цеппелина на горизонте и варварскую неуместность полупустого курортного Монтрё.

«Гераклитианец», как он сам называл себя[5], Белый часто строит очерк (или их последовательность) сопряжением взаимоисключающих противоположностей. «Гром и тишина»

---

1 Там же. С. 66.

2 В мае 1916 г. Белый встретил в Лугано 80-летнего П.Д. Боборыкина, читавшего «Биржевые ведомости» и похвалившего его статьи («Люблю тебя нежно...» Письма Андрея Белого к матери. 1899–1922 / Изд. С.Д. Воронин. М., 2013. С. 229; письмо от 23 июня 1916).

3 Там же. С. 68–69.

4 Ср.: «В понимании Андрея Белого очерк — очень широкая форма, куда входит решительно все, на чем нет клейма ненавистного бытового романа и вообще беллетристики. “С этой точки зрения, — сказал О. М., — *Разговор о Данте* тоже очерк”. Андрей Белый подтвердил» (*Мандельштам Н.Я.* Воспоминания / Подг. текста Ю.Л. Фрейдина; примеч. А.А. Морозова. М., 1999. С. 182).

5 В дневнике 1933 года (Последняя осень Андрея Белого: Дневник 1933 года / Публ. М.Л. Спивак // Новое литературное обозрение. 2000. № 46; запись от 11 сентября; ср.: Андрей Белый и Александр Блок: Переписка. С. 31–32; также: *Андрей Белый*. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 201, и др.).

одновременно, немое оцепенение швейцарской провинции из первого очерка, являющееся на самом деле грохотом крушения старого мира, ищут себе объяснения; второй очерк, «Горизонты сознания», напоминает обо всех не услышанных в свое время предвестиях войны, обо всех предупреждениях о внутреннем, духовном кризисе; пушки гремели в сознании художников и философов уже давно; противоположность глухоте к ним и друг к другу — «Армия спасения» из последней главки очерка. Третий очерк, «Кризис жизни», продолжает объяснение состояния европейской цивилизации начиная со Средних веков и Ренессанса; средневековая жестокость осталась не вытесненной Возрождением, продолжала скрыто присутствовать в самых утонченных проявлениях Европы и теперь вырывается наружу; так третий очерк отвечает на вопрос первого.

С «Природы» начинается новый виток мысли. Автор бросает и город, и грохочущие вдали пушки, будто бы окончательно расставаясь с идеей «военной корреспонденции» или хотя бы статьи, анализирующей причины войны; он уединяется в романтическом путешествии и доходит до прозрения, говоря словами романтика Жуковского, «Создателя в созданьи»; однако это созерцание, превращаясь в размышление о немецкой мысли и о немецком романтизме, снова становится поиском причин мировой бойни; зеркалом, показывающим ее тайные пружины, оказывается взгляд на немецкую культуру француза, несогласного с германским культурным идеалом принципиально и безоговорочно; трудно понять, какой из двух воюющих сторон сочувствует автор, способный отождествиться со взглядом и той и другой. Пятый очерк, «У немецкой границы», вместо горной идиллии «Природы» начинается с описания идиллического уюта немецкого городка, причем именно такого городка, в котором — в напоминание о «Кризисе жизни» — живет дух высокого германского Ренессанса; но примером этого Ренессанса оказываются «Пляски смерти» Гольбейна: ухмыляющийся скелет, напоминание о войне, сопровождает каждую милую бытовую сценку. Шестой очерк, «Современные немцы», продолжает размышление о Германии и снова сопоставляет воюющие стороны: если в «Природе» немецкая культура показана глазами стоящего по другую сторону линии фронта француза, в «Современных немцах» в зеркале немецкого взгляда показана уже русская литература; и автор и обобщенный «немецкий солдат» описываются одними и теми же фигурами речи, отчего усиливается впечатление, что субъект по обе стороны линии фронта один и тот же.

В седьмом очерке, «О злободневном и вечном», как и в очерке «Природа», автор будто бы забывает о современности с ее фронтом и тылом и вместо этого вспоминает свое мирное путешествие к древнему Сфинксу, но целью его кажущегося отступления от темы снова оказывается утверждение, что субъект, смотревший на Сфинкса при Рамзесе и смотрящий на него в 1913 г., — один и тот же и одинаково беззащитен перед историческим масштабом перемен. В следующей статье, «Восток или Запад», тема истории развивается в схему историософской концепции; и все же эти размышления не уводят автора от современности, но возвращают к ней, потому что калейдоскоп имен и явлений истории культуры оказывается средством самопознания, зеркалом современного человека. Среди анализируемых течений в «Востоке и Западе» преобладают немецкие, — и после этого очерка Белый печатает анализ непреходящих образцов русской культуры («Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятьи природы»); несмотря на узкоспециальный стиховедческий аспект и странный для газеты уровень научности, эта работа перекликается со статьями «Природа» и «О злободневном и вечном» в своем стремлении к точности визуальной зарисовки. Очерк «Мертвые города»

опять возвращает нас к теме Германии, к тому худшему, что, по мысли автора, можно в ней увидеть. Белый не приемлет позицию современного благородного и образованного немца («будем твердо арийцами»), фатальным образом подталкивавшую Германию к фашизму. Эта точка зрения в дальнейшем приближает Белого к концепции «скифства» Иванова-Разумника. В последней статье, «Петроград и Москва в освещении прессы немецкой Швейцарии», мы опять, как в «Современных немцах», видим Россию глазами корреспондента швейцарской газеты; этот взгляд обещает вместо старой, бюрократической петербургской России какую-то новую, «свежую и свободную»; очерк вышел из печати в день прибытия Белого в Россию[1].

Интонация и смысл завершающих череду очерков последних фраз «Петрограда и Москвы в освещении прессы немецкой Швейцарии» напоминает написанных через полтора года «Скифов» Блока: если старый мир упорствует в самоуничтожении, не внемля призывам к миру, то, хоть мы и помним, и даже помним лучше других, обо всех его ценностях, мы просто уходим, самоустраняемся, не приняв ничьей стороны в этой войне. Весьма вероятно, что Блок следил за очерками в «Биржевых ведомостях», хотя и без этого настроение поэтов, которых Р.В. Иванов-Разумник объединил вокруг альманаха «Скифы», являлось сходным. Это общее для «скифов» настроение и решение — отказ от старой Европы из-за учиненной ею мировой войны — повлияло в дальнейшем на их отношение к русской революции.

Непривычный для европейского рационализма принцип единства субъекта, тождественности личного и общечеловеческого «я», без которого нельзя понять внутреннюю логику цикла, согласуется не только с антропософской концепцией самосознания как высшей части человека, но и с более ранним интересом Белого к «Упанишадам» и Веданте, о которых он читал, например, на протяжении многих лет немецкие книги Пауля Дейссена (как до знакомства со Штейнером, так и после отъезда из Дорнаха)[2]. Свойственный философии Веданты принцип единства субъекта, tat tvam asi, для автора очерков является само собой разумеющимся; это исходная посылка его мыслей, а не вывод из них.

За пределами очерков остались наиболее личные, а также специфически антропософские трактовки военной темы. Годы войны, слившиеся в сознании Белого с личностным кризисом, он подробно описывал в более поздних заметках, посвященных годам ученичества у Штейнера, — «Материале к биографии»[3]. Белый неоднократно возвращается к мысли о том, что военные действия отражают этапы его собственной внутренней битвы на путях самопознания; из этого следует глубоко интимная трактовка темы войны. Один из этапов антропософского пути самопознания — «встреча с Драконом» –связывается с образом внешнего «губящего врага», Аримана; с антропософской точки зрения именно Ариман — покровитель тех машин и того механического способа мысли, который привел к войне. Одновременно этот этап самопознания связан с темой борьбы с внутренним врагом — прежним «Я», которое должно умереть[4]. Внешние обстоятельства жизни писателя как нельзя более соответствовали этапам мистериального пути, пути посвящения, в этот период переживаемого Белым в трагедийном аспекте. Переживания августа 1915 года он характеризовал так: «‹...› я свер-

---

1 23 августа. О дате ср., например, «Жизнь без Аси» (ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 31. Ед. хр. 1).

2 См. выше коммент. к очерку «Восток или Запад».

3 «Материал к биографии (интимный, предназначенный для публикации только после смерти автора)» хранится в: ОР РГБ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Частично опубликован Дж. Малмстадом: *Малмстад Дж.* Андрей Белый и антропософия // Минувшее. М., 1992. Т. 6. С. 344–415; Т. 8. С. 409–471; Т. 9. С. 409–449.

4 Минувшее. Т. 9. С. 409–410.

шал некий поступок, который разыгрывался в моих глубинах так: я в символическом обряде сламываю гидру войны; я убиваю самого дракона войны, или ту государственность, которая вызвала войну со всеми ее шпиками, со всеми ее темными тайными организациями во имя 2-го Пришествия и неведомых мне форм любви и братства народов ‹...› около меня рыщет Враг, чтобы уничтожить; передо мной разверзаются все бездны, но я закрыт от тьмы кольцом светлых сил; доктор меня накрыл своим рыцарским плащом и дал мне меч»[1]. Тема войны и борьбы с врагом, таким образом, предельно мифологизируется и рассматривается через призму легенды о борьбе рыцаря со змием.

Работа над строительством Гётеанума на фоне разворачивающихся на границе со Швейцарией военных действий Германии против «союзников» воспринимается Андреем Белым как сугубо символический акт. В этой работе получила символическое антропософское отражение другая постоянная тема очерков — глубинная связь и почти тождество в восприятии автора германской и русской культур, поставленных войной по разные стороны линии фронта. По мысли Штейнера, «в связи настоящей, германской, с будущей, славянской, культурою решилась судьба будущего»[2]. Резные деревянные архитравы Малого купола Гётеанума изображали культуры разных народов — архитрав «германской культуры» находился рядом со «славянским». Белый вспоминал: «‹...› я предчувствовал, что промежуточные штрихи, которые падают на линию обоих архитравов, суждено мне провести: эти штрихи — спайка культур славянской с германской, спайка — настоящего исторического момента, в котором именно эти культуры на физическом плане катастрофически сшиблись, — штрихи судьбы, мне посланные»[3]. Штейнер (как и Шпенглер и многие в Германии в то время) отводил славянству особую миссию в будущем. Об этой особой миссии славянства в интерпретации Штейнера Белый восторженно писал Александру Блоку еще в мае 1912 г.: «‹...› оккультное исследование над эфирным телом славянина показывает, что в нем вписано имя самого Христа. Отсюда явствует, что славянство, в частности Россию, после громадной тяжести, которую еще всем нам предстоит пережить, поведет сам Христос, а не кто-либо другой»[4]. Не исключено, что это письмо послужило для Блока одним из источников образа Христа, предводительствующего красноармейцами, в «Двенадцати», как цикл публикуемых очерков отразился на «Скифах»; так вырабатывалась «скифская» позиция в отношении будущих событий.

Таким образом, очерки для газеты «Биржевые ведомости» — не промежуточный эпизод в творческой биографии писателя, но скорее отметка нового этапа. В них органически выявляются новые тенденции творчества Андрея Белого: публицистика, предельно насыщенная реалиями не общественного быта, но, скорее, внутреннего диалога; на первый план выступает стремление к автобиографическому письму; при таком условии любое жанровое образование получает инерцию реальности биографической, пропущенной сквозь призму сверхперсональной исторической парадигмы. Писателя не покидает ощущение повсеместного кризиса — жизни, культуры, сознания; так рождается ядро будущего большого цикла «Кризисов» — философских очерков-эссе, которые в течение послереволюционных лет выходили отдельными книгами.

---

1 Там же. С. 410.

2 Там же. С. 416.

3 Там же. С. 417.

4 Андрей Белый и Александр Блок: Переписка. С. 466.

* * *

Наконец, после возвращения писателя, в декабре 1916 г., газета «Утро России»[1] предложила русским писателям принять участие в анкете и ответить на вопросы: «1) могли ли они работать в период настоящей войны; 2) как отразилась война на их творчестве, в частности и на русской литературе вообще; 3) в какой зависимости от войны протекает искание новых форм творчества». На вопросы отвечали А.Н. Толстой, Б.К. Зайцев, К.Д. Бальмонт, Н.А. Бердяев и Андрей Белый. В своем ответе Белый вновь возвращается к центральной идее «швейцарского цикла», о том, что внутренний духовный кризис порождает кризис целой исторической эпохи. Приведем ее полностью:

На поставленные вами вопросы анкеты мне трудно ответить.

Попробую.

Мог ли я работать в период настоящей войны?

Будучи два года войны за границей, переживал я войну особенно тяжело; первый год войны я работать не мог, отрезанность от России, угнетенное душевное состояние, вызванное событиями войны, побудило меня, наконец, искать в работе того минимума душевного равновесия, без которого вообще трудно жить; я взял себя в руки; во второй год войны я работал поэтому с особенной интенсивностью.

Отразилась ли война на моей работе?

Судить не мне.

Я могу лишь отметить: я в работе своей сосредоточился совершенно сознательно на круге тем, не имеющем ничего общего с современностью, вообще не умею я систематически работать над тем, чем эмоционально бываю захвачен я.

Так, на темы, затронутые 1905 годом, как писатель я мог лишь откликнуться в 1910 году (в романах «Серебряный голубь», «Петербург») потому, что лишь к этому времени несколько улеглись эти темы в душе; работа невозможна без некоторой доли спокойствия.

Думаю, что тема войны есть тема моей работы далекого еще будущего.

Но война отразилась в способе ставить проблемы сознания.

Как случилось, что «я» человечества довело нас всех до войны?

Война подготовлялась столетиями болезней сознания; освободить сознание от сна, проснуться к правдивой действительности, чтобы быть не пассивным зрителем мировой драмы, а деятельным ее участником, стремиться разрешить эту драму в своем личном сознании по мере слабых сил своих, — вот единственное отражение темы войны в круге моих работ.

В какой зависимости от войны протекает искание новых форм творчества?

В единственной зависимости: искомые формы творчества должны быть правдивым отражением найденной гармонии жизни «я» народов, «я» личного; эти формы должны быть

---

[1] Надо сказать, до этого именно «Утро России» публиковало весьма курьезные материалы по теме «Андрей Белый, Дорнах и мировая война»: «В настоящее время в Базеле проживает небольшая колония русских теософов, застигнутая войной в Швейцарии. Среди них хорошо известные в местных литературных кругах поэтессы Маргарита Сабашникова и Мариэтта Шагинян, а также поэт Андрей Белый (Б.Н. Бугаев). Увлеченные идеей создания театра-храма для мистерий, названные лица уединились для этой цели в Швейцарию, а Андрей Белый приобрел себе недалеко от швейцарской границы, но на баварской территории, имение, где предполагалась постройка зданий для мистерий. Эти религиозно-эстетические планы, однако, потерпели полное крушение, так как имение Андрея Белого, как русского подданного, конфисковано германскими властями, а сам талантливый автор “Серебряного голубя” вынужден был бежать в Швейцарию» (Утро России. 1914. Окт.).

истинным мерилом самосознания человека: мы должны лучше *видеть* и *слышать*, чтобы увидеть в себе отблеск образа души родного народа, чтобы услышать голос ее, обращенный к нам.

Национальное самосознание, подлинное выражение русской культуры, которая в нас еще только дремлет, — вот лозунг будущего. Чтобы быть истинно национальными, мы должны чутко слушать в себе и в других, что болит в нас всех душа русской жизни[1].

Под знаком специфически понятого национального возрождения круг «Скифов» (Белый, Блок, Есенин, Клюев) и воспринял начавшуюся через два месяца революцию. Что касается индивидуального пути, Белый оказался прав в том, что «тема войны есть тема работы далекого еще будущего»; темы и образы очерков 1916 г. встречаются, не говоря о непосредственно выросшем из них цикле «На перевале» (продолжением размышлений которого является «История становления самосознающей души»), во многих тогда еще не написанных книгах. Тему распятия, заканчивающую «Восток или Запад», мы встретим в «Записках чудака», «Христос Воскресе» и «Крещеном китайце». Россыпь образов, восходящих к очеркам, обнаруживается в «Москве»[2], действие первого тома которой заканчивается началом войны, а второго — происходит во время нее; прослеживается в очерках и основа сюжета «Москвы» — ответственность интеллектуала за мировую бойню и «снятие катаракта»[3] с его духовного зрения. С очерком «Современные немцы» связан план романа «Германия» 1931 г.; к живописанию горного ландшафта из «Природы» Белый вернется в «Ветре с Кавказа» и даже попробует перейти в этой теме к акварели.

---

1 Литературный субботник: Война и творчество (наша анкета) ‹К.Д. Бальмонт, Н.А. Бердяев, Андрей Белый, Борис Зайцев, граф Алексей Н. Толстой› // Утро России. 1916. № 344 (дек.).

2 «Доктор Доннер» («Гремящая тишина», «Кризис жизни»), «пастораль над бездной» («Горизонты сознания»), вся тема «открытия» («Горизонты сознания», «Природа», «Современные немцы»), Армия спасения («Горизонты сознания»), «черствая страстность» («Кризис жизни»), «созвездие Пса» («Кризис жизни»), Ратенау («Современные немцы»), «противогазовая маска» («Современные немцы»), никому не нужный Спенсер («Восток или Запад»), «Город Солнца» («Мертвые города»), «Лёва Леойцев» («Москва и Петербург в освещении прессы немецкой Швейцарии»); см. примечания к указанным очеркам. Вероятно, еще и многие другие.

3 «Революция — операция снятия катарракта на глазу художника» (*Андрей Белый*. Дневник писателя: Ритм жизни и современность // Россия. 1924. № 2. С. 146; ср. про «катаракт» как старую «личность»: Дневник писателя: Почему я не могу культурно работать // Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 113–116, 127).

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Очерки 1916 года для газеты «Биржевые ведомости»

Гремящая тишина

Базель

1

В Швейцарии говорят о войне; и подчас интересно. Но у немецкой границы, в углу, где живу я, все вдруг притихают; замерзает бойкая речь, и... опускаются руки.

Климат здесь непереносимо тяжел; и тяжело придавила война самосознание жителей: оттого-то вот тяжелы взгляды, поступи, домики, земляные горбы, самый воздух, сырой и туманный, — сквернейший из воздухов, — от которого падают люди в одышках, в бронхитах; как-то кругло затуплено в «io» самое немецкое «ja».

— «Бааа-зель», — поднимает голос кондуктор.

Подлинно: это не город Эразма; и это — не город Гольбейна; а — «Бааа-зель»; и этот «Бааа-зель» молчит, — все в нем замерло.

Но... гремит с горизонта.

«Гремящая тишина», — вот куда вы приехали; девятнадцатый месяц со мною она в мертвом шелесте городов, в мертвом беге часов; утром, ночью и днем — все «гремит» с горизонта.

Есть особая тишина у швейцарской деревни этого угла Базельланда, не подобная тишине русских ширей, где сердце бунтует и где все необъятно: ветром несутся пространства, и падает небо на вас самоцветною звездочкой. Все под ним отступило: все — плоско, все — ровно; глаза упираются в переливы заката или в кудри косматого облака. И тоска или радость, — от которых нет выхода, — угоняют вас прямо в смерть, если не к внятно гласящему небу.

Здесь теперь в Базельланде все скученно: тоскливо, несуетливо, — но душно. Внятно гласящее небо закрыто здесь тучами; слушают голоса... внятно гласящих орудий.

Местные простолюдины к войне попривыкли: они ее слушают иногда — каждый день, иногда — каждый час; вот стоит себе обыватель и от него развевается в ветре листик местной газетки, оповещающей мир: о поставленном электрическом фонаре между двух соседних проселков и... о битве в Эльзасе. О фонаре он читает, а битву он слушает. Битвы в Эльзасе обычны: как падение местного водопадика, эти битвы сопутствуют вашей жизни; вон «оно» загремело, и «гремело» так год назад. Через год «отгремит» ли? Обыватели местных поселочков собираются посмотреть на фонарь в первый праздничный день, как они ходили когда-то под праздник на холм,

чтоб с холма дозирать за шрапнельными огонечками. Огонечки видны и теперь; но на холм уж не ходят.

Тишина русских ширей — прозрачная, ясная, внятная, окрыленная в самой своей грусти: *тишина ожидания*.

В моем тихом углу бесстремительно все; каменно тишина припадает: поникаете вы у себя на дому; поникаете в ожесточенно рыдающем зимнем ветре; поникаете в летнем безветрии; и все точно валятся на дорогах меж грудами черепитчатых домиков, друг другу подобных; валятся и молчат: тяжело говорят, тяжело глядят исподлобья; и — тяжело выступают.

«Гремит» с горизонтов.

Вот сейчас я пишу, а — «гром» непрерывен; глухой говор обычно подымется; глухой говор потом упадет; а сегодня многие говоры, перебегая друг в друга, сливаются в басовую, глухую и тяготящую дрожь... Так гремело всю зиму, всю осень, все лето, всю весну; всю прошлую зиму, всю прошлую осень; и так же валились прохожие между грудами черепитчатых домиков; и так же валились из окон, из-за груды перин, утомленные грохотом, каменно глядящие лица; протягивались из перин и уставлялись в закат… с таким выражением, точно из них выпирало сплошное, больное, от боли уже и тупое, полуживое «оно».

Ты подвиг свой свершила прежде тела —
    Безумная душа…
Под веяньем возвратных сновидений
    Ты дремлешь; а оно
Бессмысленно глядит, как утро встанет,
    Без нужды ночь сменя;
Как в мрак ночной бесследно вечер канет, —
    Венец пустого дня… —

говорит Баратынский.

И вот «*оно*», это тело, грохотом пушек утомленной души, с острия всей культуры, глядит «*оно*»... в листик местной газеты, оповещающей мир о постановке нового фонаря и... о битвах в Европе. Тишина Базельланда — «оно»; про «оно» поют петухи; и отбивает отчетливый колокол — всё про то, про одно: про «оно»; и «оно» здесь во всех; и «оно» здесь во всем; и все — в «нем»; по ночам «оно» почивает в перинах, так же слушая все, как тихо дзынкнет окошко, когда… громыхнет с горизонта.

2

Помню я день и час, когда «громыхнуло» впервые.

Были душные, знойные дни; и дни были — грозные; обсуждались усиленно телеграммы; и — спорили: швейцарцы, немцы, австрийцы, поляки; раздавались задорные, юные голоса; раздавались взрывы смеха в разгар шумных споров; спорили добродушно: в войну все не верилось; и вот она грянула. Это было под вечер, на закате: закат был малиновый; пророзовели верхушки Эльзаса; вдруг весть: таки — война. Как сейчас это помню: взволнованно подбегает ко мне мой приятель, черноусый статный баварец, берет меня за руки и говорит улыбаясь: «Так-таки мы

враги?» Я без слов пожал ему руку, вскоре он уехал на фронт; поразъехалось все, что смеялось, галдело и спорило: итальянцы, австрийцы и немцы; обитатели Базельланда галдеть не умеют...

Мое окошко — в долину; цветущие, белокудрые вишни весною глядят из него; вечерами восходят закаты; в него свистит ветер всю осень, всю зиму; над вершинами низкорослых деревьев — красная черепица; и дальше — равнина, упертая в холмистую даль; в синеватых далях граница; будто бы иногда распахнется там воздух: перед ненастьем особенно, и прорежутся темные гребни Эльзаса; вот оттуда-то и летит:

— «Ру-ру-рууу».

Порой отзываются стекла окон; вдруг не выдержат и расплачутся (люди вот более уж не плачут); немецкую пушку я знаю; а вот это невнятное «уу-уу-уу» — французская пушка. Так они говорят дни, недели и месяцы — девятнадцатый месяц! Но ко всему привыкаешь: и мы совершаем поездки из-под базельской деревушки: послушать Бетховена (не «ван» Бетховена, а просто Бетховена); но и под Базелем она: *гремящая тишина*; и сквозь звуки пасторальной симфонии прогрохотнет гремящая тишина с горизонта. Вошла в восприятие и живет в восприятии… ну, как пение комаров, визги ласточек, визг далеких трамваев или шум водопадика; и умолкни он, тут-то вы и заметите, что он был; когда «гремящая тишина» неожиданно станет безгромной, то обыватели говорят:

— А ведь вот: перестали стрелять!

Западный фронт упирается прямо в нас; он в каких-нибудь пятнадцати километрах; и поражает меня уже полное безучастие нас к кипению бурной жизни поблизости, полное неведение подробностей происходящих событий; иногда «гремит» непрерывно неделя, другая: в газетах — молчание; иногда «гременье» стыдливо, а пишут: сражение.

Тянутся сонливые дни; и проходят бессонные ночи; никогда еще меч сомнений не рассекал наши души с такою огромною болью; никогда еще разделение не кололо человечество с такою жестокою силою; кризис сознания пересекается с кризисом жизни; были же голоса — отчего их не слушали?

Я в туманную ночь открываю окно; из туманной мглы вылетают снопы: световое пятно загорится на туче; разбегается, угомониться не хочет: сигналы.

В первый месяц войны, Боже мой, что тут было!

В Базеле поразвесили объявления о возможности битвы под Базелем; по дорогам двигались пехотинцы; трещал здесь и там барабан; батареи с полей уставились по направленью к Эльзасу отверстиями пушек; в пыли фыркали лошади и белели султаны; скрипели телеги с фуражом, а сумасшедшие, исступленные кучки кричали, что надо бежать, что французы ворвутся в долину, а немцы ударят в нас пушками; говорилось об обстреле домов; этот дом — не опасен, а этот — опасен; а рука все тянулась к белеющей гряде гор, подымающейся над Рейном, из Бадена; там, оттуда-де — пушки: всё в пушках!

После — мы успокоились; еще изредка трещал барабан; в пыли фыркали лошади и белели султаны, а сумасшедшие исступленные кучки порассеялись по домом; пораспрятались тележки; и утомленные грохотом головы повылезали под вечер, как

прежде, из окон, из-за груды перин, переговариваясь с такими же, как они, утомленными головами, глядящими из окошек; каждый выстрел, мол, — ведь вот — убитые жизни; продукты, мол, дорожают; а что будет после; после — все успокоилось; хотя громыхало сильнее; а с белеющей гряды гор, где всё — пушки, те же пушки глядели как прежде.

Пели мирные петухи; колокола звонили в полуночи; с десяти часов вечера — ни души, ни огня!

3

И прошло десять месяцев.

Ни одного события здесь, все притихло и все выжидает; издали лишь военный оркестр вечерами наигрывал грациозные вечерние зори: прекратилась стремительность суетливых движений военных отрядов; изредка, загорелая кучка солдат покажется на улицах деревушки; и пропоется тут песня; разговоров о том, что, мол, выстрел — убитые жизни, — разговоров таких уже более не ведут; простолюдины как-то стыдятся говорить «об этом»; про убитые жизни — ни звука: говорят о керосине, о сахаре...

А «ру-руу», «уу-уу-уу» продолжается, как и прежде; нет, и звякнет стекло; отзовется; отзываются люди в душе: не отзываются в слове.

Вот закаты здесь хороши: лилово-багряные тучи несутся — клочкастые, быстрые — по бледно-зеленому небу; а то оно — грозное: рдеет кровью, быть может пролитою только что в пятнадцати километрах от нас; в этой гаснущей рдяности — блистательный треугольник из двух немигающих звезд и юной, хрупкой полоски серпа-полумесяца; огромные две звезды соединились так близко: Юпитер с Венерой — с любовью мудрость, и — над Эльзасом стоят; соединение — в небе; но на земле — разделение.

И говорит мне знакомый:

— Вы поедете на Дуриго?.. Ведь завтра Дуриго...

Дуриго чудесно поет.

— Посмотрите там: эти звезды...

— Там на днях пролетело до двенадцати аэропланов.

— То-то ночью стреляли…

— А как же Дуриго?..

Но о Дуриго мне думать не хочется; пусть все едут послушать Дуриго; пусть Дуриго чудесно поет; на Дуриго я не поеду; не надо Дуриго. И мне интересней Росмини — философ Росмини, тот самый, который самую кантианскую схему превратил в онтологию; надо же и мне развлечение: не все же слушать «рууу-руу» да глядеть на «оно»; у одних есть Дуриго, а у меня — онтология... Ведь и самое это «оно», из окна глядящее тело, не всегда глядит из окна, но... сажает плоды в огородике.

Тихими вечерами блуждаю по мирным тропинкам и вспоминаю знакомых на фронтах. Помнится один вечер, — с той поры прошел скоро год: на стекленеющем небе поднялся какой-то предмет и, розовея, повис в неподвижности; я на него засмотрелся; он же — стал розовым облачком. Нежное, оно истаяло вско-

ре; предмета уж не было; но рассказывали газеты, чем был тот предмет; там шел бой — столкновение цеппелина с аэропланами, кажется; кажется, кто-то кого-то там подстрелил (выстрелов я не слышал); но видел я: на стекленеющем розовом небе поднялся предмет и стал после облачком; облачко порастаяло; а куда девался предмет?

Это было уже скоро год; но все так же «гремит» с горизонта; из-за перины «*оно*», сонливо глядящее тело, грохотом утомленной души, все так же, все так же! — с отчаянием уткнулось в окошке глазами в газетку и машинально читает: о починке поставленных фонарей между двумя деревушками.

Здесь я должен отметить: спасибо швейцарцам! «Грохотом» утомленное тело местного простолюдина имеет чуткую и очень добрую душу; местные простолюдины все-таки по крови «германцы»; местные пограничные интересы все же кровно связаны с Баденом и Эльзасом; у того в Мюльгаузене — дело; у этого — близкие; треть населения в мирное время здесь — немцы, как, например, убитый в начале войны профессор истории искусства в базельском университете (пал же он под ударом штыка нигерийского негра). Но при этой естественной связи с «Германией», сколько видел я, «русский», здесь такта по отношению ко мне. Ни одного неделикатного разговора, ни оттенка вражды. Часто болтаю с утомленным грохотом простолюдином — все о том, об одном: мол, война; жалко, мол: что, мол, — люди.

Горизонты сознания

В грозные, знойные, душные дни
Белые, стройные, те же они…
Вл. Соловьев

Базель

1

Слушаю глухой говор орудий с эльзасской границы, и почему-то мне кажется: глухой говор знаком.

В глубине деревенских полей подымался он некогда; перепелиные крики стояли; из-за ржи, в васильках, кто-то там подъезжал; явственно громыхала телега: далеко, бессменно по вечерам на зоре. Бородатый лесничий, мой друг, на приступочке белого домика исподлобья, бывало, посмотрит, и спросит, бывало:

— А ведь… едет?.. Ведь едет же?

Перепелиные крики стояли; и *ехало*, не доезжая, там из-за ржи, в васильках; гремела телега ли… Пушка ли? Это было под Луцком.

Подъехала, и — кажется, белый домик разрушен уже — орудийным говором.

Глухой говор гремел над ночною Москвою, — тому назад десять лет, над апельсинником италийской равнины и в ковылях русской степи:

— Дни текут… Времена накопляются… Приближаются поступи сроков… И исполняются сроки…

Но разве не помните вы? Про 913-й год говорилось так много в крестьянстве; на год просчитало крестьянство; слышало и оно глухой говор событий, как его расслышал поэт:

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой –
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней.

Александр Блок

Не над Россией гремело: гремело в Европе, гремело над миром; гремит и доселе — за громами пушек: *грядущие громы*.

Слушаю глухой говор орудий с эльзасской границы; не удивляюсь ему; уезжаю в Базель гулять и подолгу стою над зелеными струями Рейна; над струями — чайки.

Каждый знает минуты невнятицы; я люблю подслушивать глухонемую невнятицу — полудрем, полумыслей; надо и их выговаривать членораздельно и внятно:

Парок бабье лепетанье —
Жизни мышьей суетня…
Я понять тебя хочу –
Темный твой язык учу.

Всякий знает из нас вот такую невнятицу: вдруг покажется, что в напряжениях материальной культуры надвое разрывается жизнь, что машины бьют в пульсы слабеющей жизни железными пульсами. Схватит такая минута стремительно в суете городов; и покажется вдруг, что… — вот он, фешенебельный господин манекен с угла уличной вывески рекламирует немой толпе — производство гомункула; и рост механической жизни покажется грозным наростом; пухнет опухоль городов — пора ампутировать опухоль; материальное тело жизни — раздуто чрезмерно.

Так невнятица скажет — так ответишь невнятице:

Я понять тебя хочу –
Темный твой язык учу…

Безотчетности эти переживаем мы все; и горизонты сознания вставали тут пред нами; горизонты гремели нам кризисом; материальную опухоль жизни (мы знали в те миги) пора ампутировать: человечеству угрожает гангрена.

И что мы узнавали в себе, то потом узнавали извне: узнавали из книг, узнавали в обычных беседах — в вагоне, в трамвае, в трактирчике между селедкой и водкой, — и испарение слова о чаемом воскресении мертвых в нас сливалось подчас с испарением винного погребка и плачущей скрипки оркестрика в лихорадочной атмосфере — пасторали над бездной.

2

«Бездна» была популярна; и даже была монополия «бездны»; «бездники» — русские, мы; уплощены люди Запада; тело Запада, роковое оно, «почиющее в гробе»; с легких слов Достоевского — почти с легкомысленных слов! — из драгоценной гробницы соборов, как желтая мумия, по убеждению нашему, в утро сознания нашего Запад вперялся — вернее, в зеленое-раззеленое петербургское утро.

Но как знать: может быть, слушало и «оно», тело Запада, как с горизонтов сознания медленно уплотнялась гроза, громыхающая у меня за окошком уже девятнадцатый месяц — без передышки, без умолку?

Непрерывно гремит кончик фронта; непрерывно гремит за ним фронт; непрерывно гремят все четыреста километров, быть может. Мне отчетливо ведомо, что все новые сотни тысяч людей, точно рожь в молотилки, ввергаются в ту же полосу: отгреметь у орудий; и, отгремев, может быть, опочить; от машины — к машинам — идут себе люди; в *гремящую полосу* (здесь на фабриках много есть иностранцев); гремящая полоса — острие всей культуры; вырвалась из руки человека — машина: сроились машины; и — бьют человека: существа непонятных, уродливых, многовиднейших форм — существа грозных демонов! — нашли себе тело; в железе и стали. В моем мирном селе есть сапожная лавочка; добродушнейший итальянец колупал в ней подметки весь день; и — пропал итальянец; вероятно, воюет он; напротив — пекарня; в ней сидел тихий немец, продававший бессменно: печенья и булки; разразилась война; но, разумеется, пекарь все с той же охотою мне завязывал булочки; повздыхали мы о войне; и — продолжаю по-старому: я — у него покупать (здесь так мало пекарен!), а он — продавать.

Как-то раз захожу:

— До свидания, господин; и — всего вам хорошего.

— Что такое: куда вы?

— Никуда особенно: на войну.

— Забирают?

— Забрали...

И пекарь с доверчивой грустью вперился зрачками в меня, поморгал и вздохнул:

— Ах, скорей бы конец, господин: ну зачем «это» длить?

Пекарь знал, что — я русский...

Вот огородница, у нее прелестные дети; иногда кудрявая четырехгодовалая крошка постучится ко мне (она не «германка» — ребенок!) с салатом, с томатами, чтобы с медлительной важностью мне это все передать и получить свой подарок — огромную грушу; до войны еще здесь знавали отца ее, человека с задумчивым взглядом и очень кроткого нрава: он скончался от ран неподалеку от Базеля.

3

Барышня в трауре, студентка из-под Берлина, живет здесь; у нее задорное личико; я ее знавал до войны; идет, улыбается, приветливо посылает поклоны — теперь, как и прежде; ее брат, офицер, наповал убит на восточном фронте; другой

брат — сражается... Не могу ей не кланяться, как того хотели бы, может быть, от меня: у нее же и горе...

Если бы поступил я иначе, я нарушил бы стиль «тишины»: тишины сериозной, задумчивой; и швейцарский крестьянин окрестностей Базеля, у которого есть связи с немцами, который ко мне безупречен, — швейцарский крестьянин бы на меня посмотрел и медлительно покачал головою. Обыватели Базельланда без всякого боевого задора принимаются со мной говорить... о мужичке и о русском рабочем, что, мол, трудно ему, как и всем теперь трудно; что такое, мол, время, что так, мол, приходится.

С ужасом очень многие здесь ожидали войны; но без ужаса многие после на нее уходили, прощаясь друг с другом; итальянец шел в одну сторону, а немец — в другую; трудно, мол, а приходится, мол, знать, такое уж время.

Знаю я: новые полосы — за полосой полоса! — будут ввергнуты в машинами гремящую полосу; и мой пекарь в варварской каске, может быть, у орудия громыхнет на меня; знаешь: война — не окончится; через несколько месяцев, попрощавшись с садовницей, четырехгодовалою крошкой и барышней в черном, ты отправишься сам громыхать против пекаря. Это знают здесь все; само время грохочет.

Оттого-то вот и «гремящая тишина» не удивляет нисколько; слишком много здесь в «черных» платьях; и «всё» здесь всем ведомо; все вступили в гремящую полосу; с горизонтов сознания уж давно громыхало.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!..

Ал. Блок

Певец севера, Блок, здесь нашел бы поклонников среди огородников, пекарей и фабрично-заводских рабочих.

Певец севера, Блок — голос в хоре, а хор, то есть Ницше, Стриндберг, Толстой, Достоевский и прочие, прочие, прочие, — этот «хор» был когда-то осмеян; потом же был отдан он переплетчику; этот хор чудаков (первоначально «опасных», потом — «не опасных нисколько») стоит себе стопочкой томиков у европейца, у русского (Владимира Соловьева читают на западе: восхищаются «Духовными основами жизни», понимают «Три разговора»; я боюсь, что эти «Три разговора» теперь непонятны в России: они — позабыты... до времени...).

Несомненно же: Владимира Соловьева забыли мы; нет, он — не ко времени; и «Три разговора», конечно же, не ко времени тоже: Соловьев любил мистиков — Бёме, Экхарта, то есть предтеч философии: Канта и... «Круппа» (?): после одного московского реферата, которого заглавие видел я напечатанным крупным шрифтом, и «Крупп» стал философом, учеником великого Канта; Кант, философ — я знаю: а вот «Крупп», это — спорно; до сих пор полагал я, что Крупп — порождение милитаризма; и — только; меня убедили в обратном: сопоставлением «Круппа» и Канта; так как я Владимиру Соловьеву доверяю доселе, так как первый русский философ и очень считается с Кантом, мне приходится, закусивши язык, автору реферата поверить и утверждать: Крупп — философ...

Здесь читается Соловьев: и, конечно же, он — не сопоставляется с «Круппами»; учатся по Соловьеву провидеть: космическую сверхмерность войны и... кризис сознания, — «*непереплетаемый*» вовсе: переплетчику войны не отдашь; семью краска-

ми спектра ее не окрасишь, конечно: простолюдины Базельланда знают: — «внецветную» сверх-размерность войны; оттого-то здесь так умеют молчать, не читать рефератиков: о Владимире Соловьеве, об Экхарте, о «Круппо-Канте» и прочем. Здесь увидели явственно, как из бури свинцового грохота *не рука* человека грозится руке человека и поднимает тот грохот: человеки тут ни при чем; человеки — орудия.

И против орудийных грохотов здесь, в Швейцарии, подняли все — человеческий стяг, хорошо знакомый и нам, по собранию сочинений Федора Достоевского.

«Дорогая могила», весь Запад, — ныне чтит Достоевского и вопреки заявлению Достоевского, что этот Запад — могила, в час войны этот Запад мне дышит не тленом; он дышит бодрящею жизнью; и явственно: пресловутый кризис сознания, называвшийся некогда «апокалиптическим» громом, — был Западу ведом; но Запад молчал о нем.

4

Уже скоро два года, как я изучаю внимательно среднего обывателя в час войны: в тысячах мелочей, о которых писать неуместно, обыкновенный швейцарский крестьянин этого угла Базельланда всей манерой держаться (хотя бы со мною) подает мне урок; я его не забуду; обыкновенный швейцарец теперь всюду жертвует, не считаясь с симпатиями, — на армян, на поляков, на сербов, бельгийцев и... немцев. На детей павших в битвах; о «глаголах» молчит: но и на площадях есть «глаголы», подобные нашим религиозно-философским собраниям: — о кризисе жизни: «Армия спасения» распространена; и — действует в час войны; я часами простаивал, слушая проповедников «армии»; и был на собрании «армии»; выслушивал речи — о Боге, о чёрте; и — очень неглупые, способные удовлетворить ну хотя бы читателей Мережковского. Речи эти — открыты, доступны; и — раздаются под солнцем: прохожие остановятся, очень внимательно слушают, не смеются, молчат и... идут себе дальше — может быть, в «комитет»; жертвовать на армян, на поляков, на сербов...

Все — человеческий лик культуры в традициях высокого гуманизма из-под звериного рева машин напечатлелся отчетливо.

Европеец — не умер.

Кризис жизни

Базель

1

Нас обстал кризис жизни: на перевале сознания подстерегают нас кризисы жизни; приложения понятий к техническим производствам культуры уплотнили нашу мысль; наша мысль не живая; она превратилась в абстракцию; уплотненье абстракций — материализм нашей жизни; материальное тело абстракций — машина.

Машина восстала на нас: и конкретный мир стал — мир материально-машинный; и черствый, и чувственный; черствая чувственность — роковой наш удел.

Мир природных явлений перестал для нас быть; ненормальная «*вытяжка*» из природы его заменила; утерялась в нас «вещность», сменяясь экстрактом; и нет нам предметов, а есть предмет-«*ины*»; предмет-«ин» же есть «вытяжка» из предмета для... потребления чрева.

Чревоугодие материальной культуры — продукт очерствления жизни; абстракция — продукт истощения.

Слепота — тончит ухо, а глухота — тончит глаз: неужели же для утончения зрения мы должны протыкать барабанную перепонку? Это было б безумием. Но на безумии этом построен ненормальный рост специальных отраслей знания; и богатства машинного мира разрастаются в мире ценой оглушения, ценой ослепления; и глухие, слепые, немые правят бегом развития; оттого-то не расслышали мы нараставших громов сознания; мы, имея уши, не слышим; мы видим; и другие из нас только смотрят... в очки.

Оттого-то мы не видели отдаленных молний грозы; мы увидели зарева; мы расслышали пушки; легкий говор сознания и голоса сознающих не расшибли в нас глухоты; не расшибут они — в будущем; расшибут — грядущие громы.

Легкие ж голоса громыхающих событий культуры раздавались столетия... Если б нам уши!

Лучшие традиции Возрождения столетия мы низводим на нет: столетья убиваем конкретную значимость жизни и говор явлений; Возрождение призывало нас явление как таковое любить; и в Возрождении в отношении к явлению пересекаются: художник с ученым; опыты Леонардо — любовные опыты; но опыт Роджера Бэкона из глубин средних веков — уже не опыт, а... пытка явлений: убийство явлений; это-то убийство явлений перенесли мы в XVI век вопреки лучшим традициям гуманизма; часто опыт природы был пыткою; так, XVI век, зацветя инквизицией и закругливши в развратном барокко (в пресловутом Style Jésuite), перенес инквизиционные приемы терзания, пытания на мир цветущей природы; в опытах разрушались предметы для добывания всевозможных гастрических лакомств; вещь, реальность как цельное нечто — распалась; на абстракцию ее в мысли (пресловутую «вещь в себе») и на труп от конкретной реальности, на феномен, на «вещь для нас»; а материальное тело культуры ее превратило в… часть брюха: в отложение жировых желез, в субъективистическую отрыжку действительности; развитие философии сосредоточилось на методологической разработке всевозможных отрыжек; и пошли расти «научные» феноменализмы и скептицизмы.

Style jésuite, развитие материальной культуры, номинализм новейшей формации критической философии коренятся в едином источнике: в разложении конкретного мира на абстракцию и на... вытяжку для гастрических потреблений; но в гастрическом потреблении — еще полной реальности нет, и вкусовая отрыжка комфорта — не действительность вовсе; точно так же: в теоретических выводах специальных отраслей знания перед нами не мир, а разве что… проекционный пунктирик: да, понятия именно в наших точнейших науках сведены часто к графике; и объяснить, понять — это значит: изобразить сеть кривых и условно исчислить их; дифференцировать — еще не значит учить пониманию; и чертить графы — не значит осмысливать.

2

Так первичная конкретность идеи о конкретном предмете подменяется в нас эмблемой о съеденном, о потребленном корыстно; раз идея в явлении пропадает, явление — *предмет потребления*; и оно круглит нам желудок; оттого-то конкретности жизни превращены нами в *жир*; идеалы наши — пунктир на бумаге, а истина есть «не сущее». Вместо слияния с миром — господствует: пожирание мира и раздробление мира; то есть: введение мира в желудок для накопления… жировых отложений. Человек XX века часто есть безмясый скелет, опухающий мертвенно: жиром и салом; вместо сердечного *знания*, вместо *сердечного* отношения к жизни у него господствуют два усвоения жизни: усвоение при помощи мозга и при помощи функций желудка; первое усвоение есть «*крап на ничто*» (т. е. крап электронов над бездною); усвоение же второе — чревоугодие просто.

Должное, реальное знание — в усвоении предмета узнания; а современное знание, сосредоточившись на *методе*, предмет устраняет; и предметом узнаний становится *метод*; вне метода — просто хаос: вращение газов.

Самые органы чувств расшатаны современною культурою; и пропитаны: и алкоголем, и никотином; восприятия наших органов чувств — *никотинные*; в них луг пахнет дымом; в восприятиях наших природа убита; и рев паровоза для нас — естественная черта пейзажа, а фабричная гарь — принадлежность зари; естественных восприятий в нас нет и оттого-то нам нужны — абстракции доказательств и самая материя потребления; осязание, самое грубое чувство, оно только живо в нас.

Так предметы узнания уничтожаются нами в процессе узнания: распыляются в голове электронным пунктиром и раздробляются на зубах при введении в «чрево». Вместо конкретного мира вырастает поэтому в нас мир танцующих математических знаков (дифференциалов и функций), роящихся над трупом явления.

Вот подлинный, неприкрашенный образ материальной культуры: и мира в нем нет; мы из мира повыпали и летим над бездной в… действительность, несоизмеримую с некогда данной нам: действительность, нам грозящая, перед нами прорезалась явственно, она показалась пред нами, видная пока в аппаратах, приборах и лупах, как мир инфузорий, но аппараты, приборы и лупы суть воистину новые наши органы чувств, вместо испорченных нами, аппараты эти уже срастаются с нами, скоро они прирастут, прилипнут к глазам и ушам, это — первая прорезь в грозящие наши судьбы, через трубу микроскопа свалиться в миры микроскопа и зажить инфузорией. Воистину, на земле мы — «как будто», где ее былой лик? где ее конкретная правда? Материальная культура — не земная культура: земля — идеальна, конкретна, природна, естественна, а наш мир — мир искусственных аппаратов, понятий, стремлений, потреблений и похотей, этот мир — не земля, а пожалуй — какая-то «*X*» планета, может быть, из созвездия *Пса*, не из созвездия *Солнца*… Не дети мы Солнца.

Солнце прежнего мира (откуда мы выпали) разве что бьется в нас; мир идеально-конкретный, т. е. небесно-земной, — разве что в нашей совести, в беспредметно поющей, аполлоновой музыке наших душ; может быть, в поэтической сказке; подлинная земля — только он; в нем — остаток конкретности.

Но мы его гнали.

Мы подзывали иную действительность; мы столетие сотворяли ее, мы плели себе горькую участь; заплетали нити судьбы; мы расплавили землю в «*не сущие*» электроны и атомы; диссоциация мира в картине научных понятий имеет условный, технический, вспомогательный смысл; мы осмыслили этот смысл: возвели его в перл идейного творчества; перед нами восстала картина — разрыва действительности; распадается, разрывается человек — под говором пушек.

Гуманизм убит механизмом; земная конкретность — машиной. Восстание на человека машины — пока что эмблема; но в эмблемах, в предчувствиях, в прообразующих жестах встает лик Грядущего.

Человеку пора призадуматься над судьбой человека; и — европеец задумался; человеку пора апеллировать к смыслу жизни, который в нас вписан. Как бы в труп убитого, конкретного мира не вошел дух иного, *недолжного* мира, противного нашей совести?

3

Нужно твердо нащупать в нас *человечество*, например: не ангельство, не машинность; в настоящее время испуг пред машиною вызывает в иных обращение к религиозным истокам; но возвращение к Богу у многих носит машинный характер: многие защищаются Богом, противополагая его звериному лику природы, противополагая божественность самому человечеству. И обращение к Богу носит характер возвращения вспять.

Мы должны вернуться к истокам великого гуманизма: Возрождение, традиции Возрождения, его широкий, вполне гуманный размах, — вот что нужно усвоить нам. Схоластическим прением с бездушной машиною и преданием всей культуры костру инквизиции мы ускорим лишь наш печальный конец; отдавая свободное, автономное лицо машине в исканиях нового «ангельства», мы разве что приблизим машину к себе. Возвращение средневековых суеверий обернет машины в бесовскую рать; возврат суеверий вернет наваждения; и аппарат — будет нам: Господин Аппарат; Господин Аппарат будет новым Hircus Nocturnus'ом на шабашах человечества. В образах и подобиях механической жизни напечатлелися мраки средних веков; механическая культура тесно связана с темными сторонами схоластики; схоластика возродилась в *методике*, в *методологии логики*; но она пустила более глубокие корни; и к схоластике проведения понятия по рядам присоединилась схоластика проведения нашей жизни по машинному ряду.

Средневековые вкусы новейшего модерниста — естественный дополнительный цвет к… механическому мировоззрению современности.

Да, Игнатий Лойола, он слит с нами кровно: его исповедальня — машина.

Кризисы материальной жизни — колебание ее идейно-конкретной подпочвы; идеология — результат конкретного творчества; идеология материальной культуры, разлитая в мире, — подлинная причина войны; а война — выражение внутренно скрытой болезни, глодавшей вселенную: нечто вроде лихорадочной сыпи, проступившей из крови — на коже; тут втиранием мази ничем не поможешь; изменение крови — вот корень лечения; он — в перемене ритма пульсаций; наше сердце пуль-

сирует метрами многогромных колес и метрами дребезжащих трамваев. Пусть же оно запульсирует метром песен; пусть оно осаждается бытом: ожиревшее брюхо жизни и анемия мозга перестанут изламывать жизнь; механика пресуществится в органику жизни. Противление человеческой совести против механики жизни — трагедии сознания нашего; и в ней — кризис сознания; в нем — кризис жизни; внешние выражения кризиса — междуусобия, войны, болезни, убийства, наконец, коллективное помешательство.

Так: пока сознание наше не вернется к своим человечным истокам от машинных разливов, механическое прекращение нас обставшего кризиса будет бесплодным втиранием мазей, т. е. лечением прокажённой кожи культуры вместо лечения заболевшего сердца. Грохоты горизонтов сознания не прекратятся дотоле: горизонты сознания — это мы; мировая война — Alter Ego.

Природа

Базель

1

Отъезжаете от немецкой границы, — напряжение разрывается в говоры. Бегают говоры, а говор пушек смолкает.

Появляются индивидуальные искры — в словах, в жестах, в мимике; всё кругом интересней, всё кругом легкомысленней, веселей и напевней; но правды молчания нет; глухой говор орудий с эльзасской границы тушит личные говоры; слушаешь глухой говор орудий; и — не прикрашена правда.

Размышления князя Андрея Болконского о войне в знаменитом романе Толстого для салонного ли разговора? И настроение этого угла Базельланда заострилось в тугую, в тяжелую немоту: около тяжко больного говорят люди шепотом — о пустяках, может быть.

Отъезжаете от немецкой границы; и — видите: быт изменяется; все реже черные платья; их — нет; но, отступая на юг, вы встречаете вновь их: черные платья француженок и бельгиек, не немок.

В середине Швейцарии, приблизительно у Люцерна, нет черных платьев.

Черные платья на севере и беднее, и проще; неказист порою их вид; бледны лица из платьев; говорят лишь глаза. И бурно колеблются черные платья на юге; зажигаются быстрые речи о близких, о братьях, о родственниках; этого — не узнать: отпустил себе бороду; от того — нет вестей, а тот — в госпитале, и — веером распускается разговор.

Но, отступив в глубь страны из-под говора пушек, убегаешь невольно от речи о... говоре пушек; с неудержимою силою ты притянут к так внятно гласящей природе, к темно-зеленому озеру.

Был конец сентября: год сидения в Базельланде довел меня до отчаяния: я убежал, и — забегал: по дорогам, по озеру; вдоль Герзау, Флюэлена, Бруннена и до самого Сен-Готарда. Каменистые пики грозились, вставали под небо, перекликались друг с другом, образовали огромную полифонию: творимого космоса; и тяжковесно, отвесно — громоздились громадины; в оскалы провалов вставали туманы;

мертвенно реяли облака; и — проливались дожди; бегали издали быстрые линии пиков, пальцы пиков протягивались, «штейны» и «горны» грозились, лазурные многозубия истекали бледными ледниками, и нервные, бледные линии гребнились повсюду; жестикулировал и расставлялся рельеф; пенились, проливались потоки с огромных престолов; и говор громового голоса сопровождал меня всюду: по часам плясали в глазах на бегу: стены, сосны, потоки и пропасти, камни, кладбища, деревеньки, мосты; пурпур трепаных мхов под зубчатыми замками, нерукотворно воздвигнутыми из чистейшего, яснейшего льда, — пурпур трепаных мхов кровянил все ландшафты; крутни мокрого пара стремительно выбегали в расколах громадин; и — стремительно падали белыми лавинами сырости между водою и солнцем; вот бывало — обдавал танцующий пар; начинал хлестать мне в лицо, подвывая, подсвистывая и мрача на мгновение; облако падало под ноги — в космы потока; пряталась бурно бившая пена под спокойнейшим молоком; но под ним все — дрожало, рыдало, гремело, стонало и пробивалось в редеющем молоке теми же водными космами с на краю их обсевшими старыми, деревяннорезными домами подножной деревни и с церковною колоколенкой; «клянчили» звонкие колокольца коров неугомонно и весело — в серо-черном, в обсвистанном, ветром облизанном мире, где бросаются сосны приступом на чистейшие ледники, чтоб... разбиться о стену; вот подбросилась последняя сосенка; и — повисла; вон бегущие ветры в ветвях разрешаются в свисты под черным ревом утесов; вон — гортанный фагот... меж утесами... углубляет ущелье под четкими, чистыми гранями серогранных громад; вдруг почудятся звуки оттуда: серебристых арфистов, цитристов; там — алмазится снег; там, оттуда — посмотрит *тот самый (а кто — ты не знаешь); и — тем самым взглядом* (каким — ты не знаешь) посмотрит, прорезав покровы природы; и — отдаваясь в душе: исконно-знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда; но — забываемым часто в «трамвайной», «кофейной» культуре городских, громких центров.

2

Вспоминаю скитанья в горах; мыслишь там — *ни о чем*; *ни о чем* — свисты ветра.

Но *никчемные* мысли летают огромными ритмами; мыслью рушатся горы — в душе водить думы; идешь себе; уж не смотришь; в полузакрытых глазах метаморфозы обставшего пейзажа — сотворяются заново — полуобразом, полумыслью; там линия пиков змеится орнаментом мысли, овеянной ветром; ты — ветряный; в голове твоей ветер; останови его; и — фиксируй: он тотчас же уплотняется силлогизмами; сознанием проницаешь ты ритм вне-сознательной мысли.

Где-нибудь перекусишь; и — далее.

Сознание наблюдает, описывает прорастание мыслей из красочных пятен фантазии; и — прорастание в эти пятна тебя обставших громад; громады поят тебя мыслью; они — чистая, кристальная мысль, там осевшая горной породой; и здесь вставшая — философемою, как вот эта долина; ты прошел шесть долин; шестерично переменились рельефы; шесть систем философии пробежало вершинами; Гёте, Гердер, Новалис, Шлегель, Шеллинг и Гегель — прошли пред тобою.

Ты видел воочию их. Твоя мысль ни о чем, пробужденная в душу павшими пиками, осозналась; и — вот она: *мысль и природа — одно*.

Человечна и мягко гуманна природа; в ней нет извращений; но человеческий взор озирает ее плотоядно; человек современности на нее воззрился, как кошка на птичку; птичье пение — есть; но в зажаренном птичьем мясе нет пения, в «потребленной» природе идея убита; и — мертвой материей противостоит она нам; «материализм» — внеприроден.

Основа природы — природа идеи; и «*философия тождества*» Шеллинга проверяема горным ландшафтом; слушай пенье потока и записывай точно, что встанет из пенья потока в душе твоей; правда Гётевой мысли откроется явственно: «*манифестация тайных знаков*» (Гёте) природы в понимании жизни сознания; метаморфоза идей уподобляема метаморфозе растительных организмов; она — конкретна, точна, наблюдаема, описуема; и описание *точной фантазии* мысли и есть философия.

Вот гуманнейший лейтмотив в мировоззрениях Гёте, Гегеля, Шеллинга и — других; и — вещая фантазия мысли (*сознание и природа — единство в природе идеи*) — вненациональна, всеобща, вечна и гуманна она; корни русского самосознания — здесь; в мягкой проповеди старца Зосимы о единенье с природою; продолжение Баадера, Гамана, Шеллинга в философеме Вл. Соловьева; и в проповеди Мережковского; и великий русский философ-лингвист, наш Потебня — продолжение Вильгельма фон Гумбольдта.

Так далее, далее...

Бросать камнями в эти мысли не значит ли — откровенно идти на разрыв с нас зовущей природою, с природой сознания, чтобы сковать себя рамками вне-природной «трамвайной», «материальной» культуры; это было бы варварством, воскрешением каннибализма в XX столетии; это было бы насаждением очагов дикарства в самых центрах культуры.

Между тем это варварство (разрушение собора из мысли) передо мной на столе: 234 страницы объемистой книги; в ней осмеяны, оплеваны и затоптаны в грязь дорогие нам имена: Бёме, Гамана, Гердера, Шеллинга, Гегеля, Баадера, Гёльдерлина, Новалиса, Шлегеля, Гёте, Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов — «пангерманистов» и «патологических мистиков», заключивших комплот против французского духа.

Пангерманизм их? Они учили о том, что Христос — внутри нас. Поздравляю нас с вами, читатель: Достоевский, Толстой, Гоголь, Федоров, Соловьев, Мережковский и прочие — «патологические националисты».

Спасибо, спасибо!

Но далее: ощущение Бога в себе — самонадеянный мессианизм, ведущий к милитаризму; торжество природы и духа — распространение эгоизма вовне, ведущее к... «Круппу». Автор объемистой книги видит в Новалисе, в Гамане предтеч политики... Бисмарка — только!

3

Вот глава «L'experience moderne et l'Allemagne mystique». Привожу ходы мысли случайно открытых страниц. Изучение Востока обозвано «фееризмом»: восточная

феерия-де разыгралась в Германии (52). Гердер первый ценитель литературы Востока (53); это — «варварство»; родом галлюцинации-де страдал бедный Гаман, ибо он ощущал: Христос в нас (54); «Философия и религия» Шеллинга — «варварство» (55); дух «претящего» мистицизма заложен в германской культуре: «душа мира» близка германизму; и это — лишь варварство (56). Световая теория Гёте — «мистическая химера» (61); и немецкая выдумка — реставрировать идею о триединстве (61); самые «теза, антитеза, синтез» — отрыжка каббалистических бредней (61). Выражение Гегеля (мировой дух) заимствовано из трактата о философском камне (72). Да и сам Кант — по существу только мистик (74). С ганнибальской развязностью автор объемистой книги расширяет тезис г. Эрна «От Канта к Круппу». Опасные тезисы! Если «от Канта», то... почему не от — «Гёте, Гердера, Шеллинга, Баадера, Гегеля и других»: Достоевского, Вл. Соловьева, Потебни; ведь для автора упомянутой книги Соловьев, Достоевский, Потебня — милитаристы и «германисты». Автор — docteur des lettres, René Lote; заглавие книги: «Les origines mystiques de la science ”Allemande”».

Футуризм самого дешевого сорта прокрался в науку; и машинная выделка мысли (для «потребленья», к «моменту») прикрепляет кафедру к... фабрике; нет, воистину подл, внеприроден, антигуманен, жесток — материализм наших дней.

И — нет: камни гуманнее...

Помню день. Все червонилось, багрянело; все — рдело; птичий свист — уносил; говоры оголтелых утесов гремели, дрожали; рыдали потоки; землевороты бежали под небо и ясногранною вереницею оплотневали, зарея, тенями; гребни резали небо; серебрились осколки их; прорезались покровы природы, прорезалась навстречу природе — природа сознания; прежде я бы сказал: «Это Бог говорит в человеке — обставшей природою». Но... сказать не могу так теперь; так сказали бы — «варвар» Гаман и «варвар» Новалис; так сказали бы сподручники «варваров»: Соловьев, Мережковский и... старец Зосима: «милитаризм» налицо тут.

Docteur des lettres, René Lote, осторожности меня — научил; и в союзе с ним я замечу:

«Переживание горных ландшафтов и действие природы на нас расширяет наш эгоизм, угрожая спокойствию и благоденствию наций...»

У немецкой границы
(От нашего корреспондента)

Базель

1

В Базеле созревала мысль Ницше. Его любил Бёклин. Здесь профессорствовал много лет достойнейший Яков Буркхардт; и жил некогда математик Бернулли; действовали и Эразм, и Гольбейн; дом Эразма сереет доселе средь безлюднейшей улицы; временами живали поблизости: Грюневальд и Неттесгеймский Агриппа.

Таково созвездие ярких, славных имен, восходивших над Базелем; оно связано с Возрождением и эпохою великого Гуманизма; в это славное прошлое подымается тихий Базель розоватыми и серошершавыми башнями; и серые замки торчат здесь осколками; они сидят на Юре, на лесистых отрогах Шварцвальда, на гребнях Эльзаса.

Многие битвы шумели над Базелем; первое поражение рыцарей швейцарскими мужиками произошло здесь поблизости; ныне над грудою черепов подымает крест свой часовня.

Сходятся здесь и Шварцвальд, и Юра, и Эльзас; сам же Базель в долине; холмики избороздили ее; с холмиков поднимается он; грудами черепитчатых домиков; серо-розовым Мюнстером и ярко-красною Ратушей привстает он над Рейном; веснами лиловеют в гирлянде гладиний его серобокие домики; магнолия зацветает в садах; осенями и зимами он дымится туманом; по нем бегают глянцы неизливных дождей; всюду обилие очень старых, каменных, крашеных, полноводных бассейнов, поднимают статуи столбики золотого рыцаря, гражданина в заломленной шляпе, прелатика, или просто дракончика, изрыгающего струйку чистой воды; улички здесь горбаты и кривы; тусклые фонари на стенах; и малоглазые домики нависают полосатопестрыми выступами; бедно одетые кучечки соберутся под выступом; неподвижно медлительны люди; они сосут трубки; и — провожают вас взглядами; из окошка порой вы увидите колпак старика; и он жует трубку; выпирает из шеи его (очень часто зобатой) густой белый войлок; непременно покажется вам, что оконная рама есть рама портретов Гольбейна, которых вы видели в великолепной ли базельской галерее, в книгохранилище ли, где работать отрадно; на старике был берет; и рисовался на фоне он из голубоватых и бледно-зеленых материй.

Этого старика вы увидите: в котелке, в косо скроенном пиджаке, с дымнокудрой сигарой в руке в более молодых частях Базеля; он покажется жалок там.

Неприязненно отбегает новый Базель от Рейна грудами невысоких торговых домов и кубами возводимых построек; хорохорятся суетливой гримасой немецкой провинции его банки, таверны и лавки с характерными надписями вроде «Тысяча брюк»; раздувается в огромный вокзал; и желтеет от скуки. Этот Базель напоминает мне толстого буржуа, буржуа собираются в «Казино»; поднимают там горластые дымогары; и тупо тычут в шары биллиардными киями; а улицы — суетятся; людоход непрерывен; в говоре голосов временами прорежется — глухой говор орудий с эльзасской границы.

Если бы вдруг в толпе перепутать носы, глаза, спины, руки и далее самые цвета тканей в безотрадно нелепые сочетания, то получилась бы точная копия базельской уличной жизни, где все платья повисли, подбородки враждуют с усами, а ритмы рук с ритмом ног.

Точно сотрясся телесный состав человека; и оставшийся кавардак — базельский буржуа. В нем типичное стерто; оно не стало немецким; базелец стоит одиноко; он — мозаика, выцветающая от времени и потому однотонная.

Однотонность бесстроицы — канва впечатлений; вненациональное не достигло размаха городских больших центров, местное стерто, острокрылатого слова нет; и скрипучая пересыпь слов, очень громких, гортанных, будто тренье кремней друг о

друга, перетирает в кафе все газетные сведения; базелец не доверяет газетам и ходит в концерты на громозвучных певцов, басов, теноров, баритонов и «*деритонов*»; любит он оркестр барабанщиков.

Оркестр барабанщиков — украшение Базеля.

Слово базельца напоминает скрипенье кремня, а не порхание бабочек: бабочка отрясает пыльцу; из кремня летят искры: искрами горячего гуманизма и огромной волей к добру загорелся он в дни войны; странное сочетание он из примитивнейших предрассудков и очень тонкого такта; в базельце подчеркнулась не простая обязанность быть корректным со всеми, а активная воля быть воистину человеком; развитие социального такта сказалось в проявленной мягкости — ну хотя бы ко мне. Я тем более ценю этот такт, что население по интересам и связям естественно тяготеет к Германии. Базельский обыватель — наполовину в Германии; в нескольких километрах лишь Баден; и на несколько километров подальше — Эльзас; население у границы смешалось, и близость к Германии напечаталась на мелочах здешней жизни: вы здесь встретите и пивную из Мюнхена, и германскую лавочку, и чиновника в характерной прусской фуражке: в Базеле — немецкая таможня.

2

Я на днях постоял в десяти шагах от Германии. Я смотрел на открытую жизнь по ту сторону немецкой границы; крутобокие горы пушились набухшими почками; одуванчики зацветали; и оснежались долины цветущими вишнями; переговаривались желто-серые ландштурмисты; и поглядывали на нас, держа ружья под мышками; по Германии бежал поездок; и тихая вилла глядела с холма… С нетерпением подъезжал я к границе; из-за цветов и кустов побежали на «трам» миловидные весенние виллочки; и уже вот он, вот набегающий Базель с кубами серо-желтых торговых домов и с гортанно-вещающим *людоходом;* Рейн и серые башенки показались и скрылись; вот прополз зарейнский рабочий квартал; показались немецкие лица; показалось обилие неизбежных пивных: зарейнская часть стремительно переходит в границу; вот построенный на швейцарской земле баденский немецкий вокзал: широчайшее помещение в тяжеловесных колоннах, и глотавшее поезда, и плевавшее поездами; оборвался ток товаров; с войною артерия эта перерезана здесь; запертый вокзал пуст; на огромном перроне — никчемная кучка: характерные прусские картузы с высоко поднятым краем.

Кончился Базель: поле… Прожелтилось, проголубело цветами оно; солнцем и травами засмеялась долина и уткнулася прямо в горы; это горы — Шварцвальда; вот белая деревушка, вот церковь: отчетливы; перебежать бы луг да на холмик! Нельзя это — Баден; перебежишь — и не вернешься обратно.

Остановился «трам»: мы — выходим.

В этой окраине уже все швейцарское смыто; домики, воздух, парки, улыбки — иное все: мелькают эльзаски с огромными черными бантами; те зарейнские горы — Эльзаса; эти — горы Шварцвальда; Юра отступает; небольшая долина отделяет границу от пригорода; между тем серо-лиловые стильные здания старых эльзасских домов кричат иным бытом, иною, более широкою культурою — несом-

ненным вкусом; вот — уличка перерезалась надвое: точно там на мгновение опустился шлагбаум — на мгновение перервать людоход, и потом — приподняться; но деревянная загородка строга: то — граница; здесь швейцарский поселочек, Риэн; там — баденский Лоррах, где производят осмотр притекающим из Швейцарии ландштурмистам; два швейцарских солдата строжайше блистают штыками; они — из романской Швейцарии (здесь войска из Женевы); на итальянской границе, вероятно, дежурят солдаты немецкой Швейцарии: гарантирована строгость осмотра.

Вот какая-то кучка, покинувши деревянный немецкий барак (где производят осмотр), хлопотливо бежит через уличку; и военный, выйдя из будки, которая рядом с нами, уже проверяет бумаги, другой смотрит на нас; спутник мой к нему обращается:

— Странно ведь: перейти вот ведь уличку; и — попались…

— ?

— Мы — русские.

Улыбается черноусый солдат; и — говорит по-французски, кивая на ландштурмистов:

— Им до Москвы не дойти...

— Ну, куда там!..

— Они голодают.

Мы поглядываем на кучечку немецких солдат; те — на нас; это — преклонного возраста люди в серо-желтых мундирах; у одного — серебряная голова; он согбенный и рослый; и отчего-то неловко: отходим мы.

3

День лазурен, прохладен: на веранде тихого пансиона сидим и пьем кофе; спутник мой, доктор гейдельбергского университета (он — русский), вспоминает годы студенчества:

— умер вот Виндельбанд; Риккерт профессорствует теперь в Гейдельберге; убит Ласк; у Гуссерля убит сын… Коген же приезжал из Германии в Базель: виделся с учеником своим, русским... Под ногами, внизу, за холмом, саженях в тридцати от нас, на лужайке треплется маленький, почти игрушечный флаг; то — граница; вечером замечтаешься, голову кверху поднимешь (неосыпное небо дрожит: переливается звездами!) — и, мечтатель, в Германии ты: может быть, тебя подстрелят, засадят… Сторожевые немецкие будки явственны там на склоне горы. Тихо реет военный баллон в нежном воздухе над Эльзасом; и какая-то дама на него поднимает лорнетик.

В память врезалась мне эта тихая, мирная местность: крутобокие горы пушились набухшими почками; и оснежались долины шапками зацветающих вишен; по Германии бежал поездок; ландштурмисты миролюбиво поглядывали, и высилась тихая вилла с пологого холмика Бадена.

Через несколько дней я узнал: кровавое происшествие было здесь; не говорили о нем; прошло оно неизвестно: русские пленные переходили границу; трое были убиты; четвертый — попался. Говорят, эта тихая местность кишит шпионажем; и, попадая в глухую деревню, вы видите: подозрительный взгляд у окна, провожаю-

щий вас; уже значительно далее, отступая от границы, остановили однажды меня; и потребовали бумаги: разумеется, отпустили: претендовать не могу я: грозовая туча войны незаметно въедается в воздух.

И порою мне кажется — запахнувшись в свой плащ, на глаза придвинувши шляпу, кто-то сядет на «трам» у немецкой границы; прикрывая впадины черепа, будет бегать по Базелю; и затреплет детей костяною рукою своею; или — сядет в таверне — «инкогнито»: над газетным листом хохотать оскаленным ртом.

Есть в базельской галерее гравюры Гольбейна; серия их называется: «Danse macabre»; жизнь королей, поселян, духовенства проходит в ней; но скелет сопутствует этой жизни; он так лукаво вплетается, и плутовато подмигивает…

Я гуляю по кривеньким улицам; и безотчетно мне кажется: там, у серого бока домишки, из-за лиловых глициний — просунется череп; и плутовато оскалится на усталую кучку людей, собирающихся у бассейна, где свои богомольные руки слагает прелатик… на каменном столбике.

По горбатеньким уличкам бегают осенями туманы; и мокрые глянцы; и рыжими пятнами тускловатые фонари освещают дома: под фонарем запахнувшись в свой плащ, плутоватое инкогнито, смерть, приподымает там шляпу...

Современные немцы

1

В пребываньи в Швейцарии есть одно преимущество: непрерывный ток через границу летящих известий из четырех углов враждующих стран; и непрерывная сшибка мнений горячих, пристрастных; противоречия фактов пересекают друг друга; и — расцветают в махровые спектры «достовернейших сведений»; ежедневные мыльные пузыри раздуваются утром, чтобы лопнуть... под вечер; перелетают границы Италии, Франции, Австрии и Германии; и одновременно сшибаются шквалом; и — тают.

Тон швейцарской печати — подчеркнуто сдержанный.

Все последние сведения предстают перед вами впервые в каком-то разодранном виде; и значительно позже уже — осаждаются факты; и привыкаете вы: к медленной кристаллизации фактов из пены сведений; привыкаете к ретроспективному взгляду на вещи; предыдущие опыты приучили к терпению; сдержанность вырастает в вас; сопровождает вас, крепнет в вас; и отстраняет все мнения о фактах: глядишь прямо в факты; научаешься мимике фактов и чтению сквозь строки; многие публицисты теперь известны тем, что в слове обходят молчанием.

Ныне многие выпады слов производят здесь впечатление показной кавалерийской атаки; противоречия сведений, как враги, обнажившие шпаги, летят друг на друга, кричат друг на друга и угрожают друг другу; но в блистании сабель и ментиков, знаем мы, силы нет; сила, знаем мы, в вырываньи траншей; сила, знаем мы, в сознаньи, в организации тыла; устремленные взоры бегут туда; устремленные взоры противников через голову сведений «изучают друг друга».

Интересна работа сознания над материалами фактов и фронта и тыла; таким тылом является самая психика и моральный быт враждующих стран; изучение культу-

ры противника до последнего времени еще было абстрактно; представление наше о различиях национальных сознаний войной перевернуто; и граница исчезла отныне между востоком и западом; запад вдвинулся ныне в восток, восток — в запад. Приходится перестраивать ходячие представления о культурах народов; приходится заново, наскоро пополнять ряд пробелов, и отдаться спокойному изучению тыла не в условиях кабинетной работы, а в громе пушек и в треске шрапнелей.

Немцы поняли это.

С деловитостью практичных людей изучают они нашу жизнь, быт, особенности сознания, литературу, моральные задания наши; интерес обусловлен, конечно, моментом и, конечно, — сознанием неверного понимания нас до войны, сознанием совершённой ошибки: пренебрежением к нашей жизни; изучение переходит в спорт, а спорт, как ни странно сказать, в... увлечение.

Настоящее военное время рождает курьез за курьезом, иные из них характерны до крайности.

Возрастает стремление к изучению русской литературы: о Достоевском, Толстом я не стану говорить; тот считает себя поклонником Гончарова, тот цитирует Мережковского; по статьям последнего говорят о явлениях русской жизни; и книга Волынского — «Книга великого гнева» — находит читателя. Появилось сознание малого знакомства с Россией, появилось сознание примитивности прежде принятых мнений о русских; удивляют русские пленные, удивляет их способность на все, удивляют их разные изделия, представление о «варваре» навсегда поколеблено.

Литературу русскую переводят — теперь, в дни войны, собираются переводить еще более; отмечают юмор Гоголевской «Женитьбы»; и эта пьеса с успехом проходит в Берлине; вторым томом выпущен Соловьев; и «Три разговора» находят поклонников. Переводится Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы»; переведен «Грядущий хам» Мережковского; собираются переводить и Сологуба и Ремизова. Представитель книжной фирмы в Голландии, опираясь на повышенный интерес немцев к русским, говорил со мною о русской литературе, как будущей моде в Германии и Голландии; и в журнальных статьях учащаются русские имена представителей литературы, науки, политики; появилась сочувственная статья о покойном М.М. Ковалевском; появилась выдержка в «Zukunft» из статьи-предисловия Максимилиана Гардена к одной книге; она озаглавлена: «Чем мы обязаны русской литературе»; в «Literarische Echo» трактуют о русском народе и печатают разбор истекшего литературного года в России; разбирается расхождение прежних взглядов В. Брюсова с одушевляющими его ныне; разбираются чрезвычайно осведомленно представители многообразных течений русской поэзии; поминаются: Городецкий, Блок, Гумилев, Кузмин, Северянин, даже крайние футуристы; отмечается реферат г. Вл. Эрна «От Канта к Круппу»; и сочувственно приводятся возражения русской прессы.

Этот тон отсутствовал до войны: это все — показательно.

2

В мнениях немцев — досадные аберрации: война-де вызвана тем огромным (?) течением, представители которого — Данилевский, Аксаков, Хомяков, Страхов и проч.

... — славянофилы повинны-де в решении общества продолжать войну до конца; в одной интересной статье Хомяков назван тонкой и нежной душой с превратной идеей, а статье Мережковского «Святая София» придают иные чисто завоевательный смысл; идея освобождения славян-де — откровенная спекуляция на идеальном порыве народа.

Слова Тютчева о России:

Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной —

эти слова по-своему ныне осознаны немцами; перед ними — шарада, и культуртрегеры разрешают ее; разрешению этой шарады придают они большой смысл; это — шаг к изучению тыла; русский тыл — малопонятен для них.

А их тыл нам понятен ли? До конца ли изучен он нами?

Помню первое время войны: падали, разрушались соборы; и полчища немцев валились на Бельгию; мне в Швейцарии встречаемый немец казался пародией на немца в «каске»; тот — исчадие ада, а этот, в Швейцарии встречаемый немец, с добродушием продолжал предаваться мирнейшим занятиям, и знакомая фигура его передо мной вырастала повсюду. Думал я: «Эти лица — в котелках, в панамах, в зеленоватых плащах с комичной кисточкой сзади, с неприметными или очень приметными, с злыми, с добрыми, с благодушными, с неблагодушными, то с культурными, то с грубоватыми черточками, — думал я, — эти все коммерсанты, студенты, рантье, комми, лавочники здесь торгуют, штудируют, приподымают шляпы и говорят: «Danke schön», а там, у себя, за границей, — там сроившись в отряд, все они побросаются на соборы, на галереи, музеи, на женщин...

И не верилось: подлинно «немец» ли в Швейцарии встречаемый немец?

И вступая подчас в разговор с обыденной привычной фигурой, я старался всегда дать понять, что вот как же, мол: соборы, подводные лодки, насилия...

Я наталкивался на курьез: на иное сознание; в первые же дни войны оно стремительно выросло; и — созрело; о него разбивается все; оно — тверже камня.

Их-де вызвали воевать: не хотели войны они; организованный заговор тут сказался во всем; их жестокости — измышления прессы; в обсервационные пункты превращались соборы — а грузовые суда превращались в военные корабли; ныне же де самое бытие их в опасности: они защищают свободу мирного своего бытия и традиции великого культурного прошлого: философию, искусство, науку; их военный марш — речи Фихте о немецком народе; а солдаты их, отправляяся воевать, забирают с собой три свои излюбленных книги: Заратустру, Евангелье, Фауста; непоколебимое убеждение, что все сказанное здесь — действительность, проницает их душевное существо; а поминание о фактах насилия немцев у немецкой женщины вызывает даже не гнев, а... ледяное презрение: Ганс и Фриц на войне же ведь; а Ганс и Фриц (сын и муж) — образцы благородства, доброты и гуманности; и сообщения о фактах насилия немцев она принимает как личное оскорбление ее Фрица: «Ну да, — там “Портюгаль”»; «Портюгаль» же — оплошность.

Так ответит она; обыкновенный ответ ее на все факты печати: «И как этому верят?» И слова русских женщин, обращенные к ней, я с улыбкой читал: слова — благородные; негодованье — законное; но немецкая женщина этих слов не услышит. На войне — Ганс и Фриц, вся немецкая армия — это Гансы и Фрицы.

3

В Германии, разумеется, факты насилия немцев умолчаны прессой, этих фактов не знает их тыл, потому что цензура господствует, и на этой вот почве иное сознание, укореняясь, сливает и спаивает Вильгельма с рабочим и Геккеля с лавочником, коллективное переживание гремящих моментов глотает все личное. Вырастает единое, стадное сознание немца, и с сознанием нашим несоизмеримо оно, и с невинною улыбкою, сожалея жертвы войны, вам способен высказать немец: «Оттого-то мы и навалились на Бельгию, что войну мы хотели в три-два месяца прекратить». Эта психика есть предмет всестороннего описания, и она не описана, современный немец конкретно все еще не стоит перед нами, самосознание современного немца заслоняет нам наша квалификация немца, она — абстрактна до крайности, в нашем знании немца поотстали изрядно мы, мы и хвалим его, и срамим за полуреальные его свойства, схема немца стоит перед нами — не немец, схема эта нам немца колет, на сантиментального романтика прошлого и на современного материалиста: первый исходит в утопиях, а второй — с нами воюет.

Не изучали мы конкретного немца, это он с нами борется, разрушает соборы, и это он — философствует, философствует в дни войны, и читает в траншеях: Заратустру, Библию, Фауста, мобилизует промышленность — он, ставит Гоголевскую «Женитьбу» и понимает Шекспира, удушает коварно нас газами, и восторженно присягает заветам... Новалиса: теперь, он, в эти дни!

Всеми этими черточками должно выгравировать современного немца; в противоречиях распадается он перед нами; единство, признаться, отсутствует в нем, восстающем в сознании нашем; здесь, в сознании нашем, современный немец живет в многообразии образов; плюралистично ветвится он; он же целен до крайности и представляет собою единство в многоразличии; в самосознании нашем его единство отсутствует; не понимаем мы все еще современного конкретного немца; и словами Тютчева о России иногда говорит современный немец о современной Германии — не германцу:

Не поймет и не оценит...

и т. д.

Ему кажется, что на востоке, на западе в современной Европе Центральной Европы не поняли, что словами ее не понять: пережить ее надо.

Так немцу кажется.

Чтобы так не казалось ему, надо нам изучить его тыл: хладнокровно, отчетливо, педантично; в изучении этом нам надобно временно отказаться от естественно нас волнующих чувств; хладнокровно, отчетливо, педантично надо нам разбить две абстракции: абстракцию сантиментального философа-немца, уже отошедшего в прошлое, и абстракцию современного немца — экономиста-милитариста, материалиста и практика, — потому что оба немца живут в современном нам немце, и — действуют в этом немце; оба в тыле, и — оба на фронте; современный немец их вяжет в единство.

Ряд других фигур восстают в моей памяти, ну хотя бы вот — Ратенау. Удивлены вы: не слышали это имя, между тем фигура эта известна повсюду в Германии, она — симптоматична до крайности; современный немец конкретный, воплотился в ней донельзя.

Инженер, техник, практик, ученый, мыслитель и «мистик» Ратенау стоял во главе колоссальнейших электрических предприятий, был директором огромных заводов; в час войны сыграл едва ли не первую роль в магической трансформации производств, перевернувших Германию. Незадолго же до войны выпустил характерную книгу он: о духовных основах самих механических сил, импульсирующих развитие нашей жизни; одухотворение науки и техники — лейтмотив этой книги.

Ратенау есть тип современного, конкретного немца — материалиста и... мистика. Этот тип не изучен, и он — ныне действенен; современный воюющий немец искренне полагает, что он борется не только за материальное благоденствие своей родины, но и за идеалы Новалиса, Фихте, Шеллинга, Гёте. Мы его должны изучить; победа должна быть победой духа над ненормальной развившейся материальной плотью культуры. Шаг к победе — реальное представление о тыле противника, его моральное устремление, самосознание, пафос есть часть тыла.

Она — не изучена нами. Пристально вглядимся же мы в нее во избежание недоразумений.

О злободневном и вечном

1

Первое впечатленье от Сфинкса:

— «Старая обезьяна, урод, эфиоп».

Последнее впечатление:

— «Ангел».

У подножия Сфинкса бывал очень часто я; тайна слиянности в нем Аполлона и эфиопа меня поражала всегда; эта тайна вырвала его из веков; этой тайною он притянут к XX веку до нашей эры; и — после; так оба XX века пересекаются в Сфинксе: а прибои культур пеною разбиваются о него; он глядит — из-под греческой маски; и из-под рожи современного футуриста-художника; злободневность в нем разорвана в Вечность; и в нем Вечность сама — злоба нашего дня; в нем слиты полярности пола (он — ὁ Σφίγξ; он — ἡ). Нет ничего злободневнее кучи трухлявого камня, на которой изваяна эта старая голова.

Ряд статей одного писателя (к сожалению, разменявшего свой талант) вспоминался в Египте мне: произведения Достоевского в нем сопоставлены с… египетской графикой, как плоды одинаковых переживаний и бурь; если так это, то интимное ведение Египта мы носим с собою; его тайны — на улице, где-нибудь между Литейным и Невским, а не… в булакском музее; тысячелетия прошлого не вне нас — в нас они, с нами; и в движении нашего пальца, в улыбке, в манерах, в цилиндре, во всем строе жизни — осуществившийся синтез Египта, Халдеи, Ассирии и т. д.; откровение ассирийского духа не в кропотливейшем изучении мало понятных письмен, а в — газетной статье, может быть; эсотерика — *в умении видеть*: на улице — ули-

цу; в храме — храм; под злободневною рябью — океанические глубины все те же, что и под спудом мистерий; пиджаки таинственных мантий; и несомненно мне, что та же священная тайна построила формы: фараоновой шапки и каски пожарного; в линии орнаментального завитка на дешевеньком *ситчике* — линии священнейших таинственных знаков; в бегстве от «*улицы*» правды нет: в умении видеть на улице *сфинксовы тайны* — посвящение в мудрость XX века. Собственным ликом на вас смотрит Рамзес II, фараон — из-под стекла, в музее среди каирских кварталов, напоминающих мне Париж, а его двойник, полисмен, феллах, стилизованным *египетским* жестом поднимает на улице белую полисменскую палочку среди автомобильного тока; подлинный лик Рамзеса — феллахский; между Рамзесом и статуями Рамзеса в Мемфисе — ни малейшего сходства нет: впечатления эпохи Рамзеса посещают вас и на улице; вы бываете странно выбиты — изо всех культур и историй.

2

Кто не знает этого переживания во время горных подъемов? Вы живете в маленьком городке; вы охвачены его жизнью; и вы в нее впаяны; вы сидите в кафе; и со всеми вместе склоняетесь вы над газетою; переживаете события мировой войны, бродите по бесконечным уличкам, над которыми приподнялся далекий, все тот же, пейзаж — точно фон декорации; и все то же озеро плещет, бросая о берег все те же лимонные корки.

Вот теперь вы уходите в горы.

Смотрите же: —

— озеро опустилось под ноги и медленно сжалось; разгладилась его рябь, будто скомканный лист оловянной бумаги отполировала детская ручка; и проступили: глубинные, невыразимые тоны вод; так проясняются глаза человека в минуту задумчивости и изливают лазурь, из извечного устремляясь в века; и тает так в современности злоба дня; из-под пены ее наблюдаете вы в современности тысячелетия прошлого.

И так при поднятии в горы.

Изменяется все: цвет воды, дома, люди, рельефы; бесконечности каменных домовых квадратов и кубов теперь сжаты глубоко под вами — на четком мысочке; а казалось, дальние горы — повытянули свои главы, раздались громадно плечами и перегнулись над озером — прямо к вам: на вас смотрят в упор; то, *чем смотрят* они, не война, не события городка, города, столицы, страны, континента, эпохи, периода времени; о современности, понятой в нашем смысле, не может быть и речи; и — тем не менее: *этот взгляд* современен; и эти пространства утесов злободневно кипят множеством неизливных ручьев; Ассирии, Вавилоны, Египты кипели своей злободневностью; и — откипали бесследно; а эти летящие струи кипели всё так же, и *тем же* кипели; кипение этой жизни — не мертвенно; мертвеннее — сиденье в кафе; даже мертвеннее — война; все текущее остановится в XXV столетии, перенесется в музеи (если будут музеи); на мыску там, под вами, будут выситься, может быть, пятиугольные здания со странными куполами; а кипенье потоков, взгляд горных громадин — останется тем же все; *то же* — вызовет он в душе, что в этот миг происходит; переживание Ганнибала, может быть стоявшего здесь, вы узнали теперь с математической точностью;

человек XXV века, вы, Ганнибал и пещерный доисторический человек пересеклись теперь в одном пункте души; и то, в чем вы все пересеклись, есть вечное; кристаллизация культур, эпох, современностей и довлеющих дневных злоб выкристаллизовались из подобного мига; вы теперь — не над маленьким швейцарским местечком, а над всеми культурами: бывшими, грядущими, сущими; вы у себя самого; потому что вы — в космосе: и космическая картина сознания из-под порога сознания городского — она перед вами; в дневнике происшествий пред вами разъялися смыслы; загласили они громовыми воплями серафимов; обратно: с глубинного переживания Заратустры слетает покров: и покрывало Изиды откинуто. Вы теперь — мощный горн, где потенции всех небывших и бывших культур протекают в расплавленном состоянии; и погибни история: из души человека, как из вулкана, поднявшися, вытекут все культуры с тайнами и бестайностями, все кристаллизации истин, все несчетное число их покровов; тут вступаете вы в ту область, где разумение законов и истин не в них, а в самом законе законов, их строящем: в ритме строения, в законе метаморфоз переживаний, мыслей, мод, стилей, линий; здесь сознание перелетает порог, потому что и нет его у сознания; порог сознания сознанию не присущ; порог сознания есть всегда лишь граница, извне застилающая мои кругозоры: не граница зрения, а предмет перед глазами стоящий, как вот эта стена моей комнаты, улицы, застилающей зрение горы; зрение мое видит звезды, в зрении миллионноверстные дали перемогаю свободно я; в сознании — тоже; надо только выйти из рамок; уметь развить мускулы, способные приподымать меня за порог передо мною положенных стен и мне не присущих.

Многие жители городов не покидают города вовсе; а для многих больных представление о пространстве связано с представлением о четырех желтых стенках, вытарчивающих у них за окошком. По отношению к сознанию — то же; мы все больны параличами воли сознания; оттого-то мы ему искусственно полагаем границу — в пространстве и времени; эта граница в пространстве — стена; и эта граница во времени — злободневность; злободневность и провинциализм нашей жизни из поколения в поколение отпечатали в нас свои представления о границе сознания и о пороге сознания; границ сознанию нет; а пороги сознания побеждены — в пространстве и времени.

Ведомы нам дали звезд; и — непосредственно ведомы; а непосредственное переживание тайн истекших культур — звезды Индии, Персии, Египта, Халдеи — будто бы нам неведомы; и будто бы: чтоб понять нерв истории, надо кануть в пыль музейных архивов; но музейные данные не Египту научат нас; а египетской пыли; сам Египет — он в нас; кровь от крови его, плоть от плоти его — мы: следует только твердо отставить систему фальшивых порогов, в которых будто бы сознание наше заключено, как в тюрьму; эти «пороги» есть пыль злободневности: ее ненужные отбросы; в своих нервах она — та же древность, которую будто бы она заслоняет, и то же грядущее, которое будто бы и вовсе неведомо нам; оно неведомо в своей «пыли»; и оно с нами — в сути: в ритме душевные глубины обнажены нам бывают порою; надо только суметь произвольно их открывать и описывать явления глубинной жизни сознания; в душе каждого обнажаем колодезь, у которого нет индивидуального дна и который есть выход одновременно в небо духа и космосов; как по тем же космическим принципам образовались планеты всех солнечных систем всех вселенных — точно так же слагаются и слагались фазы истории; и закон фаз

во мне; улови я его — история встанет передо мной разоблаченной в ее объясняющем стержне; а понимание многообразий мелодий ее — только чтение нот; суть не в нотах, а в принципе нотного чтения; и умение чтения знаков событий, искусств, стилей, мод, философий, религий и душевных движений — в умении опускаться в себя, открывая горы и пропасти; кажущееся противоречие между жизнью в себе и в других устраняет первый опыт внимания к своим собственным душевным движениям; кажущаяся их хаотичность, невнятность, бесстроица; т. е. все то, что любители звучных слов именуют «*сублиминальным полем*» сознания, — на сознании насевшая пыль: принимаясь за чистку пыли, вы пыль поднимаете; но именно поднятие пыли есть условие очищения от пыли; при внимательном взгляде внутрь исчезает весь хаос; окружающее отражено вами и чище, и четче; в умении отражать — умение понимать; душа — зеркало мира; замутнено оно — мира нет.

3

Злободневность летит перед нами на своих острейших углах; быт и вкусы кричаще ломаются на протяжении трех-четырех поколений; так в малых масштабах линия исторической жизни рисует контрасты нам; а в огромных масштабах господствует закон сходств; многообразие изломов истории в ее мыслях, вкусах, костюмах, архитектонике стилей, быта, привычек — образует легкую рябь по отношению к основной неизменяемой прямой линии времени; на известной стадии восхождения стирается эта рябь: и отражается в зеркале жизни душа человека; жест куафёра и жесты Фридриха Ницше разительно противоречат друг другу, пока вы в злободневности, верней, в ее отбросах; но погружаясь в себя или только чаще карабкаясь в горы, вы начинаете понимать оба жеста как модуляции единого душевного жеста; вся бесстроица мимик теперь — метаморфоза немногих нот мимики, ведомых вам изнутри и глядящих извне на вас: улыбкою египетских статуй, улыбкой Джиоконды и…, может быть, вами виденной булочницы; понимаете вы: что душа древней критянки не так-то закрыта от вас, раз XVIII век, столь вам близкий, повторяет пред вами древнейшие критские моды, как гласят нам раскопки.

Возвращаяся с гор, только чутче уловите вы все горное в долинной деревне; возвращаяся из себя в злободневность, вы увидите — Вечность в ней.

Ницше, модница, мировая война, дневники происшествий, раскопки на Крите, священные письмена и текущий судебный процесс — злобы дня Вечности, потому что вечное — злободневно; умение переносить тысячелетья в мгновения, умение переживать мгновенное в вечном — злободневнейший нерв злобы дня, потому что Сфинкс истории стоит перед нами, Эдипами, и предлагает нам свои загадки и тайны — злободневными темами, и злободневнейший ответ злобы дня есть наш ответ Сфинксу.

Наш ответ есть судьба.

Восток или Запад

1

Одинаково остр вопрос — на востоке и западе: в России, в Китае, в Европе, в Америке, на Сандвичевых островах, у бурят… Кто «*мы*» — чукчи, буряты, немцы, русские, малороссы, литвины, иль… люди? И кем должны стать: обитателями провинции, страны, континента, или же — обитателями вселенной, участниками космической жизни, равноправными гражданами всех планет и всех солнц?

И говорят нам: «Мы — *запад*». Но на западе «*запада*» нет. И говорят: «Мы — *восток*». Где «восток»?

Что «востока» и «запада» нет, было ведомо Гёте, и очень многим до Гёте; почему же все-таки:

— Восток или запад?

Да потому, что все треснуло: омертвенела культура; и — валится; что какой-то росток разрывает умирающие и набухшие части; бывшее центром жизни вытолкнуто к периферии, вовне; и мы ходим «чреватыми».

Столкновение двух культур, душ и рас раскололо нам душу — о дух; расколотые половинки души симметрически закачались и выпали (из нас — вовне нас) «западом» и «востоком»; и что было не видно доселе, стало видно теперь; ‹охватить грандиозности кризиса› нам нельзя в потрясении нашем; все охваты умеренны; все «*востоки*» и «*запады*» — пристойная маска мирового скандала; произошла огромная непристойность: жизнь треснула; но по правилам доброго старого времени мы стараемся все еще эту трещину заклеить бумажкой, а расколы жизни смягчить и затушить в антиномию между германцем и русским, мужичком и чиновником, славянофилом и западником.

2

Не понимаю я деления на «восток» и на «запад»: передо мной серия многообразных делений по национальностям, по идеям, по вкусам и по периодам времени; эти серии «*западов*» и «*востоков*» напоминают материю цвета «*шанжан*»; скажешь: «Вот, вот — восток». Отойдешь на шаг, скажешь: «запад»; отойдешь на четыре шага, и — «восток»...

— *Азия была народовержущим вулканом*,

— так когда-то напыщенно сказал с кафедры один профессор истории, Гоголь-Яновский. Для известного периода — да; вообще — нет и нет! Северно-европейское происхожденье «востока» есть факт науки; «*народовержущий вулкан*» передвинут: он — двигался: с севера Европы к востоку и югу; но — опять-таки: как попали в Испанию древние изображения ацтеков? И откуда запали в архипелагские древности пернатые краснокожие? Геология дает право нам думать об исчезнувшем континенте — мифической Атлантиде; в ней — начало и «западов», и «востоков»: «народовержущий вулкан» тут, и из него струя лавы — через Европу на Азию — оплодотворяет Азию и в сумеро-аккадийской культуре слагается в тот «восток собственно», который не так уже древен и не вовсе «восточен»: история и деликатней, и тоньше провозглашенья о ней профессора истории Гоголя в громовержущей риторике слов:

— «Азия была…» и т. д.

Гоголю простителен этот образ; но он нам непростителен; непростительно деление в наши дни на деторождающую, безмозглую Азию и на Европу — бездетную, но… с идеями: на «восток», и на «запад».

Таким «западом» окажется Герберт Спенсер для нашего русского западника (до и после — «востоки»); и таким «востоком» окажется наша Русь, если мы ее сложим по образу и подобию старинного быта: «извержение чад» будет в ней; извержение мыслей — не знаю.

3

Наши «западники» и «восточники» населяют наш умственный мир несуществующими «западами» и «востоками».

Заратустра — восток или запад? Географически он восток, а по правде сказать, только «запад»: его связь с Гераклитом и далее с Гёльдерлином, Новалисом, Демелем, Моргенштерном (великолепнейшим современным поэтом, недавно скончавшимся), с Ницше установима, отчетлива; стоит взять в руки «Гаты» Ясны — т. е. гимны из книги, приписанной Заратустре: солнечная гуманная ясность и утверждение личности — в них; Заратустра — солнечный щит, защитивший некогда запад от злого мрака туранства; он — «западник»; и, конечно, Кант учредитель умственного Китая на западе, Шопенгауэр — «индус», перелагает Веданту нам; незыблемость ведантических истин, его эпиграф к системе; в нем рождены — Ницше, Вагнер, а «запад» — пульсирует ими.

Что такое Фриц Маутнер, Вильгельм Вундт, Бенно Эрдман и очень многие прочие? Двое первых пригвождают нам мысль к корню слова: а корень слова выводят из безглагольного и чисто восточного взвизга «нутра»; солнечность смысла слова и мысли стираются ими. А Бенно Эрдман, психолог и логик, провозглашающий, что суждение «*являет собою течение словесных представлений, которому не соответствует никакого значения*», он — «восток» или «запад»? В подтверждение этих ‹слов› эфиопская гримаса ‹Сфинкса› отчетлива, непререкаема, явна: в утверждениях этих с запада прет «восток» и в борьбе с «восточною» тенденцией запада защищающий автономию слова и мысли Н.А.Бердяев (восточный мистик) по-западному отражает нам с запада на нас прущий «восток».

Борьба «западов» и «востоков» — борьба химеры с драконом; оба — мифы, не уплотненные еще никогда и желающие воплотиться впервые; воплощение мифов есть выход: из замкнутой исторической жизни в мифическую; и из нее — в дали Космоса; на рубеже ее, угрожая и застилая нам путь, перед нами встают: «восток», «запад», пролетарий духа и Ксеркс; парий востока и… духом запада играющий Заратустра меняют обличия, а между ними едва заметный пролив в океан новой эры: там ждет нас Видение Будущего — не восток и не запад:

О Русь! В предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята:
Каким же хочешь быть востоком —
Востоком Ксеркса иль Христа?

Вл. Соловьев

4

В ближайшей истории запада, где «запад» западников? Разумеется, в схоластике его нет, между тем она — полузапад; в ней — слияние аристотелизма (запада) с александрийской религиозной догматикой, которая опять-таки есть сочетание «западника» Платона с востоко-западным гнозисом; так, слияние этих линий с выявленной в христианстве явно западной линией из явно восточной, еврейской рождает начало схоластики: что такое схоластика? Ну, допустим, «восток», коли западный гуманизм поражает главу ее, но и это наследие запада, несомненно, зачато в «востоке», коли «мистика» (Бёме и Экхардт) «восток», так сам «западный» запад, сражающий «полузапад» схоластики, — плод несчастного брака с «востоком», незаконнорожденность его налицо; в своих чадах — в протестантизме, в науке, во всей истории философии продолжаются незаконные браки и перед нами проходят — «китайская» линия кантианства, индуссизм Шопенгауэра и весь «восток» его линии (Гартмана, индуссистов Дейсена, Чемберлена); эта линия интерферирует культурою явно западных мифов у Вагнера, Роде, Ницше… Где — «*восток*» и где «*запад*» на западе?

Русский западник вынужден признаться, что его запад — Спенсер, Конт, Милль, а до них лишь «востоки» на западе, а после них — лишь «востоки»; но человечество Конта — современная маска «Софии»; «непостижимое» Спенсера — современная конфуцианская маска.

5

«Запада» на западе — нет. И точно так же: нет «востока» в востоке. «Восток», «Запад» — треснувшие каркасы умершей культуры, из середины которой мы уже выходим в борениях нашей совести, в падении великолепных соборов ее, в мировой войне, в мировых безумиях, нас влекущих к... Голгофе: завеса старого храма разодралась ныне надвое: на «*восток*» и на «*запад*»; за ней — мгла; за ней — возглас: «Или, Или».

Совершившееся раз с Одним, да совершится со всеми: мы примем Распятие и потому-то мы знаем наверно, *что́ там ждет нас за мглою*, туда, в нашу мглу, говорим, отвечая на вести:

— Воистину…

Мертвые города

1

Тесно связаны мы с обстающим, которое нами пронизано так, что мы можем сказать: геология — продолжение психологии; в океанах душевности кристаллизуется материальность, которая есть отложенье души; материя нарастает на духе так точно, как растут на нас наши волосы; человеческий организм продолжается в волосы; человеческий дух продолжается в его обстающие земли.

Это мнение звучит парадоксом; но ученик знаменитого Вернера — Стеффен, норвежский теолог, его проводил в геологии; горный инженер Гартенберг его разделял; он был тоже слушателем Вернера, хотя и известен он нам на другом своем поприще под псевдонимом Новалис.

Действительность, обстающая нас и нам данная, — еще хаос: переживания, мысли, предметы и воленья в ней кипят: данность мира, первичная данность — всегда: лепет Парок и суетня «мышьей жизни», над которой одни восклицают:

О, странных песен сих не пой...

А другие задумываются:

Я понять тебя хочу:
Темный твой язык учу...

Понимание есть работа души над бесстроицей данного: оно — творческая способность, впервые слагающая в мире данного хаоса объективность действительности; соединение данного хаоса с образованной идеей о нем есть действительность; нет ее еще в первично данном объекте.

2

Это все приходит на ум при посещении иных из курортов Швейцарии, ныне пустующих.

Они — мертвые города.

Многорядица друг на друге сидящих, друг друга давящих отелей, ужасна; и ужасен отель, взятый порознь; бестолковый, огромный, чудовищный каменный куб; да, мы все провалились в кубизм; направление в живописи ни при чем: направление нашей собственной, мертвой жизни оно отражает удачно.

В брошенных городах раздается ужасно: кубизм нашей жизни, снаружи прикрытый цветами, как вот этот чудовищный куб («*Palace*» иль «*Splendide*» — все равно), перед которым для вида разбили пестрейшую клумбу и глупо воткнули две пыльные пальмы, чтобы они веселили взор пестрой жизнью растительности; все равно: безобразный куб разве спрячешь? Из него через две пыльных пальмы на вас прет оторопь «*непокойного дома*», пустого, где еще резонируют стены — разговорами, думами и поступками обитавших здесь фатов и модниц пяти частей света; слов не слышите вы; и поступков не видите; но внимаете жестам жизни, здесь бившим недавно, еще до войны; события — пролетели; а жесты — остались; они ютятся в обоях, в коврах, в плюше кресел: и поднимаются пылью теперь; и покрывают столбами вас этой (глазу невидной, душе же отчетливой) пыли: и пыль ужасает.

Непосредственное впечатление предметов носит долго печать обладателей, а впечатление домов сохраняет печать обитателей; обитатели и посетители дома меняют самое впечатление стен; безобразие самих стен благообразится благообразием жизни; обратно…

Вот — кафе, пансионы, отели, курзалы и клубы: пустые, большие, тяжелые, каменные; и — сумасшедше-тупые: дико смотрит бессмыслица окон; торчат рои труб; безобразно оскален подъезд; стоит хохот подъездов.

Пустая действительность камня пред вами изобличает пустую действительность здесь отхлынувшей жизни; ее обнаженный костяк — вот, перед вами: чудовищный каменный *куб* с… квадратами окон; и — две пыльных пальмы.

И эта жизнь есть «*Splendide*»...

Здесь, по каменным тротуарам, под пеклом, утирая усиленно пот, волочились с цветками в петлицах ленивые снобы всех стран в белоснежных суконных штанах и в кургузых визитках; здесь они флиртовали, отплясывая «*танго*» всех стран: изо дня в день и из месяца в месяц; всё так же, всё те же — дамы в газовых платьях, полуоголенные, напоминающие стрекоз, меж рядами камней здесь стреляли глазами в расслабленных «*белоштанников*»...

Теперь — все не то.

Пусты — рестораны, курзалы, отели: смешной «*белоштанник*» — ненужный, надутый — протащится дергаясь из хохочущей пасти подъезда — куда-то; он не знает — куда: остановился; и смотрит он, как стоит полисмен, как протащится трам (совершенно пустой), как пройдет полногрудая дама с огромнейшим током на шляпе — в кричаще-зеленом во всем; из-под сквозной и короткой юбчонки дрожат ее икры; и до ужаса страшен ее смехотворный наряд, заставляющий ждать от дамы, что она вдруг пустится в танец; но глаза ее — грустны и строги; и как бы говорят: «ну за что меня нарядили во все это…»

Ее жалко… до боли…

Может быть: ее муж залегает в траншеях; может быть — в эту минуту бросается он в рой гранат; глаза — плачут; и — *там* они; а посадка фигуры, походка и «*все прочее*» моды заставляет несчастную модницу продолжать «*danse macabre*» в каменных тротуарах умершего города.

Дама — в испуге: а «белоштанник» — бодрится; и развинченной, дробной походкой бежит ей навстречу. Вот уже он в кафе: и ему, одному, неизменный оркестрик венгерцев визжит что-то скрипками.

Но забвения — нет. Нам поэт говорит, будто —

В бездне бесцельности
Цельность забвения.

Бальмонт

«*Бездна бесцельности*» — сотни и тысячи «*белоштанников*», сотни и тысячи стрекозящих франтих, заполнявших недавно здесь всё; эта «бездна» отхлынула; «*цельность забвения*» — *марево*: действительность повела нас от стен этих зал через фронт к поискам живой жизни: не этой.

Оттого-то ужасны здесь отложения жизни — теперь; оттого-то ужасны пустые кафе и отели; многоглазые чудища расхохотались; и — дразнят: подъездами. Некому подъезжать; но и — *не к чему* подъезжать.

3

Осенью я приехал в Монтрё; и — бежал.

Монтрё — мертвый город.

«*Белоштанника*» видел я; он напомнил мне дикаря, анахорета мертвого города, распевающего печально о прошлом.

Среди пения птиц и ручьев я смотрел себе под ноги, где у озера омертвеневшим пятном расползалася безобразная бугорчатка из каменных, маленьких кубиков, как растущий лишай на цветущей природе.

Таков Монтрё с гор.

Изредка я опускался, теряясь в объятиях зданий, пересекал их пустые рои; тротуары, лестницы, крыши казались вселенной, а вселенная гор за Монтрё из Монтрё принимала вид обыденнейшей цветной фотографии (прикосновение к пошлости всё опошляет).

Мне казалось, эти кубы домов, безобразно огромных, бесстильных, разгромоздились над бездной; их удел — оборваться в *ничто* или же: медленно раствориться в бездонном по образу и подобию облаке; рассеяться маревом; в *никуда* и в *ничто* поднималися стены домов; и *ничто* глядело из окон; выбивались ковры, клубы пыли валили с пустого балкона, с веранды и глупо и пусто грустнел бедный сноб: в *никуда* и *ничто*.

Разъялись иллюзии будто бы многокрасочной жизни; ее краски — татуировка, и бронзовеет под нею дикарское тело; и каменеют под пестрыми амулетами дамских мод — тела «*каменных баб*»; вспоминаю невольно: еще недавно приняли многие ницшевскую «*blonde Bestia*» просто «*бестией*»; оказалось: *биологический* блондин, «*blonde Bestia*», есть — болван: пережиток каменного периода, неизвестно как попавшего в будущее, нам оттуда грозит: омертвением, одичанием жизни.

Праздность жизни — дикарство.

Дикари — декаденты, они — обломки культур; неосмысленность утончения жизни разъедает культуру и низводит к дикарству; утонченность экзотики, стилизации и искусственный примитив — переходные стадии от культуры к дикарству, и футурист (парижанин, берлинец, москвич — все равно!) — переход к дикарю.

Карфагенские бритвы в позднейшем периоде жизни встречаются: у танганайского негра; там они — боевые ножи; так всегда: футуристические манифесты о разгроме искусства обернутся действительностью; томагавок «*грядущего хама*» грозит Джиоконде.

Среди нас, в городах, образуются новые племена: папуасов XX века; в многообразии проявлений бежит папуас среди нас; он — «*тангист*»; он «*апаш*»; «*футурист*» есть одно проявление; «*белоштанник*» — другое.

В настоящее время с нас сдернуты: украшения, амулеты и кольца; лики мертвенной жизни восстали: кричат; безобразие мертвых курортов — кричащее проявленье дикарства XX века; пока била в них жизнь — мы пьянились ее кричащими блесками; но эти блески суть перья и кольца, которыми нас обманывал *папуас*, утверждая, что он — европеец; и мы — ему верили; и танцевали мы — кек-уок, негрский танец; и «*кек-уоком*» пошли мы по жизни; и «*кек-уоковой*» поступью бродит доселе, один — грустный фат: в мертвом городе: печать «*Кек-уока*» и «*Танго*» — на всем в нашей жизни; и она — печать дикаря, которого якобы цивилизацией рассосала Европа; не рассосала — всосала: его огромное тело в свое миниатюрное тельце. И Полинезия, Африка, Азия протекли в ее кровь: в ней вскипели; в ней бродят и бредят: уродливо-дикой фантазией, беспутицей плясовой изукрашенной жизни: бытом, стилем и модами; и даже — манерой держаться.

Европа — мулатка.

Что-то дикое есть в безобразии стиля домов, в сумасшедшем взгляде пустых мрачных окон отелей, в глухих звуках *гонга*, призывающего в час обеда к огромным столам… «*Никого*».

Мертвый город — курорт — без людей напоминает ряды огромнейших черепов, оскаленных подъездными ртами; это — смерть; и от нее мы должны отрешиться: создать город жизни — «*Град Новый*»: Град Солнца.

Если мы не осознаем ближайшей задачи своей, то мулатский облик Европы из шоколадно-лимонного станет… бронзово-черным; и из легкой личины «утонченной» кек-уоковской жизни вдруг оскалится морда негра: взмахнет томагавком.

Негр уже среди нас: будем твердо… арийцами.

Петроград и Москва в освещении прессы немецкой Швейцарии

1

Русским невыносимо читать характеристики русских нерусскими; невыносимее всего их похвалы с их дипломами на право числиться «западом».

Очень многое, что писалось «за и против» России, писалось не о России, а о… «теле медведя», для одних очень милом и для других очень грозном; в изображении души русской жизни души-то и не было: было… «тело медведя»…

Теперь — все не то.

Метод касания русской жизни иной; характеристика бытовых явлений — живее, конкретней; и слова иностранки о том, что хотела бы и она повидать горный город Москву (это — факт), были образом и подобием моральных определений России со стороны иностранцев.

2

В осторожной, корректной газете «Basler Nachrichten» появилась статья под заглавием: «Moskau und Petersburg»[1].

Повторяет она очень частые мнения русских — о Петрограде, Москве: интересует нас в ней теплый тон к явлениям русской действительности. Я позволю себе привести весь ход мыслей статьи: слишком он характерен; слишком он интересен нам, русским, чтобы от него отказаться.

Противоположением Берна Цюриху и Мюнхена прусской столице, Берлину, не охарактеризуешь противоположения Москвы Петрограду, — пишет автор статьи; пусть Москва — как наш Берн, — город с яркою национальною физиономией: Петроград же Цюриху не подобен; то, чем нам говорят старые переулочки Цюриха, чем глядит на нас Мюнстер, — все же есть выражение подлинно швейцарского духа; даже самый Берлин, угрожающий прусским духом Германии, все же более связан с Германией, чем Петроград с огромною остальною Россиею; они — создание сверхисторических веяний; и если сердце России — Москва, то Петроград — не глава ее; не история нации отразилась в нем, а история государственной русской жизни за последние двести лет.

Создание столицы не изменило биение пульса истории: пульс истории русской в Москве; Петроград — исторический вымысел, с невероятною трудностью восстав-

[1] См. «Basler Nachrichten» от 23-го и 24-го июля, нов‹ого› ст‹иля›.

ший из-за туманных болот всевозможным роем соблазнов для подлинных русских; и небесные знамения и пророчества сопровождали восстание это, бывшее для многих воистину знамением приближения антихриста; говорилось: «Быть Петербургу пусту»; и расколы, и секты плодил он в России; заревом «самосожжений» окрашено его появление на свет.

Автор статьи продолжает: — произведение той же фантастики: «всешутейший собор» с «всешутейшим» папою в нем и — «Санкт-Петербург», т. е. город с по существу нерусским названием, оставшимся чуждым русскому духу, даже в своих сокращениях (как то: «Питер»); наоборот: самоцветным камнем Москва изукрашена («белокаменная», «кормилица», «матушка» и т. п.). Дело Петрово, — поучает автор статьи, — цивилизаторство: не «культура» она, наоборот: отрыв от народной культуры; не органическое соединение «культур» Запада и России, а смешение формы их (цивилизации) с содержанием русской жизни; и боярские бороды, срезанные по мановению ока царя, — гласит автор статьи, — возродились, конечно же, в Петрограде, приняв фантастический облик. «Бюрократизм» совершенно чужд русской жизни, пульс которой — Москва; и от того-то отсюда исходит: неприятие «петербургского» периода русской жизни; и смешению цивилизации и культуры противополагает Москва органическое соединение культур «национальной» с «западноевропейской»; цель похода Наполеона — не Петроград, а Москва; и Москва победила его; и в Москве началось освобождение от ига тирана.

Так думает автор, и замечает он, что неспроста в Москве сосредоточены символы, собственно, исторической жизни России, как, например: колоссальнейший памятник делу освобождения крестьян — стоит здесь; здесь же — центр организации земского дела России; здесь центры — коммерческой и благотворительной жизни: многообразие клиник, больниц, созданных из пожертвований, — окружает Москву, украшая ее; все это, по автору, — символы органической связи культуры Европы с культурой народа; таким символом здесь — университет (Alma Mater России); таким символом является лучший и оборудованнейший русский народный университет; и — неспроста: в Москве родились, в ней окрепли или же из нее родом — духовные вожди русских (Пушкин, Толстой, Достоевский, Чаадаев, Герцен и пр.). И неспроста, по автору: Петроград — вымышленное «окошко в Европу» — много раз показал себя «дверью с засовами»; и неспроста, что догматы «петроградской действительности» упадали тяжелыми камнями на живое сердце России. И неспроста сказал Достоевскому подлинный славянофил Аксаков, — что главнейшее условие к освобождению живого чувства к России в нем есть именно нелюбовь к «Петербургу». Далее приводятся автором и слова Достоевского о Петрограде, взлетающем над землею с туманом; характеристика переходит к отношению Петрограда, Москвы к мировой войне.

Современную «мировую» войну повела Москва, т. е. сердце России; а шпионская война — дело рук Петрограда; этим и обусловлен контраст в отношении к войне русского общества теперь и одиннадцать лет ранее; дело рук Петрограда не согревало сердце России; на военный призыв Москвы отозвалась вся Россия; и с изумлением увидала Европа стойкую, свежую, мощную и окрепшую Русь, отозвавшуюся на

московский призыв соединенных земских и городских союзов, бросившихся из Москвы на подмогу фронту и осуществивших реально, вопреки Петрограду, кровное соединение русского тыла и фронта; «Петроград» тормозит это дело; даже сам «московский погром» (от которого пострадали главным образом русские) — отражение в Москве «петроградского бюрократизма»; с ужасом отшатнулась Москва — свежая, либеральная и живая! — от этого темного дела…

Автор заключает статью свою указанием, что для победы русских над немцами необходима свобода действия для «Москвы», необходимо доверие к «Москве» «Петрограда».

Статья замечательна: интерес повышается к ней, если примем мы во внимание, что «Basler Nachrichten» есть орган «немецкой Швейцарии» — осторожный, корректнейший, справедливый, но все же — «немецкий»…

Статье «Moskau und Petersburg» предшествует другая статья (в том же органе); в ней вскрываются беспристрастно причины роста враждебности русского общества к немцам на политической почве; статья разбивает, наверное, иллюзии многих, все еще желающих верить в «бюрократический» характер войны, которую мы ведем против них; проливается в ней новый свет для обитателей Базельланда; и свет — дневной, подлинный; погашаются ею все условности в освещенье России; и возникает «Московия» — настоящая: либеральная и живая; и возникает «Москва» — не «горный город с медведями», а Alma Mater России.

3

До последнего времени иностранцам казалось: Достоевский, Толстой — ну да, там; это, это… как великолепные монументы, упавшие из грядущего в царство «татарских» поселочков (современной России) и не связанные с ними никак; преклонение перед литературою русской носило досадно-абстрактный характер, не относимый к России; так выходило у немцев: одно — русский гений; другое же — русский, встречаемый ими повсюду, которого отвергали они и который их знал в их исконном и лучшем; знал в Шиллере, в Гёте, в Новалисе… Образ Божий его проглядели они… И вот этот «русский» стоит перед ними грозою…

Они поняли, что этот тихий, покладистый русский — покладист и тих не оттого, что «татарин» он, а оттого, что в нем подлинное воплощение гениальных образов Достоевского и Толстого, и что эти «образы» есть Россия, что Каратаевы, Мышкины и Раскольниковы, это — именно те преследуемые полицией бедные юноши, появление которых в университетах Германии так шокировало «шрамоносных» и сытых сынков их. До конца осознать слепоту не в состоянии они и теперь; и через голову «бедного русского юноши», гонимого некогда их полицией в продолжение ряда лет, — соединяют они Достоевского и Толстого непосредственно с народной стихией, попадая подчас в противоположную крайность.

Книгоиздательство «Дидерихс» выпустило брошюру о русском народе; и она — примечательна: автор пытается нарисовать «мужичка» по образу и подобию Каратаева и этим образом измеривает явления русской народной и исторической жизни; величие, смирение и бесстрашие русской души вырастает из этого освещения; и

уверяет нас автор: менее всего русский — раб; более всего — из свободы моральных исканий перед собой полагает он не бунт, а — смирение, потому что им пережит подвиг «бунта» еще прежде, в истории: в протестах раскола; протопоп Аввакум есть для автора sui generis анархист, отстаивающий религиозную совесть; русская интеллигенция, уверяет автор статьи, — остановилась на стадии этого «романтического» бунта; между тем русский народ эту стадию перерос; он — «этический реалист»; интеллигенции он непонятен и чужд; умаление русской интеллигенции есть другая абстракция, противуположная прежней: делению всей России на «Толстых» и татар; интересно не это; интересен сейчас глубочайший разгром первоначальных мнений о русском народе в немецком сознании; с лихорадочной поспешностью бросились изучать ныне немцы не изученное ими явление: сознание многомиллионного народа, еще недавно с открытым доверием обращенного к ним и как бы говорящего им в лице многих своих представителей:

— Вы должны были нас полюбить не тогда, когда ваш почтенный «гелертер» удосужился углубиться в многотомный трактат свой о нас; вы должны были нас полюбить не тогда, когда ныне мы перед вами стоим, ощетинившись пушками и штыками; вы должны были нас полюбить ради образа и подобия Божьего, который в нас вписан; бедным юношей, странником, изучающим ваших гениев, стоял перед вами тот «русский», которому удивлялись вы у Толстого и которого гнали вы, как «студента», потому что он — беден и одинок на чужбине; но его вы отвергли; он был для вас — слишком скромен; то самое «смирение», которое превозносите вы в русском народе, — в нем было: вы его не увидели… Было время: искали мы «голубой цветок» романтизма не у Новалиса только: у вас; и на протянутую руку дружбы мы слышали отповедь: «Руки прочь»… Не удивляйтесь же, что Новалисы, Ницше, Вагнеры, войдя в плоть и кровь наших чувств, не изменили в нас, русских — «русского»; и на идиллии о русском народе теперь, когда отцветают идиллии, большинство русских ответит вам: «Увы! Поздно!»

КОММЕНТАРИИ

Гремящая тишина

Бирж. вед. 1916. № 15442 (15 марта). Утр. вып. С. 2.

Очерк в сильно переработанном виде использован при составлении книги «Кризис жизни» (СПб.: Алконост, 1918): материалы 1-й главки «Гремящей тишины» вошли в гл. 1, 17, 16 книги; материалы 2-й главки — в гл. 25, 4, 26, 18; материалы 3-й главки (кроме конца, который не перепечатывался) — в гл. 18, 26, 44, 27.

Базель — Пометы принадлежит редакции газеты (из письма Белого Иванову-Разумнику от 23 июня 1916: «Я топлю свои “горестные минуты” в фельетонах; ‹...› “Биржевые ведомости” над моим фельетоном ставят “Базель”. Я бы поправил их и поставил бы: “Сумасшедший дом”» — Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка / Изд. А.В. Лавров и Дж. Малмстад. СПб., 1998. С. 69).

В Швейцарии говорят о войне... — Вероятно, ответ на подразумеваемый вопрос редактора и читателя газеты «Что в Швейцарии говорят о войне?».

...у немецкой границы, в углу, где живу я... — Базель находится непосредственно на границе Швейцарии с Францией (Эльзасом) и Германией (Баденом). В описываемое время это была граница только с Германией, так как Эльзас тогда был немецким (захвачен Германией после Франко-прусской войны и возвращен после Первой мировой).

...кругло затуплено в «io» самое немецкое «ja». — Речь о базельском диалекте немецкого, так называемом Baaseldiitsch (ср. возглас кондуктора ниже).

«Бааа-зель»... — Пародируется звучание названия города на Baaseldiitsch.

...не город Эразма; и это — не город Гольбейна... — Эразм Роттердамский (1466?–1536) жил и работал в Базеле последние годы своей жизни, здесь и умер. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) провел в Базеле значительную часть жизни, был знаком с Эразмом, оставил в Базеле многочисленные фрески и картины. Серия гравюр Гольбейна «Danse macabre» — центральный образ очерка «У немецкой границы»; образ «города Эразма и Гольбейна» связан с размышлениями об измене пути Ренессанса и гуманизма как причине современного кризиса (см. очерки «Кризис жизни», «У немецкой границы»).

«Гремящая тишина»... — Летом 1911 г. Белый жил с Асей Тургеневой в имении ее родителей на Волыни, под Луцком, и, по его уверениям, там постоянно слышался некий будто бы грохот отсутствующей телеги. В письмах Блоку Белый говорит об этом звуке: «есть же на свете таинственные вещи» (Андрей Белый, Александр Блок: Переписка / Изд. А.В. Лавров. М., 2001. С. 454; письмо от 1/14 мая 1912). В более поздних документах Белый вспоминает его неоднократно, утверждая, что это был именно тот звук, который он слушал в Базеле два года; это звук войны, особенно тяжко прошедшей по Волыни. Белый связывает с ним свое творчество этого периода и творчество Блока (*Андрей Белый*. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 384–386; гл. 9, главка «Время разочарований»; ср. также: *Он же*. Между двух революций. Часть вторая // Литературное наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 447–448). Мало того, в начале 20-х годов Белый утверждает, что такой же звук слышал и в июле 1914 г., когда в обществе других антропософов был на Балтийском море; все слышали с моря будто бы гром пушек — как предвестие войны, которая начнется через месяц (*Андрей Белый*. Материал к биографии (интимный...) // Минувшее. М., 1992. № 6. С. 401). Сходным образом описывается вдохновение, которое весной 1901 г. привело Белого к сочинению II Симфонии («Материал к биографии (интимный...)», цит. по: Переписка Андрея Белого и А.С. Петровского / Вступ. ст., сост., коммент. и подг. текста Дж. Малмстада. М., 2007. С. 10). Ниже, в «Горизонтах сознания», развивается другое понимание образа: «гремящая тишина» — это предсказания писателей и мыслителей о грядущем кризисе, предсказания, которые Европа не расслышала.

...девятнадцатый месяц... — Отсчитывая от августа 1914 г., начала войны.

Битвы в Эльзасе обычны... — Французский Эльзас был захвачен Германией после Франко-прусской войны 1870–1871 гг. и первая кампания Первой мировой начиналась с французского наступления в Эльзасе. Оно было остановлено немецкими войсками и линия фронта в Эльзасе и Лотарингии не менялась до последнего года войны, шли только описываемые Белым перестрелки.

...«гром» непрерывен; глухой говор обычно подымется; глухой говор потом упадет... — Аллитерационная игра, напоминающая рокот грома, повторяется в начале «Горизонтов сознания». Образ доктора Доннера из романа «Москва» (Donner, *нем.* — «гром») также восходит к пушкам лотарингской кампании — ср. сцену группы дорнахцев, слушающих

обстрел, в «Материале к биографии» (Минувшее. №. 6. С. 407), и запомнившуюся Белому по-немецки реплику доктора Штейнера «Das ist Kanonendonner».

Ты подвиг свой свершила прежде тела ~ Венец пустого дня… — Белый цитирует по памяти одно из своих любимых стихотворений — «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» Е.А. Баратынского. Первая из цитируемых строк у Баратынского — «Свой подвиг ты свершила прежде тела»; после слова «душа» Белый пропускает две строки, обозначая это многоточием (у Баратынского восклицательный знак). Вместо «бесследно» у Баратынского «бесплодный», в конце, после «дня» — восклицание. Анализ этого стихотворения имеется и в стиховедческих материалах конца 1900-х годов (ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 2. Ед. хр. 16), и в книге «Ритм как диалектика» (М., 1929. С. 90). Об особом внимании писателя к поэзии Баратынского вспоминала и К.Н. Бугаева (описываемая сцена, как можно понять по контексту, относится примерно к 1920 г.):

«Для Б.Н. многие из его внутренних состояний, порой даже целые полосы жизни, связывались со словами любимых поэтов или с темами музыкальных произведений. ‹…›

К тем же годам, что и “Winterreise”, может быть немного позднее, относится тема, выражение которой давал Баратынский. Привожу это стихотворение “На что вы дни”, стараясь внешним образом передать интонацию Б.Н.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Ты подвиг свой свершила прежде *ТЕЛА*,
БЕЗУМНАЯ душа!
И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем *ВОЗВРАТНЫХ сновидений*
Ты *ДРЕМЛЕШЬ, а ОНО*
БЕССМЫСЛЕННО глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

‹…›

Тогда-то с непередаваемой болью начинал выговаривать он Баратынского, подчеркивая острою интонацией отдельные слова и строчки.

После глубокой паузы на “ты дремлешь”, он обрывал голос в другую, казалось, бездонную паузу: “А оно...” И замолкал надолго, как бы ища нужное слово. И потом, из молчания, сурово и медленно приподымал, точно вздох, точно стон мировой муки Атласа: “бессмысленно... глядит...”. Глаза широко открывались, как-то стеклянно вперяясь во что-то; будто с ужасом видели перед собой это неизбежное утро, без нужды сменившее ночь, — сменившее только затем, чтобы, мертвенно повернувшись колесом пустого постылого дня, снова уйти в ту же ночь».

В книге «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» стихотворение приводится как символическая иллюстрация ситуации разрыва «личного Я» и «Я как единства сознания», которое кантианскими представлениями «растоптано в формах познавательной деятельности»; в результате личное Я начинает сознавать себя запертым в теле бессмысленным «оно» (*Андрей Белый.* Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности; Вос-

поминания о Штейнере / Сост., коммент. и послесл. И.Н. Лагутиной, М.Л. Спивак. М., 2000. С. 165–166).

...душные, знойные дни... — Перифраз стихотворения Вл. Соловьева «Вновь белые колокольчики», особо ценимого младосимволистами-соловьевцами; эти же строки взяты эпиграфом к следующему очерку.

...статный баварец... — Ганс Штраус (1883–1946), художник. «Милый, сердечный и умный человек», руководил в Дорнахе группой резчиков, в составе которой работал Белый (Минувшее. № 6. С. 404). Сцена объявления войны: «…помню золотеющий вечер, склоняющееся к горизонту солнце; мы после кофе с особым самозабвением работали; вдруг на лесах произошло волнение; кто-то к нам подбежал с газетным листком; Штраус протянулся за ним; прочел и, обернувшись, сказал нам: “Все — кончено: война объявлена!” Мы опустили молотки и молча поглядели друг на друга; потом Штраус с грустной улыбкою на меня посмотрел и сказал: “Ну, *Herr Bugaeff*, вот мы с вами и стали врагами...” Я вместо ответа протянул ему руку, которую он крепко пожал» (Там же. С. 405). «Мобилизованный Штраус (баварец), который шел в армию ухаживать за пленными ранеными, все записывал слова русские, чтобы быть полезным увечным, могущим попасть к нему», — сообщает Белый в «Воспоминаниях о Штейнере» (гл. 5, § 21).

...пасторальной симфонии... — Имеется в виду симфония Л. ван Бетховена № 6 фа мажор, ор. 68 («Пасторальная»). Тема «пасторальной» симфонии, вероятно, именно в дни войны перекликается в сознании Андрея Белого с другим образом, почерпнутым из окололитературного контекста русского символизма, — это образ «пасторали над бездной» в очерке «Горизонты сознания» (см. ниже коммент. к ним).

...как пение комаров, визги ласточек, визг далеких трамваев или шум водопадика... — О привычности грома пушек для жителей Дорнаха Белый подробнее пишет в письме А.Д. Бугаевой: «Когда ко мне приехал Метнер и мы вышли гулять, и загремели пушки, на него это произвело сильное впечатление. А мы так привыкли уже, что не обращаем внимания» («Люблю тебя нежно...» Письма Андрея Белого к матери. 1899–1922 / Изд. С.Д. Воронин. М., 2013. С. 211; письмо от 13 февраля 1915).

В первый месяц войны, Боже мой, что тут было! — Паника первого месяца войны в Швейцарии подробно описана в «Материале к биографии» (Минувшее. №. 6. С. 406–407) и в письме Иванову-Разумнику (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 48–49).

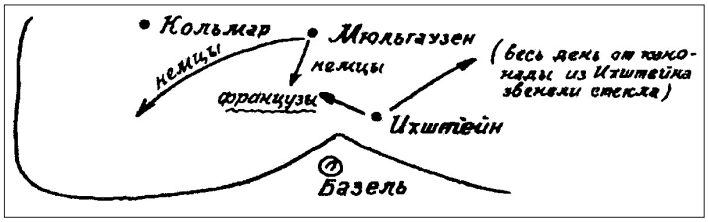
...Юпитер с Венерой — с любовью мудрость... — Юпитер, как правило, не символизирует в астрологии мудрость. Сочетание мудрости и любви восходит, скорее, к соловьевской софийной мифологеме.

— Вы поедете на Дуриго? — Илона Дуриго (Durigo, 1881–1943) — австро-венгерская певица (меццо-сопрано). Получила известность как камерная певица, исполняла в том числе песни Малера и Шуберта. Гастролировала в Венгрии, Германии, Швейцарии и России (1912).

...мне интересней Росмини... — Антонио Росмини-Сербати (1797–1855) — известный итальянский философ и религиозный деятель. Использовал некоторые кантианские идеи и термины в построении своей системы религиозной философии. Позиция Росмини именно в этот период казалась Белому особенно близкой его собственному методу описания антропософии Р. Штейнера через призму кантианской философии.

...в Мюльгаузене... — Мюльгаузен (Mühlhausen, *фр.* Мюлуз, Mulhouse) — городок в Эльзасе, тогда немецкий, после войны французский; оказался в эпицентре военных действий в

первые недели войны. Белый обозначает его на картах военных действий, которые чертит в письме Иванову-Разумнику (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 48–49). Одна из них:



Карты военных действий и их подробные описания есть в письмах к А.Д. Бугаевой («Люблю тебя нежно...» Письма Андрея Белого к матери. С. 201–202, 207–209; письма от августа и от 8 декабря 1914).

...профессор истории искусства в базельском университете (пал же он под ударом штыка нигерийского негра). — Чернокожие солдаты служили во французских колониальных частях. Нигерия, в отличие от Нигера, не была французской колонией. В письме Иванову-Разумнику от 11 марта 1916 г. Белый, упомянув «два фельетона, уже отосланные в “Биржевые ведомости”» (т. е. один из них — «Гремящая тишина»), пишет: «...сижу в базельской универс‹итетской› библиотеке и читаю Ласка (очень интересного философа-немца, проткнутого чуть ли не... штыком сенегальца); его “*Lehre vom Urteil”* — одна из интереснейших книг современности; но, увы, участь интересных людей ныне — протыкать или быть протыкаемыми» (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 63). Эмиль Ласк погиб в Галиции, на Восточном фронте, где не было солдат из французских колоний; его убийство сенегальским или, тем более, «нигерийским» негром — художественное обобщение. По всей вероятности, превращение Ласка в «профессора истории искусства в Базеле» — также художественный образ (хранителя традиции Эразма и Гольбейна пронзает дикарь в квадрате).

В конечном счете речь идет о «внутреннем негре», о варварстве, зреющем в самой европейской культуре: «Нельзя безнаказанно упрощать человеческий жест; упрощая его в человеке, приходим к звериному жесту; ‹...› и — зверь появился (негр пьесы “У жизни в лапах”): тот негр, что проткнул своим острым штыком (при сражении в Эльзасе) профессора Базельского университета: занявшего кафедру... Якова Бургхардта!» («Кризис культуры», главка 37). Еще подробнее о новом дикарстве говорится в очерке «Мертвые города» (Бирж. вед. 1916. № 15745 (17 авг.). Утр. вып. С. 2), затем подробнее в «Одной из обители царства теней» (Л., 1924. С. 39–73).

Ни одного неделикатного разговора, ни оттенка вражды. — В «Материале к биографии», помимо многих случаев терпимости и солидарности, Белый вспоминает и другие: «В первые же дни после объявления войны ‹…› хозяин наш, Шмидт, оказавшийся немцем, стал возмутительно относиться к нам» (Минувшее. № 6. С. 406); не всегда были корректны, с точки зрения Белого, немцы и австрийцы внутри антропософской общины (Там же. С. 413); впрочем, в октябре «шовинистическая лихорадка» среди них уже ослабела (Там же. С. 410), а в апреле 1915 г. Белому опять стало казаться, что не все выдерживают дух «подлинного пасифизма» (Там же. С. 436). В письмах к А.Д. Бугаевой Белый суммирует обстоятельства — сразу с началом войны антропософской общине грозил раскол из-за ее многонациональности;

к зиме ситуация выправилась, в частности благодаря специальным усилиям Штейнера («Люблю тебя нежно...» Письма Андрея Белого к матери... С. 206; письмо от 8 декабря 1914).

Горизонты сознания

Бирж. вед. 1916. № 15446 (17 марта). Утр. вып. С. 2.

1-я главка «Горизонтов сознания» (кроме окончания) в отредактированном виде вошла в гл. 28 и 8 «Кризиса жизни», первые абзацы 2-й главки — в гл. 40 книги. Остальная часть очерка не перепечатывалась.

В грозные, знойные, душные ~ те же они… — Стихотворение Вл. Соловьева «Вновь белые колокольчики» (1900). Белый цитирует по памяти, контаминируя конец и начало стихотворения (у Соловьева: «В грозные, знойные / Летние дни…» в начале и «В тяжкие, душные, / Грозные дни…» в конце).

Гремела телега ли… Пушка ли? Это было под Луцком. — О трактовке таинственного звука, который слышался под Луцком, как предвестия войны см. выше, в комментарии к «Гремящей тишине».

Дни текут… Времена накопляются… Приближаются поступи сроков… И исполняются сроки… — Вероятно, тут Андрей Белый отсылает читателя к своим симфониям («Дни текут... Времена накопляются...» — цитата из первой редакции «Кубка метелей», см.: *Андрей Белый.* Симфонии. Л., 1991. С. 457; повторено как слова Коробкина в рассказе «Иог», см.: *Андрей Белый*. Серебряный голубь. Рассказы / Изд. В.М. Пискунов. М., 1995. С. 303).

Про 913-й год говорилось так много в крестьянстве... — В «Петербурге» (гл. II, главка «Степка») по деревням ходит письмо, начинающееся так: «Близится великое время: остается десятилетие до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всех годов значительней 1954 год» (*Андрей Белый*. Петербург / Изд. Л.К. Долгополов. М., 1981. С. 105).

...просчитало... — Sic (вместо «просчиталось»).

Опять над полем Куликовым ~ Высоких и мятежных дней. — Белый несколько раз сближает творчество Блока периода «Куликова поля», образ «гремящей тишины» и предчувствие мировой войны, см., например: *Андрей Белый*. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 384–386; гл. 9, главка «Время разочарований»; ср. также: *Он же.* Между двух революций. Часть вторая // Литературное наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 447–448. См. подробнее выше, в комментарии к «Гремящей тишине». В письме А.Д. Бугаевой в чрезвычайно сходном рассуждении Белый цитирует другой фрагмент «Куликова поля», а также «Дракона» Владимира Соловьева, указывает на предчувствие мировой войны и в своей «Второй симфонии» («Люблю тебя нежно...» Письма Андрея Белого к матери… С. 227–228; письмо от 23 июня 1916).

Парок бабье лепетанье ~ Темный твой язык учу. — «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» А.С. Пушкина. Белый твердо помнил их в том виде, в котором они были опубликованы после смерти Пушкина и публиковались на протяжении XIX и начала XX в. (с правкой Жуковского). Он неоднократно цитирует эти строки, говоря о желании и умении поэта расслышать смысл кажущегося бессмысленным; о Пушкине в «Жезле Аарона» (Скифы. 1918. Вып. 1. С. 182–183), о Гоголе (*Андрей Белый*. Мастерство Гоголя. М., 1934. С. 75), о Блоке (*Андрей Белый, Иванов-Разумник, Штейнберг.* Памяти Александра Блока: Открытое заседание Вольной Философской Ассоциации. Томск, 1992. С. 30).

...испарение слова о чаемом воскресении мертвых... — Ср. слова сенатора Аблеухова в финале драматической переработки «Петербурга»: «Чаю воскресения мертвых и сахару будущего века» (*Андрей Белый.* Петербург: Историческая драма / Изд. А.В. Лавров. М., 2010. С. 279).

...пасторали над бездной. — Образ «пасторали над бездной» Белый трактует в «Жезле Аарона» как тупик до-символистской, «парнасской поэтики» и как тупик буржуазного отношения к искусству в принципе (Скифы. 1918. Вып. 1. С. 175). В «Кризисе культуры» (гл. 32) пастораль, противопоставляемая грому в «гремящей тишине», — это «вся культура», которая после Ницше есть «сплошной *тихий час*... перед взрывом всех зданий: каркасов культуры. Но мы тихий час принимали за пастораль кабинета, тихий час — нагнетание атмосферного электричества перед громом грозы; гром последовал: комфортабельный кабинет ваш разорван ...» (*Андрей Белый*. На перевале. М.; Берлин, 1923. С. 176). Позже «пастораль над бездной» появляется в «Москве под ударом» как квинтэссенция обстановки кабинета Мандро и его стиля жизни (глава II, § 24); в «Масках», после начала Первой мировой, у фарфоровой пастушки, игравшей «пастораль над бездной», уже отбита ручка (гл. II, главка «Севрский фарфор леопардовых колеров»).

...монополия «бездны»... — Образ «двух бездн» восходит к творчеству Д.С. Мережковского, прежде всего к его книгам «Толстой и Достоевский. Вечные спутники» и трилогии «Христос и Антихрист». У Мережковского есть и стихотворение «Двойная бездна». См. подробнее в комментарии к этому стихотворению К.А. Кумпан в: *Мережковский Д.С.* Стихотворения и поэмы / Изд. К.А. Кумпан. СПб., 2000.

...с легких слов Достоевского... — Речь идет, вероятно, о мыслях из «Дневника писателя» и «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского. В «Братьях Карамазовых» говорится о Европе-кладбище (*Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1988. Т. 14. С. 210), в «Подростке» — о «похоронном звоне» над Европой (Там же. Т. 13. С. 374–375).

... все новые сотни тысяч людей, точно рожь в молотилки, ввергаются в ту же полосу... — Источник образа — беседы с Т.Г. Трапезниковым. О январе 1914 г.: «Трапезников как-то странно говорил о том, что надо держаться скромнее и тише; ‹...› и о том, что человечество вступает в громовую полосу жизни ‹...› Слова странно сплетались с моим состояньем сознания» — из «Материала к биографии» (Минувшее. № 6. С. 366). Этот образ также возникает в финале «Кризиса жизни».

...ты отправишься сам громыхать против пекаря. — «Вот мне и кажется: в Россию мне надо ехать разве что — в лазарет, во фронт; и совсем не кажется мне важным возвращаться в Россию “*an und für sich*”. Кажется, так и будет: либо вернусь в Россию, когда будет окончен Bau, а дела — бездна, либо — прямо вернусь на службу (военную ли, лазаретную ли), если призовут или если придет “*крайняя пора*”» (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 51; письмо от 16 марта 1915). «P.S. Как Вы со ”*службой*”? Александр Александрович — тоже ведь?» (Там же. С. 71; письмо от 24 июля 1916, когда Белый уже выезжал в Россию, будучи призван на военную службу. «Александр Александрович» — Блок).

...хор, то есть Ницше, Стриндберг, Толстой, Достоевский... — Об интерпретации Белым в предшествующий данным очеркам период творчества Ницше см., в частности, очерк «Фридрих Ницше», вошедший в «Арабески» (М., 1911. С. 60–91), также статью «Круговое движение» (Труды и дни. 1912. № 4–5, июль–окт. С. 51–73).

Об интерпретации им творчества Достоевского и Толстого см. очерк «Ибсен и Достоевский» (*Андрей Белый*. Арабески. М., 1911. С. 91–100); также: *Он же.* Трагедия творчества: Достоевский и Толстой. М., 1911; *Он же.* Лев Толстой и культура // О религии Льва Толстого. М., 1912. С. 142–171.

Интерес к Стриндбергу вместо Ибсена, о котором Белый писал неоднократно и особенно подробно именно в связи с темой кризиса (*Андрей Белый*. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Андрей Белый. Арабески. С. 161–210), — скорее влияние Блока; см. статью Блока в «Трудах и днях» (*Блок А*. От Ибсена к Стриндбергу // Труды и дни. 1912. № 2, март–апр. С. 8–14), журнале, в подготовке которого активно участвовал Белый, а также в переписке этого периода.

...Владимира Соловьева читают на западе: восхищаются «Духовными основами жизни», понимают «Три разговора»... — Антропософское издательство «Der kommende Tag» издавало в это время собрание сочинений Соловьева (см. подробнее в комментарии к «Современным немцам»), куда вошли названные Белым сочинения. Р. Штейнер неоднократно хвалебно говорил о Соловьеве (см., например: *Гурвич Е.Б.* Владимир Соловьев и Рудольф Штейнер. М., 1993).

...Соловьев любил мистиков — Бёме, Экхарта... — Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий мистик, был уважаем в символистском кругу (в предвоенные годы его переводил ближайший друг Белого А.С. Петровский — *Якоб Бёме*. Aurora, или Утренняя заря в восхождении. М., 1914); Мейстер Экхарт (ок. 1260 — ок. 1328) — знаменитейший из средневековых немецких мистиков; незадолго до войны был издан «Мусагетом» в переводе причастной к антропософскому движению М. Сабашниковой (*Мейстер Экхарт*. Проповеди и рассуждения / Пер. со ср.-верх.-нем. и предисл. М.В. Сабашниковой. М., 1912).

...«Круппа»... — Фабрики, принадлежавшие семейству Крупп, производили знаменитые немецкие военные пушки.

...после одного московского реферата, которого заглавие видел я напечатанным крупным шрифтом, и «Крупп» стал философом, учеником великого Канта... — Речь идет о статье: *Эрн В.Ф.* От Канта к Круппу // Русская мысль. 1914. № 12. С. 116–124 (переизд. в сб.: Меч и Крест: Статьи о современных событиях. М., 1915). С этой лекцией Эрн выступал на заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г. Суть доклада словами автора: «Я убежден, во-первых, что бурное восстание германизма предрешено *Аналитикой* Канта; я убежден, во-вторых, что орудия Круппа полны глубочайшей философичностью; я убежден, в-третьих, что внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа». Принципиальное антикантианство православного платоника Эрна совпадает со злободневным военно-патриотическим пафосом в заключающей доклад молитве «Богу браней» о том, чтобы «славные войска наши своею духовною мощью и великим покровом Пречистой опрокинули и погнали перед собой бронированные немецкие рати» и чтобы «мы навсегда преодолели не только периферию зверских проявлений германской культуры, но и стали бы свободны от самых глубинных ее принципов». В других статьях Эрна эта линия развития немецкой культуры изначально связывается с Лютером и протестантским отрицанием почитания Богородицы (см., например: *Schmid U.* Russische Religionsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Freiburg; Basel; Wien, 2003. S. 236–237). Философ был сыном обрусевшего немца-лютеранина.

Белого, далекого как от военного, так и от антигерманского или антилютеранского пафоса, поразила в докладе мысль о возможной ответственности Канта за Круппа, об ответственности ведущего созерцательную жизнь философа, ученого или художника за мировую войну — см. очерк «Природа» (Бирж. вед. 1916. № 15488 (7 апр.). Утр. вып. С. 2). Пройдя через цикл «Кризисов», тема нравственной ответственности интеллектуала за мировую войну стала темой «открытия Коробкина» и легла в основу сюжета «Москвы» (см., например: *Спивак М.Л.* Андрей Белый: мистик и советский писатель. М., 2006. С. 230–250; глава «Лейбниц, Крупп и доктор Доннер»).

...семью красками спектра ее не окрасишь... — Спектрального анализа Белому часто приходилось касаться в книге «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», над которой он работал одновременно с дневником, положенным в основу данного цикла очерков; теории света посвящены ее третья и пятая главы.

...оттого-то здесь так умеют молчать, не читать рефератиков: о Владимире Соловьеве, об Экхарте, о «Круппо-Канте»... — «Конечно, я не стал бы сидеть здесь, если бы чувствовалось, что час — наступил, что пришла пора всем — без исключения — послужить России. Под службою я разумею реальное дело, а не “*лекцию*”. Но, читая газеты, видишь, что *пока* такой нужды нет, читать же хлесткие рефераты в роде “*от Канта к Круппу*”, или вопиять, как Л. Андреев, против немцев (попалась книжка какого-то журнала) — кажется мне теперь, в эти сериозные дни, “*пустопорожним занятием*”. Люди умирают в траншеях за Россию, а тут, нате, лекция — “*Душа России*”. И хочется воскликнуть: “*Как смеете вы, такие-сякие, теперь, когда молчанием и делом доказывают, что есть Россия*, разливаться словами о России”» (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 51; письмо от 16 марта 1915).

«Армия спасения» — международная миссионерская и благотворительная организация, существующая с середины XIX в. и поддерживаемая протестантами-евангелистами. Белый подробно изображает «Армию спасения» в романе «Москва под ударом»; там имитируются и немецкие песенки характерного стиля, которые исполнялись участниками этой организации.

Кризис жизни

Бирж. вед. 1916. № 15472 (30 марта). Утр. вып. С. 2.

Очерк вошел в книгу «Кризис жизни»; 1-я главка очерка с незначительной правкой и немногими дополнениями стала 2-й главой и началом гл. 3 книги; первые два абзаца 2-й главки очерка в расширенном виде вошли в гл. 3 книги, середина 2-й главки очерка в переработанном виде вошла в гл. 5 и 6 книги, продолжение 2-й главки очерка (от «а наш мир — мир искусственных аппаратов...» до «под говором пушек») с незначительными изменениями становится 9-й главой книги; последний абзац главки 2 и вся главка 3 очерка с незначительной правкой образовали 15-ю главу книги. Очерк, таким образом, представляет собой костяк первой части одноименной книги.

...на перевале ~ тело абстракций — машина. — Эти мысли Белый неоднократно повторял. Ср.: «Кризис мира продолжится, пока будем абстракцией мысли мы мерить события мира» — в объяснение революции (статья «Кризис жизни и творчества» — Жизнь. 9 июня [27 мая]. 1918. № 38. С. 3; то же самое в статье «Весенние мысли» — Наш путь. 1918. № 29, май. Гл. 7).

...черствая чувственность... — Подобным образом Белый описывал механизм злодеяний Мандро: от «грома» (*нем.* Donner, ср. гром пушек в этом цикле), через разделение сердца и ума и «черствую чувственность» к жестокости: «Когда посещал импульс Доннера, зов он испытывал сладкий, подобный длиньканью колоколов монреальских капелл ‹...›: из единого центра прокалывался двумя стрелами молньи; тот яркий проторч (в сердце, в голову) перерождал его (сердце и голову); чувственность перерождалася в черствость; так черствая страстность, в годах нагнетаяся, переходила в мучительную, беспредметную ярость, слагавшую образы бестиализма» («Москва под ударом», гл. 2, главка 18).

Слепота — тончит ухо, а глухота — тончит глаз ~ для утончения зрения мы должны протыкать барабанную перепонку? — Перенос чувственных восприятий и речи, их путаница подробнее описываются в «Кризисе мысли» применительно к «александрийскому периоду» развития мысли, например: «говоришь расширенным оком; взираешь словами. Александрийский период есть взгляд — без единого слова; такой взгляд — говорит» (гл. 62 = гл. 24 доклада «Александрийский период и мы в проблеме “Восток и Запад”» (изд. М.С. Киктев) — Ариаварта. 1998. № 2. С. 257–278; перепечатан: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге [Петрограде]: История в материалах и документах [1907–1917]. М., 2009. Т. 3. С. 476–498; и гл. 29 статьи «Восток или Запад» — Эпоха. М., 1918. Сб. 1. С. 161–210).

...опыт Роджера Бэкона... — Роджер Бэкон (примерно 1214–1292) — схоласт, естествоиспытатель. В самом деле одним из первых (или первым) развивал учение о научном эксперименте. Трудно сказать, почему именно ему вменяется в вину «вивисекторский» опыт, скорее всего дело в противопоставлении «темных» Средних веков и Ренессанса.

В «Воспоминаниях о Штейнере» Белый забавно описывает разговор, в котором доктор уличил его в непонимании разницы между Фрэнсисом и Роджером Бэконами (оба теоретизировали об опыте; «Воспоминания о Штейнере», гл. III, § 19). Разговор происходил в январе 1913 г. (см.: *Андрей Белый.* Материал к биографии (интимный...) // Минувшее. № 6. С. 347). В 1915 г. Белый пишет в книге «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности»: «‹...› у Аристотеля, у Галена, у Роджера Бэкона мы видим медленное нарастание холодного, безлюбовного, вивисекционного опыта» (М., 2000. С. 163. § 90). В «Ритме как диалектике», где Белый не склонен обвинять науку в несчастьях человечества, как в публикуемом цикле, но, наоборот, защищается от обвинений в ненаучности, именно Роджер Бэкон (там упоминается и Фрэнсис) описывается как союзник автора, настоящий рационалист и настоящий эмпирик, не понимаемый и гонимый современным ему «формалистом» Дунсом Скотом (М., 1929. С. 16, 84; ср.: *Андрей Белый*. Принцип ритма в диалектическом методе // Вопросы литературы. 2010. Март–апр. С. 272). В «Истории становления самосознающей души» Белый объясняет противоречие противоречивой позицией Бэкона: «‹...› в трудах Роджера Бэкона, который, оставаясь в учении о внутреннем опыте мистиком, вынужден, спасая автономию этого опыта от рационализации реалистов, сформулировать чисто научные представления; и наоборот: становясь в учении о чувственном опыте первым научным методологом XIII столетия, вынужден, спасая автономию этого опыта от кривотолков беспочвенной рассудочности, расширить понятие об опыте, включив в него опыт внутренний и видя целое опытов как мистическую реальность» (цит. по комментарию И.Н. Лагутиной к «Рудольф Штейнер и Гёте...»).

Style jésuite — букв.: иезуитский стиль; в узком смысле — привычное во французском (и слегка пренебрежительное) обозначение нескольких храмов во Франции, построенных в

конце XVI — начале XVII в.; в широком смысле — барокко; для Белого «иезуитский стиль» ассоциируется с мифологизированным образом организации иезуитов как черного тайного магического общества, вершащего или пытающегося вершить судьбы Европы; подробнее о губительной для европейской культуры роли иезуитизма, который автор ставит в один ряд с инквизицией и приравнивает почти к антихристову началу, говорится в «Кризисе сознания» (издано как: *Андрей Белый.* Евангелие как драма. М., 1996; в особенности гл. 16–17). Это же представление зарисовано в образе доктора Доннера в «Москве под ударом». Ему был посвящен в 1923–1924 гг. план романа «Доктор Доннер», о котором сохранились некоторые свидетельства, см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 296 (и комментарий А.В. Лаврова на с. 298). Иезуитизм как крайняя форма католицизма, персонифицированный в образе Доннера, пугал Белого и позже: «Но видеть С‹ергея› М‹ихайловича› в царстве *"Доктора Доннера",* предельного своего врага, — мне невыносимо» (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 430; письмо от 25–30 ноября 1926).

О зарождении такого восприятия у Белого в Дорнахе подробно говорится в «Материале к биографии (интимном...)»; страх слежки, вызванный очевидным наличием разведки воюющих держав в районе, находившемся в непосредственной близости от театра военных действий, смешивался с антропософскими представлениями об «оккультном нападении» на Дорнах, о «темных братствах», а нападающий на душу автора «черный король» сближался в его сознании с Влодзимежем Ледуховским, генералом Общества Иисуса, жившим тогда в Швейцарии (см.: *Андрей Белый*. Материал к биографии (интимный...) // Минувшее. М., 1992. № 8. С. 457, 467; № 9. С. 412, 414 и др.; воспоминания о лете 1915 г.). Вообще, представление об иезуитах как о реальных и одновременно оккультных врагах Антропософского общества было распространено среди антропософов, ср. многократные упоминания их в таком качестве в «Воспоминаниях о Штейнере» (гл. 1, § 7; гл. 4, § 4; гл. 5, § 6, 30).

...номинализм новейшей формации критической философии... — «Номинализмом» обычно называют течение средневековой схоластики, полагавшее, что общие понятия, идеи — это только nomina (букв.: имена, т. е. просто слова). Белый упрекает в «номинализме» неокантианство и позитивизм.

...вытяжку для гастрических потреблений... — «Гастрический» («желудочный»), калька с французского gastrique. Употреблялось исключительно в отношении болезней («гастрическая лихорадка», «гастрическое расстройство», нередко с эвфемистической целью); экспрессивным словоупотреблением Белый подчеркивает болезненный характер явления.

...чертить графы... — совр. «графики».

...какая-то «X» планета... — Латинская буква «икс» (не кириллическая «ха»), т. е. «неизвестное».

...из созвездия Пса... — Не удалось установить, как связано реальное созвездие Большого Пса с привычкой Белого упоминать именно «созвездие Пса» как место, далекое до полной нечеловечности; играет свою роль ассоциация с животным. Образ развит в «Масках»: «В эфире он, отображение прошлого, легкой волной световой, километры отчесывающей от нашей земли: триста тысяч таких километров в секунде; и скоро уже: Домардэн будет зрим в телескоп с Волопаса: с созвездия Солнца — он стерт. Все же: он виден в эфире! / В его физиологии, все еще мысль истощающей, психики нет: психа психика. / Мысль далека, как… созвездие Пса» («Маски», гл. IX, главка «Убит публицист Домардэн»). Однако «созвездие Пса» упоминается еще в «Возврате» («А к созвездию Пса приблизилась

яростная комета» — *Андрей Белый.* Возврат. М., 1905. С. 13; «Старик» считает свое хозяйство — звезды).

Не дети мы Солнца. — «Дети Солнца» — знаменитая драма М. Горького, написанная в начале 1905 г., с надеждой на победу революции; «дети солнца» — метафорическое обозначение светлой природы человечества («Но мы, мы, люди, дети солнца, светлого источника жизни, рожденные солнцем, мы победим темный страх смерти! Мы — дети солнца! Это оно горит в нашей крови, это оно рождает гордые, огненные мысли, освещая мрак наших недоумений, оно — океан энергии, красоты и опьяняющей душу радости!», 2-е действ.). В символистском контексте ассоциируется скорее с книгой Бальмонта «Будем как Солнце» 1903 г. и с «Золотом в лазури» самого Белого, напечатанным в 1904 г. как отклик Бальмонту (сборник открывается посвященным ему циклом стихов). Горький и его публика также помнили пафос Бальмонта.

...мир ~ разве что ~ в беспредметно поющей, аполлоновой музыке наших душ ~ в нем — остаток конкретности. — Тему «музыки душ», воображения и (художественной) фантазии как настоящей реальности в последующие годы Белый развивал в «Глоссолалии» в образе «страны Пант-Азии, Фантазии» или «Аэрии» (Берлин, 1923. С. 67–69, главки 44–45) и особенно подробно, со специфической аргументацией, в очерке «Утопия» (Записки мечтателей. СПб., 1921. Вып. 2–3. С. 139–144).

...мы столетие сотворяли ее... — «Столетие» — именно XIX век, понятый как век рационализма, позитивистской науки и развития техники. Весьма правдоподобно предположить ошибку вместо «столетия» (см. выше «Лучшие традиции Возрождения столетия мы низводим на нет: столетья убиваем конкретную значимость жизни»).

...диссоциация мира в картине научных понятий имеет условный, технический, вспомогательный смысл... — Часто повторяющийся аргумент Белого в критике Канта, неокантианства и других течений мысли, гипостазирующих частную методологию, и в критике «научного мировоззрения» вообще: «‹...› *слово-заговор* продолжает жить в *научной* номенклатуре понятий, смысл которых в *техническом приложении* к опыту: слова *атом, энергия, энтропия* не имеют значенья вне колбы, вне очага и вне холодильника; тем не менее: мы придаем им мировоззрительный, объяснительный смысл; произнесли слово “*атом*”, и тотчас же *магически* объяснили смысл *вселенной*» (Жезл Аарона [первая редакция] — ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 3. Ед. хр. 9); «Определение метра по стопам глубоко фальшиво, абстрактно; определение это имеет лишь технический, вспомогательный смысл; возведение этого служебного значения метрики в значенье теории напоминает нам возведение вспомогательного понятия науки (понятия *атом*, молекула) в понятие мировоззрительное; мировоззрительный смысл отсутствует в понятии “атом”, необходимом в опытной технике; атомизм *технически* значим; мировоззрительно — нет...» (О ритмическом жесте — ОР РГБ. Ф. 25. К. 4. Ед. хр. 1. Л. 16) и др.

Восстание на человека машины — пока что эмблема... — Рассказы о будущем восстании «оживших» машин к началу XX в. были уже распространены. В 1908 и 1915 гг. над темой работал В.Я. Брюсов (см.: Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. М., 1976. С. 95–103; *Ильинский А.* Литературное наследство Валерия Брюсова // Литературное наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 459–460, 465–466).

Hircus nocturnus — лат. «ночной козел»; воплощение Сатаны в виде козла, которому якобы поклонялись ведьмы на шабаше.

Игнатий Лойола — основатель Общества Иисуса; упомянут только в связи с темой «иезуитства».

...его исповедальня — машина. — В «Кризисе жизни» вариант: «от Рожера Бэкона — к Лойоле; и от Лойолы — к фабричной машине: вот путь нашей жизни. Соединение исповедальни Лойолы с фабричной конторой — сюрприз, ожидающий нас».

...пусть оно осаждается бытом... — Размышления Белого о возможности гармоничного культурного и бытового уклада развиваются в его «Путевых заметках» на примере быта североафриканских народов (см.: *Силард Л.* Несколько примечаний к культурологии Андрея Белого // Русская литература XIX и XX вв. в зеркале современной науки. М., 2008. С. 147–162).

Природа

Бирж. вед. 1916. № 15488 (7 апр.). Утр. вып. С. 2.

Конец 1-й главки очерка (от «каменистые пики грозились» до «незабываемым никогда») с незначительными изменениями входит в «Предисловие» к «Котику Летаеву»; оно датировано автором: «1915 г. Октябрь. Гошенен–Амстэг–Глион–С.Морис» (упомянутые населенные пункты говорят о том же путешествии с северо-запада Швейцарии через центр на юг и юго-запад); таким образом, «Предисловие», так же как и настоящий очерк, является переработкой упомянутого «дневника, давшего начало “Кризисам”» (см. вступ. статью). Первая половина 2-й главки очерка (до «идти на разрыв с нас зовущей природою») с незначительной правкой и дополнениями в начале и в конце стала 7-й главой книги «Кризис жизни». Пассаж из конца 3-й главки очерка (от «помню день» до «природа сознания») обнаруживается в гл. 8 «Кризиса жизни».

Исправлено несколько опечаток газетной публикации (во 2-й главке в газете «переместились» вместо «переменились», пропущено «что» после «учили о том»; эти разночтения можно проверить по «Кризису жизни», хотя в нем добавились неточности, которых нет в газете; в главке 3 в газете «esperience» вместо «experience», «такта» вместо «трактата»).

Размышления князя Андрея Болконского о войне в знаменитом романе Толстого для салонного ли разговора? — Вероятно, речь о хрестоматийной сцене — описании мыслей князя Андрея, лежащего раненым на поле Аустерлицкого сражения, среди шума битвы («И вдруг ничего нет, кроме неба — высокого неба с ползущими по нем серыми облаками — ничего, кроме высокого неба. “Как же я не видал прежде этого высокого неба? — подумал князь Андрей. — Я бы иначе думал тогда. Ничего нет, кроме высокого неба, но того даже нету, ничего нет, кроме тишины, молчания и успокоения”» («Война и мир», часть III, гл. 13). Сравнение автора с Болконским (ср. ниже: «Вспоминаю скитанья в горах; мыслишь там — *ни о чем*») оправдывает место в военном цикле очерка о романтическом путешествии.

Отъезжаете от немецкой границы ~ все реже черные платья... — «Между тем: среди нас стали появляться фигуры в черных платьях; это были матери, сестры и жены уже убитых на войне; появилась вся в черном жена огородника (антропософы развели на склоне “*Ваи”* свой собственный огород); появилась вся в черном Freulein von Heidebrandt (впоследствии учительница Вальдорфской школы); война бесшумно шныряла среди нас; то и дело мобилизацией вырывались работники при “*Ваи*”: тот ехал в Германию, этот — во Францию; уехал Лихтфогель, стал исчезать д-р Унгер, работавший в Штутгарте по мобилизации промышленности; взяли инженера Бразоля (на французский фронт); война напоминала о себе пушечными перекатами,

глухо раздававшимися с горизонта. Я с жадностью зачитывался газетами: начавшиеся успехи русских, взятие Львова меня крайне возбуждали; и я удивлялся равнодушию Аси к войне; вообще: равнодушие, холодность Аси меня угнетали; расхождение наше с ней, столь углубившееся в годах и приведшее к разрыву, сильно подчеркнулось в ту именно осень» («Материал к биографии (интимный...)». Цит. по: *Малмстад Дж.* Андрей Белый и антропософия // Минувшее. № 8. С. 411). Речь идет об октябре 1914 г., через два месяца после начала войны. К этому же времени относится запись «разрабатываю тему “Кризиса жизни” вчерне» (Там же. С. 410).

Возможно, образ «черной женщины» со шрамом на шее, подробно описанной в «Материале к биографии», — символ пагубной страсти и смерти, который через некоторое время становится навязчивым кошмаром писателя, *idée fixe*, — также имеет одним из источников траурное платье. «За мною — невидимо, вся в черном, бродила инкогнито женщина: *агония моя*» (*Андрей Белый*. Записки чудака. Берлин, 1922. Т. 1. С. 184–185; главка «Болезнь»).

...отступая на юг, вы встречаете вновь их... — В «Записках чудака» герой видит женщин в трауре, добравшись до Парижа (*Андрей Белый*. Записки чудака. Т. 1. С. 194–195; главка «Париж»).

Люцерн — знаменитое озеро в центре Швейцарии; на его берегу находится, в частности, упомянутый ниже городок Герзау.

...к темно-зеленому озеру. — Судя по упомянутым населенным пунктам, на пути Белого лежало не только Люцернское, но и Фирвальштедтское, Женевское и другие озера.

Был конец сентября: год сидения в Базельланде довел меня до отчаяния... — Речь о сентябре 1915 г. Белый с Асей окончательно поселились в Дорнахе в марте 1914 г., после поездки в Швецию в июле 1914 г. на курс лекций Штейнера не покидали его.

...вдоль Герзау, Флюэлена, Бруннена и до самого Сен-Готарда. — Герзау, Флюэлен, Бруннен — городки в гористой центральной Швейцарии, в кантонах Швиц и Ури; Сен-Готард — знаменитый высокогорный перевал на юге Швейцарии. В кантоне Ури, на подъездах к Сен-Готарду, находятся и упомянутые в предисловии к «Котику Летаеву» Гошенен и Амстэг (в современной передаче обычно «Гёшенен» и «Амстег»); упомянутые там же Глион и Сент-Морис находятся в юго-западной Швейцарии (Глион на берегу Женевского озера). Поездка упоминается (с теми же населенными пунктами) в «Ветре с Кавказа» (М., 1928. С. 125–127).

Каменистые пики грозились... — Напряженное описание горного ландшафта нередко у позднего Белого; их много в «Ветре с Кавказа», в «Армении»; в письме П.Н. Зайцеву находим специальные отдельные «этюды» по словесной зарисовке горного ландшафта (см.: *Зайцев П.Н.* Воспоминания / Сост. М.Л. Спивак. М., 2008. С. 447–448; письмо от 15 июня 1929); именно виды Кавказа, вызывавшие у писателя наибольшие жалобы на ограниченность средств языка (см. упомянутое письмо Зайцеву или: Ветер с Кавказа. М., 1928. С. 117 и след.), стали единственной темой его попыток освоить живопись с натуры (см. о его акварелях, например: *Кайдалова Н.* Рисунки Андрея Белого // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 597–605; *Ота Дзётаро*. «У гор — говор: с-л-о-в-о!»: О горных пейзажах Андрея Белого в собрании Российской национальной библиотеки // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 527–535).

...«штейны» и «горны»... — «Штейн» — *нем.* Stein («камень»), «горн» — *нем.* Horn («рог, пик»); на «-штейн» и «-горн» (в современной передаче иногда «-штайн» и «-хорн») часто оканчиваются немецкие названия гор в Альпах (Цумштейн, Дахштейн, Штральгорн, Маттергорн и пр.).

...шесть систем философии пробежало вершинами... — Белый видит в горном ландшафте отражение того, над чем он работает; «шесть горных долин» как «шесть систем философии» означает, что предмет его размышлений — только что законченная книга «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», а также будущие «Кризис мысли» и «История становления самосознающей души»; в «Ветре с Кавказа» утверждается, что «Казбек есть гигантский ритмический жест», на который следует «взойти пониманием» (М., 1928. С. 242), поскольку в то лето он работал над «Ритмом как диалектикой».

...Гёте, Гердер, Новалис, Шлегель, Шеллинг и Гегель... — Здесь и ниже Белый перечисляет имена, которые являются для него знаковыми в контексте философии немецкого романтизма; эта традиция была особенно близка ему после работы над книгой «Рудольф Штейнер и Гёте...», которой он посвятил всю первую половину 1915 г. перед описываемым путешествием; поэтому книга, направленная против этой традиции, живо задевает автора. Комментированием натурфилософских сочинений Иоганна-Вольфганга Гёте (1749–1832) занимался Р. Штейнер; против его трактовок Гёте была направлена книга Метнера (*Метнер Э.К.* Размышления о Гёте. Кн. 1: Разбор взглядов Рудольфа Штайнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. М., 1914), ответом на которую послужила упомянутая книга Белого.

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) — немецкий писатель и мыслитель; принадлежал к раннеромантическому движению «Бури и натиска».

Новалис (псевдоним, настоящее имя — Фридрих фон Гарденберг, 1772–1801) — немецкий романтик. Новалиса считали своим предтечей как символисты (ср.: *Силард Л.* Новалис и русская мысль начала XX века // Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002. С. 136–147), так и антропософы (его бюст стоял, например, в помещении берлинской ветви Антропософского общества, см.: *Тургенева А.А.* Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительство первого Гётеанума. М., 2002. С. 29; Штейнер часто начинал лекции с его афоризмов, см.: *Андрей Белый*. Воспоминания о Штейнере. Гл. 3, § 4; «Новалис» — название современного антропософского издательства). Новалис и «голубой цветок» (который ищет главный герой его романа «Генрих фон Офтердинген») как символ духовной ценности Германии или даже духовной ценности вообще неоднократно упоминается ниже, в очерках «Современные немцы», «Восток или Запад», «Мертвые города», «Петербург и Москва в освещении прессы немецкой Швейцарии». В «Кризисе сознания» Новалис вместе с Рафаэлем и Бахом представляет истинную, «Павлову» ветвь европейской культуры, противопоставленную лживо-«иезуитскому» рококо (*Андрей Белый*. Евангелие как драма. М., 1996. С. 34, § 16).

Трудно сказать, кого из братьев Шлегелей, представителей йенского романтизма, Белый имеет в виду — Фридриха (1772–1829) или Августа Вильгельма (1767–1845).

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775–1884), которого иногда называют главным представителем философии немецкого романтизма, был, безусловно, ближе всех из немецкого классического идеализма и к Вл. Соловьеву, и к Р. Штейнеру. Менее близок (но все же много ближе Канта) им был Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831); однако триадическая схема построения его философской системы в «Феноменологии духа» более всего оправдывает метафору горного хребта.

...мысль и природа — одно. — Парадоксальное учение о тождестве природного и культурного, рукотворного и нерукотворного, направленное прежде всего против неокантианского разделения «наук о природе» и «наук о духе», пространно и аргументированно развивается, например, в письме Иванову-Разумнику (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка.

С. 366–369; письмо от 24–29 сентября 1926). В этом учении в том числе находит отражение интуитивное представление о божественном мастере, прозреваемом в творении, — ср. таинственный взгляд, которым завершается первая часть настоящего очерка, или поданное в «реалистической» стилистике описание двух «художников», создавших ландшафты Аджарии и центральной Грузии, в «Ветре с Кавказа» (М., 1928. С. 64). Кроме того, см. ниже очерк «О злободневном и вечном».

...«манифестация тайных знаков» (Гёте)... — Подробнее см. в работе «Рудольф Штейнер и Гёте...» (М., 2000. С. 163, § 90): «‹…› гетевский опыт есть следование за явлением, как символический жест, передающий нам тайное; он — манифестация *тайных знаков природы*».

...в мягкой проповеди старца Зосимы о единенье с природою... — Старец Зосима — персонаж «Братьев Карамазовых» Достоевского. Речь идет, в частности, об истории его обращения к вере; на дуэли, после выстрела противника, вместо того чтобы стрелять в свою очередь, будущий инок говорит: «Господа, посмотрите кругом на дары божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо, стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем...» («Братья Карамазовы», кн. VI, гл. 1, «Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру»).

...продолжение Баадера, Гамана, Шеллинга в философеме Вл. Соловьева... — Франц Ксавер фон Баадер (1765–1841) — философ и теолог, обычно причисляется к романтизму; Иоганн Георг Гаман (1730–1788), философ, был связан с «Бурей и натиском». В «Воспоминаниях о Штейнере» сохранился пересказ разговора, в котором «доктор» прямо связывал Владимира Соловьева с Баадером и Шеллингом (гл. 2, § 16).

...наш Потебня — продолжение Вильгельма фон Гумбольдта. — Речь о преемственности направления в языкознании, рассматривающего язык как творческую деятельность (народа), от немецкого лингвиста В. фон Гумбольдта (1767–1835) к А.А. Потебне (1835–1891); подразумевается и преемственность между учением Потебни и теорией русского символизма — ср., например, из ее «основных пунктов» в изложении Белого 20-х: «14) Символическая школа видит языковой свой генезис в учениях Вильгельма фон Гумбольдта и Потебни... 15) Но символическая школа не останавливается на учениях Потебни, ища углубления их» (Почему я стал символистом... Анн Арбор, 1982. С. 57, § 6).

...234 страницы объемистой книги... — Книгу Белый называет только ниже — *Lote R.* Les origines mystiques de la science «Allemande» («Мистические корни “немецкой” науки»). Paris, 1913 (repr.: New York, 1981). Автор, Рене Альбер Мари Лот (1883–1944), между двумя мировыми войнами посвятил Германии, Франции и антигерманизму пару десятков культурологических и публицистических сочинений. Белый говорит о его первой книге. Среди последующих, например: Du Christianisme au Germanisme: L’évolution religieuse au XVIIIe siècle et la déviation de l’idéal moderne en Allemagne. Paris, 1914 («От христианства к германству: Религиозное развитие и отклонение новоевропейского идеала в Германии»); Histoire de la culture allemande: Vie politique et sociale, sciences et philosophie, littérature et beaux-arts: «Culture»? ou civilisation? Paris, 1934 («История немецкой культуры. Политическая и общественная жизнь, науки и философия, литература и искусства: “культура” или цивилизация?») и др. Отлично знавший немецкий, во время Второй мировой Рене Лот

был внедрен движением Сопротивления в немецкую оккупационную администрацию в качестве переводчика документов; по всей вероятности, был кем-то выдан и казнен оккупационными властями.

Гёльдерлин… — Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин (1770–1843) — поэт-романтик.

…Александра и Вильгельма фон Гумбальдтов… — Александр фон Гумбольдт (1769–1759) — брат Вильгельма фон Гумбольдта, ученый-энциклопедист; об остальных см. выше.

Комплот — «заговор» (*фр.* complot).

…Федоров… — Об Н.Ф. Федорове в 1912 г. Белый собирался писать книгу для серии «Русские мыслители» издательства «Путь» (см. подробнее: *Гречишкин С.С., Лавров А.В.* Андрей Белый и Н.Ф. Федоров // Блоковский сборник III: Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. Тарту, 1979. С. 147–164). Некоторые черты Федорова угадываются в центральном персонаже рассказа Белого «Иог».

…ведущее к… «Круппу». — О «Круппе» см. коммент. к очерку «Горизонты сознания».

…предтеч политики… Бисмарка — только! — Имеется в виду великодержавная прусская политика, направленная на строительство сильного государства и единой Германской империи, которую удалось создать после Франко-прусской войны 1870–1871 гг., закончившейся тяжелым поражением Франции (потерявшей Лотарингию и Эльзас, непосредственно видный из Дорнаха, как описывается в «Гремящей тишине»); неоднократно говорили, что Отто фон Бисмарк, тогдашний канцлер Пруссии, нарочно спровоцировал войну в целях имперского строительства. Реваншистские настроения во Франции влияли на антигерманизм, отраженный, например, в книге Лота.

«L'experience moderne et l'Allemagne mystique» — «Современный эксперимент и мистическая Германия».

Световая теория Гёте — «мистическая химера»… — Гетевской теории света посвящена особая глава книги «Рудольф Штейнер и Гёте…» (М., 2000. С. 154–198; см. там же: Воспоминания о Штейнере. Гл. 2, § 34).

…«теза, антитеза, синтез»… — триада диалектического развития, основа гегелевской философской системы.

Docteur des lettres — примерно «доктор изящной словесности», французская ученая степень.

«Les origines mystiques de la science "Allemande"» — «Мистические корни "немецкой" науки».

«*Переживание горных ландшафтов и действие природы на нас расширяет наш эгоизм, угрожая спокойствию и благоденствию наций…*» — Очерк «Современные немцы» (см. ниже), фабула «Москвы» и план романа «Германия» мешают понять заключительную сентенцию как чисто пародийную.

У немецкой границы

Бирж. вед. 1916. № 15573 (29 апр.). Утр. вып. С. 2. Очерк в отредактированном виде вошел в книгу «Кризис жизни» (гл. 34–39). В главке 1 в газетной публикации пропущено слово «гладиний» во фразе «лиловеют в гирлянде гладиний его серобокие домики». Во 2-й главе книги Белый исправил опечатки газетного издания: «стальные» на «стильные», «Швеции» на «Швейцарии».

В Базеле созревала мысль Ницше. — Фридрих Ницше преподавал классическую филологию в Базельском университете с 1867 по 1879 г., там же в основном жил после выхода в отставку. В Базельской психиатрической лечебнице он и скончался.

Его любил Бёклин. — Арнольд Бёклин (1827–1901), известный немецкий художник, во многом оказавший влияние на художественное мировосприятие русских символистов. Родился и вырос в Базеле, работал там в последние десятилетия своей жизни.

...профессорствовал ~ Яков Буркхардт... — Якоб Буркхардт (1818–1897), известный немецкий историк искусства и культуры, автор знаменитой книги «Культура итальянского ренессанса» (1860). Родился и умер в Базеле, преподавал историю искусства в Базельском университете в 1858–1893 гг.

...жил ~ Бернулли... — Все семейство математиков Бернулли происходило из Базеля. Якоб Бернулли (1654–1705) преподавал математику в Базельском университете с 1687 г. до кончины.

...действовали и Эразм, и Гольбейн... — См. об Эразме, Гольбейне и важности для Белого идеи о духовном наследстве Ренессанса в комментарии к «Гремящей тишине».

...дом Эразма сереет доселе средь безлюднейшей улицы... — В качестве «дома Эразма» в Базеле показывают так называемый Haus zum Luft (Боймляйнгассе, 18), в котором Эразм жил с 1535 г. и где скончался в 1536 г. В 1522–1529 гг. Эразм жил в Haus zur alten Treu (Надельберг, 17). Из «Материала к биографии»: «Очутившись в Базеле, я бесцельно забродил по улицам; остановился у домика Эразма, пошел обратно, забрел в какой-то неуютный и мрачный кинематограф...» (Минувшее. № 9. С. 437; апрель 1915).

Грюневальд — Матиас Грюневальд (ум. 1528), немецкий художник.

Неттесгеймский Агриппа — Генрих Корнелиус (или Агриппа Неттесгеймский, 1486–1535) — немецкий писатель и оккультист.

...на Юре, на лесистых отрогах Шварцвальда, на гребнях Эльзаса. — Юра́ — невысокие горы в Эльзасе и Швейцарии (вероятно, Белый называет так только швейцарские части хребта), Шварцвальд — в Бадене.

...первое поражение рыцарей швейцарскими мужиками произошло здесь поблизости... — Не вполне ясно, имеется ли в виду победа швейцарцев над австрийцами при Земпахе в 1386 г. или над Швабским союзом в 1499 г. (после чего был заключен «Базельский мир»).

...Мюнстером... — Белый называет «Мюнстером» Базельский собор, по-немецки Basler Münster.

...оконная рама есть рама портретов Гольбейна ~ на старике был берет; и рисовался на фоне он из голубоватых и бледно-зеленых материй. — Описание (берет, фон) похоже на один из портретов Эразма Роттердамского кисти Гольбейна.

...здесь швейцарский поселочек, Риэн; там — баденский Лоррах... — Риэн и Лоррах представляют из себя практически один населенный пункт, разделенный швейцарско-немецкой границей.

Ландштурмисты — резервные военнослужащие, ополченцы.

... из романской Швейцарии... — т. е. франкоязычной.

...спутник мой, доктор гейдельбергского университета (он — русский)... — Речь идет, вероятно, о Трифоне Григорьевиче Трапезникове (1882–1926), окончившем Гейдельбергский университет, защитившем диссертацию в 1904 г. Белый особенно много общался с Трапезниковым в Дорнахе, о чем неоднократно говорится в «Материале к биографии (интимном...)».

«Вюртенбержцы более других немцев — “вольные философы”; напомню: Гейдельберг, Фрейбург в то время были едва ли не центром философской Германии, здесь действовали Виндельбанд, Риккерт, Ласк, Кон, Христиансен; сюда, не в Берлин, тянулись паломники из России (студенты), здесь процветала философия, философия искусства; здесь слушали лекции наши: Степун, проф. Гессен, Яковенко, Б.П. Григоров, Т.Г. Трапезников, Г.Г. Шпетт, проф. В.А. Кистяковский и т. д. Я до 1906 года нацеливался сюда же...» (*Андрей Белый.* Воспоминания о Штейнере. Гл. 4, § 8).

...умер вот Виндельбанд... — Вильгельм Виндельбанд (1848–1915), известный немецкий философ-неокантианец, преподавал в Гейдельберге.

...Риккерт профессорствует теперь в Гейдельберге... — Генрих Риккерт (1863–1936), известный немецкий философ-неокантианец, занял кафедру философии в Гейдельберге после смерти Виндельбанда. Труды Риккерта и Когена были особенно важны Белому в построении теории символизма. См., например: *Zink A*. Andrej Belyjs Rezeption der Philosophie Kants, Nietzshes und der Neukantianer. München, 1998. С гейдельбергскими неокантианцами сотрудничали коллеги и оппоненты Белого из журнала «Логос» — Б.В. Яковенко (переводивший Риккерта, в частности), Ф. Степун и др. См., например, статью Белого «Неославянофильство и западничество в современной русской философской мысли» (Утро России. 1910. № 274 (15 окт.). С. 2).

...убит Ласк... — Эмиль Ласк (1875–1915), известный философ-неокантианец, был убит на фронте в Галиции. О реакции Белого на его смерть см. выше, в комментарии к очерку «Гремящая тишина».

...у Гуссерля убит сын… — Эдмунд Гуссерль (1859–1938), известнейший немецкий философ. Его сын Вольфганг был убит 8 марта 1916 г. в Верденском сражении. В 1917 г. был ранен второй сын, Герхард.

Коген — Германн Коген (1842–1918), известный немецкий философ-неокантианец.

Баллон — воздушный шар, аэростат.

«Danse macabre» — фр. «погребальный танец» (иначе «Totentanz» — *нем.* «танец покойников»), тип средневекового сценического действа, впоследствии тема стенной живописи, циклов гравюр и др. Цикл гравюр Гольбейна-младшего, начат около 1526 г., напечатан впервые в Базеле (1538), потом многократно переиздавался (причем автор его расширял).

В «Кризисе сознания» Белый называет другую эстетическую доминанту цикла, также гравюру периода немецкого Ренессанса: «...припадками грома был болен под Базелем я. ‹...› “*Рыцарь и смерть”* я повесил на стенку в своем кабинете; часами смотрел на гравюру угрюмого Дюрера» (ОР РГБ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 1).

Современные немцы

Бирж. вед. 1916. № 15573 (22 мая). Утр. вып. С. 2. Мы исправляем в 1-й главке «враги, обнаружившие шпаги» на «‹...› обнажившие шпаги», в 3-й главке «он же ценен до крайности и представляет собою единство в многоразличии» на «он же целен ‹...›». В предпоследнем абзаце очерка в газете выделены курсивом слова «победа должна быть»; имеет смысл либо выделение всей фразы («победа должна быть победой духа над ненормальной развившейся материальной плотью культуры»), либо отсутствие выделения.

Сохранился первоначальный вариант начала очерка, озаглавленный «Русская литература в Германии» (Неизвестная статья из «швейцарского» цикла Андрея Белого / Предисл.,

публ., коммент. К.М. Азадовского, А.В. Лаврова // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2005. Т. 1. С. 481–490).

...о Достоевском, Толстом я не стану говорить... — О Достоевском и Толстом в Германии см., например: Russische Literatur in Deutschland / Hrsg. von S. Höfert. Tubingen, 1974. S. 1–115.

...тот считает себя поклонником Гончарова... — Отдельные романы Гончарова издавались в Германии в XIX в., в частности «Обломов» был впервые издан в немецком переводе в 1869 г., через 10 лет после первого русского оригинала. После войны в Берлине вышел четырехтомник Гончарова: *Gontscharow I.* Gesammelte Werke: In 4 Bdn. Berlin, 1920.

...тот цитирует Мережковского... — О Мережковском см., например, восторженные отзывы Томаса Манна: «Dmitrij Mereschkowskij! Der genialste Kritiker und Weltpsycholog seit Nietzsche!» — «Дмитрий Мережковский! Гениальнейший критик и психолог человечества со времени Ницше!» (из «Russische Anthologie», 1921).

...«Книга великого гнева»... — Речь о: *Волынский А.Л.* Книга великого гнева: Критические статьи; Заметки; Полемика. СПб., 1904. Немецкое издание: *Volynskij A.L.* Das Buch vom großen Zorn / Autoris. Übers. nach d. Vollst. russ. Manuskript. Rütten; Loening, 1905.

Аким Волынский — критик, искусствовед, издатель; в конце XIX в. руководил, в частности, отделом критики «Северного вестника», куда привлек только появившихся на литературной сцене декадентов — Гиппиус, Мережковского, Бальмонта, Минского, Сологуба.

...Гоголевской «Женитьбы»; и эта пьеса с успехом проходит в Берлине... — «Женитьба» Гоголя шла в Берлине на Камерной сцене Немецкого театра в переводе Карла Риттера, в постановке Вольдемара Рунге.

...вторым томом выпущен Соловьев... — Речь о: *Solovjeff W.* Ausgewahlte Werke / Aus dem Russ. von H. Kohler. Stuttgart, 1916. Bd. 2. В том вошли работы «Оправдание добра» и «Философия морали». Кроме того, труды Вл. Соловьева издавались в антропософском издательстве «Der kommende Tag».

...«Три разговора» находят поклонников. — «Три разговора» вошли в первый том немецкого собрания сочинений Соловьева (Jena, 1914).

Переводится Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы»... — Речь о: *Saltykow-Stschedrin M.* Die Herren Golowljow. Roman / Aus dem Russ. übers. von F. Frisch. München, 1914.

...собираются переводить и Сологуба и Ремизова. — О Сологубе и Ремизове в Германии см. подробнее: Неизвестная статья из «швейцарского» цикла Андрея Белого. С. 487, примеч. 14.

...выдержка в «Zukunft» ~ «Чем мы обязаны русской литературе»... — «Die Zukunft» («Грядущее») — издававшийся в 1892–1923 гг. Максимилианом Харденом еженедельник. Харден перепечатал в № 11 за 1915 г. свое предисловие к № 43–44 (1915) журнала «Die Action», посвященному памяти Л. Толстого. В упомянутом номере «Die Zukunft» был, в частности, напечатан отрывок из «Петербурга» Белого, статья Вл. Соловьева «Сверхчеловек Фридриха Ницше».

...в «Literarische Echo» трактуют о русском народе... — Вероятно, имеется в виду: *Nötzel K.* Das russische Volk in der Beurteilung seiner grossen Schriftsteller // Das literarische Echo. 1916. Heft 8. 15. Januar. S. 474–480 («Русский народ в суждениях его великих писателей»).

...печатают разбор истекшего литературного года в России... — Имеется в виду: *Rudnianski S.* Russischer Brief // Das literarische Echo. 1916. Heft 9. 1. Februar. S. 572–580. Су-

ждения, на которые ссылается Белый, приводятся в русском переводе в: Неизвестная статья из «швейцарского» цикла Андрея Белого. С. 488, примеч. 18–23.

«От Канта к Круппу» — Эрн В.Ф. От Канта к Круппу // Русская мысль. 1914. № 12. С. 116–124. См. подробнее комментарий к «Горизонтам сознания».

...статье Мережковского «Святая София»... — Речь о: *Мережковский Д.С.* Св. София / Мережковский Д.С. Грядущий хам. СПб., 1906. Немецкий перевод в: *Mereschkowski D.* Der Anmarsch des Pöbels / Übers. von H. Hörschelmann. München; Leipzig, 1907. Статья посвящена храму Святой Софии Царьградской. Эту статью Мережковского упоминал Р. Штейнер в своей лекции «Nationalitäten und Nationales im Lichte der Geisteswissenschaft» («Национальности и национальное в свете духовной науки»), в Берлине 31 октября 1914 г. (опубликована в составе немецкого Полного собрания сочинений Р. Штейнера: *Steiner R.* Gesamtausgabe. Bd. 157: Menschenschicksale und Völkenschicksale).

Не поймет и не оценит ~ В красоте твоей смиренной... — Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1857). У Тютчева первая строка — «Не поймет и не заметит...».

...полчища немцев валились на Бельгию... — Вторжение немецкой армии в Бельгию без объявления войны началось 4 августа 1914 г.; 20 августа был захвачен Брюссель. В эти дни в английской и французской прессе активно обсуждалась тема разрушения немецкой армией культурных ценностей (например, университетской библиотеки в Лувене).

...три свои излюбленных книги: Заратустру, Евангелье, Фауста... — Образ «трех книг» несколько раз появляется у Белого в описании собственного круга чтения; в «Круговом движении» (1912) три книги, которые сопровождают автора повсюду, — «Евангелие, “Заратустра” и Гоголь» (Труды и дни. 1912. № 4–5. С. 57, гл. 11); в «Кризисе культуры» (1918) три книги, которые сопровождают его в горах и в пустынях, — «Евангелие, “Заратустра”, “Пути посвящения”» (*Андрей Белый.* На перевале. М.; Берлин, 1922. С. 152, гл. 6; «Пути посвящения» — мистериальные драмы Р. Штейнера).

Если понимать под «немецким солдатом в окопах» упомянутых в предыдущем очерке Эмиля Ласка или Вольфганга Гуссерля, нарисованная Белым картина вовсе не фантастична.

...сообщения о фактах насилия немцев ~ «Портюгаль»... — Portugal — «Португалия» по-немецки. Германия объявила войну Португалии 9 марта 1916 г., за два месяца до выхода этой статьи. Военные действия велись в основном в африканских колониях. Какие конкретно сообщения о немецких военных преступлениях против португальцев имеет в виду Белый, неясно.

...слова русских женщин, обращенные к ней, я с улыбкой читал... — Вероятно, речь идет о какой-то газетной публикации. Документальные свидетельства о жестокости немцев на Восточном фронте см.: Зверства немцев в войну 1914–1918 гг. (из документов первой мировой войны) / Сост. З.З. Михайлович и Л.И. Полянская; Предисл. акад. Е.В. Тарле. Л., 1943.

...удушает коварно нас газами... — Газовая атака в центре образа Первой мировой в «Масках» (см., например, главку «Правосудие — горло орудия» второй главы. Собственно, противогаз, «противогазовая маска», как он поначалу назывался, — одно из воплощений темы, вынесенной в заглавие романа.

...абстракцию сантиментального философа-немца ~ и абстракцию современного немца — экономиста-милитариста, материалиста и практика ~ современный немец их вяжет в единство. — Белый не забыл о поставленной в этих абзацах творческой задаче и вернулся к ней через 15 лет:

«Задача автора показать: *“двух”* немцев в *“третьем”* немце; один немец — немец эпохи Гёте, поставивший перед Европой проблему культуры; другой — немец эпохи Бисмарка; это — или пангерманист, для которого мир — арена выявления немца и только немца; или капиталист, волящий захвата восточных рынков, экономического завоевания России, и использующий “высокую культуру” Германии начала XIX в. как сладкий дурман для порабощенных; или это — ученый, самоуверенный крохобор-педант, измеривающий горизонты науки углом зрения мещанина.

Задача автора — показать перерождение этих двух немцев в “немца”, выявленного в третьем немце; сквозь забрало “методолога-пангерманиста”, опущенное на подлинное лицо, выступает гримаса сумасшедшего, ибо корни немецкой буржуазной трезвости гнездились в хаотическом анархизме, принявшем форму таимого психического заболевания; сквозь “идеализм” доброго прошлого выглядывает беспринципный авантюризм, и в безумиях силящийся инстинктивно осуществить линию международных хищников; вскрыть борьбу этих двух немцев-декадентов в самосознании героя романа на фоне пестрого, самопротиворечивого быта послереволюционной Германии, в которой уже утоплен быт, в которой и авантюра — фантастика, и фантастика — лишь хищная авантюра действительности; вскрыть этого “немца” — вторая задача автора» (план романа «Германия», 1931; цит. по: *Лавров А.В.* Неосуществленный замысел Андрея Белого // Лавров А.В., Гречишкин С.С. Символисты вблизи. М., 2004. С. 379–380).

...ну хотя бы вот — Ратенау. — Имеется в виду Вальтер Ратенау (1867–1922). Последующее описание Белым его довоенной деятельности достаточно объективно. О книге Ратенау Штейнер говорил в лекциях 1912 г. (см. «Воспоминания о Штейнере», гл. I, § 6). Впоследствии, в Веймарской республике, Ратенау был министром иностранных дел. 24 июня 1922 г., когда Белый жил в Цоссене, под Берлином, Ратенау был убит террористами; его похороны с массовой манифестацией стали запоминающимся общественным событием, Белый вспоминает их в очерке «Одна из обителей царства теней» (Л., 1925. С. 64) в контексте описания кризиса Германии. Из упоминания Ратенау в «Московском чудаке» (гл. II, § 2) можно заключить, что он стоит за планом похищения открытия Коробкина и производства оружия на его основе.

О злободневном и вечном

Бирж. вед. 1916. № 15635 (23 июня). Утр. вып. С. 2.

Очерк почти без изменений вошел в книгу «Кризис жизни» (1-я главка очерка — гл. 10 книги, главка 2 — гл. 11–12 книги, 3-я главка — гл. 13–14 книги).

У подножия Сфинкса бывал очень часто я... — Белый посетил Каир и окрестности в 1911 г., путешествуя с А.А. Тургеневой. О Сфинксе он тогда же писал матери: «Пишу Тебе, потрясенный сфинксом. Такого живого, исполненного значеньем взгляда я еще не видал нигде, никогда» (письмо к А.Д. Бугаевой от 14 марта 1911; см.: *Воронин С.* «Африка ждет меня»: Странствия Андрея Белого по Северной Африке // Газета Московской организации литераторов. 2005. № 8). Более развернутое описание: «И — более получаса сидели под Сфинксом, одолевая круги выражений большого немого лица: идиотское выражение сменяло, летя, эфиопское; зверское, трупное, каменно-титаническое, царственное, люциферическое, духовное,

ангельское, и — младенческо-чистое; так, как бежит за волною волна, так бежали, сменяя друг друга, круги выражений; и вдруг, закругляясь в единство, круги выражений сцепились в одно выражение: и — прародимое время просунулось в круг выражений времен, зашептав: / — Да, ты — знаешь... / — Ты помнишь... / ..... / — Что? Что? / — Что я помню? / — Что времени больше не будет? / ..... / — Ты — знаешь. Ты — помнишь... / ..... / — Я — знаю, я — помню, но... что?» (Африканский дневник / Публ. С. Воронина // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1994. С. 430). В мемуарах Белый говорит о влиянии момента на творчество: «измененное отношение к жизни сказалось скоро начатым “Петербургом”; там передано ощущение стоянья перед сфинксом на протяженье всего романа» (*Андрей Белый*. Воспоминания. Т. III, ч. II: (1910—1912) // Лит. наследство. Т. 27/28. С. 434).

...в нем слиты полярности пола (он — ὁ Σφίγξ; он — ἡ) — Ὁ Σφίγξ — *греч.* «Сфинкс» (с артиклем мужского рода), ἡ — артикль женского рода; имеется в виду, что «Сфинкс» по-гречески может быть и того и другого рода (хотя на самом деле по-гречески всегда женского, а египетские сфинксы бывают и с мужскими и с женскими лицами). Мы возвращаем утерянный в газете греческий шрифт в имени «Сфинкс» и артиклях после него.

Одного писателя (к сожалению, разменявшего свой талант)... — Речь идет о В.В. Розанове.

...произведения Достоевского в нем сопоставлены с... египетской графикой... — Имеется в виду книга Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского» (СПб., 1894). Белый писал о ней: «Возвращаясь к истории, он невольно перемещает народности. Достоевский оказывается египтянином. В Египте воскресают черты, нам близкие. Тут Розанов подлинно гениален. Тут имя его останется в веках» (Отцы и дети русского символизма // Весы. 1906. № 1. С. 67). Правда, у Розанова нет речи о графике; это отголосок размышлений автора (ср. ниже о профиле Рамзеса, жесте Ницше и пр.).

...в булакском музее... — Центральный музей в Каире, с самой представительной в мире коллекцией древнеегипетского искусства. Нынешнее здание, построенное в 1902 г., во время посещения его Белым в 1911 было относительно новым.

...Рамзес II, фараон ~ его двойник, полисмен, феллах... — Вариация о Рамзесе на каирской улице (в продолжении «Между двух революций»): «‹...› Булакский музей с возлежащей в нем, как живой, мумией фараона Рамзеса II, разительно улыбавшегося из стеклянного гроба белым зубом своим, с которого не стерта эмаль; и казалось, что встанет; надев модный смокинг, пройдет по проспекту весьма фешенебельно, замешиваясь в утонченные пары из леди и джентльменов в белейших костюмах, в колониальных касках с плещущей вуалью — в хамсин, южный ветер пустыни; небо станет коричнево-бурым тогда от летящих над головою песков; все закутаются в вуали, спасая глаза» (*Андрей Белый*. Воспоминания. Т. III, ч. II: (1910—1912) // Литературное наследство. Т. 27/28. С. 429). Образ совмещения внеисторического, взятого, например, как апокалиптическое, с бытовой топографией, обычен для Белого («Выходишь в Вечность — на Арбат...» — Первое свидание, II, 174; «Это и есть гибель мира ‹...› на Садовой открылись вулканы; пожарные части Москвы проскакали туда» — Записки чудака. М.; Берлин, 1922. Т. 2. С. 178–179; и др.).

...переживание Ганнибала, может быть стоявшего здесь... — Речь о знаменитом переходе Ганнибала через Альпы в 218 г. до Р. Х., во время Второй Пунической войны (описан в XXI книге «Истории» Тита Ливия; сюжет многих картин эпохи классицизма и романтизма).

...покрывало Изиды откинуто. — Символ из «Учеников в Саисе» Новалиса (о Новалисе см. выше, коммент. к очерку «Природа»). В целом рассуждение Белого утверждает, что поэтическое созерцание само по себе, изначально обладает способностью к тому гносеологическому прорыву, на который претендуют такие, казалось бы, разнородные современные (ему) течения, как методология науки, «эзотерическое» обучение и психоанализ (см. ниже о «сублиминальном поле»); а то, что открывается в результате этого познавательного акта, — это индивидуальная судьба как место в истории и как ответ ей.

...в ритме душевные глубины обнажены нам бывают порою... — В годы пребывания в Дорнахе Белый начинает разбирать классические русские стихотворения по методу построения «кривой», предложенной ему А. Барановым-Ремом (см.: *Андрей Белый***.** О непрерывной кривой — РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 16); чертеж «кривой» внешне напоминает рисунок горного хребта, и Белому самому приходит в голову не имевшийся Барановым в виду эффект — что «кривая» показывает внутренний смысл стихотворения, «обнажает душевные глубины» (см. там же, л. 2).

...фазы истории; и закон фаз во мне; улови я его — история встанет передо мной разоблаченной в ее объясняющем стержне... — Исходя из этого «гносеологического принципа» позднее написана «История становления самосознающей души», история мировой культуры в «объясняющем ее стержне» развития человеческого духа.

...именуют «сублиминальным полем» сознания... — «Сублиминальный» — букв. подпороговый (*лат.* Limen — «порог»), т. е. находящийся ниже порога осознанного восприятия; термин психологии того времени.

...жест куафёра и жесты Фридриха Ницше... — Куафёр — парикмахер, цирюльник (*фр.* coiffeur), ирон. Ассоциативная связь между Ницше и цирюльником остается неясной.

...улыбкой Джиоконды... — «Джоконда», портрет Моны Лизы работы Леонардо да Винчи, в 1911 г. пропала из Лувра (как выяснилось позднее, была похищена сотрудником музея и вывезена в Италию), была найдена в 1913 г. и возвращена в Лувр в январе 1914 г.; все это сопровождалось чередой скандалов (закрытие границ Франции, увольнение администрации Лувра, подозрения в краже многих известных людей, в частности Аполлинера и Пикассо). Перипетии поисков и возвращения картины бурно освещались в европейских газетах на протяжении всех предвоенных лет; потому Джоконда служит примером «вечного» в «газетном» и «злободневном».

...душа древней критянки... — Раскопки Кносского дворца (означавшие открытие минойской цивилизации), начатые Эвансом в 1900 г., еще продолжались во время Первой мировой и освещались в газетах; речь, как и в случае с Джокондой (и самими публикуемыми очерками), идет о вечных образах, попавших в газетную злободневность. Говоря о критских «модницах» с манерными, в стиле XVIII в., прическами, Белый имеет в виду знаменитые фрески Кносского дворца — те, которые иногда условно называют «Танцовщица» и, особенно, «Дамы в голубом».

Восток или Запад

Бирж. вед. 1916. № 15661 (6 июля). Утр. вып. С. 2.

Очерк с некоторой правкой вошел в большую статью «Восток или Запад», напечатанную в сборнике «Эпоха» (М., 1918. С. 161–210; главки 1–5 публикуемой статьи соответствуют

гл. 2–6 статьи из «Эпохи»), затем в книгу «Кризис жизни» (ее главы 46–50). Мысли очерка развивались затем также в «Кризисе мысли» и «Истории становления самосознающей души». Два явных пропуска газетной публикации восстановлены и отмечены угловыми скобками (первый — «охватить грандиозности кризиса» — по указанным переработанным изданиям, второй — во фразе о Сфинксе, которая в переработанных изданиях совсем изменена, по смыслу).

...на Сандвичевых островах... — Пример экзотического архипелага, населенного аборигенами, впрочем не слишком удачный: Сандвичевы острова (на юге Атлантического океана, в субантарктической зоне) на самом деле необитаемы.

Что «востока» и «запада» нет, было ведомо Гёте... — Имеется в виду его «Западно-восточный диван».

...материю цвета «шанжан»... — Ткань, переливающаяся разными цветами (*фр.* Changeant — «меняющийся»).

...так когда-то напыщенно сказал с кафедры один профессор истории, Гоголь-Яновский. — Известный эпизод из жизни Гоголя. В 1834 г. он читал курс лекций по истории в Петербургском университете. Эпизод известен по воспоминаниям одного из студентов, Н.И. Иваницкого («Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: “Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом”. Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию?»); эпизод часто пересказывался в биографиях Гоголя, а воспоминания Иваницкого, впервые опубликованные в 1853 г. (Смесь. № 2. С. 119–121), многократно перепечатывались в собраниях документов о Гоголе.

...как попали в Испанию ~ пернатые краснокожие? — Не удалось установить, какая именно из теорий Атлантиды апеллировала к мнимым (или ошибочно трактованным) археологическим находкам артефактов или изображений, восходящих к доколумбовой Америке, в Европе (в Испании или на греческом архипелаге).

...сумеро-аккадийской... — Совр. «шумеро-аккадской», вавилонской.

...«западом» окажется Герберт Спенсер для нашего русского западника... — Г. Спенсер (1820–1903) — английский философ и социолог; ассоциируется с эволюционизмом, позитивизмом, либерализмом. Входил в круг обязательного чтения либерально-профессорского круга конца XIX в. (см., например: Начало века. М., 1990. С. 20; в «Московском чудаке» второй том «Оснований биологии» Спенсера — книга, которую сын Коробкина наугад вытаскивает из отцовского книжного шкафа, — гл. 1, § 4). Белый посвятил Спенсеру некролог (Весы. 1904. № 1. С. 52–54), выдержанный в панегирическом тоне, хотя и с вердиктом, что философия Спенсера все же ниже как кантианства, так и символизма, и иногда цитировал его (Жезл Аарона [первая редакция] — ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 3. Ед. хр. 9. Л. 4; О смысле познания, § 3; Дневник писателя // Россия. 1924. № 2. С. 142 и др.).

Заратустра ~ его связь с Гераклитом... — Идею о преемственности мировоззрения Гераклита относительно зороастризма Белый, вероятно, воспринял у Ницше («Философия в трагическую эпоху Греции», § 1, 5–8).

...с Гёльдерлином, Новалисом, Демелем, Моргенштерном... — О Новалисе и Гёльдерлине см. выше, коммент. к очерку «Природа». Рихард Демель (1863–1920) — немецкий поэт, был

близок со Стриндбергом и Пшибышевским. Христиан Моргенштерн (1871–1914) — немецкий поэт, антропософ; Белый открыл «Звезду» посвященным ему стихотворением; о ставшей для него важной единственной встрече с ним Белый рассказывает в начале «Кризиса культуры» (§ 1), в «Материале к биографии (интимном…)» (Минувшее. № 6. С. 356; о декабре 1913) и в других местах. До этого Белый знал о его творчестве — о Моргенштерне писали в «Весах» (1907. № 9. С. 80–84). Немецкие поэты подобраны в списке скорее по стилистическому принципу (по близости к темному, многозначительному, парадоксальному стилю Гераклита), чем по эксплицитно выраженным мировоззренческим тезисам.

...«Гаты» Ясны... — 17 «гат» («песней»), входящих в «Ясну», первый раздел «Авесты» — та часть «Авесты», которую обычно считают самой древней (сочиненной непосредственно Заратуштрой).

...Кант учредитель умственного Китая на западе... — Ср. сон Николая Аполлоновича из «Петербурга» (гл. V, главка «Страшный суд»), где утверждается, что Кант, как и сами Аблеуховы, — «туранец»; затем Аблеуховы — надо полагать, и Кант с ними, — оказываются китайцами (конфуцианцами).

...Шопенгаэур — «индус», перелагает Веданту... — Веданта — субъективно-идеалистическая система индийской философии, развившаяся из мировоззрения «Упанишад»; «Упанишадами» увлекался Шопенгауэр, а его ученик Пауль Дейссен (Deußen, 1845–1919) впервые перевел их на немецкий (Шопенгауэр знал их в латинском переводе). Белый увлекся Шопегауэром еще в юности, в 1897 г., а затем неоднократно читал книги Дейссена: «Индия под флагом теософского модернизма вставала передо мной; и, если я потом сидел над Ведантою ‹...› многотомным сочинением Дейссена» («Начало века», гл. I, главка «Гончарова и Батюшков»). Книга, о которой идет речь, — либо «Das System des Vedanta» (1883), либо многотомная «Allgemeine Geschichte der Philosophie» (вторая часть первого тома (1898) была посвящена «Упанишадам» — «Die Philosophie der Upanishad's»); по-русски выходила другая книга Дейссена — «Die Elemente der Metaphysik» (*Дейсен П.* Основные начала метафизики: Теория познания. СПб., 1889). Позднее Белый вспоминал о 1907-м годе: «С огромным интересом читаю в Париже Дейссена “Философия Упанишад” (большая книга)» (Касания к теософии // Минувшее. № 9. С. 450). Белый несколько раз хвалит Дейссена в «Символизме»: «…соединение научного знания с умением подслушать внутренний ритм описываемых памятников Востока характеризует Дейссена; это умение воссоздать в себе дух философии Востока предполагает и творчество» (Символизм: Книга статей. М., 1910. С. 7); «Дейссен с огромным проникновением вводит нас в понимание сущности метода мышления у мудрецов Индии» (Там же. С. 462 и др.). Перед войной в «Мусагете» в переводе друга Белого, М. Сизова, вышла еще одна книга Дейссена (*Дейссен П.* Веданта и Платон в свете кантовой философии. М., 1911). В послевоенные годы Белый не утратил интерес к немецкому ученому («Весь месяц усиленно читаю Дейссена и переписываю “Кризис сознания”», — Ракурс к дневнику — РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100; о сентябре 1920). К этим занятиям восходит индийская образность начала первой части «Первого свидания».

Что такое Фриц Маутнер, Вильгельм Вундт, Бенно Эрдман... — Фриц Маутнер (Mauthner, 1849—1923) — писатель и философ, автор трехтомного «Введения в критику языка» (Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 1901–1902). Позицию Маутнера Белый подробнее излагает и критикует в «Жезле Аарона» (Скифы. 1917. Вып. 1. С. 165); в лекциях «О слове»

1927–1928 гг. Белый, давая классификацию «теорий слова», причисляет Маутнера к «лингвистическим» теориям и опять критикует (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 23 об.).

Вильгельм Вундт (1832—1920) — психолог и этнопсихолог; из упомянутых теоретиков языка был наиболее близок к Белому, так как признавал влияние фонетики на образность слова (см. те же лекции, где он включен в ту же «лингвистическую» группу теоретиков слова, что Маутнер и Эрдман, но все же вынесен в отдельный пункт; см. также «Мастерство Гоголя», начало III главы).

Бенно Эрдманн (1851–1921; в газете дважды видим ошибочное «Бэнно-Эрдман») — немецкий философ и психолог, занимался психологией мышления и психологией чтения. Не удалось установить, какую его книгу (или пересказ) цитирует Белый ниже.

...эфиопская гримаса ‹Сфинкса›... — См. выше, коммент. к очерку «О злободневном и вечном».

...Н.А. Бердяев (восточный мистик)... — Вероятно, Белый имеет в виду «Философию свободы» Н.А. Бердяева (М., 1911; ср., например, в ней гл. 3, § 8).

О Русь! В предвиденьи высоком ~ Востоком Ксеркса иль Христа? — Из стихотворения В.С. Соловьева «Ex oriente lux» (1890). У Соловьева 3-я строка «Каким ты ...»; сохраняем «каким же ...» (так же в обоих изданиях «Кризиса жизни» и в статье «Восток или Запад» из «Эпохи»), потому что так мог цитировать Белый, интонационно усиливая вопрос.

...сочетание «западника» Платона ~ что такое схоластика? — Темы подробнее раскрыты в «Кризисе мысли» (§ 13, 22 и др.). Вернувшись из Швейцарии, в октябре 1916 г. Белый пишет в развитие мыслей этого пассажа доклад «Александрийский период и мы в освещении проблемы “восток и запад”» (прочитан в Московском религиозно-философском обществе 30 ноября, а в Петербургском 12 февраля 1917). Текст доклада сохранился, издан М.С. Киктевым в: Ариаварта. 1998. № 2. С. 257–278 (перепечатан: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге [Петрограде]: История в материалах и документах [1907–1917]. М., 2009. Т. 3. С. 476–498). Затем материал доклада был присоединен как продолжение к настоящему очерку и вошел в большую статью «Восток или Запад» (Эпоха. Сб. 1. С. 161–210), материалы которой затем вошли в «Кризис жизни» и «Кризис мысли».

...Бёме и Экхардт... — См. о них выше, коммент. к очерку «Горизонты сознания».

...Гартмана, индуссистов Дейсена, Чемберлена... — Белый имеет в виду Эдуарда фон Гартмана (1842—1906; а не более известного Николаса Гартмана), философа, последователя Шопенгауэра, причастного к выработке «арийского» расизма. О Дейссене см. выше в коммент. к этому очерку. Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855–1927) — поклонник и зять Вагнера, создатель расовой «нордической теории».

...западных мифов у Вагнера, Роде, Ницше... — Эрвин Роде (1845–1898) — филолог-классик, учитель и друг Ницше. Как и Вагнер, принял участие в печатной дискуссии после выхода «Рождения трагедии» Ницше. Белый имеет в виду германскую мифологию у Вагнера («Валькирия», «Сумерки богов») и греческую (прежде всего культ Диониса) у Ницше и Роде (в его книге «Psyche», например).

...Спенсер, Конт, Милль... — См. выше примечание о Спенсере. Основоположник позитивизма Огюст Конт (1798—1857) и теоретик либерализм Джон Стюарт Милль (1806—1873) входили в тот же круг чтения.

...но человечество Конта — современная маска «Софии»... — Сопоставление восходит к речи Владимира Соловьева к столетнему юбилею Конта («Идея человечества у Августа

Конта»); понимание Контом общего разума человечества как «Великого существа» сопоставляется с пониманием Софии-Премудрости как идеального человечества.

...возглас: «Или, Или». — «Боже, Боже», первые слова возгласа Христа на кресте (Мф 27: 46).

Мертвые города

Бирж. вед. 1916. № 15745 (17 авг.). Утр. вып. С. 2.

Главки 2-я и 3-я очерка почти без изменений вошли в книгу «Кризис жизни»; 2-я главка стала гл. 41 и 42 книги (в книге добавлен конец, начиная от «прекрасны слова из мистерии Штейнера»), 3-я главка — гл. 43.

...геология — продолжение психологии... — Интерес к геологии спровоцирован горным пейзажем (см. очерк «Природа»), где сложение пород — метафора стиля мировоззрения; оно служит развернутой метафорой процесса развития языка в начале «Глоссолалии»; ср. описание пластов из «Ветра с Кавказа» (М., 1928. С. 121–122), где это метафора истории культур (как и на некоторых цветных схемах, которые Белый рисовал в середине и второй половине 20-х). Нужно вспомнить, что университет, после бурного, но недолгого увлечения химией, Белый закончил, написав диплом по почвоведению, об оврагах (которые он в «Ветре с Кавказа» называет перевернутыми горами. — Там же. С. 279).

...ученик знаменитого Вернера... — Абраам Готлоб Вернер (1749–1817) — геолог, основатель течения «нептунистов» (происхождение пород в большей степени объясняется деятельностью океана, чем вулканической), учитель, кроме упомянутых Белым Стеффенса и Новалиса, одного из крупнейших немецких ученых, Александра фон Гумбольдта.

...Стеффен, норвежский теолог... — Хенрик Стеффенс (1773—1845) — немецкий энциклопедист, норвежец по происхождению; написал, наряду с многочисленными геологическими трудами, и несколько теологических сочинений («теолог» — не опечатка вместо «геолог»), много томов художественной прозы, десятитомные мемуары и др. Переписывался с Гёте по вопросам теории цвета (вероятная причина знакомства Белого с его творчеством).

... Гартенберг ~ Новалис. — О Новалисе см. выше коммент. к очерку «Природа».

О, странных песен сих не пой... — Из стихотворения Ф.И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..». В газете напечатано: «О странных песнях сих не пой»; не исключено, что Белый мог перепутать «страшных» (так у Тютчева) и «странных», но невероятно, чтобы он нелепо изменил смысл всей строки («не пой о чем?» — «о странных песнях»); т. е. «странных» — сохраняемая особенность цитирования, а «песнях» и пропуск запятой после «о» — ошибки набора.

Я понять тебя хочу: / Темный твой язык учу... — См. выше коммент. к очерку «Горизонты сознания».

«Palace» иль «Splendide» — «Дворец» или «Пышный, блистательный» (*фр.*), типичные названия дорогих отелей; в Монтрё, который реально описывает Белый, есть и тот и другой (точнее, Hôtel Fairmont Le Montreux Palace и Hôtel Splendid). В номере Montreux Palace впоследствии долгие годы (1964–1977) жил и умер В.В. Набоков.

...отплясывая «танго»... — Танго, возникшее в Аргентине в креольской (мулатской) среде, в Европе распространилось в первое десятилетие XX в. (как и кэк-уок).

...«danse macabre»... — См. выше коммент. к очерку «У немецкой границы».

В бездне бесцельности / Цельность забвения. — Из стихотворения К. Бальмонта «В чаще леса» (из сборника «Тишина»).

Монтрё — известный курорт в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Белый посетил его в ту же поездку, которая описывается в «Природе».

«*Белоштанника*» *видел я...* — Вероятно, имеются в виду белые брюки отдыхающего на курорте.

...ницшевскую «blonde Bestia»... — Die Blonde Bestie (букв.: светловолосый зверь), традиционный русский перевод «белокурая бестия», выражение Ницше из книги «О генеалогии морали», о льве и арийском сверхчеловеке.

Карфагенские бритвы ~ у танганайского негра... — Т. е. форма изделий из Карфагена всплывает в изделиях культур черной Африки. Белый подробнее рассуждает об этом в «Африканском дневнике» (Российский архив: Альманах. М., 1994. Т. 1. С. 362). Рассуждение вписывается в тот тезис культурологической теории Штейнера и Белого, что дикарство есть результат вырождения высоких культур, а не наоборот, как считает обычная историческая наука; соответственно, дикарство реально может быть и будущим европейской культуры. «Танганайский» — с озера Танганьика или из доминиона Танганьика на его берегах (раньше по-русски иногда писали «Танганайка»).

...томагавок «грядущего хама»... — Знаменитое выражение Д.С. Мережковского, название его статьи и сборника статей (СПб., 1906).

...грозит Джиоконде. — См. о Джоконде выше, коммент. к очерку «О злободневном и вечном».

...он «апаш»... — Apache — французское название типажа уличного хулигана, часто связанного с криминалом; образовано от названия индейского племени апачей, нападавших на французские поселения в Америке.

....кек-уок, негрский танец; и «кек-уоком» пошли мы по жизни... — Кэк-уок (cake-walk) — танец американского (негритянского) происхождения, распространенный на рубеже XIX–XX вв., в России известен с первых годов XX в. Белый часто упоминает кэк-уок в годы первой русской революции или в связи с ними: «И, проигравшийся игрок / Я встал: неуязвимо строгий, / Плясал безумный кэк-уок, / Под потолок кидая ноги» (стихотворение «Пир» 1905 г., из «Пепла»); «когда Москва обливалась кровью в декабре и красное зарево пожара сияло над городом, — у Палкина красные неаполитанцы бренчали кэк-уок. Это был не просто кэк-уок: это был кэк-уок над бездной» (из статьи «Штемпелеванная калоша», см. «Арабески». М., 1911. С. 343); «кэк-уок пурги» (Кубок метелей. М., 1909. С. 19). В «Петербурге» кэк-уок присутствует в созданной Дудкиным теории двойной гибели культуры, от наступающего внешнего и растущего внутреннего варварства, во много созвучной с размышлениями настоящего очерка (гл. VI, главка «Опять печальный и грустный»). В автобиографическом письме Иванову-Разумнику приведенной выше строфой из «Пира» Белый характеризует «остывание и потухание настроений» «Золота в Лазури» (Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка... С. 490; письмо от 13 марта 1927).

Из кэк-уока развился рэгтайм, а затем фокстрот, которым Белый увлекался в своей следующей поездке в Германию.

...печать дикаря, которого якобы цивилизацией рассосала Европа; не рассосала — всосала: ~ И Полинезия, Африка, Азия протекли в ее кровь... — Намек на увлечение примитивным искусством среди артистической элиты начала века, прежде всего французской; логика очерка противопоставляет ей германский «арийский» идеал.

...«Град Новый»: Град Солнца. — Образ «града Солнца», с одной стороны, напоминает о солнечной образности аргонавтического периода Белого (ср. выше, в коммент. к очерку «Кризис жизни», о «детях Солнца»), с другой — совпадает с названием утопического трактата Кампанеллы, а в исторической перспективе в равной степени напоминает и строительство Гётеанума, и социалистическую утопию революции. В военные и революционные годы Белый интересуется Кампанеллой; сохранились его конспекты биографии Кампанеллы (на обороте наброска начала «Записок чудака», — ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 3. Ед. хр. 8); вероятно, это материалы к выступлению на заседании «Вольфилы» «Солнечный град» 2 мая 1920 г. (издано в: *Белоус В*. Вольфила. 1919–1924. М., 2005. Кн. 2. С. 435–442). Белый мог толковать «солнечный град» как зерно архитектурной формы, лежащее в основе Ренессанса (*Бугаева К.Н.* Дневник 1929 года // Лица. М., 2002. № 9. С. 131); наконец, в «Масках» «гелио-город» — это просто лучащийся городской вид (гл. 7, главка «Топазовый глаз»).

...будем твердо... арийцами. — Следует заметить, что индоевропейское («индогерманское», «арийское») языкознание, сложившее понятие об «арийском», развилось в той же среде немецкой науки эпохи романтизма, к которой отсылает как упоминание школы Вернера в начале очерка, так и культурный срез в очерке «Природа».

Петроград и Москва в освещении прессы немецкой Швейцарии

Бирж. вед. 1916. № 15757 (23 авг.). Утр. вып. С. 2. Мы исправляем по смыслу явную опечатку в 3-й главке: «который в вас вписан» (надо «в нас»).

«Basler Nachrichten» — «Базельские известия». Приводимое Белым библиографическое примечание верно; статья помечена как Korrespondenz, без автора.

...«всешутейший собор» с «всешутейшим» папою... — «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор» — забава Петра Великого, существовавшая большую часть времени его царствования. Отличался размахом и невоздержностью как в церемониях, так и в документах (нередко матерных); имел черты пародии на католическую, а иногда и на православную церковь (что внесло вклад в восприятие императора как антихриста, о чем швейцарский журналист говорит ниже).

...колоссальнейший памятник делу освобождения крестьян — стоит здесь... — В честь освобождения крестьян строился громадный собор Св. Александра Невского на Миусской площади; к моменту революции был почти закончен, снесен в 1952 г.

...лучший и оборудованнейший русский народный университет... — Имеется в виду Московский городской народный университет имени А.Л. Шанявского; работал в 1908–1920 гг. С 1912 г. находился там же, на Миусской площади, где и собор Александра Невского (вероятно, произведшей впечатление на швейцарского корреспондента).

...слова Достоевского о Петрограде, взлетающем над землею с туманом... — «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: “А что как разлетится ту-

ман и уйдет к верху, не уйдет ли с ним вместе этот гнилой склизкий город. Поднимется вместе с туманом и исчезнет как дым и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жаркодышащем загнанном коне?”» (из «Подростка», гл. VIII, § 1).

...отношении к войне русского общества теперь и одиннадцать лет ранее... — Речь о Русско-японской войне 1904–1905 гг., которую, согласно автору статьи, затеял «Петроград» и не поддержал «народ».

...московский призыв соединенных земских и городских союзов... — В начале войны по инициативе Московского губернского земского собрания был организован Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам (впоследствии ЗЕМГОР — объединенный комитет Земского союза и Союза городов), деятельность которого на протяжении военных лет разворачивалась, приобретая политический характер, а союз становился все более авторитетным. Возглавлял его князь Г. Львов, впоследствии первый лидер Временного правительства (еще позже осмеянный Белым в «Масках» как Лёва Леойцев); говоря о «frische, liberale Moskau» (в передаче Белого — «живой, либеральной Москве»), швейцарский журналист имеет в виду активизацию политических сил, противостоящих «петроградской» монархии Романовых и вскоре приведших к Февральской революции; он много говорит о деятельности Земского союза и называет Львова «человеком исключительной энергии», противопоставляя «петербургскому бюрократизму», упоминая и слухи о «министерстве ответственности», которое должен был возглавить Львов, о других проявлениях антимонархизма, вспоминает революцию 1905 г.; отношения «Москвы» с «Петербургом», по его словам, сами русские называют «пятым фронтом»; заканчивается статья процитированным по-русски «древним пророчеством»: «Peterburgu bytj pustu!»

...«московский погром»... — 26–29 мая 1915 г. в Москве произошли немецкие погромы. Беспорядки начались среди рабочих ситценабивной фабрики Гюбнера и Рябовской мануфактуры; было разгромлено несколько фабрик и магазинов, принадлежавших предпринимателям-немцам (по слухам, виновным во многих злоумышлениях и бедах военного времени), в отдельных случаях дома владельцев и управляющих, просто принадлежащие немцам и австрийцам дачи. Классовый характер волнений было трудно отделить от «национального», о чем напоминает и автор пересказываемой статьи; беспорядки постепенно приняли массовый и хаотический характер, настолько, что утром 29 мая в Москву были введены войска.

Книгоиздательство «Дидерихс» выпустило брошюру о русском народе... — Вероятно, имеется в виду книга: *Steffen G.F.* Weltkrieg und Imperialismus — Sozialpsychologische Dokumente und Beobachtungen vom Weltkrieg 1914/15. Jena, 1915.

«Гелертер» (*нем.* Gelehrter) — ученый; книжный червь (ирон.).

Новалис — см. выше, в коммент. к очерку «Природа».

Подготовка текста и комментарии Д.О. Торшилова, Е.В. Глуховой

Валерий Брюсов

А.И. Иванов

Первый год войны в корреспонденциях Валерия Брюсова

В очерках Брюсова 1914 г. отразились настроения первых дней войны, и осмысление масштабности происходящего, и постижение ее бесчеловечности. «Когда я думаю об этом, — писал Брюсов в очерке “В Северной Польше”, — когда представляю себе немцев в тех самых городках, где был так недавно, ‹...› — война перестает быть для меня чем-то отвлеченным, чем-то таким, о чем читают и пишут в газетах, но реальным, страшным делом. И пусть каждый представляет себе, что враг вошел именно в его город, обидел именно его близких, занял именно его комнату, — тогда таким же реальным, страшным делом станет война для каждого»[1]. Эта трансформация отношения к войне как к интересному, необычному явлению в понимание ее реальной страшной сути и подкупает прежде всего в брюсовских корреспонденциях.

Уже первые августовские сражения выявили сильные и слабые стороны противников, а также характерные особенности начавшейся войны. Многие из них нашли отражение в корреспонденциях Брюсова. В его очерках отражены успехи русской армии против австро-венгерских войск в Галиции (Юго-Западный фронт), упоминаются населенные пункты, обозначившие линию правого фланга (Люблин—Холм) и другого крыла (Тарнов—Перемышль), передается быстрота сражений у Красника и Томашова (Люблин—Холмская операция) и т. д.

Брюсов ощутил вкус войны, находясь на Северо-Западном фронте, где русским пришлось сражаться с немцами. Рассказывая об успехах армии П.К. Ренненкампфа в Восточной Пруссии, внушавших надежды на скорую победу, он еще, наверное, не знал о трагедии армии А.В. Самсонова, окруженной и окончательно разбитой к 30 августа.

В сентябре обстановка на двух российских фронтах резко изменилась. Воспользовавшись неудачами русских войск на Северо-Западном фронте (несогласованность действий командующих армиями П.К. Ренненкампфа и А.В. Самсонова, перехват секретных документов), немцы, спасая австрийскую армию, потерпевшую поражение на Юго-Западном фронте, начали наступление в русской Польше. Совершив проход вдоль Вислы, они нанесли удар в районе Лодзи, остановившись в двадцати километрах от Варшавы. К 18 ноября Лодзь была почти окружена, внутри незамкнутого кольца оказалось 150 000 русских солдат…

В очерках Брюсова, находившегося в это время в непосредственной близости от боевых действий, частично отражены эти драматические для России и Польши события. В результате совершенного командованием Северо-Западного фронта маневра и ожесточенных боев, в которых русские потеряли около 70 000 убитыми, Варшаву удалось отстоять. Чтобы защитить Лодзь, русские войска были вынуждены остановить свое наступление в Силезии.

[1] Данные о публикации цитируемых статей В.Я. Брюсова приводятся в разделе «Комментарии».

Между Варшавой и Перемышлем сосредоточилось 55 пехотных русских дивизий против 31 австрийской и 13 германских[1]. Именно в эти дни против русских войск начали сражаться польские войска Пилсудского под общим командованием австрийцев…

Перечитывая художественные и документальные свидетельства о войне, вольно или невольно задаешься вопросом о *правде войны*. В связи с этим интересно мнение Ф. Степуна (философ, писатель, в годы войны был офицером-артиллеристом), имевшего возможность следить за публикациями на военную тему. Оценивая их с точки зрения правдивости, он высказался критически не только о творчестве начинающих, но и о писателях, ставших известными к началу Первой мировой, т. е. обо всех, кто во время войны стал художником-баталистом: «Так врут или, по крайней мере, *детонируют* все газетные живописцы войны. Брюсов и А.Н. Толстой, к сожалению, тоже не исключение: читая их, получаешь впечатление, что они задались целью изобразить поверхностностью своих наблюдений быстроту автомобильного бега»[2].

Поспешность в сообщениях газетчика, скорее всего, неизбежна. Масштабность событий оправдывает некоторую поверхностность суждений. Но детонация ко лжи не была свойственна публикациям В. Брюсова. Им присуще другое: смягчение облика войны, более яркое высвечивание героического в тружениках войны. И это не только следование жестким требованиям военной цензуры, редакционной позиции солидной газеты; это и этика военного времени — стремление нравственно поддержать воюющую нацию. Не сбросить со счетов и особенности читательского восприятия военной темы, рано появившаяся усталость общества от военных тягот. Однако за всем этим в исследовании творчества настоящего художника, а не только хроникера, не должна уходить на второй план его творческая индивидуальность, особенности его видения войны. Эти столь очевидные для литературоведов истины не всегда учитываются историками, обращающимися к литературе 1914–1918 гг. как свидетельнице событий, фактов военной действительности.

Перечитывая военную хронику В. Брюсова, сопоставляя его публикации с очерками других репортеров, можно сказать, что они, безусловно, интересны своими фактами и подробностями (в том числе, конечно же, и самыми маленькими) той большой войны, но ценны они не только в историко-бытовом плане. В них, естественно, нет передачи ощущений человека, убивавшего, стрелявшего, находившегося под артобстрелом или вражеским прицелом, совершавшего изнурительные переходы или гнившего в окопах. Некоторые неточности, а иногда чисто «репортерское» восприятие Брюсовым войны вызывали справедливые нарекания в «Письмах» Ф. Степуна. А стремление Брюсова наделить свои описания мельчайшими деталями из военной реальности заставило усмехнуться В. Маяковского. (Хотя сейчас эти детали военной и мирной жизни, например, в Польше воспринимаются с интересом, благодаря живому, легкому языку Брюсова.)

Война, действительно, выглядит подчас несколько стерильной, бутафорской, особенно в первых публикациях. И Брюсов, сам это понимая, стремился допытаться у очевидцев подробностей только что прошедшего боя, узнать о повадках немцев. В очерке «Рассказы очевидцев» автор пишет: «Что-либо новое о наших военных операциях узнать из этих рассказов, конечно, трудно. Каждой части приходилось действовать в ограниченном районе, и она была слишком занята своей ближайшей непосредственной задачей, чтобы следить за

---

1 *Уткин А.И.* Первая мировая война. М., 2001. С. 139.

2 *Степун Ф.А. ‹Лугин Н.›* Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 75.

событиями в их целом. К тому же простые солдаты плохо запоминают немецкие названия местностей и городов. ‹...› Все, с кем мне приходилось говорить, единогласно свидетельствуют, что наша ружейная стрельба выше немецкой. ‹...› Все также согласны, что русское ружье лучше немецкого. ‹...› Впрочем, о германской артиллерии все отзываются почтительно: “Умеют стрелять, пожалуй, не хуже нас”. Весьма многие рассказывают о недостойных приемах, которые употребляют немцы в бою ‹...›».

Однако «издержки» репортерского освещения войны не заслоняют достоинств военных корреспонденций Брюсова. В них ощутимо стремление автора понять, в чем отличие этой «войны механизмов» от предыдущих войн, что же такое настоящая храбрость («Бои под Ловичем»); описаны случаи неоправданной жестокости немцев на оккупированной территории, и в то же время звучит признание боевых достоинств неприятеля. А очерк о штабротмистре Гурдове («Мимоходом. Один из героев») можно считать началом реабилитации русского офицера, буквально ошельмованного в предвоенной литературе.

На наш взгляд, военные свидетельства Брюсова интересны тем, что наряду с хроникой репортера в них есть *эмоциональное восприятие* войны. Например, во втором очерке из цикла «Из Варшавы в Ярослав» читаем: «В поле, где еще недавно горел кровавый бой, крестьяне идут за бороной, засыпая свежеразбросанные зерна. Война проходит над странами, как ураган, как стихийное бедствие, а древний, вечный, исконный труд земледела продолжается из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Глядя на эти усердные работы на местах битв, я невольно вспомнил свои стихи: *Колеблются нивы от гула* ‹...› На многих деревьях — следы артиллерийских снарядов. Есть огромные сосны, расщепленные гранатами. Есть великаны-вязы словно срубленные у самого корня. Некоторые стволы унизаны ружейными пулями. Тоненькие деревца, пробитые посредине, висят, жалостно перегнувшись…»

Общий духовный подъем в обществе, труднообъяснимая эйфория переданы в самом первом очерке — «Путь на Запад»: «Из мимолетных наблюдений, из случайных встреч и “вагонных” разговоров выносишь твердое убеждение, что то *настроение бодрости и веры в себя,* которое в Москве можно было объяснять ее сравнительной отдаленностью от совершающихся событий, *есть настроение всей России*. Видишь и слушаешь людей, случайно собравшихся в общем вагоне из самых отдаленных одна от одной губерний и из разных городов, — и ни одной ноты не проскальзывает в разговорах, которая нарушила бы всеобщую уверенность в нашем конечном успехе» (курсив наш. — *А.И.*).

Война в самых первых очерках Брюсова — это пока еще не сама война. Это скорее ожидание непременно победоносной, кратковременной войны, это околовоенный быт, прифронтовая жизнь. Это люди и города в ожидании беды. Такой мы видим прифронтовую Варшаву. «Само собой разумеется, — пишет Брюсов, — что вся Варшава с самым напряженным вниманием следит за событиями войны. Слишком большие надежды связаны у поляков с исходом этой “борьбы народов”, и слишком тяжелая роль выпала в ней на долю Польши, дети которой распределены по армиям трех разных государств и которая стала первой ареной кровавых столкновений. Кроме того, Варшава все же отчетливее других больших городов России слышит самые гулы битв. Всего в 100–150 верстах от города лежат местности, где появлялись передовые немецкие разъезды или которые временно были заняты германскими отрядами» («Проездом через Варшаву»).

Начало войны — массированные обстрелы, налеты авиации, разрушения мирных городов, гибель сотен тысяч людей — породило ощущение драматизма происходящего, осмы-

сление жестокости, бесчеловечности. И в очерках, написанных в сентябре–ноябре, начинают проявляться подлинные лики войны XX века.

В своих материалах Брюсов не раз выражал мысль о том, что это какая-то *иная война*. Так, в начале октября он заметил: «В конце концов борьба русской армии с прусским нашествием есть борьба *живой силы* с *мертвым механизмом*. Немцы всего более полагаются на свою *технику*» («На Северном фронте»; курсив Брюсова).

Не остались незамеченными *масштабы* боевых действий: «Фронт тех немецких сил, которые непосредственно угрожали Варшаве, тянулся почти на 100 верст (если считать действия против Ивангорода отдельной операцией). В прежнее время, полстолетия назад, это считалось бы громадным боем, генеральным сражением. Но масштаб современной войны так велик, что все движение немцев на Варшаву оказывается лишь одним эпизодом в наступлении германской армии на центральную Польшу. Бой при Прушкове, с такой точки зрения, кажется ничтожной пылинкой, почти незначащим явлением в кругу великих событий» («После победы. I: Поле битвы»). Не сразу, но были отмечены некоторые особенности *позиционной*, окопной войны: «Многие сооружения возведены словно напоказ: геометрически правильно выровнены края окопов, прочно, как бы на долгие годы, устроены прикрытия; с суровым вкусом обрезаны углы фортов. Можно любоваться этой солидной и по-своему красивой работой. Вместе с тем окопы были рассчитаны так, что давали возможность под прикрытиями и подвигаться вперед и отступать» («После победы. II: Основы наших побед»).

Один из очерков Брюсова называется «Фантастика войны». К числу «фантастических» еще вчера примет автор относит *дальность и интенсивность артиллерийской стрельбы*: «“Артиллерийские дуэли” заполняли всю первую половину боев под Варшавой. Противники стояли так далеко друг от друга, что целиться приходилось по картам и по компасу. Боролись ожесточенно, не видя один другого».

Не менее фантастичным, чем чудеса техники, корреспонденту представляется *привыкание к войне*: «Давно известно, что на войне к облику смерти привыкают. Его видят так часто, что смерть перестает казаться чем-то страшным. В повседневной жизни одного покойника провожают десятки или даже сотни живых — близких, родственников, знакомых: там умерший — явление исключительное, и кажется, что смерть приходит редко. На войне, в походе, убитых приходится видеть каждый день, и люди осваиваются с мыслью, что смерть — обычное событие в ряду других событий нашей жизни. Вид убитых немцев не вызывает в наших солдатах никаких мрачных предчувствий, только приводит на память различные моменты недавнего боя».

Растущая буквально на глазах мощь вражеской *авиации* отмечена в очерке «На Северном фронте»: «Богато оборудована прусская армия и воздушными силами. До войны считалось, что Германия занимает далеко не первое место по размерам своего воздушного флота; теперь это мнение необходимо изменить. Несмотря на то, что немцы почти ежедневно терпят урон в воздушных боях, теряют десятками аэропланы и насчитывают уже немало подбитых и захваченных цеппелинов, — немецкие летчики продолжают кружить над всеми неприятельскими позициями. Словно на место одного сраженного воздушного чудовища у них вырастает два других. Когда я совершал поездку по северу Плоцкой губернии (перед самым занятием ее германцами), немецкие аэропланы летали стаями».

И дело не только в количестве летательных аппаратов у немцев. Брюсов не мог знать, что благодаря воздушной разведке, прослушиванию нашей радиосвязи немцы были прекрасно осведомлены о действиях русских войск.

Как и другим русским военным корреспондентам, Брюсову был свойствен *интерес к противнику*: кто он, немецкий солдат; каковы его воинские качества? И если в первых очерках храбрость немцев объяснялась их пьянством (было и такое!), то чуть позднее он пишет: «Теперь, после двухмесячного опыта, все в нашей армии признают, что прусские солдаты обладают превосходными боевыми качествами. Они стойки в бою, грудью идут против артиллерийского огня, на штыковой удар готовы ответить штыками же; они не способны на ту панику, которая овладевает в случае поражения солдатами австрийскими…». И даже в плену «пруссаки способны воспользоваться любым случаем, чтобы вырвать из рук стражей оружие, начать отчаянную борьбу, бежать».

Брюсов обратил внимание на «различие в эволюциях немецких и русских летчиков. Немецкий аэронавт вносит и в свое дело прусскую методичность. Он летит прямо, ровно, неспешно; при обстреле медленно поднимается выше. Видно, что, неуклонно описывая над городом круг за кругом, он с точностью выполняет данное ему поручение. Русский летчик, напротив, бросается ввысь стремительно, взлетает как пущенная стрела и как ястреб гонится за врагом. Немец, заметив погоню, спокойно поворачивает и начинает уходить как будто неторопливо, но развивая все бóльшую и бóльшую скорость…» («На Северном фронте»).

Существуют ли звуки, краски, слова, передающие подлинный ужас войны? Наверное, для того чтобы подобрать их, надо пережить, испытать непосредственно этот ужас. Как военному корреспонденту Брюсову приходилось самому терпеть некоторые тяготы, трудности с ночлегом и питанием, видеть жителей, оставшихся без крова… В одном из очерков Брюсов описывает поле недавнего боя, усеянное «расстрелянными патронами. ‹...› Тут же — разорванные ранцы и сумки, погнутые походные фляжки, ременные пояса, фуражки, записные книжки, размокшие от дождя ‹...› Немного далее, за кирпичным заводом, — уже десятки трупов. Все — немецкие солдаты, так как наших санитары хоронят в первую очередь. Убитые частью положены в ряд, для погребения в общей могиле, частью остались на тех местах, где их застигла смерть. Здесь есть юноши лет по 20-ти, как будто улыбающиеся; есть бравые, усатые пруссаки, есть простые мужицкие лица. ‹...› В другом месте поля, за стогом сена, — группа убитых шрапнелью лошадей. Зрелище чудовищное: оскаленные зубы, закатившиеся глаза, разорванные животы, дико поднятые вверх и так окоченевшие ноги» («После победы: (На полях битв под Варшавой). I: Поле битвы»). Но можно ли себе представить, что же творилось на этом поле во время боя?

Первая мировая быстро приняла ставший привычным для Брюсова облик: «Всюду была одна и та же картина: несчетные окопы в полях и вдоль шоссе; вновь сооруженные форты для артиллерии, окруженные колючей проволокой; миллионы расстрелянных патронов, засыпавших почву, словно выпавший медный град; разрушенные или поврежденные снарядами строения; срубленные и поваленные деревья; трупы лошадей, а иногда и человеческие тела, ждущие погребения; ряды свежих крестов над братскими могилами» («После победы: (На полях битв под Варшавой). II: Основы наших побед»).

Очерки Брюсова *гуманистичны*. Сейчас, когда мир знает о жестокостях Второй мировой войны (особенно Великой Отечественной), о происходившем на захваченной фашистами территории, о лагерях смерти Дахау, Освенциме, о газовых камерах, можно со снисходительной улыбкой читать о том, что немцы, оккупировавшие тот или иной польский город, могли не заплатить за товары в магазине, что немецкий офицер грубо обозвал мирного жителя. Случаи варварства, становясь все привычнее, были предметом обсуждения в тогдашней

прессе, но автору трудно говорить об этом спокойно: «Немцы, взломав частные квартиры, выбрали из них все сколько-нибудь ценное: серебро, меха, даже мебель. Все это было сложено на подводы и увезено в Пруссию. А то, что осталось, немцы намеренно испортили: порвали обои на стенах, порубили ножки у диванов, разбили хрусталь… Ряд подобных рассказов был похож на кошмар; наперекор всем свидетельствам, не хотелось верить такому поистине “варварству”» («На Северном фронте»).

Однако Брюсову не свойственно какое-либо смакование, гипертрофированный интерес к подобным выходкам оккупантов. Для нас же становится очевидным утверждение историков, что Первая мировая, с ее нарушениями законов и обычаев войны, была во многом предшественницей Второй мировой войны. Брюсов, скорее всего, не знал, что пытки и убийства военнопленных стали все чаще применяться немцами и австрийцами, что в первые месяцы войны немцы использовали разрывные пули «дум-дум», запрещенные Гаагской конвенцией.

Гуманизм Брюсова заключается в его отношении ко всем, кто вынужден нести тяготы войны, в том числе и к мирным немцам. В очерке «Письма врагов и к врагам» приводятся послания немецких женщин на фронт, своим близким. Нескрываемое сочувствие автора к судьбам этих людей позволяет ощутить всеохватный характер военной трагедии. А бесчеловечность войны становится очевиднее при сопоставлении фронтовых будней с прежней мирной жизнью, с надеждами на послевоенный мир.

Первый год войны стал для русской армии годом побед и еще больших поражений. Остались в прошлом надежды на ее краткосрочный характер. К началу 1915 г. из пяти с половиной миллионов Россия потеряла 1 млн 350 тысяч убитыми, ранеными и военнопленными. По сути, был уничтожен цвет русской армии. Поступавшее пополнение — это плохо обученная и слабо вооруженная масса. Тогда как немцы все более активно демонстрировали техническое преимущество — авиацию, радиосвязь, тяжелую артиллерию.

Зима 1915 г. стала поистине временем отрезвления. Линия фронта постепенно смещалась на восток. Замаячила перспектива затяжной позиционной войны на истощение… Нарастающая тревога и вместе с тем какой-то спад в энергии повествования будут характерны для брюсовских публикаций на втором году войны.

Г.В. Мурзо

«Перед зрелищем войны…» Корреспонденции В. Брюсова в ярославском «Голосе»

«Голос» — ежедневная, демократически настроенная газета, издателем которой был К.Ф. Некрасов[1], человек либеральных взглядов.

Открыв в 1911 г. собственное книгоиздательство, контора которого находилась в Москве, К.Ф. Некрасов начал тесно общаться с В.Я. Брюсовым, ставшим участником и инициатором ряда значительных издательских проектов[2].

В 1914–1915 гг. Брюсов, отправившийся «на театр войны» представителем «Русских ведомостей», посылал заметки и в некрасовский «Голос»[3]. Для провинциальной газеты, не имевшей права на собственных фронтовых корреспондентов, это было большой удачей[4]. О согласии известного писателя сотрудничать с «Голосом» Некрасов объявил читателям 26 июля (8 августа) 1914 г.[5] Но еще ожидая сообщений, он поместил в газете довольно объемную выдержку из «впечатлений», полученных Брюсовым «по дороге на театр военных действий», которые были напечатаны «Русскими ведомостями» под названием «Путь на запад». В «Голосе» это была заметка репортажного свойства «Война и население», отражающая общее настроение вступившего в войну народа и это настроение создающая: «…Все заняты одним: войной ‹…›, интересуются только последними вестями с границы и из-за границы. Говорят разным языком и на разных языках, но все одинаково трезво смотрят на события, не обольщаются излишними надеждами, но и ни на миг не теряют веры в успех»[6].

Подчеркнем, что «Голос» взаимодействовал со столичными редакциями, и у себя в рубрике «Обзор печати», регулярно появлявшейся на первой-второй страницах в непосредственном соседстве с подборками «Дневник войны», «Мировая война», давал — с незначительной отсрочкой во времени, со ссылкой на печатный орган и автора — извлечения из уже

---

1 Константин Федорович Некрасов (1873–1940) — племянник Н.А. Некрасова (сын его младшего брата), бывший земский деятель и член I Государственной думы от партии кадетов.

2 См.: *Мурзо Г.В.* «Ярославские» письма В.Я. Брюсова // Яросл. пед. вестник. 2007. № 2 (51). С. 115–124. Об их сотрудничестве во время войны и «военных» письмах Брюсова см. также: *Мурзо Г.В.* В. Брюсов — военный корреспондент ярославского «Голоса» // Яросл. пед. вестник. 2012. № 4. Т. 1 (Гуманит. науки). С. 331–336.

3 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 952. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 10.

4 *Махонина С.Я.* История русской журналистики начала XX века. М., 2004. С. 34.

5 Ярославская жизнь. ‹Объявление о сотрудничестве В. Брюсова с «Голосом»› // Голос (Ярославль). 1914. № 171 (26 июня / 8 авг.). С. 3.

6 *Брюсов В.* Война и население // Голос (Ярославль). 1914. № 194 (24 авг. / 6 сент.). С. 3.

опубликованного. Позднее Брюсов еще не однажды предстанет перед читателями ярославской газеты как корреспондент «Русских ведомостей»[1].

Первый написанный для ярославцев очерк — «Варшава в дни войны»[2] — появился в «Голосе» 31 августа, а уже 3 сентября увидела свет большая статья «Рассказ беженцев». Обе публикации содержали панорамные картины военной действительности, включали множественные свидетельства очевидцев происходящего. Массовое участие поляков в мобилизации, восторженное отношение к русским войскам, сострадание к раненым и беженцам из оккупированных районов — все должно было показать подъем братских чувств, духовное единение армии и тыла, поддержать веру в победу русских и их моральное превосходство.

Эти и последующие публикации были подписаны полным именем автора и помечены рекомендацией «от нашего корреспондента», что, несомненно, сближало знаменитого хроникера с провинциальным адресатом, усиливало доверие неосведомленных. Нередко, особенно на первых порах, редакция газеты предваряла статьи Брюсова эмоционально близкими, не исключавшими намеренной переклички стихами Н. Ашукина[3], его апелляцией к поэтическим опытам Ф. Тютчева, почитаемого и Брюсовым. Возьмем, например, две строфы из стихотворения Ашукина, которое предшествовало упомянутой выше статье «Рассказ беженцев»:

Мы, современники, счастливы,
Живя в «минутах роковых»,
Но страшны сны кровавой нивы, —
Решенье судеб мировых.

И вот мы все в заветных думах,
Перед судьбой склонившись ниц,
Все там — в грозе, в военных шумах
У крепостей и у границ[4].

---

1 Речь идет о том, что в газете «Голос» публиковались выдержки из брюсовских статей в «Русских ведомостях», в которых, как правило, авторство Брюсова указано редакцией, например: «Г. Валерий Брюсов передает из своей поездки...»; «В “Рус. Вед.” г. Валерий Брюсов отмечает...» и т. п. В составе наст. изд. корреспонденции из «Русских ведомостей» за 1914–1915 гг. представлены целиком, поэтому мы не считаем возможным включить эти цитации брюсовских статей в состав нашей публикации. Вместе с тем, приводим библиографический список этих отрывков: Поездка А.И. Гучкова в германскую армию // Голос (Ярославль). 1914. № 210 (13/26 сент.). С. 2; Ужасы войны — Там же. № 224 (30 сент./ 13 окт.). С. 2–3; Русский солдат — Там же. № 242 (21 окт./3 нояб.). С. 1; Наказанное самомнение — Там же. № 249 (29 окт./11 нояб.). С. 1; О германском воинстве — Там же. № 269 (11/24 нояб.). С. 2; О варварстве германцев — Там же. № 282 (9/23 дек.). С. 1; О письмах к врагам и от врагов — Там же. № 289 (17/30 дек.). С. 1; Бомбисты над Варшавой — Там же. № 290 (18/31 дек.). С. 1; О раздаче подарков в армии — Там же. 1915. № 4 (6/19 янв.). С. 2; Неутомимые — Там же. № 33 (11/24 февр.). С. 1; Пленные немцы прежде и теперь — Там же. № 45 (25 февр. / 10 марта). С. 1; Русский солдат — Там же. № 47 (27 февр. / 12 марта). С. 1; Гурдов — Там же. № 58 (12/25 марта). С. 1.

2 Поскольку оригинальные тексты В. Брюсова из ярославского «Голоса» даны в наст. изд. полностью, с точным указанием источника, считаем возможным в статье ограничиться воспроизведением названия той или иной публикации.

3 Николай Сергеевич Ашукин (1890–1972) — библиограф, литературовед (автор фундаментальных трудов о жизни и творчестве Н.А. Некрасова и В.Я. Брюсова), а в рассматриваемый период секретарь Книгоиздательства К.Ф. Некрасова и активный сотрудник «Голоса».

4 Голос. 1914. № 202 (3 / 16 сент.). С. 3.

Так и было. Некрасов ждал новостей, их жаждали все: газеты передавались поездами в деревни, а Ярославль наполнялся ранеными и беженцами. Однако намерения Брюсова корректировались реальностью. «…Я не успел написать ничего существенного для “Голоса”, — объяснял он в письме издателю. — Посылаю Вам ‹…› обзор событий на нашем Северном фронте, составленный частью на основании личных наблюдений (мои поездки в Цеханов, Прасныш, Пултуск, мои беседы с “беженцами” etc.). Эти личные, непосредственные наблюдения и дают мне решимость предложить Вам такой обзор. Для связности я должен был, конечно, использовать и др. известия, как официальные, так и частные ‹...› Но, по возможности, все “чужое” изложено кратко, а “свое” более подробно». Тогда же предлагал перейти на телеграфный способ общения: «За последнее время я весьма научился этому ремеслу и умею телеграфировать кратко, интересно и красочно»[1].

Можно допустить, что именно такими «телеграммами» были короткие информационные сообщения «В Галиции» и «Пленные немцы прежде и теперь» (экстренность первого подчеркивалась рубрикой «Ночные известия»): «Объехав Галицию, ‹я› посетил Ярослав и могу сообщить, что город, вопреки противоположным слухам, не пострадал вовсе. Укрепленные сильно форты сопротивлялись недолго. Австрийская армия бежала, и самый город сдался без боя…»[2]. Лаконичность первого сообщения только усиливала экспрессию следующего: «Г. Валерий Брюсов передает из своей поездки в район Прасныша: В М. пленные немцы еще стояли на площади, и толпа не уставая продолжала разглядывать их. Несколько дальше, у деревни С., нам пришлось присутствовать при раздаче другой партии пленных хлеба. Немцы порывисто кидались к повозке, откуда выдавали им по “французской булке”, толкали друг друга, вырывая желанную подачку, и немногим конвойным стоило большого труда восстановить порядок. Того гордого, пренебрежительного вида, с каким держали себя пленные пруссаки в первые месяцы войны (солдаты регулярных войск), совсем не было у этих суетливых, заискивающих ландштурмистов»[3].

Объемные же, иногда разделенные на несколько частей корреспонденции реже предполагаемого, но регулярно печатались на второй и третьей страницах «Голоса», занимая «литературный подвал». Вот некоторые их названия: «На границе», «На северном фронте»[4], «На левом берегу» — это результат поездок писателя в прифронтовую зону и освобожденные районы Польши и Галиции. В них нет грохота пушек и свиста пуль, разве что отдаленные, а есть молчащие развалины, изуродованная земля и как часть ее — убитые и орудия убийства. Возгласы ликования не заглушали стонов обездоленных.

В противовес представлениям о правовых методах ведения войны в корреспонденциях Брюсова все чаще упоминались смертоносные воздушные налеты немецких «таубе» на мирные города, примеры изощренного насилия и варварства «культурных завоевателей» в оккупированных местностях.

Установилась определенная частота сообщений: примерно через две недели, 22 сентября, Брюсов прислал следующий материал, сопроводив его личным письмом. Оно выдавало высокий душевный настрой пишущего, обусловленный победой: «…Отсылаю Вам описание своей поездки в Галицию и в Ярослав. Кажется, там есть вещи любопытные. ‹...› Через не-

---

1 ГАЯО. Ф. 952. Оп.1. Ед. хр. 49. Л. 14.

2 *Брюсов В.* В Галиции // Голос (Ярославль). 1914. № 214 (18 сент. / 1 окт.). С. 2.

3 *Брюсов В.* Пленные немцы прежде и теперь // Голос (Ярославль). 1915. № 45 (25 февр. / 10 марта). С. 1.

4 Статья Брюсова с таким же названием была опубликована в газете «Русские ведомости» за 12 октября 1914 г.

сколько дней я уезжаю на север. Там, очевидно, мне удастся видеть много даже более интересного, чем в Галиции. Всем этим я поспешу поделиться с читателями “Голоса”»[1].

Статье «В русской Галиции» свойственны яркий репортажный стиль, элементы поэтизации происходящего, видна попытка интимизировать общение с адресатом: «Как странно, что все это совершается не в Ярославле на Волге, а в Ярославе на Сане, еще несколько дней назад австрийском городе!»

Было очевидно также, что война огрубляла нравы не только воюющих. Статья «Паломничество на поля битв» рассказывает о пикниках относительно благополучной части населения на месте прокатившихся сражений, об экскурсиях чувствительных барышень и молодых людей на немецкие и русские позиции, о поисках боевых «реликвий» (прусских касок с медным орлом, ранцев и биноклей, кожаных портсигаров, проч.), о беззастенчивых спекуляциях найденным. Попытка представить кощунственные, по мнению автора, факты как единичные не снижала шокирующего впечатления, а скорбная нота реквиема, прозвучавшая в конце, только усиливала его.

Писатель, имевший обязательства перед издателем, предупреждал его о возможном своем приезде в Москву в октябре 1914 г. И не только оставленные дела побуждали к этому: представления Брюсова о возможностях военного корреспондента были разрушены. Еще в сентябрьском письме к жене он не мог скрыть досады: «…4 корреспондента допущены на театр. Меня в их числе нет. Это меня сильно побуждает вернуться в Москву. Но очень обидно уехать, не видав ни одного сражения!»[2]

Приблизиться к фронту все-таки удалось, и результатом стала большая статья «Бои под Ловичем». Здесь особенно чувствуется литературная обработка исходного материала: текст построен на сопоставлении наблюдаемого боя с пушкинской Полтавской битвой (описанию предшествуют известные всем строки), оживляется метафора «театра войны»; несмотря на тяжесть переживаемого момента, звучат героические аккорды. Но более всего трогают безыскусные солдатские диалоги.

Постепенно Брюсов начал испытывать отвращение к войне, которую сначала воспевал и, согласно официальной терминологии, называл «великой», не отказывая в отваге и врагу. Такой перемене способствовало познание личины войны, душевная усталость от виденных страданий. «Нет у нас, нет сил всматриваться в это зрелище!» — восклицает он в той из московских публикаций, где речь идет как раз о «поездке в Лович»[3]. Но ярославские корреспонденции еще не дают увидеть разочарования Брюсова «в правительстве, в командовании, в союзниках, в самой войне»[4].

Брюсов скромно оценивал собственные корреспондентские заслуги. Отвечая на похвалы коллег во время громкого чествования его по приезде в Москву в январе 1915 г., называл себя новичком и учеником в этой области литературного труда и говорил о желании вернуться к привычной для него «мирной» работе. Однако возвратился в Варшаву, успев к началу наступления немцев в районе Мазурских озер.

Сильнейшие бои разгорелись в районе Прасныша. Права оказаться в расположении войск приходилось долго добиваться. В февральском письме жене Брюсов вновь сетует: «Послед-

---

1 ГАЯО. Ф. 952. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 15.

2 *Ашукин Н.С., Щербаков Р.Л.* Брюсов. М., 2006. С. 432.

3 Там же. С. 441.

4 *Молодяков В.Э.* «Высоких зрелищ зритель»: Валерий Брюсов и большая политика // Молодяков В.Э. Загадки Серебряного века. М., ‹2009›. С. 84.

ние дни крайне хлопочу. Дело в том, что по некоторым причинам официального характера корреспонденты с недавнего времени поставлены в положение вдесятеро более тяжелое, нежели раньше ‹...›. Доходило до того, что я не видел никакой возможности продолжить свою работу ‹...›. Но тут вмешался Н.А. Морозов (бывший шлиссельбуржец) и попытался дело уладить»[1].

Позже «Голос» опубликует беседу с Н.А. Морозовым, который по возвращении из почти двухмесячной поездки на передовые позиции в качестве делегата Всероссийского земского союза жил в своем имении «Борок», Мологского уезда, Ярославской губернии. «Я был в Прасныше во время бомбардировки, — засвидетельствует он. — Бомбардировка продолжалась день и ночь, беспрерывно. ‹...› Со всех сторон слышался гул и треск». При этом отметит: «Чувствуется удивительное единение. Люди — солдаты и офицеры — стали как-то ближе друг к другу, как-то отзывчивее, сердечней»[2].

Тем временем корреспонденций от Брюсова не приходило. Весной 1915 г. началось наступление в Галиции. Прифронтовая жизнь поэта была напряженной. Некрасову он прислал в марте письмо из Варшавы, прося извинить за «большое промедление»: «…то надо ехать набирать впечатления, то — эти впечатления пересказывать, то ‹...› опять ехать. И так день за днем, неделя за неделей ‹...›. Впрочем, на днях я доставлю Вам небольшую статейку о погибшем Гурдове, в которой будут данные, еще не появлявшиеся ни в одной ни столичной, ни провинциальной газете (и не включенные в мою вторую статью о Гурдове, недавно посланную мною в “Р. Вед.”‹...› Сердечно преданный Вам Валерий Брюсов»[3].

«Статейка» «Гурдов» — цитата из «Русских ведомостей», выполнив роль анонса, предварила большую публикацию с тем же названием. Это был портретный очерк, единственный такой среди ярославских корреспонденций, создававший яркий «образ русского офицера», по сути же ставший памятником ему, геройски погибшему. Гибель одного известного героя и множества неизвестных, завоевывающих и сдающих города, воспринималась как роковая ошибка, «грех» настоящего перед будущим.

Вторая из присланных статей — развернутый репортаж «На улицах Перемышля», где автор вспоминает такие же прогулки по взятому русскими Ярославу галицийскому, а «завоеванные» горожане и солдаты противника не скрывают своего стремления к мирной жизни. Эти публикации «с театра войны» в ярославской газете стали последними, не было больше и «военных писем» — поэт вернулся в Москву.

В августе 1915 г. началось наступление на севере Восточного фронта. Русская армия несла катастрофические потери. Были оставлены Галиция, а также Польша и Литва. Но русские продолжали воевать. Усугублялась тяжесть жизни в прифронтовой полосе, так ярко описанной Брюсовым: обстрелы, реквизиции, контрибуции, жесткость германского оккупационного режима, наглость сепаратистов, проблемы беженцев, нехватка продовольствия… Война безвозвратно утратила для поэта романтический облик. В одной из последних публикаций в «Русских ведомостях» Брюсов привел свидетельство участника боев: «Жаловались и раньше, что нынешняя война ведется ожесточенно ‹...›, но то, что происходило до сих пор, теперь кажется детской добродушной игрой…»[4].

---

1 *Ашукин Н.С., Щербаков Р.Л.* Указ. соч. С. 439.

2 *‹Брюсов В.›* Беседа с Н.А. Морозовым // Голос (Ярославль). 1915. № 126 (5/18 июня). С. 3.

3 ГАЯО. Ф. 952. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 1, 4.

4 *Ашукин Н.С., Щербаков Р.Л.* Указ. соч. С. 442.

«Великий раздор в среде европейских народов и страшный лик, обнаруженный Германией, в самом основании потрясли всё несколько идиллическое мировоззрение поэта», — скажет Брюсов в опубликованной «Русскими ведомостями» статье-рецензии на книгу Эмиля Верхарна «Окровавленная Бельгия»[1]. В определенной мере эти слова можно отнести к нему самому, верившему, как многие его коллеги, в августе 1914-го, что в войне будет найдено «невозможное слияние мечты и силы, что война раскроет перед человечеством ослепительные перспективы» возрождения человечности и братских начал в воюющих, а в русской жизни «смоет все грязное, пошлое, реакционное»[2]. «Страшный год войны» не принес мира, а свободу — разве что от иллюзий[3].

Заканчивая представление военных публикаций В.Я. Брюсова в ярославской газете «Голос», отметим их естественную взаимосвязь с опубликованным в «Русских ведомостях». Последовательное сопоставление текстов позволяет утверждать: объединенные временем и местом действия, образами героев, отдельными деталями и общим настроением, они нигде и ни в какой мере не носят характер простого дублирования. Это — составляющие единый ряд «хроники» войны, усиленные художественной выразительностью документальные свидетельства времени в картинах и лицах, с вкраплением живых голосов, не исключающих лица и голоса автора, ведущего диалог с коллективным читателем.

В этом смысле статьи Брюсова есть часть газетного дискурса, поддерживаемого усилиями редакции, и публикации-цитаты из «Русских ведомостей» также приобретают значимость. Не фиксируя их с помощью кавычек, не указывая номера газеты-источника, редакция прибегает к ссылке на «г. Брюсова» и выделяет заимствованное высказывание чуть меньшим по размеру шрифтом. Актуализированным мог оказаться, как показал анализ, любой фрагмент оригинального текста. Однако выбор нельзя назвать случайным. Тема или наиболее важная мысль имплицировалась с помощью заголовка («Бомбисты над Варшавой», «Наказанное самомнение», «Неутомимые»), не совпадающего, как правило, с заголовком цитируемого оригинала (например, «О варварстве немцев» и «Ночь в мертвом городе»). В газете, организующей и освещающей кампанию помощи воюющим, фиксировалось внимание на «…раздаче подарков в армии»; в гуще явленного на газетной полосе зла, устрашающей жестокости врага и его приспешников («Ужасы войны») акцентировались редкие на войне факты гуманного отношения к сопернику или, вопреки порочащим слухам, подчеркивался боевой дух солдата («Русский солдат»):

«После отхода ‹...› мне довелось видеть на дорогах от Варшавы наши полки ‹...›. Всматриваясь в лица солдат, марширующих к месту боя, невольно думаешь увидеть следы волнения, тревоги. Ничего этого не было: солдаты шли спокойно, бодро, и выражение их лиц было просто серьезное, деловое, как у людей, идущих делать свое дело. ‹...› Словно и не печатаются ежедневно длинные списки “выбывших из строя”! Словно то был первый день войны, и наши лучшие силы вышли вперед»[4]. Малый объем не лишал высказывание языко-

---

1 *Брюсов В.* Окровавленная Бельгия // Рус. вед. 1915. № 154 (5 июля). С. 5.

2 *Ашукин Н.С., Щербаков Р.Л.* Указ. соч. С. 428, 429.

3 *Букчин С.* Корреспондент Валерий Брюсов // Неман. 1987. № 6. С. 320.

4 *Брюсов В.* Русский солдат // Голос (Ярославль). 1915. № 47 (27 февр./12 марта). С. 1. Назовем другую, предшествовавшую данной (не публикуемую), заметку-цитату из газеты «День печати», также утверждавшую мысль о выносливости русского солдата: Неутомимые // Голос (Ярославль). 1915. № 33 (11/24 февр.). С. 1. В этом номере

вого своеобразия и воздействующей картинности, не присущих сдержанным строчкам официальных «депеш».

Эта газетная хроника монтировалась с другими текстами, становясь частью целого — обзора событий, дел и мнений — репликой в общем хоре, определявшем звучание ярославского «Голоса».

на с. 3 помещена информация: «В понедельник, 9 февраля, в Москве вышла газета “День печати”, доход от которой поступит на нужды войны. Других московских газет в этот день не выходило. В Ярославле газета “День печати” была получена с вечерним московским поездом ‹...›, разошлась очень хорошо».

Э.С. Даниэлян

Аллюзии войны в прозе В.Я. Брюсова военных лет

Творчество В. Брюсова 1914–1915 гг. многожанрово: статьи, очерки, поэзия, военные корреспонденции, переводы, повести и рассказы. В них нашло отражение изменение политических воззрений Брюсова в этот период. По словам поэта, в годы Русско-японской войны он страдал «географическим патриотизмом», хотел видеть Тихий океан в качестве «нашего озера». Такие настроения уже не возникают у поэта в 1910-е годы, наоборот, он видит задачи России в том, чтобы сыграть благородную роль в «старой Европе»: она должна освободить «малые славянские народы», «племена порабощенные» («Последняя война») из-под власти «Тевтона», «надменного германца». Брюсов надеется, что после войны «Поставят стяг единенья / Нашедших друг друга славян» («На Карпатах»). Эти мысли изложены им в статье «Несколько слов о себе»: «...если в первоначальные дни борьбы слышались светлые призывы, почему же поэту было не приветствовать их?»[1].

24 июля 1914 г. Литературно-художественный кружок устроил проводы своему председателю, который уезжал на фронт корреспондентом газеты «Русские ведомости». В ответном слове поэт назвал себя «простым чернорабочим», который будет бороться «за духовные ценности».

На театре военных действий Брюсов пробыл не так долго — девять месяцев, но тематика его корреспонденций оттуда разнообразна: жизнь беженцев («Война и население»), встречи с ранеными («В варшавских госпиталях»), настроения русских воинов («На позициях»), победы русских войск в сражениях под Варшавой («Поле битвы», «Основы наших побед»). Автор подчеркивает героизм русских солдат, которые не всегда обеспечены всем необходимым («Порфирий Панасюк»). Несколько очерков посвящены штабс-капитану Гурдову («Штабс-капитан Гурдов», «Памяти мечтателя»), Брюсов восхищается своим героем: образованный офицер, многогранный человек, он посвятил свою жизнь делу защиты родины — разработал новую теорию ведения военных действий, создал «бронированные автомобили», признавая приоритет техники в будущих войнах XX в.

Корреспонденции 1914 г. продиктованы путевыми впечатлениями, писатель сам замечает, что не сразу стал входить во вкус работы корреспондента, не сразу смог «понять это ремесло». В первых материалах много романтических аналогий из романов Стивенсона, Купера, Жюля Верна и др.; автор эстетизирует войну, сравнивает ее с «колоссальным театром». Большой интерес представляет переписка Брюсова с редактором «Русских ведомостей» А. Мануйловым (полностью не опубликована), называющим некоторые его корреспонденции «туристическими описаниями», не дающими нового представления о войне. В одной из

[1] *Брюсов В.* Несколько слов о себе // Литературная газета. 1932. № 46. С. 2.

них писатель так представляет стоянку войск: «Вот стоят казаки. Их маленькие, но красивые лошади образуют целый табун… Составленные пики ярко сверкают, словно копья римских легионеров»[1]. Постепенно характер брюсовских заметок меняется: они становятся более точными и конкретными, хотя автор не отказывается от пейзажных зарисовок (например, при описании крепости Перемышль).

До войны Брюсов несколько раз бывал в Польше: в 1896, 1897, 1902 гг. Возвращаясь из путешествия по Италии, он задерживается в Варшаве, о чем делает запись в дневнике[2]. В 1913 г. поэт намеревался написать стихотворный цикл «По маленькой Европе», в состав которого собирался включить и стихотворения о Варшаве[3]. Первыми впечатлениями об этом городе он делится в письме А.А. Лангу (Миропольскому): «Вообще же Варшава с Москвой поспорит в красоте. Много памятников… Церкви высоки и красивы… Много кофеен и ресторанов… Вечером были мы в драматическом театре»[4].

В 1914–1915 гг. характер отзывов о Варшаве, конечно, меняется; Брюсов подчеркивает, что Польша стала «первой ареной кровавых столкновений»; в нескольких его корреспонденциях описывается быт варшавян во время войны («Тени», «Ощущение войны» и др.). Но даже в эти годы Брюсов продолжает работать как литератор, о чем он неоднократно сообщает в письмах к И.М. Брюсовой: «У меня десятки больших вещей (повестей, романов, драм, поэм) в голове. Их надо писать вне всякой суеты» (письмо от 13 декабря 1914)[5].

В Варшаве во время войны было много беженцев: белорусы, литовцы, русины, евреи... О тяготах их жизни Брюсов писал очень часто. Редактор газеты «Русские ведомости» А.А. Мануйлов обращал внимание Брюсова на необходимость затронуть проблему польско-еврейских отношений в форме, приемлемой для цензуры. В своих корреспонденциях Брюсов описывает положение евреев, говорит об их патриотизме и особо бедственном положении («Безработица в Польше» и др.).

В начале января 1915 г. писатель приехал в Москву в краткосрочный отпуск. 13 января в Московском литературном кружке состоялся «Польский вечер», на котором Брюсов читал свои новые стихи и переводы с польского (Ю. Словацкий «Грустно мне, боже...»). Приезд Брюсова и его выступления вызвали большой интерес в Москве: в честь него и журналиста С.С. Мамонтова 18 января 1915 г. члены Литературно-художественного кружка устроили ужин. В своем выступлении на вечере Брюсов сказал: «Если бы обстоятельства момента сложились так, что пришлось бы выбирать между поэзией и родиной, то пусть погибнет поэт и поэзия, а торжествует великая Россия, потому что наступит грядущее торжество родины и тогда явится поэт, достойный великого момента»[6].

В эти дни он дал интервью газете «Голос Москвы»:

---

1 Рус. вед. 1914. № 287 (13 дек.).

2 *Брюсов В.* Дневник: 1891–1910. М., 1927. С. 141.

3 *Брюсов В.* Неизданные стихотворения. М., 1935. С. 212.

4 Цит. по: *Бэлза С.* Брюсов и Польша // История культуры славянских народов. М., 1966. С. 187.

5 *Чудецкая Е.В.* Из переписки Брюсова 1914–1915 годов // Брюсовские чтения. 1973. Ереван, 1976. С. 445.

6 Известия Московского литературно-художественного кружка. М., 1915. Вып. 10. С. 39. На приезд и юбилей Брюсова откликнулись многие издания: «Голос Москвы», «Утро России», «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Вечерняя газета» (Вильна) и др.

«Наш корреспондент был принят известным писателем В.Я. Брюсовым, на днях вернувшимся с театра войны. В беседе Валерий Яковлевич высказал интересные суждения о военных корреспондентах: “Потребность в военных корреспондентах в настоящее время ощущается очень ярко. Конечно, все мы отдаем должную роль сообщениям штаба Верховного Главнокомандующего: кратким, сжатым и весьма правдивым. Но публика все-таки не может довольствоваться только этим. Прежде всего, сообщения штаба дают лишь фактический материал, тогда как читателю хочется иметь наряду с фактом — картины! Знать те условия, в которых живет армия, ясно представлять, как проходит разведка, бой, что такое окопы, обстрелы, аэропланы и т. д.

Кроме того, читатели интересуются единичными эпизодами, может быть незначительными в общем ходе событий, характерными подвигами отдельных лиц, исключительными положениями и т. д.»[1].

Большая часть беседы была изъята цензурой. Некоторые исследователи (напр., С. Букчин) считают, что недопущение Брюсова на фронт было связано с этим «неосторожным» интервью. В письмах жене писатель жаловался на то, что не видит никакой возможности продолжать работу для «Русских ведомостей»[2].

Освещение Брюсовым отдельных событий, с точки зрения «Русских ведомостей», страдало аполитизмом, наличием «туристического плана» (см. выше). Однако А. Мануйлов не отлучал поэта от корреспондентской работы, он «убедительно просит» не ставить вопросов о возвращении в Москву: «Ваше присутствие в Польше нам абсолютно необходимо». В письме Брюсову от 25 апреля 1915 г. Мануйлов вновь пишет о важности его работы: «Боюсь, что вышло недоразумение, если Вы пишете, что прекращаете “Мимоходом”. Напротив, их необходимо продолжить»[3].

Публикации в газете «Русские ведомости» за 1915 г. завершаются рецензией Брюсова на книгу Э. Верхарна «Окровавленная Бельгия». Конечно, эта статья не может считаться корреспонденцией с театра военных действий, но тематически это прямой отзыв на военные события и отношения Брюсова с Э. Верхарном (интерес Брюсова к творчеству бельгийского поэта сохранялся на протяжении многих лет, стихотворения, поэмы, трагедии которого он переводил). «Окровавленная Бельгия» вызвала разноречивые отзывы: современники считали, что ее автор «ослеплен», стал «провидцем», «пророком», написал «книгу ненависти» (М. Волошин и др.). Появление рецензии Брюсова было не просто поддержкой взглядов Верхарна, а поводом к изложению собственных воззрений на совершённое немцами в годы Первой мировой войны.

Вне поля зрения критиков остался рассказ «Пасхальная встреча», написанный в Варшаве в 1915 г.[4] В жанре «праздничной литературы», которая включает «святочно-рождественские» и пасхальные рассказы, Брюсовым написано несколько вещей. Сам же писатель негативно оценивал произведения «святочной» направленности, о чем свидетельствует его малоизвест-

---

1 Валерий Брюсов о военных корреспондентах // Голос Москвы. 1915. № 11 (15 янв.).

2 Об участии «бывшего шлиссельбуржца» Н.А. Морозова в улаживании дела см.: Письмо И.М. Брюсовой от 24 февраля 1915 г. — НИОР РГБ. Ф. 386.

3 НИОР РГБ. Ф. 386.

4 *Брюсов В.* Пасхальная встреча // Рус. вед. 1915. № 72 (31 марта).

ная рецензия «Рождественские рассказы в газетах»[1], в которой он критикует произведения многих именитых авторов, хотя и выделяет рассказ Л. Андреева «В подвале». В 1902 г. Брюсов опубликовал несколько собственных рассказов в этом жанре («Дитя и безумец», «Повесть о Софронии любящем», «Дары младенца Иисуса» и др.). Можно предположить, что он хотел вложить новое содержание в привычные формы, придать свежие оттенки известным библейским сюжетам. Традиционный «святочный» рассказ должен соответствовать определенным канонам: в центре его обычно жизнь бедного семейства или человека, попавшего в сложную психологическую ситуацию, которая разрешается благодаря «чудесному» вмешательству ангела (богатой барыни, врача и т. д.).

В рассказе же «Пасхальная встреча» автор реалистически изображает жизнь военной Варшавы. В «чуде» встречи героев нет ничего сверхъестественного, нет вмешательства потусторонних сил: простая случайность привела к встрече двух братьев-евреев в доме старой женщины, которая, в соответствии с еврейскими традициями, пригласила к себе в дом на Пасху солдат. Этот рассказ близок к военным корреспонденциям Брюсова и, на наш взгляд, благодаря специфичности сюжета, не может быть причислен к жанру «праздничной» литературы. Цепь случайностей в рассказе Брюсова состоит из реальных событий, происходящих на фронтах войны: младший брат был ранен, «попал в плен к немцам, недавно бежал от них и теперь старается разыскать свой полк». В рассказе отражается и знание Брюсовым еврейских традиций: молодой солдат голодает, но не хочет в праздник есть пищу, запрещенную евреям. Рассказ основан на факте, сообщенном несколькими очевидцами, «нисколько не склонными к мистификациям». Он был напечатан в том же году в сборнике «Щит», редакторами которого были Л. Андреев, М. Горький, Ф. Сологуб (1915), а потом долго, до 1980-х годов, не переиздавался, что, видимо, связано с «чуждой» советской литературе тематикой.

В 1915 г. в Варшаве Брюсов приступил к написанию повести «Моцарт», закончив ее черновой вариант уже в Москве в сентябре того же года. Это произведение он предполагал опубликовать в журнале «Русская мысль», о чем свидетельствуют его письма к секретарю редакции А.П. Татариновой; однако рукопись так и не поступила в редакцию[2]. Современные исследователи отмечали, что в повести представлен образ «талантливого музыканта Латыгина, обреченного на прозябание в нищете и безвестности», и связывали содержание с традиционным в русской литературе сюжетом о даровитом человеке, которого «среда заела»[3]. С нашей точки зрения, следует обратить внимание на тот факт, что действие повести происходит в годы войны с немцами, а ситуация осложняется тем, что жена героя — немка (Мина), которая безвинно страдает за это: «...какая же я немка! Я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец?» Этот план не привлек внимания исследователей, искавших в повести иные мотивы[4].

---

1 *Гармодий ‹Брюсов В.›* Рождественские рассказы в газетах // Прибалтийский край. 1902. № 8 (10 янв.). С. 3–4.

2 *Дербенева А.* Неопубликованная повесть Брюсова «Моцарт» // Брюсовский сборник. Ставрополь, 1975. С. 149–156.

3 *Гречишкин С., Лавров А.* Брюсов-новеллист // Брюсов В. Повести и рассказы. М., 1988. С. 19.

4 Так, К.Г. Исупов видит в ней попытку начать «цикл рассказов о мужской психологии». Интересны рассуждения исследователя о жанре этого произведения и соотнесенности «игры» с художественным творчеством — сюжет, очень распространенный в русской литературе и в творчестве самого Брюсова («Огненный ангел» и др.) (см.: *Исупов К.* Тривиализация Моцарта: (О брюсовской эстетике жизни) // Из истории русской эстетической мысли:

Надо заметить, что один из главных литературных замыслов Брюсова — написать роман о Первой мировой войне — остался неосуществленным[1].

«Русские ведомости» постепенно начинают отказываться от присылаемых Брюсовым корреспонденций: так, не была напечатана статья о Нострадамусе, которую Брюсов затем поместил в другой газете[2]. Вероятно, редакторов смущала особенная мистико-оккультная трактовка войны, пропущенная сквозь призму предсказаний XVI в. В этой пространной статье проявился интерес писателя к биографии древнего астролога и его знания средневековой и новейшей истории. В предсказаниях Нострадамуса Брюсов находит описание Первой мировой войны, судьбы Германии и Австрии и даже строфы, относящиеся к Вильгельму II[3].

Сб. науч. трудов. СПб., 1993. С. 88–97).

1 РГАЛИ. Ф. 56. Ед. хр. 30. Л. 26, 28.

2 Письмо к жене от 15 мая 1915 г.

3 Сам поэт придавал особое значение этому исследованию, чему свидетельство его письмо А.И. Бобровой, редактору журнала «Ребус», куда он предлагал исправленную статью о Нострадамусе (*Брюсов В.* Письмо к А.И. Бобровой // Неизвестный Брюсов: (Публикации и републикации). Ереван, 2006. С. 229–231).

М.В. Орлова

Статья В.Я. Брюсова «В обстреливаемом городе» под военной цензурой

В феврале 1915 г. в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости» В.Я. Брюсов совершил несколько поездок в Прасныш и его окрестности, к местам боев. Поэт имел право находиться близко к линии фронта и интервьюировать разных людей (офицеров, солдат, летчиков, медицинских работников и др.), но в условиях войны существовали жесткие правила, при которых даже военным корреспондентам, например Алексею Толстому и Людовику Нодо, не разрешалось бывать на передовой.

В февральских и мартовских письмах к жене, Иоанне Матвеевне Брюсовой, поэт извиняется, что мало сообщает о себе, так как работает «с утра и до утра», много ездит, хлопочет: «За месяц я послал в «Р<усские> В<едомости>» *одиннадцать* статей! Почти по 3 в неделю, по 2 дня на статью, считая с разъездами! А кроме того, переводил “Энеиду”. Да писал “Метрику”. Да продолжал драму. <…> Последние дни крайне хлопочу»[1]. Хлопоты Брюсова связаны с ужесточением военной цензуры в начале 1915 г., о котором красноречиво свидетельствовали густые многоточия в статьях или белые газетные полосы на месте купюр, в том числе и в «Русских ведомостях», чего не было несколькими месяцами ранее. Брюсов негодовал в письмах: «Были изданы новые правила, которые настолько стеснили возможность моей деятельности, что я весьма серьезно готовился все бросить и вернуться в Москву — совсем. Я уже писал об этом в ред<акцию>. <…> На мой взгляд, моя статья “К Праснышскому бою”[2] — плохая; мало в ней свежего, все больше пересказа, ясно видно, что она не основана (т. е. не вся) на личных наблюдениях. Кстати! Что сделали с моей статьей “Литература из окопов”![3] Сущность-то из нее и вынули: осталось вступление и заключение (статья была огромная)»[4]. В том же письме от 1 марта 1915 г. поэт сообщил, что поступил во Всероссийский земский союз. Брюсов, по его словам, обязан «исполнять поручения экстренные, которые не могут быть доверены обычным служащим. Так, напр<имер>, недавно мне было поручено отвезти довольно значительную сумму денег (3000 р.) в склады Союза, в Прасныш. Такая роль мне очень по сердцу и весьма удобна. Не говоря об том, что я с удовольствием работаю для Союза, — учреждения, имеющего громадное значение и приносящего неисчислимую пользу на войне, — я имею возможность попутно делать свои наблюдения, которые

---

1 Письмо от 24 февраля 1915 г. НИОР РГБ. Ф. 386. К. 69. Ед. хр. 7. Л. 25.

2 В.Я. Брюсов имеет в виду свою статью «К Праснышскому сражению» (Рус. вед. 1915. № 44 (24 февр.). С. 3).

3 Речь идет о статье Брюсова «Литература немецких окопов» (Рус. вед. 1915. № 46 (26 февр.). С. 3).

4 Письмо от 1 марта 1915 г. НИОР РГБ. Ф. 386. К. 69. Ед. хр. 7. Л. 28.

<когда-либо> затем могут быть использованы для литературных работ. Затруднительность моего положения состоит лишь в одном: мне предложено делать разъезды на свой счет, так как у Союза нет специальных ассигнований для таких агентов»[1].

И.М. Брюсова информирует мужа обо всех литературных новостях и издательских делах, и поэт советами письменно помогает Комитету Общества свободной эстетики разобраться в конфликте с футуристами, решает, что будет переводить, что ответить Рене Гилю, знакомится с военным летчиком Альфонсом Пуаре и посылает жене его фотографии для передачи их в Кружок. Все это — попутно со сложной и опасной работой корреспондента на Восточном фронте.

Праснышская операция[2], начавшаяся в феврале и окончившаяся в марте 1915 г., завершилась победой русских войск, которые захватили город 27 февраля в 19.00. Немцы, заняв Прасныш 25 февраля, через два дня оставили его, потеряв при этом свыше 6000 пленными и 58 орудий. Противники были вынуждены отвести войска на укрепленные позиции к государственной границе. Однако немцами было сорвано готовившееся наступление русских войск на Берлин через Восточную Пруссию.

В выпусках «Русских ведомостей», предшествовавших 4 марта, в разделе «Важнейшие известия» сообщалось: «На праснышском направлении попытки неприятеля продвинуться вперед отражены нами. 28 февраля наши войска перешли в контратаку и овладели некоторыми селениями»[3]. Затем: «На праснышском направлении русские войска теснят германцев»[4]. В номере от 4 марта, со статьей Брюсова «В обстреливаемом городе»: «К северу от линии Прасныш–Грудуск нами одержаны частные успехи»[5]. В этом же выпуске проанонсированы статьи М. Пришвина «Отзвук боя», А. Оглина «Тактика союзников» и очерк «Новое германское наступление: (От нашего корреспондента)», подписанный «Б. С-ко». В этой статье сообщалось: «Под Млавой разбитые, под Праснышем преследуемые по пятам, германцы успели окопаться и, подкрепленные свежими силами, перевезенными с гродненского направления, начали позиционную войну. <...> Встревоженный нашими праснышскими успехами и угрозой перерыва коммуникационной линии восточно-прусской армии с главными германскими силами, генерал Гинденбург, очевидно, стянул на фронт Млава–Хоржеле значительные силы и сам перешел в наступление.

23-го февраля обозначилось наступление крупных сил германцев на сравнительно небольшом фронте в направлении Прасныша. Под давлением превосходных сил противника наши войска начали отходить, ограничиваясь арьергардными стычками, задерживавшими неприятеля. Между тем волна германского наступления нарастала и докатилась до полей Прасныша, где две недели назад немцы потерпели жестокое поражение. Здесь наши войска оказали упорное сопротивление, и немецкое наступление уменьшилось в своей интенсивности […].

---

1 Там же. Л. 29.

2 Подробно об этом: *Вержховский Д.В., Ляхов В.Ф.* Первая мировая война 1914–1918 гг.: Военно-исторический очерк. М., 1964. С. 113–116; Военный энциклопедический словарь. М., 1983. С. 585; *Зайончковский А.* Мировая война 1914–1918 гг.: Общий стратегический очерк. М., 1924. С. 177–178; *Таленский Н.А.* Первая мировая война (1914–1918 гг.): Боевые действия на суше и на море. М., 1944. С. 44.

3 Рус. вед. 1915. Экстренное приложение к № 49 (2 марта). С. 1.

4 Рус. вед. 1915. № 50 (3 марта). С. 1.

5 Там же. № 51 (4 марта). С. 1.

25-го февраля на всем фронте шла ожесточенная артиллерийская стрельба. 26-го февраля немцы подошли к Праснышу. Город наполовину разрушен недавними боями. В продолжение всего дня 26-го февраля германцы послали в Прасныш […] Наша артиллерия успешно состязалась с германской, и некоторые батареи приведены были к молчанию.

27-го февраля, утром, я был в […] и в продолжение часа, между 11-ю и 12-ю дня, гремели орудийные раскаты не очень далеко от города. <...>

В ночь на 28-е стало известно, что немцы окончательно задержаны и окапываются.

Характерно, что в городе во время стрельбы было совершенно спокойно, словно стрельба шла Бог знает где. <...>. Летучки работали до последней минуты в […] врачи и сестры милосердия мужественно оставались на своих местах, нередко под огнем <...>»[1].

В день выхода статьи «В обстреливаемом городе» И.М. Брюсова откликнулась на описанные события в письме к мужу:

«Дорогой Валюся!

Если твой шофер отвечает за машину, то ты отвечаешь мне за свою голову, и по твоим писаниям я этого не вижу — ты все где-то около самого огня. <...> Я рада за тебя, что ты устроился, но, сознаться, пугаюсь твоего бесстрашия.

Прощай, береги себя, будь умным. Чует мое сердце, что не усидишь ты в мирной жизни, ты и без войны постоянно искал бурь; не привыкнуть тебе к тихой обстановке, от которой я и то уже затосковала.

Твоя Иоанна»[2].

В рукописном отделе Государственного литературного музея хранится вырезка из газеты со статьей «В обстреливаемом городе», в которой на местах цензурной «икры» Брюсов, видимо, несколько позднее сделал вставки своей рукой, восстановив исторические события и сообщив необходимые факты (ОРФ ГЛМ. Ф. 51 (Фонд В.Я. Брюсова и И.М. Брюсовой). Оп. 2. Д. 20. Л. 1–2). Вставки позволяют узнать о том, что запрещалось в это время цензурой: упоминание практически всех топонимов, любых сведений о перемещении и дислокации войск, о прорывах и отступлениях, о расположении и типах вооружения, о количестве солдат союзников и противника и их перемещениях. Таким образом, не разрешалась передача той информации, которая представляла собой значимые события и факты.

Сохранившийся в Государственном литературном музее документ служит примером того, как, привыкший оценивать исторические факты sub specie aeternitatis, Брюсов использовал своеобразный способ для восстановления исторической справедливости.

---

1 *Б. Ск-о.* Новое германское наступление // Рус. вед. 1915. № 51 (4 марта). С. 6.

2 Письмо от 4 марта 1915 г. / НИОР РГБ. Ф. 386. К. 69. Ед. хр. 13. Л. 23.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Корреспонденции в газете «Русские ведомости»

1914

Путь на запад

Почтовый поезд неспешно, но неуклонно бежит на запад, к тому краю, к которому теперь прикованы все наши помыслы. Десятки и сотни верст остаются за нами. И чем дальше мы едем, чем ближе оказываемся мы к таинственному «театру военных действий», тем спокойнее и радостнее становится на душе. Из мимолетных наблюдений, из случайных встреч и «вагонных» разговоров выносишь твердое убеждение, что то настроение бодрости и веры в себя, которое в Москве можно было объяснять ее сравнительной отдаленностью от совершающихся событий, есть настроение всей России. Видишь и слушаешь людей, случайно собравшихся в общем вагоне из самых отдаленных одна от другой губерний и из разных городов, — и ни одной ноты не проскальзывает в разговорах, которая нарушила бы всеобщую уверенность в нашем конечном успехе.

Конечно, внешний вид столь знакомой москвичам Александровской дороги несколько изменился. Почти половина пассажиров почтового поезда — военные; на всех станциях и везде в окно видишь солдатские мундиры. В буфетах, мирно торгующих квасом и лимонной водой, расклеены объявления, относящиеся к событиям наших дней (например, указания для лиц, переселяющихся из пограничных местностей, и т. п.). На всех станциях, даже маленьких, продают местные издания «Телеграмм С.-Петербургского Агентства», так что пассажиры могут постоянно следить за событиями. Некоторые из этих изданий отчисляют 50 % дохода на нужды Красного Креста.

Но самое характерное, что кругом все и всё заняты одним: войной. Иной темы для разговоров нет. И крестьяне-белорусы в белых свитках, и евреи в длиннополых сюртуках, и офицеры запаса, едущие к своим частям, и польские помещики, величественные и горделивые, — все интересуются только последними вестями с границы и из-за границы. Говорят разным языком и на разных языках, но все одинаково трезво смотрят на события, не обольщаются излишними надеждами, но и ни на миг не теряют веры в успех. Если же и попадается человек со слишком пылким воображением, который начинает передавать фантастические слухи, везде, — и в демократическом населении третьего класса, и в «избранной» публике первого, — тотчас находятся лица, умеющие «осадить» увлекающегося рассказчика.

Те, которые участвовали в деле мобилизации, рассказывают о своем труде, тяжелом и напряженном, — и чувствуешь, что они работали не за страх, а за совесть. Отставные военные, старики, вновь надевшие мундир, из которых один «проделал» обе кампании, — и турецкую, и японскую, — спокойно объясняют: «В такие дни я не счел себя вправе не идти на службу». В третьем классе простой мужичок ораторствует перед группой русских, белорусов и евреев: «Ежели надобно будет, всей Россией встанем, не поддадимся немцу!» Слушатели сочувственно кивают головами.

За окном — поля. Хлеб сжат, сено убрано; лишь кое-где еще спешно заканчиваются работы. Работающие встречают поезд настойчивым криком: «Газет, газет!» Наступает вечер; где-то в открытом поле военный трубач играет зорю, и красиво звенят в ясном воздухе призывные звуки. Там и сям загораются костры. Темные фигуры поднимаются около костров при приближении поезда, и тот же крик опять врывается в окна вагонов: «Газет, газет!»

На одной станции я встретился со знакомым москвичом — художником М.Ф. Ларионовым. Он только что вернулся в Россию, через Константинополь, после своих парижских и лондонских успехов. Теперь в мундире прапорщика Ларионов едет к своей части. Поговорив, мы обнялись и попрощались с обычным в наши дни обещанием:

— Быть может, скоро встретимся… в Берлине!

Александровская дорога, 15 августа

В Вильне
(От нашего корреспондента)

«Гроза военной непогоды», одно время казавшаяся столь близкой к Вильне, отошла от нее. Победное движение русской армии перенесло театр непосредственных событий в глубь Восточной Пруссии. Постепенно успокоилось и население Вильны, которое вместе со всей Россией переживало пору тревоги и волнения в дни энергичной мобилизации, когда и в самом городе принимались различные военные меры. Жизнь опять входит в свою колею.

Вильна «стародавняя» (как ее назвал Ф. Тютчев) теперь имеет почти свой обычный вид. На Георгиевском проспекте, этом Невском Вильны, до позднего вечера непрекращающееся движение. Оба кафе Штраля полны своими завсегдатаями. В садах «Бернардинском», «Ботаническом», «Швейцарском» по вечерам опять много публики, слушающей музыку, так или иначе развлекающейся. Но, конечно, все это — только внешность, за которой скрывается и новая напряженная деятельность, и общее напряженное внимание к событиям на западе.

Достаточно войти в церкви и костелы, чтобы увидеть, какими живыми нитями связана Вильна с войной. В темных углах костелов везде увидишь коленопреклоненных женщин, выронивших свой молитвенник, крепко стиснувших руки и побелевшими губами шепчущих молитвы — за мужа или сына, ушедших с армией. У дверей зданий, обращенных в военные госпитали, где водружены белые флаги с красным крестом, всегда стоит притихшая толпа, робко пробегающая глазами списки раненых, вывешенные на стене. Утренние и вечерние выпуски газет, русских и польских,

несмотря на вынужденную скудость их содержания, берутся нарасхват. И достаточно прислушаться к разговорам хотя бы в тех же кафе Штраля, чтобы убедиться, что за каждым столиком говорят о войне.

Городская Дума, различные организации и все общество принимают самое деятельное участие в помощи раненым и больным воинам. Так, например, чуть ли не «вся Вильна» пожелала принять участие в деле переноски раненых с вокзалов железных дорог в больницы. Дело в том, <что> перевозить раненых в экипажах по тряской мостовой — неудобно; в вагонах «конки» — слишком медленно (а трамваем Вильно еще не обзавелось). И вот местный дамский комитет Красного Креста обратился к желающим с предложением переносить раненых на носилках. Откликнулось сразу несколько тысяч человек всех национальностей, разного общественного положения и разного возраста: богатые купцы, интеллигенты, ремесленники, воспитанники учебных заведений и т. д. Желающих явилось так много, что в первые же дни пришлось прекратить запись: предложение значительно превысило потребность. Городская Дума со своей стороны обратила в лазарет городскую концертную залу, ассигновала суммы на помощь больным и раненым воинам и т. п.

Можно сказать, что все эти явления объясняются тем общим подъемом, который охватил всю Россию, что такую же деятельность проявляют и другие города. Но не забудем, что Вильна все же особенно близко стоит к театру военных действий и потому острее переживает все совершающееся. Сюда быстрее и чаще доходят вести и слухи о событиях в Пруссии, в которых участвуют и весьма многие жители Вильны. Здесь, естественно, образовался первый пункт, первая большая станция для приема раненых. Довольно взойти на Замковую гору, расположенную над Ботаническим садом (любимое место прогулок для виленцев), чтобы на западе увидеть гряду холмов, отделяющих город от Ковно, а ведь оттуда уже только 80 верст до прусской границы, за которой теперь гремят ружья и пушки.

Наконец, не забудем, что большинство населения Вильны составляют поляки; немало в ней литовцев и белорусов; для всех них пруссаки, немцы, являются врагом историческим, национальным. Память о победе при Грюнвальде жива в народном сознании. Мне довелось быть в маленьком польском театре, где после исполнения разных «миниатюр» выступил декламатор. Прочитанные им стихи, где изображалась жизнь старой Польши с ее национальными обычаями и которые сопровождались аккомпанементом, удачно соединявшим разные национально-польские мотивы, были, конечно, встречены аплодисментами. Но потом декламатор (молодой артист с прекрасной дикцией) начал читать стихи на темы о современных событиях. Уже первое стихотворение (если не ошибаюсь, поэта Реперта-Чарноцкого), говорившее о борьбе с немцами, вызвало в публике бурю восторга. Тогда, вызванный на «bis», юный декламатор, явно побледнев, прочел другие стихи (кажется, написанные им самим), в которых каждая строфа кончалась перефразировкой известной поговорки:

Jak swiat swiatem
Prusak dlia slowian nie bedzie bratem!*

* Как сват свату, пруссак для славян не будет братом (*польск.*).

Вся зала пришла почти в исступление: хлопали, стучали ногами и палками, вызывали чтеца вновь и вновь, и ему пришлось раз десять выходить и раскланиваться перед восхищенными слушателями.

Вильна, 17 августа

Рассказы очевидцев
(От нашего корреспондента)

В Вильне мне удалось беседовать с несколькими участниками последних боев в Восточной Пруссии.

Прежде всего можно сказать, что настроение всех — как раненых, так и тех, которые случайно должны были покинуть театр войны, — самое бодрое. Без всякого преувеличения приходится повторить стереотипную фразу: все «рвутся обратно». Дело войны, по-видимому, затягивает, увлекает, и тому, кто раз испытал это притяжение, уже трудно от него освободиться. «Хочется в свой полк, своих посмотреть, как-то они там с немцем управляются», — говорил простой солдат. «Знаете, теперь мне уже недостает тех ощущений, которые я переживал на поле битвы», — говорил человек интеллигентный, офицер, раненый (и весьма нелегко) при Марграбове (1-ое августа).

Что-либо новое о наших военных операциях узнать из этих рассказов, конечно, трудно. Каждой части приходилось действовать в ограниченном районе, и она была слишком занята своей ближайшей непосредственной задачей, чтобы следить за событиями в их целом. К тому же простые солдаты плохо запоминают немецкие названия местностей и городов. «Когда перешли границу, то-то была радость! — рассказывает один. — Тотчас сделали привал, смотрим, какая-такая трава за границей, такая же ли, что и у нас». Но в каком именно пункте была перейдена граница, многие не умеют объяснить. «Название немецкое, нешто упомнишь!»

Все, с кем мне приходилось говорить, единогласно свидетельствуют, что наша ружейная стрельба выше немецкой. «Наш даром пуль не пускает, — говорил один солдат, — больше двух на одного человека не потратит: первой пристреляется, а второй — свалит. А немцы так, без порядку палят». Все также согласны, что русское ружье лучше немецкого. «Иные, — рассказывал тот же солдат, — ежели свое ружье попортится, — берут немецкое (много их там на поле валяется); но я никогда своего на немецкое не променяю, — и прицел хуже, и достает не так далеко».

Впрочем, о германской артиллерии все отзываются почтительно: «Умеют стрелять, пожалуй, не хуже нас».

Весьма многие рассказывают о недостойных приемах, которые употребляют немцы в бою. Так, например, нередко случалось, что немецкий отряд шел навстречу русским, высоко подняв руки, словно решившийся сдаться. Когда же наши (пока они не изучили этой хитрости) доверчиво приближались, немцы вдруг падали на землю, а за ними открывался блиндированный автомобиль с пулеметом… несомненно также, что жители некоторых немецких селений помогали своим войскам, сигнализируя им огнем, поджигая строения, чтобы указать недолеты и перелеты снарядов.

Гораздо больше дают рассказы очевидцев для выяснения психологии участников боя. Но вряд ли теперь время вникать в эту психологию. Ограничусь двумя-тремя примерами.

Один молодой вольноопределяющийся рассказывал мне, что жуткое чувство он испытывал только в первые полчаса, во время боя, длившегося с утра до вечера. Потом все совершающееся стало ему казаться рядом упражнений, которые должно выполнять: лечь, окопаться, перебежать, стрелять. Когда он лежал за маленьким окопом, ему неудержимо хотелось поднять голову и посмотреть, что делается вокруг, хотя пули свистали над самой головой. Одна из этих пуль вонзилась в землю около него: и вот ему столь же неудержимо захотелось пощупать рукой, глубоко ли эта пуля вошла в землю, хотя другие ударялись поблизости, тут же.

Очень интересен был рассказ одного полковника, раненного в первые дни после нашего перехода через прусскую границу. В то время как полк перебегал, приближаясь к неприятелю, полковник стоял в стороне, на открытом месте, и в бинокль рассматривал движения немцев. Видно все было отчетливо, вплоть до мелких отличий на мундирах. И это наблюдение так его увлекло, что он не мог решиться покинуть свой пост, когда немцы уже начали обстреливать. Наконец он заметил, что сделался определенно мишенью стрельбы. Немцы «пристреливались»: одна пуля пролетит слева, другая — справа, третья — опять слева. «Такое было впечатление, — говорил полковник, — словно берут в железные клещи». Тогда он лег и попытался добраться к своим; но было уже поздно — пуля его настигла и пробила грудь навылет. Он упал и мог бы погибнуть, если бы не храбрость адъютанта полка, который сам бросился к раненому и на плечах вынес его под градом пуль.

— Одно обидно, — заключал полковник, что отчасти по собственной неосторожности (свою храбрость он скромно называл неосторожностью) я выбыл из строя. А теперь каждый человек в армии нужен. Постараюсь поскорее поправиться и вернусь к полку.

— Это заключение — «Вернусь к полку» — повторяют все, и солдаты, и офицеры. Чувствуется, что вся армия понимает серьезность идущей борьбы и одушевлена желанием биться и во что бы то ни стало доставить России победу.

Вильно, 18-го августа

Проездом через Варшаву
(От нашего корреспондента)

Известно, что немцы в самом начале войны уже уверяли, будто Варшава, охваченная революцией, занята германскими войсками. Эти беззастенчивые измышления кажутся особенно нелепыми теперь, когда видишь после месяца войны все ту же прежнюю Варшаву, спокойную, жизнерадостную. Как и вся Россия, — особенно местности, близкие к нашим западным границам, — Варшава пережила пору острой тревоги, когда иные из жителей города спешили его покинуть, другие в страхе ожидали нашествия новых варваров, о калишских подвигах которых доходили вести. Но эта недолгая пора миновала почти бесследно. Уже возвращаются в город многие

семейства, укрывшиеся было в Москве и во внутренних губерниях; возвращаются воспитанники местных учебных заведений, о своевременном открытии которых уже объявлено; возобновилось обычное течение городской общественной жизни; прекратился тот «денежный голод» (отсутствие разменной монеты), от которого несколько дней страдали все жители; цены на продукты «первой необходимости» стали нормальными и т. д. И опять каждый вечер по Краковскому предместью и другим большим улицам Варшавы катится нарядная толпа, по дороге наполняя залитые электричеством «цукарни».

Само собой разумеется, что вся Варшава с самым напряженным вниманием следит за событиями войны. Слишком большие надежды связаны у поляков с исходом этой «борьбы народов», и слишком тяжелая роль выпала в ней на долю Польши, дети которой распределены по армиям трех разных государств и которая стала первой ареной кровавых столкновений. Кроме того, Варшава все же отчетливее других больших городов России слышит самые гулы битв. Всего в 100–150 верстах от города лежат местности, где появлялись передовые немецкие разъезды или которые временно были заняты германскими отрядами. С тех пор как немецкие армии оттеснены на запад, на юг и на север, многие жители Варшавы лично побывали в Лодзи и в родных селениях, видевших у себя немцев. Первым большим этапом, куда стекались беглецы из Калиша и других городов, испытавших режим немецкой оккупации, была Варшава. Варшавяне слышали от очевидцев и видели своими глазами много такого, о чем мы «в глубине России» знаем лишь из газет или <в> пересказе третьих лиц.

Понятно поэтому, с каким лихорадочным нетерпением ждет Варшава новостей с театра войны. В часы, когда выходят вечерние выпуски польских газет, их редакции буквально штурмуются толпой газетчиков обоего пола и всех возрастов, — штурмуются с криками, иногда и плачем обижаемых старшими подростков, но с таким упорством, какого не увидишь в Москве и Петрограде. Добыв с бою («на полрубля») пачку свежеотпечатанных листков, пронзительно выкрикивая заглавия, мальчишки стремительно бросаются вперед — на людную улицу; за ними, семеня ногами, поспешают женщины в больших платках; далее ковыляют разносчики-ветераны; но все уверены, что их товар не залежится без покупателя. А в то же время толпы других читателей, для которых и две лишние копейки в день составляют расчет, теснятся под воротами и у витрин, где вывешиваются новые телеграммы, долго вникая в краткие, по многозначительные строки, тут же сообща обсуждая последние известия.

Рядом с этим напряженным вниманием к войне идет в Варшаве, как во всех русских городах, энергичная работа по тому делу, которое носит название «помощь больным и раненым воинам и семействам запасных». Телеграммы уже оповещали о том, что сделали в Варшаве в этом направлении различные общественные организации, но дóлжно добавить, что столь же энергично выступает здесь и частная инициатива. Так, например, один местный богач-еврей отдал во время войны весь свой роскошный дом (как говорят, «почти дворец») под военный лазарет, приняв обязательство содержать его на свой счет. Местные торговые фирмы делают щедрые пожертвования: например, местные табачные фабрики поставляют ежедневно 10 000 папирос для раненых. Местные фельдшера предложили санитарному комите-

ту (при так называемом «обывательском комитете» города Варшавы) свои услуги на все время войны безвозмездно и т. п., и т. д. О подобных предложениях появляются известия в газетах ежедневно.

И все же недаром варшавян называют «парижанами Востока». Они оказались даже «более парижанами, чем сами парижане». Нам сообщают о Париже, что он притих, что его бульвары стали безлюдны, что в нем многие магазины закрыты, большие рестораны и кафе пустуют. Ничего подобного нет в Варшаве. Она осталась сама собой, — с оживленными шумными улицами, с приманчивыми огнями своих уютных кофеен и маленьких баров, со сверкающими вывесками «кинема» и афишами театров; только — по обретенному постановлению администрации — теперь уличная жизнь притихает раньше и раньше гаснут все эти рекламные огни. Истинные варшавяне, а тем более варшавянки, какие бы глубокие волнения ни колебали их душу, всегда умеют сохранить в своей внешней жизни то изящество и ту легкость, которые и придают Варшаве ее пленительное своеобразие. «Мои чувства — во мне, для других у меня — улыбка» — это парижское правило столь же характерно и для Варшавы. Под раскатами грома «военной непогоды», потрясающими всю Польшу и мучительно отзывающимися в Варшаве, она для «наблюдателя со стороны» кажется все тем же «маленьким Парижем», красивым и улыбающимся.

Такой «наблюдатель со стороны», конечно, взял бы на себя слишком много, если бы захотелось судить о настроениях варшавского общества. Для этого необходимо подойти к нему ближе, заглянуть в него глубже. Но, поскольку позволительно делать выводы из статей местной прессы, из суждений, высказанных редакторами и сотрудниками разных периодических изданий, из бесед с отдельными знакомыми, кажется, можно сказать, что значительное большинство в варшавском обществе разделяет надежды общества русского. Объявление войны произвело на варшавское общество впечатление сильнейшее; точно так же сильнейшим образом были затронуты широкие круги и известным объявлением Верховного Главнокомандующего. И чем больше слышишь отзывов об этих двух фактах, столь глубоко затрагивающих жизнь Польши, тем больше убеждаешься, что варшавское общество разделяет в целом взгляд на них русских прогрессивных кругов. Отчасти эти настроения нашли свое выражение в декларациях различных польских партий (из которых последняя, одна из наиболее существенных, — именно декларация польских прогрессистов, — была недавно сообщена на страницах «Русских ведомостей»).

Что же касается массы населения, тех «обывателей», которые не входят ни в какие партийные группировки, то их отношение к событиям определяется, конечно, не какими-либо «программами», но бессознательным влечением души. Каковы бы ни были раньше взаимные отношения поляков и русских в Варшаве, теперь все отступило на второй план перед общим для всех чувством — вражды к общему врагу, к врагу всего славянства. Неприязнь к немцам — как бы врожденное чувство каждого варшавянина: оно берет свое начало в исторических судьбах народа, которому пришлось выдерживать самые жестокие натиски германцев; оно воспитывалось долгими десятилетиями, когда год за годом приходили все новые и новые известия о немецком гнете в польских провинциях Пруссии; оно всегда, как искра под пеплом, тлело на тихих берегах Вислы и под налетевшим ураганом, сломавшим старые преграды, сразу

разгорелось громадным пожаром. В Варшаве, в широких кругах населения, можно услышать разные суждения о том, что́ в конце концов принесет Польше война России с Германией и Австрией; но в отношениях к самой войне нет разных суждений, а есть лишь одно общее стихийное желание — победы над давним врагом.

Варшавяне верят в русскую армию: вот, может быть, лучшее объяснение их внешнего спокойствия, в наши трудные дни. Отсюда и то исключительное внимание, радостная заботливость, с какой польское население встречает идущие к границе войска. Солдаты сами рассказывали мне, что в польских деревнях жители высказывали им величайшую предупредительность; женщины бежали иногда версты за три, чтобы принести солдатам напиться. В Варшаве русских солдат засыпали цветами. Въезжая в Варшаву, я повстречался с целым полком, шедшим, разделившись на роты, к вокзалу со своим знаменем (конечно, свернутым), с артиллерией, с обозом. Сзади шла, провожая, большая толпа народа, поляков, русских, евреев. Но особенно трогательно было то, что в рядах у всех — у полковника, у офицеров, у каждого солдата, — были с собою цветы — подарок варшавских дам, красивый жест, которым они постарались выразить свое сочувствие уходящим «на брань». И как ярко сверкали над серо-зеленым строем русского войска эти польские цветы, эти алые, желтые и голубые пятна гвоздик, хризантем, лютиков, лилий и роз, — в солдатских мундирах, на походных фуражках и высоко на стальных штыках, зыблемых мерным шагом!

Варшава, 21-го августа

Бои под Люблином
(От нашего корреспондента)

В Варшаве часто можно встретить жителей Люблина благодаря тому, что железнодорожное сообщение между двумя городами постоянно поддерживается. Среди этих лиц есть видные местные литераторы и общественные деятели, показаниям которых можно безусловно доверять. Они передают подробности о жизни в городе во время войны тех многодневных боев под Люблином, которые в телеграмме Верховного Главнокомандующего были названы «упорными».

В течение ряда дней в Люблине беспрерывно была слышна канонада. Говорили, что австрийцы стараются вести «энергичное наступление». После того как Замостье несколько раз переходило из рук в руки, они сосредоточили довольно значительные силы (до трех корпусов) у Красностава. Целью движения был, по-видимому, Ивангород. Одно время австрийцам даже удалось перейти через линию железной дороги, и пальба раздавалась всего в 12-ти верстах от города. Однако в Люблине течение жизни продолжалось почти нормально. К гулу пушечных выстрелов население скоро привыкло. Магазины торговали, газеты выходили. Так называемый «большой» театр был закрыт с самого начала войны, но функционировали кинематографы и при одном из них летний театр. Впрочем, люблинским губернатором Келеповским было издано несколько объявлений, связанных с серьезностью положения дел.

К среде, 20-го августа, определение выяснилось, что перевес в бою — на нашей стороне. Через Люблин стали перевозить пленных австрийцев; всего прошло их не

менее 1500 человек. Были привезены в город различные трофеи: много австрийских винтовок и шашек, зарядные ящики, снаряжения обоза. Потом доставили орудия, взятые с бою; одно из них торжественно возили по всему городу, чтоб подало повод к патриотическим манифестациям. Говорили, что нашими войсками было взято два знамени. Постепенно австрийцы были отбиты на всех позициях и отброшены за Красник. Некоторые части неприятельской армии были вполне деморализованы, и их отступление обращалось в политическое бегство.

Сколько можно судить по отдельным лицам, население Люблина настроено очень бодро и на будущее смотрит спокойно и уверенно.

Варшава, 23 августа

В варшавских госпиталях
(От нашего корреспондента)

Варшава самым энергичным образом готовится к приему раненых. Кроме ранее существовавших военных лазаретов, ныне заново оборудованных и расширенных, организован целый ряд других: Красным Крестом, городом, разными общественными учреждениями. Считают, что Варшава может принять свыше 20 000 раненых.

Я имел возможность посетить большинство этих лазаретов. Общее впечатление: прекрасная организация, чистота, полная готовность. Раненых в настоящее время в Варшаве сравнительно немного: многие, бывшие раньше, после подачи первой помощи переведены во внутренние губернии, частью в Москву. Некоторые лазареты только в самые последние дни приведены в готовность.

Главной станцией для первого приема раненых служит «перевязочный пункт» на Петроградском вокзале. Здесь работают три отдельных организации: русского Красного Креста, которому предложили свои услуги и многие поляки, мужчины и женщины (кстати сказать, организуется и особое отделение, «польского Красного Креста»), Общества «Милосердного Самаритянина» и городского «Обывательского комитета». Во главе дела, кроме официальных лиц, стоит г-н Веловейский, редактор журнала «Слово»; во главе «Милосердного Самаритянина» — графиня Воронецкая.

На пункте работает много добровольцев из интеллигентных кругов варшавского польского общества: писатели, артисты, общественные деятели. Так, например, объяснения мне давал г-н Зельверович, известный артист из «Театра Польского» (между прочим, узнав, что я — из Москвы, г-н Зельверович прежде всего осведомился о нашем Художественном театре, перед которым благоговеет). Число желающих работать так велико, что постоянно приходится отказывать. Особенно много предложений поступает со стороны молодежи, так называемых «скалтов» — членов известных «гимнастических» Обществ, ставящих себе целью также взаимную поддержку на пути нравственного развития. Работают на пункте в несколько смен, по 8 часов каждая.

Железнодорожные амбары, обыкновенно назначаемые для хранения товаров, прекрасно приспособлены под лазареты. В стороне — маленькая аптечка; ряд чистых, удобных кроватей; носилки и все приспособления для переноски раненых.

На стене — две иконы рядом: православная и католическая (не надо забывать, что в нашей армии несколько сот тысяч поляков-католиков). На «перевязочном пункте» оказывается только первая помощь: доставленных раненых переодевают в чистые халаты, поят чаем, перевязки переменяют лишь тем, кто в том постоянно нуждается.

Из других лазаретов особенно «блестяще» (другого слова не найду) оборудован городской, в помещении Суворовского кадетского корпуса. Объясняется это тем, что почти вся обстановка сделана заново. Лишь небольшое число кроватей — те, которые стояли раньше в дортуарах кадетов. Громадное большинство сделано на заказ со специальной целью и потому вполне отвечает своему назначению: небольшие, но удобные, с прекрасными «американскими» матрацами, с легкими, но теплыми одеялами, с идеально чистыми простынями, полотенцами и т. д. Около каждой кровати — железный столик с ящиками, также сделанный по особому заказу. На стене, в каждой комнате, — православная икона и католическое распятие. Комнаты — огромные (всего их 7, не считая 3-х меньших); в них много воздуха и целые потоки света. При лазарете — собственная аптека, операционная зала, обширные ванны и т. п. Всего он рассчитан на 1500 человек.

Этот городской госпиталь находится в заведовании Ордена сестер «шариток» (soeurs de Charite'), во главе которого стоит сестра графиня Косаковская.

Очень удобно такое помещение Уяздовского госпиталя, расположенного глубоко в большом саду. Впрочем, обо всех виденных мною госпиталях надо сказать, что они вполне отвечают своему назначению. Таков госпиталь в Александро-Мариинском институте, в больнице Младенца Иисуса, Святого Духа, св. Михаила, в помещении Польского банка и др. Раненые и больные солдаты в этих, почти роскошных покоях, окруженные заботами и вниманием, должны отдыхать душой и телом после тяжелых дней, проведенных в трудных походах с ночевками под открытым небом на сырой земле, после неизбежного сухоядения во время боев, после часов под пулями и шрапнелью неприятеля.

Что касается ухода за ранеными, то — сколько можно судить по рассказам лиц, стоящих близко к делу, по свидетельству самих солдат, по общей молве в городе, — лучшего нельзя желать. Мы говорим не о чисто медицинской помощи, в хорошей организации которой не сомневаемся, но об отношении всего персонала лазаретов, пополняемого преимущественно добровольцами. Тот высокий подъем, который охватил в дни войны все польское общество, сказывается и здесь. Девушки из лучших польских семейств посвящают себя уходу за ранеными солдатами, самоотверженно выполняя черную работу, просиживая часы у изголовья какого-нибудь раненого мужика из Псковской губернии, своими руками обмывая тело обессилевшего от потери крови казака. В списке этих юных подвижниц встречаются наиболее известные польские имена, как, например, графиня Потоцкая или графиня Тарло. Сочувствие общества выражается также в щедрых пожертвованиях госпиталям; жертвуются деньги, белье, книги, разные вещи, перевязочные материалы (в которых, ввиду громадного спроса, все госпитали особенно нуждаются). Кроме того, в лазареты постоянно приносятся папиросы, конфекты, печенье, цветы. Каждый посетитель считает долгом что-либо принести раненым в дар.

Оказывались среди раненых и немцы. Разумеется, никакого различия между ними и нашими солдатами не делается. Многих немцев это умиляло, но бывали и непримиримые, отказывавшиеся принимать какие-либо услуги от русских. Несколько раз в наши лазареты доставлялись немецкие солдаты, уже перевязанные немецким санитарным отрядом, который, однако, не мог увезти раненого с поля битвы. Врачи свидетельствуют, что перевязку делают немецкие санитары исключительно хорошо. Бывали и среди русских солдат такие, которым первая помощь была оказана немецкими санитарами. Иные из этих солдат наивно удивлялись, что немцы, перевязав их рану, не делали попытки захватить их в плен.

От самих раненых особенно интересных разговоров мне не пришлось слышать. Рассказы были, по большей части, стереотипные. Но было заметно, что громадное большинство солдат, как русские, так и поляки, вполне сознательно относятся к войне. Все отдают себе отчет, за что идет война и какие громадные ставки брошены на арену мирового состязания. Все крайне интересуются новостями с театра военных действий, грамотные читают вслух товарищам газеты (местные редакции доставляют их бесплатно в госпитали, в большом числе) и довольно хорошо представляют общий ход нашего наступления. Кроме тех, которые обессилели от потери крови, болезни, долгого лежания, — все раненые мечтают о том, чтобы вернуться в строй и продолжать свое великое боевое дело.

Варшава, 24-го августа

Полтораста верст по Восточной Пруссии
(От нашего корреспондента)

Счастливый случай свел меня с одним офицером, которому пришлось совершить замечательную поездку: от наших передовых позиций в Восточной Пруссии до одного из русских городов, всего на протяжении почти 150-ти верст. По понятным причинам, я не назову имени этого офицера и не укажу точно местностей, через которые он проезжал. Но я считаю возможным познакомить читателей с некоторыми эпизодами его рассказа, представляющего выдающийся интерес, так как он знакомит с условиями жизни в оккупированных нами провинциях. Добавлю, что события, о которых будет идти речь, происходили дней 10–12 тому назад.

* * *

Офицер, со слов которого я рассказываю, — назову его хотя бы К., — мог взять с собою лишь одного денщика, так как большего числа людей его часть отрядить не могла. Правда, офицеру дано было полномочие взять в случае надобности из какого-либо встречного казацкого отряда, но он этим полномочием не воспользовался. Таким образом, весь переезд через Пруссию К. совершил вдвоем с денщиком, которого назовем хотя бы Р.

Путь по бывшей прусской земле никак не мог считаться безопасным. Хотя регулярная германская армия принуждена была далеко отступить перед натиском наших войск, все местности были полны немецкими шпионами и лазутчиками. Преиму-

щественно на велосипедах они следили за передвижениями наших частей, пользовались всяким случаем нанести нам какой-либо ущерб и не брезговали убийством из засады. Иногда в местностях, уже занятых нами, появлялись вновь и немецкие кавалерийские разъезды. К. знал, что все время должен быть настороже и что успех его предприятия зависит прежде всего от крайней осмотрительности.

На первый же день пути произошла встреча с одним из шпионов. Оглядывая кругозор в бинокль, К. заметил, что на краю дороги отдыхает какой-то человек в одежде «защитного» цвета, положив около себя велосипед. Осторожно приблизившись, офицер громким голосом приказал неизвестному не тронуться с места. Тот, напротив, различив русские мундиры, быстро поднялся, сразу вытащил револьвер и сделал несколько выстрелов, по счастью не причинивших вреда; потом вскочил на свою машину и помчался по дороге. Офицер еще раз закричал ему: «Halt!»*. Велосипед продолжал лететь, стараясь достичь ближнего леска, где мог скрыться, с тем, чтобы потом известить своих товарищей о двух одиноких путешественниках. Колебаться было нельзя, и офицер, в свою очередь, направил револьвер. Второй пулей шпион был убит наповал.

Не меньшую опасность представляли немецкие селения. В то время как жители польских деревень в Восточной Пруссии встречали русских приветливо и охотно оказывали им всякие услуги, жители селений немецких или скрываются, или прибегают к самым безобразным формам партизанской войны. Наши солдаты, например, глубоко убеждены, что немцы отравляют колодцы, хотя вряд ли это осуществимо уже в силу технических трудностей. Во всяком случае немцы стреляют из окон по проходящим русским, ночью пытаются зарезать сонных и т. д. Строго удостоверен факт, что в одной деревне какая-то немка, женщина пожилая, мать большого семейства, выстрелила одному офицеру в спину после того, как тот спросил у нее молока и заплатил ей за крынку серебряным рублем, но неосторожно повернулся, поднося стакан к губам.

В виду всего этого благоразумие требовало не проводить ночей в домах. После целого дня трудного пути К. со своим денщиком решил переночевать в поле. Уже вечером, в наступающей темноте, им пришлось пересечь небольшую рощу. Через нее они ехали, не спуская пальцев с курка. За рощей оказалась обширная поляна, где по крайней мере можно было не опасаться нападения неожиданного. Привязав не без труда лошадей, офицер и его денщик согласились караулить по очереди, так как общая опасность временно сравняла их. К. признается, что эта первая ночь в темном поле, вдали от товарищей, когда надо было полагаться только на свои собственные силы и остерегаться каждого шороха, каждой тени, каждого куста, наводила на душу более жуткое чувство, чем часы ожесточенного боя под немецкими пулями и шрапнелью.

Продолжая путь на следующий день, К. одно время затруднялся в выборе дороги. Хотя с ним была подробная карта и компас, все же нелегко было разобраться среди множества перекрещивающихся тропинок, идущих по изрезанной местности, с оврагами, озерами и лесками. Заметив в отдалении довольно большую помещичью усадьбу, К. решился обратиться туда за справками. Первоначально он разузнал,

* Стой! (*нем.*)

конечно, кого может встретить в усадьбе, и убедился, что там — только старик-хозяин и его столь же старый слуга. Помещик — известный старожил-немец, гордящийся своим гербом, весьма почтенный с виду, — встретил русских дружелюбно. Он предложил офицеру завтрак, от которого тот отказался, и рассказал, что все его слуги, кроме одного, при приближении русских разбежались. «Сам же я, — добавил старик, — не пожелал покинуть родного дома, где я родился и надеюсь умереть. Русским я никакого зла не сделаю и верю, что они также не сделают зла мне». Офицер спросил разъяснений относительно дороги. Помещик выразил готовность помочь русским, вышел из комнаты и вернулся со своим слугой Карлом, говоря, что этот Карл проведет путников куда надо.

Карл также имел вид весьма почтенный, с седыми волосами и седыми усами, и казался типом старого преданного слуги, беспрекословно выполняющего волю хозяина. Идя впереди путешественников и указывая им дорогу, Карл держал себя с большим достоинством и между прочим сурово осуждал бежавших слуг, которые не поняли, что мирные жители во время войны должны продолжать свою обычную работу. Скоро, однако, офицер заметил, что Карл ведет их совсем не по тому направлению, как следовало, — по какой-то узкой тропинке между болотистыми лугами. Спустя некоторое время К. мог вполне убедиться, что Карл имеет намерение завести их в непроходимые топи. Опять пришлось взяться за револьвер и направить его прямо в лоб проводнику. Поняв, что его коварство открыто, Карл побледнел и задрожал. Сразу пропала вся его почтенность, и он стал униженно умолять о пощаде. Постоянно угрожая револьвером, К. заставил проводника вывести себя на правильную дорогу.

В тот же день К. и его денщику пришлось быть свидетелями возмутительного дела. По дороге они натолкнулись на несколько опрокинутых и разломанных повозок, около которых лежали обезображенные трупы польских крестьян. Позднее один из товарищей убитых, почти чудом сам избегнувший смерти, объяснил, что здесь произошло. Это возвращались с пустыми телегами местные польские крестьяне, помогавшие русским подвозить провиант. На них, совершенно безоружных, напал отряд немецкой кавалерии, совершивший свой рейд в этой местности. Немцы решили наказать поляков за помощь русским. Крестьяне никак не ожидали, что их будут рубить, хотя они не защищаются (да им и нечем было защищаться), и наивно закрывали лица руками, ожидая только побоев. Вместо того немцы рассекали им черепа и прокололи их пиками. Повстречав дальше разъезд казаков, К. указал им на присутствие в окрестностях отряда немецких кавалеристов; все они в тот же день были настигнуты. Третий день пути уже не представлял тех опасностей, как два первых. Местность была вполне очищена от германских войск, и остерегаться приходилось только «мирных» жителей. Впрочем, большинство селений по дороге оказывалось совершенно пустыми. Русские полки уже выступили далее, а местное население не вернулось. Многие селения имели такой вид, словно все жители ушли на несколько часов на прогулку: в своем поспешном бегстве немцы ничего не успели увезти с собою и ничего не разрушили. Дома были вполне приспособлены к жизни, которую можно было начать сегодня же; магазины наполнены товарами: вином, мануфактурой, ювелирными изделиями. Обычно командиры наших полков приставляют к

дверям магазинов стражу, предупреждая, что мародерство будет строжайше преследоваться. Теперь же попадались и такие селения, где с уходом полка стража была временно снята, так что дома и магазины стояли не охраняемые никем.

Офицер не мог скрыть, что при таком зрелище у его денщика возникло сильное желание привезти ценный подарок своей жене (Р. — уроженец одной из пограничных губерний). Велик был соблазн при виде богатого выбора дорогих вещей, как бы не принадлежащих никому. Офицер принужден был прибегнуть к своему авторитету, чтобы напомнить денщику о солдатском долге. В конце концов Р. должен был удовольствоваться немецкой шашкой с золотым вензелем и поясом с серебряными инкрустациями — своей законной военной добычей, взятой еще на поле битвы. Таких трофеев много у всех русских солдат, так как на полях битвы валяются целые груды немецкого оружия; нашим уже надоело его подбирать.

Все путешествие длилось три дня. Но, по словам К., оно потребовало большего напряжения духа, чем трехдневный беспрерывный бой. Сознание исполненного долга и удачно выполненного поручения, конечно, давало высокое нравственное удовлетворение. И все же, прибыв к месту расположения наших значительных сил, откуда предстояло ехать уже в полной безопасности, К. почувствовал, как он признается, такое облегчение, какого не знавал после окончания многодневных боев и после блестящей победы, одержанной при участии его полка.

Варшава, 25-го августа

Тени
(Письмо из Варшавы)

В одном из варшавских госпиталей солдат-поляк, тяжело раненный в Восточной Пруссии, говорил мне:

— Слава Богу, что сюда довезли живым: хоть исповедуюсь перед смертью.

Бедняга, по счастью, ошибался, ожидая скорой смерти. Он крайне ослабел от потери крови, но, по всей вероятности, останется жив, поправится: так уверял меня врач. Все же, как много горечи было в простых словах солдата! Тяжело было слушать его рассказ о том, как он с простреленным боком и раздробленной ногой лежал несколько часов на поле сражения и потом несколько дней, временами теряя сознание, совершал переезд до Варшавы, постоянно мучаясь мыслью, что умрет без покаяния.

В русской армии наберется не меньше 600 000 поляков-католиков. Значительная часть их побывала на передовых позициях и выдержала кровопролитные бои. Уже многие убиты и по многим носят траур и плачут близкие в больших городах и маленьких деревушках. Между тем католических священников на фронте в нашей армии нет. Солдатам-католикам приходится томиться сомнением, мучительным для их простых душ, могут ли они обращаться за утешением религии к православному священнику.

Я разговаривал об этом с одним ксендзом, видным общественным деятелем, работающим в нескольких военных госпиталях в Варшаве. Он подтвердил мне, что

ему тоже случилось слушать сходные рассказы от раненых, из которых некоторые готовы были думать, что католические ксендзы боятся приближаться к месту боя, тогда как православные батюшки идут туда. Как достоверный факт он сообщил мне, что из всей варшавской епархии в действующую армию было допущено лишь два католических священника: один прикомандирован к штабу, другой отправлен по особой просьбе коменданта Новогеоргиевской крепости. Оказался при нашей армии еще один ксендз — поляк из Нейденбурга. Когда этот город был занят нашими войсками, ксендз остался с ними и исполнял требы солдат. Желающих ехать в армию среди ксендзов было много, но до сих пор их ходатайства не получили удовлетворения.

Если все это справедливо, такое положение вещей должно признать горестным недоразумением и надеяться, что оно будет скоро исправлено.

Поляки пошли на войну не только по долгу присяги, но и с энтузиазмом защитников своей родины. Выдающиеся польские публицисты уже засвидетельствовали, с каким подъемом было встречено в Польше громадным большинством ее населения объявление войны и с каким подъемом прошла в ней мобилизация. Об этом говорит, например, прекрасная статья А. Святоховского «Поляки и война», обошедшая ряд польских изданий, или недавно появившаяся блестящая статья И. Вейсенгофа «Новый крестовый поход». Они передают, например, случаи, когда польские призывные с упорством добивались, чтобы их поскорее зачислили в армию. То было время, когда из иных пограничных местностей спешно вывозились все административные учреждения, так как можно было опасаться немедленного вторжения германцев. В те дни приходилось настойчиво разыскивать сборные пункты, где могли бы принять призывных, и польские крестьяне, целыми днями бродя по дорогам, добивались своей цели.

Трудно примириться с мыслью, что люди, с такой готовностью отдающие свою кровь и жизнь за родину, будут лишены последнего утешения — перед смертью принять отпущения грехов от священника своего исповедания. Война, на которой человек так часто сталкивается с обликом Смерти, властно пробуждает в душе религиозное чувство. Я сам наблюдал его яркие проявления у многих лиц, отправляющихся на войну (т. е. на самый «театр военных действий»), которые в мирное время не выделялись своим усердием к вере. Нет сомнения, что это чувство громко говорит в сердцах солдат из того народа, который, как и русский, по справедливости считается одним из самых религиозных в Европе.

Современная польская действительность представляет много светлых сторон, показавшихся неожиданными для иных наблюдателей. Энтузиазм, проявленный в войне с Германией как с общим врагом славянства, польским народом; пробуждение в поляках сознания польского единства; первые шаги к подлинному сближению с русскими, выражающиеся хотя бы в трогательно дружеском отношении всего населения Польши к русским солдатам, — все это — явления, которые хотелось бы бережно охранять, чтобы они могли окрепнуть и развиться. Хотелось бы, чтобы на этот светлый фон не падало ненужных теней.

Над Польшей нависло много теней, — старинных, исторических теней, омрачающих ее жизнь. Деление Польши после утраты политической независимости на

три части, принадлежащие трем различным государствам, привело к возникновению в народе многочисленных партий, имеющих различные «центры тяготения», и это остается глубокой пропастью, из которой вырастают все новые и новые тени. Их рассеять властен только ход истории, об их уничтожении говорит историческое воззвание Верховного Главнокомандующего, и мы не будем касаться их в беглой заметке. Но наблюдатель польской действительности на каждом шагу встречается с другими «маленькими» тенями, для борьбы с которыми не требуется сил титана и которые без нужды оттеняют маленькие события в жизни маленьких людей.

Отсутствие католических священников при нашей армии — «ненужная» тень, хотя «маленькой» она может быть названа лишь относительно, по сравнению с великими тенями, ныне падающими на участь целых народов. Но когда оказывается, например, что Варшава, намеревавшаяся ознаменовать великодушное воззвание Верховного Главнокомандующего достойным празднеством с торжественным богослужением, увидела необходимость ограничиться иллюминацией города, — такая тень кажется случайной и лишней. Когда замечаешь, что в «день флагов», устроенный в Варшаве Красным Крестом, объявления отпечатаны на одном русском языке, который ведь не родной, не материнский для подавляющего большинства жителей, — думается, что эта тень — пусть маленькая, пусть крохотная — напрасно омрачала светлую радость людей, несших свою лепту на нужды войны. Легко было бы насчитать немало таких «маленьких теней», но, при грандиозности совершающихся событий, не хочется быть летописцем мелочных фактов.

Польша переживает новый для нас круг чувств. В польских городах осыпают русские полки цветами; польские крестьяне не хотят брать денег за хлеб, за молоко, за всякие продукты, раздаваемые ими русским воинам; польские гимназисты на свои сбережения покупают груши, чтобы сунуть их за пазуху нашим солдатам; польские девушки проводят ночи над постелью раненых казаков; зарубежные поляки ждут русских как освободителей и т. д. (все это — факты проверенные), — разве это не показатели нового настроения? Выступления обособленных групп (неизбежных в многомиллионном народе) не могут нарушить единства этого настроения. В такие дни, встречая «маленькие тени», по-прежнему падающие на польскую жизнь, хочется каждой из них сказать словами поэта о «последней туче рассеянной бури»: «Довольно, сокройся: пора миновалась!»

Варшава, 27-го августа

‹*Телеграмма*›

Действующая армия *(от нашего корреспондента)*. Группа еврейской молодежи сформировала в Лодзи добровольческий отряд разведчиков-велосипедистов в 150 человек.

В Ченстохове открыты школы с преподаванием на немецком языке.

Брюсов

В Северной Польше

Не прошло и недели с тех пор, как я возвратился из своей поездки по северу Плоцкой губернии, а положение дел там изменилось резко. То усиление прусского восточного фронта, которое было куплено ценою ослабления германских армий во Франции, отказа в существенной помощи Австрии, ссоры с Баварией и т. д., сказалось в движении немцев не только на востоке, но и на юге. Немецкие войска вторглись в восточную часть Польши и западную часть Ломжинской губернии.

Уже вчера стали встречаться в Варшаве беглецы из этого района. Сегодня их число безмерно возросло. Среди них есть и лица, с которыми я познакомился во время своей поездки. Они рассказывают о занятии немцами то одного, то другого пункта и о движении германской армии, которую иным довелось видеть. Она двигалась по шоссе своим обычным маршем, сомкнутыми колоннами, таща за собой целые парки артиллерии (так уверяли очевидцы, вряд ли их можно признать беспристрастными наблюдателями), сопровождаемая блиндированными автомобилями, походными кухнями, работающими во время самого марша, и огромными фургонами. В занятых городах остался немецкий гарнизон и поднимался флаг. Недаром, значит, упорно кружили над тем краем немецкие аэропланы! Летчики высмотрели дороги для своей армии.

Мне вспоминаются те городки, где еще 5–6 дней тому назад я наблюдал, как жизнь старается приспособиться к условиям, созданным войной. Мне вспоминается Прасниш (по-польски Пшаснишь), где я был в базарный день. Местные крестьяне навезли в город своих сельских продуктов, продавали с возов картофель, яблоки, сено, а сами приторговывались к разным «городским штучкам». Было людно и шумно; чайная и магазины делали бойкие дела. Теперь Прасниш занят немцами. Опустел и Цеханов, где я провел ночь в «отеле», где еще недавно наши солдаты перемигивались на улицах с хорошенькими еврейками, где в местном лучшем ресторане шли шумные споры о судьбе Австро-Венгрии. Говорят, из Цеханова выехало почти все население: остались лишь круглые бедняки да сомнительные девицы, готовые пользоваться всякими обстоятельствами.

Мне вспоминаются те усадьбы, в которых я встречал такое любезное гостеприимство: то роскошные барские, хорошо освещенные электричеством, с вековым парком вокруг, то скромные сельские домики, тихие и уютные, с маленьким садиком и маленьким, руками хозяев посаженным цветником. Вспоминаются и жители этих усадьб, которые, конечно, с ужасом подумывали о близости неприятеля, но всячески старались отогнать от себя мрачные мысли и почти с детской беспечностью продолжали свои обычные занятия, дочитывали начатый роман, засевали для будущей жатвы поля, спорили со мной о преимуществах того или другого курорта. Увы! оправдались черные предчувствия, и, как знать, может быть в комнате, которая была радушно предложена мне, теперь квартирует какой-нибудь прусский комендант, обдумывающий, нельзя ли на соседний город наложить контрибуцию.

Когда я думаю об этом, когда представляю себе немцев в тех самых городках, где был так недавно, — тихих польско-еврейских городках, — на тех самых дорогах, по которым только что проезжал, тенистых, обсаженных вязами дорогах, с распятия-

ми на перекрестках, — война перестает быть для меня чем-то отвлеченным, чем-то таким, о чем читают и пишут в газетах, но реальным, страшным делом. И пусть каждый представляет себе, что враг вошел именно в его город, обидел именно его близких, занял именно его комнату, — тогда таким же реальным, страшным делом станет война для каждого. И тогда он почерпнет в себе новые силы, может быть, уже ослабевающие, чтобы приносить новые жертвы ради ее скорейшего прекращения, что может быть достигнуто лишь одним: полным разгромом наших врагов.

Большинство жителей, имевших возможность уехать из местностей, вновь занятых немцами, не спешили сделать это. Но некоторые остались: кто потому, что не успел выбраться вовремя (это было нелегко, так как лошадей стремились захватить все), а кто — и сознательно. Один помещик (из района Прасниша), у которого я также гостил около суток, заранее сказал мне, что он из своего имения при приближении немцев не уедет. «Как могу я бросить крестьян, — говорил он мне, — которые привыкли искать у меня помощи во всех трудных обстоятельствах? Я останусь, чтобы по мере сил оборонять и поддерживать их».

Русская армия готовится встретить новый натиск врага.

6-го сентября

Русско-германская граница

Варшава

(От нашего корреспондента)

Выяснилось, что известие о вторичном движении немцев на Новорадомск и Петроков было основано на недоразумении. Дежурному при железнодорожном телефоне в Радомске ошибочно сообщили о приближении немецких отрядов. Дежурный дал знать в Петроков и, намереваясь вывезти казенное имущество, начал с того, что снял телефонный аппарат. В Петрокове, убедившись, что Радомск на телефонные запросы не отвечает, решили, что он занят немцами. Петроков был в сильном волнении, пока недоразумение не выяснилось.

За Лодзью кавалерийские стычки успешны для нас. Немцы понесли значительный урон. У нас потерь почти нет.

Брюсов

Поездка в Пултуск

(От нашего корреспондента)

«Под Пултуском идет бой». — «Пултуск взят немцами». — «Немцы идут от Пултуска на Варшаву».

Неизвестно, где возникают такие слухи. Но их распространяют, их повторяют, ссылаясь на разные авторитетные источники. Какой-то помещик, приехавший в Варшаву из имения, лежащего неподалеку от Пултуска, рассказывает, что сам слышал в том направлении сильную канонаду. Другой господин под великой тайной уверял, что о взятии Пултуска ему сообщили чуть ли не официально…

Само по себе известие было довольно правдоподобно. После вторжения в восточную часть Плоцкой и западной Ломжинской губернии немцам было естественно идти к Пултуску. Но возбуждала большое сомнение стремительность движения. На этом фронте германские войска подвигаются вообще медленно. Они явно боятся действовать решительно и проявляют крайнюю осторожность. Затрудняют их также их тяжелая артиллерия и огромные обозы. Поэтому я лично к известию, что Пултуск уже занят немцами, отнесся с подобающим скептицизмом.

Один из моих сотоварищей по работе, Ф<илатов>, корреспондент одного из английских агентств, предложил мне совместно отправиться к Пултуску. Предложение было весьма подходящим. Лично я намеревался главным образом ознакомиться с настроением населения. За неделю перед тем я видел жизнь на севере Польши, когда угроза нашествия была сравнительно еще далека. Теперь я надеялся присмотреться к местной жизни в дни решительных событий. Мы решили ехать немедленно, в воскресенье 7-го сентября, рано утром, в автомобиле.

И накануне вечером, и в самую минуту отъезда нас всячески уговаривали отказаться от нашего замысла. «Мы знаем наверное, — говорили мне, — что [...] идет бой; снаряды [...] летают теперь на 10 верст; вас нечаянно убьют, и никто этого даже не заметит». — «Все равно вам не удастся проехать дальше 20–25 верст», — успокаивали другие. Шофер, подавая машину, также предупреждал нас, что придется вернуться с полдороги, так как у него тоже есть самые точные сведения о близости германской армии. Но мы более верили нашим соображениям, нежели всем этим слухам и «точным» сведениям.

Наш путь, миновав предместья Варшавы и несколько пригородных селений, повел нас через красивые, слегка волнистые поля. Мимо нас мелькали старые ракиты, между которыми кое-где поднимались высокие пирамидальные тополя. Даль, прорезанная светлой лентой Нарева, была оживлена лесами и деревнями. Местами из-за деревьев виднелись верхи костела, а один раз проблестели золоченые купола православной церкви. Красивости пейзажа мешала несколько погода: небо было хмурое, с серым облачным покровом; временами начинал моросить дождь.

Меньше чем на полпути нам стали встречаться беглецы из Пултуска. Жители города, испуганные приближением неприятеля, выселялись. Встречались преимущественно бедняки, вообще люди малоимущие, так как более богатые и окрестные помещики выбрались еще раньше. Ехали в самых разнообразных экипажах: в тряских колясках, куда было набито по 8–10-ти человек, в почтовых дощато-жестяных каретках, в прадедовских дилижансах, которые сто лет назад бороздили всю Европу, в возках, в фурах, на телегах. Сидели кучами, увозя с собой весь домашний скарб, — в чемоданах, корзинах, сундуках и узлах. Среди проезжавших мелькнуло несколько гимназических пальто и студенческий мундир. Но большинство составляли, конечно, женщины.

Мы заговаривали с некоторыми из беглецов. Из самых первых расспросов выяснилось, что немцев ни в Пултуске, ни под самим Пултуском еще нет. Но одна мысль о том, что немцы <могут> войти в город, заставила жителей покинуть свои дома, привычное дело, привычную обстановку и бежать. Лошадей было достать трудно, и экипажи нагружались свыше меры. Поэтому ехали очень медленно. Многие из тех,

с которыми мы встречались, выехали из города еще вечером: значит, 30–40 верст они тянулись почти целую ночь.

Чем ближе мы подъезжали к городу, тем больше встречали этих беглецов. Параллельно с экипажами, вдоль дороги, шли пешие, таща в руках или за плечами узлы со своим добром; женщины несли маленьких детей. Многие сняли обувь и шли босыми. Всем хотелось во что бы то ни стало уйти подальше от немцев…

Наконец, показался Пултуск. Он красиво расположен на другом, возвышенном берегу Нарева. Несколько башен и высоких костелов придают его профилю характерность. Каменные строения, сгруппировавшиеся в середине и окружающие обширную рыночную площадь, делают его подлинно городом, а не большой деревней, каковы иные русские уездные городки. Некоторые уголки Пултуска прямо живописны: например, арка моста через небольшой приток Нарева.

В Пултуске были еще люди, — даже много людей. На базарной площади — целая толпа. Присмотревшись, можно было убедиться, что все это — почти исключительно евреи: польского населения почти не осталось. Некоторые еврейские магазины и лавочки были открыты. Торговали табаком и папиросами, бумагой, бельем, даже книгами и тросточками; какой-то часовщик с лупой в глазу сидел под окном и разбирал принесенные в починку часы. Но магазины съестных припасов, булочные, кофейни, рестораны, гостиницы и все польские торговли были закрыты.

В общем, несмотря на толпу на площади город, в сущности, был пуст. Это чувствовалось по какой-то растерянности движения на улицах, по какой-то неуверенности продавцов в лавочках, по отсутствию подлинного оживления, дыхания подлинной жизни. Были люди, но они временно перестали жить. Все словно ждали чего-то, пережидали что-то. Хотелось и к этому маленькому Пултуску применить гениальное сравнение автора «Войны и мира», который, описывая Москву, перед вступлением в нее Наполеона, сравнил ее с ульем, где нет матки…

Не без труда мы добились впуска в какую-то гостиницу. Нам дали два стакана, тарелку, вилку и нож, но даже чаю уже нельзя было достать. Мы расположились в бильярдной, где под серым чехлом, на стеклянных ножках еще стоял бильярд, где еще оставались на стойке кии, испачканные мелом, и с аспидной доски еще не были стерты цифры, — расчеты игры, шедшей, вероятно, накануне. В соседней комнате хозяйка гостиницы со своей дочерью спешно увязывала более дорогие вещи, также собираясь уезжать. Все остальное имущество им приходилось бросать на произвол судьбы…

Когда мы предложили хозяйке уплатить за посещение, она почти обиделась: — помилуйте, такие ли теперь дни! Пред лицом наступающего врага исчезли «содержатели гостиниц» и «постояльцы»: были лишь люди, связанные общим несчастьем.

У меня были рекомендательные письма к некоторым из постоянных жителей Пултуска, полякам, но никого из них в городе не оказалось: все уже выбрались. Из Пултуска мы поехали несколько дальше, по дороге на Вышков: в этом направлении находится одно имение, к владельцу которого мне также было дано рекомендательное письмо. По пути мы наткнулись на целый табор расположившихся в лесу крестьян. То были беглецы из окрестностей Прасниша, Цеханова и Макова. При

известии о приближении немцев крестьяне выселились целыми деревнями, со всеми семьями, уведя с собой и скот. Теперь они разместились в лесу, кто на телегах, устроив над ними навес, кто в шалашах из зеленых веток. Коровы, лошади и свиньи паслись здесь же, неизвестно на чьей земле. Маленькие дети беспечно бегали по лесу. Матери кормили грудных младенцев. Было похоже на эпизод великого переселения народов.

Мужчины обступили наш автомобиль, прося у нас разъяснений, скоро ли им можно будет вернуться к себе домой.

— Хлеба у нас нема, пане, — твердили они. — Малые дети с нами, чем будем их кормить? Скот где пасти? Может, нам какая помощь будет?

К сожалению, мы не могли сказать в ответ ничего утешительного. На глаз было здесь человек 100–150. Нам говорили, что другие такие же таборы расположились в других местах. От кого они могли ждать помощи, теперь, когда так много нуждающихся в помощи?

В имении, куда мы ехали, хозяев также не оказалось. Управляющий объяснил, что они выехали накануне. На другой день я встретился с ними в Варшаве. Они говорили мне, как тяжело было им расставаться со своим родным домом. Но еще тяжелее было бы принимать в нем немцев, особенно после того, как в последние дни их частыми гостями были русские офицеры. Мне рассказывали еще, что владельцы этой усадьбы перед отъездом раздавали все, что могли, нашим солдатам. «Берите всё, — говорили они, — только бы не досталось немцам!»

От усадьбы мы повернули обратно. За все время переезда, на 70 с лишком верст от Варшавы, мы не видали ни одного немца. Не пролетело даже ни одного неприятельского аэроплана. Большим утешением были для нас беседы со встречными офицерами и солдатами. С нами были газеты того дня; их, как драгоценный подарок, принимали офицеры, которым уже несколько дней не удавалось видеть свежего газетного листка. Солдат мы могли угостить варшавскими папиросами. Наши рассказы о событиях на других фронтах, о русских победах над австрийцами встречались восторженно. «Ну, слава Богу!» — повторяли все — и офицеры, и солдаты.

Взамен нам рассказывали о разных боях и стычках, в которых наши собеседники принимали участие. В шутливом тоне передавались случаи, в которых сказывалась беззаветная храбрость русского солдата… Были и печальные вести. Немцы со своим обычным варварством сжигали усадьбы, мимо которых мы проходили, — те самые усадьбы, в которых я был как гость неделю тому назад. О самых тяжелых боях наши собеседники говорили как о самой обыкновенной вещи. Все были явно воодушевлены любовью к своему делу, верой в своего вождя, убеждением в конечном торжестве нашего оружия. Мне запомнился молоденький офицер, вероятно только что сошедший со школьной скамьи, тщательно выбритый, сохранивший и в условиях походной жизни тонкое изящество в мундире, в осанке. Нельзя точнее передать настроение этого юноши, как сказав, что он «горел» желанием сразиться с немцами; он ждал боя как лучшего праздника. И все, что нам говорили солдаты, сводилось к тому же страстному желанию — поскорее встретиться с врагом. При этом — характерная черта — ни разу в разговорах не промелькнуло и намека на численность неприятеля. Об этом много говорили в Варшаве, где охотно подсчи-

тывали силы германских армий, но здесь, в рядах русского войска, этим как будто никто не интересовался…

Офицеры благодарили нас за привезенные газеты. Было стыдно принимать благодарность, и невольно, никем на то не уполномоченные, но с уверенностью, что мы выражаем общее чувство, мы в один голос возразили: — Помилуйте, господа! Это мы должны благодарить вас, благодарить за себя и за всю Россию!

Солдаты попросили нас отправить несколько писем. Когда хочется подать весть родным и близким, деятельность всякой почты кажется слишком медленной. Мы, разумеется, выразили полную готовность исполнить просьбу, и тотчас со всех сторон потянулись к нам руки с «открытками». В одну минуту у нас собралась добрая сотня «солдатских писем». Теперь они уже расходятся по всем губерниям России, от Царства Польского до Приморской области, от северных окраин до Малороссии и Поволжья. Что написано там, на этих листках, которые не привыкшая к карандашу рука покрыла крупными, кривыми строками? Вероятно, чуть ли не каждое письмо открывается стереотипными словами о том, что пишущий «жив и здоров» и «того же желает» кому-то — своей жене, матери, отцу, детям, «сродственникам». Но какое новое значение обретают в солдатском письме эти простые слова: «жив и здоров», — ведь это почти всё, что хочется узнать родным и близким!

Назад нам пришлось ехать под сильным дождем. Дул холодный, пронзительный ветер. Но на душе опять было светло и ясно. Что из того, если врагом временно заняты какие-то наши городки, какие-то клочки территории, равные по объему одному, и не слишком большому, имению в нашей Сибири! Что из того, если переменный жребий войны принесет нам, там или здесь, новое испытание? Важно то, что цела наша армия, цела и сильна своим духом, своей верой в свое дело, желанием победы и чисто воинским желанием боя. Грустно думать о сожженных немцами усадьбах, где еще недавно сам встречал радушный прием; горестно встречать на большой дороге измученных беглецов, спасающихся от неприятельского нашествия; но радостно и глубоко трогательно видеть наше войско, готовое еще раз дать суровый отпор германским силам и с нетерпением ожидающее врагов, не справляясь об их числе.

Варшава, 9-го сентября

‹*Телеграмма*›

Варшава

(От нашего корреспондента)

Пребывание немцев в восточной части Плоцкой губернии оказалось кратковременным. Местные жители возвращаются в покинутые деревни и усадьбы. Несколько помещичьих домов было сожжено немцами; в разных местах были произведены ими грабежи. Население везде встречает появление наших войск восторженно.

Брюсов <14 сентября>

К бою под Красником

От нескольких лиц, приехавших в Варшаву из Люблина, Красника и Янова, мне удалось узнать различные подробности о ходе наших военных операций в этом районе.

После того как движение австрийцев на Люблин было парализовано, они, — как то известно по сообщению штаба Верховного Главнокомандующего, — перенесли «центр тяжести усилий» в район Томашова, т. е. повели наступление по направлению к Холму, оставляя реку Вепрж слева от себя. В Краснике, однако, они считали себя утвердившимися прочно. Город был объявлен присоединенным к Австро-Венгрии, в нем были введены австрийская администрация и австрийская почта, на стенах расклеены воззвания к населению, составленные на плохом польском языке, со множеством германизмов и русицизмов, причем отпечатанные так, что было почти столько же орфографических ошибок, сколько слов. На разных домах появились надписи, указывающие на постоянные стоянки отдельных частей армии. Здание почты было занято штабом.

Энергичное наступление нашей армии со стороны Люблина застало австрийцев врасплох. Хотя в отдельных боях они имели некоторый перевес, провозглашенный ими большой победой и послуживший поводом для присылки поздравительной телеграммы императора Вильгельма, — австрийцы не надеялись на собственные силы и просили помощи у пруссаков. Из Келецкой губернии им были посланы как подкрепление дивизии, в составе которых находился, между прочим, и стяжавший печальную славу, ныне полковник, Прейскер. Общая защитная линия австро-прусских войск тянулась от Опольц до Туробина, через Красник, всего на протяжении до 70 верст. Во многих местах она была оборудована высокими окопами, брустверами, проволочными заграждениями и т. п. Остатки этих укреплений, иногда почти грандиозных по своим размерам, можно наблюдать и теперь. Пруссаки занимали левое крыло; австрийцы — центр и правое крыло.

После первых стычек бой совершенно разгорелся к 26-му августа. В Люблине опять была отчетливо слышна беспрерывная артиллерийская пальба, хотя бой происходил в 20–30-тиверстном отдалении. Рассказывают, что большую помощь санитарным отрядам оказывали местные крестьяне. Они, иногда непосредственно под неприятельским огнем, перевозили на своих повозках раненых, предоставляя им и санитарам все что могли. В Краснике снарядами был разрушен костел, ксендз которого еще раньше австрийцами расстрелян. К вечеру 26 августа выяснилось несомненное преобладание наших войск. Многие неприятельские позиции были нами заняты «штыковым ударом».

Ночью австрийцы, уже деморализованные боем, начали отступление, которое правильнее было бы назвать бегством. Во многих местах они оставили на произвол судьбы орудия и обозы. Солдаты кидали винтовки, чтобы легче было идти. К утру на австрийских позициях остались только арьергарды, главная же масса войск отступила в район Янова. Потому ли, что необходимость в таком «отходе» выяснилась совершенно неожиданно, или по расчету, который приближается к предательству, только австрийцы, по-видимому, не предупредили о своем отступлении пруссаков. Те оказались лицом к лицу с русскими силами, значительно превосходившими их, и

уже не могли надеяться на успех. Несмотря на то что пруссаки, по признанию наших офицеров, продолжали обороняться стойко. Некоторые отряды не сдались, пока не были перебиты до последнего человека. В числе пленных пруссаков — большинство — серьезно раненные, тогда как австрийские арьергарды охотно клали оружие при первом натиске на них.

Огромная военная добыча, доставшаяся нам, частью была временно помещена в Краснике, частью доставлена в Люблин для дальнейшего следования. Здесь было много орудий, зарядных ящиков, фургонов и т. п., хотя целые неприятельские батареи еще оставались на позициях, а в полях были свалены целые груды германских винтовок [...]

В самом Краснике также была взята богатая военная добыча. В той части австрийской армии, которая его занимала, служило много молодежи из видных и богатых семейств. При поспешном отступлении они забыли в помещениях, которыми пользовались, немало принадлежавших им вещей, иногда очень дорогих, например много оружия с золотыми украшениями. В ящиках столов, в почтовом отделении, осталась вся переписка штаба австрийской армии, давшая ряд чрезвычайно ценных указаний. В складах был захвачен собранный австрийцами провиант, запасы корма для лошадей, керосин, спирт, амуниция и т. п.

Как известно, при дальнейшем нашем наступлении, австрийцы были разбиты при Янове и при переправе через Сан. В последнем случае австрийцы опять пытались ускользнуть тайком, поручив арьергарду симулировать артиллерийский бой, незаметно уводя одну батарею за другой. Однако нашим войскам удалось прорвать эти арьергарды (притом почти без потерь с нашей стороны), и атаковать австрийцев во время самой переправы через реку. Еще раньше томашевской, австрийской армии было нанесено поражение генералом Рузским, двигавшимся с юго-востока. В настоящее время наша армия со стороны Люблинской губернии вступила в пределы Галиции.

Поездка в Ярослав
(По телефону)

Посетил на автомобиле Ярослав и его окрестности. В Ярославе все его строения целы; не видно даже разбитых стекол. Обычная жизнь понемногу возобновляется, открываются магазины, кафе, рестораны, торговля идет бойко. Везде слышна русская речь, которую местное население прекрасно понимает. В ходу русские деньги — серебро и бумажки, — крону расценивают в 30 копеек. Порядок охраняется австрийскими полицейскими.

Укрепления под Ярославом были весьма сильны и рассчитаны на упорное сопротивление и продолжительную осаду. Весь город был обведен изгородью из колючей проволоки, окружностью не менее 30-ти верст. Каждый из многочисленных фортов окружен рвом с частоколом, обвитым колючей проволокой. В фортах — стальные блиндажи, защищенные траншеи для орудий, свои колодцы, свои оружейные магазины. Однако натиск русских войск заставил австрийцев бежать, бросив громадные запасы провианта и военных снарядов. В полях до сих пор груды из расстрелянных

патронов, бризантных и шрапнельных гранат, мешков с порохом. Самый город был занят без боя.

Население Галиции встречает русских дружески. По всем дорогам еще идут большие партии пленных австрийцев, относящихся к своему положению равнодушно. Жители деревень возобновили полевые работы.

Во время моего пребывания в Ярославе приходили туда известия о наших успешных действиях под Перемышлем. Вылазки осажденного гарнизона были отбиты с большим для него уроном. Несколько важных фортов нами уже взяты; в Ярославе ожидают падения Перемышля со дня на день.

Из Варшавы в Ярослав

I. Люблин

Люблин — первый большой этап на нашем пути из Варшавы в Ярослав. Собственно говоря, по нашему маршруту (мы едем втроем) никакой остановки в Люблине не предполагалось. Но у нашего шофера попортилась машина, и пришлось разыскивать другой автомобиль. Найти его было нелегко, так как во всем городе оказалось лишь два наемных автомобиля (остальные взяты для нужд войны). Недоразумение уладилось лишь к 5-ти часам следующего дня, и волей-неволей мы провели в Люблине целые сутки.

После Варшавы Люблин — самый большой и самый красивый из городов нашей Польши. Наши улицы имеют вполне «европейский отпечаток»; в старом городе узкие закоулки помнят XVI век. Стройная черная колонна на большом бульваре символизирует Люблинскую унию. О славном прошлом говорят старинные костелы и монастыри, готические и стиля барокко и характерное здание магистрата (ратуша) с козлом на шпиле, — герб города. О недавних событиях красноречиво свидетельствуют пушки, отнятые у немцев в великой Галицийской битве и поставленные перед городским собором. На каждой пушке — латинские надписи «Pro gloria et patria»* и «Ultima ratio regis»** «W. II R.», т. е. «Wilhelm II Rex».

Люблин остается пока базой нашего юго-западного фронта. Это — центр, где встречаются и смешиваются едущие в разных направлениях: и те, которые спешат на наши передовые позиции в Галиции, и те, которые по разным причинам возвращаются в Польшу и во внутреннюю Россию. На краковском предместье (лучшая часть города) и в ресторане «Виктория» сходятся и «старики», уже побывавшие в боях, готовые без устали рассказывать обо всем испытанном и пережитом; и «молодежь», еще только рвущаяся к подвигам; офицеры армейские и штабные; деятели Красного Креста, сестры милосердия, заведующие продовольственной частью и т. д. На улицах в праздник (мы были в Люблине в воскресенье) местное население совсем растворяется в толпах наших солдат, как и везде, добрых, веселых, склонных пошутить и побалагурить перед предстоящим трудным походом, но ведущих себя в городе поразительно сдержанно; я бы даже сказал — скромно. Гостиницы, конечно, переполнены, и, чтобы получить приют на ночь, надо заручиться особой «протекцией».

---

* Pro gloria et patria (*лат.*) — во славу и за родину.

** Ultima ratio regis (*лат.*) — последний довод королей. (Крайнее средство решения проблемы или вопроса.)

В пансионе «Янина» мы встретились с А.А. Стаховичем, теперь одним из усерднейших работников Красного Креста. А.А. — в полувоенном мундире с перевязью Красного Креста на левой руке; едет из Львова и весь полон мыслями о судьбе Галиции.

В «Виктории» мы встретили несколько знакомых нам офицеров, из которых некоторые только что вернулись из-под Ярослава. Они охотно поделились с нами своими впечатлениями. По их рассказам, австрийцы защищали Ярослав крайне слабо. Наша тяжелая артиллерия сделала только один выстрел. При первом натиске пехоты австрийцы бежали из своих великолепно оборудованных фортов. Едва ли мы потеряли больше 40–50 человек.

Все отзывались очень хорошо о том приеме, какой оказывало нашим войскам местное население. Здесь вовсе не было того поголовного бегства жителей из деревень, как в Восточной Пруссии. В селениях почти все оставались у себя в домах, и «русины» охотно продавали нам местные продукты по самым добросовестным ценам. В некоторых местах русских солдат встречали как избавителей, потому что австрийская армия, отступая, предавалась, даже в Галиции, великим бесчинствам, — жгла, грабила, насиловала женщин…

Пришлось слышать о великом разгроме австрийской армии под Красником. Разбитые австрийцы бежали буквально в паническом страхе. Некоторые части, спасаясь от преследования, в день успевали пройти — вернее, пробежать — до 45-ти верст. Русские солдаты досадливо говорили, что за ними не угнаться. Даже кавалерия не успевала за бегущими. Дороги были завалены брошенными орудиями, ружьями, всякой военной амуницией. До сих пор в Люблине, в парке, лежат огромные груды доставшейся нам добычи, которую решительно нет времени разобрать.

Беседа затянулась до полуночи, тем более что поминутно прибывали новые собеседники из других частей армии, также проходивших чрез Люблин. В общем настроении была особая уверенность, которую дает победа. Это — совершенно особое чувство, которое всем, от высших генералов до последнего солдата, вливает в душу изумительную бодрость, готовность переносить любые труды, неодолимое желание идти вперед, все дальше, преследуя разбитого врага.

Мы вышли на улицу. Ночь была холодная. Почти полная луна освещала черную блестящую колонну Люблинской унии и, дальше, успокоенные германские пушки с вензелем императора Вильгельма. Город спал, но чувствовалось, что этот сон исполнен страшной энергии и могучей силы. То отдыхала русская армия, удачно завершившая дело веков: собирание Руси. И хотелось скорее-скорее спешить по ее следам.

Люблин, 14-го сентября

Безработица в Польше
(От нашего корреспондента)

Одним из самых грозных спутников войны в Польше является безработица. Некоторый экономический кризис, неизбежно связанный с войной, сказался, конечно, во всей России. Но Польше приходится испить особо полную чашу испытаний. Так,

например, население Калиша или Млавы лишилось поистине «всего» — и своего дома, и заработка, и всякой возможности иметь кусок хлеба.

С самого начала войны в польских городах организовались «обывательские комитеты», поставившие себе целью заботу о местном населении. Из их представителей в Варшаве возник (уже разрешенный администрацией) «Центральный обывательский комитет», распространивший свою деятельность на все Царство Польское. Этот «Центральный комитет» принял на себя заботу о безработных варшавского генерал-губернаторства. В комитете работают (разумеется, бесплатно) видные общественные деятели; средства составляются из пожертвований, поступающих довольно обильно. Но что может сделать одно местное учреждение, когда перед ним — целая армия нуждающихся в помощи!

Комитет делится на несколько секций: 1) труда, 2) сбора пожертвований, 3) информации, 4) прессы, 5) юридической помощи, 6) врачебной помощи, 7) женской и т. п. О помощи безработным заботится преимущественно секция труда. Она учредила с этой целью в разных частях Варшавы пять «бирж труда», распределенных по мере возможности по роду занятий: на одну приходят чернорабочие, на другую — техники, на третью — ищущие труда конторского и т. п. Здесь записывают их имена и стараются подыскать им занятий. На само собой понятно, что нуждающихся гораздо больше, чем мест. Каждый день на каждой бирже регистрируются сотни новых заявлений, устроить же удается едва ли несколько десятков человек.

Надо присутствовать на одной из этих бирж в час приема, чтобы видеть, почувствовать всю тяжесть положения. Большой цирк, например, уступленный под биржу чернорабочих, бывает весь заполнен толпой ожидающих; многие, не поместившиеся в здании, стоят на подъезде, на улице. Здесь и мужчины, изголодавшиеся и исхудалые, и женщины с детьми на руках, и подростки, уже научившиеся содержать сами себя, — все обычные типы безработных. Появление каждого нового человека вызывает в этой толпе тревожное движение: может быть, это — подрядчик, пришедший нанимать рабочих! Так они ждут часами, потому что здесь, на бирже, все-таки можно чего-то ждать.

За полтора месяца существования этих бирж (с 1-го (14-го) августа) устроено комитетом около 4000 человек: 1500 чернорабочих, 1000 ремесленников, 1000 земледельцев, 500 женщин (цифры круглые). Но это — «капля в море», потому что число нуждающихся вдесятеро больше и потому что многие были взяты на работы временные, на несколько недель, так что скоро вновь окажутся в армии безработных. Притом рабочие, несколько более зажиточные, пока еще медлят и стыдятся обратиться за помощью. Они живут, тратя свои скудные сбережения или продавая «лишнее» из своего имущества, в смутной надежде, что та фабрика или тот завод, где они работали, откроются вновь. Тем временем приближается <зима>, когда жизнь становится дороже, когда надо заботиться об отоплении, освещении, теплой одежде и т. п.

Комитет хлопочет прежде всего о том, чтобы рабочим разрешен был даровой или льготный проезд по железным дорогам. Пока такой даровой проезд разрешен лишь для двух категорий: для углекопов, направляющихся в Донецкий бассейн, и для жителей города и уезда Калиша; ожидается льготный проезд (по переселенческому тарифу) для рабочих на свеклосахарных заводах. Между тем отсутствие дарового

проезда часто лишает возможности устроить целые тысячи нуждающихся. В день моего посещения на бирже чернорабочих был представитель одного большого имения в Курской губернии. Он согласен был взять на работу 3000 человек, гарантируя им заработок в 1 р. — 1 р. 25 коп. в день. Но проезд от Варшавы до Курской губернии стоит свыше 6-ти рублей. В оба конца для 3000 человек это составляет свыше 36 000 руб. — сумма, которую ни владелец имения не соглашался принять на свой счет, ни комитет не имел возможность уплатить. Особенно тяжело положение евреев. Вследствие известного антагонизма, местные предприятия неохотно принимают их в число рабочих, для отправления же их в более отдаленные местности нет средств, таким образом, безработным евреям комитет ничем не может помочь.

Тяжело также положение интеллигентных безработных, которых весьма много. Среди них — учителя закрывшихся школ, высшие конторские служащие, бухгалтеры, музыканты и т. п. Комитет надеется, что некоторым из них найдется работа во внутренней России. Учителя могли бы преподавать польский язык, столь мало распространенный среди русских. Музыканты могли бы организовать оркестры, которые познакомили бы Россию с польской музыкой. Можно было бы найти лекторов, которые прочли бы в России ряд публичных лекций о польской литературе, о польском народе и т. д. Но для организации всего этого, конечно, нужно содействие русского общества.

«Мы надеемся на это содействие, — говорил мне г-н ***, показывая одну из бирж труда. — Эта война не местное польское дело, и бедствия, вызванные войной, — не только местные бедствия. Россия ведет войну ради великих задач своей государственной жизни, и, вы видите, мы, поляки, по мере сил, участвуем в этой войне, несем для нее свои жертвы. Но есть задачи для Польши непосильные: таковы и борьба с безработицей, созданной в Польше войной. Где же нам и искать помощи, как не в империи».

Из газет мне известно, что в Москве польский комитет уже озабочен помощью польским безработным, прибывшим в Москву. Но надо помнить, что за этими первыми пришельцами стоит целая армия нуждающихся, которая тоже с надеждой обращает взор «на империю». Может быть, и есть возможности до некоторой степени оправдать эти надежды. Г-н *** был прав, говоря, что война — не местное польское дело. Вся Россия, а не отдельные области ее, принимает участие в помощи раненым. Не являются ли безработные такими же жертвами войны, как и раненые? Не должна ли вся Россия придти к ним на помощь путем всенародного сбора пожертвований или в какой-либо другой форме? Будет с неизменной решимостью продолжать борьбу с врагом, чтобы довести ее до успешного конца, но постарается облегчить ее тяготы друг другу.

Варшава, 10-го сентября

Из Варшавы в Ярослав

II. В разоренной стране

Дважды австрийцы угрожали Люблину. В первый раз они были отбиты со значительным уроном в 20-х числах августа. После того они сосредоточили на юге

Люблинской губернии огромные силы, подкрепленные двумя корпусами прусских войск. Эта армия, в которой считали не меньше миллиона солдат, была сокрушена в великой галицийской битве — многодневном сражении, не имеющем себе равного в истории. Точнее говоря, происходило два отдельных сражения, каждое с фронтом в 70–80 верст: одно — на левом берегу Вепржа, где были сосредоточены австро-германские силы, тяготевшие к Люблину, другие — <на> правом берегу этой реки, где оперировала армия, пытавшаяся прорваться к Холму. Поражение обеих армий было беспримерное. Австрийцы на левом фланге после кратковременного успеха, подавшего повод императору Вильгельму послать его известную поздравительную телеграмму Францу-Иосифу, были, что называется, «разбиты на голову». В паническом страхе они бежали с обеих позиций тайно, ночью, не предупредив даже о своем отступлении союзные войска пруссаков, которые после того и были почти истреблены («Мы этого предательства не простим австрийцам никогда», — говорил нам один пленный пруссак). Наша армия преследовала австрийцев до Янова, где они тщетно пытались задержаться, и до переправы через реку Сан, где нанесла им новое поражение. В конце концов австрийцы отступили под защиту своих крепостей, предоставив нам почти всю Галицию, до самых Карпат.

Пребывание австрийцев в Люблинской губернии и многочисленные бои в ее пределах тяжко отразились на состоянии края. Проехав всего несколько верст на юг Люблина, уже встречаешь разоренные и сожженные деревни. В иных осталось не больше трети домов; прочие представляют собой бесформенные развалины, груды кирпичей и обгорелых балок, среди которых все еще бродят бывшие хозяева дома (а может быть, и случайные мародеры), выкапывающие из-под углей и пепла все, что сколько-нибудь уцелело от огня. Крестьяне, с которыми мы говорили, с ужасом рассказывали нам о неистовствах австрийцев: они грабили наступая и грабили отступая, жгли, когда бежали от преследующих их казаков. Особенно все жаловались на те насилия, которые чинились австрийцами над женщинами. «Женская повинность» была возведена у австрийцев чуть ли не в систему. Офицеры прямо приказывали: привести в такую-то часть войска столько-то женщин. Не исполнить подобного приказа было невозможно: за ослушание полагался расстрел. После этого понятно, что местные жители, когда была хоть малейшая возможность, бежали из деревень при приближении германских отрядов и прятались по лесам, где жили в норах и на деревьях. Не успевшие бежать зарывали в землю свое добро, прикидывались помешанными и т. п. Одна старуха сделалась популярной в округе (да, вероятно, и нажилась), продавая особое питье, которое будто бы предохраняло женщин от последствий пребывания с австрийцами.

— Как же у вас относятся к девушкам, которые побывали у австрийцев? — спросили мы одного крестьянина.

— Что же делать? — угрюмо отвечает тот. — Все у них побывали, все одинаковы!

В настоящее время жители вернулись на родное пепелище. Деревни опять наполнились. Все разместились кто как мог. Иные из погорельцев нашли приют в уцелевших домах, у родственников и «соседей». Другие сколотили себе временные бараки или просто построили шалаши и выкопали землянки. Во всяком случае, сельские работы возобновлены. Женщины, согнув спины, бродят в потоптанных полях ку-

курузы, выбирая сохранившиеся головки. Подрезают хмель, растущий здесь на высоких жердях, сажени в две высотой. В поле, где еще недавно горел кровавый бой, крестьяне идут за бороной, засыпая свежеразбросанные зерна. Война проходит над странами, как ураган, как стихийное бедствие, а древний, вечный, исконный труд земледела продолжается из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Глядя на эти усердные работы на местах битв, я невольно вспомнил свои стихи:

Колеблются нивы от гула,
Их топчет озлобленный бой.
И снова безмолвно Микула
Взрезает им грудь бороздой.

Сейчас же за Люблином начинают встречаться в лесах и в поле окопы. Некоторые из них — маленькие ямки, наскоро вырытые «перебегавшими» солдатами. Другие — солидные сооружения, глубокие траншеи, из которых можно было стрелять стоя. Иные имеют «прикрытие» из досок. Иногда окопы расположены в два, три, четыре «яруса», т. е. составляют несколько параллельных полос. В лесу окопы усилены баррикадами из срубленных деревьев и наваленных сучьев: это — засады. Везде, вокруг окопов, валяется множество расстрелянных и нерасстрелянных патронов, крышки шрапнелей, разные мелкие части военного снаряжения и амуниции. Мы нашли там же обломки ружей: должно быть, они были раздроблены в руках солдат слишком метко угодившими ядрами. Совсем недавно, как нам говорили, валялись здесь же, в полях, австрийские винтовки, тесаки, лопаты и разные ценные предметы, брошенные во время бегства; теперь все это убрано. На многих деревьях — следы артиллерийских снарядов. Есть огромные сосны, расщепленные гранатами. Есть великаны-вязы словно срубленные у самого корня. Некоторые стволы унизаны ружейными пулями. Тоненькие деревца, пробитые посредине, висят, жалостно перегнувшись.

Бой не пощадил и придорожных крестов, которых так много в Польше. Некоторые, каменные, разбиты вдребезги снарядами; другие, деревянные, повалены. Мы видели один с отбитой половиной перекладины: трогательный символ над местом кровавого боя. Но вместо разрушенных крестов здесь выросли другие: кресты над братскими могилами. Мы посетили несколько таких могил. Есть над ними кресты безмолвные, без всякой надписи. Есть с кратким перечнем погребенных под ними незаметных героев, положивших душу свою за братьев. На общем кресте не без волнения мы прочли кем-то тщательно выведенные простые слова: «Прощайте, товарищи!»

По дороге, вдоль шоссе, кое-где еще остались зарядные ящики, передки орудий, поломанные повозки. Всего этого было так много, что недостало рук прибрать все. Наши склады в местных городах завалены отнятой и подобранной добычей. Там — целые амбары австрийских ружей, сабель, ранцев, шинелей; целые парки австрийских орудий, из которых можно организовать несколько батарей, тем более, что для них имеется и вполне достойное число снарядов, тоже брошенных отступавшей армией… Очень много в канавах вдоль дороги трупов лошадей. Число их, впрочем, постоянно пополняется обозными лошадьми, не выносящими трудностей долгого пути. Тяжелое впечатление производят эти лошадиные тела с безобразно раскинутыми ногами, с раздувшимися животами, с оскаленными мордами и зака-

тившимися глазами. Говорят, что мародеры ночью сдирают с них шкуры. Мы видели только один пример этого: труп лошади с содранной шкурой. Но один офицер в Замостье рассказывал нам, что однажды он задержал целый воз, нагруженный лошадиными шкурами, воровски содранными на полях битв и вдоль дорог.

Первый большой город, встретившийся нам на пути, был Красностав, верстах в 50-ти от Люблина. Во время последних боев он несколько раз переходил из рук в руки. Дважды Красностав был центром «артиллерийской дуэли». Все кварталы города, примыкающие к реке, окончательно разрушены. Торчат трубы развалившегося строения, стоит одинокая стена исчезнувшего дома, маленькая хибара вся закрыта своей железной крышей, свалившейся до самой земли, словно мальчишка большим картузом, опустившимся на подбородок. Везде груды железа. Кирпича и мусора, все еще дымящегося слабым белым паром. Закопченные, сломанные наполовину вывески гласят о несуществующих больше магазинах и учреждениях. Местами плиты тротуаров выворочены страшной силой снарядов, и превращены в беспорядочно изрытые ямы.

Мост через Вепрж был разрушен австрийцами. Теперь наведен новый, и странно смотреть с него на две стороны города. Одинаково разрушенные боем, представляющие уступы руин, зубцы стен, выступы каких-то башен. Мы проезжали через Красностав ночью. Та же почти полная луна, что и в Люблине, смотрела на нас через глазницы пустых окон, заливала белым светом угольники стен, за которыми не было уже домов, нежной зыбью серебрилась на волнах широкой и мирной реки. Думалось о тех днях, когда вся эта ныне безмолвная картина была оглушена ревом и свистом летящих гранат, озарена языками пламени и заревами бесчисленных пожаров; когда каждый выступ, каждый угол служил прикрытием, прячась за которое, люди перебегали вперед под дождем пуль все ближе и ближе к врагу; когда на улицах дрались грудь с грудью, коля штыками, рубя шашками, и когда окровавленные воды Вепржа крутили и влекли мертвые тела, завалившие его берега… А теперь там и сям в отдельных окнах светились тихие огоньки. Люди, узнав, что миновала грозная опасность, вернулись в свои насиженные гнезда, разобрались в своей полуразграбленной, полусожженной обстановке, кое-как наладили жизнь и вот среди развалин мирно ужинают, шутят, беседуя и вспоминая пережитые горести, строят планы будущего, может быть, целуются и шепчут друг другу перед ликом вечной свидетельницы, луны, любовные речи…

Ночевали мы в Замостье, откуда уже всего верст 40 до нашей бывшей границы с Австрией. Замостье пострадало сравнительно меньше, чем Красностав, хотя и здесь оказалось несколько разрушенных кварталов. Зато средняя лучшая часть города уцелела. В Замостье уже вполне возобновилась обычная жизнь, и две большие гостиницы, «Виктория» и «Европейская», делают хорошие дела в наши дни великого передвижения человеческих масс. Утром мы видели открытые магазины и кафе, работающие городские учреждения, гуляющую по улицам публику. Замостье — город довольно большой; в нем есть хорошие улицы, магазины с высокими зеркальными стеклами, красивые старинные костелы, ряды многоэтажных домов, напоминающих любой европейский центр. Разрушение прошло стороной, и внешний облик города не изменился.

Австрийцы одно время думали обосноваться в Замостье прочно. Было учреждено особое городское управление, изданы «правила» для населения, по улицам для

поддержания порядка поставлены часовые и т. д. Жители полны воспоминаниями об этой поре владычества немцев. Те, которые не успели бежать, одно время пытались продолжать свои привычные занятия. Скоро, однако, выяснилось, что это почти невозможно. Не только соблюдать, но даже запомнить всевозможные предписания, изданные австрийцами, было немыслимо. Между тем за несоблюдение их виновных арестовывали, сажали под стражу, даже грозили им расстрелом. Сами австрийцы, разграбив общественное имущество, стали грабить честных людей, врывались под разными предлогами в квартиры, обыскивали их и уносили ценные вещи, в том числе дамские украшения, часы, шубы… Тогда обыватели начали прятаться, делали вид, что квартира совершенно пуста, проводили дни и ночи в сараях, погребах, ванных комнатах. На улицу отваживались выходить лишь самые смелые.

Впрочем, и австрийцам, как кажется, жилось в Замостье не сладко. Все запасы съестного, которые нашлись в городе, были быстро истреблены. Подвоза никакого не было; булочники разбежались и хлеба не пекли. Обозы к армии почему-то не подходили. Служанка того дома, где мы нашли себе приют, рассказывала нам, что к ней на кухню пришел австрийский офицер и требовал еды, угрожая револьвером. Она дала ему хлеба и колбасы, и он набросился на эту подачку, как человек изголодавшийся, здесь же на кухне.

— Он так и не вошел в комнаты? — спросили мы.

— Чтобы я позволила австрийцу войти в комнаты пана! Да никогда! — с негодованием возразила эта простая женщина.

В Замостье оказалась возможность пополнить наши запасы. Мы купили хлеба, консервов, шофер достал бензина, «по справедливой цене», как сказал он. Проезжая по улицам, мы видели, что у дверей лавок распаковывались новые тюки, что покупатели и покупательницы заходили в модные и галантерейные магазины, в «складах ветчин» висели свежие окорока, парикмахер с бритвой в руке наклонялся где-то за окном к своему клиенту, завернутому в белый балахон. Жизнь вернулась в город, и если бы не обгорелые стены домов на окраинах, было бы трудно сказать, что и здесь так недавно совершались ужасы войны, что эти торгующие, покупающие, запасающиеся ветчиной, бреющиеся обыватели так недавно прятались по погребам и ванным комнатам, с часа на час ожидая своей последней минуты.

Было ясное, светлое, чуть-чуть свежее утро. Наш автомобиль обгонял бесконечные ряды обозов, порой тянувшихся на несколько верст. Опять мелькали по сторонам окопы, расщепленные снарядами деревья, брошенные зарядные ящики, трупы лошадей в канавах. Оставалось проехать Томашовский уезд, за которым уже начинается таинственная Галиция, ныне властно призываемая к новой жизни.

Ярослав, 16-го сентября

Из Варшавы в Ярослав

III. По Галиции

Томашовский уезд еще представляет картину полного разорения. Везде — сожженные деревни и потоптанные поля. Значительно пострадал и сам Томашов, близ которого находился центр боя. Теперь Томашов — центральное место, где собрана

наша военная добыча. Склады пока еще переполнены оружием и амуницией австрийской армии; парки — австрийскими батареями. Под городом, в обширном здании, устроен лазарет для раненых и больных австрийцев; в нем работают пленные австрийские врачи. Вскоре после Томашова нам встретились по дороге партии пленных. Австрийцы в своих защитно-синих мундирах, с высокими кепи и венгры в своей яркой кричащей форме покорно шли под конвоем небольшого числа наших солдат. На лицах пленных было полное безразличие; никто не казался удрученным или хотя бы смущенным своим положением. Мы предложили нашим солдатам папирос, но тотчас к нам потянулись с просьбой десятки других рук. Тесня друг друга, пленные австрийцы окружили нас, выпрашивая папироску. Все сбились в кучу, почти насильно вырывали у нас из рук коробки, бросали нам с бесконечностью: «Danke schön»* и радостно затягивались табачным дымом. Конвойные добродушно восстанавливали порядок: в их отношениях к пленным не было никакой суровости, а скорее дружеская снисходительность. Наши солдаты смотрели на конвоируемых австрийцев как на взрослых детей.

С некоторыми из пленных мы разговаривали. На наши вопросы, как они попали в плен, австрийцы пожимали плечами и отвечали небрежно: «Что делать, судьба!»

— Будет, будет! Марш вперед!

Пленные со вздохом поправили шинели, построились рядами и послушно зашагали по дороге дальше.

Последнее селение на нашей стороне перед бывшей границей — Белжиц. Оно также жестоко пострадало во время боев. Целые улицы обратились в ряды обгорелых столбов. Здание таможни сравнено с землей. Пограничный столб еще стоит, но с него сорвана надпись, означающая прежде, что на одну сторону находится Россия, на другую — Австрия. Уцелели в селении лишь отдельные строения. На площади, ставшей пепелищем, одиноко высится колонна с каким-то святым или рыцарем наверху. Тотчас за городом — красивый готический костел, не тронутый ядрами. На его фронтоне крупная надпись, которая видна издалека. С места кровавой битвы она громко гласит всей округе:

Gloria in excelsis Deo**.

За Белжицем уже начинается Галиция. Первое время пейзаж остается таким же, как в томашовском районе. Но чем дальше мы подвигаемся, тем разительнее меняется обстановка. Местность становится более холмистой; кое-где к самой дороге подступают знаменитые галицийские леса, густые, темные. С мачтовыми стволами. В полях — гораздо меньше окопов, и, где они встречаются, это — маленькие, наскоро вырытые прикрытия, имевшие назначение задержать преследователя на несколько минут. Большинство деревень не тронуто вовсе; нивы и кукурузные поля не потоптаны. Наступая, австрийцы щадили свою страну, а отступая, вернее, убегая от нашей армии, шедшей по пятам, думали лишь об одном: скорее укрыться за укреплениями Ярослава и Перемышля. Русские же войска здесь, как и везде, отнеслись бережно и заботливо к местному населению и его добру.

Мы проехали ряд маленьких городков, — Блазив, Цеханов, Олешницы и др. Те из них, в которых происходил бой, сильно повреждены. В Цеханове уничтожен весь

* большое спасибо, сердечная благодарность (*нем.*)

** благая весть (*лат.*)

центр города. Там и сям на стенах, где были правительственные учреждения, мелькает австрийский орел. Вот красивое здание с вывеской «K.K. Post». Оно полуразрушено и теперь заколочено. Рядом в скромном домике приютилась «русская почта». Большинство вывесок на двух языках: польском и русинском. Так как русины пользуются нашим русским алфавитом, то по внешнему виду эти вывески совершенно сходны с теми, какие видишь в русской Польше. Жители уже вернулись во все эти городки, и жизнь идет в них полным ходом.

По внешности галичане действительно напоминают наших малороссов. Но есть что-то особенно скорбное в облике галичан. У многих из них длинные бледные лица с пристальными глазами. Выражение — не то наивно-простоватое, не то уныло-покорное. Мужчины одеты как польские крестьяне или в белые свитки; как курьез можно отметить, что на многих — австрийские шинели, в которых теперь часто щеголяют возчики, пастухи, пахари. Женщины в каких-то длинных белых платках или балахонах, что издали придает им вид привидений. Местный язык, сколько можно судить по беглым наблюдениям, почти украинский, но галичане говорят с особым выговором, благодаря чему их речь более понятна русскому, чем речь малоросса. Я, по крайней мере, лучше понимаю галичан, чем понимал украинцев. Сами галичане легко понимают русский разговорный язык, и мы без труда могли вести беседу со встречными крестьянами.

К нам, русским, галичане относились с поразительным добродушием и, так сказать, доверием. Не было ни тени негодования на победителей, недоброжелательства к завоевателям. Напротив, все обращались с нами чуть ли <не> как со «своими», с «родными». Крестьяне-галичане отзывались об австрийской армии, в которой служили их братья и сыновья, в таком тоне, словно бы она была для них столь же чужой и враждебной, как для нас. Все говорили: «австрийцы», «австрийские солдаты», а не «мы», «наши солдаты». Одна женщина просила нас разузнать и дать ей сведения об ее сыне, взятом в плен русскими под Люблином. Имя этого галичанина — Антоний Войцик, но мы ничего не могли узнать о его судьбе. Поведение наших солдат все хвалили в один голос и, кажется, искренно. Русские не грабили, не жгли, не насиловали женщин, за все взятое платили. Напротив, многие жаловались на «австрийцев», главным образом за то, что они принуждали окрестных жителей работать по усилению укреплений Ярослава, Пшемысла и других крепостей. Галичан гнали на эти работы силой, на целые недели отрывали всех жителей деревни от полевых работ и заставляли трудиться с раннего утра до поздней ночи.

В Олешницах нам встретился русский священник, прибывший сюда с лазаретом Красного Креста. Батюшка был из Москвы, и мы разговорились, как «земляки». Он рассказал нам, что австрийцы, уходя из города, «заковали» и увезли с собой местных униатских священников. Но теперь церкви опять открыты. К православной обедне стекается множество народа. Униаты также считают себя православными, подходят под благословение, просят исповедать их. О галичанах батюшка отзывался даже с какой-то трогательной нежностью. «Хороший, добрый и благочестивый народ», — говорил он.

От Олешниц всего верст 30 до Ярослава. Приблизительно верст за 10 от Ярослава уже начинаются его укрепления и линия фортов. По ним можно судить, с какой

старательностью была организована оборона города. Будь в австрийской армии иной дух, больше решимости, больше уверенности в себе, она могла бы защищать Ярослав очень долго и держаться против значительно превосходящих ее сил. На деле же австрийцы не выдержали самого короткого артиллерийского боя; при первой атаке они бросились бежать и объявили, что сдаются. Выше я приводил слова одного офицера, что наша тяжелая артиллерия под Ярославом дала лишь один залп. В нашей армии готовились принять в походные госпитали тысячи раненых, а их оказалось всего 40–50 человек.

Весь город обнесен кругом высокой изгородью из колючей проволоки, тянущейся в окружности, я думаю, не менее, как на 30 верст. Дороги, около которых изгородь прерывается, были заставлены баррикадами из огромных пней и стволов столетних вязов. Теперь эти великаны лесов свалены вдоль дороги, и на них, играя, пляшут маленькие дети. Все деревья вокруг всего города, на громадном пространстве, были порублены; вдоль шоссе теперь тянутся в два ряда исполинские пни. Все было приготовлено для артиллерийского обстрела наступающих и для свободного сражения на открытом поле — но сражение не состоялось, и артиллерия не сумела или не посмела проявить свое действие.

Внутри изгороди, охватывающей город, на небольших расстояниях один от другого, расположены блиндированные форты. Всех их, кажется, около 30-ти. Некоторые соединены между собою траншеями и проходами, защищенными изгородью из колючей проволоки. Между фортами, в разных местах, выкопаны глубокие волчьи ямы. Каждый пригорок, каждый бугорок использован, чтобы служить прикрытием и опорой для войск и для артиллерии. В общем, если укрепления Ярослава и не могут быть признаны «крепостью 1-го разряда» (те, сколько я знаю, сооружаются из бетона), то все же являются укреплениями большой силы, способными при надлежащем составе занимающей их армии оказать величайшее сопротивление неприятелю.

Устройство всех фортов единообразно, и они различаются лишь своей величиной и своим расстоянием от города. Каждый форт также обнесен кругом изгородью из колючей проволоки. За ней идет глубокий ров, в котором на кольях, поставленных в три ряда, натянута целая паутина той же колючей проволоки. За этим труднопреодолимым препятствием высятся самые форты, насыпанные из земли со стальными блиндажами; верх вала весь обложен мешками с песком. В отдельных углублениях, сделанных в валу, со стальным потолком и соломенным полом, устроены приспособления для обзора окрестностей: стальное окошечко, задвигающееся стальной ставней. Для артиллерийских орудий приспособлены особые помещения, дающие возможность поворачивать дуло во все стороны и в то же время надежно защищающие артиллеристов. Для ружейной стрельбы имеются особые переносные оконца. Внутри форты разделены проходами, как бы улочками, на отдельные укрепления, одни выше, другие ниже. В каждом форте — свой колодец для воды, своя кухонка с кирпичной печью, свои магазины для склада припасов, оружия и снарядов. Одним словом, каждый форт — маленькая крепость, способная выдержать долговременную осаду.

Когда мы имели случай посетить эти форты, они, конечно, уже были прибраны. Из них были вынесены тела убитых, большие орудия, оружие, большинство вещей.

И все же так велика была добыча, оставленная нам австрийцами, что еще очень многое осталось в фортах и до дня нашего прихода. Не говоря уже о том, что везде были разбросаны груды расстрелянных патронов и сотни верхушек от шрапнелей. Но, кроме того, в большом числе валялись пачки патронов не расстрелянных; местами, как град, были рассыпаны пули без патронов; часто попадались зарядные ящики и сотни мешочков с порохом. В одном месте были сложены, вероятно уже нашими солдатами, длинные ряды бризантных гранат и шрапнелей. В другом — стояли вполне целые зарядные ящики, в которых аккуратно размещены в особых ячейках готовые к употреблению гранаты. Было почти жутко смотреть на эти страшные орудия разрушения, таившие в себе смерть тысяч и тысяч, а теперь как бы позабытые в углу покинутого форта. Достаточно было неосторожного толчка, чтобы последовал чудовищный взрыв, после которого не только от нас, любопытствующих зрителей, но, может быть, и от самого форта, где мы стояли, не осталось бы ничего, кроме бесформенной груды разорванных тел, взметенной земли, обломков дерева и стали.

Австрийцы оставили в фортах не только артиллерию и заряды, но и громадные запасы провианта. В самом городе также были найдены нашими войсками богатые склады военного снаряжения и провианта. Из австрийских зарядных ящиков теперь сложены целые горы. Заготовленной амуниции оказалось так много, что в нее можно было бы одеть чуть не полный корпус. В частных складах и магазинах было запасено всего вдоволь.

Несомненно, жители Ярослава ожидали, что им придется выдерживать долгую осаду, может быть в течение нескольких месяцев. Уверения австрийского генерального штаба, будто Ярослав сдан «по стратегическим соображениям» и будто очищение его входило с самого начала в план кампании, противоречат фактам. Чтобы заготовить запасы, собранные в городе, и возвести укрепления, которыми он окружен, надо было потратить много энергии и много времени. Одно обнесение всего города, включая и форты, выдвинутые от него на 5–10 верст, изгородью из колючей проволоки, должно было потребовать огромного числа рабочих рук. Уже после поражения под Томашовым австрийцы все еще продолжали с лихорадочной поспешностью усиливать форты Ярослава. Принудительный труд на этих сооружениях вызывал ропот в местном населении. Неужели же это все делалось ради одной «демонстрации»?

Уходя из Ярослава, австрийцы успели взорвать мост через реку Сан. Теперь переправа совершается по нескольким понтонным мостам, наведенным нашими саперами. Широкий Сан невозмутимо отражает в своих быстро мчащихся водах и серое небо, предвещающее долгожданный дождь, и понтонные мосты с медленно движущимися по ним телегами и грузовиками, и пестрые толпы на берегах. Так отражал он несколько дней назад беспорядочные колонны австрийцев, спешно, под натиском русских, покидавших город, который они не сумели защитить. Так, в другом месте немного раньше отражал он страшную картину гибели арьергарда [...] австрийской армии, который самоотверженно прикрывал торопливое отступление ее главных сил. Он отражает теперь бодрые лица победителей, чувствующих себя хозяевами в этой стране, как отражал вспышки разрывающихся шрапнелей, клубы дыма и искаженные лица сраженных в бою, которые бессильно падали в его водное лоно… А там, на другом берегу, весь в кудрявой зелени, подымаясь

уступами и вознося к небу верхи и кресты православных церквей и старинных костелов, стоит завоеванный нами, возвращенный России, старый русский город Ярослав.

Замостье, 16 сентября

Из Варшавы в Ярослав
IV. Ярослав

Непривычное и странное чувство — гулять по улицам только что завоеванного города. К городам полуопустелым я уже привык в Польше, посещал те уезды, где побывали германцы. Закрытые магазины, запертые двери гостиниц и кафе, на улицах — преобладание военных мундиров, в массе которых тонут отдельные фигуры обывателей; почти полное отсутствие женщин, кроме тех, которые слишком нарумяненными щеками явно выдают свою профессию; все это — картины, к которым мои глаза присмотрелись. После переезда через Люблинскую губернию не новы стали для меня и картины полного разрушения, выгоревших кварталов, обрушившихся домов, разбитых снарядами стен — городов, превращенных шествием войны в пепелище. Но во внешнем облике Ярослава сразу сказалось нечто совершенно новое, еще нигде и никогда не виданное, нечто характерно особенное, что только и можно определить словами: «завоеванный город».

После недолгого артиллерийского обстрела фортов самый Ярослав был сдан без боя. Поэтому город не пострадал вовсе. Мы не мстили на нем австрийцам за разрушение Красностава, Замостья, Томашова, — не мстили, может быть, и потому, что уже считали Ярослав своим. В городе нет не только сожженных кварталов, но даже просто поврежденных зданий: все нетронуто и цело, и, кажется, нет ни одного разбитого стекла в окнах. Наши войска вступили в Ярослав так же мирно, как они входят в Москву, в Смоленск, в Варшаву, — в любой русский город. Ярослав, т. е. его строения, его улицы, — все в нем осталось таким же, каким было при владычестве австрийцев. Гуляя по Ярославу, невольно любуешься этим одним из красивейших городов Галиции. В нем — несколько широких, прекрасно мощенных улиц, обставленных многоэтажными домами. С большими зеркальными стеклами магазинов; лучшая улица, Краковская (она же Грюнвальдовская), очень напоминает Георгиевский проспект в Вильне. Великолепное здание ратуши сделало бы честь любому городу Австрии или Германии. Горный характер города придает особую красоту некоторым его перспективам: так, незабываем вид на своеобразный красочный собор, расположенный на склоне к реке Сан, — напоминающий собор св. Марка в Венеции.

Когда я бродил по улицам Ярослава, — через несколько дней после его занятия нашей армией, — город еще не вполне вернулся к обычной жизни. Еще много магазинов на главных улицах было закрыто, — закрыто основательно, прочными железными жалюзи. Вывески «Restauratia» манили напрасно, так как двери оказывались прочно запертыми. Шли по улицам почти исключительно наши офицеры и солдаты. Лица интеллигентного круга, в «штатском», встречались крайне редко; совсем не было среди них женщин. Обывателей из «простых» встречалось несрав-

ненно больше; судя по внешнему виду, — рабочие, ремесленники, мелкие купцы, торговки, приказчики, кассирши. Порядок поддерживался на улицах австрийскими полицейскими. В своей обычной форме они стояли на своих обычных местах, зорко озирали прохожих, поспешно старались уладить всякое уличное недоразумение, охотно и любезно отвечали на вопросы, например указывая дорогу и отдавая честь проходящим мимо русским офицерам. Сменилось начальство, но служба осталась та же.

Однако в то же время жизнь явно уже начинала вливаться в этот завоеванный город. Его можно было сравнить с больным, очнувшимся от внезапного обморока и медленно обретающим вновь способность управлять своими членами. В разных местах кафе были открыты; в них девушки-служанки, державшие себя очень скромно, разносили по требованию тарелки с супом, шницель и бифштекс, кофе, лимонад. Торговали отдельные магазины: книжные и письменных принадлежностей, скобяные и белья, готового платья, мелочные лавочки, даже ювелиры и часовщики. Торговля везде шла бойко. Офицеры запасались бельем, покупали разные поизносившиеся у них части туалета, бумагу, чернила, одеколон; брали вещи «на память» об Ярославе или на подарок близким. Огромный спрос был на «открытки» с видами Ярослава, но они в первый же день были здесь распроданы: при нас оставалась лишь одна серия с видом на собор, которую тоже брали нарасхват. Лично я в одной книжной лавке купил «на память» подержанный экземпляр третьей части «Дзядов» Мицкевича и несколько местных изданий.

Много покупали и наши солдаты — в лавочках, на рынке и у торговок вразнос. Большой успех имели у солдат местные вязаные изделия, с которыми приставали к прохожим на углах бабы. Какой-то изворотливый мужичок, поместившись в темной аркаде на рынке, бойко распродавал солдатам вещи, резанные из дерева, точь-в-точь наши «сергиевские» изделия. Всего больше соблазняли солдат деревянные ложки. «Четыре копейки штука!» — громко выкрикивал по-русски торговец, и солдаты, теснясь вокруг него, сыпали ему русские копейки, забирая австрийские ложки. При этом нигде, ни на рынке, ни в маленьких лавчонках, — никому не приходило в голову, что можно взять что-нибудь без денег. Мы много слышали о том, как обирали австрийцы купцов и жителей в занятых городах. Русская армия в австрийском Ярославе расплачивалась за все. Солдаты жаловались на «дороговь» (т. е. на дороговизну, что было несправедливо, так как цены везде были дешевые), усердно торговались, порой отказывались из-за цены от понравившейся вещи, но, взяв что-нибудь, всегда платили. Я, по крайней мере, иных примеров в Ярославе не видел, и даже не слышал о них.

Платили русскими деньгами. В магазинах, в гостиницах, в кафе охотно брали и русское серебро, и русские бумажки. По привычке счет вели на кроны, но тотчас переводили цену на рубли и копейки. Крону при этом ценили в 30 коп. «Стоит 3 ½ кроны», — объявил мне приказчик, предлагая вязаный шарф, и, подсчитав на бумажке, добавил: «Один рубль пять копеек». При таком добросовестном подсчете цены получались иногда странные. Так, например, за три чашки кофе с нас взяли 27 коп. (по 30-ти геллеров за чашку). У некоторых офицеров были австрийские деньги; мне показалось, что их принимали с меньшим удовольствием, чем русское сере-

бро. Разменной мелкой монеты не хватало, но это служило только поводом навязать покупателю несколько лишних вещей. Местные торговцы делали это с большим искусством и с пониманием психологии русского покупателя, так что большинство магазинов должно было сделать хорошие дела.

— Ого! Да вы поторговали как следует! — сказал я хозяину бельского магазина, выбиравшему при мне из кассы дневную выручку.

— Вот господа офицеры немного помогли, а то совсем были плохие дела, — ответил мне торговец с обычной купеческой скромностью. При этом он укладывал в карман толстые пачки десятирублевок и трехрублевок. По-видимому, для многих в Ярославе вступление в него русской армии было тоже «поправкой плохих дел». В то время как немцы грабят взятые ими города и разоряют контрибуциями, мы обогащаем занятую нами Галицию.

Объясняться в Ярославе можно было большей частью прямо по-русски. В больших магазинах приказчики прекрасно понимали русскую речь; говорили по-русски они хуже, примешивая польские слова и немецкие выражения, но в общем понять их было можно. Женщины, т. е. приказчицы, и девушки, служащие в кафе, русского языка не знали. С ними русские посетители объяснялись на особом волапюке, составленном из простейших слов трех языков.

— Прошу, пани, ein Halstuch.

— Четыредесять копеек.

— Еще носки.

— За́раз?

— Да, вместе. Заверните, пожалуйста.

— Дзенкуем. Danke schön.

Простой народ говорил на своем языке, т. е. по-украински. Но, как я уже указывал, благодаря, должно быть, выговору, этот язык был достаточно понятен даже для наших солдат из внутренних губерний. Во всяком случае, солдаты превосходно договаривались с местными жителями.

Гуляя по городу, интересно было наблюдать отдельные сцены, свидетельствовавшие, что город после краткого оцепенения воскресает для новой жизни. Вот около одного из закрытых кинематографов хлопочут двое рабочих: что-то пилят, приспосабливают какие-то доски. Вступаю в разговор, и оказывается, что хозяин собирается открыть свой электротеатр; кажется, уже получил разрешение военного начальства. Но ведь чтобы пустить в ход кинематограф, нужна электрическая энергия, нужна типография, которая отпечатала бы афиши, нужно многое, что возможно только в городе, живущем полной жизнью.

Вот по большой дороге в город въезжает крестьянская телега. В телеге — парень с простоватым лицом, свирепая старуха в национальном галицийском балахоне и корова. В первый раз вижу, что корову везут в телеге, вместо того чтобы вести ее сзади, привязав за рога. Пытаюсь побеседовать с парнем, но он не понимает по-русски, ни по-польски, ни по-немецки:

— Не, не разумеем.

Все-таки понимаю из его объяснений, что он с матерью «утекал» от битвы. Теперь, узнав, что «российские» никому не делают вреда, они возвращаются к себе.

У них на окраине города — торговля портновским прикладом, бумагой, нитками, иголками. Город, видимо, заселяется вновь.

Варшава, 22-го сентября

На позициях[1]
(От нашего корреспондента)

Прекрасный осенний день. Сосновый бор вокруг нас дышит смолой. Наш автомобиль легко пожирает версты гладкого шоссе. Но мы забыли любоваться красотой природы. Привстав, мы впились глазами в небо. Там, далеко перед нами, в синеве, кое-где занавешенной белыми облачками, — две серые точки. Мы знаем, что это — немецкие аэропланы. Глаз не может оторваться от них, а в ушах стучит неотступный вопрос: неужели они уйдут безнаказанно?

Чу! Как будто сухой треск вдали. Что это? Ружейная стрельба? Дай Бог, чтобы так было. Видно, как один аэроплан забирает все выше; он явно уходит. Но вот другой как-то колыхнулся, почти ковырнулся в воздухе, словно делая мертвую петлю. Он падает или нет? Но верхушки леса безнадежно скрывают от нас горизонт. Мы больше ничего не видим.

Автомобиль продолжает лететь по гладкому шоссе. Через четверть часа подъезжаем к небольшому городку, вернее — местечку. На берегу озера — толпа радостно возбужденных солдат. Все громко говорят, жестикулируют…

— Видели, братцы, немецкие аэропланы?

— Мы-то? А кто же его снял? Мы и сняли.

— Упал?

— Вестимо, упал, — там, за лесом. Наши подберут.

Из разговоров узнаём, что намного раньше здесь же был подстрелен еще один немецкий аэроплан. Тот упал в противоположном направлении, также в лесу.

— Там наш секрет есть, объясняют нам. — Тоже не уйдут немцы.

— А, значит, близко они, если они так разлетались? — говорим мы.

— Для того мы и здесь, что немцы близко, бодро отвечает один солдатик.

Другой добавляет:

— Немцев бояться — в лес не ходить!

Все хохочут. Всем почти весело. А между тем им, может быть, сегодня же предстоит бой. Передовые немецкие разъезды всего в нескольких верстах отсюда.

Мне пришлось видеть много немецких аэропланов во время моей поездки по северу Плоцкой губернии перед вторжением в нее германцев (ныне уже вытесненных оттуда). Там неприятельские аэропланы были привычным явлением. Местные жители перестали обращать на них внимание. Только маленькие дети в усадьбах выбегали полюбоваться, как <на> игрушки, реющие на высоте стальными птицами. Семи-восьмилетние мальчики так умели отличить германские аэропланы от русских и важно рассуждали о преимуществах той или другой системы.

Видел я немецкий аэроплан и над улицами Варшавы. В городе все заняты, у всех свое дело. Прохожие на несколько минут останавливались на углу или собирались

[1] По понятным причинам я не называю городов и описываемой местности. Редакции названия известны.

в группе, рассматривали летающее серое чудовище, обменивались друг с другом отрывистыми фразами, а потом шли дальше — каждый по своему делу. В этом отношении к залетевшему в город неприятельскому аэроплану не было не только тревоги, но даже мало любопытства. Между тем этот самый аэроплан бросил тогда в районе Петроградского вокзала бомбу, которой — если не ошибаюсь — была ранена девочка и убито несколько человек.

Здесь, в маленьком местечке, отношение к аэропланам совершенно иное. Здесь они — новинка. Хотя давно уже оба аэроплана исчезли из виду, — весь город на улице. Все продолжают обсуждать недавнее событие. Многие упорно смотрят в небо, все ждут, не появится ли новая стальная птица. Очень возможно, что так все будут стоять до вечера, взволнованные, потрясенные виденным.

Но автомобиль уже мчит нас дальше. Еще через четверть часа перед нами — другой большой городок. Отсюда уже только версты три до наших передовых позиций и, следовательно, верст шесть до передовых позиций неприятеля. Здесь уже непосредственно веет войной. В двери почтовой конторы, занятой штабом, поминутно входят и выходят офицеры и солдаты. Полевой телеграф, на низеньких столбиках, бежит через поле; надо думать, он работает безостановочно. Скачут вестовые; приходят и уходят отряды солдат.

Все население городка — тоже на улицах. Говорят о подстреленных аэропланах. Откуда-то известно, что на одном из них захватили двух немецких летчиков: одного — тяжелораненым, другого — в обмороке. Говорят о стычке, бывшей рано утром. Наши, засев в засаду, пропустили передовых всадников, а потом открыли жестокий огонь по главной массе отряда. Почти все немцы были перебиты, — ускакали немногие. За забором одного из домов лежит взятая в этом бою добыча: седла, ранцы, винтовки, пики.

Примечательно, что лавочки в городе торгуют. Я зашел в одну купить «открыток» с местными видами. Мне продали охотно, но по тройной цене. Тройную же цену при мне спросили с солдата, хотевшего купить себе чернильницу. Должно быть, торговец желал использовать последние часы, пока можно наживать деньги. Напротив, в маленьком ресторанчике, куда мы зашли позавтракать, нам уступили крайне дешево, накормили нас хорошими зразами и напоили чаем. Сидя в обычной обстановке ресторана, как-то трудно было верить, что в 4–5-ти верстах отсюда люди, может быть, уже бьются грудь с грудью насмерть.

Мы имели случай проехать и те три версты, что отделяли нас от «передовых позиций». Если бы немцы пожелали показаться, их можно было бы увидеть простым глазом, без бинокля. Во всяком случае, за лесом была видна крыша того здания, где поместился их штаб. Мы были на самой границе, где сейчас кончалась область, остающаяся в нашей власти, и начинались места, занятые неприятелем.

На позициях настроение серьезное, сосредоточенное. Дела много. Одни разрушают мосты на шоссе, сжигают деревянные, взрывают каменные. Другие роют окопы и укрывают в них блиндажи из досок. Свежевырытые окопы представляют собой почти изящные сооружения: глубокие канавы, почти в рост человека, с гладкими стенами, местами — деревянные крыши, со стороны поля — поперечные траншеи. Будь я маленьким мальчиком, как мне захотелось бы бегать и играть в этих красивых

тоннелях! Но не для игры устроены они. Вдали, на холме, видны земляные валы, прикрывающие жерла орудий. Кругом на кольях натянута колючая проволока. Скоро страшные голоса заговорят здесь!

Мы предложили офицеру, заведовавшему работой, свежие газеты. Сначала он взял было их с радостью, но потом, подумав, хмуро засунул в карман.

— Здесь нам некогда читать!

В среде солдат, с которыми нам удалось поговорить, тоже меньше смеха и шуток. Все понимают, что наступает время для серьезного дела. Впрочем, обычная бодрость не покидает наших солдат и на позициях. Один, выражая, наверное, чувства всех товарищей, погрозил, смеясь, кулаком в ту сторону, где расположились немцы, и произнес громко:

— Пусть-ка сунутся — мы им покажем!

Другие одобрительно кивнули головой.

Эти солдаты были «новички», которым еще в первый раз предстоял бой. Они завидовали славе других полков, уже «показавших» немцам силу русского оружия. И нельзя было сомневаться, глядя на спокойные, строгие лица солдат, что они свое обещание сдержат. Немцы и здесь встретят суровый отпор, такой же, как везде, как там, где, по общим отзывам начальников, наши войска «выказали особое геройство и присущую им доблесть» (слова из донесения Верховного Главнокомандующего от 22-го сентября).

Конечно, мы, частные лица со скромным поручением, были лишние около этих окопов. Но не хотелось покидать их. Хотелось самому принять участие в этой черновой работе, рыть канавы для прикрытия стрелков, ломать мосты, чтобы затруднить движение неприятеля, натягивать на колья колючую проволоку. Далеко по всему полю мелькали фигуры работающих солдат. На громадном протяжении быстро вырастала сильная защитная линия, о которую должен будет разбиться натиск немцев. Как большие кроты, выкидывали солдаты своими лопатами рыхлую землю, и мирная нива превращалась в ряд грозных фортов и редутов.

Однако долго задерживаться на позициях нам не приходилось. Наше поручение исполнено, и мы должны уезжать: мы знали это. Раздав солдатам папиросы (скудный дар героям, готовым отдать свою жизнь!), пожелав им удачи, а каждому в отдельности — не подвернуться под пулю, мы распрощались.

Автомобиль опять пожирает версты, обгоняя еврейские фуры, в которых набиты беглецы из соседних местечек. Но наши мысли не здесь, а с теми, работающими на окопах. Да охранит вас Бог, безвестные герои! Несколько минут я подышал вашей жизнью. И мне почти стыдно возвращаться к нашей мирной городской жизни. Истинное дело России сейчас — там, «на передовых позициях».

27-го сентября

Из Варшавы в Ярослав

V. Обратный путь

Когда мы въезжали в Ярослав, нас несколько волновала мысль, как мы устроимся в нем, где найдем себе приют. Хотя раньше в разных местечках и деревнях Галиции

мы нигде не встречали враждебности к себе, в Ярославе можно было ожидать другого. Городское население, более осведомленное, чем простые крестьяне, читающее газеты, могло смотреть на русских как на завоевателей, поработителей родной страны. Вообразим, например, что немцы заняли бы Москву, вряд ли в таком случае немецкие туристы могли бы рассчитывать на любезный прием в московских гостиницах и ресторанах. А мы являлись в Ярослав, занятый русскими войсками, именно как русские туристы.

Наши опасения оказались напрасными. Правда, в больших отелях нам отказали, но лишь потому, что все комнаты были заполнены: это было совершенно правдой. Зато в маленькой гостинице «Виктория», на окраине города, нас встретили как желанных гостей. Хозяйка, простая пожилая женщина, быстро договорившись с нами о плате («три пана — три рубля»), стала хлопотать о наших удобствах с таким радушием, словно мы были не случайные постояльцы, а близкие ей люди. Она сама сделала для нас постели, достала свеч (предмет — редкий в Ярославе), постоянно осведомляясь, не нужно ли нам еще чего. Дочери хозяйки тоже приняли в нас участие и, узнав, что мы устали с дороги, сами вызвались приготовить нам чай, хотя в городе почти не было угля и кипячение воды было сопряжено с какими-то особенными трудностями.

Скоро мы уже были с хозяйкой почти в дружеских отношениях. На ломаном полурусском-полупольском языке она рассказала нам свою жизнь, пожаловалась, что и у нее «австрийцы угнали» на войну сына, и даже принесла нам показать фотографии и этого своего сына, и других родственников. Вечером к хозяйке пришел ее брат и тотчас, под благовидным предлогом, постарался познакомиться с приезжими из Петрограда и Москвы. Мы его угостили коньяком, бывшим с нами, а он взамен принес нам в подарок полную тарелку великолепных груш.

Я не раз беседовал с беглецами из городов и селений, где побывали и похозяйничали немцы или австрийцы. Трудно представить себе бóльшую ненависть, чем та, которая скапливалась у этих людей ко всем германцам вообще. Для жителей не только Калиша, Млавы или Ченстохова, но даже Радома или Красностава названия «германец», немец», «австрияк» стали синонимом всего отвратительного — ужасного и гнусного. Люди состоятельные, равно как и простые рабочие (которых я много видел в Варшаве в «Швейцарской долине», — приюте всех «беженцев»), говорили о германцах с содроганием. Они, конечно, не стали бы ради «трех рублей» показывать приезжим немцам фотографии своих близких или угощать австрийских туристов грушами. Я уверен, что, если бы русская армия вела себя в городах Галиции так же, как немцы — в польских городах, никакая «симпатия душ» двух народов не заставила бы хозяйку ярославской гостиницы радушно встречать трех русских туристов.

В Ярославе я нарочно пользовался всяким случаем, чтобы побеседовать с местными жителями. Я заговаривал с владельцами магазинов, где что-либо покупал, с девушками, прислуживающими в кафе, с простолюдинами, толпившимися на рынке. Везде и во всех я встречал полную готовность беседовать со мной; все говорили со мною так просто, как если бы мы встретились при наилучших обстоятельствах, и никто не намекнул, что мы — представители двух враждующих государств. В кафе мне удалось поговорить еще с одним полуинтеллигентным юношей, постоянным

жителем Ярослава — вероятно, мелким конторским служащим. Узнав, что я — русский, он стал расспрашивать меня о Петрограде, Москве и Киеве, уверяя, что непременно хочет побывать в России. Он тоже, говоря об австрийской армии, называл ее именно «австрийской» и ни разу не обмолвился по отношению к ней словом «мы». Как ни случайны эти наблюдения, за ними остается то значение, что среди них не было ни одного исключения.

Мы прожили в Ярославе два дня. По разным причинам нам надо было торопиться, хотя я с удовольствием остался бы дольше в этом городе, который мне сразу полюбился. Мы воспользовались этим временем, чтобы побывать на фортах. Несомненно, Ярослав был опоясан кругом мощных укреплений. Будем надеяться, что в русских руках эти укрепления сыграют лучшую роль, нежели в руках австрийцев.

Пока мы жили в Ярославе, постоянно приходили известия из-под Перемышля. Говорили, что несколько важных фортов уже занято нами и что падения крепости надо ждать со дня на день. Со своей стороны, мы сделали попытку проехать ближе к Перемышлю, но это оказалось невозможным для простых туристов. Издали, стоя в лесу, мы слушали глухие звуки артиллерийских залпов, но оттуда пришлось повернуть обратно. Долго нас преследовал ухающий гул орудий, воображение рисовало грозные картины бомбардировки... Быть ее очевидцами нам не было суждено.

К вечеру погода испортилась. Полил проливной дождь, и порывами стал налетать ледяной ветер. Это заставило нас еще более поспешить с отъездом. Можно было опасаться, что шоссе сделается непроезжим для автомобиля.

За ночь, однако, дождь стих. Было хорошее, хотя и холодное утро, когда мы покидали Ярослав. Дождь временно стих, но нависшие тучи грозили новым ливнем. По улицам города шло почти нормальное движение. Опять попадались навстречу телеги, нагруженные домашним скарбом: беглецы все возвращались в Ярослав. Из-за горизонта длинной змеей опять тянулись обозы, подвозившие все необходимое для русской армии.

Пока мы дожидались переправы через реку, около нас произошла маленькая характерная сценка. Обозный возчик стал торговать у солдата его военную добычу: ярко-синий мундир австрийского гусара. После недолгого торга возчик за целковый стал обладателем мундира.

— На что он тебе? — спросили мы.

— Носить буду, ишь какой теплый.

— А ты сам откуда будешь?

— Мы-то из-под Киева. Второй месяц провиант армии возим.

В Галиции сейчас не редкость видеть пастуха, пасущего стадо в мундире австрийского офицера. Но можно себе представить эффект, который произведет киевский возчик, появившись среди своих односельчан в синей куртке австрийского гусара!

Полюбовавшись в последний раз красивой панорамой Ярослава, мы помчались назад, на север. Опять замелькали уже знакомые виды: опустелые форты, глубокие окопы, линия военного телеграфа, лошадиные трупы в канавах, сожженные и разрушенные здания. На одном повороте нас остановил офицер, сопровождавший с конвоем обоз, и спросил нас, кто мы такие. Мы объяснили.

— А вы не австрийцы? — спросил нас офицер.

— Нет, мы не австрийцы, — ответили мы.

Это было единственное приключение на нашем пути.

Мы очень торопились и, отдохнув немного в Красноставе, решили продолжать путь в темноте, так как наш шофер прекрасно знал дорогу. В Люблин мы приехали поздней ночью. Гостиницы были еще более переполнены, чем в наш первый приезд (особенно прибывшими из Келец и Келецкой губернии). В люблинской «Виктории» нам позволили приютиться лишь в ресторане. Здесь мы и провели всю ночь вместе с такими же неудачниками, как мы, не получившими ночлега.

Первая половина ночи прошла в оживленном разговоре. Когда мы рассказали, что едем из Галиции, один из присутствующих спросил нас, были ли мы в Перемышле. Кто-то из нас ответил, что это было невозможно, так как Перемышль еще не взят.

— Перемышль взят три дня назад! — решительно возразил спрашивавший.

Мы не стали спорить, так как наш собеседник заявил, что он «это знает наверное». Впрочем, день спустя один господин в Варшаве столь же решительно уверял нас, что Ярослав уже три дня как взят австрийцами обратно.

Люблином, собственно говоря, наше путешествие кончалось. Дальше шли места, не испытавшие тягот и ужасов войны. Уже за нами оставался край, принявший на себя первые удары врага и тем давший нам возможность не только отразить нападение, но и перенести борьбу в неприятельские пределы. Уже за нами оставались разрушенные города Люблинской губернии, которые были искупительной жертвой за русскую Галицию, ныне возвращаемую России.

Варшава, 27-го сентября

Тревожные дни в Варшаве
(От нашего корреспондента)

«28-го сентября на левом берегу Вислы, на путях к Ивангороду и Варшаве, начались бои». Это краткое сообщение Верховного Главнокомандующего миллионному населению Варшавы говорило многое…

До самого последнего времени Варшава жила спокойно, несмотря на то что гром войны гремел вокруг нее. Относясь с полным доверием к силам русской армии, население не допускало и мысли, что немцы могут вступить в Варшаву. Объявление варшавского губернатора, извещавшее, что городу не угрожает никакой опасности, успокаивало наиболее нервных. Более осведомленные указывали, что немцы не могут идти на Варшаву, оставляя в своем тылу Ивангород. В течение всего сентября варшавяне не изменяли привычкам своей жизни. Как всегда, нарядная толпа заполняла большие улицы и кафе. Многочисленные театры не жаловались на сборы. Филармонические концерты устраивались по два в день, правда, по уменьшенным ценам. Смотря на сцене «Эльзас» или «В немецких когтях», слушая Монюшка, Чайковского, Сибелиуса, ужиная в кафе «Empire» или «Европейской», варшавяне обсуждали движение германских войск не с бóльшим волнением, чем москвичи.

Впервые тревогу в Варшаве заронили немецкие летчики. Однажды утром стало известно, что на исходе ночи (в 5 час.) побывал над Варшавой цеппелин. Цеппе-

лин был обстрелян и захвачен неподалеку от Варшавы, но появление его показалось всем дурным предзнаменованием. Заговорили, что цеппелины всегда летают над тем городом, куда немцы намерены войти…

Не забуду того энтузиазма, который охватил толпу, когда однажды всем показалось, что немецкий аэроплан подстрелен и упал в черте города… Несколько немецких летчиков было действительно подстрелено и захвачено нами в окрестностях Варшавы.

В середине 20-х чисел сентября в городе стало известно, что немцы надвигаются на Варшаву со стороны Гройц и Горы-Кальварии… Я побывал там. При мне в этом районе было «сбито» ружейным обстрелом два немецких аэроплана…

Своевременно были приняты энергичные меры. Надо отдать справедливость варшавскому губернатору, сумевшему успокоить волнение населения… Спектакли и концерты не были отменены. Понемногу обыватели, видя, что жизнь течет нормально, успокоились.

Бой отходил от Варшавы, и немцы отступали. Вечером пришло известие, что наши войска ценой геройских усилий на всех пунктах оттеснили врага. Варшава опять вздохнула спокойнее.

30-го сентября 1914 г.

Немцы над Варшавой
(От нашего корреспондента)

Прошло то время, когда жители Варшавы с простым любопытством следили за полетом над городом немецких аэропланов. Теперь, едва в высоте над Варшавой означаются резкие очертания стальной птицы, прохожие торопливо бросаются врассыпную. Одни укрываются под воротами, другие входят в магазины, в кафе, в знакомые дома. И тревога не напрасна.

— Трах!

Оглушительный удар, и брошенная с неба бомба разбивается на тысячи осколков. Иногда бомба попадает в крышу дома, иногда падает на улице среди не успевших спрятаться горожан. Осколки бомбы и пули, которыми она начинена, убивают, увечат, ранят. Слышны крики, стоны, топот бегущих ног. Гудят залпы с варшавских фортов, обстреливающих воздушного врага. Но тот старается держаться как можно выше, над перистыми облаками, оставаясь недосягаемым для выстрелов.

Уже заметили, что обыкновенно у каждого немецкого летчика бывает пять бомб и он старается использовать их все. Появление двух вражеских аэропланов означает десять брошенных бомб. Но бывали дни, что над городом пролетело и три немецких «голубя» (Таубе). Правда, некоторые из них расплатились за свое покушение: аппараты были сбиты огнем наших мортир и летчики захвачены. Но достаточно ли наказание для воздушных разбойников — стать военнопленными?

Воздушную бомбардировку Варшавы нельзя назвать иначе, как новой немецкой гнусностью. Вполне понятно употребление аэропланов на войне для разведок. Дóлжно признать и право воюющих сторон пользоваться летательными аппаратами для нападения. Хотя и имеется противоположное постановление международной

конференции, оно может считаться утратившим силу. Развитие авиации сделало за последние годы такие исполинские шаги вперед, что «беллигеренты» просто обязаны были использовать ее в своих целях.

Но нападать можно только на тех, кто способен защищаться; вести войну можно только с военной силой; это — азбучная истина. Пусть вражеский аэроплан нападает со своими бомбами на силы нашей армии, на позиции наших войск, на крепости и т. п. Горестно думать о таком нападении, но там по крайней мере враг встретит себе отпор. Против него будут направлены ружья, пушки, мортиры; за ним погонятся наши летчики. Там будет борьба — страшная, воздушная, небывалая, но борьба.

Есть ли, однако, хоть какая-либо доля права в нападении с высоты в 1500 метров на мирное население города, на гуляющую по улицам публику? Все ее «вооружение» состоит в тростях и зонтах — плохая защита против бомб, швыряемых из-за облаков! Сразить безоружного — не очень славная победа; это, вероятно, понятно и зулусам.

Несколько немецких бомб были брошены в варшавские вокзалы. Допустим, что в этом была хоть тень «военных действий». Но три дня тому назад отважный пруссак метнул бомбу на Холодной улице, <в> торговом центре, где нет никого, кроме приказчиков и покупателей: это ли называется ведением войны? На другой день было брошено три бомбы в Саксонском саду, любимом месте детских игр. Сад был полон детворой, резвившейся на кругу у фонтана и на открытых дорожках. Какая страшная трагедия могла произойти, если бы не счастливая случайность: одна бомба упала в маленький пруд, другая глубоко зарылась в клумбу для цветов.

Нет, сознание отказывается признать таких бомбометателей воинами; оно называет их разбойниками.

И пусть немцы не оправдываются тем, что их бомбы предназначены для взрыва общественных зданий. Бомбы с таким назначением должны быть начинены какимлибо взрывчатым веществом. Немецкие бомбы начинены пулями, единственное назначение которых — убивать людей. Я сам видел эти свинцовые шарики величиной с орех, которые можно было собирать горстями после разрыва одной из бомб. Вместе с тем немецкие бомбы обладают весьма значительной силой.

Может быть, немцы хотят своим бомбометанием, повторяющимся каждый день, терроризировать население Варшавы, навеять на него панику? Это, по-видимому, им не удастся. К чести варшавян надо отнести, что они встречают воздушное разбойничество хотя и с негодованием, но хладнокровно и мужественно. Прохожие, конечно, прячутся от аэропланов, несущих смерть, но дух жителей не падает и не падает их вера в русскую армию.

Я уехал из Варшавы неделю назад, в «тревожные дни», когда немцы начинали свое упорное наступление на средней Висле. Где-то поблизости раздавалась канонада, по улицам беспрерывно проходили войска, немецкие летчики уже кружили над городом. Однако начавшееся было некоторое волнение в населении очень быстро стихло. Все как-то поняли, что особенно тревожиться еще нет причин. В самый день моего отъезда (29-го сентября) Варшава имела к вечеру вполне обычный вид.

Шесть дней я провел частью в Белостоке, частью на северо-востоке Ломжинской губернии. За это время Варшаве пришлось пережить после дней «тревожных» дни

поистине «грозные». Канонада не умолкала ни днем, ни ночью, гремя без отдыха 24 часа в сутки. От пальбы все стекла в домах безостановочно звенели жалобным звоном. Разносились противоречивые слухи. Но варшавяне в громадном большинстве продолжали верить в свою безопасность. Объявление генерал-губернатора говорило им, что город не будет уступлен неприятелю, пока не будут исчерпаны все средства обороны, — и эти слова успокаивали всякую тревогу. Обычная городская жизнь продолжалась как всегда, только приспособляясь кое в чем к новым обстоятельствам.

Вернуться в Варшаву мне пришлось в самый разгар «бомбометания». Но, осматриваясь кругом, я вижу все ту же знакомую мне Варшаву, веселую, несколько беспечную, — маленький северный Париж. Стало из-за немецких аэропланов небезопасно гулять днем? Так что же? Варшавяне перенесли свои прогулки на вечер, когда темнота загоняет вражеских летчиков в их убежища, — вот и всё! И, едва наступают осенние сумерки, все та же «нарядная толпа» заливает варшавские улицы и цукерни.

Когда я пишу эти строки, гул пальбы, уже отдалившейся, еще сотрясает стекла моего окна. Сегодня еще были сброшены очередные бомбы над городом (по счастью, без особого вреда). Но лица, пережившие в Варшаве «грозные» дни, говорят мне, что теперь они дышат уже без тревоги. Самый гул упорной канонады успокаивает варшавян: он служит знаком, что русские солдаты грудью отстаивают столицу Польши.

Варшава, 7-го октября

На северном фронте[1]

Трудно найти впечатления более различные, чем те, какие получаешь, посещая два отдельных фронта наших военных действий: северный — на границе с Пруссией и южный — на границе с Австро-Венгрией. Можно даже сказать, что эти впечатления во всем одни другим противоположны. Что обычно, естественно на одном фронте, составляет исключение на другом; к чему привыкаешь на юге, представляется странным на севере. Приближаясь к пределам Пруссии, начинаешь дышать как бы иной атмосферой, чем в Люблинской губернии и в Галиции.

На юге всех окрыляет победа. Она дает спокойствие духа и уверенность в себе. Участники подвига, уже свершенного, — разгрома австрийской армии — исполнены, быть может не отдавая себе в том отчета, гордым сознанием своей силы. Все в нашей южной армии, как солдаты, так и офицеры, чувствуют себя сильными среди слабых. Отсюда в их отношениях к другим сказывается какое-то снисходительное благодушие. Офицеры и солдаты к каждому подходят с открытой душой, заранее готовы видеть во встречном человеке друга, готовы помочь, оказать услугу. Это чувство еще усиливается тем отношением, какое наши войска встречают в местном насе-

[1] Статья написана на основании личных впечатлений. В направлении к югу на нашем театре военных действий я имел случай посетить пограничные уезды Люблинской губернии и часть Галиции до Ярослава; в противоположном направлении — северные уезды губерний Плоцкой и Ломжинской, районы Млавы, Хоржеле, Остроленки, Оссовца и порубежные местности Восточной Пруссии. Поездки эти были мною совершены в разное время, на протяжении почти всех двух месяцев войны.

лении Галиции. Все то темное, грозное, что всплывает в душах в дни беспощадной, кровавой борьбы, рассеивается и тает, сталкиваясь с тихой покорностью, а иногда и с дружелюбным радушием галичан.

Совершенно иная психология нашей армии на севере, где приходится вести борьбу упорную и жестокую. Победы здесь сменяются временными неудачами; немцы упрямо отстаивают каждую пядь земли, воюют яростно и озлобленно, не брезгуя никакими средствами, чтобы нанести ущерб врагу. Это вызывает в ответ известную суровость и даже некоторое ожесточение. Недостойные приемы, к которым нередко прибегают пруссаки (обстрел Красного Креста, предательское пользование белым флагом, низменное шпионство и т. п.), раздражают, возбуждают негодование. К этому присоединяется коварное поведение местных жителей, которые почти везде ведут партизанскую войну, подают своим войскам тайные сигналы, сообщаются с армией по телефонам, скрытым в погребах; стреляют из-за угла и из окон. Естественно, что в среде нашей северной армии развивается крайняя осторожность, переходящая временами в подозрительность. Офицеры и солдаты чувствуют себя окруженными врагами со всех сторон и в каждом склонны скорее предполагать врага, чем друга.

Уже внешние картины, окружающие наблюдателя на юге и на севере, говорят, насколько различен характер войны на двух разных фронтах — южном и северном.

Нет сомнений, что и там, и здесь война отразилась на стране страшными опустошениями, от которых Польше придется оправляться долго и с трудом. Но опустошения австрийцев — это последствие или сражений, или буйства бесчинных солдат, которых командиры не хотели и не умели удержать. Опустошения пруссаков, напротив, — результат систематического уничтожения, произведенного под руководством старших офицеров. Австрийцы разрушали дома артиллерийским огнем во время боя, окопами перерывали нивы, топтали конницей поля кукурузы. Пруссаки сознательно сравнивали с землей населенные места, машинами собирали в полях картофель, уносили и увозили из городов все, что только можно было взять. На юге Люблинской губернии видишь города, поврежденные боем, но быстро оживающие, возвращающиеся к обычной жизни. На севере Плоцкой и Ломжинской губерний есть города, сожженные дотла; население других ограблено до нитки; крестьяне разбежались из деревень и попрятались в лесах, как дикие звери. Пруссаки в опустошение занятых ими местностей внесли строгую методичность и довели начатое дело до последнего конца.

Так была разрушена пруссаками Млава — место, ставшее историческим, потому что около него впервые начались военные действия. То был довольно значительный городок, в котором насчитывался целый ряд учебных заведений, — оживленный, обстроенный по европейскому образцу. В настоящее время Млава еще занята немцами, так что видеть ее лично мне не пришлось. Но, проезжая близко, я слышал рассказы местных обывателей, которым удавалось тайно пробраться в свои бывшие дома и видеть, что осталось от города. Кроме новых укреплений, возведенных немцами, все остальное кажется сплошным обширным пожарищем. Среди гигантского частокола из обгорелых труб одиноко высятся случайно сохранившиеся здания. Многие дома разрушены не во время боя, но расстреляны пушками с близкого расстояния

под предлогом репрессии. Такие строения превращены в высокий холм кирпича и мусора; свалена снарядами даже печная труба — последнее, что остается после пожара. Уничтожение достигнуто полное, и то место, где прежде стояла Млава, больше не имеет права называться городом.

Не лучше, однако, состояние городов, которые по каким-либо соображениям были пруссаками пощажены. В вагоне около Оссовца я разговорился с одним из постоянных жителей Сувалок, пережившим в городе дни владычества немцев. Если десятая доля того, что мне рассказывал мой собеседник, правда (я допускаю, что под влиянием волнения и негодования он мог иное преувеличить), этого достаточно, чтобы навсегда запятнать имя пруссаков. Не говорю уже о всем известном, так сказать «официальном» грабеже, выразившемся в наложении контрибуции, отобрании запасов в общественных складах и т. п. Немцы придумали кроме того еще особую форму грабежа с издевательством. Офицеры группами входили в магазины, которые все под угрозой крупного штрафа были открыты, и начинали выбирать подходящие им вещи. Один из офицеров при этом усердно торговался, предлагая за вещь, оцененную за 10 марок, 1½ марки и т. п. (счет было приказано вести на марки). Когда же торговец, не смея спорить с покупателями-победителями, соглашался на все предложенные ему цены, офицеры с хохотом забирали понравившиеся вещи и уносили их, не оставляя в уплату даже пресловутых «квитанций» с расчетом в Варшаве или Петрограде… Продолжая забавляться таким образом, офицеры ходили из магазина в магазин, везде выбирая все, что им нужно. Одна группа собирала теплые вещи, другая — белье, третья — бинокли, четвертая опустошала аптеки и т. д. Все совершалось хотя и с милой шуткой, но методически и в короткое время город был разграблен дочиста.

Так поступили немцы в Сувалках, главном городе области, которую они уже считали своей, дав ей даже новое название: Neu Deutschland*. Понятно, что они еще менее стеснялись в городах, которые не надеялись удержать в своих руках. В том же вагоне, где я встретился с жителем Сувалок, ехало много лиц из Граева, возвращавшихся в свой город, тогда только что освобожденный от немцев. Кругом меня всех мучило одно и то же беспокойство: найдут ли они у себя дома хоть что-нибудь. Я попытался их успокоить, указав, что нельзя же опустошить целый город, так как известно, что сожжен он не был. На это мне возразили с горечью, что я, очевидно, не знаю немецких приемов. Те, кто уже успели раньше побывать в Граеве, принесли оттуда самые плачевные известия. Немцы, взломав частные квартиры, выбрали из них все сколько-нибудь ценное: серебро, меха, даже мебель. Все это было сложено на подводы и увезено в Пруссию. А то, что осталось, немцы намеренно испортили: порвали обои на стенах, порубили ножки у диванов, разбили хрусталь… Ряд подобных рассказов был похож на кошмар; наперекор всем свидетельствам, не хотелось верить такому поистине «варварству».

Наконец, владелец одного имения у самой границы, где мне случилось побывать перед нашествием немцев, рассказал мне, во что превратилась его усадьба после «постоя» в ней неприятеля. Я хорошо помню небольшой, но милый деревенский дом, где на всем была видна любовная рука заботливых хозяев. Помню изящные

* Новая Германия (*нем.*)

занавески на окнах, пушистые ковры по полу, тщательно развешенные по стенам картины и фотографии, фарфоровые безделушки на этажерке. Помню простенький, но со вкусом убранный цветник в саду, скромные бюсты писателей в зелени, обгороженные камешками и посыпанные песком дорожки… Мне казалось, что самое изящество этого уголка должно было защитить его от всякого покушения. Между тем немецкий отряд, поместившийся в усадьбе, не удовольствовался тем, что разграбил в ней все ценное, перерезал коров, перебил домашнюю птицу, увел лошадей, взял подводы. Немцы, кроме того, безжалостно изорвали занавески и ковры, исковеркали мебель, саблями изрубили картины (не представляющие никакой художественной ценности), вытоптали цветник, с корнем вырвали старый хмель, обивавший балконы, и т. п. Они пошли дальше в своем издевательстве. Хозяин, вернувшись в усадьбу, нашел, что его кабинет обращен в отхожее место, что суповые миски употреблялись для другого назначения, что ночная посуда поставлена на столах и т. п. В этом есть уже какое-то извращение чувств, что-то патологическое.

Но, возбуждая против себя понятное негодование подобными поступками (примеры которых я мог бы умножить до любого числа), пруссаки в то же время внушают к себе что-то вроде уважения, как к достойным противникам на войне. Теперь, после двухмесячного опыта, все в нашей армии признают, что прусские солдаты обладают превосходными боевыми качествами. Они стойки в бою, грудью идут против артиллерийского огня, на штыковой удар готовы ответить штыками же; они не способны на ту панику, которая овладевает в случае поражения солдатами австрийскими. В бою под Красником, когда австрийцы тайно бежали, покинув два корпуса пруссаков, пришедших к ним на помощь, они продолжали упорно сопротивляться, несмотря на огромное неравенство сил, и были почти все перебиты. Тогда как австрийцы зачастую сдаются целыми полками, пруссаки кладут оружие лишь при самых крайних условиях. Смерть они предпочитают поражению и плену.

Мне удалось беседовать с некоторыми участниками знаменитой обороны Оссовца. Все признавали, что прусская армия вела осаду с энергией. Она прямо засыпала форты крепости снарядами; говорят, что по одному форту их было выпущено до полутора тысяч. Потребовалось все мужество, вся доблесть наших солдат, чтобы противостоять этому страшному обстрелу. Наши саперы под ожесточенным огнем должны были непрерывно работать над исправлением поврежденных укреплений. Не довольствуясь артиллерийским обстрелом, пруссаки стали готовиться к общему штурму крепости. Частичные столкновения гарнизона с осаждающими уже показали, что такой штурм мог стать очень тяжелым делом, и к отражению его готовились всеми силами… Как известно, до штурма, однако, дело не дошло. Наши пехотные части выбили пруссаков из позиций и принудили снять осаду[1].

Мне пришлось также видеть как партии пленных австрийцев, так и пленных пруссаков. Австрийцы подчинялись случайностям войны, не видя в том особой трагедии. Почти беспечно они маршировали под конвоем нескольких казаков, и те относились к вверенным им пленным со свойственным русскому человеку доброду-

[1] В Оссовце господствует убеждение, будто во время одного из боев под крепостью нами едва не был захвачен в плен император Вильгельм. Этот рассказ мне повторяло несколько лиц. Несомненно, однако, что здесь какое-то недоразумение.

шием. По-видимому, конвойные видели в пленных австрийцах таких же «несчастненьких», как сибиряки в каторжниках. «Помалкивай!» — это было самым грубым окриком, с каким обращались казаки к конвоируемым, когда те слишком увлекались шумным разговором, порой прерываемым веселым смехом. Иной вид имели пленные пруссаки. Прежде всего, почти все они (из числа тех, которых я видел) были серьезно ранены. Они шли угрюмо, опустив голову, и нисколько не склонны были вступать в беседу ни между собой, ни со встречными. «Verstehe nicht», — «не понимаю», это все, что можно было от них добиться. Иным было и отношение к ним конвоирующих солдат: строгое, сосредоточенное. Конвойные были постоянно на страже и зорко следили за каждым движением пленных, зная, что пруссаки способны воспользоваться любым случаем, чтобы вырвать из рук стражей оружие, начать отчаянную борьбу, бежать.

Добавим к этому, что прусская армия снабжена всеми новейшими техническими средствами для ведения войны. В распоряжении офицерского состава — великолепнейшие карты, на которые нанесены малейшие особенности местности. Для выполнения любого предприятия имеются особые механические приспособления, вплоть до жестянок, брызгающих керосином, и плиток конденсированного бензина для поджигания домов. При каждой войсковой части чуть ли не целый парк автомобилей для самых разнообразных надобностей. Есть, например, автомобили-кухни, снабжающие армию во время марша горячим бульоном и кофе. Во Франции, говорят, был и автомобиль-типография, где печаталась походная газета. В прусской артиллерии, как известно, находятся совершеннейшие орудия разрушения. Русской армии еще не пришлось столкнуться с пресловутыми 42-хсантиметровыми орудиями, приведшими к падению Намюр и Антверпен. Но все же немецкие орудия, выставленные против Оссовца, обладали страшной разрушительной силой. Огонь немецкой артиллерии был меток и губителен, и наши артиллеристы отдают пруссакам честь, как достойным противникам.

Богато оборудована прусская армия и воздушными силами. До войны считалось, что Германия занимает далеко не первое место по размерам своего воздушного флота; теперь это мнение необходимо изменить. Несмотря на то что немцы почти ежедневно терпят урон в воздушных боях, теряют десятками аэропланы и насчитывают уже немало подбитых и захваченных цеппелинов, — немецкие летчики продолжают кружить над всеми неприятельскими позициями. Словно на место одного сраженного воздушного чудовища у них вырастает два других. Когда я совершал поездку по северу Плоцкой губернии (перед самым занятием ее германцами), немецкие аэропланы летали стаями. Их каждый день появлялось так много, что местное население перестало обращать на них внимание. Я сам, случайный проезжий, уже не подымал головы, заслышав над своим экипажем характерное жужжание пропеллера. В Варшаве в дни, когда немцы вели энергичное наступление на столицу нашей Польши, немецкие летчики тоже были самыми заурядными гостями. Многие из них, из непрошеных гостей с воздуха, превратились после меткого обстрела с варшавских фортов в пленных, но число аэропланов, реющих над городом, от этого не уменьшалось. Также беспрерывно парили немецкие летчики над Оссовцом, над Сувалками, над всеми городами, которые пруссаки надеялись занять.

Замечу здесь кстати, что меня всегда поражало различие в эволюциях немецких и русских летчиков. Немецкий аэронавт вносит и в свое дело прусскую методичность. Он летит прямо, ровно, неспешно; при обстреле медленно поднимается выше. Видно, что, неуклонно описывая над городом круг за кругом, он с точностью выполняет данное ему поручение. Русский летчик, напротив, бросается ввысь стремительно, взлетает как пущенная стрела и как ястреб гонится за врагом. Немец, заметив погоню, спокойно поворачивает и начинает уходить как будто неторопливо, но развивая все бóльшую и большую скорость… Таков же характер эволюций и «воздушных кораблей». Я видел цеппелин над Варшавой. Сверкая в утренних лучах металлической чешуей, он плыл в воздухе, как огромная военная шлюпка под мерными взмахами весел. Можно было подумать, что он явился на смотр, чтобы демонстрировать красоту своих движений, и было странно узнать впоследствии, что где-то в городе он бросил бомбу, кого-то убил, что-то разрушил. Совершенно иначе двигался русский дирижабль, который я наблюдал во время одной из своих поездок. Он подвигался как-то порывисто, поворачивался нервно, даже клубы пара выбрасывал с какой-то торопливостью; в нем чувствовалась не столько машина, сколько живой дух людей. В воздушном состязании между пруссаками и русскими сказываются различные психологии двух армий…

Самую деятельную поддержку прусским войскам оказывает немецкое население пограничных районов. В этом проявляется какая-то слепая племенная ненависть. Не только мужчины, но даже женщины и дети становятся добровольными шпионами, выслеживают каждый шаг русских и обо всем доносят всеми доступными средствами своей армии. Кажется, ни один немец не упускает случая причинить вред русским; ему все равно — сбить с толку ложными показаниями, завести на неверную дорогу, угнать у офицера лошадь или прямо убить ненавистного врага, выстрелить ему в спину, отравив предлагаемое молоко, зарезав спящего. Мне рассказывали о чудовищных поступках в этом роде, совершенных немецкими девушками с кроткими голубыми глазами и подростками, маленькими Фрицами и Генрихами. Те же из немцев, которые не чувствуют себя в силах вредить неприятелю, убегают. При приближении русских войск города и деревни Восточной Пруссии пустели. Люди обрекали себя на полуголодное существование бездомных бродяг, только бы не быть под властью русских.

Прямо против Граева, на прусской территории, стоит городок Просткен (Простки). Как только выяснилось, что германская армия вынуждена отступить, этот городок тотчас вымер. Бежали поголовно все, стар и млад, богатые и бедняки. В происшедшем затем артиллерийском бою Просткен был сильно поврежден. Теперь он представляет странное зрелище большого нежилого поселка. Одни дома лежат в развалинах, другие, уцелевшие, пусты. Признаки жизни есть только в тех зданиях, которые заняты нашими офицерами. Не открыто ни одной лавчонки; на улицах буквально ни одного «вольного» человека, только наши солдатские и офицерские шинели. Конечно, такое поголовное бегство оказывалось невозможным из более населенных центров. Мне передавали, что в Лыке часть местных жителей, немцев, осталась. Но все поневоле оставшиеся в городе первоначально попрятались в погреба и сараи и вышли на свет только под угрозой голода, убедившись, что ухода русских им не дождаться.

Таковы тяжелые условия войны на нашем северном фронте. Там перед нами — сильная и мужественная армия, богато снаряженная средствами нападения и обороны, одушевленная духом ненависти к противнику, неразборчивая в приемах борьбы, поддерживаемая местным населением. Она не довольствуется нанесением вреда воюющим силам, но стремится еще запугать мирных жителей, всячески их оскорбляет, хочет навести на них ужас. Такого противника не довольно «разбить», его необходимо «уничтожить», т. е. лишить возможности возобновить нападение.

Не будем из ложного опасения быть пристрастными закрывать глаза на возмутительное поведение пруссаков. Факты вопиют, и их слишком много, чтобы в них сомневаться. «Немецкие зверства» — не выдумка сочинителей трогательных фильмов для кинематографа, а горестная действительность. Мы вправе презирать пруссаков за все, совершенное ими, от разгрома реймского собора до расстрела детей в польских городах. Но не будем закрывать глаза и на страшную силу, представляемую прусской армией. Немцы в военном деле поистине не потеряли сорока лет, прошедших со времен франко-прусской войны. Они создали войско, равного которому по дисциплине, по способности преодолевать трудности, по стойкости в деле еще не бывало в Западной Европе. Прусская армия, может быть, — самый опасный противник, какого когда-либо имела перед собой Россия.

Воздавая должное прусской армии, мы тем самым по справедливости оцениваем и доблесть наших войск, успешно борющихся с ней. Чем сильнее и опаснее враг, тем славнее победа над ним. На нашем северном фронте нам не были суждены такие громкие успехи, как разгром австрийской армии в великой галицийской битве, стремительное занятие Львова и Ярослава, переход через Карпаты, вторжение в Венгерскую равнину. Но, нисколько не преуменьшая заслуг нашей южной армии, свершившей длинный ряд трудных и славных подвигов, мы можем сказать, что наравне с ними достойны стать и успехи нашей северной армии, с виду, может быть, не столь блестящие. Отважный набег генерала Ренненкампфа на Восточную Пруссию, победа на Немане и в Августовских лесах, оборона Оссовца, двоекратное занятие Лыка и Бялы, наступление в области Мазурских озер, — это все действия, которые будут высоко оценены военной историей. Масштаб событий здесь менее грандиозен, чем на границах Австро-Венгрии, где от наших ударов рушатся целые государства, но в борьбе с Пруссией нами проявлена, может быть, еще бóльшая энергия. Мы присутствуем здесь при том же ходе дел, как в северной Франции, где результатом многодневных тяжелых боев бывает возможность продвинуться вперед на 3–4 километра.

Случайный проезжий, почти «турист», каким был я, совершая свои маленькие поездки в тылу наших армий, встречает различное к себе отношение на юге и на севере. Но меня не обманывало это внешнее различие, и я знал, что за видимой суровостью нашей северной армии таится та же простая, приветливая душа русского солдата, которая так непобедимо влекла к себе на юге. В конце концов борьба русской армии с прусским нашествием есть борьба *живой силы* с *мертвым механизмом*. Немцы всего более полагаются на свою *технику*. Как методически летают их аэропланы, так систематически направляют свои действия их стратеги и тактики; даже опустошают и грабят немцы по системе. Мы противопоставляем им живую волю человека — армию, не оживленную слепой дисциплиной и темной ненавистью, но

одушевленную сознанием долга и верой в правоту своего дела. В этом — залог нашего успеха. Человек *должен* победить машину, душа — технику. И потому, как ни сильна и грозна прусская армия, мы можем верить в наше конечное торжество.

Белосток, 5-го октября

После победы

I. Поле битвы

Мы — в 3–4-х верстах от Прушкова, небольшого городка, лежащего в 17-ти верстах от Варшавы. Сзади нас — деревня, в которой ряд домов разбит артиллерийскими снарядами. Впереди — кирпичный завод, также пострадавший от обстрела, и линии узкоколейной железной дороги. Кругом — равнина с чуть заметными повышениями: сначала поля, засаженные репой и капустой, потом болотистые луга, затопленные недавними дождями. Это — место одного из ожесточеннейших боев за обладание Варшавой.

Вся равнина — как и другие поля под Варшавой, мимо которых мы проезжали, — изрезана окопами. Через потоптанные гряды репы, через ряды поломанных кочанов капусты, в пожелтелой осенней траве, и по грунту из липкой глины тянутся изгибающиеся линии глубоких канав, то ровных, с гладкими стенками, то вырытых наскоро, нервно, при стремительном наступлении. Почти через каждые сто шагов — новый окоп. Одни были заготовлены заранее, снабжены блиндажами из досок, соломы и дерна, представляют надежные прикрытия. Другие — простые ямки, сделанные наспех, в 3–4 взмаха лопаты, и дают только-только возможность укрыть голову от летящих вперегонку пуль. Опытный глаз солдата сразу различает особенности окопов: «Это — наши, а те — немецкие». Но для нас все окопы сливаются в одну запутанную сеть ходов и переходов, и кажется, что тысячи гигантских кротов работали здесь над сооружением огромного подземного дворца.

Глубь окопов и края их засыпаны картонами от патронов и самими патронами. Все поле также усеяно расстрелянными патронами. Их числа, а следовательно, и числа сделанных выстрелов не сосчитать. Можно было бы сгребать лопатами эти полые медные цилиндрики. Когда выглядывает из-за туч солнце и луч его ударяет в этот медный посев, — все поле сверкает точно золотое. Тут же валяются осколки шрапнельных гранат, а местами — целые «стаканы» и их блестящие «головки». Тут же — разорванные ранцы и сумки, погнутые походные фляжки, ременные пояса, фуражки, записные книжки, размокшие от дождя… Недавно еще все это кому-то принадлежало, кто-то говорил об этом ранце: «Он — мой», надевал ту фуражку как «свою». Сегодня это все — ничье, это — грандиозный, еще не подметенный сор битвы.

А вот одна за другой широкие воронки в земле, развороченной, разметанной вокруг громадными клоками дерна. Это — места, куда ударяли гранаты. На дне воронки, где теперь скопилась дождевая вода, можно разыскать разбитый «стакан» из мощной стали и толстые стальные куски; шрапнель разлетелась на сотни шагов кругом. Подобные ямы *за* нашим окопом означают «перелеты»; *перед* окопом — недолеты. Но иногда видишь, что воронка врезалась в самый окоп, грозно его углубила, обрушила его края… О силе удара можно судить по тому, что в одном таком

месте мы нашли разбитую гранатой винтовку; приклада и ствола не осталось вовсе, а стальное дуло было согнуто, свернуто как тонкая проволока, почти завязано в узел.

Делаем несколько шагов в сторону, и перед нами — человеческое тело: солдат-пруссак, которого еще не успели похоронить. Он лежит, раскинув руки, ничком; одет в походную форму, но сапоги с него кем-то сняты, и видно, что на ногах у него — вязаные шерстяные носки. У левой лопатки, на спине, мундир разорван и залит потемневшей кровью. Лица нельзя рассмотреть, но под правой рукой лежит письмо, смятое, измоченное дождем. Наши глаза невольно читают адрес, выведенный старательным почерком на самом конверте: Feldpostbrief, «Landwehrmann H…B…, 1 Kampf. Landwehr Rg. II, 5-te gemischte Inf Brigade»*… Какая трагедия, быть может, разыгрывалась здесь, на этом клочке земли, когда умирающий, брошенный товарищами, доставал в последние минуты из своего ранца и сжимал холодеющей рукой дорогое ему письмо из родной Германии!

Немного далее, за кирпичным заводом, — уже десятки трупов. Все — немецкие солдаты, так как наших санитары хоронят в первую очередь. Убитые частью положены в ряд, для погребения в общей могиле, частью остались на тех местах, где их застигла смерть. Здесь есть юноши лет по 20-ти, как будто улыбающиеся; есть бравые, усатые пруссаки, есть простые мужицкие лица. Вероятно, в ранце каждого из них тоже можно было бы найти письмо от матери, жены или невесты… В другом месте поля, за стогом сена, — группа убитых шрапнелью лошадей. Зрелище чудовищное: оскаленные зубы, закатившиеся глаза, разорванные животы, дико поднятые вверх и так окоченевшие ноги. У одной лошади снарядом оторвана голова и далеко отброшена в сторону… Около самого города — такие же тела коров, застигнутых артиллерийским огнем. При нашем приближении от падали с карканьем поднялись вороны.

Там и здесь мы читаем краткие, торопливой рукой сделанные надписи на белом дереве свежих крестов, что водружены под невысокими холмиками рыхлой земли: «Начальник -аго батальона и 17 солдат, убитые одним снарядом»; «Четырнадцать нижних чинов» (перечислены имена); «Поручик», — ничего не добавлено к этим сухим показаниям. Но никакие многоречивые эпитафии на роскошных кладбищах, установленных художественными мраморными и пышными мавзолеями, не волнуют так, как эти простые, суровые слова на деревянных крестах, затерянных в поле. Перед этими могилами наших безвестных героев, рассеянными на пространстве от Балтийского моря до Карпат, должно благоговейно обнажать голову и преклонить колени. Здесь спят люди, отдавшие свою жизнь за то светлое будущее Европы, которое ей обещает «великая война» наших дней.

Возвращаемся назад, на кирпичный завод. Там — маленький склад наших боевых трофеев. Многое уже увезено. В бою при полотне железной дороги нами была взята целая батарея, кажется, из 12-ти орудий; они теперь в Варшаве. Но все же вдоль стены расставлены немецкие винтовки; кучками и горками сложены на полу сабли и каски с медным орлом; зарядные ящики стоят один на другом, как ящики с консервами в гастрономическом магазине; наши солдаты заботливо свертывают и убирают пулеметные ленты, отнятые у неприятеля. На других полях трофеев еще

* Полевая почта, «рядовой ландвера <ополченец> Х… Б…, 1-е подразделение 2-го полка ополчения, 5-я смешанная пехотная бригада» (*нем.*).

больше. В Пясечной прусские каски навалены грудами, а прусскими ранцами набит полный сарайчик. Зная упорство пруссаков в бою, можно быть уверенным, что они понесли поражение серьезное, если оставили столько военных трофеев в руках противника. Глядя на оружие и на вещи с прусским клеймом, охраняемые русскими часовыми, начинаешь *чувствовать* нашу победу. Со вздохом облегчения сознаёшь, что не напрасно выросли в полях белые кресты и недаром были принесены тяжелые жертвы.

Осмотрев трофеи, мы медленно двигаемся по направлению к городу. Характер поля не меняется: те же окопы, тот же золотой посев патронов, вещи, брошенные врагом при отступлении, свежие кресты над братскими могилами. Сколько хватает глаз, вдали, за линией железной дороги, — то же самое. Мелкий дождь, моросящий уже несколько дней, обратил окопы в наполненные водой, грязно-скользкие ямы. Дует пронизывающий ветер. При такой же погоде приходится биться и солдатам, стоя по колени в холодной воде, перебегая и переползая по липкой, расплывающейся под ногами глине. Кругом — ни деревца; даже те, что стояли вдоль дороги, порублены и повалены, чтобы затруднить движение врага. Сражались на открытом месте, лицом к лицу.

С нами были два солдата, которых мы взялись подвезти на автомобиле к Гродиску, куда перешел их полк. Оба оказались людьми толковыми и понимающими свое ремесло. Один из них «проделал» вся японскую кампанию, а в эту войну уже побывал со своим полком в Восточной Пруссии, пройдя до Инстербурга. Оба участвовали именно в бою под Прушковом. Они подробно разъяснили нам весь ход боя, указали, где стояла артиллерия, как продвигалась пехота, какие здания служили для прицела и т. д. Признаться, я мало вникал в эти объяснения. Военный историк, в свое время, обстоятельно расскажет все отдельные эпизоды боев под Варшавой. Меня больше интересовала та картина, которая была перед моими глазами сейчас, в эту самую минуту.

Да, передо мною было «поле битвы». Я видел воочию тот страшный, «завтрашний» день боя, о котором столько раз читал, в стихах и в прозе. Для полноты картины недоставало только раненых. Но их я много видел накануне в Варшаве. Тяжелораненых, с землистыми лицами, несли на носилках или перевозили в закрытых каретах. Легкораненые, с перевязанной рукой или головой, ехали в особых вагонах трамвая, радостные, счастливые одержанной победой. С некоторыми я говорил, и они показывали мне, с гордостью, свои военные трофеи, взятые у сраженного врага: прекрасные бинокли, сабли с золотыми вензелями, изящные дорожные сумки — с зеркалом, гребенкой и фляжечкой коньяку. Теперь я видел кресты над менее счастливыми товарищами этих победителей; видел их врагов, еще лежащих на земле в лужах своей крови; видел следы отступающей немецкой армии, в виде брошенных ранцев, поясов, фуражек, записных книжек; видел, наконец, самый «театр действия», это поле, изрытое окопами, укрываясь в которых, наши, шаг за шагом, теснили врага. Здесь, в сокращении, на одном характерном примере, передо мной была вся техника современного сражения.

Бой под Прушковом — небольшой эпизод упорной борьбы за обладание Варшавой. Эта борьба, считая от первых кавалерийских столкновений, длилась две недели

и еще не может считаться вполне законченной. Фронт тех немецких сил, которые непосредственно угрожали Варшаве, тянулся почти на 100 верст (если считать действия против Ивангорода отдельной операцией). В прежнее время, полстолетия назад, это считалось бы громадным боем, генеральным сражением. Но масштаб современной войны так велик, что все движение немцев на Варшаву оказывается лишь одним эпизодом в наступлении германской армии на центральную Польшу. Бой при Прушкове с такой точки зрения кажется ничтожной пылинкой, почти незначащим явлением в кругу великих событий.

Мы вправе, однако, отказаться от такой, слишком громадной для нашего воображения меры, при которой исчезает всякая ценность не только отдельных личностей, но даже десятков тысяч людей, целых городов и целых областей. Мы вправе смотреть с более близкой точки зрения, с которой видно, что этот бой при Прушкове, как и одновременные с ним бои при Блони, при Пясечной, на пути в Тарчин и Гройцы, вокруг Горы-Кальварии и др., спас Варшаву от нашествия германцев. Немцы, бесспорно, хотели во что бы то ни стало овладеть столицей нашей Польши; им это было нужно, чтобы произвести впечатление в Европе, чтобы воспользоваться громадными запасами всякого рода, собранными в Варшаве, чтобы зазимовать в богатом и благоустроенном городе. Они сосредоточили на путях к Варшаве силы весьма значительные (опять-таки, еще недавно сказали бы «огромные»), пустили в ход все средства, вплоть до наводнения города шпионами и предателями и запугивания жителей метанием бомб с аэропланов. Но все усилия разбились о спокойную твердость русского солдата и мужественную лояльность местного населения. Немцы, захватывая города Варшавской губернии и даже Варшавского уезда, докатились лавиной почти до самых предместий Варшавы, но здесь встретили решительный отпор. После 14-дневных боев, стоивших жизни тысячам и тысячи выведших из строя, немцы теперь выбиты изо всех своих укрепленных позиций и отброшены за 70–80 верст от города. Пусть стратеги расценивают этот успех как второстепенный. Миллионное население Варшавы видит в нем свое спасение от того стыда и ужаса, которое пережил Брюссель, и новый подвиг русской армии относят к числу ее лучших заслуг в эту войну.

Нужно самому пережить угрозу неприятельского нашествия, чтобы понять, с каким чувством мы, жители Варшавы, глядим теперь на поля битв вокруг нее.

Варшава, 10-го октября

После победы

II. Основа наших побед

За два дня мы (я с двумя товарищами) объехали все важнейшие пункты боев под Варшавой. Всюду была одна и та же картина: несчетные окопы в полях и вдоль шоссе; вновь сооруженные форты для артиллерии, окруженные колючей проволокой; миллионы расстрелянных патронов, засыпавших почву, словно выпавший медный град; разрушенные или поврежденные снарядами строения; срубленные и поваленные деревья; трупы лошадей, а иногда и человеческие тела, ждущие погребения; ряды свежих крестов над братскими могилами. Все свидетельствовало, что везде борьба была одинаково жестокой и упорной.

По тем же дорогам мне случалось проезжать недели две назад, при самом начале наступления немцев. Новые земляные сооружения местами совершенно изменили пейзаж. Прежние однообразные гряды или нивы заменились странно изрытыми, словно изрезанными полями. Можно было только удивляться той энергии и тому напряжению, которые могли в короткое время выкопать все эти канавы, возвести все эти валы, укрепить все эти склоны. Думалось о том, что сейчас миллионы рук роют землю от Балтийского моря до Карпат и от Атлантического океана до Альп и что для человечества, если бы оно в мирное время дружно работало с таким же усердием, предприятия вроде прорытия Панамского канала были бы нетрудным делом нескольких месяцев.

Ехать нам пришлось под дождем, льющим последние дни над Варшавой не переставая. Поэтому мы на личном опыте могли убедиться, какие затруднения преодолевали немцы в своем наступлении. По шоссе наш автомобиль подвигался еще довольно успешно. Но как только мы сворачивали на проселочные дороги, колеса безнадежно завязали в глубокой грязи. Не раз мы должны были выходить и собственными руками выволакивать погрязший экипаж. Между тем в Бельгии и в Пруссии германская армия всю свою артиллерию перевозила на автомобилях. На автомобилях же следуют обычно за немецкими войсками различные припасы, походные кухни и т. п.

На первых верстах мы постоянно обгоняли фуры и телеги «беженцев», возвращавшихся в свои освобожденные города. Преимущественно то были евреи, составляющие большинство городского населения в центральной Польше. Из окошек старинных фургонов и с высоты телег, перегруженных сундуками, корзинами и узлами, смотрели на нас измученные лица с выражением какого-то тупого безразличия. Женщины, охватив руками свой жалкий скарб, бессмысленно уставляли глаза перед собой, словно не видя ничего. Старики-евреи с таким же равнодушием сидели в глубине фур, как деревянные статуи пророков. Казалось, всем было все равно, куда ехать и сколько времени длить путь. Жизнь столько их мыкала, что они более не ощущали ее толчков. Даже возчики не обращали внимания на гудки нашего автомобиля и не сворачивали в сторону. Только черноволосые ребятишки испуганно, но с любопытством оглядывали и нас, и все окружающее.

Жизнь уже выработала в Польше определенные приемы для «беженцев». При известии о приближении немцев к городу жители укладывают по-дорожному все наиболее ценное и необходимое, прячут остальное в укромных местах, собирают все экипажи, какие только можно достать, набиваются в них со своими вещами сверх меры и едут «куда глаза глядят», верст за 50–70 в сторону. Одни находят приют в соседнем городе у родных или знакомых. Других принимают разные благотворительные учреждения. Третьи, наконец, располагаются табором в первом попавшемся лесу. Таборяне учреждают свое временное управление, выставляют стражу, дежурящую день и ночь, выбирают старост, распределяющих провизию между всеми поровну, на коммунальных началах и т. п. Потом, узнав, что их город вновь стал «вольным», беженцы вновь укладывают имущество на повозки и тянутся на родное пепелище. Есть местечки, которые по два и по три раза пережили такое выселение.

Навстречу нам по пути к Варшаве шли партии пленных пруссаков. Раненых везли поодиночке в каких-то одноколках. Пруссаки, бледные, угрюмые, ехали не поднимая глаз: казалось, им было мучительно стыдно своего положения. Пешие шли группами по 8–10 человек под конвоем наших солдат. Мы пробовали заговаривать с пленными (конечно, по-немецки), но они отвечали крайне неохотно, а то и вовсе не отвечали. Моим товарищам хотелось приобрести на память прусские каски. Но долгое время никто не соглашался на такой торг. Один молодой пруссак с интеллигентным лицом обидчиво возразил: «мне моя каска нужна самому!» и отказался от дальнейших разговоров. Наконец нашлось два солдата, решившихся на продажу. Они уступили нам по рублю две каски с медным орлом, разноцветными кокардами по бокам и надписью: «Mit Gott für Kaiser und Vaterland»*. Оба эти солдата сдались добровольно. Они отбились от своей части, проблуждали целый день по незнакомой местности и, видя, что им не пробраться сквозь ряды русских войск, пошли в ближайшую деревню, где попросили накормить себя и сдать русским.

Параллельно с нами подвигались бесконечные цепи обозов и новые колонны наших полков. На привалах невольно завязывались беседы с офицерами, которые еще продолжали жить исключительно впечатлениями недавнего боя. Ни о чем другом им не хотелось ни думать, ни говорить. Напряжение, пережитое ими, было так велико, что даже не было желания отдохнуть от него, перенесясь мыслью к другим вопросам. Солдаты, напротив, охотно болтали о чем-нибудь постороннем и увлекались рассказам о бое лишь после того, когда мы их начинали расспрашивать. С несколькими солдатами нам пришлось провести довольно долгое время вместе. То были «одиночки», догонявшие свой полк и просившие их подвести. Такие просьбы мы, конечно, исполняли с истинным удовольствием, тем более что бесхитростные рассказы солдат всегда очень живо представляли нам недавние события.

Не могу не помянуть здесь одного солдата, проехавшего с нами почти от самой Варшавы до Прушкова. То был простой крестьянин Могилевской губернии, но он с большой вдумчивостью оценивал все, что было им пережито во время войны. В свое время он «проделал» всю японскую кампанию, а теперь, прежде чем попасть под Варшаву, уже побывал со своим полком в Пруссии, пройдя до самого Инстербурга.

Разумеется, чаще наши разговоры вращались около недавних боев. Нам пришлось опять выслушать много рассказов и от офицеров, и от солдат, о коварстве пруссаков, о злоупотреблении белым флагом, обстреле Красного Креста и т. д. Об этом все говорили с негодованием, но как о чем-то общеизвестном, не требующем доказательств. Много рассказывали нам и о подвигах, находчивости и мужестве отдельных лиц. Но эта война дала нам уже столько примеров личной отваги, что, чтобы собрать их все, потребовалось бы писать целые тома. В свое время, занесенные в семейные записки и мемуары, они станут общим достоянием и любимым чтением юношества.

В один голос все наши собеседники констатировали неуспех немецкой артиллерии. В пределах Польши немецкие орудия оказались гораздо менее опасными, нежели «у себя дома». В Восточной Пруссии все расстояния были немцами заранее измерены; два года подряд они устраивали там большие маневры и изучили малей-

* С Богом за кайзера и отечество! (*нем.*)

шие детали местности; огромный штат шпионов-профессионалов и добровольцев помогал армии и регулировал стрельбу батарей. Поэтому в Пруссии немецкий артиллерийский огонь отличался убийственной меткостью, и немцы прослыли за превосходных артиллеристов. В Польше эта слава значительно померкла.

Доехав до полей битв, мы везде встречали следы артиллерийского боя. Деревья, строения, ограды — все носили на себе свежие раны, нанесенные сталемечущими чудовищами. Везде виделись сокрушенные балки, обрушенные кирпичи, пробитое железо или страшные царапины по камню и по металлу, словно от когтей небывало огромного зверя. Лес неподалеку от Хойнова весь искалечен артиллерийским обстрелом. Громадные стволы расщеплены гранатами; с лесных гигантов снарядами, словно кожа, содрана кора на аршин и больше; дубы и вязы просверлены пулеметными иглами; молодняки как будто перерублены пополам.

Другим признаком артиллерийских боев были срубленные деревья. Они мешали свободному обстрелу, и их безжалостно уничтожили. Грустно было ехать по дороге, по обеим сторонам которой стоят, на равных промежутках, словно толстые тумбы, величавые пни. Еще недавно здесь была тенистая аллея, одна из тех, что придают особую прелесть пейзажам Западного края. Теперь дорога сразу обезличилась, не то облысела, не то ослепла. Потребуется целое столетие времени, чтобы вновь придать ей прежний вид. Можно мечтать о воссоздании реймского собора, но человеческая воля и все наши труды не властны воссоздать столетние вязы, дававшие тень нескольким поколениям путников.

В другом месте были срублены и повалены на дорогу обрамлявшие ее высокие ветлы. Словно гигантский хворост лежат они, перекинувшись с одного края на другой. Прежде путь шел здесь, словно в густой заросли, между двумя зелеными стенами, с одним отдаленным просветом впереди. Теперь слева и справа открылись тонкие болотистые низины. Дорога стала плоской и скучной… Зато цель была достигнута, и немцам не удалось провезти здесь свои тяжелые орудия на помощь к обстреливаемой нами батарее.

«Артиллерийские дуэли» заполняли всю первую половину боев под Варшавой. Противники стояли так далеко друг от друга, что целиться приходилось по картам и по компасу. Боролись ожесточенно, не видя один другого. То были именно те дни, когда варшавяне, выйдя за заставу, с тревогой наблюдали, как в темном небе, кое-где освещенном заревами, вспыхивают розоватые и синие огни лопающихся шрапнелей и гранат. За «артиллерийскими дуэлями», заставившими немцев отойти от самой Варшавы, начался ружейный обстрел. В течение нескольких дней надо было стрелять, медленно передвигаясь из окопа в окоп, опять не видя врага в лицо. Наших солдат раздражал такой бой «втемную». Рассказывая о пережитом, они жаловались только на эти томительные часы в ожидании «настоящего» боя, когда лишь одни старшие офицеры знали, что именно происходит. Слушая эти наивные жалобы, я невольно вспоминал героя лермонтовского «Бородино», который тоже негодовал:

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
. . . . . .

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Суворовская традиция оказалась живой в нашей армии, и наши солдаты до сих пор «пуле-дуре» предпочитают «штык-молодец».

— Офицеры, ваше благородие, не пускают, а то бы мы их (т. е. немцев) живо проучили! — говорил мне на передовых позициях один солдат еще в первые дни боев.

И бывали случаи, не дожидаясь команды, увлекая друг друга оглушительным «ура», бросались вперед, добегали под огнем, сражавшим направо и налево, до неприятельской позиции или даже батареи и действительно «выбивали» немцев. В штыки несколько раз переходили при Пясечной. Штыками были взяты обратно Тарчин и Гройцы, в Гройцах бились врукопашную даже на улице (единственной в городе) и в домах, где немцы пытались забаррикадироваться столами и скамейками.

— И колешь, и вместе стреляешь, — рассказывал мне с восторгом один молодой солдат, но в словах его не было никакой жестокости: его увлекало не самое убийство, а возможность проявить, наконец, личную храбрость и силу.

Только внимательно осмотрев поля битв, можно представить, с какой тщательной обдуманностью действовали немцы. План всех их окопов в Варшавской губернии был бы, вероятно, весьма поучителен для военного техника. Многие сооружения возведены словно напоказ: геометрически правильно выровнены края окопов, прочно, как бы на долгие годы, устроены прикрытия; с суровым вкусом обрезаны углы фортов. Можно любоваться этой солидной и по-своему красивой работой. Вместе с тем окопы были рассчитаны так, что давали возможность под прикрытиями и подвигаться вперед и отступать. При таких условиях, постоянно под охраной блиндажей и при поддержке артиллерии, совершился, например, отход немецких сил от Прушкова к Блоням. Наконец, внимательно были использованы немцами все находившиеся в районе строения: конюшни, обращенные в форты с бойницами, ограды, сделанные крепостными стенами, мельницы и т. д.

Ничто, однако, не спасло немцев от поражения. Наши передовые отряды, несмотря на значительное численное неравенство, задержали наступление до подхода главных сил. Вновь прибывшие войска, проводившие иногда несколько суток в переполненных вагонах и совершившие трудный ночной переход под дождем, являлись на поле битвы бодрыми и готовыми на любой подвиг. Солдаты покорно выжидали свое время, под огнем, на позициях, вели перестрелку, стоя по колени в холодной воде, и в конце концов решили борьбу «штыковым ударом».

Воздадим должное вождям нашей армии: наша стратегия нашла себе высокую оценку у западных авторитетов, во Франции и в Англии. Но призна́ем, что главной основой наших побед все же был *русский солдат*. Германское нашествие на Варшаву разбилось об его выносливость и мужество, об его веру в свое дело и готовность за него умереть.

Варшава, 11 октября

После победы

III. На полях битв под Варшавой

В течение двух недель центральная часть Варшавской губернии была театром военных действий. В местечках и деревнях то стояли русские полки, то хозяйничали немцы, то происходили тяжелые и упорные бои. У всех поляков при мысли об этом сжималось сердце; перед всеми вставал вопрос: что же сталось с этим богатым краем, где люди привыкли жить в довольстве, а иногда и в роскоши?

Первые дни наступления немцев вызывали самые горестные ожидания. Беглецы являлись в Варшаву тысячами. Заставы были запружены телегами и фурами, набитыми всяким домашним скарбом и людьми, не знавшими, куда им деваться. Многие здесь же, в варшавских предместьях, — на Воле, например, — располагались станом и на все вопросы, что они намерены делать, бессмысленно отвечали, что останутся здесь, что им идти некуда. Плакали женщины, ревели дети; мужчины угрюмо стояли у своих телег, дойдя до того состояния отчаяния, когда уже «руки не поднимаются», чтобы что-нибудь сделать.

Город принял деятельное участие в «беженцах», распределил их, сколько мог, по разным учреждениям, возникшим за последние месяцы в Варшаве, дал бездомным кров, кормил голодных. На попечении Варшавы уже были тысячи беглецов, ушедших раньше из более отдаленных местностей, начиная с Калиша.

Первые дни боев еще более удручили общее настроение. По вечерам на горизонте, в разных местах, отчетливо выступали зарева. Все знали, что это горят города, деревни и отдельные усадьбы. Постепенно приходили вести о разгроме того или другого местечка. Грохот беспрерывной канонады заставлял думать, что все пощаженное немцами будет разрушено артиллерийским огнем.

Сами варшавяне сносили беду бодрее, чем можно было ожидать. Тревога в городе быстро улеглась и никогда не доходила до паники. Не вызывали особого волнения даже подозрительные субъекты, которые, в эти «грозные дни», внезапно появлялись в толпе, начинали шепотом сообщать, как очевидцы, будто передовые немецкие отряды подошли к такой-то заставе или уже вступили в такое-то предместье. Несмотря на выезд из города правительственных учреждений и другие зловещие признаки, население продолжало верить, что русская армия оборонит его от немецкого нашествия.

Труднее было положение «беженцев», которые своими глазами видели пожар родных домов и, следовательно, гибель всего своего достояния. Сначала в рядах этих злополучных поминутно слышались рыдания. Ко всем они обращались с жалобами на свою судьбу. Потом наступило тупое оцепенение. В «Швейцарской долине», в цирке, в городских скверах, отведенных им под жилье, беженцы целыми часами сидели неподвижно, не обмениваясь между собой ни словом. По вечерам холодное отчаяние влекло их за заставу, где они упрямо вперяли взор в зарево пожаров и в огоньки далеких шрапнелей, бороздивших небо, с думой о своих разрушенных жилищах.

Невольно вспоминались сцены классической древности. Так, вероятно, всматривались в пылающее небо жители Аттики, собранные Периклом в Афинах, когда Агесилай, вторгнувшись в их землю, предал огню и мечу окрестные деревни, виноградники и масличные рощи… Так же озирали с ужасом даль беглецы из Кампаньи,

приютившиеся в Риме, когда Ганнибал, подступив к вечному городу, жег все кругом. Как верно передал эту картину в одной терцине сонета Ж.-М. Эредиа:

И каждый вечер вновь в поля на акведуки
Сонм женщин и детей спешит, ломая руки,
На зарево глядеть и плакать в тишине…

Позднее, когда немцы начали отступать, пришли более утешительные известия. Говорили, что на этот раз немцы оказались милостивее, чем обыкновенно. Они не поджигали городов преднамеренно, как в Бельгии, и не позарились на скудное имущество жителей местечек вроде Прушкова, Гройц, Пясечной… Кроме того, пребывание немцев в Варшавской губернии было слишком непродолжительно, чтобы они могли причинить краю серьезный вред. Не было времени приступить, как, например, в Домброве, к систематической эксплуатации местных естественных богатств или, как в Сувалках и многих других городах, вывезти за границу все наиболее ценное на подводах. Луч надежды засветился в душах «беженцев». Все же, выезжая для осмотра полей недавних битв, мы с тревогой ожидали, что встретим картины такого же страшного опустошения, какое видели на юге Люблинской губернии и в пограничных районах Галиции.

По счастью, наши опасения оказались преувеличенными. Само собой разумеется, что проход неприятеля и многодневные артиллерийские бои оставили на крае глубокие следы. Но я, по крайней мере, ожидал опустошения гораздо более жестокого и, как ни тяжело сейчас положение местного населения, думаю, что оно должно благодарить Бога и русскую армию, спасших их от полного разорения.

Сильно пострадали поля. Они все перерыты окопами, которые достигают местами глубины $2^1/_2$ аршин. Нелегко будет залечивать эти раны плугом и бороной. Засеянные пашни и засаженные огороды потоптаны. Под Варшавой — сотни десятин, занятых картофелем, репой, свекловицей, капустой. По ним не раз и не два прошли взад и вперед русские и немецкие полки и проскакали батальоны кавалерии. Капустные кочаны, оторванные от своих корней, катаются теперь по полям, как отрубленные головы. Вырванные репы свалены на огородах гниющими кучами. Картофельные поля под копытами лошадей превратились в какие-то манежи для верховой езды.

И все же даже на полях многое уцелело. То там, то здесь, видишь пашни или гряды, сохраненные счастливым случаем. Уже бабы и мужики бродят по своим клочкам земли и подбирают все, что может быть использовано, подправляют несломанные кочаны, откладывают в сторону неиспорченные овощи, копают оставшиеся картофелины. Я видел мужика, заново бороновавшего свое поле. Несомненно, будущий год скажется в польской деревне тяжким недостатком во всем, но при своевременной помощи дело еще можно поправить — земля не опустошена так, чтобы явился соблазн ее кинуть.

Непоправима, конечно, здесь убыль деревьев. Тенистые аллеи обратились в голые дороги, по которым летом будут носиться тучи пыли. Надо будет сажать деревья вновь и ждать долгие годы, пока опять встанут вдоль проезжих путей развесистые вязы и приветливые ветлы. Но и по дорожным аллеям военная гроза прошла какой-то стороной. Многие, и притом лучшие, сохранились в целостности, — например,

по шоссе от Варшавы к Прушкову, часть — по пути на Гройцы и т. д. Леса в громадном большинстве уцелели (вырубать их было бы слишком продолжительной работой) и только изъязвлены снарядами. Весеннее солнце и весенние дожди, летний зной и летние грозы залечат раны лесных великанов, и на расчищенном просторе живее взбегут ввысь молодые поросли.

В деревнях, близ которых происходил артиллерийский бой, обычно повреждено, судя на глаз, около трети или четверти домов. Издали такие деревни кажутся пощаженными войной и вовсе не производят того впечатления сплошного пожарища, как иные селения в Люблинской губернии. Только входя в самую деревню, различаешь следы жестокого разгрома отдельных строений. Снаряды словно выбирали свою жертву: в некоторые дома их ударило несколько, в другие, стоящие рядом, — ни одного.

Есть дома-неудачники, совершенно обрушившиеся под ударами гранат. Крыша придавила строение, и рухнувшие балки сокрушили все внутреннее убранство. Люди, еще чуть не вчера зажиточные, сегодня сознают себя бедняками. Я видел одного старика-бобыля, который ни за что не хотел уходить от своего развалившегося домишки и упорно копался в груде мусора и обломков, выбирая какие-то жалкие обломки вещей. Соседи горько попрекали старика:

— Стыдно тебе так убиваться. Ты — один, проживешь как-нибудь. Каково тем, которые целой семьей остались ни с чем!

Действительно есть семьи, у которых в огне погиб и дом, и все имущество. В той же деревне, где жил бобыль, семья из семи человек лишилась крова, скота, сбережений, всего своего достояния и остались только в той одежде, в которой все бежали в лес, укрываясь от боя. Но эти люди обнаруживали неожиданную бодрость, не пали духом и строили планы новой жизни.

— Пойду служить в город, — говорил отец, жена тоже наймется куда-нибудь, и старшая дочь, а малышей рассую по добрым людям.

Впрочем, такая твердость — исключение. Громадное большинство тех, кто оставался в деревнях в дни боя, спрятавшись в погребах или укрывшись в ближайшем лесу, совершенно потрясено пережитым. Видно, что их нервы расстроены до последней степени. Многие говорят про себя, что теперь они решительно не могут спать: им все слышится грозный грохот артиллерии. Мы встретили одну женщину, которая беспрерывно дрожала всем телом, словно охваченная пляской св. Витта. Весь день боя она просидела под каменной оградой фабрики. Во многих местах стена была разрушена снарядами, кругом сыпались кирпичи, гранаты задевали каменную кладку и рикошетом летели разрываться в поле… Вынеся такую пытку, женщина почти потеряла рассудок. Дрожа, она повторяет теперь одно слово: «ад», «пекло», и это — все описание боя, которое она может дать.

Трагические сцены разыгрываются среди возвращающихся «беженцев». Некоторые на месте своего дома, к которому они так спешили, находят груду развалин. Одни рыдают, другие в недоумении глядят на то, что еще недавно было их жильем, старательно убранным по вкусу хозяев… Зато сколько бывает радости, когда вернувшиеся находят свой дом нетронутым! Самый факт, что стоят его стены, радует их, как драгоценная находка. Но некоторые строения сохранились действительно целехонькими, как если бы бой и не бушевал вокруг них. Войдя внутрь, видишь все

на своих местах: даже картинки и фотографии остались висеть на стенах и не разбилась посуда на этажерках! В других домах только лопнули от сотрясения стекла да раскололось несколько тарелок.

Война не пощадила и храмов. Под Пясечной один костел не только разгромлен, но и осквернен немцами, которые вообще не считаются с религиозным чувством населения. Еще допустимо, что в самом костеле немцами был устроен лазарет; об этом свидетельствуют оставшиеся кровати. Но чувство негодования возбуждает во всех то, что нижняя часть храма была отведена под кухню. Предметы богослужения поломаны, священные изображения намеренно попорчены, у статуй Мадонны отбита голова и т. д. Рассказывают и о костелах, в которых немцами были устроены конюшни.

Красивый высокий костел под Прушковом имеет сейчас трагический вид. Внешний облик здания сохранился; по-прежнему он возносит к небу иглы двух готических башен. Но кирпичная облицовка стен во многих местах обвалилась. Остались одни железные рельсы и балки, на которых стены и крыша были утверждены. Если смотреть сбоку, то видишь как бы скелет собора. Солнечные лучи свободно проходят через решетку его остова. И кажется, что это — тело, обглоданное хищными птицами.

Всех разрушений, которые пришлось видеть в деревнях и в поле, не перечислить. Вот, мельница-ветрянка, подрезанная у самого основания. Она повалилась, как стояла, и лежит на земле, точно огромная игрушка, опрокинутая ребенком. Так и хочется взять ее двумя пальцами и поставить на место… Вот фабричная труба, просверленная снарядом, так что можно смотреть в круглое отверстие как в подзорную трубу… Действие тяжелых гранат и шрапнелей ужасно. Они дробят кирпичную кладку; разрезают крыши пополам; пробивают насквозь чугунные ворота; ненароком царапают толстые камни, как зверь когтями — мясо. Гранаты сокрушают деревянные строения, как дуновение — карточный домик, и громят каменные, как сильный удар палки разломал бы игрушечную избу из дощечек.

Города пострадали сравнительно меньше. В Пясечной есть одна полусгоревшая улица. В Прушкове разрушены стоящие поблизости строения. Местные газеты насчитывают в других городках где 50, где 70, где 100 поврежденных и сожженных домов. Но в общем городки Варшавского уезда могут теперь же возобновить обычную жизнь. Необходим только немедленный подвоз съестных припасов, так как немцы забрали все, что можно есть и пить. Ни в одном городе мы не могли достать ни кусочка колбасы, ни бутылки содовой воды; нет соли, сахару, сигар, папирос, табаку, спичек и т. п. В одной мелочной лавочке, в которую я зашел, весь товар состоял из дюжины конфет, корзины вновь накопанного картофеля и нескольких бутылок уксуса, очевидно не понадобившегося немцам. Разгромлены также магазины белья. Уверяют (сам я этого не видел), будто немцы для ускорения «покупок» не давали себе труда входить в магазин через двери, а разбивали оконные стекла и брали вещи прямо «с выставки».

Страшных рассказов о событиях грозных дней так много, что всех не перескажешь. В одном местечке был лазарет, где лежало много раненых пруссаков. При приближении немецких войск они с угрозами набросились на русских сестер милосердия, самоотверженно ухаживавших за ними, и стали требовать оружие, желая

присоединиться к своим. Только вступление в местечко казаков спасло сестер от расправы со стороны их пациентов. Другое местечко немцы, отступая, подожгли с четырех концов, чтобы преградить путь преследующим их русским. Впрочем, и здесь помощь подоспела вовремя, и пожар был потушен. Запомнился мне еще рассказ об одном мальчике-еврее. Немцы потребовали от него, чтобы он указал им безопасную дорогу для отступления, на которой нет русских. Мальчик, напротив, сознательно повел немцев на наши позиции. Немцы были частью истреблены, частью взяты в плен, но успели в последнюю минуту зарубить маленького патриота-еврея.

В настоящее время и деревни, и города заселяются вновь. Возвращается администрация, возвращаются бежавшие жители. Я уверен, что через какую-нибудь неделю прежний ход жизни возобновится. Крестьяне постараются собрать что можно с опустошенных полей, разыщут разбежавшуюся скотину, починят поврежденные дома, а более счастливые приютят потерявших родной кров. Общее несчастье сближает, и сейчас во всех заметна готовность помочь соседу и односельчанину. В городах откроются магазины, чиновники пойдут на службу, дети вернутся в школы. Велика и тяжела будет нужда многих, но привычные формы жизни восторжествуют над временным потрясением. Давний навык заставит во что бы то ни стало восстановить прежнее. Люди так свыклись с определенным укладом жизни, что иного не могут себе представить, и наперекор всему будут стараться вести прежнюю жизнь или хотя бы делать вид, что ведут ее. И незаметно сотрутся следы страшных дней, и все опять войдет в свою глубокую, веками проторенную колею.

То, что сейчас в маленьком виде можно наблюдать вокруг Варшавы, в большом масштабе совершается во всей Европе. Навыки закономерной жизни преодолевают временное беззаконие войны. Население городов и деревень разбегается при громе орудий, под дождем шрапнели; но, едва является тому возможность, спешит вернуться в насиженные гнезда и вновь начать привычный труд, привычное дело. Похоже на то, что удар молнии разбивает какой-то огромный шар на тысячи осколков, но тотчас же миллионы рук протягиваются к этим осколкам, подбирают их и снова склеивают в одно целое… Война, длящаяся несколько месяцев, не в силах сокрушить то, что строилось целыми столетиями. В борьбе хаоса войны с культурным строем жизни культура выходит победительницей.

Варшава 13-го октября

P.S. Посещение мест недавних битв стало теперь для жителей Варшавы любимым отдыхом. В воскресенье целые толпы горожан заполняли поля под Пясечной, Блонами, Прушковом и др., осматривали наши и немецкие позиции, лазили по окопам, собирали оставшиеся «реликвии». Предприимчивые люди тут же бойко торговали немецкими касками, ранцами, обломками шрапнелей, горстями патронов. Администрация железной дороги на Прушков даже принуждена была приостановить пассажирское движение из-за чрезмерного наплыва любопытных.

В.Б.

В Лодзи
(От нашего корреспондента)

Мне удалось посетить Лодзь на третий день после ухода из нее германских войск, в субботу, 18 октября. Немцы начали было выступать из Лодзи еще в понедельник, 13 октября, когда выяснилась полная неудача их движения на Варшаву. Во вторник, однако, прибыли в Лодзь с запада две дивизии подкреплений, и выступление было приостановлено. В четверг оно опять возобновилось. С 4-х часов дня до 2-х часов ночи немецкие войска шли из Лодзи беспрерывными колоннами, увозя всю свою артиллерию и обозы. Любопытно, что утром в пятницу местные газеты вышли с объявлением, напечатанным по приказанию немецкого «губернатора» города, о воспрещении продавать в Лодзи газеты, издаваемые в России. Продавая издания с этим объявлением, газетчики в то же время свободно и весело выкрикивали названия газет петроградских, московских и варшавских, так как в Лодзи не оставалось ни одного неприятельского солдата.

На этот раз немцы хозяйничали в Лодзи три недели. За это время они держали себя, по единогласному отзыву всех, вполне корректно. На город не было наложено никакой контрибуции; не было со стороны немцев ни грабежей, ни насилий над мирными жителями. За все, взятое в магазинах, немцы расплачивались большею частью наличными деньгами (немецкими марками), но иногда и «квитанциями», с уплатой в Берлине через два месяца. Некоторые эксцессы были допущены в самые последние дни пребывания немцев, перед их выступлением. Порядок в городе поддерживался милицией, во главе которой стоял Л.Л. Громан, человек очень энергичный. Он заявил немцам, что сохранит свой пост лишь при том условии, если ему предоставят полную независимость действий. После некоторого колебания немцы согласились на такое условие, и в течение всех трех недель милиционерам действительно удалось сохранять внешний порядок в городе. Отчасти способствовал этому и второй из назначенных немцами «губернаторов» Лодзи, генерал Либерт, известный путешественник по Африке. Он строго и решительно воспрещал своим солдатам всякие враждебные выступления против населения. Видно было, что немцы своим поведением сознательно стараются загладить впечатление от разгрома Калиша, Ченстохова и других польских городов.

В общем, жизнь в Лодзи при немцах текла почти нормально. Магазины торговали; были открыты кинематографы и даже некоторые театры. Запрещено было только выходить на улицу после 9-ти часов вечера и приказано ночью освещать окна. Цены на хлеб и другие предметы первой необходимости сильно поднялись, но особого недостатка Лодзь ни в чем не испытывала. Несмотря на то жители крайне тяготились пребыванием в городе неприятельской армии и страстно ждали избавления. Немцы настойчиво называли Лодзь немецким городом и повторяли, что она присоединена к Германии навсегда. Однако подавляющее большинство населения ни на минуту не сомневалось, что Лодзь скоро будет освобождена русской армией. В день тезоименитства Наследника Цесаревича домовладельцы сделали попытку разукрасить город русскими флагами. Уход немцев был всеми встречен с ликованием. Те два дня, что я провел в Лодзи (суббота и воскресенье), город имел еще вполне праздничный вид. На многих домах были вывешены флаги. Церкви, в которых совершалось бла-

годарственное молебствие по поводу избавления от врага, были переполнены молящимися. Встречаясь на улице, знакомые и даже малознакомые поздравляли друг друга. Наших солдат население при каждом подходящем случае продолжало восторженно приветствовать.

Немцы, по слухам, отступают поспешно и, желая уклониться от боя, в один день сделали переход более чем в 40 верст. Одна немецкая колонна, отступая, потерпела сильный урон под Пабианицами. Пленные пруссаки, привозимые в Лодзь, имеют вид крайне измученный. На все вопросы они отвечают «Ich bin müde»* Лошади немецкой кавалерии тысячами падают от усталости. Напротив, наши солдаты — те, с которыми мне приходилось беседовать, в пути и в городе, — настроены, как и всегда, в высшей степени бодро. Об усталости нет и речи. Все разговоры обычно кончаются тем, что солдат высказывает желание скорее догнать немцев и еще раз нанести им удар. «Когда нас охраняют такие войска, — говорили мне жители Лодзи, — мы можем спокойно вернуться к нашей обычной жизни».

Подробности сообщу отдельным письмом.

19 октября

Германия на двадцать дней

I. Впечатления от поездки в Лодзь

— In Deutschland handelt man nicht! В Германии не торгуются!

Так заявил мальчишка-приказчик в одном магазине в Лодзи во время пребывания в ней немцев. Барышне-покупательнице, привыкшей, что в этом магазине всегда запрашивают вдвое, оставалось только пожать плечами и уйти из лавки, внезапно превратившейся в немецкую.

Другой даме необходимо было поехать из Лодзи в Берлин, где оставался ее муж, и она обратилась в канцелярию немецкого губернатора за разрешением. В канцелярии дама получила характерный ответ:

— Чтобы переезжать из одного города Германии в другой, не надо особых разрешений.

Один немецкий офицер зашел в Лодзи в писчебумажный магазин и спросил открытых писем с видами Берлина. В магазине ответили, что таких открыток нет. Офицер рассердился:

— Стыдно в Германии не иметь видов Берлина!

Часы в Лодзи были поставлены по среднеевропейскому времени. На улицах газетчики продавали «Berliner Tageblatt», «Lokal Anzeiger» и другие немецкие газеты. Немецкий чин на вокзале, когда ожидался приезд какой-то высокопоставленной особы, властно командовал публике: «Links! Rechts!»** Немецкие офицеры ежедневно приходили в избранное каждым из них кафе, садились на одно и то же место, требовали, чтобы кельнер знал их привычки, подавал излюбленные ими журналы, и сидели часами, медленно потягивая пиво, — совсем как любом немецком городке!

---

* Я устал (*нем.*).

** Налево! Направо! (*нем.*)

Немцы сделали все от них зависящее, чтобы превратить Лодзь в немецкий город или по крайней мере убедить жителей Лодзи, будто они уже находятся в Германии.

Перед вступлением немцев в Лодзь (вторичным, в конце сентября) население ее было встревожено. У всех на памяти был Калиш, Ченстохов и другие польские города, разоренные и разграбленные германской армией. Страхи оказались если не напрасными, то сильно преувеличенными. На примере Лодзи немцы захотели показать полякам, что умеют вести себя корректно. К тому же немцы готовились занять Варшаву и желали задобрить в свою пользу местное население.

Вступив в Лодзь, немцы расположились в ней с такой уверенностью, как если бы она уже давно была в их руках. Всем частям войск заранее были назначены подходящие для них помещения. Офицеры прямо ехали в определенные дома и заявляли у подъезда: «Здесь, во втором этаже, есть свободная квартира, не угодно ли вам ее открыть?» или: «В квартире № 5 я беру две комнаты, выходящие на улицу». Все указания такого рода были безошибочны. «Дислокация» войск в городе была выработана с прусской точностью и прусской методичностью. Через час по вступлении в Лодзь германская армия уже разместилась там вполне «у себя».

По-видимому, немцы с самого начала решили не чинить никаких притеснений населению. Против обыкновения они не издали длинного списка своих «обязательных постановлений». Было только запрещено выходить на улицу после 9-ти часов вечера и приказано освещать ночью окна фасадов. Последнее распоряжение было явно нелепым. Оно имело смысл в маленьких городках, где отсутствует уличное освещение. В Лодзи на улицах электрическое освещение, и не было никакой надобности усиливать его огнями из окон. Но здесь сказалась уже прусская методичность: если такое распоряжение было отдано во всех других городах, его дóлжно было отдать и в Лодзи. И лодзяне за отсутствием свеч и керосина жгли всю ночь на окнах какие-то жалкие плошки.

Поддержание порядка в Лодзи немцы предоставили городской милиции.

Милиция была организована в Лодзи задолго до вступления в город неприятеля. Во главе ее с надлежащего утверждения стоял некто Лев Людовикович Громан, еще молодой человек, образование получивший в Германии и свободно говорящий по-немецки. Вот как он рассказывает сам о своих сношениях с немцами.

В первый же день немецкого господства его позвали к командиру германских войск, который предложил ему сохранить свой пост. Громан заявил, что согласится на это только под тем условием, что ему предоставят распоряжаться самостоятельно, независимо от военной власти немцев.

— Поддерживать порядок в городе мы будем, — сказал он, — но распоряжаться будем сами, а не по вашим указаниям.

— Это невозможно. Здесь все должно подчиняться нам.

— Как вам угодно. Тогда мы сложим свои полномочия, и я распущу милицию. Поддерживайте порядок сами.

Немцы задумались. Сохранять порядок в городе с населением в 500 000 человек не так легко. После колебания они согласились на поставленное им условие.

Впоследствии, довольные распорядительностью Громана, немцы решили повысить его в чине. Новый немецкий губернатор города Либерт (кстати сказать, из-

вестный путешественник по Африке) опять призвал к себе Громана и предложил ему пост обер-бургемейстера Лодзи (президента, главы города). Громан решительно отказался.

— Но если я вам приказываю. Я представляю здесь особу императора, и вы обязаны мне повиноваться.

— Простите, я — русский подданный и не считаю себя обязанным повиноваться вам. Если после войны по мирному договору Лодзь отойдет к Германии, дело будет другое. Пока же назначьте кого-либо из своих.

— Но через неделю мы будем в Варшаве, а владеть Варшавой — значит владеть всем Царством Польским. Россия должна будет просить мира, и неужели вы думаете, что Германия отдаст назад завоеванные области?

— Вот когда вы будете владеть Варшавой, а Россия должна будет просить мира, мы и поговорим.

Насколько точно запомнил сам Громан свои разговоры с немецким губернатором, я, конечно, не берусь судить, но тон речей этого последнего кажется мне правдивым. Немцы упорно держали себя в Лодзи и всей западной Польше не как во временно занятой области, но как в своей стране. Между прочим они хотели приступить к взиманию податей с населения и советовались об этом с тем же Громаном. Он опять ответил, что как русский подданный не считает возможным даже обсуждать такой вопрос, но указал, что население разорено, что в одной Лодзи 120 тысяч безработных и платить жители не могут ничего. Немцы от своего проекта отказались.

В населении немцы усердно распространяли слухи о немецких победах. Немецкие газеты, приходившие из Берлина, были полны хвастливыми реляциями об удачных действиях германских армий и флота на всех фронтах и на всех океанах. Газеты, выходящие в России, были строжайше воспрещены; хотя какими-то путями они и попадали в Лодзь, ознакомиться с ними было нелегко: за одно «прочтение» взимали по рублю и дороже. Местные издания были подчинены беспощаднейшей военной цензуре. Любопытен в этом отношении первый, вышедший под немецкой цензурой, номер лодзинской газеты «Rozwoj»: на двух страницах, из которых состоит газета, помещено едва две-три коротеньких телеграммы: все остальное представляет белые столбцы, по которым сверху вниз напечатано одно слово: «konfiskowano».

Позднее, уже «при немцах», лодзинские газеты принуждены были печатать порой самые невероятные известия. Так, например, лодзяне однажды утром могли читать в местных изданиях такое сообщение: «*Сегодня, вечером,* германские войска войдут в Варшаву. Завтра ожидается приезд двух высокопоставленных особ, которые провозгласят акт высокой важности». Под высокопоставленными особами должно было разуметь императора Вильгельма и императора Франца-Иосифа; под актом высокой важности — объявление автономии русской Польши (но отнюдь не автономии польских областей Германии и Австрии). То обстоятельство, что такие сообщения не оправдывались, смущало немцев мало; на другой день они принуждали редакторов печатать известия еще более сенсационные.

В разговорах немцы, конечно, стеснялись еще меньше. Они говорили не только о Варшаве, но и Смоленске, и о Вильно как о городах, обреченных им на добычу. Многие открыто хвастались, что на 18 октября (новый стиль) в доме генерал-губернато-

ра в Варшаве назначен большой бал для немецкого офицерства. И действительно, приглашения на этот бал находили потом в карманах убитых немецких офицеров.

Вообще, самомнение немцев не знало пределов. Офицеры привезли с собою в Лодзь парадные мундиры и в специальных чемоданах лакированные сапоги. Целые повозки были нагружены принадлежностями туалета: новенькими касками, блестящими ремнями, позолоченным оружием и т. д. Немецкое офицерство надеялось щегольнуть при торжественном вступлении германской армии в Варшаву. Впрочем, и в самой Лодзи офицеры одевались с пышностью, вовсе не подходящей к походной жизни. Достаточно было зайти в «Grand-Hótel», где помещался германский штаб, чтобы увидеть затянутых в талию прусских «юнкеров», золото, яркие лампасы, даже ордена и ленты.

Двадцать дней длилась эта «игра в Германию», кончившаяся плачевным разгромом германской армии. Однако и после неудач на Висле немцы ни за что не хотели признаваться в своем поражении. Уходя из Лодзи, они повторяли, что отступают по стратегическим соображениям.

— Через две недели мы вернемся, — говорили они всем, — и тогда уже займем Лодзь навсегда.

Конечно, никого такие заявления не обманывали. Да и трудно было обмануться. Несчастный вид немецких пленных, которых скоро стали сотнями доставлять в Лодзь, красноречиво говорил о том, что свое дело германская армия проиграла безнадежно. Офицеры выезжали из Лодзи, красуясь в новеньких мундирах и блестящих касках; солдат вели назад чуть живых от усталости, голодных, с распухшими ногами, в изорванных сапогах. «Мы сделали все, что в человеческих силах, — угрюмо говорили пленные, — больше мы ничего не можем».

Варшава, 21 октября

Германия на двадцать дней
II. История и описание Лодзи

Лодзь — город скороспелка, без исторических воспоминаний. В начале XIX века это был небольшой поселок, в котором едва насчитывалось 400 человек жителей. Теперь это — огромный фабричный и заводской центр, с полумиллионным населением и сотнями миллионов рублей оборота в год. Между прочим, особенно много дел ведет Лодзь с Германией: в городе значительная часть жителей понимает по-немецки, на улицах не редкость — немецкие вывески, а в ресторанах и кафе — немецкие надписи.

Главная артерия Лодзи — длинная, на много верст тянущаяся улица; в своей средней, и лучшей, части она называется Петроковская; в других частях носит иные названия (Новомейская и т. п.). Эта улица обставлена высокими домами, «в берлинском вкусе», с громадными зеркальными витринами магазинов, с роскошными отелями, которые сделали бы честь Петрограду, с пышными кафе, с бесчисленными кинематографами. На Петроковской улице, словно на Невском, — постоянное оживление. Вереницы людей сплошным строем движутся в том и другом направлении: одни спешат по делу, другие просто «фланируют»; летят извозчики и автомобили.

Население Лодзи — сплошь люди деловые. Кроме целой армии фабричных рабочих (до 200 000), остальные — купцы, фабриканты, заводчики, служащие у них, комиссионеры, агенты, маклеры и т.п. По национальности население смешанное: поляки, немцы, русские, евреи, и это ведет к розни, распрям. Но в обычное время всех примиряет единый общий кумир: нажива. Деньги — вот истинная душа Лодзи, этого русского «американского города».

Понятно поэтому, какой удар нанесла Лодзи война и связанная с ней эвакуация города правительственными учреждениями. Согласно с общим планом кампании (дальновидность которого все имели возможность впоследствии оценить) Лодзь была временно очищена от наших войск. Из города выехали Государственный банк и судебные установления; была выведена полиция, закрыта биржа и т. д.; все привычные лодзянам формы жизни вокруг как бы распались. Лодзь была предоставлена собственным силам, и ей пришлось заново, с самого начала, организовывать весь строй своей жизни.

Была пора, когда жители Лодзи совершенно растерялись. Особенно удручало всех отсутствие денег. С выездом Государственного банка из обращения быстро исчезла не только разменная монета, но мелкие кредитки. На руках у людей состоятельных остались свидетельства на вклады и процентные бумаги, но нельзя же было в мелочных лавочках расплачиваться тысячерублевыми ассигнациями! В ресторанах не отпускали обеда, пока посетитель не заплатит вперед полутора рублей; а то он предложит в уплату сторублевую бумажку или, того хуже, акцию какого-нибудь банка. В магазинах отказывались давать сдачи, и покупатель должен был брать товара на всю ту ассигнацию, которую имел в своем распоряжении: на 3, на 5, на 10 рублей. Крайне тяжело было положение бедняков, которые не пользовались никаким кредитом и рассчитывали каждый лишний гривенник.

На помощь пришли высшие коммерческие учреждения: биржевой комитет, купеческое общество и банки («Торговый» и «Купеческий»). Они выпустили в обращение свои, лодзинские деньги, — особые «боны», ценностью в 1 руб., 50 коп. и 20 коп. «Боны» это — маленькие билетики, имеющие вид обыкновенных купонов. На каждом из них напечатано: «Нижепоименованные учреждения уплатят предъявителю столько–то (указана сумма) через три месяца после подписания договора о мире. Боны обеспечены более чем в двойном размере ценностями, хранящимися в банках» (следуют подписи). Эти боны выдавались только лицам, внесшим в банк обеспечение «более чем в двойном размере». Так, например, лицо, представившее процентных бумаг на 2000 руб., получило бонов на 900 руб. (половину за вычетом 10 %). Излишек предназначался на уплату контрибуции, которую могли потребовать с Лодзи немцы, и на общегородские расходы. Боны легко привились среди населения города, и привычное денежное обращение было восстановлено.

Другим источником тревоги для лодзян было отсутствие в городе полиции. Фабрикантам, заводчикам, вообще богатым людям казалось, что в Лодзи неминуемо начнутся грабежи всякого рода и бесчинства. Многие с ужасом ожидали полного разгрома своих домов и своего имущества. К этому присоединялось смущение от отсутствия в городе судебных установлений, растерянности от неизвестности, кто

поведет в эти трудные дни городское хозяйство и т. п. В этом отношении выручил «обывательский комитет» и организованная им «милиция».

Лодзинская милиция за тот период времени, что город оставался без властей, выросла в целую сеть учреждений, взявших в свои руки все функции городской жизни. Всего на службу в милиции (службу, конечно, безвозмездную) было привлечено до 10 000 человек. Они были разделены на ранги: рядовых милиционеров (или «милициантов», как говорили в Лодзи), начальников районов, членов комитетов и т. д. Отличительным знаком милиционеров были повязки на левой руке, смотря по занимаемому рангу: белая, синяя, желтая и зеленая с белым кругом. Город был разделен на 9 районов, и в каждом имелся свой штат милиции.

Рядовые милиционеры несли полицейскую службу. Они дежурили на улицах, регулируя движение экипажей и пешеходов, сторожили дома ночью, арестовывали подозрительных лиц и т. д. По общему признанию, милиция прекрасно справлялась со своей задачей. Порядок в городе все время сохранялся, а число преступлений даже уменьшилось (хотя на это могли влиять и другие причины). В первые дни своего существования милиция даже изловила 5–6 опасных бандитов, которые давно терроризировали окрестное население и за поимку которых была давно объявлена награда.

Комитеты милиции приняли на себя обязанности судейские. В порайонных комитетах разбирались дела мелкие: уличные кражи, буйства, нарушения постановления комитета и т. п. В центральном комитете — дела более важные, при решении которых надо было допрашивать свидетелей. Наказания, налагаемые комитетами, состояли в штрафах и тюремном заключении. Никакой апелляции на постановления не допускалось. Для разбора дел «гражданских» были учреждены особые «комитеты полюбовного раздела», каждый в составе четырех лиц: одного обывателя, одного рабочего, одного юриста и председателя данного порайонного комитета.

Далее были учреждены: комитет санитарный, два комитета по финансовым делам и комитет, ведающий тюрьмой. Последнему было особенно много дела. Администрация, выезжая из города, передала милиции несколько сот арестантов. Так как не было средств, чтобы кормить всех заключенных, часть их освободили, именно подследственных, обвинявшихся в незначительных проступках. Убыль однако скоро пополнилась арестованными вновь. Все время в лодзинской тюрьме содержалось от 250-ти до 300 арестантов.

Наконец, та же милиция вела все городское хозяйство. Между прочим надо было озаботиться положением безработных, которых, в виду закрытия фабрик и заводов, оказалось до 160 000 человек. На помощь им были обращены те 10 %, которые удерживались с получающих из банков боны. Комитеты милиции выдавали еженедельно: женатому — по 1 р. 50 коп., семейной женщине по 1 р. 30 коп., холостому — по 1 руб. кроме того была организована дешевая продажа хлеба и угля.

Немцы, вступив в Лодзь, санкционировали установившийся порядок вещей. Они назначили своего «губернатора», учредили «Kriegsgerichtstrath»*, несколько «комендатур» и т. п., в экстренных случаях высылали солдат на помощь милиционерам для поддержания порядка, но во внутреннюю жизнь города, в общем, не вмешивались. Разные комитеты милиции могли распоряжаться вполне самостоятельно.

---

* Военно-полевой суд (*нем.*).

Разумеется, все большие предприятия в городе были закрыты главным образом потому, что всякое сообщение с Лодзью прервалось. Но оставалось еще громадное количество мелких предприятий, обслуживающих местные городские нужды: магазины, рестораны, театры, газеты. Почти все они работали без перерыва и «перед немцами» (т. е. после эвакуации Лодзи) и «при немцах».

Так, были открыты почти все магазины. Торговали даже предметами роскоши: коврами, музыкальными инструментами, ювелирными изделиями. Много покупали и немцы, беря вино, фрукты, «деликатесы», запасаясь бельем, теплыми вещами. Первое время за все взятое они расплачивались немецкими деньгами. Первый немецкий «губернатор» Лодзи оценивал рубль в 1 марку 40 пфеннигов. Это повело к тому, что все магазины назначили цену вещам в марках. Генерал Либерт повысил курс до 2-х марок за рубль; гульден был оценен в 80 коп. Однако в последние дни немцы стали давать в уплату вместо денег — квитанции («квитки», как их называют в Лодзи); на них было означено, что оплачиваться они будут через 3 месяца в Берлине.

Точно так же торговали рестораны и кафе. Лодзинские цукерни полюбились немецким офицерам, и они проводили там целые дни за кружкой пива или чашкой кофе. Кинематографы, несмотря на ограниченный запас картин, усердно посещались немецкими солдатами. По настоянию немцев, были открыты и театры: один польский и два еврейских. Спектакли происходили в них от 5-ти до 8-ми часов вечера; афиши обязательно печатались на двух языках с немецким переводом. Пьесы выбирались, конечно, самые безобидные. В одном еврейском театре, например, каждый день шла пьеса «Николаевские солдаты».

Наконец, продолжали выходить и газеты; русская, «Лодзинский листок», польская, «Rozwoj», и две еврейских. За отсутствием телеграмм содержание их сводилось к тем сомнительным известиям, которые сообщались немцами, к хронике городских происшествий и к объявлениям комитетов милиции. Строжайшая немецкая цензура не пропускала никаких сообщений из остальной России. Тем не менее, редакторам удавалось иногда намекнуть между строк читателям на то, что общее положение дел далеко не таково, каким его стараются представить немцы.

Было бы далеко ошибочно думать, что жизнь в Лодзи «при немцах» текла безо всяких трений и терний. Напротив, и лодзянам довелось перенести немало невзгод. Если не хочется упоминать о них на первом месте, то только по сравнению с теми ужасами, каким подверглись калишане и жители Ченстохова.

Демонстративно проявляя свою корректность по отношению к самим лодзянам, немцы иначе держали себя в окрестностях города. Щадя частную собственность, они не церемонились с государственным и общественным имуществом. Здание Государственного банка было разгромлено и всячески «испакощено» (не нахожу другого выражения). Разгромлены были и помещения других банков, под тем предлогом, что где-то в них спрятан, в потаенном месте, миллион рублей. Разыскивая этот миллион, немцы отбивали штукатурку стен и ломали полы. Основательно была разрушена железная дорога. Ряд станций сожжен дотла. Обывательский комитет с трудом упросил немцев, чтобы здания станции Королев были не сожжены, а предоставлены ему на топливо, в котором город сильно нуждался. Под Лодзью было

беспощадно опустошено несколько прекрасных имений. Немцы вырубили вековые деревья, разрушали оранжереи, жгли мосты и постройки.

Если соединить в одно целое все те условия жизни, при которых пришлось лодзянам провести три недели «при немцах», станет понятным, почему о них вспоминают с настоящим ужасом. По улицам щеголяли надменные офицеры; они же заполняли кафе и рестораны. Немецкие газеты, продававшиеся на всех перекрестках, твердили о германских победах. На уличных столбах афиши с немецким переводом настойчиво напоминали о господстве в городе неприятеля. А в то же время в городе росла армия безработных, увеличивалась дороговизна, все ощутительнее становился недостаток необходимейших продуктов…

Некоторые лодзяне говорили мне, что в последнее время они предпочитали не выходить из дому. Вид родного города, занятого врагом, был им нестерпим. Одна барышня, с которой мне случилось беседовать, провела все 29 дней «при немцах» в своей комнате. Всегда людная Петроковская улица опустела, и на ней видны были почти исключительно немецкие мундиры. Лодзяне с каждым днем все томительнее и томительнее ждали своего избавления… Но этот час был недалек.

(Окончание следует.)

Варшава, 23-го октября

Немецкая цензура
(По рассказам сотрудников лодзинских газет)

Немцы вошли в Лодзь в четверг, 25 сентября, вечером. Редакторы местных газет, уже заготовившие утренние номера своих изданий, несколько смутились, узнав о вступлении неприятеля. Надо было остерегаться, как бы не раздражить немцев, временно ставших хозяевами города. Статьи, наиболее обидные для их самолюбия, были наскоро выкинуты из заготовленных к печати номеров. Все же утром в пятницу лодзинские газеты вышли в своем обычном виде, с телеграммами Верховного Главнокомандующего, с сообщениями о наших успехах в Галиции. Немцы, привыкшие к известиям совершенно иного рода, в изобилии поставляемым «Агентством Вольфа», читали эти сообщения с недоумением.

«Однако ловко вас обманывают», — говорили немецкие офицеры, упорно продолжая верить льстящей им лжи германского официоза.

В тот же день редакторы всех лодзинских газет были приглашены немецкими властями на совещание. В Лодзи в это время выходило семь газет: одна русская — «Лодзинский Листок» (при немцах появилось лишь несколько номеров), три польских — «Nowy Kurjer Lòdzki», «Rozwoj» и «Nowa Gazeta Zódzka», две немецких — «Lodzier Zeitung» (в 1913 г. справившая 50-летний юбилей) и «Neu Lodzier Zeitung» и одна еврейская, на жаргоне, — «Lodzier Tageblatt» (другая еврейская газета, «N. Lodzier Morgenblatt», прекратилась еще до вступления немцев). От всех этих газет явились на совещание представители. Им было объявлено, что теперь устанавливается для газет в Лодзи немецкая военная цензура и что малейшее нарушение ее постановлений или попытка противодействовать германским властям повлекут за собой немедленно закрытие издания.

Первым немецким цензором был назначен ландштурмист с неожиданной фамилией Russland (т. е. Россия). Раньше он был инспектором учебного округа в Познани. Руссланд ни польского, ни русского (ни тем более еврейского) языка не знал. Поэтому редакторы пяти газет должны были, представляя в цензуру материал будущего номера, всё переводить от строки до строки. Первоначально перевод делался устно (впоследствии стали представлять письменный перевод), а так как газеты стали выходить два раза в день, то времени уходило на это очень много. К тому же Руссланд очень туго вникал в смысл излагаемых ему статей, постоянно просил повторить и все боялся, что его обманывают, сообщают ему неточный перевод.

Через несколько дней самому Руссланду надоело выслушивать переводы, и он потребовал, чтобы ему дали помощника, знающего польский язык. Назначен был какой-то «стрелец» из рядов «войска польского». Этот стрелец, бывший, может быть, прекрасным воином, в области журналистики оказался в достаточной мере неопытным. Он решительно не мог разобраться, что с немецкой точки зрения должно быть запрещено, что может быть пропущено. Иные из редакторов пользовались наивностью цензора, и в газетах с разрешения военной цензуры стали попадаться заметки, которые приводили высшее начальство в негодование. Оба цензора были отставлены, и на их место назначен штабной офицер Крато.

Крато в первый же день потребовал, чтобы утренний выпуск доставили ему в 6 часов вечера, а вечерний — в 11 часов утра. С трудом удалось уговорить цензора, что при таких условиях почти невозможно составлять номера газеты. Вычеркивал Крато беспощадно иногда по 200–300, а то и до 400 строк, что для маленьких провинциальных изданий составляет ¼ или ⅓ всего материала (в обычном номере «Rozwoj», например, вместе с объявлениями, едва 1000 строк). Сначала газеты оставляли белые столбцы, на которых было напечатано «konfiskowano», потом это было запрещено.

Одновременно с Крато (и после него) исполнял обязанности цензора известный польский писатель Юрий Жулавский, офицер одного из легионов «войска польского». Жулавский относился к немецкому делу с ревностью, какой не отличались и сами немцы. Одной газете он запретил, например, сообщить, что вся Варшава проникнута патриотическим духом. Другая газета хотела напечатать, что русскими сосредоточено под Варшавой много войска; и это было вычеркнуто. Та же газета («Nowy Kurjer Lòdzki»), говоря о надвигающемся на Лодзь голоде, объясняла это тем, что город не успел получить от правительства обещанных в ссуду 350-ти тысяч рублей. Выкидывая эту статью, Жулавский сказал редактору:

— Такими рассуждениями вы поддерживаете мысль, что Лодзь еще имеет какую-то связь с русским правительством. От такой мысли надо раз навсегда отказаться! Здесь — Германия.

Гораздо больше терпимости проявил третий цензор — немец, также ландштурмист, бывший военный судья. Ему была представлена заметка, автор которой, говоря о переименовании немцами польских городов (Петроков — в Штольберг, Ченстохов — в Бендин и т. п.), объяснял это тем, что немцы хотят подчеркнуть присоединение части Польши к Германии навсегда. Судья-цензор заметку эту зачеркнул, но объяснил свой поступок совершенно неожиданными соображениями: «Согласно

с постановлениями Гаагской конференции, — сказал он, — воспрещается присоединять оккупированные области до окончательного заключения мира; немцы ведут войну, строго сообразуясь с ее законами, и не могут позволить себе такого грубого нарушения правил войны».

Этому судье-цензору редакторы указали между прочим на затруднительность своего положения: они обязаны подчиняться немецким властям, будучи русскими подданными. «Вы вправе отказываться печатать что-либо, что направлено против вашего Государя и родины, — ответил ученый немец, — и должны исполнять только наши законные требования». При этом во время разговора он несколько раз доставал томик, где были собраны постановления разных международных конференций, регулирующие права войны, и указывал то тот, то другой параграф.

Само собой разумеется, что собирать материал было редакторам лодзинских изданий крайне трудно. Сообщения с остальной Россией не было. Немцами были установлены и телеграф (через Сорадз с Бреславом), и телефон (с Петроковом), но они назначались исключительно для военных надобностей. Только изредка немцы сами сообщали редакторам кое-какие сведения о ходе войны, полученные по телеграфу, не принуждая, впрочем, непременно их печатать. Почти всегда то были известия о блестящих успехах германской армии на западном фронте; иногда же эти известия варьировались сообщениями о чудесных, чуть не сказочных подвигах «Эмдена» на водах всего мира. Однако немецкий телеграф часто портился; местное население пользовалось каждым удобным случаем, чтобы перерезать проволоку. В последние дни своего пребывания в Лодзи немцы вовсе перестали сообщать известия, получаемые ими по телеграфу.

Приходилось довольствоваться выдержками из берлинских газет, по которым все же можно было судить о том, что совершается в Европе. Немцы так старательно организовали доставку газет из Берлина, что в Лодзи они появлялись на второй день (впрочем, берлинские газеты часто помечают для провинции свои выпуски числом вперед). Читателей такие выдержки не очень интересовали уже потому, что на всех улицах Лодзи можно было купить номера тех же берлинских газет. Гораздо интереснее для лодзян были перепечатки из газет столичных и варшавских, но цензоры следили бдительно, чтобы таких перепечаток не появлялось. Самые газеты — петроградские, московские и варшавские — все же почти каждый день проникали в Лодзь. Кельнеры больших цукерен подавали постоянным посетителям вместе с чашкой кофе номер «Kurjer Poranny» или «Варшавской Мысли» «на прочет», получая за это лишних 40–50 копеек «на чай».

Свои объявления и извещения немцы также сдавали в местные газеты. При этом, в какое бы время объявление ни было доставлено, немцы требовали, чтобы оно было обязательно напечатано в ближайшем выпуске. Не раз приходилось уничтожать готовый набор и заново отливать четвертую страницу, чтобы вместить присланное немцами объявление о реквизиции лошадей или о воспрещении торговать газетами, издаваемыми в России.

Вообще немецкие цензоры и их помощники не церемонились с лодзинскими редакциями и не стеснялись в выражениях при объяснениях. Как-то раз один остроумец раздал во все газеты объявление, что он едет в Варшаву и принимает туда

поручения всякого рода. Большинство газет представило это объявление в цензуру, и оно было запрещено. Но одна немецкая газета напечатала его без цензуры. Цензор вызвал редактора для объяснений и раскричался на него. Тот оправдывался тем, что не знал, надо ли предоставлять в цензуру объявления.

— Разве вы не знаете, — кричал цензор, — что здесь — Германия и что ездить отсюда в Россию воспрещено? Разве вы не поняли, что объявление было составлено в насмешку?

— Не понял, не догадался, — отвечал редактор.

— Дурак! — коротко объявил цензор.

Выражения в том же духе, восклицания вроде «Heraus!» («Вон!») были не редкостью в устах бравых немецких цензоров. Сотрудник одной газеты, осмелившийся заметить цензору, который опоздал часа на три сравнительно с назначенным сроком, что при таких условиях невозможно издавать газету, получил классический ответ:

— Заметьте, что не я — для вас, а вы — для меня (Ich bin nicht für Sie, sondern Sie sind für mich!)

Когда немцы стали готовиться к выступлению из Лодзи, работа цензоров разладилась. Все чаще случалось редакторам напрасно дежурить по целым часам у дверей цензорского кабинета и, никого не дождавшись, выпускать газету без цензуры, за свой страх. Разумеется, писать против немцев еще никто не решался, и редакции сами цензуровали свои издания. В четверг, 16-го октября, вечерние выпуски лодзинских газет — впервые за три недели — вовсе не были представлены в немецкую цензуру. Утренние выпуски в пятницу, 17-го октября, уже заготовили другим языком. Последние колонны германской армии в ночной темноте еще проходили через город, а в типографиях уже стучали машины, печатая приветствия русской армии как освободительнице.

Варшава, 29-го октября

Из лодзинских впечатлений

Живя три недели в непосредственной близости к германской армии, лодзяне невольно присматривались к ее внутренней жизни. Блестящая по внешности прусская армия страдает, судя по этим рассказам, глубокими внутренними недугами.

Главный из этих недугов — страшная рознь, существующая между прусским офицерством и простыми солдатами. В германской армии офицеры совершенно чужды солдатам. Офицеры часто роскошествуют; солдаты бывают лишены самого необходимого. О ходе войны солдаты ничего не знают; их систематически обманывают, сообщая им нелепейшие известия с других фронтов вроде того, что немцами занят Париж или Киев, что в Варшаву нельзя вступить вследствие свирепствующей там холеры и т. д. Жестокое обращение прусских офицеров с нижними чинами, давно ставшее темой для сатирических листков, лодзяне могли видеть воочию. У пруссаков не хватило такта даже скрыть от жителей «завоеванного» города, что их офицеры охотно прибегают порой к кулачной расправе.

Бросилось еще в глаза лодзянам неудобство того вооружения, каким снабжена прусская кавалерия. Прусские уланы должны держать одной рукой пику, на весу,

а другой — поводья; они поэтому стеснены в движениях, не могут действовать быстро, совершенно теряются при схватке с казаком. Прусские кирасиры сидят на огромных, статных лошадях, но эти лошади пригодны только для парадов; наших дорог и того корма, которым приходилось довольствоваться в России, они не переносят. Прусский кирасир в своем тяжелом вооружении неповоротлив и, как средневековый рыцарь, выбитый из седла, оказывается совершенно беспомощным. Не лучше вооружение и гусар. Вообще прусское кавалерийское вооружение, вопреки тому что можно было ожидать от немцев, крайне непрактично, — более красиво, чем пригодно для похода и для боя.

Первые известия о неудачах германской армии на Висле стали проникать в Лодзь уже с 5-го октября. Каждый день какими-нибудь путями приходили в город или варшавские газеты, или сведения, доставленные очевидцами. Немцы решительно опровергали все слухи о своих неуспехах, продолжали говорить о бале, назначенном в доме варшавского генерал-губернатора, уверяли, что и в Варшаве квартиры уже распределены, что каждый офицер уже получил приказ, ехать ли ему на Маршалковскую, на Новый Свет или еще куда. Но в то же время появились признаки подготавливаемого отступления. Были прекращены работы по укреплению некоторых пунктов восточнее Лодзи. Поспешно были минированы мосты на западе. Кроме того, немцы стали гораздо менее любезны в обращении с населением, перестали заискивать с ним, начали платить не деньгами, а своими «квитками» на Берлин.

В воскресенье, 12-го октября, вся Лодзь уже знала, что дело немцев на Висле безнадежно проиграно. Лодзяне скрывали свои чувства, чтобы не раздражать врагов. Немецкие офицеры тоже скрывали свое разочарование, старались казаться по-прежнему самоуверенными. Обе стороны притворялись друг перед другом.

Во вторник внезапно часть германских войск получила приказание выступить из города, но вернулась в тот же день с подкреплениями, подошедшими с запада. Однако в Лодзи немцы провели еще только один день. В четверг началось общее отступление. С утра офицеры укладывали свои вещи; солдаты собирались по полкам, вывозили артиллерию и обозы. Лодзяне с затаенной радостью смотрели на сборы неприятеля.

— Мы уходим временно, — говорили офицеры. — Нам надо выровнять фронт. Через две недели мы опять будем здесь. Не забывайте, что Лодзь — немецкий город.

Но никто не обращал внимания на эти заявления. Все видели, что немцы уходят, и уже не было сил таить свою радость. Люди высыпали из домов — смотреть на отступление германской армии. Уличные мальчишки кричали им ругательства, быстро прячась под ворота. В кофейнях рвали в клочки ненавистные немецкие газеты с лживыми реляциями.

Выступление началось в 4 часа дня и длилось до 2-х часов ночи. Германская армия шла беспрерывно густыми колоннами, уводя артиллерию, обозы и багаж на реквизированных повозках. А вечером в тот же день лодзинские газеты вышли уже без немецкой цензуры, с телеграммами Верховного Главнокомандующего, полученными, конечно, «с оказией». Еще арьергард немцев двигался по улицам Лодзи, а мальчишки-газетчики, эти лодзинские «камло», уже громко кричали на Петроковской:

— «Варшавская мысль»! Продаю «Варшавскую мысль»! Не бойтесь никого!

В утренних изданиях газет был напечатан приказ генерала Либерта, грозивший смертью за повреждение телеграфа и телефона, проведенных немцами. А в 10 часов вечера те же мальчишки, как белки, взобрались на столбы и рвали немецкую проволоку. В это время под городом раздавались и первые выстрелы: подошли казацкие разъезды.

Утром в пятницу в Лодзь начали входить русские войска. Весь город, столпившись на улицах, кричал «ура». Солдатам раздавали хлеб, чай, фрукты, цветы и без счета коробки папирос. Каждому из толпы хотелось дать что-нибудь от себя солдату. Бедняки, которым самим было нечего есть, покупали булку и отдавали проходившему солдату. Около «Grand Hotel'я», в котором поместился штаб нашей армии, толпа устроила шумную манифестацию, пели гимн, кричали «ура».

В первый же день было захвачено много пленных. Немало немецких солдат осталось в городе. Их находили в домах, занятых под казармы, в помещениях клубов, в частных квартирах. Немцы объясняли, что проспали час выступления их полка, но больше вероятия, что они остались в Лодзи намеренно. Бесконечные переходы по тяжелым дорогам истомили пруссаков, и они предпочли сдаться в плен. Как анекдот рассказывают, что несколько немецких солдат поехали на пригородном трамвае (ходившем все время) навстречу русской армии, чтобы поскорее сдаться в плен.

Всю пятницу и все следующие дни привозили новые партии пленных, захваченных в боях на западе от Лодзи. Пленные имели вид людей крайне измученных, совершенно изможденных. Некоторые не могли ступать и, разувшись, несли сапоги в руках. «У меня ногти начали гнить от постоянных походов», — жаловался один из них. «Мы сделали все, что в человеческих силах, — говорил другой. — Больше мы ничего не можем. Нас постоянно обманывали, говорили, что войне — конец. Пусть же они кончают ее без нас».

Большинство пленных и вообще большинство прусских солдат, бывших в Лодзи, оказались привезенными с французского фронта. Переезды с одного конца Европы на другой влияли на солдат удручающим образом. Людям, уже привыкшим к условиям войны во Франции, приходилось приспосабливаться к совершенно иным условиям в России. Еще более удручало солдат то, что обещания их начальства не исполнялись. Постоянно их уверяли, что им предстоит одно последнее испытание, что зиму они проведут в богатой, всем обильной Варшаве. Вместо того пришел приказ: отступать из Лодзи на запад; следовательно, опять биться, опять лежать в сырых окопах, может быть, опять ехать во Францию, в вагонах, битком набитых людьми. Психология простого человека не выдерживала такого потрясения. Пруссаки бросали оружие и сдавались в плен русским.

Армия, вышедшая из Лодзи, бесспорно, деморализована. Так же деморализована и армия, потерпевшая поражение на Висле. В арьергардных боях в западной Польше пруссаки уже не проявили своей прежней стойкости, своего прежнего упорства.

Варшава, 31-го октября

Фантастика войны

Кто из нас мальчиком, на школьной скамье, не зачитывался романами Фенимора Купера, капитана Майн Рида, Жюля Верна, Стивенсона, Райдера Хаггарда и их бес-

счетных последователей и подражателей? Как позабыть необычайные приключения отважных охотников в лесах Дальнего Запада, среди краснокожих индейцев, или в Центральной Африке, в стране людоедов и торговцев людьми? Подвиги изумительной отваги и сверхъестественной ловкости в борьбе кучки смельчаков с целым сонмом озлобленных и беспощадных врагов? Погоню неустрашимых моряков по разным морям за таинственным корсаром, грозным и неуловимым? Пленительные образы людей, не знающих страха, не теряющих надежды в самых безвыходных положениях, умеющих найти путь спасения, когда, казалось бы, остается только покориться своей гибельной участи? С этими образами полудиких искателей приключений смешивались в нашем юношеском воображении полуисторические фигуры героев Троянской войны, воспетых Гомером, благородных рыцарей, изображенных в романах Вальтера Скотта, беспечных гуляк-бойцов, подобных «Трем мушкетерам» Александра Дюма или «миньонам» Генриха III. И мы, просиживая ночи над заветным томом, мечтали о жизни, полной соблазнительных опасностей, чудесных сцеплений обстоятельств и постоянного напряжения всех духовных и физических сил.

Однако каждый из нас, закрывая книгу, с тоской сознавал в глубине души, что все, чем он только что увлекался, — вымыслы писателя, которым нет места в действительной жизни, или, в лучшем случае, предания прошлого, исчезнувшего уже безвозвратно. А если юный мечтатель не додумывался до этого сам, его иллюзии грубо разбивали «взрослые» — отец, мать или старший брат, — говоря: «Охота тебе читать всякий вздор! Все это выдумано, ничего такого не бывает и быть не может!» Склоняя голову, мы должны были согласиться, что в современном строе жизни геройские подвиги невозможны, что современному человеку негде проявить личное мужество, что прошла пора «топтателей прерий» и «пенителей морей». И грустно нам было думать, что никогда воочию не увидим мы никого, кто был бы подобен Ричарду Львиному Сердцу, «Следопыту», последнему из могикан или хотя бы «Красному морскому разбойнику».

Но что же! Пришла великая война наших дней, и невозможное стало действительностью. Жизнь осуществила и превзошла фантазию романистов. «Необычайные приключения» стали повседневным явлением. Газеты — эти зеркала современности — показывают нам подвиги, до которых не могли додуматься сочинители. Вновь появились люди, способные на порывы той безудержной отваги, которая нужна была охотникам на львов и слонов в дебрях еще девственной Анголы. Вновь нашлись отчаянно-смелые моряки, готовые над морской пучиной вступить в бой с неприятелем, вдвое более сильным. И — что самое удивительное — в человеческих душах вновь проснулись силы, дарования и инстинкты, давно задремавшие, как казалось, смертным сном. Вновь проснулось бессознательное чутье опасности, уменье разбираться в следах, оставленных прошедшим врагом на траве, способным бесшумно подползать к неприятелю, видеть в темноте, пробираться по непроходимым тропам, — все те темные дары природы, которые защищали человека в эпохи, когда вся его жизнь была непрерывной борьбой с неукрощенными стихиями, с подстерегающими всюду дикими зверями и с себе подобными.

Вот большая зала варшавского ресторана «Бристоль». Все залито ярким электрическим светом; роспись стен и цветных окон — с уклоном к модернизму; за столи-

ками — цвет столичного общества; звучит международная речь, где с русским смешиваются языки польский, французский, английский. И здесь же, в кругу офицеров, как-то совсем незаметно, сидит военный среднего роста, с энергичным, серьезным, но сразу ничем не поражающим лицом. Между тем это — ротмистр Б., человек, изведавший приключения, право, более фантастические, чем все измышления Майн Рида. А вот скромный номер варшавских меблированных комнат. Кружок приятелей пьет чай, курит, весело шутит, слушая рассказы какого-то юноши о пережитом им. Но этот юноша имеет право надеть несколько «георгиев» на грудь. Это — разведчик Т., совершивший чудеса отваги, до которых, право, далеко героям Райдера Хаггарда. Вот в Вильне несколько офицеров рассказывают случайному слушателю о своем сослуживце, поручике Р., — рассказывают любовно, просто. Но содержание их рассказов так чудесно, что в другое время никто не постеснялся бы счесть их за выдумку. На улицах, в кафе, в магазинах мы каждый день встречаем людей, видевших своими глазами подвиги беспредельного мужества и всю ту фантастику «войны будущего», о которой лишь мечтали Жюль Верн, Робидá, братья Рони. А газеты ежедневно приносят нам известия то о похождениях во Франции «пяти мушкетеров», более безрассудно-храбрых, чем их три прототипа, созданных фантазией романиста, то о погоне за «Эмденом» и «Кенигсбергом», более удивительной, чем все морские рассказы Купера, Марриэта и Стивенсона.

История ротмистра Б., вкратце пересказанная «Петроградским Телеграфным Агентством», уже стала общеизвестной, и нет надобности повторять ее здесь. Отрезанный со своим эскадроном в 114 гусар от главных сил нашей армии и окруженный *полумиллионной* германской армией, ротмистр Б. пять недель держался в лесах, добывая своему отряду все средства к жизни, ускользая от настойчивых преследований австрийцев и нанося серьезный вред неприятелю, его обозам и артиллерийским паркам. Каждый день Б. и его сподвижникам приходилось рисковать жизнью, то сражаться с врагами, вчетверо более сильными, то пускать в ход всю человеческую изворотливость, чтобы не быть раздавленными несметными полчищами, но он выдержал это испытание и вышел из него победителем, сохранив свой маленький отряд и воссоединив его в конце концов с армией. Многие эпизоды из истории ротмистра Б., особенно в его собственном устном рассказе, производящем потрясающее впечатление своим безыскусственным драматизмом, живо напоминают характернейшие сцены разных «фантастических» романов.

Напомню, например, такой эпизод. Ротмистру Б. удается захватить в плен трех австрийских солдат с вахмистром. У них оказываются документы. В этих документах подробно излагается план поимки эскадрона Б., досаждающего австрийцам своими нападениями на их обозы. Б. сам читает, как его окружат в такой-то долине, где гусары действительно намеревались провести ночь. Тогда он ведет свой эскадрон на соседний холм. Залегшим там в густых зарослях гусарам видны «как на ладони» передвижения австрийцев. Те подвигаются медленно, осторожно; рассыпается цепь стрелков; солдаты сближаются, перебегая; суживаются круги, кольцом сжимая воображаемого врага. А гусары в это самое время следят с высоты холма за тщетной погоней и готовы смеяться, если бы серьезность положения допускала смех. Убедившись, что они окружили пустое место, австрийцы уходят с досадой, а ротмистр

Б. спешит увести эскадрон в другой лес. И все это происходит не в середине позапрошлого века, когда «белые» боролись с «красными», и не где-нибудь в Скалистых горах, а в наши дни, в районе между Меховом и Краковом!

Не менее характерны письма, которыми доводилось Б. обмениваться с австрийцами. Так, например, письмо самого Б. начиналось обращением: «Уважаемый враг!» Австрийцы, в свою очередь, говорили в своем письме, что «отдают дань уважения мужеству своих противников» и потому предлагают им сдаться, не желая истреблять их и обещая поступить с ними как с офицерами. Такое же *уважение к врагу* сказывалось в отношениях пленных, попадавших в руки гусар. Отпуская одного из пленников (так как гусарам негде было их держать), Б., раздраженный тем, что его выслеживают как дичь, сказал приблизительно следующее: «Передайте вашему командиру, что меня поймать ему не удастся, я же его, если захвачу, непременно повешу». В ответ пленник, оказавшийся приезжим из Америки итальянским графом, благодарил в самых изысканных выражениях за дарованную свободу (он ожидал, что русские его повесят) и выразил сожаление, что принял участие в войне со столь благородным противником. Какая чисто романическая сцена! И чудесное появление в польских лесах итальянского графа из Америки, и смелая угроза со стороны начальника горсти храбрецов, травимого целыми полками, и учтивости, рассыпаемые врагам освобожденным пленникам! Так и кажется, что читаешь страницу из романа, где действуют не то благородные делавары, не то куртуазные бойцы XVII века!

Есть еще одна характерная черта в истории Б. Судьба его в значительной мере зависела от отношения к нему местного населения. Если бы австрийцы имели точные сведения о движениях гусар, участь эскадрона была бы быстро решена. Но все кругом — крестьяне, лесники, помещики, — не сговариваясь между собой, честно хранили тайну. *Тысячи* людей знали, где в данное время находятся русские гусары, но австрийцам узнать это не было никакой возможности. В этом безмолвном заговоре есть также что-то рыцарское, что-то неожиданное для наших дней. Добавим, наконец, что, скитаясь по лесам, ротмистр Б. несколько раз встречал другие русские части, отрезанные, подобно его эскадрону, от главной армии. Все они вели такое же существование, как гусары, прожили целые недели полудикой, лесной жизнью. Им приходилось тщательно высматривать следы гоняющихся за ними врагов, прятаться в кустах и болотах, спать в землянках и на деревьях, и зачастую эти новые «лесные бродяги» спасались от гибели только благодаря вновь развившемуся в них звериному чутью, дававшему знать о приближении неприятеля.

Менее известна, кажется, история разведчика Т., хотя и она была уже не раз пересказана. Разведчик Т., и теперь по виду чуть ли не мальчик, уже участвовал, однако, в нашей японской войне, когда ему было 14–15 лет, — также в отряде разведчиков. В свое время он отбывал по жребию воинскую повинность, но служба в войске в мирное время не удовлетворяла его. Зато, едва разразилась великая война, Т. тотчас записался добровольцем. Война — его стихия; он рожден, чтобы быть военным разведчиком. Бывают прирожденные разведчики, как бывают поэты «Божией милостью». Самые трудные, самые опасные поручения всего более соблазняют Т. Проникнуть переодетым в самый центр расположения неприятельской армии; бродить в самой толпе неприятельских солдат, все вокруг высматривая, делая вид, что он про-

бирается в родную деревню; заночевать в городе, который занят неприятелем, зная, что пойманному шпиону грозит смерть, — во всем подобном есть для Т. «неизъяснимы наслаждения»*. Несколько раз он был ранен (последний раз — недавно, и гостил в Варшаве вследствие легкой раны в руку); несколько раз — в плену; дважды был приговорен немцами, как шпион, к расстрелу и проводил свою «последнюю ночь» в ожидании смерти. Своими приключениями он сам увлекается. Если ротмистр Б. повествует об испытанном им со спокойной простотой, то юный разведчик рассказывает о своих похождениях с истинным восхищением ими, которое вовсе не есть самодовольство или самохвальство, а выражение искренней любви к своему делу. И, слушая рассказы Т., вспоминаешь даже не Купера, с его все же сдержанной интригой, а Густава Эмара, менее всех других щадившего краски для изображения опасностей, в которые попадают его персонажи.

Вот, например, один из бесчисленных эпизодов, рассказываемых Т. Он лежит связанный в палатке; на утро назначен его расстрел: вечером немцы не удосужились. Выдали Т., который был переодет польским крестьянином, его сапоги русского военного образца. Понемногу пленник убеждается, что при известном усилии может высвободить руки. Сразу воскресает надежда на спасение и вся энергия. Ценой величайшего упорства и терпения он частью перетирает, частью распутывает веревки на руках; потом развязывает себе ноги; но они затекли, и долгое время он не может стоять. Оправившись, он ползет к тому месту, где спит немецкий офицер, и бросается на него. В темноте завязывается борьба, грудь с грудью, причем необходимо не дать немцу крикнуть. Одолев противника, Т. надевает его мундир и его оружие и крадется к выходу, чтобы захватить лошадь. На беду у входа звякнула шпора. Кто-то проснулся, кричит: «Wer da?» («Кто там?»). Тогда Т. стремительно, не соблюдая никаких предосторожностей, кидается к лошадям, вскакивает на одну, ударом шашки рубит ноги другим. В лагере — тревога; немцы встают, бегут, но беглец уже летит во весь опор, и тщетно свистят пущенные наудачу вдогонку пули. Юному разведчику удается ускакать; бросив лошадей, он прячется в болото, а потом, опять переодевшись в крестьянскую одежду, добирается до наших аванпостов… Не правда ли, этот эпизод и пересказывать хочется стилем Густава Эмара, так напоминает он какое-то «приключение в прерии», а вовсе не действительное происшествие наших дней в польской деревушке.

Совсем неизвестно в широких кругах общества имя поручика Р. Зато сослуживцы по полку окружают его почти суеверным почитанием. По их уверениям, он обладает какой-то особенной, почти чудесной способностью видеть и ориентироваться в темноте. Когда бывает нужно ночью выбить немцев из их окопов, такое поручение всегда берет на себя Р. Солдаты верят в него слепо и идут за ним без колебания. Если Р. говорит: там-то 40 или 50 человек, это всегда оказывается правдой, хотя никто таких сведений сообщить ему не мог. «В роще налево поставлен секрет», — заявляет Р., всматриваясь в тьму, в которой обыкновенный глаз не различает даже силуэта

---

* Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…
Пушкин

самой рощи; действительно оказывается роща и в ней — немецкий «секрет», состоящий ровно из того числа солдат, какое «предсказал» или «угадал» Р. С небольшим отрядом охотников Р. в непроглядном мраке добирается до неприятеля, иногда вчетверо более сильного, смущает немцев неожиданностью нападения, колет, рубит и в конце концов всегда захватывает их позицию. Можно еще добавить, что поручик Р. ни в одной из многочисленных схваток, в которых он участвовал, не был ранен… Если даже допустить невольные преувеличения в рассказах о нем его сослуживцев, все же самый факт останется чрезвычайно характерным. Как известно, способностью видеть в темноте обладают иногда дикари или вообще люди, живущие в пустыне, в лесу, среди опасностей. Какой-то чудесный атавизм возродил эту способность в наше время в человеке прекрасно образованном, в лучшем смысле слова воспитанном, но поставленном в те же условия жизни.

Сходные примеры можно было бы приводить без конца. Рассказы участников войны на всех фронтах — и те, которые удается слышать самому, и те, которые читаешь в газетах, — переполнены этими примерами неустрашимой храбрости, дивной удачи, невероятных опасностей и чудесной изворотливости. Вот рассказ одного офицера (слышанный мною лично) об его побеге из плена, совершившемся при обстоятельствах не менее трудных, чем знаменитый побег Бенвенуто Челлини из замка св. Ангела (пришлось прорезать крышу здания, где пленные были заперты, по веревке, вися на руках, перебраться на крышу соседнего дома и т. д.). Вот рассказ о трех казаках, которые одни в маленькой деревушке (дело было в Галиции), заняв узкий тупик, отбивались от натиска целого эскадрона австрийцев, желавших взять храбрецов живыми, — словно Ролан с Оливье в Ронсевальском ущелье от полчищ мавров. Вот целый ряд рассказов о лошадях, которые были истинными товарищами своим хозяевам и благодаря своему чутью спасали их, унося их, тяжелораненых, из самого разгара боя, прямо к месту стоянки походного госпиталя. Подобные же рассказы доходят до нас с западного театра войны. Мы знаем историю «пяти мушкетеров», пяти неразлучных друзей, служивших в одном французском полку и бравших на себя все самые опасные поручения. В одном из таких подвигов, смелом до безрассудности (надо было определить местоположение и силы неприятельской батареи, добраться до которой было возможно, лишь пройдя под «штормом шрапнели» обширный, совершенно открытый склон), четверо из пяти, самоотверженно помогая друг другу, и погибли. Французские газеты рассказывали о смельчаках, которые, переодетые, пробирались в разоренную и занятую врагами Бельгию, посещали ее разрушенные города, осматривали немецкие позиции, изучали неприятельские силы, каждый день, каждый час рискуя жизнью. Наконец, дошедшие до нас сведения о скитаниях по океанам «Эмдена» и «Кенигсберга», о выслеживании их и их гибели также полны захватывающего драматизма. Немцы могут гордиться изворотливостью своих крейсеров и дерзкой отвагой их команд, как союзники — своим упорством в преследовании и конечным торжеством.

Еще не настало время делать какие-либо выводы из событий той величественной эпопеи, которая развивается перед нашими глазами. Но ряд следующих поколений будет с величайшим изумлением изучать факты, которых мы были свидетелями или по крайней мере современниками. Постепенно «великая европейская война» ста-

нет столь же легендарной, как осада Трои, подвиги Карла Великого или Крестовые походы. События такого размера все относятся как бы к одной и той же эпохе, потому что во всех них человек является с одними и теми же свойствами своей души. И несколько столетий культурной жизни стаивают легко и быстро, и в душах людей быстро пробуждаются способности и инстинкты, приобретенные тысячами столетий, если не миллионами лет, его первобытной жизни в лесах, среди диких зверей и наравне с ними. Разумеется, эти способности и инстинкты с прекращением войны столь же быстро угаснут; люди торопливо вернутся к обычной жизни «цивилизованного человечества», и недавнее прошлое будет им казаться странным сном, мучительным кошмаром. Но тем поразительнее это оживание давних эпох в душе современного человека.

Особенный оттенок этим атавистическим переживаниям современных людей придает то, что они проявляются в обстановке, созданной напряженнейшими усилиями современной техники XX века. Человек вновь учится ползать, выслеживая врага как какой-нибудь команч, вновь рубится в рукопашной схватке, как средневековый рыцарь, вновь видит свое спасение только в личном мужестве и в личной ловкости, как в эпоху «кулачного права», а кругом трещат скорострельные орудия, проносятся, сея смерть, блиндированные автомобили, парят в высоте, грозя разрушительными бомбами, аэропланы и цеппелины, далеко через пустой воздух бросает свои сообщения беспроволочный телеграф. Если вдуматься в это сочетание почти первобытных переживаний и ультрасовременной обстановки, — великая война наших дней поистине представится самым фантастичным изо всего, что когда-либо ведало человечество.

Варшава, 6 ноября

В тылу боя
(Поездка в Лович)

Дали подернуты беловато-серым морозным туманом. Оснеженные леса выступают на этом фоне как серебряные. Изрытые поля покрыты белой изморозью, словно легким пухом. Неяркое солнце за тучей похоже на месяц. Ветра почти нет; все неподвижно. Есть какая-то призрачность в этом белом, зимнем дне.

А где-то близко, впереди, глухими раскатами громыхают пушки. Потом их гулы сменяются дробным треском пулеметов. Туманную завесу дали прорезывают, как белые стрелы, огненные вспышки: это — выстрелы орудий. Вспыхнут, на миг осветят далекие окопы и батареи, и черные точки людей перед ними, — и тотчас все опять — в сероватом тумане, чтобы через мгновение озариться опять. Но это — не тютчевские «демоны глухонемые ведут беседу меж собой»: эти демоны переговариваются гулом пушек и пулеметов.

Чу, отдаленный крик: «ура!» Как стройно он разносится в чистом морозном воздухе! Это наши пошли в атаку штыками выбивать неприятеля из его позиций. При новой вспышке белой стрелы видно, как бегут по снегу черные точки. И в этом «ура» наших солдат нет ничего дикого, ничего зверского: это — бодрый, радостный крик, невольно вырвавшийся из тысячи грудей, заставляющий отважнее биться тысячи сердец.

Мы стоим у старых окопов, откуда враги уже выбиты предыдущей атакой. Окопы — немецкие и, как всегда у немцев, сделаны с изумительной тщательностью. Говорят, у немцев есть особые машины для рытья траншей. Иначе трудно объяснить, почему их линии так ровны, стенки так гладки и вся работа производит впечатление сделанной напоказ. Два ряда глубоких канав, пересекаясь под тупым углом, тянутся через все поле, до самого горизонта. В таких окопах можно было держаться упорно, долго, почти как в крепости; но вот — они пусты, немцы из них выбиты и отошли отсюда версты за четыре к северу.

Окопы пусты; но около них, там и здесь, навзничь, ничком, на боку, раскинув руки или прижав их к груди, с лицами то искаженными мукой, то странно-спокойными, лежат тела немецких солдат. Большинство из них — в своих темных мундирах; другие — полураздеты: с них сняты сапоги и куртки; некоторые — в русских шинелях, надетых, очевидно, чтобы защититься от холода. Есть среди убитых юноши, почти мальчики, с кроткими личиками, с едва пробивавшимися усиками; есть люди пожилые, серьезные, лет за 40, давно, вероятно, устроившие свою жизнь прочно, никогда не думавшие, что им суждено ее закончить в чужой России, на снежном зимнем поле; почти совсем нет солдат «призывного» возраста, между 20-ю и 30-ю годами. Школьники и ландштурмисты — вот кого выставляет теперь против нас Германия. Мы медленно идем вдоль окопов, всматриваясь в распростертые тела. К нам подходит группа наших солдат, участников того боя, которым этот окоп был взят. Они теперь — в резерве, отдыхают, тогда как их товарищи из других полков «подымают» немцев в следующих занятых ими позициях. Обмен двумя-тремя вопросами, раскрытые нами коробки папирос — драгоценное лакомство на передовых позициях, — и между нами и солдатами устанавливается почти дружество. Здесь, поблизости от «линии огня», все встречные невольно чувствуют себя близкими друг другу, братьями, как сыновья единой матери-родины. Здесь, где есть подлинные «враги», немцы, все русские — друзья между собой.

Солдаты рассказывают нам подробности боя. Он был ожесточенным. Немцы во что бы то ни стало хотели взять Лович. Несмотря на то, что нами были заняты превосходные позиции; несмотря на то, что мы засыпали немцев шрапнелью и пулеметным огнем, они держались почти три дня, постоянно переходя в наступление. Целый ряд наших атак не достигал цели. Только получив, наконец, новые подкрепления и грозя обойти левое крыло немцев, мы заставили их отказаться от Ловича. Они отошли на другие позиции, которые заготовили себе заранее, и там продолжают свое сопротивление, впрочем уже обреченное на неудачу. «Ура» наших войск предвещает, что немцам придется уходить дальше.

Как известно, бой у Ловича был одним из важных эпизодов большой операции, к которой принудило немцев искусство нашей стратегии. Значительная часть германской армии, наступавшей на Лодзь, была отрезана от главных сил. Немцы делали отчаянные усилия воссоединить разорванные части. Войска, подошедшие с севера, надеялись пробиться к отрезанным корпусам, заняв Лович. Попытка эта немцам не удалась; после трехдневного боя, результаты которого были перед нашими глазами, северная армия должна была отступить и предоставить отрезанные части их собственным силам.

…Солдаты идут с нами вдоль окопа, серьезно и сосредоточенно всматриваясь в лица убитых. Давно известно, что на войне к облику смерти привыкают. Его видят так часто, что смерть перестает казаться чем-то страшным. В повседневной жизни одного покойника провожают десятки или даже сотни живых — близких, родственников, знакомых: там умерший — явление исключительное, и кажется, что смерть приходит редко. На войне, в походе, убитых приходится видеть каждый день, и люди осваиваются с мыслью, что смерть — обычное событие в ряду других событий нашей жизни. Вид убитых немцев не вызывает в наших солдатах никаких мрачных предчувствий, только приводит на память различные моменты недавнего боя.

— Сотнями немцы валились, — рассказывает степенный солдат с черной бородой, — а уйти не хотели. Только это они храбрость показывали спьяну. Которые попадались в плен, все оказались пьянешеньки…

Мы и прежде слышали об этом. Дух германской армии поддерживается теперь исключительно вином. Немцы идут теперь в бой в том состоянии, когда «пьяному море по колено». Только этим объясняется их упорство.

— А вот как этого убили, я сам видел, — вспоминает молодой безусый солдатик. — Хотел, сердечный, перебежать к ближнему окопу; вдруг замахал руками, завертелся и повалился. Видно, в голову ему попали: тогда человек завсегда кружится.

Подходим к убитому. Тоже почти мальчик; губы приоткрыты, как будто радостно улыбается. Рассматривая ближе, находим на его груди письмо. Убитый сам написал его, очевидно, в день боя и не успел отправить. В письме — коротенькой «открытке» с видом какого-то польского городка — убитый сообщает своему другу, Карлу, что жив, здоров и желает ему «того же самого». Бедняга, он не подозревал, какой зловещий смысл получит его пожелание «того же самого».

Вообще, почти у каждого из убитых есть письма, недавно полученные или приготовленные к отправке. Санитары, уже убравшие «начерно» поле битвы, похоронившие наших, унесшие винтовки, тесаки, лопаты, все более ценные вещи, побросали эти письма, как ненужный хлам. Запачканные грязью, а иногда сплошь залитые кровью, они гниют теперь под снегом и изморосью. Мы подбираем эти грязные клочки бумаги: когда-нибудь будет интересно и поучительно разобрать эти «письма врагов и к врагам».

Кроме писем поле засыпано обычным «сором сражения». Здесь груды расстрелянных патронов, уже сметенных в золотистые кучи, обломки шрапнельных стаканов, поломанные прусские каски, изорванные ранцы и шапочки, картоны с зарядами, разные книжонки, среди которых много немецких военных песенников… Люди до последней минуты думают, что у них есть что-то «свое», берегут это; приходит смерть, и тысячи вещей становятся «ничьи»…

Сзади нас — разрушенная, сожженная деревня. Под немолкнущий треск пулеметов идем ее осматривать. Первое время деревню занимали немцы. Нашим войскам пришлось взять ее с боя; дома от снарядов загорелись, и теперь не осталось здесь ни одного строения. Среди обгорелых деревьев — скудные следы деревянных срубов и полуразвалившиеся печи, более ничего. Такого полного разрушения целого поселка мне еще не доводилось видеть на этой войне. Не уцелело ни одной крыши, ни одной стены; жители всей деревни стали в точном смысле слова бездомными.

— Здесь у немцев лазарет был, — тихо и угрюмо заявляет степенный солдат.

Сделав несколько шагов, мы понимаем, почему он говорил так тихо и так угрюмо. Среди шести каменных устоев на фундаменте, на который опиралось какое-то сравнительно большое строение, может быть, сельская школа или почтовое отделение, видны изогнувшиеся в огне прутья кроватей, обгорелые клочья материи, вероятно, шинелей и одеял, и опять груда трупов.

Опустив голову, отвернувшись, мы проходим мимо. Нет, у нас нет сил всматриваться в это зрелище! Воображение отказывается представить, что совершилось за этими обрушившимися стенами.

Темнеет. Уже зима, и теперь сумерки наступают рано. Мы возвращаемся на шоссе, к нашему автомобилю. Навстречу нам идут раненые, те, которые могут сами дойти до города, до перевязочного пункта. Большинство ранено в левую руку, которая во время боя в окопах остается единственной открытой мишенью для неприятеля. Обмотав себе кисть розовой марлей, сквозь которую быстро просачивается кровь, солдаты спокойно идут на перевязку.

На войне привыкают и к ранам. Если в частной жизни кто-нибудь разобьет себе палец, это покажется серьезным событием. В сражении раздробленная кисть руки, оторванные пальцы считаются пустяком, хотя такая рана нередко ведет за собой смерть от заражения крови. Но столько бывает ран тяжких, страшных, что на поврежденную руку никто не смотрит. Раненые останавливаются у нашего автомобиля, просят покурить, рассказывают о ходе «дела».

— Где им (т. е. немцам)! — говорят они. — Против наших не устоять. Уже уходят. Только, дьяволы, они себе сзади новые позиции заготовили.

Предусмотрительность немцев, всегда заготовляющих себе позиции на случай отступления, кажется нашим солдатам чем-то «дьявольским».

Неспешно, ровным шагом проходит мимо нас свежий полк. У солдат лица серьезные, строгие: они идут в бой. Полк сворачивает с шоссе направо, на проселочную дорогу. Это — обходное движение, имеющее целью обойти левое крыло немцев. Если движение удастся (потом мы узнали, что оно удалось), немцы должны будут окончательно отойти к северу.

Становится почти совсем темно. Стоит белый месяц, похожий на зимнее солнце, только еще не полный. Вспышки огней на горизонте принимают розоватый оттенок: это — шрапнели, летучие ружья, сами стреляющие в воздухе, засыпая неприятеля дождем пуль. Какой, должно быть, ад там, в четырех верстах перед нами! А здесь, прислонясь к забору, уцелевшему чудом, солдаты беспечно курят, смеются, обмениваясь замечаниями, в ожидании, когда и их поведут в бой. Словно артисты за кулисами, ожидающие выхода. И все здесь напоминает кулисы какой-то великой, грандиозной сцены.

В вечернем сумраке гул орудий не молкнет. Ни темнота, ни холод не останавливают боя. Но нам пора ехать.

— До свидания, братцы!

— Прощайте, ваше благородие. Спасибо за папиросы.

Солдаты искренно признательны нам за скромный дар. Но, как всегда бывает, стыдно слышать на передовых позициях благодарность от людей, которым, быть

может, в тот же день предстоит отдать свою жизнь за нас. Мы не находим, что сказать в ответ…

Автомобиль быстро катит по опустелому шоссе, уже знакомой дорогой к Варшаве. Промелькнул Лович. Во многих домах стекла разбиты от сотрясения воздуха во время артиллерийского боя. Тянутся поля. Привыкший глаз различает старые окопы, около которых в октябре тоже шли ожесточенные бои. Промелькнул Сохачев с живописной руиной старинной крепости на высоком обрывистом холме. Лунный свет играет на тихой зыби Бзуры. Мелькают разрушенные строения; громадные стволы срубленных, поваленных деревьев, недавно еще обрамлявших дорогу; низкие, вновь наведенные взамен сожженных мосты. Вот Блони — селение, где происходило серьезное сражение при наступлении немцев на Варшаву: оно теперь мирно спит, везде темно. Вот лесок, где произошло убийство, в котором был обвинен барон Биспинг: когда-то это казалось важным событием и волновало общественное мнение. Вот, под самой Варшавой, опять окопы и редуты с проволочными заграждениями. И сюда докатывались волны германского нашествия.

Теперь немцы от Варшавы далеко. Бои под Лодзью — их последняя ставка. Нельзя сомневаться, что она тоже будет бита, и скоро ни одного неприятельского солдата, кроме пленных, не останется в пределах нашей Польши.

Варшава, 15-го ноября

«Во что бы то ни стало»

— Через две недели вернемся!

Так говорили офицеры германского штаба, покидая Лодзь в середине октября.

Лодзинцы не возражали — не до возражений было тогда. Но, в сущности, угроза немцев их мало тревожила: они не верили в возвращение германской армии. Проведя двадцать дней в невольном постоянном общении с ней, лодзинцы знали, в каком состоянии деморализации она находится. Беспощадная дисциплина могла поддерживать внешний порядок в немецких войсках, когда они выступали из города. Немцы увозили с собой всю артиллерию, обозы, награбленное добро, оставляли арьергарды, чтобы сдерживать натиск русских авангардов. Но, едва выйдя из сферы, где их могли наблюдать посторонние глаза, немцы тотчас обнаружили, что боевой дух ими утрачен.

Известно, какими плачевными для немцев чертами отмечены первые дни их отступления от Вислы. Когда главные германские силы вышли из Лодзи, в разных местах города стали показываться одиночные солдаты: они уверяли, что проспали выступление своего полка, на деле же просто спрятались, чтобы ценой плена избавиться от нового похода. Другие отбивались от своих частей, во время самого отступления скрывались в лесу, а потом шли в ближайшую деревню и просили выдать их русским. Третьи ехали на трамвае навстречу приближающимся казакам, чтобы сдаться поскорее. Арьергарды весьма неохотно вступали в бой и, не выполнив своего назначения, спешили отойти к главной армии. Значительная часть награбленного была немцами брошена по дороге. Они бросали даже пушки, замедлявшие их движение: зарывали их в землю и ставили над ними крест, как на братской могиле. Наши солдаты не раз открывали в лесу эти своеобразные клады.

И все же немцы, хотя и не день в день, свое обещание сдержали: они вернулись. Германский главный штаб объявил, что после «необходимого перестроения» армии ее операции в Польше «продолжаются». А император Вильгельм дал командиру восточной армии генералу Гинденбургу приказ добиться решительной победы *во что бы то ни стало*. Откровенный неуспех в Польше грозил немцам самыми тяжелыми последствиями. Прежде всего он давал нам возможность сосредоточить наши основные силы на главном, силезском, фронте. Но главное — неуспех наступления на Вислу должен был произвести удручающее впечатление на всех явных и тайных союзников Германии. Поэтому немцами были приложены все усилия, чтобы сохранить хотя бы вид, будто «операции в Польше продолжаются».

В настоящее время достаточно выяснились и план немецкого наступления, и способы его осуществления. Разбитая в боях под Варшавой армия была пополнена и усилена гарнизонами крепостей и новыми корпусами, переброшенными на восток с западного фронта. Опираясь на линию Торн–Калиш–Ченстохов, немцы двинулись к Висле, имея как бы центром движения Лодзь. Задержанная у Лодзи, германская армия «обтекла» ее кругом и докатилась через Стрыков, Брезин, Колюшки до Нового Мяста. Наступление было так стремительно, что наши передовые части, более слабые, чем противник, принуждены были податься на восток. Лодзь могла сообщаться с Варшавой лишь по южным дорогам, на Петроков и Радом. Армия генерала фон Макензена зашла в тыл нашей армии, стоявшей между Варшавой и Лодзью.

На этом, однако, успехи немцев и кончились. Наша стратегия с исключительным мастерством вышла из трудного испытания. Продолжая прикрывать Лодзь, наши войска рядом последовательных атак восстановили связь между своими разорванными частями. Прорвавшиеся корпуса немцев (в том числе гвардейский корпус) оказались отрезанными от главных сил и от своей базы, без подвоза как провианта, так и снарядов. Тогда начались отчаянные усилия немцев воссоединить свои армии. Отрезанные корпуса старались пробиться назад или к северной армии; северная армия, подошедшая от Плоцка, старалась пробиться к отрезанным частям. Наша армия, находясь между двумя германскими, медленно, но упорно теснила их, все увеличивая расстояние между ними…

Последние известия, приходящие, когда пишутся эти строки, говорят об «*упорных* боях» в районе Стрыкова и Згержа, причем нами захвачены орудия, пулеметы и несколько сот пленных (17-го ноября), и в ловическом направлении (18-го ноября). Продвинувшись за Лович, наши войска заняли Плоцк, причем нами захвачено четыре баржи, груженные снарядами и амуницией (17-го ноября). Сражение еще продолжается, но, по всему судя, успех клонится на нашу сторону. Несмотря на готовность добиваться решительной победы «во что бы то ни стало», любой ценой, немцы, повидимому, должны будут от своей мечты отказаться.

* * *

Но откуда почерпнула Германия силы, чтобы возобновить свое наступление на Вислу? Где нашла людей, чтобы вновь выставить против нас миллионную армию? Чем воодушевила деморализованные войска, чтобы вновь заставить их выносить трудности зимнего похода и вести «упорные» бои?

Поля сражений, где лежат еще не погребенные тела убитых, партии пленных немцев, ежедневно прибывающие в Варшаву, свидетельства наших офицеров и солдат дают полное разрешение первого вопроса. Никакого чуда не свершилось. Силы Германии как были, так и остались исчерпанными. Чтобы вновь довести свою армию до огромного количества штыков, она должна была привлечь в нее кадры лиц, боеспособность которых весьма сомнительна: молодежь школьного возраста, плохо обученную, не справляющуюся со страшными тяготами современной войны, и ландштурмистов, людей пожилых, поседевших за плугом, за прилавком или за бюро, тоже мало пригодных для военных действий вне родной страны, требующих много времени и великого напряжения.

— Жалко смотреть: все — мальчишки, — говорят наши офицеры о составе германской армии.

— Прямо ребят набрали, — подтверждают солдаты.

В партиях пленных (недавно их прибыло в Варшаву 1000 человек, а затем 2000) всегда чуть не $^{3}/_{5}$, больше половины, — юноши, которым следовало бы еще читать Софокла и Тита Ливия, а не подставлять свою грудь под русские пули ради осуществления планов кайзера. Бледные, исхудалые, измученные непосильным трудом, проходят эти гимназисты, переодетые в солдатские мундиры, по улицам враждебной им Варшавы, но как-то не вяжется с ними название «враги». Какие это враги, когда хочется сказать им: «Ну, пошалили и будет! Ступайте опять играть в лаун-теннис!»

Вместе с мальчиками маршируют в партиях пленных пожилые люди, лет под 40 и за 40, — ландштурмисты. У них вид угрюмый; видно, что они полны заботами о своей семье, оставшейся где-то в Германии, о жене и детях. К войне ландштурмисты относятся сознательно: отравленные выкриками шовинистической прессы, они считают зачинщицей и виновницей гибельной войны Россию, ненавидят ее, русских и все русское. Но, как говорят, большинство сдающихся в плен добровольно состоит именно из ландштурмистов.

На полях битв, где лежат тела немецких солдат, соотношение то же: большинство — безусая молодежь, остальные — степенные, немолодые бюргеры и фермеры; людей в расцвете сил очень мало. Нельзя, конечно, думать, что два поколения немцев уже убиты в боях. Но, по-видимому, первый период войны все же вывел у немцев из строя массу лучших солдат. Затем значительное количество регулярных войск оставлено немцами на западном фронте, на котором особенно сосредоточено внимание Европы. Пополнять восточную армию им пришлось свежими призывными 1915 года, добровольцами, ландштурмом и ландвером.

А между тем, несмотря на такой состав армии, немцы проявляют в последних сражениях действительно отчаянное «упорство». Так, например, в бою под Кутно немцы шли сомкнутыми колоннами прямо на огонь нашей артиллерии. Пулеметные вихри сметали наступавших тысячами, но они продолжали идти вперед и дошли, грудь на грудь, до наших позиций.

— Валили как саранча, — картинно определил один офицер. В боях под Колюшками, Брезиной, Ловичем немецкие окопы были завалены телами убитых доверху, но немцы оставались на своих позициях. Несколько раз в тех же боях немцы принимали рукопашную схватку. Однажды они даже не успели надеть на винтовки

свои штыки-кинжалы и все же грудью стали против русских, дрались прикладами и ружейными дулами.

Тайна этой слепой храбрости тоже вскрывается: немцы идут в бой пьяными. Все участники боев, с которыми приходится беседовать, подтверждают это наблюдение. Немцы так напиваются перед сражением, что почти не сознают своих поступков. Они стреляют наудачу, кричат пьяные песни и идут напролом, как бы ничего не видя перед собой. Иные солдаты-пруссаки, взятые в плен, тут же валились на землю и засыпали хмельным сном. На днях целый ряд пленных немцев, взятых под Лодзью, оказался в состоянии почти столбняка: выяснилось, что перед боем их опоили водкой с сильной примесью эфира.

Пьяными оказываются немцы и вне боя. Во всех городах, которые занимают немцы, они прежде всего опустошают винные склады, в усадьбах громят погреба и тут же выпивают все их содержимое. В домах, где жили немцы, комнаты бывают завалены пустыми бутылками. В Лович недавно прикатил немецкий мотоциклист и, остановившись на городской площади, с бранью и криком потребовал, чтобы ему указали, где находится штаб германской армии. Оказалось, что мотоциклист заехал спьяна не в тот город; Лович был в наших руках, и пьяного курьера тут же забрали в плен. В Конине немецкий врач, изрядно выпивший накануне, явился утром заспанным в лазарет и только тогда узнал, что город вновь занят русскими… Таких рассказов, похожих на анекдоты, приходится слышать множество.

После всего этого можно не удивляться, что иным нашим отрядам удаются прямо легендарные предприятия. Беззаветной отваге наших солдат помогает хмельное отупление противника. Становится понятным, что 128 человек наших кавалеристов разбивают 1 $^1/_2$ эскадрона конницы и 3 $^1/_2$ батальона пехоты немцев (дело под К.); что несколько наших гусаров, проскакав за границу Пруссии, захватывают в немецком городке почтовую кассу, прежде чем стоящие там немецкие отряды успевают сообразить, в чем дело (подвиг прапорщика А-и С*** полка), и т. п. Немцы продолжают быть сильны своей численностью, вернее — возможностью сосредоточивать в одном пункте огромные массы войск, и прекрасным техническим оборудованием своей армии. Но боевые качества немецкого солдата падают на наших глазах. Немецкая армия, частью деморализованная предыдущими поражениями, частью раздраженная постоянной ложью со стороны своего начальства, пополненная элементами, малопригодными для трудной кампании, постоянно обманываемая и усердно опаиваемая, перестает быть тем страшным противником, каким была в начале войны.

Командиры германских армий точно исполняют приказ императора и добиваются решительной победы «во что бы то ни стало». Можно, однако, сказать с уверенностью, что лодзинское сражение останется последней попыткой в этом направлении. Немцам больше неоткуда будет взять подкреплений и нечем будет поднять дух своих войск. На полях под Лодзью решается участь всей германской кампании против России.

Варшава, 18-го ноября

Ночь в мертвом городе

Был вечер и быстро темнело, когда мы въехали в Брезины, городок неподалеку от Лодзи. В автомобиле нас было четверо: мой постоянный товарищ в поездках Ф., поэт А.М.Ф., журналист С. и я. Мы были достаточно утомлены, так как двое суток почти не выходили из автомобиля, объезжая «театр военных действий». Все четверо мы одинаково мечтали о каком-нибудь приюте на ночь, где можно было бы найти постели и чай, без особой уверенности, что наши мечты исполнимы. Завидев на первом углу праздно стоящего солдата, мы обратились к нему с расспросами: нет ли в городе гостиницы?

— Гостиница? — переспросил солдат, — а зачем вам гостиница? Входите в любой дом. Ежели квартира отперта и никого в ней нет, так и занимайте ее. Здесь все так делают.

Конечно, «что город, то норов», но последовать совету солдата мы не решились. Наш автомобиль опять запрыгал по испорченной мостовой в поисках отеля. Против ожидания, Брезины оказались довольно большим городом. Улицы были в ряд обставлены многоэтажными каменными домами. Встречались здания затейливой архитектуры; вдали был виден старинный, большой костел. Но ужасающая безжизненность царила кругом. Магазины были глухо заперты, и их окна закрыты щитами или забиты досками. Нигде в домах не было заметно никакого признака жизни. Неосвещенные окна без занавесок говорили, что квартира пуста. Кое-где на входных дверях висел тяжелый замок, но чувствовалось, что и другие двери, без замков, не отворяются. На базарной площади, около заколоченного круглого здания рынка, как-то растерянно толпились две-три группы евреев. Под одними воротами дряхлый старик продавал на лотке какие-то блины. Потом, там и сям, шли солдаты, и больше на улицах не было никого... Право, завоеванный нами галицийский Ярослав представлял картину меньшего безлюдия, чем эти освобожденные нами Брезины.

Мы обошли ряд домов и стучались у многих дверей. Часто на этих дверях можно было прочесть еще не стертые, сделанные мелом немецкие надписи: «Reserv», «III Divis.» «128 Regin.» и т. п. Нигде на наш стук никто не откликался. Становилось почти жутко: словно мы — в каком-то мертвом городе, в средневековой Флоренции, опустошенной чумой. Неужели эти сотни домов все пусты и никто не живет в них?

Наконец, мы остановились перед дверью, за которой, по всем указаниям, должен был помещаться «Отель Польский». Ни у подъезда, ни на двери не было никакой вывески. Мы опять стали стучаться, и на этот раз дверь открылась. К нам вышла миловидная девушка-полька, одетая просто, как служанка, и, выслушав нас, решительно заявила, что никакого отеля здесь нет. Из ее слов выходило, что здесь — частная квартира.

— Три пана здесь мешкают (живут), — говорила она.

В полном унынии мы уже готовы были удалиться. Вдруг кто-то из нас догадался, в чем дело, и, вернувшись, начал объяснять девушке, что мы не намерены занимать помещение даром, что мы за комнаты заплатим, как добрые постояльцы. Девушка изумилась. Приезжие — в Брезинах, в этом городе, из которого все бегут! «Гости», которые будут платить за занятые номера деньги, как в прежние времена! Это было так необычно! Поколебавшись немного, она растворила дверь и впустила нас в «отель».

«Отель» оказался скверной провинциальной гостиницей, но все же в «номерах» были и столы, и кровати, и умывальники, даже полузасохшие цветы в поломанных корзинах. Только холод стоял в этих комнатах жестокий; топлены они были в последний раз, вероятно, недели три тому назад, и вряд ли в них было больше 5–6 градусов тепла: во всяком случае, в «отеле» казалось много холоднее, чем на улице. Не было ни свеч, ни воды. После наших долгих настояний девушка согласилась достать нам три свечи, по 20 коп. за штуку, и налить воды в умывальники. Затем выяснилось, что еще мы можем получить кипятку в чайнике, и ничего больше.

Но больше ничего нам и не оставалось желать! У нас была с собою кое-какая провизия, шоколад, яблоки. В чайнике мы заварили чай, который подавала нам та же миловидная служанка, которая, за отсутствием владельцев (они бежали в Варшаву), была и полной хозяйкой в «отеле». В перспективе были у нас хотя и холодные, но все же «настоящие» постели, с подушкой, простыней, одеялом. Не всегда любопытствующие наблюдатели, объезжающие «театр военных действий», получают все это на ночь, и мы чувствовали себя хорошо и весело. Ф. занялся рассматриванием карты, выясняя наш дальнейший путь, С. записывал на блокноте впечатления минувшего дня, а мы с А.М.Ф., вспомнив дни юности, обменивались шутливыми сонетами-экспромтами...

Но, как будто затем, чтобы напомнить нам, где мы, за окнами все громче и явственнее стали раскатываться глухие и мерные гулы орудийной пальбы. Тяжелые звуки, словно отдаленный гром, потрясали воздух. Было явно, что где-то поблизости от города завязывался артиллерийский бой. Мы выбежали на улицу. Над крышами домов так же мерно небо озарялось розоватыми вспышками, словно от отдаленных молний. Просияет зарница, потом прогремит раскат выстрела; минуту — все тихо, и опять то же самое... Это наши батареи обстреливали немцев, шедших в ночную атаку на наши позиции. Нам невольно представились сырые и грязные окопы, где теперь солдаты, не раздевавшиеся по две, по три недели, но мечтавшие «соснуть» несколько часов, завернувшись в шинель, на голой земле, должны бодрствовать всю ночь, отстреливаться, отбивать, может быть, штыками натиск упорного врага. Нам представились те груды мертвых тел, которые столько раз приходилось нам видеть на краях окопов; раненые, ползущие к перевязочному пункту; врачи, опять изнемогающие от непосильной работы… И, когда мы вернулись в свои комнаты, на которые только что так радовались, у нас уже пропала охота шутить и обмениваться экспромтами; нам почти стыдно было приготовленных для нас постелей, с бельем сомнительной свежести...

Вскоре мы могли наглядно убедиться и да других примерах, что Брезины — далеко не место веселья.

Мне понадобилось немного йоду. Аптеки в городе были закрыты, так как немцы «реквизировали» в них все медикаменты, но наша бойкая горничная-хозяйка, знавшая Брезины «как свои пять пальцев», посоветовала мне обратиться в соседнюю квартиру, занятую г. К., капельмейстером местного оркестра. Г-же К. оставил весь свой товар владелец аптекарского магазина, сам бежавший в Варшаву, и только у нее во всем городе можно получать лекарства (кстати сказать, такая торговля в частных квартирах — характерное явление в опустошенных городах; в Брезинах мы прио-

брели потом дюжину носовых платков также в частной квартире, где сохранялся остаток товара от разграбленного немцами мануфактурного магазина). Я последовал разумному совету и постучался у дверей К. Так состоялось наше знакомство с ними, и оно позволило нам заглянуть в интимную жизнь обывателей города, воочию представить себе, что они переживали за три страшных месяца.

Обстановка в квартире К. обличала, что здесь живут люди интеллигентные. На стенах висели хорошие гравюры и литографии. На этажерке и на столах было раскидано много книг; среди них я заметил сочинения любимых мною авторов: Реми де Гурмона, Пьера Луиса, Захер Мазоха, Ведекинда и др. Меня К. встретили не столько как покупателя, сколько как желанного гостя, усадили за стол, предложили чаю... В течение многих недель они не видели никого, кроме измученных и запуганных обывателей своего городка да офицеров «действующей армии», столь же отрезанных от остального мира, как они сами. Вид человека, приехавшего прямо из Варшавы, привезшего с собой «новые» (вышедшие пять дней тому назад!) номера столичных газет, казался К. столь же необычным, как служанке нашего отеля — гость, готовый платить за занятую комнату! И, конечно, К. трудно было преодолеть желание с таким человеком поговорить, расспросить его, что делается «на свете», а главное, высказать ему, что они здесь выстрадали. Через несколько минут мы уже беседовали как давние знакомые, и г-жа К., буквально со слезами, ломая руки, спрашивала меня:

— Боже мой! Когда же это все кончится?

Надо представить себе ту жуткую обособленность, в какой оказываются города, как Брезины, беспрерывно находящиеся в сфере военных действий и переходящие из рук в руки (Брезины были занимаемы немцами *двадцать* раз). Всякая связь с большими центрами обрывается; газет жители не видят по целым неделям и о том, что происходит в действительности, не имеют никакого понятия; зато возникают и циркулируют нелепые слухи, один безнадежнее другого. То под городом, то в самом городе постоянно идут бои; снаряды перелетают через дома, шрапнели лопаются над крышами, пули свистят на улицах; надо прятаться в погреба и там «отсиживаться» по целым суткам, в темноте, в духоте. Элементарнейшие удобства культурной жизни отсутствуют; недостает хлеба, нечем освещать дома и отапливать их; папиросы или яблоки становятся предметами роскоши. А в дни, когда город бывает в руках неприятеля, приходится еще сносить сознание своей полной беспомощности перед наглостью немцев, без протеста смотреть на совершаемые ими гнусности (много их было свершено немцами в Брезинах!), терпеть унижения, отдавать свои вещи первому встречному офицеру, который их требует под видом реквизиции или добровольного подарка! Что же удивительного, что человеческие нервы не выдержали такого напряжения, длившегося месяцами, и что г-жа К. плакала предо мной, совершенно ей посторонним человеком!

— Мне иногда кажется, — говорила мне она, — что прежней, обычной жизни не осталось нигде больше, так я от нее отвыкла. Неужели, в самом деле, есть города, где люди не дрожат ежедневно за свое существование не должны дни и ночи проводить в погребах, могут не ожидать каждую минуту, что вот — войдет немец и заберет из ваших столов и комодов все, что ему понравится! Неужели все еще есть счастливцы, которые каждый день получают газету, имеют вволю хлеба и свеч, не

слышат 24 часа в сутки пальбы, от которой глохнешь, и могут когда угодно уехать из города! Мне теперь это все кажется сказкой!

Да, надо пережить то, что испытали жители Брезин, чтобы понять, как можно обрадоваться «свежему» человеку!

Когда я возвратился к товарищам, со мной вместе пришел и г. К., который не мог преодолеть желания — поговорить со всеми, приехавшими «из мира живых». Одновременно пришел к нам в отель и местный фотограф, г. Р., так как мы обмолвились (в разговоре со служанкой), что желали бы видеть фотографии, снятые им с немецких солдат. Потом пришло, под какими-то предлогами, еще несколько человек, так что наши нетопленые комнаты обратились как бы в маленький клуб. Каждому хотелось повидать нас, спросить, что мы знаем нового, и самому рассказать о пережитом им. Все слишком настрадались в одиночестве; всем казалось, что, передав новому, чужому человеку свою скорбную повесть, он как бы сбросит с себя половину гнетущей душу тяготы…

Рассказы сменялись рассказами. Вся история Брезин за три месяца проходила перед нами, почти день за днем. Фотограф повествовал обстоятельно, указывая точные даты, называя имена, приводя названия полков. Г. К. сумрачно и отрывисто передавал отдельные эпизоды. Бойко и красочно описывала (по-польски) некоторые события наша служанка, которая, на правах полухозяйки отеля, вертелась тут же. Другие поправляли говоривших, дополняли их рассказы, приводили новые факты, в параллель к сообщенным... И все, что нам рассказывали, был один ужас, сплошной кошмар, но кошмар этот называется современной войной.

В присутствии стольких свидетелей-очевидцев, говоривших с дрожью в голосе, с порывами негодования, могли ли мы не поверить тому, чему все еще не хочется поверить окончательно, что немцы — варвары, что нет такой жестокости и такой гнусности, которую нельзя было бы ожидать от них! Нам рассказывали, как немцы выбрасывали русских раненых из лазаретов, добивали пленных казаков, оскорбляли сестер милосердия, издевались над проходящими по улице женщинами, грабили магазины, воровали частное имущество... Только два-три факта, говорящих о неподдельном мужестве немцев, об их готовности умереть ради торжества своего дела, несколько скрашивали безотрадную картину. Нет, мы не имели права сомневаться в истинности этих рассказов, относить их на счет расстроенных нервов рассказчиков. Мы должны были без споров признать горестную действительность…

Наша беседа затянулась долго, и, расставшись с нашими новыми знакомыми, мы остались под тягостным впечатлением слышанного. Теперь нам стало понятно, почему так пустынны Брезины, почему магазины брошены владельцами, а дома — обывателями, почему так уныло растеряны немногие оставшиеся в городе жители. Три месяца «в сфере военных действий» — это обратило Брезины в «мертвый город», заставило всех, у кого была хоть малейшая возможность, бежать из этого нового круга Дантова ада, — бежать все равно куда, в Варшаву, в Минск или даже без определенной цели, без приюта впереди, только бы прочь отсюда! Можно быть храбрым в бою, можно бестрепетно встретить смерть, можно с достоинством стерпеть оскорбление, не имея возможности на него ответить; но ни у кого не достанет сил неделя-

ми и месяцами жить под угрозой смерти и под угрозой постоянно возобновляющихся унижений; а именно это и было участью жителей Брезин.

Канонада не смолкала, когда мы ложились спать. Завернувшись в шубы, мы постарались заснуть в наших студеных постелях. Усталость наконец преодолела холод и заставила нас на время позабыть и пальбу под городом, и жестокие повести брезинцев.

Утро следующего дня было ясное, светлое. Небо синело, как в апреле. Пушки стихли. Одну минуту хотелось думать, что вчерашние впечатления — лишь дурной сон. Но они немедленно воскресли перед нами, потому что наши новые знакомые, с раннего часа, уже стали стучаться в нашу дверь. Все наперебой предлагали нам различные услуги. Пришел фотограф с заинтересовавшими нас снимками. Кто-то принес нам как дар экземпляр прокламации к полякам, которую немцы разбрасывали с аэропланов, и номер агитационной газеты «Yici», издававшейся краковскими «стрелками», которую тоже раздавали жителям Брезин. Г-жа К. приглашала нас к себе завтракать. Ее муж предлагал нам разные полезные в пути вещи: бензин для автомобиля, сифон содовой воды, яблоки...

Мы торопились, и у нас не было времени для новых бесед. Наскоро позавтракав у К., мы поспешили занять свои места в моторе. Наши знакомые столпились на тротуаре, провожая нас. Должно быть, им казалось, что с нашим отъездом опять обрывается их связь с остальным миром, «мертвый город» опять замыкается вокруг них.

— Не забывайте нас! — просила г-жа К.

Шофер засвистел; автомобиль тронулся. Замелькали заколоченные лавки и странно-пустые окна домов, похожие на остекленевшие глаза мертвеца. На углу, у помещения, занятого штабом, повстречалась нам группа солдат. Больше на всех улицах нигде не было никого. Прощай, мертвый город!

В предместье мы встретили знакомого офицера. Он сообщил нам, что немцы в эту ночь «упорно наседали» на наши позиции, но везде были отбиты с большим для себя уроном. На этот раз, по крайней мере, гроза нового вражеского нашествия миновала Брезины!

30-го ноября, Варшава

О «соколах»

Теперь уже несомненно, что все попытки создать среди поляков движение против России в союзе с немцами окончились полной неудачей. Внушить полякам, что немцы — их друзья, что у них — общие задачи, оказалось по самому существу дела невозможным. А эфемерное существование в Кельцах «свободной Польши», которой позволялось пользоваться своей «независимостью» только под строжайшим руководительством германских командиров, должно было открыть глаза и наиболее легковерным.

В частности, ничего не вышло из пресловутого «войска польского», всех этих «галицийских легионов», «краковских стрелков», «соколов» и т. д. Среди вожаков движения было несколько человек широко известных, видных общественных деятелей, уважаемых писателей. Но они остались одинокими, их пример не увлек народ-

ных масс. В первые дни организации вступило в ряды «войска польского» несколько юношей из старинных польских семей, но то было исключением. Никакие прокламации, никакие агитационные листки, никакое красноречие превосходнейших ораторов не могли убедить польский народ, что он должен идти об руку с пруссаками.

Чтобы все-таки заполнить ряды обещанного «войска польского», пришлось вербовать солдат без особого разбора. Принимали мальчиков прямо со школьной скамьи, которых опьяняла самая мысль — непосредственно участвовать в великих исторических событиях. Наряду со школьниками брали всяких проходимцев, которым все равно некуда было деваться и которые шли в солдаты не по убеждению, а из любви к приключениям. Не брезгали и заведомо темными личностями, определенно мечтавшими об одном — чем-нибудь поживиться при общей смуте. Наконец, в наших городах, занятых немцами, легионеры отворяли тюрьмы, освобождали преступников и их также включали в свои ряды, в надежде, что служение «высокому» делу облагородит всех. Так составилось это «войско польское», частью из фанатиков, частью (и, к сожалению, этот элемент преобладал) из «зеленой» молодежи, частью из сомнительных дельцов и буйных головорезов.

Когда генерал Либерт, бывший германским губернатором в оккупированной Лодзи, узнал о поведении в городе «краковских стрелков», он сказал: «Знай я, что эти люди таковы, я никогда не впустил бы их в Лодзь». Так, приблизительно, стали с течением времени относиться к «войску польскому» и другие германские командиры. Им пришлось убедиться, что вместо союзных отрядов они получали или шайки грабителей, или группы экзальтированных школьников. Боевая помощь от «легионов» была ничтожна, но хлопот и затруднений они причиняли множество. Кончилось тем, что командиры стали решительно отказываться от включения в свою армию союзных польских отрядов.

Как прекрасную иллюстрацию ко всему сказанному, я передам здесь рассказ одного из жителей Брезин, который мог близко наблюдать деятельность «соколов» и сам едва не попал насильственно в их ряды.

Это было месяца два назад, — рассказывал г. Z. (молодой человек, поляк), — когда немцы впервые заняли Брезины значительными силами (раньше вступали в город лишь небольшие немецкие разъезды). Тогда для нас германские войска были еще новинкой, — ах, как пригляделись мы к ним потом! — и весь город высыпал на площадь посмотреть на вступление немцев. Они проходили через город сомкнутыми колоннами, сурово, без песен, одетые тогда во все новое, с иголочки. Хотя Брезины и небольшой город и занятие его не представляло особой чести, офицеры были чуть ли не в парадных формах: так и сверкали каски, рукоятки сабель, какая-то позолота...

Кстати сказать, у многих немецких солдат были на груди Железные Кресты. Нас это удивило. Мы знали, что Германия уже сорок лет не вела войны и, следовательно, солдатам негде было заслужить отличия. Впоследствии мы расспросили об этих крестах. Солдаты ответили, что награда получена ими за бой при Сольдау. При этом они безмерно хвастались своей победой, говорили, что захватили в плен трех гене-

ралов и сто тысяч солдат. Впрочем, немцы всегда преувеличивали свои успехи до чрезвычайности и, кажется, вполне искренно, в наивной самоуверенности.

Среди колонн германских войск наше внимание остановил отряд, шедший особняком и одетый в мундиры, совершенно иные, чем у немцев. На солдатах была синеватая шинель, вроде австрийской; под ней виднелся пояс с двуглавым австрийским орлом; на головах — суконные шапки, которые мы называем конфедератками, с одноглавым белым польским орлом. Офицеры были в мундирах того же «защитного» цвета, но в фуражках другого покроя, с козырьком, так называемых матиувках, вроде тех, что теперь носят летчики. Солдаты были вооружены винтовками; офицеры — саблями и револьверами. Во всем отряде было человек сто или немногим более.

Самое же поразительное было то, что все «солдаты» были юноши или, вернее, мальчики (чтобы не сказать — дети), судя по виду, лет 16-ти, 15-ти и даже 14-ти. У некоторых были детские розовые лица и детские наивные глаза. Но большинство были парни, с неинтеллигентными лицами, порой — типичные хулиганы, составляющие горе своей семьи или своей деревни. Офицеры были постарше, лет по 25–27, и все, по-видимому, принадлежали к интеллигентному классу.

Когда мы узнали, что это — польские волонтеры, «войско польское», нам стало грустно. Мой приятель, смотревший рядом со мной на шествие германской армии, сказал мне об этом польском отряде:

— Прямо плакать над ними хочется. Одних еще за азбуку посадить надо, а другие — шумовина какая-то! (шумовина — накипь, пена жизни).

Немцы разместились в городе по частным квартирам, выгнав хозяев, и офицеры соколов также. Тут мы невольно познакомились с ними ближе. Люди оказались самые различные и родом из самых разных мест: были познанцы, были из Галиции, а один был американец.

— Я прослышал, — сказал он, — что против России творят легионы, и приехал.

Кажется, «прослышал» он еще до официального объявления войны.

Мы сначала думали, что соколы будут посредниками между нами и немцами: все-таки свои братья, поляки. Кроме того, у нас в городе мало кто говорил по-немецки. Мы стали поэтому обращаться к соколам во всех случаях, когда нам надо было что-нибудь узнать от немцев. Но соколы держали себя, как и немцы, особняком и никакой поддержки оказывать нам не хотели.

Вскоре мы могли убедиться, что соколы не уступают немцам и в обидах, чинимых местным жителям. Немцы тогда занимались всякого рода «реквизициями», забрали всё готовое платье, которым преимущественно торгуют Брезины, забрали муку, керосин, овес, а затем стали грабить «по-маленькому», присваивая себе в магазинах и в частных домах все, что им нравилось. Соколы с большой готовностью последовали примеру своих союзников.

У нас в Брезинах, за отсутствием властей, заправляли делами обывательский комитет и милиция. В эти организации то и дело стали поступать требования соколов. То им нужны были лошади и фураж для них, то подводы, то хлеб, то белье. Иного прямо негде было достать, но соколы, как и немцы, не хотели слушать никаких возражений.

— Как вам не совестно, — говорили мы офицерам соколов, — притеснять своих братьев-поляков? Вы требуете у нас лошадей, а где мы их возьмем? Надо будет отнимать у крестьян последних.

— И поделом! — возражали нам офицеры. — Зачем они не пошли вместе с нами за общее, польское дело. Кто остается верен москалям, мы тех щадить не намерены.

Отдельные солдаты-соколы вели себя еще хуже. Они прямо вымогали с угрозами разные вещи у жителей. Вломится такой сокол в чужую квартиру, грозит винтовкой и требует. Конечно, перепуганные женщины отдадут ему все, что он захочет. Пробовали некоторые из нас жаловаться немецкому командиру, вышло только хуже. Он топнул ногой, закричал: «Вы клевещете! В германской армии не может быть грабителей! Я прикажу вас расстрелять!» Тем жалоба и кончилась.

В один из первых дней после вступления немцев шел я по улице. Вдруг подходит ко мне сокольский офицер и требует, чтобы я провел его в магистрат. Я испугался. Если бы я один повел германского офицера в магистрат, это могли бы истолковать в том смысле, что я помогал немцам, вообще был с ними в близких сношениях. Поэтому я подозвал одного знакомого, русского, шедшего тут же, и мы повели офицера вдвоем. По пути мы захватили еще одного еврея и так, все трое, — представители трех национальностей города, — держась за руки, проводили сокола до здания магистрата.

Оказалось, что сокольскому офицеру нужны были списки лиц призывного возраста, от 18-ти до 45-ти лет. Офицер долго рассматривал эти списки и что-то отмечал у себя в книжке, кажется, подсчитывал число. Мы всё это потихоньку наблюдали, но, когда офицер свою работу кончил, быстро разошлись, чтобы нас не видели вторично в его обществе.

Дня через два вышло объявление, напечатанное по-немецки и по-польски, чтобы все лица от 18-ти до 45-ти лет явились в такой-то день, в здание магистрата для освидетельствования их врачом, — чтобы выяснить, годны ли они для военной службы. В то же время соколы на улицах всем насильно раздавали написанную по-польски немецкую прокламацию, призывающую поляков записываться в ряды польского войска. Отказываться все боялись и прокламацию брали, но содержание ее большинству было известно: немцы в начале войны тысячами разбрасывали эти прокламации с аэропланов, так что иногда поле делалось белым от валяющихся листков бумаги.

Прокламация начинается словами, что вот-де приближается для поляков минута освобождения из-под московского ярма. Далее следуют разные пустые фразы, в таком роде: «Мы вам несем свободу и независимость», «Пусть восточное варварство уступит перед цивилизацией Запада, общей вам и нам», «Восстаньте, присоединитесь к нашим союзным войскам» и т. д. Никакого впечатления эта прокламация на поляков никогда не производила, и странно, что соколы, сами поляки, не видели, до чего она бессодержательна.

Во всяком случае мы все очень волновались. Ни у кого не было охоты вступать в войско польское, но как было ослушаться приказа? В назначенный день пришли в магистрат не только все те, кто жил в самых Брезинах, но и крестьяне из деревень. Многие приехали на лошадях издалека, так как боялись, что с них строго взыщут за неявку.

В магистрате, в большой зале, был поставлен стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидели сокольские офицеры. Врача не могли найти, так как все наши врачи (и было-то их в городе всего три!) заранее бежали, еще до прихода немцев. Вместо врача пригласили цирульника, из тех, которые считаются «первого класса» и имеют право вывешивать над дверью металлическую тарелочку.

Людей набилось в зале множество — несколько сот человек. Сокольский офицер вызывал по алфавиту из списка. Когда кого-нибудь не оказывалось, делал в списке отметку и начинал добиваться, давно ли это лицо уехало, или, если не уезжало, где оно скрывается. Мы все дрожали и по большей части отвечали на все вопросы, что ничего не знаем.

Вызванного осматривал цирульник. Сказать по правде, он прекрасно играл свою роль: заставлял раздеться донага, выслушивал грудь, осматривал зубы, мерил рост и ширину груди, совсем как настоящий доктор. Потом он мне признавался, что сам трепетал от страха, как бы его не изобличили, что он ничего не смыслит.

Когда одного признали годным, он стал просить, чтобы его освободили, говорил, что у него жена, дети, что он должен содержать семью. Он долго плакался так, и наконец офицер сказал:

— Если не хочет служить, пусть уплатит 15 руб. в пользу войска польского.

Услыхав это, мы переглянулись, и у всех отлегло от сердца. Стало ясно, что от службы можно откупиться. Почти все стали просить отпустить их, и офицеры освобождали, кого за 30, кого за 20, а кого и за 12 руб., смотря по состоянию. Мне тоже пришлось кое-что заплатить, хотя я состоял в милиции и уже поэтому мог быть освобожден, а кроме того, болен грудью: врачи опасаются, не туберкулез ли у меня.

Один господин долго торговался, давал 7, 10, 12 руб. Наконец согласился на 25 руб. Он попросил позволения сходить домой за деньгами, ушел и скрылся. На другой день соколы захватили его жену и детей и заперли их в пустой мельнице. Отпустили их соколы только за выкуп в 300 руб.

Все же в тот день забрали около 200 человек, признанных цирульником годными. В том числе были бедняки-крестьяне, которые не могли заплатить и 12 руб.; были люди богатые, с которых соколы требовали слишком большую сумму (рублей полтораста и больше); были, наконец, такие, которые не хотели платить из принципа, считая набор противозаконным.

Последнее было совершенно справедливо. На другой день собралось соединенное заседание обывательского комитета и правления милиции, чтобы обсудить это дело. После долгих споров решили подать протест командиру германских войск. Мы писали в протесте, что набор солдат в оккупированной местности противоречит международному праву, разным конвенциям и т. п. Черновик составили общими силами, но долго не могли найти никого, кто согласился бы переписать протест. Все боялись и отнекивались. Наконец кто-то взялся за это дело, но кто именно, право, так и осталось неизвестным.

Нашелся и такой смельчак, который взялся подать протест: один еврей, немного говорящий по-немецки. Он не только передал немецкому командиру бумагу, но и изложил ее содержание. Командир выслушал протест довольно милостиво и сказал, что рассмотрит жалобу. Но депутат имел неосторожность добавить, что этот

насильственный набор ляжет пятном на всю германскую армию. Немец страшно рассердился, закричал, что на германской армии не может быть пятна, и не захотел более ничего слушать. Никакого ответа на наш протест мы не получили.

Между тем забранным 200 человекам велели готовиться в путь. Крестьянам даже не позволили съездить к себе в деревню, попрощаться с семьей, опасаясь, что они сбегут. Через день всех повели в Лодзь, пешком, под конвоем отряда соколов. Во время пути некоторые новобранцы все-таки убежали и спрятались в лесу.

В Лодзи новобранцев накормили, дали им отдохнуть, а потом их повели к какому-то важному лицу, по их объяснениям, к «генералу» соколов. По некоторым указаниям, можно догадываться, что это был Вацлав Серошевский. Генерал произнес перед новыми соколами речь. Он сказал им, что императоры Вильгельм и Франц-Иосиф не положат оружия, пока хотя бы один поляк будет «стонать в неволе», и благодарил новобранцев за их готовность служить в рядах войска польского. «Как отрадно, — так закончил генерал, — что из такого маленького города, как Брезины, вышло так много охотников, добровольно отдающих свою жизнь на служение нашему делу!»

Тогда, осмелев, один из новобранцев возразил:

— Да мы вовсе не охотники.

— Как не охотники?

Наши брезинцы объяснили, что их забрали насильно. Говорят, генерал страшно рассердился и сейчас же всех отпустил. Они в тот же день, опять пешком, вернулись в Брезины. Сокольские офицеры досадовали и гневались на такой оборот дела, а откупившиеся стали громко требовать свои деньги назад. Но это, конечно, ни к чему не повело, тем более что скоро и хозяйничанью немцев в городе пришел конец. Приблизились русские войска, и немцы вместе с соколами на время выбрались из Брезин.

———

На этом г. Z. закончил свой рассказ. При следующих нашествиях немцев на Брезины соколов в рядах германской армии уже не было.

Брезины–Варшава

Клубы дыма

«Добивает» — именно этим словом хочется определить то, что сейчас делает война с городами и деревнями Западной Польши. На охоте иногда «добивают» затравленного зверя; так война «добивает» теперь затравленную ею страну. Казалось, что все селения уже разорены до конца, опустошены, сожжены; что все их жители разбежались; что в крае нечего взять, нечего сокрушать, некого притеснять и грабить. Но все-таки еще какие-то люди жили в своих полуразвалившихся домах, ухитрялись существовать без хлеба и топлива, в страшной отчужденности от остального мира, упорно цепляясь за обломки своей привычной жизни. Но война вернулась на старые места и опять нашла, что разорять, что жечь, что опустошать. Она «добивает» свою жертву.

Эти мысли приходят мне в голову, когда я гляжу на клубы черно-белого дыма, подымающегося за лесом. Наш автомобиль остановился; нам категорически объявлено, что дальше ехать нельзя. На наш вопрос, откуда дым, нам ответили кратко:

— Сохачев.

Да, это горит Сохачев. Война «добивает» его.

Еще раньше, на шоссе, мы встретили фуру, вероятно, с последними беженцами из Сохачева. Почему они так долго промедлили в обстреливаемом городе? Откуда в последние часы достали фуру и лошадь, когда несколько дней назад все были разобраны, расхватаны по несообразным для городка ценам? Одна из тех несообразностей, которых много на войне. Фура была «битком набита»; лошаденка еле тащила чуть не полтора десятка людей, увозивших с собой какие-то свои вещи, захваченные, видимо, наспех, в полной растерянности; среди узлов и корзин торчали: самовар, пустая клетка без птицы, что-то из мебели, — то, что попалось под руку.

Узнав, что беженцы из Сохачева, мы спросили о положении дел в городе; возница только махнул безнадежно рукой, для вида слегка прихлыстнул изможенную лошаденку и молча проехал мимо.

Сохачев в нескольких верстах от нас. Но пальбы сейчас не слышно. «Как пахарь, битва отдыхает». Но там теперь едва ли не самые тяжелые минуты. Подводятся первые итоги прерванного боя; делаются перевязки... Раненых размещают по вагонам, и опять сегодня Варшава будет принимать незаметных героев, «отдавших кровь свою» за наше общее дело...

Когда я в первый раз попал в Сохачев еще в начале войны, это был оживленный, хотя маленький и грязный уездный городок. На базарной площади, сплошь окруженной всевозможными магазинами, лавками и «собственными мастерскими», шумела толпа евреев, которые все имели вид чрезвычайно занятых дельцов. Милые девушки, брезгливо обходя лужи, кокетливо приподымали юбку и старались в щегольстве подражать варшавянкам; из окон выглядывали улыбающиеся лица. За городом красивый, прочный мост переступал через Бзуру, и тотчас за ним начиналась аллея вековых деревьев. Руины старинной крепостцы живописно венчали высокий холм над самой рекой.

Потом мне случалось проезжать через Сохачев в разные периоды войны: перед самым наступлением немцев на Варшаву, тотчас после их отступления, при вторичном их движении к Висле, в дни боев у Ловича... Город на моих глазах сначала пустел, потом разрушался. Дельцы и красивые девушки обращались в запуганных беженцев, набивавших собою фуры, а потом заполнявших в Варшаве «Швейцарскую долину» и другие благотворительные приюты. Закрывались магазины; безмолвными становились улицы и площадь, по которым мелькали уже только серые шинели наших солдат и офицеров. Наконец, с каждым разом все новые и новые раны наносила война самому городу, как бы вырывая куски мяса из живого тела.

Красивый мост через Бзуру пришлось взорвать. Переправа совершалась [...], спускаться к которому надо было по немощеному, почти отвесному склону крутого берега. Вековые деревья за мостом были срублены: они мешали обстрелу. Их громадными пнями завалили подход к остаткам моста. Ряд домов обратился в развалины. Там нависали полуобвалившиеся стены; там уныло зияли пустые отверстия окон

без рам; там целые фасады были исцарапаны снарядами и пулями. Только руины старинной крепостцы по-прежнему взносили свои причудливые очертания на высоте прибрежного холма. Они пережили многое, несколько столетий; видели перед собою еще крестоносцев; может быть, переживут и великую современную войну.

Помню, возвращаясь из Лодзи, я попытался купить в Сохачеве чего-нибудь съестного. На меня посмотрели как на человека, который хочет несообразного. Можно ли искать в Сохачеве ветчины, колбасы, каких-либо консервов? Все, что можно есть, было давно съедено. Мне указали, однако, небольшую лавчонку, где среди пустых ящиков печенья и пустых банок для конфет оказалось несколько ковриг свежеиспеченного хлеба. Но надо было видеть, как разбирались эти ковриги столпившимися в лавке обывателями (не весь ли «город» пришел сюда, так как в лавке было несколько десятков человек?). Мне почти совестно стало отнимать у них часть этого ржаного хлеба, представлявшего здесь, как кажется, утонченное лакомство. Все же я купил ломоть, так как был голоден; мы ели его с товарищами, катясь в автомобиле к Варшаве, и этот хлеб наводил нас на грустные размышления.

И вот теперь за лесом встают черно-белые клубы дыма. Сохачев горит, и скоро негде будет в нем испечь даже и хлеб.

[...] тоже пришлось взорвать. Наша артиллерия, занимая господствующие над противоположным, низким берегом высоты, не дает немцам навести свои мосты. Немцы употребляют все усилия, чтобы своими тяжелыми орудиями заставить замолчать наши батареи, но это им не удается. Тогда немцы идут вброд, не останавливаясь пред тем, что надо пройти несколько сажень, стоя по грудь в студеной декабрьской воде, все время под огнем ружейным и пулеметным. За ночь было нами отбито до шестнадцати атак. Бзура вздувалась: так ее заваливали тела убитых. Целые колонны немцев падали, не дойдя и до середины течения. Но на смену уничтоженным отрядам находились новые. Не было отдыха, не было покоя; «самый настоящий ад», как сказал один солдат, отправленный с каким-то поручением в Блони.

— Удивительная энергия! — подтвердил шедший за ним товарищ, любивший употреблять иностранные слова. — Фанатизм какой-то! Мы их бьем, а они все-таки прут.

Немцы продолжают добиваться своей «решительной победы во чтобы то ни стало». Но их «фанатизму» противостоит та спокойная бодрость, то истинное, не слепое, а сознательное мужество, которыми одушевлена вся наша армия. Она стоит сейчас стеной, загораживая переправу через Бзуру...

— Разве у нас позиций мало? — рассуждает тот же солдат, любитель иностранных слов. — Встретим немцев там-то и там-то (он назвал места). Везде им придется положить столько же людей. Что же у них останется?

Бодрость этих солдат, только что вышедших из «самого настоящего ада», заражает меня. Спокойнее я смотрю на черно-белые клубы дыма. Наша сила не в обладании тем или другим городом. Она — в несокрушимой мощи нашей армии. Каждый раз, когда сходишься ближе, дружески разговариваешь с солдатами, восстает в душе уверенность в нашем конечном торжестве. Чу! возобновляется канонада. Пусть!

Варшава, 5-го декабря

На театре военных действий
(День в пути)

Уже декабрь, а по новому стилю, принятому в Польше, — уже середина декабря. Через неделю — первый день Рождества. Но по обеим сторонам дороги — зеленеющие поля. Неглубокий снег, лежавший в ноябре, весь стаял, и озими блестят как изумрудные. Над свежей зеленью нив — глубокое, голубое небо. Отдаленные леса отливают лиловатым, словно на ветках набухают почки. Навстречу, в лицо, веет мягкий, нежащий ветер. Воздух сладок как весной, как апрельский, и хочется вдыхать его полной грудью.

Знакомая дорога и знакомые виды. Уже сколько раз за четыре месяца, так же откинувшись в автомобиле, я нежил взор красотой этих линий, — вот этой чуть-чуть холмистой далью, вот этим сходящимся сводом вековой аллеи, вот этим четким силуэтом готического костела. Была ранняя осень, и картина пестрела «багрецом и золотом»; были зимние дни, когда поле под изморозью казалось белым платом, а деревья в инее — серебряными; теперь, в этом декабрьском апреле, и лазурь неба, и изумруд полей полны кроткой покорностью. Но по-прежнему этот край остается «театром военных действий»; по-прежнему здесь грохочут пушки, трещит ружейная пальба, люди роют окопы, бросаются друг на друга «в штыки», падают раненые и лежат убитые; по-прежнему по этим равнинам, холмам и дорогам блуждают призраки Страдания, Разрушения, Смерти.

Германские полчища то широким потоком заливали западную Польшу, неся с собой ужас, пожары, грабежи, гоня перед собой местное население, которое бежало от врага в паническом страхе; то, теснимые нашей армией, опять отходили назад, к границе, как отлив, обнажающий дно и оставляющий на песке следы своего буйного набега — медуз, раковины, водоросли; то снова, «перестроившись», возобновляли свой натиск. Две огромных армии боролись и продолжают бороться на ограниченном пространстве земли, напоминая двух борцов, схватившихся грудь с грудью на тесной арене. То один подается, то другой; то более сильный валит на барьер противника, то сам принужден отступать под его новым усилием; соперники как бы топчутся на месте, все время готовые к обороне и выжидая подходящий миг, чтобы нанести решительный удар.

А между тем многострадальный край, ставший ареной этой борьбы, терпит все новые и новые лишения. Окопами изрыты и изрезаны поля; артиллерийским обстрелом разрушены и сожжены города и деревни; местность опустошена, жители голодают, мерзнут, лишены крова. Постои немецких войск и их беспощадные реквизиции вконец разоряют и крестьян, и горожан. Целые толпы людей, недавно живших в довольстве, теперь ютятся в шалашах и землянках по лесам. Нарушились, разбились все формы обычной жизни; нет заработка, нельзя достать нужнейших вещей, порвана связь с остальным миром. Да! Нелегкая участь в нашу эпоху стать «театром военных действий»! Пусть помнит Россия, что эту участь приняла на себя безропотно Польша.

Наш автомобиль, миновав аллею, ветви которой, сплетаясь, образовывали свод над головой, катится по шоссе, по обеим сторонам которого деревья подрублены для удобства артиллерийского обстрела[1]. Искалеченные стволы горестно подни-

[1] По понятным причинам в этой статье описываемые местности нигде не названы, но все черты описания строго соответствуют действительности.

мают к небу укороченные ветки, словно руки с отрубленными кистями. Чу! Треск пропеллера. Немецкий аэроплан обгоняет нас на высоте 1000–1200 метров; летчик держит путь вдоль шоссе, озирая идущие обозы, заготовленные окопы, занятые позиции. Тотчас начинается треск выстрелов, щелканье ружейных затворов. Стреляют с позиций; стреляют и «обозные». Пули свистят, перелетая прямо через нас, так как мы приходимся как раз между стреляющими и их целью... Слишком большой соблазн — «сбить» вражеский аэроплан. Уже немало немецких «голубей» было подстрелено в этом районе, и говорят, что немецкие летчики считают командировку на русский фронт почти что смертным приговором. Однако на этот раз немец забирает выше и уходит из глаз.

Увлекшись наблюдениями за стальной птицей, мы не заметили, что въехали в деревню. Вернее — здесь была деревня, притом большая, дворов в сто. Теперь не осталось ни одного дома. Все сожжено, и только по числу печных труб, окруженных грудами пепла и мусора, можно подсчитать число уничтоженных строений. В двух-трех местах крестьяне пригородили к этим трубам навесы из досок, покрыли их ветками, засыпали землей и живут в таких импровизированных шалашах, словно какие дикари. Одного старика мы расспросили, как сгорела деревня. По его словам, жители при приближении немцев все бежали в лес, а те в наказание и из мести деревню сожгли.

За деревней — опять поля, — те ровные поляны, от которых Польша, быть может, получила свое название. Присмотревшийся глаз уже не обращает внимания на трупы лошадей, валяющиеся вдоль шоссе, в канавах, на брошенные здесь же поломанные зарядные ящики, измятые манерки, изорванные фуражки и т. п., как и на окопы, которые и прорезают поля, и тянутся параллельно дороге. Окопов так много, что они кажутся необходимой подробностью любого пейзажа; в общем они образуют сеть — конечно, во много тысяч верст... Несколько необычнее и заинтересовывают более стройные линии военно-полевого телеграфа. На тонких низеньких колышках бегут его нити, иногда в два ряда, теряясь у горизонта. Еще стройнее, еще воздушнее возносятся ввысь ажурные башенки телеграфа беспроволочного, «искрового». Словно маленькие Эйфелевы башни, но более изящные, чем типично немецкое сооружение в Париже, раскиданы по простору равнин, и лучи солнца блестят на их стальных перекладинах.

Наши единственные попутчики в этой опустелой, покинутой населением стране — длинные, бесконечные обозы, растягивающиеся на версты. Наши встречные — разные части войск, переходящие на другие позиции. Солдаты, солдаты и солдаты, всех родов оружия, представители, кажется, всех губерний и всех народностей России! Иногда мы останавливаем автомобиль, заговариваем с проходящими, угощаем их папиросами. Нас окружает шумная толпа, бодрые, веселые лица; быстро меняемся впечатлениями, слышим рассказы о недавних боях и новые складные прибаутки о немцах. За папиросы солдаты трогательно благодарны, так что становится неловко. «Курение! Курение!» — разносится голос по рядам. Хотелось бы щедро одарить всех, хотя бы по коробке каждого, но ведь мы встречаем десятки тысяч человек! Офицерам мы предлагаем свежие газеты, захваченные нами из Варшавы. Это тоже кажется дорогим подарком здесь, куда газета иногда доходит спустя

неделю или десять дней. Некоторые так удивляются неожиданному дару, что упорно спрашивают, сколько следует заплатить.

А какую живописную картину представляют стоянки войск, биваки! В них есть что-то от прежней войны, исчезающей из жизни, — войны тех времен, когда не было железных дорог, телеграфов, телефонов, аэропланов. Вот стоят казаки. Их маленькие, но красивые лошади образуют целый табун. Составленные пики ярко сверкают, словно копья римских легионариев. Сами казаки столпились группами, в своих характерных шапках и шароварах, шумят, смеются. Так же точно стояли они, конечно, и при Наполеоне; такой же вид имели и лагери в древнее время... Вот — более прозаическая картина: походные кухни. Дымят десятки маленьких труб на колесах; люди суетятся, перебегают с места на место, приходят, уходят. И еще веселее голоса, что доходят до нас, когда мы пролетаем мимо в автомобиле.

Встречаются нам, конечно, и местные жители, но только около самых селений или городов. Зима остановила полевые работы, дел, требующих поездок, нет, и все предпочитают оставаться у себя дома, если только сохранился этот дом. Но зато как красивы изредка встречающиеся фигуры крестьян и крестьянок бывшего Ловичского княжества! Здесь уцелели национальные костюмы, и пестрота их ярко выступает на фоне зелени или серой земли. Женщины одеты в платья из материи с продольными полосами оранжевого, зеленого и синего цвета. У мужчин такие же шаровары. Девушки закрывают себе голову ярко-красным платком, совсем как девушки на Востоке. Что-то несовременное, дошедшее к нам из седой старины есть в этих фигурах...

После езды в несколько часов подъезжаем к довольно большому городку. У самой заставы толпа окружила аэроплан: это — немецкий аппарат, недавно захваченный нами. Он уже перекрашен, на нем уже русские надписи, и наш летчик испытывает его, катаясь в нем по земле. Все кругом радуются единодушно; смех, шутки, остроты. Немецкие аэропланы, разбрасывающие бомбы, достаточно всем досадили, и всем приятно видеть один из них в наших руках. Стальная птица стремительно перебегает поле, делает оборот и послушно возвращается на место. Ее приветствуют рукоплесканиями. Бывший «немец» послужит теперь нам против своих прежних хозяев.

Здесь же, под городом, встречаем партию пленных пруссаков. Один из нас, Ф., у которого какая-то мания собирать «трофеи войны», вступает с ними в переговоры. Ему хочется купить еще одну прусскую каску. Но немец, к которому он обратился, отвечает с гордостью:

— Das ist Kaiserliches Eigenthum! (Это — императорская собственность!)

Нет, еще не сговорчивы пруссаки и в плену!

В городе удается пообедать в маленьком ресторанчике, наполненном, конечно, исключительно офицерами. Наскоро осматриваем и самый город, похожий на все другие города западной Польши в наши дни: запертые магазины, ряд разрушенных и сгоревших домов, безлюдие на улицах... Потом едем опять, так как сегодня нам надо сделать еще 40 верст, а зимние дни — коротки.

Опять мелькают зеленеющие поля и окопы, обгоняемые нами обозы, стоянки солдат, башенки беспроволочного телеграфа. Постепенно явственнее начинает доноситься пальба, потому что мы приближаемся «к сфере огня». Впрочем, встречные офицеры объясняют нам, что сейчас ничего серьезного не происходит.

— Стреляем просто затем, чтобы немцы не дремали. А то ведь, если мы будем молчать, они заснут.

Некоторые дружески уговаривают нас не ехать дальше.

— Снаряды залетают на шоссе. Что толку? Автомобиль вам испортят.

Это сказано вовсе не в шутку. На войне отвыкли ценить человеческую жизнь. Офицеру искренно кажется важным предупредить нас не о том, что могут убить или ранить кого-либо из нас, но о том, что могут сломать такую ценную для войны вещь, как автомобиль... Мы, однако, непременно хотим достичь поставленной себе цели; да и опасность обстрела, по правде сказать, не очень велика, так как нет настоящего боя.

Вечереет. Ясный день кончается роскошным закатом. Грандиозный калейдоскоп рассыпает перед нами свои перлы, сапфиры, рубины и яхонты. Многоцветные картины сменяются в небе. Облака отливают всеми красками; голубизна неба словно освещена изнутри: прямые, алые лучи образуют сияние славы. Мы опять въезжаем в уцелевшую аллею, и за сетью стволов и ветвей смены закатных пыланий кажутся еще торжественнее, еще чудеснее. Перед этой вечной красотой природы на миг такой ничтожной представляется вся эта война, со всеми ее перипетиями, ужасами и тревогами... Все забыто, хочется только любоваться величием небес...

Но огни меркнут, превращаясь в догорающие угли; тускнеют драгоценные камни; жемчуг тучек становится мутным. Вскоре, зажегши фонари, мы катимся в темноте. Ухо слушает недалекую канонаду. Но в теле — усталость; в душе — одно желание: скорее добраться до ночлега. Вот заблистали впереди огоньки. Это — селение, где есть наш «питательный пункт» и где нам обещают приют на ночь. Автомобиль увязает в грязи, но мы торопим шофера. Еще-еще одно усилие, и мы будем на месте! А завтра — на передовые позиции.

Варшава, 9-го декабря

Письма врагов и к врагам

Предо мной — груда исписанных листков бумаги, грязных, измятых, частью изорванных. Многие, даже бóльшая часть испачканы кровью, оставившей красно-бурые подтеки по сторонам или залившей всю страницу. Это — немецкие письма, которые я сам подобрал на полях битв, около тел убитых немцев.

Сначала я не решался присваивать себе эти листки. Мне казалось, что я обираю мертвых, совершаю поступок, близкий к мародерству. Подумав, я изменил свое мнение. Санитары уже побывали на тех полях сражения, на которые попадал я. Все более ценное и важное было уже собрано и унесено: винтовки, шашки, лопаты, каски, ранцы, а также, конечно, и заслуживающие внимания документы. Осталось только то, что никому не нужно. Частные письма были брошены как бесполезный хлам; им все равно предстояло погибнуть под дождем и снегом, в грязи и слякоти. Подбирая эти письма, я никого не лишал его собственности; то была res nullius*, которую, впрочем, я всегда готов вернуть по принадлежности.

Пока, разобрав собранный мною материал, я хочу познакомить с ним читателей. «Познать своего врага» почти так же важно, как «познать самого себя». А каким

* вещь, никому не принадлежащая (*лат.*)

путем можем мы лучше узнать немецкого солдата — среднего, обыкновенного солдата, — как не по случайным письмам, которые он сам писал своим близким, и его близкие писали ему, никак не думая, что написанное станет общим достоянием? Сквозь эти письма видна немецкая душа и немецкая жизнь наших дней без всякой утайки и без всяких прикрас. Думаю, что в этом смысле «письма врагов и к врагам» представляют несомненный интерес. Оговорюсь только, что мое собрание в высшей степени случайно (я брал то, что попадалось под руку мне, и не просил других собирать для меня письма) и что, приводя отрывки из писем со всей возможной точностью (в переводе), я не счел себя вправе называть подлинные имена (фамилии): хотя мало вероятия, что эти строки попадут на глаза немецким читателям, все же мне казалось неуместным оглашать частную переписку с упоминанием имен.

Бóльшую часть моего собрания (всего в моих руках около 60-ти писем), естественно, составляют письма к солдатам, особенно полученные ими недавно, за несколько дней до боя, рокового для владельца. Есть по нескольку писем от одного лица: тот, кому они писались, очевидно, ни на миг не расставался с ними, всюду носил их с собой, в кармане или в ранце, взял и в свой последний бой. Наконец, есть небольшое число писем самих солдат, исключительно «открыток». Убитые написали, вероятно, их в самый день битвы, не успели отправить и, торопясь, понесли с собой. Меткая пуля или обломок шрапнели навсегда лишил адресата написанных к нему строк.

Этот последний род, — письма самих солдат, — наименее любопытен. «Открытки» писались наспех, может быть, урывками, с единственной целью сообщить близким, что такой-то жив и здоров. Перед боем нет времени пускаться в письмах в рассуждения и высказывать общие соображения. В одной из своих предыдущих статей я уже приводил несколько строк из характерного письма такого рода — открытки, найденной мною на поле битвы под Ловичем. Открытка — с видом женской гимназии в Гостыне и вся забрызгана кровью. «Милый Карл, — пишет солдат своему другу, — сообщаю тебе, что я неизменно жив и здоров. Желаю тебе того же самого. Мы неизменно идем против русских (слово “русских”, “russen”, подчеркнуто). Твой друг» (такой-то). Письмо адресовано Mónichburg и имеет дату: «Россия, 22, XI, 1914».

В том же духе и другие солдатские письма. Некоторые выделяются, впрочем, выходками против России. «Милый Д., — сказано в одной открытке, — я до сих пор еще здоров и весел, чего я и от тебя жду. Мы теперь — в России; это — очень плохая страна (das ist eine sehr schlechte Gegend)*». Так отразились в письме трудности похода в осеннюю распутицу, по опустошенной местности. Почти во всех открытках говорится, что их автор прибыл с западного фронта. «Раньше мы были в Бельгии, около Люттиха и Намюра», — продолжает письмо к Д. «Мы явились из Франции сюда, о чем я весьма жалею», — пишет другой. Есть и похвальба. «Там (в России), — сообщает один солдат, — мы имели четырехдневный бой, однако богатый победами». Однако эта похвальба — единственная среди всех моих писем. Затем солдаты усердно просят прислать им «чего-либо съестного», табака и теплых вещей. Видно, что во всем этом германская армия чувствительно нуждается.

* это ужасное место (*нем.*)

Гораздо содержательнее письма к солдатам, что и понятно: они писались на досуге. Их можно разделить на два рода: письма друзей и письма жен. Если первые довольно легкомысленны, то письма жен — часто длинные послания на шести мелко исписанных страницах — полны сведениями о современной немецкой жизни. Жалуясь на свои личные, интимные горести, женщины, сами того не желая, вскрывают душу Германии.

Бросим сначала взгляд на дружеские письма. «Мой милый Ф., — пишет кто-то из Берлина, — вчера я получил твою открытку, из которой узнал, что тобою еще не получена отправленная нами тебе посылка. Но теперь часто жалуются, что посылки в армию не достигают своей цели. В понедельник я был с *** на вокзале. Мы пришли как раз в то время, когда прибыл поезд с пленными французами, направляемыми в Шпандау. Было очень любопытно на них посмотреть. Пришли мне интересные открытки из местностей, где идет война...» Эта открытка — характерное письмо «среднего» берлинского «обывателя». Подобно всем он жалуется на неаккуратность почты, подобно всем с наслаждением глазеет на пленных врагов, а желания его не идут дальше «интересных открыток» из такой экзотической страны, как Россия.

Другая открытка из Берлина писана женской рукой, но принадлежит также к числу «дружеских», так как пишущая посылает «поклон от своего мужа». После обычных приветствий и извещения, что ею отправлено «три посылки», причем она просит «принять эту мелочь как знак того, что берлинцы о вас (о солдатах) помнят», пишущая продолжает: «Здесь все вполне спокойно, все мы здоровы, если время тебе позволит, напиши нам, но, главное, *не допускайте к нам ни одного русского* (lassen sie keinen Russen zu uns herein)». Заканчивается открытка осторожным вопросом: «Сообщи, какая программа играется в вашем кинематографе», — т. е., раскрывая намек, как идут дела на войне. В этом письме уже чувствуется смутное беспокойство берлинцев, боящихся наступления русской армии на Берлин.

Еще более тревожно небольшое письмо, тоже из Берлина, подписанное буквой F. «Здесь ходят разные нелепые слухи, — пишет этот F., — пожалуйста, разуверь всех и скажи, что с такой армией, как наша, нам нечего бояться. Особенно напуган твой отец, который уверяет, что даже в Берлине мы не в полной безопасности. Старику это простительно, но, когда то же повторяют молодые, это меня выводит из себя». Далее следуют сообщения о родственниках и знакомых, вернувшихся ранеными с театра войны. Письмо мне досталось без конверта и, может быть, было послано не по почте, а «с оказией». Возможно, что автор его и подписался лишь одной буквой из осторожности.

Самое бодрое письмо в моем собрании написано из Берлина неким Августом. Поблагодарив солдата за присланную открытку, он продолжает:

«Давай чаще вести о себе, особенно из вражеской страны. Мы получили известие о победе под Мецем (?), причем много тысяч французов взято в плен. Черт возьми! Наша молодежь, видно, чему-то научилась! Мы здесь войны не замечаем и все — в лучшем порядке. Итак, наилучший привет и до радостного свидания. Твой друг Август». Судя по восклицанию «Donner wetter», и этот Август раньше сомневался в немецких успехах и в способностях германской молодежи, и только известие о фантастической победе под Мецем привело его в столь воинственное расположение духа, что он перестал даже «замечать» войну.

Все письма наполнены сообщениями об отправке разных посылок со съестным, с сигарами, с теплым бельем. Притом также из всех писем видно, что посылки эти доходят до солдат крайне неаккуратно. «Милый брат, — говорит одна открытка из Берлина, — нам бесконечно жаль, что ты еще не получил наших посылок с колбасой и ветчиной. Мы думали, что ты с друзьями все давно съел. Может быть, скоро получишь еще одну такую посылку от нас. Если колбаса испортилась, верни ее назад, мы пришлем другую».

В том же духе еще несколько открыток. Другие осведомляются о посланных сигарах. «В понедельник, — говорится в одной из них, — я послал тебе 25 штук и, кроме того, от Фр. еще 25 штук. Дошло ли это все, сообщи. Впоследствии, может быть на следующей неделе, пошлем еще курева, в чем вы, конечно, нуждаетесь». Третьи беспокоятся об отправленных посылках с теплым бельем. Такого рода писем особенно много от жен, которые подробно перечисляют посланные ими вещи — носки, фуфайки, набрюшники, — и дают подробные наставления мужьям, как всем этим пользоваться.

Некий Георг Ш. покровительственно попрекает солдата, который, по-видимому, высказал, что ему совестно получать такие дорогие подарки: «Если в чем-нибудь нуждаетесь, — пишет Ш., — в табаке, сигарах или новой лошади, — кстати, как обстоит с ними дело? — то убедительно прошу вас немедленно нам сообщить. Столько-то всегда у нас найдется, особенно для наших бедных воинов, которые за нас мерзнут и голодают. Итак, выкиньте это из головы и рассчитывайте на нас свободно». В этом роде есть еще одно письмо, автор которого говорит, что обязанность граждан — «оказывать маленькие услуги воинам». Спрашивается, однако, почему же только «маленькие»?

Закончу ряд этих писем выдержками из одной открытки, сплошь исписанной мелким почерком, отправленной из Берлина 1-го ноября за подписью Р. М.: «Судя по твоему письму, — пишет М., — вы страдаете от холода; здесь, в Берлине, холода тоже уже чувствуются. Во всяком случае наши воины весьма достойны сожаления. Будь теперь весна, а не зима, было бы для вас гораздо лучше... Что касается грязного белья, ты можешь постоянно доставлять его нам; будет все приведено в порядок. Но я надеюсь, что этой войне скоро наступит конец. Как ты пишешь, вы не можете более употреблять свое белье. Откуда же в таких случаях вы получаете свежее? Присылают вам откуда-нибудь? Или вы щеголяете в костюме Адама?.. С этим письмом посылаю тебе папиросы; они, кажется, недурные. Может быть, вам будет теплее, если вы будете курить. До свиданья, как я надеюсь, не очень далекого».

———

Наиболее интересными, однако, остаются в моем собрании письма жен к мужьям. Нет в этих письмах того дешевого юмора, которым пытаются щеголять «друзья», нет общих рассуждений, скоро ли кончится война и научилась ли чему-нибудь немецкая молодежь; но есть неприкрашенная правда жизни, откровенный рассказ о тех бедах, которые выпали в Германии на долю «жен запасных». Можно сказать, что женские письма — одна сплошная жалоба, подавленная из боязни цензуры, прос-

матривающей переписку с армией, и заглушенная из желания не огорчать излишне мужа, но жалоба тягостная, которую трудно читать без волнения.

Две вещи стоят на первом месте во всех женских письмах: тревога за судьбу мужа, увеличиваемая постоянно приходящими вестями об убитых родственниках и знакомых, и забота о том, как прожить с детьми, не имея никаких доходов, не получая ниоткуда помощи. О первой тревоге много говорить не приходится: это — общая участь женщин в наши дни, — в Германии так же, как в России, во Франции, в Англии... Другое дело — забота о насущном хлебе. Сколько можно судить по моим письмам, в Германии она чувствуется особенно остро, особенно живо. Страшная дороговизна предметов «первой необходимости», полное отсутствие заработков, плохая постановка государственной и общественной помощи, а больше всего жестокость, черствость и формализм во взаимных отношениях людей между собой создают в Германии обстановку особенно гнетущую, в которой женщины как бы задыхаются. В газетах уже мелькали известия о «женских бунтах» в Берлине и других немецких городах. Письма, лежащие передо мной, делают эти известия очень вероятными.

Вот в письме, отправленном, по-видимому, из деревни (конверта не сохранилось), жена пишет мужу, что их сын, маленький Фриц, уже две недели как болен, так как нельзя достать для него молока. «Ты не представляешь, как дорого стало у нас молоко с тех пор, как коров забрали». Другая жалуется, что квартирная хозяйка принуждает ее выехать из дому за неплатеж и что она тщетно искала какой-нибудь защиты. «Думаю, — сообщает бедная женщина, — переехать к бабушке. Но, ты сам знаешь, есть ли там место? Не представляю, как мы устроимся там с детьми». Еще одна подробно вычисляет свои расходы и долги; все время речь идет о суммах в $1^1/_2$–2 марки, но пишущая усердно извиняется, что тратит так много. «Я понимаю, — говорит она, — что теперь надо жить скромнее, моя мать мне твердит то же, но я не умею сократить нужду».

Я не буду приводить однообразные выдержки из ряда таких писем. Ограничусь одной серией писем, в которой как бы слились все характерные черты других. Это — письма из Берлина к некоему Георгу Г., который, очевидно, тщательно их собирал, берег и не расставался с ними. Автор писем подписывался то своим именем, Фрида, то разными ласкательными прозвищами: «Твоя мамочка», «Твоя кошечка» и т. п. Мне жаль, что сейчас не время и на этих столбцах не место привести эти письма целиком. Кроме интереса злободневного, как «письма к врагу», они представляют и вечный интерес как «человеческий документ» исключительной ценности. Такая ясная и красивая душа женщины выступает из этих писем, что, перечитывая их, можно вынести только чувство глубокой симпатии к их автору (жене нашего «врага», убитого па нашем поле), — и это да послужит мне оправданием, если я процитирую несколько больше, чем то требуется для характеристики современной немецкой жизни...

Всех писем Фриды у меня 10. Пропуская менее значительные «открытки», я приведу выдержки из других в хронологическом порядке. Какие-либо комментарии к этим письмам мне кажутся излишними: они сами говорят за себя.

«Берлин, 29, IX, 1914. Мой глубоколюбимый Георг! Пишу тебе сегодня еще одно письмо. В субботу, 26-го, я получила от тебя открытку и сейчас же после этого по-

слала тебе посылку багажом… Надеюсь, ты получил что-нибудь из вещей; письма же надо отправлять постоянно, потому что сообщение (с армией) плохо, а твой адрес на последнем письме опять изменился. Я писала тебе уже много писем и думаю, что ты получил хотя бы половину их... Ах, мое сердце! С какой неизменной любовью думаю я о тебе! Как тяжело для меня и для тебя быть разлученными... Часто мне кажется, что этого вынести нельзя, такая тоска у меня на душе! Но вынести это надо. С течением времени становишься твердой и сильной. Итак, мой любимый, не тревожься за меня. Господь Бог нас не покинет. Бог даст, когда-нибудь придут опять счастливые дни для нас. Моя душевная любовь и Божие благословение всегда будут с тобой и последуют за тобой через все опасности, чтобы ты мог благополучно вернуться к нам... Если это тебе возможно, радость моя, пиши мне часто по нескольку строк, хотя бы то было лишь одно слово, что ты здоров; и, если с тобой что-нибудь случится, тоже дай знать сейчас же и не делай каких-нибудь необдуманных вещей. Я буду сильной и твердой; ведь я еще молода. Для нас обоих еще есть будущее. Только бы ты, мой милый Георг, был жив и опять со мной... Потому что твоя смерть будет также и моей».

«Берлин, 28-го, X, 1914. Мой глубоколюбимый Георг! Твое милое письмо, открытки и 20 марок я получила, за что тысяча сердечных благодарностей. Ах, сердце мое! Как я была счастлива, снова услышав от тебя, что ты невредим и здоров. Я тоже здорова, и в мыслях — всегда с тобой; но моя любовь к тебе и моя тоска иногда совсем изводят меня. Ах, если бы ты вернулся домой! Представь себе, мой милый, это счастие, — блаженные часы, когда мы опять будем вместе… Меня очень тревожит, что ты не получил двух моих посылок; 21-го я отправила тебе третью, с съестным. Что тебе окажется ненужным из шерстяных вещей, привези с собой обратно, но, надеюсь, тебе все пригодится… Постоянной работы я все еще не получила; мне только помогают, то там, то здесь, потому работы вообще почти нет в Берлине. Надеюсь, что будущий месяц окажется удачнее... Денег из сберегательной кассы я еще не трогала, а из тех, что получаю от матери, даю ежемесячно 5 марок Краузе, так как надо же платить. Из остальных денег у меня сохранилась еще половина, так как за квартиру я не платила, — только один раз, за полмесяца. Я подала прошение в магистрат с просьбой оказать мне помощь в платеже за квартиру. В магистрате мне обещали помочь, но лишь в том случае, если плата за квартиру будет уменьшена вполовину: тогда половину буду платить я, а другую половину — магистрат. Но наша квартирная хозяйка — чудовищная женщина: она решительно отказалась сделать скидку...»

«Берлин, 3-го, XI, 1914. ...Я очень рада, что ты получил одну из моих посылок; надеюсь, что получишь и две других. В конце недели постараюсь опять послать тебе съестного... Я чувствую себя безгранично покинутой. Ни от кого не слышу я ласкового слова. Все кругом — люди лживые и лишенные сострадания. Стараюсь быть бодрой, берегу свое горе для себя одной и повторяю свои жалобы лишь четырем стенам. О, если бы хоть на минуту, мой возлюбленный, ты оказался со мной, чтобы можно мне было раскрыть пред тобой свою душу! Хочу быть постоянно твердой и не поддаваться скорби, но мне недостает опоры, а ею был ты, о мое сердце! Мое единственное счастие! Все так мертво вокруг меня, и так долго должна я быть совер-

шенно одна. Это слишком тяжело для любящего сердца. Слишком я слита с тобой и потому так глубоко все это воспринимаю... Особой нужды я не испытываю, ты об этом не беспокойся. Я устаю только потому, что целые дни хожу в поисках работы. Я должна что-нибудь зарабатывать, чтобы не делать долгов. У меня еще есть деньги, но я их берегу, чтобы тебе, когда ты вернешься, не пришлось тотчас работать... Только не забывай меня, помни, что на родине тоскует по тебе любящая тебя, верная тебе душа... С квартирной хозяйкой я должна была быть любезной. Здесь, в Берлине, видишь теперь столько несправедливости! И прежде всего в женских комитетах, заправляющих всем. Но об этом я не могу рассказывать тебе в письме; как здесь обстоят дела, я должна буду сообщить тебе устно. Есть женщины, которые получают очень много, а другие — совсем ничего. Я теперь получаю 24 марки ежемесячно: это — все, что они мне дают…»

(Листок без числа). «...С квартирной хозяйкой я должна быть в хороших отношениях, потому что с такими личностями иначе ничего не добьешься... Она соглашается скинуть 3 $^1/_2$ марки, но только за время войны. Платить ей я стала бы аккуратно, так как не хочу иметь долгов... Надеюсь, что вскоре я получу работу. А подумать, что есть немало женщин, которые не чувствуют войны! Они получают так много денег, что еще могут делать сбережения! Некоторые получают, кроме того, из тех учреждений, где служит их муж, и живут прекрасно. Бывает же счастие иным!.. А у меня скоро будет новая печаль: бабушка очень плоха. Каждый день можно ожидать конца. Врач потерял всякую надежду…»

(Листок без числа). «...С квартирной хозяйкой у меня опять был разговор. Заведующий (чиновник из магистрата?) сказал мне, что она обязана сделать скидку, потому что все квартирохозяева уменьшили плату на время войны. Он стоит на моей стороне, и мои права признаны. Самое большее, что я могу дать ей, это — 10 марок. Если она не согласится, пусть будет что будет. Не надо склонять голову, надо быть разумной! Если хозяйка привлечет меня в суд, ей там откажут. Она может заставить меня выехать, но денег она не получит. Пока же я могу еще оставаться в доме. Не вижу причин, зачем выброшу я ей столько денег, когда на время войны все квартирохозяева сделали скидку, особенно тем, у кого мужья — на войне... Ах, многого навиделась я теперь и многих людей узнала с неожиданной стороны. Так, я узнала, что г-жа Г. — также личность лживая. Эти дни страданий и горестей, показав, каковы люди, многих женщин сделают более опытными. На все смотришь теперь другими глазами. Но ты, мой возлюбленный, не беспокойся за меня: я со всем справлюсь. Наша глубокая и верная любовь друг к другу поможет нам во всех бедствиях нашего времени, и мы с решимостью их преодолеем. Ведь, наконец, придут и для нас снова счастливые дни! Я надеюсь, что мы увидимся с тобою на Рождестве, так как я очень, очень тоскую по тебе. Цветы, что ты мне подарил уезжая, еще прекрасны, только один олеандр завял...»

Может быть, это было последнее письмо Фриды, полученное ее «единственно-любимым Георгом». Не дождется она на Рождество того, кто нашел свою могилу на снежном поле под Ловичем, во «вражеской стране». Перечтя эти письма любящей женщины, невольно хочется, во имя ея, сказать: «Мир твоему праху, один из наших “врагов”!..»

Но, чтобы не оставлять читателя под грустным впечатлением, я сберег для заключения, «pour la bonne bouche»*, еще одно письмо, тоже — от жены к мужу. Написано оно не очень грамотно, по-видимому, простой женщиной, крестьянкой, так как в письме поминаются полевые работы, из местности, смежной с Польшей. Несмотря на то что положение писавшей, как кажется, действительно нелегкое и несмотря на возвышенные слова, рассеянные в ее рассуждениях, письмо производит впечатление далеко не трагическое. Трудно не заподозрить искренность всех громких восклицаний и уверений этого своеобразного послания, в котором причудливо сочетался немецкий протестантский пиэтизм с немецкой простонародной практичностью. Вот наиболее характерные места этого длинного письма:

«Поломмен (?). 9, VIII, 1914. Милый муж! Я от тебя все получила и была очень рада услышать от тебя, что ты пока еще невредим и в числе живых. Благодаря милости Божией, я и дети также здоровы. Германхен тоскует по тебе и, так как он еще глуп, заслышав колокол, всегда говорит: это отец идет. И мы, хотя, быть может, ты уже никогда больше не вернешься к нам, не возражаем. Мы отдаемся на волю Божию, ибо добрый Бог никогда не оставляет того, кто на него полагается. Потому всегда имею я Бога пред очами и в сердце, так как без воли Божией и волос не спадает с головы. Милый Карл! Когда пробьет для тебя последняя минута, если Бог так назначит, ты можешь радоваться, ибо умираешь смертью героя. Добрый Бог не покинет меня и детей, если мы еще останемся в жизни. Ты же не теряй мужества, ибо добрый Бог всегда с нами... В Поломмене — общая тоска и уныние, так как мы сейчас очень боимся врага. Милый муж! Шурин Август в среду вернулся; он совсем отпущен. Ковальчик также вернулся, но потом должен был отправиться снова. С твоим братом Фрицем он поехал из Гольдерта домой. Глаш явился в субботу, после обеда, одетый как солдат, но сегодня, рано утром, уехал; он стоит под Гольдергом, на польской границе... Ну, мой милый муж, я более не знаю ничего нового, но ты можешь себе представить, в каком ужасе мы здесь все живем. Мы должны прилежно работать. Рожь и пшеницу мы посеяли; твои лошади вернулись... Кончаю. Тысяча приветов от любящей тебя жены, и детей, и всех. До свидания. Если не увидимся на этом свете, то увидимся мы там, по ту сторону. Потому прошу и умоляю, полагайся твердо на доброго Бога, который уже тебя защитит. Теперь — прощай и пиши, если ты еще останешься в живых. Сегодня я была в церкви и молила Бога охранить нас».

К письму сделана наивная приписка. Добрая женщина слышала что-то о существовании двух календарных стилей, старого и нового, но не разобрала хорошенько, в чем дело. Зная, что ее муж — в России, где принят другой стиль, она спрашивает его на полях письма: «А что, у тебя сегодня тоже воскресенье?» — «Hast du auch heute Sonntag?»

...Таковы эти письма, написанные к тем, кого более нет в живых, письма к нашим врагам. Житейские мелочи, которым посвящены эти письма, бывают иногда красноречивей всяких событий. Мы видим из этих писем, что невесело живется немецкому солдату и невесело его жене, оставшейся дома. Солдаты терпят от голода, от холода, от недостатка табаку; их жены мучительно борются с нуждой, а общественная помощь («дамские комитеты», которые «заправляют всем») достается на долю только

* на закуску (*фр.*)

избранных счастливцев... Но не это самое важное в собранных мною письмах. Как ни случайно и как ни мало мое собрание, все же разве не поразительно, что из 60-ти писем не оказалось ни одного, которое было бы полно энтузиазма, великих надежд, веры в национальное дело? Тон всех писем — унылый, подавленный, и только у праздных берлинских гуляк, глазеющих с любопытством на пленных французов, проскальзывают две-три самодовольные фразы... Германия инстинктивно чувствует, что дело ее проиграно и что, как нет ничего радостного в ее настоящем, так нельзя ей ждать ничего хорошего и в близком будущем.

Мимоходом

I. Опять аэропланы

Через два-три дня Варшава справляет Рождество (в Польше принят новый стиль). Обычного предпраздничного оживления в этом году в городе почти нет. Очень многие семьи принципиально отказались и от елки, и от всякого празднования. Все же на улицах больше народа, чем в обычные дни. В магазинах — толкотня; дрожки все разобраны.

Но вот выдался ясный день среди дождливых и снежных, завернувших к нам за последнюю неделю. И тотчас над Варшавой вырисовываются четкие очертания немецких «голубей». Немцы словно нарочно хотят досадить варшавянам перед праздником. Ведь им решительно нечего «разведать» в городе, над которым они летали уже столько раз.

Вражеский аэроплан — не новость для варшавян: много они перевидали воздушных разбойников за эту войну. Но зато варшавяне хорошо знают, чего можно ожидать от летающих немцев. Легкое смятение пробегает по всем улицам, с одного конца города до другого. Прохожие останавливаются, всматриваясь ввысь; соседи обмениваются друг с другом замечаниями; одно чувство охватывает всех.

Замечательно, что не только паники, но даже сколько-нибудь значительного волнения теперь не замечается никогда. Несколько более нервных дам и более осторожных мужчин укрываются под воротами. Но и оттуда они каждую минуту выбегают на внутренний двор поглядеть на аэроплан. Большинство остается на улице; люди стоят «шпалерами» вдоль тротуаров, закинув голову вверх. А многие идут своей дорогой дальше, по своим делам.

— Смотрите! Смотрите! Вот негодяй! Опять летит к Саксонскому саду!

— Нет, он — прямо сюда, на Новый Свет.

— И ведь не уйдет, пока не расшвыряет все свои бомбы!

Беседующие словно забывают, что сами стоят на Новом Свете и что немецкая бомба угрожает им самим, — так поглощают наблюдения за эволюциями летчика. С прусским упрямством немец описывает над городом большой круг, выбирая место, куда бросить бомбы. Аппарат движется плавно, не увеличивая и не уменьшая скорости.

«Бум-бум!» — начинается обстрел аэроплана с варшавских фортов. То там, то здесь взлетают в небо словно туго замотанные клубки белого дыма. Остановившись, они быстро распутываются в синеве, а потом начинают медленно таять, разливаясь

белесоватым паром. Не растаял еще один клубок, как уже взлетели два других, третий, четвертый. Над всеми крышами — эти мотки шрапнельных выстрелов.

Напряжение толпы достигает высшей точки. Люди пятятся к стенам, взбираются на ступеньки подъездов, перебегают на другой тротуар, чтобы лучше видеть. Охота по немецкому «голубю» увлекает всех. «Собьют» его или нет? Ах, если бы удалось, — в этом порыве сливаются все; русский и поляк, поляк и еврей, солдат и купец, богатый и бедный, — эти различия исчезли сразу.

— Глядите, пане, закачался, закачался! — не думая, к кому он обращается, восклицает какой-то паренек.

— Нет, это он поворачивает, — объясняет молодой еврей в традиционном картузе, с такой же традиционной черной бородой.

— Две бомбы бросил, на -ской улице, — деловито объясняет господин, который стоит в пролетке, остановив извозчика.

Тотчас маленькая толпа окружает дрожки. «Откуда вы это узнали?», «Верно ли?», «Были убитые?». Господин что-то объясняет по-польски. Но в такие минуты слухи родятся сами собой, и им нельзя особенно доверять.

«Бум-бум!» — рвутся в лазури белые дымки шрапнелей. Дамы, вздрагивая, затыкают уши. Еще кое-кто, не выдержав, укрывается в ближайшем магазине. В аптеках раздают валериановые капли самым взволнованным.

Немец уже уходит. Силуэт аэроплана начинает уменьшаться и превращается в одну черточку. Но вдруг эта темно-серая черточка закачалась в бледно-синем небе. Аэроплан «клюнул» и быстро-быстро опускается. Только тогда происходит на улицах смятение. Все кричат и бегут, перегоняя друг друга. Впрыгивают в свободные дрожки и погоняют возницу; впрыгивают и в экипажи уже занятые, к незнакомым людям: едут вместе, и никого это не удивляет. Извозчики гонят лошадей вскачь. Мальчишки, выбирая путь попрямее, пробегают дворами и перелезают через заборы.

— Упал! Упал!

С каждой улицей бегущая толпа увеличивается. Почти несомненно, что никто ничего не увидит: аэроплан упал где-то далеко за городом, и всем придется возвращаться ни с чем. Но все равно. Надо как-нибудь излить порыв охватившей всех радости: если не удастся увидеть самому, можно будет хотя бы расспросить очевидцев или знающих дело.

Небольшая группа замедлила в Саксонском саду. Здесь воздушный разбойник сбросил-таки бомбу, по счастью не причинившую вреда людям. У одного дерева сломано несколько веток; ствол другого «забрызган» пульками. В земле — небольшая ямка: место, куда ударила бомба; любопытные ползают на коленях, собирая «на память» ее осколки. И опять все говорят друг с другом, все стали знакомыми, близкими.

Не знаю, чего добьются в конечном счете немцы бомбардировкой Варшавы с высоты. Пока они достигли одного: пробудили в населении живое чувство солидарности, заставили жителей Варшавы пред лицом общего врага чувствовать себя детьми единого, родного всем города.

10-го (23-го) декабря, Варшава

Мимоходом

II. На питательном пункте

Уже темно, и наш автомобиль беспомощно стоит на грязной площади довольно большого поселка. Обращаемся к случайным прохожим с расспросами, где здесь «питательный пункт», но никак не можем добиться толку. Польский крестьянин — не в обиду будь ему сказано — соображает медленно. Кроме того, «питательный пункт» — такое мудреное слово. Напрасно наш шофер-поляк и один из нас, свободно говорящий по-польски, пытается разъяснить это понятие:

— Там, где солдат кормят. Где живут заведующие кухней. Куда приходят солдаты обедать.

— Кормят? Кухня? Обедать?

Переспросив, крестьянин задумывается. Мы ждем с напряжением, он же, вдруг приняв решение, спокойно поворачивается и молча уходит от нас.

— Я знаю, паны, я! — выскакивает из темноты еврей.

Он взбирается на подножку автомобиля и указывает дорогу. Мы колесим по темным закоулкам, вязнем в грязи, но всё не можем попасть, куда следует. Выручает встречный солдат, который просто и толково объясняет нам, где находится «питательный пункт».

Через несколько минут мы — в теплой комнате, ярко освещенной лампой-молнией. Вдоль стен целыми горами наложены ковриги свежеиспеченного хлеба, и его приятный запах дразнит нас, проголодавшихся путников. Представляемся хозяевам «пункта», из которых только один — знакомый одного из нас. Все — молодые офицеры, которые, видимо, рады неожиданным гостям, вносящим разнообразие в одноцветную жизнь.

Вскоре на столе уже расставлены стаканы чая, закуска и даже, ради исключительного случая, маленькие стаканчики вокруг как-то уцелевшей бутылки венгерского. Беседа оживляется быстро. Нашлись общие знакомые по Петрограду и Москве. Мы раздали газеты, привезенные из Варшавы, рассказываем, что видели и что знаем о войне. Эти рассказы как-то омрачают наших хозяев.

— А мы здесь словно за тысячу верст от войны, — огорченно говорит один из офицеров. — Товарищи дерутся, гонят немцев, а мы как засели в этой деревушке, так и ни с места. Не весело, право!

Мы пытаемся возражать, что они исполняют тоже полезное, важное для армии дело, но сами понимаем, что это — плохое утешение.

— Поверите, — продолжает офицер, — когда к нам попадает партия раненых, я им завидую. Они выполняли свое, военное дело, а мы? Разве не могли бы вместо нас «питать» солдат лица штатские? Для чего же мы изучали военные науки? Зачем всю жизнь готовились к военному делу? Обидно, досадно, стыдно.

Он говорил еще долго на эту тему с увлечением, с негодованием. Но я привожу здесь его слова не потому, что согласен с ними. Напротив, мне кажется, что никто не сумеет заведовать «питательным пунктом» лучше, чем офицер. Кроме того, не естественно ли, что военное ведомство поручает такие обязанности лицам, состоящим на действительной службе, которые ему подчинены, а не сторонним, которые были бы связаны лишь договором. Но я привожу эти жалобы офицера как пример

того настроения, которое одушевляет нашу армию. В другое время, в другой стране нашлись бы люди, которые стали бы усиленно искать таких «безопасных» должностей, как «заведование питательным пунктом», в стороне от всяких боев, далеко от неприятельских пуль и шрапнелей. А наши офицеры *тяготятся* своей безопасностью, *завидуют* раненым.

При таком настроении армии никакой враг нам не страшен.

III. В Плоцкой губернии

В начале войны, в августе и сентябре, я объехал всю Плоцкую губернию, — не быстро промелькнул по ней в автомобиле, но объехал медленно на лошадях, проводя целые дни и ночуя в усадьбах у помещиков, к которым у меня были рекомендательные письма. Побывал и в городах, которые стали известны потом по боям, бывшим под ними: в Цеханове, Прасныше, Макове, Хоржеле, также оставаясь в них подолгу, присматриваясь к местной жизни. Мне полюбился этот край, лежащий в стороне от больших дорог, в котором сохранились старинные помещичьи гнезда и весь уклад старопольской жизни. Еще встречались там типы, словно вышедшие из романов Крашевского и Сенкевича, и, несмотря на фабрики, быстро заполняющие губернию, еще далека была от нее напряженная суета Варшавы или Лодзи.

Когда я проезжал по тем местностям, там только ожидали немцев с понятной тревогой, вспоминая о судьбе Калиша и Ченстохова. Настроение населения было, однако, бодрое. На словах и на деле все, от помещиков до крестьян, были готовы жертвовать всем ради успеха в борьбе с врагом. На моих глазах помещики безропотно отдавали в армию последних лошадей и подводы, необходимые им самим для окончания полевых работ. «Пусть берут всё, только бы мы победили!» — говорил мне один молодой землевладелец из-под Прасныша. Крестьяне столь же безропотно отбывали разные повинности и щедро раздавали проходившим солдатам все, что находилось в доме, — хлеб, молоко, яйца, масло, — не желая брать за это платы.

С тех пор оправдались самые черные предчувствия. Немцы совершили, не считая малых набегов, три больших нашествия на Плоцкую губернию. Последнее отражено только на этих днях. Край опустошен; города разрушены артиллерийскими боями и разгромлены; деревни частью сожжены, и в них взято все, что можно было взять; усадьбы также сожжены и разграблены; тысячи жителей бежали в Варшаву, в другие польские города и в «империю». Уничтожены остатки старины, и ей уже не воскреснуть; когда страна вернется к жизни, это будет новая промышленно-суетливая жизнь, которая сосредоточится вокруг заводов и фабрик...

Мимоходом

IV. Один из героев

В Варшаве в настоящее время гостит штаб-ротмистр Г. Месяц назад его имя не сходило со столбцов газет. Это под его руководством наши блиндированные автомобили 20-го ноября одержали над немцами замечательную победу под Пабианицами, близ Лодзи. Командный состав трех автомобилей (двух блиндированных и одного

автомобиля-пушки) состоял из 10-ти человек. [...] И эти силы опрокинули ни более ни менее как четыре германских полка, т. е. в общей сложности, как ни поредел теперь у немцев состав армейских частей, 6–7 тысяч человек, а может быть, и больше.

Мне удалось недавно беседовать со штаб-ротмистром Г. Это — еще молодой человек; у него острые, живые глаза, маленькие, черные, приподнятые вверх усики, выражение лица скорее добродушное, склонное к улыбке. Глядя на него, сразу чувствуешь, что это — интересный собеседник, вероятно, прекрасный товарищ, но трудно угадать, что это — человек исключительного мужества и поразительного хладнокровия. Между тем Г. принадлежит к числу тех «фантастических» людей, о которых мне уже случилось писать, воплощающих в наши дни в жизни вымышленные типы Майн Рида, Жюля Верна, Райдера Хаггарда. Мало того: Г. — даже наиболее характерный их представитель, потому что сознательно, по доброй охоте ищет опасных предприятий, любит их, увлекается ими.

Внешняя сторона подвигов (иначе нельзя сказать) штаб-ротмистра Г. была описана много раз (между прочим, и в телеграмме «Петроградского Агентства»). Поэтому меня интересовали не столько подробности событий, пережитых Г., сколько его психология. Мне хотелось выяснить в разговоре, что испытывают люди, подобные ему, в те минуты и даже часы, когда они, понимая это, беззаветно рискуют жизнью, когда все для них зависит от быстроты сообразительности и от присутствия духа, а также и от слепого случая. Г. очень охотно и, так сказать, добродушно отвечал на мои, может быть, нескромные расспросы, и самая простота ответов была залогом их искренности.

Г. служил раньше капитаном подводного плавания. К этому занятию привлекла его тоже фантастичность самого дела. Он с увлечением рассказывал, как спускался в скафандре в водную глубь, как гулял по морскому дну, как наблюдал тайны чуждой нам стихии. Г. жалел лишь об одном: что физическое строение человека не позволяет ему спускаться в море достаточно глубоко; приходится довольствоваться несколькими саженями глубины, тогда как хотелось бы посетить дно океана, подсмотреть жизнь неведомых бездн, кататься на подводном автомобиле (есть такие) среди развалин древней исчезнувшей Атлантиды...

Когда началась настоящая война, Г. сразу понял, что она может удовлетворить его любовь к необыкновенному, что на ней можно будет увидеть и испытать нечто такое, что потом станет уже немыслимым в жизни. Не без затруднений удалось Г. сменить тот мундир, который он тогда носил (преподавателя в одном военном учебном заведении), на мундир штаб-ротмистра действующей армии. Надо было хлопотать, добиваться; но Г. преодолел все, потому что «великая война» влекла его к себе неодолимо. Зная автомобильное дело, Г. вступил в нашу автомобильную роту, а затем получил в свое командование блиндированные автомобили.

Ожидания Г. оправдались. Война действительно дала ему возможность пережить длинный ряд «необычайных приключений». В сущности, все время войны было для него одним сплошным необычайным приключением, за исключением тех недолгих дней, когда надо было лечиться от раны или заботиться в каком-нибудь большом городе о снабжении автомобилей нужными принадлежностями. Случаев изведать необыкновенное представлялось так много, что оставалось только выбирать наибо-

лее соблазнительные. И Г. выбирал то тот, то другой, «испытуя судьбу» и подставляя свою жизнь под все более и более роковые опасности.

Когда после одного из своих отчаянных предприятий Г. возвращался к товарищам невредимым или легко раненным (как, например, в бою под Пабианицами, где он быль ранен в шею), те говорили ему:

— Перестань играть с огнем. Не может это каждый раз сходить с рук. Если уж сегодня остался жив, значит, в следующий раз не уцелеешь. «Но я, — говорил мне Г., — немного фаталист. Я уверен, что то, что должно случиться, случится, как от того ни укрывайся, особенно смерть. День ее для каждого человека заранее назначен. Если я пошел на войну, то с тем, чтобы видеть ее всю, провести ее до конца. Что интересного уходить с середины такого замечательного представления».

Оправдывая свой фатализм, Г. привел несколько случаев.

В бою под Пабианицами, когда его помощники стреляли по его указаниям из пулеметов, сам Г. наблюдал за движениями немцев сквозь особое, закрывающееся окошечко. Вражеская пуля ударила около самого окошечка, так что осколками разбитого стекла поранило лицо Г. Возьми немец прицел на миллиметр в сторону, эта пуля попала бы в глаз Г., и он был бы убит. Эта «случайность» произвела на него сильное впечатление.

В конце того же боя наши автомобили оказались подбитыми артиллерийским огнем врага. Они уже не могли двигаться сами. Оставив несколько человек внутри автомобилей, чтобы продолжать отстреливаться, Г. с десятью помощниками вышел наружу и покатил свою машину (автомобиль-пушку) к нашим позициям. Налегши плечом, крепко упираясь ногами, смельчаки с большим трудом, «шагом», подвигали вперед страшно тяжелый автомобиль. В это время немцы, хотя и отступая, засыпали их градом пуль. На помощь к автомобилистам бросились солдаты ***ого батальона; но первый подбежавший тотчас, взмахнув руками, упал, сраженный насмерть; другой и третий упали тяжелораненые. А из десяти смельчаков, совершивших под пулями весь путь, только немногие были ранены и притом легко: все дошли до позиции, докатив автомобиль. Такой случай действительно может сделать фаталистом.

Во время одной из разведок на автомобиле Г. приблизился к деревне, о которой не было известно, занята ли она немцами или нашими. Из окопов открыли по автомобилю ружейный огонь. [...] Г. некоторое время не решался отдать приказ стрелять в ответ из пулемета. Помощники Г., находившиеся внутри автомобиля, были под защитой брони, сам же он, стоя и оглядывая в бинокль окрестности, представлял прекрасную мишень для прицела, так как верх машины был открыт. Пока вполне выяснилось, что деревня занята немцами, прошло несколько минут, в течение которых Г., по грудь выступавший из-за брони, служил единственной целью стрельбы. Но ни одна из сотен, если не тысяч пуль не коснулась его. Это уже близко подходило к предопределению.

Я поинтересовался, какой случай из всей деятельности Г. на войне произвел на него наибольшее впечатление. В ответ он рассказал еще одно свое «маленькое» приключение.

При вторичном наступлении немцев на Лович необходимо было выяснить, как далеко они успели продвинуться. На разведку отправился Г. на простом (неблинди-

рованном) автомобиле. Он миновал наши передовые позиции, на которых ничего не было известно о местонахождении неприятеля, потом миновал и деревню, указанную как последний этап разведки, но и там еще не было признака немцев. Г. решил ехать дальше и незаметно, летя со скоростью верст 70 в часть, оказался в другой большой деревне. Солдат, исполнявший обязанности шофера, вдруг остановил мотор и шепнул Г.: «Ваше благородие, здесь немцы». Действительно, поблизости стояли два германских кавалериста; подальше виднелась целая их группа. По счастью, на нижних чинах, бывших с Г. (кроме шофера, в автомобиле сидело еще двое солдат с винтовками), надеты были автомобильные шлемы, издали похожие на прусские каски. Но на самом Г. была папаха. Немецкие кавалеристы изумленно смотрели на неожиданно влетевший в деревню автомобиль и, кажется, склонны были думать, что это их товарищи привезли какого-то пленного в папахе. Сразу сообразив положение, Г. приказал шоферу повернуть автомобиль, однако неторопливо, без всякой тревоги, что и было исполнено. Немцы продолжали недоумевать, но потом два всадника тронули лошадей, направляясь к автомобилю. Было уже поздно. Г. приказал стрелять, целясь в лошадей, так как у него мелькнула мысль не только уйти, но и захватить пленных. Последнее было, однако, уже «чересчур»; немцы от выстрелов увернулись, но и автомобилю пришлось поспешно уходить от скакавших на него кавалеристов. Разумеется, лошади не могли догнать мотора, и Г. опять невредимо вернулся из разведки.

Этот эпизод Г. рассказывал с истинным увлечением. Его прямо восхищала мысль, что на автомобиле можно неожиданно ворваться в самое расположение немцев. «После того я несколько раз пытался сделать то же, — говорил Г. — Пока все как-то не удавалось, но я не теряю надежды».

Замечательно, что, описывая это свое приключение, как и предыдущие, Г. оставлял в тени то самообладание, которое одно позволило ему спастись из опасного положения. Напротив, он подчеркивал странность, причудливость самого стечения обстоятельств. Это, может быть, даст ключ к психологии и людей, подобных ему. Постоянное присутствие духа, хладнокровие составляют самую сущность их. Это создает в них потребность найти применение ему; их привлекает опасность как возможность проявить то, в чем их сила. Обычная, повседневная жизнь не дает простора, где могла бы в полной мере обнаружиться их способность соображать сразу, спокойно рассуждать при самых исключительных обстоятельствах, мгновенно, без колебаний и бесповоротно, принимать важные решения. И вот, чтобы удовлетворить благородную потребность своего духа, эти люди идут на службу в подводные лодки, в авиаторы, в разведчики, влекутся на войну, позволяющую им быть вполне самими собой.

В параллель можно поставить людей, обладающих от природы умом, склонностью к диалектике. Такие люди жадно рвутся в спор, добиваются его, ищут искусных спорщиков, чтобы помериться с ними силами. Напомню пример А.С. Хомякова, который по всей Москве разыскивал умелых спорщиков, ездил к неизвестным студентам, о которых слышал, что они «хорошо спорят». Нет надобности говорить, что такое объяснение отнюдь не умаляет огромных заслуг людей, подобных штаб-ротмистру Г., и нашего восхищения их героическими подвигами. Так и любовь к спорам А.С. Хомякова нисколько не умаляет нашего уважения к нему как к мыслителю.

Желая проверить свое понимание характера Г., я в конце беседы спросил его, неужели при всем своем фатализме он не чувствует некоторого волнения, находясь под огнем.

— К огню легко привыкаешь, — ответил он. — К тому же артиллерийский огонь не особенно опасен. Снаряды крупного калибра производят сильное впечатление лишь на простых людей, на солдат, но больше своим шумом и грохотом. Человек интеллигентный скоро замечает, что снаряды летят сравнительно медленно [...].

«Да, — подумал я, — это очень просто для таких людей, как Г., но не всякий способен воспользоваться его советом».

В самом деле, какое нужно присутствие духа, чтобы по звуку летящей шрапнели или гранаты угадывать, где она упадет, и соответственно тому вовремя менять место! Или, чтобы, замечая, где падают неприятельские снаряды, вовремя передвигать свой автомобиль то на 100 шагов вперед, то на 300 назад! Только Г. и подобные ему способны выполнять такие маневры под дождем пуль, среди грохота и огня боя. Да будут же эти строки данью моего восхищения перед спокойным мужеством Г., уже оказавшим нашей армии ряд неоценимых услуг!

Варшава, 22-го декабря

КОММЕНТАРИИ

Путь на запад

Рус. вед. 1914. № 189 (19 авг.). С. 2.

Александровская дорога — железнодорожная линия на запад от Москвы, главный путь к Смоленску и далее до границы с Белоруссией. Участок Москва–Смоленск был открыт в сентябре 1870 г., участок Смоленск–Брест — в ноябре 1871 г. Эта дорога получила название Московско-Брестской, а в честь столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. стала именоваться Александровской.

...местные издания «Телеграмм С.-Петербургского Агентства»... — Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное при Совете министров (1909). 18 августа 1914 г. переименовано в Петроградское телеграфное агентство (ПТА). Телеграммы с новостями от агентства отправлялись в Европейскую и Азиатскую Россию. В годы войны широким спросом пользовались местные издания «Телеграмм С.-Петербургского (Петроградского) Агентства».

...художником М.Ф. Ларионовым. — Михаил Федорович Ларионов (1881–1964) — русский художник, один из основоположников русского авангарда. В 1914 г. был призван на военную службу в связи с началом Первой мировой войны, вскоре комиссован по ранению.

В Вильне

Рус. вед. 1914. № 191 (21 авг.). С. 4.

«Гроза военной непогоды»... — Цитата из драматической поэмы В.А. Жуковского «Орлеанская Дева» (1821).

Вильно (до 1918 — *русск.* Ви́льна, в 1919–1939 — Ви́льно, *польск.* Wilno) — ныне Вильнюс — столица и крупнейший город Литвы.

Вильна «стародавняя» (как ее назвал Ф. Тютчев)... — В. Брюсов упоминает стихотворение Ф.И. Тютчева «Над русской Вильной стародавней» (1870) («Над русской Вильной стародавней / Родные теплятся кресты...»). «Вильна стародавняя» упоминается также в стихотворении Брюсова «В Вильно» (1914): «У ног «стародавняя Вильна», — / Сеть улиц, строений и крыш…».

Оба кафе Штраля... — в Вильне (Вильнюсе) находилась сеть кофеен владельца Штраля, которые различались по цветовой гамме внутренних интерьеров — отсюда и название — «Белый Штраль» (Балтасис Штраль), «Зеленый Штараль» (располагался на Георгиевском проспекте) и «Красный Штраль» (это кафе находилось неподалеку от «зеленого»), излюбленное место встречи литовской интеллигенции; вероятно, Брюсов имеет в виду два последних.

В садах «Бернардинском», «Ботаническом», «Швейцарском» по вечерам опять много публики… — Парки города второй половины XIX в. Они были открыты для прогулок горожан, некоторые из них были платными. Там находились деревянные декоративные строения.

Ковно (*русск.* Ковно, Ковна; *лит.* Kaunas; *белорус.* Коўна; *польск.* Kowno) — ныне Каунас — второй по величине и значению город Литвы.

Память о победе при Грюнвальде... Речь идет о Грюнвальдской (Танненбергской) битве — решающем сражении «Великой войны» (1409–1411), произошедшем 15 июля 1410 г. между союзным польско-литовским и тевтонским войсками. В этой битве Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена.

...поэта Реперта-Чарноцкого — Из польских поэтов начала XX в. с двойной фамилией обнаружено лишь имя Вацлава Денгоф-Чарноцкого.

Рассказы очевидцев

Рус. вед. 1914. № 192 (22 авг.). С. 2.

...раненый ~ при Марграбове…– Марграбов — небольшой город в Восточной Пруссии.

Блиндированный автомобиль (устар.) — броневой, панцирный автомобиль, в просторечии — броневик. Как правило, за основу взят грузовик, позднее специальный автомобиль, оснащенный броней и вооружением, пулеметным или пушечным. Появился перед Первой мировой войной в различных государствах.

Проездом через Варшаву

Рус. вед. 1914. № 195 (26 авг.). С. 3–4.

...о калишских подвигах... — По названию польского города Калиш на реке Просна. В 1914 г., после интенсивной немецкой бомбардировки, город был разрушен на 85 %, а число жителей сократилось с 70 000 до 5000.

Краковское предместье — один из красивейших проспектов Варшавы.

«Цукарни» — кафе (*польск.* zukerny).

...побывали в Лодзи... — Лодзь была самым большим уездным городом Российской империи (в Петроковской губернии); отличалась многонациональным населением. Немецкие войска вступили в Лодзь 20–21 августа, однако вскоре были выбиты русскими частями, но ненадолго; в ноябре–декабре на этой территории проходила «Лодзинская операция», шли тяжелые бои, в ходе которых погибло около 200 тыс. человек.

...при так называемом «обывательском комитете» города Варшавы... — Ср. в показаниях А.Р. Ледницкого: «Уже 26 июля в Москве, а затем и во всех других городах, а с самого начала в Варшаве, образовался центральный обывательский комитет. Образовался он путем кооптации, под председательством варшавского генерал-губернатора Любимова, из лиц польских общественных организаций, представлявших центр, а в разных других городах стали образовываться польские комитеты, которые поставили своей задачей проявлять внимание к интересам войны и стали образовывать всюду польские лазареты и общие комитеты, направленные на заботы о воинах» (Падение царского режима. М.; Л., 1927. Т. 7).

...декларация польских прогрессистов... — Скорее всего, речь идет о позиции Польской прогрессивной партии (ППП). Во время Первой мировой войны польское общество разделилось на два лагеря, ориентирующихся на один из двух военно-политических блоков, сложившихся в Европе. Значительная часть партий и политических группировок рабочего, крестьянского и молодежного движения Королевства Польского делала ставку на Австро-Венгрию. Сюда относятся и польские «прогрессисты». Другой блок партий рассчитывал на победу Антанты и на объединение польских земель в составе России.

...в польских провинциях Пруссии... — Имеются в виду населенные пункты нынешнего Великопольского воеводства Польши (г. Познань и др.).

Бои под Люблином

Рус. вед. 1914. № 197 (28 авг.). С. 3.

Люблин (Lublin) — крупный город Польши, на реке Быстрице — левом притоке Вепжа.

Замостье — русифицированная форма названия польского города За́мосць (Zamość), в Люблинском воеводстве Польши.

Красностав (Krasnostaw) — уездный город Люблинской губернии, на реке Вепрь (Вепрж).

Целью движения был, по-видимому, Ивангород. — Имеется в виду Ивангородская крепость (Twierdza Dęblin) — русская крепость XIX в. возле города Демблин. Возле крепости шли упорные бои между русскими и немецкими войсками, крепость была опорным пунктом русских войск во время Варшавско-Ивангородской операции.

...люблинским губернатором Келеповским... — В 1912–1914 гг. губернатором г. Люблин был Аркадий Ипполитович Келеповский (1870–1925), политик и общественный деятель.

В варшавских госпиталях

Рус. вед. 1914. № 198 (29 авг.). С. 2.

...на Петроградском вокзале. — До 1914 г. — Петербургский вокзал в Варшаве; с началом войны был переименован в Петроградский вокзал; в 1915 г. был взорван при отступлении русскими войсками.

...г-н Веловейский... — Речь идет о Юзефе Веловейском (Józef Wielowieyski, 1879—1951), дипломате, юристе, общественном деятеле.

...объяснения мне давал г-н Зельверович... — Александр Зельверович (Alexander Zeiwerowicz, 1877–1955), польский актер, театральный режиссер и педагог. С 1913 г. был актером и режиссером в Объединенном театре и в Театре Польски (Варшава). Во время своего пребывания в России в 1908 г. встречался с А.М. Горьким и К.С. Станиславским, что оказало большое влияние на его творчество.

...так называемых «скалтов» — членов известных «гимнастических» Обществ... — Скорее всего, речь идет о польских скаутах (от *англ.* Boy-skout) — членах детских и юношеских спортивных организаций.

...в помещении Суворовского кадетского корпуса. — В 1899 г. в Варшаве по указу императора Николая II был учрежден Варшавский кадетский корпус; в 1900 г. корпус был переименован в Суворовский. В Варшаве он занимал целый огромный квартал, расположившийся в одном из лучших мест города, фасад здания выходил на Уяздовскую аллею. С началом Первой мировой войны Суворовский кадетский корпус был эвакуирован в Москву.

...в дортуарах кадетов. — Как правило, так называли общую спальню для учащихся в закрытых учебных заведениях (от *фр.* dortoir).

...находится в заведовании Ордена сестер «шариток»... — Орден сестер милосердия св. Винсента де Поля — религиозное женское общество (1633), способствовавшее открытию широкой сети больниц «Шарите» сначала во Франции, а затем в Польше (от *фр.* charite — благотворительность).

...помещение Уяздовского госпиталя... — Военный госпиталь разместился в Уяздовском замке, бывшей резиденции короля Августа II; здание расположено между Уяздовским и Лазенковским парками.

Полтораста верст по Восточной Пруссии

Рус. вед. 1914. № 199 (30 авг.). С. 2.

Тени

(Письмо из Варшавы)

Рус. вед. 1914. № 201 (2 сент.). С. 2.

Новогеоргиевская крепость — крепость XIX в., в 30 км от Варшавы, носившая такое название с 1834 г. (Twierdza Modlin). Во время Первой мировой войны эта значительно устаревшая крепость стала препятствием на пути движения значительных сил немцев.

Нейденбург (*нем*. Neidenburg) — ныне Нидзица (*польск.* Nidzica), город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство; во время войны считался воротами на Мазуры.

...прекрасная статья А. Святоховского «Поляки и война»... — Вероятно, Брюсов имеет в виду польского писателя, публициста, философа, историка, общественного и политического деятеля Александра Свентоховского (Aleksander Świętochowski, 1849–1938).

...блестящая статья И. Вейсенгофа... — Скорее всего, имеется в виду польский прозаик, поэт и литературный критик Юзеф Вейсенгоф (Józef Weyssenhoff, 1860–1932).

Деление Польши после утраты политической независимости на три части, принадлежащие трем различным государствам... — Раздел территории польско-литовского государства (Речи Посполитой) произошел в период с 1772 по 1795 г., территории были разделены между Прусским королевством, Российской империей и Австрийской монархией.

...историческое воззвание Верховного Главнокомандующего... — Верховный главнокомандующий Российской армии император Николай II в воззвании к польскому народу 1 августа 1914 г. обратился с призывом к единению:

«Поляки!

Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться.

Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с Великой Россией.

Русские войска несут вам благую весть этого примирения.

Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя.

Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении.

Одного ждет от вас Россия — такого же уважения к правам тех народностей, с которыми связала вас история.

С открытым сердцем, с братски протянутой рукой идет к вам навстречу Великая Россия. Она верит, что не заржавел меч, разивший врагов при Грюнвальде.

От берегов Тихого океана до северных морей движутся русские рати.

Заря новой жизни занимается для вас.

Да воссияет в этой заре знамение креста — символ страдания и воскресения народов».

(См. также: *Ольшамовский Б.Г.* Значение воззвания 1 августа 1914 г. верховного главнокомандующего к полякам и вопросы, возникающие из него и последующих событий. Пг., 1915.)

...сказать словами поэта о «последней туче рассеянной бури»: «Довольно, сокройся: пора миновалась!» — Упоминаются строки из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» (1835): «Последняя туча рассеянной бури! / Одна ты несешься по ясной лазури ~ Довольно, сокройся! Пора миновалась...»

‹Телеграмма›

Рус. вед. 1914. № 206 (7 сент.). С. 4.

В Северной Польше

Рус. вед. 1914. № 208 (11 сент.). С. 2–3.

Плоцкая губерния — губерния с центральным городом Плоцк (Płock), расположенным на Висле, примерно в 100 км к северо-западу от Варшавы.

Ломжинская губерния — губерния с центральным городом Ломжа (Łomża), расположенным к северо-востоку от Варшавы.

Прасниш (или Прасныш, Przasnysz) — уездный город Плоцкой губернии, на правом берегу реки Лыдни, притока Виры. Здесь произошло крупное сражение на Восточном фронте, известное как Праснышская операция.

Цеханов (Ciechanów) — уездный город Плоцкой губернии.

Русско-германская граница

Рус. вед. 1914. № 209 (12 сент.). С. 2–3.

Новорадомск, Радомск (точнее, Радомско, Radomsko) — до 1922 г. Ново-Радомск (Nowo-Radomsk), уездный город Петроковской губернии, ныне входит в Лодзинское воеводство.

Петроков (Piotrków) — центральный город Петроковской губернии, на реке Страве.

Поездка в Пултуск

Рус. вед. № 1914. № 210 (13 сент.). С. 5.

Пултуск (Pułtusk) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Нарев (Narew) — река в Северо-Восточной Польше и в Западной Белоруссии, правый приток Вислы.

Вышков (Вышкув, Wyszków) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Маков (ныне Макув-Мазовецкий, Maków Mazowiecki) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

‹Телеграмма›

Рус. вед. 1914. № 211 (14 сент.). С. 2.

К бою под Красником

Рус. вед. 1914. № 212 (16 сент.). С. 2.

Красник (Kraśnik) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство.

Янов — точнее, Янув-Любельский (Janów Lubelski), город в Польше, входит в Люблинское воеводство.

Томашов — точнее, Томашов-Мазовецкий (Tomaszów Mazowiecki), населенный пункт Лодзинской губернии.

Холм — историческое русское название города, носящего ныне имя Хелм (Chelm), Люблинского воеводства.

Вепрж — река в Польше, правый приток Вислы.

...из Келецкой губернии... — Губерния получила название от города Кельце (Kielce).

...стяжавший печальную славу, ныне полковник, Прейскер. — С именем Прейскера связывают начало военных действий германской армии. С момента объявления войны, 19–20 июня (1–2 августа н.ст.) из приграничного г. Калиша выехали должностные лица Российской империи, а вслед за ними и российские военные; практически сразу же, 20 июля, город был занят батальоном 155-го пехотного Прусского полка под командой майора Прейскера. В городе начались зверства и погромы, было убито и ранено много мирного населения.

...тянулась от Опольц до Туробина, через Красник... — Город Ополе (Opole) расположен на реке Одер; Туробин (Turobin) — населенный пункт Люблинского воеводства.

Сан (San) — река на юго-востоке Польши, правый приток Вислы.

...нанесено поражение генералом Рузским... — Рузский Николай Владимирович (1854–1918), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного и Военного советов. В начале Первой мировой войны командующий 3-й армией Юго-Западного фронта, затем командовал Северо-Западным фронтом, 6-й армией и Северным фронтом.

Поездка в Ярослав

Рус. вед. 1914. № 214 (18 сент.). Экстренное прилож. С. 1; то же: № 215 (19 сент.). С. 2.

Ярослав (Jaroslaw) — город на юго-востоке Польши, входит в Подкарпатское воеводство.

Бризантные гранаты — ручные гранаты разрывного действия, обладающие дробящим эффектом (корпус разрывался на части).

Из Варшавы в Ярослав

I. Люблин

Рус. вед. 1914. № 217 (21 сент.). С. 2–3.

Люблинская уния — соглашение 1569 г. об объединении Польши и Великого княжества Литовского в одно государство — Речь Посполитую (*польск.* Rzeczpospolita, букв.: республика). Понятие «уния» (от *позднелат.* unio — единение) означает союз (общность) государств, возглавляемый одним монархом (монархическая уния).

...в великой Галицийской битве… — Речь идет об успехах русской армии на австрийском фронте, в северо-восточной Галиции, в начале сентября 1914 г. Наиболее крупным событием стала битва возле города Рава-Русская (*нем.* Rawa-Ruska; *польск.* Rawa Ruska) 2–11 сентября, в результате которой австрийцами была сдана крепость Перемышль, противник потерял не менее 250 000 убитыми и ранеными и около 100 000 было взято в плен. Русские войска захватили множество трофеев.

... «W. II R», т. е. «Wilhelm II Rex». — Вильгельм II Король (Царь). Вильгельм II (Wilhelm II) — Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859–1941), германский император и король Пруссии в 1888–1918 гг.

...мы встретились с А.А. Стаховичем... — Алексей Александрович Стахович (1856–1919), генерал-майор, участник Русско-турецкой войны; актер театра и кино.

Безработица в Польше

Рус. вед. 1914. № 218 (23 сент.). С. 5.

Млава (Mława) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

...«Центральный обывательский комитет»... — См. коммент. к корреспонденции ‹4.› «Проездом через Варшаву».

Из Варшавы в Ярослав

II. В разоренной стране

Рус. вед. 1914. № 220 (25 сент.). С. 2.

...Колеблются нивы от гула… — Брюсов цитирует строфу своего стихотворения «Век за веком» («Взрывают весенние плуги…») из цикла «В поле» (1907).

Из Варшавы в Ярослав

III. По Галиции

Рус. вед. 1914. № 222 (27 сент.). С. 2.

Белжиц (или Белжице, Bełżyce) — населенный пункт в Люблинском воеводстве Польши.

Gloria in excelsis Deo (*лат.*) — первая строчка гимна христианской мессы, возвещающей о рождении Спасителя — благая весть.

Блазив (или Блажов, Błażowa) — населенный пункт в Подкарпатском воеводстве Польши.

Олешице (Oleszyce) — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство.

Русинский язык — язык, бытующий или бытовавший среди русинов, жителей Закарпатья; отличается сочетанием различных диалектов.

Пшемысль (Przemyśl) — пограничный город на юго-востоке Польши, расположенный на реке Сан, вблизи Украины.

Из Варшавы в Ярослав
IV. Ярослав

Рус. вед. 1914. № 223 (28 сент.). С. 3.

...экземпляр ~ «Дзядов» Мицкевича... — Поэма «Дзяды» Адама Мицкевича (Ádam Mickiéwicz, 1798–1855), польского поэта, политического публициста, деятеля национально-освободительного движения.

Геллер — разменная монета германских государств в Средневековье и Новое время; в XX в. — разменная монета Чехии и Словакии.

...бельского магазина... — От названия города Бельск (точнее, Бельск-Подляски; Bielsk Podlaski), расположенного на северо-востоке Польши, у границы с Белоруссией.

...объяснялись на особом волапюке... — Волапюк — международный искусственный язык, придуманный в 1879 г. И.М. Шлейером.

Дзенкуем. Danke schön. — «Спасибо». Сказано на польском (Dzenkuem) и немецком (Danke schön) языках.

...точь-в-точь наши «сергиевские» изделия... — Имеется в виду продукция кустарного промысла Сергиева Посада — «игрушечной столицы» России, родины знаменитой русской матрешки. В течение двух веков изделия мастеров Сергиева Посада пользовались большим спросом и вызывали стремление подделать их.

На позициях

Рус. вед. 1914. № 225 (1 окт.). С. 2.

Из Варшавы в Ярослав
V. Обратный путь

Рус. вед. 1914. № 227 (3 окт.). С. 2.

Радом (Radom) — город в центральной Польше, на реке Млечна, в 100 км к югу от Варшавы.

Ченстохов (или Ченстохова, Częstochowa) — город на юге Польши, в Силезском воеводстве, на реке Варта.

Красностав (русское и украинское название) или Красныстав (Krasnystaw) — город в Польше, входящий в Люблинское воеводство.

...прибывшими из Келец и Келецкой губернии... — Кельце (Kielce; русское название времен Царства Польского — Кельцы) — город в центральной Польше, в 170 км к югу от Варшавы. До конца XX в. Кельце был столицей Келецкого воеводства.

Тревожные дни в Варшаве

Рус. вед. 1914. № 231 (8 окт.). С. 2.

Смотря на сцене «Эльзас» или в «В немецких когтях»... — Вероятно, речь идет о патриотической пьесе «Эльзас в 1814» («Alsace en 1814», 1850), принадлежавшей перу двух французских писателей, работавших под псевдонимом Эркман–Шатриан (Erckmann–Chatrian) (Эмиль Эркман, 1822–1899, и Шарль Луи Гратьен Александр Шатриан, 1826–1890). Автором пьесы «В немецких когтях» был французский писатель и критик Эдмон Луи Антуан де Гонкур (1822–1896).

...слушая Монюшка, Чайковского, Сибелиуса... — Монюшко Станислав (*польск.* Stanisław Moniuszko, *белорус*. Станіслаў Манюшка) (1819–1872) — польский и белорусский композитор. Сибелиус Ян (Jean Sibelius) (1865–1957) — финский композитор.

Цеппелин — летательный аппарат (дирижабль) жесткой системы с металлическим каркасом, обтянутым тканью; назван по имени немецкого конструктора Ф. Цеппелина (1838–1917).

...со стороны Гройц и Горы-Кальварии... — Гройцы (Grojcy) — город в Варшавской губернии; Гора-Кальвария (Gory-Kalwarja) — город в Варшавской губернии.

Немцы под Варшавой

Рус. вед. 1914. № 234 (11 окт.). С. 2.

...над городом пролетало и три немецких «голубя» (Таубе). — Один из наиболее популярных немецких двухместных монопланов Первой мировой войны, Rumpler Taube, был спроектирован австрийцем Игнацем Этрихом (Ignaz «Igo» Etrich, 1879–1967) в 1906–1909 гг. Первый самолет (1910) получил название Etrich Taube (*нем.* Taube — голубь); в Германии самолет выпускался под названием Etrich-Rumpler-Taube, но вскоре название сменили на Rumpler-Taube. Rumpler Taube стал первым серийным германским военным самолетом, использовался в качестве разведчика, истребителя, бомбардировщика, учебного самолета.

«Беллигеренты» (*англ.* belligerent — воюющий, агрессивный) — вояки, агрессоры.

Белосток (Białystok) — город на северо-востоке Польши, на реке Супрасль.

На северном фронте

Рус. вед. 1914. № 235 (12 окт.). С. 5.

Хоржеле (Chorzele) — населенный пункт в Плоцкой губернии.

Остроленка (Ostrołęka) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Сувалки (Suwałki) — город в Польше, входит в Подляское воеводство.

Граево (Grajewo) — город на северо-востоке Польши, входит в Подляское воеводство.

...знаменитой обороны Оссовца. — Точнее, Осовец-Крепость (Osowiec-Twierdza) — бывшая русская крепость, ныне город в Польше, входит в Подляское воеводство. Через Осовец лежал кратчайший путь в Россию; первый натиск был предпринят немецкой армией в сентябре 1914 г.: перебросив из Кенигсберга орудия большого калибра, в течение шести дней проводилась бомбардировка крепости. В январе 1915-го началась длительная осада Осовца, которая продолжалась 190 дней.

...не пришлось столкнуться с пресловутыми 42-хсантиметровыми орудиями, приведшими к падению Намюр и Антверпен. — Намюр (*фр.* Namur) — город в центре Бельгии. Во время Первой мировой войны город, защищенный 10 фортами и минными полями, стал преградой для немецких войск на пути во Францию. 20 августа 1914 г. силами трех армий началось наступление на город, в результате огромных потерь 25 августа бельгийские войска отступили и город капитулировал. Антверпен (*нидерл.* Antwerpen) — город в Бельгии. В начале Перовой мировой войны в Антверпен отступала бельгийская армия после поражения при Льеже. Осада Антверпена заняла всего 11 дней. Антверпен оставался под немецкой оккупацией вплоть до перемирия.

Проcткен (*нем.* Prostken) — город в бывшей Восточной Пруссии, или Простки (*польск.* Prostki) — город на северо-востоке Польши.

Лык (*нем.* Lyck, *прусск.* Luks), или Элк (*польск.* Ełk) — город на северо-востоке Польши.

...от разгрома реймского собора... — Реймсский собор (Notre-Dame de Reims) был построен в XIII в., благодаря своей архитектуре и скульптурным композициям является одним из самых известных образцов готического искусства во Франции. Во время первой мировой войны Реймс был захвачен немцами и четыре года оставался в зоне боевых действий. В сентябре 1914 г. в результате варварской бомбардировки собор был превращен в «море огня». Были уничтожены остатки витражей, значительно пострадали статуи. Это событие стало символом немецкого варварства во время войны.

Отважный набег генерала Ренненкампфа на Восточную Пруссию... — Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918) — российский военный деятель конца XIX — начала XX в. В начальный период Первой мировой войны Ренненкампф командовал 1-й армией Северо-Западного фронта во время Восточно-Прусской операции. 17 августа его войска перешли границу Восточной Пруссии, а уже через три дня нанесли тяжелое поражение 8-й германской армии генерала М. фон Притвица в битве при Гумбиннене.

Бяла (Biała) — город в Польше, входит в Опольское воеводство.

После победы

I. Поле битвы

Рус. вед. 1914. № 237 (15 окт.). С. 3.

Прушков (точнее, Прушкув, Pruszków) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

В Пясечной... — Пясечно (Piaseczno) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Гродиск (Grodzisk Mazowiecki) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Инстербург (Insterburg) — город в Гумбинненском округе Восточной Пруссии, в 90 км к востоку от Кенигсберга. Во время Первой мировой войны, после того как Инстербург был взят русскими войсками, 23 августа (ст. ст.), в городе состоялся парад. Под звуки полковых маршей генерал Ренненкампф и великий князь Николай Николаевич обошли полки, командующий поблагодарил кавалеристов за доблесть в боях. Затем состоялся молебен, после чего отличившимся были вручены награды.

Блоне (Blone) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Тарчин (Tarczyn) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

После победы

II. Основа наших побед

Рус. вед. 1914. № 238 (16 окт.). С. 4.

Хойнов — точнее Хойнув (Chojnów), город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство.

После победы

III. На полях битв под Варшавой

Рус. вед. 1914. № 239 (17 окт.). С. 2.

…в одной терцине сонета Ж.-М. Эредиа… — В. Брюсов цитирует первый терцет (трехстишие) сонета «После Канн» («Один из консулов убит, другой в Линтерне...») французского поэта Жозе-Мариа де Эредиа (1842–1905). Брюсов был одним из переводчиков поэзии Эредиа, в том числе и упоминаемого сонета.

Домброва (Dąbrowa) — населенный пункт в Опольском воеводстве Польши.

В Лодзи

(От нашего корреспондента)

Рус. вед. 1914. № 245 (24 окт.). С. 2.

...во главе которой стоял Л.Л. Громан... — Если судить по инициалам, то не исключено, что речь идет о родственнике или же самом владельце Акционерного общества мануфактур в Лодзи Л. Громане. Более подробно об этом человеке Брюсов пишет в статье «Германия на двадцать дней».

...генерал Либерт, известный путешественник по Африке. — Вероятно, речь идет о немецком военном писателе и путешественнике Эдуарде фон Либерте (Eduard von Liebert,

1850–1934), который состоял на прусской военной службе, был преподавателем в военной академии, командовал полком, затем дивизией; был губернатором Танганьики в Германской Восточной Африке с 1896–1901 г.

В день тезоименитства Наследника Цесаревича... — Празднование тезоименитства (т. е. именин) цесаревича Алексея приходилось на 5 октября; порядок церковного празднования был установлен решением Святейшего синода от 25 августа 1904 г.: «В видах сохранения издревле установленного в день 5 октября празднования четырем святителям Московским св. Петру, Алексию, Ионе и Филиппу, отправлять на будущее время положенное на сей день всенощное бдение означенным четырем святителям; молебен же, по случаю тезоименитства Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексия Николаевича, совершать в сей день одному святителю Алексию» (Церковные ведомости. 1904. № 37).

Пабианицы (или Пабьяни́це, Pabianice) — город в Лодзинском воеводстве, недалеко от Лодзи; расположен среди обширных лесов, из которых берет начало река Нер.

Германия на двадцать дней

I. Впечатления от поездки в Лодзь

Рус. вед. 1914. № 246 (25 окт.). С. 1–2.

Германия на двадцать дней

II. История и описание Лодзи

Рус. вед. 1914. № 249 (29 окт.). С. 5.

В одном еврейском театре, например, каждый день шла пьеса «Николаевские солдаты». — К сожалению, не удалось установить, в каком именно театре шла упоминаемая Брюсовым пьеса. В 1912 г. И. Каценельсон организовал театр на иврите «Хабима ха-ʻиврит»; в Лодзе также действовали другие еврейские драматические труппы на идише.

...продолжали выходить и газеты; русская, «Лодзинский листок», польская, «Rozwoj»... — Ежедневная политическая и общественная газета «Лодзинский листок» издавалась с 1901 по 1914 г., редактор А. Зонер.

Немецкая цензура

(По рассказам сотрудников лодзинских газет)

Рус. вед. 1914. № 253 (2 нояб.). С. 3.

...в изобилии поставляемым «Агентством Вольфа»... — Агентство Вольфа, или Телеграфное бюро Вольфа (Wolffs Telegraphisches Büro), информационное агентство печати, существовавшее с 1849 г., было основано в Берлине немецким журналистом Б. Вольфом при газете «Национаь цайтунг».

...«стрелец» из рядов «войска польского». — Об истории формирования на территории Польши народных добровольческих дружин см.: *Bagiński H.* Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920. Warszawa, 1921.

...известный польский писатель Юрий Жулавский... — Польский писатель, поэт и драматург Ежи Жулавский (Jerzy Żuławski, 1874–1915) редактировал журнал «К оружию!»; с началом войны добровольцем ушел на фронт, скончался от тифа в военном госпитале. Называя Жулавского Юрием, Брюсов не ошибался — именно в такой транскрипции издавались переводы сочинений Жулавского на русском языке. В России творчество Жулавского было известно — вышло несколько изданий его пьес, сборники рассказов и неоднократно переиздавались научно-фантастические романы «На Луне» и «Победитель», повесть «На серебряной планете»; в 1911–1914 гг. вышло два тома из объявленного собрания сочинений Жулавского (в издательстве К.Ф. Некрасова).

Сорадз — точнее, Сураж (Suraż), город в Польше, входит в Подляское воеводство.

...сказочных подвигах «Эмдена» на водах всего мира. — «Эмден» (*нем.* Emden) — немецкий бронепалубный крейсер; получил известность благодаря успешным рейдерским действиям против торгового судоходства и военных кораблей союзников в Индийском океане. С 1 августа по 9 ноября 1914 г. захватил 23 торговых судна, потопил русский крейсер и французский эсминец. 9 ноября 1914 г. в бою у Кокосовых островов был уничтожен английским крейсером «Сидней».

Из лодзинских впечатлений

Рус. вед. 1914. № 256 (6 нояб.). С. 3.

...известия о неудачах германской армии на Висле… — Имеется в виду отражение русскими войсками наступления немцев на Варшаву.

...эти лодзинские «камло»... — Уличные продавцы или разносчики газет (от *фр*. camelot).

«Варшавская мысль» — русскоязычная политико-экономическая, общественная и литературная газета, выходила с 1911 по 1915 г. в Варшаве.

Фантастика войны

Рус. вед. 1914. № 261 (12 нояб.). С. 3.

...или хотя бы «Красному морскому разбойнику»... — Имеется в виду персонаж романа Фенимора Купера «The red raver», в начале XX в. роман выходил под названием «Красный морской разбойник», позднее, в советских переводах — «Красный корсар».

...надеть несколько «георгиев» на грудь… — Имеется в виду Георгиевский крест — наградной знак к ордену Святого Георгия для нижних чинов (1807–1917) за выдающуюся храбрость, проявленную в бою против неприятеля; являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров в дореволюционной России.

...фантастику «войны будущего», о которой лишь мечтали ~ Робидá, братья Рони. — В. Брюсов говорит о предсказаниях технического прогресса в XX в. Вместе с тем

несколько преждевременно сказано о том, что герои очерка увидели всю фантастику войны, содержащуюся в произведениях французских писателей. Примером тому Альбер Робида. В его трилогии футуристических романов «Le Vingtième Siècle» («XX век», 1883), «La Guerre au vingtième siècle» («Война в XX веке», 1887), «Le Vingtième siècle. La vie électrique» («Двадцатый век. Электрическая жизнь», 1890) предсказано появление современной военной техники (танк, линкор, авиация), оружия массового поражения (химическое, бактериологическое, ядерное). Во время Первой мировой войны прогнозы Альбера Робида стали сбываться с поразительной точностью, что напугало самого автора. Танки, химическое оружие и другую «фантастику» участникам Первой мировой войны предстояло увидеть не в первые месяцы, а несколько позднее.

Авторы фантастических и приключенческих романов братья Рони: Жозеф Анри Онорэ Боэкс (Joseph Henri Honoré Boex, 1856–1940) и Серафин Жюстен Франсуа Боэкс (1859–1948); после 1909 г. писали под отдельными псевдонимами: Рони-старший и Рони-младший.

...о погоне за «Эмденом» и «Кенигсбергом», более удивительной, чем все морские рассказы Купера, Марриэта и Стивенсона. — Немецкие крейсеры «Эмден» и «Кенигсберг» в начале войны прославились своими рейдерскими действиями против кораблей Антанты. Д.Ф. Купер (1789–1851), Ф. Марриет (1792–1848), Р.Л. Стивенсон (1850–1894) — авторы всемирно известных приключенческих романов, в том числе и на военно-морскую тему.

История ротмистра Б. ... — Вероятно, речь идет о ротмистре Владимире Венедиктовиче (Бенедиктовиче) Бушневе, командире эскадрона 3-го Уланского Смоленского полка; известно, что свой последний подвиг Бушнев совершил, оттеснив со своим эскадроном немецкие полки от моста через реку Инструч, на подходе к г. Пилькаллену, 15 декабря 1914 г. Теперь на этом месте установлен памятный знак.

Мехов (Miechów) — город на юге Польши, входит в Малопольское воеводство.

Благородные делавары — индейский народ в США и Канаде (от *англ.* Delaware).

«*Всё, всё, что гибелью грозит…*» — В примечании к выражению «неизъяснимы наслаждения» В. Брюсов приводит слова из песни Вальсингама в пьесе А.С. Пушкина «Пир во время чумы».

Густав Эмар — Гюстав Эмар (Aimard) (наст. имя — Оливье Глу (Gloux), 1818–1883), французский писатель. После длительного путешествия по Латинской Америке написал большое количество приключенческих романов. Его произведения в начале XX в. пользовались большой популярностью.

Бенвенуто Челлини (Cellini, 1500–1571) — выдающийся итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Возрождения. Широкую известность обрела его богатая приключениями жизнь, описанная им в книге «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции».

...словно Ролан с Оливье в Ронсевальском ущелье... — Известная битва (778 г.), в которой войска Роланда, правителя Бретани и командующего армией Карла Великого, были разбиты басками. Сражение произошло в Ронсевальском ущелье, в Пиренейских горах, на границе современных Франции и Испании. Битва Роланда и его друга Оливье с мусульманским войском описана в знаменитой «Песне о Роланде».

Команч — представитель индейского народа на территории США.

В тылу боя
(Поездка в Лович)

Рус. вед. 1914. № 268 (20 нояб.). С. 2.

...тютчевские «демоны глухонемые ведут беседу меж собой»... — Строка стихотворения Ф.И. Тютчева «Ночное небо так угрюмо…» (1865).

...бой у Ловича был одним из важных эпизодов большой операции, к которой принудило немцев искусство нашей стратегии. — В очерке нашли отражение крупномасштабные боевые действия в ноябре месяце. После успешного Варшавско-Ивангородского сражения русские войска (1-я и 10-я армии) должны были начать наступление на Восточную Пруссию, германские корпуса — осуществить прорыв на Варшаву. 11 ноября, на три дня опередив русских, немцы начали свое наступление, приготовив для русских «клещи». Положение спас своевременный и энергичный маневр командующего 5-й армией Плеве. Он развернул часть своих сил на север и перешел ими в наступление на фланг прорывающейся группировки. Разбил и отбросил ее и прикрыл своими войсками брешь во фронте.

До конца ноября ожесточенные бои шли на нескольких участках фронта. Для того чтобы выиграть время, необходимое и для маневров, и для укрепления тыловых рубежей, 1-я армия перешла в частное наступление у Ловича. Этот удар, не принеся ощутимого успеха, спутал карты наступавшим немцам (см.: *Шамбаров В.Е.* За веру, царя и Отечество! М., 2003. С. 239–249).

Сохачев (*польск.* Sochaczew) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

...на тихой зыби Бзуры… Бзура — река в Польше, левый приток р. Висла, в районе которой 19 ноября — 20 декабря 1914 г. произошло сражение между австро-германскими и русскими войсками.

... лесок, где произошло убийство, в котором был обвинен барон Биспинг... — Имеется в виду процесс о громком убийстве князя Владислава Друцкого-Любецкого в апреле 1913 г. в его имении «Тересин», под Варшавой; в смерти князя обвинили барона Биспинга; процесс длился много лет и закончился оправданием Биспинга за отсутствием доказательств (1928).

«Во что бы то ни стало»

Рус. вед. 1914. № 269 (21 нояб.). С. 3.

Генерал Гинденбург — Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (1847–1934), немецкий военный и политический деятель. Во время Первой мировой войны — главнокомандующий на Восточном фронте против России (1914–1916), начальник Генерального штаба (1916–1919).

Силезский — Восточный германский фронт.

Торн (*нем.* Thorn), или Торунь (*польск.* Toruń) — город на севере Польши, на реке Висле.

…Стрыков (Strykov), *Брезин* (Brzeziny), *Колюшки* (Koluszki), *Згерж* (Zgierz), *Кутно* (Kutno) — небольшие города в северо-восточной части Лодзинского воеводства.

…до Нового Мяста... — Нове-Място (Nowe Miasto), городок в Мазовецком воеводстве.

Генерал фон Макензен — Макензен Август фон (1849–1945) — генерал кавалерии, с июня 1915 г. генерал-фельдмаршал. В ходе Лодзинской операции, о которой идет речь в очерке В. Брюсова, генерал фон Макензен — командующий 9-й армией.

Ландштурмисты (от *нем.* Landsturm) — резерв вооруженных сил, который призывается только на время войны, имеет вспомогательное значение и составляется из лиц, уже отбывших срок службы или по каким-либо причинам освобожденных от службы в постоянных войсках, но физически годных к военному делу. Ландштурм в Германии и Австрии соответствовал ополчению в России.

Ландвер (*нем.* Land — земля, страна и Wehr — защита, оборона) — категория военнообязанных запаса 2-й очереди и войсковые формирования 2-й очереди в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии в XIX — начале XX в.

Конин (Konin) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство.

Ночь в мертвом городе

Рус. вед. 1914. № 280 (5 дек.). С. 4.

...мой постоянный товарищ в поездках Ф. ... — Предположительно, Филатов, в годы войны корреспондент газеты «Утро России».

...поэт А.М.Ф. ... — Скорее всего, Александр Митрофанович Федоров (1868–1949), поэт, беллетрист, драматург, переводчик; во время войны — военный корреспондент.

...сделанные мелом немецкие надписи: «Reserv», «III Divis.» «128 Regin.»... — «Резерв», «3-й дивизион», «128-й полк».

...среди них я заметил сочинения любимых мною авторов: Реми де Гурмона, Пьера Луиса, Захер Мазоха, Ведекинда... — Реми де Гурмон (1858–1915) — французский писатель, эссеист, художественный критик; *Пьер Луис* (по русской традиции; Пьер Луи, 1870–1925) — французский поэт и писатель; *Захер Мазох* — Леопольд Риттер фон Захер-Мазох (1836–1895), австрийский писатель; *Ведекинд* — Франк Ведекинд (1864–1918) — немецкий поэт и драматург.

О «соколах»

Рус. вед. 1914. № 284 (10 дек.). С. 3.

…награда получена ими за бой при Сольдау. — Имеется в виду крупнейшее поражение русских войск в Первой мировой войне в боях под Сольдау, в результате которого был уничтожен цвет русской армии в самом начале войны. 27 августа 1914 г. 150-тысячная Вторая армия под командованием А.В. Самсонова попала в окружение, а ее командующий погиб 29 августа (по наиболее распространенной версии, застрелился). Немецкое командование, полагая, что оно одержало «одну из величайших побед в истории», решило назвать битву при Сольдау «битвой при Танненберге» (состоявшейся около 500 лет назад, в 1410). Немецкий генерал П. фон Гинденбург писал об этих днях следующее: «Танненберг! Это слово будит тяжелые воспоминания для могучего немецкого рыцарства…»

В частности, ничего не вышло из пресловутого «войска польского», всех этих «галицийских легионов», «краковских стрелков», «соколов» и т. д. — Речь идет о формировании антирусских военных формирований. Незадолго до начала Первой мировой войны Ю. Пилсуд-

ский занимался созданием военизированных группировок в Галиции. При покровительстве австрийских властей из военизированных и военно-спортивных организаций «Стшелец», «Сокол» и других формировались Польские легионы под командованием Пилсудского. Они сражались на восточном фронте против России на стороне Австро-Венгрии и Германии.

Цирульник (*польск*. cyrulik) — парикмахер, выполнявший также некоторые обязанности лекаря (производил кровопускание, ставил пиявки и т. п.).

Клубы дыма

Рус. вед. 1914. № 286 (12 дек.). С. 4.

«Как пахарь, битва отдыхает». — Строка из поэмы А.С. Пушкина «Полтава».

На театре военных действий
(День в пути)

Рус. вед. 1914. № 287 (13 дек.). С. 3.

...картина пестрела «багрецом и золотом»... — Брюсов использует слова Пушкина из отрывка «Осень» (1833): «Люблю я пышное природы увяданье, / В багрец и в золото одетые леса…».

...стреляют и «обозные». — Обозные — солдаты, находящиеся при армейских повозках, сопровождающие военные обозы.

Манерка — походная металлическая фляжка с завинчивающейся крышкой в виде стакана (устар.).

...башенки телеграфа беспроволочного, «искрового». — Беспроволочным или «искровым» телеграфом именовалась радиосвязь в первые годы своего существования (конец XIX — начало XX в.).

Римские легионарии — рядовые воины в раннеримской империи.

Письма врагов и к врагам

Рус. вед. 1914. № 288 (14 дек.). С. 3–4.

Люттих, Намюр — города в Бельгии.

Шпандау (Spandau) — город и крепость в прусской провинции Бранденбург, в 12 км к западу от Берлина.

Мец (*фр.* Metz) — город на северо-востоке Франции.

Пиэтизм (*лат.* pietas — благочестие) — ложное, притворное благочестие.

Мимоходом
I. Опять аэропланы

Рус. вед. 1914. № 289 (16 дек.). С. 3.

Мимоходом
II. На питательном пункте
III. В Плоцкой губернии

Рус. вед. 1914. № 290 (17 дек.). С. 3.

Еще встречались там типы, словно вышедшие из романов Крашевского и Сенкевича... — Юзеф Игнацы Крашевский (также Иосиф Крашевский) (1812–1887) — польский писатель, этнограф, публицист. Некоторые его романы на историческую тему пользовались популярностью в России конца XIX в. — «Графиня Козель» (1874) и «Брюль» (1875) и др. Генрик Сенкевич (Хенрик Адам Александер Пиус Сенкевич) (1846–1916) — польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 г. Автор исторической трилогии «Огнем и мечом» (1883–1884), «Потоп» (1884–1886), «Пан Володыёвский» (1887–1888). Один из самых популярных польских писателей за рубежом.

Мимоходом
IV. Один из героев

Рус. вед. 1914. № 298 (28 дек.). С. 3.

...в настоящее время гостит штаб-ротмистр Г. — Скорее всего, речь идет о штаб-ротмистре Гурдове, которому Брюсов впоследствии посвятил некролог. Павел Васильевич Гурдов (1882–1915) — легендарный командир взвода автомобильной пулеметной роты. Награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами, а также орденом Св. великомученика и победоносца Георгия 4-й степени. Последний вручен за подвиг, совершенный 20–21 ноября 1914 г., о котором писали в газетах. Капитан Гурдов с 4 бронеавтомобилями выдвинулся вперед по шоссе без прикрытия и, приблизившись на 150 шагов к наступающей колонне противника, нанес ей большой урон и привел ее в полное расстройство, несмотря на то что и сам был ранен, и его пулеметчики. Все автомобили, хоть и с повреждениями, были выведены из боя. Погиб в ночном бою 12 февраля 1915 г.

Подготовка текста и комментарии А.И. Иванова

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Корреспонденции в газете «Голос»

1 9 1 4
Варшава в дни войны

Многие, может быть, не ожидали того энтузиазма, с каким отнеслась Польша к войне с Германией. С самого начала мобилизации, еще до объявления Верховного Главнокомандующего, война оказалась здесь популярной, народной, в лучшем смысле слова. Народная память не позабыла, что для поляков, более чем для всех других славянских племен, немцы — враг исконный, заклятый. Народная масса приняла войну как великое родное дело и, можно сказать, увлекла за собой вожаков различных партий, не дав им времени справиться со своими «программами».

Народ высказался первый. Он высказался своим отношением к мобилизации, которая в Польше прошла с тем же воодушевлением, как и в остальной России. То были тяжкие дни, когда можно было ожидать, что германцы своей тяжестью обрушатся на Польшу, еще не вполне готовую к решительному отпору; те дни, когда из многих порубежных городов и губерний приходилось спешно вывозить различные учреждения. В эти дни призывные — поляки толпами шли в сборные пункты, шли иногда никем не руководимые, не зная, к кому обратиться, но упорно добиваясь одного — быть скорее зачисленными в ряды армии. Уже после этого проявления народного духа стали появляться от различных польских партий их декларации, которые все (за ничтожными исключениями) сходились на одном призыве: всеми силами, в рядах русской армии и солидарно с русским обществом, бороться с общим врагом.

За последние дни в Варшаве на каждом шагу приходится наблюдать факты и явления, которые еще два месяца назад казались здесь невозможными.

С величайшим энтузиазмом встречает варшавское население русские войска. Польские дамы раздают приходящим солдатам цветы и конфеты. Мне приходилось видеть полки, в которых у каждого солдата были прикреплены к штыку хризантемы или лилии — подарок польских дам. Простые польские женщины, заметив идущих казаков, забегают в соседнюю лавочку и закупают там разные мелочи, чтобы поднести их нашим донцам. Сами солдаты рассказывали мне, что столь же радушно встречают их и в польских деревнях. Жители раздают им бесплатно хлеб, угощают молоком, часами дежурят на дороге, чтобы напоить проходящий полк. Во время упорных боев под Люблином местные польские крестьяне добровольно занимались эвакуацией раненых и иногда исполняли свою работу под градом пуль.

В то же время городское управление и разные общественные организации принимают самые энергичные меры, чтобы расширить помощь раненым. Город, вновь образованный «Обывательский комитет», новооснованное общество «Милосердного самаритянина» и многие (едва ли не все) другие самостоятельно или совместными усилиями организуют госпитали, лазареты, перевязочные пункты. Все они оборудованы прекрасно, часто обставлены заново и окажут великую подмогу Красному Кресту в деле облегчения страданий «больным и раненым воинам».

Но особенно дорого то, что в большинстве этих учреждений почти весь штат работающих состоит из добровольцев. Работать сюда идут все слои польского общества, в том числе с особым рвением интеллигенция: писатели, артистки, воспитанники учебных заведений. Желающих служить благому делу так много, что приходится отказывать большинству. Девушки из среды польской аристократии посвящают себя уходу за ранеными русскими солдатами. Один ксендз буквально со слезами умиления рассказывал мне, что он видел своими глазами, как молодая девушка из семьи графов*** (один из наиболее древних и чтимых родов Польши) собственноручно обмывала больного казака.

Это новое настроение общества ярко сказалось во время устроенного здесь «дня флагов». Несмотря на то что воззвание было напечатано на одном русском языке, вся Варшава нарасхват покупала белые флажки с красным крестом — символ русской армии. К вечеру на улицах и в кафе не было ни одного человека, грудь которого не была бы украшена одним или несколькими флагами. А сама армия продавщиц и продавщиков также в значительной мере состояла из представителей польского общества города.

Война широко популярна в Польше; это несомненный факт. Летний театр в Саксонском саду поставил здесь перевод драмы (вернее было бы сказать, мелодрамы) Эд. Гонкура «В немецких когтях», изображающей немецкий гнет в Эльзасе. Надо было видеть, с какой экспансивностью относилась публика к тирадам действующих лиц, тирадам ходульным и риторическим, но направленным против Германии. Каждый «пламенный» монолог пьесы, проклинавшей варварство немцев, покрывался бурей аплодисментов. Все «трогательные» восклицания того же лица, обращенные к «вечно дорогой, прекрасной Франции», вызывали такие же бурные рукоплескания. Я не сомневаюсь, что зрители понимали художественное ничтожество пьесы, но она служила предлогом, чтобы выразить все, что таилось в душе.

Но здесь, в Польше, война имеет особое, чрезвычайно важное значение: она способствует сближению Польши с Россией. То обстоятельство, что поляки и русские слились в одном общем чувстве, что у обоих народов сказалась одна общая заветная цель, как бы пробудило первое, смутное сознание их братства. Идея славянского единства, вообще чуждая полякам, вдруг нашла некоторый отклик и в сердцах поляков. Много есть причин, решительно противодействующих сближению польского общества с русским обществом, польского народа с русским народом (я говорю об о б щ е с т в е, о н а р о д е), но, может быть, наши дни укажут пути, на которых оно возможно.

Да будет мне позволено в заключение упомянуть об одном факте, в котором принимал участие я сам. «Польское общество писателей и журналистов», узнав о моем

присутствии в Варшаве, пожелало устроить экстренное собрание своих членов и пригласить меня в него. После приветствия, обращенного ко мне председателем как к русскому писателю, было произнесено много речей по-польски, по-французски и по-русски. Я далек от мысли приписывать какое-либо значение тому обстоятельству, что на этом заседании присутствовал именно я; мои скромные литературные заслуги также были, конечно, только предлогом, чтобы выразить новый круг чувств. Но, если припомнить, что на заседаниях «Польского общества литераторов», принимавшего у себя писателей разных национальностей, раньше ни разу не присутствовал писатель русский и ни разу не были произнесены речи на русском языке, это маленькое событие, может быть, покажется знаменательным.

Варшава, 26-го августа

Рассказ беженцев
Письмо из Варшавы
(От нашего корреспондента)

В Варшаву как в центр польской жизни стекаются беглецы из всех местностей Царства Польского, временно занятых германскими и австрийскими войсками. Для лиц неимущих пришлось даже устроить особое убежище в бывшем увеселительном саду «Швейцарская долина», где им дается приют и пропитание. Вновь организованная «Биржа труда» подыскивает для них работу в Польше и во внутренней России. Беглецы охотно рассказывают обо всем, пережитом ими. Многое уже известно из других газетных сообщений, но случается слышать рассказы и о таких фактах, которые еще не были отмечены, которых другие не были свидетелями.

В «Швейцарской долине» особенно много беглецов из Млавы; теперь, впрочем, они начинают возвращаться в свой город, вторично отбитый русскими. Как известно, немцы наложили на Млаву контрибуцию в 50 000 руб. Так как такой суммы негде было достать, то немцы стали буквально грабить город. Офицеры с солдатами вламывались в частные дома, перерывали всё вверх дном и забирали всякие ценные вещи: часы, дамские украшения, шубы и т. п. — иногда выдавая как удостоверение свои «квитанции». Из числа видных жителей города взяты были заложники, которых держали под самой строгой стражей и кормили очень скудно. При победоносном шествии русских войск немцы должны были спешно покинуть Млаву вечером 3-го августа, причем их выступление имело вполне вид бегства. Через несколько дней они снова вернулись в город и опять начали грабить что осталось, но скоро должны были снова удалиться.

Из Люблина не было «беглецов» в собственном смысле этого слова, так как город никогда не был занят неприятелем. Но приезжие из него рассказывали, что в течение многих дней жители ощущали самую непосредственную близость германцев. В городе непрерывно была слышна канонада. Одно время австрийцы перешли через линию железной дороги и находились всего в 14 верстах от предместья. Однако жители Люблина быстро освоились со своим положением, и жизнь в городе текла почти нормально. Движение на улицах не прекращалось, магазины торговали, газеты выходили, были открыты синематографы и летний театр. Понемногу

стали появляться признаки несомненного перевеса нашего оружия. Через город начали провозить пленных немцев и военную добычу: целые вагоны винтовок, касок и шашек, зарядные ящики, обозные повозки. Одно из отнятых у австрийцев орудий торжественно возили по всему городу, и жители встречали его патриотическими манифестациями.

Всего интереснее рассказы лиц, бывших в Радоме во время пребывания там германцев, так как Радом был занят более чем 30 000 корпусом. Для жителей изданы были такие же правила, как и в других городах, занятых немцами (не выходить по вечерам на улицу, освещать всю ночь окна, выдать оружие и т. д.), так же усердно грабили город, забирая в местных магазинах и лавках все, что можно было взять: не только съестные припасы, но и предметы роскоши, ювелирные изделия и т. п. Уплачивали все теми же «квитанциями». Офицеры похвалялись, что Радом присоединен к Австро-Венгрии навсегда, но его жителей не называли иначе, как «польские свиньи». Все это не помешало лихим казацким разъездам два раза врываться в Радом. Небольшой кучкой, всадников в 30–40, они стремглав влетали в город, занятый десятками тысяч неприятелей, и с гиканьем мчались по улицам, стреляя на скаку в пытающихся их задержать. Оба наезда обошлись для русских благополучно, только во второй раз один драгун, раненный в грудь, упал с лошади и попал в руки немцев (как говорят, через измену какого-то еврея). Позднее товарищи жестоко отомстили за него.

19 авг<уста> в Радоме узнали, что приближаются сильные русские кавалерийские разъезды. Это было так неожиданно для немцев, что они не сумели сорганизовать настоящего сопротивления. После недолгой борьбы те части, которым предписано было отступать, перешли прямо в бегство. По шоссе, в которое русскими были вбиты колья, не могли пройти ни артиллерия, ни автомобили, ни обозы. Все это бросалось. Немецкие кавалеристы соскакивали с лошадей и пытались пешими спрятаться в лесу. Разгром был полный. В руки нашей армии досталось множество пленных и огромная добыча. Позднее жители Радома обозревали ее, и их особенно поражали австрийские блиндированные автомобили с приспособлениями, механически разрезающими проволочные заграждения. Были взяты нами и знамена.

Приезжие из Лодзи могли рассказать очень немногое. В городе в течение нескольких дней стоял только небольшой кавалерийский разъезд немцев. Так как они составляли ничтожную горстку в городе с населением в 350 000 человек, то и вели себя очень тихо.

Беглецы из Ченстохова уверяют, что, по счастью, рассказы о бесчинствах немцев в городе преувеличены. Ясногорский монастырь был немцами пощажен, и никаких оргий в нем не устраивалось.

Многие рассказывают о возмутительном обращении нем<ецких> и австрийских офицеров с отдельными жителями разных городов. Брань была обычной приправой ко всякому разговору. За недостаточно почтительные ответы полагались побои. В Млаве бургомистра заставили лично ломать дверь, от которой не нашлось ключей. В Радоме члена магистрата (гор<одской> думы) принудили собственноручно вычистить для австрийского офицера уборную. Одну женщину жестоко избили, грозя расстрелять, за то, что она не хотела отдать добровольно свое обручальное кольцо.

Само собой разумеется, что здесь собраны только те рассказы, которые по той или другой причине достойны веры. Некоторые факты, передаваемые беглецами за подлинные, столь чудовищны, что без поправки их страшно предавать гласности. Во всяком случае несомненно, что «оккупация» германцами польских областей почти везде сопровождалась грабежом и насилием. Понятно поэтому, с каким восторгом жители городов, испытавших тяжелую руку тевтонов, встречали русские полки, приносившие им освобождение. В Радоме, например, наше войско было засыпано цветами.

Варшава, 27 августа

На границе
(От нашего корреспондента)

В Варшаве война почти не чувствуется до сих пор. Если не посещать госпиталей, об ней напоминают только экстренные приложения газет, выходящих чуть не каждый час, да специальный репертуар театров, заполненный пьесами на военные и патриотические темы (в одной пьесе, идущей в «Театре Соединенных», уже изображается занятие немцами Калиша!). Но достаточно отъехать от Варшавы всего 100–120 верст, чтобы уже оказаться в районах, на себе испытавших все ужасы войны или, по крайней мере, чувствующих на себе ее грозное дыхание. Несколько дней назад я <мог> побывать в тамошних городках и их окрестностях, беседовать с местными жителями, и я убедился, что там война не только страшное слово, но простая повседневная действительность, так или иначе вторгающаяся в обиход жизни каждого.

Разумеется, пограничные жители пытаются продолжить свою обычную жизнь, привычки которой слишком укоренились. Функционируют заводы, хотя и сократили производство, засеваются для нового урожая поля, продолжается сбор свекловицы (в крае много свеклосахарных заводов), в городах продают и покупают, посещают рестораны и сады и т. д. Но война с властной силой заставляет перестраивать жизнь по своей воле. Даже там, где она не появляется в своем страшном величии, где нет боев, нет рева пушек, груды убитых тел, неистовства германских полчищ, она сказывается во всех подробностях жизни, более крупных и совсем мелких, а главное, в настроении духа жителей. Там, поблизости от грозного «театра военных действий», о войне не забывают и не могут забыть. Она сама громко напоминает о себе на каждом шагу.

Нарушение железнодорожного сообщения и отсутствие подвоза вызвало то, что в маленьких городках некоторые предметы вообще вышли из обихода. Так, например, в одном городке не оказалось керосина. Частные дома освещались тончайшими стеариновыми свечками; станция — единственной коптящей лампочкой; улицы с наступлением сумерек <не освещались>. В третьем — исчерпался весь запас табаку, папирос и даже сигар. Жители ходили из дома в дом, выпрашивая хоть одну папиросочку. Как раз при мне привезли в «потребительское общество» небольшой транспорт табачных изделий. Надо было видеть, как толпа прямо штурмовала магазин! Пришлось под ее натиском закрыть двери, и торговля шла через окно. Жаждавшие

покурить силой вырывали у приказчика заветные коробочки и, сунув ему деньги, не спрашивая сдачи (где было рассчитываться в такой давке), с упоением делали первую затяжку… Но если эта сцена и была немного комичной, то совсем не смешно было, что иные городки по нескольку дней оставались без мяса.

В имениях особенно мучительно было отсутствие газет. По разным причинам почта не может в том районе ходить регулярно, и помещики иногда по 3–4 дня не видят свежего газетного листка. Под влиянием такой отрезанности от мира возникают в округе разные нелепые слухи, и жителями овладевает болезненная нервность. Когда я приезжал в ту или иную усадьбу, меня везде прежде всего встречали расспросами о том, что делается на свете; передо мной раскладывали карту, и я должен был по мере сил указывать на последние передвижения армий. Отсутствие почты означает также и отсутствие вестей от близких. Так как почти в каждой семье есть кто-нибудь «ушедший на войну», то понятно, какое событие посланное письмо!

Самые военные действия казались приблизившимися непосредственно, подошедшими вплотную. В маленьких городках естественно устанавливается более тесное общение с проходящими войсками, с возвращающимися ранеными, с беглецами из местностей, занятых немцами. Здесь всем случалось слышать рассказы о боях от очевидцев и рассказы о «немецких зверствах» от «потерпевших». В имениях находят себе временный приют офицеры проходящих мимо частей; солдаты располагаются бивуаком на знакомом с детства поле; иногда это поле уже изрыто окопами. Многим пришлось познакомиться ближе и с нашими врагами. В каждом имении мне показывали то лесок, то ручеек, за которым видели немецкие разъезды. При поездках по направлению к северу случалось иным сталкиваться с германскими разъездами (впрочем, в известных мне случаях не причинившими проезжающим никакого вреда). И эта постоянная близость врага тоже возбуждает нервы.

Аэропланов бывает видно так много, что местные жители на них уже перестали обращать внимание. Маленькие дети лет по 8 научились прекрасно отличать наши машины от немецких и спорят о преимуществах того или другого их типа. Я тоже, хотя и был случайным гостем в этом краю, скоро настолько освоился с этими стальными птицами, что, заслышав шум пропеллера, уже не подымал головы…

Сколько я мог заметить и заключить по тому, что слышал при разговорах, в с е и в этом краю: и горожане, и помещики, и крестьяне — верят в конечное торжество России; в с е желают победы над немцами как над исконным, вековым врагом всего славянства и особенно польского народа; в с е готовы приносить ради этой борьбы самые тяжелые жертвы (один помещик сказал мне: «Отдам все, отдам последнее, только бы мы их, немцев, победили»). Но все понимают, что стратегические соображения могут вызвать временную уступку того или другого района, и потому все живут в томительной неуверенности в завтрашнем дне. Никто не смеет поручиться за свою судьбу в течение недели, и выдерживать такое напряжение, может быть, не легче, чем стоять под шрапнелью.

Эти строки уже были написаны, когда пришло известие, что немцы вторглись в Плоцкую и Ломжинскую губернии. Те самые местности, по которым я проезжал

5–6 дней тому назад, те городки и те усадьбы, которые я посещал так недавно, уже оказались во власти неприятеля. Не напрасно шныряли так часто немецкие аэропланы! Сбылись черные предчувствия жителей, и им приходится испить горькую чашу вражеского вторжения. Будем надеяться, что оно не продлится долго, так как русская армия готова вновь дать отпор упорному врагу.

5-го сентября 1914 г.

На северном фронте

На нашем северном фронте за последние недели серьезных боевых столкновений не было. Но на долю севера Польши выпало и в эти дни немало тяжких испытаний.

Недели три назад я совершил поездку по Плоцкой губернии, от Цеханова до Хоржеле (об этой поездке я уже имел случай говорить на страницах «Голоса»). То было вскоре после трагической кончины генерала Самсонова, и все кругом было полно воспоминаниями о ней… Население с тревогой ожидало, что немецкие войска немедленно сделают попытку вторгнуться в пределы Плоцкой губернии. Но проходили дни, а немцы не появлялись. Они, по-видимому, боялись вступать на русскую территорию, предполагая обороняться у себя дома, в хорошо знакомой им области Мазурских озер.

За время моей поездки, длившейся почти неделю, я не видел ни одного немца. Только немецкие летчики часто пролетали над моей головой, должно быть, тщательно исследуя местность. К вражеским аэропланам все так привыкли, что даже не поднимали головы на шум пропеллера. Между тем в городах, в деревнях и в усадьбах жизнь продолжала идти почти обычным ходом: торговали, убирали свеклу, сеяли, ездили друг к другу в гости. Только некоторая напряженная нервность чувствовалась у всех (у мужчин и женщин, у помещиков и крестьян), созданная неопределенностью положения.

Однако едва я вернулся в Варшаву, как пришло известие, что немцы перешли границу двумя колоннами, от Млавы и от Хоржеле. У Хоржеле им пришлось иметь дело с нашим арьергардом. Немцы значительно превышали численностью выставленные против них силы, но бой все же завязался жаркий. По рассказам участников его, которым вполне можно доверять, немцы понесли тяжелый урон, тогда как наши потери, благодаря выгодности нашей позиции, оказались ничтожными. В следующие дни немцы без боя заняли Прасныш, Цеханов и Маков.

После того день за днем стали приходить в Варшаву вести о жестокостях, чинимых германскими войсками во вновь занятых местностях. Все то, на что справедливо жаловались жители других польских уездов, где побывали немцы, повторилось и в Плоцкой губ‹ернии›. Немцы под предлогом реквизиции грабили помещичьи дома и потом сжигали их, брали заложников в городах, издавали в них «обязательные постановления», исполнить которые было немыслимо, и т. п. Те лица, которым удалось выбраться из-под власти немцев и достигнуть Варшавы, рассказывали о бедствиях края прямо «со слезами на глазах». Я видел одного помещика, который прямо рыдал, говоря о том, как без всякой причины была сожжена его родовая усадьба.

Некоторые известия о немецких позициях в Плоцкой губернии были получены через А.И. Гучкова. Как известно, он, с разрешения Августейшего Главнокомандующего, ездил в самом начале сентября в германскую армию, чтобы по поручению вдовы генерала Самсонова разыскать тело ее мужа. Исполнить это поручение А.И. Гучкову не удалось: он только получил от немцев обещание, что тело генерала Самсонова, если будет найдено, будет погребено со всеми воинскими почестями. Но, в своих рассказах, А.И. Гучков, сопровождаемый небольшим санитарным отрядом, проник до германских аванпостов, которые оказались расположенными под Праснышем. Там, в одной из немецких усадеб, А.И. Гучков был принят ротмистром Боргардом, командиром немецкого отряда.

Близость немцев вызвала тревогу и в северных уездах Варшавской губернии. В Варшаве появились «беженцы» из тамошних городов и деревень. В субботу, 6-го сентября, в Варшаве упорно повторяли, будто немецкие отряды уже подвигаются к Пултуску. Один помещик, приехавший из-под Пултуска, уверял, что сам слышал канонаду в том направлении… Распространяют немало и других, столь же неосновательных слухов, вызывавших волнение в тех кругах, до которых доходили.

На следующий день, в воскресенье, 7-го числа, мне довелось самому побывать под Пултуском и даже несколько далее. Так как между Варшавой и Пултуском всего 65 верст, то весь этот переезд в автомобиле занял всего несколько часов. Немцев я опять нигде не видел, не видел на этот раз даже немецких аэропланов. Но беглецов из разных селений встретил, действительно, много. Вся дорога, от Пултуска до Варшавы, была заполнена выселяющимися жителями Пултуска: они шли пешком и ехали в разнообразных экипажах, в колясках, в почтовых каретах, в старинных дилижансах, на телегах, увозя с собой весь свой скарб. В лесах там и сям были разбиты как бы временные лагеря. То были крестьяне окрестных деревень (преимущественно из-под Цеханова), которые, унеся свое имущество и угнав свой скот, расположились на временное жилье под открытым небом.

Самый Пултуск, через который я проехал, оказался также пустым. На площади и на улицах толпились только кучки евреев: польское население все уехало. Почти все магазины были закрыты; кофейни, рестораны и гостиницы заперты; почта и телеграф не работали. Можно было подумать, что страшный мор истребил жителей города; в действительности их заставила бежать одна мысль, что могут прийти немцы. Нашествие пруссаков стало в наши дни таким же ужасом, каким были когда-то нападения гуннов, вандалов, норманнов.

Я расспрашивал иных из беглецов. Все в один голос отвечали одно: «Не хотим жить там, где власть будет в руках немцев!» То был не только страх перед «немецкими зверствами», но и гордое нежелание славян подчиниться германской воле. Крестьяне уходили целыми деревнями, соглашались жить в шалашах и телегах, питаться подаянием и лесными плодами, только бы не служить немцам. Помещики бросали на произвол судьбы свои родовые усадьбы, чтобы не принимать в них немецких офицеров. Горожане покидали свои дома со всей их обстановкой, обрекали себя на тягостную жизнь без приюта, без денег, но бежали в Варшаву, зная, что там — русская власть, русские войска.

Немцы заняли в Плоцкой губернии опустелые деревни и города, в которых остались лишь подонки населения. Впрочем, германское шествие продолжалось недолго и до Пултуска не докатилось. Уже 9–10 сентября немцы начали поспешно выбираться из занятых городов. Очевидцы рассказывают, что 11-го, в четверг, под Цехановом показался немецкий автомобиль, принесший, очевидно, известие о приближении русских войск. Немедленно немцы предприняли отступление, притом с такой торопливостью, что оно было похоже на бегство. В суете бросали награбленное имущество; не успели взорвать казармы, которые были заранее минированы; забыли в городе несколько товарищей, которых вскоре и забрали в плен казаки, и т. д. С такой же поспешностью немцы выбрались из Макова и Прасныша.

Наши войска, вступившие в эти города, были встречены восторженно теми несчастными, которым бежать не удалось. Следуя за войсками, стали возвращаться беглецы; деревни, усадьбы и города теперь наполняются вновь. Возвращающиеся жители также устраивают овации нашим солдатам, всячески чествуют их, раздают им все, что уцелело от вражеских грабителей. А между тем казацкие разъезды уже опять проникают до окрестностей Млавы.

Тяжкая пора для севера Польши хотя бы на некоторое время миновала.

Люблин, 14 сентября

В русской Галиции

‹I›

Я стою на берегу широкой реки, через которую наведено два понтонных моста. Перед мостами громадное скопление всевозможных повозок, фур, грузовых автомобилей и войсковых колонн, ожидающих своей очереди. На берегу — шумный и пестрый лагерь: здесь группы наших офицеров и солдат, казаки на конях, крестьяне и крестьянки в национальных галицийских костюмах; здесь же телеги, наполненные деревенским скарбом и живностью, и стада быков и овец. Вся эта толпа движется, кто-то кричит, о чем-то говорят; до меня долетают прибаутки и смех. Словно воплощенная в действительности ‹картина› из «Лагеря Валленштейна» Шиллера!

На другом берегу реки, на высоком холму, красивый, уступами поднимающийся город. По пояс он утонул в зелени садов и парков. Высоко поднимаются к небу верхи готических храмов. Золотятся купола православных церквей. Прямыми линиями встают стены многоэтажных зданий. Проглядывает из-за туч солнце и играет лучами на позолоте крестов, на черни башенок, в стеклах домов, в кудрях столетних вязов.

Эта река — Сан, этот город — Ярослав; река, видевшая разгром австрийской армии; город, только что завоеванный нами, вернее «только что возвращенный России».

II

Вот я сижу в кафе, где наши офицеры: одни обедают, другие в соседней комнате играют на бильярде, а девушка-служанка, которой я заказываю кофе, спрашивает меня по-русски:

— Черного или с молоком?

Вот я захожу в магазин белья купить воротничок, и приказчик осведомляется также по-русски:

— Какой ваш номер?

Вот в другом магазине, писчебумажных принадлежностей, приказчик навязывает мне открытки с видами города:

— Возьмите, господин, последняя серия осталась. Скоро никаких не будет, так как нет подвоза. Пока не возьмут Перемышля, мы ничего из Львова не получим.

Везде, расплачиваясь, я даю русские кредитки и получаю сдачу двугривенными и пятиалтынными.

Как странно, что все это совершается не в Ярославле на Волге, а в Ярославе на Сане, еще несколько дней назад австрийском городе!

На улице меня останавливает наш солдат, спрашивая, не знаю ли я, как пройти на рынок.

— Да вы спросите городового.

— А разве он по-нашему понимает?

На посту в австрийской форме стоит полицейский — австриец. Я делаю знак рукой, и он, взяв под козырек, подходит к нам. Спрашиваю, где рынок, и австриец довольно чисто по-русски объясняет:

— Прошу, господин, прямо, а потом налево, там и есть рынок.

III

На рынке — оживление. На больших улицах еще много закрытых магазинов; здесь же торгуют все лавчонки, продают с ларей и вразнос. Наши солдаты толпятся вокруг товаров, прицениваются, покупают. Объясняются они с галичанами на упрощенном полурусском, полупольском языке. Поторговались «за милую душу», выторговав где гривенник, где 2–3 коп., солдаты достают кошельки и расплачиваются добросовестно. Нет и подобия того, как держат себя в русских городах германские офицеры и солдаты, забиравшие без денег понравившиеся им предметы не только в магазинах, но и у частных лиц.

— Ой, баба, дорого! — урезонивает торговку солдат.

— Не, не дорого, добрая вещь, — уверяет торговка, но, поторговавшись, уступает добрую треть цены, совсем как на бывшей Толкучке в Москве.

В темных лавочках вокруг рынка постоянно толпа. Солдаты покупают себе ремешки, кисеты для табаку, точеные деревянные ложки, солонки и т. под. Офицеры берут вязаные вещи, бумагу и чернила, одеколон, разные мелочи «на память». Хорошо торгует Ярослав в дни пребывания в нем русской армии! Тут же во внутренних комнатах устроена столовая. Там тоже наши офицеры обедают, обсуждают новости, коротают дни сравнительно ‹короткого› отдыха. Всем почти весело, а главное, легко и просто, словно у себя дома.

Я попал в Ярослав через 5–6 дней после его занятия нашей армией. По дороге я видел форты, защищавшие ‹вход› в город. Они были устроены «не на страх, а на совесть». Весь Ярослав и каждый отдельный форт был окружен рядами колючей проволоки. В фортах — все новейшие приспособления: стальные блиндажи, особые прикрытия для стрельбы орудийной и оружейной, закрывающие окошечки

для обозрения окрестности, свои колодцы с водой, свои оборудованные кухни, свои склады военных припасов и провианта. Однако деморализация австрийской армии была такова, что войска почти не сделали попытки защищать эти укрепления. После недолгого обстрела, при первой атаке, австрийцы бежали, оставляя нам несметную добычу: орудия, ружья, заряды, повозки, бочки бензина, ящики консервов и т. д. Крупные вещи теперь горами свалены в Томашове и др‹угих› пограничных городах. Но в самых фортах до сих пор валяются кучами бризантные и шрапнельные гранаты, целые пачки нерасстрелянных патронов, зарядные ящики, мешки с порохом и т. д. Самый Ярослав сдан без боя.

После великой Галицийской битвы (в пределах Люблинской губернии) русские войска прошли по Галиции, как неодолимый поток, смывающий все на своем пути. Еще были жестокие бои при переправе через Сан, под Белжицем, в Цеханове, но то были только безнадежные попытки австрийцев задержать наше наступление. Австрийская армия бежала сначала ко Львову и к Ярославу, потом под защиту фортов Перемышля. Вся северо-восточная часть Галиции оказалась во владении русских. И то не было временной «оккупацией», но именно «завоеванием» страны, вернее даже — воссоединением ее с Россией. Как-то сразу, как-то естественно, Галиция вошла неразрывной частью в состав Российской Империи.

IV

То отношение местных жителей к русским, которое поразило меня в Ярославе, поражало и раньше в других, маленьких городках Галиции. Я был в Белжице, где после боя от многих улиц остались только ряды обгорелых труб, кое-где полуобвалившиеся стены да железные крыши, упавшие до земли. Я был в Цеханове, весь центр которого (вокруг моста через Вепрж) обращен в развалины. Я был в ряде других селений и деревень, где рядом с еще не снятым австрийским орлом уже красуются русские надписи «этапный комендант» или «русская почта». Нигде я не встречал ни тени озлобления против русских как «завоевателей». Везде можно было гулять спокойно, без оружия, по самым уединенным переулкам, в такой же безопасности, как в любом русском городе. Местные жители охотно вступали в беседу, жаловались на разорение, вздыхали, скоро ли кончится война, но все в один голос винили за нее австрийцев. Австрийцы затеяли войну, австрийцы забрали лошадей и скот, сгоняли жителей на тяжелые земляные работы, вызвали бои, разрушившие дома и целые деревни. И, характерно, все говорили именно «австрийцы», «австрийские войска»; ни от кого в Галиции я не слыхал в этом смысле выражений «мы», «наши войска».

В одной из гостиниц, где мне пришлось провести ночь, содержательницей была простая женщина, смотревшая на положение дел «не мудрствуя лукаво». Говорила она только по-русински, но это не мешало мне объясняться с ней, как и вообще с местным населением: русинский язык много понятнее для русского, чем не только польский, но даже украинский нашей Малороссии. В гостиницу мы приехали втроем (я и два моих дорожных товарища). Объяснив нам цену за комнату («три пана — три рубля»), сделав нам сама с помощью девочки-дочери постели, хозяйка осторожно начала нас расспрашивать:

— Вы, паны, будете с Люблина?

Мы ответили, что едем издалека, из Петрограда, Москвы, Варшавы, но в Люблине были недавно и опять в него вернемся.

Услышав это, хозяйка буквально со слезами стала умолять нас узнать о судьбе ее сына Антония Войцеха. Этого Антония, по ее выражению, «погнали австрийцы сражаться с русскими». «Он так не хотел, так не хотел», но что же делать, если велят! австрийца побили под Люблином, а Антоний пропал без вести. Все надежды матери на то, что он находится в плену.

Добрая женщина ни на минуту не сомневалась, что мы отнесемся к ней с полным сочувствием. Ей в голову не приходило, что этот Антоний как-никак наш «враг». Напротив, в ее наивном представлении нашими общими врагами были «угнавшие сына австрийцы», мы же, русские, и она, русинка, потерявшая сына, одинаково страдали от злодейства австрийцев. И обращалась она к нам как к естественным друзьям, как могла бы обратиться какая-нибудь женщина в русской деревне, прося разузнать о близком человеке.

Девочка-дочь, глядя на нас большими внимательными глазами, принесла бумаги и детским почерком записала нам имя своего брата. «Узнайте, паны, и отпишите нам», — просила и она. Впоследствии, в Люблине, мы наводили справки об Антонии Войцехе, но, к сожалению, безуспешно. Должно быть, бедняга-галичанин был убит в бою, сам не зная за что и про что.

V

Галиция сейчас напоминает муравейник, жестоко развороченный палкой прохожего. Всем случалось видеть, как стремительно суетятся муравьи в своем разрушенном жилище, осматривая повреждения, утаскивая яйца в безопасные помещения, спешно заделывая проломы. Так мечутся сейчас жители Галиции, когда ураган войны перекатил через их страну и в ней установился мир и порядок под русской властью. Бежавшее в леса население возвращается в полусожженные города и деревни, наскоро строит бараки для временного жилья, разбирается в остатках имущества, пощаженного пожарами и австрийским грабежом (австрийская армия не стеснялась грабить и в пределах Галиции). Крестьяне, обозрев свои нивы, изрытые окопами, засыпанные медными обоймами и свинцовым градом пуль, со вздохом принимаются за осенние работы: боронят свежий посев, собирают уцелевшие головки кукурузы, копают непотоптанный картофель. В городах купцы открывают свои магазины, рестораторы — свои кафе, врачи и адвокаты вновь вывешивают на дверях дощечки с указанием часов приема. Муравейник прикрывается временной крышей, чтобы начать новую жизнь. И все молят Бога об одном: чтобы теперь уже не нарушалось русское владычество, чтобы не было новых боев на той же земле и можно было мирно продолжать свой труд.

Мне случалось беседовать с православными священниками, прибывшими в Галицию с нашей армией. Они не могли нахвалиться благочестием населения. «Хороший народ, душевный народ, и вере предан», — говорил мне один московский батюшка, из Богоявленского монастыря, что на Никольской, встреченный мною в галицийском городке Олешницах. Так как священников-униатов австрийцы почти везде арестовали («заковали», как выражался батюшка) и, отступая, увезли с

собой, то местные жители остались без духовных отцов. Теперь галичане-униаты толпами обращаются к православным священникам, ходят к православной обедне, просят исповедать и причастить их. Простые люди не разбираются в тонкостях различия между православием и унией и идут в православную церковь как в церковь славянскую, отличную от немецкого костела. Инстинктивно галичане тянутся ко всему русскому как к родному, и в этом — залог прочного слияния Галиции с Россией.

VI

Галиция — страна с неисчерпаемыми естественными богатствами. Знаменитые галицийские леса, со столетними деревьями, иногда подходят к самому шоссе. Таких лесных сокровищ я не видел даже на севере России. Многоводные реки удобны для перегонки плотов. Поля дают превосходный урожай, несмотря на опустошения войны, еще зыблются всюду поля кукурузы выше человеческого роста, видны обширнейшие пространства возделанной земли, хмель свисает с трехсаженных жердей. В Карпатах — залежи разнообразных минералов и ломка великолепного камня. Там же местности и курорты, соперничающие по красоте видов с самыми прославленными уголками Швейцарии, Тироля и Пиренеев. Все это стало теперь русским, принадлежит нам, может и должно обогатить Россию.

Население с открытой душой готово войти в состав народов России. Сколько лет русинов угнетали немцы и отчасти местные поляки (составляющие высший слой городского населения), что галичане будут рады даже небольшому, сравнительно, улучшению своего положения. Униаты, которых удерживали в унии насильственно или столь же насильственно переводили в католичество, влекутся к православию, вере их прадедов. Русинский язык, весьма близкий к украинскому, легко понятен русским, и еще понятнее русский язык русинам. Кроме того, галичане пользуются русским алфавитом, нашей «гражданской печатью», что еще более сближает их письменность с нашей. Таким образом, есть все данные, что край Романа Галицкого вновь стал вполне русской землей.

Важно, конечно, чтобы при первых шагах сближения не возникало недоразумений между галичанами и нами. Среди русинов есть партия «радикалов» (организовавшаяся под сильным влиянием В. Бобринского), мечтающая о полной русификации края. Было бы роковой ошибкой счесть стремление этой небольшой, сравнительно, группы населения за настроение всего русинского народа… Но это уже тема, стоящая за пределами моей скромной задачи рассказать, что я видел и слышал, что я сам наблюдал в русской Галиции.

VII

Было свежее, погожее утро, когда я покидал Ярослав. На улицах уже начиналось оживленное движение, открывались магазины, люди спешили к местам службы. На берегу Сана солдаты весело и добро работали, наводя новый понтонный мост. С другого берега мне опять открылся весь город, высокий, красивый, в пышной зелени садов. Потом опять мелькнули передо мной опустелые форты, ряды колючих изгородей, остатки мощных баррикад, сваленные в канавы вдоль шоссе. Дальше по-

тянулись галицийские поля, на которых снова шел усердный, вековой труд землеробов. Всю даль, синея, закрывали леса.

Мне грустно было расставаться с Галицией, которую за несколько дней я научился любить. Мне вспомнился один господин, с которым я случайно разговорился еще в Люблине, в кафе. То был поляк родом из Галиции, и, узнав, что я еду на его родину, он сказал мне:

— Теперь вы многого, конечно, не увидите. Но приезжайте через год, когда война кончится. Вы убедитесь, что Галиция — красивейшая страна в Европе.

— Да, надо приехать сюда еще раз, — думал я, — но не затем, чтобы только любоваться красивыми видами, а чтобы посмотреть, как сложится жизнь в этой Новой России. И да будет так, чтобы я застал страну счастливой, довольной своим новым жребием! Да осуществятся вполне великодушные воззвания Верховного Главнокомандующего к народам Австрии и к русскому народу в Галиции!

Варшава, 24 сентября

Грозные дни Варшавы
(От нашего корреспондента)
I

«28 сентября на левом берегу Вислы, на путях к Ивангороду и Варшаве, начались бои». Это лаконичное сообщение Верховного Главнокомандующего означало для Варшавы наступление дней испытания, дней поистине «грозных». Бои «на путях к Ивангороду и Варшаве» значили, что немцы силой целой армии двинулись на столицу нашей Польши. Занять Варшаву, завладеть огромными запасами всякого рода, собранными в ней в общественных складах и у частных лиц, зимовать в богатом, благоустроенном городе — такова была цель немцев.

К югу от Варшавы лежат два городка: Гройцы и Гора-Кальвария. Их немцы решили сделать опорными пунктами своего наступления.

В Гройцах я побывал накануне вступления немцев.

Маленький городок предчувствовал свою участь. Уже по дороге к нему (я ехал по шоссе на автомобиле) поминутно встречались телеги и фуры, набитые битком людьми, корзинами, узлами: то были «беженцы», жители Гройц, покидавшие свои дома и искавшие убежища в Варшаве. Выглядывали испуганные лица женщин, старухи угрюмо сжимали в руках свой домашний скарб, старики-евреи с библейскими бородами казались невозмутимыми… Фура медленно проползала мимо, а за ней уже показывалась другая.

В самих Гройцах оставшиеся обыватели бездельно толпились не улице. Магазины еще торговали, но продавцы, словно желая использовать последнюю минуту, заламывали тройную цену за все. В единственном кафе хозяйка стремилась распродать все, что у нее было, заходившим отдохнуть офицерам. На вопросы все как-то боялись отвечать, отделывались незначащими словами. Даже говорить все предпочитали вполголоса.

В трех верстах от города были наши позиции. Солдаты сосредоточенно рыли окопы; на холмах уже была установлена артиллерия; офицеры беспрерывно осматривали

в бинокль окрестности: немцы были всего в 3–4 верстах отсюда. Утром в стычке передовых отрядов было убито с десяток немцев; захваченная у них добыча — винтовки, сабли, седла — лежали за забором, в саду крайнего домика в городе. Но этот успех тоже никого как-то не радовал. Все знали, что предстоит дело более серьезное.

На обратном пути, на полдороге к Варшаве, в городе Тарчине, наш автомобиль обступила группа солдат. Они были не только веселы, но прямо в восторге. Только что им удалось подстрелить немецкий аэроплан, круживший над позициями. То был уже второй вражеский аэроплан, сбитый нашим огнем за этот день.

— Так это он, братцы, и кувыркнулся! — радостно объяснял один молодой солдатик, руками показывая, как «кувыркнулся» в воздухе немецкий «голубь» (таубе, голубь — название того типа монопланов, которым пользуются немцы).

В ту же ночь немцы атаковали Гройцы, сосредоточив против них огромные силы. Два наших полка, оборонявших город, выдержали все атаки с мужеством, которое можно было бы назвать беспримерным, если бы во всех других боях те же наши солдаты не давали примера такого же мужества. Еще через день, однако, был отдан приказ очистить Гройцы. Наши войска отошли ближе к Варшаве на заранее подготовленные позиции.

После Гройца настала очередь Тарчина. Немцы поплатились жестоко при попытках взять Тарчин одним ударом. Говорят, наши артиллеристы превосходили себя в меткости и убийственности стрельбы. Но стратегические соображения требовали отхода от Тарчина. Он стал квартирой для штаба германской армии. Одновременно немцами была занята Гора-Кальвария.

В воскресенье, 28 сент‹ября›, когда именно «начались бои на левом берегу Вислы», мы могли проехать лишь верст 5–6 от Варшавы. В вечернем сумраке впереди нас с грохотом рвались гранаты. Мимо проходили раненые, которые имели силы сами дойти до перевязочного пункта.

Шел бой…

Тогда наступили «грозные дни Варшавы».

II

Гул близкой канонады явственно был слышен в городе. Этот гул не смолкал ни днем, ни ночью. Оконные стекла в ответ жалобно дребезжали. Через город беспрерывно проходили войска, спокойные, но суровые. В город постоянно прибывали раненые…

К чести варшавян надо отнести, что они встретили испытание бодро. Первые дни еще намечался наплыв беглецов на вокзалах. Другие старались уехать на автомобилях и на лошадях. Но паники не было. Генерал-губернатор издал объявление, что город не будет уступлен неприятелю, пока не будут исчерпаны все средства обороны, — и это внесло большое успокоение. Магазины торговали по-прежнему; кафе не пустели; вечером гуляющая публика наполняла улицы.

В одной столовой, служащей по вечерам клубом для писателей, я встретил несколько знакомых лиц и спросил их, думают ли они уехать.

— Зачем? Да и куда? Я не верю, чтобы Россия могла отдать Варшаву немцам. Мы, поляки, честно несем тяготы войны и убеждены, что русские сделают все, чтобы оборонить нашу страну.

Другой сказал мне:

— Я останусь в Варшаве до последней минуты. В крайнем случае, если немцы все же вступят в нее — чему я не верю, — я успею уйти пешком.

III

Вера поляков в русскую армию оправдалась. Постепенно нами были сосредоточены под Варшавой достаточные силы, и тогда мы перешли в наступление. Совершен был блестящий переход наших войск через Вислу под огнем неприятеля. Снаряды пенили кругом воду, вскидывали водяные столбы, но строй за строем бестрепетно переходил с одного берега на другой. В тот же день немцы были отброшены в этом пункте почти на десять верст.

После того началось медленное, но систематическое выбивание немцев из их позиций. Предвидя свою судьбу, они, как кроты, изрыли все поля, заготовив чуть не каждые сто шагов все новые и новые окопы. И действительно, они последовательно должны были переходить с одной позиции на другую. Все дальше и дальше отступали немцы.

— Офицеры не позволяют, ваше благородие, — жаловался мне один солдат. — Мы бы живо их штыками угнали! А то лежи да стреляй, прямо умора.

Бывали случаи, что солдаты настаивали на своем, и вдруг с русским «ура» кидались на немцев, действительно выбивая их.

IV

Принужденные отступать, немцы, как бы в отместку, стали осыпать Варшаву бомбами с аэропланов. Немецкие летчики и раньше были частыми гостями над Варшавой. Теперь они стали захватывать с собой бомбы и сбрасывать их на модных улицах в толпу мирных прохожих. Это уже было грустно.

Иные бомбы падали в дома, сокрушали крышу, разрывались в частных квартирах. Другие падали среди гуляющей на улице публики, убивая и калеча десятки людей. Три бомбы были сброшены в «Саксонском саду» — большом тенистом парке, где всегда гуляют кормилицы и няньки с детьми и играют не десятки, а сотни подростков. По счастью, эти три бомбы не разорвались, но расчет был явный: «избиением младенцев» немцы надеялись устрашить отцов и матерей.

Понятно, что бомбометание внесло волнение в жизнь города. Я уезжал из Варшавы на несколько дней и вернулся в самый разгар этой воздушной бомбардировки. Сначала и не узнал варшавян. Они, прежде с таким любопытством следившие за эволюциями немецких аэропланов, теперь при шуме пропеллера бросались бежать. На моих глазах, едва означился в небе силуэт германского «голубя», опустела вся улица. Когда, однако, мне объяснили, в чем дело, я не осудил тревоги прохожих и вместе с ними послал проклятие «воздушному разбойнику».

С группой других прохожих я укрылся под соседними воротами. Чу! Загремели выстрелы. Варшавские форты стали обстреливать врага. В небо взлетает белый комок дыма так, как бы лопался, разливался парок, и мы знали, что вокруг бомбометателя сыплется шрапнель. Выстрелы учащались. Немец стал забирать выше.

Но вот в небе вырисовались очертания другого моноплана. Это русский «ньюпорт» поднимался, начиная погоню за немецким «голубем». Немец быстро повернулся и стал уходить, развивая все большую скорость. На этот раз ему удалось ускользнуть.

Не хочется здесь делать подсчет жертв, унесенных немецкими бомбами. Довольно сказать, что отважные пруссаки могут гордиться; им удалось одержать несколько побед на поле брани с прохожими, и они вправе доносить: столько-то убитых, столько-то раненых… Приятнее сказать, что некоторые из воздушных разбойников не ушли от заслуженной кары. Их аппараты были «сбиты» орудийным и оружейным огнем, и сами они были захвачены. Не знаю, сочтут ли этих бандитов, расстреливающих безоружных, военнопленными; мне лично кажется, что они скорее подлежат суду уголовному.

Во всяком случае, Варшаве пришлось принять серьезные меры для борьбы с воздушными нападениями. Были установлены специальные мортиры, пушки помещены на высоких зданиях и т. д. Русские авиаторы, находившиеся в Варшаве, и несколько авиаторов-французов, состоящих при русской армии, деятельно принялись за преследование бомбометателей. Меры эти подействовали. Визиты «голубей» сделались реже, хотя и не прекратились вовсе.

V

6–7 октября были решительными днями. Немцы были отброшены от Варшавы уже на десятки верст. Гул отдалившейся пальбы перестал доноситься в город. Прибывавшие еще раненые все чаще и чаще привозили с собой военные трофеи: немецкие винтовки, сабли с серебряной отделкой, каски с орлом, дорогие бинокли, изящные фляжки с коньяком. Мы брали пленных, захватывали пушки. Враг отступал…

— Видно, не придется прусским лейтенантам пить мои вина!– говорил мне вчера один богатый поляк, владевший в городе роскошным дворцом.– Пощелкает немец издали, как волк, глядя на Варшаву, и обойдется!

По-видимому, мой собеседник был прав. Сегодняшний день опять принес утешительные для нас вести. Не сбудется мечта пруссаков, и не удастся им зимовать роскошно в богатой столице Польши. Русские грудью отстояли Варшаву.

Паломничество на поля битв

(От нашего корреспондента)

‹I›

Недавно еще по дорогам на юг от Варшавы двигались только колонны наших войск и их обозы. Обывателей, «вольных», как их называют солдаты, можно было встретить только идущими в противоположном направлении. После отражения натиска немцев и их постепенного отступления от Варшавы это сразу изменилось. Новые колонны наших войск еще продолжают идти к югу, но вереницы экипажей и пешеходов теперь тянутся уже параллельно им. Во-первых, это возвращаются в свои освобожденные города и деревни «беженцы», т. е. местные жители, убежавшие при приближении неприятеля в Варшаву, где в течение двух недель они пользовались и кровом, и пропитанием на городской счет. В фургонах, битком набитых людьми и

домашним скарбом, на телегах, где на горе сундуков, корзин и узлов примостились женщины и дети, беглецы медленно тянутся назад, на родное пепелище. Во-вторых, то варшавяне едут посмотреть поля недавних битв.

Посещение мест боя стало за последние дни у жителей Варшавы какой-то манией. Кто по железной дороге, кто в автомобиле, кто на лошадях, в городской пролетке, — все стараются побывать под Пясочной, под Блонями, под Прушковом, на пути к Тарчину и в других, отныне исторических местах, отстоящих от Варшавы всего на 15–20 верст. Особенно велик наплыв любопытных был в праздничный день, в минувшее воскресенье (11 октября). Вагоны узкоколейки, ведущей к Прушкову, брались прямо приступом; пассажиры стояли на площадках, сидели на подножках, влезали на тендер; переполненный поезд едва мог двигаться. (Администрация дороги после того временно прекратила пассажирское сообщение.) Шоссе в других направлениях были запружены автомобилями и экипажами.

К сожалению, легко было заметить, что к вполне понятному и законному желанию побывать на полях, где решалась участь Варшавы и где наша армия грудью задержала натиск упорного врага, примешивалась изрядная доля праздного любопытства. Воскресная поездка на поля сражений для многих была лишь предлогом для веселого пикника. Молодые люди и барышни собирались группами, чтобы приятно провести случайно выпавший среди беспросветных дождей светлый денек. Запасались провизией, закусками, фруктами, шоколадом, бутылками лимонада (вина в Варшаве достать невозможно), нанимали сообща экипаж и ехали осматривать бывшие позиции, немецкие и наши. На самом месте битвы, погуляв по полю, вволю надышавшись свежим и бодрящим осенним воздухом, располагались в опустелых окопах и пировали там с роскошью, конечно, сравнительной, но все же такой, о которой и мечтать не могли солдаты, день и ночь проводившие в этих траншеях под дождем, под холодным ветром, под градом пуль.

II

Поля битв представляют в наши дни зрелище и глубоко поучительное, и глубоко волнующее. Они вызывают сотни воспоминаний и представлений о наших братьях, сражающихся в рядах армии, о тяжелых трудах, которые приходится переносить нашему солдату, о тысячах безвестных героев, жизнью заплативших свой долг родине, и безутешной скорби их родных и близких, о будущих судьбах мира, решающихся на этих полях, и о многом, весьма многом другом… Не знаю, у всех ли воскресных посетителей встали в душе эти образы и вопросы, но думаю, что многие, несмотря на то настроение, с каким они пускались в дорогу, вернулись домой в глубоком раздумье. И это не покажется странным, если проследить в воображении путь паломников по полю, еще кое-где обрызганному кровью.

III

Приехавшие все прежде всего бросались к окопам. Они представлялись всем самым оригинальным, самым необычайным из всего, что можно увидеть. За две недели боев все поля под Варшавой на десятки верст оказались изрыты и истерзаны окопами. Глубокие траншеи со своими ходами и переходами образовывали целые

лабиринты, в которых можно заблудиться. Здесь есть свои комнаты, свои тайники, скрытые магазины для снарядов и много иных неожиданностей. Горожане с величайшим изумлением оглядывали эти поистине гигантские сооружения, возведенные с необычайной энергией в короткое время. Барышни забавлялись необычайностью своего положения гулять по глубоким канавам. Мужчины с видом знатоков толковали о преимуществах той или другой позиции. Вспоминали, конечно, обо всем страшном, чему свидетелями были эти окопы, но старались об этом не задумываться… А между тем многое могли бы рассказать внимательному наблюдателю эти безмолвные очевидцы боя!

Опытный глаз сразу отличает немецкие окопы от наших. В распоряжении у немцев было больше времени для работы, да и самые приемы рытья траншей у них несколько иные, нежели у нас. Немецкие окопы — тщательные сооружения, сделанные словно по циркулю. Края у них отвесные и гладкие, вала перед ними нет, так что непонятно, куда девалась выкопанная земля. Местами такой окоп расширяется и образует землянку с крышей («блиндажом») из досок, покрытых соломой и дерном. Перпендикулярно к главному окопу идут переходы, соединяющие его с другим, расположенным шагов на 100 дальше. Где это требовалось для удобства боя, окопы приспособлены для стрельбы лежа; в другом месте окопы заменены насыпями, столь же старательно сравненными; встречаются особые стальные прикрытия с отверстиями для стрельбы, кладовые для патронов, и т. п. В таких лабиринтах время можно проводить даже со сравнительным комфортом. Рассказывают, что в одном немецком окопе, взятом неожиданной атакой, нашли стол, накрытый для завтрака: постелена была скатерть, расставлены тарелки и т. д.

Наши окопы устраивались гораздо поспешнее, большею частью во время самого боя, поэтому в их работе чувствуется торопливость и нервность. Наши солдаты не заботились о изяществе сооружения, но желали только, чтобы оно отвечало своему назначению: дать прикрытие от неприятельского огня. Характерным признаком русского окопа является небольшой вал, идущий вдоль всей траншеи и образующийся сам собою из земли, выброшенной во время рытья. Существование этого вала позволяет делать окопы менее глубокими. Кроме так сказать «оборонительных» окопов, в которых можно пережидать обстрел оружейный или артиллерийский, нашими войсками вырыты еще целые ряды окопов «наступательных». Это небольшие углубления, сделанные быстро, несколькими ударами лопаты, в то время когда солдаты, «перебегая», приближались к позиции врага. Эти неказистые с виду окопики говорят много воображению и чувству. По этим ямкам можно восстановить ход боя, представить себе, как наши солдаты под губительным огнем перебегали, постоянно «окапываясь», все ближе и ближе к немцам, чтобы принудить их или принять рукопашный бой на штыках (чего немцы всегда избегают), или отступить.

IV

Гуляя по окопам, воскресные посетители старательнейшим образом собирали «на память» разные мелочи, оставленные нашими солдатами за ненадобностью или брошенные немцами при поспешном отступлении. Разумеется, все ценное или имеющее значение было своевременно убрано санитарами, похоронившими также

и тела убитых. Из оставшегося все более любопытное выбрали местные жители и посетители, побывавшие здесь в первые дни после боя. Тем не менее при старательных поисках и в воскресенье удавалось разыскать кое-что: погнутые манерки, так называемые «личные» книжки (род солдатской записной книжки), листки воззваний, раздававшихся немецким солдатам разными патриотическими и религиозными обществами, пряжки, обрывки погонов и т. д. Много еще оставалось осколков шрапнелей и еще больше расстрелянных патронов и картонов к ним. Патронов было так много, что, сколько ни собирали их горстями, поля оставались засыпаны, как градом, сотнями тысяч медных трубочек. Они показывали, какое неимоверное количество выстрелов было здесь сделано.

Заметим кстати, что нашлись предприимчивые люди, которые быстро использовали интерес публики к военным реликвиям. На полях сражения (да и в самой Варшаве, на глухих улицах, подальше от бдительного ока полиции) появились продавцы всевозможных предметов снаряжения германской армии. Для продажи нашлись и прусские каски с медным орлом и надписью «Mit gott für Kaizer und Vaterland» («С Богом за государя и отечество»), и прусские ранцы и сумки, и бинокли, тоже будто бы прусские, даже тесаки и винтовки, хотя продажа и покупка оружия в Варшаве, безусловно, воспрещена. Подлинность иных из этих «реликвий» была весьма сомнительна, а цены на них установлены достаточно высокие. Несмотря на то, недостатка в покупателях не было. Каждому лестно было за несколько рублей почувствовать свое торжество над немцами, повесить в своем кабинете на стене прусскую каску… Впрочем, большинство все же предпочитало добыть себе реликвию собственными усилиями, и любопытные старательно обшаривали окопы, высматривая, не завалилась ли где-нибудь одна солдатская вещица, хотя бы масленка или кожаный портсигар.

Наряду с окопами интересовали посетителей шрапнельные «воронки». Это широкие, постепенно суживающиеся ямы аршина в 2 с половиной в диаметре и до двух аршин в глубину (бывает и бóльшие), вырытые в земле упавшим шрапнельным «стаканом».

Как известно, шрапнельный снаряд есть как бы самостреляющее ядро, «летучее ружье»; его главные составные части следующие: «стакан» из толстой стали, начиненный пулями, «дистанционная трубка» и медная «головка». Выпущенный из орудия, такой снаряд на определенном расстоянии, назначенном «дистанционной трубкой», сам собою разрывается в воздухе и, как бы стреляя, осыпает все кругом пулями. «Стакан» продолжает лететь дальше, падая, разрывается на сотни разящих осколков и вырывает в земле воронкообразное углубление. Хороший снаряд должен разорваться на мелкие куски; снаряды менее удачные разрываются вовне. Посетители полей битв жадно искали в шрапнельных воронках осколки «стакана», и велика была радость счастливцев, когда им удавалось найти стакан целый или почти целый. При этом особенно добивались того, чтобы был стакан синий: цвет, в который окрашены прусские шрапнельные снаряды.

V

Подобрав достаточное число «реликвий» или купив их, посетители направлялись в ближайшее местечко или деревню. Целью ни в коем случае не был отдых в

маленьком захолустном кафе, так как после постоя немцев нигде не осталось ничего съестного. Ни в Прушкове, ни в Пясочной, ни в одном из других городов, не говоря о деревнях, сейчас нельзя достать ни одной сосиски, ни капли кофе, а того меньше — консервов или бутылок фруктовой воды. Чем пока питаются сами жители этих мест, знает Бог, но приезжим они не могут предложить ничего ни за какую плату. Приехавшие варшавяне и не рассчитывали на угощенье: они шли посмотреть разрушения, причиненные боем. Здесь опять начиналось соревнование между отдельными группами посетителей: каждому хотелось разыскать повреждения особенно ужасные, строения особенно беспощадно сокрушенные гранатами. И после, в варшавских гостиных, побывавшие на полях битв как бы хвастались друг перед другом, рассказывая, какие развалины кому удалось видеть.

Картины, действительно, открываются страшные. Немцы в Варшавской губернии намеренно городов не жгли, но многодневные артиллерийские бои оставили свои жестокие следы на многих зданиях, как городских и деревенских, так и тех, что стояли уединенно. Сила современных мортир и пушек чудовищна… Каменные стены дробятся, как стекло; деревянные дома рушатся, как карточные домики; снаряды прокалывают железо, как булавка бумагу, просверливают фабричную трубу, отламывают целые углы от шестиэтажных зданий; когда глядишь на эти разрушения, кажется, что великан тяжелой ногой в сапоге, подбитом гвоздями, ступал по селениям лилипутов.

Есть высокие готические костелы, от которых остался только скелет из балок и стропил; внутренность осквернена немцами, устроившими в нем кухню или конюшню и отбившими головы у статуй евангелистов, а стены обвалились от действия артиллерии. Есть фабричные корпуса, обращенные в высокий холм кирпича и мусора. Есть дома, рассевшиеся до основания. Отдельных язв на домовых стенах и крышах, причиненных бризантными гранатами и шрапнелью, не счесть. Там и здесь — пробоины, проломы, гигантские царапины. Что уцелело от удара снаряда, часто сделалось потом жертвой огня, так как гранаты начинены взрывчатым, самовоспламеняющимся веществом. До сих пор в Пясочной иные развалины еще дымятся.

Правда, разрушено (сужу, конечно, по глазомеру) не больше четверти всех строений в деревнях, а в городах и гораздо меньше. Находятся дома, которые, как бы чудом, не пострадали вовсе: в них не лопнуло ни одного стекла. Довольно много зданий отделалось только «контузиями»: пролетавшие гранаты или пули отбили у них несколько кусков штукатурки или выбили два-три кирпича. Но эти «счастливцы», хотя их и большинство, как-то никто не замечал. Все толпились около строений, подвергшихся расстрелу, входили внутрь, осматривали обстановку дома, разбитую упавшими балками, измеряли величину пробоин, оценивали силу удара. Внутри домов также подбирали на память осколки гранат, пули и даже просто куски кирпича со следами пуль.

VI

После осмотра наступила очередь опросов. Само собой понятно, что людям, дом которых разрушен боем, которые нередко лишились всего своего достояния и из зажиточных обывателей обратились вдруг в бедняков, почти нищих, было не до разго-

воров с праздными любопытными. Многие в трагические дни разлучились при общей панике со своими близкими, не знают, где сейчас находятся муж или жена, сын или дочь, и, конечно, тоже не склонны были болтать и выставлять свое горе напоказ встречным. Наконец, те, которые не успели бежать и пережили ужасы боя, находясь поблизости, настолько потрясены нервно, что совершенно не в силах описывать события, свидетелями которых они были, и рисовать картины постепенного разрушения… Поэтому на долю любопытных приходились такие же «темные» личности, как торгующие «реликвиями». В надежде на соответствующий «на чай» разные молодцы, чуть ли не избравшие это своей профессией, умилительно рассказывали и по-польски, и по-русски, смотря по требованию, о бое, которого никогда не видели, о разных трагических эпизодах, в которых русские совершали чудеса храбрости и ловкости, а все немцы оказывались трусами и негодяями, и даже о своих погибших в огне сестрах и братьях, которых никогда не существовало…

В числе слушателей были, кажется, и члены «пишущей братии», и можно опасаться, что эти побасенки попадут на столбцы газет под каким-нибудь громким названием: «Из рассказов очевидцев».

Чтобы закончить день, воскресные посетители обходили свежие кресты над братскими могилами, читали безыскусные надписи на них и списывали их в свои памятные книжки… Много их, этих скромных деревянный крестов успокоения наших безвестных героев! И надо верить, что задрожало сердце у любопытствующих туристов, когда они, перед возвращением в Варшаву, читали краткую, но так много говорящую пометку на кленовой доске: «Начальник пулеметного батальона (названо имя) и 17 нижних чинов, убитые одним снарядом».

VII

Так провели прошлое воскресенье многие варшавяне…

Не будем, однако, обобщать единичных фактов. Можно только глубоко пожалеть тех, для которых поездка на поля битв так и осталась только увеселительным пикником. Они уже понесли свое наказание в том, что добровольно лишили себя сильных и многозначительных впечатлений, что, наслушавшись вздорных рассказов, принимали их за чистую монету, что накупили под видом военных реликвий разного хламу… Во всяком случае поведение этих отдельных лиц не может служить поводом, чтобы сделать упрек вообще всей Варшаве. Не забудем, что в грозные дни германского нашествия она проявила исключительную стойкость и мужество. Жители Варшавы самоотверженно помогали, сами терпя нужду, тысячам беглецов из окрестностей, не поддались страху, когда немцы стали ежедневно метать с аэропланов бомбы над городом, и ни на минуту не теряли веры в русскую армию. Мы воздадим только должное, сказав, что варшавяне явили пример, как в дни испытаний должны себя держать все граждане, все народности России.

14 октября, Варшава

На левом берегу

‹I.› По личным впечатлениям и рассказам очевидцев

Река Висла делит Царство Польское приблизительно на две половины. Висла была и тем пределом, до которого докатились волны германского нашествия. Ни в одном пункте оно не могло переплеснуть через эту естественную преграду. Как известно, немцы два раза делали отчаянные усилия проникнуть на правый берег. Первый раз они были разбиты в многодневных ожесточенных боях под Варшавой в начале октября, чем, собственно, и закончился целый период борьбы, тот, когда левобережная Польша была во власти немцев. Второй раз немцы попытались поправить свое положение в начале ноября, снова направив ряд ударов в сторону Вислы. Как известно, эти удары тоже отпарированы нашей армией, которая сама перешла в наступление. Немцы вторично отходят к своим старым границам, оставляя один за другим занятые ими города и селения. Уже недалеко то время, когда во всей нашей Польше не останется ни одного неприятельского солдата, кроме пленных, насчитываемых тысячами.

Все же немцам удалось похозяйничать на левом берегу Вислы с лишним два месяца. В настоящее время обнаружилось, насколько дальновидным был план нашего генерального штаба, заманившего германскую армию в наши пределы, чтобы здесь нанести ей полный разгром. Но выполнение этого плана по необходимости было связано с тяжкими испытаниями для Польши. Только теперь, когда явилась возможность посетить местности, временно находившиеся в руках немцев, объехать города, где они властно распоряжались, и деревни, где они держали себя как хозяева, выяснилось вполне, какому страшному опустошению подвергся несчастный край. Только теперь отчетливо вырисовалась перед нами картина всего того, что пришлось пережить населению при господстве германцев, о чем прежде мы знали лишь из отрывочных и смутных рассказов случайных беглецов. Только теперь составили мы себе ясное представление о том, что немцы считали войной и какие приемы употребляли для упрочения за собой занятых областей «культурные завоеватели»[1].

Что немцы желали укрепить за собою свои «завоевания», это несомненно. Во всяком случае, старались уверить население всех городов и селений, в которые вступали, что данная местность присоединена к Германии навсегда. От жителей «левого берега» приходится слышать нескончаемое число рассказов, почти анекдотов, доказывающих, как систематически проводили немцы эту идею. В Сохачеве немецкий майор, собрав жителей на берегу речки, до которой дошел со своим отрядом, и показывая им на другую сторону, торжественно объяснил: «Там — Россия, здесь — Германия!» Немецкий комендант Каминки, услышав от кого-то выражение «у нас», грубо оборвал: «Где это у нас? Здесь мы в Германии!» Одна дама, просившая дать ей разрешение на проезд от Петрокова в Берлин, получила ответ: «Чтобы переезжать из одного города Германии в другой, особых разрешений не надо!» Какой-то немецкий лейтенант заявил приказчику: «Стыдно в немецком городе не иметь видов столицы, Берлина!» Нашелся немецкий генерал, который на этой почве даже хотел проявить великодушие, впрочем не имев-

[1] «Культурными завоевателями» называли пруссаков их верные союзники — краковские «стрелки» — в своем журнале «Do broni» («К оружию»), который издавался в Лодзи во время оккупации ее немцами (см. «Do broni», номер 2).

шее никаких реальных последствий: когда ему жаловались, что в городе (дело было в Радоме) много безработных, он заявил: «Германия достаточно богата, чтобы прокормить все свое население!»

Однако, переходя от слов к делу, немцы только в одном отношении чувствовали себя в левобережной Польше «у себя дома»: все, что только там было, они считали своей собственностью. Поборы и грабежи немцев в будущем, наверное, войдут в пословицу, и станут говорить: «Обирает, как немец». Контрибуции, конфискации, реквизиции и, наконец, простое грабительство — все применялось немцами, чтобы извлечь из занятых местностей наибольшую выгоду, какую только было можно. Рассказы местных жителей о пребывании в их селении немцев — это один сплошной вопль, одна бесконечная жалоба на грабителей, не знающих пощады. «Все взяли, во всей деревне курицы не оставили, — угрюмо объяснял мне один крестьянин, — я деньги под половицей хранил, и то разыскали!» Беженцы, возвращающиеся в свои освобожденные деревни, только машут рукой в ответ на вопрос, что они надеются найти до́ма уцелевшим: «Пруссаки у нас побывали, что могло уцелеть!» В Прушкове, в мелочной лавке, хозяин показал мне десяток бутылок уксусу и с горечью объяснил: «Будь у меня что другое, немцы не пропустили бы!»

Где была малейшая возможность, немцы налагали на незанятые города «контрибуции», т. е. приказывали членам «обывательского комитета» доставить к сроку определенную сумму денег, обыкновенно значительную, несколько тысяч или десятков тысяч рублей. Так как наложение контрибуций <на одну> из воюющих сторон запрещено международными конвенциями, немцы всегда измышляли какой-нибудь предлог для обхода их, обвиняли, например, жителей города в том, что те стреляют по солдатам из окон, и мало стеснялись как явной невероятностью обвинения, так и несправедливостью наказывать весь город за сомнительную провинность одного или двух человек. Никаких доводов, что в городе денег нет, немцы не желали слушать, грозя за неисполнение своего приказа арестами, расстрелом заложников, бомбардировкой зданий. Как известно, бывали случаи, что эти угрозы приводились в исполнение. Большею частью город действительно бывал не в состоянии собрать назначенную сумму. Но в таком случае немцы не брезговали и меньшей, взяли, например, в одном случае 1840 руб. вместо затребованных 20 000 руб. и т. п. Уже это одно доказывает, что взимание контрибуций было не мерой «наказания» местностей, ведущих партизанскую войну, а просто способ вымогать деньги.

<Немцы придавали> вид некоторой закономерности своим «реквизициям», состоявшим в том, что они отбирали у местных жителей не только лошадей, коров, подводы, <но> и вообще то, что могло так или иначе понадобиться для нужд армии <*1 нрзб.*>. Надо отдать справедливость немцам, они оказались чрезвычайно осведомленными относительно всего, что касалось занятых ими местностей. Вступив в город, офицеры прямо направляли солдат в заранее назначенные им помещения, действительно пригодные для устройства в них казарм, а сами также прямо ехали в определенные дома, где каждый уже выбирал для себя по своему вкусу квартиру или несколько комнат. Подобно этому, с точностью знали немцы, чего в данном городе особенно много, где есть запасы обуви, где — меховых вещей, где — кожи и т. д. Уполномоченные на то офицеры без колебаний и без ошибки входили в магазины

и по списку, кем-то и где-то составленному, спрашивали определенное количество фунтов, аршин или штук нужных им вещей. Этому своему списку немцы верили больше, чем собственным глазам. Напрасно, например, один петроковский купец клялся, что у него нет (больше известного числа) вязаных фуфаек, предлагая обыскать весь магазин. Немецкий майор, топая ногами, кричал: «Как вы смеете утверждать, что у вас нет! У меня в списке указано вдвое большее число, нежели вы мне выдали!»

Но за пределами «контрибуций» и «реквизиций» остается еще огромное количество немецких поборов, которые нельзя назвать иначе как «грабежом». Под это понятие прежде всего подходят те «покупки», которые производили немцы в магазинах. В маленьких городах дело шло «начистоту»: немцы врывались в лавку и забирали все то, что им нравилось. В больших городах (в Лодзи, Петрокове, Радоме и др.), где немцы все же несколько стеснялись, совершалась фикция покупки. Офицеры, войдя в магазин и выбрав подходящую вещь, спрашивали о ее цене, но в уплату давали 1/4 или 1/10 ее стоимости немецким серебром или «квитками» (квитанциями, получать по которым деньги предлагалось через 2 месяца в Берлине). При этом покупались немцами предметы самые неожиданные: не только белье, писчебумажные принадлежности, дорожные несессеры, фрукты, вино, но и чайные сервизы, музыкальные инструменты, дамские украшения, детские игрушки. Торговля при таких условиях становилась делом разорительным. Немцы с угрозами требовали, чтобы магазины были открыты, а сами каждый день уносили из них все новые и новые вещи, платя несколько пфеннигов за предметы, стоящие рубли. Неудивительно, что из больших городов купцы разбежались. Оставляя свои магазины и весь товар на произвол судьбы, они пытались спасти хотя бы собственную жизнь. Их ловили, нередко били прикладами за побег, грозили виселицей как шпионам, покушавшимся доставить русским какие-то тайные сведения о расположении германских войск, и приказывали вновь открыть свои магазины и торговать во что бы то ни стало.

— Господа! Да берите все, что у меня есть! — так, приблизительно, взывали разоренные и доведенные до отчаяния купцы.

— Нет! Ты нам продавай, а мы будем покупать! — возражали немцы и, осведомившись о цене, набивали себе карманы случайно оставшимися в магазине предметами.

Грабеж «на дому» немцы любили облекать в форму подарков «на память». Так, например, в Лодзи, в одной богатой квартире, поселились три немецких офицера, чуть ли не в Берлине еще наметившие себе эти комнаты для жилья. У хозяйки дома были великолепные серьги, которые она не успела припрятать. Один из офицеров, заметив их, немедленно обратился к этой даме с любезным комплиментом: «Какие у вас прекрасные серьги, я таких нигде не видел: подарите мне их на память о вас и вашем милом доме». Просьба была такой выразительной, что об отказе нельзя было и думать. Товарищи этого офицера (также «на память») забрали все дорогие безделушки, которые нашли на комоде и на туалетном столике в спальне хозяйки… В помещичьих усадьбах, где немцы проводили ночь, они, уходя, забирали в передней хозяйские шубы в придачу к своим шинелям. «Вам очень нужна эта вещь?» — вежливо спросил помещик, видя, что немецкий офицер уверенно надевает его дорогую

енотовую шубу с огромным бобровым воротником. «…Разумеется, нужна!» — хладнокровно ответил немец. В один день «на память» было взято немцами трюмо (впрочем, это произошло не на «левом берегу», а в Сувалках), для выноски которого из квартиры понадобилось пригласить несколько солдат. Даже деньги и те брались немцами «на память». Разведчик Т. рассказывал мне характерный случай, как у него просили «на память» русские рубли — и кто же? — конвоировавшие его немецкие солдаты (он тогда попался в плен, и ему угрожал расстрел как шпиону). Никто не помешал бы солдатам без всяких церемоний отобрать у пленника все его деньги, но выпрашивать «на память» вошло у немцев в своего рода привычку.

(Окончание завтра.)

На левом берегу

II

Из того, что немцы прикрывали свои грабежи разными фикциями вроде контрибуций, реквизиций, покупок и подарков «на память», не надо заключать, что они сохраняли, по крайней мере, внешнюю вежливость по отношению к местным жителям. Напротив, обращение немцев с населением было грубое до крайности, причем к наглости здесь примешивалась изысканная жестокость и намеренное желание оскорбить, унизить. Всюду повторяя, что «здесь — Германия», немцы видели в местных жителях не своих сограждан, новых немецких подданных, а каких-то бесплатных и безответных поденщиков, белых негров, расу низшую, обязанную работать на своих господ и благоговеть перед ними.

Польских крестьян немцы считали как бы своими крепостными и возлагали на них все черные работы. Под угрозой побоев и расстрела крестьян заставляли исправлять дороги, рубить деревья, даже рыть окопы, не говоря уже о работах домашних: колоть дрова, носить воду, мыть полы и т. д. «Ну и строгие паны — немцы!» — с некоторым даже изумлением говорил мне один простоватый парень из Прушкова. Непослушных били прикладами, а то и наказывали публично розгами. «Порка» официально применялась «культурными завоевателями» как подобающая обстоятельствам мера воздействия, и не только в деревнях, но и в городах. В Петрокове было назначено 25 ударов розги каждому, кто выйдет на улицу после 7 часов вечера. Говорят, особенно часто такому наказанию подвергали женщин. Когда надо было, немцы не стеснялись «сгонять» на работы и людей интеллигентных. Адвокатов, купцов, лиц «свободных профессий», людей пожилых, семейных принуждали рыть канавы и таскать кирпичи. Пытавшиеся протестовать получали удар кулаком по лицу. Одному господину, посмевшему заявить, что он не привык и не умеет быть землекопом (в Ченстохове), немецкий офицер ответил классической фразой: «Вы должны считать за честь, что служите немецкому делу!»

Тем, кого не принуждали работать, было не лучше. На улицах немецкие офицеры хлестали встречных прохожих, чтобы те почтительнее сторонились. Женщины в городах, занятых немцами, предпочитали вовсе не выходить из дому, так как на каждом шагу можно было ожидать оскорблений от непрошеных любезников. Поселившись в частных квартирах, немцы на их хозяев кричали, как на своих слуг. «Польская

свинья», «русская свинья» — были излюбленными выражениями завоевателей. Все, кому доводилось иметь дело с немецкими властями, наслушались всевозможных грубостей. В Лодзи немецкие офицеры, назначенные для просмотра местных изданий, говорили редакторам газет «дурак» и «пошел вон»! *<нрзб.>* В Радоме военный комендант грозил члену обывательского комитета, видному адвокату, посадить его в тюрьму, если город не будет освещаться электричеством (электричество погасили за неимением угля для паровых машин). «Я охотно сяду в тюрьму, — возразил адвокат, — если от того в городе засияет электричество». Известны случаи и менее «невинных» выходок немцев. В городе, который я не назову, немецкий командир спросил местного «президента» (городского голову), как пройти в уборную в общественном здании; получив ответ, что это может указать любой лакей, немец пришел в ярость и заставил президента, человека почтенного, всеми уважаемого, собственноручно вычистить это место для нужд командира германского отряда…

Особенно неистовствовали немцы после попоек, а пили они много и охотно. В городах и имениях, где побывали немцы, все погреба, все запасы вина, пива и меда оказывались опустошенными. Выпив, «культурные завоеватели» забывали о последних сдержках, начинали бахвалиться победами своей армии, выдумывали всякие издевательства над бывшими поблизости местными жителями и при малейшем протесте «давали волю рукам», если не револьверу. Немало немецких попоек окончилось трагически. Далеко не все могли стерпеть те оскорбления, которым их подвергали немцы, вступались за честь своих жен или дочерей, а пьяные немцы в таких случаях без колебания расстреливали «бунтовщиков». С ужасом надо признать, что мелодраматические фильмы синематографа, изображающие «немецкие зверства», не вымысел, а слишком близки к действительности. Правда, редко кому удается слышать рассказ о подобном событии от самих потерпевших. Одни из этих потерпевших навсегда лишены возможности рассказывать, другие, по понятным причинам, не хотят делать свой позор общим достоянием. Но достаточно и показаний «третьих лиц», бывших невольными свидетелями диких сцен немецкого буйства; достаточно видеть женщин, потерявших рассудок после того, как немцы провели вечер в их доме; достаточно того молчания, которым некоторые отвечают на расспросы о немецких оргиях… К сожалению, «немецкие зверства» — факт.

К «зверствам» присоединяются богохульство и святотатство, на которые немцы тоже не скупились. Хорошо зная, что население Польши отличается благочестием, набожностью, доходящей до суеверия, немцы намеренно оскорбляли его религиозные чувства. Во всех селениях на левом берегу первое, что поражает взгляд, это разрушенный костел; во время боев немцы прежде всего обстреливали храмы. Раньше, хозяйничая в селении, немцы пользовались костелами для самых разнообразных надобностей: в лучшем случае устанавливали в них артиллерию или устраивали лазарет, но часто обращали костелы в конюшню или притон для своих оргий. Они пьянствовали в алтарях, пили коньяк из священных сосудов, оскверняли церковную утварь, а более ценную — «реквизировали», расхаживали по церквам, не снимая шапки, курили в них сигары, совершали всякие «мерзости». Настоятель одного костела, престарелый ксендз Г. (этот факт относится тоже не к «левому берегу»: дело было в Сувалской губ.), не вынес поругания храма немцами и умер от разрыва сер-

дца, обнимая распятие в оскверненном костеле… Много ксендзов, также стариков, немцы заставляли исполнять черную работу, между прочим, упаковывать награбленное в церквах добро. Местные жители буквально со слезами рассказывали об унижениях, каким подвергались чтимые ими священники. В оскорблении религиозного чувства немцы доходили до виртуозности. В местечке Гадоне они «реквизировали» лошадей, запряженных в похоронные дроги; процессию, шедшую за гробом, разогнали, а покойника бросили посреди дороги… Решительно, то, что передают о бесчинствах турок в православной церкви в Константинополе, бледнеет перед выходками армии христианского императора.

Конечно, не все немцы везде и всегда буйствовали и насильничали. Многое зависело от характера отдельных лиц, так как и среди немецких офицеров встречались люди благородные, которым противно было всякое насилие; еще больше <противно было> от «директив», какие в данном районе давались высшим начальством. Кроме того, в больших городах, на события в которых могли обратить внимание в Европе, немцы вообще вели себя гораздо сдержаннее. Особенно корректно держали они себя в Лодзи, где немецким губернатором был генерал фон Либерт, известный ученый, путешественник по Африке. При его правлении в Лодзи жилось довольно спокойно… О каких-либо насилиях над мирными гражданами не было и помину; контрибуцию по настоянию обывательского комитета Либерт с Лодзи сложил; офицеры и солдаты в магазинах и ресторанах за все взятое платили, хотя в последние дни своего пребывания в городе и стали давать в уплату пресловутые «квитки»; вымогательства разных ценных предметов «на память» были единичными случаями. Точно так же корректно держали себя немцы в одной усадьбе (под Гройцами), где они даже (приходится это отмечать!) благодарили хозяина за предложенный им ужин. Позднее выяснилось, что среди ужинавших генералов находился инкогнито не кто иной, как король саксонский (которому немцы прочили корону Польши). Впрочем, <один из > офицеров не вытерпел и, уходя, стащил у хозяина усадьбы его дорогую шубу. Было еще несколько городков и селений, где немецкие коменданты заводили строгий порядок и воспрещали своим подчиненным бесчинства и грабежи. Но то были исключения, одним же правилом было — всячески притеснять и унижать местное население и отбирать у него все, что возможно: деньги, ценности, припасы. Правило это проводилось с такой последовательностью, что в этом трудно не усмотреть сознательной системы. Немцы, по-видимому, стремились терроризировать население. Недаром позднее император Вильгельм стал называть поход своей армии на Польшу «карательной экспедицией».

Остается добавить, что в жестокостях и в поборах соперничали с пруссаками члены «войска Польского» — самостоятельные польские отряды, действующие вместе с германской армией, в том числе «сокола» и «краковские стрелки». Они проявляли даже особенную жестокость: русским, «москалям», они делали <попытку> отомстить за все историческое прошлое; поляков, не вступивших в ряды «войска польского», считали изменниками национальному делу; евреев просто ненавидели. Руководствуясь такими чувствами, сокола и стрелки в городах и деревнях, занятых немцами, заботились лишь об одном: досадить как можно большему числу людей. Как говорят, генерал Либерт, узнав о подвигах соколов в Лодзи, горько жалел, что до-

пустил их в город. В Лодзи, как и в других местах, сокола требовали от города <когда король уехал?> бесплатных обедов, выдачи им оружия и обмундирования; врывались в тюрьмы и освобождали преступников, которых потом принимали в свою среду; вербовали, почти насильно, в ряды «войска польского» юношей школьного возраста; забирали в магазинах разные товары, расплачивались «квитками» <*нрзб.*> и т. под. Свои требования сокола сопровождали угрозой немедленного расстрела, а так как они никогда не расставались с оружием, то это не было пустыми словами. По крайней мере, преследуя по Лодзи мальчишек-газетчиков, которые тайно торговали столичными изданиями, сокола не раз приводили свою угрозу в исполнение и стреляли на улицах из ружей в перепуганных малышей… Жители Лодзи вспоминают о соколах как об истинном наказании Божьем: матери плачут о своих сыновьях, которых сокола сманили в свои ряды; члены обывательского комитета с понятной злобой вспоминают о наглом обращении с ними стрелковых офицеров — юношей лет по 18, какого не позволял себе и немецкий губернатор; торговцы вспоминают о вещах, в уплату за которые члены «войска польского» оставили ничего не стоящие бумажки со своими подписями (уверяют, что сокола в соседних городах перепродали забранные таким образом предметы). Можно только сказать, что за такое поведение соколов и стрелков не вполне ответственны руководители движения: как ни смотреть на их агитацию, она все же не была проповедью грабительства. К сожалению, вербовать ратников для «войска польского» пришлось или среди подонков общества, бывших острожников и хулиганов, или среди школьников, совершенно опьяневших, когда они почувствовали себя некоторой «силой»…

На левом берегу
(Окончание)

Как бы то ни было, совместными усилиями немцев и их польских союзников, а также австрийцев, оперировавших на юге, вся левобережная Польша была обращена в опустошенный и обезлюдевший край. С одной стороны, многочисленные бои, преимущественно артиллерийские, обратили в груду развалин города и деревни и беспощадно испортили пахотные земли, изрытые окопами и истоптанные армиями. С другой стороны, систематические грабежи и жестокие притеснения населения совершенно разорили жителей и заставили их, бросив свои дома и свое добро, бежать «куда глаза глядят», спасая свое последнее достояние — собственную жизнь. Теперь левобережная Польша представляет одно из наиболее горестных зрелищ на свете. Едешь десятки, сотни верст и везде видишь одну и ту же картину разгрома: изрытые окопами поля похожи на какие-то земляные городки; в деревнях половина домов обрушилась; фабричные трубы повалены и от фабричных корпусов отломаны целые стены; ветряные мельницы, словно детские игрушки, валяются на земле; в городах целые улицы — одно сплошное пожарище, над которым уныло торчат печные трубы; вдоль дорог опять окопы, лошадиные трупы, брошенная солдатская амуниция и свежие кресты над братскими могилами. И везде группы тупо угрюмых людей, потрясенных ужасными сценами, какие они видели, измученных неделями страха, голода, бездомничества, разоренных и не знающих, чем они будут жить ближайшие

дни. Психический мир десятков и сотен тысяч людей был поколеблен, и население целого края стало неврастениками и истериками. Наиболее слабые лишились рассудка, в селениях левобережной Польши теперь не редкость встретить женщину, дико озирающуюся кругом, бормочущую бессвязные слова («Это с ней сталось после того, как у нас побывали немцы», — объясняют соседи). Более стойкие не могут спать, дрожат всем телом при неожиданном стуке, каждую минуту готовы рыдать… Нелегко будет залечить раны земли в деревне и язвы стен в городах, но еще труднее, пожалуй, восстановить духовное равновесие в людях, испытавших нашествие «культурных завоевателей»!

Может быть, некоторым утешением послужит то, что и немцы ушли из Польши истомленными до крайности и в состоянии полной деморализации. Вероятно, те неистовства, которым они предавались, сказались и на их психологии. Даже пруссаки не могут безнаказанно бить прикладами стариков, убивать детей в объятиях матери (увы, это тоже факт засвидетельствованный[1]), слушать вопли и жалобы целых деревень, видеть людей, помешавшихся от ужаса и т. д. Потом тяжело отразились на немцах те бои, которые им пришлось выдержать с нашей армией, с казаками, раздраженными коварством врага (обман белым флагом, обстрел Красного Креста и т. под.), и с сибирскими стрелками, беспощадно мстившими диким насильникам. Лежа в сырых окопах, на холоде, под осенним дождем и под убийственным огнем нашей артиллерии, немцы теряли свою самоуверенность и прежнюю стойкость. Наконец, величайшим ударом был для них приказ об отступлении, после того как начальство другое время обманывало их и уверяло, что русские везде разбиты, что нужно последнее маленькое усилие, чтобы взять и Варшаву, и Ивангород, и Ковно. Немецкие солдаты, по большей части переведенные с французского фронта, были уверены, что им предстоит долгий отдых в богатой, всем изобильной столице Польши, а вместо того им приказали идти назад, опять биться, опять лежать в окопах или в душных вагонах колесить Германию.

Простые души не вынесли такого потрясения, и после поражения на Висле дух германской армии сразу упал. Солдаты стали сдаваться целыми отрядами: одни прятались в погребах, давали уйти своим из города и потом покорно позволяли себя взять; другие отбивались от своей части при отступлении, шли в ближайшую деревню и просили выдать себя русским; были такие, которые сами отправлялись в трамвае навстречу казакам (в Лодзи), чтобы скорее попасть в плен. «Ich bin müde!» («Я устал») — так отвечали пленные пруссаки на все расспросы. «Мы сделали все, что в человеческих силах, — добавляли некоторые, — большего мы не можем». В Польшу германская армия вошла гордой, уверенной в победе, презирающей своего противника; к границам отступали деморализованные толпы солдат, потерявших веру в удачу, в своих начальников, во все свое дело.

В настоящее время борьба за левобережную Польшу возобновилась. Германский генеральный штаб, подкрепив войска гарнизонами крепостей и перекинув с запада на восток еще несколько корпусов, вновь повел наступление на Вислу. В ряде боев

---

[1] Женщина умоляла прусского солдата не уводить у нее последнюю корову, так как ее молоком она кормит своих маленьких детей. Пьяный пруссак двумя выстрелами убил малышей и заявил с юмором палача: «Теперь тебе более не нужно коровы!»

мы одержали верх в этом новом состязании, и нетрудно предвидеть, что вторичное движение немцев на Варшаву кончится так же, как и первое. Влить новый дух в войска, потерпевшие поражение, деморализованные, — невозможно.

Солдаты, товарищи которых добровольно сдались в плен и которые сами при отступлении зарывали в землю пушки (мы теперь открываем много таких «кладов»), никогда уже не проявят прежней стойкости. Новые корпуса, как это теперь вполне выяснилось, состоят или из молодежи, взятой со школьной скамьи (среди пленных попадаются юноши 17–16 лет), которой, конечно, не под силу трудности зимней кампании, или ландштурмистов, людей пожилых, переваливших за 40, отяжелевших за своими бюро и конторками, которые совершенно не пригодны для полевой службы. Лица, прибывающие с передовых позиций, единогласно свидетельствуют, что немцы на этот раз далеко не проявляют той энергии, как в октябре. Если бывают случаи упорного сопротивления, то всегда оказывается, что солдаты поголовно пьяны. Взятые в плен падают тут же и засыпают хмельным сном. Опаивание — единственный оставшийся способ, чтобы поднять дух германской армии! И наши солдаты, и население Польши — все ясно видят, что дело немцев безнадежно проиграно. Поэтому никого не пугают германские аэропланы, которые опять зареяли над Лодзью и Варшавой: эти зловещие птицы в последний раз кружат над русскими городами, скоро им придется попрятаться в свои гнезда!

Напротив, настроение нашей армии, насколько <*нрзб.*> можно судить по случайным встречам и беседам, по-прежнему бодрое. Солдаты, как всегда, жаждут боя и тяготятся всяким промедлением. Они помнят свои недавние победы и уверены, что им суждены новые; они верят в свои силы, в своих вождей и в свое дело. Русских солдат встречают в городах левобережной Польши как избавителей от германского ига. Каждой новой колонне устраивают торжественную встречу. Я видел, как в Лодзи толпа горожан раздавала нашим солдатам деньги, хлеб, фрукты, папиросы. Бедняки на последние гроши покупали табаку, чтобы подарить русскому солдату. Штаб армии у дверей отеля, где он поместился, был почтен целой овацией. То же происходило в Радоме и в других больших и малых городах. Поддержка местного населения — великий фактор на войне. Немцы, восстановив против себя все слои, все круги общества, лишили себя последней опоры на польской земле. Прежде в них видели только национальных врагов, теперь их ненавидят как грабителей и насильников. И эта ненависть миллионов, быть может, опаснее, чем штыки армии.

Единственная слава, которая останется за немцами, это та, что они сумели за короткое время разорить и опустошить целый край, слава, которую германская армия будет делить с полчищами Аттилы. Когда закончится второй период войны и последний немецкий солдат перейдет через прежнюю границу, перед нами во всем объеме встанет вопрос, уже теперь тревожащий нас: как помочь разоренной и опустошенной Польше, как залечить раны, полученные ею за нас. Все сборы, которые уже производились в разных городах, все ассигнования правительства только капли в море великой нужды и великих страданий. Нужна будут деятельная помощь не только деньгами и вещами, но и личным трудом, личной энергией. Нужно будет ободрить отчаявшихся, указать новые цели жизни утратившим веру в себя, вновь организовать распавшиеся общества и учреждения, вновь наладить дело народного образования, благотвори-

тельности и т. п. В какие формы должна будет вылиться эта общественная помощь, сейчас трудно предвидеть. Только не надо забывать, что обширная, родная нам страна, вся левобережная Польша, обращена в одно великое пожарище и что долг спасти этих погорельцев от окончательной гибели лежит на всей России.

Варшава, 14 ноября 1914

Бои под Ловичем
(По моим впечатлениям)

Грохочут пушки. Дым багровый
Клубами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули,
В кустах рассыпались стрелки,
Катятся ядра, свищут пули,
Нависли хладные штыки…

Как не похоже это Пушкинское описание Полтавского боя на сражения наших дней! Современные орудия не грохочут, а глухо ухают, посылая в пространство бризантные гранаты и шрапнельные стаканы. Ядра не катятся, но снаряды или стремительно ударяют в цель, или, разрываясь в воздухе, засыпают противника дождем пуль. Уханье пушек и мортир сменяется быстрым, дробным треском пулеметов, в минуты выкидывающих сотни стальных градин. Клубов дыма при бездымном порохе нет вовсе: только вспыхивают на горизонте белые огоньки выстрелов, стрелами разрезающие туман. Солдаты не смыкают рядов, но томительно ждут, лежа в окопах, приказа стрелять или позволения кинуться в штыки. Какая-то страшная неподвижность гнетет душу, тревожимую непрерывным гулом канонады.

А между тем, бой в полном разгаре. Немцы употребляют отчаянные усилия, чтобы пробиться к Ловичу. Мы столь же упорно отбиваем их приступы. Окопы, около которых я стою, покинутые немцами и заваленные их телами, свидетельствуют, что мы подвигаемся вперед. Теперь немцы отошли версты на 4 к северу. Бой продолжается на новых позициях, но доходящие до нас известия позволяют думать, что скоро немцы отойдут еще дальше… Чу! Слабым отзвуком долетает издали мощное «ура!»: это наши солдаты идут в штыки. И сердце невольно бьется прерывистей при этом дружном крике.

То место, где я стою, напоминает кулисы гигантской сцены. Впереди, там, где вспыхивают огоньки выстрелов, идет самое представление. Там разыгрывается — увы, в буквальном смысле слова — к р о в а в а я драма. Я — как бы в глубине сцены, за декорациями, где толпятся актеры и статисты, которым еще предстоит выход. Тут же — машинисты и режиссеры, заведующие постановкой. Нет только декораторов, потому что идет драма в величественной декорации огромного снежного поля. Кулисами служат заиндевевшие леса; задним фоном — дотла сожженные деревни и строения Ловича, среди которых высится старинный костел св. Виктории, покровительницы города.

Актеры и статисты — это офицеры и солдаты частей, находящихся сейчас в резерве, ожидающих приказа вступить в «дело». Страшные предстоят нам роли. Многие останутся лежать на сцене и не встанут, даже когда опустится занавес… Между тем никакого особого волнения в солдатах, окружающих меня, не заметно. Они расположились группами, прислонившись к забору или присев на обгорелых бревнах, курят, беседуют о постороннем, шутят. А в нескольких шагах от нас, около окопов, вчера отбитых у неприятеля, груды еще не погребенных тел: немецкие солдаты с окаменевшими лицами, залитые кровью… Кажется, никакого впечатления не производит на солдат это наглядное напоминание о том, что еще сегодня может выпасть на долю каждого из них…

По дороге от места боя медленно подходят к нам раненые. Перевязочный пункт — в Ловиче, и, кто может идти, старается сам добраться до него. На войне такие раны, как отстреленные пальцы или пробитая пулей кисть руки, кажутся пустяками. Солдат перевязывает себе руку розовой марлей, которая быстро становится ярко-красной от просачивающейся крови, и ему в голову не приходит жаловаться. На пути он заговаривает с товарищами, сообщает о ходе боя, просит покурить, неловко зажигая спичку одной рукой.

Большинство легко раненных сами несут свое оружие. Вот идет высокий, статный солдат с черными усами. Марля, которой обмотана кисть его левой руки, вся залита кровью. Кровь каплет на шинель и на землю. Но правой рукой он несет свою винтовку, и видно, что штык на ней странно покривился. Какой удар должен был нанести врагу этот молодец, чтобы погнуть свой штык! Легко раненные в ногу идут, опираясь на винтовку, как на палку. Еще у некоторых перевязана голова, но даже они сохраняют бодрый вид, готовы сами посмеяться над своей раной.

— Немец мне затылок почесал, — говорит один, контуженный осколком шрапнели.

Мимо меня по шоссе быстро пролетает высокий автомобиль со стальными ограждениями (не знаю, можно ли его назвать бронированным). В автомобиле — несколько высших офицеров. Продолжая свое сравнение, могу сказать, что это — режиссеры, наблюдающие за постановкой. По их указанию отдыхающий полк строится. Через некоторое время он твердым шагом марширует по проселочной дороге вправо. Это обходное движение: полк должен обойти левое крыло немцев. (Впоследствии стало известно, что это движение решило участь всего боя: немцы отступили.)

А жизнь «за кулисами» продолжается. Другие резервы все еще ждут своей очереди. Пролетает еще несколько автомобилей. С грохотом проходит батарея. Продолжают подходить и раненые. В городском автомобиле с поля боя провозят несколько тяжело раненных офицеров и солдат. Какой-то солдатик осведомляется у меня, откуда я родом, и, узнав, что из Москвы, как-то радостно уверяет, что мы почти земляки.

— Тверские мы, — говорит он.

Потом спрашивает лукаво:

— Что же, все это потом в газетах описано будет?

Тверской мужичок угадал-таки, зачем я толкаюсь среди солдат!

Время идет, но канонада не молкнет. Какое громадное количество пуль и стальных снарядов перебрасывают друг другу состязающиеся батареи! Недаром легкие

тележки с зарядными ящиками тянутся по шоссе целыми караванами! Поговорив с солдатами, я еще раз обхожу поле предшествующей битвы и еще раз всматриваюсь в лица убитых немцев (как много среди них юношей, почти мальчиков!). Все были ранены в грудь или в лицо. Не знаю, может быть, сказалось в этом влияние вина, которым опаивают теперь немецких солдат перед боем, но они шли твердо против ружейных дул и орудийных жерл. Наши солдаты тоже говорили мне, что «немец стоял крепко и что победа досталась нам нелегко»… Потом я захожу на пепелище сожженной деревни, где вместе с домами сгорел и немецкий госпиталь. Здесь тоже много тел, страшных, обугленных. Вернувшись к автомобилю, нахожу своих товарищей по поездке уже готовых к отъезду: пора возвращаться.

Опять мы беседуем с солдатами и раздаем им последние оставшиеся у нас папиросы.

— До свидания, братцы, удачи вам да счастья.

— Покорнейше благодарим. Уж мы за себя постоим.

— Да! Постойте за себя и за свою Россию! — говорит мой товарищ.

Странное дело: эти простые слова производят на солдат живейшее впечатление.

— Разве мы не понимаем! — откликается кто-то из них.

Разом лица у всех становятся серьезными, сосредоточенными. Видно, что солдаты действительно «понимают» огромность лежащей на них ответственности. Немолчная канонада, груда немецких трупов, ожидание, что каждую минуту может прийти приказ вступить бой, не мешали солдатам беспечно «калякать» о своих маленьких интересах. Но достаточно было беглого упоминания о важности возложенного на них дела, чтобы солдаты, эти мужики Тверской и других губерний, задумались и омрачились. Стало жаль даже, что мы смутили досужую веселость солдат: им нечасто выпадают минуты, когда можно забыть о своем долге…

Шофер приводит мотор в движение. В последний раз я оглядываюсь на отдаленную «авансцену». Уже набежали ранние осенние сумерки, и полоски выстрелов сделались теперь розоватыми. Но залпы не стихают, и глухие звуки их долго преследуют нас, пока мы катимся по знакомой скучной дороге, не раз уже совершенной мною, от Ловича до Варшавы. В темноте опять пробегают изрытые окопами поля, временные понтонные мосты, полуразрушенные селения. Холод заставляет прятать лицо в меховой воротник и торопить шофера, забыв об оставшихся за нами «статистах», которые всю ночь проведут в обледенелых земляных окопах.

В Варшаве, куда мы приезжаем поздно вечером, нас встречают рассказами о новых бомбах, брошенных днем немецкими летчиками. Немцы продолжают свою чудовищную забаву, разбрасывая бомбы на модных улицах, расстреливая с безопасной высоты гуляющую публику… Но чувство негодования, подымающееся в душе при таком известии, умеряется на этот раз надеждами, которые мы привезли с собой из Ловича. Там, около этого города с его храмом Победы (костел св. Виктории), стоят наши солдаты, которые з н а ю т, что они должны свершить. И верится, что скоро немцам слишком далеко будет посылать своих разбойничьих «голубей» («Таубе») к столице Польши, что скоро надменный враг принужден будет покинуть наши пределы.

20 ноября, Варшава

1915

Гурдов

В бою под Праснышем убит штабс-капитан Гурдов, командир отряда наших блиндированных автомобилей, офицер, который своей отвагой, хладнокровием в опасностях и целым рядом блестяще выполненных поручений выдвинулся во время войны на одно из самых видных мест в армии.

Имя штабс-капитана Гурдова уже становилось известно широким кругам читателей, так как не раз с похвальными отзывами упоминалось в донесениях штаба Верховного Главнокомандующего. В армии к Гурдову относились с величайшим уважением и возлагали на него большие надежды. Наконец, лица, знавшие Гурдова ближе, ценили в нем человека с самыми разнообразными дарованиями, прекрасно образованного, начитанного, тонкого ценителя искусств, а также незаменимого, остроумного собеседника и доброго, отзывчивого товарища. Смерть Гурдова — утрата тяжелая, и хочется утешиться лишь верою в то, что его идеи, его дело и его пример не погибнут, но найдут себе в нашей армии последователей и подражателей.

Как человек исключительный, Гурдов, конечно, и до войны обращал на себя внимание. В ранней молодости (т. е., увы, всего несколько лет назад) он служил в Либаве офицером подводного плавания. Гурдова, как прирожденного мечтателя, увлекла оригинальность этого дела. Ему нравилось плавать под водой, в чужой человеку стихии, и часто, надев тяжелый костюм водолаза, он совершал прогулки по морскому дну. В то же время Гурдов работал над теорией подводного плавания и старался усовершенствовать это дело; так, например, он изобрел новый водолазный колпак, новый тип люка в субмарине, новый способ выбрасывания мин и т. под. Эти работы молодого офицера и представленные им чертежи выделили его из числа товарищей, и Гурдов был приглашен в Петроград читать лекции в высших военно-учебных заведениях.

В Петрограде, читая лекции по подводному плаванию, артиллерии и др‹угим› наукам, Гурдов стремился пополнить свое собственное образование. Он много читал, изучал иностранную литературу по интересующим его вопросам и сблизился с несколькими профессорами и деятелями науки. Увлекаясь музыкой, Гурдов отдавал много времени также ей: посещал все выдающиеся концерты и сам успешно учился играть на виолончели, беря уроки у знаменитого Вержболовича. Можно было встретить Гурдова и на всех лучших художественных выставках. Петроградское общество приветливо приняло блестящего офицера, и он был непременным членом многих видных салонов.

В Петрограде же Гурдов разработал свою теорию нового способа военных действий, при котором «живую силу» человека должны были в значительной степени заменить машины. К этой идее Гурдов пришел, разрабатывая теорию военных подводных лодок. Он полагал, что по аналогии с минным подводным флотом, можно создать такой же бронированный воздушный флот, а на земле — корпуса бронированных автомобилей и автомобилей-пушек. Таким образом, на войне вместо физической силы людей на первое место стали бы различные приборы, машины, в которые вложена сила человеческого ума, сила интеллектуальная. На разработку этой своей теории Гурдов потратил много времени и энергии и развил свою мысль в особой записке, поданной им в военное ведомство.

Когда разразилась великая война наших дней, Гурдов поспешил вступить в ряды армии. Его душа требовала непосредственной деятельности, он любил преодолевать опасности, и его тяготили обязанности преподавателя, приковывавшие его к письменному столу и кафедре. Гурдову удалось получить назначение в нашу автомобильную роту. Позднее, когда был сформирован отряд наших блиндированных автомобилей, Гурдов перешел в него и скоро был назначен его командиром. В этой должности Гурдов провел шесть с половиной месяцев истинных подвигов.

Деятельность Гурдова как начальника отряда блиндированных автомобилей у всех на памяти. Это новое не только у нас, но и в Западной Европе дело Гурдов возвел на небывалую высоту. Наши блиндированные автомобили стали грозою немцев. Не раз исход сражения решался выступлением блиндированных чудовищ, врывавшихся в самые ряды неприятеля и истреблявших целые роты. Наиболее известно блестящее дело под Пабианицами, около Лодзи. Имея в своем распоряжении два блиндированных автомобиля и автомобиль-пушку с командой всего в 16 человек, Гурдов буквально «разбил» и заставил отступить четыре полка немцев. В этом деле Гурдов проявил также исключительное личное мужество, так как вести бой приходилось под страшным огнем неприятеля, засыпавшего смельчаков снарядами и пулями. Гурдов довел начатое дело до конца и сохранил все вверенные ему автомобили, хотя к концу боя они и были настолько повреждены, что уже не могли двигаться сами и их надо было катить, упираясь в них руками, прямо под градом пуль.

Подчиненные любили Гурдова до самозабвения. Он был с ними строг, требователен, но всегда делил все трудности похода и боя наравне с простыми солдатами. В армии с восторгом рассказывают о нескольких случаях, когда Гурдов не пожелал воспользоваться своими преимуществами офицера и командира, так как не мог дать того же своим подчиненным. Так, например, когда однажды вся команда автомобиля жестоко страдала от жажды, Гурдов отказался пить предложенную ему воду, так как ее могло хватить только для его одного… Насколько подчиненные любили Гурдова, служит доказательством тот факт, что после его гибели один из них, горько рыдая, жалел всего больше об одном: почему он не был вместе с Гурдовым и не был убит рядом с ним!

В роковой день Гурдов по обыкновению командовал своим отрядом блиндированных автомобилей. Немцы под Праснышем, около деревни Добржанки, заняли своей батареей сильную позицию и жестоко обстреливали нашу пехоту. Снаряды летели невидимо откуда, и это производило особенно жуткое впечатление. К тому же дело было уже под вечер, темнело, и с развязкой боя надо было спешить. Командующий войсками обратился к Гурдову с просьбой:

— Не можете ли вы с вашими автомобилями очистить нам путь? Мы тогда могли бы обойти неприятеля или вообще прорваться к Праснышу. Вообще, если можно, заставьте немцев хотя бы переместиться. Тогда наша артиллерия нащупает их батарею и, может быть, заставит ее замолчать.

Гурдов принял поручение, как всегда беспрекословно принимал все даваемые ему поручения, хотя на этот раз оно было особенно трудным и опасным. Надо было подвигаться вперед по шоссе под постоянным огнем, источник которого был невидим. На шоссе могли быть заграждения, засады и т. д. Несмотря на это, Гурдов

немедленно повел против немцев свой маленький отряд, состоявший, как и под Пабианицами, из двух блиндированных автомобилей и автомобиля-пушки. Первый автомобиль вел сам Гурдов; второй, шедший сзади, — поручик Вачнадзе.

Осыпанный снарядами, Гурдов прошел значительную часть расстояния, отделявшего наши позиции от немецких, и открыл местонахождение немецкой батареи. Немедленно он открыл по ней огонь и, желая довести начатое до конца, не остановился, но, в полумраке, двинулся дальше. С отчаянной смелостью он подвел свой автомобиль почти вплотную к немецкой батарее и с самого близкого расстояния громил немцев из своего пулемета.

Броня автомобиля служит достаточным прикрытием на расстоянии свыше 300 шагов; на более близком расстоянии она становится проницаемой для снарядов и пуль. Поэтому весьма скоро автомобиль Гурдова оказался как бы изрешеченным немецкими выстрелами (впоследствии на нем насчитали до ста пятидесяти отверстий). Все, бывшие в автомобиле, были ранены. Не обращая на это внимания, Гурдов продолжал еще продвигаться вперед, и каждая новая лента его пулемета вносила новое расстройство в ряды немцев. Одно за другим немецкие орудия начинали смолкать. Наконец Гурдов ворвался почти в самую немецкую батарею и, засыпав артиллеристов новым градом пуль, заставил ее смолкнуть…

Победа была на стороне Гурдова. Однако его автомобиль был почти раздроблен снарядами. Из его команды все были убиты или тяжело ранены. По-видимому, последнюю ленту в пулемет вкладывал сам Гурдов ослабевшей от ран рукой…

И в ту же минуту последний снаряд из последней немецкой пушки ударил прямо в переднюю часть автомобиля Гурдова. Снаряд убил шофера, сорвал огромный кусок брони и ударил им Гурдова в лицо и в грудь. Гурдов был убит на месте, и автомобиль остановился.

Немцы, которые уже бежали, остановились в изумлении. Они увидели, что их страшный враг более не может двигаться. Когда прошла первая минута смущения, немцы бросились к автомобилю и завладели им. Им досталось пять трупов и один умирающий… Желая воздать дань уважения мужеству врагов, немцы, не подавая еще помощи своим раненым, хотели перевязать рану этого единственного из оставшихся в живых сподвижника Гурдова. Но внезапно из темноты появились ряды нашей пехоты, которой подвиг Гурдова открыл дорогу. Наши окружили немцев, уже торжествовавших победу, быстро заставили их положить оружие и объявили пленными. Вместе с тем мы получили и печальные трофеи боя: разбитый автомобиль Гурдова, тело его самого и тела его пяти сотоварищей.

Так погиб штабс-капитан Гурдов в славном бою, который сыграл важную роль во всем Праснышском сражении. Конец Гурдова был достоин всей его жизни. Он умер победителем во время отважного до безрассудства предприятия, которое он блистательно довел до конца. Но товарищи Гурдова в первую минуту скорби говорили, что предпочитали бы потерпеть полное поражение, чем потерять своего любимого начальника…

Позднейшие бои уже показали, что заветы Гурдова не забыты в нашей армии. Наши блиндированные автомобили продолжают свое дело, и ученики Гурдова с той же отвагой, как он сам, наводят ужас на немцев из-за серых прикрытий движуще-

гося блиндажа. Эти новые успехи отряда блиндированных автомобилей — лучшие венки на могилу Гурдова, храброго солдата, человека с высокой душой и неисправимого мечтателя.

Варшава, 6-го марта 1915 г.

На улицах Перемышля

Второй раз в жизни испытывал я странное чувство — гулять по улицам только что «взятого», «завоеванного» города: первый раз то было в Ярославе галицийском, куда я попал на другой день после первого вступления в него нашей армии (в сентябре 1914); второй — в Перемышле, впрочем, уже три дня спустя после сдачи крепости. Идя по тротуару, заглядывая в окна кафе, в магазины, я думал: всего несколько дней назад все это было неприятельское, вражеское; здесь сидели люди, занятые одной мыслью — вредить нам всеми средствами; попади сюда даже я, человек не военный, ко мне отнеслись бы как к врагу, вероятно, арестовали бы как шпиона, может быть, расстреляли бы… А сегодня это все н а ш е; я здесь гуляю свободно, приказчики почтительно мне кланяются, офицеры-австрийцы со мной любезны и предупредительны. Почему? Потому что я — русский, капелька того океана, мощь которого испытали на себе наши враги….

Те представления, которые складывались с детства о завоеванном городе, тем более о «взятой» крепости, были решительно опрокинуты в Перемышле. Никто, конечно, не наивен настолько, чтобы ожидать, что при современной войне он увидит нечто вроде пожара Трои, в которую наконец ворвались ахейцы. Но все же мирный вид города, нормальный ход жизни кругом, полное отсутствие всяких следов долгой осады и боев изумляли, возбуждали чувство если не досады, то разочарования. За окнами магазинов блистали пышные «эталажи»: выставленные там кружева, ленты, материи, здесь книги, открытки, географические карты, в третьем месте кодаки, термометры, бинокли, электрические фонарики; кофейни были переполнены: за столиками, небрежно развалясь, в своих картинных мундирах, кейфовали австрийские лейтенанты и гауптманы, курили сигареты, весело смеялись, любезничали с дамами; на больших улицах теснилась толпа гуляющих: опять австрийские офицеры в щегольских шинелях с меховыми воротниками, беспечные парочки, куда-то спешащие деловые люди, сильно нарумяненные женщины, матери с детьми… Если бы изредка не показывался разъезд казаков, зорко оглядывающихся по сторонам, легко было бы позабыть, что это — Перемышль, о трагических бедствиях которого во время осады мы читали столько трогательных телеграмм.

Г о р о д Перемышль раскинулся на обоих берегах быстрого Сана. На правом, низком, берегу лежит заречная часть, пригород; на левом по довольно крутому склону высокого холма расположены главные кварталы с лучшими улицами, соборами, административными учреждениями и т. подоб.

К р е п о с т ь Перемышль образуют два ряда земляных укреплений, двумя кольцами опоясывающих город: меньшее кольцо — на расстоянии 3–4 верст от города, большое — в 7–8 и даже 9–10 верстах от центра. Внутреннее, меньшее, кольцо

укреплений играло малую роль в обороне Перемышля; все бои сосредоточивались на фортах внешнего, большого, кольца, от которого русские позиции отстояли еще на несколько верст. Таким образом, бои происходили большей частью в 7–8-верстном расстоянии от города, если считать по прямой линии. Так как местность, где стоит Перемышль, гористая (это уже отроги Карпат), то все пути от города имеют характер горных дорог, идут зигзагами, делая повороты под острыми углами. Чтобы добраться из города до внешних фортов, надо проехать не менее 10 верст. Почти ниоткуда из города укреплений не видно, и в самом Перемышле о войне напоминают только многочисленные лазареты, как напоминают они в Петрограде, Москве, Ярославле, вообще в любом городе в наши дни.

Пока на линии укреплений шла борьба с русской осадной армией, город Перемышль продолжал жить почти что обычной жизнью. Население слышало отдаленную канонаду; иногда русские летчики, пролетая над городом, сбрасывали две-три бомбы (которыми, кстати сказать, было повреждено очень немногое, так как наши летчики щадили частные здания); в самые последние дни осады несколько гранат залетело в городскую черту; это все, что испытал Перемышль непосредственно от военных действий. Правда, он был отрезан от внешнего мира, но, благодаря беспроволочному телеграфу и прилету аэропланов из Карпатской армии и из разных австрийских городов, все время имел известия о новейших событиях. В Перемышле до самого дня сдачи продолжала даже выходить газета («Военные Ведомости», «Kriegesnachrichten»), ежедневно печатавшая радиотелеграммы изо всех концов Европы; два раза в неделю летчики доставляли и венские газеты. Запас продовольствия в городе, конечно, истощался постепенно, но до острого голода не доходило. Хлеб выпекался до последнего дня; не были исчерпаны и запасы крупы, картофеля, масла, кофе и т. под.; не было говядины, но ее заменила конина, которой был избыток. Впрочем, все эти продукты с каждым днем дорожали; за булочку белого хлеба, напр., стоившую в мирное время ½ коп., спрашивали гривенник; фунт масла продавали по 2 руб., яйца, которые с опасностью для жизни приносили в город крестьяне окрестных деревень, стоили по 25 коп. штука. Страдать приходилось беднякам, люди же состоятельные, если не жалели денег, могли и в дни осады получать почти все, что они желали, даже вино и деликатесы…

В городе господствовало убеждение, что крепость неприступна, что русские напрасно тратят время и силы на ее осаду и все равно должны будут рано или поздно отойти ни с чем. Поэтому зажиточные горожане жили довольно спокойно, только досадуя на вынужденное отъединение от других. В перемышленском театре время от времени давались представления, и зал всегда был наполнен; с большим успехом проходили концерты, дававшиеся с благотворительной целью. На площадях по праздникам играла военная музыка. В богатых домах по случаю разных семейных торжеств устраивались празднества, о которых потом говорил «весь город» и писали в официальной газете. Эта газета всячески старалась поддержать бодрое настроение у населения и весьма охотно сообщала об успехах театральных представлений, концертов и т. под. Только в последние дни перед сдачей жители Перемышля начали догадываться, что положение дел плохо; главным образом потому, что солдаты, полуголодные, измученные ночными боями, стали без разрешения начальников яв-

ляться в город и здесь бесчинствовали, угрозами вымогая себе съестное. Видя, что дисциплина в гарнизоне пала, горожане поняли, что их обманывают радостными известиями, что крепость — накануне сдачи…

Самая сдача для многих оказалась неожиданностью. Внезапно ночью раздались страшные взрывы: то взрывали мосты через Сан и часть укреплений. Весть быстро облетела город. Большинство пришло в ужас: они привыкли представлять русских солдат, особенно казаков, какими-то дикарями и ждали, что с вступлением русской армии в Перемышль начнутся грабежи, насилие, всякого рода неистовства. На всех домах был выкинут белый флаг, в окнах выставлены иконы… Когда, однако, через несколько часов после того в город вступили передовые казачьи разъезды и не только не приступили к грабежу, но прежде всего постарались ввести порядок, жители успокоились. Один за другим открывались магазины; горожане вышли на улицу, с любопытством рассматривали входящие полки и почтительно приветствовали их. Подводы со съестными припасами, ввезенные в город, тотчас были распределены по лазаретам, разным благотворительным учреждениям и торговцам: все бросились покупать дешевый хлеб и мясо… К вечеру не осталось следов прежней тревоги; перемышляне уже встречали русских радушно, как желанных гостей, и город принимал свой обычный вид оживленного торгового центра…

Как я уже упоминал, мне удалось попасть в Перемышль только на четвертый день после сдачи крепости. Меня изумило, как за этот короткий срок город успел «обрусеть». Везде: в магазинах, гостиницах, кофейнях — старались понимать русскую речь, и, вследствие близости к ней говора галичан, местным жителям это было нетрудно. В ходу были русские деньги (крона расценивалась в 30 к.), и их брали даже охотнее, чем австрийские бумажки. Заговаривая с русскими, простые люди относились к ним как к своим естественным собратьям и открыто ругали «швабов» (т. е. австрийцев) как общих врагов. Порядок в городе поддерживался образцовый. Русские военные власти воспретили продажу спиртных напитков, и потому не было видно ни одного пьяного. Никаких недоразумений нигде не возникало, и никто ничем не выражал ни малейшего протеста против нового строя. Не замечалось ни тени хотя бы подавленного, затаенного неудовольствия. Напротив, казалось, что все были более довольны создавшимся положением, нежели минувшим владычеством австрийцев.

Что касается их самих, т. е. офицеров и солдат австрийской армии, то, по-видимому, и они весьма легко примирились со своим поражением. Все австрийские офицеры, к которым мне случалось обращаться, выказывали по отношению ко мне величайшую любезность и готовы были предупредительно оказывать мне всевозможные услуги. Они добровольно брались провожать меня по улицам незнакомого мне города, приглашали меня обедать в свое «офицерское собрание» («Casino»), подолгу сидели со мною в разных кафе, дружелюбно беседуя и о посторонних вещах, и о подробностях обороны крепости. Особенно любезным оказался один молоденький лейтенант, помогший мне найти комнату в отеле, указавший мне хороший ресторан, рекомендовавший мне лучшие магазины и т. под. Почти юноша, безусый, с детски наивным лицом, одетый щегольски (как, впрочем, все австрийские офицеры), этот лейтенант положительно сдружился со мной, с моими товарищами по поездке, сре-

ди которых один был полковник русской армии. Никто не сказал бы, глядя, как мы весело болтаем за чашками кофе, что еще несколько дней назад мы были враги друг другу и при встрече могли биться насмерть… Между прочим, позднее этому лейтенанту удалось выхлопотать себе позволение остаться в Галиции, вместо того чтобы отправиться вместе с другими пленными в глубь России. Встретившись с нами, он поспешил поделиться радостным известием в наивной уверенности, что нас его судьба живо интересует, что мы не можем не порадоваться его удаче. Приблизительно так же держали себя и другие офицеры-австрийцы, даже пожилые полковники: все они разговаривали с нами, как с добрыми друзьями, вспоминая об осаде и сдаче, как о чем-то равно неприятном как им, так и нам.

Несколько иным было поведение простых солдат гарнизона. Из них немцы даже казались угрюмыми и необщительными. Когда же удавалось разговориться с ними, почти все начинали бранить своих начальников. По уверению солдат, все тяготы осады падали только на них. Им приходилось подвергаться русскому огню, мерзнуть в земляных укреплениях и голодать, питаясь одной кониной и сухарями. Офицеры же до последнего дня получали «полный паек», ели вдоволь, имели даже вино; иные на ночь уходили в город или в поместья и ночевали в домах. К этому надо добавить, что солдаты были одеты очень плохо, в рваные старые шинели; некоторые, несмотря на холодную погоду, были без сапог и обматывали ноги каким-то тряпьем. Впрочем, немцы делали это признание неохотно, предпочитая отмалчиваться на вопросы. Напротив, солдаты из славян, поляки, русины, чехи, с первого слова осыпали бранью своих «швабских» офицеров, жалуясь, что те намеренно морили их голодом и нарочно посылали в самые опасные места. Почти единогласно пленные славяне заявляли, что они желают перейти в русское подданство и поскорее вступить в ряды русской армии… К нам, русским, солдаты-славяне относились как к своим естественным собратьям, забывая, что, как-никак, еще недавно они осыпали своими пулями русских солдат. В общем, получалось какое-то странное смешение понятий; беседуя с пленными, трудно было не потерять представления, кто друг, кто враг, кто с кем воюет…

Конечно, такое настроение войск, запертых в Перемышле, и было главной причиной сдачи крепости. Недостаток провианта был только причиной официальной. Хотя, конечно, запасы съестного в Перемышле были сравнительно невелики, а армия, собранная в нем, несообразно многочисленна (то и другое дóлжно поставить в вину австрийскому генеральному штабу), все же крепость, расходуя провизию экономно, могла бы держаться еще несколько недель, может быть, больше месяца. Оставалось еще несколько тысяч лошадей, годных в пищу, много крупы, было сало, были сухари и т. под. Наконец, можно было с самого начала уменьшить пайки офицерам, и тогда пропитания для них хватило бы на значительно большее время. Но к сдаче вынуждала начавшаяся дезорганизация армии. Дисциплина падала. Солдаты без позволения уходили с фронтов в город и здесь, грозя оружием, вымогали у горожан хлеба. Приказания старших не исполнялись; низшие чины говорили дерзости в лицо офицерам; офицеры ссорились между собой. Когда была объявлена последняя вылазка, которую комендант крепости, генерал Кусманек, хотел сделать грандиозной, целые полки отказались идти. Славян погнали вперед почти силой, а сзади них

шли немцы и венгры, готовые расстреливать отступающих… При таком настроении духа в рядах войск комендант не мог сделать ничего иного, как положить оружие…

Среди лиц, с которыми я познакомился в Перемышле, поляк, к которому я зашел в поисках комплекта газеты, печатавшейся у него. Любезно разыскав для меня желательные мне номера газеты, он с горечью стал жаловаться на австрийский режим.

— Много ли вы видели, проезжая по Галиции, — говорил он, — фабрик и заводов? Много ли железных дорог? Наш народ беден, промышленность в упадке, а почему? Потому что мы были обложены непомерными налогами на армию. Но наши офицеры оказались годны лишь для смотров и парадов. Наши солдаты везде бегут перед вашими. Берите же Галицию в свои руки: она ваша по праву!

Это говорил поляк, по-видимому вполне лояльно относившийся в свое время к правительству. От местных уроженцев, галичан, приходилось слышать речи гораздо более резкие. Один молодой человек, с которым я и мои товарищи разговорились в кафе, уроженец самого Перемышля, проживший в нем всю свою жизнь, видел в победе России новую эпоху для родной земли.

— Давольно мы были в рабстве у немцев, — говорил он. — Они смотрели на нас, славян, как на низшую расу, презирали нас, старались об одном: выжать из нас побольше денег! Россия отнесется к нам как к родным детям, потому что мы действительно русские! Она даст нам то же, что дает другим своим сыновьям. Наш край богат естественными продуктами, наш народ трудолюбив; теперь нам дадут работать на свободе, и Галиция станет одной из счастливейших земель в Европе!

Простые люди, не имеющие понятия о расах и племенах, выражались наивно, но, в сущности, высказывали те же мысли. Одна простая женщина, напр‹имер›, у которой я пил чай (у нее на квартире жил шофер нашего автомобиля), слезно жаловалась мне на то, что «швабы» забрали у нее сына в солдаты: ей и в голову не приходило, что таким образом этот ее сын, сочувствия которому она у меня ожидала, был моим врагом, стоял в рядах вражеской для меня армии. После долгих жалоб эта женщина добавила:

— Теперь, надо полагать, все хорошо пойдет. Швабов больше не будет, и мы все будем русскими. Говорят, у вас и хлеб дешев, и картофель дешев, и у нас то же самое будет.

И тут же, предусмотрительно, она осведомилась, сколько именно стоит у нас хлеб и картофель.

Какой-то рабочий-галичанин, которому я показывал дорогу к пункту, где раздаются бесплатные обеды (как это ни странно, но мне пришлось в Перемышле служить проводником для местного жителя), дорогой всячески проклинал австрийцев и, наконец, сказал:

— Теперь, под вашей властью, наш Перемышль будет всем городам голова! Приезжайте сюда годов через пять, сами увидите!

Такая вера в счастливое будущее под русской властью была поистине трогательной!

Присмотревшись к жизни в Перемышле, поговорив и с его жителями, и с его пленными солдатами и офицерами, вспомнив свои впечатления в Ярославе и в других галицийских городах, я перестал удивляться военным неудачам австрийцев. Конечно,

своими победами мы обязаны прежде всего доблести нашей армии и искусству ее вождей. Но кроме того, сыграло немалую роль в этом и настроение души населения. Не может выставить победоносной армии тот народ, который верит, что под другой властью ему будет лучше; не может быть победоносной та армия, в которой царят национальные раздоры, солдаты подозревают офицеров, а офицеры чуть ли не радуются поражению, освобождающему их от трудов и лишений! Мне лично было очень приятно, что австрийские лейтенанты оказывали мне в Перемышле разные маленькие услуги, и я не без удовольствия провел время в беседе с австрийскими офицерами в городских кофейнях. Но я знаю, что есть армии, офицеры которых были бы на это не способны и, может быть, предпочли бы смерть сдаче обороняемой ими твердыни.

Мои последние впечатления в Перемышле были такие же, как первые. Проезжая через город, я видел изящных офицеров-австрийцев в шинелях светло-сиреневого цвета с бобровым воротником; гремя саблей, офицеры прогуливались по улице Мицкевича, одни или с дамами, сидели, небрежно развалясь, в шикарном кафе, любезно беседовали со своими победителями, офицерами нашей армии. Выехав за городскую черту, я увидел бесконечные ряды пленных солдат; под конвоем немногих казаков они шли громадными партиями, по 400 и по 500 человек, в рваных, испачканных шинелях, в рваных сапогах или вовсе без обуви, с какими-то лоскутами вместо кепи на головах; лица солдат были бледны, изнурены, глаза горели лихорадочно: сказывались долгие дни голода и всякого рода лишений… Я видел, что многие из пленных отставали от партии, садились отдохнуть, отходили в сторону, иные даже забегали в избы, попадавшиеся по дороге, может быть, к родным или близким.

— Вы не боитесь, что они убегут? — спросил я конвойных.

— Нет, ваше благородие! Не убегут! Они рады-радешеньки, что в плен попали: по крайности кормить мы их будем каждый день. Да и опять же: многие как бы свои, земляки, говорят почти что по-нашему. Им с нами гораздо сподручнее быть, нежели с немцами.

«Да! — подумал я.– Казак прав. Пленные не убегут, не только потому, что мы их кормим, но и потому, что для них бежать — значит возвратиться тоже в плен, но горший, нежели наш, в плен немецкий!»

И я долго смотрел, как сотни пленных солдат под конвоем десятка казаков почти добровольно, почти охотно, почти весело шагали по направлению к нашей границе, чтобы идти в глубь России и маленькой славянской волной исчезнуть в великом славянском океане.

Валерий Брюсов
25 марта 1915. Варшава

КОММЕНТАРИИ

Варшава в дни войны

Голос (Ярославль). 1914. № 200 (31 авг. /13 сент.). С. 2.

...еще до объявления Верховного Главнокомандующего... — Высшим руководителем вооруженных сил государства с 20 июля 1914 г. по 23 августа 1915 г. был генерал-адъютант великий князь Николай Николаевич (младший). См. также примеч. к ст. «Тени».

...в Польше ~ как и в остальной России. — В период Наполеоновских войн (1807–1813) существовало Герцогство Варшавское, большая часть которого в 1815 г. вошла в состав России в качестве так называемого Царства Польского. Польские депутаты заседали во всех четырех российских Думах (1905–1917), добиваясь автономии Польши. Польша обрела независимость в 1918 г.

«Донцы» — наименование, принятое у русских и украинцев для обозначения донского казачества; так назывались только казаки, а не все жители Дона.

...вновь образованный «Обывательский комитет»... — Общественная организация, занимавшаяся сбором средств, одежды, медикаментов для нужд армии.

... драмы (вернее было бы сказать, мелодрамы) Эд. Гонкура... — Эдмон Луи Антуан де Гонкур (Goncourt, 1822–1896), известный французский писатель, критик, мемуарист.

Идея славянского единства... — Провозглашена славянофилами, которые рассматривали идею единства в первую очередь как основу самосохранения, самоутверждения славянства, доказательство его жизнеспособности и культурной значимости. Либералы начала XX в. порицали их за консерватизм, панславизм, национализм, отрыв от реальности. В их идее видели политически обоснованную поддержку самодержавия, гегемонистских притязаний России. В начале Первой мировой войны идея славянского единства нашла отклик в обществе.

«Польское общество писателей и журналистов»... — Общество, которое объединяло интеллигенцию в крупных городах Царства Польского. Виленским обществом польских писателей и журналистов, которое также принимало В. Брюсова, руководил Чеслав Янковский (1857–1929), поэт, критик, публицист, член Государственной думы 1-го созыва от Виленской губернии.

Рассказ беженцев
Письмо из Варшавы
(От нашего корреспондента)

Голос (Ярославль). 1914. № 202 (3 / 16 сент.). С. 2.

...много беглецов из Млавы... — Город Млава (Mława) на реке Млавке, расположенный в непосредственной близости от русско-немецкой границы, в 1914 г. оказался в районе особенно ожесточенных боев и переходил из рук в руки 14 раз.

...более чем 30 000 корпусом. — В сухопутных войсках различных государств корпусом называли объединение, состоящее из нескольких подразделений и частей родов войск; в русской армии корпуса возродились после 1919 г.

...австрийские блиндированные автомобили... — Другое название — «панцирный» или «броневой» автомобиль (в просторечии «броневик»), оснащенный пулеметным или пушечным вооружением; появился перед Первой мировой войной в различных государствах, не был предназначен для транспортировки десанта, по выполняемым задачам сходен с легким танком.

Лодзь (Łódź) — польский город, расположенный на водоразделе Вислы и Одера, в границах Царства Польского. Близость к прусской границе отражалась на его судьбе: значительную часть городского населения составляли немцы и евреи.

Беглецы из Ченстохова... — Ченстохов (Częstochowa) — город, расположенный на юге Польши. После раздела ее в 1793 г. входил в состав Пруссии, а с 1815 г., после Наполеоновских войн, это территория Российской империи, т. е. часть Царства Польского.

Ясногорский монастырь — католический монастырь Ясная Гора (Jasna Góra), находившийся на территории города Ченстохов; знаменит Ченстоховской иконой Божией Матери, которая почитается католиками как величайшая реликвия — святыня.

На границе
(От нашего корреспондента)

Голос (Ярославль). 1914. № 215 (19 сент. / 2 окт.). С. 2.

Калиш (Kalisz) — самый старый город в Польше. В составе Царства Польского (Российской империи) был центром Калишской губернии (1867–1917).

На северном фронте

Голос (Ярославль). 1914. № 217 (21 сент. / 4 окт.). С. 2.

Хоржеле (Chorzele) — посад Плоцкой губернии Праснышского уезда, находится в непосредственной близости к прусской границе.

...после трагической кончины генерала Самсонова... — Александр Васильевич Самсонов (1859–1914), русский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1910). В начале Первой мировой войны командовал 2-й армией. После ее тяжелого поражения в битве при Сольдау и неудачной попытки выйти из окружения близ Вилленберга А.В. Самсонов погиб (по наиболее распространенной версии, застрелился).

...области Мазурских озер. — Многочисленная группа озер на северо-востоке Польши. В 1914–1915 гг. здесь происходили кровопролитные бои между русскими и германскими войсками. С 17 августа по 15 сентября 1914 г. наступательная операция русской армии завершилась ее поражением.

...были получены через А.И. Гучкова. — Александр Иванович Гучков (1862–1936), российский политический деятель; председатель III Государственной думы, депутат Думы (1907–1912), член Государственного совета Российской империи (1907 и 1915—1917); военный и морской министр Временного правительства (1917). Во время войны был особоуполномоченным Красного Креста на фронте. В 1915–1917 гг. он председатель Центрального военно-промышленного комитета, в 1917 — военный и морской министр Временного правительства России (см.: Седова Я.А. Великий магистр революции. М., 2006; *Сенин А.С.* Александр Иванович Гучков. М., 1996).

Прасныш (Przasnysz) — уездный город Плоцкой губернии. Праснышская операция — крупное сражение на Восточном фронте Первой мировой войны. Немцы, заняв Прасныш, вынуждены были через два дня в спешке и с большими потерями оставить его, отве-

сти свои войска на укрепленные позиции к государственной границе: им не удалось нанести поражение русским армиям, сосредоточенным на млавском направлении.

...подвигаются к Пултуску... — Пултуск (Pułtusk) — небольшой (безуездный) город Варшавской губернии.

В русской Галиции

Голос (Ярославль). 1914. № 225 (1 / 14 окт.). С. 2.

Галиция — историческая область, расположенная в Восточной Европе (конец XVIII — начало XX в.); примерно соответствует территории современных Иваново-Франковской, Львовской и западной части Тернопольской области Украины, Подкарпатского и большей части Малопольского воеводства Польши. В период Первой мировой войны Галиция стала театром боевых действий. К осени 1914 г. российскими войсками была занята практически вся Восточная Галиция и часть Западной, создано Галицийское генерал-губернаторство. Российское правительство планировало в дальнейшем интегрировать восточную часть Галиции в состав непосредственно России, а западную Галицию — в состав Царства Польского.

...из «Лагеря Валленштейна» Шиллера! — «Лагерь Валленштейна» — первая часть драматической трилогии Фридриха Шиллера «Валленштейн» (1799), посвященной периоду Тридцатилетней войны в Европе (1618–1648). Обращение Брюсова к этому произведению не случайно: Тридцатилетняя война впервые затронула практически все государства Западной Европы.

Ярослав (Jarosław) — город в Польше на реке Сан (правый приток Вислы), был взят русской армией 8 сентября 1914 г.

Перемышль (Пшемысль, Przemyśl) — пограничный город на реке Сан. После раздела Польши попал во владения Австро-Венгрии как часть Галиции. Еще до Первой мировой войны превратился в военную крепость с внешним кольцом укреплений в 45 км. В 1914 г. в крепости было размещено 140 тыс. австрийских солдат.

...мы ничего из Львова не получим... — Львов (Lwów) в начале Первой мировой войны (сентябрь 1914) был завоеван русскими войсками и до июля 1915 г. являлся центром Галицийского генерал-губернаторства, пока снова не был занят австро-венгерскими войсками.

...получаю сдачу двугривенными и пятиалтынными. — Двугривенный — народное название русской разменной монеты достоинством в 20 коп., чеканилась из серебра; пятиалтынный (пять алтынов) — монета достоинством в 15 коп. (в народе называлась пятиалтынник), чеканилась из серебра.

...бризантные и шрапнельные снаряды... — Бризантные, т. е. «дробящие», снаряды использовались для взрыва твердой среды, сооружений; шрапнельные — для уничтожения живой силы противника; особенность снаряда в том, что подрыв его происходит только после того, как он пролетит некоторое расстояние.

После великой Галицийской битвы... — Имеется в виду одно из крупнейших сражений Первой мировой войны между русской и австро-венгерской армиями в Галиции и Польше 5(18) августа — 8(21) сентября: на 400-километровом фронте с обеих сторон участвовало около 2 млн человек и до 5 тыс. орудий; в результате русские войска заняли почти всю восточную Галицию, осадили Перемышль.

...вокруг моста через Вепрж... — Город Цеханов располагался на реке Вепрж (Wieprz), впадающей в Вислу, в пределах Люблинской губернии.

...«этапный комендант»... — Должность этапного коменданта в военное время была введена для заведования каждым этапом (территорией). На занятых территориях, впредь до учреждения особого гражданского управления, ему подчинялись все местные органы администрации и полиции.

Говорила она только по-русински... — Речь идет о языке русинов — группы восточнославянского населения, проживающей в Закарпатье, юго-восточной Польше, на землях Словакии и Румынии.

...украинский нашей Малороссии. — Возникший в XIV в. термин Малороссия сначала применялся по отношению к Галицко-Волынской Руси, но в XVII в., после воссоединения Украины с Россией, приобрел официальное значение как название Украины.

...«погнали австрийцы сражаться с русскими». — В Галиции австрийцами были сформированы подразделения Украинских сечевых стрельцов, которые воевали на стороне австрийской армии. 16 августа 1914 г. был объявлен набор в Польские легионы при австро-венгерской армии, созданные по инициативе польских националистических деятелей проавстрийской ориентации во главе с Ю. Пилсудским.

...священников-униатов австрийцы почти везде арестовали... — Речь идет об униатской церкви католиков, следовавших византийской литургической традиции; последователи унии, придерживаются греко-католического (униатского) исповедания и признают Брестскую унию 1596 г. о слиянии католической и православной церквей под главенством римского папы.

...край Романа Галицкого... — Роман Мстиславич Галицкий, или Роман Мстиславич Великий (1150–1205), князь новгородский, волынский, галицкий, великий князь киевский. Галицко-волынский летописец титулует его «самодержцем всея Руси» и называет также «царем всей Русской земли».

...под сильным влиянием В. Бобринского... — Владимир Алексеевич Бобринский (1868–1927), русский политический деятель, монархист, член II–IV Государственной думы, лидер неославянского движения (в 1907 г. создал Галицко-русское благотворительное общество, в 1908 г. участвовал в славянской конференции в Праге, поддерживал русское движение в Прикарпатской Руси, субсидировал русскую прессу в Австро-Венгрии). С августа 1914 г. участвовал в боях (награжден орденом и произведен в поручики), в 1915 г. вернулся к парламентской работе.

Грозные дни Варшавы

Голос (Ярославль). 1914. № 240 (18 / 31 окт.). С. 2.

...таубе, голубь — название того типа монопланов, которым пользуются немцы... — См. комментарий к статье «Немцы над Варшавой».

...специальные мортиры... — Артиллерийское орудие с коротким стволом, предназначенное главным образом для разрушения особо прочных оборонительных сооружений.

Это русский «ньюпорт» поднимался... — «ньюпортом» по имени французского летчика и авиаконструктора Эдуарда Ньюпорта (Nieuport, 1875–1911) называли модель французского

истребителя; на 1916 г. этот самолет считался одним из самых современных, был на вооружении войск Франции, России, Великобритании, Бельгии и Италии.

Тарчин (*полск*. Tarczyn) — город в центральной Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Паломничество на поля битв

Голос (Ярославль).1914. № 243 (22 окт./4 нояб.). С. 2.

...под Пясочной, под Блонями, под Прушковом… — Населенные пункты, небольшие польские города, расположенные, подобно Тарчину, недалеко от Варшавы.

...и 17 нижних чинов... — К нижним чинам в Российской армии периода Первой мировой войны относились: зауряд-прапорщик, подпрапорщик, фельдфебель (вахмистр), старший и младший унтер-офицеры, ефрейтор (бомбардир, приказный), рядовой (канонир, казак).

На левом берегу
‹I.› По личным впечатлениям и рассказам очевидцев

Голос (Ярославль). 1914. № 268 (20 нояб. / 3 дек.). С. 2.

...когда во всей нашей Польше не останется ни одного неприятельского солдата… — Вторжение русских в Верхнюю Силезию и взятие Западной Галиции и Кракова приводило, помимо полного разобщения Германо-Австрийского фронта, к разорению областей, важных в военно-промышленном отношении. Эти обстоятельства заставили германо-австрийцев напрячь наличные силы для удержания русских, хотя бы временно, в пределах левобережной Польши.

В результате сражения в левобережной Польше план глубокого вторжения русских в Германию был сорван, но вместе с тем и план немцев уничтожить русскую армию не был реализован. Обе стороны пришли к большому истощению и вынуждены были перейти к позиционной войне. Австро-Венгерская армия оказалась малопригодной к активным действиям.

Сохачев (Sochaczew)*, Каминки* (Kamenki)*, Петроков* (Petrokov)*, Радом* (Radom)*, Прушков* (Prushkov)*, Лодзь* (Łódź)*, Сувалки* (Suwałki)*, Ченстохов* (Częstochowa)*, Гадоне* (Gadon)*, Гройцы* (Grojcy) — названия больших и малых (губернских и уездных) польских городов и местечек, позволяющих представить границы военных действий.

Пфенниг — разменная германская монета, равная 1/100 марки.

На левом берегу
II

Голос (Ярославль). 1914. № 270 (23 нояб. / 6 дек.). С. 2.

Военный комендант (гарнизона) — должностное лицо, обязанное осуществлять руководство комендантской службой: прежде всего, поддерживать военную дисциплину, орга-

низовывать контроль за поведением военнослужащих на улицах и в иных общественных местах.

...император Вильгельм... — Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, 1859–1941), германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 г.; приходился кузеном королю Великобритании Георгу V и императору Российской империи Николаю II; Первая мировая война завершила его царствование.

На левом берегу
(Окончание)

Голос (Ярославль). 1914. № 271 (25 нояб. / 8 дек.). С. 2.

...обстрел Красного Креста... Красный Крест — международная организация, основная цель которой — предотвращать и облегчать страдания людей. Женевская конвенция (1864), подписанная делегациями 12 стран, основной целью имела предотвращение и облегчение участи больных и раненых воюющих армий на поле боя, оказание помощи военнопленным. Красному Кресту она давала право наблюдать за условиями содержания пленных, за гуманным отношением к раненым, предусматривала нейтралитет персонала медицинских служб вооруженных сил и помогающих им граждан.

Ковно (Kowno) — официальное название города Каунас в Литве до 1917 г.

Аттила — вождь племени гуннов, знаменитый завоеватель и символ жестокого завоевателя.

Бои под Ловичем
(По моим впечатлениям)

Голос (Ярославль). 1914. № 274 (28 нояб. / 11 дек.). С. 2.

Лович (Łowicz) — уездный город в Варшавской губернии. 16 (3) декабря длительное Ловичское сражение, несмотря на усилия русских (попытки атаковать и отчаянную защиту), было выиграно германцами, не прибегавшими к организации сильных ударов, но действовавшими своей многочисленной артиллерией, хорошо снабженной боевыми припасами.

...Грохочут пушки. Дым багровый... — Цитируется Песнь 3-я из поэмы «Полтава» А.С. Пушкина.

Гурдов

Голос (Ярославль). 1915. № 60 (14 / 27 марта). С. 2.

Гурдов — см. подробнее в примечании к статье «Мимоходом. Один из героев».

...беря уроки у знаменитого Вержбиловича... — Вержбило́вич Александр Валерианович (1849/50–1911), русский виолончелист, профессор Петербургской консерватории; играл в оркестрах Итальянской оперы (с 1877) и Мариинского театра (1882–1885).

Пабианицы — или Пабьяни́це (Pabianice) — город в Лодзинском воеводстве, недалеко от Лодзи.

На улицах Перемышля

Голос (Ярославль). 1915. № 75 (3 / 17 апр.). С. 2.

...генерал Кусманек... — Герман Кусманек фон Бургнойштедтен (1860–1934), австро-венгерский генерал-полковник. В январе 1914 г. назначен комендантом крепости Перемышль; с начала Первой мировой войны осуществлял энергичные действия по укреплению ее обороны, руководил обороной. После взятия крепости русскими был пленен.

Швабы — немцы (Швабия — историческая область на юге Германии).

Подготовка текста и комментарии Г.В. Мурзо

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Корреспонденции в газете «Русские ведомости»

1915

Мимоходом

V. Неделя о подарках

— Какие теперь бои! Теперь неделя о подарках! — говорил нам шутя бородатый полковник М. на станции ***, когда мы расспрашивали его о последних боевых столкновениях.

Полковник, конечно, преувеличивал: бои далеко не прекратились. Но громадное большинство «подарков солдатам» действительно было направлено в армию ко дню нашего Рождества (по старому стилю), так что они прибывали, одни за другими, сплошь целую неделю. В [...], например, я приехал вместе с представителями петроградской еврейской общины, приславшей сюда два вагона подарков (из общего числа пяти вагонов, собранных ею). Накануне уже пришли в [...], тоже из Петрограда, два вагона с подарками от другой организации. Вслед за нами ждали два вагона, которые сопровождала г-жа Сухомлинова, супруга министра. А спустя несколько дней сюда же должны были прибыть еще два вагона из «дара Москвы»... На маленькой станции это давало впечатление непрерывного потока подарков. День за днем приходилось принимать, распределять, распаковывать, раздавать...

Сначала кажется, что даже два вагона — огромное количество вещей. Пересматривая списки, в которых значатся сотни и тысячи фуфаек, теплых кальсон, носков, жилетов, башлыков, рукавиц и т. п., десятки и сотни пудов чая, сахара, сгущенного кофе со сливками, шоколада, карамели и т. п., миллионы папирос, кисетов с табаком, пачек махорки и т. д., и присутствуя при выгрузке из вагона бессчетного числа ящиков всяких форм и величин, думаешь, что этим можно оделить целую армию. Весьма скоро, однако, на опыте уверяешься, что всего этого — вовсе не так много, или, вернее, узнаешь, что потребность в армии в разных вещах так велика, что никакая щедрость не будет для нее чрезмерной.

Разумеется, всем необходимым наша армия обеспечена: Россия — не Турция. Но за пределами «необходимого» есть много такого, без чего обходиться человеку если не «трудно», то «грустно». В объявлениях и призывах к пожертвованиям Красного Креста, Всероссийского союза городов, московского городского управления и других было достаточно убедительно рассказано, как во многом еще нуждаются наши

солдаты. Там необходима обувь, там — теплое белье, там — консервы, соль, чай, сахар; везде — табак; всем — какие бы то ни было лакомства, скрашивающие однообразный казенный паек. Наконец, везде и всем нужен самый факт подарка как знак, что Россия помнит о своей армии, а не повернулась к ней спиной, послав солдат биться с врагом, а сама занявшись своими обычными делами. «Подарки солдатам», рождественские и всякие другие, бесспорно, дело нужное и хорошее.

И вот, как только в [...] мы приступили к распределению подарков, так тотчас обнаружилось, что два вагона поистине — «капля в море». Представители еврейской общины, приехавшие с подарками, получили в штабе корпуса указания, каким именно частям войск подарки должны быть розданы. Несмотря на то офицеры разных полков то и дело обращались ко всем нам с просьбой похлопотать в штабе, чтобы и на долю их частей что-нибудь досталось. [...] «Наш эскадрон только что вернулся из боя, — говорил другой, — все солдаты обносились; пока-то выдадут новые вещи, а надо сейчас, сию минуту, кому башлык, кому шапку, кому белье»... «Жалко солдат, — просил третий, — сколько тысяч верст проехали и — прямо в бой: хочется порадовать их хоть табаком, нельзя ли уделить и нам сколько-нибудь?» Как было отказывать на такие просьбы!

С нами было два миллиона папирос: количество, казалось бы, громадное. [...] Между тем папиросы — единственная доступная и позволительная солдатам роскошь в тяжелой походной и окопной жизни. И курящим нужны папиросы не как случайное лакомство, а на каждый день, постоянно... Что же составляли наши «два миллиона»? Они должны были «дымом развеяться» еще до окончания праздников!

Позднее мне пришлось участвовать в отправке и раздаче подарков солдатам в разных других пунктах. Везде было то же, что и в ***. Несмотря на то что «неделя подарков» праздновалась по всему фронту, несмотря на то что ежедневно прибывали все новые и новые вагоны с подарками со всех концов России (известно, например, что один «дар Москвы» составлял целый поезд в 30 вагонов), — всюду потребность превышала то, что могли дать жертвователи. Всюду представители полков обращались с просьбой не обойти и их части, и было что-то глубоко трогательное в этой заботе офицеров о своих солдатах, в желании помочь им и порадовать их подарком, пришедшим из глубины России.

Раздаче подарков способствовало боевое затишье, наступившее за последние дни на всем фронте. Затишье это пришло как-то неожиданно. Перед рождественской ночью по новому стилю на многих позициях наши солдаты обращались к офицерам с просьбой — не тревожить в этот день немцев, дать им мирно встретить праздник. «Они хоть нам и враги, но все-таки праздник у них великий», — так приблизительно рассуждали солдаты. Этот великодушный порыв был жестоко обманут. Отодвинув утомленные войска в тыл, немцы именно в свой сочельник подвели на позиции свежие силы и во многих пунктах предприняли, не считаясь с праздником, ряд яростных атак. Может быть, немцы рассчитывали захватить нас врасплох. Как известно, этого не случилось, и все атаки были отбиты раздраженными и озлобившимися солдатами...

Можно было ожидать, что под наше Рождество повторится то же самое. Но немцы за две недели переменили свою тактику. Они временно как бы отказались от наступления и все силы устремили на укрепление своих позиций.

Вот уже четырнадцать дней, как немцы почти только и делают, что исправляют свои старые окопы, оставшиеся от первого похода на Варшаву, роют новые, возводят форты, протягивают сети колючей проволоки. Если такая работа будет продолжаться, немцы отгородятся в Польше такой же заставой, какой они прикрыли себя во Франции, «зароются в землю», как кроты. Уже теперь почти протянулась живая цепь людей от Балтийского моря до Карпат, и военные действия на нашем фронте грозят принять ту новую форму, которую окрестили именем «позиционной войны»...

Как бы то ни было, эта новая тактика немцев повела к тому, что праздники прошли сравнительно спокойно. В двух-трех пунктах предпринимались, правда, атаки и в сочельник, и в первый день Рождества, но то было исключением. В том районе, где пришлось встретить Рождество мне (на станции ***), господствовало затишье полное. Это и дало полковнику М. говорить шутя, что никаких боев нет, есть только подарки. А один солдат, ветеран японской войны, смущенный бездействием немцев, серьезно уверял меня, что это «неспроста». [...] Наша разведка к тому же обнаружила и заметное ослабление сил противника в этом районе...

Благодаря этому боевому затишью раздача рождественских подарков обратилась везде в настоящий «праздник». Солдаты успели несколько отдохнуть от беспрерывных боев, могли хорошенько помыться, приоделись по-праздничному. Всей нашей армией овладело не то что доброе расположение духа, но прямо какое-то детски-праздничное настроение, и подарки принимались солдатами тоже с чисто детской радостью. Так, где удавалось лично присутствовать при раздаче, нельзя было не чувствовать себя тронутым, видя, как эти испытанные, уже закаленные в боях уральцы, сибиряки, донцы, дети всех русских губерний, привыкшие стоять под гранатами и идти в бой под дождем шрапнели, словно толпа школьников, теснились вокруг раздающего, тянули руки, стараясь попасть в первые ряды. Напрасно офицеры добродушно-суровыми окриками пытались удержать солдат, напоминая им, что подарков хватит на всех: каждому хотелось поскорее получить свой кисет, свою пачку папирос, свой мешок с бельем. Выходила теснота, давка, люди ругались между собой, но видно было, что всем весело, — мало того, — что все счастливы.

Сотни тысяч открыток, нацарапанных непривычной рукой, скоро разнесут солдатскую благодарность по всей России. Но и те, которые не сумеют или не смогут выразить своей благодарности письменно или не будут знать, кому ее адресовать, наверное, так же глубоко выскажут ее без слов, раскуривая подаренную папиросу или надевая свежую фуфайку на грудь, может быть уже не раз оцарапанную осколком шрапнели. Надо еще раз представить себе боевую жизнь солдата: дни в сыром, мерзлом окопе, постоянные перестрелки, заставляющие все время до крайности напрягать нервы, ночные атаки немцев, любящих прикрывать свои нападения темнотой и туманом, беспокойный сон в течение 2–3-х часов, не более, — надо еще раз представить себе все это, чтобы понять, какую радость могут принести рождественские подарки. Грозная и вместе с тем однообразная жизнь на войне развивает в человеке полное равнодушие к смерти как к слишком обычному явлению; но эта жизнь делает и особенно чувствительным к малейшей радости, нарушающей монотонность дней, превращает самое маленькое радостное событие в какое-то

огромное счастье. Право, не всегда дети так радуются первой елке, как радовались иные солдаты, получая свои подарки, пришедшие к ним от неизвестных, далеких друзей.

Жертвователи могут быть довольны и сознавать себя удовлетворенными. Они достигли именно того, к чему стремились: внесли «луч света» если не в «темное царство», то в сумрачную, суровую обстановку боевой жизни солдата. Пусть знают жертвователи, что все ими присланное пошло на пользу и принесло свою долю радости. Солдат почувствовал себя не одиноким, не забытым, понял, что за его трудами, тяготами и лишениями с сочувствием следит вся Россия. Это, быть может, — самое важное, и ради одного этого стоит и должно посылать «подарки». Будем помнить, что велика наша армия, как велико и ее дело, и постараемся, чтобы каждому солдату достался хотя бы один «подарок», чтобы не осталось ни одного обделенного, обойденного вниманием. Но чтобы исполнить этот наш долг, нужно еще много и много «вагонов». Будем же неустанно отправлять их, посылая наш привет и нашу благодарность тем, кто защищает и нас самих, и все будущее России.

Варшава, 29 декабря

Немецкие оправдания

Совершив свое разбойничье нападение на Бельгию, опустошив и разграбив ее и объявив (пока еще неофициально) все королевство присоединенным к Германской империи, немцы стали post factum подыскивать оправдание своему поступку. Заняв Брюссель, они перерыли все оставшиеся там архивы, стараясь найти документы, которые можно было бы истолковать как нарушение Бельгией ее нейтралитета. В конце концов поиски увенчались известным успехом: нашелся документ, которому немецкая изворотливость постаралась придать желательный немцам смысл. Тотчас на стенах домов в Брюсселе и в других больших бельгийских городах появились огромные афиши-объявления. Немцы оповещали бельгийцев и весь мир, что уличили Бельгию в предательстве. Оправдание преступлению было найдено, и немцы порешили, что отныне они могут спать спокойно (как-никак, их должно было смущать сознание, что все человечество видит в Германии преступную нарушительницу трактата, ею самой подписанного!).

В чем же, однако, состоит это оправдание? Что за документ разыскали немцы в разгромленных ими брюссельских архивах? Некоторое время это оставалось неизвестным, так как немецкие сообщения отличались крайней неопределенностью. Говорили о каком-то договоре с Францией, по которому Бельгия соглашалась пропустить через свою территорию французские войска в случае войны с Германией. Теперь дело вполне выяснено, и я имею возможность на основании самых достоверных источников изложить его подробности.

В 1906 году английским военным представителем (атташе) в Брюсселе был полковник Бернардистон. Ему понадобились различные сведения о бельгийской армии. То было как раз время, когда в Бельгии проводились некоторые военные реформы, имевшие целью увеличить численность армии. Бернардистон, не желая пользовать-

ся какими-либо косвенными путями, обратился непосредственно к генералу Дюкарну, начальнику генерального штаба при военном министерстве. На расспросы английского военного представителя генерал Дюкарн откровенно объяснил, что отныне состав бельгийской армии будет доведен до 180 000 человек, что мобилизовать ее можно будет в 4 дня (все это подтвердилось в настоящую войну) и т. п. В конце беседы полковник Бернардистон сказал:

— Кроме того, в случае нападения на вас вы можете рассчитывать, что Англия пошлет на помощь Бельгии экспедиционный корпус в 100 000 человек.

— Благодарю вас, — ответил генерал Дюкарн, — но это будет, конечно, в том случае, если Бельгия сама попросит о помощи.

Надо заметить, что в Бельгии существовало два разных взгляда на характер ее, гарантированного ей державами и *обязательного для нее* нейтралитета. Одни считали, что державы, *обязав* Бельгию (при акте признания нового королевства) сохранять вечный нейтралитет, в то же время взяли *на себя* обязанность защищать его. С этой точки зрения Бельгия в случае нападения на нее должна была ограничиться формальным протестом, сама не действовать (так как «состояние войны» противоречит понятию вечного нейтралитета) и ждать помощи со стороны держав, подписавших трактат о ее независимости. Другие, напротив, считали такой образ действия постыдным и недостойным суверенного государства. По их убеждению, Бельгия должна была своими собственными силами, с оружием в руках защищать свой нейтралитет (который должен пониматься только как воспрещение вести войны агрессивные): под Льежем — от Германии, под Намюром — от Франции, под Антверпеном — от Англии. Эти убеждения разделял король Леопольд II, говоривший, что бельгийская армия невелика, но зато невелика и территория, которую придется оборонять этой армии. На той же точке зрения стоял и генерал Дюкарн, чем и объясняется его горделивый ответ полковнику Бернардистону.

Во всяком случае, в 1906 году между Дюкарном и Бернардистоном проходил только разговор. Хотя оба они занимали высокое ‹положение› при своих правительствах, ни тот, ни другой не были облечены полномочиями заключать какие-либо договоры между двумя государствами. Оба высказали свое личное мнение и ничего больше.

Но несколько дней спустя генерал Дюкарн счел своим долгом сообщить о своем разговоре с английским представителем — военному министру. Был составлен доклад, в котором подробно излагался весь разговор и между прочим приводились слова Бернардистона о помощи со стороны Англии армией в 100 000 человек. Этот-то доклад и был найден немцами при их усердных «раскопках» в брюссельских архивах, и на нем-то Германия основала все свое оправдание.

Urbi et orbi афишами-объявлениями, расклеенными по всей Бельгии, немцы объявляли, что еще в 1906 году бельгийцы заключили военный союз с Англией, явно направленный против Германии. Следовательно, — умозаключили немцы, — Бельгия сама, первая, нарушила свой нейтралитет, и немцы имели право не считаться с ним. Пренебрегши гарантированным нейтралитетом, ища помощи у одной из держав, Бельгия сама отказалась от защиты международного трактата, и потому Германия права, воюя с ней и поступая с ней как с завоеванной страной.

Опровергать немецкие доводы вряд ли стоит. Во-первых, международные договоры не заключаются военными представителями и начальниками штабов. Во-вторых, обещание помощи в случае нападения не есть вступление в военный союз. В-третьих — и это самое важное, — немцам, когда они нападали на Бельгию, нарушая подписанный их же правительством трактат, даже этот пресловутый доклад генерала Дюкарна еще не был известен. Следовательно, преступление немцами все же было совершено. И то обстоятельство, что для оправдания его немцами приходится ссылаться на столь ненадежные доказательства, только подчеркивает, как трудно Германии найти вообще какое-либо оправдание.

Пока не был известен характер документа, на основании которого немцы говорили о военном союзе, будто бы существовавшем между Бельгией и Англией, оставалось место для некоторых сомнений. Можно было думать, что Бельгия действительно искала поддержки в Англии, зная определенное решение Германии — силой провести свои войска в случае войны с Францией через бельгийскую территорию. В настоящее время, когда выяснилось, что это за документ, можно твердо говорить, что преступление Германии не имеет никаких оправданий: это просто — разбойничье нападение более сильного на более слабого. И лицо, сообщившее мне данные, изложенные в моей заметке, и прекрасно осведомленное в делах Бельгии, уверенно говорило мне:

— Честность — отличительное свойство бельгийцев. Бельгия дала слово соблюдать нейтралитет и всегда соблюдала его, хотя не всегда это было ей легко и выгодно. Никаких военных договоров ни с кем Бельгия не заключала. Пусть немцы перероют все архивы всех стран, они не найдут никакого документа, который действительно оправдал бы хоть в слабой мере их неслыханное поведение, возбудившее негодование всего мира.

С подарками
Поездки на передовые позиции[1]
I. Ночной бой

Началась наша поездка с того, что мы заблудились. Как ни странно и не смешно заблудиться, путешествуя в автомобиле, в 30-ти верстах от Варшавы словно в каком девственном лесу, но положение наше оказалось не из приятных. Была ночь; небо в облаках; темь такая, что уже в пяти шагах все исчезало; автомобильный фонарь едва освещал сажени две впереди. Шоссе было нами утеряно, и наш

[1] Как известно (см., напр., мою заметку «Неделя о подарках»), в течение рождественских праздников по всему нашему северо-западному фронту беспрерывно развозились подарки солдатам, пожертвованные и собранные различными организациями. Благодаря любезности представителей некоторых из этих организаций я имел возможность принять участие в ряде поездок на передовые позиции, предпринятых для распределения и раздачи подарков. Так, напр., по приглашению О.О. Гузенберга я участвовал в поезде представителей петроградской еврейской общины; по приглашению г-жи -вой — в поездке с подарками, собранными для 220-го С-аго полка (который, кстати сказать, просил и меня повторить выражения его благодарности жертвователям: комитету по снабжению передовых позиций табаком, всероссийскому земскому союзу, т-ву И.Д. Сытина, т-ву А.И. Абрикосова С-вей, М.Н. Бостанжогло и др.); развозил также подарки, которые ‹предназначались› некоторым лицам и учреждениям.

мотор подпрыгивал по мерзлым рытвинам проселка, похожим на гряды в полях с клубникой. Местами встречались огромные выбоины с водой, затянутые тонким ледком. Когда автомобиль попадал в них, надо было выходить и, стоя в глубокой грязи, налегая плечом, вытаскивать машину собственными силами. От встречных польских крестьян нельзя было добиться никакого толку. Одни на все расспросы отвечали коротко: «Не веем» (не знаю), другие уверяли, что до шоссе «две версты не полные» и должно ехать «просто» (прямо); третьи — что должно повернуть назад и до шоссе «две мили» (14 верст), и т. д. В конце концов мы положились на волю случая и предоставили автомобилю прыгать по буграм и обледенелым колеям в надежде, что машина выдержит испытание, а большая дорого куда-нибудь приведет.

Конечно, мы были сами виноваты в своих злополучиях. По разным причинам мы выехали из Варшавы сравнительно поздно, часов в 5 дня. На беду шофер попался с местностью незнакомый. Уже в дороге выяснилось, что он намерен везти нас в N (цель нашей поездки) кружным путем, так что пришлось бы сделать верст 50 лишних. Мы запротестовали, справились при свете электрического фонарика с автомобильной картой Польши (Carte ‹*нрзб.*› — великолепное издание автомобильного клуба) и заставили свернуть на другую дорогу, гораздо более близкую. Однако эта близкая дорога имела тот недостаток, что по ней надо было сделать версты три проселком. Попав на проселок, мы, очевидно, ошиблись где-нибудь поворотом и уже не могли выбраться на шоссе: проехали не три версты, а, может быть, 10 или 12 верст, но местность кругом становилась только глуше и безлюднее. Стоило автомобилю совсем застрять в одной из выбоин, и мы принуждены были бы заночевать в поле.

И вот тогда, когда мы досадовали сами по себе и на весь мир, неожиданно довелось нам стать свидетелем исключительного зрелища, грозного и торжественного. Вздорные невзгоды пути, разумеется, позабудутся скоро, он та картина, которую мы тогда увидели, сделает для нас навсегда памятной ту ночь. И вряд ли нам удастся наблюдать то же самое второй раз в жизни…

Внезапно слева от нас на горизонте вспыхнул свет и на миг, как молния, озарил пустынное, беспредельное поле с редкими кучами деревьев. Тотчас за тем до нас докатился раскат отдаленного залпа. За первой вспышкой последовала другая, третья… То по всему нашему фронту загорался (для нас в буквальном смысле «загорался») бой. Словно зарницы, «что ведут беседу меж собой», стали сверкать белые озарения на громадном протяжении кругозора. Там и здесь над далью стали вырываться столбы красноватого пламени. Розоватые огоньки как гигантские «римские свечи» взлетали ввысь. Иногда тьму прорезывала еще сигнальная военная ракета, строгая, белая, не рассыпающаяся искрами, как ракета увеселений. Раза два по сумраку пробегал широкой полосой сноп света прожектора и, описав полукруг, исчезал под горизонтом. Казалось, что вся твердь полыхает, колыхается, сверкает разноцветными лучами… Забыв на минуту, что эти огни — отсветы боя, в котором гибнут десятки и сотни человеческих жизней, мы все невольно обернулись в одну сторону и залюбовались зрелищем небывалого, грандиозного фейерверка.

Мы знали, конечно, что дорогой ценой куплена красота этого небесного пожара. Белые вспышки были выстрелы тяжелых орудий; красноватые языки пламени — полеты гранат; взлетающие ввысь розоватые огоньки — разрывы шрапнелей. В ту ночь немцы еще раз пробовали перейти Равку; поддерживаемые своей артиллерией, они пытались навести мосты и шли вброд через студеную декабрьскую воду. Наши войска встречали неприятеля ответным огнем; тяжелые орудия «нащупывали» вражеские батареи и «заставляли их замолчать», прожекторы обнаруживали тайные передвижения отрядов, ракеты подавали сигналы с одной позиции на другую и т. д. … То, что для нас представлялось как грозная, но величественная иллюминация, было одним из тех титанических боев, которые более не изумляют, не потрясают лишь потому, что повторяются ежедневно. И на другой день нам предстояло прочесть в донесении штаба Верховного Главнокомандующего лаконические, но много значащие слова: «В течение ночи 29-го декабря продолжались ставшие обычными за последнее время попытки немцев атаковать небольшими частями отдельные участки нашего расположения. Однако все эти атаки легко отбиваются нашим ружейным и артиллерийским огнем с нанесением противнику крупных потерь».

Долго не могли мы оторвать глаз от картины ночного боя… Между тем наш автомобиль уже выбрался на настоящую дорогу и плавно покатился по шоссе между двумя рядами частью срубленных, частью уцелевших ветел. Потом впереди нас замелькали более скромные огоньки в окнах домов. То был Ж., городок, в котором можно было найти приют на ночь. Через несколько минут мотор запрыгал уже по мостовой «главной улицы». Согласно с местными порядками надо было ехать к этапному коменданту, чтобы получить разрешение заночевать в городе. После того надо было разыскать себе помещение, так как два городских «отеля» были, конечно, переполнены. Чуть ли не чудом нашлись две свободные комнаты в местном клубе, превращенном на время войны в гостиницу и ресторан. Но и на улицах, и за ужином, и в постели нас все еще преследовали звуки пальбы. Так мы и заснули под отдаленную канонаду, а над полями небо продолжало пылать и колыхаться…

Позднее мы узнали, что бой длился всю ночь и стих только к 4 часам утра.

Варшава 3-е января

С подарками
Поездки на передовые позиции
II. В сфере огня

Ночь мы провели в Ж., маленьком городке, непосредственно за которым проходит «третья линия» наших окопов и уже начинается сфера военных действий. Приехали мы темной, ненастливой ночью, но к утру погода «разгулялась». День выдался ясный, светлый, опять словно апрельский, и на нежно-голубом небе не виднелось ни облачка. Однако это не было залогом безопасности пути: если темные ночи служат немцам для атак на наши позиции, то ясными днями они пользуются для воздушных разведок и нападений.

Утром нам надо было сделать несколько поездок по городу: кое-что закупить, получить сведения от этапного коменданта о местонахождении полка, в который мы везли подарки, узнать на железнодорожной станции о судьбе самого вагона с подарками. И едва мы выехали на «главную улицу», как уже увидели над своими головами два немецких аэроплана. Паря на умеренной высоте, немцы спокойно кружили над городом, что-то высматривая или выбирая подходящее место, чтобы сбросить свои бомбы и стрелы[1]. Прохожие не без опасения поглядывали на залетевших «голубей», и более предусмотрительные укрывались под воротами и в магазинах. С окраин города слышался треск ружейных выстрелов; солдаты усердно обстреливали летающих немцев.

Пока мы ездили по Ж., немецкие аэропланы упорно держались над городом. И приблизительно в то время, когда мы отправились дальше, в Г., где стоял штаб разыскиваемого нами полка, немцы также полетели в том же направлении, параллельно шоссе. Нельзя сказать, чтобы эти незваные спутники были нам особенно по сердцу. Но нас успокаивало сознание, что воздушные разбойники вряд ли станут тратить запас своих бомб на случайный автомобиль, попасть в который на ходу было к тому же весьма затруднительно.

Несколько верст мы ехали, сопровождаемые аэропланами. Потом «голуби» скрылись из виду, но, едва мы приблизились к первым строениям Г., опять вынырнули откуда-то. К двум первым аэропланам даже присоединился еще третий, показавшийся с севера и летевший навстречу своим товарищам. По-видимому, немцы, так же как и мы, направлялись именно в Г.

Под самым городком была стоянка одного из полков: вдоль дороги тянулись прочно устроенные землянки; подальше дымились походные кухни. Едва немецкие аэропланы вместе с нами поравнялись с этим лагерем, как солдаты гурьбой побежали на дорогу. Обстрел «голубей» составляет одно из любимейших развлечений солдат. Нам было видно, как сперва один быстро вскинул винтовку, приложился, направил дуло вверх и спустил курок; за первым — другой, третий, четвертый... Со всех сторон защелкали ружейные затворы и затрещали выстрелы, порой совсем оглушая нас. Пока мы пересекали маленькое селение, пальба не прекращалась ни на миг. Можно было подумать, что мы попали в самый центр жаркого боя. Стреляли справа и слева, спереди и сзади от нас, с дороги, с дворов, с крыш домов. Теперь оставалось опасаться, как бы случайная пуля, падая обратно на землю, не оказалась для нас губительнее немецкой стрелы.

Все обошлось, однако, благополучно, и мы, под треск беспрерывных выстрелов, добрались невредимыми до здания, занятого штабом, — большого дома с колоннами, вероятно, старинной барской усадьбы. Мои спутники отправились за нужными нам сведениями, а я предпочел погулять по городку и поболтать с солдатами. К тому же у меня был с собой запас папирос, который я должен был раздать.

---

[1] Известно, что немцы бросают теперь с аэропланов не только бомбы, но и особые стрелы, последние — целым дождем, высыпая их, по-видимому, из мешка. Я видел образчики этих стрел: маленькие, вершка в три длиной, стальные палочки, с острием как у стрелы для средневекового самострела. Они рассчитаны так, чтобы всегда падать заостренным концом вниз. На каждой стреле выбита по-французски надпись в духе тяжеловесного прусского остроумия: «Fabrication allemande — invention francaise» (смастерили немцы, но изобрели французы).

Стрельба некоторое время еще продолжалась, но вскоре комендант приказал ее прекратить как бесцельную: немцы поднялись слишком высоко. С подавленной досадой опускали солдаты винтовки: было обидно, что «голуби» на этот раз увернулись от пуль, тем более что все три аэроплана, хотя и на большой высоте, не переставали чертить круги над городком. Немцы отлетали в сторону, возвращались назад, опять удалялись и появлялись вновь — вообще чувствовали себя в воздухе над Г. «как дома».

Между тем выяснилось, что они успели-таки бросить в Г. две бомбы, что при треске выстрелов многие — мы в том числе — и не заметили. По счастью, вреда бомбы не причинили: одна упала в пруд, другая — в глубокую канаву с водой. Все-таки известие о бомбах еще более раздосадовало солдат, и видно было, что у них «руки чешутся» всякий раз, как немцы подлетали поближе.

— Много их здесь летает? — спросил я у солдат.

— Да, почитай, каждый ясный день, то один, то два, а то и больше. Как нет тумана, так сейчас и летят.

Действительно, надо отдать справедливость немецким авиаторам: они свое дело исполняют ревностно, стараются использовать не только каждый ясный день, но даже несколько часов на дню, если небо проясняется.

— И бомбы бросают? — продолжал я расспрашивать.

— А то как же? Известное дело, скидывают.

— А стоит ли их обстреливать? Ведь попасть почти невозможно.

Солдаты живейшим образом запротестовали.

— Как невозможно? Попадаем! Сколько их уже посбили!

Мне стали рассказывать ряд случаев, когда удавалось «сбить» немецкий аэроплан. Недавно еще один солдат, стоя на посту и охраняя мост поблизости от Г., заметил, что немецкий летчик упрямо кружит над этим местом. Вероятно, немец намеревался взорвать бомбой мост. Солдат выстрелил и так удачно, что первая же пуля попала летчику в шею. Он потерял способность управлять своим аппаратом, и аэроплан рухнул на землю. Солдата представили к награде.

Об этом случае солдаты передавали мне с завистью. Вообще им доставляет видимую радость рассказывать о том, как русскому человеку удавалось одолеть летающего немца. К аэропланам они чувствовали особую неприязнь и, кажется, были глубоко убеждены, что летание по воздуху — специально немецкое дело, чуть ли не нечестивое. Я напомнил, что у нас также есть свои летчики-офицеры, не уступающие немцам.

— Оно, конечно, есть... — согласились солдаты, но как-то неохотно[1].

Я спросил еще солдат, как они чувствуют себя после пятимесячной войны.

— Надоело стоять на месте, ваше благородие, — ответил за всех один молодой солдатик, видимо «резонер» своей роты. — Как привели нас сюда, так второй месяц никуда ни шагу. Этак он (т. е. немец) невесть что об себе подумает.

— Но вам здесь спокойно, — сказал я. — Я видел, какие вы себе под городом хорошие землянки настроили.

---

[1] Известный летчик [...] в беседе со мной подтвердил мне, что наши солдаты долгое время не хотели допускать мысль, что русский человек, православный, также может летать.

Ответил мне на это тот же солдатик, притом словами, которые, право, стоят любого классического изречения.

— Нас не для спокою на войну гнали. Спокой можно и в деревне сыскать.

— Ну, брат, — остановил рассуждающего более пожилой товарищ, с повязкой красного креста на руке, — начальство лучше тебя знает, когда надо стоять, когда — идти. Тебя вот не спросили.

Все поспешили согласиться с благоразумным санитаром.

Тем временем мои спутники собрали в штабе нужные сведения. Пора было отправляться в дальнейший путь. Я должен был распрощаться со своими собеседниками. Не осталось мне времени и для того, чтобы посетить расположенный в Г. питательный пункт, как говорят, образцовый, которым заведует В.М. Пуришкевич.

Ехать нам предстояло еще версты 3–4. Разыскиваемый нами полк был расположен в окопах, но в некотором расстоянии от него находился походный госпиталь, старшим врачом которого состоял муж одной из наших спутниц (с нами ехали две дамы), г-жи -вой. В этот госпиталь мы и намеревались направиться. В штабе предупредили, что дорога к госпиталю не совсем безопасна: случается, что немецкие снаряды залетают слишком далеко и падают в этом районе. Мы, однако, решили пренебречь такими предостережениями и довести свое путешествие до конца.

До госпиталя можно было добраться двумя путями: или пешком, напрямик через поле, или в экипаже, по аллее шоссе, делающего прямой угол от города. Мы разделились на две партии: г. Федоров А.М., г-жа -ва и я пошли пешком; наша вторая спутница и шофер, взяв проводника, поехали в автомобиле. Самый госпиталь скоро стал виден: низенький, красненький домик среди деревьев. Дальше смутно обозначилась и линия окопов, откуда доносились звуки ружейных выстрелов и орудийной пальбы и взвивались иногда дымки шрапнелей. Что касается немецких аэропланов, то они, тем временем, скрылись из вида.

Пешая дорога оказалась нелегкой. Идти надо было по вспаханному полю, размытому дождями и подмороженному последними холодами. Было грязно, топко и скользко. Но опасения, высказанные в штабе, не оправдались; там, вероятно, считали нужным быть особенно предупредительными по отношению к «штатским», непривычным к огню людям. За все время нашего перехода только одна шальная шрапнель разорвалась шагах в 200 от нас, и белый, облачный комочек, поднявшись с земли, долго таял перед нашими глазами.

Около самого госпиталя нас нагнал наш автомобиль; мы опять соединились и все вместе въехали в деревню. Тут произошла встреча, более обычная в романах, нежели в действительной жизни. Муж г-жи -вой, ничего не знавший о поездке своей жены, как раз в эту минуту выходил с товарищами из дверей. Первое, что он увидел, было лицо своей жены, которую он считал если не в Москве, то в Варшаве...

Описание таких встреч должно предоставить новеллистам. Во всяком случае цель нашего путешествия была достигнута. Мы разыскали полк, которому везли порученные нам подарки, и были около самых «передовых позиций», уже в «сфере огня».

4 января, Варшава

С подарками
Поездки на передовые позиции
III. Походный госпиталь

Походный госпиталь, предложивший нам гостеприимство, помещался в деревне Ч., в маленьком домике, три комнаты которого были отведены для раненых, а четвертая служила медицинскому персоналу приемной, столовой и спальней. В день нашего приезда там собралось сравнительно большое общество: старший врач, его помощник, пришедший их навестить врач с соседнего пункта, полковой священник и четверо нас, приезжих. На позициях, где люди как бы отрезаны от всего мира, все быстро сходятся между собой. На столе появилась закуска, чай, и через несколько минут мы беседовали как давние знакомые.

Разговор, конечно, сразу перешел на единственную тему нашего времени — на войну, в частности — на положение дел в районе Ч. Военные врачи в общем высказали, только другими словами, то же самое мнение, которое я уже слышал от солдат в Г.

— Надоело стоять на одном месте. Второй месяц никакой перемены во взаимных отношениях двух армий. Немцы все глубже зарываются в землю. Война грозит перейти в «позиционную». Тогда будет слишком трудно выбить немцев из их позиций, и для этого потребуются огромные жертвы.

Роль благоразумного советника здесь взял на себя батюшка. Он напомнил, что наш штаб знает, что делает. Вероятно, найдутся средства сломить упорство немцев, и не атакуя их с фронта.

Впрочем, врачи напрасно жаловались на однообразие положения. За самые последние дни немцы именно в районе Ч. предприняли несколько отчаянных атак, напоминавших ноябрьские дни. В нескольких пунктах немцы даже овладели нашими окопами, но потом контратакой были опять выбиты. Характерной чертой этих атак было страшное утомление обеих сторон. Немцы до такой степени были измучены 26-тидневным, в сущности беспрерывным боем, что, достигнув наших окопов, падали в них и засыпали. В свою очередь, наши солдаты чувствовали себя настолько усталыми, что не в силах были напасть немедленно на сонного врага. Только после некоторого отдыха они предпринимали контратаку, опрокидывали и прогоняли немцев.

Бои в районе Ч. входят как часть в общий план нового наступления немцев на Варшаву. В направлении от Млавы немецкое движение потерпело полную неудачу; неприятель должен был отступить к границе. Наступать крупными силами от Торна, в направлении Серпца, немцы, не имея в своих руках переправы через Вислу, не решались: для этого надо было бы отрядить целую армию, с особым тылом, особыми резервами и т. д., которая все-таки рисковала быть отрезанной. Оставался единственный путь на Варшаву чрез Бзуру и Равку. Этим путем и попытались воспользоваться немцы, хотя таким образом им приходилось идти прямо на фронт нашей армии. Желанием немцев захватить переправу через Равку и Бзуру, обойти расположение наших сил с фланга и т. под. и объясняются все бои последнего времени, в том числе и атаки на позиции около Ч.

Я спросил старшего врача, много ли раненых проходит чрез его госпиталь.

— Это зависит от дня, — ответил -в. — Иногда всего несколько человек, легко раненых, иногда гораздо больше (он привел цифры). У нас всячески стараются беречь людей. Немецкие позиции расположены от наших в каких-нибудь 300–400 шагах. Достаточно неосторожно высунуть голову, чтобы стать мишенью для выстрелов. Поэтому солдатам приказано все время проводить или в окопах, или в землянках. Переходить с одного места на другое позволяется только по приказу или по совершенной необходимости.

В тот же день нам пришлось видеть самим, как работает госпиталь.

После чая я сел играть в шахматы с помощником старшего врача. Не сделали мы и первых ходов, как пошел денщик доложить, что принесли раненого. Оба врача тотчас встали и направились к двери, и я также вышел за ними в коридор.

Два солдата держали на носилках неподвижное тело, покрытое шинелью. Виднелись пятна крови. Раненый слабо стонал.

— Кто? — коротко спросил -в.

Солдат назвал фамилию. Врач невольно покачал головой.

Потом я понял смысл этого жеста. Ранен был молодой прапорщик, который был уверен, что ему не миновать немецкой пули или шрапнели. Каждый раз, когда доходила очередь до него идти в окопы, он думал, что *это* случится сегодня. В день нашего приезда его предчувствия сбылись. Осколок шрапнели попал ему в левую бровь. Рана была тяжелая, но врач не терял надежды не только спасти ему жизнь, но даже и сохранить глаз.

Едва могли мы возобновить партию, как опять появился денщик с тем же печальным сообщением. На этот раз раненый, солдат, пришел сам. Он получил наиболее обычную из ран — в пальцы левой руки, которая при стрельбе всегда несколько выставляется из окопа. После перевязки солдата направили в лазарет в Г.

Всего через несколько минут пришлось иметь дело с третьим раненым. На этот раз шальная пуля залетела в самый окоп и раздробила солдату плечо. От боли он не мог идти, и его повезли в тележке.

— Видимо, сегодня будет жаркий день, — сказал -в.

Действительно, число раненых все увеличивалось. Одни приходили сами, опираясь на винтовку, других приводили товарищи, некоторых привозили в особой фуре, совершавшей «рейсы» между окопами и госпиталем. Врачам было не до шахмат; надо было работать не опуская рук. В большую комнату, где делались перевязки, то и дело вводили и вносили новых пациентов. Врачи выходили оттуда с окровавленными руками. Меня при этом поразила — как то поражало и всех наблюдателей — та тишина, которая господствовала в этой комнате страданий: не было слышно ни криков, ни стонов.

Весь тот день немцы, по выражению солдат, «наседали». Не отваживаясь идти в атаку днем, они засыпали наши окопы градом пуль и шрапнели. Но наши, как сообщали раненые солдаты, приходившие с донесениями, «держались отлично» и отвечали неприятелю тем же. Нам в госпитале беспрерывно была слышна трескотня выстрелов и гул пальбы.

— Будет нам памятен день 30-го декабря! — сказал мне один из врачей, проходя мимо меня.

Жизнь ближнего тыла была в полном разгаре. У всех были сосредоточенные лица; у всех было свое, нужное и важное дело. Госпиталю постоянно приходилось поддерживать сношения с окопами. То оттуда приходил солдат с каким-нибудь требованием; то туда надо было послать вестового с сообщением. Дорога на окопы была далеко не безопасной, так как немецкие пули, перелетая через валы и траншеи, во множестве ложились на ней. Посылаемые, однако, в силу привычки отправлялись в путь так же спокойно, как если бы предстояло пройти несколько улиц по мирному городу.

Рассказывали, впрочем, что около окопов находится маленький лесок. Зимой, лишенный листвы, он не представлял никакой защиты от пуль. Тем не менее даже наиболее отважные предпочитали проходить именно леском, а не по открытому полю. Такова уже психология человека: то, чего он не видит, как бы не существует для него.

Во время разгара работы в госпитале его посетил Z. — один из командиров местных войсковых частей. Сделав нужные распоряжения, он на минуту присел между нами. Отеческим тоном он давал собравшимся свои наставления:

— Мне себя не жалко, — говорил Z., — но я нужен. Без меня вы все пропадете. Я уезжал на пять дней, и вышла путаница. Вас обстреливали на мосту, и никто не сказал, что Z. построил три моста: один — у мельницы, один — у костела, один — слева. Нужно, чтобы кто-нибудь один думал за всех. Вот я и думаю за вас. Солдаты меня знают, и я знаю солдат. Ваше дело, господа, простое: служить Царю, повиноваться начальникам, молиться Богу. Теперь все молятся, все стали религиозны. Я сам много раз молился в костеле: прекрасное здание. Потому что теперь нет католиков и православных, даже нет мусульман и евреев; есть только верующие люди...

Маленькая речь продолжалась минут пять. Вероятно, в дни войны такие речи нужны...

Между тем стемнело, и мы опять могли наблюдать световые эффекты боя. Картина была менее величественной, чем накануне, — так как бой происходил на близком расстоянии и озарялась лишь небольшая часть неба — но более грозная. Ясно можно было различать вспышки отдельных ружейных выстрелов и разрывы шрапнелей. Суровое грохотание, словно ворчание громадных зверей, сопровождало огневые блески...

Положение дел не изменилось до вечера. Позднее я узнал, что этот бой кончился для нас благоприятно. Немцы везде были отброшены, и все окопы остались в наших руках. Но в тот день по разным причинам я не мог дождаться результатов боя и должен был спешить в Варшаву[1].

Мы разделились. Ф. еще среди дня ушел на один из соседних пунктов, куда он имел поручения. Наши спутницы остались в госпитале. Я вдвоем с шофером отправился в обратный путь. Новые знакомые дружественно проводили меня, снабдили провизией на дорогу, пожелали счастливого пути...

---

[1] Немцы продолжали свои атаки на позиции около Ч. и в следующие дни. Особенно ожесточенные атаки были произведены 2–3-го января. Последнее известие, которое я имел из этого района, от 4-го января, сообщало, что бои все еще продолжаются.

Последнее пожелание было не лишним, потому что шофер по-прежнему дороги не знал, и мне опять пришлось немало поблуждать в темноте по незнакомым, пересекающимся шоссе.

В самом начале пути я задремал и, проснувшись, сразу догадался, что мы заехали не туда, куда следовало. Выстрелы слышались совсем близко. Фонарь остановившегося автомобиля освещал строение, разрушенное снарядами. Я вышел на дорогу, и первое, что увидел, была семья крестов на братских могилах.

— Зачем вы свернули сюда? — спросил я с досадой шофера.

— Дорога была очень хорошая, я и подумал, что она — настоящая...

Пока мы раздумывали, что предпринять, из мрака вынырнули фигуры кавалеристов, нагонявших нас. Это были уланы, по-видимому наш разъезд.

— Как проехать в П.?

— Не знаем.

— Но сами вы куда едете?

— На позиции. А вы остерегайтесь, господин, тут и немцы могут, неровен час, объявиться.

Поехали назад; кое-как выбрались на верную дорогу; опять стали кружить по разным поворотам... И долго еще продолжалось это странное путешествие, оставшееся в моей памяти как что-то совершенно фантастическое. Временами, утомленный двумя сутками скитаний, я засыпал, видел во сне пылающее от залпов небо, немецких летчиков, бросающих бомбы, раненых, идущих вереницами... Каждый раз, проснувшись, я видел еще более странную картину перед собой. То по мосту, перекинутому через гулко шумящий поток, передвигалось стадо быков, и какие-то черные всадники, словно американские гаучосы, гнали их пиками. То нам преграждал дорогу целый обоз маленьких плетеных тележек, запряженных осликами, и я тщетно раздумывал, откуда взялись ослы в Польше. То навстречу нам скакали на маленьких лошадках какие-то полудикие люди в причудливых костюмах, словно уцелевший обломок от армии Чингиз-хана. И то там, то здесь высились полуразрушенные готические костелы, громады фабричных корпусов с неожиданно освещенными окнами, дома опустелых городков, в которых странно отзывался гудок нашего автомобиля... Сон и действительность смешивались; и мне уже казалось все возможным в этой таинственной стране, которую называют театром военных действий.

Наконец, местность мне показалась знакомой. Мы выехали на большое шоссе, ведущее из С. на Б. Здесь мне случалось уже много раз проезжать за время войны... Еще одна поездка — с подарками в -ской полк — была закончена.

5 января, Варшава

Страдания и величие Бельгии

I

Недавно я имел случай беседовать с одним лицом, находящимся сейчас в Варшаве, которое по своему служебному положению располагает достоверными и наиболее свежими сведениями о Бельгии. Мой собеседник не только охотно изложил

предо мной взгляды на ход событий в маленькой героической стране, но и любезно предоставил в мое распоряжение ряд официальных документов, как то: донесение различных комиссий бельгийским министрам юстиции и иностранных дел, сообщения, сделанные бельгийским правительством своим заграничным консульствам, комплектом газеты «Le Courier de l'Armee», издаваемой бельгийским генеральным штабом для солдат, и т. п. Полагаю, что читателям будет небезынтересно ознакомиться как с этими официальными данными, так и с суждениями лица, в высокой степени компетентного в делах несчастного королевства. Страдания и величие Бельгии приковали к себе взоры всего мира, и все, даже второстепенные факты из истории ее благородной борьбы с врагом, вдесятеро более сильным, заслуживают внимания.

II

— Вы, конечно, хорошо помните, — сказал мой собеседник, обстоятельства, при которых возникла война Германии с Бельгией, но, может быть, не вдумались в одну подробность, которую стоит отметить. Германский ультиматум, предъявленный Бельгии в 7 час‹ов› вечера и дававший только 12 часов — т. е. ночное время до 7-ми час‹ов› утра, — требовал одного: позволения провести войска через бельгийскую территорию. В случае согласия Бельгии Германия обязывалась возместить ей убытки, которые будут причинены проходом войск; в случае отказа возлагала свою ответственность за то, что может произойти, на самую Бельгию. Тотчас состоялось экстренное заседание совета министров под председательством короля, которое длилось всю ночь и на котором был выработан и формулирован ответ Германии. Ответ, как известно, был отрицательный; да другого Бельгия и не имела права дать, так как при самом своем образовании обязалась перед державами сохранять постоянный, вечный нейтралитет. Явно нарушить это обязательство в пользу Германии значило бы нарушить, так сказать, данное честное слово. Чего же можно было ожидать как следствие отказа? Только того, что Германия попытается без согласия Бельгии силой провести свои войска чрез ее территорию. Вместо того Германия немедленно *объявила войну Бельгии.* Разница между этими двумя следствиями, разумеется, огромная. В первом случае опасность угрожала некоторым провинциям Бельгии, чрез которые должны были пройти немцы, и опасность временная — в течение этого прохода или, самое большее, в течение всей войны между Германией и Францией. Во втором случае Германия предъявляла притязания на все королевство и притом на вечные времена, так как победитель может диктовать любые условия мира побежденному, может просто захватить всю его страну. Это последнее и оказалось целью немецких вожделений, обдуманной, как это теперь устанавливается рядом фактов, заранее. Объявив войну, Германия действительно приступила к формальному *завоеванию* Бельгии.

— Всем памятно также, — продолжал мой собеседник, — геройское сопротивление, оказанное бельгийцами немцам, которое дало возможность Франции и Англии подготовиться к борьбе. Но будущий историк войны извлечет из архивов, мемуаров и частной переписки еще много примеров исключительной доблести, до сих пор

не ставших общим достоянием. Я приведу один такой факт, достоверность которого мне хорошо известна. Когда выяснилось, что Антверпен должен будет уступить силе, бельгийское правительство вместе с королем сочло необходимым покинуть крепость. Было неблагоразумно возлагать на армию лишнюю тяжесть — охранять членов правительства и еще неблагоразумнее — рисковать тем, что все они могут попасть в плен, причем страна осталась бы без законной власти. Это решение было принято почти в последнюю минуту, когда выезд из города был затруднителен, — во всяком случае настолько поздно, что выбирать дорогу не приходилось. Надо было ехать единственным свободным путем, вдоль голландской границы, на Брюгге; но и эта дорога не была безопасна, так как немцы вели на нее настойчивое наступление. Чтобы дать возможность королю достигнуть Остенде, группа бельгийских офицеров из числа сопровождавших его решилась пожертвовать собой и задержать врагов около одного замка по пути. Этот замок, вернее — просто большая усадьба, стоял на самой границе с Голландией. Засев в нем, храбрецы в течение целых суток сдерживали натиск неприятеля, раз в 200 большего по числу. С поразительной неутомимостью офицеры стреляли из окон, с балконов, с чердаков, и заставили немцев думать, что в замке укрепилась значительная армейская часть, которую опасно оставить у себя в тылу. Против замка был поведен правильный штурм. Бельгийцы могли спасти свою жизнь. Стоило только перебежать сад, примыкающий к замку сзади, и перебраться через ограду: за ней находилась уже голландская территория. Никто, однако, и не подумал поступить так. Все держались так долго, как только было мыслимо, и все до одного были перебиты при штурме. Но цель была достигнута: немцы задержаны, и король Альберт успел проехать в Остенде.

Я спросил, какой бой на территории Бельгии считает мой собеседник наиболее замечательным.

— Разумеется, битвы на Изере, — ответил он. — Можно даже сказать, не забывая и титанических боев в Польше, что битвы на Изере — самое поразительное сражение во всемирной истории. Район, ограниченный Изером и французской границей, — тот крохотный уголок земли, оставался и остается до сих пор последним оплотом бельгийской независимости. Бельгийцы напрягали все силы, чтобы сохранить за собой хотя бы клочок самостоятельной, автономной территории: это был вопрос чести. Союзники столь же упорно обороняли позиции на Изере, потому что с прорывом их немцами получали возможность зайти в тыл англо-французской армии, совершить свой излюбленный «обход». Бои поэтому отличались здесь предельным ожесточением. Со стороны немцев бились представители всех германских государств: пруссаки, баварцы, гессенцы, вюртембергцы, саксонцы... Со стороны союзников: бельгийцы, французы, англичане, шотландцы, индусы, тюркосы, зуавы, арабы... Бой шел и на земле, и под землей, в траншеях, и на море, так как английские суда обстреливали немцев, и под водой, где шныряли немецкие подводные лодки, и на воздухе, где реяли дирижабли и аэропланы... Ничего подобного не видано было с той поры, как земля стоит. Кончился бой победой союзников: немцы отступили.

Я поинтересовался, как велика численность бельгийской армии.

— В начале войны армия не превышала 180 000 человек, не считая так называемой garde civique. Эта по нашим временам «горсть» людей имела против себя миллион германских штыков, так как союзники вначале не могли оказать Бельгии *никакой* поддержки. От потерь в боях, от выбытия из строя гарнизонов тех крепостей, которые были взяты немцами, армия значительно уменьшилась. На Изер пришлось более половины ее первоначального состава. Однако она постоянно пополняется добровольцами, прибывающими изо всех стран света, особенно из Канады и Соединенных Штатов, где живет много бельгийцев. Население самой Бельгии лишено возможности вступать в ряды своей армии. Вместе с тем во Франции обучается теперь контингент бельгийских новобранцев срока 1915 г., которые успели вовремя явиться ‹на› призыв под родные знамена. К 15-му января король Альберт вновь будет располагать армией свыше чем в 100 000 человек.

— Вы верите, как и мы все, в конечное торжество союзников?

— Я не могу не верить в это, — ответил мой собеседник, — уже потому, что в это верит король.

Почти с благоговением он обернулся к портрету короля Альберта, висевшему в той комнате, где мы беседовали, и продолжал:

— Этот человек, которого многие считали сперва робким, явил себя истинным героем. Взоры всех бельгийцев прикованы теперь к нему, и все разделяют его уверенность в окончательной победе. В Германии, при всех ее хотя бы только кажущихся успехах, все настойчивее раздаются голоса в пользу мира, даже заключенного ценой разных уступок. В Бельгии, при всем ужасе ее положения, никто, — я имею основание так говорить, — не хочется слышать о мире раньше полного торжества над врагом. Бельгийцы голодают, сносят всякого рода унижения и страдания, но ни один не произнесет ни слова ропота против короля, исполнившего долг честного человека и решившего мужественно бороться до конца.

(Окончание следует).

Страдания и величие Бельгии
III

Среди представленных в мое распоряжение документов имеются доклады организованной бельгийским правительством «комиссии для расследования нарушений (немцами) международного права и законов и обычаев войны». Эти доклады, излагающие только строго проверенные факты, были представлены министру юстиции, известному писателю Картону де Виару (Carton de Wiart). В русской прессе часть этого материала уже была опубликована, но и те страницы докладов, которые первоначально не обратили на себя внимания, нисколько не менее поразительны. Несколько новых фактов, извлеченных из этих докладов, прибавят новые черты к характеристике «страданий» Бельгии.

«В деревне Корбек-Ло (Corbeck-Loo), — сообщает комиссия, — немецкие солдаты разыскали в одном доме девушку лет 16-ти вместе с ее родителями. Солдаты отвели их в пустое здание; одни держали в стороне отца и мать, другие, добыв вина,

принуждали девушку пить. Потом они вытащили ее на лужайку перед домом и поочередно насиловали. Так как девушка продолжала сопротивляться, ей пронзили грудь штыком. После этих чудовищных поступков немцы ушли, оставив девушку на лужайке. В настоящее время несчастная при смерти».

«Когда бельгийские войска вступили в Гофстад (Hofstade), они нашли там труп старухи, убитой ударами штыка; старуха еще держала в руке иголку, которой шила в ту самую минуту, когда был нанесен удар. Рядом лежал труп женщины и ее сына, юноши лет 15–16-ти, пронзенных штыками. В соседней деревне Семпст (Sempst) были найдены трупы двух мужчин, частью обуглившиеся; у одного ноги были обрублены на высоте колен; у другого отрезаны и руки и ноги. Одного рабочего, пронзив его штыками, немцы облили, еще живого, керосином и бросили в дом, который вслед за тем подожгли».

Подобных единичных фактов собрано в докладах огромное количество. Кроме того, комиссия устанавливает целые разряды преступлений против международного права, обычно совершаемых германскими войсками. Идя по дорогам, немцы расстреливают мирных прохожих, велосипедистов и даже крестьян, занятых полевыми работами. Мужчин из занятых селений отправляют в Германию, где вынуждают работать, «как во времена античного рабства». Других заставляют служить проводниками и рыть окопы для германской армии. Немцы злоупотребляют белым флагом и Красным Крестом, а сами стреляют по лазаретам, добивают раненых и т. д. Особый доклад перечисляет сожженные и разрушенные орудиями города, хотя бельгийские войска и были из них выведены. Характерно, что на уцелевших от пожара и разгрома домах оказывались специальные, сделанные немцами надписи: «Nicht abbrennen» (не сжигать), «Bitte schonen» (пощадить), «Gute Leute, nicht plündern» (добрые люди, не грабьте). Подводя итоги, комиссия говорит, что жестокости, совершенные немцами, объясняются, с одной стороны, желанием терроризовать и деморализовать население, сообразно с бесчеловечными теориями немецких военных писателей, с другой стороны — простой страстью к грабежу и добыче.

К сходным выводам приходит доклад другой комиссии, представленный министру иностранных дел. Комиссия констатирует, что по всем признакам, жестокости немцев преднамеренные и являются следствием определенной системы действий. Ее цель — запугать жителей и тем посеять рознь между ними и армией. Однако ревностное усердие исполнителей превращает устрашение в бессмысленное избиение, а террор — в прямой грабеж…

Авторитетные свидетельства официальных докладов пополняют столь же заслуживающие доверия сообщения газеты «le Courrier de l' Armee». Эта газета выходит три раза в неделю, в двух изданиях, французском и фламандском, и рассылается в количестве 10-ти экземпляров того и другого издания в каждую роту, эскадрон и батарею. Редактируемая при генеральном штабе армии, газета дает также только строго проверенные факты. Приводим некоторые из них, беря их из последних номеров (ноябрь–декабрь).

Бургомистром Брюгге состоит почтенный старик, перешедший за восьмой десяток лет, граф Визар де-Бокармэ (Visart de-Bocarme). Немцы оставили ему его дол-

жность, и он продолжал выполнять ее с исключительным тактом. Это не помешало одному прусскому офицеру, пришедшему по делу в кабинет к бургомистру, держать себя крайне заносчиво и грубо. Граф де-Бокармэ, встав, сказал спокойно, но строго: «Господин офицер, такого языка я не допускаю. В настоящее время вы сильнее. В вашей власти посадить меня в тюрьму или даже расстрелять. Но, в виду моего преклонного возраста и занимаемого мной положения, я вправе требовать, чтобы все это было совершено вежливо». Суровая речь старика произвела впечатление даже на пруссака.

Бургомистра города Рулера Майё-Либарта (Mahien-Liebaert) немцы три дня держали под арестом в окопах. При перестрелке немцы выставляли своего пленника вперед и прикрывались его телом от выстрелов. За все три дня его ничем не кормили. Мало того — издевались над голодающим: немцы ставили перед ним жареную курицу, не позволяя ему к ней притронуться. Впоследствии Майё-Либарт был отпущен на свободу, полуживой от голода и усталости.

Из города Малин немцы вывезли в качестве военной добычи более *пятисот* роялей и пианино, для чего был отправлен в Германию специальный поезд. В Брюсселе немецкие реквизиции довели население до голода; хлеб дошел в цене до 40 сантимов за кило; соли почти нет. Желая явить особую справедливость в распределении жизненных припасов, немцы требуют, чтобы женщины при покупке соли предъявляли свои брачные свидетельства. Еще более острый голод свирепствует в Остенде, где немцы конфисковали решительно все съестное, предоставив жителям пропитываться чем знают. Сами же немцы ежедневно устраивают пир и пьянствуют беспрерывно. Среди пьяных офицеров часто возникают ссоры, доходящие до драки и до убийства...

И доклады комиссии, и военная газета несколько раз повторяют, что уверения немцев, будто бельгийцы ведут партизанскую войну, — вымысел. В Бельгии сражается только ее армия; мирное население по настойчивому требованию своих властей воздерживается от каких бы то ни было попыток вредить неприятелю. Немцы утверждают противное, чтобы чем-нибудь оправдать свои жестокости и грабежи.

Несомненно, однако, что пассивное сопротивление немцам бельгийцы оказывают. Так, например, железнодорожные служащие отказались исполнять свои обязанности под руководством немцев, хотя те предлагали хорошее вознаграждение. Считая себя на государственной службе (в Бельгии все железные дороги принадлежат государству), кондуктора, машинисты, стрелочники и т. д. предпочли голодать и пользоваться общественной благотворительностью, чем сколько-нибудь помогать врагам. Точно так же голодающие рабочие в Намюре отказались работать над восстановлением фортов, несмотря на обещанную высокую плату. Наконец, все бельгийское общество, всех классов, держится крайне обособленно от немцев и не вступает с ними ни в какие сношения, кроме самых официальных.

IV

В заключение нашего разговора я спросил, какие компенсации надеется получить Бельгия после торжества союзников за все вынесенные ею испытания.

— Высказывая свое личное мнение, — сказал мой собеседник, — я, вероятно, выражу и мнение громадного большинства своих соотечественников: мы, бельгийцы, не хотим *никаких* территориальных приобретений. Что мы могли бы получить в Европе? Французские и голландские земли, конечно, неприкосновенны, а немецких провинций нам не надо. Если дать волю фантазии, можно мечтать, например, об устье Шельды, которое было бы нам крайне полезно. Оно принадлежит голландцам, но Голландия за уступку левого берега могла бы быть вознаграждена на счет Германии. Также мы согласились бы присоединить великое герцогство Люксембург, если бы оно пожелало добровольно слиться с Бельгией. Но все это — беспочвенные мечтания. Скорее всего, нам могли бы быть даны немецкие провинции на левом берегу Рейна, но они были бы для нас только обузой. Несомненно, Бельгия состоит из двух элементов: валлонов, романского или, вернее, галльского племени, говорящих по-французски, и фламандцев, германского племени. Сейчас наблюдается почти полное равновесие между этими двумя элементами: фламандцев приблизительно 4 миллиона, валлонов — 3 ½ миллиона или немного более. Влияние французской культуры, носителями которой являются валлоны, до последнего времени преобладало в стране, чему в наши дни, когда вскрылась обратная сторона немецкой культуры, можно только радоваться. Но если к Бельгии будут присоединены провинции с немецким населением, может быть 1 ½ или 2 миллиона человек, равновесие будет нарушено. Германский элемент получит преобладание, и стране будет угрожать германизация, а через это неизбежно возникнут распри и столкновения между представителями двух рас. Нет, провинций с немецким населением нам не нужно.

— Не нуждаемся мы, — продолжал мой собеседник, — и в увеличении наших колониальных владений. Размеры нашего Конго в 80 раз превосходят размеры метрополии. Правда, часть Конго совершенно непригодна для культурной жизни, особенно европейцев, по своему климату и по самому характеру страны: это одна из самых нездоровых, самых губительных местностей Центральной Африки. Но той части Конго, которая вполне подходит для колонизации и которая представляет почти неисчерпаемые ее естественные богатства всякого рода, с нас более чем достаточно. У нас там работы на несколько столетий, и забирать новые земли которые вы не в силах будете использовать, не имеет смысла. Единственно, чего ждет Бельгия, это вознаграждение за тот страшный разгром, которому она подверглась ради всей Европы. Германия должна будет возместить убытки, понесенные страной: вернуть незаконно наложенные контрибуции, оплатить стоимость столь же незаконно реквизированных вещей и дать средства, чтобы вновь отстроить разрушенные и сожженные города и селения... Разумеется, это будет тяжело для Германии, тем более что и другие союзники предъявят свои требования, но немцы должны были понимать, на что они идут.

Помолчав, говоривший добавил:

— Хотелось бы выставить еще одно требование. Германия должна была бы вернуть расхищенные немцами в Бельгии сокровища искусства. Немцы под руководством берлинских профессоров разграбили не только общественные музеи, но и много частных художественных собраний. Картины великих мастеров, деревянные

статуи из церквей, старинные вещи — все тщательно упаковывалось и отсылалось в Берлин... по примеру великого Наполеона. Однако, увы! можно опасаться, что расхищенного уже не вернуть. Наполеон отдавал захваченные им богатства в Лувр. Немцы распродавали свою добычу, и она разошлась по частным рукам. Трудно будет разыскать картины брюссельского музея и частных коллекций, перешедшие, может быть, в третьи и четвертые руки или даже тайно перепроданные за границу...

Два фронта

Развозя вместе с уполномоченными разных учреждений рождественские подарки солдатам, я посетил передовые расположения наших войск и на правом, и на левом берегу Вислы, т. е. и к северу от Варшавы, «в млавском направлении», и на западе от нее, на берегах Бзуры и Равки. Меня при этом поразила резкая разница в том складе жизни, который создался на этих двух, столь близких друг от друга фронтах. В настоящее время это как бы два мира, мало похожих один на другой.

Немцы несколько раз начинали наступление с севера, но каждый раз оказывалось, что их движение было скорее демонстрацией, чем серьезной попыткой пробиться по этому пути к Варшаве. При первом энергичном сопротивлении германские войска быстро очищали занятые города и отступали к границе, довольствуясь тем, что сохраняли за собой обладание Млавой и Хоржеле. За все время войны в пределах Плоцкой губернии не произошло ни одного значительного боя, в котором участвовали бы действительно большие силы и который велся бы с подлинным упорством. Обычно все дело сводилось к кратковременным набегам кавалерии и передовых отрядов.

Поэтому Плоцкая губерния пострадала от войны гораздо меньше других. В Варшаве мне пришлось слышать немало рассказов об опустошениях, произведенных немцами в окрестностях Цеханова и Прасныша. Меня эти рассказы особенно огорчали, так как те места мне были хорошо знакомы: в августе я совершил довольно продолжительную поездку по этому району и, благодаря рекомендательным письмам, познакомился со многими местными помещиками, в усадьбах у которых находил радушное гостеприимство. Мне было грустно думать, что сожжены эти старинные уютные помещичьи дома, порублены великолепные парки вокруг них, уничтожены оранжереи, конюшни, различные хозяйственные приспособления, на которые их хозяева потратили так много труда. Вернувшись в Плоцкую губернию спустя четыре месяца, я мог с радостью увериться, что все эти рассказы принадлежали к числу тех невольных преувеличений, которые создаются потрясенным воображением[1].

[1] Преувеличения в рассказах «очевидцев» о войне могли бы составить предмет любопытного психологического исследования. Мне приходилось слышать рассказы от лиц, которые, судя по всему, стремились добросовестно передать то, что видели собственными глазами, между тем как позднее оказывалось, что ни одно слово рассказа не соответствовало действительности. Помню, например, что во время атаки немцев на Сохачев я, находясь поблизости, встретился с одним из жителей города, только что бежавшим из него. Мой собеседник со слезами рассказывал мне, что весь город объят огнем и что целые улицы разрушены. Однако Сохачев и в настоящее время продолжает существовать, и в нем повреждено бомбардировкой лишь несколько домов.

Подъезжая, например, к Цеханову, я ожидал увидеть только жалкие развалины города. Вместо этого предо мной был тот же Цеханов, что и осенью, только занесенный снегом. По-прежнему живописно высилась его старинная башня; по-прежнему стояла на возвышении крепость XVII века, занятая теперь нашей батареей. Нигде не было видно разрушенных или сожженных домов; улицы были полны народом; бессчетные еврейские магазины и лавочки бойко торговали. Немцы дважды занимали Цеханов, но оба раза — лишь на один день. Они не только ничего не сожгли в городе, но даже не успели его ограбить. Мало того: пребывание немцев послужило городу на пользу: они построили в нем новый мост и, уходя, не удосужились его разрушить. Теперь весь город пользуется этим мостом, значительно сокращающим дорогу.

Под самым Цехановом находится сахарный завод, которым заведует его директор З. У этого З. в его прекрасном доме я провел в августе целые сутки и до сих пор с благодарностью вспоминаю чисто «польское» радушие хозяев. Позднее мне сообщали (хотя и не «очевидцы», но люди, слышавшие это от «очевидцев»), что завод был разграблен немцами, которые сожгли конюшни, оранжереи и службы, а потом разрушен артиллерийским огнем. Приехав в Цеханов, я поспешил навстречу З. Их я не застал (они были в Варшаве), но их прекрасный дом стоял на своем месте со всеми своими пристройками. Нетронутым остался и старинный парк при доме. Старый слуга, узнавший меня, рассказал мне, что немцы действительно были в доме, но ничего в нем не тронули, только увели из конюшни пару лошадей, оставив взамен пару своих, изможенных. Что же касается артиллерийского обстрела, то он велся *через* дом, и ни один снаряд не причинил ему ни малейшего вреда.

Приблизительно то же пришлось мне констатировать относительно других усадеб, которые я считал исчезнувшими с лица земли. Они оказывались целыми и в худшем случае — только ограбленными. Кое-что, правда, было сожжено немцами и повреждено снарядами. Значительно пострадал Прасныш, под которым в начале декабря происходил сильный бой. Под Праснышем *было сожжено имение* Обремцова, небольшое, но очень благоустроенное, в котором я также гостил некоторое время (оно принадлежит брату г. З.). Но в большинстве случаев немцы довольствовались тем, что забирали фураж, уводили лошадей и уносили кое-что из ценных вещей (особенно охотно шубы, опасаясь, вероятно, «русских морозов»), но не производили тех диких грабежей и опустошений, как в левобережной Польше. Кроме всего у них большей частью не было для того времена, так как все их нашествия бывали очень кратковременными. Плоцк, например, в последний раз был занят всего в течение 24-х часов и притом всего *пятьюдесятью* прусскими кавалеристами.

[...]

Немцы ни на какие серьезные предприятия не отваживаются. То там, то здесь происходят отдельные бои, иногда кровавые и ожесточенные, но введенные германские силы отходят. С середины декабря даже такие бои прекратились; немцы довольствуются обороной своих позиций и перестрелкой, ружейной и артиллерийской. Но и эта перестрелка ведется довольно вяло, и две армии, стоящие друг против друга (местами между нашими и неприятельскими окопами не более 600–500 шагов расстояние), не торопятся с решительными действиями. Рассказывают даже, что между

нашими солдатами и немцами иногда завязываются полудружественные отношения (они обмениваются подарками, пересылают друг другу шутливые письма, затевают состязания в стрельбе и т. п. В самих военных действиях нет той ожесточенности, как на западе: нередко с наших окопов бывают видны группы немецких солдат и офицеров или, наоборот, наши солдаты рискуют идти по открытому месту, и это проходит безнаказанно, тогда как в окопах на нашем западном фронте достаточно выставить руку, чтобы тотчас вызвать беспрерывную пальбу по этому месту.

Надо добавить, что и условия жизни армии на севере гораздо благоприятнее, чем на берегах Бзуры и Равки. Кое в чем край, разумеется, нуждается. Но все же почти все необходимое можно достать на месте по довольно сходным ценам. Солдаты не страдают от холода и сырости и не только всегда сыты, но до известной степени «роскошествуют», покупая себе, например, папиросы, булки, квас и т. п. Благодаря этому настроение в армии в общем не только бодрое, но даже веселое, и солдаты и офицеры жалуются только на отсутствие серьезных предприятий против неприятеля.

В Цеханове я беседовал с одним из штабных офицеров. Он мне сказал с убеждением, что [...] нам ничего не стоило бы очистить от врага всю Плоцкую губернию. При желании мы легко могли бы занять все пункты, еще удерживаемые немцами, и вытеснить их за нашу бывшую границу [...]. Занимаемые нами позиции превосходны и почти неприступны; нет причин менять их на другие, хотя и расположенные далее к северу, но гораздо менее сильные, требующие большего напряжения для своей обороны.

При такой общей тактике, состоящей в обороне «почти неприступных» позиций, при таких относительно удобных условиях жизни дело нашей армии на северном фронте может быть названо «легким», насколько вообще может быть «легким» дело войны. Только не надо забывать, что эта «легкость» требует все же громадной затраты труда и энергии и связана со множеством лишений и испытаний. Тот же штабной офицер, говоривший мне о выгодности нашего положения, в то же время сознавался, что ему и его товарищам приходится работать по 16—17 часов в сутки и обыкновенно спать не более 3—4-х часов в ночь... Естественно, что и солдатам приходится выносить труд не меньший, чем штабным офицерам. Жизнь «легкая» сравнительно с жизнью на других фронтах все же остается истинным подвигом.

Другие картины встречает наблюдатель на нашем западном фронте. Здесь ни относительно, ни условно нельзя говорить о «легкости» дела, возложенного на нашу армию. Напротив, здесь сосредоточено все что есть в войне трудного и тяжелого. Край опустошен двукратным нашествием немцев, сделавших все зависящее от них, чтобы ограбить и опустошить страну. Но половина, а вероятно, две трети жителей бежало. Во многих деревнях уцелело не более 5–6 дворов из нескольких десятков, а иные сожжены дотла, до последней избы (например, деревня Злата, около Нова Мяста, прежде — обширное селение почти в 100 дворов). В городах большинство домов забито досками; магазины закрыты; купить что-либо возможно лишь в Жирардове, связанном железной дорогой с Варшавой. Но значительная часть наших по-

зиций расположена вдалеке от населенных мест, подчиняясь прихотливым извивам течений Бзуры и Равки. Войскам приходится ютиться в землянках или проводить ночи под открытым небом. Ожесточение в борьбе с обеих сторон достигает высшего напряжения. Нет и следа того сравнительного добродушия, с каким относятся друг к другу наши солдаты и немцы на севере: здесь это в полном смысле слова враги, ищущие одного: каким бы то ни было способом уничтожить противника.

Вторичное движение на Варшаву было предпринято немцами с лозунгом «Решительная победа во что бы то ни стало!». После лодзинских боев наступило было некоторое затишье, но ненадолго. В декабре немцы возобновили отчаянные атаки на все наши западные позиции. Во многих местах упорный бой длится беспрерывно целый месяц. Ружейная и артиллерийская перестрелка обычно не молкнет круглые сутки. Почти каждую ночь немцы пытаются взять наши окопы в штыки, а почти каждый день германские аэропланы и аэростаты (немцы пользуются здесь и воздушными шарами) разбрасывают свои бомбы и тучи стрел. Все дороги, ведущие к позициям, усердно обстреливаются немцами перекидным огнем и стерегутся их аэропланами [...]

Понятно, что такая обстановка до крайности напрягает нервы. День и ночь кругом звучит пальба и трещат выстрелы; день и ночь поблизости рвутся шрапнели и падают снаряды тяжелых орудий, образуя ямы шагов в 30—35 в окружности. Спать ложатся не раздеваясь, потому что в любой миг можно ожидать немецкой атаки. Постоянно надо быть настороже: достаточно неосторожно выйти на открытое место, достаточно проглядеть приближение «голубя», чтобы стать мишенью стрелков или бомбометателей. Никто не уверен не только в завтрашнем дне, но даже в сегодняшнем вечере. Все это невольно возбуждает в душах подлинную ненависть к врагу. Как немцы пользуются всякими средствами, чтобы нанести нам вред, так в нашей армии создается какое-то беспощадное отношение к немцам. Все чувствуют, что с ними надо бороться «не на жизнь, а на смерть», что, пощадив врага, тем самым погубишь себя или товарища...

У северного фронта местная жизнь более или менее сохранила свое обычное течение. На западе она совершенно нарушена. Чем ближе к передовым позициям, тем чувствительнее это нарушение. В городках и деревнях, стоящих непосредственно у «сферы огня», никакой местной жизни не осталось: дома пустуют, на улицах — одни солдаты, и только робко торгуют две-три еврейских лавчонки, в которых к тому же почти ничего нельзя достать. Деревни также брошены: жители куда-то ушли, увезя или унеся все наиболее ценное и бросив остальное на произвол судьбы. Есть деревни, в которых нельзя допроситься глотка воды.

Мне осталась памятной характерная картина в поле: около деревни Червонная Нива (на западе от местечка Гузова), где расположены наши окопы. Я шел через поле; сзади кружил немецкий аэроплан; впереди вырисовывался контур немецкого аэростата, как мне говорили, ежедневно поднимающегося над позициями немцев. Со стороны окопов слышалась пальба. И вдруг прямо из-под моих ног вскочила и бросилась бежать целая стая зайцев. Поле было совершенно открытое; человеческое жилье было поблизости. И все же зайцы, по-видимому, предпочли поселиться на

этом поле, чем жить где-нибудь в своих логовищах, около которых начали рваться шрапнели. Вероятно, с разных луговин собрались трусливые зверьки на это более безопасное поле и сжались здесь в одну кучу, дрожа всем телом под грохот выстрелов… Эти зайцы-беженцы, это заячье переселение показалось мне символом всей жизни Западного края, нарушенной, потрясенной войной…

Другая картина, вспоминающаяся мне, — совершенно другого рода. В ночь под Новый год около той же Червонной Нивы полковой священник решил совершить торжественное богослужение! Единственным подходящим местом для того оказался польский костел, каким-то чудом уцелевший от немецких гранат. Храм украсили елями и ветками сосен, осветили, сколько могли, восковыми свечами. Молящихся собралось, конечно, так много, что большинству пришлось стоять за дверями, вокруг стен... И вот в католическом костеле под непрекращающийся гул пальбы зазвучали торжественные слова православных молитвословий. Стекла храма дрожали и звенели от выстрелов, озарялись розоватыми вспышками от разрывов шрапнелей. Но служба была доведена до конца, оставив во всех присутствовавших глубочайшее впечатление.

Религиозное настроение должно крепнуть и развиваться при тех поистине страшных условиях жизни, которыми окружена наша армия на западном фронте. Здесь приходится расстаться со всеми обычными навыками жизни, человек здесь вступает в сферу совершенно новых, раньше ему неведомых переживаний. Грандиозное и чудовищное здесь становится повседневным; смерть — чем-то обыкновенным, чудесное — явлением, которое видим каждый день. Очень вероятно же, что, когда закончится война, ее участники сами будут изумлены, как в них достало сил и духа вынести эту единственную, небывалую в мире борьбу, и не только вынести, но выносить ее изо дня в день неделями и месяцами...

К сожалению, мне не удалось последние дни ближе ознакомиться с нашим третьим фронтом, к югу от Варшавы. Только мельком, в течение нескольких часов, мне удалось побывать в Гройцах. Судя по всему, жизнь армии в этом раю представляет нечто среднее между жизнью на севере и на западе. На юге нет того ожесточения в борьбе, как на западном фронте, но и нет той спокойной уверенности, которая характерна для севера. Впрочем, позиции нашей армии на юге от Варшавы также очень сильны. Из моих беглых наблюдений у меня сложилось твердое убеждение, что с этой стороны все движения немцев обречены на удачу. Немецкий поток встретит мощные плотины, если хлынет на столицу Польши с юга.

Мимоходом
VI. Ощущение войны

— В Москве война как-то не чувствуется.

Так говорили мне варшавяне, побывавшие в Москве и вернувшиеся домой. Мне их слова казались невероятными. Как может не чувствоваться война в Москве, которая так много сделала и делает для нашего успеха, основала столько лазаретов, принесла такие щедрые пожертвования, — в Москве, которая переполняет аудито-

рию, как только лектор избирает темой войну, в Москве, где газеты отводят войне $^{9}/_{10}$ своих столбцов, где, наконец, каждая семья так или иначе с войной связана, отправив на фронт мужа, брата или сына! Следя за московской жизнью по газетам (так как, выехав из Москвы в начале августа, я пять месяцев не покидал «района военных действий»), я был уверен, что мои собеседники-варшавяне преувеличивают или, точнее, преуменьшают, что их утверждение — своеобразное проявление любви к родному городу, в котором все представляется «лучше», замечательнее, чем в других.

Но вот, после пятимесячного отсутствия, я сам побывал вновь в Москве, провел в ней почти три недели, присмотрелся к ее жизни и готов, если не повторить слова варшавян, то заменить их сходным утверждением: «В Варшаве чувствуется война». Никто не станет отрицать, что москвичи глубочайшим, живейшим образом захвачены войной, что все другие интересы, кроме войны, отошли в Москве на второй, на третий план, что она «живет войной» и не остановится ни перед какими жертвами ради торжества нашего оружия. Но тяжелого жребия непосредственно *переживать* войну на долю Москвы не выпало; война остается где-то далеко от Москвы, не встает пред москвичами в зримых, осязательных обликах. И жителю Варшавы, приехавшему в Москву, может и должно казаться, что развеялась та атмосфера войны, которая окружала его в столице Польши. Подобно этому, мне, вернувшемуся из Москвы в Варшаву, кажется, что все великое и грозное, соединяющееся для нас в понятие «война», опять приняло плоть и кровь и со всех сторон обступило меня.

... Я иду по Краковскому предместью и дальше по Новому Свету, одним из лучших улиц Варшавы. Два часа дня, но какая толпа на тротуарах! Прохожие движутся сплошной массой, как на больших бульварах в Париже в весенние дни недавнего прошлого: такого движения теперь ни в Москве, на Кузнецком, ни в Петрограде, на Невском! Присматриваясь, я вижу, что в этой варшавской толпе половина — даже больше — военные; мелькают самые разнообразные формы шинелей и мундиров, из которых иные я вижу в первый раз. А у штатских, тоже едва ли не у половины, повязки с Красным Крестом на левой руке. Вся Варшава обратилась как бы в единый огромный военный лагерь.

Мне загораживает дорогу вереница телег с сеном: это везут фураж для передовых позиций, и прохожие безропотно пережидают, пока медленно продвинется обоз. Немного дальше меня нагоняет длинный ряд тележек. [...]

А вот зрелище необычное. Толпа останавливается и смотрит с напряженным любопытством; раздаются отдельные восклицания, которые каждую минуту могут вырасти в овацию. [...]

А потом идут отряды наших «серых героев», таких простых, таких незаметных, в серых походных шинелях, безо всяких украшений. У солдат, что называется, «открытые» лица, с той особой печатью серьезности, которую накладывает постоянная близость смерти и сознание великой ответственности перед родиной. Эти уже побывали в окопах, выдержали, может быть, двадцати- или тридцатидневные бои с немцами… В присутствии этих солдат, бывалых, обстрелянных, словно чувствуешь над

собой студеный ветер полей, изрытых траншеями, словно слышишь близко от себя взрыв разрывающихся шрапнелей и видишь наваленные тела пруссаков, шедших приступом на наши укрепления [...]

Сколько еще подобных же встреч, пока пройдешь по Новому Свету до популярной Удяловой цукерни, свернешь на Иерусалимскую аллею и потом по Маршалковской спустишься, мимо [...] вокзала, к Саксонскому саду. Непременно встретишь по пути вагоны трамвая, приспособленные для перевозки раненых: вместе с другими прохожими, молча и осторожно, заглянешь в один из этих вагонов и увидишь на скамье, обращенной в койку, над серыми складками шинели, которой покрыт раненый, его бледное, осунувшееся от страданий лицо. Около [...] вокзала остановишься в толпе, проявляющей какое-то благоговейное любопытство к раненым, и будешь ждать прибытия поезда с фронта [...]. Потом, на каком-нибудь перекрестке, натолкнешься на партию пленных и невольно задумаешься, глядя, как, угрюмо нахмурившись, шагают пруссаки под конвоем казаков, не отвечая на вопросы излишне словоохотливых гуляк. Может быть, повстречаешь еще группу добровольцев, в теплых полушубках, бодрых, счастливых тем, что они достигли цели — вступили в ряды армии; или проскачут мимо гусары, приехавшие в город с каким-то поручением; или мелькнут среди гуляющих круглые шапочки авиаторов; или неожиданно выступит фигура [...] в своем национальном вооружении. Все роды оружия, все формы русской армии сталкиваются и смешиваются на улицах польской столицы, в этом городе, который своим обнаженным мечом таинственно оберегает дева с рыбьим хвостом — сирена (герб города Варшавы).

Если день ясный и над крышами опять расстилается нежная синева с белыми облачками (что здесь бывает часто), — о войне напомнят не только уличные встречи, но и самое небо. Едва только над Варшавой рассеивается январский туман, тотчас на том или другом краю небосвода показываются темные точки аэропланов. Прохожие останавливаются, привычным движением поднимая глаза вверх. Все отыскивают тонкий силуэт стальной птицы и начинают судить, свой ли это, или враг. Вопрос скоро решается [...]. Варшавяне теперь совсем освоились с воздушными разбойниками [...], и раньше времени никто уже не прячется при появлении врага.

[...]

Наступает ночь, но жизнь в Варшаве не замирает. [...] Подходят поезда с ранеными, и отряды санитаров работают, размещая их в каретки Красного Креста и в трамвайные вагоны. Слабым светом озарены и окна лазаретов... На улицах — полусвет... Никто на этот полусвет не ропщет; всем понятна разумность принятых городом мер.

Так днем… Варшава постоянно видит в своей черте и над собой образы войны. Часто Варшава и слышит ее отголоски [...]

Но война наполняет не только внешнюю жизнь Варшавы: глубже, чем в других больших городах, в том числе и в Москве, война проникает здесь во внутреннюю жизнь населения, в жизнь каждой отдельной семьи, каждого отдельного лица. Тысячами невидимых нитей жители Варшавы, вероятно все без исключения, связаны с войной и с «театром военных действий», и это чувствуется во всех разговорах, во всех поступках, во всем ходе жизни.

У многих варшавян есть родственники или вообще близкие люди, живущие постоянно в местностях, которые вошли в район «боевых действий». Другие связаны с жителями этого района тесными деловыми отношениями. Почти всем случалось бывать там, где теперь происходят сражения, и названия Бзура, Равка, Сохачев, Лович, Брезины и даже Витковицы, Камион, Рыпин и т. п. звучат для варшавян как издавна знакомые, напоминая определенные живые образы. Кроме того, с фронта, с самых полей битв в Варшаву постоянно прибывают, словно старотеатральный вестник, отдельные офицеры и солдаты: тот приехал с поручением от полка, отвезти важные бумаги или закупить что-нибудь; тот получил отпуск на несколько дней, тот лечится от легкой раны… К Варшаве как к большому центру [...]. Наконец, раненые, попадающие в Варшаву, большей частью еще накануне участвовали в бою. Они появляются на [...] вокзалах и в стенах лазаретов, еще оглушенные пальбой орудий, еще как бы воочию видящие последние моменты роковой для них битвы, со свежими воспоминаниями о недавних разведках, стычках и сражениях…

Так интересы войны незаметно просачиваются в жизнь каждого варшавянина, даже если бы он и не искал того, предпочитал жить своей маленькой личной жизнью. Один принужден вникать в них потому, что от этого зависят его торговые дела; другой заботится о своем имении, расположенном где-то в западной части Варшавской губернии; третий должен хлопотать об угле или дровах, доставка которых в иные дни бывает затруднена [...] и т. д., и т. д. Все, у знакомых, в лазаретах, на вокзалах (где многие работают в санитарных отрядах) или просто в ресторанах, кофейнях, постоянно встречаются с очевидцами боев, с людьми, только что прибывшими из самого огня, слышат рассказы офицеров и солдат, узнают военные новости раньше всей России. Замечено даже, что варшавяне сравнительно неохотно читают в газетах [...]: что нового могут сказать газеты [...] жителю Варшавы [...].

[...] Все это думал я, совершая прогулку по Новому Свету, Иерусалимской аллее и Маршалковской. Мне загораживали дорогу [...] мне встречались трамваи с ранеными, партии пленных пруссаков, а в высоте надо мной парило два аэроплана. Да, я «переживал» войну с такой живостью, с такой остротой, каких не испытывал за три недели, проведенных в Москве. В Москве война — понятие, которое властно занимает мысли, — идея, ради которой приносятся великие жертвы, наконец, грозная сила, которая может приносить жестокое страдание, отняв близкого, дорогого человека. В Варшаве война — факт, реальность, ощущение; то, что видишь глазами, что врывается в каждый шаг повседневной жизни [...]

[...] Да, в Варшаве «война чувствуется»… Но, конечно, все это еще не значит, что в Варшаве война и *воспринимается* глубже, чем в других городах. И, может быть, именно в Москве, где не бывает слышно канонады, где прохожим не грозят воздушные разбойники, где жителям не приходилось [...], именно в Москве особенно глубоко и особенно сознательно воспринимается всем населением каждый новый акт великой мировой трагедии, свершающейся в наши дни.

Варшава, 29-го января

Мимоходом
VII. Летчики

Великая война наших дней замечательна между прочим тем, что в ней впервые авиация заняла серьезно положение. Одиночные полеты во время балканской войны были лишь первыми слабыми опытами. Теперь, напротив, авиация стала организованной силой в армии, и можно сказать, что к трем «родам оружия», существовавшим с давних времен, — пехоте, кавалерии, артиллерии, — прибавился четвертый — летчики.

Особого переворота в военном деле, как многие ожидали, применение авиации не произвело. Уэллс заблуждался, когда в своем фантастическом романе «Война в воздухе» предсказывал, что для всего человечества наступит новая эра под влиянием военных действий в воздухе. Во всяком случае перемена оказалась безмерно меньшей, чем та, например, которая вызвана применением огнестрельного оружия. Когда в артиллерии на место древних катапульт и баллист стали пушки и мортиры, пришлось отказаться чуть ли не от всех прежних методов ведения войны; применение же дирижаблей и аэропланов только расширило немного средства военной техники, и ничего более.

Несмотря на то что корпус летчиков в армии остается явлением чрезвычайно характерным, своеобразным, первенец XX века, авиация пришлась по душе современным людям; у нее нашлись страстные поклонники, посвящающие ей всю свою жизнь; уже есть прирожденные авиаторы, как бывают прирожденные поэты. Когда беседуешь с летчиками, преданными своему делу, кажется, что попал в другой мир. Какие-то чуждые нам представления о событиях складываются у людей, которые привыкли смотреть на землю «сверху вниз», наблюдать жизнь с высоты в 2000 метров.

В Варшаве и при разъездах по «театру военных действий» мне случалось не раз встречаться с нашими военными летчиками, беседовать с ними, расспрашивать их. Приходилось видеть и их эволюции над Варшавой и над позициями, а также во время моей поездки в Б., и полеты наших дирижаблей. [...] Все чаще слышишь об удачных разведках и лихих «налетах» наших авиаторов, все чаще видишь на крыльях парящего моно- или биплана белый круг, знак, присвоенный русским воздухоплавательным машинам.

Совсем недавно мне случилось беседовать с одним из офицеров-наблюдателей, П., совершившим длинный ряд очень смелых и очень успешных разведок и пользующимся огромным уважением в своем полку и среди товарищей. П. — фанатик своего дела; он посвятил себя авиации с самого ее возникновения и, как птица, считает воздух родной стихией. Когда в разговоре заходит речь о каком-либо новом лице, П. неизменно спрашивает:

— А какое отношение имеет он к авиации?

Разумеется. В этих вопросах есть доля шутки, но все же они определяют мировоззрение П.: все, что не имеет отношения к авиации, кажется ему малоинтересным.

Я задал П. вопрос, особенно интересовавший меня: каково, по его мнению, значение авиации для военного дела?

— Я думаю, — не без грусти ответил П., — что настоящую пользу мы можем принести почти исключительно при разведках. Бросание бомб, в сущности, вздор. Нацелиться с высоты страшно трудно: метишь в одно место, а попадаешь на десятки сажень в сторону. Мне самому удавалось причинять немцам тяжкий вред бомбами, но — уверяю вас — более или менее случайно. Однажды я целился в мост, а попал в немецкий обоз и произвел там жестокое опустошение, — и все в этом роде. Так же и немцы: если им удается ловко попасть бомбой, то только по счастливой для них случайности.

— А воздушный бой? — спросил я.

— Почти невозможная вещь. На большом расстоянии стрелять бесполезно: при быстроте хода аэропланов ни за что не попадешь. А подойти в воздухе близко к неприятелю удается один раз из ста, если не из тысячи. Это так редко случается, что многие из нас даже оружия с собой не берут. Вот, например, недавно летчику С., — офицер очень дельный и очень храбрый, — посчастливилось наткнуться на немца. Аппарат у С. делает 150 верст в час, а у немца — только 100. С. нагоняет немца; тот побледнел, весь замер, потому что у него не было с собой никакого оружия. Но на беду и у С. не было с собой даже револьвера: в кармане — часы и плитка шоколада! Догнал С. немца, посмотрел на него, раскланялся вежливо и повернул обратно.

— Простите, но мне кажется, что лететь без оружия все-таки неблагоразумно. И потом это — случай исключительный.

— Если и есть оружие, то бывает трудно нагнать врага. Случай с С. именно исключительный. Что из того, если аппарат лишних 50 верст в *час*. Погоня обыкновенно длится несколько *минут*. За это время немец всегда успевает достичь района расположения своих и приземлиться. Несколько раз я преследовал этих «голубей» на аппарате, который идет гораздо скорее, и всегда безуспешно. Вот не так давно во время разведки встретился мне немец. Я велел моему летчику (П. сам не управляет аэропланом) гнаться за ним. Немец стал давать сигнал дымками: то выпустит струю белого дыма, то черного, повернул и стал уходить. Мы уже почти-почти его настигли, но он тут-то и принизился. Смотрю: под нами немецкие позиции, батарея и все такое. Если бы мы спустились, нас расстреляли бы как куропаток. Пришлось возвращаться ни с чем. Ужасно досадно было!

Разговор перешел на те аппараты, какие распространены в нашей армии и каким пользуется сам П. Сделав характеристику разных систем аэропланов, П. с особой похвалой отозвался о том, какой находится сейчас в его распоряжении. Это — моноплан [...], отнятый у немцев. Во время одной разведки немец попал в сферу нашего обстрела; на аэроплане был пробит бак, и летчик принужден был опуститься; аппарат был взят; его исправили и передали П., как одному из лучших офицеров-наблюдателей… […] отличается исключительной быстротой хода [...], большой грузоподъемностью и особым комфортом во внутреннем устройстве: для наблюдателя устроена особая кабина, где есть отдельный столик, на котором можно разложить карту, ящик для хранения нужных приборов, прикрепленная к борту винтовка и т. п. [...]

— Впрочем, — добавил П., — для каждого летчика всего лучше тот аппарат, к которому он привык. Если бы видели, как управляется С. своим маленьким «мораном-солнье», с крыльями в 14 метров, что он на нем выделывает! Буквально кувыркается в воздухе. «Мертвые петли» для него — самая обычная забава. Кстати сказать, когда их наблюдаешь с воздуха в «петличном», они производят совершенно другое впечатление, чем с земли, — прямо чего-то жуткого. Большое будущее принадлежит и нашим «Илья-Муромцам». Подумайте, что один такой богатырь легко поднимает 40 пудов груза! Когда недавно немцы забросали бомбами Б., им пришлось послать чуть ли не десять аэропланов! А «Илья Муромец» мог выполнить такую задачу один. Особенно хороши наши «Муромцы» нового, «облегченного» типа… Погодите, вы о них еще много услышите!

Я стал расспрашивать о разведках, выполненных П. Сколько было можно, он поделился со мной добытыми им сведениями; но расположение армий сейчас видоизменяется так часто, что все эти сообщения имели значение лишь на несколько дней. Навсегда мне запомнится только тот энтузиазм, с каким П. говорил о своих расследованиях. Он, по-видимому, чувствовал себя истинно счастливым всякий раз, как ему удавалось нанести на карту что-нибудь ранее неизвестное: новый мост, наведенный немцами, новый форт, где-нибудь возведенный ими и тщательно замаскированный, перемещение позиций.

— Нелегкое это дело — воздушная разведка! — сказал П. — Не доверяйте тому, кто, полетав полчаса, привозит какие-то поразительные открытия. С высоты бывает очень трудно ориентироваться и еще труднее определить точно, что именно видишь. Необходимо несколько раз проверять самого себя. Обыкновенно лазишь, лазишь в воздухе и рад бываешь, что наконец отметишь: туда перешла пехота или что-нибудь подобное. А вернешься, спросишь: сколько летал? Оказывается, два часа с половиной!

— И летать вам никогда не бывает страшно? — спросил я.

— Страшно? Бояться совершенно нечего. Падают летчики всегда по своей неосторожности. Если летчик внимательно относится к своему делу, летать столь же безопасно, как ходить пешком или плыть по реке на лодке. При исправном моторе решительно ничего не может случиться. Вот летчика, который меня везет, я всегда выбираю старательно и требую от него самой строгой аккуратности. Зато и мои летчики не остаются внакладе: все, с которыми я летал, получили георгиевские кресты.

Я уже упоминал, что П. сам не управляет аппаратом, а предоставляет это «нижнему чину», сдавшему экзамен на военного летчика. Я спросил, почему он это предпочитает.

— Летчик из меня вышел бы посредственный, — скромно ответил П., — а наблюдатель я, смею сказать, перворазрядный. К тому же солдаты прекрасно справляются со своей задачей. Многие из них делаются превосходными пилотами: так ведут аппарат, как не сумеет самый прославленный пилот из тех, кто забавляют публику на аэродромах. Сколько раз мы попадали под обстрел; от сотрясения воздуха наш аэроплан так и качает, так и бросает из стороны в сторону. И ничего! Всякий раз мой солдатик справлялся с задачей: выпрямит аппарат, поднимется выше и уйдет.

Помолчав немного, П. добавил:

— Кстати, помяните при случае военного летчика солдата Зайцева. Много я с ним летал и другого такого, пожалуй, не сыщу. С виду был корявый мужичишка; характер был у него плохой, все любил по-своему делать, наперекор другим. Но так ловко владел аэропланом, что все отдавали ему должное. И храбрости был исключительной. Имел два Георгия и еще заслужил бы. Да вот третьего дня, когда немцы бросали бомбы в Г., [...] Осколком Зайцева ранило; промучился, бедняга, сутки и отдал душу Богу. Сегодня похоронили.

Варшава, 31-го января

Мимоходом
VIII. Оборона северного фронта

«Задача», которую пытаются решить немцы в Польше, все одна и та же вот уже седьмой месяц: взять Варшаву. Пробовали немцы сразу надвинуться на Варшаву огромными силами, но были отбиты. Пробовали наступать методически, делая свои любимые «глубокие обходы», и опять безуспешно. Последнее наступление было ликвидировано ожесточенным сражением 18–20 января на фронте Боржимов—Гумин—Воля-Шидловская. Тогда германский генеральный штаб решил «приступить к осуществлению нового плана» (слова из донесения штаба Верховного Главнокомандующего). Остановив на нашем западном фронте, в долинах Бзуры и Равки, обильно политых немецкой кровью, лишь небольшие сравнительно силы, немцы опять перебросили свои войска на север. Началось новое наступление, идущее теперь по двум направлениям: одно — прямо на восток, с целью «разбить нашу десятую армию, которая занимала укрепленные позиции вдоль Ангерапа и Мазурских озер» (слова донесения); другое — с севера на юг, непосредственно к Варшаве, по пути, защищенному крепостью Новогеоргиевск.

Серьезность первого движения достаточно выяснена в донесениях штаба Верховного Главнокомандующего. Но и второе движение обладает самостоятельным значением. Судя по количеству войск, сосредоточенных немцами в Плоцкой губернии и на ее границе, можно думать, что на этот раз они действительно хотят испытать, нельзя ли прорвать наш северный фронт и с этой стороны открыть себе доступ к не дающейся им Варшаве. До сих пор Плоцкая губерния служила немцам исключительно демонстрацией большего или меньшего масштаба, главным образом вследствие трудности поддерживать из нее связь с другими армиями. Теперь, как кажется, немцы решились этим затруднением пренебречь.

Сразу вся обстановка жизни на нашем северном фронте изменилась. В тех самых местностях, где в декабре — когда мне случилось проезжать по ним — война была «притушена», как, бывало, перевертывали на время керосиновую лампу, закипела и зашумела напряженная, торопливая деятельность. На передовых позициях, где месяц назад отношения между нашими войсками и немцами были почти что дружелюбными, стали готовиться к событиям самым решительным. Быстро подвинулись на свои новые места полки, батареи, обозы; через поля перебежали новые телеграфные нити; там и здесь с поспешностью были завершены различные сооружения…

Если немцы ожидали встретить нас на этом фронте неподготовленными, они с первых же своих шагов могли убедиться, что глубоко заблуждались. В честь и похвалу всем, кто этим ведал, от высших до малых, надо сказать, что неожиданное наступление отнюдь не застало нас врасплох. Где наши войска отходили перед неприятелем, это зависело всецело (как на то также указано в донесении Штаба Верховного Главнокомандующего) от заранее принятого нами стратегического плана. Где мы находили нужным оказать сопротивление, немцы везде терпели неудачу и были принуждены отступить после отчаянных атак. Как здесь сложатся события далее и чем разрешатся, никто, конечно, сейчас не возьмется предсказать. Но что события готовятся важные, это явно даже для случайного наблюдателя: трудно ошибиться в значении зловещей тишины, разлитой здесь кругом: это — та тишина, что бывает «перед бурей».

Прежде всего глаза наблюдателя поражает непривычная пустынность края, еще 15–20 дней назад оживленного. Можно проехать 5–6 верст, не увидев ни одного человека. На больших дорогах изредка встречаются запоздалые переселенцы: телеги или фургоны, наполненные домашним скарбом, на котором разместилась целая семья, глава которой, молчаливый крестьянин-поляк, спокойно, уверенно шагает рядом. По сторонам шоссе простираются совершенно пустые поля; снег везде стаял, и из-под него выступила поблеклая прошлогодняя зелень; но нет на этих пажитях и пастбищах ни работающих, ни стад. Более населенным кажется небо, в котором то и дело означаются кресты парящих или планирующих аэропланов.

Деревни покинуты жителями, и по избам расквартированы солдаты. Но на этот раз то не было паническим бегством перед наступающим врагом, как в Западной Польше. Население было извещено заблаговременно, что ему лучше покинуть временно край, который может стать ареной тяжелых боев. Следуя совету, крестьяне забирали свое имущество и выселялись в более отдаленные деревни, но не как «беженцы», которые уходили «куда глаза глядят», захватив «что попало под руку», но именно как переселенцы, избравшие «новые места» для жительства. Все при этом уходили с твердой уверенностью, что изгнание продлится недолго, что скоро будет можно вернуться под родной кров.

Замечательно то единение, которое обнаружилось в эти дни между армией и населением. Польские крестьяне, не утратившие и на седьмом месяце войны живое сочувствие к русской армии, старались оказать солдатам все услуги, какие могли: угощали их домашними снедями, давали советы, как расположиться в оставляемых избах, и т. п. Солдаты, в свою очередь, помогали крестьянам собрать имущество, увязывали вместе с ними узлы, укладывали ящики и корзины на телеги. Помогали солдаты и справиться с оставшимися у крестьян запасами зерна. Нередко можно было видеть, как наши «нижние чины» усердно работают на польских мельницах-ветрушках, которых так много в крае. Домолоченный хлеб делится по-братски: половину брал себе крестьянин, половина поступала солдатам…

Поделившись и предоставив солдатам свое жилье, крестьяне-поляки уходили. Понемногу во всем районе не осталось «гражданского населения». Армия взяла весь край в свое временное обладание, чтобы оборонить его от врага и вернуть в свое время законным хозяевам…

Современная и старая крепость

Крепостная техника последних десятилетий, которой пришлось бороться с чудовищно возрастающим калибром орудий, предназначенных для сокрушения укреплений, изобрела сотни утонченных способов и приемов обороны, которые «и не снились» нашим предкам. Современная крепость или требует от осажденных неимоверных, несообразных жертв (как показывает, напр<имер>, штурм Льежа, крепости не первостепенной), или может сопротивляться неопределенно долгое время, пока у гарнизона хватит провианта и боевых запасов.

Старинные крепости, как известно, росли в высоту. Рыцарские замки, которые были, в сущности, крепостями, доныне пленяют нас своими сторожевыми башнями, зубчатыми стенами с узкими бойницами, висячими балконами, подъемными мостами… По мере развития артиллерии крепости все принижались: башни стали не только не нужны, но и вредны, так как представляли превосходную мишень для пристрела; исчезли зубцы стен, которые уже не могли предохранять от тяжелых снарядов; наконец, вообще стены оказались ненадлежащим прикрытием. Каменные сооружения уступили место земляным и бетонным. Крепости стали окружаться рядом фортов, низеньких, со сглаженными земляными склонами, из-за которых едва выглядывают длинные дула современных орудий. Мало того: многие сооружения не только принизились до уровня почвы, но и *ушли в землю*. Вокруг крепости потянулись подземные коридоры и переходы, назначение которых — дать возможность отразить врага, приближающегося к фортам «сапой». С высоты старинных сторожевых башен современные защитники крепостей спустились на землю и как кроты зарылись в нее.

Столь же новые приемы применила военная техника и для защиты крепости от прямой атаки — «штурма» или «приступа». Изгороди из колючей проволоки, густым кустарником опоясывающие теперь форты, или «волчьи ямы», также с кольями и колючками на дне, по существу, еще мало отличаются от «кипящей смолы», которую когда-то лили осажденные на штурмующих их врагов, или от «горючих стрел», которыми гарнизон пытался зажечь неприятельский лагерь. Но другие средства обороны, бесспорно более могущественные и страшные, уже вполне — создание нашего времени. К ним принадлежит, напр<имер>, электрический ток, пропускаемый по проволокам, окружающим крепость: оружие, которого и вообразить не могли инженеры времен Вобана. К ним принадлежат еще мины и фугасы, защищающие все подступы к крепости. Человеческая изобретательность придумала несколько способов минировать дороги: можно сделать это так, что взрыв последует после того, как особый наблюдатель соединит электрический ток; можно и так, что мина взорвется сама собой, едва на определенное место наступит чья-то нога; наконец — так, что значительная часть идущего на приступ отряда через нее, причем погибнут не первые только ряды (как во втором случае), но он весь, целиком. Изобретены еще особые, подземные минные атаки, дороги, по которым проведены электрические токи и т. под., и т. под.

Может быть, будущие поколения найдут свою красоту в этих низеньких, почти не поднимающихся над уровнем почвы фортах; в этих подземельях, где таятся мины,

словно мистические минотавры, поджидающие жертву; в этих проволочных загородях, которые, как зверь с миллионом когтей, готовы растерзать на клочки приблизившегося к ним смельчака, — во всех этих исхищрениях XX века. Человеку наших дней красивым все это не кажется, и для нас эстетика прежних крепостей поглощена утилитарными соображениями. Вероятно, старинная крепость, честно служившая в прошлые века, со своими круглыми башнями, толстыми каменными стенами, валами, рвами, раскатами, пренебрежительно смотрит на выросшие рядом с нею невысокие земляные укрепления, сети из тонкой проволоки, похожие на паутину, и уводящие под землю колодцы. «Доверились бы вы лучше толще моих стен», — вероятно, думает старинная крепость. Но она ошибается: именно проволочная паутина, подземные переходы и скромные бетонно-земляные форты и составляют ту силу, сломить которую трудно даже миллионной армии и ее 42-хсантиметровым орудиям.

Л.А.

В Праснышском районе

‹I›

Когда переезжаешь из города в город на лошадях и особенно когда проходишь путь пешком, «с дорожным посохом в руке», — вся местность кругом становится знакомой и близкой. Запоминаешь отдельные группы деревьев, под которыми отдыхал, овраги, которые приходилось преодолевать, каждую деревню на пути и все картины далей, менявшихся медленно и постепенно. Совсем другое, когда мчишься на автомобиле, который как бы бросает назад, через голову, версту за верстой. Все окрестности сливаются в одно бесцветное пятно — поля, леса, речные долины, отдельные дома и целые селенья, — и кажется, что всегда и всюду, во всех направлениях, едешь по одной и той же дороге.

Все же мне живо припомнился край, в который я вернулся пять месяцев спустя после первого посещения, — и прежде всего потому, что это — одна из немногих областей северной Польши, пощаженных войной. Я был здесь в начале военных действий, в сентябре, при первом наступлении немцев с севера, и почти ничего не изменилось с того времени. Передо мной были те же дали, только из ярко-зеленых стали мутно-серыми, те же маленькие городки, в которых не было ни одного дома, сожженного или разрушенного снарядами, те же мосты и повороты шоссе. Я узнавал знакомые вывески кафе, в которых останавливался во время сентябрьской поездки, красивые очертания недостроенного собора с готическими башенками, который так и остался недостроенным, мощный мост через реку, сохранившийся нетронутым... Все кругом было то же, что и пять месяцев назад.

Но огромная разница чувствовалась в настроении населения. Тогда, в сентябре, война была еще чем-то новым, неизвестным, страшным. Тогда ее приближение наводило ужас. Перед глазами всех стояли окровавленные призраки Млавы, Ченстохова, далекой, раздавленной Бельгии. Немцы представлялись свирепыми хищниками, одно имя которых вызывало трепет. Тогда местные жители, едва разносилась весть, что германские войска недалеко, спешили бежать в настоящем «паническом»

страхе. Мне припомнилось то самое шоссе, по которому мы теперь проезжали, запруженным беженцами: ехали фуры и телеги, переполненные, набитые людьми и имуществом; вереницами шли пешеходы, унося в котомках за плечами свое скудное достояние; в лесах располагались таборами крестьяне, надеявшись укрыться в чаще от зоркости немцев.

Ничего такого не было теперь перед нами, хотя движение немцев на этот раз гораздо серьезнее и предпринято с гораздо большими силами. Не то чтобы население стало меньше бояться немцев, но оно стало хладнокровно относиться к военным действиям и до известной степени разбираться в соотношении сил. Шесть месяцев войны научили многому и заставили всех практически пройти элементарный курс военных наук. В начале войны в душах местных жителей со слепой верой в русскую силу боролся столь же слепой страх перед врагом; теперь же все со спокойной уверенностью выжидают хода событий. И жизнь в «угрожаемых» местностях течет теперь почти так же, как в мирные годы, хотя на каждом шагу встречаются серые солдатские шинели и ветер порой доносит издалека гул пальбы...

Может быть, это спокойствие местных жителей объясняется тем, что они невольно каждый день наблюдают, насколько наша армия готова встретить непрошеных гостей. [...] гребнях рыхлой земли, живописно пестрели разноцветные одежды крестьянок, бодро и быстро работавших солдатскими лопатами...

Промелькнул огромный железный мост; мы въехали в П., довольно большой городок, расположенный на высоких склонах правого берега. В сентябре П. казался вымершим. На улицах и на базарной площади тогда тоскливо топтались только кучки евреев; ни одного экипажа не было видно нигде; окна кафе и ресторанов были забиты досками — наивная предосторожность! Когда я зашел в мелочную торговлю, едва ли не единственную, которая была открыта во всем городе, купить тросточку, на меня посмотрели как на безумного. А в отеле, куда мы вошли «черным ходом», мы лишь с большим трудом выпросили себе чайник кипятку, который нам дали скорее из любезности или из милости, чем ради платы, а пить чай нам пришлось на бильярде, так как вся мебель была припрятана.

Теперь нас окружила в городе привычная повседневная жизнь. Люди шли по своим делам, толпились на крыльце почтовой конторы, заходили в магазины, сидели в кофейнях. В том самом отеле, где в сентябре нам отказывали в кипятке, мы нашли теперь буфет с закусками, накрытые столики, всю обстановку ресторана. Девушка-служанка привычным голосом стала перечислять нам сегодняшнее меню: «шницель, бифштекс, свиные котлеты, заяц...» А в соседней комнате весело стучали бильярдные шары.

Можно было подумать, что генерал Гинденбург и не замышлял своего обходного движения на Варшаву с северо-востока, — движение, которое в случае удачи должно непременно захватить и П.! А между тем в сентябре немцы далеко не были так близко от П., как теперь, в феврале, и в конце концов все их сентябрьское наступление с севера было только большой демонстрацией. Да, ко всему могут привыкнуть люди, — даже к «состоянию войны»!

II

После недолгого отдыха в П. мы продолжали наш путь. Близость района боевых действий становилась ощутительнее. Автомобиль принужден был лавировать между повозками и телегами бесконечных обозов [...].

По шоссе мы то обгоняли различные части войск, шедшие к месту своего назначения, то встречались с вестовыми, скакавшими с донесениями. По сторонам шоссе вырисовывались обычные образы картины боевой жизни [...]. Наконец, все чаще и чаще стали встречаться партии пленных немцев.

Пленных было много. Иногда шли небольшие группы, в 10–20 человек; иногда в одноколках провозили по одному — по два, видимо раненых; но были и огромные партии, в 200—300 человек. Конвоировали их [...] вполне достаточно. Лица у пленных были самые разнообразные, но преобладали пожилые ландштурмисты. Многие курили: кто — трубку, кто — папиросу, а кто и сигару. Иные даже несли свое имущество в особом, довольно объемистом узелке.

Большую группу пленных, человек в 300, нам пришлось увидеть в М., городке, лежавшем на нашем пути. Пленные были выстроены на площади, перед отправкой в П. [...]; они стояли со скучающим видом, переминались с ноги на ногу и обменивались друг с другом замечаниями сквозь зубы. Кругом теснилась толпа из наших солдат и горожан и с любопытством разглядывала «врагов».

— Разве же это солдаты! — говорил стоявший около меня «унтер» своему соседу. — Наш один троих таких уберет. Вот, гляди, на коне сидит, вот это — солдат!

— Так он на коне! — возражал товарищ. — Сидит. А эти небось пеши, устали.

— Ну вот возьми: пехотинец, — упорствовал унтер, указывая на рослого солдата, — в плечах — косая сажень. У них ни одного такого нет.

Помолчав, унтер продолжал:

— И что за шинелишка у них: ветром стегана... Захочу, и я фуфайку куплю. Да мне не надо: и в казенном тепло.

Мы спросили, в каком бою были взяты эти пленные.

— Без бою, — самодовольно ответил унтер. — Окружили мы деревню, они и побросали оружие. Берите, мол, нас живыми.

Не дождавшись выхода партии, мы попытались ехать дальше. За М. уже начинался боевой район. Деревья вдоль шоссе были срублены, чтобы не мешать обстрелу. В окопах солдаты рассыпаны цепью. На удобных позициях расположены батареи, вполне готовые к бою. Уже отчетливо слышались впереди залпы орудий и треск разрывающихся шрапнелей, и с каждой новой верстой гул пальбы возрастал ...

Целью нашей поездки было имение О., принадлежащее помещику В., с которым я познакомился во время своего пребывания в этой местности в сентябре. Зная любезность и чисто «польское» гостеприимство В., мы надеялись встретить в его усадьбе дружественный прием, переночевать в ней и ближе ознакомиться с событиями, развивающимися вокруг. В Варшаве я слышал, что немцы при одном из своих вторжений в Плоцкую губернию занимали О. и многое в имении разрушили, но что потом владелец вернулся в усадьбу и занялся приведением ее в порядок.

Однако на этот раз нам не суждено было повидаться с гостеприимными хозяевами О. Едва мы миновали небольшую деревушку Д., отстоящую всего на 7–8 верст от конечной цели нашего путешествия, как командир небольшого отряда, составлявшего, по-видимому, сторожевой пост, сам вышел на шоссе и сделал нам знак остановиться.

— Господа, — сказал офицер, — предупреждаю: дальше шоссе обстреливается тяжелыми снарядами. Если угодно, поезжайте, но я ни за что не ручаюсь.

Пальба тем временем перешла в отчетливо слышимые отдельные выстрелы и взрывы. Снаряды разрывались где-то совсем поблизости. За кустарником, прикрывшим поворот шоссе, то и дело взлетали дымки шрапнелей. Посоветовавшись между собой, мы решили не ехать дальше.

Мы предложили офицеру свежие столичные газеты, привезенные нами из Варшавы, которые он принял с явной радостью. Потом я попросил позволения раздать солдатам папиросы и табак.

— Сделайте одолжение, — отвечал офицер.

У меня был с собой небольшой запас папирос, махорки и папиросной бумаги из числа подарков, порученных мне для раздачи на передовых позициях московским Литературно-художественным кружком. Едва солдаты услышали, что можно получить табак, как все, толпой, ринулись к автомобилю.

— Тише-тише, братцы, свалите меня с ног!

Но трудно было сдержать это стремление напиравших со всех сторон людей. «Изголодавшиеся» без табаку солдаты вырывали у меня из рук коробки и пачки. Наконец послышался окрик офицера:

— Да осторожнее вы, ребята! Не видите разве: вас заметили и по вас палят.

Действительно, отступая под напором толпы, я невольно вышел на открытое место, а граната с треском разорвалась шагах в 200 от нас.

— Я попрошу вас, господа, зайти за угол, — предложил офицер.

Мы завернули за угол крайней избы, и там я закончил раздачу, жалея, что взял с собой недостаточно большой запас: столько еще осталось обделенных! А залпы между тем все учащались, и взрыв за взрывом следовал на поле, под самой деревней. Надо было «уходить», а то немцы могли нас «нащупать».

Попытались мы расспросить офицера об общем ходе дела, но что можно знать, находясь на передовой позиции! Ничего, кроме того, что совершается перед глазами. Любой читатель газет в Москве более осведомлен, чем офицер в окопах.

Мы могли только узнать, что Прасныш взят немцами. О блестящих делах в этом районе и в этот самый день отдельных частей нашей армии, а также о подвигах наших блиндированных автомобилей мы услышали лишь по возвращении в Варшаву. И лишь через день из донесения штаба Верховного Главнокомандующего узнали, что Прасныш, недолго побывавший в руках германцев, был затем взят нами обратно. Там, на позициях, нам оставалось только догадываться, по большому числу пленных и по некоторым другим признакам, что, несмотря на занятие Прасныша немцами, перевес в бою на нашей стороне.

Попрощавшись с офицером, мы повернули автомобиль, который и помчался обратно к М. с той же стремительностью, как лошадь, почувствовавшая, что воз-

вращается в конюшню: шофер был, вероятно, очень доволен, что мы не настояли на продолжении пути.

III

Опять замелькали мимо нас те же места, которые мы только что миновали. У окопа, в котором солдаты были рассыпаны цепью, они еще стояли во весь рост, собираясь «залечь» по первому знаку. Вечернее, опускавшееся солнце стояло прямо над их головами, и лучи его, проходя сквозь облака, образовывали над ним род ореола. То было справедливое венчание героев, вновь готовых на подвиг.

Слева от нас, где расстилалась долина небольшой речки, было видно, как маршировала колонна, постепенно исчезая в отдаленном лесу. Это велось «обходное движение». Колонна должна была зайти во фланг левого крыла немецких сил. Судя по рассказам, которые потом пришлось слышать, движение это удалось блестяще.

Сзади пальба не только не прекращалась, но все возрастала. Вскоре начали отвечать и наши орудия. Обернувшись, мы могли видеть белые огоньки, вспыхивавшие за деревьями, за строениями, которые отделили нас от передовых позиций. С наступлением темноты здесь должен был разгореться фейерверк.

В М. пленные немцы еще стояли на площади, и толпа не уставая продолжала разглядывать их. Несколько дальше, у деревни С., нам пришлось присутствовать при раздаче другой партии пленных хлеба. Немцы порывисто кидались к повозке, откуда выдавали им по «французской булке», толкали друг друга, вырывая желанную подачку, и немногим конвойным стоило большого труда восстановить порядок. Того гордого, пренебрежительного вида, с каким держали себя пруссаки в первые месяцы войны (солдаты регулярных войск), совсем не было у этих суетливых, заискивающих ландштурмистов.

В П. мы опять пили чай. Потом зажгли фонари у автомобиля и покатили по ровному, опустевшему шоссе к Варшаве. Бой остался позади, и чувствовалось, что не так просто будет немцам пройти это огромное расстояние от их позиций до столицы Польши.

Варшава, 15-го февраля

Штабс-капитан Гурдов

Телеграмма «Петроградского Агентства» от 15-го февраля кратко сообщает о смерти штабс-капитана Гурдова. Под Праснышем Гурдов, командуя нашими блиндированными автомобилями, «под жестоким огнем выехал на германскую батарею и огнем на расстоянии 20 шагов перебил прислугу у орудия». При этом «беззаветно-дерзком налете, весьма благотворно отразившемся на общем ходе сражения», штабс-капитан Гурдов и был убит. Телеграмма напоминает, что Гурдов уже прославился в ночном бою близ Пабианиц, и являлся в нашей армии пионером в деле боевого употребления автомобилей.

Биографию и характеристику Гурдову напишут его товарищи, знавшие его. Но и мне, встречавшемуся с ним всего несколько раз, хочется помянуть его. На всех, кто к нему приближался, Гурдов производил впечатление человека незаурядного, а после недолгого разговора с ним каждый невольно поддавался обаянию его души, в которой юношеская мечтательность своеобразно сочеталась с математической строгостью мысли и строгим, холодным расчетом. Когда от нас уходят люди, подобные Гурдову, глубоко жаль и их самих, и страшно за дело, бывшее в их руках, потому что нелегко найти в замену им очередного.

Я посвятил в «Русских Ведомостях» отдельную статью штабс-капитану Гурдову (в № от 28-го декабря, «Один из героев», где имя Гурдова обозначено инициалом Г.), в которой описал свою первую встречу и беседу с ним. Гурдов тогда вкратце передал мне свою биографию: рассказал, как он служил капитаном подводного плавания и увлекался фантастическими прогулками по морскому дну; как он мечтал стать авиатором, но должен был отказаться от такого намерения по состоянию своего здоровья; как позже томился, служа преподавателем в военно-учебном заведении, изнемогая от этой кабинетной работы, которая подавляла в нем жажду живой, непосредственной деятельности и подрезывала крылья у его фантастических мечтаний. Едва началась настоящая война, Гурдов устремился на нее, как на то поприще, на котором он может наконец удовлетворить самые настойчивые потребности своего духа.

И действительно, на войне Гурдов мог в полной мере утолить свой духовный голод по *необыкновенному.* В короткое время имя Гурдова получило самую широкую огласку в военных сферах и за их пределами. Целый ряд безумно-смелых предприятий был связан с именем Гурдова. Он находил особое наслаждение в «испытании» судьбы и с величайшей охотностью принимал на себя самые рискованные поручения, часто оказывал тем огромные услуги нашей армии. То была не только храбрость, не только готовность исполнить свой долг, но неодолимая потребность приблизиться к опасности и восторжествовать над нею силами своего хладнокровия, решительности и строгого расчета.

Особенно много сделал Гурдов, когда был назначен командиром наших блиндированных автомобилей. Он не только «поставил на ноги» это новое у нас дело («явился его пионером», как говорит телеграмма «Петр<оградского> Агентства»), но вознес его на высоту, которой оно не достигло и у наших врагов, ранее обзаведшихся этими машинами. На немцев наш отряд блиндированных автомобилей наводил панический ужас. С ничтожными силами Гурдов врывался в целые полки германцев и, хранимый каким-то чудом, под дождем пуль, шрапнелей и гранат засыпал врага своими снарядами и заставлял отступать. В ночном бою близ Пабианиц (под Лодзью) Гурдов, командуя двумя блиндированными автомобилями и автомобилем-пушкой, имея под своей командой всего 16 человек, привел в беспорядок и оттеснил с позиций *четыре полка* немцев. Подчиненные слепо верили в Гурдова, любили его беззаветно и были убеждены, что он «заговорен» от пуль. Впрочем, несколько раз Гурдов бывал легко ранен.

— Я, — говорил мне Гурдов, — немного фаталист.

Вероятно, он употребил это последнее слово из особой духовной стыдливости, которая не позволяет говорить всуе о самом святом. Правильнее Гурдов мог бы сказать, что он — человек верующий, религиозный. Не столько он полагался на фатум, судьбу, сколько на промысел Божий. Однажды в Варшаве я зашел в новый собор, службы не было, и храм был пуст. В стороне, у одной иконы, я увидел коленопреклоненного человека, который молился, ничего не замечая вокруг. Когда он поднялся с колен, я узнал Гурдова. Мы говорили несколько минут. Я сказал что-то о художественной красоте собора. Гурдов возразил мне:

— Это зависит от того, кто чего ищет в храме. Для меня этот собор дорог тем, что он располагает к молитве. Я люблю приходить сюда, когда здесь никого нет: тогда весь этот простор, этот купол, эти величественные колонны невольно возносят душу к Богу...

У нас еще нет подробностей о последнем бое, в котором Гурдов погиб. Но в самый день его смерти мне случилось быть именно в той деревне Добржинково, около которой он был убит. Это — небольшая деревушка, верстах в семи от Прасныша, на самом шоссе. В этом месте шоссе делает небольшой поворот влево (если ехать к Праснышу); даль закрыта кустарником и мелколесьем. За этими деревьями и расположили немцы свою батарею, загораживая занятый ими тогда Прасныш и осыпая наши силы перекидным огнем. Слева находится широкое открытое поле, по которому без тяжких жертв невозможно подойти к неприятельским позициям; справа — долина небольшой речки, тоже открытая для обстрела с немецких позиций, занимавших, сравнительно с долиной, высóты.

Такая топография местности и объясняет некоторую затруднительность нашего положения. Когда я был в Добржинкове, происходил тот «общий отход наших войск, сопровождавший начало сражения», о котором говорит телеграмма «Петроградского Агентства» (от 15-го февраля). Гурдов, очевидно, повел свои блиндированные автомобили прямо по шоссе непосредственно на неприятельскую батарею. Умирая, он мог иметь то утешение, что движение его и на этот раз удалось блестяще. Не только Прасныш был взят нами обратно, но даже неприятель «в большом, но еще не выясненном числе положил оружие». Одна телеграмма говорит, что «дерзкий налет Гурдова весьма благотворно отразился на общем ходе сражения». Другая подсчитывает, что за два дня, 11-го и 12-го февраля, нами взято в праснышском сражении «30 офицеров 2600 нижних чинов, 7 орудий, 11 пулеметов и большое количество обоза». Таким образом, и в последнем, роковом для него бою штабс-капитан Гурдов остался тем же героем, каким проявил себя во всю кампанию и погиб, оказывая новую, неоценимую услугу нашей армии…

Приходится сказать «последнее прости» павшему герою и человеку. Да живет его пример в рядах нашей армии! Будем надеяться, что в ней найдутся новые Гурдовы, которые сумеют продолжать его любимое дело. Это будет лучшим венком на могилу штабс-капитана Гурдова.

Варшава, 16-го февраля

К Праснышскому сражению

Праснышское сражение было одним из самых значительных за все время войны. С обеих сторон в нем участвовали весьма крупные силы, оно решило участь всего «восточно-прусского к нам вторжения», главное же — закончилось оно не неопределенным результатом, как ряд других больших боев, но решительной нашей победой. Немцы были разбиты, частью отступили, частью бежали, понеся огромный урон, отдав много пленных и много орудий, и должны были уйти к Млаве и дальше, за свою границу. Еще не настало время подводить итоги этого сражения или рисовать полную его картину, но именно теперь, пока воспоминания свежи, должно собирать для этого материалы. Может быть, не лишними будут и те мелкие штрихи, которые могу привести я на основании рассказов очевидцев и участников боя, а отчасти и по личным впечатлениям.

Прасныш — небольшой городок, типичный для северной Польши. В центре — базарная площадь с каланчой, аптекой, присутственными местами. Неподалеку — городской сад, запущенный и малопосещаемый. Как реки, вливающиеся в озеро, на площадь выходят улочки, грязные, обставленные зачастую одноэтажными деревянными домишками. На одной из них — городской собор за каменной оградой. Большинство жителей — евреи; по крайней мере из них состоит городская толпа: евреи бессменно суетятся на площади, красивые еврейки сидят у ворот и у дверей лавок, еврейские фамилии пестрят почти на всех вывесках. В общем, все так обыкновенно, что Прасныш можно спутать с десятком других польских городов.

От боя Прасныш, конечно, пострадал, но далеко не так, как, например, некоторые города на юге Люблинской губернии, в которых есть целые кварталы, обращенные в развалины. В Прасныше разрушены и сгорели только отдельные дома, много — группы домов. Более пострадали окрестные деревни, за которые также шли упорные бои. По окраинам деревень от «халуп» (так здесь называют избы) остались одни печи, широкие у основания и кончающиеся тонкой трубой, что придает им странную пирамидальную форму. Издали кажется, что въезжаешь на улицу, по сторонам которой стоят маленькие белые пирамиды. Пострадали и четыре аллеи-шоссе, которые выходят из Прасныша в четырех разных направлениях. Столетние деревья срубили, и теперь под городом дороги обставлены какими-то искалеченными, неровными пнями.

Как известно, немцы могли занять Прасныш вследствие сравнительной неожиданности своего наступления. Вообще, быстрота, стремительность были единственным их преимуществом, и только этим объясняется их некоторый успех в первые дни боя. Когда выяснилось, что наступающие германские силы значительно превышают наши и что немцы угрожают зайти нам в тыл, решено было временно эвакуировать Прасныш. Солдаты долго не могли примириться с таким приказанием.

— Иные чуть не плакали, — рассказывал один офицер, — и просили меня: «Ваше благородие, выхлопочите позволение остаться! Мы его (немца) отшибем,

верьте слову, не впустим!» Просьба была наивная, но характерная: солдаты смотрят на бой как на свое личное дело, испытывают чувство личного стыда, отступая перед немцем.

Агентская телеграмма сообщала, что «в Прасныше при общем отходе наших войск осталась горстка наших храбрецов». Точнее говоря, они остались не в самом городе, но в передовых окопах, расположенных на пути наступления немцев с северо-востока. Этот отряд, атакованный безмерно превосходящими силами, не положил, однако, оружия, но пытался пробиться и соединиться с товарищами. Это он один вел на улицах Прасныша тот бой, который в немецких сообщениях назван «упорным сопротивлением». Надо надеяться, что впоследствии мы узнаем подробности этого славного дела.

После «отхода» мы сосредоточили в районе Прасныша силы, которые могли не только успешно бороться с германской армией, но и выбить ее из всех позиций. Мне довелось видеть на дорогах от Варшавы наши полки, шедшие на указанные им места. Всматриваясь в лица солдат, марширующих к месту боя, невольно думаешь увидеть следы волнений, тревоги. Ничего не было; солдаты шли спокойно, бодро и выражение их лиц было просто серьезное, деловое, как у людей, идущих делать свое дело. Сознаюсь, что, глядя на эти полки, я испытывал ‹чувство› непобедимой — может быть, и «дешевой» — гордости. Как много здесь было сильных, здоровых, крепких молодцов, из которых едва ли не любой мог позировать как тип для этюда «Русский солдат»! Словно и не печатаются ежедневно длинные списки «выбывших из строя»! Словно то был первый день войны, и наши лучшие силы вышли вперед. Чувствовались огромность и неисчерпаемая мощь России!..

Самый праснышский бой, как все современные сражения, разбился на много десятков отдельных маленьких боев. По шоссе через каждые 200–300 сажен встречается окоп, часто огороженный колючей проволокой. Такие же окопы окружают деревни, перерезают поля; вся обширная область праснышского боя похожа на какой-то гигантский кротовый дворец. При постоянных передвижениях частей армии отдельных мест боя так много, что санитарам стоило большого труда привести их в порядок. Много спустя после боя еще можно было видеть в окопах тела немецких солдат. Некоторые приходилось с усилием высвобождать из колючей проволоки, в которой они запутались, как в капкане.

Несомненно, что немцы проявили на этот раз меньше распорядительности, чем обыкновенно. В середине сражения у них произошла какая-то путаница, и связь между частями армии нарушилась. Были отряды, которых в штабе как бы потеряли из виду, так что они не получали ни продовольствия, ни боевых снарядов. В деревне Ж. целая рота, занимавшая ее, положила оружие. Когда пленных спросили, почему они сдались, те отвечали угрюмо:

— Нам нечем было стрелять…

Пленных в сражении было взято особенно много. Немцы перестали бояться русского плена, и были случаи, когда они клали оружие с шутками: «Довольно, повоевали!» Все дороги, ведущие от Прасныша, были заполнены отрядами конвоируемых

пленных. Издали можно было узнавать их по серо-синеватому цвету шинелей. Кстати сказать, этот цвет всего менее может быть назван «защитным»: он резко выделяется на фоне земли и порыжелой, зимней зелени травы.

В городах, через которые проходили отряды пленных, они делались предметом всеобщего любопытства. Всегда их окружала толпа; но зрители, обмениваясь между собой разными замечаниями по поводу немцев, не позволяли себе никаких оскорблений. Никто в пленных не плевал, не бросал камнями, что приходится испытывать нашим пленным в немецких городах… С таким же любопытством толпа разглядывала разные трофеи: пушки, пулеметы, зарядные ящики. Всего этого нам также досталось много. В своем поспешном отступлении немцы бросали свои орудия на дороге или в лесу, даже не успев привести их в негодность. Говорят, нам досталась и новая линия железной дороги, построенная немцами.

Все роды оружия приняли участие в праснышском сражении. Главная тяжесть выпала, конечно, на долю артиллерии и пехоты. Последняя, вообще играет первую роль во всей войне, и ее, по выражению Пушкина, «тяжкой твердости» обязаны мы важнейшими успехами. Но в праснышском бою могла развернуться и кавалерия, потому что отступление немцев местами переходило в настоящее бегство. О подвигах наших блиндированных автомобилей уже много говорилось. Товарищи и подчиненные шт‹абс›-кап‹итана› Гурдова показали себя достойными своего погибшего начальника. Огромные усилия оказали нашей армии летчики, которые работали неутомимо, несмотря на крайне неблагоприятную погоду: поднимался и сильный ветер, начинал идти и дождь, и мокрый снег, — ничто не могло остановить «крылатых воинов». Немецкие авиаторы также пытались помогать своим, кружили над нашими позициями, бросали бомбы, но без особого успеха…

Неподалеку от Прасныша находится местечко Богатое. Там есть, около самого шоссе, небольшой прудик. Хотя снега в полях не было (единственными белыми пятнами пейзажа были стаи уток и гусей), прудик был подернут непрочным ледком. Мне случалось проезжать мимо в то самое время, когда шел бой за Прасныш. Издалека доносился гром канонады; за лесом были видны вспышки разрывающихся шрапнелей. Между тем группа мальчишек, подвязав дешевенькие коньки, мирно забавлялась катаньем. Дети весело хохотали, не заботясь, что каждую минуту могут провалиться в студеную воду, и не слушая отзвуков страшной пальбы…

Варшава, 20-го февраля

Литература немецких окопов

Немцы самый книжный народ в мире. Ни в одной стране не издается столько книг и журналов, как в Германии. И нигде не покупается столько книг, как в Германии. Франция, напр‹имер›, в значительной степени издает свои желтые томики для вывоза: Россия и Южная Америка являются важнейшими рынками книжной торговли. Сами французы не любят покупать книги. «Тому виной, — наивно объяснял мне один француз, — древность нашей культуры: в каждом доме есть библиотека, собранная дедами, и новые книги некуда ставить». Немцы, напротив, сами «потре-

бляют» производимые ими книги. Агенты немецких книжных рыскают по городам и селам и всюду «всучивают» разные издания по подписке или томики бесчисленных дешевых серий вроде знаменитых изданий. Трудно найти в Германии дом, где не было бы маленькой библиотечки классических и новых книг.

Неудивительно поэтому, что и немецкие окопы не лишены своей литературы. Сколько раз мне случалось попадать в траншеи, покинутые немцами, я всегда находил там груды печатной бумаги, и это несмотря на то, что раньше в окопе уже побывали наши санитары, вынесли из него все, имеющее ценность и значение, и более или менее «прибрали» его. В немецких окопах всегда валяются номера газет, листки разных реклам и воззваний, прокламации, поучения, страницы, вырванные из книг, и целые маленькие брошюры. Книжность немцев сказалась и на войне ...

Есть в этой груде печатной бумаги вещи не «специфические», не имеющие прямого отношения к войне. Таковы берлинские и иные газеты, разные романы и книги более серьезного содержания, от которых то там, то здесь попадаются странички; это, вероятно, — чтение офицеров. Таковы также книги содержания религиозного, молитвенники, Евангелие, Библия; эти, вероятно, остались после солдат. Особенно часто приходится находить странички псалмов.

Далее следуют всякого рода рекламные листки. Среди них есть объявления, непосредственно порожденные войной, в которых рекламируются панцири, непроницаемые для пуль и *для пик*, складные кровати, всевозможные консервы, сгущенный спирт и т. д. Но встречаются и объявления неожиданные, которым, казалось бы, не место в окопах: напр‹имер›, мне попался листок, восхваляющий фабрику итальянских окарино. Очень много предложений от «Немецкого военного союза» (Deutscher Kriegerbund), занимающегося страхованием жизни воинов. Полное название этого учреждения: «Friedrich Wilhelm Lobensversicherung Aktiengesellschaft in Berlin) (т. е. берлинское акционерное Общество страхования жизни имени Фридриха Вильгельма). Внеся сумму от 5-ти до 200 марок, солдат может ожидать, что его семья, в случае его смерти, получит маленький капитал. В войну 1870–1871 гг., когда это Общество уже существовало, пришлось, по расчету, по 250 марок на каждые 10 марок взноса. Разумеется, чем больше солдат будет убито, тем ниже будет премия... Общество рассылает совершенно готовые нумерованные квитанции, в которые остается только вписать свое имя, фамилию, полк и т. п.

Определенно для армии составлены несчетные воззвания и прокламации. Немало воззваний от различных религиозных общин; эти воззвания пересыпаны текстами Священного Писания, но составлены в весьма воинственном духе (текст некоторых из них уже приводился в русской печати). Встречаются и воззвания политические... В большом количестве валялись, прежде ‹всего›, книжки с горделивым заглавием: «Mehr Freinde, — mehr Erde» (больше врагов — больше чести). В них изложен, конечно с немецкой точки зрения, — ход дипломатических переговоров, приведших к войне, причем перепечатаны отрывки из официальных документов, долженствующие доказать, что Германия всеми средствами поддерживала мир, но на нее коварно напали со всех сторон. Говорят, что всем немецким солдатам без исключения были розданы эти книжки. Я видел их в окопах при Ло-

виче; с тех пор они встречаются реже: должно быть, даже немцам не показалась убедительной официальная ложь. [...]

Особый вид политической литературы составляют карикатуры, отпечатанные преимущественно на открытых письмах. Те, которые я видел, отличались характерной немецкой грубостью. На одной, напр‹имер›, был изображен англичанин, в виде низенького пузатого человечка, присевшего на своем острове, тогда как колоссальный немец шагает исполинской походкой через Па-де-Кале и готовится раздавить врага, как лягушонка, гигантским сапогом; в небесах парит цеппелин. На другой изображены французы, убегающие целой толпой от одной прусской каски, выставленной на палке из-за окопа... Есть, конечно, карикатуры и на русских, особенно на казаков, столь же грубо-несообразные.

Наконец, видное место в «окопной литературе» занимают солдатские песенники. Они попадаются так часто, словно немецкие солдаты только и делают в походе, что поют. Кажется, однако, что усилия германских Тиртеев пропадают даром. Правда, их «листовки» доходят до армии, но петь солдаты предпочитают не гимны, сложенные поэтами-патриотами, а популярные арии из опереток. Известно, напр‹имер›, что в Брюссель немцы вступали с пением «Пупсика», чем засвидетельствовали уровень своей музыкальной культурности.

Среди песенников также есть религиозные. Одни так и называются: «Feldgesangbuch für die evangelischen Mannschaften». Здесь собраны молитвы и песни известнейших протестантских проповедников, начиная с Лютера, Штегмана, Флемминга, Вегелина, а также религиозно-военные стихи различных поэтов, как Геллерта, Редера, Кернера и др. Энергия духовных гимнов Лютера давно оценена по достоинству, но именно их всего меньше в книжке. Большую ее часть образуют приторно-пиетические вдохновения, с большой примесью сентиментализма. Как-то неловко становится при мысли, что такие стихи предлагается распевать опустошителям Бельгии и Польши, разрушителям Реймсского собора, солдатам той армии, которая привела в негодование мир грабежами, убийствами, насилием и кощунством. Как образец приведу одно стихотворение, далеко не самое «чувствительное»:

В страхе будь, о сердце! сердце, бойся Бога!
Все Ему покорно. Он — всему подмога.
Не страшись забот, скоро день придет,
Вслед за зимней стужей май вновь расцветет.
Во всякой буре, меж всех тревог,
Тебе поможет милосердный Бог.
В страхе будь, о сердце! Сердце, бойся Бога!
Все Ему покорно. Он — всему подмога.
Смерть со всех сторон: не покинет Он!
Как ни грозны беды, каждый Им спасен.
Хранитель верных от всех тревог,
Спасет нам душу милосердный Бог.

Другой песенник, озаглавленный «Немецким воинам» (An deutschen Krieger), написан одним лицом, выставившим, однако, только инициалы своего имени, F. S.

К чести автора надо думать, что он так поступил, стыдясь того, что им написано. У нас эту брошюрку в 8 стр. назвали бы «лубочной». Напечатанная с немецкой аккуратностью, она, конечно, не имеет ничего общего с лубком по внешности, но по содержанию ниже самых горестных продуктов Апраксина рынка. Автор старается смешить и быть остроумным, но это ведет лишь к тому, что в своих песнях он осыпает ругательствами всех врагов Германии. Немец же в описании F. S. является богатырем, от одного удара которого валятся «сразу три казака» (очевидно, самое параболическое выражение, какое мог придумать поэт!). Написаны песни вялым стихом, и, вероятно, никому не придет в голову действительно *петь* их.

Гораздо выше по художественным достоинствам листок со стихами Мартина Геннига (M. Hennig), которым я и закончу свой беглый обзор немецкой «окопной литературы». Листок этот, зачастую находимый в окопах, озаглавлен: «Neue Kriegslieder für deutsche Jungen» («Новые военные песни для немецкой молодежи), причем добавлено, что песни написаны на старые мотивы. Действительно, при каждом стихотворении указана известная мелодия, на которую его можно петь. Сами по себе стихи певучи, музыкальны, а главное — весьма характерны по выраженным в них идеям для настроения немцев в начале войны. В виду исторического значения этих песен я приведу образцы их в переводе прозаическом, позволяющем сохранить все выражения подлинника. [...]

Сам поэт, может быть, искренно верил в то, что писал: что Германия была «оплот мира», что она борется «против лжи и обмана» и т. д. Читатели же, вероятно, ловят из его стихов только восклицания: «*К победе* скорей!», «веди нас *к победе*!», «бей на Восток и на Запад!» Стихи Геннига декламировались в Берлине на концертах в начале войны (как мне передавало одно лицо, оказавшееся в день объявления войны за границей и пережившее месяц «германского плена»). Там именно эти выражения покрывались рукоплесканиями слушателей. Что же касается солдат, то, хотя им и раздают брошюрку Геннига (цена за 1000 экз. — 15 марок, — сообщает объявление), но они предпочитают петь «Пупсика».

Варшава, 18-го февраля

В обстреливаемом городе
(26-го февраля)

Вторично словно хлопнули где-то поблизости чудовищной хлопушкой, и короткий, но грозный гул прокатился вслед за ударом.

Шофер моего автомобиля (наемного) останавливает машину и молча поворачивает ко мне недоумевающее лицо; в этом молчаливом взгляде ясно читаются укоризненные вопросы:

— Что же это значит? Куда вы меня завезли?

Я говорю, стараясь придать своему голосу наибольшую убедительность:

— Стреляют, но это — далеко; поезжайте.

Мотор трогается. Но, едва проходим мы еще несколько десятков сажень, страшные хлопушки хлопают опять и опять. Шофер опять останавливает автомобиль.

Перед нами — красные кирпичные стены казарм. Помню, как я проезжал здесь в начале войны, в августе. Тогда эти красные корпуса имели вид почти щегольской. Вокруг шумно толпилась огромная семья солдат; дымились походные кухни; слышался веселый смех… Теперь казармы обезображены следами недавнего боя; крыши во многих местах разворочены; стекла в окнах выбиты; в стенах зияют громадные пробоины, в целый этаж вышиной. Сейчас вокруг казарм также толпятся солдаты, но на этот раз они молчаливы и серьезны.

Несколько человек солдат расположились ближе ко мне: сидят в канаве у самого шоссе. Я выхожу из автомобиля и справляюсь у одного из них, как дела.

— Бой идет, — как-то нехотя отвечает он.

— Близко немцы?

— А кто их знает. [Говорит, прорвались где-то. Вот и обстреливают.] Пока он говорит, — раз, два, три — один за другим хлопают три потрясающих удара. В ответ раздаются два других взрыва, по-видимому более близких, звук которых — иного тембра.

— Это — наши, — равнодушно замечает солдат.

Вообще, солдаты относятся к пальбе как к чему-то, что в настоящую минуту их совершенно не касается. Я присматриваюсь и вижу, [что за казармами, в поле, по правой стороне поля, если ехать к Праснышу] расположена наша батарея, [пушки обращены ко мне казенной частью, и дула их направлены перпендикулярно к шоссе].

Мне видно, что канониры что-то делают у своих орудий, наклоняются, подходят, уходят. Они только что стреляли, но по ком? По какой цели? В дали, совершенно ясной, незаметно ничего: ни признака неприятельских позиций.

Оборачиваюсь. [На другой стороне шоссе, слева по напр‹авлению› к Пр<аснышу>, в низине] вижу другую нашу батарею, [у которой дула направлены под углом к шоссе, но почти в противоп‹оложном› напр‹авлении› от первых]. Около них также двигаются артиллеристы, должно быть, также готовы дать залп.

Выстрелы продолжаются, но не беспрерывно, а с промежутками, что делает их особенно потрясающими. Кажется, что от каждого удара содрогается кругом весь воздух и качаются кирпичные стены. Я возвращаюсь к автомобилю, чтобы достать папирос для солдат.

— Барин, — говорит мне шофер (впервые он называет меня «барином», раньше говорил всегда «пан»). — Куда же нам ехать? Тут — бой. Я за машину ответственен.

Не отвечая, я пожимаю плечами и возвращаюсь к солдатам. Они благодарят за папиросы, но разбирают их без той суеты, которая нередко происходит в таких случаях.

Все закуривают, обмениваясь друг с другом разными посторонними замечаниями, не имеющими отношения к бою. Я еще раз пытаюсь выяснить, где немцы, но никто из солдат не может мне ничего объяснить. «Бой идет», это — все, что я получаю в ответ на все свои расспросы.

— А в [Прасныш] проехать можно?

— Попытайтесь, — лукаво говорит молодой солдатик. — Вот перед вами пять автомобилей, ничего, проскочили.

— Зря говоришь, — поправляет другой, пожилой. [Ведь — все недалече.] Поезжайте спокойно, проедете.

В эту минуту через шоссе переходит офицер. Я обращаюсь к нему, но он очень занят, торопится, и ему некогда говорить со мной. На ходу он бросает несколько слов:

— [Был прорыв. 5-ая дивизия отошла. Но наша 1-ая поправила дело. Все-таки] мы взяли больше тысячи пленных. Теперь немцы обстреливают [Пр‹асныш›]. Но он им дорого обойдется.

Я осведомляюсь о г. Z., ради которого приехал в [Пр‹асныш›]. Узнав, к какой организации принадлежит Z., офицер говорит неуверенно:

— Вряд ли он здесь. Кажется, они все уехали еще вчера, вечером. Впрочем, попытайтесь поискать. В город въехать можно; дальше — не советую.

Офицер ушел. Пожилой солдат-бородач, слышавший мой разговор с ним, добавляет от себя:

— Пленных действительно мы забрали, это — верно. Теперь немцы стали белый флаг выкидывать. Прежде этого никогда не делали. Одного ихнего офицера взяли вчера в окопе — с одеялом и с подушкой. Нашел место, где себе постель устраивать.

Все эти разговоры до некоторой степени, уяснили мне положение дел. Я вижу, что мало надежды найти в [Пр‹асныше›] Z., но поручение к нему у меня спешное, неотложное. Не хочется поэтому уезжать, не сделав попытки разыскать его, когда я в нескольких саженях от города.

Вернувшись к автомобилю, решительно говорю шоферу, что надо ехать в [Пр‹асныш›].

— Нелепо же возвращаться, — объясняю я, — когда мы уже приехали. Больше ста верст сделали, меньше полуверсты осталось. И видите, все вокруг стоят спокойно. Поедемте.

Весьма неохотно шофер берется за руль, сначала едет очень медленно, потом меняет решение и летит стремглав. Выстрелы по-прежнему «ухают». Но в этом месте шоссе действительно не представляет никакой опасности: снаряды ложатся далеко от него.

Слева от нас — строения, разрушенные в предшествующих боях: обгорелые срубы, пирамидальные печи; дальше — поляна, [на кот‹орой› стоит наша бат‹арея›]. Справа, подле казарм, — несколько уцелевших домов, разломанные заборы и пустыри; [бат‹арея› остается сзади]. Везде — солдаты, целое море, волнующееся серыми шинелями: стоят, беседуя, лежат на земле, куда-то идут, все, видимо, дожидаясь своей очереди, — стать на позиции.

Мы влетаем в город. Дома вдоль улицы сохранились, только видно, что в окна вставлены новые стекла. Никого, конечно, на улице не видно.

Я раздумываю, как разыскать кого-нибудь в обстреливаемом городе, но, по счастью, замечаю группу санитаров с повязками Красного Креста. Несколько человек хлопочет у повозки, на которую только что уложили солдата. Голова его обмотана бинтом, но кровь уже просочилась, и белая повязка быстро, на моих глазах, превращается в алую. Раненый силится приподняться на руках, но тотчас же опять падает.

Мы подъезжаем, и я, извинившись, начинаю расспрашивать. Среди санитаров оказывается знакомый, N. Он принимает во мне участие и дает все нужные объяснения. Узнаю, что Z. наверное в [Пр‹асныше›] нет: накануне вечером он уехал в [Це‹ханов›].

— Тем лучше, — говорю я, — мне без того надо было ехать в [Це‹ханов›]. Значит, я его там и застану.

Потом осведомляюсь:

— А сами вы что думаете делать?

— У меня, вероятно, дела будет много. Видите — стреляют сильно. Сей — пятидесяти шагах отсюда. Вот собираю первый транспорт раненых и повезу его-то в [Це‹ханов›].

— Увидимся там?

— Увидимся.

Уже вечереет. Мне надо торопиться в [Ц‹еханов›], а N. — к его работе. Возникает, однако, вопрос, какой дорогой мне ехать. Ближе всего — выехать за город, мимо собора, на обстреливаемое шоссе: оттуда — в [Ц‹еханов›] ведет прямое шоссе. По другой дороге назад, мимо казарм [на Шласы], верст на 12 дальше. N. предлагает ехать ближней.

— Только около собора надо быть осторожным, — объясняет он, — могут и убить. Этого (N. указывает на раненого солдата) там вот сейчас и подобрали. Но если вам это все равно…

К сожалению, я не достиг того высокого равнодушия к жизни, когда все равно, убьют или не убьют, и предпочитаю сделать на машине лишних 12 верст. Шофер с величайшей тревогой слушает наши рассуждения: едва услышав, что я решаю ехать [на Шласы], он мгновенно пятит автомобиль, выезжает на какую-то изгородь, быстро поворачивает и стремглав летит обратно. Напрасно я кричу ему остановиться у казарм: он меня не слышит. Приходится оставшийся у меня запас папирос выбросить на всем ходу «за борт»: впрочем, солдаты ловят коробочки на лету.

Так стремительно мы перелетаем через мост и продолжаем лететь еще верст 5–6, пока звуки залпов сзади не становятся более глухими. Только тогда шофер несколько уменьшает ход мотора.

Мне жалко, что мы так скоро покинули [Пр‹асныш›] и вместе с тем я понимаю шофера: страшные удары незримых хлопушек, от которых сотрясается воздух, шрапнель, разрывающаяся «в пятидесяти шагах», вид раненого, голова которого залита свежей кровью, — все это на непривычного человека производит впечатление жуткое.

Я думаю о поразительной способности немцев оправляться после понесенных поражений. Их бьют, а они, отряхнувшись, опять становятся в позу бойца. В этом, собственно, и состоит вся их польская кампания. Под [Пр‹аснышем›] > немцы понесли поражение тяжелое: целые груды трупов, 12 тысяч отданных пленных, несколько потерянных батарей с орудиями крупного калибра, погибшие автомобили и аэропланы… Германские полки бежали [к Млаве и к Хоржеле] в полной дезорганизации. И вот, всего через несколько дней, «перестроившись», немцы снова готовы к

бою и даже снова угрожают тому же [Пр‹аснышу›]. Как ни мало понимаю в тактике, как ни загадочным представляется мне все, что сейчас происходит вокруг, все же я чувствую, что положение дел — серьезное, требующее опять большого напряжения. Надо обладать большой «живучестью», чтобы так выворачиваться из трудных обстоятельств, как это делают немцы. [Что же это значит? Или мы окружены и немцы со всех сторон?]

Часа через полтора, после десятичасовой езды в автомобиле, по холоду в 6–7°, под резким ветром, я наконец сижу в теплой комнате и пью горячий чай с Z., которого разыскал в [Цеханове]. Немного позже появляется и N.; он привез хорошие вести: на этот раз атака немцев на [Прасныш] отбита.

27-го февраля, Цеханов

Памяти мечтателя

(Новые данные из жизни шт<абс>-кап<итана> Гурдова)[1]

Гурдов был мечтателем. Это было основным свойством его существа, выражавшимся во всем: в устроении своей личной жизни, как и в общественной деятельности, в интимных беседах и дружеских письмах, как и в официальной переписке. Естественно поэтому, что и самая заветная мысль Гурдова — та, которая определяла цель всей его жизни, — также была, в сущности, *мечтой*. То была мечта, быть может, неисполнимая, как многие красивые мечты, но смелая, оригинальная, заглядывавшая вперед на целые столетия.

Гурдов вышел из военной среды, получил военное образование, избрал своей деятельностью военную службу. И эта «заветная мысль» или «заветная мечта» Гурдова, конечно, имела в виду также войну и военное дело. Гурдов мечтал о том, чтобы преобразить войну в самом ее основании. В то время как на других поприщах человек XIX и XX века везде заменил ручной труд — машинным, физическую силу мускулов — прибором, в который вложена сила интеллектуальная, энергия ума, — только в военном деле всё, как и в прошлые века, основано на «живой силе» человека. Гурдов мечтал заменить на войне человека машиной, — конечно, машиной, управляемой человеком (каковы и все машины), но удесятеряющей его силы и способы защиты.

Разумеется, Гурдов не сразу пришел к своей идее в ее полном объеме. Впервые зародилась она в нем, когда он служил офицером подводного плавания в Либаве. Скучная, монотонная жизнь небольшого портового города с ее резким делением общества на классы и касты, с ее сплетнями, интригами и мелочными интересами не удовлетворяла молодого офицера, прекрасно образованного, тонкого ценителя искусства. Гурдов от всего окружавшего его уходил или в работу по своим прямым

[1] Как только пришла весть о кончине шт.-кап. Гурдова, я написал его краткий некролог, отдавая дань первому порыву грустного чувства. Но Гурдов принадлежит к числу людей исключительных, к оценке и к образу которых стоит возвращаться. Благодаря любезности лиц, близко знавших Гурдова, особенно художника С., с которым в последнее время он был в дружественных отношениях, я мог получить более подробные сведения о жизни Гурдова и ознакомиться с некоторыми относящимися к нему документами. Все это побуждает меня еще раз обратить внимание читателей на своеобразную личность безвременно погибшего мечтателя-героя.

обязанностям, или в уединенные размышления и мечтания; то и другое и навело Гурдова на его «идею».

Подводному плаванию Гурдов посвящал много времени и труда. Как это ни странно, моря Гурдов не любил. Зато подводными путешествиями и водолазными прогулками он увлекался страстно: его пленяла новизна и фантастичность этого дела. Самостоятельно управляя одной из лодок нашего подводного флота, Гурдов охотно из командира превращался в простого водолаза, надевал его тяжелый, во многих отношениях мучительный костюм, протискивался в узкий круг люка и наслаждался небывалыми прежде прогулками в чужой человеку стихии…

Свободное время Гурдов посвящал теоретическим работам. Первоначально они были посвящены тому же подводному плаванию. Он изобрел новый способ выбрасывания мин с лодки, усовершенствовал водолазный колокол, спроектировал особый тип люка для водолазов. Сам Гурдов больше всего дорожил последним из своих изобретений. Лично на себе он испытал, как тягостно спускаться в воду, а особенно возвращаться со дна в лодку через отверстие ныне принятого люка для водолазов. Изобретение Гурдова представляло гораздо больше свободы действий и самостоятельности водолазу… В то же время огромные преимущества минных подводных лодок в морской войне наводили Гурдова на мысль о возможности создать нечто аналогичное и для войны сухопутной. Видя, что в душной каюте субмарины люди могут довольствоваться minimum›ом воздуха и места, Гурдов один из первых мечтал о новом типе блиндированного автомобиля, легкого, способного на быстрые передвижения и грозного для врагов этой своей быстротой и неуловимостью.

Деятельность молодого офицера, инженера-электротехника, обратила на себя внимание. Гурдову было предложено переменить службу и перейти в Петроград лектором в несколько высших военно-учебных заведений. После некоторого колебания Гурдов согласился. Ему тягостно было расставаться с любимым делом подводного плавания, но, с одной стороны, состояние его здоровья делало для него вредными прогулки под водой, под сильным давлением (это же состояние здоровья не позволило Гурдову практически заняться воздухоплаванием), с другой — Петроград привлекал молодого офицера своим обществом, возможностью встречаться с выдающимися деятелями науки и техники. Была еще одна причина, которая влекла Гурдова в Петроград: этот офицер подводного плавания страстно любил музыку. Столица соблазняла его своими концертами, возможностью слышать великих виртуозов и слушать произведения великих композиторов.

Как бы то ни было, Гурдов переселился в Петроград и начал читать лекции в трех учебных заведениях: двух высших и одном среднем (если не ошибаюсь, в артиллерийском училище, в электротехнической школе и в кадетском корпусе). Как профессор и преподаватель Гурдов отличался крайней добросовестностью: он всегда тщательно готовился к своим лекциям, работая для того по несколько часов в день. Его изложение, особенно математических проблем, всегда отличалось исключительной ясностью. Но преподавательская деятельность не удовлетворила Гурдова. По собственному признанию Гурдова, те годы, когда его жизнь была ограничена кафедрой и письменным столом, он буквально «изнывал».

Чтобы найти выход для своей энергии, Гурдов с новой страстностью предался теоретическим работам по новому способу ведения войны. Здесь он разработал те идеи, которые смутно мелькали перед ним в каюте подводной лодки. Он развил мысль о машинах, которые на войне заменяли бы человека в воде, на земле и в воздухе. В воздухе аналогией подводной лодки был бы бронированный аэроплан, способный автоматически бросать бомбы; на земле — легкий бронированный автомобиль и автомобиль-пушка. Гурдов ревностно взялся за изучение всего, что было написано в этом направлении в иностранной литературе — английской, немецкой, французской. Он воспользовался также случаем сблизиться с английскими офицерами и ознакомиться с особенностями военного дела в Англии.

Как известно, Гурдов, едва началась настоящая война, поспешил вступить в ряды армии. Его хотели удержать преподавателем, но своей настойчивостью он преодолел все затруднения. В это время у Гурдова в общих чертах уже была вполне выработана теория военных действий с помощью блиндированных автомобилей. Но этой теории недоставало опыта; трудно было предугадать, как будут передвигаться такие автомобили по нашим дорогам, какой тип машины и какой мотор для них наиболее пригоден, сколько нужно человек для обслуживания и т. д. Поэтому, когда наше военное ведомство решило внести в действие бронированные автомобили, Гурдов оказался среди самых первых, пожелавших служить в этом новом отряде блиндированных автомобилей.

Приходилось начинать дело с самого начала, все испытывать, многое изобретать. Теперь мы знаем, что Гурдов блестяще оправдал оказанное ему доверие. Наши блиндированные автомобили стали грозой для немцев, и услуга, оказанная нашей армии отрядом Гурдова под Пабианицами и под Праснышем, не забудется никогда. Да, сам Гурдов, исполняя свой долг офицера, работая неустанно, постоянно с крайней отвагой подвергая свою жизнь опасности, не вполне был удовлетворен достигнутыми результатами. Он мечтал о большем, гораздо большем… Сейчас не время передавать то, на что случалось Гурдову намекать из своих ближайших планов. В его мечтах рисовались новые типы машин. Он был, одно время, в сношениях с авиатором Сикорским и мечтал о координации блиндированных автомобилей и воздушного флота… Безвременная смерть Гурдова прервала все эти планы, но, может быть, они не погибнут бесплодно.

Таков был Гурдов как теоретик, как мечтатель. Остается добавить еще несколько черт к тому, что было сказано об нем как о человеке.

О военных подвигах Гурдова писалось много. Но надо помнить, что его работа требовала не только хладнокровия, мужества, умения мгновенно соображать положение дел, но и громадного напряжения сил. Необходимо было проводить часы в тесном, душном, наполненном разными испарениями помещении, и это — во время ожесточенного боя, под непрерывным неприятельским огнем. Гурдов умел выносить все это. Иногда несколько дней подряд ему приходилось спать два-три часа в сутки, но, выпив стакан крепкого, горячего чая, он становился по-прежнему свежим и бодрым.

В обращении с солдатами Гурдов был строг, но прост. Он не допускал никаких преимуществ для себя как офицера сравнительно с «нижними чинами». Всей армии известен факт, когда Гурдов повторил исторический «жест» Александра Великого в Гедрозии. На одной разведке нельзя было достать воды, и всех, бывших с Гурдовым в автомобиле, страшно мучила жажда. Один солдат заметил на дороге манерку, поднял ее и отдал Гурдову, как командиру. Воды в манерке было немного: хватило бы лишь одному человеку. Гурдов выбросил фляжку за окно… Греческий биограф Александра (кажется, Арриан), рассказав аналогичный случай, добавляет: «Эта вода утолила жажду всех». За то подчиненные любили Гурдова беззаветно. Передают, что один из них, глядя на тело убитого Гурдова, больше всего жалел об одном: что, случайно командированный в сторону, не участвовал в последнем бою вместе с ним и не погиб рядом… Когда перед нами такие факты, нет неловкости вспоминать Арриана.

Столь же горячо любили Гурдова товарищи. Он умел быть бескорыстным другом, а в обществе был интересным, увлекательным собеседником.

Смерть Гурдова уже была описана несколько раз, со всеми подробностями, какие удалось установить. В бою под Праснышем он принял на себя трудное поручение: открыть и заставить сдвинуть с места скрытую немецкую батарею, жестоко обстреливавшую наших. Дело было в сумерках, почти в темноте. Гурдов, желая исполнить поручение до конца, слишком приблизился к батарее — настолько, что снаряды и пули стали пробивать броню. Впоследствии в автомобиле оказалось до 150 отверстий. Все, находившиеся в нем, конечно, были израненны, но продолжали стрелять, вкладывая в пулемет ленту за лентой, батарея была расстреляна и замолчала, дорога нашей пехоте открыта. Но последний выстрел немецкой пушки попал в переднюю часть автомобиля, разломал ее и осколками брони поранил Гурдова насмерть. Искалеченный автомобиль остановился. Немцы, когда прошло первое недоумение, бросились к нему: они думали захватить его защитников в плен. Но в автомобиле все уже были убиты; только один солдат показывал признаки жизни. Отдавая честь доблести врага, немцы пытались оказать ему помощь даже раньше, чем своим раненым. Но тут, незаметная в темноте, подошла наша пехота, которой автомобили открыли свободный путь, и с криком «ура!» окружили немцев. Нашим солдатам досталось много пленных, подбитые немецкие пушки, среди них шесть дальнобойных, и печальные трофеи: разбитый наш автомобиль и тела его мужественных руководителей вместе с телом их начальника, штабс-капитана Гурдова.

Варшава, 28 февраля

Этюды с натуры

I. В штабе

Стучат пишущие машинки; стучит телеграфный аппарат; раздаются звонки телефона; приходят, уходят, появляются, исчезают.

— Попроси поручика М.!

— Скажи полковнику Н., что мне надо его видеть.

— Пошли ко мне Иванова.

— Ваше высокородие, вас спрашивают…

Ремингтоны стучат, телефоны звонят, телеграф работает.

Штаб обычно занимает какой-то старинный помещичий дом, маленький дворец, убранный с тяжеловесной старопольской роскошью. На стенах — картины, потемневшие от времени; мебель — красного дерева; в прихожей — английская литография, изображающая парфорсную охоту; вдоль лестницы — семейные портреты; красивые вазы на столбах балюстрады. В этой пышной обстановке когда-то давались блестящие балы, гордо выступали местные паны-помещики, лукаво улыбались изящные пани, юноши шептали им любовные признания… Теперь во всем доме — только мундиры да серые шинели солдат, разговоры о полках, дивизиях, корпусах, доклады, донесения, приказы…

К крыльцу подкатывает автомобиль. Выходит летчик, держа у щеки окровавленный платок:

— Вы ранены, К.?

— Пустяки! Оцарапала пуля. Мне надо видеть полковника. Важные сообщения.

— Михайлов, доложи!

Подъезжает вестовой на взмыленной лошади. Приходит запыхавшись рядовой с бумагами. Просители докучают своими частными делами; помещику надо проехать в свое имение, поставщик пришел просить отсрочки, дожидаются представители благотворительного Общества, привезшие подарки в армию… А телефон все звонит, и телеграф все выстукивает свои сообщения.

Наверху, в уединенной комнате, седые и более молодые головы склонились над «секретной» картой. Красными крестиками на ней означено расположение полков. Здесь ‹*нрзб.*›, дуги которого обхватывают сотни верст. Передвижения на один миллиметр в этой комнате там, на окраинах, отразится переходом в десятки верст.

Здесь также звонит телефон; от этой комнаты, как от оракула, ждут разъяснения всех недоразумений; и действительно, здесь — просто и ясно то, что на месте кажется запутанным и сложным.

— Ваше превосходительство, что прикажете делать, — немцы меня окружают.

— Вы ошибаетесь, это мы окружаем немцев, держитесь.

Во дни боев работа удвояется, удесятеряется. Спать некогда. Спят 3–4 часа в сутки; работают — 20. Надо обсудить, выслушать, ответить, надо всем помочь, всем распорядиться. Пусть на стенах — потемневшая от столетий живопись, пусть кругом — дорогая мебель и изящные вазы. Глаза ничего этого не видят: перед глазами — карта, на которой переплетаются красные черточки, шоссе, и черные линии, проезжие дороги. По этим шоссе и дорогам идут полки, повинуясь приказу отсюда. От этих приказов зависит исход боев; а от исхода боев — удача целой кампании.

Война требует величайшего напряжения всех народных сил. Одни бьются грудь с грудью, обливая своей алой кровью свежевыпавший снег; другие — дни и недели проводят в сырых и холодных окопах, третьи здесь, в штабах фронта, армий, корпусов, полков, склоняют головы над картами. Принимают донесения, диктуют, телег-

рафируют и телефонируют приказы. Старая сказка Менения Агриппы о желудке и членах тела! Штабы — головы армии. Только работа мысли, работа головы делает производительной работу рук.

Этюды с натуры
II. В лесу

Лопнула шина: самое досадное, что может приключиться при путешествии на автомобиле.

Шофер, лежа на грязной земле животом, натягивает на колесо новый обод. Насос для накачивания воздуха ждет своей очереди. В вынужденном бездействии я нетерпеливо курю папиросу за папиросой.

Кругом — сосновый бор. Зеленая хвоя дает иллюзию лета. Издалека доносятся глухие звуки, к которым уже привыкло ухо: это — пальба из тяжелых орудий; шрапнельные разрывы не были бы слышны на таком расстоянии. Стараюсь по направлению звуков угадать, где идет бой.

Вот быстро-быстро, навстречу нам, летит солдат-мотоциклист; он весь покрыт пылью и грязью, стал серым, словно ком сухой земли. Он пролетел мимо, даже не взглянув на беспомощный автомобиль: должно быть, спешит с каким-то важным донесением.

Вскачь в том же направлении проезжают два казака. Их лица серьезны; они хлещут своих лошадей, что делают редко. Что-то большое совершается там, откуда доходят эти глухие «уханья». А мы стоим на дороге, без возможности двинуться вперед, как поломанная телега без лошади…

Медленным, неспешным, но уверенным шагом обгоняет нас обоз.

Длинной, бесконечной вереницей, одна за другой, проходят мимо повозки. Запах свежеиспеченного хлеба приятно щекочет обоняние; на других повозках из-под брезента видны мясные туши.

Рядом с повозками шагают «обозные», они тоже все в пыли; даже лица их стали серыми. У каждого на поясе — единственное оружие: длинный нож-кинжал. Впереди и сзади — несколько конвоирующих казаков.

К «обозным» иные относятся несколько свысока… Да, не их дело вступать в бой, своей кровью решать великую борьбу народов. Но вовремя доставить на позиции хлеб и мясо, вовремя привести нужные военные снаряды, — не в этом ли уже половина успеха? И вот «обозные» шагают около своих повозок; идут в стужу, идут под ледяным ветром, под мокрым снегом, под студеным дождем, как летом пойдут в зной и под ливнем. Хочется сказать этим бородатым людям: «Идите! идите! Ваша работа — тоже великое, ответственное дело!»

Обоз прошел. Вдали прореял аэроплан; не различишь, наш или немецкий. Пролетел еще один мотоциклист. Канонада не тихнет. А мы стоим и стоим… Одна шина оказалась негодной; шофер пробует другую.

На несколько минут наступает тишина. Если бы не дальняя пальба, можно было бы подумать, что глубокий мир царит над этим молчаливым бором. В уме у меня,

как всегда в часы ожидания и одиночества, невольно складываются стихи. Кажется, будет маленькая элегия о зимнем зеленом боре…

Но нет! Глаз скользнул между стволами, различает старый, заброшенный окоп, прикрытый пожелтелыми еловыми ветвями. Потом с поворота вырисовывается силуэт громоздкой неуклюжей фуры, перегруженной евреями-беженцами. Через минуту слышен топот, слышно сдержанное ржание: скачет батальон кавалерии. Еще немного спустя следом за ним, колыхаясь ровными серыми рядами, проходит пехота. Офицеры впереди, на красивых лошадях, озабоченно беседуют…

Нет, здесь — не место для мирных элегий! Это — «театр военных действий». И опять заполняют душу образы войны и сражений, мысли о мировой борьбе, мечты о будущем Европы.

2 марта, Варшава

Мимоходом

VIII. Бывший театр

В Ж. городской театр обращен в лазарет. В зрительном зале расставлены койки для раненых солдат. Ложи обращены в офицерские палаты, тоже и артистические уборные. Сцена служит амбулаторией; кабинет директора — операционной комнатой! Из театра получился превосходный лазарет — обилие воздуха, по поместительности, по удобству размещения раненых — один из лучших в крае.

Такое же впечатление бывшего театра, упраздненной сцены производит весь район, к которому принадлежит Ж. Еще недавно его все так и называли «театром» — именно «главным театром военных действий». Здесь была сцена, на которой ставились важнейшие события. Но пушки замолчали, атаки прекратились, напряженная действительность замерла, и внимание мировых зрителей перенеслось в другую сторону. Для полной аналогии погасли светы прожекторов, словно лампочки рампы, и, как в городском театре в Ж., мирная забота о раненых всецело воцарилась там, где прежде бушевали страсти и разыгрывались трагедии.

— Поверите ли, скучно стало! — говорит мне офицер -аго полка, расположенного на этом фронте. — Бывало, пальба не прекращалась ни днем, ни ночью. По пятнадцати, по шестнадцати раз в сутки немцы ходили в атаку. Спали мы одним глазом; каждую минуту могли разбудить: пожалуйте, немец опять на наши штыки лезет! Бесконечная усталость, беспрерывный грохот пушек, рукопашные бои, убитые, раненые, и это — день за днем. Нервы были напряжены до крайности. Правда, было нравственное удовлетворение в том, что все атаки мы отбивали, что, как ни старались немцы, какими снарядами нас ни засыпали, сколько своих людей ни клали, мы не подались ни на шаг. Как нас поставили, так мы и остались стоять. А все-таки думалось иногда: «Господи, хотя бы один день передохнуть от этого ужаса, не слышать канонады, от которой все чуть не глохли, выспаться вволю, напиться чаю спокойно!» И что же! Вот теперь тихо, не стреляют, не атакуют, а — скучно. Странное создание человек. После таких сильных ощущений, какие дает бой, все потом кажется пресным и неинтересным.

Приблизительно то же мне говорил летчик (француз, вступивший на нашу службу), прикомандированный к армии того же фронта.

— Стало неинтересно летать. Прежде приходилось летать под пулями, под обстрелом, но зато, вернувшись, привозил важные известия и сознавал, что сделал полезное дело. А теперь полеты превратились в простые прогулки. Немцев осталась только тонкая прослойка по передовым окопам; дальше деревни пусты, резервов нет. Немцы даже перестали стрелять по нашим аэропланам, словно говорят: высматривайте что хотите, нечего смотреть...

— Неужели военные действия буквально прекратились? — поинтересовался я.

— Нет, конечно, — возразил офицер. — По временам стреляем, и мы, и немцы; как у нас говорят: «чтобы не разучиться». Бывают атаки, но вялые: немцы пробуют, нельзя ли нас застать врасплох, но мы всегда настороже. Являются в гости и немецкие авиаторы, но, — замечательно, — бомб не бросают: покружат, покружат, убедятся, что мы на местах, и уйдут назад. Вот немецкие разведчики, те попадаются...

Наши солдаты тоже тяготятся однообразием жизни на этом фронте и стараются развлекаться, как могут. Говорят, что в английской армии в свободное время играют в футбол и лаун-теннис. Наши — играют в русские игры — в городки и свайку. Странно видеть, как «чудо-богатыри», недавно свершавшие истинные подвиги отваги и самоотверженности, увлекаются игрой, радуются своему удачному удару и, словно дети, сердятся при проигрыше... Другим развлечением для солдат служат кинематографы, так как в каждом городе, в каждом селении есть свой «электро-театр». Солдаты требуют непременно «военные» картины, любуются сами на себя, а иногда, забывшись, кричат безмолвной фигуре на экране: «Так! Хорошо! Бей немца!» или — изображению сестры милосердия: «Спасибо, сестрица!» В Ж. помещение кинематографа исполняет также назначение временной казармы. Солдаты, насмотревшись вдоволь на образы войны в ее кинематографическом отражении и насмеявшись над какими-нибудь «приключениями Прэнса», тут же, на скамьях перед померкшим экраном, укладываются спать... А на другой день опять начинается все то же — тихое и монотонное существование «на постое».

— Почему же мы не переходим в наступление, если мы гораздо сильнее немцев? — спросил я.

— Во-первых, рассуждать об этом не наше дело, — ответил мне мой собеседник. — Главному штабу виднее, что должно предпринять. А во-вторых, к чему такое наступление повело бы? Конечно, мы в состоянии выбить немцев из их позиций оттеснить их почти к самой границе. Но этим мы приблизим их к базе. Теперь им подвозить издалека продовольствие трудно, так как на месте ничего нельзя достать: край ими самими ограблен и разорен дотла.

Тогда станет гораздо легче все получать из Германии. Кроме того, сейчас мы занимаем превосходные позиции, о которые уже разбился натиск трех германских армий. Занять такое же выгодное положение в другом месте будет не так-то просто. Нет, пусть себе немцы утешаются до поры до времени своим призрачным успехом и хвастаются перед Европой, будто навсегда присоединили к Германии восемь новых провинций.

Подумав, я согласился.

Мимоходом
IX. Герои Прасныша

Беседуя с офицером, участником праснышского сражения, я упомянул о тех ротах, которые, как сказано в донесении штаба Верховного Главнокомандующего, «при общем отходе наших войск в начале боя остались в городе». Как известно, эта горсть храбрецов, окруженная силами всей германской армии, не пожелала сдаться, но сколько была в состоянии, держалась в городе и заставила немцев купить его дорогой ценой, поведя упорный бой на улицах. Я выразил сожаление, что мы не знаем и, вероятно, еще долго не будем знать подробностей этого героического сопротивления.

— О самом бое, который вели эти роты, я ничего не могу вам сообщить, — сказал мне офицер. — Но мне известен один эпизод, связанный с этим делом. Хотя косвенно, но он проливает некоторый свет на обстоятельства, при которых был взять немцами Прасныш.

Я попросил рассказать мне этот эпизод, и мой собеседник передал мне следующее. Наступление немцев на Прасныш было столь стремительно и неожиданно, что наша армия должна была отойти от города, чтобы перестроиться и дождаться резервов (что и дало нам возможность одержать блестящую победу под Праснышем). Несколько рот из наших передовых частей остались в городе. Немцы окружили Прасныш, но некоторое время не решались атаковать его, предполагая, что в городе стояли значительные силы. Выяснив эту нерешительность немцев, мы получили надежду выручить отрезанные роты, и к Праснышу были спешно двинуты два корпуса.

Эти корпуса должны были прорвать кольцо немцев, соединиться с ротами, запертыми в городе, и вместе с ними удерживать Прасныш до подхода главных сил. Опасались, однако, что у осажденных не хватит снарядов и они раньше вынуждены будут сдаться. Поэтому необходимо было известить их, что помощь им отправлена и что они должны, сберегая заряды, держаться до последней крайности. Чтобы передать это сообщение в Прасныш, вызвали охотников из летчиков. Вызвались двое: Л-в и В-ский, оба — на «фарманах».

Задача летчиков была страшно трудной. Правда, дорогу они знали превосходно, так как прежде много раз летали над окрестностями Прасныша. Но, во-первых, погода была крайне неблагоприятной: шел мокрый снег, внизу лежал туман, а на высоте дул резкий ветер. Во-вторых, летать надо было над самыми неприятельскими головами, а приземляться — в сфере немецкого артиллерийского и ружейного огня. С каждым из летчиков было, в особом пакете в черте города, если бы не оказалось возможным спуститься. Товарищи прощались с отлетавшими как с обреченными. Казалось, что мало надежды дважды благополучно перелететь через немецкие расположения, опуститься в город и вновь вылететь оттуда. Однако штаб считал цель полета столь важной, что готов был рисковать двумя аппаратами и жизнью четырех человек (с каждым летчиком отправлялся еще наблюдатель). Вылетели вечером и из-за тумана летали очень низко. Иногда спускались до высоты всего 100–150 метров, по понятиям летчиков, «чуть не скользили по земле» (людям, привыкшим к высоте в ½ версты, кажется, что на расстоянии 100 метров от поверхности они уже

на земле!). Благодаря такому низкому полету разведчики могли свободно делать свои наблюдения. Но немцев нигде не было видно: укрываясь от снега, они попрятались в траншеи и закрылись блиндажами. На карту пришлось наносить только линии окопов, насколько их можно было различать в полутемноте.

Перелетев незамеченными через немецкое кольцо, летчики взяли направление прямо на Прасныш. Над ним стояло зарево, и скоро выяснилось, что в городе — несколько пожаров. Оба летчика с крайней смелостью долетели до самого Прасныша и стали кружить над улицами. Здесь с одной стороны им угрожала опасность от огня и искр, летевших с пожарищ, с другой — тревожная невозможность выяснить, в чьих руках город: в наших или в немецких. Улицы были безлюдны; не было ни патрулей, ни часовых, пожаров никто не тушил. Летчики рассмотрели все-таки, что некоторые дома носят следы уличного боя, и заключили из этого, что в городе — немцы.

Впоследствии выяснилось, что так оно и было. Немцы, убедившись, что у отряда, окруженного в городе, нет связи с армией, повели энергичное наступление. В виду огромного перевеса в силах они ворвались в Прасныш и овладели им. Когда наши летчики ночью кружились над городом, порой опускаясь чуть не до крыш, <стало очевидно, что> он был занят немцами. Они, однако, не стреляли в отважных разведчиков. Почему? Это осталось неясным. Может быть, полагаясь на свои заставы, немцы даже не выставляли на ночь стражи, и никто не заметил появления аэропланов. Может быть, немцы приняли аэропланы за свои. Может быть, наконец, то была военная хитрость: немцы намеренно молчали, ожидая, что летчики, не заметив их присутствия, приземлятся в городской черте и тогда станут легкой добычей. Во всяком случае и летчиками не было сделано ни одного выстрела.

Снесясь друг с другом (конечно, знаками), Л-в и В-ский решили не спускаться, а бросить донесение. Они рассуждали так: попав в руки немцев, донесение не может причинить вреда, если же наши еще держатся в городе, оно будет непременно найдено и цель полета достигнута; напротив, спустившись в город, летчики рискуют не только собой, но — что они считали важнее — и двумя аппаратами, для армии крайне ценными. Придя к такому решению, летчики осторожно сбросили каждый свой пакет на площади и потом быстро поднялись и полетели обратно.

Обратный путь был едва ли не более трудным, чем полет к городу. Туман сгущался; тьма была непроницаемая. Несколько раз летчикам казалось, что они заблудились в воздушных просторах; приходилось спускаться к земле, чтобы выяснить дорогу. И наконец, после более чем 3-хчасового путешествия летчики вернулись к своим, страшно утомленные, продрогшие, но невредимые. Подать помощь отрезанным ротам оказалось уже поздно, на следующий день, в праснышском бою, наша армия жестоко отомстила за их участь.

Варшава, 6-го марта

В Перемышле
Варшава
(От нашего корреспондента)

Перемышль быстро оживает. Он наполнился австрийскими офицерами и солдатами с фортов и русскими полками, вступившими в город. Население встречает русских радушно. Нет ни тени вражды. На больших улицах целый день гулянья. Кофейни постоянно переполнены, магазины бойко торгуют. В ходу русские деньги; крона ценится в 30 копеек, местным жителям русский язык легко понятен.

Во время осады жизнь в Перемышле не замирала. Вследствие удаленности укреплений город не страдал от бомбардировки. Были открыты театры, играла музыка. В ясные дни развлечением жителей было гулять по шоссе и высматривать русские позиции. За деньги в городе можно было достать почти все. Голодали только неимущие. Плохо питались солдаты, но австрийские офицеры до последнего дня получали полный паек. Поэтому солдаты крайне раздражены против офицеров. Солдаты-славяне высказывают желание перейти в русскую армию.

Поведение австрийских офицеров вообще возбуждает негодование. Они одеты щегольски, в шинели с меховыми воротниками, что представляет резкий контраст с солдатами в рваных шинелях, часто без сапог. Офицеры усердно посещают кафе, фланируют с дамами и, знакомясь с русскими, проявляют изысканную любезность и предупредительность. Они интересуются размерами жалованья в плену и своим будущим местом жительства.

Порядок в городе образцовый. Наши солдаты за все расплачиваются, вежливы с жителями, дружелюбно относятся к пленным. Эвакуация пленных продолжается. Огромные партии отправляются под конвоем немногих казаков. Пленные не помышляют о бегстве и отставшие сами догоняют партию.

Выясняется, что крепость могла еще держаться. При экономии запасов могло хватить надолго, и было достаточно снарядов, уничтоженных при сдаче. Объясняется сдача дезорганизацией армии, — солдаты не повиновались начальникам, и целые полки отказывались идти на вылазку. Австрийская армия находится в состоянии полного разложения.

Взятый Перемышль
(От нашего корреспондента)
I

Перемышль — один из наиболее значительных городов Галиции. Календарь 1915 года указывает в нем почти 56 тыс. жителей, из которых 2 тыс. поляков, 20 тыс. евреев и 12 тыс. разных других национальностей, преимущественно славян; немцев в городе немного. Все эти цифры не касаются гарнизона, бывшего всегда, даже в мирное время, многотысячным. Таким образом, по числу жителей Перемышль занимает 20-е место среди городов Австро-Венгрии и 11-е — среди городов собственно Австрии. За последние десятилетия Перемышль обстроился; в нем теперь — изящный и поместительный городской театр, несколько больших собственных зданий,

учебных заведений, промышленных национальных товариществ и банков, ряд домов в современном стиле; есть свой музей, помещающийся в «замке». Седая старина сохранилась в остатках старинных, чуть ли не средневековых каменных укреплений, в нескольких монументальных костелах — монастырях и в здании «замка» (впрочем, перестроенного, кажется, в XVIII в.), красиво венчающем холм, на который опирается главная часть Перемышля. Основная артерия города — улица Мицкевича; проложенная в сравнительно новой части города, она обставлена новыми, высокими домами, на ней лучшие магазины, кафе, рестораны, но ее конец уже выводит почти за город, к железнодорожным складам и пустырям. Напротив, своим началом улица Мицкевича примыкает к центральной, более старой части Перемышля, где шире и красивее других улица Франсисканская, средоточие местной торговли, пестреющая вывесками старинных, почтенных фирм. Тотчас за Франсисканской улицей начинается обычное еврейское гетто, грязное, с кривыми, перепутанными переулками. Все это расположено приблизительно на одном уровне: посередине перемышленского холма. Ниже лежит приречная часть города, с хорошими набережными и вереницами огромных, многоэтажных домов. Выше — улица особняков и частных квартир, где вывески уже редки и тротуары большей частью пусты. С Франсисканской улицы, мимо двух костелов, изгибистая улица, переходящая в немощеную аллею, ведет зигзагами к «замку», на высь холма, откуда открывается великолепный вид на бурный Сан, на заречные кварталы и на холмистую даль, переходящую в плоскую равнину северной Галиции.

Наибольшее оживление царит всегда на Франсисканской и на впадающих в нее переулках, где снуют торговцы и деловые люди, и на улице Мицкевича, по которой фланируют местные щеголихи и франты — в том числе офицеры сдавшегося гарнизона. Здесь несколько больших «цукерен», в которых поляки так любят коротать досуг: обширные комнаты, вмещающие несколько сот человек, в глубине — биллиардная, на первом плане — буфет, за которым какая-нибудь миловидная «пани» отпускает посетителям пирожные. Перед второй осадой Перемышль опустел было, так как весьма многие (говорят, около трети всех жителей) бежали из него, в Краков и в Вену. Но теперь, когда крепость сдалась, город опять наполнился австрийскими и русскими военными из состава гарнизона и наших полков, вошедших в Перемышль. Глядя на переполненные кафе, на кайфующих там часами австрийских офицеров, на постоянное движение гуляющих, среди которых большинство идет попарно, кавалер с дамой, можно подумать, что и чины гарнизона, и жители города спешат вознаградить себя за тяжкие дни осады...

Однако, сколько можно судить по рассказам, Перемышль и во время осады вовсе не был местом одной скорби, трудов и лишений. Укрепления, как мне случалось упоминать, отстоят от города на 7–8 верст и более; потому бомбардировка не касалась города; русские снаряды осыпали форты, но ни один дом в городе не был ими разрушен; только в два последних дня, когда нам удалось утвердить батарею ближе к городу, несколько гранат упало в городской черте. К русским аэропланам жители скоро привыкли, да и все признают, что наши летчики держали себя крайне благородно: старались бросать бомбы в железнодорожные сооружения, в здания воен-

но-общественного характера, но отнюдь не в частные дома. Население Перемышля слушало отдаленную канонаду как что-то не имеющее к ним прямого отношения. Большинство верило, что крепость неприступна, что появления наших войск в городе бояться нечего и что дело сводится к более или менее продолжительной осаде, в зависимости от того, когда подоспеет на выручку карпатская армия.

Правда, Перемышль был изолирован от всего мира, но и эту изолированность не должно преувеличивать. Современная техника дает в руки осажденным такие средства для сношения с внешней жизнью, о которых не могли мечтать не только трояне времен злополучного царя Приама, но даже парижане, запертые в своей столице в 1870–1871 гг. Важнейшим из таких средств является беспроволочный телеграф. Благодаря ему перемышляне могли знать все, что совершается в Европе вне их города. Я просматривал номера газет, выходивших в Перемышле во время осады, и убедился, что в Перемышле были хорошо осведомлены о всех событиях войны: часто попадаются слово в слово те же сообщения, что мы читали в наших газетах. Вторым мощным средством сношения служили аэропланы. Хотя большое число аэропланов, летевших в Перемышль и из Перемышля, было подбито нашими войсками, все же перемышляне с помощью летчиков поддерживали почти регулярные сношения с Веной и с карпатской армией. Раза два в неделю попадали в город даже венгерские газеты, впрочем служившие для чтения только высшим чинам армии.

[...] Много писалось об ужасах голода, свирепствовавшего в Перемышле. Сопоставляя все, что мне пришлось слышать от лиц, переживших осаду, я прихожу к выводу, что и эти рассказы преувеличены. Разумеется, лишенный подвоза [...], Перемышль постепенно поглощал собранные в нем запасы. Но осада длилась сравнительно недолгое время, так что прийти к концу запасы не успели. Только одно было истреблено совершенно: это — мясо. Пришлось заменить говядину и свинину, — до которой поляки такие охотники, — кониной; но этой последней было в изобилии, так что перед сдачей приказано было пристрелить сколько-то тысяч лошадей. Хлеб выпекался до последнего дня, но был очень дорог: за маленькую булочку платили 30 геллеров (10 коп.), т. е. вдесятеро против ее обычной цены. Крупы в городе было много, и в день сдачи тысячи ящиков ее были утоплены в Сане. Жители жаловались на отсутствие дров. Между тем весь крепостной район покрыт старым лесом, который мог дать топлива на много месяцев. Часть деревьев даже была уже срублена и без употребления лежала по склонам холмов... Вообще, *за деньги* в осажденном Перемышле можно было достать почти все. Голодали только неимущие. Для них была организована бесплатная раздача обедов, но число имеющих на них право было ограничено, и получение их было связано с различными затруднительными формальностями. Таким образом, население осажденного города разделилось на две части: на людей богатых, которые жили почти «как ни в чем не бывало», только должны были не жалеть денег, и на бедняков, которые действительно терпели всякого рода нужду и лишения.

Замечательно, однако, что количество денег, находящихся в обращении в Перемышле, с каждым днем заметно сокращалось. Так как лишь незначительная часть их могла уходить за пределы города, то надо предположить, что ловкие люди их припрятывали, «на всякий случай». Прежде всего быстро сократилось число раз-

менной монеты; в магазинах отказывались давать сдачу и требовали, чтобы покупатель брал товару на всю предъявляемую им бумажку. Потом опустели кошельки у всех, не имевших большого запаса наличных денег; жалованье не выдавали; банки не оплачивали текущих счетов. Тогда-то, для менее имущих слоев населения, «установилась, — как сообщает телеграмма “Петроградского Агентства”, — система натурального хозяйства; продукты первой необходимости обменивались на такие же по справедливой расценке». Вернее сказать, бедняки несли лавочникам свое добро, которое те принимали за бесценок в обмен на хлеб, сахар, муку, сало… Мне случалось беседовать в Перемышле с одной бедной женщиной, которая жаловалась, что так она передавала в лавку, «в залог», чуть не все свое имущество, притом по такой расценке товаров, что всегда получала лишь крохи, а оказалась должна лавочнику значительную сумму денег. Эта женщина спрашивала меня, не вмешается ли русская власть в ростовщические проделки торговцев, но, не говоря о том, что все это произошло до занятия города нашей армией, на разбор подобных недоразумений пришлось бы потратить месяцы драгоценного времени…

Пока бедняки несли на себе бремя осады, люди состоятельные искали развлечений. Театр хотя и не каждый день, но функционировал (играла труппа любителей). До сих пор на стенах в Перемышле можно видеть старые театральные афиши, относящиеся к дням осады. На них помечено: «Цены понижены». Устраивались концерты «в пользу вдов и сирот павших воинов», как гласит сообщение в газете («Ziemia Przemyska»), следовательно, платные, причем рецензент отмечает, что зала была «набита до краев», т. е. переполнена. В некоторые дни на площади играла военная музыка: это было уже развлечение демократическое. К числу развлечений перемышлян относились прогулки в сторону фортов. Горожанам не разрешалось уходить из города далее черты первых укреплений. Но на этом пространстве были небольшие холмы, с которых, хотя смутно, можно было различить русские позиции. Жители города в ясные дни ходили «любоваться» дымками разрывающихся шрапнелей и слушать гул пальбы. Много, вероятно, раздавалось при этом веселых шуток по поводу тщетных усилий русских, которым все равно никогда не удастся попасть в вожделенный для них Перемышль! Обольщение в неприступности крепости царило в населении до самых последних дней осады.

Остается добавить, что, по общему признанию, во дни осады чрезвычайно развился в городе флирт и всякого рода романы. Это — психологическое явление, наблюдающееся во всех осажденных, отрезанных от остального мира городах. Его отмечают, например, бытописатели парижской осады 1870–1871 гг. [...] Влияет ли так изолированность города, однообразие жизни, сознание грозящей опасности, в случае взятия крепости, и желание использовать остающиеся дни свободы, или еще какие факторы, — трудно сказать. Во всяком случае, в осажденном Перемышле легко и быстро завязывались и распутывались романы. Женщины, в обычное время самых строгих правил, внезапно проявляли крайнюю легкомысленность. Мужчины, без труда, могли хвалиться несчетными «победами», — увы! не над русским оружием. Это «вольное» времяпрепровождение несколько скрашивало все же томительные недели насильственного отъединения от мира.

Почему же сдалась крепость? Можно решительно утверждать, что недостаток провианта — не более как отговорка, придуманная австрийцами. Конечно, австрийский генеральный штаб глубоко виноват, заперев в крепости несообразно большой гарнизон (две армии, общей численностью до 170 000 человек) и не снабдив его достаточным запасом провизии. Виновато и австрийское интендантство, наполнившее иные склады Перемышля лишь «для вида»: спереди в амбарах стояли полные ящики, а в глубине — пустые (так рассказывали в Ярославе). И все-таки с наличным количеством запасов крепость могла держаться гораздо дольше. С самого начала можно было уменьшать пайки солдатам и офицерам; между тем последние все время получали полное «пищевое довольство». В крепости оставались еще тысячи лошадей, годных в пищу [...].

Все уверяют, что перед сдачей в Сане было потоплено несколько тысяч мешков с разными продуктами, например с крупой. Что в крепости был запас артиллерийских снарядов, служит доказательством и бессмысленный, чудовищный обстрел последнего утра, когда было сделано много тысяч выстрелов (с единственной целью истребить снаряды), и груды гранат, также брошенных в реку, и, наконец, все-таки доставшиеся нам склады их [...]. Наконец, обладая огромным количеством штыков, комендант, безусловно, мог бы предпринимать гораздо более существенные действия против наших войск обложения, как известно, не слишком многочисленных и имевших в своем составе добровольческие дружины, менее подготовленные к бою, нежели регулярные полки.

Если комендант крепости, генерал Кусманек, не сделал всех этих попыток, не захотел бороться до последнего солдата и до последнего куска хлеба, то объясняется это прежде всего глубокой дезорганизацией австрийской армии. Пленные из Перемышля служат тому живым свидетельством. Разговаривая с пленными, постоянно слышишь, как солдаты жалуются на офицеров, бранят их, обвиняют во всякого рода незакономерных действиях, уверяют, что офицеры сберегали запасы продовольствия для себя, заставляя солдата голодать; слышишь, как офицеры, несмотря на свою сдержанность, не могут удержаться от нареканий друг на друга и на штаб коменданта; слышишь, как славяне осуждают немцев и мадьяр, а те поносят славян. С такой армией, не верящей в своих начальников, разделенной на партии и на враждующие национальности, немыслимо было оборонять крепость против единой, сплоченной русской армии. Говорят, что в последние дни участилось дезертирство из гарнизона, что его солдаты перестали повиноваться офицерам; многие без разрешения уходили с фортов в город и здесь, с угрозами оружием, отнимали съестные припасы у горожан; комендант приговаривал виновных к расстрелу, но смертных приговоров никто не хотел исполнять и т. д. Наконец, утверждают решительно, что целые полки отказались идти по приказанию коменданта в последнюю отчаянную вылазку, имевшую целью пробиться сквозь «железное кольцо» русского обложения. Славян погнали на вылазку силой; мадьяры пошли охотой; те и другие были расстреляны и прогнаны обратно. Тогда генерал Кусманек понял, что надо сдаваться. Была потеряна и надежда на прорыв, и надежда на помощь карпатской армии. Промедление легко могло повести к бунту гарнизона; чтобы избежать такого позора, комендант предпочел сдаться.

Обстоятельства, при которых совершилась сдача, уже были описаны многими. Ночью австрийцы взорвали некоторые форты, пять мостов в городе (из них три через Сан), испортили орудия, извели запасы снарядов на беспорядочную пальбу, застрелили оставшихся лошадей, потопили в реке оставшийся провиант, а также груды оружия, винтовок, револьверов и т. п. В русском лагере гром взрывов со стороны Перемышля был встречен неописуемым энтузиазмом, солдаты кричали «ура», бежали к австрийским укреплениям, не знали, что делать от радости. В 5 час‹ов› утра выехали из крепости парламентеры для выработки условий сдачи… Жители города в это время были в величайшей тревоге. Газетные сообщения изображали русских солдат, особенно казаков, какими-то дикарями; перемышляне ждали от них всяких неистовств, думали, что город будет предан огню и мечу, разгромлен, разграблен... Когда сдача состоялась и первые колонны русских войск вошли в город, они нашли его как бы вымершим. Жители попрятались в домах, вывесили белые флаги и выставили в окнах иконы. Однако населению пришлось убедиться, что оно ошиблось.

Мне довелось быть в Перемышле через три дня после сдачи. За этот короткий промежуток времени исчезли почти все следы осады. Город имел почти нормальный, почти обычный вид, и трудно было даже поверить, что еще так недавно он переживал как-никак весьма тяжелые дни.

19-го марта

Взятый Перемышль
(От нашего корреспондента)
II

По всему Перемышлю на стенах было расклеено объявление генерала Артамонова о правилах, которым должны подчиняться жители города и сдавшийся в плен гарнизон крепости. Главными пунктами объявления были: воспрещение продавать спиртные напитки; воспрещено оставаться на улицах с наступлением темноты, после 7-ми час‹ов› веч‹ера›; требование, чтобы все, в частности пленные австрийцы, беспрекословно повиновались русским военным властям; настойчивое напоминание нашим солдатам — не причинять никаких обид местным жителям и т. п. Эти распоряжения, по-видимому, сделали свое дело. За все время нашего пребывания в городе нам не пришлось быть свидетелями ни единого недоразумения между русскими и австрийцами: пленными и горожанами.

Между прочим, то же распоряжение генерала Артамонова устанавливало для Перемышля курс австрийской кроны, принятой во всей русской Галиции, в 30 коп. Этот курс соблюдался твердо; при всех наших денежных расчетах в Перемышле мы ни разу не слышали возражений на него. Было заметно даже, что торговцы и кельнеры в ресторанах охотнее берут русские деньги, нежели австрийские. Кажется, у всех была затаенная боязнь, как бы кроны и геллеры не обесценивались еще более и даже не утратили бы всякой цены. Мне известен случай, когда один наш солдат «выменял» в Перемышле у пленного австрийца за 5 серебряных рублей 25 крон, т. е. заплатил по двугривенному за крону. Никакой недобросовестности при этом не

было: наш солдат искренно не знал цены австрийских денег, а австриец предпочитал иметь русское серебро, чем родные бумажки.

Вообще, жители Перемышля, как и население всей Галиции, с поразительной легкостью и быстротой приспособились к русским порядкам.

Если пленные австрийские офицеры в Перемышле, по удачному выражению «Прикарпатской Руси» (номер от 12-го марта), «производят впечатление людей, радушно принимающих в своем доме гостей», то городские обыватели, особенно люди простые, встречают нас как своих более удачливых сородичей. Нам с товарищем случалось провести несколько времени в небогатой квартирке одной простой женщины (у которой жил шофер нашего автомобиля), в заречной часта города. Эта женщина радушно угощала нас чаем, хлебом, малинным соком и, кстати, горько жаловалась нам, что «швабы» забрали ее сына в армию. Другая женщина, с которой я разговорился, покупая у нее платки (изделия в «галицийском» вкусе, с яркими каймами), наивно просила меня похлопотать за ее мужа, «угнанного» австрийцами на работы — копать траншеи на фортах. Торговка уверяла меня, что ее муж весьма ревностно исполнял свое дело (т. е. хорошо укреплял форты против нашей армии!), австрийцы же морили его голодом и не платили обещанного жалованья. И не только по вине моего польского языка не мог я объяснить женщине, что не имею никакой возможности вступиться за ее мужа!

Толпу таких простых женщин я видел после в костеле. Была, по нашему календарю, «Лазарева суббота» (14-го марта); костелы в Перемышле были переполнены. Но громадное большинство молящихся были женщины (может быть, $^5/_7$ или $^3/_4$). Одни в совершенно черных платках, другие — в черных, с яркими цветными каймами, те — одетые побогаче, те — победнее, старые и молодые, — все одинаково долго стояли на коленях, смотрели неподвижными глазами, забыв развернутый молитвенник, куда-то в пустоту перед собой и, двигая губами, шептали какие-то слова. Что? Заученные молитвы? Или моления, обращенные к Богу? Или благодарность Ему за избавление от страданий? Эти женщины, вероятно, больше, чем все другие, чувствовали гнет осады. Их мужья на фортах рыли траншеи, утешались фантастическими слухами об австрийских победах, сходились в своем «политическом клубе» у какого-нибудь цирюльника «с одной тарелочкой»; а именно «жены», оставшиеся дома, испытывали, что значит не иметь молока для детей, отдавать последние геллеры за хлеб, который чудовищно дорожает каждый день, относить лавочнику «в залог» свое белье или праздничный костюм мужа. Вглядываясь в ровные темные ряды склоненных женских голов, ловя чуть слышимый молитвенный шепот, поглощаемый могучим пением органа, я думал о том, что такое же зрелище представляли, вероятно, костелы в Перемышле и во дни осады. Люди состоятельные ехали в театр или на концерт, устраивали вечеринки у себя дома, где мило шутили над меню своего ужина, включавшим конину, и неизменно надсмехались над бесплодным упорством русских... Беднякам же, действительно голодавшим, мерзнувшим в нетопленых комнатах, лишенным всякой работы и всякого дохода, некуда было пойти, кроме храма, и, конечно, ежедневно костелы наполнялись толпой коленопреклоненных, молящихся, плачущих женщин...

Военных (австрийцев) в костелах, кажется, совсем не было: я, по крайней мере, не заметил ни одного. Может быть, они рассуждали так, что им не за что благодарить Господа, но и не о чем просить Его, ибо все идет хорошо. На эту мысль навел меня один из наших знакомых австрийских лейтенантов, которого я встретил, выходя из костела. Радостно со мной поздоровавшись, как с другом, которого он давно не видел, лейтенант потом спросил меня:

— У нас здесь распространился слух, что немцы вчера взяли Варшаву. Как вы думаете: правда это?

— Какой вздор!

От этого восклицания я не мог удержаться, но мне стоило труда убедить лейтенанта, что в слухе о взятии Варшавы немцами нет ни капли вероятности. Австриец вежливо соглашался со мной, что Варшава, может быть, и не взята еще, а потом осторожно возражал:

— Однако немцы всего в 30-ти километрах от Варшавы: вам будет нелегко ее защищать.

И уже тщетно старался я уверить своего собеседника, что это — тоже неправда, что немцы теперь много дальше от Варшавы и что они не могут и думать серьезно о наступлении на нее. Австриец только из любезности прекращал спор, но было видно, что в душе он остается при своей прежней уверенности.

Нечто подобное говорили нам и другие австрийские офицеры. По-видимому, чтобы поднять дух гарнизона, в крепости распускались слухи о мнимых победах германской армии, причем уверяли даже офицеров, что немцы опять идут на Варшаву и, несомненно, возьмут ее не сегодня-завтра. И офицеры верили этим вздорным сообщениям, хотя по издававшимся в крепости до последнего дня «Военным Ведомостям» («Kriegsnachrichten») можно было составлять довольно правильное представление о ходе военных действий. Слух же о взятии Варшавы 14-го (27-го) марта был явно распущен с определенной целью — временно «утешить» офицеров и создать в стыде поражения...

Мы, конечно, ни на минуту не могли поверить австрийским слухам или даже допустить, что в них скрывается хоть крупица истины. В назначенный срок, не обращая на них внимания, мы стали готовиться в обратный путь — в Варшаву. Еще оставалось в Перемышле, в городе и на фортах, немало любопытного, что стоило бы осмотреть и изучить; интересно было бы подняться на высокие холмы, лежащие сзади Перемышля, и посетить окрестные деревни, жители которых могли бы, вероятно, рассказать немало замечательных случаев из поры осады. Но один наш спутник, М., крайне торопился вернуться, так как в Варшаве у него были спешные, неотложные дела; да и мы с товарищем не прочь были скорее оказаться дома, чтобы заняться обработкой собранного материала. Мы решили поэтому отказаться от деталей и удовольствоваться общими чертами. К сожалению, пришлось нам отказаться и от нашего первоначального плана: вернуться через Львов. Для этого надо было бы переправить автомобиль на левый берег Сана[1], но взрыв мостов сделал это невозможным. Все, что нам оставалось, это несколько изменить наш маршрут по

[1] Сан — река в Польше и на Украине, правый приток Вислы.

Галиции, чтобы на обратном пути посетить иные городки и селения, чем на пути к Перемышлю. Мы выехали рано утром в вербное — но по немецко-католическому календарю — «пальмовое» — воскресенье, Palmsonntag. На улицах Перемышля, несмотря на бедственные дни и ранний час, уже начиналось праздничное оживление. Встречавшиеся прохожие были одеты по-праздничному; в город въезжали деревенские телеги, везшие, должно быть, на продажу разные сельские продукты. Проходя по улицам, чтобы пробраться к своему автомобилю, в заречную часть города, мы повстречали по дороге одного за другим двух знакомых нам австрийских офицеров. Каждый мило нам улыбнулся, пожал руки, пожелал счастливого пути; один из них поспешил поделиться с нами радостной новостью: его, как полуславянина, не отсылают во внутреннюю Россию, но позволяют ему остаться в пределах Галиции. Говоривший, по-видимому, был наивно убежден в том, что мы примем близко к сердцу его судьбу и порадуемся вместе с ним. Эта наивность была прямо трогательной, и я, право, порадовался удаче этого нашего «врага», еще несколько дней назад руководившего стрельбой по нашим солдатам. У ворот дома, где стоял наш автомобиль, нас поджидал третий наш знакомый — клоун из цирка: он принес нам несколько книжек, разыскать которые обещал накануне («календари осады» и др.), долго дружески пожимал нам руки, каждому из нас дал свой адрес и настойчиво напоминал, чтобы при следующем посещении Перемышля мы не останавливались в гостинице, но прямо ехали по этому адресу, где для нас будет готова удобная комната...

Пока мы делали свои наблюдения в Перемышле, присматривался к нему и наш шофер. Встретившись с нами, он между прочим сообщил нам, что в доме, где он жил, есть несколько квартир, покинутых австрийскими офицерами и оставшихся без хозяев. Мы зашли в одну из них и увидели картину разгрома. Ящики столов были выдвинуты, мелкие вещи разбросаны но полу, валялось много книг, частью уже изорванных и истоптанных; прочтя надписи на корешках переплетов, я убедился, что то был подбор немецких классиков: Гёте, Шиллер, Гейне, Лессинг, Грильпарцер, Гамерлинг. Возможно, что разгрома, в настоящем смысле слова, здесь не было, что сам хозяин квартиры привел ее в такое состояние, спешно собирая наиболее ценные и дорогие для него вещи. Все же я счел себя вправе подобрать раскиданные по полу письма, так как они все равно были бы выброшены, как ненужный хлам. Хотя эти письма относились к месяцам до второй осады, в них оказались сообщения, очень характерные для «австрийских настроений». Через несколько минут после нас в той же квартире появилось трое наших солдат: они искали, где бы им устроиться в Перемышле, и мы порекомендовали им бывшую офицерскую квартиру. Тотчас на входной двери, как то всегда делается в городах, занятых армией, появились написанные мелом имена новых хозяев. Согласно с неписаными обычаями войны, с этой минуты квартира считалась занятой, и никто другой уже не счел бы себя вправе посягать на нее. Три наших солдатика поселились в комнатах, где еще недавно жил какой-то любитель немецкой литературы, но — увы! — нельзя ручаться, что из иных страниц с вдохновенными стихами Гёте не были свернуты «цигарки»!

Помешкав еще некоторое время в квартире, где наш шофер ночевал, — у доброй, наивной женщины, угощавшей нас малинным соком и жаловавшейся нам на судь-

бу сына-солдата, — мы наконец тронулись в путь. В обратном порядке замелькали картины, которые мы видели, подъезжая к Перемышлю: холмы, глубокие долины, сосновый лес, укрепления; повернув голову, мы опять могли любоваться пленительной панорамой белого города над синим Саном. На одном повороте мы нагнали большую партию мужчин, человек 250—300, с угрюмыми лицами шагавших к выходу из крепости. Они были одеты не по-военному, но у каждого на левой руке была перевязь из трехцветной ленточки. Мы окликнули их, спрашивая, кто они; но польский, русский и немецкий вопросы остались без ответа. Наконец один из шагавших, чтобы «отделаться» от нас, бросил нам одно слово: «мадьяр!» То были рабочие-венгры, не говорившие ни на каком языке, кроме родного. Нас уверяли потом, будто намеренно брали рабочими в крепость венгров, не знающих ни немецкого, ни польского языка, чтобы они не могли никому жаловаться на обращение с ними и на различные притеснения. Уверяли также, что жилось в крепости венграм-рабочим очень тяжело: их плохо кормили, заставляли работать по 15–16 часов в сутки и платили им ничтожное жалованье. Если судить по изможденным и угрюмым лицам тех, которых мы встретили, таким рассказам можно поверить, тем более что приблизительно на то же жаловались и рабочие-поляки и русины.

На пути в Перемышль мы беспрестанно встречались с партиями пленных; теперь мы их беспрестанно обгоняли. В городе, в нашем штабе, нам говорили, что эвакуация пленных продлится не менее 10—12 дней, если не все две недели, при условии отправлять ежедневно более 10 000 человек. Пленные опять шли партиями по несколько сот человек, объединенные большей частью по национальностям: немцы — отдельно, поляки — отдельно, венгры — отдельно... Кроме конвойных, казаков или конных добровольцев, за порядком в каждой партии наблюдали особые «взводные», назначаемые из среды самих пленных. По-прежнему все пленные с полной готовностью шли указанным им путем; пленные солдаты усердно отдавали честь ехавшему с нами русскому офицеру; а пленные немцы простирали свое усердие до того, что старались говорить по-польски или по-русски. Нагоняя партию и желая получить свободный проезд для автомобиля, мы издали кричали немцам, прося их посторониться: «Rechts!»* Но «взводные» любезно повторили наше приказание по-русски, крича: «Право!»

Валерий Брюсов. 22-го марта

Из поездки в Перемышль

I

Из ряда моих поездок, уже довольно многочисленных, по разоренной Польше и по району военных действий поездка в Перемышль (через два дня после его сдачи) произвела на меня особенно сильное впечатление и особенно ярко сохранилась в моей памяти. Подъем духа, вызванный радостной, с нетерпением ожидаемой вестью, повышенный тон утренних газет, манифестации на улицах Варшавы — все это делало необычным самый отъезд. Памятным, красивым был и путь через поло-

* «Правее!» (нем.)

вину Польши во дни начинающейся весны, когда последний снег тщетно борется с наступающим теплом. Наконец, незабываемые картины, образы, встречи ждали меня в самой взятой крепости.

Дорога от Варшавы до Перемышля была мне почти вся знакома: я проехал ее взад и вперед в сентябре, когда посетил Ярослав на третий день после его первой сдачи. Но в сентябре весь этот путь был еще полон воспоминаниями о «великой галицийской битве» и об отражении австрийского нашествия. Везде были видны свежие окопы, недавние пожарища, следы боев; валялись трупы лошадей, разбитые повозки, зарядные ящики; земля была усеяна патронами; по дорогам беспрерывно шли войска и бесконечные обозы; по сторонам, то там, то здесь, живописно вырисовывались казацкие привалы. К весне все изменилось: следы битв стаяли с зимним снегом, война отхлынула далеко на юг, к перевалам через Карпаты, и по пути встречались только мирные местные жители; города вернулись к своей привычной жизни; крестьяне уже выезжали в поле с плугом и бороной. Только развалины строений, разбитых осенью артиллерийским боем, да горестные остатки сгоревших деревень напоминали о недавнем грозном прошлом.

Причудливую картину представляли эти руины в лунную ночь. Торопясь к цели нашего путешествия, мы (я ехал с двумя спутниками — журналистом Ф. Федоровым и офицером М.) продолжали свой путь и в темноте. И вот неожиданно вырастали перед нами какие-то новые Помпеи: целые улицы, состоящие из домов без крыш; огромные пустыри, на которых торчали лишь дымовые трубы да обломки стен; кое-где поднималась чудом уцелевшая колонна со статуей Мадонны или вооруженного рыцаря наверху; а луна бросала свой всегда волшебный свет сквозь пробоины окон нежилых, полуразрушившихся строений [...].

Такие картины ждут путника в Красностане, Избице, Замостье, Томашове, Белжице, Цеханове [...] Замостье, куда мы приехали поздно ночью, показалось мне в обаянии лунного света каким-то итальянским городком; засаженная деревьями площадь, окруженная каменными аркадами, балюстрада широкой лестницы, ведущей к несуществующей двери, высокие башни, встающие из-за крыш, картинные руины, заканчивающие перспективу улиц, — все напоминало не то Болонью, не то Пизу.

Красивы были и виды между Замостьем и Томашовом. Местность здесь холмистая, и резкие контуры возвышенностей представляют Швейцарию в миниатюре. В глубоких долинах еще лежал снег, но на высотах весеннее тепло уже разобрало его прихотливыми зигзагами, и он растянулся по склонам извилистыми лентами. Темно-зеленые сосны закрывали гребни холмов. Своеобразный характер придавали видам кресты на братских могилах. Их здесь много, так как этот край был свидетелем ожесточенных, упорных битв. Синий деревянный крест стоит теперь вместо пограничного столба и на нашей бывшей границе с Австрией: здесь похоронен тот солдат пограничной стражи, который в день объявления войны не покинул своего поста и был застрелен австрийцами.

С переездом в Галицию внимание было отвлечено от картин природы к людям. Северная Галиция жестоко пострадала от войны, и ее население не в силах само поправить свои дела. Города наполовину разрушены, много деревень сожжено дотла,

скот и имущество крестьян были реквизированы австрийцами при их отступлении. Каждый раз, когда наш автомобиль останавливался в деревне или в маленьком городке, нас окружала толпа: мужчины — в барашковых шапках, женщины — в черных платках, дети — одетые в какие-то отрепья. К нам обращались с жалобами, просьбами, расспросами. Кое-как благодаря сходству местного говора с русским языком и при помощи польского языка мы договаривались. Вопросы часто были наивные или нелепые: у кого теперь искать «суда и расправы»? Можно ли без особого разрешения ехать в Россию? Не даст ли правительство семян для засева? и т. п. Видно было, что простые, «темные» люди не знают, к кому обратиться, и не освоились с новыми порядками. В одном городке (Цеханове) обратилась к нам даже народная учительница. [...] Мы посоветовали учительнице обратиться в канцелярию генерал-губернатора во Львове. Другим также дали посильные советы и объяснения. Нас провожали, сняв шапки, долгими поклонами и пожеланиями счастливого пути...

Впрочем, в то же время я мог с удовольствием отметить, что за шесть месяцев (считая с сентября, с моей первой поездки в Галицию) край заметно обрусел. Особенно чувствовалось это в более значительных городах. В Ярославе, например, я чувствовал себя более в русском городе, нежели в польской Варшаве или в немецкой Риге. Во всех магазинах, даже в маленьких лавчонках понимали по-русски. Само собой разумеется, в ходу были исключительно русские деньги. Гостиница, где мы остановились («Отель Польский»), была совершенно русской: ее содержатель был родом из Киева; все служащие — также из внутренних губерний. Нам говорили, что в городе возник целый ряд таких же чисто русских предприятий. Кстати сказать, рассказы о том, что Ярослав при вторичном занятии его нашими войсками сожжен, сгорел, оказались сильно преувеличенными. Погорело несколько домов на окраинах, но центр города, все главные улицы, где помещаются все общественные учреждения и стоят лучшие здания, вполне цел. Если поехать к «заставам» и за городскую черту, нигде в Ярославе не заметно и следов того, что город был дважды взят с боя, что его обстреливали тяжелой артиллерией, что битвы шли на улицах и т. п.

От Ярослава до Перемышля — немногим более 20-ти верст по хорошему, широкому шоссе, в своей первой половине обсаженному по обеим сторонам в два ряда высокими, старыми деревьями. Едва мы выехали на это шоссе, как наш глаз поразила синеватая масса, двигавшаяся нам навстречу. Всмотревшись, мы поняли, что это — толпа пленных австрийских солдат. И все время, пока мы ехали, мимо нас, с небольшими только промежутками, лился человеческий поток — бессчетные волны синих шинелей. Шли большие партии пленных, человек в 500, в сопровождении 10–12 казаков; шли небольшие группы в 15–20 человек; шли вдвоем, шли одиночки, и казалось, что этот поток столь же неисчерпаем, как любая река. Иногда навстречу первым шли другие партии таких же синешинельных пленных: то были австрийцы, взятые на Карпатах, направляемые в Радимны и оттуда в Раву-Русскую. Два течения сталкивались, смешивались, потом опять разделялись, и каждый из пленных покорно и послушно шел дальше, указанной ему дорогой: кто — к Ярославу, кто — прочь от Ярослава. Отставшие бегом догоняли свою партию; свежих, отдохнувших конвойные не торопили: они знали, что «он не убежит» (как сказал нам о пленных австрийцах один казак).

В Радимнах, маленьком городке по пути, мы увидели огромную партию пленных, расположившихся на привале. Остановив автомобиль, мы вмешались в их толпу. Едва стало известно, что мы — русские, с нами сразу заговорило чуть ли не несколько десятков человек: одни — по-немецки, другие — по-польски, по-чешски, на галицийском наречии; а иные капралы, желая щегольнуть образованностью, — и по-французски. Нас спрашивали: Куда пленные будут отправлены? Если в Сибирь, то очень ли там холодно? Будут ли унтер-офицеры и капралы получать жалованье в плену? Полагается ли пленным за обедом вино или пиво? И т. п. Вид у большинства пленных (так, как и у тех, которые раньше встречались нам по дороге) был довольно жалкий: шинели старые, изорванные, грязные, кепи измятые, сапоги — в дырах; у некоторых вовсе не было обуви, а ноги были обмотаны какими-то тряпками. Лица выражали страшное утомление: впалые щеки, ввалившиеся, лихорадочно горящие глаза, бледность или нездоровый румянец. Однако никто не казался удрученным именно сдачей, поражением: напротив, скоро из разговоров выяснилось, что все сдаче крепости скорее рады, так как это положило конец всяким лишениям, трудам, голоду.

Мне пришлось разговориться с несколькими солдатами-славянами. Не стесняясь присутствием капрала, они начали злобно бранить своих офицеров. По словам солдат, голодали в крепости только они: у офицеров всего было вдоволь; до последнего дня офицеры получали полный паек с вином за обедом и ужином. Солдаты терпели холод и сырость, проводя круглые сутки в траншеях, а многие офицеры на ночь уезжали в город или ночевали в халупах в пригородах. Жаловались, конечно, солдаты и на то, что славян нарочно посылали на самые опасные места, а во время вылазок заставляли идти вперед, тогда как сзади шли немцы или венгры, расстреливавшие отступавших. О коменданте Кусманеке сообщали легенду (которую мы слышали еще в Ярославе), будто перед сдачей он улетел из крепости на аэроплане... Рассказывая все это мне, солдаты словно жаловались другу или сотоварищу на притеснения врагов; видно было, что я, как русский, ближе им, чем их недавние начальники — немцы. После я говорил и с солдатами-немцами; те были сдержаннее в своих выражениях, но и у них проскальзывала [...] ненависть к офицерам. Немцы постарались извлечь пользу из нашего посещения: стали продавать нам кольца, сделанные из стали русских снарядов, попавших в форты Перемышля, шрапнельные пульки, осколки гранат и тому подобные «сувениры осады». Во всяком случае все — солдаты и капралы (офицеров здесь не было), и славяне, и немцы, и даже угрюмые мадьяры — отнеслись к нам вполне дружелюбно, без тени неприязни к врагу-победителю...

Вскоре за Радимнами начинается подъезд к самому Перемышлю. Отсюда открывается великолепный вид на цепь Карпатских гор с высокими снеговыми вершинами. По сторонам дороги, напротив, расстилаются унылые, совершенно пустые поляны. Сами австрийцы, перед началом осады, воспретили их обрабатывать, вырубили рощи, стоявшие кое-где, и сожгли деревни, чтобы нашим войскам не было где приютиться. На этих же полянах можно видеть остатки наших позиций: окопы, прикрытия для батарей и т. д. Наши укрепления изумляют своей скромностью: мы опирались в этой борьбе на дух армии и на мужество и стойкость солдат, а не на земляные прикрытия...

Наоборот, укрепления Перемышля были возведены австрийцами с великим тщанием. Они — вообще мастера строить укрепления, форты, крепости. Первая, внешняя, линия укреплений вынесена верст на 8–9 от города; она состоит из ряда мощных фортов, соединенных глубокими траншеями с крепкими блиндажами, стальными прикрытиями, закрывающимися окошечками для стрельбы, бетонными башенками, особыми блиндированными складами для провианта и для снарядов, и т. д., и т. д. Кое-что из этих укреплений было взорвано австрийцами в день сдачи; орудия, бывшие на фортах, приведены в негодность; но в общем укрепления после небольших исправлений могут прекрасно служить и впредь... На среднем расстоянии между городом и первой линией укреплений проведена вторая, внутренняя, оборудованная с таким же искусством. Внутренние укрепления с северной стороны проходят по гребню холма, что дает возможность обстреливать огромное пространство.

У ворот, проделанных в линии внешних укреплений, мы должны были остановиться, чтобы исполнить некоторые формальности, необходимые для въезда в город. Я воспользовался этим временем, чтобы поговорить с нашими солдатами, охранявшими въезд. Мне хотелось расспросить их о подробностях сдачи крепости, об их личных впечатлениях во время осады и т. п. Но солдаты оказались еще в такой мере буквально «упоенными» победой, что ничего не могли рассказать толком. В противоположность австрийским солдатам, высказывавшим полную безучастность к совершившемуся событию и относившимся к падению Перемышля как к чему-то, их совершенно не касающемуся, — наши «серые герои», видимо, только и жили сознанием своего торжества. На все мои вопросы я получал ответы вроде следующих:

—Мы его взяли! Я, ваше благородие, с самого начала под Перемышлем был. Как стали они форты взрывать, мы все, как один человек, перекрестились: стало быть — конец, наша взяла! И т. д.

Было что-то глубоко трогательное в этом отношении наших солдат (которое я замечал уже не в первый раз) к военным операциям как к своему личному делу.

После ворот начинается спуск в долину Сана, и шоссе — как всегда дороги в горных местностях — идет далее большими зигзагами, делая повороты под острыми углами. Слева и справа поднимаются высокие холмы, поросшие высокими, прямоствольными соснами. Часть леса, впрочем, вырублена, и бревна с обрубленными уже сучьями лежат здесь же длинными рядами. Характер местности несколько напоминает нам Крым, иные уголки за Ялтой — например, дорогу на водопад Учан-Су. На одном из поворотов дороги расположен небольшой поселок — пригород Перемышля. Здесь кроме партии пленных стали встречаться нам и гуляющие из города: шли кавалеры с дамами, мастеровые, женщины с ярко нарумяненными лицами, даже австрийские офицеры, неизменно изящные, в новеньких шинелях, со сверкающими саблями на боку. С одной из гуляющих парочек мы поговорили.

— Мы вышли подышать воздухом, — любезно объяснила нам барышня. — Во время осады было запрещено гулять за городом. Всем так наскучило ходить только по улицам, что теперь мы рады гулять и по пыльному шоссе.

Мы спросили, очень ли страдали жители Перемышля от голода и правда ли, что приходилось питаться кошками и собаками (как нам рассказывали в Ярославе).

— Ах, нет! — прямо засмеялась барышня. — Кошек не кушали. Т‹о› е‹сть› если кто любит это кушанье, это — другое дело. А вообще ни кошек, ни собак никто не ел. За деньги все время можно было все доставать — если не говядину, то конину. Был и хлеб, и масло, и даже крестьяне потихоньку приносили кур, яйца, молоко...

Эти признания встречной барышни были первым звеном в длинной цепи признаний, убедившей нас, что рассказы о жестоком голоде, царившем в Перемышле, — вымысел или сильное преувеличение и что сдалась крепость не от недостатка провианта.

Вскоре после пригорода шоссе делает крутой поворот, и вдруг открывается панорама Перемышля. Мне за мою жизнь случалось видеть много красивых городов, но, не делая никаких исключений, я решаюсь сказать, что Перемышль принадлежит к числу красивейших. Красотой общего вида он может соперничать с видом с моря на Венецию и на Ревель, с готическими городами юго-западной Германии и с приморскими городками Бретани.

Теперь перед нами была глубокая долина Сана. Река широкой синеватой лентой, с белыми крапинами пены, делала внизу слабый изгиб и исчезала за лесистым холмом. Прямо горизонт закрывал отлогий склон горы, гребень которого четко вырисовывался в небе. По этому склону амфитеатром был расположен город, весь белый, ярко выступавший на лиловато-зеленом фоне. Несколько прямых улиц, местами переходящих в каменные лестницы, разрезало город на небольшие, легко обозримые квадраты. Здания старинных костелов, театра, отдельных высоких домов красиво поднимались среди рядов других строений, а справа, на небольшом предгорье, серый замок, окруженный парком, как бы венчал весь город. Неправильные линии взорванных мостов, упавшие фермы которых упирались в бурливый, пенящийся поток, как-то дополняли красоту картины...

Мы могли, однако, любоваться видом лишь несколько мгновений. Шоссе вновь сделало поворот — и дивная панорама пропала. Опять кругом нас были только поросшие соснами холмы и земляные откосы дороги, по которой медленно брели пленные и неспешно гуляли горожане. А через несколько минут наш автомобиль остановился перед одним из взорванных мостов, в заречной части Перемышля.

27 марта, Варшава

Из поездки в Перемышль

II

В Перемышле мы встретили ряд маленьких затруднений. Наш автомобиль остановился в предместье, на правом берегу Сана; между тем весь город лежит на левом, высоком берегу, мосты через реку взорваны. Надо было разузнать, возможно ли переправиться на другую сторону. Кроме того, мы не знали, открыты ли в городе гостиницы, можно ли в ресторанах получить обед и т. п.

Подумав, мы решили обратиться за советом к группе австрийских офицеров, стоявших около того места, где остановился наш автомобиль. Оказалось, что мы сделали лучшее, что могли, так как австрийцы немедленно приняли в нас живей-

шее участие. Тут был дородный полковник, упитанный, с розовыми щеками и лихо закрученными усами; военный врач, изысканно одетый, с моноклем в глазу, и двое низших офицеров в шинелях с иголочки. Все были при саблях, которыми как-то особенно ловко звенели, а у полковника в руках был еще хлыстик. Австрийцы представились нам, высказали удовольствие с нами познакомиться и с отменной предупредительностью взялись оказать нам всякие услуги.

Выяснилось, что переправить на другую сторону автомобиль нет возможности. При содействии австрийцев мы нашли для него и для шофера пристанище в заречной части города, а сами отправились пешком на левый берег. Полковник проводил нас до перехода, устроенного на обломках обрушившегося моста, по дороге любезно с нами беседуя и рассказывая нам подробности о сдаче крепости. Мы между прочим заметили, что вряд ли следовало взрывать мосты. Наши саперы быстро наведут понтонный мост, и сообщение между двумя берегами будет восстановлено, так что все дело сводится к той сумме денег, которую придется затратить на восстановление взорванных мостов. Для населения же отсутствие переправы будет представлять в течение многих дней крайнее неудобство.

— Может быть, вы правы, — вежливо согласился полковник. — К коменданту даже являлась особая депутация от горожан с просьбой оставить хотя бы один мост. Но у генерала был категорический приказ — взорвать мосты в случае сдачи. Солдат не может рассуждать, но должен подчиняться приказаниям беспрекословно...

Доведя нас до перехода, полковник откланялся. Мы перешли через пенный Сан по доскам, лежавшим почти на самом уровне воды, постоянно заливавшей их. На другом берегу, следуя первому опыту, мы опять обратились за помощью к австрийскому офицеру: молоденькому лейтенанту, который с рассеянным видом наблюдал, как толпы людей (в том числе и партии пленных) перебираются с одного берега на другой. Лейтенант, так же как первые офицеры, тотчас изъявил готовность содействовать нам и посоветовал идти обедать в офицерское собрание. Так как в нашей среде был офицер русской армии, мы выразили сомнение, будет ли это удобно, но лейтенант решительно разуверил нас:

— Вам все будут очень рады и примут вас как желанных гостей, — сказал он.

Лейтенант вызвался и проводить нас до собрания, а когда мы просили его не беспокоиться, возразил беспечно:

— Помилуйте! Мне очень приятно пройтись с вами. К тому же я теперь совершенно свободен.

В австрийском офицерском собрании, «Casino», как оно называлось на вывеске, мы, в самом деле, встретили самый дружелюбный прием. Проводивший нас лейтенант, сославшись на предстоящее ему неотложное свидание, не вошел с нами, но очень скоро у нас оказались новые знакомые среди других офицеров-австрийцев, обедавших в тот час. «Casino» оказалось большой сводчатой комнатой, украшенной разноцветными флажками, в которой расставлены маленькие столики, как в ресторане. Едва мы заняли место, как офицеры, сидевшие за соседним столиком, под каким-то предлогом поспешили заговорить с нами. Через минуту один из них, военный врач-чех, уже пересел к нам, и вскоре мы беседовали как давние друзья.

Офицеров, бывших в собрании, особенно интересовал вопрос, каковы условия жизни в русском плену. Нас расспрашивали, в каких городах селят пленных офицеров, как относится к ним местное население, какое полагается жалованье разным чинам и т. п. Некоторые просили у нас рекомендательные письма в разные русские города.

В большом кругу лиц офицеры, конечно, говорили очень осторожно: рассказывали, напр‹имер›, что с русскими, бывшими в плену в крепости, обращались с особенной заботливостью, выдавали им лучшую пищу, какую только могли достать, что вообще к русским весь гарнизон относился с большим уважением, как к благородным противникам, и т. п. Однако по отдельным выражениям и «между слов» можно было угадать многое. Так, напр‹имер›, заметно было, что в среде офицеров существовали враждовавшие между собой партии, что многие резко критиковали распоряжение коменданта, что немцы всегда держались особняком от славян и не доверяли им и т. д. Врач-чех даже проговорился, что запас провианта для офицеров истекал именно ко дню сдачи и что нежелание их перейти на более грубую и скудную пищу было также одном из причин сдачи.

По окончании обеда мы расстались с нашими новыми знакомыми-друзьями. Все они дали нам свои визитные карточки и высказали надежду, что мы встретимся вновь «при более благоприятных обстоятельствах». Разумеется, просили нас и впредь во время нашего пребывания в Перемышле посещать «Casino» и считать себя гостями австрийского офицерства.

После этих встреч мы уже не колебались обращаться к австрийцам, особенно к офицерам, с просьбой о разных мелких услугах, в которых всегда нуждаешься, попав в незнакомый город, — и ни разу не имели случая пожалеть об этом. Решительно *все,* с кем мы заговаривали, выказывали изысканную предупредительность, были с нами до крайности любезны и не щадили своего времени, чтобы помочь нам. Больше всех других оказался нам полезен один молодой лейтенант, еще безусый юноша, с которым мы завели знакомство, кажется, в кафе. Он вместе с нами ходил в разные отели, выбирал для нас подходящие комнаты, торговался за нас, указал нам лучшие магазины, рекомендовал хороший ресторан, дал нужные нам адреса, и т. д., и т. д. С этим лейтенантом мы потом неоднократно встречались в Перемышле, подолгу сидели с ним в цукернях, много разговаривали и о посторонних вещах, и об осаде крепости: он всегда был неизменно мил и любезен, говорил очень откровенно, открыто признавал превосходство нашей армии над австрийской и столь же открыто жаловался, что за последнее время в крепостном гарнизоне дисциплина страшно пала. Если не ошибаюсь, юноша искренне сдружился с нами; по крайней мере он посвятил нас в свои личные дела и потом спешил поделиться с нами всеми новостями, касавшимися его лично.

Ознакомившись с городом, я много гулял по его улицам. Уличная жизнь в Перемышле в те дни приняла уже почти нормальное течение. На улице Мицкевича и на Францисканской, главных артериях города, весь день царило большое оживление: по тротуарам двигалась густая толпа, в которой было немало богато наряженных дам; кафе были полны, магазины торговали бойко. И в этой городской сутолоке на

каждом шагу встречались австрийские офицеры. В новеньких шинелях сине-сиреневого цвета, с пушистыми бобровыми или из меха кенгуру воротниками, часто с моноклем в глазу, нередко под руку с дамой или с болонкой на цепочке они фланировали по большим улицам; в томно-ленивых позах они сидели у зеркальных окон за столиками больших цукерен; в магазинах они бросали золотые монеты на прилавки... Везде мелькали самые разнообразные офицерские формы, мундиры, то синие, то красные, то с белыми вставками, многие с золотым шитьем, словно обладатели их приготовились к смотру или параду. Это щегольство одеяний, самодовольство, написанное на упитанных лицах, некоторые мелочи, вроде выхоленных пальцев с огромными перстнями, — все возбуждало во мне такие чувства, которые не могли быть заглушены никакой любезностью и никакими услугами... Не думаю, чтобы нашлась другая армия, офицеры которой проявляли бы такую беспечность, только что пережив тяжкое поражение, которое глубоко отразилось на всем ходе войны.

Гораздо понятнее было для меня отношение к нам, к русским, мирным жителям Перемышля, его «обывателей». С евреями мне не пришлось сталкиваться, но я довольно много беседовал со славянами, поляками и галичанами, притом из разных слоев общества. С некоторыми мы познакомились так же, как с офицерами: на улице или в кафе. Двое таких знакомцев, — один — бывший служащий в цирке (не то фокусник, не то клоун), другой — человек неопределенных занятий, родившийся в Перемышле и никогда из него не выезжавший, — даже сделались нашими неразлучными спутниками на все время нашего пребывания в городе. На прощание оба дали нам свои визитные карточки и убедительно просили навестить их, когда мы будем в городе… Кроме того, у нас были (полученные в Ярославле) рекомендательные письма к некоторым жителям Перемышля, что позволило нам заглянуть и в семейную жизнь горожан. Наконец я пользовался каждым представившимся случаем для расспросов и разговоров. Так, например, разыскивая комплекты газет, выходивших в Перемышле во время осады, я обратился в типографию, где одна из газет печаталась. Встретил меня владелец типографии, поляк, и не только разыскал мне нужные номера, но и охотно разговорился со мной. Другое «интервью» удалось мне получить там, где я всего менее мог его ждать: в парикмахерской, куда я зашел, пользуясь свободным получасом. Местный Фигаро, узнав, что я — русский, сам немедленно стал излагать передо мной взгляды на оборону крепости и рассказал кстати несколько интересных эпизодов. В общем, получился целый калейдоскоп лиц, что дает право на кое-какие выводы.

Первое, что я должен отметить, это — опять все та же доброжелательность, с какой *все* в Перемышле относятся к нам.

Вполне естественно, что в те дни, когда мы были в Перемышле, пережитая осада была еще живо памятна всем. Все только и говорили, что о ней, и каждый разговор быстро переходил на недавнее прошлое. Но ни от кого мне не пришлось слышать жалоб на особенные тягости лишения. Не было и намека на те ужасы, которые свершались когда-то в осажденном Сагунте или даже в нашу эпоху, во время осады Парижа пруссаками: ни умерших с голода, ни матерей, убивающих детей, ни бунтов доведенных до отчаяния бедняков, — всего того, что связано с представлением о

городе, доведенном до сдачи голодом... Все жаловались только на дороговизну (и то, впрочем, условную, потому что нельзя же признать «неимоверной» цену в 30 геллеров за булочку!), и некоторые наивно указывали, что пора было сдавать крепость, когда в городе все так вздорожало.

В том же отеле, где остановились мы, жило несколько наших офицеров. Принудить к сдаче Перемышль, — крепость, оборудованную по всем правилам новейшей техники и защищаемую 170-титысячной армией, — было подвигом, который навсегда останется славным в нашей военной истории. И на наших офицеров австрийские лейтенанты, оберы, полковники, в своих щегольских шинелях, с своим заносчиво-беспечным видом, произвели столь же гнетущее впечатление, как на меня. Я даже заметил, что наши офицеры все время как-то сторонились общества своих австрийских «товарищей по оружию», хотя австрийцы и повторяли постоянно, *что* высоко чтут русскую армию и рады будут оказать честь своим недавним противникам.

Эти чувства, эти раздумья преследовали меня все время, когда я бродил по улицам Перемышля. В городе почти ничего не напоминало о недавних трудных днях. Окна магазинов были заставлены пышными эталажами[1]; по улицам шли и гуляющие, и деловые люди, спешащие куда-то с озабоченным видом; по вечерам загоралось электричество... Только вместо полиции проезжали время от времени небольшие группы казаков да вдоль по набережной, около взорванных мостов, все дома стояли без стекол, лопнувших от силы взрыва. В душе смешивались и боролись два чувства: гордость, в сознании нашей, русской, победы, и столь же невольная досада, почти стыд за все, что было вокруг, за эту беспечную веселость населения и за эту дружественную любезность недавних врагов. То, что прежде было смутной догадкой, становилось несомненной истиной: Австрии как государства, как империи не существует. До сих пор выражение «лоскутная империя» употреблялось наполовину в шутку; теперь, после сдачи Перемышля, после примеров Ярослава и Львова, уже нельзя сомневаться, что за века своего существования «счастливая Австрия» все же не сумела и не смогла спаять в одно целое различные племена, населяющие ее территорию.

Варшава, 29-го марта

Мимоходом

X. Порфирий Панасюк

Имя младшего унтер-офицера Порфирия Панасюка в короткое время стало известно всей читающей России. Рассказ о героической стойкости русского солдата и о диком варварстве немецких офицеров невольно наводит на память страницы Тита Ливия или Плутарха. И бытописателю войны трудно пройти мимо образа Панасюка, простого русского крестьянина, повторившего подвиг римлянина Муция Сцеволы — увы! — не перед благородными этрусками.

В прошлом Панасюка нет ничего примечательного. Он по происхождению — из малороссов, но его отец — переселенец, поселившийся в Тургайской области. Панасюку — 26 лет; в свое время он прибыл на воинскую повинность и на войну

[1] Галлицизм, *Выставка товаров, выставленный товар; витрина.*

был призван из запаса; всю службу провел в одном из полков, расположенных на нашем северо-западном фронте, *сначала* как строевой нижний чин, потом — как разведчик, наконец— как младший унтер-офицер. У Панасюка — простое русское лицо, но маленькие баки делают его похожим на австрийца; он невысокого роста, худощав, но мускулист и в физической ловкости поспорит с любым гимнастом.

В настоящее время Панасюк находится на излечении в Варшаве, в лазарете Петроградской Елизаветинской Общины, где его в приемные часы донимают посетители и почитатели. Без лишней застенчивости, Панасюк охотно отвечает на расспросы, но, разумеется, не склонен — да и вряд ли сумел бы — раскрывать перед каждым любопытным интимную сторону своей души. О себе рассказывает спокойно и просто, передавая только факты: «Он взял ножницы… Стал резать ухо… Больно было… но я стерпел… только рассердился очень.

Порешил: коли так, хоть голову отрежьте — ничего не скажу...» и т. д. [...]

Солдат Панасюк, ныне старший унтер-офицер и георгиевский кавалер, стал лицом историческим. Ему приходилось вместе с лаврами сносить и тернии славы: право наследователей разбирать его жизнь и расценивать его личность...

С самого начала войны Панасюка начали посылать в разведки, так как он был смышлен и ловок. Благодаря своей отваге и предприимчивости Панасюк всегда доставлял в штаб ценные сведения. На удачливого солдата обратили внимание, а сам он пристрастился к работе разведчика, дававшей простор его склонностям и способностям. Сначала Панасюк ходил на разведку в солдатской форме, с двумя-тремя товарищами. Потом ему стали доверять более сложные задачи. Тогда он окончательно вступил в кадр разведчиков, стал отправляться один и переодеваться в крестьянское платье.

Быстро Панасюк выучился польскому языку. Правда, как малороссу, ему это было легче, чем другим, но он достиг того, что говорит без русского акцента, совсем как польский крестьянин. Выучился немного Панасюк и по-немецки, так что может объясниться с немцами. Прекрасно освоился он с краем; на большом пространстве узнал все дороги и тропинки, словно местный уроженец; без карты совершал переходы в десятки верст. За несколько месяцев службы Панасюк побывал чуть ли не во всех городках и деревнях северо-западной Польши, углубляясь в занятые немцами, заходил и в Восточную Пруссию. Все это показывает в Панасюке человека недюжинного, с восприимчивым и острым умом.

В деле разведки наиболее трудными являются два момента: проникнуть в район расположения неприятеля и потом выбраться оттуда, вернуться к своим. Практика выработала целый ряд способов преодолевать эти трудности. Но Панасюк предпочитал изобретать свои приемы. С неистощимой изобретательностью он каждый раз по-новому обманывал бдительность немцев: то проходил в виде беженца, возвращающегося в свою деревню, то перебегал во время боя с солдатами в цепи, то проплывал по реке, и т. д., вплоть до хитростей, до сих пор составляющих его «секрет».

В пределах расположения неприятеля от разведчика требуется главным образом присутствие духа, хладнокровие. Некоторые рассказы Панасюка о пережитом им в его экспедициях полны захватывающего драматизма. Однажды солдат, стоявший

на страже, задержал Панасюка (с ним случалось это не раз) и потребовал ответа, кто он. Панасюк сказал, что он — крестьянин из соседней деревни. «Хорошо, мы в этом убедимся! — заявил немец и повел своего пленника в ту деревню. Казалось, что Панасюк погиб безнадежно, так как в деревне его не знал решительно никто. Однако, ничем не выдавая своего волнения, Панасюк пошел за немцем. Когда они уже подходили к деревне, Панасюк увидел у околицы старика и намеренно громко закричал по-польски:

— Чего вы меня зря тащите! Вон мой батька стоит. Эй, батька, вот меня немец схватил: не верит, что я — здешний, а у меня дело есть спешное.

Старик-поляк оказался сообразительным, вступился за Панасюка как бы за своего сына и стал ворчать на немцев, что они разорили-де всю деревню, а теперь и жителям не дают прохода. Вмешался немецкий офицер, бывший поблизости, сделал выговор солдату за то, что он без надобности возбуждает вражду в населении, и приказал Панасюка отпустить. Он был спасен, но исключительно благодаря своей догадливости и умению владеть собой.

В своем последнем приключении, которое едва не стало для него роковым, Панасюк также проявил все эти качества и в конце концов спасся только благодаря им. Обстоятельства, при которых он попал в плен и подвергся истязаниям, хорошо известны и по донесению штаба Верховного Главнокомандующего, и по рассказам самого Панасюка. В этих рассказах есть несколько черт, особенно характерных как для него, так и для немцев.

Когда Панасюк был арестован, немецкий лейтенант, допрашивающий его, начал с ним говорить *по-русски*, и притом крайне вежливо, обращаясь на «вы». Но Панасюк упорно настаивал, что он — поляк, крестьянин, и по-русски не понимает. Тогда лейтенант сказал:

— Вы напрасно притворяетесь. Нам только неизвестно еще, офицер вы или солдат; все остальное о вас мы прекрасно знаем.

И действительно, он перечислил большинство разведок, произведенных Панасюком. Отрекаться было бесполезно, и Панасюк решил молчать. Тогда-то стали его соблазнять деньгами, пытались подкупить. Надо добавить, что допрос происходил публично, на площади, в присутствии нескольких немецких офицеров и взвода солдат.

Когда не удалась попытка подкупа, лейтенант (совсем еще молодой человек) пришел в ярость и сначала только пригрозил пыткой. Потом, совершенно неожиданно, вынул из ящика с хирургическими инструментами ножницы с тупыми концами, подошел к Панасюку и одним взмахом отрезал ему кончик уха.

— Будешь говорить теперь?

При этом вся вежливость лейтенанта сразу пропала; он сделался груб и дик. Панасюк не ответил ничего. Лейтенант приказал пронести его вокруг площади, а когда его поставили на прежнее место, отрезал у него другой кусок уха... И так длилось *полтора часа.* Пленного то обводили вокруг площади, то опять ставили на допрос, и молоденький безусый лейтенант резал ему хирургическими ножницами ухо. Наконец лейтенант так озверел, что товарищи-офицеры стали его удерживать, что-то настойчиво говоря ему (Панасюк не смог разобрать что: «голова кружилась», — объ-

ясняет он), но безуспешно. А когда все ухо было отрезано и Панасюк был залит кровью, по его выражению, «как баран», лейтенант еще раз подошел к нему и кулаком несколько раз ударил по лицу так, что повредил хрящи носа и скулу.

После того Панасюка увели: один офицер-немец не выдержал и бросил ему сверток марли, которой он перевязал свое ухо. Солдаты же, глядя на него, смеялись, а лейтенант платком обтирал себе лоб: так он утомился, пытая. Панасюку дали отдохнуть с полчаса, и этого было достаточно, чтобы к нему вернулась энергия и сообразительность. Он решил бежать во что бы то ни стало, так как все равно ему грозила смерть от расстрела или на виселице: предпочтительнее было дать себя застрелить во время бегства.

Панасюка, по-видимому, хотели отправить в другой штаб. Сопровождать его должны были четыре солдата и офицер. Панасюк заметил, что солдаты примкнули к винтовкам штыки, а из немецких винтовок, как известно, с примкнутыми штыками стрелять нельзя. Панасюк учел это обстоятельство и на нем основал план побега. Проходили мимо какого-то забора; офицера позвали, и он отошел в сторону; двое из солдат поставили ружья. Оставалось только двое противников. Панасюк смелым ударом в грудь сшиб обоих на землю, перебросился через забор (в этом ему помогла его ловкость гимнаста) и побежал к лесу, видневшемуся вдалеке. Побег был столь неожиданен, что первые выстрелы вдогонку раздались лишь тогда, когда Панасюк уже достигал опушки, перебежав поляну.

Дальнейшее для беглеца было сравнительно легко. Он прекрасно знал местность. Сначала укрылся в чаще, потом выбрался к реке. Здесь он связал из бревен маленький плот с таким расчетом, чтобы бревна, когда он ляжет на них, погрузились в воду. Таким образом, плот с человеком на нем представлял наименьшую цель для обстрела. Течением прибило плот к русскому берегу, и Панасюк еще раз был спасен...

Разбирая это сцепление происшествий, можно с уверенностью утверждать, что Панасюк погиб бы, если бы был менее подготовлен к своей деятельности, обладал меньшей твердостью и менее быстрой сообразительностью. Если бы он поддался немецким соблазнам или не выдержал пытки, весьма вероятно, что немцы, выслушав его сообщение, немедленно после того расстреляли бы его. Также, не обрати Панасюк внимания на то, что солдаты примкнули штыки, он не мог бы рассчитать условия своего бегства. Наконец, только хорошее знакомство с краем позволило ему спрятаться от погони и добраться до наших передовых позиций. Не одни только счастливые случайности и не одна только слепая храбрость содействовали Панасюку: хохол-солдат выбрался из рокового положения благодаря сметливости и изворотливости своего *ума*.

Работа военных разведчиков требует такого же напряжения сил интеллектуальных, как силы физической и силы воли. У солдата в строю есть успокаивающее сознание, что за него все обдумано начальством и что кругом тысячи товарищей несут одинаковый жребий: остается, чтобы исполнить свой долг, честно повиноваться команде и не жалеть своей жизни... Разведчику приходится полагаться только на свои собственные силы, действовать по своему собственному почину, постоянно изменяя планы сообразно с обстоятельствами. Как герой из романов Фенимора Ку-

пера, какой-нибудь «Соколиный Глаз» или «Следопыт», разведчик должен ползком пробираться в зарослях, вплавь переправляться через реки, прятаться в болотах; но так же, как те любимцы нашей юности, разведчик должен быть «хитрым, как змея, и расчетливым, как пантера». Только гибкость и острота мысли — свойства, которые могут быть развиты образованием, но, по существу, от него не зависят, — создают хорошего военного разведчика.

Все, что мы знаем о Панасюке, — повторяю: простом русском крестьянине, — доказывает, что он этими свойствами обладает. Он не умеет рассуждать сообразно со всеми законами логики, но его мысль всегда безошибочно указывает ему кратчайшие и вернейшие пути для достижения намеченной цели. Поэтому мы вправе думать, что там, на площади, перед озверелым лейтенантом и немецкими офицерами, он осознавал свое положение. Он не только сумел претерпеть боль истязаний, но и защищал своим поведением достоинство русского в среде немцев, обнаруживших перед ним под налетом культурности все свое варварство.

Варшава, 3-го апреля

Этюды с натуры

III. В штабном городке

Стоя у автомобиля, мы — я и художник С. Сварог, — обсуждаем свое положение. Мы только что приехали в Г., маленький городок, верстах в [...]-ти от фронта, чтобы получить в штабе -ой армии, расположенном здесь, нужное нам разрешение. Зная, что его нельзя будет получить раньше как на следующий день утром, мы намеревались переночевать в Г. Но единственная в городе гостиница переполнена, а в частных домах, куда мы обращались, нам отказали в гостеприимстве.

— Вам надо поехать на этап, там для вас отыщут комнату, — советует нам случайный прохожий, прислушавшись к нашему разговору.

Совет нам кажется дельным. В городах, находящихся в районе военных действий, этап — чуть ли не ось всей местной жизни. Въехав в любое селение, где стоят войска, первое, что видишь, это на заборах и на стенах — крупными буквами отпечатанное объявление «Дорога на этап» с указательным перстом внизу, определяющим направление. К этапному коменданту местные жители обращаются со всеми своими нуждами: с жалобами, просьбами, запросами. И, конечно, мы, приезжие, лучшее, что можем сделать, — это идти «на этап».

Руководствуясь указаниями перста, мы без труда добираемся до двухэтажного каменного дома, где помещается этап. Приемная наполнена солдатами и обывателями; здесь и крестьяне окрестных деревень, и дамы в варшавских шляпках, и солидные помещики, которым нужно разрешение на проезд в свое имение, и простые рабочие, занятые на постройке укреплений вокруг города. Комендант принимает в нас участие, и наши затруднения разрешаются в несколько минут. Вызвав солдата, ведению которого поручены свободные помещения в городе, «квартирмейстера», как его называют в шутку, комендант приказывает немедленно «устроить» нас. Солдат пытается было заметить, что «вольных» комнат нет, но, получив суровое замеча-

ние, спешит ответить по-военному: «Слушаю-с, ваше высокородие...» Через минуту мы идем за «квартирмейстером», который ведет нас через весь город, т. е. по 3–4-м улицам, видимо соображая дорогой, куда нас поместить.

В мирное время Г. считается «климатической станцией». Сюда приезжают отдыхать на лето. Постоянные зимние дома сосредоточены только у станции железной дороги да по одной, «главной» улице. Дальше идут ряды дач, окруженных садами, и вилл с пышными названиями: «Villa Zofja», «Mon Repos», «Belle vue» и т. п. Но теперь все это занято армией. На дворе роскошной виллы, целого маленького дворца — стоянка военных автомобилей; в милом садике поставлены казацкие лошади; на калитках дач висят объявления «Хозяйственное управление», «Полевая почта», такая-то дивизия, такой-то батальон и т. д. На улицах — только военные: офицеры, солдаты, казаки, обозные...

Наш вожатый с видом человека решившегося останавливается наконец у каких-то ворот, входит во двор, подводит нас в глубине его к деревянному флигельку, отворяет незапертую входную дверь. Мы входим следом и оказываемся в обширной комнате — столовой в бывшей квартире какого-то ксендза. Комната когда-то была обставлена с тщанием. По стенам — картины на религиозные темы: Мадонны, евангельские сцены, распятия, «Vera effigies»*; иные в рамочках из искусственных цветов домашней работы. Вдоль стен — прочная массивная мебель: много сундуков, укладок, буфетов, шкафов, запертых на ключ, но, видимо, набитых всяким добром. Посредине — огромный «семейный» стол... Но всюду — следы новых жильцов: окурки на полу, брошенные объедки на столе, невыметенный сор в углах. Солдат объясняет, что сам ксендз «пропал без вести»: может быть, его увели немцы, когда в октябре занимали Г.; оставшаяся племянница переселилась в пристройку к флигелю, а в квартире живут сейчас три офицера.

Выбирать нам не из чего, и мы начинаем устраиваться в бывшем жилище ксендза. «Квартирмейстер» выволакивает откуда-то две кровати с тощими сенниками, но, разумеется, без подушек и белья. Мы же распаковываем свои вещи и садимся трапезовать за «семейный» стол ксендза. Увы! — один из буфетов не был заперт, и временные постояльцы считали своим правом пользоваться тарелками и стаканами исчезнувшего хозяина. Мы следуем тому же примеру, думая, как изумился бы ксендз, узнав, для кого он приобретал свой фаянс и хрусталь... На прощанье «квартирмейстер» достает нам кипятку, и мы должны признать, что нам не остается желать ничего большего.

Тем временем возвращаются офицеры, живущие на этой квартире. Мы спешим успокоить их понятное беспокойство сообщением, что лишим их второй комнаты лишь на одну ночь. Мы вместе пьем чай и меняемся впечатлениями. Офицерам мы рассказываем о Перемышле, где оба были недавно, а они описывают нам жизнь в Г. В городе теперь все свелось к штабу, все движется вокруг штаба. Местные кокетки знают всех штабных по именам; отъезд кого-нибудь из них или прибытие нового офицера составляют событие [...]. Постоянная тема разговоров, конечно, военные действия да еще немецкие аэропланы, которые нет-нет да и наведаются в Г. Но сейчас, в дни затишья на театре войны, офицеры жалуются на однообразие жизни. Единственные

* Истинный образ (*лат.*)

развлечения в городе: для офицеров — биллиарды в одном из двух городских кафе, для солдат — кинематографы, которых в городе также два. И единодушно наши собеседники заканчивают свои рассказы восклицанием: «Эх, лучше бы на фронт!»

Напившись чаю, мы идем в штаб. Он занимает здание бывшего санатория. Красивый вход, выбеленные коридоры, ряд уютных комнат за номерами, обширный общий «салон», библиотека — все удобно, чисто. Сюда, в тихий приют, приезжали лечить утомленное тело и расстроенные нервы. Теперь же здесь ключом бьет жизнь: поминутно появляются вестовые, то и дело звонит телефон, на крыше установлены новые телеграфные провода... Недолго выдержали бы эту напряженную шумную жизнь, полную энергичной деятельности, прежние обычные жильцы санатория, мучимые бессонницей неврастеники и капризные истерички, привозившие сюда свою томную лень и заполнявшие здесь пустые часы случайным флиртом...

Выйдя из штаба, идем погулять по городу. Странно думать, что месяца четыре назад немцы считали его своим. На этих улицах звучала немецкая речь, в этих цукернях прусские юнкера требовали себе пива, эти магазины посильно обслуживали германскую армию... Ни малейшего следа от той поры не осталось, и всё вокруг — типично польское. Заходим в кафе. Маленькая передняя комната битком набита офицерами, коротающими вечер за чашками кофе; другие, в глубине, окружили игроков на биллиарде. На буфетной стойке — ломтики польской «бабки», неизбежные «ciastka» (пирожное) и другие местные лакомства; со стены крупные буквы гласят: «flaki» (рубцы) и «bigos» (род солянки). Прислуживающий мальчик старается говорить по-русски, но, кажется, не понимает ни слова из того, что ему толкуют, и спасается одним и тем же ответом на все: «W tej chwili» (сию минуту). Полная, но миловидная полька за стойкой благосклонно улыбается постоянным посетителям, которым негде в другом месте скучать по вечерам...

К 11-ти часам пора уходить: жизнь в городке замирает. На улицах — полная темнота: из предосторожности, в виду возможного появления неприятельских аэропланов, огней нигде не зажигают. Из двух электротеатров иногда вырываются маленькие лучи света, но лишь на мгновение: приоткроется дверь, брызнет свет, вырвется на волю хрип механического пианино — и снова темь и тишь. Окна в домах завешены темным, и даже стекла кофеен не светятся... Кое-где, как блуждающие огоньки, видны прохожие, освещающие себе путь карманными электрическими фонариками: разумная предосторожность, потому что мы, пробираясь домой без них, ежеминутно попадаем ногой в грязь или в лужу... По счастью, дорога до квартиры ксендза недолга.

Ложимся на тощие сенники, положив под головы пальто, и в дремоте думаем о тех чудесных метаморфозах, которые создала здесь война: о скромных провинциалках, которые, может быть, в этот самый час мечтают о блестящих петроградских офицерах; об этой столовой набожного ксендза, развесившего по стенам лики Мадонн, где сегодня суждено спать мне и моему спутнику; о санатории, ставшем штабом армии; об изящных виллах, занятых кавалерийскими и автомобильными парками; обо всем этом тихом и мирном Г., превращенном в военный лагерь.

8 апреля, Варшава

Этюды с натуры
IV. Солдаты на отдыхе

— Благодарю вас, господа, за ваше внимание к солдатам. Попрошу передать нашу благодарность учреждению, приславшему подарки. Мы высоко ценим связь армии с обществом.

Это говорил нам, — мне и художнику С., — командир корпуса, боевой генерал, седой старик с умными, проницательными глазами. Штаб корпуса расположен в старинном помещичьем доме, стоящем уединенно; ближайшая позиция — в нескольких […] от штаба и мы просим позволения посетить их для раздачи солдатам порученных нам подарков. Генерал затрудняется исполнить нашу просьбу.

— Позиции, господа, постоянно обстреливаются. Хотя боевых столкновений нет, но немцы стреляют по нашим окопам и днем и ночью, особенно же вечером (разговор происходит именно вечером). Пуля не разбирает, и я не могу принять на себя ответственность за вас. Кроме того, до позиций [...]. Видите, какая погода (накрапывает дождь); вы устали, легко можете простудиться.

В конце концов, командир нам предлагает оставить подарки в штабе, обещая на другой же день распределить их между солдатами. Нас это не удовлетворяет: в таком случае проще было бы прислать подарки по почте; если мы приехали лично, то потому только, что надеялись лично и раздать подарки. После некоторого колебания, генерал делает нам уступку: предлагает раздать подарки [...] находящемуся в резерве на отдыхе. Мы благодарим, и аудиенция кончается.

Один из штабных офицеров, который с самого нашего прибытия выказывал нам величайшую предупредительность и на минуту не покидал нас, спешит организовать нашу поездку. По телефону он сносится со штабом полка, вызывает оттуда лошадей — пролетку для нас и двуколку для подарков, распоряжается, чтобы нам оставили ужин, и сообщает нам, что утром, рано, будет готов экипаж, чтобы доставить нас на станцию, к первому поезду. Все делается так спешно, что менее чем через час мы уже катимся в начинающихся сумерках по размытой дождями дороге — к позициям «отдыхающего» полка.

Еще через час мы — в штабе полка, тоже в какой-то старой усадьбе. И здесь нас встречают с неизменным, можно сказать, «штабным» радушием. Командир полка, вояка, «испытанный боями» полковник угощает нас чаем, занимает беседой, долго говорит нам о бодром настроении солдат, которые все «рвутся в бой», наконец, просит позволения снять с нас, как с гостей, фотографии. Быстро появляется фотографический аппарат, вспыхивает магний, потом то же повторяется еще раз, полковник благодарит нас и еще раз повторяет:

— Вы сами увидите. Что за бодрое настроение в армии! Солдаты обстрелялись, это — самое важное в нашем деле. За свой полк я спокоен: с места не сдвинется, если прикажут стоять. Впрочем, и все другие — тоже.

А прикажут идти, ничто их не остановит.

Мы, в свою очередь, благодарим за гостеприимство. Уже совершенно темно, когда мы въезжаем на позицию, к землянкам, в которых временно расквартированы солдаты. Два офицера любезно вызываются сопровождать нас. Наш экипаж

без труда катится по глубоким колеям, офицеры же верхом идут слева и справа от нас…

Вот вдалеке замерцали огни. В широкой котловине, расположенной около дороги, возведено несколько сотен землянок: маленький земляной город. В каждой землянке из досок сооружены скамьи, служащие кроватями, пристроен стол, размещена солдатская амуниция; в иных землянках — на стене лубочные картинки, как «Подвиг казака Крючкова», портреты и т. п. В стороне, отдельно, длинные столы, т. е. доски, утвержденные на вколоченных в землю столбах: это — общая «столовая». Но все это нам еле видно в темноте, да и нет времени осматривать жилье солдат, так как они заранее уже выстроены поротно в ожидании нас…

Начинается самый процесс официальной раздачи подарков. Слышна команда: «Первая рота! Налево кругом марш!» и слова, добавленные иным, простым голосом: «Подходи по одному и бери по одному подарку». Мы с С. при слабом свете фонаря достаем кисеты, в которые уложены папиросы и разные мелкие вещи, пригодные в солдатском быту. Перед нами из тьмы вырастают солдатские фигуры и как-то нерешительно, стыдливо протягивают руки. Мы подаем подарок, слышим: «Покорнейше благодарю», и уже другой солдат стоит на месте первого. «Не задерживайся, проходи: следующий», — слышится голос.

Только на несколько мгновений мне удается отлучиться от двуколки. Тогда я вижу группы солдат, разбирающих «доставшиеся» им вещи, с веселыми шутками обсуждающих их сравнительную ценность, смеющихся, живых...

— Отдыхаете, братцы? — спрашиваю я.

— Так точно, ваше благородие, в резерве мы.

— А потом опять в дело?

— Как же иначе, ваше благородие? На то мы и солдаты. В землянках лежать всегда можно. Надо же войну к концу привести.

— Да ведь и отдохнуть надо.

— Тоже, ваше благородие, скучно на отдыхе. Пока в работе — ничего.

Возвращаюсь на свое место; опять передо мной одна за другой вырастают из мрака солдатские фигуры; одним и тем же движением протягивается рука, я подаю наполненный кисет, слышу: «Покорнейше благодарим». Офицер поочередно командует: «Вторая рота, проходи!», потом: «Третья, четвертая!»

Подарки розданы. Сверх счета осталось два лишних кисета. Откуда-то является маленький солдатик, с виду — юноша, просит офицера: «Ваше благородие, дозвольте и мне получить подарок!» Я не слышу объяснения, кто это, но с разрешения офицера отдаю ему кисет. Последний достается солдату-кучеру, правившему двуколкой…

Офицеры благодарят нас от имени полка, усаживают в экипаж; желают счастливого пути, кричат кучеру: «Пошел!» Земляной городок — весь в огнях: солдаты при мигающем свете фонарей разбирают полученные в подарок вещи. Там, кроме табака, иголок, ниток и других полезных вещей, есть записные книжки, полевые календари, юмористические «открытки», головоломки, конфеты… Жаль, что не удается узнать, как отнеслись ко всему этому солдаты.

— Надо торопиться, — прерывает мои раздумья мой спутник, — а то спать не придется вовсе. В штабе распорядились, чтобы лошадей нам подали к первому поезду, а это значит, часов в 5 утра.

Литература в Перемышле

На столе передо мной — груда книг, брошюр и газет, собранных мною в Перемышле. Здесь — комплект «Военных ведомостей» крепости («Kriegesnachrichten») по 22 марта, т. е. по день сдачи; комплект выходившей в городе газеты «Ziemia Przemyska» с 4 октября 1914 г. по 31 января 1915 г., т. е. по день, когда издание было закрыто комендантом; польский «Памятный календарь» осады на 1915 г. («Kalendarz pamiatkowy»); другой маленький немецкий «Taschen Kalender» на 1915 г., также изданный «Zum Andenken an die Belagerung der Stadt Przemysl» («На память об осаде города Перемышля»); два тома «Перемышльского ежегодника» («Rocznik Przemyski»), альманаха, издававшегося местным «Обществом любителей наук» (Towarzystwo Przyjaciol Nauk) на 1909–1911 и 1912 гг. (больше не выходило); наконец, ряд книжек местного русинского издательства «Народной библиотеки» (Видавництво библиотеки народной для науки). Иные из этих изданий уже обратили на себя внимание нашей печати; другие, сколько мне известно, остались пока незамеченными. Как ни случаен подбор этих книжек, они все же позволяют сделать несколько выводов. С одной стороны, они приоткрывают завесу над жизнью в Перемышле в дни осады. С другой — они вообще знакомят с положением дел в нем, с взаимным отношением разных народностей в этом разноплеменном городе, которому, надо надеяться, суждено стать в будущем одним из лучших украшений наших новых галицийских губерний...

О жизни во время осады полнее всего говорят, конечно, газеты. Официальным органом в Перемышле были «Военные ведомости». Эта газета выходила ежедневно в трех изданиях: немецком («Kriegesnachrichten»), польском («Wiadomosci Wojenne») и венгерском («Tabori Ujsac») — «с разрешения крепостного начальства», но издателем и редактором подписывался некто М.Г. Розенфельд. В газете помещались передовые статьи, телеграммы (в дни осады «радиограммы»), местная хроника (очень скудная), а также стихи на всех трех языках. Об общемировых событиях газета сообщала довольно подробно, хотя, конечно, в определенном освещении. Мы находим в ней радиограммы из Вены, Берлина, Лондона, с радиостанции Норддейк и т. п. Некоторые известия слово в слово повторяют то, что мы своевременно читали в наших русских газетах (например, о гибели крейсера «Дрезден»). Напротив, о ходе осады, о событиях под крепостью и в крепости и о происшествиях в городе «Военные ведомости» говорят очень мало, большей частью как-то глухо, неопределенно, предпочитая пересказывать суждения, появлявшиеся в дружественной европейской прессе.

Впрочем, во время первой осады редакция еще пыталась утешать читателей уверениями, что «русское наступление сломлено», «движение русских в Галиции остановлено», «русские окончательно разбиты». Но с 5 ноября после краткого сообще-

ния «Перемышль снова окружен» всякие известия о военных операциях в Галиции исчезают. Трудно было говорить против очевидности: читатели каждое утро могли собственными глазами убедиться в том, что наши позиции остаются на своих местах и что блокада города не ослабевает. Оставалось печатать известия о мнимых победах германского (и турецкого) оружия на других фронтах, что «Ведомости» и делали в изобилии, причем в основе этих известий всегда лежал какой-нибудь действительный факт, измененный, однако, до полной неузнаваемости: черта, характерная для психологии лжи.

В последнем, 154-м номере, который печатался, когда сдача была уже решена и шли приготовления к ней, помещена телеграмма Франца Иосифа генералу Кусманеку от 20 марта в ответ на сообщение о последней неудачной вылазке. Текст телеграммы, сколько помнится, уже был оглашен в русской печати.

К телеграмме добавлены следующие слова генерала Кусманека: «Солдаты! Нельзя найти большего признания вашего поведения и ваших деяний, нежели это. Покажите себя всегда того достойными!» Предпослано же телеграмме маленькое предисловие: в нем сообщается, что она получена в ответ на телеграмму коменданта, в которой он извещал императора о неудачной вылазке и заверял, что гарнизон будет «терпеть до конца» (bis zum Ende ausharren wird). В этом сказалась характерная для австрийцев любовь к пышным, но бессодержательным фразам. Как раньше редакторы «Ведомостей», хорошо осведомленные, конечно, о неудачах австрийской армии, печатали громкие заявления, будто «русское наступление окончательно сломлено», что «колосс на глиняных ногах шатается» и что «можно с полной безопасностью бодро смотреть на будущее», — так *в последний день обороны*, уже начав переговоры о сдаче, комендант не мог удержаться, чтобы не обратиться к солдатам с красивым призывом — «показать себя достойными похвалы императора» и не высказать уверенности, что они «будут терпеть до конца». Но, когда солдаты читали эти воззвания, у них, вероятно, уже было отобрано оружие, и фактически они уже были на положении пленных...

В пышных фразах с официальной газетой соперничала и частная, польская «Ziemia Przemyska» («Перемышльская земля»), издававшаяся также «с дозволения коменданта крепости» и выходившая «по мере накопления телеграмм» (обычно через день). «Земля» была закрыта 31 января 1915 г. будто бы за тайное «русофильство»: так, по крайней мере, уверяли, после сдачи, ее редактор (Ян Лазор) и владелец типографии, где издание печаталось (Загажевский). Надобно иметь необычайно острые глаза, чтобы усмотреть в газете «русофильство»; напротив, враждебного России в ней можно найти сколько угодно. Чуть ли не в каждом номере сообщается, что отступление русских обратилось в «дикое бегство», что «минул страшный сон» (русское наступление и осада), что взято то 80 тысяч, то 250 тысяч русских пленных[1] и т. п. Передовые статьи, извещая, что «москали бежали из-под города», напоминали, что жители Перемышля (разумелись исключительно поляки) — «частица вели-

[1] Любопытно, что в одном из номеров той же «Земли» приведены официальные данные о числе всех пленных — русских, французов и бельгийцев — в Германии и Австрии; этими официальными данными красноречиво опровергаются фантастические цифры отдельных сообщений.

кого народа», который должен оборонять свои исконные владения от посягательства чужеземцев, т. е. русских, и т. д. Все это мало похоже на сочувствие русским, но, разумеется, вполне понятно в газете осажденного города.

В «Перемышльской земле» живее, чем в «Военных ведомостях», отразилась жизнь города во время осады и смена настроений его населения. Снятие первой осады было встречено воинственными, торжествующими статьями. Этот бодрый тон еще сохраняется в начале ноября; в статьях «Перед вторым обложением» и «Вторичное обложение» газета самоуверенно заявляет, что крепость никогда не будет взята. Что есть, то есть, — рассуждает автор статьи, — наша крепость окружена, мы отрезаны от мира, но каким способом одолеет нас враг? [...] Голодом? Но запасов достаточно более чем на год. Может быть, подкопом? Но для этого нужно много условий, которых в данном случае нет. «Итак, нечего бояться!» — заключает статья. В излишнем самохвальстве газета добавляет, что «в дни первого обложения вся Европа с захваченным дыханием смотрела на *Перемышль как на ключ к целому краю, а может быть, и ко всей империи*». Теперь, когда этот ключ находится в наших руках, автор статьи, вероятно, взял бы охотно свои слова назад. В конце декабря и в январе самоуверенные статьи уже исчезают со столбцов газеты: она предпочитает заниматься успехами германской армии на севере и австрийской в Сербии, о чем через коменданта неизменно поступает телеграмма за телеграммой...

О внутренней жизни города говорят прежде всего сообщения о разных увеселениях. Мы узнаем из газеты, что по воскресеньям в Перемышле на рыночной площади играла военная музыка; узнаем о благотворительных концертах и спектаклях «Театра любителей». «Земля» помещает обширные рецензии о представлении, разбирает пьесу и игру артистов. Рядом печатаются отчеты о доходах от этих постановок: так, например, концерт 14 (27) декабря дал чистого дохода 3047 крон; два спектакля: один — 900 крон, другой — 957 крон и т. д. Ясно, что наличные деньги в Перемышле были, и утверждающие, что осажденный город перешел «к системе натурального хозяйства», к непосредственному обмену товарами, преувеличивают. О том же говорят печатавшиеся в газете списки пожертвований в пользу солдат, их семей, бедных и др. Есть в газете извещения о новых книгах, изданных во время осады, и разбор их; есть частные объявления, в которых предлагаются, например, разные вещи «по случаю». В тексте помещаются стихи и исторические исследования. Обращала редакция внимание и на внешность газеты; в иных нумерах помещены рисунки, в других — «художественные» заставки; один нумер, в памятный для поляков день 29 ноября, отпечатан в две краски. Газета находила место даже для шуток, помещая юмористические сценки и высмеивая в «почтовом ящике» местных поэтов, присылавших в редакцию груды стихов... Короче говоря, газета делала вид, что, несмотря на осаду, вся жизнь в городе идет своим обычным порядком...

В нарочито бодром тоне выдержаны и календари, изданные в Перемышле в память осады. Польский календарь интересен тем, что содержит в себе хронологический перечень событий под стенами Перемышля во время первой осады. Немецкий — своим предисловием, написанным в духе полного пренебрежения к неприятелю. «5 ноября, — сказано там, например, — началась вторая осада, которая на

жителей города уже не могла произвести никакого впечатления». Это предисловие уверяет также, что «теперь (оно помечено 21 декабря), после двух месяцев обложения, торговля и образ жизни в городе потерпели лишь очень малый ущерб; открытые магазины, работающие фабрики и мастерские, воскресная музыка на площади — вот характерные признаки нашего осажденного города». Кончается предисловие уверением, что ряды врагов уже колеблются, и недалек миг, когда из всех уст вырвется крик: «Победа!»

Что, несомненно, заслуживает сочувствия в литературе Перемышля, это — ее любовь к родной старине. В «Перемышльской земле» напечатан целый ряд статей, посвященный ‹*так!*› прошлому города: «Крепость Перемышль во времена Речи Посполитой» (со снимками со старинных гравюр), «Осада Перемышля Болеславом Смелым», «Villae canonicae в Перемышле» и др. Всецело родной старине, истории и археологии Галиции посвящены «Ежегодники» Общества любителей наук в Перемышле. Два вышедших тома прекрасно напечатаны (в местной типографии), украшены снимками со старинных вещей и портретов, облечены в стильную, многокрасочную обложку. Среди статей, прямо относящихся к Перемышлю, любопытны описания двух городских музеев. Первый — диецезиальный музей церковного искусства, где, как оказывается, собрано много замечательных произведений XVI–XVIII вв.: ткани, парча, облачения, вышивки, иконы, церковная утварь и т. д. Второй — музей местной старины, организованный Обществом любителей наук; подробный каталог этого музея, помещенный в «Ежегоднике», перечисляет: масляные картины, акварели, литографии, гравюры, миниатюры, резьбу по дереву, фарфор, керамику, монеты, медали, рукописи и многое другое, а также книги, образующие научно-историческую библиотеку. Есть в «Ежегодниках» и другие интересные статьи, например о польском восстании 1655–1657 гг.

В общем, немецкие и польские издания, вышедшие в Перемышле, показывают высокий культурный уровень читателей, к которым они обращены.

До сих пор господствующий класс в Галиции вообще и в Перемышле в частности состоял из немцев и поляков. Они были сильны многовековой культурой своих наций, что отразилось в таких изданиях, как «Ежегодник», в создании исторических музеев и т. п. Русское движение в Галицию немцы и австрийские поляки встретили с крайней враждебностью и сначала с высокомерным презрением: это видно из статей обеих газет, выходивших в Перемышле. Поляки при этом предъявляли свои права на Галицию как на исконно польский край. Однако в Галиции поляки составляют исключительно городское население. Истинные автохтоны края суть те галичане или русины, говор которых столь близок к нашей великорусской речи, что мы можем свободно читать русинские книги и объясняться с русинами без помощи переводчика. Жители сел и деревень, русины доныне остаются на весьма низкой степени развития; даже простая грамотность недостаточно распространена среди них. Надо надеяться, что край становится теперь частью великой славянской империи не затем, чтобы родственные нам по языку русины продолжали коснеть в прежней темноте и прежнем невежестве. Культурное развитие русин, внесение в их среду образованности, распространение среди них знаний, возрождение их самобытности — все то,

что было ненавистно господствовавшему в крае германизму, — должно стать первой очередной задачей России в ее новых, прикарпатских владениях.

10 апреля, Варшава

Возрождение старины
(От нашего корреспондента)

Одно из причудливейших явлений современной войны — это сочетание в ней новейших приемов, подсказанных техникой последних дней, с приемами далекого прошлого, казалось бы навсегда отошедшими в область истории. С одной сторон, современные армии вооружены средствами борьбы, которых не видела еще никакая другая эпоха. Бетонные стены громятся 42-хсантиметровыми орудиями; дальнобойные пушки поражают чуть не за 40 верст (бомбардировка Дюнкерка); против всех законов войны, употребляются бомбы с удушливыми газами, и пары брома заменяют «устаревший» порох; приказания командующих разносятся по беспроволочному, «искрозному», телеграфу и по телефону на земле носятся блиндированные автомобили, — целые передвижные крепости; в море ныряют минные подводные лодки; в воздухе реют аэропланы, дирижабли, цеппелины, и т. д., и т. д. А с другой стороны, другие явления возвращают нас назад, и на 60 лет, к Севастопольской кампании, и на столетие, ко дням Наполеона I, и к эпохе рыцарства, и к приемам войн античного мира, и чуть ли не к доисторической древности…

Что такое наши окопы и земляные укрепления, как не возвращение к старине? Земляные укрепления — валы, рвы, траншеи — гораздо древнее каменных стен. Старые городища славянских племен не были ли ограждены земляным валом с деревянными подпорами, совсем как современные окопы с их блиндажами из досок и бревен? Римляне не окапывались ли каждый раз, как становились лагерем? Вновь устраиваемые рвы с водой и проволочными заграждениями довершают сходство с примитивными способами вести войну: если не проволокой, то колючими заборами из железа бывали окружены рыцарские замки. А в лесах современные войска роют такие же «волчьи ямы» и устраняют такие же «засеки» из срубленных и наваленных одно на другое деревьев, как дикие краснокожие в американских дебрях в годы ожесточенной борьбы индейцев с европейскими пионерами.

Такой же стариной веет от так называемой «минной войны». Противники ведут подкоп друг против друга, стараются подрыться под неприятельские укрепления. Вспоминается Казань, под которую вел подкоп «немецкий розмысл»; вспоминаются взятые подкопом Вейи. На западном фронте целые полки взлетали на воздух, потому что удавалось подвести мину под их расположение. Крепости оказываются неприступными благодаря тому, что подступы к ним искусно минированы. А между тем именно эти приемы — подведение мин — встречаем мы у хронографов, на заре новой истории, вскоре после изобретения (или, точнее, — введения в употребление) пороха…

Оживают оружия, сданные в архив, ставшие было достоянием музеев. Немецкие летчики мечут стрелы, и стрелы эти оказываются опаснее бомб. Вновь в употреблении ручные гранаты, забытые со дней Севастополя. Когда неприятельские окопы сходятся близко, для метания гранат употребляют род античных баллист и катапульт (ибо из пушек и мортир нельзя стрелять по слишком близкой цели). Немцы пользуются еще особыми стрелами с горючим материалом на конце, которые зажигают здания и воспламеняют одежду на том, в кого попадают: возобновленный «греческий огонь». Какая смесь эпох! Словно у всех веков и у всех народов взято вновь все, что только они изобрели для истребления себе подобных!

И в средствах личной, индивидуальной обороны люди возвращаются к старине. Газеты пестрят объявлениями о «вновь изобретенных» панцирях, не пробиваемых ни пулей, ни осколками шрапнели. Пожалуй, будущее вновь увидит войска, закованные в латы, немецкие каски, способные противостоять удару тесака или сабли, — уже почти шлемы. При стрельбе из окопов применяются особые стальные прикрытия бойниц — щиты. Под прикрытием передвижных щитов немцы подкатывают свои орудия именно так, как воины Цезаря подкатывали к крепостям тараны. Уже были в ходу и ручные щиты, в защиту от казацких пик, этих копий современности. В бельгийской военной газете я читал, что немцы прикрывались щитами и при появлении вражеского аэроплана, образуя что-то вроде древнеримской «черепахи». Только вряд ли щиты могли защитить от бомб, бросаемых со стальных щитов!

В самом развитии военных действий также есть много такого, что напоминает давно прошедшие дни. От современных разведчиков требуется ловкость и хитрость прежних «охотников за скальпами» или «лесных бродяг». Иные военные хитрости приводят на память не что другое, как троянского коня: разве не одинаково проста уловка, примененная при десанте на Галлипольском полуострове, где для отвлечения внимания турок были выгружены на берег деревянные, поддельные пушки? И, однако, хитрость удалась. Между частями неприятельских армий, занимающих два близких один от другого окопа, нередко возникают почти товарищеские отношения; враги переговариваются друг с другом, пересылают друг другу письма, устанавливают в сутках часы перемирия, когда, по обоюдному согласию, не стреляют одни в других… Совсем как рыцари и вожди мусульман в «Освобожденном Иерусалиме» Тассо или как герои Гомера на полях под стенами Илиона!

Самая громадность современных армий убивает сама себя: сокращает размеры операций. Фронты сражений оказываются так велики, что уже нет человеческой возможности обозревать их одним взглядом, управлять ими одному человеку, хотя бы при помощи курьеров в автомобилях и на аэропланах, телефона и беспроволочного телеграфа. Наполеон еще мог обозревать все поле Бородинского боя, еще мог сам руководить всем ходом сражения. В Великой Галицийской битве, например, это уже было невозможно. Современное сражение разделяет на ряд маленьких, обособленных битв, и мы возвращаемся чуть ли не ко временам Тридцатилетней войны, когда сражением был бой за деревню или отдельный холм…

Прибавим к этому, что современная война потревожила воспоминания далекого прошлого и по тем областям, куда она проникла. Недавно еще французы сражались с турками на месте древней Трои. Вновь Скамандр (ныне Мендерес-гай) был завален трупами, и можно было вспомнить стихи Вергилия о том, как Симонс (ныне Дюрек-су)

Шлемы мужей и щиты, и тела
героев уносит.

В глубине Азии война коснулась древних народов, о которых упоминает еще Библия, и турки своим походом на верблюдах к Суэцкому каналу хотели воскресить нашествие ассирийских царей и времена Камбиза! Да, много старого оживает в новом, и в дни великих потрясений, как то, которое мы переживаем ныне, невольно чувствуешь, как близка к современности седая древность.

23 апреля. Варшава

Страна драконов и василисков

В Средние века, когда средства сообщения были примитивны, а географические познания — скудны, в ходу были фантастические легенды о землях отдаленных, и даже не очень отдаленных, вроде рассказов о стране драконов и василисков, которые пожирают все живое, что попадает к ним, а иногда поедают и друг друга без остатка, так что остаются только яйца, из которых потом вылупливается новое поколение. Почти такие же легенды слагаются в наши дни у нас, по крайней мере здесь, в Польше, о местностях, нам недоступных: о Германии, Австрии, Бельгии и о тех областях, которые временно заняты неприятелем. Мало достоверных известий доходит до нас из германского мира: тщательно цензурированные сообщения немецких телеграфных агентств ничего не говорят о внутренней жизни в Германии и оккупированных ею местностях; разведчики и летчики не могут проникать глубоко, к тому же следят за действиями армий, а наблюдатель на аэроплане вдобавок все видит лишь «с птичьего полета», в общих чертах; больше всего могут рассказать беглецы — из плена и из занятых областей, — но таких беглецов все же единицы. Эта неизвестность и порождает легенды; вымысел и домысел, как то бывало во все времена, заменяют отсутствие точных знаний.

В Варшаве даже в кругах интеллигентного общества приходится слышать хотя бы о Германии рассказы, будто бы почерпнутые из достовернейшего источника, но ушедшие недалеко от сказаний старых хронографов о странах, где живут люди по одной ноге, которой они, «коли солнце печет, прикрываются как лавой». Особая психология военного времени (она будет когда-нибудь изучена) возбуждает доверие к сказкам, которые в другое время не вызвали бы ничего, кроме смеха. Так много свершилось чудесного, чему мы все были сами свидетелями, что сейчас люди способны верить даже несообразному: установившиеся нормы «возможного» и «невозможного» опрокинуты, и многие — чуть ли не большинство — потеряли критерий, что вероятно и что за гранью.

Широкое распространение, например, получил в Варшаве рассказ об особенностях берлинской жизни за последние месяцы. Уверяют, что в Берлине запрещено

выходить на улицу во все часы дня. Служащие обязаны отправляться к месту своего служения ранним утром, а затем от восхода солнца и до захода все берлинцы сидят взаперти, отпустив шторы на окнах, и покидают свой дом лишь в случаях последней, крайней необходимости. Зато когда наступают сумерки и город слабо освещается фонарями, зажигаемыми через 3 или 4, — все устремляются в кафе, в рестораны, в театры, в разные увеселительные места, и начинается безумная оргия ночной жизни. Ночью каждый старается вознаградить себя за дневное воздержание; все пьют, мотают деньги, опьяняют себя патриотическими песнями, которые поются в каждом кафе. Но улицы продолжают оставаться пустыми: посетители проходят по ним поспешно, и только в закрытых помещениях царит небывалый разгул.

Этот рассказ мне довелось слышать *не раз,* притом от разных лиц, незнакомых между собой. В подтверждение рассказывающие ссылались на самые разнообразные источники, вплоть до немецких газет, в которых будто бы есть на все это намеки. Газеты с такими намеками я не видел, но в одном доме мне показали письмо, пришедшее из Берлина окольным путем, через Копенгаген; к моему удивлению, в письме действительно содержались намеки на что-то подобное дневному сидению взаперти. Автор письма хотя и надеялся, что его письмо избегнет военной цензуры, и хотя написал его (как мне объяснили) измененным почерком и подписал одной буквой, все же выражался весьма осторожно. «Мы не выходим днем, — пишет он, — но по ночам мы веселимся...» И в другом месте: «Если бы вы знали, как поразительна теперь жизнь в Берлине! Похоже на сказку из 1001 ночи! По-видимому, какая-то доля правды скрывается в фантастических рассказах о Берлине, но я не берусь выделить это зерно истины из радужной шелухи легенды.

Распространено также убеждение, что немцы насильственно вербуют солдат в оккупированных пограничных местностях. Рассказывающие опять-таки ссылаются на разные документы, говорят о письме от одного поляка-крестьянина из Калишской губернии, который будто бы в наказание за какой-то проступок был насильственно зачислен в солдаты и отправлен на бельгийский фронт… В голландских газетах («Het Vaderland» от 23 янв‹аря› 1915 г., «Telegraaf» и др.) сообщают об аналогичном проекте немцев относительно бельгийцев. Немцы будто бы толкуют постановление женевской конвенции в том смысле, что воспрещается принуждать жителей оккупированных областей участвовать в военных действиях *против их родины*, но нет запрещения принуждать их к участию в войне против другой страны. Поэтому немцы намеренно отправляют бельгийцев, годных к военной службе в наказание за преступление против германских властей, на свой восточный фронт, т. е. против русских… Таким образом, голландские газеты подтверждают польские рассказы.

В массах народа слухи и легенды вырастают до размеров фантастических. Польские крестьяне шепотом рассказывают друг другу, что немцы превратили всю полосу земли, прилегающую к бывшей границе, в одну сплошную «адскую машину». Башни костелов будто бы унизаны пулеметами, как еж — иглами; ограды колючей проволоки тянутся непрерывно, в несколько рядов, на десятки миль; все дороги и даже тропинки минированы; везде — замаскированные волчьи ямы, западни, самостреляющее оружие и т. п. Получился какой-то дьявольский сад, в котором на

каждом шагу грозит смерть и пройти по которому мыслимо только под руководством опытного проводника. Также шепотом рассказывают о несчастных, осмелевших вступить в эту заколдованную область, чтобы не вернуться из нее, и о гибели целых полков, ошибкой натолкнувшихся на свои собственные мины…

Такие же размеры приобретают рассказы о жестокости немцев в обращении с населением, особенно на угольных копях в Домбровском районе, который, как известно, поделен между немцами и австрийцами (граница идет по полотну железной дороги). Если поверить рассказам, то жизнь негров в Америке в эпоху рабовладельчества покажется при сравнении земным раем. Нечего говорить о том, что работать заставляют всех, кто только в состоянии держаться на ногах, в том числе беременных женщин и подростков, почти детей; что рабочий день длится 16 часов в сутки; что пищей служит суп из какой-то крупы да жидкий кофе без хлеба; что жалованье, 1 марка в день, назначаемая взрослым работникам, — постоянно задерживается, а то и вовсе не выдается, под предлогом штрафов. Помимо всего этого в Домброве господствует самое широкое применение телесных наказаний; распорядители, которых хочется называть «надсмотрщиками», бьют, секут, калечат; непокорных заковывают в кандалы и посылают на работу в цепях… Если все это правда, то для описания такой жизни нужно перо Лонгфелло.

Много других страшных рассказов ходит в народе о таинственном крае, где хозяйничают немцы. Один старик-крестьянин рассказывал мне, пока около его избы мы чинили свой автомобиль, что неподалеку немцы сожгли целую деревню со всеми ее жителями, а пытавшихся спасаться гнали обратно в огонь прикладами и выстрелами… В другом месте я слышал рассказы об утонченных пытках, достойных инквизиции, которым подвергли одного парня за то, что он не хотел дать какие-то сведения, которых он не знал… Рассказы переходят из уст в уста, украшаются все новыми и новыми ужасными подробностями, превращаются в чудовищные химеры и понемногу делают из немецких земель фантастическую страну, полную всяких чудес и ужасов, а из самих немцев каких-то грозных исчадий ада. Вероятно, таковы были слухи, которые в свое время ходили о гуннах и их царстве.

Впрочем, и того, что можно считать достоверным, достаточно, чтобы поселить страх к немецкому владычеству. Уже не легенда, что в Лодзи были расстреляны десятки случайных прохожих по обвинению в поджогах, ничем не обоснованному. Не легенда, что жители Влоцлавска и его окрестностей принуждают к истинно «каторжным» работам, заставляя копать валы у железнодорожного полотна и строить укрепления на берегу Вислы. Не легенда, что в Кутно были закрыты все лавки за то будто, что в них все продавалось слишком дорого, и взамен открыто всего 5–6 немецких лавок, где берут вдесятеро дороже. Не легенда, что в деревне Коваль засекли несколько мальчиков 13–14 лет, заподозренных в шпионстве, причем родителей заставляли присутствовать при этом наказании, вернее при этой казни. И не легенда такие явления, как выбрасывание больных из лазаретов, чтобы очистить место для раненых немцев (Брезины, Скерневицы и др.), как осквернение костелов и дикое кощунство в храмах (в Сувалках и во многих других местах); как изнасилование женщин, девушек и даже малолетних девочек, причем в деревнях устанавливалась

особая «женская повинность» для солдат (Люблинская губ.); как пытки пленных солдат, грабежи, всякого рода поборы, бесцельные поджоги и т. д., и т. д. Одних этих фактов довольно, чтобы навсегда сделать германский режим в оккупированных областях отвратительной пародией на законность. И поистине нет надобности в страшных легендах, чтобы германский мир в наши дни казался нам ужасной «страной драконов и василисков».

Варшава, 4-го мая

Мимоходом

XI. Вести из-под Шавлей

— Жаловались и раньше, что нынешняя война ведется ожесточенно, — говорил мне один из участников боев под Шавлями, только что приехавший оттуда, — но то, что происходило до сих пор, теперь мне кажется детской, добродушной игрой. Теперь только, после нашествия немцев на балтийский край, увидели мы в полной мере, до какого ожесточения, озлобления, остервенения, — назовите как хотите, — могут они дойти. Не знаю, следствием ли это их прежних неудач, или сознание, что они ставят последнюю карту, только германские войска в Прибалтийских губерниях более похожи на стаи голодных волков, нежели на регулярную армию. И в результате война приняла характер боя не на жизнь, а на смерть.

Я не узнаю моего собеседника, когда он мне говорит все это. Я знаю его как человека с душою более мягкой, нежели ждут обыкновенно от «воина», как человека, склонного скорее к умозрению, чем к реальной действительности. Но, рассказывая мне о действиях немцев в шавельском районе, он становится каким-то воплощением ненависти и жажды мести. Его самое страстное желание — скорее излечиться от своей раны (он контужен), вернуться в полк и участвовать в преследовании врага.

— Вы увлекаетесь, — осторожно замечаю я.

— Не увлекаюсь, а горю, именно *горю* негодованием! Вся Россия содрогнулась, прочтя о пытках Панасюка; содрогнется теперь, читая подробности о пытках Пичуева. А знаете ли, что *там* (так рассказчик называет шавельский район) — подобные факты становятся чуть ли не повседневными! Добивание раненых, систематический обстрел Красного Креста, всевозможные жестокости над мирными жителями, употребление разрывных пуль и штыков-пил, — это все у нас, под Шавлями, проделывается немцами день за днем. Кто не знает добродушия и благодушия русского солдата! Мы все видим, как они борются с собой, чтобы удержать себя от такой же расправы с пленными немцами, какую те чинят над нашими пленными. *Там* солдаты ненавидят немцев всеми силами души; ненавидят до боя, в самом бою и после боя: и, поверьте, те заслужили эту ненависть, которую нелегко возбудить в русском человеке!

Помолчав, чтобы успокоиться, мой собеседник продолжает:

— Но об этом мы не будем говорить: слишком тяжело. Перейдем лучше к фактам. Вам случалось бывать в районе военных действий на этом фронте? Ничего похожего вы не нашли бы в шавельском районе. Вы, например, привыкли видеть города, по-

страдавшие от артиллерийского обстрела: десятки разрушенных строений, дома с обрушившимися стенами, несколько выгоревших кварталов… А посмотрели бы вы, что такое Шавли: ровное место и более ничего! Снесено все до основания, остались только фундаменты, а местами и их не видно, словно немцы хотели запахать самую землю, как то сделали римляне, разрушив Карфаген. Вам случалось во время ваших поездок попадать в имения, где побывали немцы: видели разгромленные усадьбы, слышали жалобы на беззастенчивый грабеж, ужасались, может быть, на дикие насилия, которые были совершены над женщинами… Там тоже случается встречать усадьбы и хутора, где похозяйничали немцы. Если дом не сожжен дотла, он поражен молчанием. Войдешь: осталось только то, что нельзя есть и увезти с собой в мешке. Пройдешься по комнатам: отец лежит с расколотым черепом, мать заколота в кухне, дочь — на пороге, а служанка — на лестнице… Вдобавок кругом — на земле и на деревьях — битая птица, воронье, расстрелянное шрапнелью… Знаете, мне не стыдно сказать: страшно!

Да и самый способ ведения войны *там* иной. Здесь, на северо-западном фронте и на юге, наступление велось большими силами. Армии надвигались одна на другую, сталкивались в больших боях, хотя бы и разбивавшихся на ряд мелких битв, или целые месяцы держали друг друга в осаде посредством позиционной войны. *Там* о больших сражениях не думают, а укреплять позиции некогда: спешат поскорее нанести друг другу как можно больше вреда. Действуют преимущественно — кавалерия, автомобили, разведочные отряды. Фронт представляет линию, изломанную до крайности. Местами мы вдаемся верст на 100 в территорию, занятую врагами; местами — они в нашу. Никогда не знаешь наверное, находишься ли в районе расположения наших сил или неприятельских. Каждый день случается, что немцы оказываются в тылу или что мы заходим к ним в тыл. Одни затевают обход и сами оказываются обойденными [...].

А что делалось в первые дни нашествия! Вы видели здесь беженцев? Конечно, было им нелегко, но они спасались на телегах, фурманках, увозили свой скарб, знали, куда ехать. Там было паническое бегство. Кроме тех, которые предпочитали остаться (были такие, — этого не скроешь) и которые при известии о приближении немцев забыли вдруг все языки, кроме немецкого, — все остальные бежали, сами не зная куда. Не было ни лошадей, ни экипажей; шли пешком, толпами мужчины, старики, женщины, дети, голодные, часто полуодетые, с одной мыслью: только бы уйти от немцев! И были правы, думая так: долго потом на дорогах лежали трупы тех, кого настигли передовые немецкие разъезды, одержавшие легкие победы над безоружными беженцами. Но дело в том, что и бежать было некуда: немцы наступали так стремительно, что оказывались впереди и преграждали дорогу. Несчастные рассеивались по лесам, сбивались с пути и зачастую умирали с голоду. А немцы тем временем реквизировали в обезлюдевших усадьбах все, что можно взять: хлеб до последнего зерна, сено до единого стебелька, картофель, деньги, носильное платье, белье, обувь. Таковы были эти реквизиции, что после них, как говорится, «хоть шаром покати».

Я был в Риге в начале нашествия. Вывески, наполовину замазанные черным (вывески в Риге двуязычные, и приказано было уничтожить немецкие надписи),

казались траурным крепом на домах. На улицах царило зловещее безлюдье и безмолвие. Только порой слышалась немецкая речь, которая при чьем-то приближении тотчас обрывалась. Впечатление город произвел гнетущее. И я был в Риге после наших первых успехов, когда мы потеснили немцев от Шавлей, когда стало ясно, что это — только вопрос времени, а рано или поздно враг будет сокрушен. Как все сразу переменилось! Вдруг снова явились жители.

Радостно было смотреть на лица всех, одно время уже считавших себя на краю страшной пропасти. Эти лица словно говорили: «Вы не только вернули нам надежду на мирную жизнь в родном краю, но сохранили для нас веру в правду на земле. Горько быть побежденным благородным врагом, однако с таким несчастьем можно примириться как с испытанием, выпадающим на долю и отдельных лиц, и целых государств. Но бывают враги, с победой которых примириться нельзя, которые должны быть сломлены, если есть смысл в жизни. Своей победой вы доказали нам, что жить стоит и стоит приносить жертвы; теперь нам ничего не жаль; возьмите все, вплоть до нашей жизни!» Мне казалось, что это говорят мне все лица, и никогда еще не испытывал я такой гордости принадлежать к армии.

[...] Я постарался точно передать слова моего собеседника; может быть, и были в них невольные преувеличения, но я чувствовал, что есть в них и своя внутренняя правда.

Окровавленная Бельгия

Среди книг, уже многочисленных, о современной войне выдающееся место занимает только что появившаяся книга «Окровавленная Бельгия»[1]. Мы привыкли видеть в Верхарне певца широких исторических и общественных проблем, в своих убеждениях склонявшегося к социализму. Несмотря на целую серию своих книг, посвященных родной стране («Toute la Flandre»), Верхарн в значительной степени был поэт космополитический, интернациональный. Европа представлялась ему единым миром, и в ряде поэм он воспевал «европейскую расу», ее культурные завоевания и стоящие перед ней задачи. Война наших дней, великий раздор в среде европейских народов и страшный лик, обнаруженный Германией, в самом основании потрясли все несколько идиллическое мировоззрение поэта.

В предисловии Верхарн сам говорит: «Тот, кто написал эту книгу, полную нескрываемой ненависти, был когда-то человеком мирным. Он восхищался народами; многие из них он любил; в том числе была и Германия…» Упомянув о том, какой предстала Германия, Верхарн продолжает: «Автор никогда не переживал более неожиданного, более тяжелого разочарования. Оно так его поразило, что он почувствовал себя другим человеком». Предисловие заканчивается таким посвящением: «Будучи исполнен ненависти, автор опасается, что его сознательность ослаблена, и с волнением посвящает эти страницы тому человеку, каким он был прежде».

Первые главы книги говорят о «преступлении», совершенном Германией. Вильгельм II давал много клятв. Он каялся, что войдет победителем в Париж, в Нанси, в

[1] Emile Verhaeren. «La Belgique Sangante». Ed. De «La Nouvelle Revuen Françaice». P. 1915.

Кале, в Варшаву. Эти клятвы были торжественны, Вильгельм II не сдержал их. Он поклялся также в письме к Альберту I, что опустошит Бельгию. Эта клятва была преступной, но она — единственная, которую он сдержал. Германия избрала маленький народ, чтобы показать свою силу. Однако, даже чувствуя себя гораздо более сильной, на много миллионов людей Германия не решилась напасть открыто. Она притворялась, она лгала, она льстила. За два часа до своего чудовищного ультиматума она еще отрицала свои истинные намерения. Она могла предложить честный бой, но предпочла устроить ловушку.

Ужасы германского нашествия на Бельгию теперь удостоверены официальными расследованиями и свидетелями, в правдивости которых нельзя сомневаться. Десятки городов и сотни селений сожжены, храмы преднамеренно разрушены, население разорено и частью истреблено; немцы добивали раненых, насиловали женщин, подвергали с садической жестокостью пыткам стариков и детей, грабили систематически и т. д. Зная свою страну, поэт говорит, что результатом явилась всеобщая ненависть к немцам — такая яростная и глубокая, что она переживет ряды поколений. Поскольку может быть вечным что-либо на земле, эта ненависть будет вечной. Ей будут учиться в школах, она станет традицией каждой семьи.

«Родина до сих пор, — пишет Верхарн, — была для нас предлогом для официальных речей и популярных гимнов. Мы никогда не были шовинистами. Многие среди нас жалели, что родились в маленькой стране. Некоторые предпочитали быть французами, другие — англичанами, третьи — фламинганты — даже немцами. Теперь все это исчезло. Все мы стали бельгийцами, и только. Мы — бельгийцы, упорно, до смерти. Мы верим в нашу родину, как веруют в небеса». Во время своей поездки по разоренной Бельгии поэт разговорился с крестьянином в деревеньке между Коксидом и Дюнкерком. «Когда я буду умирать, — сказал крестьянин, — из последних сил я еще буду проклинать Германию». Поэт напомнил, что такие чувства — далеко не христианские. «Тем хуже!» — ответил крестьянин.

Верхарн старается уяснить себе дух Германии, чтобы понять свершенное ею. Быть может, существует германская культура, говорит поэт, но германской цивилизации нет. Немецкий ученый — ходячая библиотека. Немцы складывают в хранилища, расставляют по полкам, комментируют. Порядок и дисциплина заменяют у них творчество. Они ничего не изобрели; они разрабатывают чужие изобретения. Германия не открыла ни одного из великих путей в науке, но пролагала только боковые дорожки. Лейбниц и Кант пристроились к царственной дороге Декарта; Геккель не существовал бы, не будь Дарвина; Кох и Беринг опираются на работы Пастера. Истинная Германия только на время была страной Гёте, Бетховена, Гейне. Но она всегда была страной безжалостных ландграфов и кровавых ландскнехтов. Тысячелетия она бросает свои орды на Европу. В этом — ее роковое и страшное предназначение.

В полстолетия Франция заставила полюбить себя в Савойе, в Ментоне, в Ницце; в два века она ассимилировала и Лилль, и Дюнкерк, и Страсбург, и Эльзас. В несколько десятилетий Англия привязала к себе Египет и Капландию. Германия везде остается той, которую ненавидят, — в Польше, в Шлезвиге, в Эльзас-Лотарингии;

всюду она — persona ingrate. Она умеет только сеять раздоры, но не объединять. Ее воззвания к народам действуют как ледяной ветер на растения. Германия — страна опасная, потому что она не способна к цивилизации (incivilisable). Ее замки, ее деревни, ее казармы остаются еще не исчерпанными и, может быть, неисчерпаемыми источниками человеческой дикости.

В то же время немцы убеждены и заявляют об этом в своих научных трактатах, что считают себя выше всех других народов. Оствальд возглашает прямо, что «немецкая цивилизация — первая в мире». Русские, по его мнению, живут еще в период кочевников; французы и англичане едва достигли той ступени развития, которую немцы покинули уже 50 лет назад. Вильгельм II — истинное воплощение своего народа. В полном согласии с ним император объявляет: «Бог за нас! Я — Его проявление на земле и Его орудие. Его слава — моя слава. Моя победа — Его победа». Бисмарк говорил когда-то: «Немцы никого не боятся, кроме Бога». Вильгельм пошел дальше: Богу он указал место рядом с собой, объявил Его своим союзником и соучастником, захотел, чтобы Господь как бы служил по найму у Германии, у избранного народа, являющегося душой Мира и мечом судьбы!

Решительную противоположность Вильгельму II представляет Альберт I, — «король без страха и упрека». Как Вильгельм, он — тоже солдат, но совершенно по-другому. Он действительно стал во главе своей армии, разделял ее труды, опасности и славу, жил в окопах, восемь месяцев дышал ужасной атмосферой нападений и обороны. Король Альберт также издавал воззвания, но в них нет мистической риторики Вильгельма, этого парадера литературы, думающего лишь о том, как бы удивить словом. Воззвания Альберта I просты и искренни. Он не лгал, не призывал неба в союзники, не объявлял себя посланником Бога и любимцем Пресвятой Девы. Самым естественным образом Альберт I возлагал надежду на Провидение, но в земных делах полагался прежде всего на храбрость солдат и на пушки.

Различие между двумя государями и двумя народами вполне выразилось в самые дни объявления войны. Вильгельм и немцы никак не ожидали, что Бельгия окажет сопротивление и что дорога во Францию будет им преграждена. Немцам был непонятен этот акт героической честности. Они думали, что им придется только доторговаться; они позвали бельгийское правительство в свою лавочку с заднего крыльца и спросили коротко: «Сколько?» Должно быть, они ожидали, что им ответят и тотчас: «Тридцать сребреников!» Король Альберт и его народ ответили иначе. «Мне никогда не забыть, — восклицает Верхарн, — дня 4-го августа 1914 года, когда я видел, как король Альберт вошел в парламент и потом, как бы причастившись со своим народом, вышел оттуда в канун нашей кровавой Пасхи. Ибо нам предстояла крестная смерть, за которой — мы верим в это — наступит наше воскресение».

Трижды в течение войны Германия предлагала Бельгии мир на «выгодных условиях». Первый раз, еще в августе, чрез голландское правительство; второй раз — чрез посредство Шарля Вуста (Woeste), бельгийского политического деятеля, возбудившего тем против себя общее негодование; третий раз — чрез некоего Эйсхена, члена люксембургского правительства. Победительница первая заговаривала о мире с побежденной. Решительные отказы короля Альберта от сепаратных переговоров опять

изумили немцев. Они не могли понять, что оскорбленная и раздавленная Бельгия не довольствовалась «выгодными» предложениями, отвергла бесчестный мир. Некоторые были недовольны решительностью короля; они видели в предложениях Германии ее раскаяние; но, разумеется, то был лишь коммерческий расчет.

Расчетом было и то, что постепенно неистовства немцев в Бельгии ослабли. Немцам было важно ужаснуть народ и всю Европу; они это исполнили и после того по команде прекратили по крайней мере исключительные зверства. У немцев все методично, даже безумие. Они отрезали руки младенцам и насиловали девочек с педагогической целью. Опустошение Бельгии было уроком, потому что Германия населена школьными учителями, подчиняющимися приказу своего инспектора. Если когда-либо жестокость завоевателей была систематична, то такова была она в германском нашествии 1914 года.

Поэт посетил опустошенную Бельгию, т. е. ту ее часть, которая еще не захвачена немцами. Описание этой поездки принадлежит к лучшим страницам в книге. «С каким волнением, — пишет Верхарн, — увидел я побережье — единственный клочок свободной земли, оставшийся от моей родины. Радость, скорбь, все мощные и безумные чувства охватили меня. Я смеялся и вместе плакал. Никогда еще я не чувствовал себя таким близким ко всему моему народу. На мгновение мне захотелось быть всеми моими предками, чтобы любить Фландрию не только одной своей душой, но сотнями душ сразу. Потребность распространиться, продолжиться была столь повелительна, что я страдал, сознавая себя только самим собою».

Верхарн вспоминает старинные городки Фландрии, безжалостно разрушенные германцами. Особенно скорбит поэт о трех городах-сестрах (мы сказали бы «братьях»): Диксмюде, Ньепорте и Ипре. То были живые памятники славной старины, мирная и прекрасная троица. Море любило их, долетая до них шумом волн и соленым ветром. В соборе Диксмюде запрестольный образ «Поклонение волхвов» был кисти Иорданса. Большая площадь в Ипре была, после брюссельской, красивейшей в мире. Ее ратуша, ее собор и особенно ее крытый рынок были созданиями высокого искусства. Внутренность рынка была украшена превосходными фресками Дельбека — художника, отдавшего этой работе всю свою жизнь. Столь же полные стариной, как Брюгге или Нюренберг, эти города, однако, не были обращены в музеи, в пристанища для туристов; сегодняшний день естественно сливался здесь с прошлыми веками. В настоящее время все эти три города обращены в развалины.

Погибшие создания искусства — картины, статуи, храмы — уже не могут быть воскрешены. Но города способны восстать из пепла; жизнь страны, промышленная и духовная, может возродиться. Что, однако, необходимо для этого? Верхарн отвечает без колебаний: Разгром Германии. Если Германия останется победительницей, возрождение будет немыслимо. Она наложит свою тиранию на всю Европу. Германия требует, чтобы в нее веровали, как в некое земное божество. Она не допускает, чтобы сомневались в непогрешимости ее культуры. Тевтонский дух за последние 50 лет стал силой агрессивной и задерживающей. Он — постоянная угроза и опасность. Он ослабляет человеческое творчество. Он работает над принижением мира. Под гегемонией Афин, Рима или Парижа Европа оставалась центром изумитель-

нейшего развития человечества. Под немецким владычеством она быстро придет к мрачной и жестокой организации, где все будет беспощадно распределено. Если Европа согласится на такое убиение своей свободы, это будет величайшее из преступлений нашего времени.

Невозможен будет и расцвет искусства. Европа являет миру дивное разнообразие цивилизаций, и все народы вплетают в этой венец цветы своего гения. Германская мощь стремится обезличить, уменьшить или раздавить совсем силы французские, английские, итальянские, русские и др., убить их будущие идеи, чувства и поступки, думая, что она одна может заменить их все. Систематически и докторально Германия не признает тонких связей, существующих между художником и свободной, живой средой, в которой он вращается. Стремление Германии управлять, направлять, все милитаризовать убьет творчество. Художники должны будут работать по схемам, присылаемым из Мюнхена или Берлина. Медленно, десятилетие за десятилетием, европейское искусство погибнет.

Итак, Германия должна быть сокрушена. И это, добавляет Верхарн, послужит на пользу ей самой. Она сосредоточится, как после Иены, соберет оставшиеся силы для работы. И, может быть, искусство, которое никогда не было благосклонным к немцам, наконец снизойдет к ним в несчастии. Мы (это все — слова Верхарна) желаем этого расцвета германского искусства, во-первых, во имя вселенской красоты и чести всего мира, а затем — ради того, чтобы этот расцвет художеств прикрыл тысячи только что совершенных преступлений, как цветы прикрывают падаль. Германия наших дней обесчестила деяния войной и мысль — наукой, т. е. теми применениями науки, какие делались немецкими учеными. Германии остается искусство, чтобы искупить содеянное ею зло.

Заканчивается книга Верхарна восторженным гимном Бельгии. «Современная душа, — восклицает поэт, — состоит из гордости и свободы; она полна человеческим сиянием и земными радостями, в ней кипят благородно опасные и заразительные волнения. Такова современная душа, выявившаяся всего столетие назад и во всем противоположная душе германской. Ты, Бельгия, первая, еще раньше Франции и Англии, стала на защиту этого нового духа против регрессивной, но грозной Германии. Никогда большей чести не выпадало на твою долю. Ты ее приняла с героической простотой. О, моя родина, окровавленная Бельгия! Да будут любимы все твои раны и да будут поддержаны все твои упования!»

Поэт был прав, сказав, что его книга «полна ненависти». Но она полна также любви — к родине и ко всему человечеству. Фактический материал, собранный в книге (который мы в нашем изложении оставили в стороне), придает ей значение исторического документа. Но страстность, одушевляющая страницы, обращает трактат в истинную поэму. О Бельгии и ее отношении к Германии во время великой войны будет, конечно, написано еще много книг, более осведомленных, более подробных, более разносторонних. Вряд ли, однако, появится на эту тему много страниц, столь же прекрасных.

КОММЕНТАРИИ

Мимоходом
V. Неделя о подарках

Рус. вед. 1915. № 2 (3 янв.). С. 2.

Госпожа Сухомлинова — супруга военного министра генерала В.А. Сухомлинова.

Немецкие оправдания

Рус. вед. 1915. № 3 (4 янв.). С. 2–3.

Бернардистон — обер-лейтенант, английский военный атташе в Брюсселе в 1906 г. В годы Первой мировой войны в звании генерал-майора командовал британской армией в Северном Китае.

Дюкарн — в 1906 г. начальник Генерального штаба бельгийской армии.

Намюр (*нидер.* Namen) — город в центральной части Бельгии, во время Первой мировой войны был значительно разрушен.

Леопольд II — король Бельгии, скончался в 1909 г. Руководил операциями по присоединению Конго как колонии к Бельгии.

С подарками
Поездки на передовые позиции
I. Ночной бой

Рус. вед. 1915. № 5 (8 янв.). С. 2.

О.О. Гузенберг — правильно Грузенберг Оскар Осипович, председатель петроградской Еврейской общины, российский юрист, общественный деятель.

Всероссийский земской союз — был основан в Москве 30 июля 1914 г., его возглавлял князь Г.Е. Львов. Союз занимался помощью больным и раненым, позднее стал выполнять заказы на пошив одежды и обуви для армии.

...т-ву И.Д. Сытина... — Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934), крупнейший издатель. В 1914 г. продукция его товарищества составляла четверть книгоиздания России.

...т-ву А.И. Абрикосова С-вей... — Товарищество «А.И. Абрикосова сыновья», основанное русским предпринимателем, фабрикантом Алексеем Ивановичем Абрикосовым (1824–1904), активно занималось благотворительностью.

М.Н. Бостанжогло — Михаил Николаевич Бостанжогло, крупнейший шахматный меценат, финансировал важнейшие шахматные турниры.

Равка (Rawka) — река в Польше, правый приток Бзуры. На Равке стоят города Скерневице, Рава-Мазовецкая.

С подарками
Поездки на передовые позиции
II. В сфере огня

Рус. вед. 1915. № 6 (9 янв.). С. 2.

В.М. Пуришкевич — Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870 –1920) — русский политический деятель ультраправого толка, черносотенец; во время Первой мировой войны организовал санитарный поезд и был его начальником.

Федоров А.М. — Александр Федоров, писатель, военный корреспондент, спутник Брюсова в поездках на театр военных действий (см. также коммент. к статье В. Брюсова «Ночь в мертвом городе»).

С подарками
Поездки на передовые позиции
III. Походный госпиталь

Рус. вед. 1915. № 7 (10 янв.). С. 3.

Млава (Mława) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство — Млавский повят. Город расположен на реке Млавке, притоке реки Вкры. С 1429 г. имеет статус города. В 1914 г. в районе Млавы шли тяжелые бои, город переходил из рук в руки 14 раз. В составе Российской империи находился до Первой мировой войны.

Торн — Торунь (Toruń), город на севере Польши, на Висле. Вошел в состав Польши после Первой мировой войны.

Серпц (Sierpc) — город в Польше, в Мазовецком воеводстве.

Бзура (Bzura) — река в Польше, левый приток Вислы; с 1793 г. граница между Польшей и Пруссией. На берегах Бзуры произошло сражение между австро-германскими и русскими войсками в ходе Первой мировой войны (19 ноября — 20 декабря 1914). Немцы перебросили сюда свежие войска, перешли в наступление на Лодзинском направлении, оттеснили русских к Лодзи, к реке Равке. С 5 декабря по всей линии Восточного фронта в Польше развернулось ожесточенное «сражение на четырех реках» (Бзура, Равка, Пилица и Нида). В нем русские, чередуя оборону и контратаки, отразили натиск германцев на Равке и отбросили австрийцев за Ниду.

...словно американские гаучосы... — Гаучос, или гаучо (*исп.* gáucho) — субэтническая группа на территории Аргентины, Уругвая, Бразилии; гаучо в основном занимаются скотоводством, название «гаучо» эквивалентно «ковбою».

Страдания и величие Бельгии
I

Рус. вед. 1915. № 8 (11 янв.). С. 3.

Антверпен (Antwerpen) — город во фламандском регионе Бельгии. Во время Первой мировой войны в Антверпен отступила бельгийская армия после поражения при Льеже. Город оставался под немецкой оккупацией вплоть до перемирия.

Брюгге (Brugge) — главный город бельгийской провинции Западная Фландрия. В Первую мировую войну подвергся сильной бомбардировке.

Остенде (Oostende) — крупнейший бельгийский город на берегу Северного моря, в Западной Фландрии. Во время Первой и Второй мировых войн здесь располагались базы немецких подводных лодок.

Король Альберт (Альбер I, 1875–1934) — король бельгийцев с 17 декабря 1909 г. Сын графа Филиппа Фландрского. Вошел в историю своей ролью в Первой мировой войне. О планах Германии начать войну Альберт узнал в 1913 г. и предупредил Францию. Несмотря на объявленный нейтралитет, Германия вторглась на территорию Бельгии. До конца войны бельгийцы во главе с королем, несмотря на неравенство сил, удерживали плацдарм на своей территории.

Изер (*фр*. Iser, *нидер.* Jzer) — река в Западной Европе. Протекает по Франции и Бельгии, впадает в Северное море. Битва на Изере считается самой крупной в истории Бельгии.

Гессенские солдаты — наемные войска, предоставляемые гессенскими князьями другим странам.

Вюртемберг (Württemberg) — историческая область на юго-западе Германии. В прошлые века это было герцогство, затем королевство, с ликвидацией монархии стало свободным государством в составе Веймарской республики, которое было упразднено после Второй мировой войны.

Тюркосы — название отрядов алжирских стрелков, формировавшихся из арабов; сражались в Алжире, Италии, Мексике, против немцев и др.

Зуав — название племенной группы кабилов, часть легкой пехоты французских колониальных войск; отличались и внешне — носили шаровары и головные уборы восточного типа. Зуавы участвовали в различных войнах Франции, а также в Первой мировой войне.

Garde civique — бельгийская гражданская гвардия.

Страдания и величие Бельгии
II

Рус. вед. 1915. № 9 (13 янв.). С. 2.

...министру юстиции, известному писателю Картону де Виару... — Анри Виктор Мари Жислен граф Картон де Виар (1869–1951), бельгийский политический деятель, глава правительства страны в 1920–1921 гг. Играл важную роль в событиях Первой мировой войны.

Граф Визар де-Бокармэ — бургомистр Брюгге, сыграл большую роль при защите города от немцев в 1914 г.

Малин (Мехелен) — город в Бельгии, в провинции Антверпен. В состав муниципалитета входит много мелких городов

Лёвенский административный округ — включает много маленьких городов. Назван так по имени крупнейшего города провинции — Лёвена (Лувена), расположен к востоку от Брюсселя.

Шельда (или Эско — *фр.* Escaut, *з.-флам.* Schelde) — река, протекающая по территории Франции, Бельгии и Нидерландов, протяженностью 430 км. Берет начало в Пикардии, в Арденнских горах, впадает в Северное море.

Великое герцогство Люксембург — государство в Западной Европе. В годы Первой мировой войны Люксембург сохранял нейтралитет, но все же в 1914 г. Германия его оккупировала.

Валлоны — романский народ Бельгии, населяющий южные провинции страны; говорит на французском и валлонском языках.

Фламандцы — коренное население Бельгии, народ германской языковой группы.

Конго — происходит от самоназвания народа конго (конго — букв.: охотники) или баконго, что означает «народ конго». Конго было колониальным владением Бельгии.

Два фронта

Рус. вед. 1915. № 10 (14 янв.). С. 4.

Цеханов (Цеханув, Ciechanów) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство. Вокруг него также происходили сражения, составившие часть Праснышской операции.

Прасныш (Пшасныш, Przasnusz) — город в Мазовецком воеводстве, в 100 км к северу от Варшавы. В городе жили люди разных национальностей, права евреев были ограничены.

Сохачев — уездный центр в Мазовецком воеводстве Польши, в 50 км от Варшавы; первое упоминание — 1138 г. Во время Первой мировой войны город был разрушен.

Плоцк (Plock) — город в Мазовецком воеводстве Польши, расположен на Висле, в 100 км к северо-западу от Варшавы; с 1079 по 1138 г. — польская столица, 1837–1917 — административный центр Плоцкой губернии Российской империи.

Жирардов (Жирардув, Żyrardów) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, имеет статус городской гмины.

...около деревни Червонная Нива (на западе от местечка Гузова)... — Червона Нива, в 50 км от Варшавы.

Гройцы (Гроец, Гродзец, Grójec) — уездный город Варшавской губернии. Вошел в число оборонительных укреплений во время Праснышской операции.

Мимоходом
VI. Ощущение войны

Рус. вед. 1915. № 27 (4 февр.). С. 3–4.

...по Краковскому предместью... — Краковское Предместье — главная улица Варшавы, связывает старый город с новыми районами. На ней расположены музеи, дворцы, костелы, университет. Начало ее идет от Краковских ворот, от средневековой крепости, вместе с улицей Новый Свет (Новы Свят) образует знаменитый Королевский тракт.

...и дальше по Новому Свету... — Новы Свят начинается от площади Трех крестов, пересекает Иерусалимские Аллеи и переходит в улицу Краковское Предместье. До XVII в. Новы

Свят был главной дорогой, ведущей на юг от Варшавы. Свое название улица получила в XVII в., в начале XX в. была перестроена в стиле модерн.

Иерусалимская аллея — совр. Иерусалимские Аллеи, одна из самых протяженных улиц Варшавы. Название происходило от наименования местного поселения евреев — Новый Иерусалим (1774).

Маршалковская улица — была названа в 1860 г. в честь маршала Франтишека Белинского (1683–1766), ведет к Венскому вокзалу.

Саксонские сады — разбиты в Варшаве в 1697 г. по велению Августа II, короля Польши. На их территории возведен Саксонский дворец.

Сирена — герб города Варшавы (дева с рыбьим хвостом). Первое изображение появилось в 1390 г., позднее видоизменялось. Настоящее изображение ведет отсчет с 1622 г., в левой руке у девы — круглый щит, в правой — короткий меч. И сегодня в Варшаве две подобные статуи: одна стоит на Рыночной площади, новая статуя поставлена в 1939 г. на набережной Вислы.

...Равка, Сохачев, Лович, Брезины и даже Витковицы, Камион, Рыпин... — Брюсов перечисляет топонимы Вашавской губернии; Бзура и Равка — реки.

Мимоходом
VII. Летчики

Рус. вед. 1915. № 28 (5 февр.). С. 5.

Статья была также воспроизведена в сокращенном виде в книге: *Ашукин Н., Щербаков Р.* Брюсов. М., 2006. С. 437.

…впервые авиация заняла серьезно положение… — Интерес Брюсова к полетам авиаторов сформировался очень рано; осенью 1909 г. он сообщал И.М. Брюсовой из Парижа: «...был в кинематографе и смотрел полеты авиаторов. Увижу ли это в действительности — не знаю». (Письмо И. Брюсовой. 13 октября 1909. ОР РГБ. Фонд Брюсова. 356-142-13). Тема авиации отражается в поэзии Брюсова этого периода («Кому-то» (1908); «К стальным птицам»; «Аэропланы над Варшавой»). В. Молодяков в книге «Валерий Брюсов. Биография» (СПб., 2010. С. 472) справедливо отмечает приоритет Брюсова в освещении темы завоевания воздушного пространства в поэзии.

Уэллс заблуждался, когда в своем фантастическом романе «Война в воздухе» предсказывал… — Г. Уэллс, один из основателей фантастики XX в., в своем романе «Война в воздухе»(1907) нарисовал картину воздушного десанта Германии в Америку. По Уэллсу, все державы мира в глубокой тайне подготавливали воздушные флоты, столкновение которых приведет к гибели цивилизации.

...на крыльях парящего моно- или биплана белый круг, знак, присвоенный русским воздухоплавательным машинам. — В годы Первой мировой войны на крылья и рули поворота самолетов отечественной постройки наносили красно-сине-белые концентрические круги (кокарды), являвшиеся опознавательным знаком русской авиации.

Сделав характеристику разных систем аэропланов… — В статье упоминаются следующие марки самолетов: «моран-солнье» и «Илья Муромец». Французский аэроплан «моран-

солнье», принятый на вооружение русской армией в 1916 г., был оснащен синхропулеметом Виккерс. «Илья Муромец» выпускался в России, на Русско-Балтийском заводе, в течение 1913–1918 гг. В годы Первой мировой войны самолеты этой марки впервые стали использоваться как бомбардировщики. Собеседник Брюсова летал на моноплане (название снято цензурой), который не имел собственного боевого вооружения.

Георгиевский крест — высшая награда за боевые заслуги для нижних чинов российской армии (1807–1917).

Мимоходом

VIII. Оборона северного фронта

Рус. вед. 1915. № 34 (12 февр.). С. 5.

...сражением 18–20 января на фронте Боржимов–Гумин–Воля- Шидловская. — В этом районе развернулись наиболее упорные бои, немцы сосредоточили не менее 14 корпусов и 5 кавалерийских дивизий: настойчивые атаки немцев принудили русские войска отойти на левый берег Равки; бой за Боржимов закончился в пользу русских, атаки немцев по направлению к Воле-Шидловской также были отбиты. Война постепенно перешла в позиционную.

...позиции вдоль ~ Мазурских озер... — Немцы двинули основные силы против 2-й русской армии, что привело к сражению в районе Мазурских озер (13–18 августа) и тяжелому поражению русских. 2-я армия была окружена, 30 тысяч человек попали в плен.

Новое наступление немцев... — С целью «разбить нашу десятую армию», привело к новым напряженным сражениям в Восточной Пруссии (2-е сражение у Мазурских озер и у Прасныша), но немцы не достигли Восточной Пруссии. 10-я армия остановилась перед укрепленной позицией германцев по р. Ангерану и Мазурским озерам.

Новогеоргиевская крепость — основана в XIX в., недалеко от Варшавы. Во время Первой мировой войны вокруг происходили значительные битвы, впоследствии, в августе 1915 г., крепость была взята немцами после четырехдневных боев, что произвело на генерала М.В. Алексеева, русского главнокомандующего, очень тяжелое впечатление.

Современная и старая крепость

Рус. вед. 1915. № 36 (14 февр.). С. 5.

Подпись — Л.А. Указано в письме к И.М. Брюсовой от 18 февраля 1915 г.: *Чудецкая Е.В.* Из переписки Брюсова 1914–1915 годов // Брюсовские чтения 1973. Ереван, 1976. С. 442. Брюсов пишет в этом письме: «Две мои статьи, написанные для “Русских ведомостей”, погибли. Одна — безвозвратно, от другой уцелел отрывок, которому дали заглавие “Старая новая крепость”, подписав Л.А. Что означают эти инициалы, не знаю. Ты, вероятно, не догадалась, что это — я?»

Льеж — город в Бельгии, у слияния рек Маас и Урт, административный центр провинции Льеж, во время мировых войн находился под немецкой оккупацией.

Себастьян Ле Претр маркиз де Вобан (Vauban, 1633–1707) — выдающийся писатель, военный инженер, маршал Франции. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества.

Фугас — заряд взрывчатого вещества, закладываемый в земле или под водой на небольшой глубине, для внезапного взрыва.

В Праснышском районе

Рус. вед. 1915. № 40 (19 февр.). С. 3.

Генерал Гинденбург — Пауль Людвиг Ганс А́нтон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (1847–1934), немецкий военный и политический деятель. Во время Первой мировой войны командовал германскими войсками на Восточном фронте. Впоследствии начальник Генерального штаба Германии.

Ландштурмисты — резерв германских вооруженных сил, который создается только на время войны. Имеет вспомогательное значение. Составлен из лиц, годных к военному делу. Соответствует ополчению в России.

Штабс-капитан Гурдов

Рус. вед. 1915. № 41 (20 февр.). С. 5.

Пабианицы (Пабьянице, Pabianice) — город в Польше, недалеко от Лодзи, в Лодзинском воеводстве. Недалеко от этого города, у деревни Добржинково, погиб Гурдов.

Блиндированные автомобили (броневики). Первый блиндированный тройной броней автомобиль был сделан в Германии, он был оснащен двигателем в 60 лошадиных сил, достигал скорости 45 км/ч. На автомобиле стояли пушки. Гурдов усовершенствовал блиндированные автомобили и создал из них отряд, наводивший ужас на немцев.

К Праснышскому сражению

Рус. вед. 1915. № 44 (21 февр.). С. 3.

Праснышское сражение — крупное сражение на Восточном фронте Первой мировой войны. Праснышская операция закончилась тем, что немцы, заняв Прасныш, вынуждены были через два дня отдать его обратно, потеряв при этом свыше 6000 пленными. Немецким подразделениям не удалось нанести поражение русским армиям на этом направлении. Операция оказала значительное влияние на весь ход военных действий на русском Северо-Западном фронте. Успех русских войск в этой операции наряду с другими факторами расстроил германский план весенней кампании 1915 г.

Люблинская губерния — входила в состав Царства Польского, которое было впоследствии присоединено к Российской империи. Центр губернии — город Люблин, который в годы Первой мировой войны был оккупирован германскими и австрийскими войсками.

«Тяжкая твердость» — цитата из поэмы А.С. Пушкина «Полтава»:

Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремление крепит.

Литература немецких окопов

Рус. вед. 1915. № 46. (26 февр.). С. 3.

...итальянских окарино. — Окарина (*итал.* ocarina) — древний народный музыкальный инструмент, разновидность флейты.

Па-де-Кале (или Дуврский пролив) — пролив, который разделяет материковую часть Европы, в районе Франции, и остров Великобритания. Вместе с проливом Ла-Манш соединяет Северное море с Атлантическим океаном.

Цеппелин (*нем.* Zeppelin) — дирижабли жесткой системы, строившиеся графом Цеппелином и немецкой фирмой. В годы Первой мировой войны получили большое распространение в немецкой армии.

Тиртей — древнегреческий поэт-лирик, — по преданию, хромой школьный учитель, посланный афинянами в Спарту, но взамен требуемой помощи сумевший своими песнями поднять боевой дух спартанцев. Имя Тиртей стало нарицательным для обозначения представителя гражданской поэзии.

«Пупсик» — популярная оперетта времен Первой мировой войны, автор — французский композитор Ж. Жильбер.

Лютер (Luther) Мартин (1483–1546) — христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма. Имел много последователей в разные века.

Штегман Иосий — проповедник, живший в XVII в.; в евангельские книги вошли многие его песни, в том числе «Укрой нас в благодати, Господь Иисус Христос!».

Геллерт — Геллер Христиан, немецкий поэт и философ-моралист эпохи Просвещения, один из наиболее читаемых авторов того времени наряду с Христианом Вейсе. Гёте назвал учение Геллера о морали «фундаментом немецкой нравственной культуры».

Кёрнер (Körner) Карл Теодор (1791–1813) — немецкий поэт, участник войны против Наполеона. Автор романтико-патриотических стихов (сборники «Бутоны», «Лира и меч»), романтической трагедии. Погиб в бою.

Реймсский собор — один и самых известных образцов готического искусства во Франции. Во время Первой мировой войны Реймс был захвачен немцами и четыре года оставался в зоне боевых действий. В сентябре 1914 г. в результате бомбардировки собор был превращен в «море огня». Реставрация храма продолжается до настоящего времени.

...ниже самых горестных продуктов Апраксина рынка. — Апраксин двор — это квартал в Санкт-Петербурге, ограниченный улицами Садовая и Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком. В середине XVIII в. там были созданы торговые ряды. До настоящего времени на этой территории располагался открытый рынок.

В обстреливаемом городе

Рус. вед. 1915. № 51 (4 марта). С. 3.

...к Прасныш у... — Во второй половине февраля 1914 г. германское командование начало предпринимать активные действия в направлении Прасныша, чтобы выйти на тылы Варшавского района.

...пушки обращены ко мне казенной частью... — Казенная часть — часть артиллерийского ствола, в которой расположен затвор.

Канонир — артиллерист, пушкарь, солдат артиллерии в Российской империи до 1917 г.

... чтобы достать папирос для солдат. — В.Я. Брюсов неоднократно совершал поездки в части, чтобы раздать папиросы и другие подарки, собранные на фронт. Особенно много подарков было собрано к Рождеству и Новому году, и из-за поездок к фронту поэт задержался в Варшаве, не попав домой в Москву на праздники, как планировал. Об этом Брюсов сообщал в письмах и телеграмме жене в декабре 1914 и январе 1915 г. (НИОР РГБ. Ф. 386. К. 142. Ед. хр. 18. Л. 48–51).

Вернувшись к автомобилю, решительно... — В сохранившемся рукописном отрывке статьи у автора первоначально вместо слова «решительно» было: «повелительным голосом». См.: ОРФ ГЛМ. Ф. 51. Оп. 2. Д. 19. Л. 4.

... разрушенные в предшествующих боях. — В тексте рукописного отрывка: «в предыдущем бою» (ОРФ ГЛМ. Ф. 51. Оп. 2. Д. 19. Л. 4).

Я раздумываю... — В тексте рукописного отрывка: «недоумеваю» (Там же).

...и белая повязка быстро, на моих глазах, превращается в алую. — В тексте рукописного отрывка: «и бинт быстро, на моих глазах, превращается в алый» (Там же).

Шласы (Szlasy Bure) — деревня в Польше, расположенная к юго-востоку от Прасныша. Брюсову и его шоферу, чтобы избежать обстрела, нужно было поехать сначала примерно 12 км на юго-восток, затем повернуть на юго-запад, к Цеханову.

Млава (Mława) *и Хоржеле* (Chorzele) — города в Польше, расположенные соответственно северо-западнее и севернее Прасныша. Удержание Млавы являлось основной предпосылкой грандиозного плана немецкого командования окружить русские армии в Польше, который не был осуществлен.

Комментарий М.В. Орловой

Памяти мечтателя

(Новые данные из жизни шт<абс>-кап<итана> Гурдова)

Рус. вед. 1915. № 56 (10 марта). С. 7.

Вариант корреспонденции опубликован: Гурдов // Голос (Ярославль). 1915. № 60 (14 марта). Републикация: Брюсовские чтения 2006. Ереван, 2007. С. 452–456. Краткое изложение корреспонденций о Гурдове см.: *Молодяков В.* Валерий Брюсов: Биография. СПб., 2010. С. 470–471.

Либава — Лиепая, город на юго-западе Латвии, на побережье Балтийского моря. При вхождении Курляндии в состав Российской империи (1795) город стал называться Либавой.

Сикорский Игорь Иванович — один из выдающихся русских авиаконструкторов. В период с 1909 по 1918 г. он спроектировал и построил 25 самолетов и гидросамолетов. Самой известной конструкцией Сикорского стал тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец». Легкий истребитель С-16 построили в Санкт-Петербурге. Благодаря самолетам Сикорского в годы Первой мировой войны удалось частично отказаться от импортирования французских самолетов.

...Гурдов повторил исторический «жест» Александра Великого в Гедрозии. — Брюсов, вероятно, вспоминает следующий эпизод из сочинения Плутраха об Александре: «Прибыв в столицу Гедрозии, Александр вновь предоставил войску отдых и устроил празднества. Рассказывают, что однажды, хмельной, он присутствовал на состязании хоров, один из которых возглавлял его любимец Багой. Одержав победу, Багой в полном наряде прошел через театр и сел рядом с царем. Увидев это, македоняне принялись рукоплескать и закричали, чтобы царь поцеловал Багоя; они не успокоились до тех пор, пока Александр не обнял и не поцеловал его.» (Плутарх, «Александр» , 67).

Арриан — греческий историк и философ, получил права римского гражданства и был консулом. Он написал историю походов Александра Великого в семи книгах.

Этюды с натуры
I. В штабе

Рус. вед. 1915. № 58 (12 марта). С. 4.

Ремингтон — первая пишущая машинка, производится с 1866 г.

Парфорсная охота — конная охота с гончими собаками, при которой преследование животного продолжается до полного его изнеможения.

Менений Агриппа — римский деятель, подал свой голос за уступки бедноте. Известна басня Агриппы, в которой сравнивается человеческий организм с организмом народа. Умер в бедности.

Этюды с натуры
II. В лесу

Рус. вед. 1915. № 58 (12 марта). С. 4.

Шрапнель — вид артиллерийского снаряда. Назван в честь Г. Шрэпнела, офицера британской армии, который создал снаряд такого типа.

Мимоходом
VIII. Бывший театр

Рус. вед. 1915. № 59 (13 марта). С. 3.

Лаун-теннис — крокет, английская игра на открытом воздухе; заключается в перебрасывании друг другу мячей, чтобы они не упали на землю.

Городки — русская народная спортивная игра, которая заключается в выбивании битой фигур, построенных из пяти «городков» (деревянных чурок), с ограниченной площадки («города»). Существует более двух столетий.

Свайка — русская народная игра: метание острого стержня с массивным круглым наконечником, называемого свайкой, в кольцо, лежащее на земле.

Мимоходом

IX. Герои Прасныша

Рус. вед. 1915. № 59 (13 марта). С. 3.

Наступление немцев на Прасныш... — Действовавшие совместно в Праснышской операции (7 февраля — 17 марта) 1-я и 12-я русские армии не допустили реализации немецкого плана. Оборона Прасныша длилась 11 дней, бой вел один полк против целого корпуса немецких войск. 1-я армия генерала Плеве перешла в наступление 19 февраля. Германский план был сорван, но не состоялось и вторжение русской армии в Восточную Пруссию.

«Фарман» — самолет двухместный, корпусный, разведчик-корректировщик. Построен Анри Фарманом в 1909 г. Россия закупала для своего воздушного флота эти самолеты во Франции.

В Перемышле
Варшава

(От нашего корреспондента)

Рус. вед. 1915. № 63 (18 марта). С. 3.

В «Библиографии В.Я. Брюсова» (Ереван, 1976) данная статья представлена как «В русском Перемышле» (№ 1040).

Взятый Перемышль

(От нашего корреспондента)

I

Рус. вед. 1915. № 68 (25 марта). С. 3.

Галиция (*укр.* Галичина, *польск.* Galicja) — историческая область в Восточной Европе. Исторически делится на Восточную Галицию, издавна населенную преимущественно украинцами, и Западную Галицию, где кроме поляков проживали украинцы.

Основная артерия города — улица Мицкевича... — Улица названа в честь Адама Мицкевича (Mickiéwicz) — польского поэта, деятеля освободительного движения, реформатора польской литературы. Мицкевич реализовал характерное для польского романтизма прославление подвига личности, жертвующей собой ради народа. Известен и своими дружескими отношениями с русскими поэтами.

Сан — река в Польше и на Украине, правый приток Вислы. С сентября 1939 г. Сан является пограничной рекой между Украиной и Польшей.

Краков — польская культурная столица. Основал польский князь Крак, первое упоминание в 965 г. Расцвет города пришелся на X–XIV вв., в нем состоялась первая коронация польского царя; в нем открылся первый польский университет. Русская армия угрожала захватить Краков в процессе реализации Варшавско-Ивангородской операции.

Карпатская армия — сформирована в процессе Карпатской операции, целью которой был прорыв через Карпаты в Венгрию (с декабря 1914). Операция шла с переменным успехом. Русская 11 армия, 8 армия (Брусилова) в первых числах февраля владели участком Карпат по линии Конечна–Свадник… Но в Буковине русские вынуждены были отходить к рекам Днестр и Прут.

Геллер — разменная монета в ряде стран Европы. Медная монета Германии, выпускалась с XVI в. После распада Австро-Венгрии (1918) в обращение была введена крона (1 крона = 100 геллерам).

Кусманек — Герман Кусманек фон Бургнойштедтен, австро-венгерский генерал, с января 1914 г. комендант австрийской крепости в Галиции, в Перемышле. Генерал провел большую работу по укреплению обороны Перемышля. 3 октября русское командование потребовало сдачи крепости и получило отказ Кусманека, с 5 октября русские войска начали штурм крепости, но позднее вынуждены были отступить. В ноябре началась вторая осада Перемышля. В марте 1915 г. осажденными была предпринята попытка прорыва блокады, однако она не увенчалась успехом, хотя в городе были взорваны все мосты, уничтожены запасы продовольствия и оружия, после этого Кусманек подписал капитуляцию Перемышля. Русская армия захватила 120 000 пленных австро-венгерских солдат. Кусманек несколько лет провел в русском лагере для военнопленных, а после подписания Брестского мира был освобожден и вернулся в Австро-Венгрию.

Мадьяры — самоназвание венгров.

Взятый Перемышль
(От нашего корреспондента)
II

Рус. вед. 1915. № 71 (29 марта). С. 3.

Генерал Л.К. Артамонов — активный участник Русско-японской войны.

«Прикарпатская Русь» — газета, выходившая с 1909 по 1915 г. в Галиции, редактор К. Вальницкий. Имела русскую ориентацию.

«Швабы» — областная группа немцев, населяющих часть земель в Западной Баварии, говорят на особом диалекте немецкого языка. «Швабами» называли немцев в Европе; в Швейцарии и Эльзасе понятие «швабы» использовалось в негативном смысле.

Лазарева суббота — суббота шестой седмицы Великого поста. Христиане вспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Львов — город областного подчинения на Украине. Ранее столица Галиции и Западной Украины, основан Галицким князем Даниилом Романовичем в середине XIII в. Во время Первой мировой войны был занят русскими войсками.

Вербное (пальмовое) воскресенье — день входа Господня в Иерусалим, воскресенье перед Пасхой. Признание мессии Иисуса Христа и прообраз входа Сына Человеческого в рай.

...«с одной тарелочкой»... — Со времен Средневековья символ цеха цирюльников. Доподлинно значение неизвестно. Предполагается, что двумя серебряными тарелками подавался сигнал клиенту — «вода готова».

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт, мыслитель государственный деятель и естествоиспытатель.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк, основоположник немецкой классической литературы, а также и военный врач, представитель направлений «Буря и натиск» и романтизма в литературе,

Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт, публицист, критик.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) — немецкий писатель, драматург, просветитель, один из основоположников немецкой классической литературы.

Грильпарцер Франц (1791–1872) — поэт и драматург, родился в Вене. Испытал влияние романтизма, классицизма.

Гамерлинг Роберт (1832–1889) — австро-немецкий поэт и драматург.

Из поездки в Перемышль

Рус. вед. 1915. № 73 (1 апр.). С. 3.

Помпеи (Pompeii) — древний римский город недалеко от Неаполя, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий.

Избица — волость в Польше, входит как административная единица в Красноставский повят, Люблинское воеводство.

Замостье (Замосць, Zamość) — город в Люблинском воеводстве Польши, южнее Варшавы, в 100 км от Львова. В Российской империи Замостье стало уездным городом Люблинской губернии. Он играл большую роль в годы польского восстания (1830–1831) и в годы Первой мировой войны.

Томашов (Томашув-Любельский, Tomaszów Lubelski) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство.

Белжиц (Bełżec) — сельская волость в Польше, входит в Люблинское воеводство.

Болонья (Bologna) — город на севере Италии. Старейший университетский центр Европы.

Пиза (Piza) — итальянский город и коммуна в регионе Тоскана, недалеко от Лигурийского моря.

...нигде в Ярославе не заметно и следов того, что город был дважды взят с боя... — В годы Первой мировой войны город несколько раз переходил в руки неприятеля, но не был разрушен или сожжен.

Радимны (Радимна) — румынский город с многонациональным населением.

Рава-Русская (Рава-Руська) — город в Львовской области Украины. В годы войны был в центре упорных боев с польским войском.

Учан-Су — река, протекающая по южному берегу Крыма, впадает в Черное море в центре Ялты.

Венеция (Venezia) — город в Северной Италии на побережье Адриатического моря.

Ревель — прежнее название столицы Эстонии, города Таллинна, основание которого датируется 1154 г.

Бретань — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноименной исторической области.

Костел (Kostiol) — слово, в польском, украинском, белорусском, чешском, словацком языках обозначающее христианский храм.

Из поездки в Перемышль

II

Рус. вед. 1915. № 75 (3 апр.). С. 2.

В австрийском офицерском собрании, «Cazino», как оно называлось... — Первое казино открылось в Венеции (1638). Впоследствии казино оставались открытыми только в Монте-Карло. В годы Первой мировой войны любое место для развлечения называлось так.

Сагунт — древний город, возникший на побережье Средиземного моря, ныне относится к Испании.

Мимоходом

X. Порфирий Панасюк

Рус. вед. 1915. № 80 (9 апр.). С. 2.

Тит Ливий (Titus Livius) — один из известных римских историков, автор «Истории об основании города».

Плутарх — древнегреческий философ, биограф, моралист: был активным общественным деятелем, имел много учеников, стал жрецом храма Аполлона в Дельфах.

Муций Сцевола — согласно легенде, пытался убить этрусского царя Порсенна, но вместо него убил другого человека, одетого в пурпурную одежду. Чтобы доказать свою ошибку, положил руку на пылающий костер. Царь, сжалившись над юношей, сам отвел его от огня, и, испугавшись известия о готовящемся против него заговоре, прекратил войну.

Тургайская область — область в составе Российской империи (1868–1920). Находится в северо-восточной части Аральско-Каспийской низменности.

Фенимор Купер — американский романист и сатирик, классик приключенческой литературы. Был популярен в России в начале и середине XIX в.

Этюды с натуры

III. В штабном городке

Рус. вед. 1915. № 85 (15 апр.). С. 3.

Сварог Василий Семенович — художник. Военный корреспондент, участник многих товариществ художников, дипломант многих художественных премий.

«Климатическая станция» — курорт.

Польская «бабка» — блюдо из тертого картофеля, заправленного жареным салом, мясом и луком и запеченного в духовке.

Этюды с натуры

IV. Солдаты на отдыхе

Рус. вед. 1915. № 91 (22 апр.). С. 2.

Литература в Перемышле

Рус. вед. 1915. № 88 (18 апр.). С. 5.

...с радиостанции Норддейк... — Norddeich Radio, немецкая береговая радиостанция в Восточной Фрисландии, создана в начале XX в.; осуществляла телеграммное сообщение с кораблями по всему миру.

Франц Иосиф I (Franz Joseph) — император Австрийской империи и король Богемии, позднее глава двуединого государства — Австро-Венгерской монархии. Правил 68 лет, его царствование — эпоха в истории народов, входивших в Дунайскую монархию. В 1871 г. Австро-Венгрия признает провозглашение Германской империи и вступает с ней в альянс. Это позволяет державе Франца Иосифа добиться усиления влияния на Балканах в ходе Русско-турецкой войны, что приводит в 1908 г. к аннексии Боснии. Последнее событие усугубило разногласия с Россией и Сербией и осложнило положение самой Австро-Венгрии. Сам Франц Иосиф не застал краха своей империи, он умер в 1916 г. в возрасте 86 лет.

...памятный для поляков день 29 ноября... — Имеется в виду Польское восстание 1830—1831 гг. В польской историографии — национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Литвы, частично Белоруссии, Правобережной Украины. Ноябрьской ночью вооруженные студенты напали на казармы гвардейских улан. Восставшие убили 6 польских генералов, сохранивших верность царю Константину Павловичу. Константин покинул Царство Польское, крепости были сданы полякам, вся территория Царства Польского была освобождена от русской власти.

Болеслав II Смелый — польский князь, с 1076 г. король. Участвовал в осаде Перемышля в годы своего правления, но не смог овладеть крепостью.

Русины (*польск.* Rusini) — группа восточнославянского населения, проживающая в Закарпатье, Восточной Словакии, Юго-Восточной Польше, в Сербии. Русинов относят как к украинцам, так и к самостоятельному этносу. Они признаются этническим меньшинством в Польше, Словакии, Чехии, Сербии и РФ.

Возрождение старины
(От нашего корреспондента)

Рус. вед. 1915. № 100 (3 мая). С. 5.

...бомбардировка Дюнкерка... — Французский город-порт (1067) на берегу Ла-Манша неоднократно подвергался бомбардировкам в Первую мировую войну, был частично разрушен, но немцами не взят. Использовался как порт для связи с Англией, эвакуации раненых.

«Искрозный» телеграф — беспроволочным или «искрозным» телеграфом называлась радиосвязь в начале своего возникновения.

Розмысл — инженер (устар.).

Вейи — древний этрусский город, неоднократно подвергался осаде римлян, был взят на 9-й год последней осады с помощью подкопа, «розмысла».

Галли́польский полуостров — полуостров в европейской части Турции. В годы первой мировой войны там происходили ожесточенные бои между войсками блока Антанты и турецкими войсками.

«Освобожденный Иерусалим» — рыцарская поэма Торквато Тассо (1581).

Тридцатилетняя война (1618–1648) — последняя религиозная война в Европе, между протестантами и католиками.

...Скамандр (ныне Мендерес-гай)... — Река в северо-западной части Турции.

Камбиз — персидский царь (правл. 530–522 до н.э.), завоеватель Египта.

Страна драконов и василисков

Рус. вед. 1915. № 108 (13 мая). С. 4–5.

Василиск — мифологическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи.

Калишская губерния — административная единица Царства Польского и Российской империи. Созданная в 1837 г., она затем вошла в состав Варшавской губернии. В 1867 г. была восстановлена в новых границах, с северо-запада примыкала к Пруссии.

Домбровский район — административный район на территории Домбровского угольного бассейна, входящего в состав Верхнесилезского угольного бассейна.

...в Домброве... — Очевидно, речь идет о городе Домброва-Гурнича, крупнейшем промышленном центре Домбровского угольного бассейна, одном из крупных городов Силезского воеводства.

Лонгфелло Генри Уодсворт (1807—1882) — американский поэт, автор эпической поэмы «Песнь о Гайавате».

Мимоходом
XI. Вести из-под Шавлей

Рус. вед. 1915. № 112 (17 мая). С. 5.

Шавли (Шяуляй, Šiauliai) — город на севере Литвы, в марте 1915 г. разрушен немецкими войсками.

Вся Россия содрогнулась, прочтя о пытках Панасюка... — См. корреспонденцию Брюсова из цикла «Мимоходом»: Х. Порфирий Панасюк.

Пичуев — Иван Пичуев, казак станицы Полтавской 5-й сотни Уссурийского казачьего полка. Был взят в плен немцами на Нарвском фронте в ночь на 3 мая 1915 г. и подвергнут жестоким пыткам.

Штык-пила — одна из разновидностей штыка, примыкаемого к стволу огнестрельного оружия, принят на вооружение в германской армии с 1915 г., у кавалерии, технических войск и полевой артиллерии.

Карфаген — город на территории Туниса, основан в 814 г. до н.э., до своего разрушения римлянами в 146 г. до н. э., был столицей одноименного государства.

Фурманка — небольшая телега, обычно крытая, использовалась в крестьянских хозяйствах.

Окровавленная Бельгия

Рус. вед. 1915. № 154 (5 июля). С. 5.

«Toute la Flandre» — сборник «Вся Фландрия» (1904—1911), на который Брюсов написал рецензию (Весы. 1904. № 5).

Нанси — город во Франции, регион Лотарингия; центр движения за возврат французских земель, утерянных в ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг., здесь был воздвигнут памятник утерянным провинциям, отошедшим к Германии. В 1914 г. около Нанси шли ожесточенные бои.

Кале — город-порт во Франции, у пролива Па-де-Кале. В годы Первой мировой войны город неоднократно подвергался бомбардировке. Департамент Па-де-Кале, в который входит Кале, был ареной многих кровопролитных сражений Первой мировой войны (битва при Аррасе, битва при Вими).

Фламинганты — представители движения, выступавшего с требованием придания фламандскому языку в Бельгии статуса государственного наравне с французским.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ, логик, математик, физик, языковед и пр. Основатель и первый президент Берлинской академии наук.

Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, основатель немецкой классической философии.

Декарт Рене (1569–1650) — французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики.

Геккель Эрнст (1834–1919) — немецкий естествоиспытатель и философ.

*Дарвин Чарльз (*1809–1882) — английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории о происхождении видов путем естественного отбора.

Кох Генрих Герман Роберт (1843–1910) — немецкий микробиолог, открыл бациллу сибирской язвы, холеры, туберкулезную палочку. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1905 г.

Беринг Эмиль (1854–1917) — немецкий врач, исследователь методов лечения дифтерии и столбняка, создатель противодифтерийной сыворотки. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1905 г.

Пастер Луи (1822–1895) — французский микробиолог и химик, один из основоположников микробиологии и иммунологии, создатель технологии пастеризации.

Ландскнехты — немецкие наемные пехотинцы периода Возрождения, отличавшиеся в войнах грабежами и разбоем.

...Франция заставила полюбить себя в Савойе, Ментоне ~ и Эльзас. — В. Брюсов перечисляет французские города, которые в разные исторические периоды были в составе Италии, княжества Монако, Германии, однако затем вошли в состав Франции. В период с 1870 по 1918 г. Страсбург и Эльзас по итогам Франко-прусской войны принадлежали Германии. В Первую мировую войну жители земли Эльзас-Лотарингия отказывались воевать в немецкой армии, их девизом было лаконичное «Без нас!».

Оствальд (Ostwald) Вильгельм Фридрих (1853–1832) — балтийский немец; физико-химик, философ-идеалист. Лауреат Нобелевской премии по химии 1909 г.

Ипр — город на северо-западе Бельгии, в годы Первой мировой войны ключевой пункт Западного фронта. Здесь развернулись три крупных сражения, во время которых немцы применили химическое оружие — хлор (1915) и горчичный газ (1917), получивший впоследствии название иприт, по имени города. У въезда в город воздвигнута триумфальная арка — Мененские ворота в память о 54 тыс. погибших в Первую мировую войну.

...запрестольный образ «Поклонение волхвов» был кисти Иорданса... — Якоб Йорданс (Jacob Jordaens, 1593–1678), художник, один из выдающихся представителей фламандского барокко.

Подготовка текста и комментарии Э.С.Даниэлян

Леонид Андреев

Бен Хеллман, М.В. Козьменко

Леонид Андреев. В сей грозный час

Леонид Андреев всегда был чувствительнейшим сейсмометром тектонических сдвигов в социопсихологическом организме России. Этот его дар особенно отчетливо являл себя в напряженные периоды российской истории: и во время Русско-японской войны, и в годину Первой русской революции, и в тягостный период послереволюционной реакции. Но в своих лучших произведениях социально-политическую конкретику, прототипическую подоплеку сюжетов и образов он умел воссоединять с метафизическими смыслами: так появились «Красный смех» (где любая война объявлялась сумасшествием) и «Рассказ о семи повешенных» (где безумием объявлялась любая казнь).

Художник такого типа, разумеется, не мог не отозваться на событие, перевернувшее самый уклад русской жизни, — начало Первой мировой войны. Удивительно, что в Андрееве опять, более чем через десять лет после окончания работы фельетонистом в газете «Курьер», проснулся публицист; газетчик вдруг заслонил художника. Собственно о войне написаны одна пьеса — «Король, закон и свобода» и одна повесть — «Иго войны», не вызвавшие у современников реакции, хотя бы частично подобной былым спорам, скандалам, восторгам и проклятиям, которые обычно сопровождали его творения. Статей же за военное время (зафиксированные публикации в российской печати со 2 сентября 1914 г. по 10 октября 1917 г.) было написано более девяноста… Возможно, стремительный накал невиданных событий оказался выше порога чувствительности леонид-андреевского художнического «сейсмографа», а Андреев-человек не мог не откликаться на гул времени, который потрясал его, всегда мечтавшего о возрождении на сцене трагедии, своим воистину эпическим трагизмом, апокалиптической героикой. По воспоминаниям В. Беклемишевой, Андреев рассказывал ей о страшном психологическом напряжении, о «темном хаосе и тоске», преследовавших его в летние месяцы 1914 г.; начало войны вызвало резкую перемену в его душевном настрое: «Если бы меня спросили, что со мной, я бы сказал: это воскрешение из мертвых. Это не только мое личное воскрешение из мертвых, это прежде всего воскрешение из мертвых России»[1].

Статья и одноименный сборник «В сей грозный час» начинается словами: «Мы приняли войну как необходимость, — и мы приняли ее без колебаний». В сентябре 1914 г. в письме Ивану Шмелеву писатель так разрешает противоречие между «двумя Андреевыми» — былым пацифистом и нынешним «оборонцем» (одновременно раскрывая сомневающемуся коллеге свой взгляд на задачи журнала «Отечество», первый номер которого выйдет под его редакцией 2 ноября 1914 г.): «Стало быть, дело в программе и в вашем отношении к ней. А программа такая: *до времени* оставив в стороне наши внутренние дела и борьбу с правительством, — сейчас всеми силами содействовать успеху на войне, содействовать осоз-

[1] Реквием: Сб. памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 268.

нанию происходящего и уяснить его истинный смысл. Для меня смысл настоящей войны необыкновенно велик и значителен свыше всякой меры. Это борьба демократии всего мира с цезаризмом и деспотией, представителем каковой является Германия. Если бы у нас наверху были умнее, они дрались бы с Вильгельмом против Франции и Англии; и наша реакционная пресса, обычно настроенная шовинистически и по всякому поводу готовая к войне, — и в этом разе уже начинает бить отбой, намекать о мире и прославлять Вильгельма. Они животом чувствуют, что разгром Германии будет разгромом всей европейской реакции и началом целого цикла европейских революций. Отсюда и то необыкновенное и многих смущающее явление, что антимилитаристы и пацифисты, Эрве и Кропоткин, стоят за войну до самого конца. Отсюда и я, автор "Красного смеха" (как-никак!), также стою за войну.

Конечно, ни для кого не тайна, что правительство под шумок уже загибает салазки, арестует и сажает — готовится на всякий случай. И цензура жестоко режет, и вообще писать нелегко,– но мы, русские писатели, уже научились, слава богу, проскальзывать между пальцами; постараемся и теперь. Повторяю: прямо говорить о внутренних делах сейчас нет и надобности.

Есть у нас, писателей, и особой важности задача: противупоставить русскую культуру германской и доказать, что мы не варвары, хотя и нет у нас внешней материальной культуры и богатства. Надо всеми средствами показать, что русский дух есть вечное устремление к последней свободе, вплоть до анархии; немецкий же стремится к вечному порабощению, к созданию на земле образцовой тюрьмы и военных поселений.

Конечно, это все только мое мнение; но не думаю, чтобы в оценке русского, которое вы так любите, мы особенно разошлись. И уж, конечно, не стоит искать здесь "национализма", который также привезен к нам из Германии, как и военные поселения, враждебен свободному духу нашему. Свобода для всех, а тюремщиков к черту!»[1].

Понятно, что подобная стратегия не могла воплотиться в жизнь в полной мере, но вышесказанное весьма желательно учитывать при чтении андреевских статей. Так, уже в первой статье сборника говорится, что «не за Россию эмпирическую и сущую, а за Россию мыслимую, желаемую и возможную поднял оружие русский народ». В статье «Крестоносцы» возникают несколько аморфные, но полные намеков образы: «света, *который должен воссиять»* и «праведного града», которых алчут достичь новые «крестоносцы». А в последней статье сборника, под многозначительным заголовком «Освобождение», Андреев говорит о борьбе с «германизмом» уже внутри самой «плоти» России: «Как наши аракчеевские военные поселения вовсе не были изобретением русского ума, а пришли к нам из Германии и явились как бы прообразом и предчувствием того, во что должна будет превратиться сама Германия, — так и многие другие отвратительные стороны нашей жизни представляются мне заимствованными из того же мутного источника. Всякие наши "анти" и "фобии", [страстное обожание дисциплины,] от которого порою не могут уйти даже свободнейшие, постоянные попытки начала живой жизни подменить началами механическими, разрушение сложной личности и сведение ее к узкой абстракции, [пышный расцвет полицейских начал —] все это в значительной степени данайские дары "германского гения", принятого вовнутрь целиком». Знаменательны здесь цензурные вычерки, в нашем издании обрамленные квадратными скобками… Вообще же, когда Андреев описывает в целом и в частностях совершенство идеальной военной машины Вильгельма II как *безумие*, например специальные «поезда мертвецов» и германские крематории, в которых

[1] Лит. наследство. М., 1965. Т. 72. С. 546–547.

сжигают сразу по три трупа, и прогнозирует появление более совершенных «машин для погребения», констатируя: «Да, это страшно, как всякая извращенность, когда человеческий ум стремится к самоуничтожению», — он в каком-то смысле остается прежним автором «Красного смеха», для которого война — «безумие и ужас».

Андреев-публицист требовал, чтобы все «вовлеклись» в войну, если не с оружием в руках, то эмоционально, нравственно и интеллектуально (как сказали бы позже – экзистенциально). Нельзя было оставаться лишь «свидетелем» — именно это слово задевает его в открытом письме «От писателей, художников и артистов» и заставляет выступить с горячей отповедью (см. ст. «Освобождение»). Припоминается андреевская сказка «Земля» (1913), где Всеблагий проклинает ангела, вернувшегося к нему с грешной земли в белых одеждах, и сочувствует ангелам, решившим остаться среди страждущих на земле, не побоявшихся «испачкаться». По Андрееву, нельзя остаться в стороне, нужно «испачкаться», «заразиться войной». Собственно экзистенциальное «вовлечение в войну» отстраненного «маленького человека», изначально равнодушного обывателя, стало темой главного «военного» произведения Андреева — повести «Иго войны» (1916). А годом ранее он выступает с вызвавшей большой резонанс статьей «Пусть не молчат поэты». Связь между глухотой и слепотой предвоенных лет, откровениями «сего грозного часа» и прозрениями о часе будущем в андреевском призыве к «поэтам» выразилась особенно явственно: «Услышать войну — это ведь услышать голос самого синайского Бога, услышать и содрогнуться, содрогнуться — и погубить ту милую, старую, привычную душу свою, с которой так великолепно мы доплясались до войны. Услышать войну — это значит переоценить всю свою жизнь, все ее радости, страдания и надежды; не только все прошлое поставить насмарку и вбить осиновый кол в могилу вчерашнего дня, но нынешний день изменить до неузнаваемости»[1].

«Новый» Андреев — публицист, организатор и участник всяких комитетов и акций мог кого-то раздражать (см., например, статьи Зинаиды Гиппиус в наст. изд.), но многие (как, например, весьма близко с ним сошедшийся именно в это время Ф. Сологуб) с ним солидаризовались в этом погружении в «сиюминутность», в злобу дня, в далекое от метафизических высот, но исполненное высоким пафосом вчерашнее событие: оккупацию Бельгии и Сербии, предательство Болгарии, «сухой закон» в России…

Тяжелая судьба оккупированной Бельгии глубоко тронула Андреева; он посвятил ей не только публицистические выступления, вошедшие в сборник, но и пьесу «Король, закон и свобода» (1914) и рассказ «Ночной разговор» (1915, опубликован в 1921)[2]. На премьере пьесы в Московском драматическом театре присутствовал бельгийский консул, а часть сборов была пожертвована на нужды бельгийского народа. Одновременно Андреев говорит о большом «отчем доме» славянского братства, где взывают к сочувствию прежде всего многострадальные Польша и Сербия. Часть прибыли от книги «В сей грозный час» должна была пойти на нужды сербских воинов, за свои призывы помочь израненной Сербии писатель получил благодарность от сербского парламента и Биталийского (Монастырского) общества писателей[3]. Зато Болгария, вступающая в союз с Германией, стала в глазах Андреева братоубийцей и Иудой. Обвинения, выраженные в его статье «Изгнание из храма», вызвали в Софии него-

---

1 Бирж. вед. 1915. № 15155 (18 окт.).

2 Подробнее см.: *Новикова Е.В.* Идеологема и образ в рассказе Л. Андреева «Ночной разговор» // Творчество Леонида Андреева: Современный взгляд. Орел, 2006. С. 85–90.

3 Сербы и Леонид Андреев // Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 3.

дование. Болгарские писатели собирались протестовать против выпадов Андреева[1], а между болгарскими македонцами и Андреевым возникла открытая полемика[2].

Его брат Андрей был призван и отправлен на фронт, и за него писатель, разумеется, переживал, но и новобранцы, бодро марширующие под окном петроградской клиники, где Андреев провел несколько осенних месяцев, также оказываются его «родными братьями», «детьми родной и любимой матери — России». В их облике видит он «красоту жертвенности русского народа». Естественно, что у никогда не бывшего на фронте писателя образ русской армии был во многом идеализирован. Показательна его реакция на рассказы В. Вересаева о зверствах русских казаков в Восточной Пруссии — Андреев просто отказался его слушать. Для него это была «клевета, распространяемая ненавидящими Россию пораженцами»[3].

На фоне этих настроений первых месяцев войны понятной становится глубина разочарования, настигшего Андреева осенью 1915 г., когда он больше не мог закрывать глаза на разрушительное действие войны и признаки деградации общества[4]. В повести «Иго войны», опубликованной в мае 1916 г., главный герой (разумеется, не отождествляемый с автором) так говорит о дважды проклятой Андреевым (в статьях «Торгующим во храме» и «Изгнанные из храма») Болгарии, вступившей в 1915 г. в войну на стороне Германии: «А тут сегодня новое печальное известие: напали болгары на сербов у какого-то Княжевца… и значит, не понимали мы этого: зарежет-таки брат брата? Вся душа содрогается, когда подумаешь, что и этот народ погибнет, что и этот луг скудный выкосят косари; каково им ждать теперь и прислушиваться: идут, идут! <…> Да что говорить: плачу и плачу, всех мне жаль и каждую минуту надрывается сердце над новым несчастьем. И не знаю я, молить мне Бога, чтобы он наказал предателей-болгар, или и здесь склониться перед непонятной мне тайной человеческой души? <…> Кого прокляну, кого осужу, когда все мы таковы, несчастные!»[5].

Но подобные настроения (повторяем, вложенные в уста героя повести, но фактически не отраженные в публицистике ее автора) возникнут позже. «В сей грозный час» передает атмосферу именно первых месяцев войны, декорированных успехами на фронтах и всеобщей духоподъемностью. Сборник появился в мае 1915 г.[6] Первая из вошедших в него статей – «Прости!» — опубликована в сентябре 1914 г., а последняя — «Бельгия» — в марте 1915 г. Первоначально статьи были напечатаны в ведущих российских газетах: «Биржевые ведомости», «День» и «Утро России» и в журнале «Отечество».

В сборнике статьи скомпонованы «программно», по проблемно-тематическому принципу. Открывается он (раздел I) статьей, уясняющей нынешний смысл Великой войны (он — в мировой борьбе двух культур, механистической германской и одухотворенной русской), замыкается (раздел VI) статьями «Восхождение» и «Освобождение» — о ростках обновления

---

1 *Андреев Л.* Письма к брату // Залп. 1933. № 1. С. 70.

2 Письмо македонцев Леониду Андрееву // Бирж. вед. 1914. № 14502 (18 нояб.). Утр. вып.; *Андреев Л.* Ответ болгарам-македонцам // Бирж. вед. 1914. № 14506 (20 нояб.). Утр. вып. С. 3

3 Реквием... С. 175.

4 Подробнее см.: *Hellman B.* Леонид Андреев в начале Первой мировой войны: Путь от «Красного смеха» к пьесе «Король, закон и свобода» // Hellman B. Встречи и столкновения: Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 71–89.

5 *Андреев Л.Н.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 5. С. 83, 85.

6 *Андреев Л.Н.* В сей грозный час: Статьи / Обл. худ. В. Левитского. Пг.: К-во Н.Н.Михайлова «Прометей»; Тип. «Печатный труд», [1915]. 110 с. На титульном листе: Вся чистая прибыль с книги поступает на нужды русских и сербских воинов. Тираж 2500 экз.

русской жизни, знаках очищающей силы войны (отрезвление народа, «польский вопрос»), становящихся залогом живительных, «освободительных» перспектив для России. Эти основные мотивы по-разному аранжированы в тематических блоках-разделах сборника, которые можно обозначить как: кровное родство «штатского» общества с армией, защитниками-солдатами (II), балканские страждущие братья (сербы) и балканские же коварные братоубийцы-иуды (болгары) (III), высокий подвиг испепеленной, но духовно не поверженной Бельгии (IV), осмысление антигерманской коалиции как движения новых крестоносцев, вступивших в поход против новых варваров (V).

Отзывов было немного, основная полемика, как это будет видно из последующего комментария, велась с газетными первопубликациями. Анастасия Чеботаревская приветствовала сборник, отметив, что отражение актуальной злободневности преломлено в нем высоким пафосом большой души и чисто русского характера автора: «Едва ли эта книжка не является первым значительным памятником минувшего и вряд ли повторимого в своей грозности и величавости исторического “часа”, первого полугодия небывалой и неслыханной мировой войны...»[1]. Критик газеты «Уфимский край», например, обратил внимание на двойственное отношение Андреева к германской культуре, при котором возмущение ее современной, «прусской» по сути, милитаризованной и обездушенной ипостасью совмещается с предостережением от чрезмерной ненависти ко всему немецкому, истинные корни которого определяются высокими образцами науки и искусства прошлого[2].

На страницах сборника нашло явственное отражение стремительное ужесточение цензуры в 1915 г. То, что можно было писать в газетах полгода и даже два месяца назад, в книге оказалось вымаранным. Восстановленные составителями по первоначальным газетным публикациям цензурные вычерки даны в квадратных скобках. Не восстановленные — существовавшие уже в газетах — отмечены многоточием в тех же квадратных скобках.

---

1 День. 1915. № 151 (4 июля). С. 3.

2 Уфимский край. 1915. 20 мая.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

В сей грозный час

I
В сей грозный час

Мы приняли войну как необходимость — и мы приняли ее без колебаний.

Колебания были невозможны, раз сама Германия с высоты своего военного и культурного могущества объявила нам и миру, что отныне она находится «в состоянии войны с Россией»; и они были бы святотатственны, эти колебания воли и ума, ибо на чашу роковых весов возлагалось не только настоящее, но и все будущее России. Мы, данный состав «России 1914 года», ее народ и правительство — мы лишь преходящая форма, мы временные жильцы в доме, который не нами начался, не нами и кончится; владея страной по случайному факту жизни, совпавшему с моментом настоящей войны, мы не собственники России, а лишь добросовестные управители ее богатствами, хранители ее вневременной и державной сущности. «Россия и сыновья» — вот сущность той фирмы, если позволено так выразиться, у которой каждый из нас имеет самый крохотный *свой* пай.

С этой необходимой точки зрения для всякого государства и народа не существует никакой границы между прошлым, настоящим и будущим — той границы, что так суживает интересы личности и делам ее придает характер суетной эфемерности. И, борясь за Россию против могущественной Германии, сознательно стремящейся к порабощению всех других народов и рас, мы боремся не только за те временные и преходящие формы, в каких отлилось настоящее нашей родины, но и за все те *возможности*, которые лежат в основе нашей молодой культуры и пророчески предуказаны нашими духовными вождями. Не за Россию эмпирическую и сущую, а за Россию мыслимую, желаемую и возможную поднял оружие русский народ.

Начав войну, мы доведем ее до конца: до полной победы над Германией; и здесь не должно быть ни сомнений, ни колебаний. Сейчас еще смутны горизонты, обманы прошлого еще сильны и железная маска Гогенцоллернов еще не спала наземь: не всеми разгадана тайна их могущества, обаяния и страха; но уже несомненно, что будущий историк с ужасом остановится перед минувшими десятилетиями как перед эпохой самой мрачной реакции в Европе. Под блеском внешней культурности, под покровом материального богатства он найдет образы ужасающего одичания и духовной нищеты; шофер, выгоняющий гуманиста, необразованный ученый, дикарь в котелке и варвар в лаборатории — вот мрачные герои вчерашнего дня. Когда Германия звала к культуре, она душила истинную культуру; но когда она звала и к свобо-

де — она душила и свободу в тисках механичности, в категорических императивах догмы, в обожании дисциплины, единственной ее любви, которая была искренна и неподдельно горяча. Не было у свободы народов более страшного врага, чем Гогенцоллерны; не было для Духа более мрачного и универсального гасильника, нежели Германия последнего пятидесятилетия; и, пожалуй, не было в истории более опасного обмана, когда бы умнейшие и честнейшие люди с таким восторгом двигались вспять, думая, что они победоносно идут вперед.

Победить Германию необходимо, это — вопрос жизни и смерти не только для России, величайшего славянского государства, все возможности которого еще впереди, но и для европейских государств. Нечем будет дышать, если победит Германия, незачем будет жить, не будет иного света впереди, как только тусклый спальный ночник мещанина; останется только проклясть свой день рождения и поскорее бухнуться в яму, идеже несть печали ни воздыхания. Победа Германии! Победа универсального мещанина, деспота в свободе, дикаря в науке, механизма в жизни! И стоило тогда проделывать весь этот несчастный «исторический путь», [начиная Голгофой и кончая восторгами и кровью девяносто третьего года,] стоило надеяться и ждать, мечтать и верить!..

Но, приняв войну как необходимость, но, все силы духа и тела направивши к победе, но, подчинив наше миролюбие верховному благу «Сыновей» России, — мы не должны ни на минуту забывать, что война есть страшнейшее из зол и из всех необходимостей — самая печальная. Любит и славит войну Германия, а не мы; мечтой о войне жила Германия, наш враг; насаждала крупповщину, творила своих лейтенантиков, устами писателей и профессоров воспевала милитаризм, братоубийство положила в основу самого существования своего — Германия. И, зная и помня это, необходимо с особенной строгостью, с особенной даже щепетильной совестливостью относиться к себе и плевелы отделять от пшеницы: то, что действительно необходимо для войны и победы, от того, что является неуместным украшением, невольной идеализацией само<го> по себе страшного и печального дела. Наше миролюбие, [наше святое и прекрасное отвращение к войне] завещано нам нашими великими мертвецами, именитыми и безвестными тружениками и рыцарями св. Духа: оно есть наш неприкосновенный капитал, радость невеселого прошлого, надежда и право на лучшее будущее. Как братоубийство положено в основу самого бытия нынешней Германии, так братолюбие есть краеугольный камень, на котором строится, согласно заветам наших учителей и пророков, молодая, крепкая Россия. И да не будем мы расточителями этого капитала, которым богата бедная Россия, бережно передадим его нашим сыновьям; щедро проливая нашу кровь, вооружимся скупостью за будущие жертвы!

И наряду с непосредственным чувством возмущения нам надо радоваться, потому что германцы так подло и гнусно ведут войну, нарушают договоры, не соблюдают «правил» войны, убивают детей и женщин, грабят и пьют, — всем этим они содействуют делу мира. Как не в меру усердные и болтливые жрецы, они выболтали и распустили по свету самую великую тайну своего надменного бога, бога войны: что он безумен, бесчестен и зол. Или они слишком верили в его защиту? Или и в этом виде своем он кажется им прекрасным? Или это и есть та честность и «гуманность» войны, на которую опираются их идеологи крупповщины?

Но как бы то ни было, отсутствием принятого лицемерия и даже полной неприличностью своею, отказом от условных правил и постановлений, своим стихийным бесчинством они предали войну, разоблачили ее «скромные тайны», уничтожили ее наивное и опасное притязание: стать чем-то вроде хирургии в больших размерах. «Хирургия» хотела бы, чтобы пули были стерилизованы, прежде чем стрельнуть ими в друга-человека, — они не стесняясь жарят разрывными: это — война! «Хирургия» желала бы, чтобы в друга-человека стреляли твердыми конфектами — они жарят своими «чемоданами», от которых друг-человек сходит с ума: это война! «Хирургия» хотела бы, чтобы выжигались только зараженные, так сказать, места, а мирным жителям можно было бы по-прежнему ходить в кинемо, — немцы откровенно уничтожают и мирных жителей: это — война! Откровенные, пожалуй даже до цинизма, германцы всеми доступными способами — а их много! — всему свету свидетельствуют, что дело войны есть злое дело, которого не скрасить никакими фиговыми листками. Злое оно было тогда, когда под железною пятой крупповщины умерла Германия мыслителей, когда во всем мире тощал народ, чтобы жирели пушки; злое оно и сейчас, когда ночные грохочущие «поезда мертвецов» наводят ужас на жителей...

Эта ночь! Эти страшные грохочущие во тьме «поезда мертвецов», управляемые Хароном; эти несчастные жители, которые закапываются головами в подушки, чтобы не слышать, и все-таки слышат: грохочет-грохочет! Эти ужасные немецкие крематории, где жгут тоже по ночам, где мертвых солдат связывают по трое и бросают в печь, как деревянные чурки, где окрест — пустыня, ибо даже сами немецкие дрессированные, но еще живые солдаты в ужасе бегут прочь.

Вот образы войны, которые дала миру трагическая Германия, сгорающая в своем собственном огне. А в то же время — и это самое здесь страшное! — вы догадываетесь, чем занят сейчас немецкий ум, бывший германский Гений? Слушая страшный грохот «поезда мертвецов», он думает о том, как в следующий раз рациональнее поставить дело погребения отработанных солдат. Быть может, придумал уже и соответствующую машину, и мы еще о ней услышим — ведь сезон еще не кончен!..

Да, это страшно, как всякая извращенность, когда человеческий ум стремится к самоуничтожению. И в противность этому одичавшему германскому гению, жалящему самого себя, русский ум должен иметь иную заботу: как сделать, чтобы в следующий раз не стало надобности в чудовищных крематориях и машинах для погребения, чтобы не германское усовершенствованное братоубийство, возведенное в перл творения, а истинная человечность и братолюбие легли в основу возрожденной жизни. *Этим* мы выполним задачу, возложенную на нас нашими великими учителями Духа, *этим* мы приблизимся к победе, которая всегда за Давидом, а не Голиафом, *этим* — несмотря на ужасы войны — мы введем нашу потрясенную жизнь в ее бессмертное русло и возмущенной совести нашей дадим единственно ее достойное удовлетворение. Как в мире, так и в войне мы не должны спускать глаз с высокой цели нашей, с звезды сияющей, с России «сыновей», мечты нашей светлой!

Радуясь и гордясь воинством нашим, красотою жертвенной русского народа, болея их болью, трепетно ловя их последние вздохи, посланные на родину, огненными слезами оплакивая каждую каплю их бедной, на землю пролитой крови, — мы долж-

ны стоять твердо и крепко, быть надежною опорою их утомленным плечам. Перед лицом их — сильный, безумно-настойчивый, озверелый враг; за их спиною — мы. Спокойствие и силу должны чувствовать они за спиною, свет и тепло должны ощущать за спиною: пусть огромным очагом мира, любви и светлой красоты видится им далекая Россия! Не должно быть ссор и брани, злого и вредного, грубого и ничтожного, мелкого и личного. Чем ответит душа виду открытых ран? Только отказом от личного можем оправдать мы каждую новую минуту нашей жизни: ведь мы живем, когда они умирают!

Так свидетельствует Библия — книга великой мудрости и непреходящих откровений!

«...10. Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма.

11. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик.

12. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой — с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца.

13. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх., гл. 17).

В этом великом образе Моисея, воздевшего руки горе, — образ всего народа нашего: пока подняты молитвенно руки, мы побеждаем; опускаются руки — и побеждает враг; и нет оправдания в усталости, и ненарушима роковая связь между нами, сидящими на холме, и ими, что в долине проливают кровь. Надо молиться! Надо в сей грозный час поддерживать друг другу руки, когда они отяжелеют, когда тоска, и усталость, и мрачные видения смерти обессилят слабые мышцы. Надо молиться!

И молитвою всех нас, сидящих на холме, пусть будет немеркнущая память обо всем великом, прекрасном и человеческом, что добыто трудами тысяч поколений и что в сохранности должны мы передать вместе с победою России «сыновей». Это называется культурой — книгами, искусством, наукою, добрыми человеческими отношениями: это есть капитал всего человечества — «Земли и Сыновей». И этот светильник не должен гаснуть, и в поддержании его священного огня — долг наш, сидящих на холме, наша молитва. Мне эта «культура» представляется храмом, над которым бесконечно и самоотверженно трудился Дух. И пусть немецкие гениальные снаряды разрушают реймсские соборы — в этом храме ни одна колонна не должна быть сдвинута с места, ни один фриз не должен быть разрушен, ни один Образ не смеет быть запятнан прикосновением кровавых рук.

Читайте книги и посещайте музеи, бывайте в театрах, дружите с людьми. Общайтесь с великими; их бессмертно звучащие речи сильнее грохота снарядов, их правдивой красоты не победить лживым красотам ночных пожаров. Крови слишком много, она подступает к горлу, в ней можно захлебнуться и потерять сознание, — держитесь крепче за великих, за пророков и человеколюбцев, их светло-веющие одежды имеют силу держать над пучиной. И когда ослепленный Богом, как все обреченные, уже безнадежно лгущий Вильгельм снова скажет о «силе нервов, которая побеждает»,— противопоставьте ему силу Духа, которая не знает поражений. В поднятых к небу руках, в сердцах, вознесенных горе, — вот где наша сила, и верная помощь солдату, и обет великой победы над страшным врагом!

Надо молиться! Молитвою живы только люди: молитвою живет в живых сам Бог. Творите Бога непрестанно!

II
Наши

...Усталый, я заснул. Были сумрачны и серы сны, как сам серый петербургский день, мокро и подслеповато глядевший в окно. Привычно, не беспокоя слуха, грохотала улица мокрыми экипажами, и приятным казалось тепло постели; и вот — сквозь дрему и сны коснулся слуха высокий звук многоголосой песни. Я приподнялся: светло и серо, грохочет улица — и песни не слыхать, — приснилось, вероятно. Но нет: вот снова человеческие голоса, много голосов; такие особенные среди механического стука колес о камень, они поднимаются высоко, что-то зовут, поднимают, как будто бы кричат: ур-р-ааа! Нет, это песня... идут солдаты.

Я распахнул окно. Солдаты. Пересекая площадь, в сизом тумане, словно я смотрел с высокой горы в долину, по мокрой и липко-грязной мостовой широким строем ритмично шагали солдаты и пели. Их было много, полк или два, я не знаю, — они шли долго, желтовато-серые, с красными пятнышками погонов, с белыми походными мешками за спиной; и так весело, так легко и стройно они шагали, что с моей горы это казалось каким-то танцем. Не было слышно ни запевалы, ни слов, но через определенные промежутки высокая и ровная волна свежих и сильных голосов заливала грохот экипажей, лязг какого-то железа. И вот эти свежие голоса поразили и очаровали меня: день был такой серый и печальный, октябрьский дождливый день, а в них звучало солнце, простор полей, зеленая глушь лесов. Ясные и молодые, они поражали не только слух, но и зрение: они виделись румяными, среди вечных сумерек города, они цветисто выделялись, как лоскут кумача в тумане. Но было в них и еще одно: вдруг все певшие, сколько их ни было, стали моими родными братьями, вошли в самое сердце неразрывной любовью и такой глубокой нежностью. Вот они прошли. Вот в хвосте проползли четыре телеги, нагруженных горочкой мешков и котомок — это их имущество, маленький и скромный багаж, над каждым местом которого трудились, собирая, и плакали женщины. И вот уже никакого следа: мелко зарябила улица и сравняла волны от большого корабля, пошедшего далеко. Ждал, не услышу ли песню еще, хоть эхо, хоть краем уха, — нет.

Тогда я закрыл окно и, нечего таиться, — заплакал. Плакал о том, что они так молоды и сильны, о том, что не жалуются они, а радостно идут на смерть, что у них такие красивые, такие славные и правдивые голоса. И о том, что они родные братья, дети родной и любимой матери — России.

Любите солдата, граждане!

Любите и жалейте солдата, не забывайте о солдате, граждане, живые в мире его защитой. Каждую ночь, ложась в теплую постель, вспоминайте о нем, бодрствующем в мокрых и холодных окопах или там же засыпающем последним сном, — пусть

это будет вашей молитвой. И о нем же думайте, просыпаясь, пусть с любовной мысли о солдате начинается ваш день. Любовь превозмогает все. Тысячами незримых путей, могучими токами сердечного напряжения дойдет ваша любовь до солдата и теплом напоит его душу, сопряженную смерти, его измученное тело, оторванное от родных корней. Не заботьтесь о почте и адресе: сам ангел любви будет вашим посланцем и бережно донесет до далекого каждый ваш вздох и слезу. Верьте, верьте в силу любви!

И берегитесь сомнений, гоните страх и робкие двуличные мысли. Он узнает и это, — все дойдет до него теми же незримыми и воздушными путями. Не смущайте солдата.

Его мышцы и дух сильны вашей волей к победе, вся армия наша только образ воли народной, ее закаленное острие. Напрягайте, напрягайте волю к победе! Не из стали делается оружие — из воли к победе, из твердости духа народного куются самые острые мечи. Думайте о солдате!

III
Торгующим в храме

Я не политик, не дипломат, не член партии, я — писатель, для которого выше всего стоят интересы справедливости и добра. Как политик, я искал бы примирительного тона, больше всего боялся нетактичности и живое чувство возмущения держал бы на трензелях; как дипломат, я округлял бы фразы и по полочкам раскладывал товар для господ реальных политиков Болгарии, — как писатель, я говорю прямо. Не ищите здесь «авторитетного источника», где взвешивают слова по гранам, — за мной нет иного авторитета, кроме всевластного чувства негодования и жгучей скорби.

Что вы сделали и что вы продолжаете делать, болгары? Славянский мир стыдится и потупляет глаза, когда слышит имя: болгарин, — так в честной семье стыдятся недостойного сочлена. У вас славянское сердце, болгары, но немецкие мозги, и язык ваш раздвоен, как у змеи. Что же делало ваше славянское сердце, пока немецкие мозги и руки везли через вашу страну орудия и бомбы для турок? Оно молчало, пока извивался язык ваших дипломатов. Оно молчит и теперь, когда уже пошли в ход немецкие бомбы и мины, уже убивают и топят русских людей, — сколько вам досталось за провоз, болгары?

Когда Европа, Азия и Африка охвачены пламенем последней смертельной борьбы, вы заглушаете голоса умирающих своими жалобами на какие-то обиды; над стонами раненых, над могилами братьев разносится торгашеский голос ваших вождей. Когда в отчем доме, который и ваше жилище, болгары! — бродит смерть и слезы осиротевших поднимаются к небу, вы торопливо предъявляете старые счета, не прочь обшарить и карманы брата-должника. У вас славянское сердце, но у вас немецкие мозги — сдерживающие ваши святые порывы, вы реальные политики — так будут теперь называться цыгане на ярмарке. Как барышники лошади, так вы засматриваете в зубы победе, толкаете ее коленом под живот: не обманула бы судьба честного болгарина, не отдаться бы раньше времени святому порыву братского чувства!

Изнывая от боли, теряя последнюю кровь, бьется за свободу маленькая, бедная Сербия: оглушенные грохотом великих сражений, ослепленные молниями немецких орудий, мало думают о ней народы. Ее театр войны — маленький провинциальный театрик, где местные трагики тоже что-то делают и даже на двух заборах приклеены две обмокшие афиши. Но на этом театрике льется та же горячая кровь, та же смерть берет героев и те же слезы льются у матерей. И никому, быть может, так не больно, так не трудно и так не страшно сейчас, как этому неблестящему, бедному полузабытому народу: ведь его соседом ты являешься, родная Болгария! Ты не забыла о нем, Болгария, и одну руку держишь ладонью кверху, а в другой руке зажимаешь нож для братского горла! Не перерезать ли его, Болгария? Когда-то во славу немецких мозгов и кармана вы уже исполнили этот кровавый танец духовной нищеты, — не повторить ли его на бис? Время так удобно. Глупая Сербия истощена, умная Австро-Германия уже собирает железные корпуса на ее границе и готовится к такому страшному пиру, перед которым побледнеют все ужасы Антверпена и Лувена; на младенцах срывает зло промахнувшийся и пойманный грабитель. И если, Болгария, ты осторожно подойдешь сзади и запустишь нож между ребрами… ведь ты знаешь, где сердце у Сербии! — то это будет очень недурная стратегия и превосходная, немецкая, реальная политика. Скорее же, в самые уста целуй брата, Болгария. Ты помнишь, как это делается? Двенадцать апостолов было у Иисуса, но только один поцеловал его в уста... но ты помнишь, конечно, как это делается и как звали двенадцатого. Но если ты забыла, если ты плохо помнишь Евангелие, спроси у Вильгельма Гогенцоллерна: он весьма начитан в Священном Писании и еще недавно с глубоким знанием дела в самые уста поцеловал невинную Бельгию... до сих пор еще горит этот поцелуй Иуды!

Скорее же, болгары, спешите, — но только не оправдывайтесь, как турок, не лгите, скройте ваш раздвоенный язык, за которым видится смертельный яд. Не выставляйте на прилавок ваше славянское сердце, не жалуйтесь, что вы сами несчастны, что ваш народ — стадо баранов, которых немецкий пастух держит в загороже. Я этому не верю. Если же вы действительно несчастны и безвинны, если ваша родная нам душа стонет под игом немецких мозгов — восстаньте, как восстают народы! Не бойтесь, что это будет трудно и опасно. То, что кажется немецкими мозгами, — только шляпа на вашей голове, и малейший порыв свободного ветра унесет ее назад, в ее немецкое отечество... или склонит низко перед русскими знаменами. И тогда я поверю вам.

Но если, как баранов, вас будут держать в немецкой загороже, пока вопиет к небу братская кровь, — или поведут вас пастухи на предательство, и вы, подобно всем воюющим, начнете выселять русских из Болгарии, то первым, самым первым удалите бронзовый памятник Александру Второму, который вас создал: ведь он тоже был русским.

2 ноября 1914 года

Слово о Сербии

Тяжелое занятие — распределять нужду по рангам, голодных размещать по классам, для несчастий и страдания устанавливать степени и порядки. Разорены, голодны и несчастны бельгийцы; разорены, голодны и несчастны евреи и поляки в При-

вислинском крае, да тоже и галицийцы. Несчастны, голодны, разорены и сербы — и кто осмелится сравнивать, чье горе глубже, чей голод страшнее и нестерпимей: еврея, бельгийца, серба? Какою чашею можно измерить и сравнить слезы, где те точные весы, на которых взвешивается тяжесть обиды и страдания! Все солоны слезы.

И с широкой отзывчивостью и добротой, которая облагородит эпоху кровавейшей из войн и мертвую воду разрушения превратит в живую воду любви и созидания, наш народ отнял еще крупицу у малой сытости своей и помог полякам, помог евреям и бельгийцам. Но сербам он еще не помог — а плохо дело у сербов, очень плохо. Не смею сравнивать — но едва ли не хуже, чем у кого-либо на свете.

Правда, мы не слышим оттуда ни жалоб, ни громких криков о помощи. Наоборот, каждый день придушенный голос бодро сообщает: «мы ничего, мы держимся. Деритесь там за общее святое дело наше, а мы ничего, мы держимся». И только вслушавшись в хрипоту этого далекого и бодрого голоса, только заметив, как изо дня в день слабеет он от непрерывной потери крови, — вы почувствуете в нем и глубочайшую тоску, и отчаяние — почти что ужас! С Сербии началась война: первым убитым в этой великой борьбе народов был серб; и этого не забудет и это отметит история. И с того первого убитого серба и до того серба, которого убили вчера, убивают сегодня, сейчас — четыре месяца мужественно бьется маленький, одинокий героический народ со своим королевичем Александром, дважды раненным, чуть не убитым, воскресающим лишь для новых битв и подвигов.

Посмотрите на карту: за спиною Польши — могучая Россия; рядом с Бельгией, протягивая ей братские руки, стоят богатая Франция и могущественная Англия. А Сербия? — взгляните, как одинока она среди стран, как далеко ей до единственного ее друга — России, какой у нее темный, страшный и подозрительный сосед; да и бедно все кругом, как бедна она сама. Но жалоб не слышно: каждый день хрипит через телеграфное агентство придушенный, слабеющий и бодрый голос: «Мы ничего, мы держимся — деритесь спокойно!»

Но долго ли?

О бедности Сербии мы много знаем, но еще больше рассказали о ней германцы. С плоской насмешкой сытого мещанина, с уверенностью тупых людей, что это и остроумно, и забавно, — в тысяче карикатур нам показали «Сербию»: ее лачуги, ее босых солдат и оборванных министров, ее королевича Александра, который сам — это верх изящного остроумия — сам штопает свои штаны. Но чем шире улыбалось плоское лицо германца-мещанина, тем большей жалостью и скорбью наполнялось наше сердце: ведь мы и сами не из богачей, знаем и голод, и нужду, и на одно палаццо у нас миллион придавленных к земле лачуг. Нас бедностью не насмешишь! И если это правда, как утверждают, что сербы-солдаты идут в бой босыми, что у них нет ни денег, ни врачей, ни лекарств, то тем печальнее, тем больнее. Говорят дальше, что их «стратегические» отступления — маневр мужественных бедняков, у которых нет снарядов для стрельбы, и только поэтому они отходят. Говорят еще дальше, что все уже мужчины на войне, на войне старики и подростки... да откуда же и взяться народу в маленькой стране, которая только что выдержала трехлетнюю войну и весь цвет свой уже отдала кровавому Молоху? Остались старики да молодая завязь, не успевшая и развернуться, а биться надо, до самой смерти надо биться.

Ведь не забудьте, что с сербами *не войну* ведут. Не забудьте, что это называется *карательной экспедицией*: идут на Сербию не войска, не солдаты, не офицеры, а палачи, предводительствуемые обер-палачами. В войне есть хоть какие-нибудь правила, маленькие поблажки, хоть внешняя корректность: народ в стороне, войска дерутся с войсками — и это война. Но где границы и пределы для карательной экспедиции, единственная цель которой жестоко наказать и устрашить? Но если германцам в Бельгии надо все же выискивать предлоги, чтобы иметь право повесить сотню граждан и сжечь собор, — то каких еще предлогов искать карателям? С видом подлого бескорыстия с самого начала гордо заявили австрийцы, что они не хотят «территориальных приобретений» — им нужны только сербская кровь, сербский ужас, сербское несчастье. Они сами истцы, они же сами и судьи, они же и палачи — вот кто австрийцы в этом позорном походе на изнемогшую страну. Их циничный лозунг: сколько осилю, столько и истреблю, — естественно, что слабые, которых легко осилить, идут в первую голову на этом празднике австрийского правосудия.

Неслыханное дело! Сознательно, с голым цинизмом, которому нет примеров, перед глазами всего цивилизованного мира, выпустив чуть ли не афиши, — австрийцы целую страну вознамерились превратить в один сплошной красный эшафот на тысячу квадратных километров, каждое дерево — в виселицу для серба, каждую голову — в материал для палача. Неслыханное дело!

И там, где они могли, они исполнили то, что обещали. Их программные зверства так ужасны, что просто неловко как-то говорить, чувствуешь себя перенесенным в какой-то почти нереальный мир, куда можно заглянуть на мгновение, но долго оставаться — не выдержит сознание. «Было так страшно, что я не чувствовал страха», — говорит покойный Семенов, описывая гибель при Цусиме броненосца «Суворов», на котором находился. И здесь, в Сербии, совершаемое австрийцами так ужасно, что уже почти перестает чувствоваться как ужас; есть для нашей чувствительности граница, за которою человек просто мертвеет и как бы не верит свидетельству собственных глаз. И я не стану приводить фактов; они собраны, зарегистрированы, протокольно удостоверены (как это сделал Вандервельде по отношению к германским зверствам в Бельгии) и в свое время, когда восстановится честный суд Европы, получат свою оценку.

Одно только нужно повторить и подчеркнуть: здесь австрийцы не стеснялись. Призванные карать и ужасать, они встретили перед собой не бельгийцев и французов, за которыми даже их надменная мысль признает некоторые человеческие права, — они встретили славян, низшую расу, нечто среднее между гориллой и человеком, что-то вроде колониального бушмена или малайца. А в этом отношении рука у всех европейских культуртрегеров достаточно набита, и можно представить, до какой роскоши безграничного карательства дошли австрийцы — и что *еще* они обещают Сербии, стягивая корпуса у ее границы! Газеты сообщали, что семь корпусов готовятся к вторжению в Сербию; семь же корпусов — это ровно 280 тысяч палачей-карателей, которые не ищут «территориальных приобретений», а только сербской крови, сербского ужаса, сербского несчастья! Как обнажится сербская земля! Какая новая пустыня откроется на Балканском полуострове, если немцам удастся их план, и иная, более могучая и светлая сила не остановит их перед первой ступенью неслыханного эшафота.

И наш добрый и славный народ, который уже помог бельгийцам и полякам, не должен забывать о замученной, истощенной, молчаливо-героической Сербии. Ее бедность — не порок, который нужно скрывать и которого следует стыдиться, и если загорелое, сухое тело мужественного серба сплошь покрыто рубцами от турецких ятаганов и немецких зазубренных штыков, то его руки сплошь в рабочих мозолях. Вся его историческая жизнь — это жизнь сурового мученика-трудолюбца, у которого в одной руке заступ, а другую он поднял для защиты головы: его жизнь — это непрерывный мартиролог мучеников за свободу, бесконечная вереница распятых, распятых, распятых! Он минуты отдыха не знал за столетия, он не изведал счастья простой безопасности, — когда тут было нажить богатства, асфальтовые улицы готического Вертхейма и Аллею Побед! Да, он беден и бос, и руки его в мозолях, и тело его в шрамах, и душа его налита неиссякаемой скорбью, — он, серб, у которого дети, вместо школы, должны драться за свободу и жизнь. Необходимо помочь ему, необходимо!

И вот еще чего не забудьте, думая о Сербии: в Сербии нас *любят* — горячей, искренней, почти нежной любовью. Попробуйте, кто бы вы ни были, проехаться сейчас по ее окровавленным полям и городам... и вам покажется, что вы владетельный князь, пророк, сам ангел Божий — такою любовью и почтением окружат вас эти измученные люди! Последний ковер постелют они под ваши русские ноги, отнимут от своих голодных уст последний кусок хлеба — и с божественной щедростью бедняка угостят вас, драгоценнейшего гостя из милой России. Молясь Богу, кого они упоминают в молитве прежде своих детей? — Россию. Тысячи лет ожидая солнца, в какую сторону смотрят их распятые, куда посылают слезы и вздохи матери их замученных детей? — туда, где за синим туманом светятся в небе золотые купола московского Кремля.

Нас так мало любят вообще и так мало уважают: варвары! — еще недавно кричал на нас К. Либкнехт, — варвары, вас надо выкинуть за Урал! И тем более должны мы дорожить этой нужной и доверчивой любовью; в ней залог не только сербского, но и *нашего* возрождения. Множьте любовь! Множьте любовь! Если другие народы борются за мировое господство, за куски земли и моря, то нам еще надо завоевать *уважение* — множьте любовь, множьте щедрость! Множьте великодушие ваше!

Помогите сербу, который молча истекает кровью.

11 ноября 1914 г.

IV
Бельгийцам

Наступит некогда день — и в Берлин вступят войска союзных держав.

Войдет русская армия. Огромная, серая и трудовая, спокойная и неторопливая, она идет долго по асфальтовым мостовым, отбивая привычный тяжелый шаг. И мрачно смотрит на нее мрачный Берлин: не для того он делал такие прямые и превосходные улицы, чтобы по ним маршировали русские солдаты. И противно Берлину: он, хотевший быть самым сильным, он, мечтавший стать последним Римом и владычество свое утвердить над всем миром, — он оказался слаб, он побежден. Те, кого всю жизнь он считал низшей расой и варварами, непочтительно шагают под Бранденбургер-Тор, и... о, варвары! — даже не делают попытки хоть что-нибудь

разрушить, хотя бы нос один отбить у мраморных героев Аллеи Побед! Если нельзя быть победителем, то недурно стать мучеником, но нет — и этого удовольствия не хотят доставить безжалостные варвары из России. Противно Берлину!

Войдет французская армия. Легко и весело шагают французы, такие странные и такие неприличные на улицах мрачного Берлина в своих старомодных красных шароварах; радостью горят их черные глаза и с обидным любопытством рассматривают они свежие памятники прусской столицы, перешептываются, смеются. И горько Берлину: те, кого он спокойно и давно признал вырождающимися и обреченными на бесславную историческую гибель, те, кого он презирал, — непочтительно шагают по его надменным улицам — горько Берлину! Но ведь и побежденный может быть прекрасен: и не о красоте ли Берлина шепчутся французы? Хоть и вырождающиеся, они кое-что понимают в красоте городов, у них у самих есть Париж, и вежливой похвалой они могли бы несколько загладить неприличие своего вторжения в мировой город. Конечно, разрушать они не станут, они слишком выродились для такого бодрого занятия, но похвалить они обязаны! Но нет: смотрят насмешливо и удивленно на красоту Фридрих-Штрассе, на строгую готику Вертгейма, на грозных львов у памятника Вильгельму; и — это уже невежливо, это уже вандализм и варварство! — от души хохочут на Аллее Побед, останавливаются, даже идти не могут от смеха. Горько и противно Берлину!

А вот и англичане — «наши кузены с того берега», проклятые торгаши, изменники культуре,— невыносимо смотреть на них мрачному Берлину! Как будто и не изменяли культуре: все та же твердая поступь, какою уже давно измерили они землю, все тот же спокойный и гордый взгляд, все та же отвратительная манера держаться господами даже в Берлине. Равнодушно шагают по прекрасным мостовым, не замечая, как изумительно выметены они для нынешнего парада, — или они притворяются равнодушными от зависти? Нет, — даже позевывают от берлинской скуки, смотрят на маленькую Шпре и спрашивают негромко: это река? Обидно и горько мрачному Берлину.

Но кто эти, которые идут дальше? — кто эти, перед кем преклоняются все знамена, кого приветствуют почтительным молчанием и русские, и англичане, низко склоняют головы, обнажают их, как в церкви? Кто эти — маленькая кучка бледных и измученных людей? Лица их мужественны и опалены порохом, но шагают они устало, как после бесконечно дальнего пути. Кто эти, кто даже не смотрит на красоту Берлина, но перед кем незаметно пригибается сам Берлин, становится ниже, как будто падает на колени?

Ах да, — это бельгийцы... то, что осталось. И стыдно становится мрачному Берлину.

А кто этот, кто впереди, перед кем склоняются сами мужественные и несчастные бельгийцы? Скромный и простой, мужественный и кроткий, молодой, но уже с морщинами горя и страданий на красивом лице, — кто этот рыцарь с открытым челом и печальными глазами? Это бельгийский король Альберт, вновь бельгийский король. И стыдно становится Берлину! Как перед жертвой насилия, восставшей из гроба, — опускаются угрюмые глаза, стыдом и тоскою заливается ожесточенное сердце. И скупыми слезами плачет Берлин: о чем-то безвозвратно утраченном плачет Берлин — о былой чести своей, о былой славе и честном имени своем, о погибшей Германии плачет Берлин.

Но вот весеннее солнце выглянуло из туч. Мудрое, самый ласковый луч свой, золотой и теплый, оно бросило на прекрасную и благородную голову того, кто в невыносимых страданиях за свой народ тщетно искал смерти под немецкими снарядами, — берегла его судьба для иной, прекраснейшей доли. Золотой короной легли лучи на скромной голове его, и ниже склонились знамена, и больнее стали скупые слезы угрюмого Берлина.

И тогда... этому трудно поверить, но это правда, — и тогда кто-то по-немецки крикнул королю Альберту: гох! На него взглянули — да, это немец кричал; смотрел на короля Альберта, плакал открыто и кричал: гох! «Это измена»,— сказали одни. «Нет, это совесть»,— сказали другие. А тот все кричал и плакал: и вскоре присоединились другие голоса и также кричали: гох! И чем громче становился приветственный возглас, тем менее побежденным казался Берлин, терял свою мрачность, золотился солнцем, как всякий другой Божий город. Смущенно и приветливо улыбался бледный король, и все громче становились клики: в измене самой себе возрождалась Германия, звала назад былую славу, свое честное имя.

...Конечно, это моя мечта, — отчего и не помечтать о справедливости, о совести народной, о Божьем суде! И не один я так мечтаю. Очень возможно, что все мы ошибаемся, и нет вовсе справедливости, и нет совести, и не войдет король Альберт в Берлин, и уже навеки погибла свободная Бельгия. Неисповедимы судьбы народов, и уже давно не посылает на землю пророков разгневанный Бог. Кто знает? Кто знает?

Но что, кроме мечты нашей, можем мы послать благородному народу и его благородному королю? Истерзанный войной, выгнан народ из своих трудовых жилищ и брошен в море, — что, кроме мечты о справедливости и Божьем суде, можем послать ему мы!

Бельгия

Монолог

Я — Бельгия.

О, посмотрите на меня, добрые люди! На мне белые одежды, так как я невинна перед Богом мира и любви: не мною брошен факел брани, не мною возжжены огни пожаров, и слезы матерей и вдов не мной исторгнуты из их очей.

О, посмотрите на меня, добрые люди! Вот это красное, здесь, на груди, что так страшно пятнает белые одежды, — это рана моего сердца, источающего кровь. В самое сердце поразил меня предатель, в грудь мою вонзил он меч — о, какой жестокий, какой безжалостный удар!

Я лугом шла вот с этими цветами, я пенью птиц внимала в высоте, я гимны воссылала Богу, создавшему цветы... кому мешал мой путь среди цветов и песен? В самое сердце поразил меня предатель, и белые поникли лепестки, их оросила кровь...

Белая роза! Белая роза, моя нежная, белая роза!

О, посмотрите же на меня, добрые люди. Это не корона, это водоросли на голове моей, это зеленые травы с морских лугов, которыми укрыло меня море. Куда мне было пойти? И я пошла к моему старому милому морю, я на колени пала перед его могучими валами, и я молила тихо: укрой меня, мое милое, старое море, мне больше некуда идти. В дому моем свирепый чужеземец, мои кроткие дети преданы смерти — и видишь там какие страшные огни?.. это горят мои старые храмы. Защити меня, спаси, укрой меня, мое милое, старое море, мне больше некуда идти!

Так я сказала и заплакала горько-горько! — и укрыло меня, бесприютную, мое старое, милое море.

И я из моря пришла.

Я из моря пришла, чтобы сказать вам, что я жива.

О, посмотрите на меня, добрые люди: я — Бельгия, и я жива. Жив мой дорогой король Альберт, и жив народ бельгийский!

Нет, это не слезы в моих глазах, я плакала довольно: священным гневом пламенеет сердце!

Нет, это не рана на моей груди — это красная роза, неугасимое пламя войны, обет священный.

Красная роза! Красная роза, моя страшная красная роза!

Нет, — это не морские травы на голове моей: это корона Бельгии, венец свободного народа.

Где мой меч?

Во имя короля, во имя закона, во имя свободы поднимаю я меч!

На помощь Бельгии, народы!

Боже, храни царя и Россию, отдавшую мне кровь.

Боже, храни короля и Британию, отдавшую мне кровь.

Вперед, дети прекрасной Франции, формируйте батальоны — спешите, спешите!

На помощь Бельгии, народы!

О Бельгии

К анкете для «Книги короля Альберта»

У войны два лица: тусклое и мрачное лицо германца, отверженного Богом, — и светлый лик бельгийца. Мраку и плоскости души германца противустоят горние высоты бельгийского духа. Было бы страшно, было бы невыносимо жить и дышать под черным небом войны, — если бы не светило со стороны Бельгии незаходящее солнце. Когда я подумаю, сколько глаз оплакивает Бельгию; когда я подумаю, сколько сердец забилось мужеством и силой во имя ее, сколько омертвевших душ воскресло на ее Голгофе; когда я представлю себе, сколько детей в мире будут учиться благородству по окровавленным страницам ее истории, — ее страшный жребий мне кажется завидным. Отверженный Богом, безумный, безумный германец, чье лицо тускло и мрачно, чья жестокость ужасна, чьи мысли бескрылы! Бешенством войны напоила тебя судьба, как илота, ты внушаешь отвращение детям спартанцев. Ты еще

мог бы остаться солдатом, не коснись ты Бельгии; в честной борьбе с равными ты мог бы внушить гнев, но не презрение. Но ты поднял руку на слабого, огражденного твоим же словом, всю ярость и силу ты обратил на попрание свободы — и кто же ты, германец?

Благословение всего мира над головой Бельгии, увенчанной терновым венцом.

Франция — прости!

Мне хочется напомнить одно прекрасное стихотворение Беранже. Называется оно: «Прости!». Умирающий поэт прощается с Францией: вот все его содержание.

Я не знаю точной даты, когда стихотворение написано; умер Беранже 16-го июля 1857 года, и можно думать, что к этому времени относятся и стихи. Все те же роковые для Франции июльские иды: в половине июля началась в 1870 году война с пруссаками, в половине июля началась и теперешняя страшная война. Роковой месяц, роковые числа!

Конечно, никакого отношения и ни к какой войне стихи не имеют. Но смысл их так глубок, чувство так широко, что и нынешний человек найдет в них отражение себя; и нынешний больше, чем вчерашний. Человек любит родину и человек умирает; и умирая — все свои мысли отдает родине... не в этом ли и весь нынешний день?

Стихотворение очень коротко, и просто трудно понять, как могло уместиться в коротких строчках такое богатство души, столько нежности и любви, такая сила и такая печаль, такая мужественная гордость и непоколебимая вера! Всеми человеческими голосами звучит душа поэта: здесь и лепет умирающего ребенка, прильнувшего к груди матери, — ведь перед лицом родины каждый из нас, до самых до седых волос, остается ребенком; здесь и слабый шепот истомленного жизнью человека; здесь и гремящий голос мужа, вставшего на защиту оскорбленной родины. Строфой из Марсельезы кажутся эти слова, звенящие как медь:

— Когда стонала ты в руках иноплеменных,
Под колесницами надменных королей,
Я рвал знамена их для ран твоих священных,
Чтоб боль твою унять, я расточал елей!..

И разве это не сегодняшний день, и разве не стонет Франция, как встарь, под колесницами «надменных королей»? Но вот и завтрашний день, к которому обращено все упование мира, залитого кровью:

В твоем падении заря зажглась — и время
Благословения племен должно прийти,
Затем, что брошено твоею мыслью семя
Для жатвы равенства грядущего. Прости!

Но сильнее слез, сильнее печали и мужественной гордости звучит некоторая особенная нота, как бы всепокрывающий голос вещего рога: чувство неоспоримого бессмертия. Нет смерти для того, кто любит родину; есть прощение, есть прощальные слезы и заветы, есть погребальная песнь, но смерти нет! Ибо случалось ли смертному, кто бы он ни был, *так* властвовать над смертью:

Чтобы к сынам твоим с мольбой дошел мой пламень,
Удерживая смерть на пройденном пути,
Своей гробницы я приподымаю камень.
Рука изнемогла. Он падает. Прости!

...Недавно произошел такой замечательный случай. При осаде Циндао первым был убит капитан Косума, и Микадо — уже после смерти — произвел его в следующий чин майора. Майор Косума. Смерть, где твое жало? И не было бы для меня ничего удивительного и странного, если бы некоторое время спустя майор Косума был произведен в полковники и генералы, и так до самого высшего чина, — разве на самом деле не все <ли> равно, что он умер?

Это сделали японцы, очаровательные молодые люди культурного мира, каким-то чудом насилия над временем и историей принесшие в сохранности крепкий и ясный римский дух, его ясную, как солнце, любовь к отечеству, его краткий и выразительный язык. Ни на одном языке слово «отечество» не звучит так по-римски, как на японском; и напрасно Вильгельм II начертал на своих крупповских пушках: pro patria et gloria*: у него нет patria, и gloria не ему будет принадлежать!

И для тех из нас, кого смущает кровь и смерть, пусть послужит благородным утешением вечно живое стихотворение давно умершего Беранже. Вот оно полностью (в переводе В. Курочкина).

Час близок. Франция, прости. Я умираю.
Возлюбленная мать, прости. Как звук святой,
Сберег до гроба я привет родному краю.
О! Мог ли так, как я, тебя любить другой?
Тебя в младенчество я пел, читать не зная,
И видя смерти серп над головой почти,
Я в песне о тебе, дыханье испуская,
Слезы, одной твоей слезы прошу. Прости!

Когда стонала ты в руках иноплеменных,
Под колесницами надменных королей,
Я рвал знамена их для ран твоих священных,
Чтоб боль твою унять, я расточал елей.
В твоем падении заря зажглась — и время
Благословения племен должно прийти,
Затем, что брошено твоею мыслью семя
Для жатвы равенства грядущего. Прости!

Я вижу уж себя зарытого, в гробнице.
Кого любил я здесь, о! будь защитой их,
Отчизна, вот твой долг пред бедной голубицей,
Не тронувшей зерна на пажитях твоих!
Чтобы к сынам твоим с мольбой дошел мой пламень,—
Удерживая смерть на пройденном пути,

* за отечество и славу (*лат.*)

Своей гробницы я приподымаю камень.
Рука изнемогла. Он падает. Прости!

...Если бы я был композитором, я написал бы музыку к этим святым словам; если бы я был певцом — я пел бы их. Теперь я могу их только напомнить.

V
Крестоносцы
I

Конец ноября. Выпал снег, остановились реки. Зима. Ненастье в Пруссии и Галиции: то холодный дождь, секущий лицо, как град, то снег и морозы. Холод на Кавказе. Глубокая осень, канун зимы во Фландрии. Залиты водой окопы и по всему побережью свирепствуют те страшные морские бури, когда ветер валит с ног человека и по целым ночам ревет не смолкая темное разъяренное море.

Конец ноября. Что бывало прежде в эту пору? Жизнь на природе замирала; загнанная ненастьем, вся культурная городская Европа забиралась в тепло и открывала свои сезоны. Как бывали шумны и веселы города, более светлые ночью от электрических солнц, нежели в тусклые короткие дни, — Париж, Берлин, Лондон, Вена! Переполнены городские подземные и надземные дороги, толпы в театрах и концертах; пора законодательных собраний, живого обмена мыслей, литературных и художественных новостей, пора широкого и энергичного общения и творчества.

А что теперь с Европой? Ее нельзя узнать, ее трудно вообразить. Насквозь пронизана она войной и вся, с подошвы до вершины, содрогается непрерывной дрожью, как гора во время извержения вулкана. Нет такого тихого уголка, где не слышалась бы война, нет места на всем протяжении Европы, где не царили бы волнение, страх, беспокойство, где не гадали бы о завтрашнем дне — одни в тоске и ужасе перед возможною потерей, другие с упорною надеждой на какой-то свет, *который должен воссиять*. Никто не живет, все ждут. Символическая завеса будущего, которой никто не видал, хотя говорят о ней все, теперь придвинулась к самым глазам; почти осязаема рукою ее мистическая ткань. И никто не хочет и не может жить — все ждут.

II

Свет, который должен воссиять. Он должен быть. Он близок, он где-то здесь, за черной линией горизонта, его мерцанием напоена вся ночь войны, он близок — свет, который должен воссиять. Его отражение на бледных лицах, его блеск в глазах умирающих на поле битв; угасая, самый мрак смерти наполняют они сиянием веры.

Кто знает? Быть может, это только мираж, фата-моргана, один из тех красивых обманов, которыми полно странствование человека по пустыне. Призрачное озеро, у которого не напиться воды ни одним жаждущим устам. Заведет, обманет и погубит; и только трупы, распростертые на песке, расскажут о том, какая трагедия долгих блужданий, горячей веры и мертвого обмана разыгралась на этом месте. Кто знает! Но это факт неоспоримый, что еще никогда обман — если это обман — не облекался в такие правдивые и убедительные формы. Но это факт, что еще ни разу со време-

ни, быть может, крестовых походов не верило человечество так *исступленно*, так всеобще и сильно — в свет, который должен воссиять. «С мечом в руке, с крестом в сердце»... не лозунг ли это новых *крестоносцев*, поднявшихся на освобождение гроба Господня?

И как странно, что после многих сотен лет *Иерусалим* снова становится ареной кровавой борьбы, уже упоминается в статьях и корреспонденциях; древний Иерусалим, уже давно стоящий вне истории, почти уже не город, а только знак, нечто музейное, неподвижно застывшее под мертвым колпаком почтения. А пройдет еще несколько этих необыкновенных дней, и смотришь: уже показались аэропланы над Иерусалимом, в Гефсиманский сад брошена бомба, пулеметы «работают» на плоских кровлях, где еще хранятся незримые следы божественных ступней, у Кедронского потока кавалерия поит коней. Рассеются ли чары воспоминаний? Кто окажется сильнее: жужжащая ли современность в виде стремительного аэроплана — или великие образы минувшего, тысячи лет молчаливо царящие над тихой колыбелью христианства?

И снова появились «неверные», гортанным кличем зовут к священной войне, воскрешают все те же прошедшие времена. Как будто не достаточно было одних германцев в их христианском домино, чтобы всему миру сделать ясным смысл похода: красно-кровавою чертою подчеркнул их Ислам, красными фесками украсил головы «белокурых бестий». И это настоящая правда, что нет у турок лучшего друга, нежели Германия; и вовсе не так смешон и глуп пронесшийся в Турции слух, что Вильгельм II, император германский, вознамерился принять Ислам: в этом немецком «вице», над которым немало посмеялись сочинившие его Миллер и Штольц, нечаянно сказалась большая и страшная мысль.

III

— На освобождение Гроба Господня! — кричали крестоносцы, садясь на корабли, чтобы плыть в неведомую лазурную даль. И то же кричали женщины и дети, без оружия, без плана, без малейшего сознания опасности и риска толпами шедшие на борьбу с сарацинами. Вера была их единственной силой, мечта — единственным оружием, — и сколько их погибло, этих мечтателей, на долгом и страшном пути, и как мало было глаз, узревших священный город всечеловеческой мечты!

— На освобождение Европы от германского милитаризма! — кричат современные крестоносцы, охваченные той же исступленной верой в близкий свет, который должен воссиять.

Восемь столетий прошло от той наивной поры до настоящих дней; все страшно изменилось по виду; другие люди, другое оружие и одежда, иные слова, иная углубленная мудрость, прошедшая сквозь сомнения и вопросы. Искусилось в знании человечество и, вооруженное крупповскими орудиями и летательными машинами, уже не так легко верит в сказки, научилось улыбаться скептически, жить и умирать без веры в другое, более осмысленное бытие. Но страдать оно не перестало, а страдая, не перестало оно и мечтать о лазурных неведомых далях, где в солнечных лучах сияет белизною «праведный город»; и взрывами своей мечты время от времени колеблет оно землю.

Но мечта иррациональна: у нее нет ни точных границ, ни твердых контуров, как и у праведного города, сияющего на горе, — кто видел план и название его улиц? И мечта шире всякой программы, ее содержание не втиснешь ни в какие формы, ее потаенного смысла не исчерпаешь целым лесом параграфов; больше настроение, чем мысль, свои цели она ставит за всеми видимыми горизонтами. Пусть крестоносцы наших дней провозглашают нечто, совсем как бы точное: «освобождение Европы от гнета германского милитаризма», — по существу своих стремлений, в ярости веры, в восторге добровольной жертвы, они ищут и ждут не меньшего, чем те, кто восемь веков назад шел безоружным на «освобождение Гроба Господня». Энтузиазм — вот то необыкновенное состояние, которым охвачены сейчас и армии и целые народы.

Где пресловутая холодность уравновешенных англичан? Где былая скаредная осторожность жизни французского мещанства? Где незыблемая, как бы навеки утвержденная, меркантильность анонимных бельгийцев? Где наша роковая нерешительность, где мнительность наша, подрывающая силы, колеблющая волю? Как факелы среди ненастной ночи, буйным огнем пылают души.

Сегодня все утро под моим окном черными на снегу толпами проходили призванные ополченцы — с пением, с свистом, с непрерывным восторженным и беспредметным ура. Чему они так рады? Почему не голосят их женщины, которые быстро семенят рядом, еле успевая за их размашистым шагом? Почему и вся улица радуется, встречая их, провожая, приветствуя и кланяясь? Но посмотрел я ближе на их побледневшие, изменившиеся лица и вижу:

лежит на них отражение света, *который должен воссиять*.

IV

И сегодня же один больной, контуженный, слабый, преждевременно поседевший офицер говорил мне с глубокой верой:

— Разве мы для корысти воюем? Нам ничего не нужно. Это война освободительная.

И у него были голубые в морщинках глаза, глаза хорошего и честного человека, и скромно белела шея за широким воротом халата, и легко можно было представить, как он дома, прежде, ласкал своих детей. Про «освободительную» войну он говорил спокойно, без волнения и готовности спорить, говорил, как про факт, который установлен твердо и давно всем известен. И я не стал его расспрашивать дальше, что разумеет он под словом «освободительная» — я знал, что все другие слова, которые он может сказать, только ослабят и уменьшат силу этого слова-звука, переведут его на какую-то плоскость, где станет оно и скучным и колючим, как фея, обратившаяся в ежа.

И я знаю, что кого бы я ни стал расспрашивать из нынешних крестоносцев, я ни от кого не получу ни вполне ясного, ни исчерпывающего ответа о целях настоящей войны, хотя ответов будет и есть множество. Возрождение Польши, война против войны, борьба с империализмом и милитаризмом, воссоздание национальных единств, борьба христианства с язычеством, культуры материальной и механической с культурой живой и духовной... да, все это входит в мечту, но не исчерпывает ее. Она шире всех формул, как бы широки они ни были, ее сияющая цель впереди

всех видимых и близких целей, ее божественной песни не передать плоскими земными словами. Кто знает? Быть может, то, к чему *сейчас* стремятся, наступит только через тысячелетия, быть может, оно есть *завершение* всего пути, — а уже тянутся к нему мириады рук, тянутся, вот-вот схватят... призрак ускользающий!

Но, исступленно веруя, взрывом мечты своей неслыханно потрясши землю, с яростью отрекаясь от вчерашнего дня, — всеми народами поднялся мир на новый крестовый поход, идет в святую землю, хочет хоть раз единый узреть усталыми глазами «праведный город», светло сияющий на высокой горе, среди далей лазурных. И либо нынче весь мир безумен, либо близок свет, который должен воссиять!

И пусть темна, встревожена, полна смятения и страхов подъятая войной Европа, пусть никто не живет, а все только ждут — мерцанием близкого света напоена вся ночь войны.

Homo

Недавно один мой знакомый, захворав, строго наказывал родственникам:

— Если я умру, то велите газетчику, чтобы он носил газеты на кладбище. Пусть носит и вечерние, а то, хоть и вечером, но едва ли меня пустят на Невский. Время такое, что я не могу без известий.

Да, время такое — удивительное время, когда сама смерть страшна лишь как прекращение подписки на газету. Что делается! Что делается на свете!

Давно ли был тот необыкновенный день, когда человек впервые полетел на крыльях — и, затаив дыхание, с восторгом, со слезами, с трепетом смотрели на него оставшиеся на земле. Летит человек! Летит! Верить не хотели; и те, кто сам не видел, расспрашивали у видевших, правда ли, и как это происходит, и высоко ли поднимается, и похож ли на птицу... на орла, например? Да, правда; да, высоко поднимается, едва глазом видно; да, похож на птицу и скоро будет занесен в орнитологию, как homo volans*. Недавно только homo sapiens, теперь уж и volans, как поднимается в цене старый homo!

Тысячи тысяч лет неистово завидовал человек птицам, тысячи лет, бескрылый, стоял на берегу голубой бездны, откуда светит солнце, и безнадежно, как проклятый, мечтал о неизведанных просторах. Это не была мечта одного или двух, это не был романтический порыв нескольких — это была мечта всего человечества, категорическое требование его венценосного духа. Стоящий во главе всего звериного рода, самый сильный, самый смелый, самый добрый и самый злой, самый великодушный и самый хищный, первый в лесу и первый на море — мог ли человек успокоиться, пока не станет шефом и всех крылатых армий, начиная с орла и кончая мотыльком? Иначе его мог оскорбить безнаказанно всякий воробей.

И вот он — полетел. Это было недавно, почти на днях, и все мы помним и чувство гордости нашей и большого страха, огромного беспокойства и тревоги: ведь такой маленький, такой хлипкий и почти что жалкий оказался homo volans среди воздушных бездн, видимой границей которых являются светочи отдаленнейших звезд. Каждый

* человек летающий (*лат.*)

летящий шел как бы на смерть; так все это и знали, так и смотрели в его зачарованное лицо, когда среди европейских толп проходил он к своему «аппарату» и кланялся: *ave, Caesar, moriturus te salutat!** И ободранный уличный мальчишка, для которого его цезарской ложей служила верхушка забора, *тоже* рукоплескал обреченному: частичка народа, он знал, *чья* повелительная воля погнала человека на эту новую арену.

Откланявшись, homo летал и, полетав несколько, падал. Так один, так и другой, и сотый: летал — и падал, разбиваясь насмерть. Ломались крылышки, что-то случалось неладное с хвостом, или вдруг переставало биться бензиновое сердце машины — и homo падал. Сурово встретил его воздушный океан и без милосердия единым дыханием опрокидывал игрушку; и трепетно было смотреть на одинокого «homo volans», когда спокойный ветер жестоко и опасно кренил всю его непрочную икаровскую механику — невольно тянулись кверху руки, чтобы заклясть природу.

И если бы в эту опасную минуту — вы представьте это! — кто-нибудь из земных взял дальнобойное ружье и, внимательно прицелившись, — вы можете представить это? — выстрелил в летящего, когда он борется с ветром; или привезли бы на поле огромную, стоймя стоящую пушку и деловито навели ее на одинокого в небе... то что бы это было? Слов бы не нашлось, чтобы заклеймить такой невероятный поступок, не выдержали бы такого зрелища ни сердце, ни сознание. Впервые поднялся ребенок на ножки и пошатываясь делает первые очаровательные шажки, и замирает сердце родителей — и вдруг — что-то огромное и страшное, грузовой автомобиль, примерно, — нарочно наезжает на него, чтобы раздавить, смять, уничтожить... Ужасно!

Но вдруг — вы представьте и это! — летящий с легкостью голубя-турмана кувырнулся в воздухе и расправился в нем еще шире и свободнее; и плавно закружил над головами; и что-то бросил... и дрогнуло все внизу от громоподобного взрыва, звенят какие-то стекла, чей-то стон и вопли, дым, огонь — убийство! И это сделал он — невинный младенец на нетвердых ножках, юнейший homo volans. Ужасно, непонятно и фантастично, как сон.

Да, — а именно это и делается сейчас, и называется оно войной в воздухе, воздушным сражением, или еще проще: воздушной разведкой, обыденным явлением, малозначительной подробностью, для которой привычный человек не трудится и глаз поднимать. Перепутались и передрались и homo sapiens и homo volans, стреляют, изобретают, убивают, падают.

И в том, что *такое* явление может казаться обыденным и трактоваться зауряд, — и заключается необыкновенность и огромность нашего времени, его текущих дней. Не успев взлететь, уже вступил в воздушную войну человек; еще только вчера сам себя едва державший в воздухе и покорно падавший при первой случайности, сегодня он полным хозяином летает под градом пуль и шрапнелей, дерется, разрушает города, грозит Лондону и Парижу, бросает вниз насмешливо вызывающие записочки... способен заниматься даже пустяками. Удивительное время, когда вдруг всеми своими гранями засверкал старый homo, по всем предметам сразу держит мировой экзамен: и на злобу, и на великодушие, и на смелость, и на ум — homo sapiens, homo volans, — первый в лесу, первый на море... первый в воздухе! Старый чудесный *homo*, самый загадочный и великолепный из всех зверей мира!

---

* славься, Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя! (*лат.*)

И сейчас на мгновение я перестану быть стороной воюющей: ведь дерутся только виды, а род наш один, под одной фамилией *«человека»* известны мы не только далекому Марсу, но и простой дворовой собаке. И, как член рода, я во всем и навсегда разделяю его судьбу, плачу его долги, получаю по его счетам, с ним живу и с ним погибну в последний день земли. Одна у нас совесть, одна и честь — не по личности и не по виду, а по всему роду будут судить на Страшном Суде. Когда немцы совершают гнусности, то это плохо не для одних немцев: всю фамилию *человека* позорят их дурные поступки; по Лувену *все человечество* должно надеть траур и покаянную одежду, и никто не смеет отговариваться, что он лично не участвовал в разрушении и даже противился ему.

Но и доблестное, что совершается теперь, должно восприниматься всеми нами как наша *общая* гордость, кто бы его ни свершал — турок, англичанин или немец. Не умаляйте доблести врага и радуйтесь ей, держите высоко честь старой и знатной фамилии *homo*.

И меня несказанно восхищает великолепная смелость молодого homo volans, юнейшего шефа всех крылатых армий. Обычно невысокий по своему земному чину — поручик, лейтенант, просто механик и солдат, он летает «с поручениями» так просто и спокойно, как если бы действительно он родился птицей. Вокруг него — головокруженье пустоты, провал, бездонность, облака и птицы; под ним — вражеская земля, и каждый дымок на ней — это выстрел, направленный в него: не ласкою и приветом, а огнем и пулями дышит на него земля. И он летит, как лесная птица под выстрелами тысяч охотников, уходит выше, ломает линию пути, чтоб обмануть, — а сам смотрит своими глазами «homo sapiens», фотографирует, рисует, запоминает, изучает. Нет здесь ни соблазнительных рекордов, ни призов, ни веющих флагами восторженных трибун; ничей дружеский и любовный взгляд не провожает его и не умоляет небо быть милостивым к дорогому homo volans, — один он совершенно. Вокруг — головокруженье пустоты, весь видимый мир, земля и небо, жаждут его смерти, все враждебно и напряжено... а ведь у этой птицы человеческое сердце. Что же это за сила — старый *homo*? Где границы его смелости? Где конец его вызовам на бой — есть ли враг во вселенной, кому он не бросил бы перчатку?

Вон что-то показалось... летит навстречу... А, это другой homo volans. Сейчас они подерутся в воздухе, будут кружить, забираться выше, целиться и стрелять, стреляющие птицы. А не то просто налетит один на другого, как наш Нестеров, и оба грохнутся наземь, ибо эта стреляющая фантастическая птица презирает смерть, зная что-то высшее, чем она.

Большой пробел есть в нашей космографии: неизвестна дорога в ад и вообще точное его местоположение. А будь оно известно — homo так же регулярно, с сигарой в зубах, путешествовал бы в ад и жарился на его адских огнях, как теперь шатается он по Ривьере — или мерзнет на полюсах — или «летает» под выстрелами. То, что из *ада* возврата нет, не многих бы смутило.

Вот он каков, старый великолепный *homo* — первый в небе и первый в аду!

VI
Восхождение
‹I›

Есть два новых факта в русской жизни, таких радостных и чудесных, что на них страшно даже останавливаться мыслью: так они похожи на призрак, на сказку, на сонную прекрасную грезу, которая может разлететься прахом при первых лучах туманного рассвета. И первый факт-призрак — это внезапное отрезвление России, явление, вся грандиозность которого ничьим, кажется, еще не охвачена взглядом. Да и как объять необъятное?!

Стал трезвым народ, «веселие которого пити» — мрачное веселие, полное крови, слез, бабьего и детского крика, грязи и невыносимого стыда; народ, который в год пропивал миллиард рублей и ровно на столько же приобретал страданий; народ, литература которого на добрую треть посвящена водке и пьяным; народ, на Сенной площади потерявший Помяловского. Одной этой страшной жертвы достаточно, чтобы проклясть сивуху, как проклинал ее в жгучих страданиях сам Помяловский, — а сколько еще, а сколько еще?! Трудно найти человека среди наших полутораста миллионов, чья личная жизнь так или иначе не была бы отравлена сивухой: либо сам пил, либо отец, либо дети, кто-нибудь из близких, из друзей; проклятый круг, ужасающая безысходность!

Благословенно все то, что углубляет жизнь, просветляет сознание, поднимает ум и чувство на новую высоту. Жизнь как гора, где с каждым новым шагом в высоту открываются новые дали, светлейшие горизонты, прозрачнейшее небо. И есть высокий пояс, чудесный пояс, высоко над низинами земли, где теряется разница между страданием и радостью и оба они гармонически сливаются в одно мощное чувство полета, окрыленной высоты. И если вино еще способно иногда родить вдохновение, если есть счастливые души, которые окрыляются им, — то наша родная сивуха обескрыливает даже орлов, дурманит самое ясное сознание, держит пленный дух в мрачных пропастях и провалах. Она возвращает человека к хаосу, она ввергает его душу в ад; помутившийся разум бессильно трепещет и содрогается среди ужаснейших кошмаров, чудовищных грез, диких и нелепых призраков, томительных, как бесконечный бред сумасшедшего. Наш пьяный всегда сумасшедший, смеется ли он или плачет, целуется или дерется; и оттого он одновременно всегда отвратителен и страшен. Если вино, понижая моральное чувство (а оно *всегда* делает это), еще способно повышать деятельность интеллекта, то сивуха убивает и нравственность и ум. Один за другим рушатся моральные устои, воздвигнутые тысячелетними усилиями очеловечиться, по нисходящим ступеням человек быстро спускается в потемки зверства, в мутную темь скотства: над развалинами храма уродливыми и страшными образами вырастают инстинкты пола и разрушения, гримасничают чудовищные хари, к чьему-то горлу тянутся хищные пальцы. А ум? Разорванный на клочки, как облака ветром, сгустками, туманом проносится в высоте, обрывками мыслей дает хаосу вид жизни, лжет, обманывает, теряется — иногда вопит в ужасе мгновенного просветления.

Но вот приходит утро, наступает отрезвление после мучительного сна, и начинается страшная работа совести, нашей русской совести, самой жестокой и непри-

миримой среди ее европейских подруг. Наказание идет следом за преступлением, вместо европейской Катцен-яммер, боли физической, начинается боль души, мучительное раскаяние, почти всегда близкое к отчаянию. От пароксизма безумия к пароксизму отчаяния — вот обычный путь русского пьяницы; сплошной надрыв, сплошная безбожная чепуха, в которой нет ни начала, ни конца, ибо отчаяние снова заливается сивухой, а сивуха снова родит отчаяние и сосущую тоску. И нет в этих страданиях ничего творческого — так, одна жестокая бессмыслица: бегает человек по огненному кругу, как на корде, пока не смилостивится смерть и не ввалит с размаху в могильную яму. А не пить дальше, раз начал, удержаться, остановиться, дать зарок, — где найдешь такую волю?

Характерная наша черта: в противуположность самодовольному — о, слишком самодовольному — германцу русской человек всегда чего-то стыдится. В этом хорошего мало: стыд понижает жизнеспособность, ослабляет силы, он противуположен не только глупому и мещанскому самодовольству, но и чувству самоуважения, честной гордости, без которых немыслимо никакое творчество. И мне кажется, что одна из главнейших причин нашего самоубийственного стыда — все эта же проклятая сивуха со всеми ее исчадьями, вечный дурман и грязь, после которых воистину зазорно смотреть на свет Божий. Какое тут самоуважение, когда на улицу, бывало, выйти жутко... когда, случалось, и среди интеллигентнейших россиян чувствуешь себя не то как на скотном дворе, не то в буйном отделении желтого дома.

Отрезвить пьяную Россию — это как бы сызнова сотворить ее, это вдохнуть в ее огромное и безалаберное тело такую необъятную мощь, такую светлую, животворную и необъятную силу, перед которой ничтожными пустяками, накожной болезнью, чесоткой от грязи, кажутся все другие ее беды. Отрезвить пьяную Россию — это всему цивилизованному миру принести драгоценнейший дар: могучего союзника в его высоких устремлениях и целях, светлую богоносную душу, цены которой мы и сами еще не знаем. А какая это будет радость и нам, и всем добрым людям, когда улыбнется *печальный Гений России*!

И оттого так трудно верить, что это случилось, что это началось... так страшно думать! У великого Бога земли Русской велик и его антипод — Дьявол земли Русской, страшно это!

II

И хотя второе чудо наше и радость наша фактически не связаны ничем с отрезвлением России; находится как бы в другом плане, зачалось и родилось в иной действенной области, — для меня мистически соединяются воедино: трезвая Россия и свободная Польша, для которой осуществилась «мечта ее дедов и прадедов». Разве это не первая улыбка печального гения России — Польша, открывающая нам свои объятия, доверчиво, как у груди матери, ищущая защиты у серого солдата-мужика, прижимающая свое прекрасное лицо к его шершавому солдатскому сукну?

Ведь надо знать, как *мы* мучились неразрешимым «польским вопросом», чтобы понять нашу радость... скажу без преувеличения, что сами поляки едва ли могут радоваться так, как мы. Не велико удовольствие: ходить потупив глаза, чтобы не встретить укоризненного взгляда, притворяться глухим, чтобы не услышать рокового во-

проса, мычать, как немому, чтобы уклониться от бессильного и кривого ответа, — а сколько этого удовольствия испытывали мы по отношению к полякам! И снова тот же стыд, что и от совести помрачающей сивухи, настойчивое, обессиливающее, прискорбное неуважение к себе.

Но здесь я невольно умолкаю и опускаю глаза. Если уже выходит из могилы Лазарь, трехдневный мертвец, обвитый пеленами, то тем печальнее кажутся другие, еще не раскрывшиеся могилы. И пока я их вижу, я не могу смотреть прямо в глаза; и пока я слышу стоны заживо погребенных, я хочу быть глух — и я буду им. Ибо, что отвечу я вопрошающим?

Под широким небом России так много места всем. Прекрасная страна добрых, трезвых и сильных людей не должна бояться призраков, хотя бы и освященных тысячелетней давностью. Освободительница угнетенных народов, какою ныне признала и уважает ее Европа, Россия должна признать своими родными детьми всех тех, кто кровью своею щедро утучняет ее поля, кто жизнью своею служит ее могуществу и славе. Так много места всем под широким небом России!

Освобождение

I

В московских газетах опубликован протест «писателей, художников и артистов» против вандализма германцев[1]. Подписанный уважаемыми именами, этот документ должен был бы иметь большое, даже историческое значение, как голос избранных людей, неподкупных стражей совести и достоинства народного. Если в обычное

---

[1] ОТ ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ И АРТИСТОВ

К родине и ко всему цивилизованному миру обращаем мы наш голос.

То, чему долго отказывались верить сердце и разум, стало, к великому стыду за человека, непреложным: каждый новый день приносит новые страшные доказательства жестокостей и вандализма, творимых германцами, в той кровавой брани народов, свидетелями которой суждено нам быть, в том братоубийстве, что безумно вызвано самими же германцами ради несбыточной надежды владычествовать в мире насилием, возлагая на весы мирового правосудия только меч. Мнится, что, забыв свое славное прошлое, возвращается Германия к алтарям тех жестоких национальных богов, для победы над которыми воплощался на земли Единый Милосердный Бог. Войска же ее как бы взяли на себя низкую обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке, что даже народы, идущие во главе цивилизующихся народов, легко могут, дав свободу злой воле, уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что пятнадцать веков тому назад раздавили своей тяжкой пятой античное наследие: как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди; и те, из уст которых так тяжко вырывается клич в честь своего преступного повелителя, чинят, одолевая, несказанные мучительства и бесчестие над беззащитными, над стариками и женщинами, над пленными и ранеными. Пусть же впишутся в Книгу Судеб злодеяния эти неизгладимыми письменами. И да внушат они нам только одно страстное желание вырвать из варварских рук оружие, навсегда лишить Германию той грубой мощи, на достижение которой устремила она все свои помыслы. Уже прорастает широко брошенное ее рукой семя национальной гордыни и ненависти; пламенем может перекинуться ожесточение к другим народам. И громко раздадутся тогда голоса ослепленных гневом, — голоса требующих мести и отрекающихся даже от всего великого и прекрасного, что было создано гением Германии на радость и достояние всего человечества. Но заставим себя помнить гибельность таких путей: ибо тот черный грех, которым покрыла себя Германия, обнажая меч, и то зверское, что дозволила она себе в опьянении борьбы, есть неизбежное следствие мрака, в который добровольно вступила она, ныне поощряемая даже своими поэтами, учеными, вождями общественными и политическими. Противники ее, несущие народам мир и освобождение, воистину должны быть руководимы лишь священными чувствами!

мирное время такой коллективный голос редко выходит за пределы родной страны и обладает значительностью «события внутреннего», то теперь, когда каждое из борющихся государств представляет собою как бы единое лицо, он приобретает характер и значение факта международного, далеко выходящего за границы России. Ведь не самих же себя, не русских только, хотят убедить писатели в вандализме германцев, а желают естественно в протесте своем миру предоставить суд над позорными деяниями, перед миром выражают чувство своего негодования. Так же поступают с своей стороны и германцы: и их известное заявление-протест, подписанное также писателями и учеными, рассчитано на широкое международное распространение и такое же влияние.

К сожалению, опубликованный протест едва ли может достигнуть столь важной цели и в силе своей не соответствует важности задачи. Причины этого кроются и в содержании его и в форме, решительно неудачной. Написанный языком вялым, мало похожим даже на обычный язык сильной русской литературы, составленный в выражениях неопределенных и даже темных, не сразу и не совсем понятных, полный какой-то внутренней нерешительности, он прискорбно напоминает обычные решения наших интеллигентских третейских судов, где судьи, в своем мягкосердечии, больше всего стараются о том, как бы не обидеть ни той, ни другой стороны. Очень возможно, что такая форма является отчасти вынужденной: естественное желание собрать больше подписей, и притом людей, далеко не одинаково мыслящих, заставило составителей смягчить весь тон, сгладить резкие углы и самый коренной смысл заявления разбить на несколько частных и порой даже противоречивых смыслов. Однако если это так, то приходится пожалеть дважды: и о напрасном труде составителей, и о том, что даже в оценке настоящей войны, со всеми сопутствующими ей явлениями, <такими> как вандализм немцев, все же находится достаточное число разномыслящих в самой среде руководителей общественной мыслью, в среде наиболее правомочных представителей народной совести нашей. Кстати, я не заметил, чтобы петроградские газеты перепечатали указанный протест; судя по этому печальному признаку, едва ли протест дойдет до заграницы, — тем более что в переводе может окончательно затемниться и без того достаточно неясный смысл заявления (протестом называю его я, а в подлинном он вовсе не имеет определяющего заглавия, именуясь просто «От писателей, художников и артистов»).

Я очень извиняюсь перед уважаемыми товарищами-литераторами, подписавшими заявление, за эту мою невольную и запоздалую критику, бесплодную и отчасти даже вредную по отношению к совершившемуся факту; и только важность переживаемых событий и то чувство ответственности, которое я испытываю наравне с остальными, позволяет мне выступить с отдельным мнением, которое в некоторых частях даже совпадает с мыслями их общего заявления.

Так, я всецело и без колебаний присоединяюсь к первой части заявления, где выражено возмущение «жестокостями и вандализмом» германцев, — но уже в этой первой фразе я натыкаюсь на слово, которое, на мой взгляд, совершенно не соответствует правде переживаемого. Там сказано: «...творимых германцами в той кровавой брани народов, *свидетелями* которой суждено нам быть». Когда весь наш народ волею судеб призван к ужасному бранному делу, когда десятки и сотни тысяч на-

ших сограждан гибнут в невыносимых страданиях на полях бесконечно длительных битв, — мы, русские писатели, художники и артисты, не можем быть только свидетелями: мы всем сердцем нашим, нашим страданием и болью, всей нашей мыслью и душой являемся *участниками* происходящего. И это отнюдь не придирка к неудачному слову: к сожалению, тон именно свидетельства слишком характерно выражен в дальнейшем тексте заявления.

Так, утрированным бескорыстием *свидетеля* звучат эти странные слова: «Уже прорастает широко брошенное ее (Германии) рукой семя национальной гордыни и ненависти; пламенем может перекинуться ожесточение к другим народам. И громко раздадутся тогда голоса ослепленных гневом — голоса требующих мести и отрекающихся даже от всего великого и прекрасного, что было создано гением Германии на радость и достояние всего человечества».

На какие народы, куда пламенем может перекинуться «уже прорастающее семя национальной гордыни и ненависти», как намекает заявление? Кто это уже загорается национальной гордыней и ненавистью: французы, бельгийцы, поляки или мы, русские? И против кого, собственно, тогда этот протест: против германцев, которые разрушили Лувен, или против французов, бельгийцев, нас самих, которые пока еще ничего не разрушили, да и не собираются разрушать? Дальнейшие слова заявления гласят: «Но заставим себя помнить гибельность таких путей...» — очевидно, речь в значительной степени идет о нас самих: направленный против германцев, протест непонятным образом повернулся против самих протестующих, и голос возмущения превратился в шепот страха за самих себя, недоверия к собственной культурности. Странное недоверие! Странная двойственность обоюдоострого протеста, одной рукой поражающего несомненно виновных германцев, а другую руку поднимающего против ни в чем не повинных друзей и самих себя! А что это за робкие слова обо «всем великом и прекрасном, что было создано гением Германии на радость и достояние всего человечества»?

В то время, когда вся радикальная часть действующей и мыслящей Европы идет на ратное поле как на священный подвиг за мир и свободу народов; когда непримиримый антимилитарист Эрве с улыбкой готов послушать «тщеславную песню старого галльского петуха»; когда социалист-министр Вандервельде со слезами собирает документальный материал, свидетельствующий о бесчестии германских войск; когда маститый и глубокочтимый П. Кропоткин называет войну «освободительной» и считает несомненным, что торжество Германии «принесет Европе новое и еще более суровое порабощение»; когда французские синдикалисты уже разоблачили всю двойственность, моральное и идейное бессилие и прусскую сущность германского социализма, — в это самое время русские писатели, художники и артисты с бесконечными колебаниями и грустной нерешительностью что-то говорят о «широко прорастающем семени национальной вражды и ненависти», пламя которых «может перекинуться и на другие народы», трогательно заботятся о «гении Германии», совершенно умалчивая о том, что и у французского народа, и у нашего, и у бельгийского и т. д. также есть свой гений, создавший немало прекрасного и великого. Вместо ясного, твердого и смелого утверждения нашей *воли* к войне и победе над реакционной Германией, свинцовым грузом вот уже десятки лет лежавшей и на на-

шей свободе, писатели, художники и артисты в своем воззвании к «родине и всему цивилизованному миру» дают что-то половинчатое и бессильно-интеллигентское, сложившееся под множеством противоречивых влияний. Еще раз: я глубоко убежден, что многие из подписавшихся думали и чувствовали гораздо больше, сильнее и ярче, чем это дано в заявлении, имеющем, помимо прочего, характер некоторой случайности, — но оно является фактом, с которым все мы вынуждены считаться. И поскольку и мой голос, как немолодого уже писателя, является важным наряду с другими голосами, я зову отнюдь не к раздору, не к разъединению сил, а, наоборот, к вящему их и крепчайшему соединению в борьбе за наше общее благо и священную цель: человечность.

II

И прежде всего, к гордости нашей, я не вижу решительно никаких оснований опасаться, чтобы мы, в России, ослепленные гневом или ненавистью, когда-либо «отреклись от всего великого и прекрасного, что было создано гением Германии». Те обычные при всякой войне отрицательные явления, как крикливый патриотический лубок, травля отдельных немецких подданных[1], отказ (да и то временный) ставить пьесы немецких авторов, — имеют значение поистине ничтожное и остаются на низинах нашей жизни; да и тут надо быть справедливым к себе и сказать по чистой совести, что даже такие проявления духа слепого и темного в этот раз чрезвычайно редки и малозначительны. Важно отметить, что наша архаически-реакционная печать, которая обычно и бывала создательницей патриотического неприличия и диковоинственного шума, в этот раз не без основания настроена против войны и гораздо даже более, чем мы, заботится о германском гении, горькими слезами оплакивает Вильгельма, которому хоть и удалось разрушить «жидовский Лувен», но дальше идти не даст все тот же «жидовский кагал». Сейчас не настолько хороша погода, чтобы подробнее выяснить всю важность и значительность этого факта; важно лишь то, что с низов нам не приходится ожидать отречения от даров германского гения, а скорее наоборот: излишнего их утверждения. Что же касается интеллигенции нашей, то мне кажется смешною сама мысль о том, чтобы когда-нибудь мы отреклись от даров немецкого гения, разлюбили Шиллера, перестали читать Канта и Шопенгауэра, забыли Лассаля и Маркса и в печку выбросили Гёте. При самом сильном напряжении фантазии невозможно вообразить русского музыканта, который отказался бы от Вагнера, русского социолога, мыслителя, философа или практического общественного деятеля, который пренебрег бы колоссальным идейным опытом, накопленным Германией. Это просто невозможно. Но даже и найдись такой, в виде разительного исключения, он не мог бы осуществить своего отказа, не разрушив тем самым всей своей личности: дары германского гения уже давно поглощены нами, вошли в нашу кровь и плоть, организовались, стали нашей *наследственностью*.

Ибо наша настоящая русская гордость заключается в том, что мы, по счастью, умеем ценить, любить и почитать все великое и прекрасное, под какими бы широта-

[1] К числу наиболее отвратительных явлений такого порядка относятся погромы германских магазинов, имевшие место в Англии и, на днях, у нас в Москве; но и здесь дело не в «германском гении», а в том, что доселе ни один еще народ не избавлен от позора — иметь свою умственную и моральную чернь.

ми и в каком бы народе оно ни родилось. Начиная с призыва варягов и Владимира, искавшего за морем лучшую веру для своего народа, продолжая Великим Петром и поднесь — Россия с ненасытимой жадностью зовет к себе учителей изо всех стран, с радостью приветствует всякий талант, который может ей хоть что-нибудь дать, широко раскрывается для идеи. И естественно, что старый и богатый Запад, сам вскормленный молоком Рима и Греции, корни своей мощной культуры скрывающий в неисследимой глубине прошлого, стал для нас неиссякаемой сокровищницей идейного, тысячелетиями накопленного опыта.

Но если Европа, по слову Достоевского, является для нас второй и даже первой родиной, то для идеи Европы Россия давно уже стала вторым отечеством, порою лучшим, чем первое, — подобно Америке для эмигрантов. Нигде так хорошо не живется идее, нигде она не имеет столь страстных прозелитов, как у нас; и на каком бы языке ни начал говорить писатель и философ, он очень быстро становится русским, переживается нами с болью и трепетом, занимает почетное место в божнице.

Нынешней весной мне пришлось слышать жалобы в Риме, что при наличности своей довольно бедной текущей литературы, итальянцы совсем не переводят и не знают не только нас, русских, но и англичан, и французов, и немцев. Те же жалобы слышал я много лет назад и в Берлине, хотя и не в столь резкой форме; последнее же время, как известно, сами немцы жалуются на другое: на засилье в Германии русской литературы, что воистину смешно и может свидетельствовать только об ихней нетерпимости: переведено в Германии ничтожное количество русских произведений. Но и Франция, и Англия, и Америка также мало переводят у себя иностранцев, довольствуясь собственной литературой, что далеко не всегда оправдывается ее настоящим состоянием.

И конечно, они от этого теряют, ибо теряет всякий, кто не *знает*. Варясь в собственном соку, не расширяя сферы чувственного и идейного опыта введением новых и расово чуждых элементов, женясь, так сказать, на кровных, — они суживают свое миросозерцание и мироощущение, а *национальное свое сгущают* порой до степени уродства, чему пример та же самодовлеющая и ограниченная Германия.

Как известно, германцы мечтают в лице своем возродить могучую Римскую империю, и в этой романтической мечте своей черпают даже особые силы. Но они забыли, что одним из древнейших зданий Рима является *Пантеон*, что у широко смотревших римлян, наряду с их римской идеей, существовал и алтарь «неведомому богу». И им не удастся стать новым Римом, пока место Пантеона у них занимает Аллея Побед и алтари ставятся только Бранденбургским Курфюрстам. Излишек национально-сгущенного самочувствия хорош только при защите, когда слабому приходится отстаивать свою самобытность перед лицом сильнейшего, но при нападении с широкими целями он вреден.

При этих условиях опасаться, что мы когда-нибудь можем отречься от даров немецкого гения, повторяю, нет никаких оснований. Можно почти с уверенностью сказать, что ни один народ не обладает даром такого совершенного *понимания* красоты и величия, как русский, такой широтой и *свободой* восприятия, не связанного мелкими национальными или иными чувствами. В этом наше богатство; этим свойством нашим объясняется и тот необыкновенно быстрый рост России за последнее

столетие, которого мы сами как будто не замечаем и не ценим единственно по скромности. Отсталые во многих других отношениях (что мы и сами хорошо знаем), — в области духовной культуры мы достойны идти рука об руку с наиболее передовыми народами света; и никаким силам реакции никогда не удастся втиснуть наш свободный и широкий дух в узкое русло национализма с его ужасной нетерпимостью и подменой высокого солнца, для всех равно сияющего, местными фонариками.

И совершенно излишне, как то сделано в воззвании писателей, художников и артистов, — «напоминать гибельность таких путей»; наш путь намечен давно, и колеи его так глубоки, что не случайностям даже мировой войны стереть и загладить их.

III

И как мы не откажемся от Шиллера, — раньше германцы сделают это, — так не сделаемся мы шовинистами и милитаристами, каков бы ни был исход войны. И в этом отношении некоторый страх воззвания, что «пламенем может перекинуться ожесточение к другим народам», и напоминание «гибельности такого пути» мне представляются необоснованными, вызванными не столько реальными объективными причинами, сколько субъективным настроением людей, несвоевременно занявших свидетельскую скамью.

Стоит даже только поверхностно оглянуться на пройденный нами исторический путь, чтобы убедиться […] русского народа для культа милитаризма […]. Наше воинство всегда имело ограниченно деловой и рабочий характер, были ли это стрельцы Грозного или даже по прусскому образцу («гений Германии») обученные и сорганизованные солдаты Павла Первого; с развитием же в России гражданственности и с осуществлением всеобщей воинской повинности, […] славная армия наша стала лишь частью по необходимости вооруженного народа. [Специфический «воинский дух», самодовлеющее горение на алтаре Марса,] […] [гордое самоуслаждение и самообожание, какое находим мы в германской армии, всегда были чужды русскому воинству.

Когда я вижу на улице Берлина только трех солдат, марширующих со смаком и необыкновенной энергией, или трех таких же офицеров, гуляющих по Тиргартену и среди дружеской беседы не теряющих всей строгости прусского равнения, они дают мне больше чувства войны, чем целый корпус наших солдат, проходящих по Москве или Петрограду.] Нельзя объяснить, не нарисовав, в чем тут особенность: она во всем жреческом облике прусских героев, точно в каждую минуту предстоящих богу войны и крови, она в самом воздухе Берлина, в мрачном виде его марширующих домов и стратегически распланированных улиц. Там — это каста, там это избранные, красота для красоты, искусство для искусства. Они не часть народа, как в России, а весь народ только материал для них, стремя для их ноги. Там частное поглощает целое, армия покрывает народ.

И этой связью нашей армии с народом как с целым многое объясняется в истории наших неудачных и удачных, как настоящая, войн. [Если германец еще со времен ландскнехтов готов драться и убивать кого угодно, не доискиваясь причин и поводов, то у нас только «народные» войны, понятные если не разуму, то чувству народа, ведут наши войска к победе и вскрывают в них такую силу, такое несокрушимое упорство, такую высокую доблесть, перед которой с недоумением останавливаются

противники, обманутые нашими неудачами в какую-нибудь японскую войну.] Войска как будто те же и все то же, с той лишь невыгодной разницей, что противник гораздо сильнее и страшней, а эффект совсем другой, весьма неожиданный. Но неожиданный для них, которые так мало нас знают, он не должен удивлять нас: мало пригодные для авантюр [и милитаристских наскоков,— для войны с высшими целями], наши войска обладают *всею* силою и доблестью народа.

И ожидать, что ожесточение и ненависть перекинутся к нам, что волна безудержного прусского милитаризма может подхватить и нас, — нет никаких оснований, кроме излишнего недоверия к себе и своим далеко еще не испробованным силам. Те же всем известные отклонения от начертанной мною схемы, которыми достаточно обильно наше далекое и недавнее прошлое, в значительной степени навязаны и нам извне и родиной своей — как это ни странно — имеют все ту же Германию, с которой ныне так мужественно и самоотверженно борется Россия. И вовсе не надо нам, писателям, брать под свою высокую руку и охрану «гений Германии», с его великим и прекрасным. Поскольку он действительно гений, он не нуждается ни в чьей защите и предстательстве, а наоборот, сам защищает нас, устами Гейне, Шиллера поддерживая нас в борьбе с теперешней Германией; а поскольку его истинная сущность искажена иными многообразными проявлениями германского ума, силы и таланта — нам надлежит подвергнуть его серьезной, основательной, вдумчивой и честной проверке и без дальнейших колебаний отделить пшеницу от плевел.

Это следовало сделать уже давно, а теперь, когда Россия вступает в новую историческую фазу существования, это сделать необходимо... Да, я понимаю тот честный страх, который могут вызвать мои слова, и сам отчасти разделяю его. Действительно, до самого последнего времени борьба в России за нашу самобытность носила чрезвычайно непривлекательный характер и даже в самых честных руках вскоре превращалась в орудие реакции и порабощения слабейших; и очень страшно при таких условиях вступать в борьбу с германизмом, предчувствуя, что нежелательные союзники очень быстро исказят и загадят смысл наших поступков и на место необходимой переоценки ценностей подставят глупейшую «германофобию». Но — условия меняются с каждым днем, мы это видим. А затем — в данном случае мы будем иметь дело не с слабейшим, не с тем, зависимое и бесправное положение которого должно удерживать на наших устах даже самые справедливые упреки: нет, мы имеем и будем иметь дело с [сильнейшим и уже во всяком случае] равносильным.

И как в войне с Германией мы являемся стороной обороняющейся, а не нападающей, так и здесь, в борьбе с германизмом, задача наша ограничивается самообороной, *возвращением духа нашего в его естественные границы*, восстановлением тех особенностей нашей души, мышления и жизни, морали и эстетики, политики и общественности, на которых с давних пор лежит тяжелое ярмо пруссачества. Ведь если про Германию говорят немецкие мыслители, что в последние годы она подверглась «опруссению», то с не меньшим правом это может быть сказано и про Россию, ее ближайшую соседку, ее материальный, идейный и политический рынок.

Работа предстоит огромная, и только при высочайшем напряжении всех духовных сил страны она может быть приведена к надлежащему концу. Дело не в криках, как бы громки они ни были, не в язвительных насмешках, не в бойкоте всех немец-

ких фамилий и немецких мыслей — [все это вредные пустяки, которые кончатся вместе с войной.] Необходим вдумчивый, спокойный и честный анализ всех отправлений нашей жизни, начиная со школы, построенной вовсе не по классическому, а чисто прусскому образцу, и кончая самой манерой нашей мыслить и чувствовать; начиная с бюрократии нашей и кончая нашими способами ведения общественной борьбы. Ибо, поистине, мы сами не знаем той границы, где кончается давнишнее, вековое опруссение русской жизни и русского духа.

Как наши аракчеевские военные поселения вовсе не были изобретением русского ума, а пришли к нам из Германии и явились как бы прообразом и предчувствием того, во что должна будет превратиться сама Германия, — так и многие другие отвратительные стороны нашей жизни представляются мне заимствованными из того же мутного источника. Всякие наши «анти» и «фобии», [страстное обожание дисциплины,] от которого порою не могут уйти даже свободнейшие, постоянные попытки начала живой жизни подменить началами механическими, разрушение сложной личности и сведение ее к узкой абстракции, [пышный расцвет полицейских начал —] все это в значительной степени данайские дары «германского гения», принятого вовнутрь целиком. Превосходные мыслители, но очень плохие психологи, единственные в мире логики, но не провидцы, не художники, не пророки, — они самый мир живых идей подчинили железной армейской дисциплине и табель о рангах ввели в философию. Не это ли имел в виду Роллан, когда бросил крылатое слово о «милитаризации интеллектуальной сферы»?

Когда началась война и печать всего мира заговорила о Вильгельме, я невольно вспомнил щедринского Угрюм-Бурчеева и с тех пор не могу отделаться от этого образа. Это он, с его стеклянным невидящим взором и непреклонным идеализмом, дико отрицающий реальный мир с его живыми силами; это он, решивший остановить течение реки, разъяренный, обиженный, не понимающий, почему не останавливается река; это он, Аракчеев, с его неописуемо тупой мечтой о военных поселениях, о человеке, превращенном в заводную куклу, о времени, претворенном в механические часы. Теперь этот же самый модернизованный Аракчеев-Вильгельм пытается с такой же яростью остановить течение всей жизни — и мы видим, сколько ужасов, сколько крови, страдания и слез принесло это человечеству.

И, протестуя в своем заявлении против вандализма и зверства германцев, писатели, художники и артисты остановились, к сожалению, на полдороге, а потом чуть ли не повернули назад: к охране того самого «гения Германии», который наряду с прекрасным создал и нынешний кровавый день. Ведь нет же на свете ничего случайного, и не может быть случайным вандализм, и зверство, и самый милитаризм, и думать иначе значило бы в самом корне подрывать наше право и способность судить о вещах. Пусть даже капитализм — но если при одинаковых условиях развития капитализма во Франции и Германии немцы зверствуют, а французы нет; если они зверствовали и вандальничали еще в 71-м году, то надо же поискать другую, не столь механически-немецкую причину. Вот в собрании религиозно-философского общества г. Эрн провел прямую линию от Канта к Круппу; я не знаю, насколько доказательна была его речь, чувствуется излишняя поспешность и резкость в его выводах, но, во всяком случае, она ставит вопрос глубже и правильнее, чем то сделали писатели в своем неудачном

заявлении. Да и сами они, упоминая о германских «поэтах, ученых, вождях общественных и политических, которые добровольно» вступили в союз с милитаризмом, невольно выводят вопрос за узкие рамки безответственной случайности.

И главной причиной неудачности заявления «от писателей, художников и артистов» является, как можно думать, то обстоятельство, что время еще не наступило для такого протеста. [Как самая] война [застала нас врасплох, так] и связанные с нею и ею возбуждаемые вопросы еще только смутно намечаются в тумане кроваво-дымных далей. Каждый день мы меняемся, сами того не замечая, и недалеко то время, когда наши же портреты, написанные с нас перед самой войной, потеряют всякое сходство и будут казаться почти карикатурой. Половинчатость и нерешительность заявления есть, несомненно, половинчатость настроений и чувств *начала войны*, когда ушедший мир так еще близок и самые новые чувства продолжают вливаться в старые мехи. Надо ждать и думать. Вопрос же об освобождении России от злых чар германизма настолько важен и серьезен, что надо много времени и спокойного труда для правильного разрешения его.

Но есть непосредственное чувство гнева, жалости и возмущения, которое не может мириться с ужасными фактами сегодняшнего дня, не хочет ждать и не нуждается в спокойствии, чтобы выразить себя. Сожжение Реймсского собора, разрушение Лувена и кровавое истребление мирных жителей, женщин, стариков и детей, волнуют всех нас до глубины души, исторгают невольный крик протеста. Но такой протест, мне кажется, может быть достаточно выражен такими немногими словами:

«Мы протестуем и выражаем наше презрение Германскому народу, который совершает бесчеловечные поступки и, совершая, *оправдывает* их; и будем презирать его до тех пор, пока он не станет *другим*, и сам, своей державной рукой, не покарает истинных виновников, заливших землю кровью, растерзавших Бельгию, отнявших у матерей детей и явивших миру неслыханные примеры гнусной жестокости».

КОММЕНТАРИИ

В сей грозный час

Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 2.

...она находится «в состоянии войны с Россией»... — Вечером 19 июля (1 августа) 1914 г. германский посол Ф. Пурталес вручил министру иностранных дел Российской империи С.Д. Сазонову официальную ноту Германии о «состоянии войны» с Россией.

...в категорических императивах догмы... — Понятие «категорического императива» сформулировано немецким философом И. Кантом в его труде «Основы метафизики нравственности» (1785).

...идеже несть печали ни воздыхания. — «...где нет ни печали, ни скорби»; из православной молитвы об умерших: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».

...кончая восторгами и кровью девяносто третьего года... — Имеется в виду год начала террора в эпоху Великой французской революции (1793).

...насаждала крупповщину... — Имеется в виду милитаризация промышленности. «Крупп» — название (по фамилии владельцев) одного из крупнейших металлургических и военнопромышленных концернов Германии.

...жарят разрывными... — Имеются в виду разрывные пули «дум-дум».

...жарят своими «чемоданами»... — «Чемодан» (разг.) — крупнокалиберный артиллерийский снаряд.

Эти ужасные немецкие крематории... — Отношение к крематориям в России того времени было в целом отрицательным в связи с православной традицией погребения мертвых в земле. Крематории стали появляться в России только после Октябрьской революции, в конце 1920-х годов; сторонники кремации были тесно связаны с Союзом воинствующим безбожников.

…снаряды разрушают реймсские соборы… — Французский город Реймс был в зоне боевых действий в течение всей Первой мировой войны. В сентябре 1914 г. в результате немецкой бомбардировки Реймсский собор сильно пострадал. По первым, сильно преувеличенным слухам, собор был тотально разрушен (см.: *Hellman B.* Реймсский собор разрушен! Об одном мотиве в русской литературе времен Первой мировой войны // Hellman B. Встречи и столкновения: Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 30–42).

...Вильгельм снова скажет о «силе нервов, которая побеждает»... — Кайзер Вильгельм II в речи к морским солдатам в 1910 г. утверждал, что победа в будущей войне будет достигнута благодаря «крепким нервам» («starke Nerven»). Эти слова он повторил в декабре 1914 г.

Наши

День. 1914. № 298 (2 нояб.). С. 3.

Пересекая площадь... — Осенью 1914 г. Андреев провел два месяца в частной лечебнице И.Л. Герзони на 5-й Рождественской улице (теперь 5-я Советская улица). Оттуда ему было видна Греческая площадь, место, где ныне стоит концертный зал «Октябрский».

Любите солдата, граждане!

Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 2 , обл. Без заголовка. Подпись: Л.А.

Торгующим в храме

Бирж. вед. 1914. № 14470 (2 нояб.). Утр. вып. С. 3.

Статья вызвала ответную реакцию македонских болгар, утверждавших, что, если бы, перед тем как написать эти «жестокие и несправедливые строки», Андреев объехал македонские города и села, отданные Греции и Сербии, и увидел бы «те ужасы, которые греки и сербы творят по отношению к македонским болгарам», он бы понял, «почему болгары не подают руки помощи сербам» ([*Б. п.*] Письмо македонцев Леониду Андрееву // Бирж. вед. 1914. № 14482 (8 нояб.). Утр. вып.). Писатель, в свою очередь, отозвался на этот отклик, упрекнув болгар в узконационалистическом мышлении (*Андреев Л.Н.* Ответ болгарам-ма-

кедонцам // Бирж. вед. 1914. № 14506 (20 нояб.). Утр. вып. С. 3). Полемика продолжалась и за пределами России: *Мишев Д., Чилингиров С.* Леониду Андрееву: Два ответа на его статью «Торгующим во храме». София, 1914.

Трензели – приспособление к удилам для сдерживания горячих лошадей.

...пока немецкие мозги и руки везли через вашу страну орудия и бомбы для турок? — 1 ноября 1914 г., после вступления в войну Османской империи, правительство Болгарии официально подтвердило свой нейтралитет. Запрос России о пропуске через территорию Болгарии транспортов с зерном для Сербии был категорически отклонен, но транспорты из Германии и Австрии следовали по территории Болгарии в Османскую империю с разрешения болгарского правительства. Уже эти факты показывали, что болгарские симпатии были на стороне блока Центральных держав. 6 сентября 1915 г. Болгария подписала конвенцию с Германией и в дальнейшем вела военные действия против государств Антанты.

...своими жалобами на какие-то обиды… — По результатам победы Балканского союза над Османской империей в Первой Балканской войне (1912–1913) часть Македонии отходила к Сербии, другая часть к Греции, — в то время как значительный слой болгарского общества считал Македонию исконно болгарской территорией. Это стало причиной Второй Балканской войны в 1913 г. (Болгарии против Сербии и Греции), в которой Болгария потерпела поражение и лишилась значительной части своих территорий.

Когда-то во славу немецких мозгов и кармана вы уже исполнили этот кровавый танец духовной нищеты... — Вторая Балканская война во многом была спровоцирована действиями германской и австро-венгерской дипломатии при противодействии России, пытавшейся сохранить Балканский союз и готовящей миротворческое Петербургское совещание (не состоялось). Болгария напала на Сербию первой, без объявления войны, как раз в преддверии этого совещания.

...Австро-Германия уже собирает железные корпуса на ее границе… — Австро-венгерская армия начала новое наступление 23 октября (5 ноября) 1914 г. Сербы оставили Белград 17 (30) ноября. Два дня спустя австро-венгерская армия вступила в город.

...все ужасы Антверпена и Лувена… — После поражения при Льеже бельгийская армия отступила в Антверпен. Свои бомбардировки города германцы начали 15 (28) сентября. Осада Антверпена заняла 11 дней. Город Лувен (*флам.* Leuven, *фр.* Louvain) был обстрелян немецкой артиллерией в августе 1914 г. Город был подожжен, сгорели университетский городок и знаменитая библиотека, большая часть центра оказалась полностью разрушена. В странах Антанты судьба Лувена стала символом «тевтонского варварства».

Загорожа — загон.

...памятник Александру Второму, который вас создал… — Имеется в виду конный памятник Александру II в центре Софии. Возведен в знак благодарности за освобождение Болгарии от османского владычества в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Слово о Сербии

Бирж. вед. 1914. № 14488 (11 нояб.). Утр. вып. С. 2–3.

Статья получила большой общественный резонанс, в редакцию «Биржевых ведомостей» стали поступать сочувственные отклики в виде писем, телеграмм, коллективных и

частных обращений (часть из них была опубликована). Благодарственное письмо прислал сербский посланник в России М.И. Сполайкович. Ответ ему Л. Андреева был напечатан в газете под заголовком «Сербы и Леонид Андреев» (Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 3.

Привислинский край — в Российской империи общее название десяти губерний Царства Польского. Его центр — Варшава.

Галицийцы — население Галиции, поляки и русины**.** К осени 1914 г. российскими войсками была занята практически вся восточная часть и часть западной Галиции и было образовано Галицийское генерал-губернаторство.

...первым убитым в этой великой борьбе народов был серб… — 16 (29) июля австрийские артиллерийские дивизии начали бомбардировку Белграда через реку Дунай. Днем позже в России была объявлена мобилизация в приграничных району военных действий областях, что стало формальным поводом для объявления ей войны со стороны Германии.

...со своим королевичем Александром... — Александр I Карагеоргиевич (1888–1934) — принц-регент Сербии (1914–1921), король сербов, хорватов и словенцев (1921–1929), король Югославии (1929–1934). Во время Первой мировой войны верховный главнокомандующий сербской армии.

...выдержала трехлетнюю войну... — Балканские войны на самом деле длились один год, с октября 1912 до августа 1913 г.

…это называется карательной экспедицией… — Австро-Венгрия официально заявила, что вторжение в Сербию не имеет целью ее аннексию, а является «карательной экспедицией с целью наказать сербское правительство, которое попустительствует терроризму» (подразумевалось убийство в Сараеве наследника престола Франца Фердинанда студентом-террористом и недовольство Австро-Венгрии ходом расследования этого преступления).

«Было так страшно, что я не чувствовал страха», — говорит покойный Семенов, описывая гибель при Цусиме броненосца «Суворов»... — Владимир Иванович Семенов (1867–1910) — капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения; русский прозаик, автор трилогии, созданной на основании собственных дневников, – «Расплата», «Бой при Цусиме» и «Цена крови» (1906–1909).

...как это сделал Вандервельде по отношению к германским зверствам в Бельгии… — Эмиль Вандервельде (1866–1938), бельгийский государственный деятель, социалист. Когда началась война, Вандервельде стал первым членом бельгийской Рабочей партии, который был избран премьер-министром. В сентябре он посетил Америку в качестве члена бельгийской комиссии, доложившей американскому президенту Вильсону о немецкой военной политике в Бельгии.

Вертхейм (Вертхайм, Wertheim) — монументальный универмаг на Лейпцигской площади (Leipziger Platz) в Берлине, построен в 1896–1906 г. известным архитектором А. Месселем, в свое время считался самым большим универмагом Европы. Здание разрушено во время Второй мировой войны.

Аллея Победы (Siegesallee) — бульвар в берлинском парке Тиргартен, построен в 1895–1901 гг. На нем было установлено 32 мраморных памятника всем маркграфам, курфюрстам Бранденбурга и королям Пруссии, правившим в период с 1157 по 1888 г. Статуи были убраны в 1938 г.

...еще недавно кричал на нас К. Либкнехт, — варвары, вас надо выкинуть за Урал! –Карл Либкнехт (1871–1919) — деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей (1918) Коммунистической партии Германии. Реагируя на статью Андреева, Максим Горький писал: «Могу его уверить, что он введен в заблуждение каким-то клеветником. Карл Либкнехт не говорил и не мог сказать приписанных ему слов. Он искренно любит Русь и русских, он человек очень стойкий в своих мнениях. Эта стойкость доказана им точно так же, как он доказал свое прекрасное отношение к русским тою умной и деятельной помощью нашим соотечественникам, которую он организовал в Берлине в первый месяц войны» (*Горький А.М.* Несвоевременное // Горький А.М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 161). Статью Горького должна была опубликовать газета «День» 5 декабря 1914 г., но не пропустила цензура. Антимилитаристская позиция Либкнехта отражена, например, при голосовании в рейхстаге возглавляемой им фракцией социал-демократов против увеличения военного займа, в заявлениях об империалистическом характере войны и т. п. (см., например: Чего ждет Германия от войны: Беседы с германскими общественными деятелями. СПб., 1915. С. 52–55, 76).

Бельгийцам

День. 1914. № 286 (21 окт.). С. 3.

В самом начале войны германское командование потребовало от властей нейтральной Бельгии пропустить кайзеровские войска через ее территорию (для дальнейшего наступления на Францию). После отказа в ночь на 4 августа германские части без объявления войны перешли бельгийскую границу и начали оккупацию страны.

Бранденбургер-Тор (Brandenburger Tor) — Бранденбургские ворота, архитектурный памятник в центре Берлина. Создан в 1788–1791 гг.

Фридрих-Штрассе (Friedrichstraße) — улица в центре Берлина. Названа в честь курфюрста Бранденбурга Фридриха III.

Вертгейм — Вертхейм (Wertheim); см. выше коммент. к ст. «Слово о Сербии».

...у памятника Вильгельму... — Монументальный памятник кайзеру Вильгельму I был расположен у Кафедрального собора на Замковой площади Берлина. Демонтирован в 1949 г.

...«наши кузены с того берега»... — Выражение «Our cousins on the other shore» («Наши кузены с того берега») употреблялось прежде всего, когда американцы говорили об англичанах или англичане об американцах.

...король Альберт... — Альберт I (1875–1934), король бельгийцев с 1909 г. В Первую мировую войну главнокомандующий бельгийской армией. При большом превосходстве противника бельгийцам пришлось отступить и оставить Брюссель, но до конца войны они во главе со своим королем удерживали небольшой плацдарм на своей территории.

Гох (*нем*. Hoch!) — Да здравствует!

Бельгия
Монолог

Бирж. вед. 1915. № 14720 (11 марта). Утр. вып. С. 2.

...укрыло меня, беспріютную, мое старое, милое море. — При отступлении в ходе боев во Фландрии в конце октября 1914 г. бельгийцам удалось перегруппировать свою армию и затопить низменный берег Изера водой, открыв шлюзы дамбы во время прилива. Немцы были вынуждены отойти с затопленных позиций и прекратить в этом районе активные действия.

Во имя короля, во имя закона, во имя свободы поднимаю я меч! — Аллюзия на слова из припева-девиза гимна Бельгии «La Brabançonne» («De Brabançonne»): «Le Roi, la Loi, la Liberté!» («За короля, за закон, за свободу!», *фр.*). Вскоре Андреев написал пьесу об оккупации Бельгии под названием «Король, закон и свобода».

О Бельгии
К анкете для «Книги короля Альберта»

Бирж. вед. 1914. № 14472 (3 нояб.). Утр. вып. С. 3.

В Англии был издан сборник «King Albert's Book: A tribute to the Belgian king and People from Representative Men and Women throughout the World» (L., 1914). Книга была вскоре переведена и на русский язык — «Книга короля Альберта. Посвящается бельгийскому королю и его народу представителями народов и государств всего мира» (М., 1915) с приложением русского отдела. Он открывался статьей Андреева «Бельгийцам». В отдел также вошли статьи Д. Мережковского и А. Куприна и стихотворения Ф. Сологуба («Утешение Бельгии»), А. Блока («Антверпен»), И. Северянина («Поэза о Бельгии») и З. Гиппиус («Три креста»).

Франция — прости!

Бирж. вед. 1914. № 14400 (28 сент.). Утр. вып. С. 4.

Я не знаю точной даты, когда стихотворение написано… — Стихотворение Пьера Жана Беранже (1780–1857) «Прощай» («Adieu») было опубликовано посмертно, без датировки, в 1858 г.

Иды — в римском календаре дни в середине месяца. В переносном смысле — роковые дни (благодаря фразе: «Берегись мартовских ид!» из пьесы У. Шекспира «Юлий Цезарь»)

...война с пруссаками… — Франко-прусская война (1870–1871) — военный конфликт между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией.

Нет смерти для того, кто любит родину… — В журнале «Жизнь и суд» Андреев нашел очерк «Как умирают японцы за родину свою, воюя с германцами» и опубликовал его вместе с другим рассказом отдельной брошюрой под общим заголовком «Нет смерти для того, кто любит родину» (Пг., 1914). Далее в статье частично излагаются события, связанные с подвигом японского офицера Косумы.

При осаде Циндао… Циндао — германская военная крепость-порт на территории Китая (с 1898). Осада Циндао была первой (и фактически единственной крупной) военной опера-

цией Японии (при поддержке Британии) после объявления ею войны Германии. Продолжалась со 2 сентября по 7 ноября 1914 г., закончилась победой японцев.

Микадо – один из титулов японского императора.

Смерть, где твое жало? — Ос 13:14. Выражение вошло в молитву Иоанна Златоуста «Слово возгласительное на Пасху», читаемую в православной церкви.

Курочкин Василий Степанович (1831–1875) — русский поэт-сатирик, журналист, известный переводчик Беранже. Его перевод стихотворения «Прости» датирован 1859 г. и опубликован в книге «Песни Беранже. III» (СПб., 1862).

Крестоносцы

Отечество. 1914. № 5 (6 дек.). С. 82–85.

...Иерусалим снова становится ареной кровавой борьбы… — В начале Первой мировой войны Палестина была частью Османской империи. Военные действия здесь начались после вступления Турции в войну на стороне Центральных держав в конце 1914 г. Войски Антанты отвоевали Иерусалим только в декабре 1916 г.

И снова появились «неверные», гортанным кличем зовут к священной войне… – Османская империя вступила в войну (на стороне Германии и Австро-Венгрии) 2 ноября 1914 г.; был объявлен «джихад» («священная война»).

Как будто не достаточно было одних германцев в их христианском домино… — Домино — в Средневековье — длинный зимний плащ с капюшоном у монахов и священнослужителей.

Белокурая бестия (нем. die Blonde Bestie) — выражение принадлежит немецкому философу Фридриху Ницше, который в своей работе «К генеалогии морали» (1887) сравнивает поведение представителей высшей расы (аристократов) с поведением льва (от *ср.-в. лат.* blondus bestia — букв.: желтый зверь): «В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы *белокурая бестия*; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом» *(Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 428) В пропагандистских целях выражение использовалось в Германии в эпохи Первой и Второй мировых войн.

...слух, что Вильгельм II, император германский, вознамерился принять Ислам… — По слухам, Вильгельм II объявил себя Makkah-Pilger (т. е. совершившим хадж (al-Hajj), паломничество в Мекку) и принял ислам. Среди иранцев, например, долго ходили рассказы о Hajj Wilhelm Muhammad (Хаджи Вильгельм Мухаммад). Эти легенды, вероятно, связаны с работой немецкой дипломатии и разведки в мусульманских странах в начале XX в. с целью подорвать в них влияние Англии и России, спровоцировать «джихад» («священную войну») и т. п.

«Вице» (*нем.* Witze) — шутка.

Возрождение Польши… — 9 (22) августа 1914 г. был издан манифест великого князя Николая Николаевича (в то время верховного главнокомандующего), в котором говорилось о необходимости объединения всех польских земель, а также о создании свободной в своей вере, языке и самоуправлении Польши.

Homo

Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 61–64.

А не то просто налетит один на другого, как наш Нестеров… — Петр Николаевич Нестеров (1887–1914) — русский военный летчик, штабс-капитан. Погиб 26 августа (9 сентября) 1914 г. в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.

…эта стреляющая фантастическая птица презирает смерть, зная что-то высшее, чем она. — Этой теме посвящен рассказ Андреева «Надсмертное» (Современный мир. 1914. № 1. С. 3–18), позже переименованный в «Полет».

Восхождение

Бирж. вед. 1914. № 14436 (16 окт.). Утр. вып. С. 2–3.

…внезапное отрезвление России… — В самом начале Первой мировой войны был издан царский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России. Торговля алкогольными изделиями сначала была прекращена (с 31 июля 1914) на время мобилизации, но позже запрет продлили на все время войны. Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах.

…народ, на Сенной площади потерявший Помяловского. – Николай Герасимович Помяловский (1835–1863), русский писатель. Его раннюю смерть объясняют апатией и пьянством, вызванными неудачами личного характера: «<…> под конец жизни страсть к вину приняла в нем невероятные размеры. В самых грязных трущобах, на Сенной, отыскивал он каких-то приятелей и целые недели проводил с ними в оргиях и бесшабашном кутеже. Приходя в себя, П<омяловский> сам ужасался своего положения и чувствовал, что заходит очень далеко; своей страсти он боялся. “Это болезнь, — говорил он, — страшная болезнь, которая медленно разлагает человека и даже доводит до подлости — я этого больше всего трушу…”» (*Городецкий Б.* Помяловский, Николай Герасимович // Русский биографический словарь. [Т. 14]: Правильщиков–Примо. СПб., 1905. С. 499).

Катцен-яммер (*нем*. Katzenjammer) — похмелье.

…свободная Польша, для которой осуществилась «мечта ее дедов и прадедов». — В манифесте великого князя Николая Николаевича, посвященном объединению Польши (см. коммент. к ст. «Крестоносцы»), говорится: «Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться».

Если уже выходит из могилы Лазарь, трехдневный мертвец, обвитый пеленами… — По библейской легенде, Иисус Христос воскресил Лазаря через **четыре** дня после его смерти (Ин 11,17). Подобная вольность допущена Андреевым и в его рассказе «Елеазар» (1906).

Освобождение

Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 6–15.

В московских газетах опубликован протест… – Открытое письмо «По поводу войны. От писателей, художников и артистов», о котором идет речь в статье, было опубликовано

в газетах «Русское слово» (1914. № 223, 28 сент.), «Биржевые ведомости» (1914. № 14288, 28 сент.), «Русские ведомости» (1914. № 223, 28 сент.), «Утро России» (1914. № 235, 29 сент.). Воззвание подписали 259 человек — почетные академики К. Арсеньев, И. Бунин, А. Веселовский, Н. Котляревский, Д. Овсянико-Куликовский, представители общественных организаций, театров, писатели, художники, ученые (Ф. Шаляпин, М. Горький, К. Станиславский, Е. Вахтангов, И. Шмелев, Ф. Корш, П. Струве, М. Ермолова и др.). Судя по всему, одним из инициаторов письма был И.А. Бунин (сохранилось его письмо-приглашение к Вл.И. Немировичу-Данченко участвовать в обсуждении воззвания 13 сентября 1914 г. в московском Литературно-художественном кружке — *Бунин И.А.* Письма. 1905–1919. М., 2007. С. 310). Андреев к ознакомлению с воззванием привлечен не был. 10 октября 1914 г. он писал Бунину: «Иван Алексеевич. Хотя я не вполне согласен с текстом заявления писателей, напечатанным в “Утре России”, и не мог дать своей подписи, Вы, находясь в Петрограде и собирая подписи некоторых петроградских писателей, должны были обратиться и ко мне. Не сделав этого, Вы совершили дурной и не товарищеский поступок, что дает мне основания прекратить личные наши отношения и просить Вас отныне не считать меня в числе Ваших знакомых» (Вопр. лит. 1969. № 7. С. 173–174).

...мрака, в который добровольно вступила она, ныне поощряемая даже своими поэтами, учеными, вождями общественными и политическими. — Имеется в виду так называемое «Письмо 93-х» — обращение к мировой общественности немецкой культурной элиты, опубликованное во многих немецких газетах 22 сентября (4 октября) 1914 г., в котором «представители немецкой науки и искусства» заявляли перед всем культурным миром протест против лжи и клеветы, которыми «наши враги стараются загрязнить правое дело Германии в навязанной ей тяжкой борьбе за существование». В нем отвергались обвинения в том, что Германия являлась виновницей войны, нарушила нейтралитет Бельгии, посягала на жизнь бельгийских мирных граждан, ее войска зверствовали при взятии Лувена, вообще нарушали международное военное право. Главное же, в этом коллективном письме было утверждение единства культуры и государства, интеллектуалов и армии: «Неправда, что война против нашего так называемого милитаризма не есть также война против нашей культуры, как лицемерно утверждают наши враги. Без немецкого милитаризма немецкая культура была бы давным-давно уничтожена в самом зачатке. Германский милитаризм является производным германской культуры, и он родился в стране, которая, как ни одна другая страна в мире, подвергалась в течение столетий разбойничьим набегам. Немецкое войско и немецкий народ едины. Это сознание связывает сегодня 70 миллионов немцев без различия образования, положения и партийности.

Мы не можем вырвать у наших врагов отравленное оружие лжи. Мы можем только взывать ко всему миру, чтобы он снял с нас ложные наветы. Вы, которые нас знаете, которые до сих пор совместно с нами оберегали высочайшие сокровища человечества, — к вам взываем мы. Верьте нам! Верьте, что мы будем вести эту борьбу до конца, как культурный народ, которому завещание Гёте, Бетховена, Канта так же свято, как свой очаг и свой надел.

В том порукой наше имя и наша честь!»

Вероятно, именно это послание в определенной степени провоцировало появление в российской печати тех лет разнообразных моделей германской «бездушной», «механистической» современной цивилизации и ее сложных связей с классической немецкой культурой.

...я не заметил, чтобы петроградские газеты перепечатали указанный протест... — Андреев ошибается: воззвание было напечатано в «Биржевых ведомостях» и некоторых других петроградских газетах.

...когда непримиримый антимилитарист Эрве с улыбкой готов послушать «тщеславную песню старого галльского петуха»... — Гюстав Эрве (1871–1944), французский политический деятель. Во Французской социалистической партии возглавлял ультралевое крыло. С 1906 г. издавал газету «La Guerre sociale» («Социальная война»), на страницах которой отстаивал программу антимилитаристской борьбы. На Штутгартском конгрессе II Интернационала (1907) пропагандировал идеи отказа от мобилизации и восстания в ответ на любую войну, независимо от ее характера. В 1914 г. перешел на позиции шовинизма, пропаганду которого он вел в своей газете, переименованной в 1916 г. в «La Victoire» («Победа»). В статье «Густав Эрве» (День. 1914. № 269 (4 окт.). С. 3.) В. Ропшин цитирует слова Эрве из его статьи в «La Guerre sociale»: «Старый галльский петух, ты знаешь, что теперь после победы при Марне, весь мир гордится тобой. Ты знаешь, что мы дети тех, кто сражался при Жемаппе и Вальми, при Аустерлице и Йене, при Мадженто и Сольферино. Старый галльский петух, ты тщеславен и горд. На этот раз, один только этот раз, позволяю тебе громко спеть твою тщеславную песню».

...когда маститый и глубокочтимый П. Кропоткин называет войну «освободительной» и считает несомненным, что торжество Германии «принесет Европе новое и еще более суровое порабощение»... — Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) — русский революционер, один из виднейших теоретиков анархизма, социолог, географ. С 1876 по 1917 г. в эмиграции. В начале Первой мировой войны неожиданно принял отчетливую «проантантовскую», «оборонческую» позицию. Андреев цитирует высказывание одной из его статей: «Если восторжествует Германия, то война не только не будет освободительною: она принесет Европе новое и еще более суровое порабощение» (*Кропоткин П.* Письмо второе // Рус. вед. 1914. №. 229, 5 окт.).

...погромы германских магазинов ~ у нас в Москве... — 10 октября 1914 г. в центре Москвы вспыхнули стихийные выступления против немцев и австрийцев, слишком активно, по мнению многих, вовлеченных в экономическую жизнь города. Было разгромлено и разграблено несколько продовольственных лавок и магазинов, принадлежавших немцам.

Не это ли имел в виду Роллан, когда бросил крылатое слово о «милитаризации интеллектуальной сферы»? — В статье «Которое из двух зол меньше: пангерманизм или панславизм?», опубликованной в «Journal de Geneve» 10 октября 1914 г., Ромен Роллан писал: «Немецкие друзья мои, или вы странным образом ничего не знаете об умонастроении народов, вас окружающих, или вы нас считаете очень наивными и очень плохо осведомленными. Ваш империализм, только под более цивилизованной внешностью, представляется мне не менее жестоким, чем царизм, в отношении всего того, что может воспротивиться его алчной мечте о всемирном владычестве. Но меж тем как огромная и таинственная Россия, полная молодых и революционных сил, оставляет нам надежду на близкое обновление, — ваша Германия в своей систематической жестокости опирается на культуру слишком древнюю и ученую, чтобы можно еще было надеяться на раскаяние этого старца. И если я питал такую надежду (я питал ее, друзья мои), — вы очень постарались отнять ее у меня, вы, художники и ученые, написавшие это “Обращение”, в котором вы гордитесь тем, что составляете одно целое с прусским милитаризмом. Знайте: ничто нас так не гнетет, нас, латинян, ничто так не

затрудняет дыхания, как ваша интеллектуальная милитаризация. Если бы когда-нибудь, по несчастью, этот дух мог вместе с вами восторжествовать в Европе, я покинул бы ее навсегда. Мне противно было бы жить в ней» (*Роллан Р.* Собр. соч.: [В 20 т.]. Л., 1935. Т. 18. С. 75).

...г. Эрн провел прямую линию от Канта к Круппу... — 6 октября 1914 г. философ В. Эрн выступал на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева с речью «От Канта к Круппу», в которой он связывал особенности философии Канта с современным германским милитаризмом. Доклад был опубликован в «Русской мысли» (1914. № 12), вошел в книгу Эрна «Меч и крест» (1915).

Подготовка текста и комментарии Бена Хеллмана и М.В. Козьменко

Зинаида Гиппиус

М.В. Козьменко

Зинаида Гиппиус: «…Война уже не может растить душу…»

По справедливому суждению Бена Хеллмана, автора фундаментального труда об осмыслении русскими писателями-символистами Первой мировой войны, «по-видимому, было бы абсолютно логичным называть Гиппиус “убежденным пацифистом», учитывая то, как она ненавидела войну. Еще более убеждает в этом и та мысль, которую Гиппиус постоянно выражала и в статьях, и в стихотворениях: убийство остается убийством, даже если оно организовано и санкционировано высшей властью государственных правительств в форме войны. Тем не менее подобные заявления не могли произноситься буквально и открыто в России во время войны. Ви́дение происходящего, которое Гиппиус в действительности публично высказывала во время войны, было гораздо более сложным и подчас противоречивым»[1].

Вместе с тем в своем первом публицистическом выступлении на военную тему («Так надо — так будет», 8 августа 1914 г.) Гиппиус за основу берет противопоставление, имеющее, в общем-то, славянофильско-почвенническую природу: русской духовности германскому бездушному механицизму.

В статье «В наши времена»[2] Гиппиус подчеркивает, что хотя русские не желали войны, но они ее приняли просто и бессознательно. Эти отсутствие ненависти и простота восприятия жизни во всех ее, даже самых драматичных, проявлениях (замечательное воспроизведение этих духовных констант русского самосознания дано Толстым в «Войне и мире») — показатели большей органичности русской культуры и залог будущей ее победы над механицизмом культуры немецкой. Но в дневниковой записи от 2 августа 1914 г. Гиппиус рассуждает более категорично: «Почему вообще война, всякая, — зло, а только эта одна — благо? Никто не знает. Я верю, что многие так чувствуют. Я — нет. Я не верю чувствам: они не заслуживают слов, пока не оправданы чем-то высшим. И не закреплены правдой. Впрочем, не надо об этом. Проще. Идет организованное самоистребление, человекоубийство. “Или всегда можно убить, или никогда нельзя”. Да, если нет истории, нет истории, нет движения, нет свободы, нет Бога. А если это есть — так сказать нельзя. Должно каждому данному часу истории говорить “да” или “нет”. И сегодняшнему часу я говорю, со дна моей человеческой души и человеческого разума — “нет”. Или могу молчать. Даже лучше, вернее — молчать. Если слово — оно только “нет”. Эта война — война. И войне я скажу: никогда нельзя, но уже никогда и не надо»[3].

---

1 *Hellman B.* Poets of Hope and Despair. Helsinki, 1995. P. 139.

2 *Крайний Антон.* В наши времена // Голос жизни. 1914. № 4 <после 27 окт.>. С. 11–12. До № 8 дата выхода журнала не указывалась, поэтому датировка номеров может быть установлена только косвенно.

3 *Гиппиус З.Н.* Дневники: В 2 кн. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М., 1999. Кн. 1. С. 387.

Бен Хеллман отмечает, что в первых статьях Гиппиус нет и следов того абсолютного неприятия войны, которое характерно для дневниковых записей тех же дней, и считает, что Гиппиус-публицист выступает в числе тех многих русских писателей, которые стали ярыми патриотами после начала войны[1]. Думается, однако, что исследователь недооценивает трезвый взгляд писательницы на возможность полноценного выражения собственных мыслей в привычных для нее еще в 1900-х гг. условиях двойной цензуры[2]: усилившейся в связи с военным временем цензуры государственной и не менее жесткой цензуры общественного мнения, которое в первые месяцы войны формировалось под очень высоким градусом глобального патриотизма. В подобных условиях тактика прямого отстаивания привычных для Гиппиус интеллектуальных и духовных ценностей не могла быть столь же прямолинейной, как прежде.

Очень скоро культурологическая метафора о двух типах ментальности — с преобладанием «механического» начала (в германской культуре) и с преобладанием начала «духовного» (в русской) — становится весьма расхожей в публицистических статьях, написанных деятелями самых разных партий и мировоззрений, очень популярной становится тема противопоставления «начал живой жизни» (Россия) «началам механическим» (Германия). Поэтому сама Гиппиус вскоре выступает со статьей против чрезмерно прямолинейного понимания этого тезиса (косвенно корректируя собственные прежние высказывания, скрыто цитируя собственные положения). Она предупреждает публицистов, антагонистически противопоставляющих «автоматизму» германского духа «духовность» духа российского, что «безмерностью, безудержностью, беспреградностью чувств, редко не проверяемых, тоже лучше бы не хвалиться». Отсутствие критерия, меры, сдерживающего начала может самые благородные чувства незаметно превратить в стихийные инстинкты. «Слишком большая “свободность”, душевная “легкость в мыслях” — уже признак начинающейся дисгармонии, признак того, что реализм жизни отстает, не поспевает за стремительным ростом духа. Вот где должна лежать наша забота, если мы думаем об истинной культурности! Не нам презирать “плоть” — реальность, деловитость, живую технику мира; у нас-то она уж наверно не дорастет до бездушной механики, до немецкого варварства. Но не радоваться, что есть еще где-то плохие дороги и курные избы, должны мы, но учиться строить дом, достойный возрастающего духа России» («Искажения», 13 ноября 1914 г.). Позже, когда дихотомия «русская духовность — европейская (уже не германская!) машинная цивилизация» будет доведена до крещендо интеллектуальным экстремистом Александром Тиняковым, она выступит уже с резкой отповедью, говоря, что подобный призыв к эскапизму, уходу от европейской культуры и порождаемая в результате односторонность ведут к вырождению («Равноценности», 23 февраля 1915 г.).

Можно отметить, что и в суровую военную годину Гиппиус пытается отстаивать те же ценности, о коих писала в довоенную пору: культуру и религию[3]. И в этом плане показательна та «историософия войны», которую развернет она в своем докладе «История в христианстве», прочитанном в ноябре 1914 г. на заседании Религиозно-философского общества

---

1 *Hellman B.* Op. cit. С. 139.

2 Ср.: *Крайний Антон.* Два слова раньше // Антон Крайний (З. Гиппиус). Литературный дневник (1899–1907). СПб., 1908. С. IV.

3 *Паолини М.* Критическая проза Зинаиды Гиппиус (1899–1918): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2000. С. 17–18.

в Петрограде и вскоре опубликованном в «Голосе жизни»[1]. Обозрение отношения к войне в разные исторические эпохи подразумевает подытоживающее значение абсолютных гуманистических ценностей, которые строятся под знаком нового религиозного сознания. Главной проблемой здесь становится преодоление противоречия между антимилитаризмом (естественным для развитого человека) и необходимостью оправдать именно эту войну. Так, она пишет в дневнике: «Я говорила вообще о “Великом Пути” (с точки зрения всехристианства, конечно), об исторических моментах как ступенях — и о данном моменте, конечно. Да, что война — “снижение”, — это для меня теперь ясно. Я ее отрицаю не только метафизически, но исторически… т. е. моя метафизика истории ее, как таковую, отрицает... и лишь практически я ее признаю. Это, впрочем, очень важно. От этого я с правом сбрасываю с себя глупую кличку “пораженки”. На войну нужно идти, нужно ее “принять”… но принять — корень ее отрицая, не затемняясь, не опьяняясь; не обманывая ни себя, ни других — не “снижаясь” внутренно.

Нельзя не “снижаясь”? Вздор. Если мы потеряем сознание, — все и так полусознательные — озвереют.

Да, это отправная точка. Только. Но непременная.

Были горячие прения <...> Упрекали меня, конечно, в отвлеченности. Карташев <...> сказал ужасную фразу: “<...> если не принять войны религиозно...”

Меня поддержал, как всегда, М<ережковский> и мой большой единомышленник по войне и антинационализму (зоологическому) — Дмитрий <Д.В. Философов>»[2].

В поэзии Гиппиус умела преодолевать публицистическую «недосказанность» и «отвлеченность» — состояние мироздания в военную годину вскоре будет обозначено как апокалиптическая непоправимость:

Невозвратимо. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.
Нас затоптал, — не проехал мимо! –
Тяжелый всадник на коне рыжем[3].

В гуще вязнут его копыта,
В смертной вязи, неразделимой...
Смято, втоптано, смешано, сбито —
Все. Навсегда. Непоправимо.

(«Непоправимо», 1916).

Именно в единстве «жизнетворческой», «активистской» религии («религиозной общественности»), политического радикализма (уже в сентябре 1915 г. она записывает в дневнике, что «без перемены п<равительст>ва невозможно остановить нашествие немцев»[4]) и одухотворенной, активистской и гуманистической «культурности» (как среды, необходимой для чаемого преображения жизни) нужно искать ключи к прочтению ее публицистических опусов. Отсюда — раздражение излишней, по ее мнению, патетикой статей и пьес Андреева

1 *Гиппиус З.* Великий Путь // Голос жизни. 1914. № 7. С. 13–17.

2 *Гиппиус З.Н.* Дневники. Кн. 1. С. 390–391.

3 «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откр 6: 4).

4 *Гиппиус З.Н.* Дневники. Кн. 1. С. 413.

и стихов и повестей Сологуба. Здесь берут начало ее нападки на крикливую эпатажность футуристов. И здесь она находит опору для едкой критики «москвичей»-«неославянофилов», неуклонно, на ее взгляд, скатывающихся к пресловутой формуле «самодержавие–православие–народность». В том же 1915 г. в дневнике констатируется, что «народ не хочет войны», он «ни малейшей войны не ведет, он абсолютно ничего не понимает. А мы абсолютно ничего ему не можем сказать. Физически не можем. <…> Столетия разделили нас не площе Вавилонской башни»[1].

Нелепость и несовместимость войны с «живой жизнью» и здравым смыслом могут быть высвечены посредством остранения, через восприятие сквозь фильтр детского сознания, что с блеском делается в очерке-воспоминании о Русско-турецкой войне «Детский взор. (“Воспоминание кстати”)». Другое «воспоминание кстати» — «Без “аминя”» — демонстрирует возможности Гиппиус-публициста посредством системы намеков донести до читателя крамольные мысли об окружении Григория Распутина, о необходимости «зааминить», остановить волну иррациональных волений, нахлынувшую на правительственные круги вместе с влиянием придворного «старца». И это делается в тисках цензуры — «хуже николаевской раз в пять»[2].

Замыкает предлагаемую читателю подборку материалов первая статья, написанная уже вне подобных тисков, после Февральской революции, — «Петроград». Публицистика Гиппиус 1917–1918 гг. (кстати, в существенной мере уже республикованная[3]) несет в себе темы и тональности совсем иного рода.

Таким образом, в настоящую публикацию вошли все выявленные на сегодня статьи Гиппиус военных лет (с августа 1914 по февраль 1917), в основном появившиеся в еженедельнике «Голос жизни» и газетах «Биржевые ведомости», «День», «Утро России» и «Речь».

В подборку не вошли статьи Гиппиус указанного периода, которые были республикованы в различных российских изданиях в последние 25 лет:

Великий путь // Голос жизни. 1914. № 7 (см. также под другим заголовком: История в христианстве // Записки Петроградского религиозно-философского общества 1915–1916 гг. Пг., 1916. Т. 6. С. 20–28). Републ.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: В 3 т. / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О.Т. Ермишина, О.А. Коростелев, Л.В. Хачатурян и др. М., 2009. Т. 3. С. 33–44.

Мой post-scriptum // Голос жизни. 1915. № 19. 6 мая. С. 12–13. Републ.: В. Маяковский: pro et contra. СПб.: Русский Путь, 2006. С. 555–556.

Судьба Аполлона Григорьева: (По поводу статьи А.А. Блока, приложенной к «Стихотворениям Аполлона Григорьева», изд. К.Ф. Некрасова, М., 1916) // Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 263–278. Републ.: *Гиппиус З.Н.* Собр. соч.: В 6 т. М., 2002. Т. 6. С. 340–349.

Зеленое — белое — алое // Бирж. вед. 1916. № 15516 (23 апр.). Утр. вып. Републ.: *Гиппиус З.Н.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 350–355.

---

1 Там же. С. 398.

2 Там же. С. 396.

3 *Соболев А.Л.* «Грядущее» Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус // De visu. 1993. № 2. С. 42–43; «Люди и нелюди»: Из публицистики З.Н. Гиппиус первых послеоктябрьских месяцев / Послесл., публ. и примеч. А.В. Лаврова // Лит. обозрение. 1992. № 1. С. 52–62.

ЗИНАИДА ГИППИУС

Статьи военных лет

(1914–1917)

Так надо — так будет

Мы очень мало разбирались в том, что такое «культура», «культурность». Недостаточно понимали, что истинная культура — понятие двойное. Развитие, восхождение народов идет двумя параллельными путями: внутренним и внешним. Культура духовная должна быть в какой-то гармонии, в сообщении, в известном равновесии с культурой механической. Совершенного равновесия нет, конечно, нигде. Но горе народу, потерявшему это равновесие так давно и так сильно, как Германия.

Что же удивляться и так называемым «германским зверствам»? Преувеличены или нет факты — но они существуют.

Это естественное поведение людей, не стоящих на уровне общеевропейской духовной культуры XX века, опоздавших на несколько столетий. Царь Давид не сделался зверем, когда перепилил 50 тысяч пленных тупыми пилами. Он остался человеком… только своего времени. Германия уродлива, несчастна и нетерпима потому, что она сегодня еще живет тем, что для культурного человечества уже отошло в историю. А все мы, легко обманутые механикой, этого не видели…

Ни у одного из народов мира (не только Европы) нет совершенной гармонии между двумя культурами, но ни у единого нет между ними и столь потрясающего разрыва. Быть может, я не ошибусь, сказав, что у нас, в России, духовная культура перегнала механическую. По существу это неравновесие уже счастливее обратного, германского; тяжелое испытание, кроме того, показало, что несгармонированность наша не крайняя, не отнимающая, а прибавляющая нам сил. Освещающая понятие «правды».

…Ненависти нет у нас, и слава богу: ненависть не залог победы. Ненависть буйна, а сила спокойна. Ненависти не стоит ни Германия, ни Вильгельм. Что Вильгельм! Автомат. Верхнее колесо хорошо слаженной, но не управляемой никем машины. Наш истинный враг — голая, разросшаяся, механическая «культура», давящая живую душу. И, посмотрите еще, как она хрупка, эта чистая механика, как мало годится, в сущности, для войны! Перережут такие проволоки, взорвут рельсы, иссякнет бензин, — и война примет старые свои формы, как будто и не было веков работы человеческого гения. Неестественно приспособили эту работу к человекоистреблению, и она изменяет на каждом шагу.

Для самой Германии надо, чтобы ее победили и освободили ее порабощенную живую душу.

В наши времена

Знакомый священник рассказывал мне, какое было настроение нынче летом в деревне у идущих на войну, и называл это настроение «святым». Радостная готовность, мужество, серьезность, простота и никакой злобы. Вот это отсутствие злобы, ненависти или презрения к врагу особенно потрясало рассказчика, умиляло его.

Все, возвращающиеся сейчас с полей битв, действительно соприкоснувшиеся с нашим воюющим народом, говорят о том же: умирая, побеждая — народ беззлобен и прост. О простоте и особом, отнюдь не ненавистническом или презрительном, отношении русских к врагу говорил и Л. Толстой в «Войне и мире»; в этих именно свойствах духа видел он одно из верных обещаний победы. И разве не так?

Но есть, оказывается, люди, которые «святых» сторон русского духа не понимают. Думают, что тем больше патриотизма, чем больше злобы. И усиленно кричат о своей злобе, о ненависти и презрении к врагу, наивно думая, что в этом они «народны». Но народ знает, что сила не в злобе, а в простоте и правде. Дух России один, в какой бы стадии культурного развития он ни находился. Первичная «простота», развиваясь, может преобразиться в душевную тонкость, чуткость, но не переходит в грубое озлобление.

Печать между тем часто его поддерживает. Не стоило бы говорить, если бы дело касалось только одной видной вечерней газеты, которая буквально ни разу не выходит без оформленного доноса на какого-нибудь Ивана Ивановича Мейера, доноса, что он — Мейер, а следовательно… Не стоило бы потому, что слишком давно известна упомянутая газета своей шпионнической деятельностью и антирусским характером. Но вот в Москве издается журнальчик, будто бы «для народа»; можно судить о его содержании, взглянув на одну из страниц последнего номера: стихотворение, состоящее сплошь только из ругательных слов, причем «подлец», «мерзавец» и «холуй с хамом» — самые приличные. Скажут, это — улица; тем хуже: журнальчик расходится в 70 тысячах экземпляров! Даже в больших «прогрессивных» и «левых» газетах сплошь и рядом говорится о вражеских «черепах, раскалывающихся, как орехи», о том, что «Германия — ушат помоев» и т. д. Статьи в спокойном и трезвом тоне «понижают», по мнению редакции, «настроение», а вот такие — повышают.

Но для чего, кому нужно это «настроение» бессмысленной злобы? Одно я знаю: оно не нужно и чуждо драгоценным защитникам нашим, русскому народу, ушедшему на войну с беззлобным, «святым» чувством. Вот если бы автор «помоев» полежал денек-два в окопах или — куда уж! — хоть пошел в госпиталь с любыми ранеными в «козла» поиграть (только смиренно), он, может быть, другим бы духом заразился и на интеллигентские «помои» перестал бы тратиться.

Не только дел в России уйма непочатая, — дел неотложных, — но столь же много и слов несказанных, и они тоже сейчас нужны. Однако если дела нужны для России русские, то и слова — русские, идущие из серьезно настроенной души, — ведь очень серьезны данные времена. Серьезность — еще вовсе не узость. Время обязывает нас вдумчиво и серьезно относиться ко всякому делу, но и военное время отнюдь не ограничивает дел войной. Оно только приумножает их.

Современное крикливое «настроение» наше сбило с толка писателей и литературу, которая частью совсем себя упразднила, частью кинулась в злободневность,

а это — тоже в сущности самоупразднение. Толпа требует злободневности, но искусство, всецело отвечающее требованиям толпы, перестает быть искусством. Художник, идущий непременно навстречу толпе, перестает быть художником. Эти банальные истины совестно повторять, но слишком они сейчас забыты. Если в сорокаградусном жару, тут же, на постели, самый гениальный писатель примется «созидать» психологию человека с жаром в сорок градусов, то ничего, кроме позора, вроде «Позора Германии» г. Дальского, не выйдет. Дальскому, впрочем, эти опыты простительны, ведь он — не только не гениален, но даже вовсе не писатель.

Итак, злободневных произведений искусства быть не может. Но тогда поднимается вопрос о существовании искусства вообще в наше острое время. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Что же, я это вполне понимаю. Художник прежде всего — человек и выбирает то дело, к которому его сейчас наиболее влечет, которое ему кажется наиболее подходящим. Оставил перо, взял ружье — просто не мог сделать иначе. Анатоль Франс — не пример. Надо знать этого худенького, доброго, красивого старичка с живыми глазами, тончайшего скептика, в изящной речи которого всегда светится незаметная улыбка, чтобы оценить тон его письма: «…говорят, что мои писанья не нужны… Может быть, это — правда… Ну что же, сделайте меня солдатом». И пошел делаться, и остался, когда в солдаты его не взяли. Конечно, он будет писать (не «Позор Германии» во всяком случае): ведь раз его служба оказалась не нужна — вероятно, нужны его писанья. «Вероятно» — большое утверждение для скептика.

И я не сужу никого, кто действительно выбирает, берет на себя дело, которое по совести кажется ему сейчас важнее других. Я сужу безделье, мнящее себя делом; активную праздность, ведущую к роспуску инстинктов, к выдумыванию несуществующих и совсем не русских, по существу, «настроений». Должны же мы это когда-нибудь понять. И тогда естественно возродится искусство. Нет таких времен, когда было бы не нужно нужное дело — творческая работа. Все пути творчества нужны всегда — искусство один из них.

Не суживаясь в злободневность, наша созидательная работа не может все равно быть вне своих времен, вне действительности; но глубина, а не поверхность действительности должна быть захвачена творчеством. Много дел несделанных, много слов несказанных. Война пройдет, но Россия останется. Война — великое дело, но Россия шире всякого одного дела, ей нужны совокупность и многообразие великих дел.

Искажения

Если общество, в некоторые острые периоды времени, совсем не имеет суждений и новых каких-нибудь мыслей — не беда. Значит, некогда думать, надо дело делать.

Если период бездумия затягивается, — это уже несколько ненормально, но все-таки ничего. Сейчас другая печаль. Мы судим, и мысли высказываем, — только немедленно их искажаем, бог знает во что превращаем приспособлением к безраздельно владеющим нами чувствам. Или не для того мысль, чтобы осветлять, направлять чувство? Она чувства не исказит, у нее для этого и средств нет, но, подчиненная

чувству, сама искажается до неузнаваемости, до вредности, так как все же носит маску мысли.

Чем мы хуже англичан? Почему в часы тех же испытаний они умеют сохранить равновесие, покой, истинно человеческое чувство меры во всем, а мы чуть не в заслугу себе ставим иногда отсутствие меры? Лампада англичан с фитилем и может ровным, нужным огнем прогореть сколько угодно времени, а мы знать не хотим регулирующих фитилей, о времени не думаем, — лишь бы горело пожарче. «Русский человек не знает расчета, — говорят с гордостью, — не живет “холодным разумом”, а весь — в порыве!» Очень хорошо. Я высоко ценю порыв. Но неужели порыв — всегда неразумен? Почему — если разум, то сейчас же «холодный», а если расчет, то непременно «низкий»? Вот воистину пустозвонные «слова, слова, слова»!

Особенно жалко видеть, когда выверту, искажению подвергается мысль, по существу верная, могущая быть в свою меру полезной, что-нибудь кому-нибудь пояснить, к чему-нибудь повести. Я не буду заходить в те углы, где правильное соображение о пагубности некоторых немецких влияний на Россию давно переработалось в дикий, в простой крик: «Не надо немцев!» Не надо, не разбирая, откуда ты, из Веймара, из Риги или из Смоленска. В этих темных углах всегда одна работа, она производится и без всяких мыслей, и во все времена; тут главное — «не надо», а кого — смотря по обстоятельствам.

Но неужели неверна объективно мысль, что и во время войны не должна, по возможности, замирать в стране вся культурная жизнь, не должны гаснуть вчерашние ценности, прекращаться личная, творческая работа? Казалось бы, так просто и бесспорно, до банальности. Но, вот я вижу эту мысль современно преломленной на страницах свежей газеты. В изысканных стихах меня убеждают, что «еще не значит быть изменником», если хочется и теперь «гулять по Невскому проспекту и кушать крем», «грезить о синих очах» и т. д., что «война — войной, а розы — розами». Да я мгновенно отрекусь от всякой «верной мысли», провались «сохранение общих ценностей», пойдемте лучше все огулом на войну, только бы не было оправдано «кушанье крема».

И это, однако, — пустяки. А вот посерьезнее.

Столкнувшись с современной «культурной» Германией, мы несколько больше поняли, что такое настоящая культура. Поняли, что она по существу — двойственна, что лишь при соответственном развитии обеих сторон жизни — внутренней и внешней — их взаимодействии и сгармонированности, получается истинная культура. Ни один народ не может назваться культурным, если нет в нем известной гармонии между ростом духовным, внутренним и чисто внешним. Любая сторона, развиваясь самостоятельно, независимо и чрезмерно, давит тем самым на другую и все более замедляет ее отставший ход. Германия — яркий пример такого переростa внешней стороны в ущерб внутренней. Дух Германии давно задавлен «плотью» — техникой; голая техника, механика — уже не культура, а варварство. Естественно желать победы над этим варварством. Я не сомневаюсь, что настоящая Германия, — задавленный дух ее, — стремится к освобождению; и в этом смысле — да, для самой Германии нужно, чтобы ее победили.

Во что же могут превратиться эти простые мысли, приспособленные к чувствам-инстинктам? «Немцы — автоматы (механика). Автоматы — и Крупп и Кант, и Кант и Крупп».

Черта перейдена, мера нарушена, мысль взята и в корне искажена, послужила лишней пищей для злобы, как последующие выводы из этой мысли — для бесцельного самовосхваления. Мы, мол, не таковы, как Германия, мы — не автоматы, у нас нет механики. (Изничтожим всю Германию во имя совершенной русской культуры!)

Конечно, мы — не автоматы. Менее всего. Но зачем забывать, что истинная культура — в гармонии, в сочетании внутреннего развития с внешним, в двусторонности? Если голая механика — варварство, то и переразвитие духовное — тоже путь к варварству в конечном счете.

Счастливое положение России вовсе не в том, что у нее «нет механики», и нечем тут хвастать, нечему радоваться; в том счастливое положение, что, хотя внутреннее развитие России и опередило внешнее, — разрыв между ними еще не так безнадежен, расстояние не так велико. Опасность варварства всегда есть, но не страшна, пока мы о ней помним.

Мировая привычка ставить «дух» выше «плоти» — только привычка: они — равноценны в движении жизни и равно необходимы в понятии культуры.

Лев Толстой — наша гордость; его уклон — высшее развитие духа; но в то же время это — уклон к ущерблению культуры. Лев Толстой шел в своем до конца; и он открыто отвергал искусство, науку, технику, все, что для нас входит, как ценность, в понятие культуры, все, что делается «механикой» только при непомерном умалении духа. Но ведь Россия не может и не захочет отказаться от культуры. Чем же хвалиться, почему так ликовать, что еще пока плохие дороги, мало докторов, неграмотный народ, довольно слабая техника? Не это даст нам победы, не это даст нам преимущество над немцами. Если для лишних поводов к самовосхваленью говорим мы о «механичности», неистинности немецкой культуры, то мы еще ничего ни в механичности, ни в культуре не поняли, и лучше уж совсем об этом не говорить. Тысячу раз лучше не иметь никаких мыслей, чем искажать их по первому произволу чувств и данных настроений.

А безмерностью, безудержностью, беспреградностью чувств, редко не проверяемых, тоже лучше бы не хвалиться. Отсутствие критерия, меры, сдерживающего начала может самые благородные чувства незаметно превратить в стихийные инстинкты. Слишком большая «свободность», душевная «легкость в мыслях» — уже признак начинающейся дисгармонии, признак того, что реализм жизни отстает, не поспевает за стремительным ростом духа. Вот где должна лежать наша забота, если мы думаем об истинной культурности! Не нам презирать «плоть» — реальность, деловитость, живую технику мира; у нас-то она уж наверно не дорастет до бездушной механики, до немецкого варварства. Но не радоваться, что есть еще где-то плохие дороги и курные избы, должны мы, но учиться строить дом, достойный возрастающего духа России.

А так как судьба ей судила принять участие в великой борьбе за освобождение Европы от гибельного автоматизма, — будем ясно видеть и себя, и других, будем знать, против чего и во имя чего мы пойдем в борьбе до конца.

Апогей

Он был всегда человек увлекающийся и громкий на слова. А что с ним сталось «в чаду войны» (заглавие статьи Розанова в «Н. Вр.») — уму непостижимо. Не знаешь, как и определить. Вот разве: одна юная гимназистка жаловалась в письме, что хочет и не может «довести себя до апогея». Г-ну Л. Андрееву посчастливилось: именно довел себя до апогея.

Я заметил, что цитаты из Л. Андреева sunt odiosa. Непонятно, однако — факт. Ничего, обойдусь и рассказом об андреевских апогейных действах. Прежде всего — количество. За какую газетину, за какой журналишко ни возьмись — он! И «День», и «Биржевые», и прочие, а «Отечество» (к счастью, в кавычках) так прямо затоплено. Л. Андреев и на сцене Александринки, и на эстраде в виде Бельгии, и в «инициативной группе» печати, вместе с А. Столыпиным, — на собрании в думском зале.

В зале я не был, как проявился апогей г. Андреева там — не знаю. А как в литературе — немножко знаю. «Отечество», например. Это ведь — наш нео-Сатирикон, ежели судить по карикатурам. Сидит на задней странице громадный, в красках, немец и гложет окровавленную человечью кость; а вдали — бледные фигуры «ученых всего мира», бессильно «протестующих». Картинку, очевидно, поясняет статья Л. Андреева, с криком протестующего против протеста ученых и литераторов Москвы, которые протестовали… впрочем, все знают, против чего они протестовали.

Какое же содержание андреевского апогея или хоть цвет и вкус, если в «апогеях» не до содержания?

А цвет и вкус обыкновенные. Раз нельзя приводить собственные слова Андреева, — приведу очень близкие, повторяющие г. Андреева, слова В. Розанова («Нов. Время», № 13891): «Этих мерзавцев-немцев надо колотить по морде — ружьем, плетью, кулаком, чем попало… Идите и старый, и малый против этих ученых зверей».

При всем внимании я ни следа еще каких-нибудь мыслей в современном творчестве г. Андреева уловить не мог.

Теперь самое интересное. Об исчезновении г. Андреева в лучах своего же апогея. Слова гремят, но гремят рядом и розановские, и подобные; и ни одна живая душа не слышит именно Андреева. Его отличают, когда он вдруг спадет с голоса и заведет психологию. В этом случае перебрасывают страницу — скучно.

Воды Бельгии не освежили увядших лавров на челе нашего бывшего «пророка». Он глаголет, напрягаясь вовсю, а ему не то что не внемлют, а так, без всякого внимания. Хочешь — глаголь, хочешь — не глаголь. Проглаголят другие.

Разве гимназистка позавидует, если за это время сама не успела «довести себя до апогея». А успела — так ее доля слаще. Глаголать негде, — остригла косу, пошла на войну. По крайней мере, польза.

Странности газетно-театрального мира
(Письмо в редакцию)

Необъяснима, на мой свежий взгляд стороннего человека, «психология» театральных рецензентов. Кричат о «событии», удивляются, что Савина играет в пьесе, режиссируемой Мейерхольдом. Чему тут удивляться? Тому, что до сих пор этого еще

не было? Нет, — говорят они, — событие от того — событие, что Мейерхольд — новатор, да еще «левый новатор!» (??), а Савина — «заслуженный бытовик». Бог весть что, в сущности, означают эти трафаретные определения; до сущности все равно не добраться. Но не поздравили бы мы Мейерхольда, будь он действительно «новатором» в ходячем понятии. Ведь как это представляют: Мейерхольд — значит, «мечта-красота», «эльфы-сильфы», подход ко всему «не прямо, а боком» и вообще какой-то «символо-аллегоризм». Вот «новаторство», да еще «левое» (!). Савина — непременно дочеховский «реализм», непременно «традиции», — вот «заслуженный бытовизм». Два, мол, полюса!

Никаких двух полюсов нет, а есть один вздор. Пора бы гг. пишущим о театре опомниться, стряхнуть с себя пыль старых слов, внести хотя бы минимальное, но подлинное новаторство в свои представления. О чем они говорят, когда пишут о театре, — о ком? Об искусстве, о художниках? Так это надо помнить. В искусстве нет разделенья на «мечту и красоту», с одной стороны, и на «реализм и быт» — с другой. Можно проповедовать «мечту-красоту» и быть старым, даже дряхлым (не видим ли мы это постоянно?), — можно утверждать простоту, ясность, реализм жизни — и быть новатором. Если Савина — художник (тут ведь и гг. газетчики не спорят?), если в Мейерхольде есть художник, — они не только могут соединиться для общей работы, которая им обоим кажется работой художественной, — но они даже не могут не соединиться. То, что удивляет застывшее обывательство театралов, совершенно естественно с точки зрения искусства. Я скорее удивляюсь, что этих соединений не было до сих пор; я считаю мою пьесу «Зеленое кольцо» просто одним из множества к тому поводов, случайно первым, — вот и все.

Гг. рецензенты немного перестарались, — у страха глаза велики, — соединив с Мейерхольдом кстати и другого «заслуженного бытовика» — Давыдова. Насколько я знаю, — в моей пьесе он не играет, для него там и нет, кажется, подходящей роли. Но я думаю, явись завтра пьеса, которая даже не в смысле роли, а сама по себе понравится Давыдову, — он не испугается, узнав, что она нравится и Мейерхольду, и не откажется от совместной работы с последним. Так я думаю потому, что и Давыдов — художник.

Да, следует гг. театральным «писателям» обновить свое перо; давно пора взглянуть в сторону просто искусства, просто художников, выйти из обывательски-житейских традиций. Не всегда и все традиции хороши.

Наше будущее

— Знаете что, господа? По-моему, самое страшное в этой войне — участие детей, — говорит почтенный русский офицер, видавший виды. — Самое подлое, преступное, по-моему, то, что немцы посылают на войну детей... («Дети-воины», «День», от 15 ноября).

В статье г. Кузьмина-Караваева «Юноши на войне» говорится уже о русских детях, не посылаемых, — боже сохрани! — а «всякими правдами и неправдами бегущих на войну». «Суть в том, — замечает автор, — что детей на войне быть не должно... И они обязаны знать, что будут на войне обузой».

Кажется, ясно — спора нет. Но вот еще одна статья на ту же тему, В. Розанова «В чаду войны» («Нов. Вр.» № 13891). Как свойственно «интимному» писателю, — Розанов рассказывает о собственном, 15-летнем, сыне. Сын «бурлит», стремится на войну, грозит убежать, «если добром не пустят». Причем сын такой, что над книгами все равно засыпает, даже заглавия книжного путем не может прочесть и ни о чем «не имеет ни образа, ни понятия». «Что же у него в голове?» — изумляется Розанов. Однако за побег на войну «хотел его выпороть, да с меня ростом, боюсь, сдачи даст».

Хотел выпороть и вдруг... перейдя на второй столбец, заговорил с тем же сыном — наизнанку: «Помнишь, Василий, Тараса Бульбу? Женщины (мать, сестры) не понимают мужчин. Мужчина действительно должен сражаться... Ученье? Что такое ученье? Это десять книжек, от которых тошнит? Кого же ученье воспитало, вдохнуло героизм, мужество, правду? Ученье... его всегда найдешь, много их шляется, учителей без места…» И Розанов не только «отпускает добром» подростка-сына, но и сам, кажется, собрался на войну, ибо кончает таким общим призывом: «…мерзавцев (немцев) надо колотить по морде, — ружьем, плетью, кулаком, чем попало... Идите и старый, и малый против ученых зверей!»

Не очень, конечно, любопытны мнения и выверты столь «известного» писателя, как Розанов. И мы не германцы, детьми не сражаемся, а потому юный Вася все-таки скорее попадет под розги, чем на войну. Пятнадцать лет... не о чем разговаривать. Многие, в 13–15 лет бегущие сегодня на войну, — делают это в том же порыве детского огня, который в невоенное время заставляет школьников бежать в Америку, в разбойники, в индейцы, — мало ли куда? Это явление вечное. Тип маленьких героев — вечный тип. Интереснее было бы понять, какова в общем наша современная молодежь — нашего века, нашего времени; что – в ней?

Может быть, это закон природы, что отцы не понимают детей. Может быть, это мне лишь кажется, что сегодняшние отцы дошли до абсолюта в непонимании сегодняшних детей.

Во всяком случае, н е в н и м а н и е отцов к детям в нынешние времена какое-то исключительное. Говорю о внутреннем невнимании; заезженных громких слов, заискивающих поощрений (когда дело идет не о собственных детях, а о «детях» вообще) и внешних забот (о собственных) — этого сколько угодно. Так было до войны, так и теперь.

Я не претендую на какое-нибудь особенное понимание современности, но внимание у меня есть. И война лишь подтвердила некоторые мои наблюдения. Во-первых — она оказалась благодетельной для той части молодежи, которую мы привыкли называть «старыми молодыми»; для наших «невпритык», выбитых жизнью со своего места и не умевших найти новое, для тех, кто бегал по футуристам, или опускался в нео-чеховский быт, или безвольно шел в самоубийцы. Их война положительно возродила. Подогрела кровь, дала содержание, смысл жизни, если не новый, то новый для них и, во всяком случае, яркий и конкретный. Многие устремились прямо па войну (им ведь не «бежать»; они взрослые); другие, оставшись, все равно отдали себя войне, забыли вялость и скуку, работают как умеют. События переполняют их, завлекают... иной раз дальше, чем нужно, но где думать о мерах в такие времена?

Есть у нас и другая молодежь, тайная, потому что очень уж молодая. Отцы и к явной-то невнимательны, а об этой что ж говорить. Да она и не ждет внимания, хотя сама внимательна ко всему, следит зоркими глазами, берет, что ей может пригодиться, — из мира, от невидящих отцов — и уносит в свою закрытую лабораторию.

Что там готовится? Я не знаю. Не жизнь, конечно, — жизнь в будущем, они сами — будущее. Но думаю, кое-что пригодное, даже необходимое для будущей жизни из этой потаенной лаборатории вынесется.

– Вы жалеете, что слишком молоды? Вам хотелось бы пойти на войну?

– Нет, как жалеть? Это случилось, то есть, что мне не хватает лет, значит, не без смысла же. Мне, нам, надо будет жить после войны. И вот об этом...

Но перебивает себя:

– Конечно, я здоров, силен... И если бы понадобились мои руки... В санитары, например... Или в какую-нибудь тяжелую работу... такую, знаете, вроде... Я бы сейчас же пошел.

Да, они будут жить после войны. И сознавать это, с этим переживать войну внутренно, — пожалуй, труднее, чем взять да кинуться в нее, тайком от заботливых родителей.

Кажется, у этих детей уже есть кое о чем решения потверже отцовских: отцы шатались, сомневались, отрекались... для детей многое уже совсем ясно. Отцы, конечно, улыбнутся: а опыт? а жизнь? Жизнь будет, но частью уже есть и теперь; опыт... неужели у юности так-таки нет опыта? К ее услугам опыт всего человечества. Свой собственный — всегда только необходимая прибавка к бессознательному, врожденному, в крови носимому.

Любопытно отметить, чего главным образом хочет та новая, неизвестная, молодежь, о которой я говорю. Она хочет знания и воли. Надо «уметь хотеть» и «знать, чего хотеть». Это не я определяю, это они сами. Пожалуй, слишком общо. И слишком наивно, скажет «отец». Но не без мудрости, не без верного инстинкта, — ведь как раз «воли»-то не хватало их «отцам», да и старшим братьям. «Все только придумывали, а делать не делали. И перековеркалась жизнь».

Некоторая самонадеянность — закон юности, да и право ее, пожалуй. Я ничего не предсказываю; но думаю, что будущая жизнь принадлежит именно тем людям, которые «сумеют хотеть»; и факт, что есть в наше время юность с таким сознанием, с таким уклоном, — кажется мне фактом очень радостным.

Этот уклон не ярко видим, да и не во всех частных группировках молодежи присутствует. Однако всякая группировка достойна исследования.

Вот, например, недавно появившийся студенческий журнал «Северный Гусляр». Само по себе — это хорошее, доброе дело; и если бы даже весь он, целиком, шел в пользу недостаточных студентов, без отчисления «для раневых», — мы бы также хорошо покупали его у студентов, которые «сами пишут, сами продают». Материальная поддержка учащейся молодежи не менее нужна, чем раненым. А что сказать о журнале как о таковом, о молодой группе его составителей, — я совершенно не знаю. Кто они –старше или младшие? Чего они хотят? Конечно, хорошего: объединия всей учащейся молодежи, свободы от партийности... Но умеют ли они «хотеть»? И может ли быть объединение на принципе отрицательном,

какова «беспартийность»? Достаточно ли этого? Проскользнула в одной редакторской статье более определенная фраза: «… нас, называют нео-славянофилами…». Но далее понятие не было разъяснено. Это уже ошибка. Слишком «известно», что такое наши, — даже «нео», — славянофилы. «Мы хотим взобраться на высокую башню…»

Вернее всего, что группа «Гусляра» сама еще не знает, кто она; и находится не на башне, а на перекрестке. Это хорошо, но нельзя жить на перекрестке; если не стоять, — то придется выбрать дорогу. Опытные, взрослые люди, — между прочим, и «отцы» «Вечернего Времени», — это понимают. Недаром и захваливают «Гусляров»: авось, мол, нашу дорожку выберут, как вздумают двигаться. А нам очень на потребу.

Свобода выбора — главное дело. Я тоже думаю, что на перекрестке век стоять нельзя. Но хотелось бы знать, что молодая группа не выберет проторенных путей (особенно таких заезженных, как Ново-Вечерне-Временский). Лучше бы проложить свою, новую, дорогу к будущему. Трудно? Нет, не очень. Только надо, конечно, «уметь хотеть».

Война, литература, театр

Моя тема кажется почти бессмысленной; а преждевременна она — во всяком случае. Не странно ли видеть рядом: «искусство» — и «война», «литература» и «война», «театр» — и «война»? Искусство и война — два дела; оба слишком важны, оба всепоглощающи, поэтому несовместимы. Да и по существу они столь различны, что не могут не исключать друг друга.

Война — действие внутри-жизненное; искусство, будучи тоже действием, и отнюдь не вне-жизненным — действие непременно над-жизненное. Война — вся в настоящем, только в настоящем; искусство стремится соединить три времени воедино: прошлое, настоящее и будущее. (Я говорю об истинном искусстве, о том, которое так или иначе касается вечности.)

Писатель, художник, — все-таки сначала человек, а потом уж писатель. Как человек — он живет в настоящем; и когда настоящее делается грозным и требовательным, — человек отдается ему, отрывая от себя неприглядную, ненужную, мешающую часть души — ту, которая жила искусством. Этот разрыв, или, если душа слишком срослась с искусством, надрыв, — неизбежен.

Письма Флобера к Жорж Занд летом 1870 года ярко показывают нам, чем живет истинный писатель, большой художник, во время войны.

«Как! дорогой учитель, вы тоже в отчаянии, опечалены? Я так подавлен, что сам удивляюсь. Я погружаюсь в бесконечную меланхолию, несмотря на работу, несмотря на доброго “Святого Антония”, который должен бы развлечь меня…»

Письмо это написано в самом начале войны, Флобер еще пытается работать…

«Вот он человек в естественном состоянии. Стройте после этого теории… Что бы ни случилось, мы надолго отошли вспять. Войны рас, может быть, возникнут снова. Не пройдет и века, как увидят, что миллионы людей будут избивать друг друга»… «Бедные мы, образованные люди! Как далеко человечество от нашего

идеала, и наше величайшее заблуждение в том, что мы равняем человечество с собой и обращаемся с ним соответственно этому…»

«Я умираю от печали… Я считаю себя человеком конченым. Я хочу одного — издохнуть, чтобы быть спокойным».

«Я поступил санитаром в руанскую больницу… Меня влечет, меня зудит драться. Что это, воскресает ли кровь моих предков, начесов?»

«Я вновь принялся вчера за моего “Святого Антония”. Что же, надо себя настроить. Надо себя приучить к естественному состоянию человека, т. е. к злу».

«Несколько раз мне казалось, что я схожу с ума. Меня изводит безделье — и сетования! и болтовня!.. Ужасно в войне то, что делаешься злым. Мое сердце сейчас сухо, как камень, и, что бы ни случилось, в сущности останешься дураком… Такие удары по голове не остаются без последствий. Они потрясают умственные способности. На себя я смотрю как на человека конченого, опустошенного. От меня осталась только оболочка, только тень человека».

«Полагаю, что никого война не привела в такое отчаяние, как меня. Как только я не умер от ярости и горя! Я уподобился Рахили, я не хотел утешиться. Я проводил ночи, сидя в постели, я стонал, как умирающий. Я виню наш век в том, что он заставил меня испытать чувства какого-нибудь дикаря XII века. Какое варварство! Какой шаг назад!»

«Литература кажется мне ненужной и бесполезной. Буду ли я в состоянии когда-либо заняться ею? Ах, если б я мог бежать в страну, где не встречались бы военные мундиры, где не было бы слышно барабанного боя, где не говорилось бы об избиениях, где не требовалось бы быть гражданином. Но для бедных “мандаринов” нет более места на земле!»

Во Флобере большой человек боролся со слишком большим художником. Разрыва не произошло, только надрыв; художник был ранен, но не убит. Вот выдержка из последнего письма.

«…Горечь обуяла меня. Ах, все потому, что я так страдал за эти десять месяцев, ужасно страдал — до безумия, готов был лишить себя жизни! Между тем я вернулся к работе; я стараюсь опьяниться чернилами, как иные опьяняются водкой…»

Если мы обратимся к письмам Э.Гонкура, того же периода, — мы найдем их подобными. Не столь значительными и сильными, может быть, но ведь Гонкур и как человек, и как писатель — меньше, слабее Флобера.

Да, «бедным мандаринам» — бедным служителям искусства — «нет места на земле», когда земля горит огнем войны. Они «умирают от печали», «от безделья», чувствуют себя «опустошенными», переживают смертельные муки внутреннего разлада, — если, конечно, художник не успел обесчеловечиться. Но дело в том, что такой «обесчеловеченный» художник — уже вовсе и не художник. Палка о двух концах…

Писатель, который может, на время войны, спокойно уйти в свою норку, «в себя», с намерением «переждать» и затем спокойно начать «творить» с того же места, где его прервали, — вряд ли способен вообще дать что-нибудь ценное в области искусства.

Муки Флобера, его надрыв — я считаю самым законным и нормальным состоянием писателя во время войны. Самым естественным. Случается, однако, что «че-

ловеческое» побеждает художника. Писатель безболезненно исчез, под грозным натиском настоящего остался только «человек». И это тоже естественно, тоже благо. Мы знаем многих писателей, так или иначе отдавших себя войне. И поглощенных ею всецело. Умер ли в них талант, или спит — не нам решать. Во всяком случае, сейчас — они только люди, а не писатели. Когда жизнь делается сама громадным и тяжким делом, выключающим личное, особенно художественное, творчество (а такою она делается во время войны), — можно т о л ь к о жить, или можно мучиться, как Флобер; страданьем искупать грех своего пребывания в пустоте, м е ж д у жизнью и творчеством, — ни там, ни здесь.

Анатоль Франс, это блестящий художник, тонкий скептик нашего времени — тоже почувствовал необходимость выбора; вспомним его недавнее письмо: «Мои писания бесполезны… сделайте меня солдатом». Старика солдатом не сделали, — не по его вине, во всяком случае. Но он совершенно так же ничего не пишет сейчас, как не писал бы, если бы надел мундир и отправился сторожить какой-нибудь обоз.

Я понимаю, что Флобер, не будучи в силах отказаться от искусства, мечась между жизнью и творчеством, — от жизни бросался именно к «Святому Антонию»; он искал з а б в е н ь я в искусстве; он не старался как-нибудь слепить вместе два разделенных во времени дела.

Можно ли себе представить, что тот же Флобер стал писать во время война роман из военной жизни или вздумал ставить батальную пьесу (будь он драматургом и останься Париж цел)? Как-то странно даже подумать это. «Святой Антоний» — да, в те мгновенья, когда он слишком уставал от бесплодных страданий, когда он должен был «опьяняться чернилами, как водкой». Но для него действительность и ее ужас — война — были слишком велики, и слишком цельно и велико искусство, с другой стороны, чтобы он помыслил самовольно и механически сцепить — разъединенное ударом жизни.

Каждый раз, когда мы, современные писатели, пишем стихотворенье, «художественный» очерк или пьесу «на тему дня» — мы только даем лишнюю расписку, что мы не Флоберы. И даже не Гонкуры. И даже не Анатоли Франсы. Это не искусство, потому что н е м о ж е т быть искусством (кроме таланта художественному произведению нужны еще многие условия, чтобы родиться) — но это и не жизнь, ибо это претензия на искусство. Это что-то среднее, механическое, не имеющее бытия. В самом деле: разве не меркнет любой «современный» рассказ любого, самого талантливого, современного автора — перед безграмотным солдатским письмом? Нельзя выдумывать «под жизнь» в те дни, когда сама жизнь говорит, кричит оглушающе громко.

Не серая обывательская толпа, конечно, но настоящий человек-читатель (а таких читателей все больше) — очень чуток. Он жадно слушает голос жизни, ее непосредственные, простые слова, их понимает, их воспринимает… А если явилась усталость, физическая жажда отдыха, — он, на это краткое мгновенье, разрешит себе открыть томик Пушкина, возьмет того же «Святого Антония» Флобера, но наши «военные» рассказы он читать не будет, и в театр на батальную пьесу не отправится.

Я говорю только об искусстве, только о х у д о ж е с т в е н н о м творчестве, — красочном, звуковом или словесном; работа мысли, слова разума, трезвость

убеждений — литература в широком понятии — нужна всегда, и теперь даже больше, чем всегда. А что положение чистого, образного искусства и художников (этих «бедных мандаринов») во время войны именно таково, каким я его определяю, — это кажется мне истиной бесспорной, слишком известной, почти не нуждающейся в доказательствах.

Не может солдат (будь он хоть сам Достоевский), идя в атаку, — описывать психологию солдата, идущего в атаку. А сейчас мы все — солдаты, каким-то образом, идем в атаку. Солдаты — или мученики; но и в последнем случае мы не пишем, а «просиживаем ночи на постели и стонем от горя».

Вот потому-то я и думаю, что говорить о литературе дня, о том, что наши художники «творят» для печати и для сцены во время войны, в связи с войной, — по меньшей мере бесполезно. Ведь это же не искусство, а лишь материал, недостаточно сырой — и недостаточно обработанный. Нечего себя обманывать: громадное большинство из сегодняшних «произведений искусства» очень скоро канет в Лету. Для искусства есть свои законы; когда оно их не исполняет, то перестает быть искусством. И подчиняясь настоящему, только настоящему, — искусство как раз нарушает один из своих вечных законов.

Еще труднее говорить о том, что будет с литературой после войны, как и в какую сторону может война ее направить. Мы и вообще-то ничего не знаем о путях искусства; рациональных оснований для суда нет, пророчества всегда оказывались ложными. Гадать же, каково будет влияние войны на литературу — особенно бесплодно. До сих пор мы видели одно: никакая война никак не влияла на искусство. Это очень объяснимо. В войне, именно в войне, уже нет и не может быть для современного европейского человечества, а тем более для верхов его, никакой новой идеи. Война, сама по себе, уже рассматривается нами и воспринимается как возвращение к историческому прошлому. Можно бы сказать, что война уже не может «растить душу», хотя и способна вскрывать ее древние, стихийные глубины.

Это характерное свойство современной войны отличает ее от других катастрофических мировых явлений. Но, конечно, война, потрясая и разрушая жизнь — меняет ее; и если меняются глубоко все формы и условия жизни — меняется и душа человеческая. Из нее, измененной, может вырасти и новое искусство. Какое? Мы не знаем и не беремся определять. Ведь мы не знаем, какие изменения форм и условий жизни нас ждут после войны. Пока — мы знаем только войну.

Однако, учитывая возможность этих общих перемен, то есть косвенного влияния войны на искусство, и литературу в частности, — скажу, что движение литературы, прерванное войной, может возобновиться вовсе не с того места, где было прервано. Надо ведь признать, что пути и рост общеевропейской литературы за последние годы не были особенно ярки и ясны. Не говорю об отдельных вспыхивающих талантах и о поднятии среднего культурного уровня; но в росте, в движении, чувствовалась какая-то заминка, топтанье на месте, или же частные отклоны, приводящие к срыву. Интересно отметить «футуризм» — европейский, конечно, — хотя это движение и не может назваться чисто литературным.

В некотором роде футуристы были действительно провозвестниками будущего, и даже очень близкого будущего: а именно — времени, которое уже стало настоящим.

«Футуристов» больше нет не потому, что они — «исполнились», как исполняются «времена и сроки». Лозунги их воплотились. И одно меня удивляет: зародились футуристы в Италии, а «исполнились» — в Германии. Да, в Германии. Три главные лозунга футуристов, по манифесту Маринетти, таковы: «будем разрушать все древние памятники искусства» (например, венецианские дворцы и храмы), «будем насиловать женщин» (любовь — сантиментальность) и, наконец, — «да здравствует война!». Не странно ли читать это т е п е р ь, присутствуя при столь совершенном и быстром воплощении «идеалов», хотя эти идеалы воплотились и не там, где были впервые указаны, и не те их воплотили, кто провозгласил? Вероятно, Германии просто не нужны были слова: в ней назревали соответственные дела. А там, где, к счастью, не оказалось благоприятной почвы, — слова остались словами.

Когда в прошлом году явился Маринетти с этими самыми лозунгами завоевывать Россию, — наши добрые, домашние «футуристы», да и вообще добрые люди, побежали слушать его с открытыми ртами; но главного они просто не заметили. Добрые люди благодушно посмеивались, а доморощенные футуристы наши, тоже не заметив главного (как слишком несродного нам), — остались на своих, уже выбранных, путях. Путей этих было два, оба кончающие собственно искусство; но таково уж свойство русской души — все доводит до предела, до конца, «до самого последнего кончика». Эти два пути очень ярко и доказательно были подчеркнуты, определены в свое время К. Чуковским (см. его последнюю книгу литературных очерков). Одна половина футуристов стала украшать и умножать свою конфектную изломанность, очень невинную, другая, перескочив через слова, дошла до нечленораздельных звуков, стала на четвереньки и устремилась… Куда? неизвестно, но кажется, чуть ли не в «леса», чуть ли не «спасаться». Странно, — однако, логично; и, главное, ужасно по-русски, и тоже невинно.

Футуризм наш, таким образом, был просто один из литературных срывов. Вряд ли дал бы он из себя живые побеги, даже не случись войны. Но и главная река нашей литературы в последнее время стала мелеть. Это бывает, когда заминается сама жизнь, деревенеют ее формы. Свежее, свободное дыхание ж и з н и необходимо для искусства. В медленно остывающей атмосфере потихоньку гаснет и огонь искусства. Как хороши заключительные строки известного восьмистишия Полонского:

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена — свобода!

Огонь все падал, все падал в нашей русской литературе последних лет. Были и таланты, была и прекрасная, действительно прекрасная «искусность», но огонь падал, и очаг русской литературы постепенно разрушался. Писатель превращался в «описателя», описывал — все равно что, все равно для кого, лишь бы тонко и красиво описать. И большинство достигало этой красоты и тонкости. Но ни у кого не было нитки, чтобы снизать жемчужины в ожерелье, и они, сверкнув, падали в пыль, терялись.

Не ради упрека писателям говорю я это, рассказываю о бывшем, и отнюдь также не ради приветствия войне, которая сразу прекратила бывшее, залила последний огонь. Нет виноватых, — все виноваты; такова история. Война не могла не прервать

течения искусства, не могла не превратить «мандаринов»-писателей одних — в солдат, других — в мучеников. Бессильна она и родить из себя самой, непосредственно, какое бы то ни было новое искусство. Но война может повести к разрушению прежних окаменелых форм жизни, чтобы на свежеразрыхленной новой земле взошли новые, свежие цветы.

К этим цветам, к этим возможностям, мы и должны стремиться.

Скажите прямо!

Очень интересна последняя, декабрьская, книжка «Русской Мысли». Она стоит пространного обсуждения, но пока мы хотим отметить, в нескольких строках, самое примечательное. Это примечательное — собрание статей, лекций, публичных чтений той группы нео-славянофилов (?), которую мы кратко привыкли называть группой «москвичей». Ничего не определяет это название, но тем оно и хорошо. По совести, назвать «москвичей» славянофилами нельзя, не вполне точно; национал-либералами — тоже; «славянофильствующими либерало-националистами» скорее, но уж очень это длинно и в конце концов смутно. Между тем достаточно сказать «москвичи» и назвать хоть одного из них, любого, — тотчас понятно, о ком идет речь; и за первым именем — С.И. Булгакова, что ли, — встанут в памяти другие — Е. Трубецкой, Эрн, Вяч. Иванов, Рачинский и т. д.— даже вспомнится кстати П. Струве, хоть он и не «москвич».

Они — все разные; если бы даже и не подчеркивали сами, что разные, никто бы в этом не усомнился; однако внутренняя, не сразу определимая связь их, общность, так значительна, что разность порою отходит на второй план. У них одинаковый стержень, и только нитки, наглухо обматывающие стержень, разных цветов.

Кроме того, у одних больше ниток, не скоро доберешься до стержня, у других он сквозит.

Статьи, о которых идет речь, все написаны на одну и ту же тему — о текущих событиях. Авторы говорят разным языком, подходят к событиям как будто с разных сторон. Разные разматываются нитки. Голубые, розовые, золотые... шелковые, бумажные... И вдруг мелькнет деревянная белизна стержня, у всех одинаковая: и у неподвижно-трезвого Е. Трубецкого, и у хладнокровно-увлекающегося В. Эрна, и у старчески-стремительного, пылкого Рачинскаго, и у кудреватого, ни пред какими большими буквами не останавливающегося Вячеслава Иванова, нашего «иеро-политика» (не я, а один наивный поклонник недавно окрестил его так). Скажу больше: даже в заключительной статье П. Струве, написанной внушительно (он всегда внушителен, говорит ли об экономике, империализме или «Святой Руси»), — та же подозрительная белость мелькает, хотя П. Струве держит палку за другой конец.

Что же такое этот стержень, эта палка, эта связь? Может быть — религия? Все они — люди религиозные, не естественно ли, что, и с разных сторон подходя к событиям, они все будут оценивать их с религиозной точки зрения? Да, это так; а все же сказать «религия» — сказать слишком мало. И само слово чересчур общее, и палка длиннее. Она одна, — поэтому П. Струве, начиная со своего конца, доходит-таки до «Святой Руси», хотя мы все знаем, как мало дела уважаемому профессору до чьей

бы то ни было святости. По этому же самому, с противоположного конца идя, доходят и «москвичи» — Эрн, Булгаков и другие — до Струве. Палка одна...

Тут дело не в религии «вообще», а следовательно, и не только в религии. С общерелигиозной точки зрения Франк, например, в своем спокойно-объективном, «исключающем все партийные, публицистические и философские споры» возражении называет построения «москвичей» «кощунственными» (стр. 129, «Р. М.», декабрь). Прав или не прав Франк — мы в это входить не станем сейчас, потому что мы вообще не судим, а только отмечаем и исследуем.

Определить же самую суть, стержень, на котором держатся построения «москвичей», можно, лишь взяв этот стержень в обнаженном и цельном виде. Именно таков он у последнего «москвича» — Сергея Соловьева. Соловьева нет в «Русск. М.», его не было на знаменитом собрании «Московского Р.Ф. О-ва», где прочтены были речи остальных «москвичей». Но он читал в других местах, он выпустил брошюру «К войне с Германией», его взгляды кристально чисты; за эту чистоту, за суровую честность слов, за то, что главного стержня он не обматывает никакими индивидуально-цветными нитками, — за это и недолюбливают его, и сторонятся от него, гибкие, слегка трусливые «москвичи».

С. Соловьев в высшей степени честен перед самим собой, он презирает всякие разматывания, наматывания, заматывания, всякое влияние, всякое либеральничанье, — словом, всякое приспособление к чему-нибудь, потакание, попустительство ради личных настроений, свойств, склонностей и вкусов. То, что он говорит, — стройно, цельно и сильно, хотя очень старо и всем известно. В цельности всегда своя сила.

Соловьев берег веру, церковь православную (во всей ее суровой неизменяемой полноте), Белого Царя (опять во всей православной полноте) и Святую, именно Святую Русь, как единую «наследницу Византии, которая была столбом правильного вероучения». Из этих трех открытых приятий с волшебной последовательностью вытекают все положения С. Соловьева, все до одного его слова. Он с правом говорит и о днях Дм, Донского, и о «гробах Сергея и Гермогена», и о Царь-граде, и о верховной мощи и призвании России, с правом пишет «На взятие Львова»:

Ты все ждал, чтоб из-за Збручи
Подошли к тебе, как тучи,
Рати Белого Царя...

да соберется весь русский народ

Под стяг державный
Звоном Пасхи православной...

И конечно, «Вильгельм это — Навуходоносор», и конечно — «нам нельзя было дышать от немцев, мы не могли молиться... созидать свою культуру, так роскошно расцветшую в XVII столетии», и конечно — «теперь переламывается русская история»...

Повторяю, логически-строгая и чистая красота построений Соловьева принуждает меня поставить его головой выше всех других «москвичей». Булгаков в конце своих «Русских Дум» приходит к тем же точно словам-выводам, как и Соловьев, точь-в-точь: «Россия — сверхкультура и сверхгосударственность, апокалиптическая

теократия Белого Царя...» и т. п., однако соловьевских предпосылок он не делает, а лепечет вначале что-то о капитализме. Скромные предостережения от «излишнего национализма» у Трубецкого, путанные «хорошие слова» Рачинского, таинственные глаголы Вяч. Иванова о «таинстве», о «вселенском деле» войны, все это — нитки разноцветные, мазанье, попустительство, между тем суть дела сама по себе такова, что требует строгости, определенности, суровой обнаженности от всяких чуждых украшений. Достоевский ничего не замазывал, Конст. Леонтьев не болтал о национал-либерализме, а шел до конца. Не сравнивая значения личностей, скажу, что и Соловьев — один — идет до конца так же смело, так же праведно.

Что касается П.Б. Струве, то я, пожалуй, ошибся, сказав, что он начинает с другого конца. С другой стороны, но не с конца, а со средины. И соответственно останавливается, далее «Святой Руси» (в очень поверхностном понятии) не идет. Конечно, и это для него много. Мы слишком хорошо помним, что П.Б. Струве если и признает религию, то как дело чисто индивидуальное, privat sache. Церковь же признает он лишь «обывательскую», по его выражению. Теперь он дошел до святости. Но не отвернется ли Соловьев... от струвьевской «Святой Руси», «правду» которой Струве хочет подпирать «силой» Всероссийской Империи? Струве-то искренне думает, что «правда» может «возобладать», только если внедрить ее «силой», но не один Соловьев, пожалуй, и Булгаков остановится пред таким «идеалом». А Струве именно как идеал святости предлагает нам взаимопомощь «правды» и «силы».

Если мы выделим Струве, вообще представителя срединности, то группа «москвичей», о статьях которых мы говорим, представится нам очень ясно: это — люди, разнообразно одаренные, разные по личным склонностям, слабостям, биографическим привычкам, но сплоченные единостью ясной и, по существу, не терпящей компромиссов идеологии. Они с малодушием (невольным?) прячут ее, покрывая словами — эстетическими, этическими, либеральными, какие кому ближе. Но слова отстают от нее; нет-нет — она мелькнет, только искаженная, обессиленная — бездейственная.

Соловьев обнажил ее первичные устои, взял ее во всей полноте, со всеми концами и началами. Он за нее отвечает.

А «москвичи»? Пока они не соберутся с силами и с духом, не примут ответственности за собственную идеологию, они так и останутся просто «москвичами», просто людьми, по-разному талантливыми, которые что-то говорят — не то разное, не то общее; чего-то хотят — не то хорошего, не то худого; а может быть и ничего не хотят, и все это — так, одни безответственные словеса «под настроением».

Грядущее

Если бы «пресса» благосклонно встретила «Зеленое Кольцо» и ее участников, новую русскую молодежь, — мне пришлось бы задуматься. Уж не ошибаюсь ли я вместе с моими героями? Они говорят: «Старые нас не понимают, а мы их поймем и всегда простим». И вдруг бы эти «старые», то есть как раз те, кто пишет в газетах, — вдруг бы они — «поняли?» Меня такое предположение несколько смущало. Но оно не оправдалось. Оправдалось в полноте утверждение «новых» молодых: ста-

рые и не понимают их, и не прощают. Ясно видит Зеленое Кольцо тех, к кому имеет силу отнестись «с милосердием».

Правила нет без исключений. К исключениям я вернусь, когда вернусь к «прессе» вообще (т. е. к мнениям «старых»). А пока — вот что: худа еще нет для самих «старых», если они «не понимают». Нет вины, во всяком случае. Но непонимание важности вопросов, которые завиты в смене времен и поколений, косное невнимание к идущему, растущему, к будущему, — вот это уж опасно. Пребывших в ограниченной самоуспокоенности жизнь рано или поздно вытолкнет вон — и уже без всякого «милосердия».

Автор статьи «Спор поколений» (см. «День». 22 февр.) — не повинен в этом грехе — в невнимании к самой теме. Поэтому с ним можно говорить. На вопросы его следует отвечать, хотя уже постановка некоторых показывает, что «новизну» новой молодежи он не понимает так же, как другие.

Только раньше два слова к «совсем ничего не понимающим»: отдав раз навсегда мою пьесу «Зеленое Кольцо» на литературный и любой суд всякого встречного и поперечного, я не подумаю защищать ее. Говоря о ней, поясняя кое-что, я буду ею пользоваться как материалом, конкретной зацепкой для спора. Не интересует меня также препирательство о том, есть ли действительно вот такая молодежь, или нет. Кому случилось видеть — будет говорить «да, есть», кому не случилось — будет отрицать. И никто никого не убедит. Дело не этим решается. Решается оно вот чем: утверждаю ли я, хочу ли я, должна ли быть сейчас такая молодежь? Или я не хочу, думаю, что не должна?

Автор статьи «Спор поколений» говорит определенно: и не хочу, и не должна (между прочим, существование ее он признает). Мы уже заметили, что самой-то молодежи Зеленого Кольца он тоже «не понимает»: но я допущу, что мог бы понять, если бы отвлекся от крепко зацепившего его вопроса о «старых». Напрасно автор хочет их защитить: никто их не обижает, ни я, ни Зеленое Кольцо. Они остаются на своем месте, и все их заслуги оценены по достоинству — в истории. Напрасно также доказывать, что не всегда все молодые годами молоды и все старые — стары. На это заранее отвечено в «Зеленом Кольце», устами одного из членов общества: «Я знаю, “Зеленое Кольцо” не по возрасту цифровому, а по складу, главное...» Если же чаще молоды фактически молодые — это и не плохо, и не удивительно. Мой совопросник указывает, что последнее десятилетие дало нам молодых, которые были старше старших: всяких «далькрозистов, акмеистов, аполлонистов, тангистов... кривляющуюся душу реакции». Совершенно справедливо. Но и на это отвечено в «Зеленом Кольце»: «Те молодые, что старше нас, — у нас тоже старые. Они в щель истории попали. Уже ничем не интересуются, или просто поживают, или убивают себя. Самые старые, папы и мамы, лучше. Из них можно брать нужное, как из книг. А эти, молодые-старые, — так пройдут. С ними мы и не столкнемся!» Конечно, «папы и мамы» лучше. Но хвалить их за то, что они жаловались на своих молодых старичков, охали да бранили их, — решительно не стоит. Ну и бранили. Бранью никого не переделаешь. И уж будто сами нисколько не виноваты, что такая поросль вокруг них пошла? Не на делании ли их же рук — или, вернее, на неделании, — вот эта молодежь поднялась? Закваска-то, пусть малая, — ихняя же, именно старшего поколения;

и не от лучшей, ценной его стороны, а от худшей, косной, от последнего по времени периода жизни русских «старших» — отродились вот эти «старички» — «далькрозисты, футуристы, акмеисты и самоубийцы». Так что хвалиться — «мы, мол, им не рады и сами осуждаем», — нечего. Не на кого жаловаться.

Прерыв, который инстинктивно утверждает «новая» молодежь, — исторически правилен и неизбежен: «мы хотим сохранить себя. Пусть они (старшие) нам ничего не навязывают. Мы сами возьмем от них нужное». Защитник «старых» понял это отношение молодежи как «утилитарное». Ах, они, молодые, хотят «использовать» нас? Мы не желаем! Мы, мол, готовы давать им от наших щедрот, что сами найдем благопотребным; пусть попросят, пусть сядут на пол кружком у моего кресла. И я научу, я даже с любовью научу, а они пусть с верой и любовью принимают. А самим брать, да еще не сидя вокруг кресла — нет-с! Мы не дадимся. Мы возмутимся.

Автор «Спора поколений» так и требует, чтобы «дядя Мика» в Зеленом Кольце — возмутился, когда подростки убеждают его помочь погибающей в жизненном конфликте девочке. А между тем «дети» отнеслись к этому своему другу только как к самим себе. Убеждая дядю Мику, Сережа говорит: «дядя, как честный человек — я бы сам на ней женился, если бы на своих ногах стоял», т. е. если бы его действие могло помочь Фимочке. При этом Сережа чисто и нежно влюблен в другую. Но он весь в порыве именно «большой» любви, в желании помочь гибнущей сестре. Он сам и дядя Мика — для него равны. Который сделает? Тот, кто действительно поможет, вот и все.

Может быть, по-детски наивно и смешно придумали они эту «помощь». Может быть, завтра, когда по совету дяди Мики «вместе соберутся, хорошенько обсудят», — продумают они что-нибудь другое... «Это ли, другое ли, — мы тебе поможем! Так хотим, так любим, что уже непременно поможем!» «Верь, все будет хорошо».

И только исказив прямой смысл слов, можно утверждать, что «дядя Мика помялся и сразу согласился» на предложение детей. Этого фактически нет. Нет и нарочитого «старчества» в образе дяди Мики, не было тени «старчества» и в глубоком исполнении роли г. Юрьевым, ни малейшего «кутанья в плед» — откуда плед? Дядя Мика «потерял вкус к жизни»... еще бы не потерять вкуса к старой жизни, если, как дядя Мика, «все понимаешь»? «Когда будет новая жизнь, — говорит Сережа, — все будет по-иному! Все по-иному!»

Именно оттого и не может возмутиться дядя Мика, что «понимает». Он понял главную «новизну» своих юных друзей: их повелительную жажду строить жизнь на взаимоотношениях свободных, равных, братских. То, что жило у «старших» словесно, что они знают, но не понимают, — у «младших» растет органически, изнутри. Им кажется, что «новая жизнь» создается лишь на этих устоях, и к новой жизни устремлена их живая, бурно-действенная воля. Не только друг к другу («по возрасту цифровому»), но и к «отцам» они готовы бы отнестись свободно, равно, по-братски; к дяде Мике так и относятся, потому что он «понимает»; а что же делать, если «непонимающие» отцы не готовы к свободе, если они хотят оставаться отцами прежде всего, хранителями старых основ жизни? Бороться? Да, но не бесплодными убеждениями и протестами, а волевым утверждением своего; непонимающих же отстранить твердо, без ненужной

грубости, «с милосердием». «В нашу жизнь мы им вмешиваться не дадим, — пусть, с Богом; в своей как хотят. Зачем отнимать последнее». Отцы держатся за право учительства, — дети хотят знания, а не учителей. Отцы стремятся охранять и продолжать, дети — начинать, созидать, не боясь, если в процессе творчества что-нибудь и разрушится: значит, подлежало разрушению. «Все дело — в выборе!» — и они хотят, выбирая, взять из старого все, что там не старое, а вечное.

Автор статьи «Спор поколений» напрасно писал о «споре» в связи с «Зеленым Кольцом». Как раз спора-то и нет у новых детей с отцами. Волевая работа устроения жизни на определенных началах и милосердное отстранение тех, кто, не понимая, мешает, — где же спор? Кто понял — тот уже не мешает, а помогает, по-братски, свободно, как дядя Мика. Ему, естественно, не надо и «милосердия».

Возвращаюсь к моему коренному вопросу. Что же, хотим мы или нет, чтобы в будущем человеческие отношения были свободные, братские, равные, утверждаем или отвергаем мы волю к воле и к знанию, должна или не должна быть у нас молодежь — Зеленого Кольца? Пусть ее сейчас нет, пусть она уже есть, вопрос не в том. Вопрос — хотим ли мы ее такой, зовем ли ее, приветствуем ли?

Если мой критик, защитник «отцов», скажет опять: «нет, не хотим, нет, не должна» — что ж, он обрекает себя на ту старую молодежь, которая сидит кружком около учительского кресла; а от настоящей, новой, ему придется-таки принять «милосердие», — по общему правилу.

Кстати, вспоминаю об исключениях из правила — сегодняшние «старые» не понимают сегодняшних «молодых». В малоизвестной мне газете была статья, автор которой с удивляющей тонкостью подчеркнул суть «Зеленого Кольца» и существо новой молодежи — его участников. В заключительной сцене, когда обнимаются трое, — мы верим, «мы вместе, все будет хорошо», — он даже увидел «символ юной, грядущей России». Я совершенно не знаю автора статьи, но раз он пишет в «Пет<ербургских> Ведомостях», в газете, — нужно предположить, что он сам не из «Зеленого Кольца» и по «цифровому возрасту» к нему не подходит. А вот «по складу» вдруг подошел, — по крайней мере, в данном случае, — потому что «понял».

С глубокой радостью отмечаю, что действительно «поняли» и артисты, игравшие «молодых» «Зеленого Кольца», и Мейерхольд, ставивший пьесу, хотя им не по четырнадцати лет. Положим, никого туда не причислишь, к «старым», но даже «старых-молодых» не было на сцене, а именно та новая, радостная, грядущая сила, которая нас милосердно отстраняет, пока мы ее жесто<ко>сердно не понимаем. Реальная «новая» молодежь, в зрительном зале, влеклась к Рощиной-Инсаровой, к Домашевой и Смоличу, как к собратьям, поверила им, поверила в них.

Увидела и в Юрьеве «понимающего все», нужного, близкого, старшего и равного — дядю Мику. Это я не гадаю и не мечтаю, просто говорю о факте. Чем поняли артисты «непонятную» молодежь — талантом или человеческой глубиной — все равно: поняли. Перевоплотились. И газетные «старые» естественно перестали их понимать. Что ж, старикам бояться нечего: как юность на сцене, так и юность в зрительном зале — в жизни, — отнесется к ним с «милосердием».

Равноценности

Очень опасен уклон статьи г. Тинякова (см. «Г<олос>Ж<изни>». № 8). Опасен и неверен, хотя исходит автор из верных положений, — о двойственности культуры. Я касался этого вопроса неоднократно («Голос Ж.», «День»). Да, понятие культуры — двусторонне. Да, лишь известная сгармонированность между культурой внутренней и внешней может назваться настоящей Культурой. Не совершенная гармония (ибо мир только идет к совершенству), но хотя бы связь, последовательное сцепление. Ведь когда человек идет, он, в сущности, падает, — то на левую, то на правую ногу. Но мы называем это не падением, а движением. Движение — вечно нарушаемое и вечно восстанавляемое равновесие. Есть, однако, пределы, за которыми нарушенное равновесие не восстанавливается, движение оканчивается падением.

Все равно, в какую сторону упасть. Одинаково страшно. Переразвитие внешней культуры ведет к механике, к автоматизму — к падению; переразвитие стороны внутренней — к разъединению, к вымиранию, к одичанию — т. е. опять к падению.

У нас и у немцев — две разные, но равные опасности. Перепроизводство внешней культуры у немцев, в ущерб внутренней (всякое ненормальное развитие одной стороны идет в ущерб другой, соответственно умаляет ее), грозит им механикой, разложением личности; наше переразвитие духовное, не гармонирующее с уровнем нашего внешнего развития, носит в себе ту же, обратную, нам равно страшную угрозу. А г. Тиняков предлагает нам следовать дальше как раз по этому, самому для нас опасному, уклону. И без того у нас есть Толстой; мы обязаны заслужить, оправдать этот великий Божий дар. Мало ли еще кто и что есть! Громадное крыло у нас выросло, на одном крыле не полетишь. Так же, опять совершенно так же, как не полетит Германия на своем одном крыле. И ей нужно заслужить, оправдать… не Круппа, — Крупп ничем не может быть оправдан, — но высокое развитие своей техники, науки, — всей своей плоти.

К вырождению ли духа ведет путь, или к вырождению плоти — на конце обоих одинаковая гибель. Допустим, что в Германии разлагается личность; а мы будем ли правее и счастливее, если у нас начнет разлагаться — общество?

«Христос и Эдиссон идут в разные стороны», — утверждает г. Тиняков. Сопоставление не из удачных, но все равно, мы берем не личность, а принципы. И тут я должен в сотый, в тысячный раз сказать: нет, они именно идут в одну сторону, вместе, неразрывно слитые в одном движении.

Мало того: в Христе уже есть Эдиссон, и отречение от Эдиссона равносильно отречению от Христа.

Если мне скажут, что Будда и Эдиссон идут в разные стороны — о, под этим я подпишусь обеими руками. Но и пусть себе они идут в разные стороны. Я не участи Индии хочу моей России. И не боюсь, и верю: если она сейчас пойдет за Эдиссоном, как это ей нужно в данный момент истории, Христос не покинет ее и она не покинет Христа.

Н. Ястребов

Зори грядущего

В последнее время в русском обществе начинает пробуждаться интерес к учащейся молодежи.

Вызывается ли этот интерес тем обстоятельством, что молодежь представляет еще не тронутый источник свежих сил, которые в данное время так нужны для России, или здесь кроется какая-нибудь другая причина, дело не в этом. Важно, что общество интересуется грядущим поколением.

З. Гиппиус посвятила молодежи даже целую пьесу. О пьесе говорили много, и мне думается, что интерес к пьесе обязан не исключительно известному имени автора, но и существует, помимо этого, благодаря теме, затронутой автором.

Я далек от мысли обсуждать идею пьесы, разбирать ее подробно. Это все уже делалось много раз. Я упомянул о пьесе только как о факте, который доказывает, что русскому обществу не безразлично, что думает и делает молодежь.

После того как из края в край нашего отечества прокатились воскликнутые кем-то в минуту глубокого духовного подъема слова: «Забудем распри и встанем, как один человек, на защиту родины», после этого русская молодежь как будто сомкнулась на время, почувствовала в себе одно сердце. Но такое единомыслие продолжалось недолго. Молодежь давно уже раздробилась на отдельные партии, смотрящие на жизнь с совершенно различных точек зрения. Эта рознь сказалась и теперь.

И не только, пожалуй, партийность мешает нам в наших общих созиданиях, но и наше духовное одиночество. Каждый из нас сам по себе, каждый из нас замкнулся, и если даже принадлежит к партии, то принадлежит к ней далеко не всецело.

Даже не замечается стремления сблизиться, породниться духовно.

Отчего же это так?

Отчего в молодежи происходить распад на особи?

Это распадение совершалось целые последние восемь лет.

Еще в 1906 году рухнуло товарищество, порвались связи между его представителями.

И вот поэтому-то нельзя задаваться вопросами:

«Что думает молодежь?»

«Что делает молодежь?»

Молодежь, как целое, ничего не думает и ничего не делает, хотя среди представителей молодежи с каждым днем, с каждым часом все больше и больше умных, серьезных людей.

«Так неужели же эти умные, серьезные люди не сознают, что распадение молодежи, кроме вреда, не принесет ничего ни ей самой, ни обществу?» — задаст, может быть, кто-нибудь вопрос.

Очень немногие сознают, — отвечу я, — но. если бы это сознавало и большинство, еще мало одного только сознания, нужно еще что-то другое, что бы захватило всех индивидуумов и создало бы из них единообразный класс.

Вспышка патриотизма в начале войны, как я уже указывал, именно собрала молодежь в одно целое, дала ей одну общую физиономию, но прошло несколько дней, если хотите — несколько недель, и у молодежи уже не стало ни общей души, ни

общего лица, опять стал каждый сам по себе, со своими мыслями, со своим одиночеством.

Очевидно, нужно еще более сильное средство, чтобы объединить прочно молодежь. Еще так недавно повсюду слышались вопли: «Что нам делать, чтобы хоть сколько-нибудь уменьшить число самоубийств среди молодежи?»

Эта эпоха самоубийств была переломом в жизни русской молодежи.

Когда начались самоубийства, тогда, надо полагать, разорвались последние швы общего платья молодежи, наступил период одиноких душ и одинокой тоски. Гибли сотни молодых жизней в открывшейся пропасти одиночества, не имея ни собственной воли бороться с сомнениями одинокой души, ни нравственной товарищеской поддержки.

Более сильные натуры оставались жить, замыкались в себе — и в результате выросла под кличкой «молодежи» какая-то странная толпа молодых стариков.

Современную молодежь вряд ли можно изучить, вряд ли в ее среде можно классифицировать те явления, которые кажутся общими. Эти явления общи только на первый взгляд, и, вдумавшись в них, мы не заметим никакой внутренней связи.

Существует много студенческих кружков, но таких кружков, которые не требуют духовного единения: есть, например, кружки воздухоплавательные, спортивные, фотографические, есть кассы взаимопомощи, бюро труда. Но ведь эти кружки являются чисто специальными, вносящими в среду юношества только минутные общие интересы. Молодежь понимает, что Россия в данное время входит в новую фазу исторической жизни, понимает, что нужны сильные рабочие руки, — и работает, учится, но опять-таки не сообща.

Наука не объединяет юношей духовно, она их объединяет только общим именем «учащейся молодежи».

Если вы прислушаетесь к разговорам среди учащихся, то, кроме незначительных общих мест, ничего не услышите: каждый старается оберегать неприкосновенным свой собственный духовный облик — и серьезных разговоров, беседы «по душам», что называется, не бывает.

Современное юношество слишком рано вступает в жизнь, слишком много и сильно переживает индивидуально, и единодушия в его среде поэтому быть не может.

Не нужно пытаться искусственно вызывать это единодушие: такие попытки были бы и безнадежны, и бесполезны, так как при всем старании вызвали бы единодушие только кажущееся, но не действительное.

Предоставьте молодежи жить своею собственною жизнью, той жизнью, которая установилась, которая только и может существовать в наше время.

От грядущего поколения надо ждать личностей, но не толпы.

Стадное чувство все более и более вырождается в среде молодежи, и вместе с этим становится все труднее и труднее объединить молодежь общей задачей.

Мы объединены жизнью в одном имени, в имени «люди». И этого достаточно. Пусть развиваются самостоятельные характеры, пусть глубоко сквозит в них индивидуальная оригинальность.

Если когда-нибудь войдет в жизнь великан мысли и если ему удастся поднять общество, то даже и здесь не будет стадности, и не будет ее потому, что люди созна-

тельно отнесутся к появлению гения, каждая личность по-своему, а не по шаблону, и так как люди будут объединены только именем, то и не утратят своего «я».

Можно с уверенностью сказать, что в то время гений будет играть роль личности не подчиняющей, а вдохновляющей. Какое из этих двух понятий более ценно для жизни, покажет будущее.

Так пусть же развитие юношества идет так, как оно идет. Будем надеяться и ждать появления новых людей с глубоко оригинальной, самостоятельно выстрадавшейся, выбившейся из тенет повседневности душой; будем ждать, когда эти люди возьмут молот каменщика, чтобы построить новый храм верно понятым заветам жизни.

Антон Крайний

Зори ли? Грядущего ли?

Мы печатаем выше помещенную заметку нашего молодого сотрудника не столько ради возражений, которые можно на нее сделать, сколько ради ее характерности.

Возразить очень легко. Тем легче, что автор сам путается и противоречит себе. Утверждая сначала, что результат «распадения молодежи на особи» — тот, что «с каждым часом все больше умных и серьезных людей», через несколько слов отмечает — как результат того же «замыкания в себе» — «странную толпу молодых стариков».

Не менее легко показать необоснованность дальнейших утверждений автора. Защищая индивидуализм «до конца», он и будущее рисует себе не иначе, как в тех же формах: «войдет в жизнь великан мысли, гений...» Но почему «можно с уверенностью сказать; что этот гений будет играть роль личности не подчиняющей, а вдохновляющей»? Напротив, «с уверенностью можно сказать» (и это уже с серьезными историческими и другими основаниями), что подобная «единая личность» будет именно подчиняющей или даже миропорабощающей, по самому своему принципу единства. Ведь это — старая, даже древняя идея. Идея Мессии, идея Антихриста. Как идея мессианства, она дает пути к разрешению антиномии между понятиями «все» и «один». Дает потому, что человеческую личность «одного» не ограничивает человеческим. Напротив, идея Антихриста замыкает все пути и выходы, углубляет антиномию, подчиняет «всех» людей «одному» человеку. В нашу задачу не входит дальнейшее развитие этих положений, столь известных и бесспорных хотя бы после Достоевского. Возвратимся к характерности заметки г. Ястребова, оставив ее противоречивость и философскую несостоятельность в стороне.

Прежде всего заметка любопытна своей обыкновенностью. Защита индивидуализма, разобщенности, самости до такой степени обыкновенна, так повсеместна и обыденна, что мы должны к этому факту известным образом отнестись. Именно к факту обыденности. Индивидуализм демократизуется. Ибсен, Ницше, Достоевский говорили с вершин, откуда они увидели новый горизонт. Их голоса едва долетали до «всех», — слишком они были далеко назади. Но время, история продвинула «всех» к ним, человечество встретилось с ними, настигло их — или их тени, — услышало их голоса — или живое эхо голосов, — потому что ведь неиз-

вестно, что теперь говорили бы Ибсен и Достоевский, не ушли ли бы на другие, следующие, вершины?

Но как раз с ними, прежними, тогдашними, толпа сейчас разговаривает, слушает их, понимает, и... еще не дослушала, еще недопоняла. А понять до конца, вобрать в себя, как свое, надо. Прежде чем этого не случится, нет и движения дальше, нельзя даже увидеть, что это — не последняя ступень, а один из этапов.

Кончился ли процесс демократизации индивидуализма? Совершенно определенно следует ответить: нет, не кончился. Дифференциация, распыление, разобщение, — эти внешние признаки, сопровождающие внутреннее искание осознать и утвердить кучный принцип «Личности», — только еще разрастаются, ширятся. Ибсен и Достоевский недослушаны, а потому всеобщее внимание праведно направлено на них, вернее — на ихнее, на вопрос о «Личности».

За большим столом только что подали второе блюдо, скажем мы, если позволено прозаическое сравнение. И было бы бесполезно вырывать тарелки с недоеденными кусками во имя того, что есть третье блюдо. Суп окончен, к нему не вернутся за большим столом. Суп — это тот первичный коллектив, который с таким удовольствием называют гости большого стола «стадностью». Совершенно естественно со стороны прозелитов индивидуализма трусить возврата, чувствовать всякую общность, всякую возможность соединения людей как «стадность». Только что открывшие, что есть «вопрос о Личности», писатели из «Северного Гусляра» (не все, а гг. Туфанов, Ковш, Нелли) «утверждают индивидуализм» с тем же страхом или презрением ко всякой общности («стадности»), как стадо других прозелитов.

«Бедные мы, сознательные люди! — писал Флобер, один из вкусивших от второго блюда во времена, когда за большим столом жадно ели суп.— Как далеко человечество от нас, и наше величайшее заблуждение в том, что мы равняем человечество с собой и обращаемся с ним соответственно этому...»

Да, заблуждение; и попытки демократизовать истину, когда еще не окончился процесс демократизации предыдущей, бесплодны, самонадеянны, легко ожесточают и ведут к нетерпимости. Надо «для всех быть всем», но помнить, что «спасешь только некоторых», по мудрому слову Павла.

Павлов уже нет, мудрость редка и трудна, а главное — неуследимы времена, неуловимы переходы, и почти нельзя не ошибаться при оценке степени развития того или другого исторического движения. Тут ведь надо еще учитывать, что в какой-то мере движение ускоряется, то есть, попросту говоря, на открытие истины требуется больше времени, чем на усвоение уже открытой. Целые отдельные жизни отдавались на то, что сегодня гимназист выучивает между прочим. Логически, — да и фактически, — опыт предыдущих поколений служит последующим для опоры, как данное. Но в живой жизни это происходит не так просто и не так ясно, как нам хотелось бы; отсюда и ошибки, и «заблуждения», и нетерпимость.

С особенной горечью отмечаешь, что и молодежь, т. е. последующее поколение, не пользуется сейчас опытом, уже пережитым, не опирается на него, а сама сызнова начинает его проделывать, сливаясь с общей массой в процесс индивидуализации. Русская молодежь девяностых годов была настоящей молодой молодежью. Она мучилась, боролась, осознавала проблему «личности», утверждала, ковала «личность»,

доходила в борьбе до неизбежных крайностей, с болью отрываясь от «стадности». Сколько слабых погибло на этой переправе, не достигнув другого берега... Все это не в закоулке; слава богу, даже не в одной России... И вдруг, в пятнадцатом году нового века, «новая» русская молодежь заговорила, как о чем-то новом (не заговорила — залепетала), о «я» и «не-я», о правах личности и грехе стадности, о грядущем гении, о «познании мира путем включения его в свое эго» (это — «новая» мечта г. Ковша из «Гусляра»). И слова какие-то все старенькие-престаренькие, знакомые со времен юности Бальмонта: «солнечно-юная», «творчески-изменчивая, стремительно-дерзкая» мудрость и т. п.

Если не всегда хватает терпения и терпимости наблюдать долгий процесс демократизации какой-нибудь идеи, медленного ее просачивания в широкие круги, то убеждаться, что молодежь наша не пошла вперед, а лишь разжевывает жеваное, особенно огорчительно. Не хочется верить. Да нужно ли верить? Смена поколений — тоже вещь неуследимая. И, пожалуй, наша сегодняшняя молодежь, которую мы считали молодежью, — вовсе и не молодежь, а «так». Так, масса «вообще», среди которой, по медленно-верному закону, происходит своим чередом впитывание очередной идеи. А наши действительные будущие... они, пожалуй, сейчас еще не подросли, еще учатся, читают и работают. Одно несомненно: когда они заговорят о своих новых мечтаниях, это не будет ни «новая мечта» г. Ковша о «включении мира в свое эго», ни надежда г. Ястребова на «грядущую личность гения», ни — тем более! — желание «превратить жизнь в грезо-фарс». Им в голову не придет трусить пред «стадностью»: слишком безвозвратно она побеждена. С ней они и не столкнутся. А вот с «индивидуализмом», т. е. с идеей «личности», самое себя кончающей, будет в свое время борьба, и о новом, не «стадном» только, но корнями уходящем в историю, человеческом общении, единении, эти поистине молодые, может быть, что-нибудь и скажут.

*Земля и камень**

Пред нами худощавый девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, с веселыми глазами. Он приехал из Рязанской губернии в «Питер» недели две тому назад, прямо с вокзала отправился к Блоку, — думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес.

В Питере ему все были незнакомы, только что раньше «стишки посылал». Теперь сам их привез, сколько было, и принялся раздавать «просящим», а просящих оказалось порядочно, потому что наши утонченно-утомленные литераторы знают, где раки зимуют, поняли, что новый рязанский поэт — действительно поэт, а у многих есть даже особенное влечение к стилю подлинной «земляной» поэзии. Девятнадцатилетний С. Есенин заставляет вспомнить Н. Клюева, тоже молодого поэта «из народа», тоже очень талантливого, хотя стихи их разны. Есенин весь — веселее, у него тон голоса другой, и сближает их разве только вот что: оба находят свои, свежие, первые и верные слова для передачи того, что видят. В стихах Есенина пленяет какая-то «сказанность» слов, слитость звука и значения, которая дает ощущение простоты. Если

* Стихотворения С.А. Есенина см. на след. странице (*примеч. ред. журнала «Голос жизни»*).

мы больше и чаще смотрим на слова (в книгах), чем слышим их звуки, — мастерство стиха приходит после долгой работы; трудно освободиться от «лишних» слов. Тут же мастерство как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие. Важен, конечно, талант; но я сейчас не говорю о личном таланте; замечательно, что при таком отсутствии прямой, непосредственной связи с литературой, при такой разностильности, Есенин — настоящий современный поэт. Он, сам того не подозревая, — уже «описатель», он, прежде всего, «видит», и это — не его личное свойство, а общее свойство современных словесников-поэтов, как у Фета и Кольцова было общее свойство сначала «чувствовать», а не видеть.

Впрочем это требует долгих доказательств, сложных определений и параллелей. И нет у нас еще развившихся современных народных талантов. Есенин так молод, а время так быстро, что он может еще завянуть на корню. Пока невиданный Питер не слишком удивил и пленил его. Любопытно; однако не очень. Пошел и на «поэзо-концерт». «Что ж, понравились футуристы?» — «Нет; стихи есть хо-ро-шие, а только что ж все кобениться». И люди в Питере, говорит, — ничего, хорошие, да какие-то «не соленые».

Рядом с Есениным, — за тем же столом, сидел пред нами другой юный поэт, не «земляной» — «каменный». Современники, — они все-таки немножко не понимали друг друга. Есенин не знает «языков», а потому ему невдомек, что значит «манто», «ландолэ», «грезо-фарс» и т. д., а коллега не понимает ни «дежки», ни «купыря», и скорее до «экарлатной» зари додумается, чем до «маковой». Но оба хотят богатства слов. И оба имеют. Только у «каменного» поэта своего нехватка, и приходится в чужих странах прикупать, а поэт «земляной» приехал с собственным русским богатством из Рязанской губернии, и лишний раз стало ясно, как обильна земля наша; всего у нас вдоволь, а если кому не хватает, если в каменных столицах всё, вплоть до слов, — покупное, так это потому, что мы с нашими богатствами сладить не умеем. Где густо, а где пусто.

Раненая муза

Серьезная вещь — война. Вы думаете, ранят только на фронте? И только людей? Нет, далеко стреляют гаубицы. Мы знаем, как изранили, исковеркали первые выстрелы душу «лучших» немцев. Слава богу, наши души уцелели. Но зато оказались подстреленными музы наших «лучших» поэтов, и раны их до сих пор не исцелены. Больная муза! Как это горько, особенно если ее, крылатую и сильную, слишком любил! Утешаешься, что раны не смертельны, сильный не может не выздороветь в конце концов, но тянется болезнь, и тяжело смотреть.

Я не могу, да и не хочу говорить о всех раненых музах. Их слишком много, целый лазарет. Раны более или менее однородны, вероятно, ибо картина болезни почти у всех одинакова. Самые своесловные музы, обуянные горячкой, забредили словами одинаковыми, общими; их оказалось довольно мало, прошлое все повторяют. А свои слова забыты.

Эти общие, возвращающиеся, слова больных муз легко было бы выписать в двух строках. Но зачем? Они давно всем известны, от «наглого тевтона» до наших «доблест-

ных полков». Пройду я мимо них, и мимо раненой музы Леонида Андреева пройду. Она, конечно, ранена; однако я и здоровую не очень ее любил. Мне все казалось, что она и тогда была не совсем здорова. Слишком валкая, шаткая, нетвердая во всех путях своих. Как-то неудивительно, что первая немецкая гаубица подшибла ей крылья и заставила «влачиться в прахе и в пыли». Дай и ей бог выздороветь, конечно — дай бог.

Но есть одна...

Эта «одна» — та, которую я любил больше всех. И не я только любил ее больше всех. Она была достойна любви нашей, ее крылья, острые и широкие, блестели розово-зеленым зоревым цветом, а в лице было «необщее выражение», — она была единственна.

Я говорю, конечно, о музе Сологуба. Ставя ее выше всех других, я отнюдь не унижаю этих «других»; я люблю многих, но ее, единственную, нельзя не любить «единственно», особой, упорной, неумирающей любовью. Оттого мне так страшно, так до слез горько смотреть на нее, раненую, на нее, больную, бедную, в бреду. И хотя разумом я знаю, что она выздоровеет, но нет сил спокойно и бездеятельно сидеть у ее изголовья. Все знаю; помочь нельзя, болезнь возьмет свое... а все-таки не могу молчать.

Нет никакого сомнения, что она была ранена первым же немецким выстрелом. Еще в начале июля она цвела здоровьем и молодой прелестью. Началом июля помечено стихотворение Сологуба, напечатанное в последней книжке «Русской Мысли». Оно так поразительно-прекрасно, что я лишь по недостатку места не выписываю его с первой до последней строки.

И вы хотите, люди, люди,
Чтоб я земную жизнь любил!..

В этих заключительных словах (как, впрочем, и во всем стихотворении) — Сологуб во весь рост, а с ним стальной, крепкий стих его.

Едва успела прогреметь первая пушка...

Сологуб начал:

Громки будут громкие дела...
...Нации в союзе племен...,

и продолжал, продолжал:

Прежде чем весна откроет
Ложе влажное долин,
Будет нашими войсками
Взят заносчивый Берлин...,

и продолжал, когда союзники наши подошли к Дарданеллам:

Опять, опять надеждой полны,
Мы снова верою сильны...
...Грохочут пушки у Босфора,
И уж свободны станут скоро
Пути для наших кораблей...
...И наши станут шири, дали...

Что это? Сологуб с «опять и снова», с «и уж», с «наши шири»? Сологуб? Нет, только несвязный бред раненой музы его.

Кто не знает сверкающих рассказов Сологуба, то острых, то нежных, и между ними — рассказ «Помнишь, не забудешь», острый и нежный вместе? Кто не признавал (все равно, явно или тайно), что Сологуб — первый из современных романистов и повествователей? Это так, это — несомненно.

И что же, Сологуб или не Сологуб пишет с августа в «Биржевке» рассказы об «офицерских вдовах», о «немках» — «злых гувернантках», о «тупых, злых тевтонах»? Если упорно появляются там «обнаженные чьи-нибудь стопы» — должны ли мы все-таки верить, что это пишет Сологуб? Он ли, наконец, написал повесть «Острие меча», напечатанную в «блистательном» сборнике слишком нам всем известного «Лукоморья»?

Благо тому, кто этой повести не читал. Я не буду передавать ее содержания: его почти нет... впрочем — хуже, чем нет: оно недостойно последнего из наших «писателей» «Петер...», виноват, «Петроградской газеты». Достойно разве «Лукоморья». Я уверен, что всякого, любящего Сологуба, читателя пронизало насквозь это «Острие меча», заставили, может быть, плакать (над Сологубом) эти три (или четыре?) «доблестные» женщины с «доблестными» мужьями и доблестными же союзниками-женихами... Из последних, т. е. из женихов, был один «злой тевтон», который перебил и добил зверски остальных «доблестных мужей и сыновей» (русских), а попав в плен (поделом!), пришел стрелять в Москве в свою невесту за то, что она «доблестно» от него отказалась...

Это — Сологуб? Он? Да нет же, это «опять и снова» — горячечный бред его музы; она ранена, больна, несчастна... Стоны ее долетают до нас, и мы не можем слушать их равнодушно. От любви, сострадания и горести мы не можем молчать.

Не моя, она — чужая подруга; а я горюю о ней, как о близкой, потому что ее краса — мне родная. Знаю, будет час, рана заживет... Но, Боже, как тяжела рана, как долга болезнь!.. А мы ничем не в силах помочь.

Без «аминя»
(«Воспоминания кстати»)

Есть сторона русской жизни, в которую мы почти не глядим. А когда глядим — ничего из этого гляденья не выходит. Не видя, смотрим, связи между явлениями не понимаем. Побольше внимания не помешало бы. Сторона, о которой я говорю, так значительна, что, не поняв ее, — мы никогда с достаточной глубиной не поймем и всех других сторон жизни российской.

О знаменитом в свое время Илиодоре писали… но или ради сенсации, или с брезгливостью: культурный пережиток! За Илиодором пошли другие. Разные — но той же линии, в той же стороне. И опять то же отношение — нетерпеливая брезгливость, чесотка сенсации; ко всем — вплоть до современного епископа Варнавы.

Вызвали еп. Варнаву к допросу, а он ответил, что ему, по милости Божьей, было видение, согласно видению он и поступил. Ответив так, — ушел, и спокойно уехал. Мы не знаем, что возражали на видения слушавшие, и возражали ли. Но заранее известно, что так называемое «светское» русское общество решительно ничего еп.

Варнаве возразить не могло бы и вообще никаких внутренних средств для борьбы с ним не имеет.

Говорите хоть до второго пришествия, что еп. Варнава не получил образования, некультурен, порочит законную Думу, — пожалуйста! Все это мимо него. Важно ли образование, когда он удостоился, милостью Божией, видений? Вот даже Меньшиков в «Новом времени» недавно поддержал его, обрушившись на тех, кто робко подал голос за образование в духовной среде. К чему оно там, где нужна святость? Все, мол, священные старцы необразованны. И к ним сами интеллигенты ходят, по уверению Меньшикова, а к образованному не пойдут.

Можно усумниться в варнавинских видениях, не поверить. И это ему горя мало. Кто усумнился? Кто не верит? Те, кто вообще ни в чьи виденья не верят. Ну, значит, они в этом деле над Варнавою и не судьи, и законы их не для него писаны.

Интеллигентским оружием разума, искренности, чувства общественной морали и справедливости с Варнавой ничего не поделаешь. Не перейдешь круга, которым он себя очертил, не поколеблешь камень-адамант, на котором он, милостью Божией, восседает.

Милостью Божией? Вот тут опять: для кого вообще нет никакой «милости Божьей», кто ничего в этой стороне не понимает, тот Варнаве действительно и не судья.

Бросают репейником, и все мимо. Диво ли, что Варнавы только посмеиваются, на адамант надеются?

Между тем и против него есть «слово», есть какой-то «аминь-аминь рассыпься». Но, чтобы открылось слово, мало одного ума-разума. И прежде всего нужны зоркость, чуткость и углубленное, настойчивое внимание. А то ведь и репьями-то швыряются вяло. Что нам темно, мы с легкостью готовы счесть не важным, не существующим, и отходим прочь.

Щетинины (вспомним недавнее дело сектанта-провокатора-миссионера), Легкобытовы (ученик Щетинина), да мало ли их! И это все камушки с той же стороны. Цветом разные, одни покрупнее, другие помельче, а все оттуда же. Щетинина мы встречали в рел.-фил. обществе еще недавно. Молодец с крутыми седоватыми кудрями, сапоги бутылками, в говоре, в облике что-то противное, но по-особенному: неопределимая, неуязвимая противность.

Легкобытов — другой: маленький, говорливый и, пожалуй, не противный. Он однажды провел у нас целый вечер. Это было лет 5–6 тому назад. Уже в это время Легкобытов фактически отделился от Щетинина, ибо все дела последнего уже были известны.

Они не мешали, однако, Щетинину долго еще ходить по собраниям. Да мелковат он. Будь покрупнее, до сих пор ходил бы, пожалуй.

А дела его — самые простые и не скрытные. Кроме дела обычного — баболюбия, он брал на хранение деньги своих последователей и не отдавал; собирал «учеников» и доносил полиции, заботясь, чтобы взяли их «с уликами». Все это он открыто, тут же, называл г р е х а м и. Да, — говорил он, — велика моя жертва; беру на себя тяжкие грехи; чем больше возьму я, тем меньше им достанется. Где бы тебе согрешить — согрешу я, а ты будешь чист.

Не думайте, что и в этой извращенной, преступной чепухе нет черты подлинно русской, нет доли вечного соблазна «святостью». Легкобытов, не выдержавший и

отошедший (быть может, за шкуру свою испугался?), и тот все же избегал осуждений, почтительно замалчивал бывшего «учителя».

Легкобытов, впрочем, сам стал учителем. Кажется, очень невинным. В ахинее, которую он нес, просто-напросто ничего нельзя было понять. Но какими глазами смотрели на него двое учеников, с ним пришедших! Простые, скромные люди, — рабочий (еще недавно бывавший на митингах) и его жена, работница на том же заводе. Не знаю, что они понимали, но, должно быть, понимали: уж очень хорошо, ярко горели у них глаза.

Понимали, во всяком случае, что есть какая-то на свете «милость Божия». Поди доказывай им от разума, что Легкобытов плетет ахинею. Они и не услышат доказательств. Даже с крошечным легкобытовским камушком ничего не поделаешь без «аминя».

У Легкобытова и Щетинина слишком крут, однако, уклон в сектантство. Если Щетинин держался прочнее известных «братцев-трезвенников», — то лишь благодаря своим «миссионерским» услугам. А не хватило сметки, переугодил где-то, — провалился.

Трезвенников сразу ославили «сектантами». А в сущности, все их «сектантство» сводилось к неправоверному или даже недостаточно ярко-правоверному взгляду на власть, начальство и народ. С народом они считались, а в сторону начальства мало глядели и знаков преданности не оказывали. Просто, кажется, ничего тут не думали. Но и не «ничего» — уже неправоверие, уже сильный повод для подозрений. И заперли бедных «братцев» сначала в тюрьму, а потом (Иванушку) в его же вырицкий домик; сообщайся оттуда с «трезвыми» через стеклушко, через запертое окошечко.

Свобода, право, справедливость, закон — все это отнюдь не обязательно для живущих не под законом, а под благодатью. Правда, мы уже по учебникам знаем, что «благодатные дары оскудели». Но это ничего не меняет. Утверждающему себя в благодати — как мы докажем, что именно в нем благодать оскудела? Да и какие у нас средства отличать «неоскудевшую» от «оскудевшей»? Ни средств, ни права… пока мы вообще никакой «благодати» в мире не признаем.

Тот, кто объявил себя живущим по благодати, может с полной последовательностью не считаться с общечеловеческими требованиями. С человеческим определением добра и зла. Может в каждом отдельном случае признать хотя бы свободу, например, и добром, и злом.

Это — принципиально. На практике же, действительно, мы видим много странного. И только подступу у нас к этим странностям нет, благодаря крепости принципа, их прикрывающего, и нашему легкомысленному невниманию.

Почему на практике повелось, что вот, скажем, ту же «свободу» — благодать неизменно, всегда, склоняется признать з л о м? Всегда или борется с ним, или (если открытая борьба сейчас невыгодна) бездействует, выжидательно молчит? «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…» Но откуда сие, что для мужей благодати малейшее свободолюбие — непременно нечестие.

Вспоминается мне один из верных служителей благодати, интересный и простодушный. Высший сан и взбуженное честолюбие несколько связывали его; но своеобразности и простодушия он не потерял. Простодушие-то и наделало ему беды.

Гигантского роста, черный, толстогубый, сильный, веселый, он иногда приходил в гости запросто. В то время ему еще можно было ходить пешком, позволялось даже шляпу носить, даже в уличном ресторанчике закусить вместе своим приятелем, секретарем «светского» журнала.

Поздно вечером спрашиваешь его:

— Отец Х., а ворота у вас не запрут?

Упирая на «о», густо, с детски-лукавым видом, отвечает:

— Когда я иду на дела тьмы, я приуготовляю себе убежище…

И потом идет ночевать к тому же секретарю.

Рядом с огромной специальной ученостью в отце Х. как-то уживались детскость и детские увлечения.

Был он раз в особенном ударе. Не стеснялся никакими историями и суждениями. долго, пресерьезно, толковал и апокалипсическую саранчу: «…это все теперь объяснилось; я го-во-рил, это мелкая пресса…»

Дальше — больше:

— А я еще вам такое скажу, такое скажу, что вы все зашатаетесь…

Мы, конечно, ждем. Немного поодаль стоял очень небезызвестный ныне литературно-духовный «деятель» и «генерал» — в то время просто победоносцевский чиновник-придворник. Едва привыкавший к «хорошему» да еще «литературному» обществу, он рассеянно вслушивался в глаголы отца Х. Думал, может быть, о своих манерах и о том, кстати ли надел красный галстух.

— А скажу я вам, скажу я вам, — гремел о. Х., — вот что: о ком писано — никакого того не буде… А это все ти-пы…

Деятель в красном галстуке, очевидно, всего ожидал от о. Х. Без тени изумления или смущения переспросил:

— Все «ки-ты»?

Не смутился и о. Х. Вразумительно поправил:

— Не «ки-ты», а «ти-пы»…

И спокойно продолжал пояснять свое открытие. Если уж «шататься», то от него, или от «китов» одинаково можно «зашататься».

Этот-то самый муж благодати, облеченный высоким саном, и пострадал. На одну маленькую минуточку он позабыл правило: «свободы и законы для подзаконных; в их сторону не смотри, ибо все сие преходяще, благодать же пребывает вечно».

Владыка Х. в первом молебне, выпустил четыре буквы. Не иначе, как по простодушию, внял он голосу разума там, где разуму быть не полагается.

Еп. Варнава никогда бы этого не сделал. Уж очень греховна сторона, в которую заглянул еп. Х. Зато Варнава может еще раза три и Думу поругать с амвона и, согласно видениям, еще трех святых канонизировать, — и ничего. А епископу Х. одна маленькая минуточка с четырьмя буквами стоили… десяти лет «покоя». Время достаточное, чтоб и ошибку понять, и убедиться: ведь действительно «все сие преходяще, вечна благодать».

Такие ошибочки — большая редкость. Сколь ни разнообразны благодатные мужи, столь ни протяженна лестница, по которой они шествуют, правоверие в известной точке у всякого крепко. И чем крепче, тем крепче и выше его ступенька.

Впрочем, разнообразность их и в других отношениях — весьма относительна. Взять хотя бы такую твердо-постоянную вещь, как «баболюбие». У кого (из несредних) нету «баболюбия», — у тех непременно такое же неудержимое крайнее — «бабоненавидие». А ведь это другой конец той же палки.

Нам случилось знавать мужа изысканнейшего, не владыке Х. чета. Прекрасного рождения, общества и образования, «правоверный», конечно, до самой предельной степени, он был одержим именно «бабоненавидием». Эта страсть даже честолюбие его порою побеждала. Несть числа юношам, которых он властно вел и привел к «ангельскому чину», все ради спасения от скверны, от …. от …., от женщины. Ускользнувшие из-под его влияния не повторяли «огневых» речей учителя. Ибо они были неистовы. Несдержанная грубость, до которой, верно, далеко и «необразованному» еп. Варнаве, достаточно известна всем, не одним «ученикам» высокого мужа. Он не брезговал ею и в «свете». Нужно сказать правду: находились женщины, которым, к вящему ликованию проповедника, такое обращение даже нравилось… Палка о двух концах…

Как-никак грубословие хоть и смущало многих, — терпели. Не судить же; может, ему так «дано»?..

И грубость, и двуконечная палка насчет женщин, и другие разные вещи — все это, конечно, мелочь, деталь. Но не мелочь — принцип, устой, всегда один и тот же, всегда крепкий, и доселе неуязвимый, несокрушенный.

Мелочи мы иногда замечаем, а на главное не смотрим. Русское интеллигентное общество, столь много размышляющее над судьбами России, — ничего не может поделать ни с Варнавой, ни с другим каким старцем, если он объявит свои действия «по благодати», обопрется на адамант-камень. Можно послать таким Варнавам бессильный упрек в «некультурности», но стоит ли?

Стоит — обернуться, оглядеться, увидеть понимающими глазами те явления русской жизни, о которых мы еще серьезно не думали. Как могло это случиться? Ведь они не где-нибудь за семью морями и семью замками, а тут же на виду, среди нас…

А когда увидим? Надо еще знать разделяющее «слово». Пока Варнаву не зааминишь, он не рассыплется.

Но об этом не беспокоюсь. Увидеть, понять действительно — значит найти и «аминь».

Детский взор
(«Воспоминания кстати»)
I

Шуми Марица
Окровавлена,
Плаче вдовица
Люто ранена…

Все слышу, как это повторяют, и еще дальше, длинно, — запомнить не могу. Мне седьмой год или около того, но, постоянно обретаясь среди взрослых, я с интересом отношусь к их делам; стараюсь выяснить смысл этих дел и течение. Я уже знаю по

опыту, что многочисленные и беспорядочные вопросы, обращенные к кому попало из взрослых, — бесполезны; у меня есть какая-то неуловимая для собственного ума, но определенная система спрашиваний.

Однако в последнее время все так запуталось и заволновалось, что мои вопросы делаются все чаще и настойчивее.

Маму и папу я пока оставляю. Кроме них есть бабушка, — но она не знает про теперешнее, а только про старое, про святых и светопреставление. Есть няня, — она меня не удовлетворяет. Остается Аглаида Павлова, недавно поступившая гувернантка. Я ее не боюсь и не ненавижу, как других гувернанток; все называют ее институткой и «восторженной»; ко мне она не пристает, предложила быть с ней на «ты» и звать «Агой», но отказ мой приняла покорно. Мне нравится, что она все больше с мамой и «обожает» ее.

За эту Аглаиду Павловну я принимаюсь на уроке чистописания.

— Уж война теперь? — спрашиваю как бы вскользь. — Друг с другом?

— Как это — «друг с другом»? Точно вы не знаете, что у нас война с турками. Это варварский, нехристианский народ, угнетающий наших братьев.

Я не совсем понимаю, несколько смущаюсь.

— Каких братьев?

— Ах, боже мой, братушек, славян, болгар, сербов, румын… (Отлично помню, что Аглаида Павловна назвала и румын.) Турки владычествуют над ними и беспощадно вырезывают их. Понимаете? Наших братушек. Вся Россия слилась в едином порыве и вместе со своим Ангелом-Освободителем выступила на защиту кровных против турок, понимаете?

— Конечно, понимаю, — говорю я угрюмо, хотя еще ничего не понимаю. — Ну, а Марица окровавлена, кто это?

— Песня, песня братушек, река в Болгарии — Марица, башибузуки убивают несчастных болгар, бросают трупы в воду, и вода делается красная. Русские победят этих зверей, возьмут болгар из-под их власти. Это — святой подвиг. Вы видели на картинке башибузуков? Такие черные, с большими носами, с нависшими бровями, страшные? Они у турок считаются самыми зверскими, самыми сильными.

Я вспоминаю картинку и подпись. Страх овладевает мною.

— А у нас нет башибузуков? — спрашиваю я не без надежды.

Аглаида Павловна улавливает смысл вопроса и возмущается:

— Господи да боже сохрани! Наш солдатик всех башибузуков должен победить!

Я хочу верить, но с одной стороны «сильный башибузук», а с другой — «солдатик»… Погружаюсь в размышления; отчего турки злые, а мы добрые? Что будут делать солдатики с «братушками», когда отнимут их у турок?.. Аглаида же Павловна спешком, скороговоркой продолжает что-то говорить интересное, — но я сразу не в состоянии разобраться, — потом.

Входит мама. Улыбается. Смотрит на Аглаиду Павловну.

— Ах вы, патриотка! Опять о войне?

Я знаю, что Аглаида Павловна кончила в Петербурге (мы живем в Харькове) Патриотический институт, и потому слово «патриотка» меня не удивляет. Но Аглая Павловна кидается к маме:

— А вы разве не патриотка, дорогая, дорогая! Все мы, все теперь, все заодно, вся Россия как одна душа за святое дело!..

С меня довольно. Ухожу в бабушкину комнату разбираться в узнанном — в болгарах, башибузуках, патриотках и солдатиках. Кое-что, быть может, пояснит и бабушка.

II

К нам приходят дамы, мелко-мелко шагая в длинных платья, ушитых оборочками. Я знаю, что эти платья связаны внизу рядом тесемочек (у мамы тоже), от тесемочек дамы и шагают так мелко. Мне их жаль, ведь очень неудобно… Дамы целыми вечерами щиплют «корпию» — дергают нитки из полотняных тряпок. У нас уж изрезали для этого все старые наволочки. Корпия лечит раны, ее посылают, насколько можно понять, братушкам-болгарам, но не башибузукам.

Прислушиваясь к разговорам дам за корпией, я уже порядочно знаю о войне. Знаю, что есть Шипка, нечто вроде горы, на которой «все спокойно». Что болгары-братушки с нами «одной веры», встречают наших «солдатиков» слезами и поцелуями, знают, что когда мы их отнимем у турок и возьмем себе — мы бить не будем.

Впрочем, Аглаида Павловна не согласна, что мы возьмем братушек себе. Она толкует, что мы их только защитим от турок, а потом уйдем. Но если мы их оставим там же и уйдем, — почему турки послушаются нас? Турки с ними рядом живут, и как мы отвернемся — они их и заберут. Нам опять, значит, идти и на те же горы лезть.

Башибузуков я все еще боюсь. Вечером, чуть закрою глаза, — сейчас вижу их страшные рожи. Столько портретов с них рисуют, что не забудешь: глазищи черные, брови нависшие, нос огромный. Как-то наши солдаты с ними справляются? Вижу этих на улице, в вагоне — самые обыкновенные и небольшие.

Правда, у нас зато есть Белый Генерал. Он всюду появляется в белом кителе на белом коне, всех побеждает, а ему ничего не могут сделать: заколдованный. Но все-таки он один, а башибузуков много… И я мечтаю: вот если б сколько у турок башибузуков — столько было у нас белых генералов…

Раз как-то среди этих мечтаний днем я прохожу через гостиную. Помнится, был звонок; гость пришел, значит. Но к нему еще не выходили. Вот он стоит один у стола спиной ко мне, спина широкая-широкая… И вдруг обернулся.

На меня нашло оцепенение. Когда что-нибудь такое случается — я не кричу, не бегу, а цепенею. И теперь случилось самое неожиданное, что только можно вообразить: у нас в гостиной стоял живой башибузук!

Одного мгновенья было достаточно, чтобы заметить все: и черные глазищи, и зверские брови над повисшим носом… В следующее мгновенье, когда это страшилище, скаля зубы, двинулось и замычало какие-то слова, — мой столбняк прошел. И вот я уже лечу по коридору как вихрь, молча и безумно, не разбираю дороги, сметаю в сторону горничную Глашу, потом еще кого-то, потом с налету качусь под ноги Аглаиде Павловне, которая успевает схватить меня за плечи, я рвусь, Аглаида Павловна приседает было на корточки, но, рассмотрев мое страшное лицо и кое-как расслышав захлебывающийся шепот: «ба… баши… зук…!», — визжит пронзительно, поднимает меня на руки и, спотыкаясь, бежит куда-то со мной.

Кажется, мы остановились уже в кухне, на визг сбежались все: няня, тетя, бабушка. Явилась и мама. Помню красное, в слезах лицо Аглаиды Павловны, шум, возгласы, объяснения. Бабушка оторвала мои руки от шеи защитницы и увела к себе, что-то говорила, успокаивала.

— Да не реви ты… Не реви ты… Полно-ка… перекрестись: ничегошеньки и нет нигде… Это черт тебе привиделся, за то, что Богу не молишься.

Поверить, что черт привиделся, — пожалуй, можно бы. Слезы мои понемногу утихали. Но какой удар ожидал меня впереди!

Этот удар нанесла мне явившаяся через полчаса в бабушкину комнату Аглая Павловна. Она все еще была красна как рак и презлобная. Тогда сразу поверила мне о башибузуке, все это видели, и теперь не могла простить мне такого потрясающего стыда.

— Башибузук! — громко захохотала она мне в лицо. — Вот до чего вы себя довели! Хороши, нечего сказать! Да знаете, кого вы видели? Знаете, кто там и сейчас с мамой и папой сидит? Это один из тех, за которых Россия кровь свою проливает, это брат наш, братушка, болгарин, кровный наш и притом храбрый Петко Петкович! Вы только подумайте, что вы сделали!

На меня опять было нашло оцепенение. Но тотчас же исчезло. И слезы иссякли. И никакого не было стыда. Ах, вот как! Так вот они какие, братушки, болгарины эти самые! Ведь я помню: и брови зверские, и зубы. И нос — ведь точь-в-точь как у башибузуков. Ну пусть бы дрались там, если хотят, друг с другом. А наших-то им зачем? У нас есть свои реки и свои вдовы тоже. Да я, может, вовсе и не хочу за них, таких, кровь проливать? Чем они братушки? Да, может, потом окажется, что и башибузуки братушки?

Все это неясным и неопределенным вихрем пронеслось у меня в голове. Слов для этого нет, но я стою перед Аглаидой Павловной без раскаяния, смотрю на нее с угрюмым и упрямым презрением. На все ее восклицания молча пожимаю плечами, а на требование сейчас же пойти в гостиную, познакомиться с обиженным «братушкой» (хорошо, что он ничего не знает!) я отвечаю бесповоротным «не хочу».

Так и ушла Аглаида, ничего не добившись.

III

Отсюда воспоминания мутнеют. Потому, должно быть, что непонятная война, так занимающая взрослых, меня путала, огорчала, наталкивала на сложные, неразрешимые мысли, а сама так и оставалась непонятной. Ну и пусть ее. Лучше слушать бабушку, она, не суетясь, рассказывает про старое и про то, как святые угодники заранее указали последние времена: «перед концом огненный змей пройдет по земле… Сетью железной землю кругом обовьют… Вот и пришло оно, исполняется».

— Где же, бабушка?

— А железная дорога? Это тебе еще не огненный змей? Сеть железная — телеграфы. Везде небось столбы-то проволочные напоставлены. Вот и сеть, опутали матушку сетями… А еще сказано: брат восстанет на брата… Как же не последние времена?

Брат на брата… Мне совсем глупо вспоминается мое восстание на «братушку»… и опять война.

Тут кстати говорят, что на кухню пришел Викентий и… что его взяли в солдаты. Вот тебе раз! Не могу удержаться, бегу на кухню.

Викентий — предмет моей пылкой, ревнивой ненависти. Еще бы! Ведь он жених моей няни Любы, которую я помню, как себя помню, и люблю больше бабушки. Кто же на моем месте не возненавидел бы Викентия?

Сейчас на кухне он сидит противно-румяный, но по-новому подстриженный, в шинели на одном плече, в белой рубахе. Доволен или огорчен — не поймешь: вечно скалит зубы. Его не то утешают, не то поздравляют: «защитник, за веру пошел. Всех турок побьешь». Няня Люба фыркает носом, — ревет и, нисколько не стесняясь, — ропщет: «да будь они прокляты, турки, и с братанами эфтими! Кое место народу гонют!»

Викентий ко мне всегда изысканно-ласков (если можно так выразиться). Никогда, бывало, без подарочка не придет: или коробочку, или картинку… Я беру, стиснув зубы, а потом в темной детской, рву и топчу ногами эту самую картинку от ненависти…

Теперь этот самый Викентий — наш «солдатик», защитник и герой. Теперь его необходимо любить. Я чувствую, что ненавижу по-прежнему. Теперь надо молиться о нем, а я… холодея от ужаса перед своей греховностью, я сознаю, однако, что во мне мелькает надежда: вдруг его убьют, ведь няня-то Люба тогда моя останется…

Эти несчастные противоречия тут же, на кухне, доконали меня. Я горько и беспомощно плачу. Няня Люба, растроганная моими слезами, сама фыркая, уводит меня, да еще утешает:

— Ох вы, батюшка мой белый! Не плачьте, глазок не портите! Вернется он, Викентий, что ему сделается! С медалью вернется, с отличием!

Утешила, нечего сказать! И я реву с последним отчаянием.

IV

Взяли Плевну, и целый день было ликование. Вечером мы с няней Любой и с Аглаидой Павловной (она уже и не знала, куда деваться от радости) ходили на иллюминацию. Плошки чадно дымили салом, а в окне табачного магазина горел огромный транспарант: на нем вырезано было розовыми буквами:

— Плевна!

Меня, впрочем, это не очень веселило; одно хорошо — все говорят, что теперь все скоро кончится, потому что мы уже победили. Аглаида Павловна собиралась-собиралась в сестры милосердия, а теперь сама видит, что опоздала, не успеет. Мы переезжаем в Петербург, папу перевели туда в сенат, и Аглаида Павловна с нами — хочет на какие-то курсы поступать. В восторге, как всегда, и объясняет мне, что быть курсисткой — необыкновенно почетно.

До нашего отъезда еще много ликовали насчет Осман-паши, мне объяснили, что это — важный турок, и мы его взяли в плен. И повезут к самому царю. Да, уж если Осман-паша в плену, — о чем же еще разговаривать!

Аглаида Павловна чрезвычайно была занята Османом. Мы уж не верили, что она про него рассказывала.

Но вот едем мы в Петербург. Едем в двух купе, народу нас много, няня Люба и Аглаида Павловна на станциях за кипятком бегают, — бабушка все чай пьет от скуки, не любит она на «огненном змее» ездить…

Вдруг на какой-то большой остановке влетает Аглаида Павловна назад в вагон вся красная и прямо к маме:

— Душечка! Я вне себя! Ведь с нами Осман-паша едет!

— Что вы? Как с нами?

— Душечка, клянусь вам! Я все узнала! Отдельный вагон… Особый… И свита, свита кругом! Няня! Где у вас самый большой чайник? Давайте же, давайте, ради самого бога! Я будто за кипятком… И будто ошиблась вагоном… Я его посмотрю… Я не могу…

Мама напрасно пытается ее удержать, за рукав даже схватила — Аглаида Павловна, растрепанная, уже летит по платформе, гремя жестяным чайником.

Осман-паша взволновал и меня. Но как же это? Ведь он в плену?

— Мама, отчего она говорит «свита»? Он разве принц? Мама, ведь он в цепях? Или в вагоне клетка?

Мама нетерпеливо и неинтересно объясняет мне, что клетки нет и цепей нет, а просто он положил оружие и его увезли из Турции. Я разочарованно шепчу: «Что это за плен?» Но маме не до меня: беспокоится за «сумасшедшую Аглаиду».

А ее все нет. И второй звонок. И третий. Свисток кондукторский зажурчал. Только что дернулся поезд — отворилась дверь. Аглаида!

И в самом страшном виде. Краснее красного, волосы повисли, перед платья мокрый, а руке чайник без крышки.

— Душечка! душечка! Какой скандал! Но видела, видела, честное, благородное слово!

Едва мама допросилась толком, что с ней было. Оказывается, она, взяв кипятку, храбро пошла прямо к османову вагону и мимо всех красных фесок влезла внутрь.

— Но, душечка, как увидала я старичка, а кругом эти рожи черные, и генералы, все генералы… Я смутилась. Присела на корточки, а чайник клоню, клоню, из носика вода на ковер, на меня, пар столбом, а они все ко мне, и по-французски, с участием даже, ей-богу! Я что-то лепечу в ответ, а гляжу все на Османа… Тут меня тихо под локти приподняли и вывели, очень вежливо, а жандарм уж сюда проводил… Ах, боже мой! Только в чайнике воды не осталось совсем… Душечка! Он очень величественный!

Бабушка, услышав о величии «турки», плюнула, няня Люба ужасалась и завидовала Аглаиде, мама хохотала.

Потом, на петербургском вокзале, мы все видели этого Османа-пашу. Его вывели под руки, и он, худощавый и маленький, как-то оседал между двумя людьми громадного роста, с двух сторон его державшими. Узкое темное лицо с узкой бородкой не показалось мне величественным. И глаза были какие-то бедные. Пожалуй, и не стоило и в цепи заковывать. Не убежит.

За ним двигалась «свита». Кажется, Османа провели в Царские комнаты.

Так мы приехали в Петербург. А вскоре кончилась и война. Началось что-то другое, новое и, может быть, гораздо более интересное.

Литературное «сегодня»

Со времени, когда время точно изменило свой ход и потекло с бурной скоростью, т. е. с начала войны, литература наша и (и литераторы) пережила несколько стадий.

Взрыв первого «патриотизма» объединил всех. Толкнул и писателей на воинственные клики, на «гром победы». Так понятно по человечеству; однако ни из первого «грома», ни из последующих, более умеренных «фронтовых» писательских попыток никакой литературы не вышло. Серьезный поэт, редактируя будущее собрание своих сочинений, вряд ли включит туда свои «военные» стихи.

Отчего же так не удалась наша военная литература? Причин сколько угодно, самых объективных, от писателей не зависящих. Но есть одна очень характерная, — на ней я и остановлюсь.

Дело в том, что современные писатели, особенно молодые, особенно поэты (громадное большинство из них) — вовсе не люди. Сохрани меня боже сказать что-нибудь дурное. Конечно, конечно, всякий из них человек. Но когда он человек — он не поэт, а когда поэт — не человек. Между искусством и жизнью легла разделяющая линия.

Взметнувшийся вал истории вдруг захватил всех; все писатели сделались «людьми». Но… поэтический дар тотчас же покинул их. Человеческие дела делал каждый, кто их делал, — прекрасно, а поэтические оказались… не поэтичны. Не уничтожишь так, сразу, глубокую межу, отделяющую человека от поэта. Не со вчерашнего дня она вырыта.

То, что случилось дальше, было только последовательно. Писатели мало-помалу вернулись к литературе. Не только забыли напряженный «гром победы» первых времен; не только отошли от чисто военных, фронтовых тем; они отступили за свою черту, возвратились в то самое чистое поле чистой литературы, где гуляли все последние годы, — до 14-го. Сделались опять литераторами, точь-в-точь такими, как прежде… прекрасными литераторами — не людьми.

В чистом поле искусства за время их отсутствия ничего не произошло. В этом поле, когда оно чистое, никогда ничего не происходит.

И все повернулось на прежний лад.

Книг издается сколько угодно. Особенно много небольших, изящных сборников, принадлежащих молодым поэтам. Вот сейчас у меня на столе 8—9—12 книжек. Изданы с большим вкусом (и где бумагу такую достают!), стихи почти все хорошие, есть и прекрасные. И все — под знаком «Вечности и Красоты» — исключительно. Хороший знак! Но ведь я сейчас говорю с особой точки зрения. Трудно примириться в иные времена с обособленностью литературы. С «или-или» современного писателя: или он человек (и в этот час уже не поэт), или поэт (но не человек).

Недавно кто-то перечислял ярлыки наших общих группировок: «побединцы», «оборонцы», «пораженцы», «неуспеховцы» и «наплеванцы». Было бы неточно и грубо назвать всю литературу нашу «наплеванческой». Однако, если к чему она ближе, так именно к «наплеванству». И не на войну — наплеванство, — на жизнь.

Простое молчание о войне, как таковой, отсутствие чисто фронтовых тем — это была бы только радость. Ведь, в самом деле, современную, пулеметно-газово-шрапнельную войну в поэзию все равно превратить нельзя. Ни теперь — ни потом, когда она

отойдет в историю. Но разве только одна война? только там, на настоящем, западном или южном фронте? Разве не кипит войною всякая струйка всякой теперешней жизни? Разве остались теми же для человеческого взора и небо, и облака — не говоря о земле?

Сам воздух, которым мы дышим, и тот изменен. И надо особенно исхитриться, чтобы писать… не то, что не о войне, но без малейшего отражения ее на том, что пишешь.

Скажут, это издавна:

Пока не требует поэта
к священной жертве Аполлон…

Мало ли что издавна. Бывают дни, когда рушатся старые жертвенники. И жертвы прекращаются — негде их приносить. В эти дни — все равны, все, так или иначе, в борьбе — в жизни. Будут новые жертвенники; но их создадут не те, кто из борьбы уходит, ищет уцелевшего прежнего камешка, чтобы зажечь на нем прежний огонек.

А именно так поступает большинство наших лучших писателей, и старых и молодых: стараются зажечь довоенный огонек, делают вид, что их «Аполлон требует…» Не требует: Аполлон убежал, закрыв лицо, едва стал разрушаться его жертвенник. Убежал — и будет скрываться до времени, которое еще не пришло.

По справедливости следует вспомнить, однако, что были у нас около литературы «писатели», которые Аполлону жертв не приносили и сейчас «пеньем на прежний лад» не занимаются. Я говорю о «футуристах». Чем же они занимаются? Кто они?

Футуризм откровенно умер, — так заявил его главный представитель, Маяковский (единственный талантливый). Умер, кончился, — исполнился: футуризм — это и была будущая война; когда она из будущего перешла в настоящее, то и футуризм потерял свой raison d'être*. Дело естественное; лишнее доказательство, что наш футуризм просто был переводом с итальянского. Но Маяковский настаивает, захлебываясь, на пояснениях, в 1 номере журнала «Взял» (второй — не вышел): «…ни одного благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели, как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось дьявольской интуицией, воплощенной в бурном сегодня. Война расширяя границы государств и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого». (Знаки препинания по Маяковскому.) Далее: «футуризм умер как особенная группа, но во всех он разлит наводнением. Сегодня все футуристы. Народ футурист».

К тому главному положению, что футуризм умер как футуризм, найдя свою настоящую плоть, и что эта плоть — война, пояснения Маяковского ничего не прибавляют. Но они оправдывают нашу прежнюю интуитивную ненависть к футуризму, отрицание принципа этого футуризма. Три четверти мира (больше) относилось и продолжает относиться отрицательно к войне, к самому ее принципу. В этом отрицании залог всего нашего будущего: истинного futur'a. Что же такое ликующие клики Маяковского о всемирном разлитии футуризма, — «все футуристы. Народ футурист»? В лучшем случае — ребячество. Нисколько не «наводнен мир» военно-футуристическим упоением. Если «наводнена» некая малая часть мира, то разве только Германия (с придачей футуристов). Но и германский народ как «народ»

* разумное основание (*фр.*).

трудно, страшно осудить навеки, объявив его «народом-футуристом»; говорить ли о каком-нибудь другом? Англия, что ли, Франция, или мы жили войной и теперь принимаем ее как «исполнение мечтаний»?

Но даже и в Германии, если и живут войной, — не говорят этого (стыдятся). Даже там делают вид, что «принуждены были к войне», что «любят мир» и т. д. Одни итальянские футуристы 12–13-го года заорали про войну, да вот теперь наши переимщики открыто ликуют, — «воплотилось желанное!»

Приходится иной раз по совести назвать германцев — варварами; тем более пристало это грустное имя к футуристам. Правда, они и не воюют, и войны не делают, а все это одни словеса; но варвары безответственные лучше ли ответственных?

Таким образом литература нашего дня или не имеет никакого отношения к внешнему миру, или (если мы включим в нее кучку футуристов) — имеет отношение варварское.

Конечно, первое (никакое) — лучше, и слава богу, что иноземный «футуристический» росток у нас скверно принялся, так скоро завял. А что касается отделенности нашей художественной литературы от жизни, узости ее горизонта и отсутствия у писателей общего миросозерцанья, то ведь это не с войны и началось. Давно уже свернули писатели на тропинку чистого «описательства». Достигали тут великолепных результатов, и… получилось разделение, особенно тяжелое в тяжелые дни истории.

«Хорошо пишет, да сказать ему нечего», — так определялись, в критике и в читательской среде, очень многие из наших художников. Новые, молодые, — в большинстве того же типа. Нет более «властителей дум», ибо к «думам»-то они как раз отношения не имеют. Изысканный стиль, тонкая эстетика «описательства», не делают их даже «властителями чувств»: бездумные чувства не живучи, восприятие быстро притупляется. Голая эстетика не надолго действенна.

Как это кончится — не знаю. Но знаю, кончится. Не смотрю вперед с безнадежностью. Кипит борьба, меняется жизнь. Кто вовремя это заметит, обернется к жизни, будет участвовать в ее сдвиге — те и войдут как творцы в обновленную литературу. До сих пор обновлялась она лишь извне, частично, словесно. Старое вино переливали в новые мехи; так долго переливали, что и вина почти не осталось. Сжались мехи раньше времени и пришли в негодность.

Теперь все миновало. Бродит новое вино, будут для него новые мехи; и никто уже, «попробовав нового», не скажет: «старое лучше».

Предмет десятой необходимости

А может быть, двадцатой и сотой или даже никакой... Я говорю об искусстве. Суровы дни наши. Все перевернулось. Предметы издавна «первой необходимости» — хлеб, дрова, жилье — и те стали второй; — а первой — железо. Так есть, и не может быть иначе, потому что есть война.

Дорого железо, дороги сильные рабочие руки, дорого всякое «деланье». Подешевела неосязаемая работа мысли и духа, «творчество». Делание и творчество — вещи разные. Нас захватило деланье; некогда, некому да и не к чему творить.

Что происходит в литературе? На первый взгляд — ровно ничего. Живет одна чистая публицистика. И плохо, кое-как. Публицистика — не творчество и не деланье, середка на половинке. Однако она имеет «вид» деланья, этим держится, и поневоле бегут в нее люди, которые хотят «деланья», но ничего, кроме пера, не умеют держать в руках, — ни штыка, ни молотка.

Достойна глубокого уважения эта жажда подпереть и своим слабым плечом общую тяжесть, хоть кое-как... А все же душу-то война вывернула наизнанку, как перчатку. Я знаю настоящего писателя — и не одного! — который потянулся к «деланию», целиком бросился в публицистику самую голую. Неудовлетворенный, он в промежутках устраивает детские приюты, хлопочет в разных комитетах и... болезненно ненавидит сейчас всякую «литературщину», «словесность», всякую «идейность».

Святая ненависть! А все-таки душа у этих ненавистников вывернута наизнанку.

Есть, впрочем, кроме увлеченных деланьем, отрекшихся от себя, художники и мыслители другого типа. Они борются с бесцветностью и загнанностью своей работы, упрямо идут с нею на поверхность. Их тоже нельзя не уважать (если они действуют не по легкомыслию и наивности). Упрямо пишут, думают, издают книги, занимаются «творчеством» и верят в него. Блаженны верующие! Но тут есть еще одно сомнение: может ли, будет ли иметь сотворенное сегодня ту же ценность безотносительную, какую могло бы, создаваясь в других условиях, в иные дни? Насколько связано искусство с жизнью? Цветы надземны, но корни их в земле; неосязаема работа духа, творчество надземно, но корни его в жизни. А сейчас жизни, в прямом смысле, нет: вместо нее война. Не без корней ли будут наши цветы сегодня, сколько бы мы их не растили?

Впрочем, это решит будущее. Теперь же, взглянув в сторону непокорных, можно лишь отметить, что больших успехов они не достигли. Почти все написанное за время войны ниже своих авторов. И ни один не подвинулся вперед во всяком случае. Я уже не считаю их падений — их писаний о войне. С этого скользкого пути наши писатели быстро свернули, нечего пожинать старое. Но во время войны — что создано, что сказано? На чем остановишься?

Смотрю — и не вижу. Ищу, хочу найти — и не нахожу.

Нет, говорят мне, есть у нас и совсем недавние, хорошие книжки. Есть интересное и в журналах. Разбираться в этом, правда, некогда, не до того, однако надо же быть справедливым!

Надо. Смотрю, отмечаю действительно интересное... и убеждаюсь, что оно, хотя вынесено в публику, напечатано теперь, — написано до войны. Самая удивительная книга, конечно, — «Детство» Горького. Книга большого писателя и большого человека. Ее время придет, она будет оценена, потом, не теперь, когда «некогда», когда не до искусства и не до человеческих душ и глубин. Но ведь «Детство» написано не во время войны! А вот рассказ, остановивший мое внимание; напечатан в одной из последних книжек «Русской Мысли» и написан опять до войны — четыре года тому назад! И так далее, и так далее...

Что ж, примириться с этим. Не будем искать ненаходимого. Писатель, который, несмотря ни на что, все-таки печатается сегодня, — верит в нужность своей работы. Посмотри же в его сторону.

Я говорю об Иване Новикове.

Уже тем замечателен этот писатель, что так отличен и он, и судьба его от «стиля» своих современников. Не начинающий: пятнадцать лет в литературе! Но пока вздувались и лопались дождевики, пока их утром захваливали, а вечером заругивали, Новиков тихо шел по сторонке, в тени, выпуская книги, которых как-то никто не «увидел». Бывало, новейшие беллетристы одной рукой последнюю строчку в рассказе дописывают, другой — сапог надевают, чтоб в редакцию бежать, сдавать; а Новиков по четыре года держит в столе повестушку, и в редакциях не знают ни его лица, ни возраста, ни в какой части света он квартируется.

Всякий ныне побыл в газете; Новикова в газете нельзя себе представить. Книги его выпускались изданиями вовсе не захолустными и были везде; мало того, пьеса его шла (до сих пор идет) в театре Незлобина, там, где Андреев и Арцыбашев... а Новиков до сих пор — незнакомец.

В чем дело? Или Новиков плохой писатель? Или язык у него устарел, ко вкусам не подходит? В чем его главное отличие от .....?,Сургучевых, ...? и других, более признанных?

Внешняя манера письма, техника Новикова самые современные и не уступят даже «более признанным», вроде А.Н. Толстого. Но внутренно от этих нынешних «признанных» его отделяет целая пропасть. Разницу между ними я могу определить очень кратко, одним словом, даже одной буквой: они все — описатели, Новиков — писатель. Сегодняшние художники описывают (очень картинно, ярко), Новиков — пишет, а если и «описывает» порой, то это у него не главное, а только для главного.

Новиков ставит вопросы. Вот его главное. И единственная точка его силы. Притом вопросы такие большие, важные, что отвертываться от них можно лишь при дикой моде на «отсутствие всяких вопросов». Эта мода и породила описателей. Она, впрочем, понятна: устали от прежней тенденциозности; обожглись на молоке — дуют на Ивана Новикова.

Я не хочу преувеличивать писателя, его значения, его таланта. Я точно держусь сказанного: писатель, глубоко ставящий глубокие вопросы. Чуть отступив от этого — он падает. Соблазны чистой эстетики делают его сейчас же неловким, нехудожественным, незначительным. Но гораздо хуже, когда им же поставленные вопросы он пытается сдвинуть с места, найти хоть какой-нибудь ответ: вместо ответов — тенденциозность, выдумка, натянутость или примитив. Оттого так смяты все его «концы». В «Орембовских» почти нет этих срывов, и роман лучше других. Старый, «Из жизни духа», тоже очень любопытен, хотя уже менее ровен и выдержан.

Но особенно ярка и выдержана в смысле «постановки вопроса» «Повесть о коричневом яблоке» («Русск. мысль»). Провал, и очень характерный, там лишь в двух–трех фразах конца. Именно эта повесть, вся остро-талантливая, цельная до предпоследних строк, заставила меня особенно серьезно взглянуть на писателя; срыв окончания, эти как будто лишние, сухие фразы «ответа» — он только дорисовывает его своеобразный лик.

Когда я сказал, что Новиков умеет ставить вопросы, но не умеет на них отвечать, я знал, конечно, что на «вечные», «проклятые» вопросы (только их писатель

и трогает) вообще нет никаких последних ответов. Но к последним, своим, временным, — многие подходили. Искали нужные по времени решения и выходы. Новиков — определенно безвыходен. Огненно спрашивает, а если отвечает, то даже не пепельно, просто бумажно.

«Проклятых» вопросов немного, но бесконечно сложна и разнообразна их формулировка. Человек, любовь, человечество, Бог... Вопрос любви, вопрос пола, который так легко снизить до хихикающего вопросика, у Новикова остается везде на чистых высотах, сплетаясь с вопросом о Боге. О Боге и о поле — вот, в сущности, все, о чем говорит Новиков, на чем он сосредоточен и сужен, да, сужен. Углубляет с пламенной привязчивостью трагедию человека-единицы, личности, погибающей в раздвоении страстей и вечно зовущей Бога. Но вопроса третьего, органически связанного с двумя первыми, не менее трагичного и божественного, — точно не видит. Трагедия не человека-единицы, а человечества, общечеловеческая, — вне поля его зрения. Поэтому никогда, на образе жизни, им воплощаемой, нет никакого отражения «общественного» — хотя бы в самом широком смысле слова. Новиков тут даже особенно, холодно невнимателен. А если конкретно встает на дороге этот вопрос — он спешит отойти, сосредоточиться на своем, обузиться.

Новиков, как любой из его героев, — одиночка. Сам, один, в центре одиночной трагедии, в одиночной борьбе с Богом. Но Божий лик остается темным, неувиденным, и борьбе, как борьбе Иакова с Богом, нет разрешенья.

Герой «Коричневого яблока» разорван мукой надвое: между влюбленностью и похотью. Он взывает к Богу: где правда? Что надо убить? Быть может, надо убить и то и другое? Но хочет ли Бог полного бесстрастия? Но Бог молчит. Без ответа, на свой страх, человек убивает похоть (красивую и невинную Аграфену). Что же вышло? Устранилось ли противоречие? Уцелела ли хоть влюбленность? Нет. Усталый Новиков в двух словах кончает все — счастливым браком. Бог так ничего и не ответил — за него Новиков ответил, точно рукой махнул. Ведь понимает же он, что <на> вопрос, поставленный с последней остротой и так воплощенный, счастливая семья — не ответ.

В других своих произведениях Новиков отвечает просто смертью. Чем еще, если неизвестный Бог молчит, не указывает выходов, а без Бога их не найдешь (это Новиков знает твердо)? Случайность, нагроможденность смертей бросается в глаза: опять то же маханье рукой, неответность, безвыходность.

Тут не вина — только слепота писателя, хотя, может быть, и роковая для него. Узка глубь одинокого сердца. Но всякая глубь значительна. И значительны по-своему писания Новикова.

Пусть он «ставит» вопросы. И это уже толкает, будит, волнует так, как не волнуют никого самые искусные представители «чистого» искусства. А ведь куда ни оглянись, повсюду это чистое, или «голое» искусство. Неестественная, утомляющая душу нагота.

Вот, заговорив о книгах, написанных вне войны, я невольно и говорю о них вне войны. То есть вне жизни, если война сейчас стоит на том месте, где стояла жизнь. Да, в ней (жизневойне), как ни поворачивай, нет уголка для искусства. Ни для «голого», ни для Новиковского, углубленно-одинокого, личного. Что там дальше бу-

дет — посмотрим, а пока нет. И сколько бы Новиков ни боролся с этим, ни печатался — его значительные книги не имеют сейчас ни малейшего значения.

Кроме искусства — бесприютна в наши дни и мысль человеческая, «идеи». Это ведь тоже не деланье, а творчество. Передо мной тяжелый том Н. Бердяева «Смысл творчества». Книга новая (хотя написана тоже до войны). Уже по заглавию видно, что она жестоко не нужна суровым нашим дням. Но если не считаться с этим (говорил же я о Новикове), то следует сказать несколько слов о Бердяеве и его идеях. В некоторой связи с Бердяевской книгой мне вспоминается еще одна, тяжелее самой тяжелой — чуть не две тысячи страниц! Книга, уже не относящаяся ни к искусству, ни к идеям, — к жизни, может быть? Но тоже не к сегодняшней. Это книга о «Чемреках» Бонч-Бруевича. Обойти ее молчанием, даже теперь, — почти грех. Как она поразительна! Как тускло творчество отдельного человека, художника или мыслителя перед творчеством самой жизни!

Толстой и Осборн

Над бытием бессильно слово.
Делам, — не слову, — жизнь покорна.
Но тень великого Толстого
Стоит за именем Осборна.

Пусть люди сговорятся между собою. Пусть каждый опомнится, вдумается, переменится внутренно, тогда изменятся и условия жизни. Все изменится, приблизится царство Божие на земле.

Так говорил Толстой. И все мы с ним соглашались. Кто же мог не согласиться? Не ясно ли, что если все станут хорошими, то жизнь будет согласная и хорошая?

Голос Толстого звучал громко, на весь мир. Люди слушали. И, однако, не изменялись. Ничто не изменялось. «Пусть» — было верным, но пустым словом.

Отчего? Или так злонравны люди и лгут, не хотят хорошего? Тогда нечего и жалеть их. Сами виноваты, если несчастны. Нечего кивать на дурные условия. Условия созданы ими же самими, дурными людьми, оттого и дурны. Их бесполезно менять: сломаешь прежние — создадутся новые, совершенно такие же или худшие. Нет, «пока люди не сговорятся между собою…»

А что, если дело проще, и люди не не хотят изменяться и соглашаться, а не могут? Если они вовсе не злонравны, а только не умеют прыгать, рождены не прыгать — а ходить, ногами, по земле? «Пусть изменятся» — требование чуда. Если не чудо — то надо знать пути, надо знать, как приступиться, с чего начать. «Мы все изменимся в одно мгновенье ока», — но это сказано о чуде Божьем. Не требуя чуда от Бога, Толстой требует чуда от человечества. — Пусть! Да будет! — говорит он. — Прыгайте в царство истины и свободы! — Но люди не прыгают. Чудо не совершается.

Спор о том, как происходит движение вперед: посредством перемены условий или же перемены человека, — похож на спор, как мы ходим: левой ногой или правой? Толстой, впрочем, вовсе не признает левой ноги (условий); да ведь он и процесса хождения не признает, только прыжок: чудесным образом предлагает перепрыг-

нуть через всю историю на правой ноге. И чуда нет. Никто не прыгает. Не прыгнули даже одинокие, верные последователи Толстого. Каждый из них, подогнув левую ногу, стоит. Не падает — но и не идет никуда. Святость есть — чуда нет.

Требование чуда, — все равно от Бога или от людей, — дорога к отчаянию. Вечно ждать и верить, только ждать, стоять и верить — нельзя. Сомнение придет, даже к святому. Да чего мы ждем? Да будет ли? Не сговорились люди, не сговариваются… Нет, никогда не изменится жизнь на земле! Люди не люди, а несчастные звери. Потому и несчастные навек, что навек звери.

К этому нельзя не прийти: душа, сердце, мысль так устроены, что если бы все обыкновенные люди до конца уверовали верой Толстого, — они кончили бы проклятием и отчаянием. Никогда ничего не будет. Не может быть.

А это неправда. Будет; во всяком случае, может быть. Люди (не одиноко — а в коллективе) могут изменяться. И жизнь их может стать выше, лучше, человечней. Можно «сговориться», — сговариваться.

Слова о «сговоре-чуде» легко ведут к отчаянию. Но дела сговора, факты, даже частичные, маленькие, но реальные, земные, — открывают надежду и совсем новую веру. Факты перед словами всегда малы. Слова — огромны: они воздушны, им легко касаться отдаленнейших звезд; живой росток растет трудясь; и если вырастает в пол-аршина — перерастет, — земной, — самые высокие слова «о» земном.

Люди согласились, сговорились, изменилась их жизнь, изменились они сами… это случилось в Америке. Не во всей Америке, а на маленьком кусочке американской земли. Не много людей — всего около двух тысяч. Будь это люди, подобранные заранее по какому-нибудь общему принципу, вокруг одной общей идеи, или хоть соединившиеся по «affinité[1]», вроде того, как складываются всевозможные «общины», секты, — не о чем было бы и говорить. Немало мы видели «общин», знаем и толстовские, знаем, что они возникают и падают, и ничего не изменяют. Нет, две тысячи американцев, о которых идет речь, вовсе не искали друг друга; и жили они вместе не по своей воле, а так, как живут люди — в одном и том же мире: многие в одной стране, в одном городе, в одной улице, в одном доме… Ведь по случайности рождения, по миллиону неисследимых причин, я живу вот тут, вижу вот этих прохожих, а не других; родина моя — Россия, а не Португалия. На маленьком кусочке американской земли жили вместе две тысячи людей так же мимовольно, полуслучайно, как миллионы их собраны в мире. Это был в уменьшенном виде земной шар.

Впрочем, нет: есть разница. На одной земле, в одной стране, в одном городе, — живут вообще люди, всякие, дурные и хорошие, в большинстве — средние. А тысяча шестьсот с лишним американцев, которые жизнь и себя изменили, — не всякие, не средние; они — преступники: воры, убийцы и мошенники. Каторжники. Это — обитатели старой каторжной тюрьмы (синг-сингской, в Нью-Йоркском штате). Это они «сговорились», «согласились», превратились из зверей в человеков, очеловечили свою жизнь. Помог им «товарищ», «Том Броун» (как они его с нежностью зовут) — американец — человек Томас Мотт Осборн.

Деятельный и независимый американский гражданин, Осборн не сразу, однако, согласился принять тюрьму в свое ведение. Невозможной казалась предстоящая за-

[1] сходство, похожесть (*фр.*).

дача. Тюремные правила были бесчеловечны, преступники разбиты душевно и телесно, обозлены и мстительны. «Мы были, пишет один заключенный, одурелые или сумасшедшими, больными зверями…» «Но вот пришел Осборн… Он подарил нам свое полное доверие…» «И мы новый свет увидели».

Организованное самоуправление произвело полный переворот. Осборн прямо начал с того, что собрал прямо в тюрьме митинг, объяснил людям (еще зверям) свой план, предложил организоваться («сговориться между собою»), обещал свою «товарищескую» помощь. Слову не изменил, но и у преступников оказалось такое же «честное» слово, и они тоже сумели ему не изменить.

Подробности «дела Осборна» рассказаны в поразительной статье Лазарева («Русские Записки»). Я не передаю их. Я лишь подчеркиваю суть. Подчеркиваю, что Осборн не обличал, не убеждал преступников. Ничего им не проповедовал. Он сделал только одно: оказал доверие. Поменял условия жизни в том смысле, что сделал фактически возможным их самостоятельный и свободный «сговор», «соглашение» между собою. И каторжная тюрьма, сборище преступников, диких, озлобленных и все более озлобляющихся зверей (надо знать, что там творилось), стала понемногу похожей на вольную страну, с честным самоуправлением, гласными выборными судами, урегулированным трудом, свободной печатью... и чем еще? — с твердым общественным мнением, достойно-человеческим.

Это сделал не Осборн, это сделали «преступники». Осборн — их «товарищ», случайно оказавшийся у дверей, которые мог отворить. Отворил, и люди вошли сами, потому что они люди… хотя и «преступники». Толстой звал к «изменению», требовал, убеждал, обличал… но никаких — ни путей, ни дверей, — даже не указывал. Больше: предостерегал от всяких (бесполезно изменять «условия»). Осборн, вне чуда, по-человечески помог, — и ускорил естественную «перемену». Только ускорил, — но в этом задача каждого: понять, что он может в его положении сделать для ускорения — и сделать. Всякий что-нибудь может. Осборн исполнил свой долг.

Знаменательно, что не преступная и «свободная» Америка привлекла-таки Осборна к суду. Еще и там живы традиции начала прошлого века, когда построена была синг-сингская тюрьма. Ее строили для «страданий заключенных, таких страданий, чтобы они вызывали чувство ужаса». Перед этим-то «демоном мщения», каменным мешком, и содрогнулся было Осборн. Он мечтал сначала «разрушить ее и обвить плющом. Пусть европейцы не говорят, что у нас нет развалин средневековья». Не удалось, — Осборн принял и «каменный мешок». Победил его, создал из него свободную страну внутренно свободных людей. И… попал под суд.

Но «преступники», — и заключенные, и отбывшие срок — спасли «товарища». Действовали в великом единодушии, в сознании своей правоты и человеческого достоинства. Оставившие тюрьму не забыли, не разлюбили своей «свободной страны» и «товарища» Осборна. Они собирали в Нью-Йорке многотысячные митинги, кричали, убеждали, рассказывали, чем были и что сделали потом с помощью Осборна. В тюрьме тоже действовали. И такая сила была в этом, порою жертвенном стоянии за правду, что правда победила. Преступники, каторжники победили «честных» людей, полноправных граждан Америки.

Осборн был торжественно оправдан, возвращен «товарищам». Он продолжает свое дело.

Для нас, здешних, сегодняшних, вся эта история, звучит странно — двояко. Или далеко и огромно до безнадежности, как чудо, как «измениться всем во мгновение ока» (свобода собраний, печати — в тюрьме, тысячные митинги бывших каторжан — в столице!), или же мы смотрим узко до плоскости: Осборн — начальник тюрьмы. Проводит реформы. Ну, что ж, добрый начальник, но какое это имеет значение? Тем более что он за морями. О тюремной реформе думают многие…

Но и этот плоский взгляд, — и он от безнадежности. Я понимаю безнадежность. Уж очень мы устали. Захлебнулись, снизились, глаза и руки опустили. Пророки наши — не помощники: великие — и безвыходные. Зовут выше, выше, под самое небо — и ни один не оглянется, не догадается сказать или показать, «небо-то — ведь оно в рост человеческий…»

Не надо нам сейчас пророков. Помощники нужны. И каждый может, должен, стать помощником каждому, все — всем. Пусть мы не изменимся «во мгновение ока». Но мы можем изменять, можем изменяться. Людям не только доступно — им естественно «соглашение», «сговор», творчество жизни и себя в нови: но им нужно знать к этому человеческие твердые пути.

Осборн знает, преступники узнали, и пошли, делают… Каменный мешок «Средневековья» не помешал. Чем же мы, остальные, где бы мы ни находились, хуже преступников? Лев Толстой нас, зверей, звал стать богами. На такой зов мы ответили неделанием, неподвижностью отчаянья. Не могли иначе. Но людьми стать можно, а если можно, то и должно.

«Когда люди сговорятся…» да, но сговорятся-то они не раньше, чем узнают то, что знают Осборн и его воры и убийцы.

Да помогут нам преступники синг-сингской тюрьмы!

«Петроград»

И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино.
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!
(«14 декабря»)

Сбылось. «Начатое ими, декабристами, «свершить нам было суждено». Свободная Россия, свободный Петербург, родина «первенцев свободы». Я хочу напечатать одно из моих недавних, до последнего времени «преступных», стихотворений. Но ранее надо сказать несколько слов.

* * *

История знает «мрачный петербургский период». Но теперь она знает — и все мы знаем — другой, мрачнейший, беспримерно страшный период — петроградский. Он начался предосенними днями 14-го года и кончился в великие дни предвесенние 17-го. Петербург — единственный город мира, созданный по методу, по способу

революционному. Дух революционный питал его, и вечно прорывался, тем сильнее, чем сильнее его гасили. Никогда гашение и удушение его не доходило неистовства, как в последние годы: у окровавленного, опозоренного, кандального Петербурга было отнято все, даже историческое имя. Все было сделано, чтобы потушить его святой мятежный дух, умертвить «сознание и разум» России. Таким, с завязанными глазами, с прикрученными к столбу руками, с тряпкой во рту и с чужой кличкой на лбу, Петербург был выставлен на посмешище старому и новому свету.

Но сила духа, которым жил «этот самый фантастический из городов», была «смерти неподклонна»: она по самой своей природе ей не подклонна, ибо это сила духа революционного. И пламя вырвалось. Тем победнее и могущественнее, что воистину предельны были пытки русского «петроградского периода». Навеки проклята будь память его, вместе с рабьей кличкой, клеймом последнего самодержца!

Я знаю, что и Петр I был единовластным «царем». Я больше знаю: во многих статьях (заграничный сборник «Царь и Революция» 07 г.) было приведено много доказательств, что именно от Петра I потянулись некоторые нити, послужившие в дальнейшем к оформлению и укреплению у нас самодержавия. От этой своей мысли я не отрекаюсь. И все-таки утверждаю, что дух Петра — был дух подлинно революционный, всегда один и тот же по составу своему, только по формам разный, смотря по времени и месту проявления. Не забудем времени, когда жил Петр. Не забудем, каким был лик — не России, а Европы, в тот исторический час. Его отделяли еще многие десятилетия от Великой Французской революции. Священно-неподвижными тронами уставлена была Европа. Всех священнее и, главное, всех неподвижнее был трон царей московских. Мягки пурпурные подушки венчанных Москвой Романовых. Но Петр сорвался с них, мятежному духу претило это величественное, тишайшее успокоение. Не вмещался он и в узкое, только национальное, ложе. В нем была «вселенскость» («интернационализм», если говорить не по-русски). И уже скорее можно назвать Петра революционным диктатором, но не московским «царем». Он царь, самодержец, лишь словесно и формально, лишь взятый вне исторического преломления. А вне этого преломления ничего ни увидеть, ни понять нельзя.

Петербург, созданный мятежной волей, стал родиной всех праведных восстаний человеческого духа. Вздымалась и падала волна, но с каждым новым взлетом разрасталась. Петербург не забыл «первенцев свободы», революционных героев-офицеров 14-го декабря.

Идут, навстречу упованью,
К ступеням Зимнего крыльца,
Под темною мундирной тканью
Трепещут жадные сердца.
Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер…
Но был потушен их же кровью
Освободительный костер.

Костер погас, но искры тлели. И вспыхивали все время, отдельные и яркие. Их были тысячи, тысячи. Тысячи громких и негромких имен. От четырнадцатого дека-

бря, через 1-ое марта, к 9-му января и дальше… И снова кровь, петля, снег Сибири, могильная, грозная тишина, — вплоть до конца, «петроградского» периода.

Это были последние клещи. Петербург вспыхнул пламенным столбом, — и за ним почти мгновенно, чудесно, загорелась и просияла вся Россия. Никогда она не была так едина и цельна (и сильна), как теперь — в свободе.

Но великим освободительным костром — красным знаком для России — запылал не Петроград, а именно Петербург. Не город жалкого Николая и его приспешников, а волшебная и страшная родина Пестеля, Рылеева, Муравьева, Перовской, Желябова, всех героев-мучеников 17-й весны. «Петроград» — творение Николая Романова. Не скажут ли — «звук пустой»? Да, но в конце концов и все «творчество» Николая всегда состояло из таких «звуков пустых». И пощечина ведь не более чем «звук пустой», с известной точки зрения. Этот самодержавно-хлестаковский жест: «пусть называется» Петербург Петроградом (хоть Чертоградом!) — попутная пощечина русской истории, плевок в сторону рабов (оботрутся!).

Но даже этот жест, эта пощечина, это «творчество», как самостоятельная выдумка, не по плечу были Николаю. Ведь его и самого-то почти не было. Было громадное, темное Небытие, покрывавшее Россию.

Жест Николая, как все его жесты, был ему подсказан (нашептан). Полуслучайно. Один из окружавших его жирных славянофилов-нигилистов соблазнился мыслью: «а вот возьмем — да и самую столицу переименуем! Двести лет так было, а захотим — иначе будет!» Влечение двора к преступно-бутафорскому «народству» известно: общий стиль «союза русского народа», на нем уж, как узоры — образки, Питиримы, наконец, распутинство.

Престарелый царесизм сюда и нагнул, — война, мол. Патриотизм, славянизм, а царица немка, а тут вдруг столица «по-немецки» (!) называется… Переименовать — это вызовет патриотический подъем… Пусть не будет Петербурга. Пусть начнется Петроград. Подпишите, ваше величество!

Я не знаю, что сказал царь. Но думаю, что ничего не сказал. Посмотрел, вероятно, молча, погладил усы, и — подписал.

Умер (как будто) Петербург. Полетели по всему миру вести: создан Петроград, а Николай Романов его творец.

Так начался самый черный, самый кошмарный период русской истории — петроградский.

Но Николай пал. Восставший, воскресший, свободный Петербург сдул его, вековую пыль его и все дела его рук. Петербург должен снять с себя и Николаевскую кличку, которою мы, верноподданные рабы, покорно звали порабощенный город. Вспомним, он свободен, и мы свободны! Иль привычка к повиновенью в нас так глубоко въелась, что мы уже не в силах снять с нашего русского «Города-Разума», города-начинателя великой русской революции, «клеймо позорных лет»?

«Петроград», творение Николая II, должен пасть вместе с Николаем II-м и последним. Этого требует революционный Петербург, похороненный и воскресший. Свободный Петербург.

А вот и мое «преступное» стихотворение о Петербурге. Оно написано 14 декабря 1914 года, но в нем уже была вера в наступление февральских и мартовских дней

17-го. Может быть, их предчувствие. Впрочем, вера и есть — первое предчувствие. Оттого «по вере и сбывается».

Петроград

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?
Не мы, не мы... Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся да чьи-то ризы делят,
И всё дрожат за свой последний час.
Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора!
Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
С предателями предали Петра.
Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?
Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,
Всё тот же — в ризе пламенных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, —
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

КОММЕНТАРИИ

Так надо — так будет

День. 1914. № 212 (8 авг.).

Заглавие статьи — полемическое переосмысление заголовка рассказа Л.Н. Андреева «Так было — так будет» (1906), где пессимистически оцениваются результаты любой революции.

Царь Давид не сделался зверем, когда перепилил 50 тысяч пленных тупыми пилами. — Ср.: «И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее.

И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нем было золота талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много.

А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим» (2 Цар 12:30–32).

В наши времена

Голос жизни. 1914. № 4 <конец окт. — начало нояб.>. С. 11—12. Подпись: Антон Крайний.

...вроде «Позора Германии» г. Дальского... — Ср. крайне отрицательную рецензию на эту пьесу: *Маурин Евг*. Чей позор? («Позор Германии» — драма в 4 действиях из современной войны, соч. Мамонта Дальского) // Голос жизни. 1914. № 1 <не ранее 4 окт.>. С. 21–22. Дальский (наст. фамилия Неелов) Мамонт Викторович (1865–1918) — русский драматический актер.

Искажения

Голос жизни. 1914. № 6 (13 нояб.). С. 11—12. Подпись: Антон Крайний.

«Немцы — автоматы (механика). Автоматы — и Крупп и Кант, и Кант и Крупп». — Намек на вызвавший большой резонанс доклад В. Эрна «От Канта к Круппу», прочитанный 6 октября 1914 г. на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева.

Апогей

Голос жизни. 1914. № 9 (10 дек.). С. 14. Подпись: Антон Крайний.

Статья (наряду с другими аналогичными выступлениями Гиппиус и Д. Мережковского) стала поводом для резкой редакционной отповеди журнала «Отечество» (*Редакция*. Вынужденный ответ // Отечество. 1914. № 7 (25 дек.). С. 140), где, в частности, сказано: «З.Н. Гиппиус <…> негодует на то, что в настоящий момент писатели… пишут, т. е. делают то дело, к которому они призваны. В неприличной выходке — таков литературный род, к которому относится ее заметка “Апогей” — Антон Крайний выражает крайнее недовольство Леонидом Андреевым. “За какой журнал, за какую газету не возьмись, везде статьи Л. Андреева”, — пишет Антон Крайний и в доказательство перечисляет т р и названия! Большой русский писатель Леонид Андреев искренне и честно делает свое дело, болеет душою о русском горе и испытывает потребность поднять свой голос, высказать то, что представляется ему важным и нужным для современности. Кто решится отрицать за ним право на высказывание и кто увидит в желании искреннего и честного писателя — высказаться о важных событиях нашей жизни — предмет для глумления? Вопрос, к сожалению, не риторический, ибо Антон Крайний делает и то и другое. Под его пером упреки по адресу Леонида Андреева звучат особенно бесстыдно, так как именно З. Гиппиус (она же Антон Крайний) стремится к помещению своих статей в возможно большем числе изданий, пишет и в “Дне”, и в “Биржевых”, пишет, можно сказать, на каждом шагу — во всяком новом еженедельнике.

Упреки Антона Крайнего Леониду Андрееву откровенно циничны, потому что сама же З. Гиппиус в своих стихах требует от писателей молчания в настоящий момент:

“Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы!”

Господин Антон Крайний, следуйте своим словам и постарайтесь заменить ваш цинизм даже без грации целомудренным молчанием, тихое злословие тихими молитвами!»

...«в чаду войны» (заглавие статьи Розанова в «Н. Вр.»)... — См.: Новое время. 1914. № 13891. Название статьи позже было вынесено в заголовок книги статей: *Розанов В.* В чаду войны. СПб.; М., 1916.

...цитаты из Л. Андреева sunt odiosa. Непонятно, однако — факт. — От выражения «Nomina sunt odiosa» — букв.: имена ненавистны (*лат.*). Здесь игра слов, так как латинское выражение обозначает, что подразумеваемые имена не следует называть.

За какую газетину, за какой журналишко ни возьмись — он! И «День», и «Биржевые», и прочие, а «Отечество» (к счастью, в кавычках) так прямо затоплено. — С начала войны Андреевым были опубликованы следующие статьи, непосредственно связанные с военной тематикой: Лазарет имени М. Метерлинка: Письмо в редакцию // Утро России. 1914. № 208 (2 сент.). С. 2; Две летописи // День. 1914. № 256 (21 сент.). С. 3; Прости! // Бирж. вед. 1914. № 14400 (28 сент.). Утр. вып. С. 4; Война и студенчество: Петроград, 12-го октября // Бирж. вед. 1914. № 14430 (13 окт.). Утр. вып. С. 2; Восхождение: Петроград, 15-го октября // Бирж. вед. 1914. № 14436 (16 окт.). Утр. вып. С. 2–3; Бельгийцам // День. 1914. № 286 (21 окт.). С. 3; Наши // День. 1914. № 298 (2 нояб.). С. 3; Война // Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 1. Подпись: Л.А.; Освобождение: Письма о войне // Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 6–15; Торгующим в храме // Бирж. вед. 1914. № 14470 (2 нояб.). Утр. вып. С. 3; Бельгии // Бирж. вед. 1914. № 14472 (3 нояб.). Утр. вып. С. 3; О германцах: Письма о войне // Отечество. 1914. № 2 (9 нояб.). С. 25–30; Слово о Сербии // Бирж. вед. 1914. № 14488 (11 нояб.). Утр. вып. С. 2–3; Homo // Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 61–64; Любите и жалейте солдата... // Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 2 (обл.). Подпись: Л.А.; Ответ болгарам-македонцам // Бирж. вед. 1914. № 14506 (20 нояб.). Утр. вып. С. 3.; Крестоносцы // Отечество. 1914. № 5 (6 дек.). С. 82–85; В сей грозный час // Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 2: Сербы и Леонид Андреев // Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 3. (Указаны только первые публикации: статьи Андреева пользовались успехом и охотно перепечатывались столичными и провинциальными газетами.)

Л. Андреев и на сцене Александринки... — Имеется в виду постановка на сцене Александринского театр пьесы Андреева «Король, закон и свобода», посвященной оккупации Бельгии немецкими войсками (премьера 19 декабря 1914).

...и в «инициативной группе» печати... — Имеются в виду сообщения об Андрееве как инициаторе собрания сотрудников петроградских газет, посвященного Дню печати. Андреев был выбран собранием в комиссию по выработке «конкретных указаний о помощи печати фронту» ([*Б. п.*] Совещание о «дне печати» // Обозрение театров. 1914. № 2585 (13 нояб.). С. 8–9.

...статья Л. Андреева, с криком протестующего против протеста ученых и литераторов Москвы... — Речь идет о статье «Освобождение» (Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 615). См. наст. изд., с. 609–617.

Воды Бельгии не освежили увядших лавров... — Намек на центральный эпизод пьесы «Король, закон и свобода»: дабы воспрепятствовать наступлению немцев, король Бельгии приказывает открыть шлюзы дамб, сдерживающие морские воды, что вызывает затопление территории, на которую наступали германцы.

Странности газетно-театрального мира (Письмо в редакцию)

Бирж. вед. 1914. № 14567 (20 дек.). Веч. вып.

...Савина играет в пьесе, режиссируемой Мейерхольдом. — Речь идет о готовившейся в Александринском театре постановке пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо». Ср. запись в ее дневнике от 28 апреля 1915 г.: «Вот хотя бы история моей пьесы “Зеленое Кольцо” в Александринке. Ведь все было готово для ее постановки, директор одобрил, Мейерхольд начал работу, как вдруг... профессора из Москвы признали ее безнравственной! Чтобы пройти официальный этап — Литературный Комитет — и пройти с деликатностью (в здешнем <Петроградском> сидит Дмитрий <Мережковский>), я послала ее в Московский Комитет. И там, всячески расхвалив пьесу с художественной стороны, — решили, что она — неморальна, ибо “автор отдает предпочтение молодым перед пожилыми”. Честное слово! Также то “не морально”, что молодежь читает Гегеля и занимается историей!

Ну, тут пошел скандал. Директор вытребовал этот комический протокол. Начали думать, как покелейнее старичков оборвать. В это время началась война, все спуталось; я и сама думать забыла о всяких пьесах. Но перед Рождеством случилась неожиданность. Савина прочитала мою пьесу (ей случайно послал Мейерхольд) и — возжелала ее играть! Играть Савиной там немного чего было, полумолодая роль матери, всего в одном действии, хотя роль трудная...

Чего захотела царица Александринки — то закон! И пьеса пошла. Савина сама очень интересна. Когда я бывала у нее, с Мейерхольдом, или она ко мне приезжала (еще вот в эту пятницу опять была, очень любопытно рассказывала о Тургеневе и Полонском), — я старалась, чтобы она не столько о моей пьесе говорила, сколько вообще, о себе, чтобы проявлялась, такое она талантливо-художественное явление. Жалею, что мало записывала из ее бесед.

Однако дотянули премьеру до 18 февраля. Ей предшествовал гам в газетах (как же: Мейерхольд, Савина, Гиппиус — вот так соединение! Муравейнику, при цензуре неслыханной, как на это не кинуться).

Сама премьера прошла очень обыкновенно, то есть одни в восторге, другие в ненависти, газеты в неистовстве. Савина играла, конечно, не мою героиню, а свою, и, конечно, очень талантливо. Декорация второго акта (заседание “юных”) очень хороша: звезды в длинных, черных, зимних окнах. Но актеры нервничали, и были лучше на генеральной репетиции. (Из первых — я была всего на одной, на вечерней, с Блоком. Так что “кухни” почти не видала)» (*Гиппиус З.Н.* Дневники. М., 1999. [Т.] 1. С. 393–394). Об истории постановки пьесы см. также: *Бродская Г.* «Зеленое кольцо» З.Н. Гиппиус. Авторский замысел // Бродская Г. Сонечка Голлидей: Жизнь и актерская судьба. Документы. Письма. Историко-театральный контекст. М., 2003. С. 87–131.

Савина Мария Гавриловна (1854–1915) — ведущая актриса Александринского театра. Роль Елены Ивановны в «Зеленом кольце» была одной из последних.

Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов, 1849–1925), ведущий актер Александринского театра и театральный педагог. Особенно прославился исполнением ролей русского классического репертуара (Гоголь, Островский, Лев Толстой, Сухово-Кобылин).

Наше будущее

День. 1914. № 321 (25 нояб.). С. 4. Подпись: Антон Крайний.

...журнал «Северный Гусляр». — См. коммент. к ст.: Н. Ястребов. «Зори грядущего»; Антон Крайний. «Зори ли? Грядущего ли?».

...отцы «Вечернего Времени»... — «Вечернее время» — газета консервативного направления, издавалась в Петербурге в 1911–1917 гг. Б.А. Сувориным (1879–1940; сын основателя газеты «Новое время» А.С. Суворина).

Война, литература, театр

Чего ждет Россия от войны: Сб. ст. Пг., [1915]. С. 94–101.

Письма Флобера к Жорж Занд летом 1870 года... — Далее в статье следует коллаж из писем Флобера периода с августа 1870 по март 1871 г., адресованных не только Жорж Санд, но и другим лицам (Из писем Г. Флобера во время Франко-прусской войны // Сев. записки. 1914. № 8–9. С. 170–185). Это куски из писем к Жорж Санд от 5 августа, 10 сентября, середины сентября (не датировано), 30 октября 1870 г., письма к Эдмону де Гонкуру от начала сентября того же года (не датировано), письма любимой племяннице Каролине от 22 сентября 1870 г. и письма госпоже Ренье от 11 марта 1871 г. Ср.: *Флобер Г.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 5 (по ук.).

...несмотря на работу, несмотря на доброго "Святого Антония"... — В 1869–1870 гг. Флобер после долгого перерыва заново приступает к работе над философской драмой «Искушение святого Антония» (первая ред. — 1847), которую заканчивает в 1874 г.

...кровь моих предков, начесов... — Имеется в виду индейское племя натчезов, проживавшее в районе реки Миссисипи и фактически исчезнувшее в начале XVIII в. в результате войн с французами; название племени стало во французской литературе символичным благодаря повестям Рене де Шатобриана «Атала» (1801) и «Рене» (1802), действие которых происходит среди натчезов.

Я уподобился Рахили, я не хотел утешиться. — Библейский образ отчаяния и горя. Пророк Иеремия говорит о горе Рахили, дети которой были уведены в вавилонский плен (Иер 31:15). Этот образ вновь возникает в Новом завете, отображая горе матерей после избиения младенцев царем Иродом: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф 2:17–18).

Когда в прошлом году явился Маринетти с этими самыми лозунгами завоевывать Россию... — Вождь итальянского футуризма и основатель самого литературного направления Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) пробыл в России три недели — с 26 января по 17 февраля 1914 г., посетив Москву и Санкт-Петербург с многочисленными лекциями и выступлениями, которые пользовались большим успехом. Вопреки утверждениям Гиппиус и согласно, например, воспоминаниям поэта Бенедикта Лифшица, часть русских футуристов (в отличие от восторженных обывателей) отрицательно отнеслась к этим «гастролям» Маринетти (*Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 469–507).

Эти два пути очень ярко и доказательно были подчеркнуты, определены в свое время К. Чуковским (см. его последнюю книгу литературных очерков). — Имеется в виду книга К.И. Чуковского «Лица и маски» (СПб., 1914), в которой была статья «Футуристы».

...Писатель, если только он... — строфа из стихотворения Я.П. Полонского (1819–1898) «Писатель, если только он…» (1871).

Скажите прямо!

Голос жизни. 1915. № 3 (13 янв.). С. 5–6. Подпись: Антон Крайний.

О возрождении «неославянофильского» философско-политического движения в начале Первой мировой войны подробно см.: *Хеллман Б.* Когда время славянофильствует // Хеллман Б. Встречи и столкновения. Хельсинки, 2009. С. 12–26.

...последняя, декабрьская, книжка «Русской Мысли». — В журнале в № 12 за 1914 г. были опубликованы следующие статьи (доклады на заседаниях Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева), принадлежащие упомянутым далее Гиппиус лицам: Г. Рачинскому «Братство и свобода» (с. 83–87; здесь и далее — 2-я паг.); Е. Трубецкому «Война и мировая задача России» (с. 88–96), Вяч. Иванову «Вселенское дело» (с. 97–107); С. Булгакову «Русские думы» (с. 108–115), знаменитый доклад В. Эрна «От Канта к Круппу» (с.116–124), П. Струве «Великая Россия и Святая Русь» (с. 176–180).

...Франк <...> в своем <...> возражении... — Имеется в виду ст. С. Франка «О поисках смысла войны» (Русская мысль. № 12. С. 125–132).

...он выпустил брошюру... — В кн. Сергея Соловьева «К войне с Германией» (М.: тип. В.И. Воронова, 1914) содержатся статья «Немецкая опасность» и стихи, которые ниже цитирует З. Гиппиус.

...П.Б. Струве если и признает религию, то как дело чисто индивидуальное, privat sache. — Гиппиус намекает на заметку Струве «Религия и общественность», которая является ответом на «Открытое письмо редактору “Русской мысли”» самой Гиппус (отстаивающей здесь идею религиозной общественности). Струве писал: «Никто, знакомый с ходом развития религиозной культуры, не может отрицать, что в самой идее церкви, связанной с государственностью и общественностью, заключена огромная опасность и угроза для личной свободы вообще, религиозной свободы в частности. Не случайно поэтому свободная общественность проводит идею отделения церкви от государства и абсолютно “частного” характера религиозной жизни (Religion ist Privatsache[1])» (Русская мысль. 1914. № 5. С. 136 (2-я паг.)).

Грядущее

День. 1915. 2 марта. № 59.

О постановке пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо» см. также коммент. к ст. «Странности газетно-театрального мира».

Статья является ответом на ст.: *Гиппиус Вл.* Спор поколений // День. 1915. № 51 (22 февр.). С. 3. Автор ее утверждал:

[1] Религия — это частное дело (*нем.*)

«З. Гиппиус написала пьесу в похвалу молодых. Это и есть “зеленое кольцо” — молодые. Новая трава, новое поколение. Оно чувствует себя бунтовски, оно бросает вызов старым. Особенным, не похожим на прежние. Они не поворачиваются спиной и не высмеивают, как Чацкие и Базаровы. Они смотрят утилитарно. “Дядя Мика”, лучший из “старых” — для них книга, и даже не книга, а “переплет” — хороший, “кожаный”. Дядя Мика “потерял вкус к жизни”, но он им нужен как справочник, когда “зеленое кольцо” собирается в его комнате, около его дивана, на котором он сидит, поджав ноги и старчески кутаясь в плед — и сам, “не имея вкуса” вмешиваться и задавать вопросы, только дает справки и отвечает на вопросы; он нужен еще как провожатый, когда одну из девочек приходится отвезти на извозчике домой, и, наконец, он оказывается незаменимо нужен, когда, по решению кружка, одну из девочек можно вывести из той семейной путаницы, в которую она попала (мама разошлась с папой и сошлась с другим, папа раскис и сошелся тоже с другой), — женившись на несчастной девочке фиктивно. Так решило “зеленое кольцо”, — “кожаный переплет” помялся, но сразу же и согласился.

Я не критикую пьесы, ее художественных свойств и приемов. <…> я думал при исполнении пьесы не о таланте писательницы, и не о самой пьесе, — а только о споре поколений, о правде и неправде его — о том: правда ли, что душа реакции овладела не всеми молодыми — и правы ли те новые, которых благословляет З. Гиппиус — в их отношении к старым.

Нельзя не верить, что они есть, что они не выдуманы — те молодые, о которых говорит писательница. Я видел их — я слишком хорошо их знаю. Но старые они или новые? Живые или мертвые? Я знаю их, — но знаю и других — уже идущих, действительно живых, тех, которые никогда не бросят старым такого утилитарного вызова: “вы нам нужны, чтобы было от чего оттолкнуться, если прыгать”. Эти другие скорее станут в откровенную вражду, чем соединят свой утилитаризм “с милосердием”, как рекомендуют заправилы “зеленого кольца”. И я хотел бы знать, принимает ли сама З. Гиппиус вызов своего “зеленого кольца” или не принимает? Считает ли правым их утилитарное отношение к самой себе?

Времена изменились — совершается ли “прогресс” или что-нибудь иное, — безразлично. К тому поколению, к которому принадлежит З. Гиппиус, уже нельзя простодушно поворачиваться спиной, как к Фамусовской или Обломовской старине; к нему приходится волей-неволей отнестись хоть “с милосердием”. И правы ли “старые”, соглашаясь оценивать себя — дядями Миками?

Быть справочниками, провожатыми и фиктивными мужьями? Или в этом браке “старого” дяди Мики с “новой” Фимочкой писательница имела в виду такой тесный союз отцов и детей, что их отношения могут быть символизированы лишь браком?

И что же это за брак, где женятся те, самое почетное имя которых “кожаный переплет”? Что это за новые люди, которые не стесняются вступать в брак или союз — все равно, с теми, к кому они относятся лишь как к средству для достижения цели?

Кажется, деды (Базаровы), да и прадеды (Чацкие), поступали достойнее, когда откровенно поворачивались к старым спиной, и если вступали в фиктивные браки, то друг с другом, а не с теми, кого они принимают — в лучшем случае только “с милосердием”.

Не знаю уж, к старым или к новым отнесет меня “зеленое кольцо”, но дядя Мика, по-моему, напрасно подчинился решению “новых”. Если бы их предложение его возмутило, я признал бы в этом возмущении правду. Не старую и не новую — а ту, которая — во веки

веков и которую постоянно забывают. Она не подвластна спору поколений, она неизменно одна и та же.

Если З. Гиппиус тоже так верит, то в своей пьесе она этого не высказала. И я думаю — потому, что подчинилась той русской “социологической” формуле, которую давно пора забыть всем, идущим к правде последней, непререкаемой. Под влиянием этой формулы, ищущей в общественной жизни во что бы ни стало “спора поколений”, писательница и приняла за “новых” “старых”, хотя и юных годами. И под влиянием той же формулы уничижила свое собственное поколение до “дяди Мики”.

Те — “другие”, воистину новые, наверное сразу поймут, что речь идет не об них. Они себя в “зеленом кольце” не признают. И для меня — в этом их непризнании залог их силы».

Далькрозисты — последователи швейцарского композитора и педагога Эмиля Жак-Далькроза (1865–1950), создателя новаторской ритмической гимнастики, вызывавшей много споров у современников.

Тангисты — любители танго. Танго, в 1910-е годы начинавшее проникать в Европу из Аргентины, считалось непристойным, излишне эротичным танцем и было официально запрещено в некоторых европейских странах. Так, в 1914 г. появился указ министра народного просвещения, запрещающий в учебных заведениях России само упоминание о «вошедшем в большое распространение танце под названием Танго».

...в глубоком исполнении роли г. Юрьевым... — Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — с 1893 по 1917 г. один из ведущих актеров Александринского театра.

...к Рощиной-Инсаровой, к Домашевой и Смоличу... — В предисловии к отдельному изданию пьесы Гиппиус писала: «Уже на генеральной репетиции, в артистических коридорах, никого нельзя было узнать: казалось, это все настоящие подростки, Смолич точно родился гимназистом “с серьезным будущим”. Цыбастой, несложившейся девочкой смотрела Рощина-Инсарова. А про Домашеву подлинные гимназистки, мои приятельницы, подлинные участницы одного из подлинных “Зеленых колец” — спрашивали после спектакля: “Ведь Домашевой не больше же пятнадцати лет? Как же она уж актриса?”» (*Гиппиус З.Н.* Собр. соч. М., 1996. Т. 2. С. 509).

Равноценности

Голос жизни. 1915. № 9 (23 февр.). С. 1. Подпись: А. Кр.

Статья является откликом на ст.: *Тиняков А.* Переоценка ценностей // Голос жизни. 1915. № 8 (18 февр.). С. 12–14.

Н. Ястребов. Зори грядущего
Антон Крайний. Зори ли? Грядущего ли?

Голос жизни. 1915. № 17 (22 апр.). С. 7–10.

В наст. подборке воспроизведены две статьи (Н. Ястребова и ответ на нее Гиппиус — Антона Крайнего) — в качестве образца популярного в журнале «Голос жизни» жанра критического диалога, когда параллельно с молодым литератором выступает мэтр (см.: *Козьменко М.В.* Полузабытый «Голос жизни» — «пораженческий» еженедельник // Русская

публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика: Материалы и исследования. М., 2013. С. 485–486).

Ястребов Николай Николаевич (1885–?) — студент Петербургского университета, молодой поэт из окружения Гиппиус; три его стихотворения она включила в сборник «Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З.Н. Гиппиус» (Пг., 1917), в 1917 г. — офицер. Н. Ястребову Гиппиус посвятила стихотворение «Непоправимо» (1916).

З. Гиппиус посвятила молодежи даже целую пьесу. — Речь идет о пьесе «Зеленое кольцо» (см. коммент. к ст. «Странности газетно-театрального мира»).

...писатели из «Северного Гусляра» (не все, а гг. Туфанов, Ковш, Нелли)... — «Северный гусляр» — «еженедельный журнал учащейся молодежи в пользу семей павших в бою воинов» — издавался в Петрограде в 1914–1915 гг. Помимо упомянутых Гиппиус лиц, в нем, например, публиковались статьи Питирима Сорокина и Эриха Голлербаха.

Туфанов Александр Васильевич (1877–1941) — поэт, теоретик искусства. Первые стихи опубликовал в журнале «Северный гусляр». В будущем (1920-е гг.) — идеолог анархо-индивидуалистических эстетических концепций, развивающих идеи заумного языка футуристов и т. п. Его теории повлияли на обэриутов.

Ковш Антон — псевдоним Васильева Александра Алексеевича, редактора-издателя журн. «Северный гусляр».

Нелли — псевдоним Балика Дмитрия Андреевича.

«Бедные мы, сознательные люди! — писал Флобер... — Цитата из одного из писем Флобера к Жорж Санд, написанных летом и осенью 1914 г. (см. коммент. к ст. «Война, литература, театр»).

Надо «для всех быть всем», но помнить, что «спасешь только некоторых», по мудрому слову Павла. — Ср.: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1Кор 9:22).

...желание «превратить жизнь в грезо-фарс». — Из стих. Игоря Северянина «Увертюра» («Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!..») (январь 1915): «Я трагедию жизни претворю в грезофарс…».

Земля и камень

Голос жизни. 1915. № 17 (22 апр.). С. 12. Подпись: Роман Аренский.

Непосредственно после статьи Гиппиус в этом же номере «Голоса жизни» была опубликована подборка стихотворений Есенина: «Рыбак» («Под венком лесной ромашки...»), «Гусляр» («Темна ноченька, не спится...»), «Пахнет рыхлыми драченами..» (позднейшее название — «В хате»).

Пошел и на «поэзо-концерт». — 26 марта 1915 г. Есенин присутствовал на «поэзовечере» Игоря Северянина в Александровском зале Городской думы (Летопись жизни и творчества С.А. Есенина: В 5 т. М., 2003. Т. 1. С. 333).

...скорее до «экарлатной» зари додумается... — От écarlate — алый, пунцовый (*фр.*).

Раненая муза

Голос жизни. 1915. № 24 (10 июня). С. 1–2. Подпись: Антон Крайний.

«И вы хотите, люди, люди, // Чтоб я земную жизнь любил!..» — Неточно процитированные последние строки из стихотворения «Цветы для наглых, вино для сильных»; подп.: 9 июля 1914 г. У Сологуба: «И вы хотите, о люди, люди, // Чтоб жизнь земную я полюбил!..» (Русская мысль. 1915. № 4. С. 37).

«Громки будут громкие дела... // ...Нации в союзе племен...» — Неточно процитированные строки из стихотворения «Марш». У Сологуба: «Громки будут отважные дела…»; «Нация стала союзом племен» (*Сологуб Ф.* Война. Пг., 1915. С. 8).

«Прежде чем весна откроет…» — Строфа из стихотворения «Утешение Бельгии» (*Сологуб Ф*. Война. С. 20).

«Опять, опять надеждой полны…» — Цитируются строки из стихотворения «У Босфора» (Бирж. вед. 1915. № 14733 (17 марта). Утр. вып.).

...всем нам известного «Лукоморья»? — «Лукоморье» — издательство и одноименный журнал при газете «Новое время»; третировались либеральной интеллигенцией как официозные и реакционные. Однако ср. современное освещение художественной и идеологической программ журнала: *Лекманов О.А.* У «Лукоморья»: К истории одного журнала // Лекманов О.А. Поэты и газеты: Очерки. М., 2013. С. 69–85. Сологуб печатался в журнале до конца октября 1915 г.

...оно недостойно последнего из наших «писателей» «Петер...», виноват, «Петроградской газеты». — «Петербургская (Петроградская) газета» (1867–1917) — популярное, ориентированное на массового читателя, благонадежное и лояльное правительству издание; по мнению Н.С. Лескова, «“серый“ листок, который читает 300 тысяч лакеев, дворников, поваров, солдат и лавочников» (*Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т.11. С. 472).

Без «аминя»
(«Воспоминания кстати»)

Бирж. вед. 1915. № 15151 (16 окт.). Утр. вып.

О знаменитом в свое время Илиодоре писали… но или ради сенсации, или с брезгливостью: культурный пережиток! — Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович, 1880–1952), иеромонах-расстрига, широко известный в 1905–1914 гг. своими скандальными акциями, выступлениями не только против инородцев, евреев и интеллигенции, но и против ряда высших государственных сановников. Одно время поддерживался Г. Распутиным и саратовским епископом Гермогеном. В 1912 г. расстрижен, в 1914 г. эмигрировал.

Вызвали еп. Варнаву к допросу, а он ответил, что ему, по милости Божьей, было видение, согласно видению он и поступил. Ответив так, — ушел, и спокойно уехал. — Речь идет о скандале, возникшем вокруг тобольского епископа Варнавы (Накропина Василия, 1859–1924), который без принятого согласования со Священным синодом 27 августа 1915 г. устроил в Тобольске «величание» (фактически — канонизацию) епископа Иоанна Тобольского (1651–1715), известного своей просветительской и миссионерской деятельностью в Сибири. Вызванный в сентябре того года в Петроград в Синод для объяснения, Варнава утверждал, что он совершил канонизацию «по указанию свыше». Несмотря на предложение Синода не

уезжать из Петербурга, так как его объяснения не были признаны удовлетворительными, почти сразу же уехал в Тобольск. Поведение епископа Варнавы во многом было вызвано тем, что он являлся ставленником Григория Распутина, с которым был согласован акт канонизации. В последующем в инцидент (в конечном счете превратившийся в противостояние Синода и Распутина) вмешался Николай II, благодаря чему всероссийская официальная канонизация Иоанна Тобольского состоялась летом 1916 г., а Варнава осенью того же года был возведен в сан архиепископа.

Щетинины (вспомним недавнее дело сектанта-провокатора-миссионера), Легкобытовы (ученик Щетинина)… — Щетинин Алексей Григорьевич (1854–?) основал в 1907 г. в Петербурге секту чемреков (ответвление так называемого «Старого Израиля»). Секта имела ярко выраженный тоталитарный характер, Щетинин требовал полного духовного и физического подчинения ему со стороны ее членов, вплоть до принуждения к половой жизни с ним замужних женщин (причем проявлял при этом садистические наклонности), обложил участников секты денежной данью. В марте 1909 г. измученные морально члены секты «низложили» Щетинина и под руководством его ученика Легкобытова организовали новую общину, названную «Начало века». Как выяснилось позже, Щетинин на самом деле был тайно связан с миссионерской службой официальной церкви и в течение многих лет докладывал ее представителям о сектантских группах в разных частях России, т. е. по сути являлся агентом-провокатором. В 1915 г. был осужден за ложный донос (см.: Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России / Под ред. В. Бонч-Бруевича. Отд. Сектантство. Пг., 1916. Вып. 7: Чемреки. Ответвление Старого Израиля / Вступ. ст., заметки и примеч. В. Бонч-Бруевича. С. CXII–CXXVII).

…«братцев-трезвенников»‹…› (Иванушку) в его же вырицкий домик… — Речь идет об Обществе христиан-трезвенников и его основателе Иване Алексеевиче Чурикове (1861–1933). В 1890-е он переселяется в Петербург и начинает пропаганду трезвости, очень быстро обретая множество последователей. Подозреваемый в сектантстве, многое претерпевает от преследования властями. В 1905 г. в Вырице, под Петербургом, организует колонию для трезвенников, которая в последующем превращается в успешное сельскохозяйственное предприятие. В 1914 г. Епархиальным петербургским миссионерским советом отлучен от церкви. В 1929 г. арестован ОГПУ, умер в заключении. В Вырице до сих пор существует (восстановлен в 1990-е гг.) «Дом трезвости», а в Ленинградской области — несколько разных общин «чуриковцев» (например, Религиозное общество последователей братца Иоанна Чурикова). См.: *Краснов-Левитин А.* Лихие годы: 1925–1941. Париж, 1977. С. 151–154.

…«благодатные дары оскудели». — Ср.: «<…> оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцев, и чрез возложение рук их, имели дарование духовное. Но отторженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестити, ни рукополагати, и не могли преподати другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали» (Василий Великий. О Святом духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому // Полн. собр. творений Св. Отцов Церкви в рус. пер. Т. 3: Василий Великий. Кн. 1. М., 2012. С. 35).

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…» — Пс 1:1.

Вспоминается мне один из верных служителей благодати… — В своем позднейшем очерке «Лундберг, Антонин, Есенин» (1922) Гиппиус уточняет имя этого служителя и детали

изложенных в раннем фельетоне событий: «Вот Антонин; еще не епископ — архимандрит. Первые, получастные, “Религ. Фил. Собрания” подняли железный занавес, отделявший среду церковную от интеллигентской. Антонин с особой жадностью бросился к “светским”. К нам зачастил и вечером, и утром, и на заседания, и так. Секретарем “Собраний” был некий Е. Е., человек вида и манер (да, кажется, и биографии) интеллигента-нигилиста 60-х годов. Ему протежировал молодой тогда Тернавцев и предобродушно звал своего приятеля не иначе, как “пес”. Архимандрит Антонин и “пес” сделались неразлучны. Вместе шлялись по трактирам, причем Антонин заказывал себе самые скоромные яства, а “пес”, в пику другу, — постные. Вместе приходили они и к нам. Если народу было не так много, то беседа сводилась к темам довольно интимным: Е. Е. при Антонине рассказывал о лаврских его успехах, о дамах, о платочках, которые, подобно султану, он раскидывал... Антонин, черный, громадный, костлявый, даже сутулый от громадности и костлявости, с тяжелой нижней челюстью и косматыми бровями, — слушал, помавая главою. Подсказывал образы, гудел басом, сильно на “о”:

— И тогда разбила она алавастровый сосуд тела своего меня ради...

Ничего “холеного” в нем не было. Он презирал “элегантность” архимандрита Сергия. Помню его довольно замызганный подрясник и круглую поярковую шляпу. Мы смотрели на него немножко, как на enfant terrible[1].

— Поздно, о. Антонин. Ворота в Лавре уже заперли.

— А пусть! Когда я выхожу на дела тьмы (это он наши заседания и разговоры с интеллигентами, — “светскими” — называл делами тьмы) — я приуготовляю себе убежище, где склонить главу...

Его почему-то любил тишайший Антоний, тогдашний митрополит. Антонин сам не знал — почему, и городил какую-то чушь:

— Говорю я ему: а потому вы меня любите, владыка святый, что мы схожи: вы Антоний — я Антонин. У вас губы толстые — у меня губы толстые. У обоих у нас, значит, темперамент...

Кто-то сказал, что Антонин — невежда. Это неправда. Его даже называли в церковных кругах “кладезем учености”. Он был автором какого-то очень серьезного богословского исследования, требовавшего большой эрудиции. Это не мешало ему оставаться, конечно, диким и наивным. Но не в этом дело. Дело в том, что сердцевина его была проедена тем же червяком, что и у Лундберга. Если неврастенический слабняк Лундберг пищал по ночам от боли, то громадный, толстогубый Антонин должен был выть корчась — вот и вся разница. Он не прибеднялся, не вертелся, не говорил и не думал о самоубийстве. Он был прямее, открытее, не боялся быть и мелочно-тщеславным, наивно-тщеславным. Раз думали выбрать его председателем заседания. Он тотчас же радостно объявил свой план.

— Первое отделение — говорю я. Потом перерыв. После перерыва — говорю опять я....

Председателем он так и не был, но одну речь его, сильную и жестокую, я помню. Он говорил против свободы совести и начал так:

— Христианство — экскоммуникативно...

Архимандрит Антонин, затем епископ, ныне “советский”, большевистский епископ Антонин — человек “sans foi ni loi”[2]; человек без малейшей веры и без всякого закона. Безверие-беззаконие из него, что называется, перло. И он этим не смущался. Не на собраниях, конечно,

---

1 ужасный ребенок (*фр.*).

2 без стыда и совести (*фр.*).

но в большом и смешанном обществе, при куче иерархов, при небезызвестном миссионере Скворцове, лакее Победоносцева, он со смаком объявлял:

— А я вам такое скажу, такое, что вы все зашатаетесь... Вы послушайте. Ничего того, что в Писании, не було. Ни Христа не було, ни распятия, ни апостолов, ничего не було. А это все — типы...

Не дослышав, но без удивления, готовый, очевидно, ко всему, Скворцов переспросил:

— Киты?

— Не киты, а типы... — вразумительно поправил его Антонин и продолжал, занимая общее внимание, развивать свою теорию. Говорил убежденно, не без желания нас поразить, конечно, — но искренно.

— Все типы... Ничего не було... Саранча в Писании — тоже тип: понимай — мелкая пресса...

Для него и иерархии ценностей не существовало: раз «ничего не було», так равны и саранча, и распятие... Не имел он веры никакой, даже и материалистической, как ни малейшего закона. “Ложь? Что есть ложь? Христа не было, и... христианство экскоммуникативно. Все типы”, и... он хочет быть епископом. И будет. Его митрополит любит.

Червь, однако, не усыпает, и Антонин в вечном страдании. Достигнув епископства, снова мучится, тянется дальше, слепнет и... промахивается. В 1905 году, после октябрьского манифеста, он “дерзнул”: взял да и не возгласил в Казанском соборе: “самодержавнейший”.

Его тотчас же убрали. Отсюда начинается темная полоса в жизни Антонина. Знаю только, что сосланный куда-то на юг, не возвращаемый, несмотря на все прошения, он дошел в муках своих до форменного безумия, даже сидел в лечебнице. Мельком видели мы его на Кавказе перед войной: белый, засутулившийся еще круче, глаза горят той же злой мукой: не усыпает червь.

Но вот пришло наконец время Антонина: время безверников и беззаконников. Час их преуспеяний. Антонин непременно преуспеет... если успеет. Поздно что-то он выплыл. Мог бы и раньше. Для “советской власти”, если она все-таки зажелает иметь патриарха, — Антонин самый подходящий. Лучше не найти» (*Гиппиус З.Н.* Мечты и кошмар: Неизвестная проза 1920–1925 годов. СПб., 2002. С. 269–272).

Речь идет об бывшем епископе Антонине (Грановском Александре Андреевиче; 1865–1927). В 1902 г. в Киевской духовной академии защитил магистерскую диссертацию на тему «Книга пророка Варуха. Репродукция» (изд.: СПб., 1902). В своем дневнике Гиппиус, рассуждая о различных деятелях современной церкви, записывает 29 марта 1903 г.: «Попадаются такие блестящие, интересные схоластики умом и нутром — как архиерей Антонин, притом совершенные еретики, не верующие в подлинность исторического бытия Христа.

Этот архиерей Антонин, ныне епископ Нарвский (недавно), летом даже сходил с ума, теперь поправился» (*Гиппиус З.Н.* Дневники. Т 1. С. 125).

Причинами увольнения Антонина на покой (формально — «по болезни») 6 февраля 1908 г. было не только непроизнесение им во время богослужений при поминовении государя титула «самодержавнейший» («необязательного», по его мнению, после манифеста 17 октября 1906 г.), но и публикация им в «Новом времени» ряда статей, признанных еретическими (из-за уподобления сочетания законодательной, исполнительной и судебной власти Св. Троице и т. п.) После Октябрьской революции 1917 г. стал одним из лидеров обновленческого движения в церкви, лояльного к советской власти и сумевшего временно сместить со

своего поста патриарха Тихона (подробнее о нем см.: Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 2. С. 682–684).

Детский взор
(«Воспоминания кстати»)

Бирж. вед. 1915. № 15181 (31 окт.). Утр. вып.

Шуми Марица // Окровавлена... — «Шумит Марица» (1876, автор слов Никола Живков) — первоначально марш болгарских добровольцев в Сербии, в 1885–1944 гг. государственный гимн Болгарии, в 1912 г. текст был отредактирован Иваном Вазовым.

...война с турками. — Русско-турецкая война (1877–1878) велась Российской империей и балканскими государствами против владычества на Балканах Османской империи. Одной из ее причин было жестокое подавление Апрельского восстания в Болгарии (весной 1876).

Башибузуки — нерегулярные военные отряды в Османской империи, плохо управляемые военным руководством и отличавшиеся особой жестокостью, мародерством и насилием над мирным населением.

Патриотический институт — Женский патриотический институт (основан в 1822) являлся одним из первых в России учебно-воспитательных заведений, дававших общее и специальное среднее образование женщинам. Выпускницы его часто работали гувернантками.

...Шипка, нечто вроде горы, на которой «все спокойно». — Взятие и оборона Шипкинского перевала (июль–декабрь 1877) стали ключевыми моментами Русско-турецкой войны. Выражение «На Шипке все спокойно» связано с бодрыми донесениями оттуда генерала Ф.Ф. Радецкого, не соответствовавшими бедственному положению охранявших перевал частей, плохо экипированных и замерзавших в суровых горных условиях (особенно популярным выражение стало после знаменитого триптиха художника В.В. Верещагин под тем же названием).

Белый Генерал — народное прозвание Скобелева Михаила Дмитриевича (1843–1882), выдающегося полководца, прославленного своими победами в Русско-турецкой войне и считавшегося освободителем Болгарии.

Взяли Плевну <...> ликовали насчет Осман-паши... — Осман Нури-Паша (1932–1900), турецкий военачальник, прославился упорной, пятимесячной обороной города Плевны. Капитулировал 28 ноября 1877 г.

Царские комнаты — специальное помещение для привилегированных особ на российских дореволюционных железнодорожных вокзалах.

Литературное «сегодня»

Утро России. 1916. № 93 (2 апр.). С. 5. Подпись: Антон Крайний.

Но Маяковский настаивает, захлебываясь, на пояснениях, в 1 номере журнала «Взял»... — Речь идет о статье Маяковского «Капля дегтя» — передовой в сборнике «Взял. Барабан футуристов», который вышел в декабре 1915 г. в Петрограде.

Предмет десятой необходимости

Утро России. 1916. № 260 (17 сент.).

Новиков Иван Алексеевич (1877–1959) — русский писатель, в ранний, дореволюционный период творчества испытывал влияния философии Платона, Владимира Соловьева, младосимволистов, был близок к неореализму.

...пьеса его шла (до сих пор идет) в театре Незлобина... — Речь идет о пьесе И.А. Новикова «Горсть пепла» (1916).

В «Орембовских»... — Имеется в виду роман Новикова «Дом Орембовских» (1915; другое название — «Между двух зорь»), в целом высоко оцененный критикой.

«Из жизни духа» — роман, написанный в 1906 г.

«Коричневые яблоки» — повесть, опубликованная в первом номере журнала «Русская мысль» за 1916 г.

«Смысл творчества» — книга Н.А. Бердяева «Смысл творчества. Оправдание человека» вышла в марте 1916 г.

...книга о «Чемреках» Бонч-Бруевича. — Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России / Под ред. В. Бонч-Бруевича. Отд. Сектантство. Пг., 1916. Вып. 7: Чемреки. Ответвление Старого Израиля / Вступ ст., заметки и примеч. В. Бонч-Бруевича. 705 с.

Толстой и Осборн

Утро России. 1916. № 334 (30 нояб.).

Над бытием бессильно слово... — Источник эпиграфа не установлен. Скорее всего, стихи принадлежат самой Гиппиус.

Помог им «товарищ», «Том Броун» (как они его с нежностью зовут)... — Вероятно, прозвище связано с именем героя популярного в Великобритании и США в те времена романа Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна» (1857), повествующего о жизни английской школы-интерната; в переносном смысле — «верный школьный товарищ».

Осборн Томас Мотт (1859–1926) — американский общественный и политический деятель, реформатор тюремной системы, а также политической системы в штате Нью-Йорк.

...в поразительной статье Лазарева («Русские Записки»). — Лазарев Е. С того света (Дело Осборна) // Русские записки. 1916. № 9. С. 176–194.

Осборн принял и «каменный мешок». Победил его, создал из него свободную страну внутренно свободных людей. И... попал под суд. — Осборн, согласовав свои планы переустройства одной из самых страшных тюрем США — Синг-Синг с губернатором штата и руководством тюрем, вступил в должность начальника тюрьмы 1 декабря 1914 г. Однако уже после успешного проведения реформ в июне 1915 г. возникли трения между ним и начальником тюрем штата Рейли. Противники нововведений обвиняли Осборна в попустительстве распущенности заключенных, в злоупотреблениях и т. п. На предложение Рейли подать в отставку Осборн ответил отказом и потребовал судебного разбирательства. 1 декабря 1915 г. Осборн был временно отстранен от должности и отдан под суд. Все это вызвало бурную реакцию со стороны участников созданной им в тюрьме (и уже имевшей свой филиал на свободе)

Лиги взаимного благополучия (Mutual Welfare League). В конце января 1916 г. в Нью-Йорке в известном здании Карнеги-холл состоялось собрание с участием около 3000 человек, на котором множество бывших заключенных свидетельствовал в пользу реформы Осборна. 16 июля 1916 г. Осборн с триумфом вернулся на должность начальника тюрьмы Синг-Синг.

Петроград

Речь. 1917. № 66 (17(30) марта).

...во многих статьях (заграничный сборник «Царь и Революция» 07 г.) было приведено много доказательств, что именно от Петра I потянулись некоторые нити, послужившие в дальнейшем к оформлению и укреплению у нас самодержавия. — Имеется в виду крайне радикальный сборник статей «La Tsar et la Révolution» (Paris, 1907; на фр. яз.), одним из центральных мотивов которого было религиозное обоснование революции, основанное на отрицании божественной природы царской власти (она, по сути, объявлялась властью антихристовой). См. современное изд. на рус. яз.: *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д.* Царь и революция: Сб. / Под ред. М.А. Колерова, вступ. ст. М.М. Павловой, пер. с фр. О.В. Эдельман, подгот. текста Н.В. Самовер. М., 1999.

...Питиримы... — Питирим (Окнов Павел Васильевич 1858–1919), митрополит Петроградский и Ладожский, участник правомонархического движения, почетный председатель Курского отдела Союза русского народа. Был близок к Г. Распутину, активно участвовал в придворных интригах.

Подготовка текста и комментарии М.В. Козьменко

II

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

В.В. Полонский

«Уют на лобном месте»: Первая мировая война в поэтико-идеологических отражениях литературы русского модернизма

В отечественной культурной ситуации эпохи Первой мировой войны любые границы между собственно художественной литературой и публицистикой оказываются заведомо условными и проницаемыми. По вполне внятным причинам. Военный катаклизм, волной накрывающий все общество, неизбежно смывает перегородки между чистой эстетикой и идеологией. Публицистичность пронизывает и зачастую подчиняет себе художественное высказывание. Сам организм литературы и искусства претерпевает характерные трансформации. Дрейфует жанровая система, выдвигая вперед документальные и квазидокументальные формы, повышая роль эго-высказывания, синтетических документально-фикциональных сочинений, прикладных художественных начинаний. Эпизируется лирика — и начинается путь к возрождению поэмы (в литературе Серебряного века отошедшей все же на вторые позиции, уступившей место новым циклическим образованиям и строгим строфическим лирическим формам), процесс, который утвердится в правах только в пореволюционные годы, но корни его, конечно, в военной литературе. В постсимволистской поэтической среде констатируется необходимость драматургизации лирического письма, а параллельно — подчеркнутой лиризации драмы. И, скажем, Н. Гумилев, создатель «Отравленной туники» и «Гондлы», следуя в общем русле жанрово-идеологических тенденций, с уверенностью утверждает в 1917-м на страницах лондонского журнала «Нью эйдж»: поскольку европейцы переживают изнутри великие исторические катаклизмы, чреватые изменением всего миропорядка, пришло «время драмы» — «возрожденной поэтической драмы» вместо «старого прозаического театра» на фоне тяготений к «новой простоте» [1, с. 209].

Русской прозе война дает мощный импульс движения к мозаичности, калейдоскопичности, коллажности синтетической книги с размытой жанровой идентификацией как форме передачи смыслового излома, нестыковки, антитетичности, несшиваемости в пределах устоявшейся понятийной логики противоположных проявлений человеческого духа, разных личин войны.

Все это отзовется позднее и в коллажности западного романа эпохи «между двух войн», и в собственно русских орнаментальных изводах авангардной прозы образца, к примеру, Б. Пильняка на тему революционного эсхатологизма — прозы, наследующей линии А. Белого.

Наверное, в самом грубом виде общая закономерность соотношения эстетики и публицистики в военном контексте подразумевает вначале резкую идеологизацию эстетики (литературы, искусства и т. п.) непосредственно изнутри военного опыта и постепенное преображение идеологии военного противостояния эстетическим ее переосмыслением,

обобщением, ресемантизацией уже постфактум, ретроспективно, по прошествии времени, имея непосредственный военный опыт за спиной. Так было после Второй мировой, так было — отчасти, с большими поправками — даже после наполеоновских кампаний, Крымской и Русско-японской войн. В случае с литературой и Первой мировой ретроспекция значила очень многое также и в осмыслении глубинных культурных предпосылок войны, ее праобразов и предчувствий в воздухе предшествующих лет. Отсюда такая доминанта критики, как связывание апостериори рождения художественного авангарда в культуре рубежа 1900–1910-х с тем тотальным сломом гуманистической парадигмы, который высшее свое проявление нашел именно в мировой бойне как «кубистическом акте» растождествления человека. Опыт «разложения», «распада», «распыления» «всякого органического синтеза и старого природного мира» Бердяев почувствовал на выставках кубистического искусства еще в начале 1910-х — и глубоко характерно, что, перенося свои критические размышления тех лет в книгу 1918 г. «Кризис искусства», он представляет этот опыт пунктирным планом грядущей войны [2].

Специфика русской ситуации, конечно, состояла в том, что война не ограничилась лишь поверхностными сдвигами общественно-политического порядка, но переросла в революцию как тотальную смену исторического эона национального бытия. Отсюда — естественно — существенно большая радикальность и тотальность ощущения кризисности и значительно более подчеркнутая потребность отечественной культуры в переводе языка описания окружающего из плана истории в план историософии и эсхатологии, чем то было свойственно культурам западным. Нараставший на протяжении десятилетий вал апокалиптики в русском культурном сознании находит наконец русло своему устремлению.

Реакцию русской культуры на реальность войны можно представить в виде двух векторов — разнонаправленных, но дополняющих друг друга, друг от друга не отделимых.

Во-первых, *это интуиция войны как прорыва во внешнюю историю глубинных тенденций авангардистской дегуманизации западного мира, где дефигуративность кубизма видится изоморфом фронтовых фабрик по перемалыванию человеческого мяса и газовых атак Ипра.* И во-вторых, *экзистенциальный прорыв к глубинной жертвенности последней свободы наготы и незамутненного страдания.*

Прежде — о втором.

Апокалиптика адаптировала под себя и преобразовала идеологически ангажированный язык литературы и культуры, обслуживающих злобу дня раннего периода войны. Достаточно хорошо изучено и описано то, насколько массовая патриотическая литературная продукция 1914 г. была пронизана штампами вульгаризированного славянофильского дискурса, в какой степени в стилистическом репертуаре русской поэзии возросла роль выспренних славянизмов, клишированных патриотических топосов и т. п. Но постепенно в свете военно-революционной оптики на своих вершинах поэзия транспонирует бравурную риторику в высокую библейскую иератичность ощущения надвременной трагики сегодняшнего дня, в котором проговаривает себя «вечное», sacrum. Для крупных художников здесь намечался выход из замкнутого круга художественной игры и конъюнктуры в пространство утверждения собственной цельности. Без этого опыта, скажем, поэтесса салонного будуара никогда не стала бы поэтом Анной Ахматовой. И то же можно сказать далеко не только о ней. Крайне сокращается путь от густопсовой злобы дня к пространству вечных смыслов. Символистские «реальное» и «реальнейшее» слишком буквализируются, а принцип бодлеровских соответствий

между ними, в сущности, смывается и сменяется их полной идентичностью. Именно об этом свидетельствуют слова М. Волошина, сказанные в 1919-м: «Во время Войны и Революции я знал только два круга чтения: газеты и библейских пророков. И последние были современнее первых <...> в Библии можно найти слова, равносильные пафосу, нами переживаемому» [3, с. 2].

* * *

Поэтика целого ряда художников-модернистов, склонных к эстетическим маскам, избавляется от декоративной избыточности, тяготеет к напряженной простоте и безыскусности «библейского реализма». Характерно, что в книге того же Волошина «Anno mundi ardentis 1915» В. Жирмунский усмотрел наряду с «темным бунтующим хаосом, разорвавшим покровы современного сознания», отражение «смысла мировой войны в сознании религиозном» [4]. Образный язык этого галломана и странника по стилизаторским пространствам культур и цивилизаций теперь ориентирован на узкий круг мотивных источников: Откровение Иоанна Богослова («Армагеддон» 1915), Евангелие («Русь глухонемая» 1918) и ветхозаветные Книги Пророков, прежде всего Иезекииля («Видение Иезекииля», 1918; «Заклятье о Русской земле», 1919). Важное место и в его, и далеко не только в его жанровой системе занимает «молитва» («Молитва о городе», 1918; «Посев», 1919; «Заклинание», 1920). «Два новых дара я приобрел за эти годы: дар молитвы и дар говорить с толпой», — резюмирует поэт в письме И.В. Быстрениной, ретроспективно обозревая прошлое из 1927 года [цит. по: 5, с. 646].

Постепенно очищающийся от идеологического аккомпанемента «религиозный регистр» господствует в лексике и концептуальном ряду поэзии едва ли не всех значительных художников эпохи. В сборнике «Колчан» (1915) военный опыт становится благодатной почвой для христианского одухотворения свойственной природе Гумилева мужественной героики и изживания конкистадорной масочности. Конечно, здесь ничего не нужно упрощать. И Б. Эйхенбаум, отмечавший стремление поэта в этой книге «показать войну как мистерию духа» и писавший о том, что «его военные стихи приняли вид псалмов об “огнезарном бое”», имел, однако, все основания одновременно упрекнуть Гумилева в отсутствии чувства меры при использовании высокой лексики и риторического громогласия в сборнике [6, с. 18–19].

Но ряд глубинных интуиций этой художественной линии коренным образом преобразил мотивно-метафорический ландшафт русской литературы, во многом сформировав язык описания трагического опыта XX века. Прежде всего это сказывается в такой семантической доминанте, как *экзистенциализация сакрального*, его одомашнивание, рожденное тем, что Илья Эренбург в книге «Лик войны» назвал «новым бытом и новым уютом на лобном месте» [7, с. 7]. Обыденность жертвенного крестоношения, прирученность смерти знаменуют путь к обретению абсолютной свободы на глубине последнего самоотречения — ужас происходящего парадоксально чреват именно этим.

Нам ли, брошенным в пространство,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть, —

скажет Мандельштам в 1915-м («О свободе небывалой...»). И позднее развернет этот сквозной для своего творчества военных и революционных лет мотив хрупкого веселья национальной культуры посреди гибельной стужи русской жизни, когда ужас происходящего чреват последней степенью свободы и податливой открытостью истинному бытию: «Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков» [8, с. 172].

Отсюда один шаг до такого извода «приручения» отстраненно грандиозного, как очеловечивание государства, сочувствие к его «голоду», к обреченности Медного всадника и геральдического двуглавого орла, обращенного в мандельштамовском «Шуме времени» (1925) в жалкую птаху с перебитыми лапами, копошащуюся в углу «под шипенье примуса».

Для магистральной линии преображения русской литературной топики, инициированного войной, характерна трансформация интегральных метамотивов в поэзии того же Мандельштама: от довоенного «камня» с его неоклассическим семантическим ореолом незыблемости к военному «дереву», подвластному огню — одновременно символу трагической судьбы, выражению «русской идеи» и напоминанию о Крестном Древе Страстей Господних («Уничтожает пламень...», 1915).

В топографической мандельштамовской символике коррелятом этой трансформации служит накладывание на петербургский локус библейско-иудейского хронотопа. Именно в качестве имперской столицы Петроград военных лет подобен для поэта святому, богоотступническому и гибнущему Иерусалиму. Воюющую Российскую империю с «окаменевшей» Иудеей роднит «грех» национального мессианизма — главной темы русского патриотического подъема 1914 г. Воздаяние за него — неизбежная катастрофа. Это одна из подспудных тем позднейшей статьи «Пшеница человеческая» (1923), в которой аккумулируются вариации такого важного лейтмотива военной поэзии, как библейское метафорическое уподобление войны жатве. Эти вариации у Мандельштама наделяются литургическими обертонами. Жернова войны обращают «человеческий хлеб» в евхаристическое приношение, миллионы «убитых задешево» эпохой «оптовых смертей» — в жертвенно ломимое «за всех и вся» единое Тело. Так формируется двойная оптика позднего мандельштамовского творчества, синтезирующего рожденные Первой мировой мотивные ряды — антигуманистический экспрессивно-авангардистский и жертвенно-христианизированный, — те самые два вектора, о которых говорилось выше.

Конечно, такой выход из плоской геометрии противостояния своих и чужих, патриотов и пораженцев, прежде всего свойствен собственно художественному творчеству с его смысловой объемностью и многомерностью. Тем характернее присутствие тех же интенций в сочинениях литераторов, созданных на откровенно публицистической основе. Здесь, конечно, не часто удавалось избежать идеологического редукционизма. Но порой удавалось — и очень успешно.

В этом смысле представляется очень показательной — по разным причинам — уже упоминавшаяся книга Эренбурга «Лик войны» (1919, опубл. в 1920, 2-е изд. — 1923), в основу которой положены его очерки как парижского военного корреспондента для петроградских «Биржевых ведомостей». Позволим себе подробно остановиться именно на этом сборнике,

поскольку объективность и «стерильная» репрезентативность отражения в нем сквозных для военной литературы мотивно-тематических ходов обеспечиваются особыми обстоятельствами биографии и творческого пути автора.

Прежде всего существенно, что отечественный писатель Илья Эренбург, человек богемы, долго проживавший в Париже и выступавший в роли французского корреспондента, оказывается не в меньшей мере погруженным в западноевропейский контекст восприятия войны, чем в контекст собственно российский, и тем самым его литературно-публицистические модели восприятия событий носят во многом синкретический, а потому и в известной степени универсальный характер, интегрируя и сводя к общему знаменателю русский и западноевропейский модусы рецепции и интерпретации происходящего. Причем в годы войны эстетика и ценностная шкала молодого Эренбурга еще находятся в стадии становления, его, в отличие, скажем, и от Ф. Сологуба, и от В. Брюсова, и от четы Мережковских, и от «галломана» М. Волошина, и от «германофила» А. Белого, нельзя назвать носителем выраженной самобытной индивидуальной художнической мифологии, которая формирует, но одновременно подминает под себя и зачастую ставит под вопрос общие шаблоны восприятия реальности, свойственные «среде», «поколению» или «литературному направлению». В этом смысле взгляд Эренбурга, бликующий, противоречивый, в своих метаниях не способный кристаллизоваться в «концепцию» и породить внутренне единую «картину мира», более типологически характерен, чем у его прославленных собратьев по модернистскому цеху с их яркими эксцессами индивидуального мифологизма и идеологизма в описаниях войны. В то же время газетные очерки, сведенные в одну книгу вскоре после заключения Версальского мира, в рамках этого композиционного целого и в контексте итогов мировой бойни, включая русскую революцию, обретают тем не менее некое обобщающее смысловое качество, фиксирующее «среднемодернистские» закономерности осмысления «лика» прошедшей войны. К тому же книга, вышедшая в Европе в 1920-м, была еще свободна от соблазна кардинальной редакторской правки прежних текстов задним числом в соответствии с советским идеологическим заказом, как то случалось и с А.Н. Толстым, радикально переделывавшим для отечественных изданий конца 1920-х свои очерки в «Русских ведомостях» 1916 г., и со многими другими.

* * *

Прежде всего для Эренбурга война — метафизическая загадка. Невместимость ее истинного образа ни в какие готовые схемы заявлена автором с самого начала:

«Мы так сжились с ней, так привыкли к безликому скелету, что не замечаем ее таинственности <...> Одни стремились оправдать войну (Гоффик, Клодель, Ропшин, Барзини, Демель), другие справедливо возмущались ею (Барбюс, Роллан, Маяковский). Но только немногие живым и трепетным голосом говорили о ее неисчислимых ликах (Лентье, Степун, Федорченко). <...> Если бы я знал, что такое война, я бы мог ее возносить или разоблачать. Но я знаю сотни ее различных ликов и мне не ведом ее истинный лик» [7, с. 7–8]

В духе русской классики истинное поле битвы для Эренбурга — душа каждого человека. Со своей стороны, он, подобно Мандельштаму, также считает опыт войны ключом к полной свободе обнажения:

«Пали внешние покровы, открылась изумленным глазам нагота души, но она оказалась загадочнее и сложнее всех былых облачений» [7, с. 8].

Пройдя парижскую школу последних лет пресловутой belle époque, Эренбург подчеркивает глубокую укорененность войны в общем опьянении и безумии, которые Европа задолго до сараевского выстрела «носила в своей утробе» [7, с. 9].

И здесь с ним отдаленно перекликается вроде бы «конъюнктурный» Арцыбашев, который в своем очерке «Война», открывающем первый одноименный альманах издательства «Меч» 1914 г., \пишет, что главный ужас войны «не в том, что пролита кровь, не в том, что стреляют пушки, насилуются женщины и истребляются дети, а в том, что дух грабежа, насилия и убийства, дух пламенной вражды, древний закон дикаря, гласивший, что зло, содеянное мне, — есть зло, а зло, содеянное другому, есть добро, до сих пор силен и нет надежды на его исчезновение в человеческой природе <...> И если <...> культура так легко спала при первом призывном крике дикаря <...>, то остается предположить одно, что в человеке никогда и ни при каких условиях не умрет и не может умереть дикий зверь» [9, с. 7].

Отсюда — смена христианского парадоксализма циничным антиномизмом, а многомерности классического романа, с одной стороны, авангардным монтажом, распыляющим цельность былой «картины мира», а с другой — чистой авантюрностью, идеально игровой образец которой, доводящей до абсурдного предела аксиологический потенциал мефистофельской метафорики, дал Эренбург в «Хулио Хуренито» (1922) с его тотальной перверсией респектабильной темы диаволиады в гуманистической новоевропейской литературе от Гете до Достоевского. Сюжет о диаволе, обманутом / ошеломленном много более впечатляющим диаволизмом современного тварного мира, разбушевавшихся, сбесившихся фаустов, — один из интегральных в литературе эпохи. И слишком велик соблазн воспринять роман Эренбурга как одну из характерных вариаций на тему, скажем, «Дневника Сатаны» (1919) Л. Андреева. Показательно, что сам диавол-Хулио, провоцируя «светопреставление», тотальное крушение старого мира сбрасыванием масок, обнажением его глубинных деструктивных предпосылок, оказывается в конце концов опоздавшим и — не нужным. Семиотической структуре романа вообще свойственно взаимодействие сакрального ряда с ходульными клише массовой публицистической «этнопсихологии» начала века. «Апостолы» Хулио выступают носителями окарикатуренных национальных амплуа на военном карнавале, предстают остраненными масками новой comedia dell'arte catastrofica e militare: американец Куль олицетворяет союз доллара и Библии (мотор войны), негр Айша — дикую простоту (бессознательный инструмент войны), русский Алексей Спиридонович — пошлость безвольного отечественного богоищущего интеллигента (жертва войны), немец Шмидт — плоскостной дух Ordnung'а (механизм войны), итальянец Эрколе Бамбуччи — беспечный dolce far niente (бессмысленность войны), француз Дэле — буддийское бесстрастие буржуазного гедонизма («основательность» войны), еврей Эренбург — тщедушный катастрофизм и метания (иной — наряду с русским — извод жертвы войны).

Война предстает универсальной метафорой нового эона истории, основным атрибутом бытия и непременным метонимом «модерного» человека. Отсюда — лейтмотивность мифологемы Каина в литературной историософии эпохи («Путями Каина», 1921–1923, Волошина и др.) и метамотив «пляски смерти» как очистительной инициации.

«Война длится. Она меняет формы, с фронта переносится в города, в деревни, в дома. Народ против народа, или класс против класса, но под различными знаменами творится

то же дело. Война распылилась, растеклась, и если она умерла, как государственное дело, она жива в сердце каждого. Кто вырвет из рук исступленного всадника неутомимый меч?» [7, с. 10].

Стиль, язык войны — это кубизм с его авангардной вакханалией самодостаточной машинерии и механистическим пафосом, расплющивающим человека.

За этим стилем, по Эренбургу, стоит интуитивное постижение власти пустоты, «ничто». Здесь, подчеркивает писатель, и кроется коренное отличие освоения военной темы искусством авангарда от декоративности старых баталистов, у которых «война похожа на детскую забаву или старомодную оперу»: «Теперь передо мной собрание военных рисунков Леже <...> Да, этого я не видел никогда, но это, только это я и видал. Леже — “кубист”, порой он схематичен, порой страшит бесконечным раздроблением всего зримого мира, но распятый, искромсанный жестоким ножом, и где-то в последнем сознании воссоединенный, глядит на меня лик войны. В его рисунках нет ничего отдельного, ибо нет на войне Жана, Карла, немцев, французов, но все мы, только человечество и человек. А может быть нет человека, ибо все рисунки говорят об единственной госпоже — машине. Солдаты в касках, крупы лошадей, трубы походных кухонь, колеса орудий — все это лишь отдельные части великого механизма. Нет красок: все на войне теряет свой цвет, от пушек до лиц солдат, уподобляясь праху. Прямые линии, правильные плоскости, рисунки похожие на чертежи — отсутствие произвольного, капризного, увлекательно неправильного. На войне нет места грезе, прихоти, сну. Хорошо оборудованный завод для истребления человечества. Маленькие колесики, мы кружимся и замираем, не в силах объять взглядом величественного здания. Эти листочки — обрывки планов, срисовал их Фернан Леже, добродушный нормандец, а самого зодчего и правителя верующие зовут “Князем тьмы”» [7, с. 15].

В этой военно-авангардной реальности буквализируются, доводятся до бьющего наотмашь предела былые полуметафорические устремления культурных моделяторов модернизма. Их пресловутое жизнетворчество вырывается из клети салонов и обращается камуфлированным грузовиком Loorie или танком как ожившим кубистическим артефактом. Ведь войну ведут не люди, а машины, все — одновременно и гигантское производство, индустрия смерти, и, так сказать, грандиозный перформанс.

Книга Эренбурга дает яркие примеры характерного синтеза авангардистского и неорелигиозного. Религиозно-эсхатологическая метафорика накладывается на кубистическую и рождает весьма плодотворную для авангардно-конструктивистской и экспрессионистической культуры семантическую доминанту нового миротворения, первичного обуздания хаоса, обретения дикой хтоничностью своих ранних чудовищных форм — то, что впоследствии отзовется в заглавии романа Эренбурга 1932 г. «День второй», отсылающем ко второму дню творения Книги Бытия, когда Господь отделил твердь от хляби, сушу от морей. В военном дискурсе «Лика войны» именно эта семантическая доминанта задает восприятие феномена новой военной техники — таро наступившей эпохи, предлагая хлесткий пример общеавангардного вкуса к сочленению архаики и сверхфутуристичности:

«Когда я впервые увидел танк, я смутился — было в нем что-то величественное и омерзительное. Быть может, когда-то на земле существовали такие исполинские насекомые. Он был, для маскировки, пестро расписан, и его бока походили на футуристические картины. Он полз очень медленно, как гусеница, переступая, через окопы и ямы, сметая проволоку и

кусты. Чуть шевелились усы — трехдюймовые орудия и пулеметы. В нем какое-то сочетание архаического и ультраамериканского, Ноева ковчега с автобусом XXI века <...> Я видел, как перед атакой, девять танков ползли на немецкие окопы. По ним открыли ураганный огонь, но будто не замечая этого, они подвигались, неизбежные, неминучие и непостижимые. Вот исполнилось пророчество: люди вызвали к жизни злых духов, но уже не могут отогнать их прочь» [7, с. 16–17].

Предпосылка военного нарратива этого типа — невозможность не только одномерных идеологических оценок по логике «свой-чужой», но и определения ясных границ между основополагающими моральными категориями и экзистенциалами. Повествование строится как демонстрация тотальной относительности ценностных ориентиров и нравственных качеств, воплощенной в антитетических парах — «трусость и храбрость», «жестокость и милосердие», «война и жизнь» (этот антитетический принцип положен в основу композиции «Лика войны»).

В очерках Эренбурга можно выделить образно-метафорические доминанты в изображении войны, приемы ее художественной семантизации, выявления архетипического остова ее языка, но здесь принципиально нет концептуализации войны, ее «философии», спекулятивной «историософии».

Война для Эренбурга — и в этом он выступает характерным продолжателем большой традиции русской классики от Толстого до Гаршина — лишь бесконечный ряд апорий.

Так, свои размышления на тему «жестокости и милосердия» он начинает с по-толстовски ригидной тезы:

«Сказано кратко и ясно — “не убий”. Так говорит заповедь господня, так говорит земная мудрость, так говорит и человеческая совесть. Когда переходишь резкую, всем внятную черту, больше преград и сомнений нет, путь свободен.

Мальчику дают игрушечное ружье, и в школах ему твердят о массовых убийствах как о примере достойном подражания. Сначала он играет, а потом рубит и колет живых людей. “Священная война” — разве не повторяли этих несвязуемых слов аббаты и философы, дипломаты и поэты? Только в древней книге, нестертый ничем, да где-то в глубине души каждого из нас, невытравленный до конца, живет запрет “не убий”.

Во всех рассуждениях о жестокости на войне кроется великая ложь. Нельзя распределить зло по степеням: зло возвышенное, обыкновенное и низменное. Нельзя сооружать двенадцатидюймовки и на Гаагских конференциях исчислять, каким образом разрешается убивать людей и каким нет. Война не вид государственного строительства, это рассадка гнева, злобы, безумия, которые не знают границ и не сообразуются с параграфами законов. Война — хаос. Жестокость и милосердие в ней — не следствие высокой или низкой культуры, это прилив и отлив страстей, стадия болезни, степень участия человека в общем безумии. Пока солдат — солдат второго взвода первой роты, а не крестьянин Поль из деревни Лево — он жесток, он не может быть иным» [7, с. 72–73].

И в то же время автор с сочувствием рассказывает историю о любовно взлелеянном мамой хилом интеллигентном домашнем юноше Ренэ, который, прибыв домой на побывку с фронта, говорит:

«— Скоро бошей перебьют.

— Ренэ, но ведь они тоже люди, у них дома матери остались, — вздыхает m-me де Бэри.

— Неправда!

Лицо Ренэ вдруг становится резким, беспощадным. Говорит уже не матери, не мне, а в пространство, говорит быстро — будто боится, что не успеет высказать самого главного.

— Я ненавижу их! Вы спросите: за что? Но ведь вы не удивляетесь, что я люблю маму. За что? Не за то, что она красивая, или умная или добрая, а за то что она — мама. Или... (Ренэ слегка запнулся) m-lle Готуа... Вы ведь знаете, что любовь — слепа, вот и ненависть — слепа. Я их ненавижу за то, что они разрушили Реймс; за то, что они хотят взять Вердэн, за то, что они зовут его "Вердун". За то, что они немцы! Поняли? Вы может быть презираете мою слепоту? Вы знаете, что все равны и прочее. А я не верю вам. Кто не умеет ненавидеть, не знает любви. Вы — тепленький. Вы слишком хорошо видите и поэтому вы слепы. Вы не ошибаетесь — и в этом ваша главная ошибка. Есть святые ошибки, есть святая ненависть! Если вы ее не знаете, вы можете сколько угодно толковать о войне, о человечестве, о гуманности, но вы никогда не поймете души войны!..» [7, с. 173–174].

Здесь уже происходит переход к парадоксалистскому христианскому регистру через аллюзии на Откровение Иоанна Богослова (III, 14–16). И затем — ближе к коде своей книги — Эренбург разрешает авангардистский трагический диссонанс мотивом духоносной простоты искупительной жертвенности, обращаясь к героической гибели поэта Шарля Пеги в первый день Марнской битвы, 5 сентября 1914 г.:

«Смысла его смерти не разгадали. Но, придя на страшный суд, война принесет не только черепа и "оранжевые книги", не только белену ненависти и дурман злобы, но дивные цветы, которые могли расцвести лишь на поле брани, — и самый благоуханный из них — Шарль Пеги.

Да, конечно, он был слеп, он не видел того, что творилось кругом, но только потому, что видел далекое небо и глубокое сокровенное дно человеческой души. Он верил, что Франция подняла меч во имя господне; что она, как древле Иоанна д'Арк, взошла на святой искупительный костер. Франция палаты депутатов и жадных рантье, Франция марокканских предприятий и Клемансо — мнилась ему избранницей Божьей и подвижницей <, в> руки ее с набитым кошельком он вкладывал мученический крест. Смысл войны был для него не в победе, но в жертве. Он надеялся, что в смертный час преобразится земля. Он умер на заре войны и, может быть, это — милосердие судьбы. Он ошибся. Но блаженны люди, которые способны так ошибаться и так умирать. Те, что читают антимилитаристические трактаты, как новые заповеди, тоже ошибаются, ибо война это не только Клемансо, но и Пеги» [7, 175–176].

Сама по себе книга «Лик войны» — явление не уникальное, но в высшей степени характерное. В ней четко и ясно проявили себя во многом типичные для модернистского сознания, не осложненного дополнительными символистскими, футуристическими и прочими программными обертонами, язык описания, поэтика образно-семантического освоения и тип восприятия Первой мировой войны как бытийного события и резервуара принципиально новых смыслов и художественных форм, из которых вышел «не календарный — настоящий XX век».

Список литературы

1. Interviews by C.E. Bechhofer. XIII. Mr. Nicholas Gumileff // The New Age. N 1294. New Series. Vol. XXI. N 9, June 28. 1917.

2. *Бердяев Н*. Кризис искусства. М.: Изд-е Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918.

3. *Волошин М*. Видение Иезекииля // Дело. Одесса,1919. № 2 (17/30 марта).

4. *Жирмунский В*. Максимилиан Волошин, Anno mundi ardentis 1915. М: Зерна, 1916 // Бирж. вед. 1916. № 16791 (9 сент.). Утр. вып.

5. *Волошин М*. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. (Б-ка поэта. Больш. сер.).

6. *Эйхенбаум Б*. Новые стихи Гумилева // Русская мысль. 1916. № 2. Отд. III.

7. *Эренбург И*. Лик войны. 2-е изд. Берлин: Геликон, 1923.

8. *Мандельштам О*. Соч.: В 2 т. М.: Худ. лит-ра, 1990. Т. 2.

9. Война: Литературно-художественный альманах. М.: Меч, 1914.

В.А. Келдыш

«Развернулось ведь нечто ужасное. Это первая страница из Библии» (Первая мировая война в творчестве И.А. Бунина)

Тема, обозначенная в заглавии, нуждается, на наш взгляд, в особом внимании. Нуждается ввиду своеобычности и одновременно впечатляющей масштабности — с точки зрения общего состояния мысли тех лет, — которые отличали мироощущение знаменитого русского писателя в условиях мировой войны.

Много лет спустя Бунин воспроизвел в дневнике реакцию своего старшего брата, Юлия Алексеевича, на так называемое Сараевское убийство, ставшее внешним поводом для последующего развязывания мировой войны: «Ну, конец нам! Война России за Сербию, а затем революция в России… Конец всей нашей прежней жизни!», заметив: «и вскоре начало сбываться его предсказание»[1].

Отсюда — особая захваченность писателя, с самых первых дней войны, совершающимися событиями, которая временами становится всепоглощающей, отодвигая творческую работу. Газеты порою едва ли не единственное его чтение, о чем он неоднократно говорил: «Три месяца я с утра до вечера сидел — читал газеты и забыл за войной все на свете»[2]; «Живем от утра до утра, от газеты до газеты. Тяжело в такой обстановке заняться широким творчеством»[3]; «До ярости, до боли кровной обиды отравляемся каждый день газетами»[4] и мн. др.

И, однако, глубоко драматические переживания Бунина тех лет объяснялись в конечном счете значительно более глубинной причиной, чем захваченность сегодняшним днем и предчувствиями ближайшего будущего, поскольку происходившее в мире «огромное событие», которое «опрокинуло и опрокидывает все понятия о настоящей жизни»[5], потребовало коренного пересмотра всего своего, самого общего, миросозерцания: «...война все изменила. Во мне что-то треснуло, переломилось, наступила, как говорят, переоценка всех ценностей»[6]. И она началась тогда же, в ведущих сочинениях писателя. Видимо, именно здесь в значительной степени кроется причина того, почему Бунин не втягивался в военную публицистику. Потому, очевидно, что — вопреки публицистической открытости своему времени в общении с близким кругом, в дневниках, переписке, отдельных суждениях из интервью — в основных писаниях первых лет войны он избегал отдавать современным злобам слишком большую дань (которую находил в окружающей литературе) ради того главного, что осуществлял в художественном творчестве (об этом — позже).

Преимуществам последнего над публицистикой он уделил внимание в интервью начала 1917 г.: «Надо ли говорить, что интуитивные художественные постижения дороже и ценнее, чем все торжественные вещания, подсказанные публицистикой того или иного лагеря», исходящей «из принятых платформ»[7]. И действительно, в течение 1914–1916 гг. публицистических публикаций на военную тему у Бунина не было, кроме одной — несомненно, важной, о которой речь пойдет чуть дальше.

(Заметим, что в последующее время наступил другой этап деятельности писателя, интенсивно публицистический. Живя в Одессе с начала лета 1918 г. и вплоть до отъезда в эмиграцию в двадцатых числах января 1920 г., писатель поместил — преимущественно в одесской газете «Южное обозрение» — ряд публикаций с резчайшей критикой большевистского режима, которые были обращены уже не к внешней политике, а к внутренним проблемам России, связанным с политическим переворотом в стране, Гражданской войной и др.)

Вернемся к предшествующему периоду и только что упомянутой публикации. Это был написанный Буниным текст коллективного воззвания «По поводу войны. От писателей, художников и артистов», помещенного в газете «Русское слово» (от 28 сентября 1914) и других газетах. Его подписали широко известные люди России. В их ряду Бунин, М. Горький, В. Васнецов, К. Коровин, К. Станиславский, Вл. Немирович-Данченко, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Д. Овсянико-Куликовский и очень многие другие; всего — 259 подписей[8].

В течение долгого времени воззвание если и упоминалось в отечественной литературе вопроса, то главным образом в связи с реакцией на него В.И. Ленина. Раздраженный подписью Горького, он выступил в декабре 1914 г. с короткой статьей «Автору “Песни о Соколе”», где критиковал писателя за отступничество от «дела пролетариата», одновременно именуя воззвание «шовинистически-поповским»[9] (а в одном из писем октября 1914 г. — «поганой бумажонкой российских либералишек»[10]). В который раз сказалось здесь характерно большевистское ожесточение против всего инакомыслящего.

Воззвание, резко обличавшее «жестокость и вандализм, творимые германцами в той кровавой брани народов, свидетелями которой суждено нам быть», было направлено лишь в сторону одной страны. Но если иметь в виду, что оно появилось в *самые первые месяцы* мировой войны, когда общее возмущение естественно обращалось прежде всего против страны, которая ее начала, то это было объяснимо. Тем более, что в бунинском тексте, при всей его резкости, не было ничего собственно националистического. Напротив. В нем высказывалось опасение, что «семя национальной гордыни <…> может перекинуться» от Германии « к другим народам, и громко раздадутся тогда голоса ослепленных гневом, — голоса требующих мести и отрекающихся даже от всего великого и прекрасного, что было сделано гением Германии на радость и достояние всего человечества». Известные претензии могла вызвать самая последняя фраза воззвания — «Противники ее (Германии. — *В.К.*), несущие народам мир и освобождение, воистину должны быть руководимы лишь священными чувствами», — представляющая воюющие с Германией страны носителями справедливости. Но и здесь, уже в самом императиве «должны», тоже ощущалось опасение о возможном отступлении от «должного».

Примечателен следующий факт, на который в свое время обратил внимание А.А. Нинов. Воззвание подверг критике и Леонид Андреев в статье «Освобождение» (опубликованной в журнале «Отечество» от 2 ноября 1914), но с полярно противоположных большевистской «пораженческой» идее позиций — как раз за непоследовательность, недостаточность его обличительного пафоса[11].

Среди подписавших обращение были и те, кто так или иначе включался в официально идеологическую кампанию. Подавляющее же большинство выдающихся деятелей культуры, участников воззвания, было никак не повинно в этом. Известно, что о своей подписи, признаваясь, что сделал это «второпях» и что это его «очень мучает», сказал Горький[12]. Но можно предположить, что признание это подсказывалось больше тактическими, чем прин-

ципиальными соображениями. Действиями в начале войны германской армии был возмущен и Горький[13].

Что же до автора воззвания, то его позиция была прежде всего решительно антивоенной. Еще в 1912 г. он заявил в одном из интервью: «я противник всякой войны»[14]. Воззвание 1914 г. недвусмысленно подтвердило это. А в последующих суждениях о войне он был уже далек от мысли об отдельных ее виновниках, возводя вину на все участвующие в ней стороны: «Говорят все эти Брианы (Аристид Бриан — французский политический деятель Третьей республики, в 1916 г. премьер-министр Франции. — *В.К.*), Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой <…>»[15]. Последняя фраза обращена к главному, что возмущало писателя в состоянии русского общества. Восприятие войны народной массой — основной его аргумент в развенчании националистических настроений, к чему он настойчиво возвращался — особенно на протяжении 1916 года: «Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам <…> осточертела <…>»[16]. И еще: народу «война надоела, он не понимает, за что мы воюем, ему нет дела до войны. А в газетах продолжается все та же брехня <…> Все несут свое, не считаясь с тем, что народ войны не хочет и свирепеет с каждым днем. И что это значит: вести войну до победного конца?»[17]. И позже — в дневниковой книге «Окаянные дни»: «преступно врали о его “патриотическом” подъеме, даже тогда, когда младенец не мог не видеть, что народу война осточертела»[18] и др.

В этих и тому подобных бунинских суждениях, помимо антивоенного пафоса, обнаружилось и другое, в значительной степени новое. Это — усиление социально-контрастных чувствований, сугубая резкость которых не идет ни в какое сравнение с прежним Буниным. Писатель сохраняет пессимистический взгляд на русскую деревню и ее обитателей. И, однако, в разделяющем общество отношении к войне понимающе воспринимает народное мнение о ней.

Был естественен поэтому его приход в основанный Горьким антивоенный журнал «Летопись» (декабрь 1915 — декабрь 1917). Горький крайне дорожил этим сотрудничеством, почитая Бунина, по существу, главной фигурой в беллетристическом отделе издания. С очевидным расположением высказывался о «Летописи» и Бунин. Симптоматично, что первый номер журнала начинался именно Буниным, известнейшим его стихотворением «Слово», призывающим «в дни злобы и страданья» беречь слово как великую ценность человеческого духа. Поместивший в журнале ряд прозаических и стихотворных сочинений, писатель ощущал себя здесь вполне независимым. Известно, что «Летопись», последовательная в общей своей антивоенной ориентации, была неоднородна идеологически: «в состав редакции и в число авторов журнала вошли представители различных течений русской социал-демократии»[19]. Но Бунин находился совершенно в стороне от подобного рода разноречий. И эта его позиция, разумеется, проявилась не только в «Летописи».

«Исследователи видят в Первой мировой прообраз “тотальной войны”, — констатирует один из них, — в которой идеологические баталии приобретают не меньшее значение, чем собственно военные сражения»[20], рассматривая панславизм и европеизм как ведущие идеологические направления тех лет. Но можно с уверенностью сказать, что Бунин полностью «выпадал» из этого «измерения» времени. Будучи неизменно социально ориентированным, он, однако, был одинаково далек не только от панславизма и европеизма в их современном ему выявлении, но и вообще от всякой сколько-нибудь оформленной идеологической определенности. Отчуждаясь от них, он предпочитал в конечном счете поверять все «временное»

прежде всего категориями «вечного». И в этом смысле следовал и здесь тому, что совершал в своем образном творчестве.

Можно думать, что среди особенно близких писателю и органичных для него высказываний о войне было, например, такое: «Развернулось ведь нечто ужасное. Это первая страница из Библии. Дух Божий носился над землей, а земля была пуста и неустроенна. Это подавляет!..»[21] Ветхозаветные параллели — и это давно отмечено литературой о Бунине — занимают крайне важное место в его творчестве, естественно привлекая художника слова выразительнейшим образным языком. Но особая их близость писателю заключается, разумеется, далеко не только в этом. Метафорически осмысленный Буниным библейский текст и в нашем, и во многих других случаях говорил о гораздо большем — о всегдашнем *бытийном*, неизменно *сущностном* осмыслении писателем исторической, как и любой другой «эмпирии». Именно так, и преимущественно так, воспринималось Буниным крупнейшее мировое событие дней.

Переходя к собственно художественному его творчеству лет войны, снова убеждаемся в особости и своеобычности писателя. Поглощенный происходящими перед глазами событиями, он, однако, высказывался во многом отлично от ряда других своих коллег об изображении войны в текущей литературе, призывая воздержаться от немедленного отклика на происходящее, «от горячности первых минут» в ожидании отстоявшегося взгляда на события: «Я понимаю, что можно оказаться насыщенным страшными впечатлениями и захотеть рассказать их, но ведь это будет крик души, а не художественное произведение»[22]. Спустя очень короткий срок писатель снова возвращается к волнующей его мысли: «Новое, сильное слово в этой плоскости сказать невозможно, гораздо удобнее, до поры до времени, воздержаться писать на темы о войне»[23]. Приблизительно в том же духе высказывается писатель и об изображении «так называемой “жизни тыла”»[24].

Впрочем, возможно все-таки несколько ограничить эти суждения. Бунин никогда не обращался к изображению военных действий, поскольку писал только такую современность, которую мог до конца поверить своими «дотошными» наблюдениями. Сочинить что-то в духе андреевского «Красного смеха» он, разумеется, не смог бы. Но «жизнь тыла», которую постоянно видел своими глазами, он воплотил в отдельных произведениях.

Выделяются три рассказа — «Последняя весна» (1916), «Последняя осень» (1916), «Старуха» (1916). Их содержательная сторона тесно связана с разоблачительными публицистическими суждениями писателя тех лет. А художественное запечатление (прежде всего в двух первых рассказах) столь же тесно — с особенностями бунинского дневникового жанра той же поры и присущей ему документальной достоверностью до «мелочей». Итогом стало неприятие представлений об «официальном» патриотизме народной массы, порожденном войной, и следующих отсюда представлений о единстве нации, объединенной этого рода патриотизмом. Этой газетной «лжи» и «брехне» (бунинские слова) противопоставлена пугающая автора картина нарастающей розни между «господами» и «мужиком», уже не отличающим «хороших» от «плохих» господ. Автор и одновременно персонаж, от чьего лица ведется повествование, при всем сочувственном интересе к крестьянской массе тоже оказывается в ее глазах инородным, чужим, неугодным.

Деревенскую бунинскую прозу предшествующих лет характеризовала, в общем и целом, другая, надсословная, смысловая доминанта. Повести и рассказы, составившие этот массив,

запечатлевают «и душу <…> русскую, славянскую»[25] в так толкуемом автором его замысле: «Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская»[26]. Писатель противопоставляет в этих произведениях друг другу национальную и социальную идеи, заставив последнюю уступить.

Напротив, в рассматриваемых здесь рассказах на передний план выдвигается мысль о социальном антагонизме.

Превосходный рассказ «Старуха», переносящий резчайшую социальную контрастность в городскую среду, — самое значительное из трех произведений. Значительное прежде всего — впечатляющей крупностью главного персонажа, «старухи», запечатлевшего собирательный образ народного горя на фоне кощунственного равнодушия к нему и к стране в целом значительной части «образованной» публики.

В общем же, три эти рассказа, вероятно, наиболее красноречивы — среди художественных бунинских произведений — в подтверждении сказанного прежде о невиданном обострении социального чувства у писателя. И, тем не менее, при всех их серьезных достоинствах, главное русло пути писателя лет войны пролегало через другие сочинения.

* * *

Ими стали сочинения, сохранившие в неприкосновенности обретенный писателем усиленный социальный заряд и, однако, представившие иной тип восприятия времени — и содержательно, и художнически.

Уместно вспомнить высказывание молодого В. Маяковского из его статьи 1914 г. «Штатская шрапнель. Вравшим кистью»: «Можно не писать о войне, но *надо* писать *войною*!», ибо «теперь — всё война»[27]. Если б Бунин прочитал эту газетную статью (едва ли она попалась ему на глаза), он бы, разумеется, отверг ее футуристическую аргументацию с присущей ему яростью. И, однако, дерзкая иллюстрация к сказанному: «Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюр-морта, не увидит повешенных в Калише»[28] — претворялась, *хотя и совсем по-своему*, и в творчестве Бунина. Претворялась как раз в наиболее значительных его сочинениях той поры, *целиком (или почти) независимых от непосредственно военной темы*. Они и свидетельствовали о том, что «теперь — всё война».

Проблема военного «подтекста» в «невоенных» сочинениях Бунина возникала в литературе о писателе — однако, в самой общей форме. На это обращалось внимание, например, в дореволюционной критике о «Господине из Сан-Франциско», а затем в позднейшей литературе вопроса (в том числе в 1971 г. автором настоящей работы). Но сколько-нибудь подробного рассмотрения этой проблемы до сих пор не было. А между тем оно, несомненно, важно в широком смысле, подразумевающем решение данной творческой задачи на самых общих основаниях художественного мира писателя — как миросозерцательных, так и стилевых.

Именно решая эту задачу, Бунин оставался более всего самим собой. Оставался до конца верным закономерностям своей неореалистической системы, стремящейся вывести искусство за пределы конкретных общественных платформ к некоему надидеологическому субстрату, ко всеобщностям философического свойства, возводившим до себя тщательно наблюденную реальность.

Подобное устремление сближало с модернистами, но воплощалось совсем особенным образом. Особым образом объясняются и достаточно известные слова Бунина о собственном

художественном пути, сказанные уже в конце его. В ответ на суждение одного из корреспондентов Бунин заметил: «Вы пишете: “Естественно, что реалист Бунин не приемлет символиста Блока”. Называть меня “реалистом” — значит или не знать меня как художника, или ничего не понимать в моих крайне разнообразных писаниях <…> “Реалист” Бунин очень и очень приемлет многое в *подлинной* символической мировой литературе»[29]. Ясно, что речь идет здесь не об отмежевании, например, от Толстого, которого Бунин боготворил, а от того куцего, эмпирического, но весьма расхожего реализма, культивируемого его приверженцами, который отвергали и модернисты, и неореалисты и о практике которого Бунин сказал как об отживающей еще на раннем этапе своего пути[30]. С другой стороны, слова Бунина о себе, не реалисте, никак не означали его причастности к современной ему русской символистской литературе, хотя, вопреки отрицательным суждениям о ней писателя (считавшего ее как раз не «подлинной»), в художественном его творчестве, несомненно, оказывались точки соприкосновения с ней. В данном же случае подразумевается классическое наследие романтико-символического художественного типа, которое равно почитали и переводчик Г. Лонгфелло, Дж. Байрона и др. Бунин, и деятели «высокого» реализма, от традиции которого он прежде всего шел. Традиция эта вбирала в сочинениях писателя надысторическую символику в духе романтического наследия, но не надмирную в духе современного Бунину символизма.

Общее отношение писателя к религии было сложным. Трансцендентное видение близко мысли Бунина. Но в собственно образной сфере он избегал двойственного — в символистском смысле — воссоздания картины мира под знаком «realia» и «realiora». Целиком поглощенный «доступным» миром, Бунин-художник избрал «realia» единственным средоточием бытийных начал, что предопределило и их особое, живописно изобразительное, запечатление; и это наиболее заметно в «написанных войною» произведениях.

Так, подобный бытийный смысл открывается, казалось бы, во внешнем признаке — расширении географического пространства в бунинских сочинениях. Бунин был жадным до самых разнообразных впечатлений путешественником — и реальным, и в воображении. При этом от познания отдельного всегда устремлялся к познанию мира в целом. «Ах, если бы мне мир пошире был открыт!»[31] — мечтал он. Здесь — один из важных истоков его философического мышления, которое резко менялось в годы войны. Как менялось?

На предшествующем, довоенном, этапе творчества писателя пространственный «разворот» его видения воплотился, наряду с поэзией, в путевых очерках «Тень птицы» (1907–1911; первоначальное заглавие «Храм Солнца»), которые сам автор называл «путевыми поэмами». Здесь особенно выразительны размышления над единством мира. Например, в очерке о современном Константинополе с его «терпимостью ко всем языкам, ко всем обычаям, ко всем верам»; в благодарной ностальгической памяти о древней Александрии, куда «когда-то стеклись чуть не все древние религии и цивилизации»[32]; в уповании на возрождение в будущем мирового единства как высшего блага. Автор проникновенен в своем восприятии страданий, жертв, крови, насилия, которыми сопровождался путь человечества, но сохраняет при этом философски светлый взгляд. Ибо в конечном счете «только к свету стремится все в мире» (т. 4, с. 41).

Однако с этой светлой идеей диссонировал безрадостный итог бунинской деревенской прозы, господствовавшей в его творчестве конца 1900-х — середины 1910-х гг. — о «гибельном» обособлении «истинно» славянской «души» от «души общечеловеческой»[33] (хотя

с точки зрения философии автора «Тени птицы» подобное отпадение — неизбежно временное, преходящее состояние).

В военные годы этот смысловой комплекс претерпел решительную эволюцию. Мировая война, собравшая в один клубок противоречия современности, отразилась у Бунина в пространственно расширенной картине мира, отечественной и иноземной. При этом сохранилось противопоставление «славянского» и «общечеловеческого», но в значительно более умеренном виде. И понятно почему. Именно потому, что противостоящий «славянскому» позитив «общечеловеческого» подвергается ныне писателем резким сомнениям. И это означает, что наиболее важным для него оказывается теперь то общее, что сближает «весь земной шар», который «везде таков» — т. 4, с. 501 (как говорит герой «Снов Чанга» в черновом варианте рассказа). Понятие о национальной отъединенности отступает перед восприятием всей современной мировой жизни как вопиющего отчуждения от естественных начал бытия. Таков итог размышлений писателя. Так видится новое единство мира.

Философическое же объяснение этого ищет Бунин в древней восточной мудрости, проникаясь повышенным интересом к буддийскому учению. Происходят явственные сдвиги в ориентирах писателя, чье миросозерцание приобретает в эпоху войны черты трагедийности и катастрофичности.

Некоторый свет на это проливает небольшой рассказ «Отто Штейн» (1916). Помышления героя рассказа, молодого немецкого ученого, воодушевленного принадлежащей его кумиру Э. Геккелю, известному материалисту естественнонаучного толка, идеей «единосущного <…> мирового бытия, на разумном понимании которого человечество уже воздвигает свою новую, истинную и незыблемую религию» (т. 4, с. 250), предстают в рассказе наивно-самодовольными, иронически окрашенными, как и претензии «европейской культуры» в лице ее адепта, Штейна, постулировать свой духовный приоритет над «первобытным миром» Востока, куда направляется герой. «Мировоззренческий спор с позитивизмом» — содержание рассказа[34]. Но возможно взглянуть на это и шире. Ведь «незыблемая религия», зиждущаяся на «единосущном» мире, но в совсем другом, *метафизическом*, смысле утверждалась и в «путевых поэмах» самого Бунина. «Будем служить людям земли и богу Вселенной — богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который проникает все сущее»[35], — читаем здесь. Однако и подобный просветленный взгляд на перспективы мировой жизни трудно примирялся с буддийским веянием.

Впрочем, тема «Бунин и буддизм», непременно присутствующая в литературе о писателе, получает разные толкования. Так, например, развернутое исследование американским ученым Т.Г. Марулло буддийской проблематики в творчестве писателя не только убедительно и, возможно, исчерпывающе выявляет многочисленные буддийские реалии и мотивы в ведущих бунинских сочинениях, но в то же время трактует их в духе полного согласия писателя с основными буддийскими доктринами, что даже позволяет автору в конечном счете воспринимать Бунина как «высочайшего оптимиста»[36]. Представляется значительно более справедливой точка зрения исследователей (напр., О.В. Сливицкой, Ю.В. Мальцева, Г.Ю. Карпенко), указывающая на существенные разноречия Бунина с буддийским учением при всем пристальном внимании к нему. Но неверно и преуменьшать размеры этого воздействия, что тоже бывает и что, в частности, свойственно и публикациям Карпенко, вопреки точным наблюдениям противоположного характера.

Полнота рассмотрения бунинского «буддизма» не входит в задачу работы. Ее цель — уяснить характер его соотнесенности с драматическими событиями эпохи: что питало столь

интенсивный интерес к нему и что оказывалось в нем для писателя наиболее важным, а что менее важным с точки зрения времени.

Избирательность эта прежде всего проявилась в сосредоточении на буддистской идее существования человека как фатально безысходного в условиях активной земной жизни. Что же до другой, столь же значимой, стороны буддизма — учения о нирване, то оно не становится у писателя в эти годы объектом отдельных размышлений (хотя возможно мысленно извлечь отношение к нему из бунинских текстов). В условиях торжества злой воли человека примиряюще-созерцательное начало буддизма отступает в сознании писателя перед трагедийной его стороной. Ее своеобразное запечатление в бунинских сочинениях — один из самых выразительных примеров того, как «писать войною». (Но позже, например в книге Бунина «Освобождение Толстого» 1937 г., повышенный интерес автора к буддизму сосредоточился, главным образом, на другой его стороне — учении о нирване.)

* * *

Рассказ «Братья» открывает это направление художественной мысли Бунина. Написанный и опубликованный еще в преддверии войны (за три месяца до ее начала), он, тем не менее, уже определяет все главное в бунинских сочинениях военных лет. Рассказ демонстрирует глубину художественной интуиции автора. «“Горе тебе, Вавилон!” — эти страшные слова Апокалипсиса неотступно звучали в моей душе, когда я писал “Братьев” и задумывал “Господина из С<ан>-Франциско” за несколько месяцев до войны, — писал Бунин в 1921 г. французскому издателю Боссару, — когда предчувствовал весь ужас и те бездны, которые обнажатся после нее в современной цивилизации, — и я ли виноват, что и здесь мои предчувствия не обманули меня»[37].

Особо значительны смысловые обрамления рассказа. В эпиграфе к нему из буддийского канона «Сутта Нипата» сказано: «Взгляни на братьев, избивающих друг друга. Я хочу говорить о печали» (т. 4, с. 109). В ходе повествования он подтверждается другими словами «Возвышенного» (Будды) — например, о «страданиях этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый» (т. 4, с. 112). А к концу произведения возникает символический образ парохода, подвигавшегося «в пустоте океана и ночи», «вокруг <…> зыбкой хляби, о которой так ужасно говорит Библия», «валившей <…> пароход то на один, то на другой бок», куда до его обитателей порою «доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома» (т. 4, с. 126, 128).

Перед нами — несомненное предвестие катастрофического в современном писателю мире. Предвестие это, будучи интуитивным, достаточно неопределенно. В нем можно усмотреть намек как на исторический, так и на сверхисторический смысл. О последнем скажем позднее. Что же до первого, то его объясняют саморазоблачительно — исповедальные размышления героя рассказа, англичанина, во многом разделяемые и автором[38]. Говоря о колониальном «дележе», который предприняли «люди нового железного века», англичанин пророчествует, по существу, о последствиях надвигающейся войны: «И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь Тира, Сидона, нового Рима <…> повторится и то, что предрекли Сидону <…> иудейские пророки, Риму — Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, — Будда <…>» (т. 4, с. 129).

Взгляд на будущее истории, воцарение в ней тиранических режимов — весьма проницателен, если вспомнить, что произойдет в истории в течение последующих десятилетий.

Разумеется, сочинение Бунина не сводится к этой условно исторической линии. Глубинное его содержание — вышеисторично. «Братья» — самый развернутый в творчестве писателя опыт художественного осмысления современной Бунину реальности в свете древнего буддийского учения, более близкого этой реальности, поскольку повествует о жизни буддийского Востока, но как части общей жизни мира.

Однако при всем пиететте перед «великим религиозным учителем», чья мудрость «комментирует» судьбы героев рассказа, бунинское приятие буддизма далеко не во всем согласно с его духом[39]. Несогласие это не высказано открыто, но оно явствует из изображения событий произведения. Позднее Бунин вспоминал: «Когда я был в Коломбо, меня равно поразили свет солнца, совершенно непередаваемый и слепящий, и учение Будды, в котором много от этого слепящего очи и душу солнца <…> Я хотел передать этот свет в “Братьях”»[40]. Очевидна неоднозначность, двусмысленность подобного восприятия.

Что же касается индивидуалистических помыслов человека «нового железного века», его злых хотений («возносим нашу Личность превыше небес <…> хотим сосредоточить в ней весь мир» — т. 4, с. 129), то писатель благодарно приемлет те из сторон буддийского представления о «жизни Личности в этом “мире бывания”» (т. 4, с. 129), которые толкуют о разрушительном утверждении «я» в человеческом обществе. Современная действительность с ее катастрофизмом, как и мрачные прогнозы о будущем, возводятся к этим представлениям об изначальном. И здесь — первая всеобщность рассказа.

Другая всеобщность, возвращающая нас к образу океана, — мысль об отчуждении человека от стихийных сил жизни. Мысль эта, олицетворенная прежде всего запечатлением огромного водного пространства, приобретает одинаковый смысл в последующих бунинских сочинениях («Господин из Сан-Франциско», «Соотечественник», «Сны Чанга»). Она афористично подана в словах из «Снов Чанга»: «довременное, для нас уже чуждое и враждебное естество, называемое океаном…» (т. 4, с. 228).

* * *

Вослед «Братьям», уже в военное время, появляется ряд трагически окрашенных повествований, отдаленных, как уже сказано, от *непосредственно* военной темы, в которых в той или иной степени предстают явленные «Братьями» историчность и философичность.

Реальная война, остающаяся за занавесом, подразумевается, однако, здесь как порождающее начало, стимулирующее полную «переоценку ценностей» (бунинские слова) в духе широких обобщений, в немалом опирающихся на буддийское учение.

Впечатления войны, где ежедневно множилось количество смертей, распространяется писателем на состояние всего мира. Именно в раздвижении темы можно усмотреть очевидное буддийское веяние. Смертельные исходы человеческих судеб или их преддверия (например, «Соотечественник», «Казимир Станиславович») — таковы финалы большинства бунинских повествований этих лет, настигающие тех, кто активно участвует в земной жизни, *независимо от характера участия*. Такого рода всеобщность и утверждало буддийское учение. Ее воплотил упомянутый в «Братьях» буддийский «бог жизни-смерти Мара, бог “жажды существования”», вырывающий «из рук человека то, что схватил человек» (т. 4, с. 111, 117).

Самым же крупным трагедийным обобщением бунинских произведений этого времени продолжает оставаться конфликт человека с изначальным естеством существования, с природно стихийными силами жизни. Явленный в «Братьях», он станет во главу угла в знаменитом «Господине из Сан-Франциско» (1915), как и другие мотивы предшествующего сочинения.

В ряду самых главных — образ корабля. Тесно сближенный с образом «Братьев», он вместе с тем обладает особенными чертами, связанными с общим смыслом произведения. Если в «Братьях» он появляется лишь к концу повествования, то тут становится, вместе с океаном, основным «действующим лицом». В отличие от «Братьев», он многонаселен. И эта «собирательность» особо значима. Она олицетворяет здесь образ человечества — не всего, а «того самого, от которого зависят все блага цивилизации», в том числе «объявление войн»[41]. Вместе с тем в рассказе оно изображено *над реальной войной*, поскольку перед нами — образ цивилизованного человечества *вообще*, с которым постоянную войну — уже не оружием, а всей своей иноприродностью — ведут силы жизни, хотя оно и не подозревает об этом. Драматическое переживание мирового события, происходящего на глазах у писателя, трансформируется во всеобщность мысли.

Подобное же двуединство наблюдаем в запечатлении самих стихийных сил жизни, предстающих в образе океана. И здесь, вопреки неупоминанию о войне, невозможно отвлечься от ощущения, что сочинение писалось в ее разгаре. Наводит мысль на это прежде всего дальнейшее резкое сгущение драматических красок, по сравнению с «Братьями», в описании стихии океана и корабля в ее власти. Начиная с эпиграфа (снятого в последней редакции рассказа) из Апокалипсиса — «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!», а затем описания пути корабля, многозначительно названного «Атлантида», из Америки в Европу и обратно, когда большую часть путешествия «пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом» (т. 4, с. 157; образ бури нагнетается и в конце рассказа: «опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном» — т. 4, с. 174), возникает символическая картина мира, предельно ожесточившегося к человеку. Зловещая непогода демонстрирует глубину этой неприязни, означающей гибельное отчуждение человека от изначальных сил жизни, приобретающее двоякий смысл. В социально-философской символике рассказа — это «дело рук» самого «господина» (как некоего собирательного образа[42]), восстановившего мир против себя. В метафизическом плане — это признак искони враждебных Человеку субстанциальных сил.

Несколько отступая в сторону от периода, о котором речь, но не от нашей главной темы, заметим, что сближающаяся с «Господином…» символика возникает у Бунина гораздо раньше — впервые как будто в рассказе 1901 г. «Туман», образно предвещающем знаменитое сочинение писателя: крохотная светящаяся точка, пароход, среди обступающей его зловещей мглы водного пространства. Корабль, наполненный людьми, попадает в «непроницаемую густоту» тумана, «за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства»; «в этом чуждом нам мире неба, тумана и моря» ощущалось «что-то апокалиптическое <…> что-то неземное», которое «стояло в гробовой тишине», внушая мысль об изначальной бытийной «тайне <…> что за пределами познаваемого…» (т. 2, с. 223, 225).

И, однако, когда ночной туман на море, вызвавший у героя гнетущие мысли и видения, исчез с наступлением «ласкового и солнечного» утра, улетучились и страхи, рожденные мра-

ком: «я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни <…> И ночь, и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро» (т. 2, с. 227).

Подобный «катартический» финал повествования был бы невозможен в позднейших рассказах с аналогичной символикой. Эта коренная разница — еще одно подтверждение того, как надо «писать войною».

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» выразительно демонстрирует и иное — изменения стилевого строя бунинской прозы военных лет, по-своему отражающие катастрофизм мышления. Свойственные и другим его произведениям той поры, они особенно красноречивы в «Господине».

В них прежде всего обращает на себя внимание резкое повышение роли субъективной стилевой стихии, совсем не похожей на ту, что окрашивала раннюю лирическую прозу Бунина. Мягкая созерцательность последней сменится напряженно драматическими интонациями. И в прозе, и в поэзии Бунина начала 900-х гг. авторская мысль претворялась в лирическое «настроение». В произведениях военных лет она часто предстает без покровов, публицистически жесткой. Вторжение публицистической речи в образное слово, порой даже перенасыщавшей его, — в окончательном тексте писатель избавлялся от излишеств — по-своему компенсировало почти полное отсутствие до 1918 г. собственно публицистических выступлений Бунина в печати. Но это была все-таки иная публицистика, подчиненная образному мышлению и трансформированная им.

Возникает подчеркнуто экспрессивная форма, образуемая и повышенно эмоциональным эпитетом, и напряженным ритмом повествования, широко использующая элементы метафорического стиля, отличающаяся нередко обширными синтаксическими конструкциями, усиленно нагнетающими драматическое впечатление.

Приведем примеры подобного синтаксического периода, резко укороченного здесь по сравнению с оригиналом: «Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала <…> пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы <…> в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена <…> ее (преисподней. — *В.К.*) последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля <…>» (т. 4, с. 159) и т. д. В согласии с общей тенденцией стиля в рассказе возникает и чисто условная образность: появляющийся в конце его образ Дьявола — символическое запечатление «сатанинской» сущности современного писателю мира.

А теперь о центральном эпизоде — смерти «господина». По внешности — это случайность бытового происхождения. На самом деле, кажущаяся чисто бытовой ситуация — дотошно выписанное «привычное дело туалета»: переодевание «господина» к обеду в каприйском отеле, приведшее к тяжким последствиям, — равноправно входит в общий притчево-иносказательный строй произведения, коррелирует — и очень тесно — с его символической всеобщностью.

Эпизод, о котором речь, красноречиво демонстрирует и еще одну, чрезвычайно важную для автора, стилевую краску, участвующую в образовании сложно-синтетического бунинского стиля той поры. Это — элементы щедрого на подробности традиционно описательного стиля и его «боковых», натуралистических, ответвлений, функционально переосмы-

сленные в экспрессивном духе, органически соединяющиеся с обобщенно-экспрессивным началом.

Многозначительно это описание затискивания себя в сковывающий тело костюм и особенно мучения «с ловлей под твердым воротничком запонки шейной»: «кончикам пальцев было больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело <…>

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову <…>» (т. 4, с. 167).

Несколько минут спустя произойдет истинно «ужасное происшествие» — «господин» умрет в состоянии удушья, изображение которого напоминает о картине одевания: «<…> шея его напружилась, глаза выпучились <…>. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел <…>» (т. 4, с. 168).

Застегивание запонки освещается зловещим светом. Костюм, в который обряжается «господин», — пагубный футляр, панцирь, как и корабль «Атлантида», на котором совершается путешествие, как и весь тот искусственный мир, которым герой рассказа и ему подобные укрывают себя от грозных стихий бытия. Предвестием расплаты за это и становится в насквозь символическом рассказе Бунина смерть «господина» — расплаты, тревожным ожиданием которой проникся писатель в годы войны. С этого момента и до самого конца повествования мотив смерти «господина» несет в себе, вместе с мотивом океана, ключевую символику рассказа, многозначительным завершением которого становится образ гроба с телом «мертвого старика из Сан-Франциско», спущенного на «дно темного трюма, в соседстве с мрачными знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…» (т. 4, с. 173–175)[43].

Что же до связи с буддийской мудростью, она не выходит здесь наружу, но скрыта в подтексте. Сошлемся, в частности, на указанный Карпенко мотив буддийского текста «Сутта-Нипата» (мы помним, что оттуда был взят эпиграф к «Братьям») — «наказание пучиной», сулящий отягощенным грехами низвержение в бездну[44].

* * *

О трагедии современной жизни, главным событием которой стала кровопролитная война, снова не упомянутая, поведал рассказ «Соотечественник» (1916). Катастрофизм времени передан здесь почти без очевидных исторических реалий и вообще не явлен воочию, но предстает, хотя и со всею несомненностью, косвенно, иносказательно — главным образом через отношение героя к буддийскому учению, которое вновь выдвигается на передний план, как многообъясняющее начало.

Герой этот, крупный делец Зотов, особенно интересен. В отличие от усредненной, «типовой» фигуры «господина», — перед нами яркая, своеобычная личность, обладающая незаурядным умом. Напомним об уже сказанном — пошатнувшемся, хотя и не до конца, в годы войны представлении писателя об изоляции славянской «души» от «души общечеловеческой». «Соотечественник» подтверждает это наиболее красноречиво. Герой рассказа — «брянский мужик, мальчишкой» привезенный «в Москву из деревни», удивляя «своей самоуверенностью <…> деловитостью, огромным житейским опытом», заражая, а порой восхищая «своей смелостью, своей энергией» (т. 4, с. 243–245), разительно отличается от

типических персонажей предшествующей деревенской бунинской прозы. В нем особенно явственно запечатлен выход из пассивно-угнетенного состояния русской деревни к активно европейскому началу, но окрашенному ярко по-русски; и даже «с виду он не то швед, не то англичанин», именующий «болванами» тех иностранцев, кто, подчиняясь привычным представлениям, не хочет верить, «что он русский» (т. 4, с. 243, 245).

И, однако, при всей своей респектабельности, герой рассказа болен неизлечимой тоской, поясняя свои ощущения прикосновением к буддийской философии жизни, кажущейся непреодолимой. И прежде всего потому, что она далеко не ограничена психологией обширного азиатского региона, где пребывает герой (действие рассказа происходит на Цейлоне). Именно его глазами видится в рассказе то новое единство мира как единство отчужденного человека, представление о котором возникает в бунинских сочинениях военных лет. Черты подобного склада жизни и сознания усматривает Зотов и в своем родном отечестве, и в европейском мире в целом (т. 4, с. 247–248). В разной степени, по мысли героя, но все они затронуты «ужасающим в своей непреложной мудрости учением» (т. 4, с. 248) Будды. И в этом — источник безысходности.

«И вообще, я человек обреченный… Если бы вы знали, как страшно запутаны мои дела. Еще больше, кажется, чем душа и мысли! Ну, да из всего есть выход. Дернул собачку револьвера, поглубже всунув его в рот — все эти дела, мысли и чувства разлетятся к чертовой матери!» (т. 4, с. 249) — так завершается рассказ. Однако, в его обобщающем плане трагический итог жизни Зотова, если он произойдет, будет объяснен все-таки не «эмпирической» причиной, как и в «Господине из Сан-Франциско». Над локальными мотивировками в бунинских повествованиях этих лет господствует сверхпричина — отношения отдельного человека с большим миром как субстанциальным началом. Она всегда присутствовала в творческом сознании писателя. Но под впечатлениями мировой войны значительно усилилась и прояснилась. «В новеллах второй половины 1910-х гг. Бунин все время подходит вплотную к последним вопросам бытия <…>»[45]

* * *

Обратимся теперь к рассказу «Петлистые уши» (1916). Это известное сочинение удостаивалось заметного внимания критики и было, в общем и целом, верно истолковано.

Ограничимся отдельными замечаниями и дополнениями — в основном подтверждающими сказанное.

Важно прежде всего отметить возникающий и здесь буддийский «след», не выходящий наружу, подобно «Господину из Сан-Франциско», но явствующий из всего содержания. В рассуждениях героя рассказа, убийцы Соколовича, мы встречаемся с особой вариацией знакомого по «Братьям» буддийского мотива («каждый либо убийца, либо убиваемый»), который подан с присущей ему, характерной всеобщностью («Все человеческие книги — все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы, — все полны» описаниями деяний «кровавых преступников» — т. 4, с. 235–234) и одновременно резко усугублен. «Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит <…> в каждом», — заявляет Соколович, попутно развенчивая Достоевского с его якобы ложными понятиями «о муках совести» (т. 4, с. 234) преступника. Мотив «убийца — убиваемый» определяет и основную фабульную линию рассказа (убийство проститутки Соколовичем).

В литературе о рассказе, в связи с образом его героя, справедливо констатировался интерес Бунина к «уголовной антропологии» его времени, к «учению Ломброзо о врожденном преступнике». Однако еще более существенно, что патологическая личность рассказа вписана, тем не менее, в «норму» своего исторического времени, становясь сгущенно концентрированным ее выражением, поскольку исповедует и целиком принимает ту философию войны всех со всеми, которую насаждает время. Вместе с тем в рассказе, в отличие от других произведений писателя, присутствует и война как таковая, как историческое событие сего дня. Но присутствует не в конкретных реалиях совершающегося события, а как важнейшая часть общего фона — с одной стороны, а с другой — как обобщенное, «собирательное» понятие: не только война, но и войны. «В войнах участвуют теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц» (т. 4, с. 236), пророчествует Соколович.

Мысль о своеобразном характере изображения современности, в целом, убедительно развита О.В. Сливицкой: «…хотя война как прямой предмет изображения <…> отсутствует» в «Петлистых ушах» — это «рассказ, порожденный атмосферой войны» и прежде всего потому, что основное его сюжетное событие, «преступление Соколовича — это модель того, что происходит на войне», возведенная, в свою очередь, к несравненно более широким обобщениям, поскольку в «этой патологии <…>, по Бунину, нашло свое предельное воплощение *всеобщее зло жизни*»[46].

Вместе с тем со страшной правдой о всемирном зле, которую один из носителей его обрушивает на слушателей, вынужден частью согласиться и автор сочинения. С перечислением Соколовичем злодеяний, совершенных на протяжении человеческой истории, прямо соотносится, к примеру, одна из бунинских горестных дневниковых записей (от 1 июля 1915 г.): «Собрать бы все людские жестокости во всей истории»[47].

Соотнесенность эта, естественно, заметна и в самом рассказе — и в рассуждениях Соколовича[48], и в тексте от лица автора. Во втором случае таков, например, пейзаж ночного Петербурга (где происходит действие), выполненный в свойственной Бунину времени войны напряженно экспрессивной стилевой манере: «Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира <…>»; лицезрея «наряженных женщин» на панелях, «становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иной, чем люди, неведомой породы» и др. (т. 4, с. 238). Перед нами — символически зловещая картина, не менее отталкивающая и страшная, чем герой с его рассуждениями. Похожую на него реальность современной жизни увидел и писатель, точно сказавший о своем сочинении: «Тут главное — адский фон и на нем здоровенная и ужасная фигура», которая неумолимо вырастает из него[49].

Именно через эту «собирательность», через характер главного героя и через ассоциацию с мотивом древнего учения (ее уловит внимательный читатель Бунина) — иначе, в обобщенно-косвенном восприятии, возникает и в «Петлистых ушах» тема войны.

И в бунинской поэзии этих лет появляется ряд стихотворений (большинство из них относится к 1916 г.) с также характерным для автора в ту пору возведением впечатлений времени к трагическим всеобщностям. Таково «Молчание» со строками, обращенными к Господу:

<…>
Я знаю: Ты в огне громовом
Уже не снидешь на людей!

Ты не рассеешь по вселенной,
Как прах пустынь, как некий тлен,
Род кровожадный и презренный
В грызне скатавшихся гиен! (т. 1, с. 407)

В этих стихах особенно прозрачен намек на войну, воспринятую и здесь, как преступление, в котором нет отдельных виновников, поскольку одинаково преступны все сотворившие его.

Подобная же мрачная тональность — в стихотворении «Из книги пророка Исаии» (1918). Ветхозаветная «книга» повествует в том числе о наказании Господом Израиля, «народа грешного», за попрание закона и правды, но также и о их грядущем воскрешении Его волею. Бунин поэтически воспроизводит — и очень близко к тексту — третью главу «книги», содержащую гневные обвинения Господа, предвещающие Его возмездие народу. И, в частности, вводит злободневную тему войны, отсутствующую в тексте главы: «И народы / Восстанут друг на друга, дабы каждый / Был нищ и угнетаем» (т. 1, с. 418). Но никак не затрагивает темы просветления. В библейском тексте — Господнее обещание мира, сменяющего кровавую вражду: «и перекуют мечи свои на орала <…> не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис 2, 4). У Бунина нет исхода войнам. В книге пророка Исаии Господь обличает осквернителей Сиона, но затем очищает его «духом суда и духом огня» (Ис 4, 4). У Бунина — только осквернение святыни.

И понятно почему. Современник поэта — полагает автор — в отличие от своего пращура из незапамятных времен, уже не дождется очистительной кары Господней — об этом приведенные строки из стихотворения «Молчание».

В нескольких стихотворениях 1916 г. снова появляется образ дьявола, знакомый по «Господину из Сан-Франциско». Здесь он вступает во владение миром еще явственнее, чем в «Господине». Строки из трех стихотворений, дальше цитируемых, настолько красноречивы, что не нуждаются в каком-либо комментировании.

И дьявол тут [в соборе. — *В.К.*]. Теперь он входит смело
И смело зрит простертое пред ним (т. 1, с. 409);

Не я ли царь и бог? Не мне ли честь и дань?
Каким великим кругозором
Синеет даль окрест! И где меж ними грань —
Горой Соблазна и Фавором? (т. 1, с. 415);

И Сатана, злорадно торжествуя,
Воздвиг на месте Рая — Вавилон (т. 1, с. 409).

Порой весьма сумрачны и бунинские стихи тех лет на историческую и фольклорную темы. И в них тоже встречаем выразительно-иносказательные отклики на военную современность[50].

В речи на чествовании Бунина 26 ноября 1933 г. по случаю вручения ему Нобелевской премии Б.К. Зайцев сказал: «Наивысший расцвет стихов Бунина — 1916 год. Самые сильные, мрачные, полновесные пьесы написаны накануне гибели той России, которая его родила <…> Их общее настроение — трагедия, надвигающаяся туча, — хотя говорят они и о самом разном»[51].

Тем не менее, решающие изменения в этом смысле, как можно было видеть, происходили в прозе. На передний план в ней и на центральное место в общем творчестве писателя выходят произведения, проникающиеся трагедийностью и катастрофизмом мировосприятия.

* * *

И, однако, этим не исчерпано содержательное богатство интересующего нас творческого периода. Тогда же возникает у Бунина ряд мотивов и образов, в основном независимых от внушений войны, являющихся их антиподом, утверждающих пафос неискоренимых ценностей существования вопреки тому, что стоит на их пути.

Проблематика эта, присутствующая и в произведениях, о которых уже шла речь, и самостоятельно от них, находится в целом за тематическими пределами настоящей работы. Но ввиду ее тесной связи с другим смысловым планом бунинского повествования, являющимся темой исследования, скажем о ней коротко и суммарно. Она обращена, с одной стороны, к пластам народной жизни, не затронутым уродливой, с точки зрения писателя, современной цивилизацией; с другой — к ценностям внутреннего мира человека. В их запечатлении особенно ощутимо противостояние иным буддийским устоям. Так, рассказы о любви 1915–1916 гг. («Грамматика любви», «Сын», «Легкое дыхание»), как и мотивы ее в произведениях о «другом» («Братья»), всегда трагедийны, но совершенно иначе, чем в буддийских текстах с их отвержением земной любви вообще, от которой «страдания этого мира». В бунинском возвышении любви трагическая мысль, в которой по-своему, весьма опосредованно, но тоже отразились впечатления войны, соединяется с очистительной, «катартической».

Уже из этого примера очевидна диалогичность художественного мира писателя. Но диалогичность эта принимает нередко особый характер в общем контексте бунинского творчества — характер антиномии, на что обращено внимание в серьезных исследованиях о Бунине (Ю.В. Мальцева, О.В. Сливицкой)[52]. В произведениях писателя порой сопрягаются взаимоисключающие представления о самом главном — бытийном, сущностном.

Вот один из примеров, которые легко умножить. Безысходно пессимистическая мысль «Петлистых ушей», где психика убийцы предстает, по мнению тогдашних критиков, не только явлением «повседневного уклада нашей жизни», но и «одним из естественных проявлений души человеческой»[53], — и рассказ «Третьи петухи» с его стойкой верой в «новый путь» для «темных и злых людей», совершенно невообразимой в первом рассказе, и пронзительно-эмоциональным возгласом в его завершении: «Ей, Господи! Сладка земная жизнь, Тобой данная!» (т. 4, с. 263). Между тем оба рассказа написаны в одном и том же, 1916, году, а их первые публикации отстоят друг от друга всего на три месяца. Как объяснить все это?

Есть, пожалуй, только один бунинский рассказ, который проливает некий свет на заданный вопрос. Это рассказ «Сны Чанга» того же 1916 г. Не касаясь событийной стороны произведения, выскажусь о его миросозерцательной коллизии, которая предстает с демонстративной наглядностью. Это — противоборство «двух правд» о мире, проходящих через все произведение и представленных как своего рода художественные формулы — «жизнь несказанно прекрасна» и «жизнь мыслима лишь для сумасшедших» (т. 4, с. 215). Они призваны осмыслить постоянно меняющийся настрой повествования, который сопровождает сюжетное движение. Но не только это. Можно думать, что автор словно выставляет здесь напоказ и антиномии собственного творчества. В этом смысле «Сны Чанга» — исповедальное сочинение. И если воспользоваться приведенным примером, то «жизнь мыслима лишь для сумасшедших» как нельзя точно характеризует рассказ «Петлистые уши», равно как «жизнь несказанно прекрасна» — рассказ «Третьи петухи». Но в конце повествования обе «правды» отступают перед упованием на «третью правду», которая видится преодолением недостаточности каждой из предшествующих, антитетических, «правд». В чаемой «правде» сливаются счастье и страдание и возникает столь близкий писателю мотив соединения всего со всем в мире.

Но мотив этот лишен все-таки той прозрачности, какая отличала его у прежнего Бунина. Устремление к «третьей правде» соединяется с ощущением неясности путей к ней и неотчетливости представления о ней самой. «Сны Чанга» обращены к *общему* миросозерцанию писателя, значительно осложненному трагической тенью, отброшенной переживаемым временем. При всем том сочинение Бунина в конечном счете более просветленно по отношению к рассмотренной группе произведений, чья принадлежность к ней подтверждается и присутствием в «Снах Чанга» сцепляющих эту группу общих мотивов: буддийский мотив; символический мотив океана (кроме «Петлистых ушей»). Ощущение субстанциального Света усиливается вместе с упованием на «третью правду», пусть смутным и неопределенным, пусть несогласным с общей драматической атмосферой рассказа, но остающимся в человеческом сознании как помышление об истинной, хотя еще «неведомой», правде земли («есть на земле еще какая-то <…> третья правда!»), которую ведает пока лишь «последний Хозяин» (т. 4, с. 230). Признáем, что подобный, менее сумрачный взгляд на рассказ отличается от распространенных представлений о нем.

В целом же «Сны Чанга» еще раз демонстрируют особую смысловую масштабность тех бунинских сочинений, которые не писали о войне, но писали войною.

Случай Бунина, разумеется, не единичен. И у других писателей в сочинениях такого рода можно встретить подчас особенно глубокое осмысление своего предмета. Особенное — ввиду меньшей замкнутости в подразумеваемом тематическом материале, большей свободы в выходе за его пределы, в возвышении над ним к обобщениям крупного масштаба.

Приведу в заключение пример из творчества выдающегося художника слова, принадлежавшего к совсем другому литературному миру. Это — Вячеслав Иванов. В военные годы он создал одно из самых крупных своих произведений, поэтическую «мелопею» «Человек», которую характеризовал много позднее в письме к Э.К. Метнеру как «целостно выражающую мое мистическое миросозерцание поэму»[54]. И вместе с тем, по признанию автора, в своем «апокалиптическом» тоне поэма воплотила и «настроения», которые были «навеяны, конечно, войною»[55]. Кажется, нет специального исследования, рассматривающего подобный

непростой смысловой комплекс «Человека», метафизически отвлеченного сочинения, вбирающего в себя конкретные исторические впечатления времени. Между тем оно, несомненно, имело бы немалый типологический интерес.

Да и вообще, проблематика «писать войною» в общих работах о литературе Первой мировой войны занимает меньшее место, чем заслуживает. И в этом — объяснение того, почему поглощенный впечатлениями войны Бунин наименее упоминаем — среди крупнейших деятелей Серебряного века — в подобного рода работах, а иногда и просто «отлучен»[56]. Расширение этого аспекта исследования послужило бы значительно более углубленному освоению важной темы.

[1] Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы под редакцией Милицы Грин: В 3 т. Frankfurt/Main, 1977. Т. 1. С. 138. Далее — Устами Буниных.

[2] Из письма А.С. Черемнову от 15 окт. 1914 г. *Бунин И.А.* Письма 1905–1919 годов / Под общ. ред. О.Н. Михайлова. М., 2007. С. 311. Далее — Письма.

[3] Из интервью в газ. «Одесский листок» от 26 апр. 1916 г. *Бунин И.А.* Новые материалы. Вып. 1 / Сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. № 1. М., 2004. С. 555. Далее — Новые материалы.

[4] Из письма П.А. Нилусу от 25 июля 1917 г. Письма. С. 394.

[5] Из интервью в «Биржевых ведомостях» от 14 апр. 1916 г. Лит. наследство. Т. 84: Иван Бунин. Кн. 1. М., 1973. С. 378. Далее — ЛН-1.

[6] Из записи разговора с писателем в дневнике его племянника Н.А. Пушешникова за 1916 г. Цит. по: *Бабореко А.* И.А.Бунин: Материалы для биографии с 1870 по 1917. 2-е изд. М., 1983. С. 245. Далее — Бабореко.

[7] Новые материалы. С. 562, 561.

[8] См.: Письма. С. 690.

[9] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. М., 1961. Т. 26. С. 96.

[10] Там же. Т. 49. С. 24.

[11] См.: *Нинов А.* За строками одной статьи // Вопросы литературы. 1970. № 7. С. 150.

[12] *М.Горький.* Горький М. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 2004. Т. 11. С. 133.

[13] 9 сент. 1914 г. Горький писал М.Ф. Андреевой, что «известие о разрушении» германской армией знаменитого Реймсского собора во Франции «совершенно раздавило <…> меня» (Там же. С. 126). И в том же письме: «Чувство ненависти к немцам все растет, и — оно справедливо, вот что самое страшное» (Там же).

[14] Новые материалы. С. 525.

[15] Из дневника Пушешникова. Цит. по: *Бабореко*. С. 236.

[16] Устами Буниных. С. 155.

[17] Из дневника Пушешникова. Цит. по: *Бабореко*. С. 244.

[18] *Бунин И.А.* Собр. соч.: В 8 т. (1993–2000). М., 2000. Т 8. С. 103. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

[19] *Дубинская Т.И.* «Летопись» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917: Большевистские и общедемократические издания. М., 1984. С. 206.

[20] *Тихонов В.В.* Европеизм и панславизм — два направления в русской научно-исторической публицистике периода Первой мировой войны // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. М., 2013. С. 39.

[21] Из интервью в газ. «Одесские новости» от 25 апр. 1916 г. (дата уточнена в «Новых материалах», с. 555). *Бунин И.А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 548.

[22] Из интервью в «Биржевых ведомостях» от 14 апр. 1916 г. ЛН-1. С. 379.

[23] Из интервью в «Одесском листке» от 26 апр. 1916 г. Новые материалы. С. 554.

[24] ЛН-1. С. 379.

[25] Из письма Н.С. Клестову от 18 мая 1913 г. Письма. С. 275.

[26] Из интервью газ. «Московская весть» от 12 сент. 1911 г. *Бунин И.А.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 537.

[27] *Маяковский В*. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. С. 309.

[28] Там же. «По сообщениям газет, немцы в начале войны, заняв пограничный город Калиш, повесили несколько служащих городского Управления, оказавших им сопротивление» (из примеч. Там же. С. 448).

[29] Из письма к Л.Д. Ржевскому от 23 февр. 1951 г. Грани. 1990. № 156. С. 69–70.

[30] См. письмо к В.С. Миролюбову от 1 июня 1901 г. *И.А.Бунин*. Письма 1885–1904 годов. М., 2003. С. 377.

[31] Из письма к В.Н. Муромцевой от 5 апр. 1917 г. Письма. С. 384.

[32] *Бунин И.А.* Полн. собр. соч.: В 6 т. П.: Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. Т. 4. С. 343.

[33] *Бунин И.А.* Полн. собр. соч. П., 1915. Т. 5. С. 147.

[34] *Карпенко Г.Ю.* Творчество И.А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара, 1998. С. 62.

[35] *Бунин И.А.* Полн. собр. соч. П., 1915. Т. 4. С. 333.

[36] *Марулло Т.Г.* «Если ты встретишь Будду»: Заметки о прозе И.Бунина. Екатеринбург, 2000. С. 32.

[37] И.А.Бунин. Pro et contra: Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2001. С. 32–33. Далее — Pro et contra.

[38] «То, что чувствовал его англичанин в “Братьях”, автобиографично», — свидетельствовала В.Н. Муромцева. См.: *Бабореко*. С. 164.

[39] Сошлюсь на свое толкование рассказа в статье «Сборники “Слово”». Русская литература и журналистика в начале XX века. 1905–1917: Большевистские и общедемократические издания. М., 1984. С. 291. См. также: *Келдыш В.А.* О «серебряном веке» русской литературы: Общие закономерности. Проблемы прозы. М., 2010. С. 234–237.

[40] Цит. по: *Бабореко*. С. 221.

[41] Слово. Сб. пятый. 2-е изд. М., 1916. С. 262. Образ корабля «кажется символом человечества», — писал Ю. Айхенвальд в 1915 г. по выходе рассказа; тогда же и другие критики указывали на общесимволический характер произведения (см.: Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — октябрь 1917 г.). Вып. 3: (1911 — октябрь 1917). М., 2005. С. 422–424).

[42] Это — «“тип”, обобщенный социальным сопоставлением с подобными противоположными ему в своих, так сказать, нарицательных чертах, а не в особенностях», — писал А.Б. Дерман в статье «Победа художника» (1916). Pro et contra. С. 348.

[43] Д.М. Магомедова указала на «прямого предшественника» этого мотива («образ корабля с трупом в трюме как символ современной цивилизации»), возникшего в аллегорическом стихотворении Генрика Ибсена «Письмо в стихах», написанном в 1885 г. и переведенном на русский язык в начале 1900-х гг. (*Магомедова Д.М*. Ибсеновский мотив в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» // На рубеже веков: Российско-скандинавский литературный диалог. М., 2001. С. 121–126).

[44] *Карпенко Г.Ю.* Творчество И.А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков. Самара, 2005. С. 62.

[45] *Бройтман С.Н., Магомедова Д.М.* Иван Бунин // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М., 2000. Кн. 1. С. 576.

[46] *Сливицкая О.В.* Рассказ И.А. Бунина «Петлистые уши» (Бунин и Достоевский) // Русская литература XX века (дооктябрьский период). Сб. 3. Калуга, 1971. С. 162, 165.

В этой совершенно справедливой генерализации образа есть, на наш взгляд, некоторое преувеличение, связанное с представлением о «зле “космическом”» как «внеположной» злу жизни его «первопричине» (с. 167). Между тем всеобщность «Петлистых ушей», в отличие от ряда других бунинских произведений, значительно меньше выходит за пределы человеческой истории. «Космическая» окраска в рассказе петербургского пейзажа, полагаем, имеет больше метафорический, нежели «буквальный» смысл.

[47] Устами Буниных. С. 145.

[48] На это, с легким упреком в адрес рассказа, обратил внимание в письме к Бунину А.Б. Дерман: «…не слишком ли отчетливо выступает фигура автора в разговорах героя с матросами?» (Письма. С. 746).

[49] Из письма П.А. Нилусу от 27 мая 1917 г. Письма. С. 389.

[50] См.: *Нинов А.А.* Бунин и Горький: 1899–1918 // Лит. наследство. Т. 84: Иван Бунин. Кн. 2. М., 1973. С. 47–49.

[51] Pro et contra. С. 411.

[52] Имею в виду прежде всего обобщающие исследования этих авторов: *Мальцев Ю.* Иван Бунин: 1870–1953. Frankfurt/Main; Moskau, 1994; *Сливицкая О.В.* «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М., 2004.

[53] Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — октябрь 1917). Вып. 3. М., 2005. С. 546.

[54] Вопросы литературы. 1994. Вып. III. С. 309

[55] Вячеслав Иванов. Материалы и публикации / Сост. Н.В. Котрелев // Новое лит. обозрение. 1994. № 10. С. 151.

[56] Так, в книге О. Цехновицера «Литература и мировая война. 1914–1918» (М., 1938), объемом более 400 с., Бунин упомянут лишь один раз в общем списке имен литераторов, участвующих в газете «Русская воля».

Д.Ю. Козлов

Первая мировая война в русской военно-морской мемуаристике

По удачному выражению известного английского историка Б.Г. Лиддел Гарта, «история, основанная исключительно на официальных документах, — искусственная история» [Лиддел Гарт 2009, с. 8]. Поэтому мемуары участников Великой войны, как, впрочем, и другие документы личного происхождения, являются непременным и весьма репрезентативным элементом корпуса источников, привлекаемых к исследованиям крупнейшего военного конфликта первой трети XX в.

Русский военно-морской мемуарный фонд периода Великой войны обладает несколькими существенными особенностями.

Во-первых, флотское офицерство, в отличие от офицерского корпуса армии, понесшего на полях мировой войны огромные потери, практически сохранило свой кадровый состав (с августа 1914 до сентября 1917 г. потери офицерского корпуса флота убитыми, умершими и пропавшими без вести составили 140 человек при общей его численности на 1 января 1918 г. 8060 человек [Назаренко 2011, с. 56, 57, 434]). Поэтому морские офицеры, занимавшие к концу Великой войны сколь-нибудь значимые самостоятельные должности, имели за плечами не только кампании 1914–1917 гг., но и участие в восстановлении флота и реформировании морского ведомства после катастрофы на Дальнем Востоке, а подавляющее большинство высших руководителей флота, флагманов и командиров больших кораблей — еще и кровавый и поучительный опыт Русско-японской войны 1904–1905 гг. Поэтому работы флотских мемуаристов — искушенных профессионалов с солидным управленческим и боевым опытом — почти всегда ретроспективны, выходят за рамки формата тривиальных воспоминаний и являют собой синтез мемуарного и исследовательского жанров с четко очерченной авторской позицией.

Во-вторых, морское мемуарное наследие Первой мировой войны разделено на две неравные части — советскую и эмигрантскую. Второй сегмент значительно объемнее первого, что, кстати, создает иллюзию почти полного отказа командного состава флота служить в Рабоче-Крестьянском Красном флоте. На самом же деле морские офицеры поступали, причем поступали в большинстве своем, на военную службу к советскому правительству: как показывают результаты современных исследований, по состоянию на 1 марта 1921 г. в РККФ состояли (sic!) 82,2 % бывших адмиралов, генералов флота и морских офицеров [Назаренко, 2011, с. 431–434].

В текстах эмигрантов сквозит, а в некоторых случаях откровенно доминирует рефлексия революционных событий (напомним, что число офицеров, павших от рук подчиненных нижних чинов в дни крушения династии в марте 1917 г. [Елизаров, 2007; «Один из возмутительнейших эпизодов…», 2007, с. 70–110], было вполне сопоставимо с боевыми по-

терями офицерского корпуса флота в четырех кампаниях Первой мировой войны), которые стали шоком для морского офицерства, подчеркнуто сторонившегося всякой политики. Тем не менее представителей военно-морского зарубежья объединяет с советскими флотскими командирами «из бывших» нечто значительно более весомое. Это и изначальная принадлежность к одной социальной среде и культурной традиции, и учеба в общей alma mater (привилегированном Морском училище, затем Морском корпусе), и совместная служба в составе весьма компактной кастовой корпорации, члены которой были связаны не только профессиональными, но и дружескими, а часто и родственными узами, и, наконец, прочная боевая спайка, рожденная в сражениях с японцами, а затем укрепившаяся в борьбе с германцами и турками. Поэтому в наших дальнейших штудиях мы воздержимся от формального деления морской мемуаристики Великой войны на советскую и зарубежную, тем более что многие бывшие флотские офицеры, поначалу по различным мотивам поступившие на службу к большевикам, в итоге оказались в эмиграции. Наиболее яркие примеры — последний морской министр Российской империи адмирал генерал-адъютант И.К. Григорович и начальник Морского генерального штаба и Морского штаба Верховного главнокомандующего адмирал А.И. Русин.

Мемуарный фонд высших руководителей флота и морского ведомства периода Первой мировой войны весьма невелик. Адмирал И.К. Григорович, который после Февральской революции был уволен от службы «по расстроенному здоровью с мундиром и пенсией», осенью 1917 г. приступил и к весне 1919 г. в основном завершил написание мемуаров, вторая часть которых охватывает период с 1909 по 1917 г. и посвящена строительству флота накануне и в годы Первой мировой войны [Григорович, 2005]. Текст на первый взгляд имеет характер дневника, поскольку композиционно состоит из подобия ежегодных обзорных записей; однако многочисленные отсылки к событиям других лет, нарушающие хронологию повествования, а также точная датировка событий, большое количество действующих лиц с указанием полных названий их должностей и обилие других деталей свидетельствуют о том, что мемуары писались post factum и, более того, с использованием официальных документов, доступных мемуаристу как работнику Морского архива и сотруднику Военно-морской комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. на море (Мориском). Последнее обстоятельство, кстати, позволило Ивану Константиновичу в известной мере компенсировать потерю личного архива, который весной 1917 г. был изъят Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц под председательством Н.К. Муравьева. Комиссия, как известно, дело в отношении И.К. Григоровича о злоупотреблениях в Морском министерстве прекратила за недоказанностью обвинений и привлекала адмирала в качестве свидетеля [Цветков, 2005, с. 121, 122]. Однако именно этим, очевидно, следует объяснить явно заметное желание бывшего министра реабилитировать себя в глазах новых властей и предельно дистанцироваться от наиболее одиозных сподвижников — например, от своего заместителя (в терминах того времени — товарища) вице-адмирала М.Н. Бубнова, замешанного в сомнительных биржевых спекуляциях и коррупционных скандалах.

Научная же ценность воспоминаний И.К. Григоровича как первого лица в военно-морской иерархии Российской империи была поставлена под сомнение компетентными совре-

менниками еще в 1919 г., когда впервые возникла идея о публикации этого произведения. Бывшие офицеры В.Е. Егорьев и Б.Б. Жерве в рецензии на рукопись сочли нужным отметить: «Необходимо предисловие, в котором автор изъяснил бы сам, как написаны эти заметки. По дневникам ли или по личным воспоминаниям, и в какой период времени. В зависимости от этого удельный вес их различен». Н.Л. Кладо — руководитель Морискома и начальник Морской академии — высказался более недвусмысленно: «Без всякого сомнения, дельный и умный человек, на много голов выше всех своих предшественников… Много знает такого, что в документах не помещено — знает настоящие, а не видимые, причины многих событий, понимает очень хорошо людей…», но «ничего этого он не написал просто из опасения: как посмотрит на это будущий историк, ибо не известно, кто оный будет — коммунист или монархист… Его не упрекнет будущий историк-монархист, но не упрекнет и коммунист» [Цветков, 2005, с. 131]. Поэтому не удивительно, что рукопись воспоминаний около 70 лет пролежала на архивной полке (ныне личный фонд И.К. Григоровича хранится в Российском государственном архиве военно-морского флота) и была частично опубликована только в 1993 г., а в 2005 г. выдержала дополненное издание.

Действительно, если проблемам воссоздания флота после поражения в войне с Японией и своей работе на этом поприще И.К. Григорович уделил достаточно много внимания, то описание деятельности министра в годы Первой мировой войны страдает, на наш взгляд, излишней конспективностью и ограничивается освещением вопросов строительства и ремонта кораблей, совершенствования береговой инфраструктуры, тылового и технического обеспечения воюющих флотов. Между тем, как известно, И.К. Григоровича совершенно не устраивало его исключение из контура управления действующими военно-морскими силами в военное время[1], и именно он стал инициатором ревизии всей конструкции стратегического руководства флотом. Усилия министра увенчались успехом в январе 1916 г., когда в ставке был учрежден Морской штаб Верховного главнокомандующего во главе с вице-адмиралом А.И. Русиным — помощником И.К. Григоровича, который, в свою очередь, изрядно повысил таким образом свой управленческий «вес» [РГАВМФ. Ф. 716. Оп. 1. Д. 63. Л. 2–5]. И это лишь один из многочисленных сюжетов, актуальных с точки зрения их научной интерпретации, но, к сожалению, не получивших отражения на страницах мемуаров руководителя морского ведомства.

Упрек в некоторой лапидарности уместно адресовать и вице-адмиралу М.А. Кедрову, фактически управлявшему Морским министерством в апреле–мае 1917 г. В своей неопубликованной «автобиографии» (1933) об этом периоде своей службы Михаил Александрович упоминает лишь вскользь, хотя в его записках содержатся чрезвычайно любопытные подробности взаимоотношений в среде государственного руководства и высшего военно-морского командования [ГАРФ. Ф. р-6666. Оп. 1. Д. 18. Л. 1–46об.]. Контр-адмирал Б.П. Дудоров, который в июне–августе 1917 г. состоял первым помощником морского министра, оставил воспоминания о становлении морской авиации на Балтике [Дудоров, 1948, № 1, с. 4–27; № 2, с. 2–19] и мемуары о своем непосредственном начальнике в службе связи, а затем командующем Балтфлотом вице-адмирале А.И. Непенине [Дудоров, 1993], однако собственной деятельности на одном из высших постов в морском ведомстве Борис Петрович внимания не уделил вовсе.

Что же касается адмирала А.И. Русина, который, будучи начальником Морского генерального штаба и Морского штаба Верховного главнокомандующего, играл ключевую роль в стратегическом руководстве военно-морскими силами, то его литературное наследие, увы,

ограничивается кратким очерком подготовки флота к войне [Русин, 1934, с. 2–6] и еще более краткими воспоминаниями о Морском корпусе [Русин, 1935, с. 7, 8].

Из числа командующих флотами оставил воспоминания (точнее, подробный проспект задуманных, но так и не написанных мемуаров) лишь А.В. Немитц [Немитц, 2002, с. 290–236], возглавлявший Черноморский флот с июня по декабрь 1917 г. Уникальность управленческого опыта Александра Васильевича состоит в том, что он, будучи перед войной офицером оперативного отделения Морского генерального штаба, принимал непосредственное участие в стратегическом планировании, а затем, работая в ставке и командуя флотом, претворял в жизнь планы войны на Черном море. Будучи без преувеличения выдающимся флотским офицером своего времени, А.В. Немитц имел свою точку зрения (зачастую не совпадающую с мнением вышестоящего начальства) на вопросы по кругу своей служебной деятельности и имел гражданское мужество отстаивать собственное мнение, иногда во вред своей карьере. Эти обстоятельства придают особую ценность его рассуждениям и оценкам, содержащим целый пласт ранее неизвестных сведений и неожиданных выводов по многим проблемам применения отечественного военно-морского флота.

С некоторой долей условности к разряду мемуарных источников можно отнести неоднократно публиковавшиеся протоколы допросов А.В. Колчака (командующий Черноморским флотом в 1916–1917) Чрезвычайной следственной комиссией в Иркутске в 1920 г. В своих показаниях, являющихся, по существу, подробной автобиографией, адмирал проливает свет на многие детали своей служебной деятельности, а также анализирует и оценивает строительство и применение отечественного флота накануне и в период Первой мировой войны [Допрос Колчака, 1925; Верховный правитель России…, 2003, с. 11–99]. «Эта книга…, — справедливо отмечает автор опубликованной в 1926 г. рецензии, — может считаться замечательным документом, характеризующим годы подготовки флота к войне 1914 года и участие в ней. В то время как за границей в этой области вышел целый ряд капитальнейших трудов, разного рода мемуаров, тактических исследований и т.п., представлена разнообразная литература, вплоть до памфлетов, мы страдаем значительным недостатком такого рода сочинений, и каждый новый источник может сослужить большую пользу…» [Amicus Noster, 1926, с. 145, 146].

Любопытная деталь. Давая ответы на вопросы членов следственной комиссии, А.В. Колчак между делом присвоил себе авторство высочайше одобренной в 1906 г. «Объяснительной записки о реорганизации Главного Морского Штаба» [Щеглов, 1906], в которой обосновывалась необходимость учреждения Морского генерального штаба как органа стратегического планирования и управления силами флота. Когда в 1923 г. в Берлине протоколы допроса были опубликованы И.В. Гессеном в сборнике «Архив русской революции», столь вольная интерпретация Александром Васильевичем обстоятельств создания генмора немало возмутила бывшего в эмиграции капитана 1 ранга А.Н. Щеглова — действительного автора упомянутого документа и инициатора создания Морского генерального штаба. В одном из писем И.К. Григоровичу (предположительно в 1928) А.Н. Щеглов писал: «Морской генеральный штаб был создан по моей мысли и моей записке» [ГАРФ. Ф. р-5970. Оп. 1. Д. 141. Л. 4].

Среди мемуаров сотрудников морских органов ставки центральное, на наш взгляд, место занимает выдержавшая несколько изданий (первое — в Нью-Йорке в 1955 г.) книга А.Д. Бубнова, который состоял флаг-капитаном Военно-морского управления, затем Морского штаба

главковерха и осенью 1917 г. возглавлял флотский орган верховного командования. В этом сочинении приводятся развернутые, хотя, разумеется, не всегда беспристрастные характеристики некоторых флотских руководителей и должностных лиц ставки, уникальные сведения об организации ее работы и, главное, компетентные суждения о роли морских структур Штаба Верховного главнокомандующего в управлении действующими флотами [Бубнов, 1995].

Более компактны, но не менее интересны неопубликованные «Воспоминания вице-адмирала Д.В. Ненюкова» (датированы 1925 г.), выявленные в коллекции Русского заграничного исторического архива российским историком В.Б. Кашириным. Дмитрий Всеволодович, возглавлявший в 1914–1916 гг. Военно-морское управление при Верховном главнокомандующем, высказал целый ряд существенных замечаний об организации и эффективности работы «флотских» органов ставки, а также общем ходе военных действий на российских морских театрах Первой мировой войны [ГАРФ. Ф. р-5881. Оп. 2. Д. 530. Л. 1–110].

Определенную ценность представляют наблюдения о работе ставки из воспоминаний великого князя Кирилла Владимировича, который, как известно, был морским офицером и в годы Великой войны служил в Военно-морском управлении, затем в Морском штабе Верховного главнокомандующего [Кирилл Владимирович, вел. кн., 2006]. Особый статус члена царствующей династии (в частности, выходящее за рамки обычной служебной субординации и недоступное подавляющему большинству чинов ставки личное общение с императором) позволил Кириллу Владимировичу сделать весьма критические выводы о деятельности органа стратегического руководства вооруженными силами.

Обращение к мемуарам Б.П. Апрелева позволяет существенно дополнить представление о стиле работы и организации повседневной деятельности Морского генерального штаба и Военно-морского управления при Верховном главнокомандующем, конкретизировать некоторые обстоятельства, связанные с эскалацией обстановки в Черном море после прорыва германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Дарданеллы в августе 1914 г., а также пролить свет на организацию сотрудничества Морского генерального штаба с французскими коллегами (в частности, результаты визита группы офицеров генмора во Францию в июне 1914 г. [Апрелев, 1935, с. 101–115]), мотивы ключевых решений верховной власти и командования флота Черного моря в преддверии войны с Турцией [Апрелев, 1930, с. 41–43].

Некоторые подробности о работе военно-морских органов ставки можно обнаружить и в воспоминаниях М.К. Лемке, проходившего службу в Управлении генерал-квартирмейстера Штаба главковерха [Лемке, 2003]. Наряду с тщательно зафиксированными личными наблюдениями автора, эта работа содержит значительное количество текстов документов ставки, фронтовых и армейских управлений и других военных и правительственных учреждений.

Из числа мемуаристов, служивших в штабах командующих флотами, выделим прежде всего С.Н. Тимирева, возглавлявшего в 1915–1916 гг. распорядительную часть штаба Балтийского флота [Тимирев, 2008]. Ценность принадлежащих его перу «Воспоминаний морского офицера»[2] состоит, на наш взгляд, не только в подробном изложении деталей «кухни» штабной работы, но и личностных характеристиках и особенностях отношений в среде флотского истеблишмента, которые, как это и бывает обычно, оказывали существенное влияние на функционирование контура управления силами флота.

В записках А.А. Саковича, бывшего во время мировой войны старшим флаг-офицером оперативной части штаба командующего Балтфлотом, приводятся любопытные сведения, касающиеся механизма принятия оперативных решений. На примере выработки замыслов

и принятия решений на так называемую Мемельскую операцию и на перевод в Рижский залив линейного корабля «Слава» (в июне и в июле 1915 г. соответственно) автором проанализирована деятельность разведывательного отделения, оперативной части, а также личная работа начальника штаба и командующего флотом. При этом А.А. Сакович делает интересные, хотя, на наш взгляд, не бесспорные выводы относительно профессиональных и деловых качеств высших должностных лиц флота — командующего вице-адмирала В.А. Канина, флаг-капитана по оперативной части капитана 1-го ранга А.В. Колчака, его помощника капитана 2-го ранга князя М.Б. Черкасского, начальника 1-й бригады крейсеров контр-адмирала М.К. Бахирева и др. Весьма дискуссионными и не лишенными политической конъюнктуры выглядят тезисы о «сугубой пассивности, робости и бедности оперативного мышления» командования Балтфлота, страдающего, по мнению А.А. Саковича, «отсутствием воли к борьбе» и впадающего «в умственную панику при одном намеке на риск» [Сакович, 1931, с. 91].

Р.Р. Левговд, бывший в годы Великой войны флаг-офицером штаба командующего флотом Черного моря, в своих записках зафиксировал любопытные сравнительные наблюдения стилей работы штаба при А.А. Эбергарде и А.В. Колчаке [Левговд, 2008, с. 126–160].

Фрагментарные сведения о работе оперативных подразделений органов управления содержатся в воспоминаниях М.И. Смирнова, служившего в предвоенные годы в Морском генеральном штабе [Смирнов, 1929, с. 59–78], и, в известной мере, И.А. Кононова, возглавлявшего в преддверии мировой войны оперативную часть штаба командующего морскими силами Черного моря [Кононов, 1961].

Среди мемуаров армейских офицеров, имевших отношение к военно-морскому флоту, особое место занимают неопубликованные воспоминания С.Н. Сомова, который с осени 1915 г. до окончания военных действий состоял помощником начальника военно-сухопутного отдела оперативной части, а затем самостоятельной военно-сухопутной части штаба командующего Черноморским флотом [ГАРФ. Ф. р-6378. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–462]. Самобытность этого источника состоит прежде всего в том, что он является одним из очень немногих «флотских» мемуаров, принадлежащих перу армейского офицера, не связанного корпоративными узами с персонажами своих записок. Чрезвычайный научный интерес представляют подробные данные о совместных действиях Черноморского флота и Кавказской армии в ходе Эрзерумской и Трапезундской операций зимой и весной 1916 г., поскольку решение вопросов взаимодействия с сухопутными войсками входило в круг непосредственных служебных обязанностей мемуариста. В отличие от упомянутых выше воспоминаний, написанных в большинстве своем моряками, сочинение С.Н. Сомова является своеобразным «свежим взглядом со стороны» и поэтому содержит абсолютно беспристрастные рассуждения автора о широком спектре проблем, связанных со службой штаба флота Черного моря.

Последнее относится и к запискам Ф.П. Рерберга, состоявшего начальником штаба Севастопольской крепости и по делам службы работавшего в тесной связи со штабом Черноморского флота. В заметках Ф.П. Рерберга можно встретить весьма ценные наблюдения о работе этого органа управления в бытность вице-адмирала А.В. Колчака командующим флотом [Рерберг, 2008, № 10, с. 66–69; № 11, с. 52–58; № 12, с. 59–65].

Пласт мемуаров командиров тактического звена гораздо более объемен. Здесь отметим прежде всего книгу-дилогию Г.К. Графа, который большую часть войны проплавал на одном из

лучших и активнейших кораблей Балтийского флота — эскадренном миноносце «Новик» — и лично участвовал во многих боевых делах [Граф, 1997]. Книга Гаральда Карловича, который попытался встроить свои личные наблюдения в общий очерк борьбы на морских театрах Великой войны, стала первым широко известным за границей трудом о деятельности Российского флота в 1914–1917 гг. Более того, в первые послевоенные годы эта книга (впервые издана в Мюнхене в 1922 г.) являлась для зарубежных исследователей едва ли не единственным российским источником информации о событиях в Балтийском и Черном морях. Вместе с тем, сочинение Г.К. Графа, бывшего ортодоксальным монархистом и отчасти германофилом, — яркий образчик политической ангажированности. В силу этого текст обильно пересыпан разного рода слухами, оскорбительными пассажами в адрес не только «евреев-большевиков», но и бывших сослуживцев — «ренегатов», оставшихся в Советской России, и т. п.

Этим пафосом проникнуты и записки черноморского подводника, а впоследствии редактора бизертинского «Морского сборника» Н.А. Монастырева. В журнале, который издавался в немыслимо трудных условиях и часто на собственные скудные средства Нестора Александровича, он опубликовал цикл рассказов-воспоминаний [Монастырев, 2003, с. 23–38, 48–51], а в 1928 г. подготовил рукопись книги «Записки морского офицера». Эта работа была опубликована на немецком языке в Берлине в 1930 г., а затем, в 1995 г., издана в России в обратном переводе под заголовком «Гибель царского флота» [Монастырев, 1995].

Впервые опубликованные в 2007 г. воспоминания контр-адмирала А.К. Вейса содержат новые сведения о действиях 1-й бригады крейсеров в ходе минных постановок, «Мемельской операции» 1915 г., деятельности надводных сил на неприятельских коммуникациях. Первостепенный, на наш взгляд, интерес представляют суждения автора о боевой деятельности возглавляемой им в 1916–1918 гг. дивизии сторожевых судов, составлявшей основу группировки противолодочных сил Балтийского флота [Вейс, 2007, с. 34–55].

Уникальные подробности боевой деятельности флота Балтийского моря содержатся в воспоминаниях известного советского военно-морского теоретика и историка контр-адмирала В.А. Белли, написанные автором на склоне лет, в 1960–1970-х гг. В кампаниях 1916 и 1917 гг. автор служил в штабе минной дивизии, являвшейся ядром разнородной оперативной группировки — Морских сил Рижского залива, поэтому содержащиеся в книге данные о подготовке десантной операции в Рижском заливе в 1916 г., организации взаимодействия сил флота с войсками 12-й армии являются информацией «из первых рук» и в этом смысле представляют значительную ценность. Кроме того, Владимир Александрович впервые проливает свет на один из любопытнейших сюжетов истории Балтфлота и дает ответ на вопрос: почему командующий флотом адмирал Н.О. фон Эссен при всем своем огромном авторитете и особом отношении к нему со стороны государя не пошевелил пальцем, чтобы устранить абсурдное подчинение флота Балтийского моря 6-й армии, установленное с началом войны?[3] По наблюдению В.А. Белли, Н.О. фон Эссен, «учитывая горький опыт русско-японской войны, ни в коем случае не хотел подчиняться Адмиралтейству» [Белли, 2005, с. 278]. Весьма вероятно, что стремлению командующего Балтфлотом минимизировать служебные контакты с морским министром способствовали и весьма непростые личные отношения между И.К. Григоровичем и Н.О. фон Эссеном, сложившиеся еще со времен их совместной службы в Порт-Артуре в 1904 г. [Эссен, 2008, с. 551–619].

Несколько особняком по своей тематике стоит книга капитана 1-го ранга Г.К. фон Шульца, который с марта 1915 г. до конце войны состоял официальным российским представите-

лем при великобританском флоте [Шульц, 2000]. Это произведение уникально по нескольким основаниям. Прежде всего, Густав Константинович оказался единственным союзным представителем при Гранд Флите, который выступил со своими мемуарами. Будучи к началу мировой войны опытным моряком (в 1890-х годах он дважды ходил на Дальний Восток, затем командовал кораблями, в том числе крейсером «Адмирал Макаров»), Г.К. фон Шульц блестяще справился со своими дипломатическими обязанностями, которые, кстати, не были сколь-нибудь определенно регламентированы и определялись исключительно инициативой и рвением офицера. Автор создал весьма яркое и не лишенное литературных достоинств описание событий и людей, с которыми ему пришлось столкнуться в Англии, и поэтому вполне закономерно, что эта книга в 1920-х выдержала не менее шести изданий на пяти языках и стала своеобразным бестселлером (к сожалению, в нашей стране она увидела свет только в 2000 г.).

Многочисленные мемуары морских офицеров младшего и среднего звена — В.В. Альгина [Альгин, 2003, с. 90–94], М.А. Бабицына [Бабицын, 2010, с. 11–16], Г.М. Веселаго [Веселаго, 1952, № 1/2, с. 28–36; № 3, с. 22–28], А.В. Зернина [Зернин, 1995; 2003, с. 52–73], Н.В. Кемарского [Кемарский, 1951, с. 68–72], М.А. Китицына [Китицын, 1960, с. 3–28], В.М. Костенко [Костенко, 1952, Vol. 10, № 1/2, с. 37–51; 1953, Vol. 11, № 1/2, с. 34–41], В.И. Лепко [Лепко, 1941, с. 35–53], К.И. Мазуренко [Мазуренко, 1949], Н.А. Петрова [Петров, 2010, с. 81–99], Е.Н. Фрейнберга [Фрейнберг, 1995, с. 85–87], Г.К. Четверухина [Четверухин Г., 1989, № 10, с. 90–95; № 11, с. 89–93; № 12, с. 83–87; 1990, № 2, с. 90–95; № 3, с. 90–95; № 4, с. 86–92], М.М. Четверухина [Четверухин М., 1948, № 1, с. 52–66; № 2, с. 45–56; № 3/4, с. 44–61] и др. — публиковались в формате самостоятельных работ или печатались в советской и эмигрантской периодике. При этом зачастую публикация воспоминаний немало способствовала не только актуализации представлений о многих эпизодах борьбы на российских морских театрах, но и возвращению из забвения имен героев Великой войны, реабилитации честного имени исторических персонажей, действия которых были впоследствии неверно истолкованы или просто оболганы.

Так, М.А. Мурзин, который во время сражения за Рижский залив в августе 1915 г. в чине лейтенанта исполнял должность старшего офицера канонерской лодки «Сивуч», в 1950 г. опубликовал в нью-йоркском журнале «Морские записки» воспоминания о последнем бое и гибели своего корабля. При этом он походя обвинил командира канлодки «Кореец» капитана 2-го ранга И.К. Федяевского в том, что он, вступив в бой с превосходящим противником вместе с «Сивучем», затем «бросил на произвол судьбы своего товарища» [Мурзин, 1950, с. 49–52]. Это неуместное обвинение, очевидно, стало следствием неосведомленности автора о предварительной договоренности командиров канонерских лодок. За доброе имя И.К. Федяевского вступился его старый соплаватель А.Н. Павлов, живший в Испании. В открытом письме, опубликованном в том же издании, он, в частности, писал: «Что стало бы с кораблем, если бы его командир… застопорил машину? В лучшем случае командиру “Позена” (германский линейный корабль. — *Д. К.*) пришлось бы подобрать из воды втрое больше раненых — пленных. Только ночь и хладнокровие могли спасти “Корейца” от артиллерии противника, и, исполняя долг военного и командира, сознававшего безнадежность положения несчастных кораблей, Иван Константинович довел остатки того, что было “Корейцем”, пройдя рифы, к береговым укреплениям».

Наконец, нельзя не упомянуть о фрагментарных военно-морских сюжетах, содержащихся в воспоминаниях государственных деятелей, имевших отношение — пусть и опосредо-

ванное — к флотским делам. Освещение этого достаточно обширного пласта мемуарной литературы не входит в число наших задач, поэтому ограничимся лишь несколькими примерами. Так, немало любопытных деталей, связанных с развитием Российского флота перед Первой мировой войной, отражено в воспоминаниях В.Н. Коковцова, который в 1911–1914 гг. возглавлял Совет министров и приложил немало усилий к принятию программ военного кораблестроения [Коковцов, 1992]. Мемуары известного российского дипломата и юриста-международника барона М.А. Таубе содержат некоторые сведения о международно-правовых аспектах деятельности отечественного флота во время Великой войны [Таубе, 2007]. Этот список, разумеется, далеко не полон.

Итак, русский военно-морской мемуарный фонд Первой мировой войны представлен более чем полусотней опубликованных произведений и несколькими рукописями, отложившимися в архивных коллекциях и все еще ждущими широкой читательской аудитории. Формат мемуаров различен — от кратких очерков, повествующих об отдельных эпизодах борьбы на русских морских театрах Великой войны, до капитальных ретроспективных трудов со сложной композицией. Различно и их содержательное наполнение — от незамысловатого нарратива до солидных мемуарно-исследовательских произведений с глубоким анализом событий, пережитых страной и ее флотом на одном их переломных этапов истории.

Воспоминаниям моряков Первой мировой войны в полной мере свойственны все природные недостатки мемуаров как исторического источника — субъективный, а подчас и идеологизированный подход к освещаемым сюжетам, трудность, а иногда невозможность проверить достояние человеческой памяти информацией из официальных документов, определенная фактографическая небрежность и, наконец, естественное стремление авторов оттенить, а может быть и гиперболизировать собственные достижения и успехи, несколько стушевав ошибки и промахи. Однако при всем этом научная ценность этих текстов несомненна, так как обращение к мемуарам позволяет выявить многие детали, оставшиеся «за кадром» в исторических исследованиях, истинные, а не продекларированные мотивы управленческих решений, особенности характеров исторических персонажей и перипетий их взаимоотношений, — словом, существенно дополнить, а иногда и актуализировать картину, сформированную на основе официальных бумаг.

Для иллюстрации нашего резюме вернемся к творчеству одного из наиболее ярких мемуаристов Первой мировой войны — капитана 2-го ранга Бориса Петровича Апрелева, который сформулировал кредо, если угодно предельно спрессованный манифест людей, которые взялись за перо, чтобы внести посильный вклад в сохранение исторической памяти о Великой войне: «Я думаю, что мои воспоминания, весьма возможно, не всегда точные, ибо я пишу исключительно на память, помогут восстановить многое, что было бы забыто…» [Апрелев, 1930, с. 41].

[1] Морской министр являлся прямым начальником флота и морского ведомства только в мирное время. Согласно ст. 29 Морского устава в военное время командующие флотами поступали в подчинение императору или назначенному им главнокомандующему [Свод морских постановлений..., 1914, с. 5].

[2] Впервые изданы в Нью-Йорке в 1961 г. с подзаголовком «Балтийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.)».

[3] Приказом главнокомандующего 6-й армией генерал-адъютанта Николая Николаевича от 18 (31) июля 1914 г. № 1 объявлялось о подчинении ему «на правах Главнокомандующего, по морскому уставу, Балтийского Флота» [РГВИА. Ф. 2126. Оп. 2. Д. 1. Л. 1].

Список литературы

Альгин В.В. Последнее боевое столкновение в Черном море // Бизертинский «Морской сб.» 1921–1923: Избранные страницы. М., 2003.

Апрелев Б. «Гебен» в войну 1914–18 г.: (Воспоминания о роли германского линейного крейсера «Гебен» в минувшую войну 1914–1918 гг.) // Зарубежный морской сборник (Пильзень). 1930. № 9.

Апрелев Б. Перед грозой: (Личные воспоминания) // Исторические очерки. Кн. 2. Шанхай, [1935].

Бабицын М.А. У немецких берегов / Публ. П.Д. Лукина // Гангут. Вып. 57 (2010).

Белли В.А. В Российском Императорском флоте: Воспоминания. СПб., 2005.

Бубнов А.Д. В царской ставке. СПб., 1995.

Вейс А.К. На крейсере «Баян» в годы Первой мировой войны // Гангут. Вып. 44 (2007).

Верховный правитель России: документы и материалы следственного дела адмирала А.В. Колчака / Под ред. А.Н. Сахарова и В.С. Христофорова. М., 2003.

Веселаго Г.М. Несколько эпизодов из моей службы в Черноморском флоте 1915–17 гг. // Морские записки (Нью-Йорк). 1952. Vol. 10. № 1/2, 3.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. р-5881. Оп. 2. Д. 530.

ГАРФ. Ф. р-5970. Оп. 1. Д. 141.

ГАРФ. Ф. р-6378. Оп. 1. Д. 1.

ГАРФ. Ф. р-6666. Оп. 1. Д. 18.

Граф Г.К. На «Новике»: Балтийский флот в войну и революцию / Предисл. и коммент. В.Ю. Грибовского. СПб., 1997.

Григорович И.К. Воспоминания морского министра. Кронштадт; М., 2005.

Допрос Колчака / Под ред. и с предисловием К.А. Попова. Л.: Госиздат, 1925.

Дудоров Б. Авиация Балтийского моря 1912–1917 гг. (по воспоминаниям) // Морские записки (Нью-Йорк). 1948. Vol. 6. № 1, 2.

Дудоров Б.П. Адмирал Непенин / Предисл., библ. справочник А.К. Иоффе, В.Н. Фортуньянц. СПб., 1993.

Елизаров М.А. Убийства флотских офицеров в период Февральской революции 1917 г. // Воен.-ист. журнал. Интернет-приложение (www.mil.ru). 2007. № 1 (5).

Зернин А. Балтийцы. М., 1995.

Зернин А. Первый поход подводной лодки «Волк» (19 мая 1916 года) // Бизертинский «Морской сборник» 1921–1923: Избранные страницы. М., 2003.

Кемарский Н.В. День 4/17 августа 1915 г. в Ирбенском проливе // Морские записки (Нью-Йорк). 1951. V. 9.

Кирилл Владимирович, вел. кн. Моя жизнь на службе России. С приложением биографического очерка о великой княгине Виктории Федоровне. М., 2006.

Китицын М.А. На подводной лодке «Тюлень» // Морские записки (Нью-Йорк). 1960. Vol. 18. № 3.

Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания. 1903–1919 гг. В 2 кн. М., 1992.

Кононов И.А. Пути к голгофе русского флота. Нью-Йорк, 1961.

Костенко В.М. В клубе «самоубийц»: Дивизия траления Балтийского моря в 1914–17 гг. // Морские записки (Нью-Йорк). 1952. Vol. 10. № 1/2; 1953. Vol. 11. № 1/2.

[*Левговд Р.Р.*] «С уходом А.В. Колчака закрылась последняя светлая страница истории Черноморского флота»: Воспоминания Р.Р. Левговда / Публ. В.И. Шишкина // Ист. архив. 2008. № 5.

Лемке М.К. 250 дней в царской ставке 1914–1915. Минск, 2003.

Лепко В.И. Из записок старого штурмана // Морской сборник. 1941. № 6–7.

Лиддел Гарт Б.Г. Правда о Первой мировой войне / Пер. с англ. О. Триэля. М., 2009.

Мазуренко К.И. На «Славе» в Рижском заливе. Jonanville (N. Y.), 1949.

Монастырев Н.А. Гибель царского флота / Пер. с нем. СПб., 1995.

Монастырев Н.А. На «Жарком». Отрывок из воспоминаний // Бизертинский «Морской сб.» 1921–1923: Избр. страницы. М., 2003.

Монастырев Н.А. На «Морже» // Бизертинский «Морской сборник» 1921–1923. М., 2003.

Монастырев Н.А. Страница из войны // Бизертинский «Морской сборник» 1921–1923. М., 2003.

Мурзин М.А. Гибель канонерской лодки «Сивуч» // Морские записки (Нью-Йорк). 1950. Vol. 8. № 2.

Назаренко К.Б. Флот, революция и власть в России: 1917–1921. М., 2011.

Немитц А.В. Недавнее прошлое русского флота (по личным воспоминаниям) // Гражданская война в России: Черноморский флот. М., 2002.

«Один из возмутительнейших эпизодов нашей революции»: Записки комиссара Временного правительства В.Н. Пепеляева о событиях в Кронштадте в марте–июне 1917 г. / Публ. В.И. Шишкина // Ист. архив. 2007. № 4. С. 70–110.

Петров Н.А. Из жизни подводной лодки «Гепард» // Кортик. Вып. 11 (2010).

Протоколы допроса адмирала А.В. Колчака чрезвычайной следственной комиссией в Иркутске 21 января — 7 февраля 1920 г. // Архив русской революции, издаваемый Г.В. Гессеном. [Т.] X. Берлин, 1923.

Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте / Публ. А.В. Ганина // Воен.-ист. журнал. 2008. № 10–12.

Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 716. Оп. 1. Д. 63.

РГАВМФ. Ф. р-29. Оп. 1. Д. 199.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2126. Оп. 2. Д. 1.

Русин А.И. Подготовка Российского флота к мировой войне: (Из доклада, прочитанного в Париже на торжественном заседании памяти Императора Николая II) // Морской журнал (Прага). 1934. Вып. 80/81 (8/9).

Русин А.И. Из воспоминаний о Морском корпусе // Морской журнал (Прага). 1935. Вып. 95 (11).

Сакович А. Заметки оперативного работника // Морской сборник. 1931. № 9–10.

Свод морских постановлений. Кн. 10. Морской устав. Пг., 1914.

Смирнов М. Краткий обзор оперативных идей, положенных в основу организации и подготовки Русского флота к войне в период 1906–1914 года: (Воспоминания) // Зарубежный морской сб. (Пильзень). 1929. № 7–8.

Тимирев С.Н. Воспоминания морского офицера. СПб., 1998.

Фрейнберг Е.Н. Опасный приз // Морской сб. 1995. № 10.

Цветков И.Ф. Послесловие // Григорович И.К. Воспоминания морского министра. Кронштадт; М., 2005.

Четверухин Г.К. Сполохи воспоминаний // Морской сб. 1989. № 10–12; 1990. №№ 2–4.

Четверухин М. Три встречи с «Гебеном» // Морские записки (Нью-Йорк). 1948. Vol. 6. № 1, 2, 3/4.

Шульц Г.К. фон. С английским флотом с мировую войну: Воспоминания представителя русского флота при английском Гранд Флите. СПб., 2000.

[*Щеглов А.Н.*] Значение и работа штаба по опыту русско-японской войны. Ч. II. Объяснительная записка о реорганизации Главного Морского Штаба. [СПб., 1906.]

Эссен Н.О. фон. Воспоминания об осаде Порт-Артура 1904 г. // Из истории Русско-японской войны 1904–1905 гг. Порт-Артур. Т. II. Воспоминания участников / Под ред. В.П. Козлова, сост. И.В. Карпеев и др. М., 2008.

Amicus Noster. «Допрос Колчака» [рецензия на советское издание 1925 г.] // Морской сб. 1926. № 4.

Бен Хеллман

Мобилизация детей: военная тематика в журналах для детей и юношества периода Первой мировой войны

В годы Первой мировой войны в России выходило 18 журналов для детей и юношества[1]. На войну все они реагировали по-разному: объяснением ее подоплеки и цели, патриотическими стихотворениями, приключенческими рассказами, сценами из детской жизни или — молчанием. Шла мобилизация русских детей, но заметно было и стремление оградить их от мировой трагедии взрослых.

В августе 1914 г. восемь журналов дали объяснение в своих передовых статьях причин войны и роли России в ней, одновременно прояснив свою позицию в предстоящей борьбе. «Война — жестокое, злое дело», — писало «Задушевное слово». «Много гибнет людей в битвах, много падает раненых, много разрушается сел и городов, много пропадает добра и сил. Но Россия должна, вынуждена воевать, так как на нее нападают»[2]. Россия не хотела войны, наоборот — Государь и его правительство делали все, чтобы избежать ее, но надо было защищать «Матушку-Русь», а вместе с ней и братские славянские народы. Немцы стремились на Восток, они хотели уничтожить славянские государства и превратить славян в своих рабов. Кроме того, Россия должна была освободить Европу от «гнета немецкой военщины» и таким образом обеспечить человечеству мир[3]. В. Немирович-Данченко, имея за плечами опыт нескольких войн, был полон оптимизма: результатом войны будет «новая эра благополучия и единства»[4].

Во многих журналах стали регулярно публиковать документальный, познавательный материал: манифест царя, план-карты, летописи войны, портреты военных деятелей и фотографии. Находились вдохновляющие параллели из военной истории России, прежде всего Отечественной войны 1812 г. Международная солидарность с первыми жертвами войны, Сербией, Бельгией и Польшей, была засвидетельствована публикацией материалов по их географии и культуре.

Детский взгляд на военные события исполнен смятения и беспокойства. Папа одет в униформу, мама плачет, никто не отвечает на вопросы. «Зачем его папа им понадобился? <...> Зачем папа нужен немцам?» — думает Петя[5], а девочка в стихотворении А. Пиотровский готова отдать врагу все свои игрушки (кроме медвежонка и Бобки), только бы перестали воевать и дали папе вернуться домой[6]. Витя услышал от няни, что папочка пошел воевать с немцем: «Потому немец нашу землю отнимать хочет, народ теснит и солдат бьет... Ну, его угомонить и надо»[7]. У него есть кукла, которую назвали «немец», и теперь он бьет ее из-за того, что она сделала папе «бо-бо». А маленькая Танюша не может понять, почему мама так редко дома, но успокаивается, когда узнает, что она шьет рубашки для солдат вместе с другими женщинам[8].

Что требовалось от детей и юношества во время войны? Во многих произведениях — стихотворениях и рассказах — предлагаются готовые модели поведения. У всех есть свое

место и свое дело во время войны, и от всех, даже от самых маленьких детей, требуются теперь жертвы. Павлик обещает слушать маму, пока папа на войне[9]. Маленькая Маруся в рассказе Евгения Шведера решает сама убирать детскую, чтобы мама могла помогать раненым солдатам[10]. Теперь нет времени для игр, осознает героиня Марии Пожаровой, чувствуя себя взрослой. Маме надо помогать, пока отец воюет «за святую Русь»[11]. В бедных семьях детям приходиться заменять отца, призванного в армию, и обеспечивать семью. Такова задача у 11-летнего Пети[12] и у 14-летнего Миши, заменившего своего отца в роли извозчика[13]. У Леонида Черского и Н. Зореча мы тоже встречаем детей, которым приходиться зарабатывать деньги для нужд семьи[14].

Дети активно участвовали в сборах в пользу солдат, раненых и семей павших. Журналы «Задушевное слово», «Детский мир» и «Незабудки» непосредственно участвовали в благотворительной деятельности, прося пожертвования у своих читателей. Число произведений, описывающих сбор денег и подарков для солдат, оказывается довольно большим. Маленький Коля организует концерт для своих кукол и полученный «вступительный взнос» отдает в пользу раненых[15]. Круглый сирота дарит свои копеечки в Красный Крест[16], а другой бедняк-сирота посылает гребенку, единственное свое имущество, солдатам на фронте[17]. Маленькая Катя отдает кукольный платок в пользу раненых[18], а мальчики у М. Толмачевой посылают солдатам «леденчики»[19]. Всегда радостно, когда дети получают письма-благодарности за свои подарки. Тогда они знают, что работали не зря[20]. Девочка Ануся у Ольги Мар[21] и дети из рассказа Е. Понюшевой[22] вяжут теплые шарфы для солдат. Молодая девушка, отец которой ушел на войну, раздает варежки и валенки замерзшим раненым солдатам[23]. Бывают и коллективные работы. У Леонида Черского весь класс гимназии выполняет свой долг перед отечеством, изготовляя белье для раненых и собирая деньги, чай, конверты и бумагу[24].

Непосредственный контакт с войной происходит во время ухода за ранеными. У Т. Ефименко деревенская школа превращается в лазарет. Все школьники готовы помогать. Работа — их долг: «Ведь они сражались за нас, правда? Они мучаются за нас»[25]. Сережа провожает своего брата, добровольца Володю, на вокзал, и там он видит раненых солдат и понимает, что его долг — помогать им и радовать их[26]. Если нет возможности или умения ухаживать за раненым, можно помогать им писать письма[27]. Для солдат свидания с детьми важны сами по себе. Когда маленький Костя приходит с папой в лазарет, все солдаты тронуты встречей с мальчиком[28]. Неожиданный трагический тон смешивается с филантропическим восторгом в рассказе «Несносный» Л. Авиловой. Несносный школьник Васька, который любит играть в войну, провожает свою сестру в лазарет. Там он знакомится с тяжело раненным солдатом. Но когда его новый друг из-за повреждения мозга сходит с ума, Васька теряет свое наивное отношение к войне — он уже не в состоянии посещать лазарет[29].

Дома маленькие дети играют в войну. Девочки — сестры милосердия — ухаживают за ранеными-куклами[30], а во дворе мальчики играют в снежки[31]. В детской трое офицерских детей играют в войну оловянными солдатиками. У 7-летней Лиды в руке вилка: ей можно заколоть немцев, если те нападут. «Когда мы большие будем, вот много немцев-то набьем», гордо говорит ее брат, 11-летний Костя[32]. Такие воинственные сцены не были по душе всем детским писателям. Бабушка в рассказе М. Кладо, наблюдая за веселой игрой в войну в детской комнате, напоминает детям, что «настоящая война — грустное, тяжелое время и для воинов, и для всех нас». Теперешняя война, однако, справедливая, так как германский император «задумал покорить себе всех, кто не захочет быть с ним заодно»[33]. У Виктора Русанова

роль назидательницы отдана старой няне. Заметив, что маленький Федя оставляет врагов-солдатиков лежать на полу, она объясняет ему, что «раненый враг — уже не враг»[34]. За ними надо ухаживать, как это принято в России. В результате Федя делает лазарет из маленького ящика и складывает туда всех павших вражеских солдатиков.

Не все дети довольствуются играми — некоторые хотят участвовать в настоящей войне. В случае с самыми маленькими достаточно серьезной беседы, чтобы заставить их забыть о своих планах. Когда Саша у Л. Аренина узнает, что «Россию хотят обидеть» и что папа, офицер, поклявшийся верно служить «Царю и Родине», должен пойти на войну, он обещает маме, что он также будет защищать Родину, но только когда станет взрослым[35]. Сережа, который умеет хорошо стрелять из своего игрушечного ружья, хочет попасть на войну, но мама просит его не огорчать ее. Кроме того, «война — не забава, а страшное-страшное дело... Подрастешь — все узнаешь, а пока играй, веселись и учись, мой дорогой»[36]. Его ровесник Юрочка в рассказе О.Л. Д'Ора провожает своего отца на вокзал, одетый в униформу, с игрушечной саблей и пистолетом за ремнем. Он знает, что на войне стреляют из пушек и могут оторвать ногу, но он не боится. «О, если бы ему только позволили пойти бить немца! Он показал бы им!» Его участь — в одиночестве плакать в детской после расставания с отцом[37].

Дети постарше стремились осуществить свои планы и попасть на фронт в качестве добровольцев. Многочисленные письма читателей детских журналов свидетельствуют об этом. Двенадцатилетний читатель «Задушевного слова» Сережа Александров написал о своем огорчении, узнав, что его присутствие на фронте нежелательно: «... мне ужасно досадно и обидно, что я еще слишком юный, чтобы участвовать в подвигах против врага и защищать отечество. Как жаль, что у нас на войну не пускают юных разведчиков, как в Англии!»[38]. О молодых английских и французских добровольцах Сережа мог читать в том же журнале «Задушевное слово». О них читал и Ваня, герой рассказа Константина Баранцевича, который напрасно мечтает о выполнении своего «долга» на передовых позициях[39]. У Льва Гумилевского и К. Носилова молодые «добровольцы» тайно убегают из дома, но уже по пути к фронту оказываются разоблаченными и посланными домой[40]. Такой же была и официальная линия. В «Задушевном слове» цитировалась статья из «Русского слова», где офицер обсуждает этот актуальный вопрос. Каждый день в газетах можно читать о детях, приезжавших на фронт, но офицер подчеркивает, что место детей в школе — на войне они не нужны[41].

Одновременно детские и юношеские журналы не могли или не хотели отказаться от темы юных добровольцев, таким образом вольно или невольно поощряя мечты читателей об участии в боях. Во многих стихотворениях можно встретить юных добровольцев, прежде всего в роли разведчиков[42]. Рассказы о них построены по одной схеме: герою 12–13 лет, он сирота, хорошо понимает смысл войны, тайком едет на фронт, там его предупреждают о суровой действительности военной жизни, но в конечном счете позволяют остаться, он привыкает к тяжелым обстоятельствам, становится любимцем солдат, пишет для них письма, ходит в разведку, носит патроны во время боя, спасает раненых, наконец, сам оказывается ранен, приходит в себя в окружении славы в лазарете, откуда хочет как можно скорее вернуться на фронт. Такова военная карьера 12-летнего школьника Пети[43], Максимки из пекарни[44], 12-летнего Павла[45], 14-летнего пастуха Васейка[46], сироты Алексаши, получившего от солдат фамилию Находный[47], и 14-летнего Ивана Колянова, воспитанника полка с пяти

лет[48]. Автор последних двух рассказов Иван Митропольский — ветеран Русско-японской войны — заставляет своего молодого героя, попавшего в немецкий плен, восклицать: «Рад умереть за Царя и за Родину»[49].

Героями, даже не по своей волей, становятся дети и молодые люди, живущие в военной зоне. Стойкие патриоты, они отказываются отвечать на вопросы врага, заводят их по примеру Ивана Сусанина прямо в болото, берут в плен неосторожных вражеских солдат и офицеров и вовремя обнаруживают коварные планы врага. В некоторых случаях их расстреливают, но обычно в последнюю минуту появляются казаки[50].

Мечта девочек стать сестрами милосердия также была трудно осуществимой в действительности. «Я была ужасно огорчена ...», — пишет четырнадцатилетняя Наташа Волкова, когда выяснилось, что она слишком молода, чтобы быть принятой в санитарки[51]. В художественной литературе на образ сестры милосердия обращали меньше внимания, чем на мальчика-добровольца, но ее работу ценили высоко. Дядя Павел помогает 18-летней Асе Ростовской стать сестрой милосердия. Работа в Восточной Пруссии оказывается тяжелой, но она выдерживает все трудности. Неожиданно она находит среди раненых своего двоюродного брата — того, который в начале войны пытался всячески отговорить ее от участия в войне. Теперь он видит, как нужна ее работа, и извиняется[52]. В стихах чествовали не только тех, кто облегчал страдания раненых, «как Христос Святой учил»[53], но и тех, кто отдал свою жизнь в бою[54].

Главные герои художественных произведений военной тематики — русские солдаты. Они занимают все мысли матерей, жен и детей, бабушек и старых нянь, от них все время ожидают писем[55]. Они (прежде всего, казаки) храбро воюют[56], лежат в лазарете[57], возвращаются после ранения домой с Георгиевским крестом на груди[58] или лежат во вражеской земле под деревянным крестом[59]. Это те, «про которых впоследствии из века в век будут слагать песни и сказания, славя их несравненное мужество и великодушие, наряду с их скромностью и терпением»[60]. Долг теперешних детей — вспоминать в будущем жертв этой войны. Как написал Николай Асеев, «Чтоб, не зная имен их и чисел, / Вечно помнил ты грозные дни / И свой дух сохранил и возвысил, / Как тебя сохранили они»[61].

Детям и юношам предлагали множество портретов русских солдат, «богатырей», у которых мужество и находчивость[62] соединяются с подчеркнутой обыденностью[63]. Они свято любят свою «милую родину», «общую нам мать»[64], и, как большая семья, они разделяют с ней все радости и горе[65]. Они твердо верят в победу[66] и не боятся смерти, когда речь идет о спасении России[67]. Хвала защитникам Родины звучит и в стихах: «Ура вам, герои лихие / Ура от всех русских детей»[68].

Благо войны видится в том, что она соединяет всех, уравнивая социальные различия и классовые барьеры. Поссорившиеся родственники примиряются[69]. Семья дает приют незнакомой бабушке[70], знатная генеральша разрешает раненым солдатам отдыхать в ее саду[71]. Убедительным примером объединяющей силы войны служил рядовой, выносящий раненого офицера с поля боя в лазарет, рискующий при этом своей собственной жизнью[72]. Не удивительно, что автор комментирует связь армии и тыла следующим образом: «Да, великая сила в единении, когда “все за одного”, и один за всех»[73]. В то же время попытки сделать из царя символ единой России не имели успеха. Фотография царя и царской семьи публиковались редко, а Анна Ширяева осталась единственной, кто боготворил Николая II в стихах[74].

Проходя через испытания войны, человек изменяется к лучшему, так как опасности выявляют и усиливают лучшие стороны его характера. У К. Баранцевича ленивый 22-летний сту-

дент Саша ставит Родину выше науки и становится умелым офицером. Лежа в санитарном поезде, раненый герой твердо решает вернуться в университет после войны: «Через огонь обновился. Как сталь, например, закаляют через огонь, всякую заразу прогоняют огнем...»[75] Герой Е. Шведера, деревенский бездельник Козырь, возвращается с войны другим человеком[76], так же как и 15-летний доброволец Володя, который «пролил свою кровь за горячо любимую Родину» и теперь носит на груди Георгиевский крест. Повествователь комментирует: «Это война прямо-таки переродила его, да пожалуй и всех в России... Я никогда не запомню такого подъема и воодушевления»[77]. Даже 7-летний Антон, попавший в приют для солдатских детей, сильно меняется. Он был непослушным и трудным ребенком и даже убегал из приюта, но письмо с фронта от отца заставляет его примириться с ситуацией[78].

В повести воспитания «Дикарь» Лидии Чарской собрано множество ведущих мотивов военной прозы для детей[79]. Дима — сирота с незаслуженной плохой репутацией. Он хочет встать на ноги, и война создает для него подходящие условия. По образцу английских и французских скаутов-разведчиков он и его друзья основывают группу «Зоркая дружина», и русская армия, расположенная в Польше, с охотой принимает их в свои ряды. В плену у немцев Дима проявляет смелость и находчивость. Среди врагов он узнает своего старого знакомого, молодого барона фон Тага. Оказалось, что гордый и самодовольный (постоянные эпитеты немцев) Таг при первой возможности убежал в Германию, чтобы воевать против «русских животных». Диму хотят расстрелять, но, как всегда, вовремя появляются казаки. Дима оказывается в лазарете с раной в груди. Самое важное, однако, то, что «недавно угловатый, грубый и нелюдимый дикарь Дима неожиданно для всех оказался смелым, отважным героем»[80].

Союзники — Англия, Франция, Италия и Сербия — остались почти вне поля внимания русских детских писателей. Скорбь, патриотический подъем и преклонение перед отвагой короля Альберта были темами произведений о Бельгии[81]. Чувство солидарности становилось сильнее, когда речь шла о странах и краях, где присутствовала русская армия. Армянская деревня — место действия произведения Льва Зилова, где жители чествуют русских солдат, которые освобождают их от «неверных»[82]. В Галиции русины приветствуют русских как освободителей, зато венгры — враги России[83]. Об освобождающей миссии русской армии говорится также в рассказе Е. Сергеева «В Галицкой Руси». Отец молодого Грицко вынужден воевать против русских «братьев», но сам Грицко не согласился быть изменником. Галиция должна стать частью России, только так она сможет сохранить свою веру, язык и обычаи. Грицко становится «полковым дитем» у русских, выполняет разведывательные задания, спасает раненых солдат и радуется освобождению своего края[84]. Рассказ был опубликован в «Проталинке», который под руководством главного редактора А.П. Печковский открыто занимал панславистскую позицию. Там же можно найти и «Песни возрождающегося славянства», где та же программа выражена с помощью легенды о трех братьях — Русе, Лехе и Чехе: «Славянство, веками изнывающее под гнетом иноземцев, с надеждою обращает свои взоры на великий Русский народ, ожидая, что он, поборов своего исконного врага, принесет ему наконец так долго ими ожидаемую свободу и самостоятельность»[85].

Самое большое внимание доставалось, однако, Польше. Героев произведений на польскую тему, молодых и старых, соединяют ненависть к немцам и любовь к русским[86]. «Проклятые пруссаки, Иезус!» — восклицает польский сапожник рассказа Ф. Зарина-Несвицкого: «Перевешать их мало. Мало они пили польской крови! Хоть одного удалось бы приду-

шить, — умер бы спокойно»[87]. Если бы казаки не появились вовремя, немцы расстреляли бы каждого третьего жителя его деревни. Немецкая армия сжигает и разрушает, конфискует зерно и скот, оскверняет Божьи храмы и презрительно относится к местному населению. Одновременно немцы не могут понять сопротивления поляков и отношение к себе как к врагам. «Эта старуха хуже молодых», — говорят немецкие офицеры в повести «Бабушка в плену» П. Орловца. «Оне — первыя шпионки, — оне не понимают нашего благодеяния и того, что мы пришли избавить их народ от русского ига!»[88] Зато русские — простые, добродушные ребята, они — свои, и поляки используют все возможности, чтобы освободиться от «Каиновой печати» и перейти на их сторону[89]. На русских можно надеяться: «Русские нам родны: они почитают святых; ведь это же славяне! Они поднялись и идут за нас. <...> Господь Иисус поможет русским»[90].

Изображая жестокость и бесчеловечность врага, писатели не пожалели ни собственных сил, ни молодых читателей. Вражеские солдаты и офицеры расстреливают мирное население, разрушают и уничтожают. Дальше всех пошла В. Суворова. В рассказе «Западня» она рассказывает о преследовании галицких русинов: австрийцы вешают своих солдат, молившихся по православному обряду, расстреливают священников и сжигают их церкви[91]. «И зачем... зачем все это?..», — спрашивает ходящая на костылях грустная польская девушка-беженка[92]. Ответа нет.

Сквозной мотив в военной литературе для детей и юношества — «молитва». Что может сделать для России, ее армии и ее солдат даже маленький ребенок? Ответ дается неоднократно — молиться. Можно молиться, «чтобы Господь благословил победой оружие воинства нашего»[93], но можно — и за более мирные цели: «Дети, чистыми устами / Перед Богом помолитесь, / Чтоб победный мир с весною / Он послал на землю нам!»[94]. Алексей Липецкий просил детей молиться, чтобы битва закончилась[95], и этой же линии придерживалась и редакция журнала «Светлячок», желая «радости и покоя» всему миру, чтобы «все ужасы войны <...> остались позади». Редакционное наставление читателям было таким: «Пусть ни злоба, ни ненависть, ни безумная досада не омрачают вашего чистого сердца. Пусть искренняя, чистая молитва ваша будет только об умиротворении общей вражды <...>»[96]. Еще раньше, с первых дней войны, «Родник» предостерегал своих читателей от «грубости и жестокости, недостойных русского человека». Война рождает ожесточение, но русский народ и русская армия, в противоположность германцам, должны показать «справедливость и милосердие»[97].

Молиться можно было за Россию, за русскую армию, за отца и братьев, за мужа и сыновей, за то, чтобы они находились под божественным покровительством и возвращались с войны невредимыми[98]. Во многих произведениях дается свидетельство чудесной силы молитвы: благодаря ей сохраняется жизнь солдата[99]. Но и молитва не всегда помогает. У Сергея Есенина старая мать молится перед иконой за сына, который «Родину спасает» «в краю далеком». В молитве она видит упавшего сына на поле битвы с флагом в руке. Видение утешает ее, и она плачет «от счастья с горем»[100]. Такой же показательно патриотический мотив находим у М. Пожаровой. Внук бабушки на войне; она туда его «отпустила на подвиг святой». В своих мыслях она уже смирилась с возможностью его смерти: «Величье отчизны мне внука дороже, / И если погибнет он в славном бою, / Смиренно приму я печаль мою, Боже, / И милого встречу нездешнем краю»[101].

«Мы знаем: с нами Бог!» — восклицала Лидия Чарская[102], и в своем доверии к божественной помощи она была не одна. В бою солдаты могут чувствовать себя спокойными,

так как «Нас милует Общий Незримый Хранитель, / Его Пресвятая Благая Рука»[103], и тогда «злоба диких врагов бессильна»[104]. Чудо спасает жизнь солдат у Льва Зилова и Леонида Черского, которые искали охраны от вражеских пуль за статуями Христа[105]. Павшим готовы «нетленные венцы» и место на небесах[106]. Роль религии также важна в рассказе А. Севастьянова «Образок». Призванный мужик спокойно отправляется на мобилизацию: «Все во власти Божей...» Он прощается со своими: «Перекрестясь и отдав судьбу свою на волю Божию...» Когда он пытается в бою взять флаг из вражеской руки, в него стреляют, но икона на груди спасает его: «Божие чудо совершилось воочию»[107].

По своим темам, фабулам и идеям «военная литература» в детских и юношеских журналах не сильно отличается от соответствующей литературы для взрослых. Но некоторые различия все-таки можно найти. Например, в трактовке темы «животные на войне». Здесь чаще всего встречаются собаки и лошади, но попадаются также курица, петух, заец[108]. Типичное название произведения на подобный сюжет — «Истинный друг: Как лошадь спасла своего хозяина»[109]. Не только лошади, но и собаки осуществляют важную работу на передовых позициях[110]. Бывают ситуации, в которых солдат спасает животных[111]. Другая повторяющаяся тема — жалость к беженцам[112]. Грустные глаза, слезы, заброшенность, неуверенность в том, увидят ли они свой дом, — все это повторяется вновь и вновь. Анна Ульянова, сестра Ленина, различает среди беженцев на вокзале не только поляков, но и евреев. И если детям невозможно помочь чем-то конкретно, то можно как-то развеселить беженцев игрой на гармошке и танцами[113].

Однако прежде всего в литературе для детей и юношества можно найти множество примеров призыва к гуманности по отношению к врагу. Эта тема часто выражается словами «Ведь они тоже люди!». В сказочной форме эта мысль была выражена в рассказе «Дед Мороз на Карпатах» И. Ловича-Кошурова. Дед Мороз слышит от вороны, что за Карпатскими горами лежит много убитых. Он хочет наказать тех, кто начал войну, но когда он видит, как немецкая семья празднует Рождество, его сердце тает. Умиленный, он не может обращаться жестоко даже с виноватыми[114]. На фронте русские ухаживают за пленными или ранеными, не делая разницы между своими и чужими: они ко всем относятся милосердно[115]. В роли объекта жалости выступают прежде всего австрийцы, но это могут быть и турки, венгры и даже немцы. Рядовому солдату Сидорову становится «так светло, так радостно сердцу», когда он приносит раненого немецкого солдата назад на сторону врага[116]. Вражеские солдаты, попавшие в плен, боятся, так как их предупреждали о русской жестокости, но их принимают ласково и добродушно[117]. Военные сироты с той стороны границы получают новый дом и новую семью в России[118]. Мирное население, особенно дети, приходит в умиление при виде жалких военнопленных и дает им воду и пищу, помогает всеми возможными способами[119]. «Я думала, — они страшенные; а они — несчастненькие!...» — восклицает девятилетняя Мотря, давшая пленным врагам воды. «Жалость берет глянуть на них, дедушка!..»[120], «Под одним Богом ходим», — говорит старый Назар австрийским пленникам, вспоминая двух своих сыновей, плененных в Австрии[121]. Проблема детей в рассказе «Не-немка» И. Потапенко состоится в том, что гувернантка детей, фройляйн Фрида — немка, т. е. враг. Дети начинают плакать, когда узнают, что ее могут выслать вон из страны. В их глазах она «не-немка», а милая Fräulein Frida. В итоге ей разрешают остаться[122].

У Льва Зилова пять друзей-корреспондентов из Франции, Англии, Германии, Голландии и Сербии, соединенных общением на эсперанто, остаются друзьями, несмотря на войну.

Даже немец (подчеркивается, что он не пруссак, а саксонец) считает, что «война для всех страшное горе»[123]. Узнав о том, что его отец пал на войне, он пишет своим друзьям: «Вести о войне для меня какие-то пустые, точно они только печатаются, а на самом деле нет ни побед, ни поражений, а только сироты, раненые и убитые»[124]. Такое же, почти пацифистское, настроение (правда, у американских детей) встречаем в рассказе В.В. Брусянина «Корабль Рождественского деда». В Америке собирают деньги и игрушки для европейских детей, при этом важно, что «нет для детей Америки врагов, есть только дети»[125].

Но существовали и пределы того, что можно и что нельзя сказать. «Проталинка» сообщила в ноябре 1915 г., что обещанный в виде книжки-приложения рассказ «Мама на войне» не будет напечатан[126]. Речь, несомненно, идет о рассказе 1898 г. Валентины Дмитриевой. В своих письмах домой молодая сестра милосердия, участница Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., выражает свое отвращение к кровопролитию. Турок тоже человек, и точно так же, как русские, он страдает, смеется и плачет. Эта мысль заставляет детей медсестры перестать играть в войну, и, когда их мать наконец возвращается, они по-христиански молятся о спасении врага.

Как сказано выше, были и журналы, которые избегали военной темы. Например, «Детский мир», «Доброе утро», «Жаворонок», «Золотое детство» (редактором которого был брат А.П. Чехова) и «Малютка». В них явно решили не предоставлять места произведениям о войне. Но их все-таки нельзя назвать пацифистски-оппозиционными: обращаясь к самим маленьким детям, они прежде всего не хотели волновать их проблемами взрослой жизни. Другое дело — «Маяк». Главный редактор журнала И. Горбунов-Посадов был убежденным толстовцем и принципиальным противником любых войн. В августовском номере 1914 г. в «Маяке» говорится о дружбе, труде и науке, о том, как сделать змея, о приключениях на море — о чем угодно, только не о войне. Такой была позиция журнала вплоть до своего конца в 1917 г. Революцию 17-го года «Маяк» тоже проигнорировал. Даже письма читателей не касались военной темы. Зато публикацию в ноябре 1914 г. толстовской статьи «В чем счастье и радость» с ее призывом «Любите людей!» можно считать программной декларацией. В декабрьском номере 1916 г. сам редактор несвоевременно восклицал: «Любить, любить — и брата-человека, / <...> / Такая радость в каждом видеть Бога, / Такое счастье всех любить!»[127]. Весной 1917-го М. Яковлева в том же журнале открыто заявила: «Не надо прославлять безумную войну, / Не надо звать ее прекрасной и священной!»[128]. Одновременно в журнале «Юная Россия» было опубликовано стихотворение пролетарского поэта Ф. Шкулева «Пасха в окопах», где Пасха показана как праздник всеобщего братства: «Мы все здесь в мире люди-братья, — / Для всех, для всех воскрес Христос!»[129]

Начиная с 1916 г. журналы все реже и реже публиковали произведения по военной тематике. В этом они следовали примеру журналов для взрослых. Не только писатели и редакторы, но и юные читатели, по-видимому, устали от бесконечной войны. События на линии фронта и в тылу показывали, что широко распространенные представления о войне являлись лишь обманчивыми мифами, которые уже неловко было поддерживать. Мобилизацию детей пора было прекращать.

[1] «Всходы», «Детский мир», «Доброе утро», «Жаворонок», «Задушевное слово для младшего возраста», «Задушевное слово для старшего возраста», «Золотое детство», «Малютка», «Маяк», «Мирок»,

«Незабудки», «Проталинка», «Путеводный огонек», «Родник», «Светлячок», «Семья и школа», «Солнышко» и «Юная Россия».

[2] Война // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 40. С. 1.

[3] *Редакция*. Европейская война // Солнышко. 1914. № 9. С. 306; *Платонов Н., свящ*. Великое время // Незабудка. 1914. № 9. С. 4; [Редакционная статья] // Родник. 1914. № 8. С. III; [Ред. ст.] // Всходы. 1914. № 8; *Н.В.* Начало европейской войны // Путеводный огонек. 1914. № 14. С. 3.

[4] *Немирович-Данченко В.И*. Вчера и сегодня // Юная Россия. 1914. № 9. Экстренное добавление. С. 1103.

[5] *Ярославлев В.* Его подари, папа! // Мирок. 1915. № 1. С. 30.

[6] *Пиотровский А*. О ком ты молишься, малютка?.. // Юная Россия. 1914. № 12.

[7] *Федоров-Давыдов А*. Тяжелые дни // Светлячок. 1914. № 17. С. 472.

[8] *Гур И*. Где мама? // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 44.

[9] *Черский Л*. Папа на войне // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1915–1916. № 27.

[10] *Шведер Е*. Маруся помогает // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 2.

[11] *Пожарова М*. В деревне // Солнышко. 1915. № 6. С. 218.

[12] *Ярославцев В*. Петя-большак // Мирок. 1915. № 4.

[13] *Вережников А*. Извозчик Миша // Жаворонок. 1915. № 3.

[14] *Черский Л*. Самый старший // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 11; *Он же*. Книгоноша // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 45; *Зореч Н*. Вместо отца // Задушевное слово для младшего возраста. 1914–1915. № 12.

[15] *Русаков В*. Колина тайна // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 48.

[16] *Шведер Е*. Гаврюшины копеечки // Путеводный огонек. 1914. № 21.

[17] *Зарницина М*. На праздник солдатам // Путеводный огонек. 1916. № 7.

[18] *Рус Вик*. Кукле не нужен платок // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 43.

[19] *Толмачева М*. Леденчики // Солнышко. 1914. № 12.

[20] *Лебедева Ек.* В действующую армию: Из школьной жизни // Солнышко. 1916. № 9; *Понюшева Е*. Письмо от солдатиков // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 16.

[21] *Мар О*. Бабушка и внучка // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 46.

[22] *Понюшева Е*. Для солдатиков // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 6.

[23] *Федоров-Давыдов А*. По пути // Светлячок. 1915. № 1.

[24] *Черский Л*. Лепта детей // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 45.

[25] *Ефименко Т*. Раненых привезли // Всходы. 1914. № 10. С. 727.

[26] *Ильина М*. Ушел // Незабудка. 1914. № 11.

[27] *Толмачева М*. Школьники // Солнышко. 1916. № 1.

[28] *Свиристелев А.А*. Христово яичечко // Незабудка. 1915. № 4.

[29] *Авилова Л*. Несносный // Проталинка. 1915. № 1.

[30] *Деев-Хомяковский Г*. Маленькие сестры милосердия // Доброе утро. 1914. № 5.

[31] *В.И*. Московские картины войны // Мирок. 1915. №. 2.

[32] *Свиристелев А.А*. Маленькие патриоты // Незабудка. 1914. № 9. С. 23.

[33] *Кладо М.Н*. Война // Незабудка. 1915. № 1. С. 36, 40.

[34] *Рус Вик*. Федины солдатки // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. №. 46. С. 736.

[35] *Аренина Л*. Саша и война // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 42.

[36] *Шведер Е*. На войну // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 46. С. 734.

[37] *О.Л.Д'ор*. Юрочка // Жаворонок. 1914. № 12. С. 385.

[38] Почтовый ящик // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 43. С. 3.

[39] *Баранцевич К*. Ваня: Из госпитальных впечатлений // Юная Россия. 1914. № 12.

[40] *Гумилевский Л*. Маленький доброволец // Доброе утро. 1915. № 23–24; *Носилов К*. Тюнька-доброволец // Юная Россия 1915. № 5.

[41] Дети и война // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 10. С. 1–2.

[42] См., напр.: *Ландская Над*. Разведчик // Проталинка 1915. № 8; *Арс. М-ий*. Разведчик // Путеводный огонек. 1915. № 22; *Арс. М-ский*. Разведчик // Путеводный огонек. 1916. № 13.

[43] *Лесной-Агафонов И*. Доброволец Петя // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 1–2; *Зилов Л*. Мыльное яичко // Светлячок. 1915. № 7.

[44] *Сурожский П*. Маленький воин // Семья и школа. 1915. № 9–12.

[45] *Радугин Р*. Десять дней в окопах // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 35–38.

[46] *Асеев Н*. Рядовой Васейка // Проталинка. 1915. № 9.

[47] *Митропольский И*. Доброволец: Рассказ из второй отечественной войны // Путеводный огонек. 1915. № 1–3, 5–6.

[48] *Митропольский И*. Ваня-стрелок // Путеводный огонек. 1915. № 7–11, 13, 15–16, 18–21. См. также: *Черский Л*. Меткий стрелок // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1916–1917. № 31; *Суворова В*. Без вести пропавший // Незабудка. 1916. № 5; *Матвеевская Л*. Василек // Проталинка. 1916. № 7; *Митропольский И*. Варя-кавалер // Путеводный огонек. 1917. № 1–2, 4, 7–10, 12.

[49] *Митропольский И*. Ваня-стрелок // Путеводный огонек. 1915. № 15. С. 469.

[50] *Баранов Е*. Степан и Гришутка: Рассказ из великой войны // Мирок. 1915. № 12; *Исаченко М*. Муцык // Незабудка. 1915. № 10; *Федоров-Давыдов А*. Его жертва // Путеводный огонек. 1914. № 21; *Рюмина П*. За отчизну // Семья и школа. 1916. № 2; *Лесной-Агафон И*. Васька-поводырь // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 13–14; *Черский Л*. Сын сапожника // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 20.

[51] Почтовый ящик // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 45. С. 3.

[52] *Чарская Л*. Сестрица // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 49–50.

[53] *Б.М.* Сестра милосердия // Малютка. 1915. № 6. С. 98.

[54] *Мар О*. Сестре милосердия // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 5.

[55] *Есенин С*. Молитва матери // Доброе утро. 1915. № 11; *Чарская Л*. «Тудай-сюдай» // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 20; *Мар О*. На войне // Задушевное слово для детей старшего возраста.1914–1915. № 38; *Пожарова М*. Няня // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 1; *Она же*. Бабушкина работа // Родник. 1914. № 12; *Львова Ел*. Гость // Незабудка. 1915. № 12; *Шведер Е*. Письмо // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 7; *Ландская Н*. Вовка // Проталинка. 1915. № 2; *Раевский С*. Письмо // Проталинка. 1915. № 2.

[56] *Чарская Л*. В Карпатах // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 17; *Влад. Гиляровский*. Казаки // Доброе утро. 1914. № 5; *В. Суворова*. Казак-удалец // Незабудка. 1914. № 12; *Ольга Мар*. Казаки-удальцы // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 47; *С. Козленицкая*. Письмо солдата с войны // Родник. 1914. № 11.

[57] *Евгений Шведер*. В лазарете // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 5.

[58] *А. Федоров-Давыдов*. Два рассказчика // Путеводный огонек. 1915. № 13;

[59] *Зилов Л.* Кресты могил // Путеводный огонек. 1915. № 15; *Платонова А.* В Рождественскую ночь // Незабудка. 1916. № 12; *Доброхотов А.* Сестра героя // Юная Россия. 1914. № 9.

[60] *Суворова В.* В гостьях у героев // Незабудка. 1915. № 12. С. 425.

[61] *Асеев Н.* Помни! // Проталинка. 1915. № 3. С. 181.

[62] *Соловьев М.А.* Бегство из плена // Незабудка. 1915. № 7; *Суворова В.* Страшный табун // Незабудка. 1916. № 3; *Она же*. Снежный майор // Незабудка. 1916. № 9.

[63] *Маниловская С.* Машка // Проталинка. 1915. № 6; *Полозов А.* В сочельник // Путеводный огонек. 1915. № 1; *Пожарова М.* Большие дети: Рассказ раненого офицера // Всходы. 1916. № 5.

[64] *Былинка*. Солдат // Незабудка 1914. № 11; *Доброхотов А.* Две матери // Юная Россия. 1915. № 4. С. 482.

[65] *Суворова В.* Никак нет! // Незабудка 1916. № 1.

[66] *Недолин С.* Песня русского воина // Юная Россия. 1915. № 6.

[67] *Полозов А.* Письмо на родину // Путеводный огонек. 1915. № 2.

[68] *Севастьянов А.Н.* Раненым // Незабудка. 1915. № 3. С. 222.

[69] *Кладо М.Н.* Война // Незабудка. 1915. № 1.

[70] *Толмачева М.* Чужая бабушка // Незабудка. 1915. № 9.

[71] *Федоров-Давыдов А.* Сестричка Люся // Путеводный огонек. 1916. № 16–20.

[72] *Львов З.* Рядовой Трофимов // Путеводный огонек. 1915. № 3; *Черский Л.* Из плена // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 13; *Суворова В.* Фалалей Сивков // Незабудка. 1915. № 5. С. 1–2.

[73] *Свиристелев А.А.* Трогательные минуты // Незабудка. 1914. № 11. С. 11.

[74] *Ширяева А.* Любовь к Царю и Родине // Незабудка. 1916. № 5; *Она же*. Печальник Земли Русской // Незабудка. 1916. № 7; *Она же*. Белый крест Царя. // Незабудка. 1916. № 11.

[75] *Баранцевич К.* Через огонь // Юная Россия. 1915. № 2–3. С. 293.

[76] *Шведер Е.* «Козырь» // Юная Россия. 1914. № 12.

[77] *Орешников М.* В великие дни // Доброе утро. 1915. № 13–14. С. 15.

[78] *Моравская М.* Антон в больших сапогах // Солнышко. 1915. № 3.

[79] *Чарская Л.* Дикарь // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1916–1917. № 1–43.

[80] Там же. 1916. № 43. С. 658.

[81] *Арбатский Б.* Песнь о короле Альберте // Детский мир. 1914. № 20; *Былинка*. Бельгии // Незабудка. 1915. № 4; *Доброхотов А.* Песня бельгийской матери // Юная Россия. 1915. № 1; *Любомирова О.* Горе старого дедушки // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 3.

[82] *Зилов Л.* Деревянная пушка Амбарцума // Путеводный огонек. 1916. № 10.

[83] *Сурожский П.* Маленький воин // Семья и школа. 1915. № 9–12.

[84] *Сергеева Е.* В Галицкой Руси // Проталинка. 1914. № 11.

[85] Песни возрождающегося славянства // Проталинка. 1914. № 12. С. 798–799.

[86] *Творцов Вл.* Подвиг Владека Добрянского // Незабудка. 1915. № 1; *Рядовой Ефим Тюрин (Действующая армия)*. Польскому краю: Рассказ из польской жизни во время войны // Юная Россия. 1915. № 3; *Черский Л.* Мама в плену // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1916–1917. № 10–15.

[87] *Зорин-Несвицкий Ф.* Ясек // Всходы. 1916. № 4. С. 226.

[88] *Орловец П.* Бабушка в плену // Путеводный огонек, 1916. № 62. С. 63.

[89] *В. Суворова*. Месть поляка // Незабудка. 1916. № 11; *Денисов Н.* Беглецы // Путеводный огонек. 1914. № 18–19.

[90] *Макарова-Мирская А*. Станицкая пядь // Проталинка. 1915. № 3. С. 152, 157.

[91] *Суворова В*. Западня // Незабудка. 1915. № 8–9.

[92] *Шведер Е*. Стефа // Путеводный огонек. 1916. № 9. С. 222.

[93] *Н. Платонов Н., свящ.* Великое время // Незабудка. 1914. № 9. С. 6.

[94] *Герцог Е*. Пробуждение весны // Детский мир. 1915. № 6. С. 20.

[95] *Липецкий А*. Детям // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 52.

[96] *Редакция*. Послесловие // Светлячок. 1914. № 12. С. 612.

[97] *Редакция*. «Россия и вся Европа...» // Родник. 1914. № 8. С. IV.

[98] *Зубовский Ю.* Молитесь, дети... // Жаворонок 1915. № 1; *Маресева Т.* Молитва во время войны // Незабудка. 1914. № 11; *Севастьянов А.В*. Молитва // Незабудка. 1915. № 1; *Мар О*. Просьба к месяцу // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 45; *Доброхотов А*. Молитва матери // Путеводный огонек. 1914. № 18; *Круглов А*. Скорбящая // Путеводный огонек. 1915. № 11; *Аренина Л*. Дети офицера // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 46; *Пожарова М*. В хате воина // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 44; *Чарская Л.* Детская молитва // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 18; *Зилов Л*. Странник // Путеводный огонек. 1915. № 3; *Нечаев Е*. Проводы // Путеводный огонек. 1914. № 21; *Молчанова (Шварцбах) Е*. Молись, дитя... // Путеводный огонек. 1915. № 24; *Мар О*. За воинов // Задушевное слово для младшего возраста. 1913–1914. № 43.

[99] *Макарова-Мирская А*. Вымолила // Незабудка. 1915. № 4; *В.З.* Молитва за папу // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 41; *Макарова-Мирская А*. Быль наших дней // Незабудка. 1916. № 2; *Е.П.* Две ночи // Незабудка. 1915. № 10.

[100] *Есенин С*. Молитва матери // Проталинка. 1914. № 10. С. 635–636.

[101] *Пожарова М*. Бабушкина работа // Родник. 1914. № 12. С. 597.

[102] *Чарская Л*. Вперед! // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 42. С. 658.

[103] *Чарская Л*. Письмо из окопа // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 13. С. 197.

[104] *Мар О*. Страна родная // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 41. С. 656.

[105] *Зилов Л*. Раненый Спаситель // Путеводный огонек. 1915. № 6; *Черский Л*. Статуя // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 14.

[106] *Пожарова М*. На поле битвы // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 6. С. 96; *Орешников М*. Видение раненого солдата // Доброе утро. 1915. № 23–24; *Пожарова М*. Дочь воина // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 3.

[107] *Севастьянов А*. Образок // Незабудка. 1916. № 6. С. 435–436. См. также: *Шведер Е*. Образок святой // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1915–1916. № 3.

[108] Курица-вестовщик // Светлячок. 1915. № 20; *Зилов Л*. Петух Филька // Светлячок. 1915. № 2; *Он же*. Заяц // Светлячок. 1915. № 15.

[109] Истинный друг: Как лошадь спасла своего хозяина на войне // Мирок. 1915. № 11. См. также: *Муйжель В*. Попыжастый // Жаворонок. 1916. № 2.

[110] Собака-санитар // Светлячок. 1914. №. 20; *Лукашевич К*. Дружок-воин: Рассказ из нынешней войны // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 11–16; *Дунин А*. Приключения Шарика // Юная Россия. 1915. № 11; *Арс. М-ий*. Собака // Путеводный огонек. 1916. № 5; *Львов З*. Додон спас! // Светлячок. 1915. № 9.

[111] *Басевич А*. Спасение // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 1; *Л.З.* Вовремя подоспел // Светлячок. 1915. № 3; *Зилов Л*. Пушистик // Светлячок. 1915. № 4; *Ишимов А*. Бульбаш // Светлячок. 1915. № 10; *Зилов Л*. Из плена // Светлячок. 1915. № 14.

[112] *Севастьянов А*. Беженец // Незабудка. 1916. № 1; *Ильина М*. Потеряшка // Незабудка. 1916. № 8; *Семенов С*. Беженка Луиза // Юная Россия. 1916. № 10; *Пожарова М*. Беженцы // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1914–1915. № 51; *Семенов С.И*. Беженцы // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 19; *Мар О*. Латышка Ани // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 19; *Сергеева Е*. Праздник // Проталинка. 1916. № 1; *Калашникова Е*. Яша-беженец // Незабудка. 1917. № 1.

[113] *Ульянова А*. Беженцы // Мирок. 1916. № 4.

[114] *Любич-Кошуров И*. Дед Мороз на Карпатах: Из сказок последних дней // Детский мир. 1915. № 1.

[115] *Баранов Е*. В метель // Мирок. 1916. № 12; «Плюшевый» на войне. Рассказ офицера // Светлячок. 1914. № 18; Братья Крестовые // Светлячок. 1914. № 19; *Сергеева Е*. Добровольцы // Проталинка. 1914. № 9; *Черский Л*. Медальон // Задушевное слово для старшего возраста. 1915–1916. № 47; *Баранов Е*. Степан и Гришутка // Мирок. 1915. № 12; *А. И-в*. Защитники // Светлячок. 1915. № 1; *Черский Л*. Детское сердце // Светлячок. 1915. № 3–4.

[116] *Черский А*. Враг // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 47. С. 744.

[117] *Шведер Е*. Враги // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1913–1914. № 52; Тоже, человек // Путеводный огонек. 1914. № 23; *Гонтич В*. Казак Прокофий: Рассказ из нынешней войны // Задушевное слово для младшего возраста. 1914–1915. № 24.

[118] *Черский Л*. Находка // Задушевное слово для детей старшего возраста. 1915–1916. № 5; *Ишимов А*. Найденыш // Путеводный огонек. 1915. № 1; Двоюродный брат // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1913–1914. № 49.

[119] *Черский Л*. Военнопленный // Задушевное слово для детей младшего возраста. 1914–1915. № 12; *Сурожский П*. Маленький воин// Семья и школа. 1915. № 9–12; *Шведер Е*. Мать // Путеводный огонек. 1915. № 21.

[120] *Ишимов А*. Пленные враги // Светлячок. 1915. № 12. С. 357.

[121] *Зилов Л*. Дед Назар и австрийцы // Путеводный огонек. 1915. № 9. С. 283.

[122] *Потапенко И.Н*. Не-немка // Жаворонок. 1915. № 1.

[123] *Зилов Л*. Васины корреспонденты // Родник. 1915. № 10. С. 270.

[124] Там же. С. 278.

[125] *Брусянин В.В*. Корабль Рождественского деда // Жаворонок. 1915. № 5. С. 91.

[126] Проталинка. 1915. № 11. [Вкладной лист].

[127] *Горбунов-Посадов И*. «Любить, любить — и брата-человека...» // Маяк. 1916. № 12. С. 3.

[128] *Яковлева М*. «Закон любви — божественный закон» // Маяк. 1917. № 4–5. С. 25.

[129] *Шкулев Ф*. Пасха в окопах // Юная Россия. 1917. № 4. С. 304.

О.А. Симонова

Военная проза для женщин: анализ беллетристики массовых журналов 1914–1916 годов

Тема войны никогда не входила в круг женских литературных предпочтений, поэтому с началом Первой мировой войны писательницы столкнулись с особыми трудностями. Мюргит (В.А. Попова) иронизировала: «Мужчинам еще полгоря, так как война, в сущности, их родная стихия, но положение пишущих дам поистине ужасное. Бьются они с пером в руках над массой неразрешимых вопросов, вроде, например, следующих: чем командует капитан — корпусом или траншеей?

Или: что меряют у пушки сантиметром — бока или талию?» [Мюргит, 1914, с. 32–33].

Женские журналы стремились подавать тему войны в доступном для читательниц виде. При этом пол автора произведения в данном случае не является определяющим, значение имеет пол читателя, на которого ориентируется периодика. Чтобы выявить специфику военных рассказов, публиковавшихся в женских журналах, необходимо сопоставить их с рассказами из так называемых «общих» журналов.

Журналы «Новая всемирная иллюстрация», «Родина», «Весь мир», «Всемирная панорама», «Новый журнал для всех» были ориентированы на семейное чтение. Для публикуемых здесь военных рассказов характерно изображение сражений, положения на фронте, походной солдатской жизни. Поэтому их можно назвать *фронтовыми*. Повседневная жизнь протекает за пределами рассказа. Хотя часто изображается уход на войну или встреча военных с мирными жителями, но в целом в беллетристике «общих» журналов война трактуется как особый образ жизни, особый мироуклад. Типичными локусами в этих рассказах являются места, непосредственно связанные с войной: разведка, госпиталь, бой (сухопутный, морской, но чаще всего встречающийся — воздушный, ведь массовая беллетристика любит изображать все новое, актуальное, современное, она показывает последние достижения техники).

Главным героем обычно является военный. Но, несмотря на то что самым важным делом персонажа является его участие в войне, в малой военной прозе он показан прежде всего как обычный человек с простыми мыслями, чувствами, поступками: «Литература сосредоточила внимание именно на человеческом в своем герое, а не на том, как он владеет ружьем» [Иванов, 2005, с. 213]. Можно сказать, что военные рассказы Первой мировой войны в большинстве своем следуют антиэпической традиции, сформированной в военных рассказах Л.Н. Толстого и В.М. Гаршина: «Для русской военной прозы характерно, что батальные сцены в ней уходят, как правило, на второй план, ибо писателей в основном волнует внутренний мир солдата и офицера» [Свиясов, 1989, с. 4].

В незамысловатых сюжетах писатели пытаются четко расставить акценты. Одним из наиболее простых вариантов является противопоставление русского (или союзного) солдата и подлого/коварного врага-немца. Более сложная антитеза выстраивается автором, сопоставля-

ющим и противопоставляющим двух главных героев-друзей. Часто героем военного рассказа становится «маленький» человек. Старый/слабый, на первый взгляд не способный на решительные действия персонаж совершает героический поступок, оказывает русскому войску неоценимую помощь [Северцев-Полилов, 1915; Лехно, 1914; Муйжель, 1915; Цензор, 1915].

Т.Н. Фоминых установила, что «следует различать эпопею как жанр и эпическую жанровую тенденцию, прокладывающую дорогу в разных жанровых образованиях» [Фоминых, 1984, с. 175]. Поэтому можно утверждать, что, несмотря на традицию изображения личного, индивидуального в герое, часто писатели под влиянием патриотического подъема первых дней войны наделяют своего персонажа чертами эпического героя (особым героизмом, пренебрежением личным во имя государственного). С началом войны герой понимает, что он может принести благо Отечеству, которое для него становится важнее личного счастья. Пожертвовав любовью, семьей, делом в мирной жизни, герой идет на войну: «С восторгом поехал Сергей на войну. Даже любовь к невесте не могла поколебать рвущегося вперед желания» [Брешко-Брешковский, 1915, с. 4.]; «Разве я смогу бездействуя допустить, чтобы другой кто-нибудь погиб за меня, за нас всех, когда я сам могу погибнуть за него и за всех?» [Григорьева, 1915, с. 55]. Однако всегда подчеркивается важность чувства любви для героя, оно является важнейшей составляющей его переживаний на войне.

Военной прозе «общих» журналов свойственна гендерная неравноправность героев одного уровня (русских или союзников): герой-мужчина всегда идеализирован, показан в положительном ракурсе, героиня-женщина может быть как положительным, так и отрицательным персонажем. Часто противопоставляются альтруизм и самопожертвование героя, добровольно идущего на войну, и эгоизм героини, пытающейся удержать его. Женщина показана как слабое существо, демонстрирующее не лучшие свои качества: ревность [Первухин, 1915], склонность к измене [Муквоз, 1914], легкомыслие [Писарева, 1915]. Очень редко в «общих» журналах женский персонаж повторяет нравственный путь мужского, осознает необходимость своего участия в войне, свой гражданский долг [Аронсон 1, 1914]. В беллетристике некоторых журналов («Нива») женские персонажи практически полностью отсутствуют.

Война заставляет героев по-новому взглянуть на отношения, понять, какое место в их жизни на самом деле занимает тот или иной человек. Только когда герой уходит на фронт, героиня обнаруживает в себе глубочайшее чувство привязанности к нему [Тришатов, 1915; Григорьева, 1915; Сологуб, 1916]. Да и сам герой осознает свою любовь в момент ее потери: «Война облагораживает, возвышает душу; глубже чувствуешь то, на что прежде не обратил бы особого внимания» [Чарская, 1915, с. 118]. Так война выполняет еще одну функцию в сюжете: под ее влиянием совершается нравственный перелом в душе героев.

Необходимо отметить, что патетическое отношение к войне характерно для беллетристики 1914 — первой половины 1915 г.; литература, появившаяся в последние годы войны, в 1920-е годы и позднее, вскрывает всю грязь этой войны, низости людей военного периода, иронизирует над «героями» начала войны. Так, например, Гумилевский, в начале войны создававший идеализированные образы сестер милосердия, в рассказе «Жертва долга» 1916 г. иронически описывает Риточку, которая от скуки пошла работать сестрой в лазарет, где не допускалась даже к простой перевязке, а потом нелепым образом получила заражение крови и умерла, став «жертвой долга» [Гумилевский, 1991].

В женской военной прозе чаще, чем в прозе «общих» журналов, встречаются такие исповедальные жанры, как дневник, письмо и т. п. Журналы «Женское дело», «Журнал для

хозяек», «Женская жизнь», «Мир женщины» публикуют военные рассказы особого рода, которые логичнее было бы назвать *тыловыми*. События чаще всего разворачиваются в тылу, война выступает фоном для происходящего в произведении, не становясь предметом изображения[1]. В беллетристике женских журналов изображается частная повседневная жизнь обычных людей, в которую внезапно врывается война, меняет ее, но не разрушает традиционный уклад, а встраивается в него.

Патриотические настроения, царящие на страницах массовых еженедельников, заставляют писателей делить персонажей на «своих» и «чужих». То же мы видим и в женских журналах. Так, происходит четкое разделение на положительных и отрицательных героев, обычно по национальному признаку. Ситуация становится наиболее драматичной, когда такая граница проходит внутри одной семьи. Муж-немец и жена-русская живут душа в душу, пока не наступает война и не ставит их в позиции противников. Такая исходная ситуация встречалась и в рассказах «общих» массовых журналов. Например, в рассказе Л. Аронсон «Шквал» героиня-русская после начала войны не соглашается ехать с мужем-немцем на выселение в Вологду и собирается поступить в сестры милосердия [Аронсон 2, 1914]. Муж кончает жизнь самоубийством. В женских журналах подобная ситуация встречается чаще, правда, в том виде, в каком его описал Бен Хеллман: «По сквозной фабуле главная героиня, часто добродетельная барышня из хорошей семьи, слепо влюблена в красивого и корректного немца, живущего в России, но во время войны ей открывается настоящее лицо жениха» [Хеллман, 1999, с. 311]. Финский исследователь пишет о частотности такого мотива в военных произведениях Л. Чарской, О. Бебутовой, Н. Брешко-Брешковского. Стоит отметить, что мотив «разоблачения» немца характерен и для произведений Екатерины Эк [Эк 1, 1914; Эк 2, 1914; Эк 4, 1915].

Стремление массовой беллетристики четко расставлять акценты приводит к исчерпанности моделей поведения женских персонажей, мы можем выделить две: эгоизм и самопожертвование, которые иногда противопоставляются в рамках одного рассказа [Б.а., 1915].

Гендерная неравноправность героев, характерная для «общих» журналов, в женских изданиях отсутствует либо поворачивается обратной стороной. Обычно героиня-женщина так же, как и мужской персонаж, идет на войну. Более того, героиня может быть противопоставлена герою, не участвующему в войне. Герой-рассказчик одного из подобных рассказов вспоминает о своей невесте, ставшей сестрой милосердия: «Она ни за что не хотела выйти замуж за человека, который так безучастно, как я, относится к судьбам родины. По ее мнению, я должен был в начале же войны смахнуть с себя штатское платье, облачиться в солдатскую шинель и форсированным маршем отправиться в окопы» [Устинов, 1916, с. 27].

Сестра милосердия, пример самопожертвования и сострадания, традиционно ожидаемых от женщины в патриархальном обществе, — типичный положительный персонаж в женском военном рассказе: «Образ сестры милосердия, изначально позитивно окрашенный, активно использовался российской прессой для поднятия патриотического духа и антигерманской пропаганды» [Сестры милосердия России, 2005, с. 245].

Сестры милосердия присутствовали на военных фронтах России со времен Крымской войны 1853–1856 гг., еще писатели XIX века запечатлели этот образ (Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы», К.М. Станюкович «Севастопольский мальчик» и др.). Правда, сначала такие героини изображались этнографически, с точки зрения рассказчика-мужчины. В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. сестра милосердия становится главной героиней некоторых произведений (В.В. Немирович-Данченко «Сестра Васильева», В.В. Верещагин «Литератор», В.А. Тихо-

нов «Сестра милосердия» и др.). Здесь дается психологическая трактовка образа, изображение внутреннего мира героини, ее чувств и мыслей, ее рефлексия по поводу работы в госпитале.

В войну 1914–1918 гг. создалась особая ситуация: «Если история предшествующих войн четко делилась на чисто мужской опыт на поле брани и опыт женщин, дожидавшихся мужчин в тылу, то тотальная Первая мировая война разрушила эту гендерную оппозицию» [Щербинин, 2004, с. 388]. «Тотальный характер Первой мировой войны 1914–1918 гг. увлек массу россиянок к оказанию помощи больным и раненым воинам, вызывая широкие общественные инициативы и стремление личного участия в “священной битве” с неприятелем» [Щербинин, 2004, с. 395]. Типичность ситуации порождает ее повторяемость в массовой литературе. Таким образом, часто встречающийся в литературе Первой мировой войны образ сестры милосердия отражает изменение положения женщины в обществе, ее социальную активность в эту войну.

Особый «женский» военный опыт становится излюбленным предметом изображения в женских журналах. Главной героиней становится сестра милосердия, дается ее точка зрения, показывается ее внутренний мир. Изображаются ключевые моменты деятельности сестры милосердия. Значимым является переворот в сознании, когда обычная женщина решает стать сестрой милосердия. Бесконечно длятся бесцветные, скучные дни жизни героини, душа которой жаждет подвига. Начавшаяся война будоражит героиню, она обретает цель, смысл жизни, становясь сестрой милосердия [Гумилевский 2, 1915]. Здесь, как правило, возникает антитеза *мир до войны — война*. Собственная довоенная жизнь осознается как не имевшая ценности: «Мгновенно встала перед ней вся ее маленькая, простенькая, серенькая жизнь и показалась ей бесконечно ничтожной, пустой и бесценной, от которой хотелось уйти, которую хотелось забыть и изломать» [Гумилевский 1, 1915, с. 48]. Только забота о раненых позволяет героине самореализоваться в условиях войны [Волжанин, 1914].

Мотив принятия женщиной решения пойти на войну повторяет соответствующий мужской поступок в рассказах «общих» журналов. Сюжет о сестре милосердия возникает как параллель подобному сюжету о военном. Обычно выбор героини определяется выбором близкого ей мужчины: женщина идет в сестры милосердия, следуя примеру мужа/брата, отправившегося на фронт[2] [Дроздов, 1914; Кряжева, 1915]. Прямо противоположным вариантом «обращения» в сестры становится собственное решение, воплотить которое можно только через борьбу с внешним миром, через отвержение существующих запретов: героиня преодолевает сопротивление своих родных, в том числе власть мужа [Гусев-Оренбургский, 1915], жертвует самым дорогим ради осуществления своего решения. Война — это яркий проблеск в жизни, позволяющий вырваться из мещанского болота, в котором тонут главные герои рассказа [Х. 1, 1914]. Она наполняет жизнь героини смыслом. В таком ракурсе тема войны никогда не подается в описании мужских персонажей. Именно женщине война дает дело в жизни, предоставляет возможность доказать свою нужность, проявить нераскрытые ранее черты характера (мужчинам все это удавалось и в мирной жизни): «Первый раз в жизни представился случай доказать, что я заслуживаю любви и уважения, что я чего-нибудь стою, что я человек, а не гаремная кукла» [Галина, 1914].

Часто основным в сюжете о сестре милосердия является мотив чудесной встречи в лазарете. Это может быть встреча как со своим любимым, так и с незнакомым человеком, сообщающим ей важную информацию (например, о гибели мужа [Х. 2, 1914]), или с врагом [Эк 4, 1915]. Но, несмотря на чудесность совпадения, сама встреча может и не принести радости. Так, главная

героиня рассказа И-р «Сестра Наталья», встретившая в лазарете бывшего мужа и жаждущая вы́ходить его, понимает, что он в бреду принимает ее за свою новую жену [И-р, 1914]. Характерно, что многие появившиеся в массовой военной прозе мотивы впоследствии осваиваются «большой» литературой, например мотив встречи сестры милосердия со своим мужем в госпитале повторяется в «Хождении по мукам» А.Н. Толстого и в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака.

Военная проза женских журналов больше сосредоточена, по сравнению с «общими» журналами, на описании внутреннего мира героини. Одним из часто повторяющихся моментов в нравственном развитии сестры милосердия становится преодоление ею личных чувств во имя любви и сострадания ко всем раненым: «В ее измученной душе уже не было места для личного счастья. Страдание ее превратилось в радость для других людей, и яркие цветы милосердия выросли на политой слезами почве» [И-р, 1914, с. 4]. Обычно это бывает сопряжено с потерей близкого человека [Б.а., 1914]. Вообще, страдание служит раскрытию женщины, выходу ее из своей тесной жизни и приобретению умения понимать других людей (обычно женщин), с которыми ее объединило общее горе войны [Эк 3, 1915; Кряжева, 1915].

Итак, проанализировав военную прозу, можно сделать следующие выводы. Для «общих» журналов типичны *фронтовые* рассказы, в которых изображаются сражения, походная солдатская жизнь, описывается положение на фронте. В женских журналах чаще встречаются *тыловые* рассказы, в которых война проходит на заднем плане, военная жизнь в них не изображается. Главным героем в военной прозе, опубликованной в «общих» журналах, обычно является военный, в военных рассказах женских журналов преобладают женские персонажи. Для всех положительных героев военной массовой беллетристики общее дело участия в войне важнее личного счастья, для женских персонажей это даже трактуется как смысл жизни. Существует две основные модели поведения женских персонажей: эгоизм и самопожертвование, из которых первая чаще присутствует в «общих» журналах, а вторая, воплощенная в сестре милосердия, является типичной для прозы женских изданий.

[1] Справедливости ради нужно сказать, что и здесь есть исключения: военные рассказы с изображением боя [С. Ф., 1914; Галина, 1916].

[2] Такие поступки основаны на реальных фактах: многие женщины шли в сестры милосердия, чтобы быть ближе к мужьям — врачам в действующей армии (например, жена М.А. Булгакова Т.Н. Лаппа, Христина Семина [Семина, 1963, с. 15]).

Список литературы

Аронсон 1 — Аронсон Л. В подвале: (Отрывки из дневника) // Весь мир. 1914. № 51.

Аронсон 2 — Аронсон Л. Шквал // Весь мир. 1914. № 36.

Б.а. Сестра: Новелла // Мир женщины. 1914. № 24.

Б.а. Сестры // Журнал для хозяек. 1915. № 18.

Брешко-Брешковский Н. «Гусар смерти»: (Эпизод из русско-германской войны) // Всемирная панорама. 1915. № 305 (8).

Волжанин О. Жизни коснулась: Рассказ // Журнал для хозяек. 1914. № 19.

Галина А. «Долг»: Рассказ: (Женские силуэты) // Журнал для хозяек. 1914. № 17.

Галина А. Этого не было (Памяти 2-го батальона, из дневника офицерской <жены>) // Журнал для хозяек. 1916. № 2.

Григорьева Л. На подвиг: Рассказ // Родина. 1915. № 5.

Гумилевский Л. Жертва долга // Гумилевский Л. Чужие крыши. М., 1991.

Гумилевский 1 — Гумилевский Л. Красный крест // Гумилевский Л. Рассказы из современной войны. Саратов, 1915.

Гумилевский 2 — Гумилевский Л. Светлый путь // Гумилевский Л. Рассказы из современной войны. Саратов, 1915.

Гусев-Оренбургский С. Борьба: Рассказ // Журнал для хозяек. 1915. № 21.

Дроздов А. Ненужные жертвы: Рассказ // Новая всемирная иллюстрация. 1914. № 41.

Иванов А.И. Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг. Тамбов, 2005.

И-р М. Сестра Наталья // Мир женщины. 1914. № 18.

Кряжева Е. Пережитое // Женская жизнь. 1915. № 12–13.

Лехно Вл. Долг чести старого рыбака: (Очерк из настоящей войны) // Новая всемирная иллюстрация. 1914. № 50.

Муйжель В.В. После боя: Рассказ // Родина. 1915. № 1.

Муквоз И. Дома… // Весь мир. 1914. № 44.

Мюргит <Попова В.А.>. Под гром шрапнели // Лукоморье. 1914. № 32.

Первухин М.К. Дезертир // Всемирная панорама. 1915. № 329 (32).

Писарева Ю.Е. Гадюка: Рассказ // Родина. 1915. № 14.

С. Ф. <Фриндлендер С.[?]>. Миноносец № 210 // Журнал для хозяек. 1914. № 16.

Свиясов Е.В. Военная проза XIX века // Русская военная проза XIX века / Сост. Е.В. Свиясов. Л., 1989.

Северцев-Полилов Г.Т. В воздухе: Посмертный рассказ // Всемирная панорама. 1915. № 301 (4).

Семина Х.Д. Трагедия русской армии Первой Великой войны 1914–1918 гг.: Записки сестры милосердия Кавказского фронта. [Санта-Фе] (Нью-Мексико), 1963. Кн. 1.

Сестры милосердия России / [С.Н. Акишина и др.; под общ. ред. Н.А. Белякова]. СПб., 2005.

Сологуб Ф. Правда сердца // Сологуб Ф. Ярый год: Сб. рассказов. М., 1916.

Тришатов А. Жених: Рассказ // Новый журнал для всех. 1915. № 5.

Устинов Г. Ее глаза // Журнал для хозяек. 1916. № 24.

Фоминых Т.Н. Становление эпопеи в советской прозе о Первой мировой войне (20-е годы): Дис. … канд. филол. наук. М., 1984.

Х. 1 — Х. Зинаида. Грянул гром // Женское дело. 1914. № 17.

Х. 2 — Х. Зинаида. На посту // Женское дело. 1914. № 19.

Хеллман Б. Первая мировая война в лубочной литературе // Россия и Первая мировая война: Материалы междунар. науч. коллоквиума. СПб., 1999.

Цензор Д. Случайная беда: Рассказ // Родина. 1915. № 2.

Чарская Л. Левушка: Рассказ // Родина. 1915. № 10.

Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII — начале XX в.: Монография. Тамбов, 2004.

Эк 1 — Эк Е. <Курч Е.М.>. Жена иностранца // Женское дело. 1914. № 18.

Эк 2 — Эк <Курч Е.М.>. На чужбине // Журнал для хозяек. 1914. № 20.

Эк 3 — Эк <Курч Е.М.>. Сближение (Два письма из деревни) // Мир женщины. 1915. № 3.

Эк 4 — Эк Е. <Курч Е.М.>. У постели сына // Журнал для хозяек. 1915. № 11.

Д.М. Магомедова

Цитатный слой в массовой поэзии Первой мировой войны (К проблеме прецедентных текстов)

Тема данной статьи в какой-то степени продолжает разговор о «топосах» в литературе эпохи Первой мировой войны, начатый на материале публицистики[1].

Напомню, что речь идет о некоторых константах, «общих местах» языка той или иной культурной эпохи, которыми владеют и пользуются современники, даже находясь в разных общественно-политических станах. К первоэлементам этого общего культурного языка эпохи относятся устойчивые мотивы, символы, образы, повторяющиеся сюжеты, иерархии имен, а на более глубинном уровне — категории культуры, без которых она не может существовать. Набор топосов в каждую эпоху индивидуален и неповторим, полная смена топосов может означать конец одной эпохи и начало другой. Именно с выявления и описания этих топосов должно начинаться изучение культуры того или иного периода. Источниками их в художественной литературе обычно оказываются тексты так называемого первого ряда, попадающие в классический фонд культуры. Однако нагляднее всего они выявляются в массовой литературе, когда после многочисленных повторений они и становятся «общими местами» или, пользуясь терминологией Дж.Г. Кавелти, «литературными формулами».

Обращаясь к массовой лирической поэзии эпохи Первой мировой войны, я не ставлю своей задачей сколько-нибудь полное описание набора ее «топосов», это и невозможно в рамках статьи. Будет рассмотрена лишь одна разновидность «общих мест» — цитатный фон, повторящиеся цитаты и реминисценции, которые тоже выполняют в стихах роль символов, формирующих общую картину мира и выполняющих определенную идеологическую и даже пропагандистскую задачу.

При подготовке статьи были просмотрены журналы 1914–1915 гг.: «Отечество», «Женская жизнь», «Русская мысль», «Новый журнал для всех», коллективные сборники «Война в русской лирике» (сост. В. Ходасевич. М., 1915), «Современная война в русской поэзии» (Пг., 1915), авторские сборники: С. Городецкий. «Четырнадцатый год» (Пг., 1915), Ф. Сологуб. «Война» (Пг.: Изд. журнала «Отечество», 1915), а также стихотворения В. Брюсова, Вяч. Иванова, З. Гиппиус, написанные в 1914–1915 гг.

Цитаты и реминисценции из чужих текстов присутствуют в стихотворениях с разной степенью эксплицитности. В наиболее очевидных случаях цитата из текста-источника является эпиграфом, элементом заглавия или оформляется графически. В редких случаях стихотворение даже превращается в открытый диалог с цитируемым автором. Более распространенный способ обращения к чужому тексту — «осколочная» цитата, как правило, без графического оформления, использование известного мотива, иногда — с полемическим переосмыслением. На вопрос, какую функцию несут повторяющиеся цитаты в «военной» лирике 1914–1915 гг., и должно ответить проведенное исследование.

Просмотр указанных источников показывает, что наиболее частотны цитаты из следующих прецедентных текстов (по степени убывания): 1) «Клеветникам России» и «Олегов щит» А.С. Пушкина; 2) «Как дочь родную на закланье…» и «Олегов щит» Ф.И. Тютчева; 3) «Дракон» Вл. Соловьева; 4) «Два великана» и «Спор» М.Ю. Лермонтова; 5) «Орина, мать солдатская» Н.А. Некрасова. Единичные случаи обращения к текстам, например «Ворон к ворону летит…» или «Казачья колыбельная», вряд ли могут быть сочтены топосами, хотя и были включены в общий список цитат.

Два прецедентных стихотворения — «Клеветникам России» Пушкина и «Как дочь родную на закланье…» Тютчева — были использованы раньше всех в связи с возникшим в начале войны «польским вопросом» и с проблемой возможного и необходимого общеславянского примирения.

Первый сквозной мотив, объединяющий художественные и публицистические тексты этого времени, восходит к знаменитому пушкинскому стихотворению «Клеветникам России», — «**семья»** (у Пушкина — «сия семейная вражда») и связанные с этим мотивом образы и даже сюжеты «**братской вражды», «братоубийственной распри**» и просто «**братьев».** Тютчевское стихотворение вносит мотивы трагической родственной жертвы (миф об Агамемноне, принесшем в жертву дочь Ифигению в начале Троянской войны) и надежды на будущее возрождение Польши в общеславянском мире («И наша общая свобода, как феникс, возродится в нем»). Акцент делается именно на то, что перед лицом общего врага бессмысленная вражда уходит в прошлое, а Польше предстоит возрождение.

Оба этих мотива были использованы в самом начале войны в Воззвании Верховного главнокомандующего (великого князя Николая) к полякам 1 (14) августа 1914 г., в котором Польше гарантировалась не только защита от Германии, но и будущая автономия объединенной Польши внутри Российской империи:

«Полтора века тому назад **живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ея. Она жила надеждой, что наступит час воскресения** польского народа, **братского примирения** ея с великой Россией. Русские войска несут вам благую весть этого примирения. Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром Русского Царя. Под скипетром этим воссоединится Польша, **свободная** в своей вере, в языке, в самоуправлении»[2].

Публицистика и художественная литература немедленно подхватили этот мотив.

Начнем со стихотворения В. Брюсова «Польше» (1 августа 1914), раньше всех обратившегося к этому мотиву. Поставив эпиграфом к стихотворению строки из стихотворения Тютчева «Как дочь родную на закланье...» («И наша общая свобода, / Как феникс, возродится в нем...»), Брюсов соединяет в своем стихотворении пушкинские и тютчевские мотивы, причем Тютчев даже преобладает. Стихотворение начинается с прямого обращения к автору эпиграфа:

Провидец! Стих твой осужденный
Не наше ль время прозревал,
Когда «орел одноплеменный»
Напрасно крылья расправлял!
<…>
Опять родного нам народа
Мы стали братьями, — и вот

Та «наша общая свобода,
Как феникс», правит свой полет.

А ты, народ скорбей и веры,
Подъявший вместе с нами брань,
Услышь у гробовой пещеры
Священный возглас: «Лазарь, встань!»

Строка из стихотворения Тютчева — «И наша общая свобода, как феникс» получает у Брюсова новое завершение: не «возродится в нем», а «правит свой полет», — хотя фактически манифест провозглашал лишь определенные политические обещания. Однако с этого момента мотивы «семьи», «братьев», «сестер», «матери» становятся сквозными в стихах, обращенных к Польше и к другим славянским странам и народам.

Стихотворение Сологуба, рисующее картину военных сражений в Польше в сентябре 1914 г., носит заглавие «Братьям». От имени поляков, покидающих разрушенные жилища, поэт говорит:

Из милых мест нас гонит страх,
Но говорим мы нашим детям:
«Не бойтесь: в русских городах
Мы все друзей и братьев встретим[3].

Т.Л. Щепкина-Куперник называет стихотворение, обращенное к Польше, «Наша младшая сестра» и тоже использует тютчевские мотивы жертвы, одновременно усиливая мотивы покаяния:

Ты, сестра, за нас страдала,
Жертва бедная, прости!
Мы твои залечим раны,
Мы должны тебя спасти.

Сборник «Современная война в русской поэзии» открывается разделом «Славянство». Помещенное в этом разделе стихотворение Александра Бахирева «Славянский гимн» завершается уже всеславянской «семейной» утопией:

Мы вместе дружною семьею
Посеем правду на земле
И будем жить одной душою
В Варшаве, в Праге и в Кремле.

Мотив вражды, «раздоров», — у Пушкина ведущий! — встречается в «военной» лирике редко, и при этом вина за эти раздоры перекладывается на третью силу, намеренно ссорящую «братьев». В стихотворении Н.Б. Хвостова «Молитва славян» таким врагом оказывается «тевтонец», «шваб»:

Стучат мечи, гремят оковы,
И черно-желтый вьется флаг:
На нас грядет многовековый
Непримиримый алчный враг.

В семью славян внося раздоры,
Нас, братьев, ссоря и деля,
Себе берет он наши горы
И наши мирные поля.

Ю.В. Ревякин в стихотворении «Защита Варшавы» торжествует, рисуя крах вражеских надежд на «старые раздоры»:

Да, он надеялся, коварно-злобный враг,
Прийти и разгромить прекрасную Варшаву,
И, в мире укрепив тевтонов гордых славу,
Над Вислой светлою поднять победный стяг.

Да, он надеялся, что старые раздоры
И раны старые покажут рознь славян.
Увы, ошибся он, урок великий дан.
В минуту славную забыты все укоры.

Забыта вся вражда, и русские полки
Варшава свежими засыпала цветами
С молитвой жаркою, с горячими слезами
Там провожали в бой победные штыки. (С. 33)

Не умножая примеров, назовем еще одну усиленно эксплуатируемую цитату из «Клеветников России»: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? Вот вопрос».

В стихотворении кн. Голицына-Муравьева «Славянам», помещенном в том же разделе «Славянство», эта цитата приводится дословно, с графическим выделением, хотя и без второй строки:

Славяне, мы идем! Тот день наступит вскоре!
Когда, в сиянии любви и торжества,
Славянские ручьи сольются в русском море,
И Русь произнесет великие слова:
«Освобожденные, я к вам пришла с любовью!
Всевышний мне помог вам радость принести,
Я проложила путь для вас своею кровью,
Объединитесь все на том святом пути».

Очевидно, что там, где у Пушкина «вопрос», у Голицына-Муравьева — бесспорный оптимистический ответ. В «Сонете Червонной Руси» А. Мейснера «сливаются» уже не «ручьи», а родственная кровь, песни и степи:

Поставим стяг единой русской славы!
Единая наследственная кровь
Сольет в одно и наши песни, степи…
Страна славян, твои разбиты цепи
И ждут тебя Свобода и Любовь.

Поскольку на стороне Германии участвовала Турция, в публицистике и в массовой поэзии был реанимирован историософский миф о сакральном значении Царьграда в контексте

концепции «Москва — Третий Рим». В связи с имперскими притязаниями России на завоевание Константинополя, прецедентными текстами становятся два стихотворения Пушкина и Тютчева с одним и тем же названием и одним и тем же сюжетом — «Олегов щит». Однако, используя хорошо известный в русской культуре легендарный сюжет, авторы радикальным образом трансформируют и ре-интерпретируют его смысл.

И у Пушкина, и у Тютчева акцентировано восприятие Олегова щита на воротах Царьграда как своего рода символической преграды для агрессивного вторжения в священный город. Тютчев завершает стихотворение намеренно открытым финалом, в котором две противостоящие силы приравнены друг другу в возможности одержать победу («Глухая полночь! Все молчит! / Вдруг… Из-за туч луна блеснула — / И над воротами Стамбула / Олегов озарила щит!»). В финале стихотворения Пушкина щит останавливает перед Стамбулом русскую «рать». Мотивировано это решение темы вполне злободневным контекстом Русско-турецкой войны 1829 г., когда русская армия не стала вторгаться в Константинополь, а подписала выгодный для России мирный договор, что было воспринято и внутри страны, и в Европе как свидетельство великодушия и нравственной победы над противником. Как показали работы А.Л. Осповата и Р. Лейбова[4], такое тематическое решение приходило в противоречие с уже наметившимися клише в патриотической лирике их современников (Д.И. Хвостов, В.Г. Тепляков, Ф. Глинка), наполненной предчувствиями падения Стамбула и превращения его в Константинополь или Царьград.

В лирике 1914–1915 гг. стихотворения, своими заглавиями отсылающие к Пушкину или Тютчеву, фактически продолжают традицию их оппонентов, пророча воскрешение православия в покоренном Стамбуле. Олегов щит в таком контексте становится знаком «военной преемственности» (А.Л. Осповат) и пророчеством будущей победы. Именно так решена тема в стихотворении Ф. Сологуба «Олегов щит», написанном еще в 1890 г., но опубликованном в сборнике «Война» в 1915 г.:

Олег повесил щит на медные ворота
Столицы цезарей ромейских, и с тех пор
Олегова щита нам светит позолота
И манит нас к себе на дремлющий Босфор.

Века бегут на нас грозящими волнами,
Чтобы отбросить нас на север наш немой
И скрыть от наших глаз седыми облаками
Олегов светлый щит блистающей звездой.

Но не сдержать в горах движенье снежной лавы,
Когда, подтаяв, вдруг она летит на дол.
И Русь влечет на щит не громкий голос славы,
Но мощно-медленной судьбины произвол. (С. 24)

С. Городецкий в стихотворении «Царьград», вошедшем в его сборник «Четырнадцатый год», не только описывает будущую победу русских войск в Стамбуле («Ты будешь наш, ты будешь наш / В сию волшебную войну»), но и вписывает эту тему в младосимволистский сюжет о пленной Софии, ожидающей освободителя, позабыв свои недавние «акмеистические» насмешки над идеологической символикой:

Святой Премудрости собор
Давно пленил славянский взор.
И есть давно у нас обет:

Освободить любимый храм,
И крест воздвигнуть к небесам,
А полумесяц дерзкий снять,

Пусть мир в огне, в слезах, в крови –
Надежды, Веры и Любви
Жива таинственная мать.

Пусть плен Софии — плен двойной,
Судьба нахлынула волной,
Судьба летит быстрее птиц.

Россия вновь придет в Царьград,
Кресты на храмах заблестят,
А минареты рухнут ниц.

Обзор цитатного слоя в поэзии Первой мировой войны с убедительностью показывает, что в 1914–1915 гг. была сделана попытка восстановления традиции государственно-патриотической лирики (лирика 1915–1916 гг. еще должна быть исследована под этим углом зрения), почти всегда занимавшей маргинальное положение в стихотворной культуре XIX в. При этом, обращаясь к лучшим образцам государственно-патриотической лирики XIX в., массовая поэзия Первой мировой войны по преимуществу отбрасывает какую бы то ни было проблематичность и внутреннюю конфликтность, содержащуюся в прецедентных текстах: как уже было показано, миссия России не подвергается никакому сомнению, вина за «семейственные» внутренние «раздоры» между «братьями-славянами», как и за военные жертвы, целиком перенесена вовне, современные взаимоотношения между славянскими народами рисуются в исключительно благостных тонах. Традиция не развивается, а клишируется, — и здесь главная причина того, что на первый план для историка литературы — и это убедительно показано в монографии Бена Хеллмана — выходят стихи, находящиеся вне указанной парадигмы, — Блока, Маяковского, Вяч. Иванова, Ахматовой.

Однако неожиданные дистантные влияния массовой поэзии Первой мировой войны могут проявиться и в стихотворениях, на первый взгляд совершенно не имеющих к ней отношения. Лишь один — но очень показательный — пример. Стихотворение Блока «Скифы», созданное в 1918 г. в дни переговоров о Брестском мире, — стихотворение, которое М. Волошин сразу же сравнил с одним из прецедентных текстов для лирики Первой мировой войны — пушкинскими «Клеветниками России», — не только использует метафору «семьи» («Товарищи, мы станем — братья»), но и включает в себя явный отклик на стихотворение Ф. Сологуба «Светлый пир», опубликованное в уже названном сборнике «Война»:

Пора скликать народы
На светлый пир любви
Орлов военной непогоды
Зови. (С. 9)

Перекличка этих строк с финалом «Скифов» не подлежит сомнению:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира.

Приведенные цитаты показывают, что разговор о формировании «военного текста» в русской лирике XX в. только начинается, и варианты его бытования в культуре еще подлежат описанию и осмыслению.

[1] См.: *Магомедова Д.М.* Проблема «Славянской мировщины» в публицистике 1914–1917 гг. и тема исторического возмездия в творчестве Вяч. Иванова и Ал. Блока // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика: Исследования и материалы. М: ИМЛИ РАН, 2013. С. 48–68.

[2] День. 1914. № 206 (2 авг.). С. 1.

[3] О позиции Сологуба в «польском вопросе» периода Первой мировой войны см. подробнее: *Мисникевич Т.* «Польский вопрос» в лирике и публицистике Федора Сологуба // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XII. Мифология культурного пространства: К 80-летию С.Г. Исакова. Тарту, 2011. С. 401–410.

[4] *Осповат А.Л.* «Олегов щит» у Пушкина и Тютчева (1829 г.) // Тыняновский сб. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988; *Лейбов Р., Осповат А.Л.* Сюжет и жанр стихотворения А.С. Пушкина «Олегов щит» // Пушкинские чтпения в Тарту. IV: Пушкинская эпоха: Проблема рефлексии и комментария: Материалы междунар. конф. Тарту, 2007.

И.Ф. Герасимова

Движение милосердия как тема русской поэзии периода Первой мировой войны

Для русской батальной лирики периода Первой мировой войны характерно обращение к такой теме, как движение милосердия, охватившее все слои тогдашнего русского общества.

Красный Крест становится одним из ключевых символом военного времени, лейтмотивом многих произведений русской поэзии. Так, В. Петров в стихотворении, которое так и называется — «Красный Крест», подчеркивает объединение русского общества: «На белом фоне Красный Крест / Глядит на вас, как близкий друг, / С ворот, с балконов и лачуг, / С дворцов, палат, роскошных зданий…» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 6].

Произведения многочисленных авторов, отражающие массовое движение милосердия, представляют собой значительный поток, позволяющий выявить в русле поэзии периода Первой мировой войны такой своеобразный феномен, как *госпитальная лирика.* Ее отличительные признаки — это фактологическая основа, документализм сюжетов, «госпитальный хронотоп», приобретающий характер онтологического рубежа между жизнью и смертью, восприятие милосердия к страждущим с позиций православной аксиологии, центрообразующая роль русской сестры милосердия как безусловной носительницы христианских ценностей.

Русская госпитальная лирика 1914–1918 гг. опирается на традиции XIX в., заложенные в стихотворениях Е. Ростопчиной «Сестрам Крестовоздвиженской общины» (12 мая 1855) [Ростопчина, 1855, с. 9–10], Я.П. Полонского «Под Красным Крестом. (Посв. памяти Ю.П. баронессы Вревской)» [Полонский, 1881, с. 53–56] и в стихотворении в прозе И.С. Тургенева «Памяти Ю.П. Вревской» [Тургенев, 1962, с. 31–32]. Отличие, однако, состоит в том, что в годы Первой мировой войны госпитальная тематика отражается уже не в единичных примерах, а в массовом потоке стихотворных текстов самого разного художественного уровня. К этой теме обращаются и поэты первого ряда (Н. Гумилев, И. Северянин, С. Есенин), и многочисленные полузабытые и забытые ныне авторы.

Наибольшее количество стихотворений посвящено воспеванию подвига русских женщин, отринувших уют, оставивших семью и посвятивших себя помощи раненым русским воинам [Герасимова, 2013, с. 187–220], как и их замечательные предшественницы — «сестры Крестовоздвиженской общины», Юлия Вревская, Даша Севастопольская и другие русские женщины, имена которых менее известны: А. Грибоедова, Е. Бакунина, Э. Лоде [Синицына, 2005].

Этой теме Н. Гумилев посвящает свой диптих, состоящий из двух посланий — «Сестре милосердия» (1914) [Гумилев, 2011, 253–254] и «Ответ сестры милосердия» (10 марта — конец мая 1915) [Гумилев, 2011, с. 254]. В первом из адресованных монологов, написанном от лица мужчины, лирический герой высказывает мысль о том, что миссия женщины за-

ключается в том, чтобы быть «подругой», «с пляской, музыкой и пеньем» проходить «дорогой муз»; посылать мужчин на бой «поцелуем», подобно «англичанке», ставшей предметом светских разговоров: «Эта девушка с открытой сцены, / Нарумянена, одета в шелк, / Лучше всех сестер милосердия / Поняла свой юный долг» [Гумилев, 2011, с. 253–254]. С рыцарской галантностью влюбленного и защитника лирический герой утверждает:

И мечтаю я, чтоб сказали
О России, стране равнин:
— Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин. [Гумилев, 2011, с. 253]

«Ответ сестры милосердия» также написан в форме *послания,* но уже от лица русской женщины. Лирическая героиня предстает в нем как достойная продолжательница духовных устремлений и реальных дел многих поколений русских женщин, которые избрали деятельную помощь своей сражающейся Родине в качестве главного нравственного долга. Недаром стихотворению предпослан эпиграф из «Слова о полку Игореве»: «…омочу бебрян рукав в Каяле реце, утру князю кровавые его раны на жестоцем теле» (Плач Ярославны). Лирическая героиня, возражая автору послания к ней, подчеркивает, что считает свой порыв естественным и не ущемляющим мужскую гордость:

…Солнечное утро битвы,
Зов трубы военной — вам,
Но покинутые могилы
Навещать годами нам.

Так позвольте теми руками,
Что любили вы целовать,
Перевязывать ваши раны,
Воспаленный лоб освежать…

А когда с победы славной
Вы вернетесь из чуждых сторон,
То бебрян рукав Ярославны
Будет реять среди знамен. [Гумилев, 2011, с. 254]

Как видим, в стихотворении Н. Гумилева подвижническая миссия русских женщин представлена в национально-историческом и мифопоэтическом контексте. Образ же Ярославны актуализируется в годы Первой мировой войны не случайно — он становится одним из национальных символов сердечной спутницы русского воина, чья любовь хранит его от гибели. Не случайно такой обобщающий смысл несет в себе заглавие статьи С. Есенина «Ярославны плачут» (1915), посвященной анализу отражения военной темы в женской лирике тех лет.

Ангельские черты в облике сестры милосердия проникновенно воссозданы, например, в малоизвестном стихотворении И. Северянина «Белая фея» (1914. Октябрь) [Северянин, 1915, с. 110]:

По слезным лестницам, как белка, прыгая,
Крепясь при публике, во сне рыдая,
Мелькает белая, святая, тихая,
Такая скромная и молодая.

И в годы-сумерки, и в зори вешние,
И жизни вечером — одна и та же:
Всегда безвестная, всегда нездешняя,
Покоя раненых она на страже.

В палатах буднично, — и удивительно ль,
Что фея белая больным желанна?
Кто поднимается, кто руку вытянул,
Смеются ласково и осиянно.

Полетом голубя бинты покажутся,
Шампанским вспенится лекарство в склянках,
И что-то доброе такое скажется,
Непроизвольное, сестре-смуглянке…

Негулким отзвуком, неясным отблеском
Сестры и матери, жены, невесты
Провеет строгая героям-доблестным
А где расплачется — то свято место! [Северянин, 1915, с. 110]

Произведения как известных поэтов, так и забытых ныне авторов публиковались в столичной и периферийной периодической печати, в тематических сборниках «Современная война в русской поэзии» [Современная война в русской поэзии, 1915. Вып. 1, с. 138–144], «Песни о русской сестре милосердия…» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917] и др.

В стихотворениях многочисленных авторов подчеркивается искреннее стремление русских женщин принести пользу Отечеству в годину тяжелого испытания. Именно этими причинами объясняется, по-видимому, небывалый дотоле, ставший одной из характерных примет времени всплеск «женской поэзии», для которой тема милосердия оказывается особенно близка. Так, Н. Коробицына в стихотворении «Сестра милосердия» (1915) от имени своей героини восклицает: «Как быть мне веселою, / Если вокруг столько зла!» [Коробицына, 1915, с. 714].

Авторы подчеркивают значение благородной миссии сестер милосердия, которые облегчают нравственные и телесные страдания воинов, «чтоб в каждом раненом средь боя, / Воскреснув, вспыхнули бы вновь / В бою — святая мощь героя / И в жизни — к Родине любовь!» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 5]. Яркие проявления искренности находим в стихотворениях Н. Мазуркевича «Милосердная сестра. (Посвящается юной сестре М. Гарковской)» [Мазуркевич, 1915, с. 12], В. Бякина «Русская девушка» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 17], В. Петрова «Сестры милосердия. (Посвящается М.П. Э — т)» [Петров, 1915, с. 24] и мн. др.

Сестра милосердия предстает в их произведениях в образе *матери* (Н. Макашова, «Сестре милосердия» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 9], В. Карпова, «Сестра» [Там же, с. 18], Д. Фролова «Сестра милосердия» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 40] и др.); *матери-родины* (С. Глинская, «Русской женщине» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 69–70]); возлюбленной (Н. Гумилев, «Ответ сестры милосер-

дия», [Гумилев, 2011, с. 253–254]; В. Жуковского «Раненый» [Жуковский, 1915, с. 6–7] и др.); *русской девушки* (В. Бякин, «Русская девушка» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 16–17]); *ангела-хранителя* (например, А. Простова, «Я был без памяти…» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 3] и др.); *святой* (Н. Керсновский, «сестрица» [Песни о русской сестре милосердия…, 1917, с. 44–45]); порой — *самого Бога* (Н. Мазуркевич, «Сестра милосердия» [Мазуркевич, 1915, с. 7–8]).

Образ сестры милосердия — образ пороговый: многие авторы помещают его на границе жизни и смерти, наделяя его носительницу способностью побеждать саму смерть. Такая трактовка характерна, например, для стихотворения О. Гомоюновой «Сестры» [Песни о русской сестре милосердия…, 1916, с. 8].

В большинстве произведений образ сестры милосердия собирательный: поэты намеренно подчеркивают, что движение милосердия объединило представителей самых разных слоев русского общества. Таковы стихотворения «В лазарете» Е. Хмельницкой [Хмельницкая, 1915, с. 18], «Сестра» П. Вильде [Современная война в русской поэзии. Вып. 1, 1915, с. 138–139], и мн. др. Однако среди них особо выделяются те, в которых воспевается благородная миссия представительниц царской семьи. «Царский род / В годину бедствия, страданья / Свой труд, любовь стране несет, / Забывши жизни обаянье» — написал неизвестный автор в стихотворении «Почтительнейше посвящаю Ее Императорскому Высочеству Великой Княгине Ольге Александровне. (Сестре милосердия)» [Песни о русской сестре милосердия..., 1917, с. 4]. Заметим: обязанности сестры милосердия выполняли многие женщины из дома Романовых, например, «в числе сестер» отправилась на фронт «Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Павловна Младшая. В Киеве, в лазарете Покровского монастыря, самоотверженно несут помощь страждущим воинам Великие Княгини — сестры Анастасия Николаевна, Августейшая супруга Верховного Главнокомандующего, и Милица Николаевна с Августейшими дочерьми Мариной Петровной и Надеждой Петровной» [Летопись войны 1914 года, с. 117]. Однако внимание русских поэтов сосредоточилось на императрице Александре Федоровне, великих княжнах Татьяне и Ольге, сестре Николая II — великой княгине Ольге Александровне Куликовской-Романовой, находившейся на позициях в качестве сестры милосердия [Сенина, 2010, с. 4]. Именно им посвящены стихи многих русских поэтов: «Пока бросает ураганами…» (7 июля 1916) Н. Гумилева [Августейшие сестры милосердия, 2008, с. 249], «В багровом зареве закат шипуч и пенен…» (1916) С. Есенина [Есенин, 1996, с. 145]; «Я был без памяти…» А. Простовой [Песни о русской сестре милосердия..., 1916, с. 3]; «Ольга А-на» А. Мейснера [Современная война в русской поэзии. Вып. 1, 1915, с. 142] и др.

Одним из таких произведений является стихотворение П. Голощанова «Господнею волей, войны небывалой…» с посвящением «Царице-Сестре» [Августейшие сестры милосердия, 2008, с. 3–4]. Документальная основа произведения очевидна: автор констатирует, что «в это великое, страшное время / Царица — России Любимая Мать — / Сестры милосердной изволила бремя / На плечи свои, не колеблясь, принять. / Тяжелый тот крест на Себя возлагая, / Его возложила на двух Дочерей, / Любви неземной дать примеры желая / Их юной и чистой душе поскорей. / Как мать-Государыня, сердцем болеешь / За всех сыновей Твоих — русских солдат — / И их, как Царица-Сестра, Ты лелеешь, / И раненый каждый тебе уже брат» [Августейшие сестры милосердия, 2008, с. 3]. Для этого стихотворения характерен распространенный в лирике периода Первой мировой войны мотив

общего *дома, семьи* [Герасимова, 2013, с. 130], напрямую связанный с образом Родины. Царица — сестра милосердия — воспринята как «мать», «сердцем болеющая» за своих «сыновей». Поэт завершает свое стихотворение молитвенным *прошением* к Господу даровать царственной сестре милосердия «счастья с Ее Дочерьми», «силы», «утеху в Наследнике Сыне», «радость», «мир» и «покой».

Авторы помещают монарших особ на передний край борьбы за жизнь, и в этом случае архетип *семья* приобретает уже общенациональное значение. В таком ракурсе предстают героини стихотворения С.А. Есенина «В багровом зареве закат шипуч и пенен…» (1916) [Есенин, 1996, с. 145], также известного под названием «Царевнам» [Есенин, 1996, с. 392], редкостные художественные достоинства этого произведения наиболее убедительно выявлены известным есениноведом О.Е. Вороновой [Воронова, 2002, с. 140–142]. Стихотворение носит характер исторического пророчества, о чем свидетельствует и его молитвенный контекст: «О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу» [Есенин, 1996, с. 145].

Особый пласт госпитальной лирики составляют стихотворные *солдатские письма*, во множестве печатавшиеся в различных периодических изданиях. Так, некоторые из них обнародовал Мин. Шах, процитировав их безо всякой литературной правки и предпослав им следующий эпиграф: «Ведь письма — субъективные снимки с настроений» (из письма Ницше к Дейлиху 4/V 1867 г.) [Мин. Шах, 1915, с. 1401]. Эти образцы массовой народной поэзии подкупают непосредственностью в выражении чувств, искренностью, сердечной благодарностью в адрес спасителей. Комментируя простые, искренние, порой по-солдатски неуклюжие строки, автор публикации убежден, что по их прочтении перед читателями «облик русского солдата засияет… в новом свете. Для него так же близко чувство благодарности, как и чувство долга. Под оболочкой сурового воина бьется мягкое сердце, живет отзывчивая душа, и, может, потому так отрадно и радостно рыться в этих неуклюжих письмах — таких родных…, дорогих…» [Мин. Шах, 1915, с. 1404]. Действительно, подобные произведения являются живым памятником эпохи одной из самых кровопролитных войн XX столетия. Они ярко свидетельствуют о том, что народное сознание начального периода Первой мировой войны воспринимало сестер милосердия как «образ великого сердца страны» [[*Б. а.*] Светлые образы. (Сестры милосердия), 1914, с. 598], полного великой Любовью, искреннего участия к тем, кто в нем наиболее сильно нуждается, уверенности в том, что солдат, возвратившись на поле боя или к мирной жизни, сохранит в себе человека. Таково, по мнению Павла Попова, истинное милосердие, явленное русскими женщинами на полях сражений: «Но война свирепствует не вечно. / Отгремит военная гроза. / А в явленьях жизни быстротечной / Заблестит обычно слеза. / Меч вражды и злобы повседневной / Нищих духом будет ранить въявь… / Вот туда-то, в пекло муки гневной, / Милосердья помощь ты направь! / мир широк, и в жизни скорби много, / Где страдальцы — сами палачи… / Вот туда-то к ним, во имя Бога / Утешенья ты неси лучи» [Попов, 1915, с. 420].

Таким образом, следует констатировать, что тема движения милосердия стала одной из наиболее примечательных в общей тематике поэзии периода Первой мировой войны.

Характерной особенностью подобных произведений, как было замечено выше, является их фактографическая основа: они написаны либо самими участниками событий, либо представляют собой отклик на рассказ очевидцев, что придает им черты дневниковости, запечатлевшей мельчайшие детали человеческого бытия эпохи мировой войны.

Интересна палитра жанровых модификаций госпитальной лирики 1914–1918 гг., включающая авторские новообразования: *исповедь умирающего офицера, прощальное письмо, благодарное признание сестре милосердия* и др.

Многочисленные образцы массовой госпитальной лирики не несут в себе, как правило, художественной ценности. Значение этих человеческих документов в другом — в ценности непосредственного и искреннего свидетельства очевидца, зафиксировавшего не только приметы времени, но и процесс национальной самоидентификации русского человека в условиях мирового катаклизма.

Образ царственной сестры милосердия, как было отмечено, является в этих стихах «штрихом» к портрету персонифицированной русской монаршей власти, несет в себе яркий идеологический заряд, являясь художественным оружием в идеологическом противостоянии держав, находящихся в состоянии войны.

Многообразие микросюжетов, реализованных авторами в рамках госпитальной темы, позволяет запечатлеть проявление основных черт русского национального характера, православного мирочувствования авторов и их героев.

По сути, в госпитальной лирике воссоздана микромодель жизни, в которой хронотоп сжатости времени и пространства между жизнью и смертью проявляет ощущение полноты бытия, победы жизнеутверждающих начал человечности, добра, милосердия.

Список литературы

Августейшие сестры милосердия / Сост. Н.К. Зверева. М., 2008.

Августейшие труженицы и сестры милосердия // Летопись войны 1914 года. № 7. С. 116–117.

Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. Рязань, 2002.

Герасимова И.Ф. «Госпитальная» лирика периода первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Вып. 2. СПб., 2012. С. 35–45.

Герасимова И.Ф. Художественно-философское осмысление Первой мировой войны в русской поэзии 1914–1918 гг. в историко-культурном контексте эпохи. Рязань, 2013.

Гумилев Н. Полн. собр. соч.: В 1 т. М., 2011.

Есенин С.А. Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1996. Т. 4.

Жуковский В. Раненый // Кавказский журнал. 1915. № 8. С. 6–7.

Коробицына Н. Сестра милосердия // Пробуждение. 1915. Вып. 22. С. 714.

Мазуркевич Н.И. Сестра милосердия // Кавказский журнал. Отклики мировой войны. № 6: Календарь войны: Сб. Н.И. Мазуркевича: Стихотворения, рассказы от очевидцев, военный обзор, статьи о современной войне народов и проч. Пятигорск, 1915. С. 7–8.

Мазуркевич Н.И. Милосердная сестра: (Посвящается юной сестре М. Гарковской) // Кавказский журнал. Отклики мировой войны. № 7 (февр.). Пятигорск, 1915. С. 12.

Мин. Шах. Солдатские письма // Вестник Красного Креста. 1915. № 4. С. 1401–1404.

[*Б.а.*] Светлые образы: (Сестры милосердия) // Пробуждение. 1914. № 18 (15 сент.). С. 598–599.

Песни о русской сестре милосердия: 1914–1916, собранные Евгением Вильчинским: С портретами августейших сестер милосердия. СПб., 1917. (Приложение к № 1 «Вестн. Красного Креста»).

Полонский Я.П. Под Красным Крестом: (Посв. памяти баронессы Ю.П. Вревской) // Полонский Я.П. На закате: Стихотворения. 1877–1880. М., 1881. С. 53–56.

Попов П. Милосердие // Пробуждение. 1915. № 13 (1 июля). С. 420.

Ростопчина Е. Сестрам Крестовоздвиженской общины: (По прочтении писем их начальницы, напечатанных в «Северной пчеле») // Москвитянин. 1855. Кн. 1. № 11. С. 9–10.

Северянин И. Белая Фея // Лукоморье. 1915. № 5–6. С. 110.

Сенина М.А. Истинное милосердие. Великая княгиня Ольга Александровна в деле помощи раненым и увечным воинам в годы Первой мировой войны // Современные проблемы науки и образования. 2010. № 6. С. 4.

Синицына Т. Даша Севастопольская, легенда Крымской войны [Электронный ресурс] // РИА НОВОСТИ. Режим доступа: http://ria.ru/analytics/20050513/39977232.html.

Современная война в русской поэзии: Вып. 1–2 / Сост. Б. Глинский. Пг., 1915. Вып. 1–2.

Тургенев И.С. Памяти Ю.П. Вревской // Тургенев И.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 10. С. 31–32.

Хмельницкая Е.Ф. Вперед смелее! Сб. стихотворений. Пг., 1915.

А.И. Иванов

Первая мировая война в корреспонденциях русских писателей

В стихотворении «Наши дни», датированном 9 августа 1914 г. (по старому стилю), В. Брюсов передал стремление современников запечатлеть, зафиксировать военное время:

…Ротационные машины
Стучат как ночью, так и днем,
Чтоб миг не минул ни единый,
Газетным позабыт столбцом.

Эти строки поэта-символиста и военного корреспондента выражали позицию журнала, в котором они были напечатаны. В номере «Русской мысли», вышедшем сразу после начала войны, было заявлено, в частности: «…мы будем стремиться в содержании журнала отражать преимущественно то, что поглощает теперь помыслы и внимание всех — великую европейскую войну, давая материал, с разных сторон освещающий переживаемый человечеством кризис» [Русская мысль, 1914, № 8–9]. Это стремление журнала, с его прочными публицистическими и общественными традициями, *отразить* великую европейскую войну, поглотившую *помыслы и внимание всех,* можно воспринимать как задачи всей отечественной литературы военного времени.

Написанное во время войны ставит вопрос о роли литературы как свидетельницы событий, фактов военной действительности. Что представляют собой художественные «показания» современников войны? Что означает *правда о войне* в очерках и репортажах писателей, бывших военными корреспондентами? Какое место занимают в них эмоции и факты?

Следует подчеркнуть, что нести правду о войне, окопную истину российские писатели зачастую и не имели возможности. Отечественная литература 1914–1918 гг. оказалась в невероятно жестких тисках военной цензуры. Согласно «Положению о военных корреспондентах в военное время» (1912), «в русскую армию предусматривался допуск 20 корреспондентов (из них 10 иностранных) и 3 фотографов, которые должны были иметь безупречную характеристику» [Алимов, 1999, с. 117].

Подлинно художественных произведений, вышедших в годы войны отдельными изданиями, действительно не так уж много. Именно поэтому необходимо особое внимание к художникам, которые откликнулись на это событие и внесли свой вклад в познание войны, человека с ружьем, нации во время войны. В откликах на войну продолжали развиваться темы, известные предшествующей литературе, и в то же время зазвучали новые вопросы и проблемы: изменение отношения к русской армии, офицерству; глубинное, народное осознание войны как всеобщей беды; осмысление войны как страдания, за которым последует очищение, покаяние; ощущение войны как раскрепощенной жестокости, проявившей себя в последующих революционных событиях, и др.

К числу лучших публикаций о Первой мировой войне, несомненно, относятся репортажи В. Брюсова, С. Клычкова, Ф. Крюкова, Я. Окунева, М. Осоргина, проза М. Пришвина, Б. Тимофеева, А. Толстого, И. Шмелева. Ощущая значимость события, писатели видели главную проблему в том, чтобы уловить в происходящем на их глазах самую суть, *запечатлеть нерв времени.* В статье «В сфере военной обыденности» (1916) Ф. Крюков, будучи военным корреспондентом, писал: «Самое тревожное и трудное для постижения, самое темное, неуловимое и загадочное на войне — это то, что обычно именуется духом, настроением. Масштаб, огромный до необъятности, миллионы живых единиц, чередующихся, часто сменяющихся, со слабым налетом специальной, солдатской муштры, пестрота наречий, пестрота национальных и профессиональных типов, разнообразие и неожиданность положений создают картину, к которой неприложимо ни одно категорическое определение, — ни оптимистическое, ни пессимистическое» [Крюков, 1916].

Г. Иванов о сборнике «военной» лирики М. Волошина писал, что основная тема его стихов — война, но «не сражения и не геройские подвиги, а та гигантская ее тень, которая лежит на наших городах и наших душах» [Аполлон. 1916, № 6–7, с. 53]. Поэтому не фактография войны, востребованная исторической наукой, а, говоря словами М. Волошина, «осознание совершающегося», выдвигалось тогда на первый план. Такое отношение художника к войне — образное осмысление, а не изображение войны, ощущение ее значимости в судьбе России, свойственное поэзии А. Ахматовой, В. Брюсова, М. Волошина, Вяч. Иванова, О. Мандельштама, Ф. Сологуба и др., — дает богатейший материал для философского осмысления событий. Немалый интерес представляет осмысление *духовных* причин возникновения мировой войны, которое содержится в публицистике военных лет Д. Мережковского.

Конечно же, страницы литературы о Первой мировой войне могут быть прочитаны как описание конкретных исторических событий. Но если историков интересует, *что увидено современниками*, то для литературоведов важнее, *что почувствовали художники.* Что же увидели художники-корреспонденты?

Первая мировая война и накопление к этому времени технических достижений поставили писателей перед новой реальностью. Впервые против человека было использовано химическое оружие, мощные чудовища-танки, необычайная плотность огня. Сила военной мысли человека нападающего столкнулась со слабостью человека обороняющегося. Бесчеловечность этого противостояния удалось передать В. Ропшину (Б. Савинкову): «Мечется, со свистом разрывается воздух. Боже мой, опять прольется шрапнель…Ей нет конца. Ей не будет конца. Сколько времени я так лежу на траве? Уполз муравей. Перед моими глазами только невысокие, зеленые стебли. Для муравья он — лес, густая и непроходимая поросль. Но зато ему шрапнель не страшна. Не всё ли условно? Не условна ли и сама, неизбежная, смерть?

Идти назад? Или лучше остаться лежать? Как уйдешь? Ползком, как ничтожнейший муравей? Я не хочу и не буду ползать. И я встаю во весь рост. Чем я рискую? Разве можно уйти от смерти?

И вдруг к гневу примешалась острая жалость — детское чувство. Жалость к себе, к тому, что было, что уже никогда не вернется, чего уже никогда не будет. Жалость к прожитой жизни. И это чувство было так огромно и полно, что в нем потонули и страх, и ненависть, и беспокойное любопытство. Я не хочу умирать.

Такова моя воля. Но есть и воля машины. На карте разграфлены квадраты. Для каждого квадрата свой прицел. Я лежу в одном из этих квадратов. Механически, без ошибки, без

волнения, без разумения, кто-то темный меня убьет. Нет заслуги и нет вины» [Ропшин, 1918, с. 235–236].

Новое, невиданное до сих пор в военных действиях заставляло писателей переоценить прежние представления о жестокости. Известно, например, что смерть в этой войне стала настигать человека не только на земле, как это было несколько веков, но и с воздуха и в воздухе. Восхищавшая в начале века авиация в годы войны стала источником смерти с воздуха. С. Кречетов (Соколов) в одном из очерков писал об этой военной новинке: «Гляжу кверху, там, на ясном, утреннем небе, с злобным, басистым и немного гнусавым гудением носится черное крылатое чудовище, точно огромный шмель из Гофмановской сказки. Кружит и уносится в сторону, и вновь возвращается, что-то ищет. Что-то выбирает». Но далее на первый план выступают чувства человека, находящегося под бомбежкой: «После я успел привыкнуть к этим германским шмелям с изогнутыми крыльями. Но всякий раз охватывало при виде их чувство какого-то злобного бессилия. Что предпринять против этой проклятой машины, шныряющей в высоте и кидающей бомбы, от которых десятки людей обращаются в мелкие клочья мяса и кровавых тряпок! Что-то темное, шмелиное, нечеловеческое просыпается в душе. Так бы и взлетел сам в высоту и впился бы в этого колдовского шмеля и грыз бы его, рыча от ярости, чтоб свалить на землю, а вместо того надо прятаться, если укрытие близко. И застывать недвижно на месте, если оно далеко, чтобы быть как можно незаметнее и как бы слиться с землей» [Кречетов, 1915, с. 22].

Человечество, воевавшее до сих пор на воде, стало воевать и *под водой*. Человек увидел смерть из-под воды. Очерк А. Толстого «Под водой» о драматическом походе подводников заслуживает особого внимания как один из первых рассказов о людях новой военной профессии. Без громких слов описывается подвиг экипажа лодки, потопившей вражеский миноносец, но попавшей в минные заграждения. И так же спокойно, бесстрастно повествуется о пребывании в стальной коробке, где с каждой минутой убывает живительный кислород.

Нехитрый окопный быт такой *необычной по продолжительности позиционной* войны, особенность которой состояла в длительном пребывании в окопах, траншеях, запечатлен в прозе М. Пришвина и С. Федорченко, стихах С. Черного.

В очерке А. Толстого «Обыкновенный человек» впервые затронута тема «большой» и «малой» войны, необходимости жертвовать *меньшим* во имя *главного* военного успеха. На первый взгляд рассказ передает ощущения прапорщика Демьянова, впервые оказавшегося в бою, где ему после смертельного ранения командира взвода пришлось командовать солдатами. Занимая рощу, теряя солдат, он, естественно, предполагал, что центр сражения здесь, что кровь его подчиненных пролита не напрасно. На самом деле по всей огромной площади, занимаемой тремя корпусами Н-ской армии, полк, в котором служил Демьянов, выполнял только отвлекающую роль. Занимая рощу, погибая под пулями, солдаты выполняли чей-то тактический замысел.

В. Ропшину понадобился буквально один абзац для того, чтобы передать новый облик той мировой войны: «С холма простым глазом был ясно виден соседний, источенный окопами холм, были видны колючие заграждения, были видны те сорок шагов нескошенной, пестреющей полевыми цветами, травы, которую нужно, необходимо перебежать, чтобы под огнем пулеметов продвинуться на сорок шагов вперед. А внизу, под холмом, была не долина, а решето. Вся земля была истыкана воронками от снарядов — больших, малых и средних. Сверху было страшно смотреть. Кто надругался над кормилицей — над землей? Кто изра-

нил, изрешетил ее сталью? Кто посмел, кто решился ее осквернить? И когда я смотрел, кто-то тронул меня за рукав:

— Хлебов-то сколько побили!…

Это сказал хлебороб-крестьянин, одетый в солдатскую форму. И сказав, он чуть не заплакал. Он жалеет хлеба. Пожалеет ли он человека?» [Ропшин, 1918, с. 214]. Всего несколько строк создают *панораму* войны — источенные окопами холмы и ничейная полоса в сорок шагов, которые так трудно сделать под пулеметным огнем; *материальные и духовные результаты войны* — изуродованную землю-кормилицу и вчерашнего хлебороба в солдатской форме, ставшего на войне убийцей.

А. Толстой сумел передать своему читателю объемную, рельефную картину не остывшей от недавнего боя местности: «Австрийские траншеи за Старым Самбором шли полукругом по лбу очень высокого, крутого холма и внизу были обнесены колючей проволокой. По обрыву, по скользкой глине, едва можно было взобраться наверх, но наши солдаты, под огнем пулеметов и ружей, накопали и здесь небольшие ямки, доходящие до австрийцев почти вплоть» [Толстой, 1949, с. 279].

Писатель мог до мельчайших подробностей увидеть, например, только что отвоеванные позиции неприятеля: «Дно траншей покрыто соломой; в углублениях ниш валяются тюфяки из соломы и тряпья. На стенах траншей повсюду пятна крови, а на гребнях, очевидно там, где прислонялась голова, — большие заскорузлые лужи. Повсюду обрывки одежд, шапок, сорванные бинты, обломки ружей, обгоревшие остатки ружейных прикладов, из которых австрийцы разводили костры, свежесодранные телячьи кожи, гильзы и стаканы снарядов» [Толстой, 1949, с. 92].

А. Толстой заметил и «привыкаемость» к войне, «относительность» ужаса войны. Однажды его внимание привлекло поведение солдата во время начавшейся артиллерийской канонады. Среди всех звуков, «ослепляющих пламеней стоял солдатик, небольшой, серый, тихонький: повесив ружье на плечо, приподняв голову немного вбок и кверху, он слушал.

— Видишь ты, какая штука, — сказал на мой вопрос солдатик тихим, немного даже таинственным голосом. — Я тут третий день слушаю: скрипит и скрипит вон в энтих деревьях, будто человек стонет. Что уж это такое, — сам не знаю.

Вслед за его словами опять полыхнули четыре языка и, прогромыхав, опять понеслись, гудя и удаляясь, трехпудовые снаряды в темноту, в туман, в австрийские окопы. <…> Я оглянулся; едва видный в тумане солдатик все еще стоял и слушал, кто это там скрипит» [Толстой, 1914].

Негативно изображавшийся в предвоенной прозе («Поединок» А. Куприна, «Бабаев» С. Сергеева-Ценского, «На куличках» Е. Замятина) русский офицер был в значительной степени «реабилитирован» в произведениях И. Шмелева, Н. Гумилева, Ф. Степуна.

В рассказах К. Тренева, книге С. Федорченко «Народ на войне», быть может, впервые в отечественной литературе заговорил сам «человек с ружьем» — вчерашний крестьянин или мастеровой, по воле судьбы ставший воином. Словом, реалии Первой мировой войны, жизнь армии и жизнь тыла воюющей страны в военных корреспонденциях были представлены достаточно рельефно. Хочется особенно подчеркнуть при этом, что главным для писателей, ставших военными корреспондентами, было стремление *увидеть, услышать, понять солдата — главного труженика войны.* В очерке А. Толстого «На Кавказе» безымянный матрос у костра рассказывает о своих ощущениях:

«— Вначале, конечно, опасно. Пуля не разбирает, где летит. А потом все равно, ей-богу. Как работаешь. И не хотится, чтобы зря стрелять, а хотится, чтобы попасть.

— А как тебя в голову стукнуло? — спросил солдат.

— За пограничным столбом на тропе. Приказано было дойти до тропы, четырнадцать человек пошли, пятнадцатый — вольноопределяющий. Доползли, легли за гребешок, позади нас — большой камень; вольноопределяющий вскочил на него — стрельбу проверять; тут же ему прямо в шею попало — свалился мертвый, не дыхнул. А я, знаешь, камешек эдакой положил перед собой и стреляю, а позади нас тыркаются пули ихные, как шмели; в камень тыркнется и пыхнет, а которая близко разорвется, — все лицо обдаст, как оспой; гляжу, у кого вся щека в оспе, у кого лоб в крови, — пуля ихная как пыль, так ее рвет. Ну, потом и меня в это место чиркнула, — штука нехитрая» [Толстой, 1949, с. 143].

Очерки А. Толстого являются свидетельством того, что в корреспонденциях о войне услышан-таки бессловесный до этого «человек с ружьем». Это произошло в очерках и рассказах В. Катаева, Ф. Крюкова, Я. Окунева, М. Пришвина, А. Серафимовича, Б. Тимофеева, К. Тренева и, конечно же, в публикациях С. Федорченко «Народ на войне». В потоке «марсианствующей» литературы эти произведения выделялись именно передачей ощущений, мыслей рядовых участников войны.

Самосознание тех, на чью долю выпали самые тяжелые испытания войной, постоянно находилось в центре внимания писавших о войне, этот человековедческий аспект был главным для многих из них. С. Кречетов (Соколов), поэт, издатель, основатель символического издания «Гриф», писал в своих очерках с фронта: «Я не стратег и всего менее историк. Я — только поэт, и гляжу на то, что совершается, глазами художника, человека от искусства. Великая война найдет много историков, которые сумеют зафиксировать и воссоздать ее подробно в ее фактических очертаниях.

Мои писания глубоко субъективны. Изображаю то, что говорит моему глазу. Пропускаю, быть может, многое важное. Примечаю, наверное, многое несущественное только потому, что оно красочно. Но если в этих страницах, которые я набрасывал беспорядочно и торопливо, на случайных ночлегах, на недолгих стоянках под грохот канонады, от которой жалобно звенели окна, читатель на мгновение ощутил *странное и трудно определяемое чувство войны, вдохнет ее неуловимый воздух,* то мне не нужно ничего другого» (курсив автора. — *А.И.*) [Кречетов, 1915, с. 22].

Военная реальность заставила задуматься об *общечеловеческом* в трагедии войны даже таких писателей-бытовиков, как, например, В. Муйжель, писавших до этого только о мужике: «Вспоминается почему-то большая, просторная изба, куда мы заезжали выпить чаю, и заткнутые в ней тряпицами и соломой выбитые окна… И темное, исчерченное морщинами, напоминающее растрескавшуюся в засуху землю, лицо, потухшие глаза и вялая, равнодушная речь… И бедность, смотрящая из каждого угла.

И становится понятной далекая тоска изрытых глубокими рядами окопов полей, и уже титанические разрушения железнодорожных станций кажутся наивными детскими игрушками… Сделанное человеческими руками можно воссоздать вновь. Пройдут годы, — раны войны, даже наиболее глубокие, затянутся <…>. Но растет, ширится, всё ближе и ближе подступает безнадежная тоска разоренного края» [Муйжель, 1915, с. 23].

Война для В. Муйжеля прежде всего — это потухшие глаза женщины, ставшей от горя войны старухой, тоску которой не залечит время. Но за этим есть нечто более важное: духов-

ное разрушение, которое страшнее материального. Сделанное человеческими руками — здания, мосты, вокзалы, за которые шли ожесточенные бои, — всё это подлежит восстановлению. Но смерть близких не восполнима ничем. Действительно, «титанические разрушения железнодорожных станций кажутся наивными детскими игрушками» по сравнению с «тоской изрытых глубокими рядами окопов полей», с «потухшими глазами и вялой, равнодушной речью» женщины, приютившей солдат.

Постигая метафизику войны, русские литераторы-корреспонденты вглядывались прежде всего в солдат и офицеров действующей армии, изображали Первую мировую войну как *человеческую реальность*. Основное внимание поэтому было обращено не на конкретное в изображении войны, а на *человека на войне*.

Список литературы

Алимов Р. Первая мировая война в освещении русских газет // Первая мировая война: История и психология. СПб., 1999. С. 117.

Иванов Г. [Рец.] // Аполлон. 1916. № 6–7. С. 53.

Кречетов С. С железом в руках, с крестом в сердце. Пг., 1915. С. 22.

Муйжель В.В. С железом в руках, с крестом в сердце: (На Восточно-Прусском фронте). Пг., 1915. С. 23.

Ропшин В. [*Савинков Б.В.*]. Из действующей армии (лето 1917). М., 1918. С. 235–236.

Русская мысль. 1914. № 8–9. С. 1.

Русские ведомости. 1916. 19 мая.

Толстой А.Н. Письма с пути. Письмо тринадцатое // Рус. ведомости. 1914. 11 нояб.

Толстой А.Н. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. С. 279. Т. 3.

Елена Д. Толстая

«Вы будете глазами и ушами вашего народа»: Визит русских писателей в Англию в феврале 1916 года

Представители обоих государств начали обмениваться визитами за несколько лет до Первой мировой войны — после того, как в 1907-м Англия и Россия договорились о разделе сфер влияния в Афганистане, Персии и Тибете. В 1909 г. в Англию ездили 19 членов Третьей Думы, — председатель Николай Хомяков, Александр Гучков, глава оппозиции Павел Милюков и другие. Во время этого посещения Милюков читал лекции в Ливерпульском университете о влиянии английской литературы на русскую культуру. (Годом раньше в Петербургском университете выступал с лекциями об английской литературе профессор Оскар Браунинг из Кембриджа.) В январе 1912 г. в России побывала группа из 30 английских общественных деятелей, включая нескольких посланцев англиканской церкви, желавших сближения с церковью православной. После этого в Англии возникли Русское общество, общество «Россия», Англо-русское общество (Общество сближения Англии и России). Душою сближения на этом раннем этапе был Бернард Пэйрз (Pares) — впоследствии профессор русской истории, литературы и языка в Ливерпуле сэр Бернард Пэйрз: именно он был застрельщиком русских исследований в Англии и основателем «The Russian Review». Укреплялись и экономические отношения: Россия получила британские займы. В 1908 г. с поощрения Николая в России образована была Англо-русская торговая палата (затем переименованная в Русско-британскую), с отделениями в Москве, Петербурге и Одессе, а в Англии — русский отдел Лондонской торговой палаты. Англичане стремительно активизировались, осознав, что их почти из всех отраслей вытеснила Германия [Cross A. 2006, с. 56–70]. Уже в 1916 г. специальный выпуск «Times Russian Supplement», посвященный торгово-промышленным связям двух стран, демонстрировал разворот английского капитала и индустрии в сторону России.

С началом войны англо-русское сближение заметно активизируется [Колотовкина, 2001]. Разногласия были забыты. Когда Англия объявила войну Германии, русские массы стали относиться к англичанам с изумительной сердечностью [Pares, 1931, с. 275; Cross A. 2006, с. 63]. Англофилия достигла беспрецедентного апогея — стоило англичанину в военной форме появиться на улицах столиц, и на него буквально набрасывалась с выражениями любви толпа энтузиастов [Cross A. 2006, с. 63]. Стал регулярно выходить «Times Russian Supplement». Осенью 1915 г. по всей Англии проведен был «День русского флага» — благотворительная акция в пользу русских раненых. Резко вырос интерес к России, ее языку, литературе и культуре в целом. В университетах создавались славистические кафедры и программы, переводились русские авторы, открывались курсы русского языка, выходили специальные издания, посвященные России.

В 1915 г. группа английских писателей обратилась к русским коллегам с дружественным посланием, где давалась высокая оценка русской культуре. Московские писатели

послали ответ, в подготовке которого участвовал, среди прочих, Иван Бунин. В апреле 1915 г. в Москве учреждено было Общество сближения с Англией; в него входили видные профессора, в частности Максим Ковалевский, Павел Новгородцев, Алексей Дживелегов, а также Бунин и ряд других литераторов. Объединение носило отчетливо либеральный, кадетский характер. В Петрограде открылось Общество британского флага (позднее переименованное в Русско-английское общество), главной движущей силой которого был Корней Чуковский[1].

В конце 1915 г. он выпустил в издательства А.Ф. Маркса книгу об английских солдатских письмах с фронта «Заговорили молчавшие» (до того с апреля 1915-го печатавшуюся в «Русском слове») [Чуковский, 1915]. Эта книга вышла огромным тиражом в сентябре 1915 г. и была воспринята «на ура», рекомендована для учебных заведений и солдат и сразу же переиздана и переиздавалась еще и еще — только в 1915 г. вышло 4 издания. Ее закупали для армии и учебных заведений по всей России. (После революции она на 80 лет была заперта в спецхран.) Чуковский сразу послал ее в Лондон в русское посольство, и 19 февраля вышел 16–й номер «Times Russian Supplement» — «Русского приложения к Таймсу» — с восторженной рецензией.

Это было накануне визита в Англию делегации из шести русских писателей и журналистов, состоявшегося с середины февраля по конец марта 1916 г. Им предстояло убедиться самим и поведать русским читателям, что эта страна вносит достаточный вклад в войну.

Сама идея ознакомительной поездки русских писателей по Англии возникла в начале 1916 г. на фоне настойчивых слухов о намерениях России заключить сепаратный мир с Германией; как известно, сторонником примирения был Распутин. Многие к тому же считали, что Великобритания воюет русскими руками. Ср. в воспоминаниях одного из самых осведомленных современников, британского агента Р.Б. Локарта: «В начале 1916, в разгар войны, когда союзники, и особенно Россия, испытывали большие сложности, в Москве и Петрограде ходили слухи об открытии второго фронта, как это потом было в 1942 и 1943 годах. Говорили, что англичане не торопятся, они предпочитают попридержать свой флот, и Англия будет “сражаться”до последней капли русской крови» [Lokhart, 1952].

В начале того же 1916 г. и в английской прессе выражалось мнение о том, что Британия недостаточно делает для войны. Так, в «Таймсе» 16 января появилось письмо сэра Артура Конан-Дойля, в котором, как и во многих других материалах тех дней, предлагалось пересмотреть традиционное для страны отсутствие закона об обязательной воинской повинности. Публикация была приурочен к визиту 16 января 1916 г. в Лондон кн. Ф. Юсупова со специальным посланием от царя: Николай передавал, что он не верит обвинениям против Англии. Посол России в Лондоне гр. Бенкендорф[2] категорически заявил, что Россия не предпринимает никаких шагов отдельно от союзников.

В конце 1915 — начале 1916 г. русские войска под командованием генерала Юденича добились значительных успехов на Южном фронте. Взятие Эрзерума обострило в английском общественном мнении чувство вины за недостаточные военные усилия Британии.

Англичане уже начали подумывать и о послевоенном устройстве, предвкушая, что они займут место Германии в качестве главного поставщика современной техники в России. Россию им необходимо было убедить в дружественности и чистоте своих намерений. Популярный в Лондоне беглый депутат Думы Аладьин[3] даже убеждал Британию открыть России Дарданеллы. Но англичане ограничились тогда более экономным решением: пригласить

группу русских журналистов и показать им, что именно делает Англия ради победы, с тем, чтобы они воздействовали на русское общественное мнение в положительном направлении. При этом настойчиво подчеркивался частный, а не политический характер визита. Уже по следам его, на Пасху, планировалось прибытие и русской парламентской делегации [Милюков, 1955]. Визит, реализовавший свою пропагандистскую миссию, подготовил тем самым почву для связей на более высоком уровне.

Считается, что план приглашения группы русских журналистов возник у британского посла в Петербурге сэра Джорджа Бьюкенена[4]. Впрочем, на самом деле накануне Англию посетила делегация других союзных журналистов — французских[5], поэтому и визит русских гостей шел по обкатанной уже программе. Бьюкенен сам отобрал ее участников — так, чтобы наличествовал весь политический спектр. Либеральная петербургская «Речь» представлена была Владимиром Дмитриевичем Набоковым, основателем и вторым лицом в конституционно-демократической партии, известным борцом за конституцию. Он официально возглавлял делегацию[6]. От умеренно-националистического, «центристского» московского «Русского слова» прибыл ветеран русской журналистики Василий Иванович Немирович-Данченко[7], корреспонденции которого запомнились английским читателям еще со времен Шипки и Плевны. Алексей Толстой был приглашен[8] как корреспондент петербургских либерально-солидных, «профессорских» «Русских ведомостей», по мнению многих — лучшей русской газеты, где он успел напечатать цикл военных корреспонденций из Волыни и Галиции (осень 1914) и с Кавказа (февраль 1915), которые нравились и широкому читателю[9], и ивановско-бердяевскому кружку[10], и издать книгу «На войне» (1915).

Правое крыло, газету «Новое время», традиционно прогерманскую и антианглийскую, представлял Ефим Егоров[11], а официоз, «Правительственный вестник», — его бывший редактор Александр Башмаков[12]. В ходе визита развернутые репортажи публиковали все авторы, кроме последнего, посылавшего только телеграммы на темы протокола.

В последнюю минуту, по настоянию Бьюкенена, в делегацию был включен и Корней Иванович Чуковский, за которым с периода его сотрудничества в революционной прессе 1905 г. закрепился ореол политически не вполне благонадежного журналиста. Несмотря на отсутствие необходимых документов, нажим Бьюкенена помог устранить все трудности, и Чуковского все же выпустили. Он поехал корреспондентом сразу от трех органов печати — газет «Речи», «Русского слова» и журнала «Нива» (точнее, иллюстрированного приложения к нему «Искры — Воскресенье»). Всем распоряжался корреспондент «Таймс» Роберт Уилтон[13] — движущая сила всего проекта, организатор «Times Russian Supplement».

Писатели ехали за свой счет, но в Англии их окружили сказочным гостеприимством, поселили в фешенебельном отеле «Савой», их принял король Георг V, их возили на флот показывать сверхдредноуты (флот был окружен строжайшей секретностью, и его очень мало кто видел), в военные лагеря и училища, на военные заводы и отвезли в Бельгию на фронт — правда, на передовую не пустили. Во время и после этого визита появился ряд важных публикаций: В.Д. Набоков, возглавлявший делегацию, и его спутники А.Н. Толстой и К.И. Чуковский опубликовали тогда по серии газетных очерков, а затем издали каждый по книге, в которой объединили накопленные материалы. У Набокова она называлась «Из воюющей Англии» [Набоков, 1916], у Чуковского — «Англия накануне победы» [Чуковский, 1917]. Толстой же выпустил свои очерки во втором издании 6-го тома своего продолжающегося в московском «Книгоиздательстве русских писателей» собрания сочинений [Толстой,

1916, с.7–76]. Кроме них, в делегации участвовал 73-летний Василий Иванович Немирович-Данченко, но поездка была ему трудна, с английским он был не в ладах, автомобиль, в котором он осматривал фронт, чуть не подбили. Очерки его, судя по газетам, были не такими интересными; опубликовать их книгой он не успел — подготовленная рукопись, датированная 1917-м годом, так и осталась в архиве. Башмаков, представлявший «Правительственный вестник», не писал статей, а публиковал развернутые телеграммы об официальных приемах и спичах в честь делегации, а во время поездки надувал щеки, демонстрировал ордена и общался с деловыми кругами, в предвкушении окончания войны чуть ли не раздавая концессии). Егоров, делавший иностранный отдел «Нового времени» — газеты в то время антианглийской, — был в сложной ситуации: в одной из своих нововременских статей после посещения военно-полевого лагеря он печально констатировал, что не увидел там ни одного солдата, у которого не было бы башмаков, чистой рубахи, амуниции; ни одного солдата, который был бы голоден.

Трое наших главных героев жадно впитывали английские впечатления, но всяк отреагировал на увиденное по-разному. Набоков и Чуковский свободно говорили по-английски: Набоков гораздо больше, чем другие, знал о больших политиках и военачальниках, с которыми посчастливилось встретиться делегации, а с некоторыми из них был знаком по своим предыдущим визитам в Англию: его книга содержит больше общественно-важной информации, а также драгоценных личных и биографических черточек его собеседников, с которыми он мог живо общаться. Алексей Толстой не знал ни слова по-английски, но не отставал от Набокова, стараясь всюду сопровождать его (с тем исключением, что на фронте его возил М. Бальфур). Информацию он воспринимая в основном с помощью Набокова, поэтому и впечатления их в основном сходны. (Таким же образом и Немирович поначалу зависел от Чуковского, пока тот не отстал от группы.) Однако мы знаем, что мысли Толстого были заняты другим. Все его существо было охвачено страстной любовью к жене, Н.В. Крандиевской, с которой они вступили в брак только год назад. Он предпринимал невероятные усилия, чтобы ему разрешили взять ее с собой, позднее — чтоб она смогла присоединиться к ним в Англии, пока она сама не поняла, что это невозможно и некорректно, и не отказалась от этой мысли. Толстой воспринимал Англию внешне, как художник-беллетрист, сосредоточившись на пластике — пейзажи Южной Англии и городские ландшафты Лондона, штормовая погода на палубе миноносца, энергичные описания невероятной новой техники на сверхдредноутах (он окончил Технологический институт и хорошо понимал, что видит), жанровые сцены в окопах и землянках на фронте в Бельгии. Фронтовой быт особенно был ему интересен — после полутора лет, 1914–1915, проведенных на Волыни, в Галиции и на Кавказском фронте.

Корней Чуковский, ценитель английской литературы, прекрасно ориентирующийся в Англии, где он до того успел прожить два года (1903–1904) в качестве лондонского корреспондента «Одесских новостей», выбрал оригинальную тактику — в отличие от двух других коллег, он построил книгу о поездке в Англию не столько на личных впечатлениях, сколько на английской иллюстрированной периодике и сосредоточился на тех коррективах, которые война внесла в повседневную жизнь. Это была вторая его книга об Англии: подобным же методом он уже воспользовался в 1915 г., сочиняя в Петрограде свою первую книгу об Англии — «Заговорили молчавшие. Томми Аткинс на войне» [Чуковский, 2008, с. 362–363].

И в газетных статьях об английской поездке, и в книге «Англия накануне победы» Чуковский в отличие от своих коллег не писал о дредноутах, военных заводах, встречах с героиче-

скими генералами, или о несчастном, разбомбленном дотла Ипре. Он увлекся исследованием социальной ткани воюющей Англии, ее изменившейся повседневной жизни. Он восхищался детьми военного времени — самоотверженными бойскаутами, ищущими, кто нуждается в помощи, он приветствовал эмансипацию женщин, заменивших ушедших на фронт мужчин на заводах, железных дорогах, за рулем автомобиля. Он до небес возносил Ллойд-Джорджа, министра снабжения, преобразившего экономику Англии, переведя ее на военные рельсы, и описывал, как англичане учатся сокращать свои потребности. Чуковский познакомился со специальными контингентами войск: ирландцами, канадцами, австралийцами и новозеландцами (анзаками, по тогдашней любви к аббревиатурам), поражаясь готовности, с которой бывшие колонии Англии сражаются на ее стороне. В отдельном очерке он с изумлением и восторгом рассказывает о еврейской дружине, сражавшейся в Галлиполи. (Потом он отредактирует перевод книги об этой кампании, написанной главой этой дружины полковником Джоном Генри Паттерсоном, и напишет к ней предисловие) [Паттерсон, 1917]. Ряд глав Чуковский посвящает англичанам — энтузиастам России, а также волне переводов с русского, захлестнувшей Англию.

Он задержался в Англии и поехал на фронт во Францию не с коллегами, а один, зато получил разрешение полетать на аэроплане, и в стуке пропеллера услышал «восторг и экстаз и обетование какой-то свободы, о которой мы тоскуем всю жизнь» [Чуковский, 1917, с. 53–54].

Главная идея его книги очень близка идее, одушевлявшей Набокова и Толстого: это здоровая зависть к стране, которая смогла сплотиться перед лицом военной угрозы и преодолеть внутреннюю рознь. Вторая книга Чуковского об Англии, как и первая, угодила при советской власти в спецхран, и о них мало кто знал.

Гостей встречали с феерическим радушием. На второй день им была дана королевская аудиенция. Некоторые ее обстоятельства поражают сегодняшнего исследователя. Главным героям дня оказался Корней Чуковский: теперь только становится понятно, почему британские власти оказали такое давление, чтобы он был включен в делегацию. Ведь именно его одного во время аудиенции король Георг V поблагодарил за заслуги перед Англией. Эти факты замалчивались и самим Чуковским, и его спутниками как на протяжении самой поездки, так и впоследствии, в советское время. Но они отражены в тогдашней британской печати. В «Таймс» сообщалось:

> The Russian authors and journalists were received in audience at Buckingham Palace yesterday <…> They were introduced to his Majesty by Count Benckendorff, the Russian ambassador. The King shook hands with each member of the party and welcomed them in a few cordial words. Count Benckendorff brought to the King's notice the book that has recently been published in Russia by Mr. Chukovsky, and about which the British public first learned from "The Times Russian Supplement". The King turned to Mr. Chukovsky with words of appreciation of his service to Britain as a translator of British soldiers' letters[14].

Затем король сказал русским гостям: «See my troops drilling, my fleet, and the work of munition factories...»[15] Русских журналистов поразило, что он сказал «мои войска» и «мой флот».

В 1916 году Толстой изложил эпизод аудиенции взволнованно и уважительно, но напирал больше на декоративную сторону — описывал огромный дворец, пустой старый сад вокруг него, а о самой аудиенции особенно не распространялся:

«Король был в черном сюртуке, и все на нем, и платье, и башмаки, казалось не новым и хорошо обношенным. Волосы разделены посредине на пробор. Приветливо поздоровавшись

и затем глядя на нас внимательно серыми, выпуклыми глазами, король сказал то, что уже передано в газетах. Граф Бенкендорф стоял налево, и то надевал, то сбрасывал монокль» [Толстой, 1916, с. 71–73]. При этом о том, что именно «передано в газетах», автор не говорит ни слова.

Главным героем в этом эпизоде выглядит Чуковский, как то и было на самом деле, однако поданный в комической тональности. (Насмешки над ним вообще идут с первых строк очерка Толстого: и на поезд Чуковский является в последнюю минуту, без воротничка, без вещей, без паспорта, с пустым чемоданом, — у остальных были горы чемоданов, несессеров и портпледов, — и выезжает за границу по какой-то «липовой» справке). Даже на королевский прием этот анфан террибль приходит без запонки и в последнюю минуту еще и норовит улизнуть: «Чуковский сказал, что хорошо бы удрать». Но ни слова об огромной роли, сыгранной Чуковским в англо-русском сближении, нет ни у Толстого, ни в книге Набокова, мы не знаем почему, — и не исключено, что таково было желание самого Чуковского, также нигде и никогда не упоминавшего об этой своей минуте славы.

Десять лет спустя, в 1927 г., в момент разрыва дипломатических отношенией с Англией, Толстой пишет свой собственный «ответ Чемберлену»: он ревизует свою поездку в Англию 1916 г. Встречавшие его офицеры, которыми он так восхищался, превращаются теперь в шпионов, простота генералов оказывается лицемерием, а эпизод аудиенции разворачивается в сатирическую зарисовку, полностью лишенную всякого волнения или благоговения, — на наш взгляд, восхитительную:

> «Король пожелал видеть подданных своего кузена, представителей русского народа (шестерых журналистов), и передать им свои симпатии и выражение надежд на будущую вечную дружбу между двумя великими народами. Предстоял момент исторической важности.
>
> Рубахи-парни засуетились. “Хотя, — говорили они, — наш король как личность не является какой-нибудь особенно замечательной личностью, например, он приехал на фронт и во время парада упал с лошади, что некоторые мало воспитанные джентельмены приписали действию спиртных напитков, или он не блещет остроумием, как его покойный отец Эдуард, и не стоит во главе мужских мод законодателем... (Вы, например, помните, как Эдуард подвернул брюки во время дождя, и после того весь мир стал шить себе брюки с подвернутыми концами... А галстуки короля Эдуарда! А знаменитая расстегнутая пуговица внизу жилета!)... Словом, наш король тихий человек, но король — это герб Англии, это символ и честь Англии, идея незыблемости общественного порядка”.
>
> “Поэтому вам (шестерым журналистам) нужно приобрести атласные цилиндры и представляться в визитках, при черных галстуках и в перчатках, которые должны отнюдь не быть надетыми на руки, но лежать в левом кармане брюк (в полоску, при башмаках — верх желтой кожи, головка лакированная)”.
>
> В одиннадцать часов утра журналисты появились в вестибюле Букингемского дворца. Ливрейный лакей саженного роста отобрал у них новые цилиндры и перчатки, положил их на стол, а снятые пальто бросил на цилиндры, считая (с цинизмом), что цилиндры уже сыграли свою роль.
>
> В огромном холодноватом зале, где ноги утопали в малиновом ковре и где за большими окнами, опускающимися до самого пола, расстилалась снежная поляна с зеленеющей кое-где травой и проступали в глубине сквозь туман унылые очертания деревьев, — в этой пустынной приемной представителей загадочного народа встретил министр двора.

Это был человек с седыми усами, грустный на вид, в черном сюртуке. Он говорил вполголоса, так как была война и веселиться и прыгать было просто неприлично. Он бегло осмотрел, все ли в порядке у гостей, и направился к высоким дверям, с боков которых стояли два таких же высоких лакея в зеленых ливреях. Двери раскрылись, и журналисты гуськом вошли в королевский кабинет. Министр двора очень ловко, не толкаясь и даже не указывая, но так, как будто это само собой вышло, выстроил представителей наискосок по кабинету, в линеечку. Затем став на левом фланге, слегка покрутил монокль на шнурке. На стенах висели портреты русских царей и цариц, английских королей и королев, австрийских императоров и императриц, а также картины, изображавшие сражения. Электричества, несмотря на туман за окном, не зажигали, видимо, все оттого же, что по случаю войны нечего распрыгиваться с электричеством.

Незаметно вошел маленький человек, причесанный на прямой пробор. Его выпуклые, немигающие серые глаза с кровяными жилками, как стеклянные, глядели на правофлангового. Поглядели и перекатились к следующему, и так до конца, где министр двора изящно склонился. Маленький человек неожиданно вдруг густо кашлянул. Это был король. Та же бородка, те же усы серпом, что у Николая, но лицо другое — меньше, маленькое, покрытое сеточкой кровяных жилок. Лицо человека, который, видно, хлебнул беспокойства, но держится, разве что в сумерки уйдет к себе, один, — сидит, покашливает в пустом кабинете. Герб, символ, — не легко.

Король был одет в черный поношенный сюртук, в теплые брюки, под которыми как-то не чувствовалось ног, в поношенные штиблеты (верх желтый, головка лакированная).

Кашлянув, он снова принялся глядеть на правофлангового и заговорил глуховатым голосом:

— Я рад приветствовать вас, мистер такой–то, и вас, мистер какой-то... (Всех помянул...) Надеюсь, что гостеприимство, которое вы встретили, соответствует нашим чувствам. Теперь война, но бог хранит наше оружие. С помощью бога общими усилиями мы победим. Право, справедливость и нравственность восторжествуют. Передайте вашим соотечественникам, что Англия никогда не забудет тех жертв, которые Россия принесла в эту войну.

Затем король быстро подал руку с правого фланга каждому, министр опять склонился, и король бодро вышел. Историческое мгновение было окончено и запечатлено в душах. Каждый твердо верил в королевское слово о том, что Англия не забудет о принесенных ей в жертву семи с половиной миллионах русских мужиков» [Толстой, 1958, с. 100–102].

Король здесь — кукла, человечек со стеклянными глазами и тряпичными ножками, с неподходящим к этому образу густым кашлем и неуместной бодростью — намек на личностные проблемы. Автор издевательски сопереживает «тихому человеку» на нелегкой должности. И в этой версии ни слова не сказано о роли Чуковского, не упоминается и о присутствии Бенкендорфа, а моноклем вместо него играет министр двора.

Предысторию и добавочные детали той королевской аудиенции можно найти в книге Набокова: выясняется, что неспроста король бодрился:

«Мы были приняты королем на третий день нашего приезда. Речь, с которой король к нам обратился, выражая свое искреннее удовольствие по поводу нашего приезда, поздравляя нас с падением Эрзерума и высказывая надежду на прочность и постоянство сближения России с Англией, не могла не произвести на нас глубокого впечатления. Король говорил громким, энергичным голосом, раздельно и отчетливо выговаривая слова. Одет он был в черный сюртук и держался в высшей степени просто и любезно. Говорят, он теперь оправился от послед-

ствий несчастного случая, приключившегося с ним во Франции, когда под ним опрокинулась лошадь и дважды его придавила. Теперь он выглядит бодрым и здоровым. Во время речи короля мы стояли перед ним полукругом, причем я был ближе всех, справа от короля. Эти объясняется то, что, по окончании речи, король обратился ко мне, спрашивая, был ли я уже в Англии раньше. Отвечая королю, я от имени всей нашей группы высказал, как глубоко мы тронуты его милостивым вниманием, и как будем рады передать о нем русскому обществу» [Набоков, 1916, с. 26].

Вечером после аудиенции в самом шикарном отеле Лондона, легендарном «Ритце»[16] состоялся банкет, на котором председательствовал лорд Бернам, глава Ассоциации владельцев газет. Лорд Сесил[17], поднявший тост за «императора всех Россий» (sic!) в своей речи опровергал тех, кто считает его неподходящим союзником для Британии; мелкие различия в институциях не столь уж важны. Сесил высоко оценил книгу одного из русских писателей, где подчеркивается идеализм великого британского солдата и его глубинное сходство с солдатом русским (т.е. книгу Чуковского): Фридрих свое царство основал на обмане, тогда как Александр I был идеалистом и джентльменом. Таков же Николай II. В ответ К.Д. Набоков[18], советник российского посольства, поведал о братских чувствах и той любви, которую царь питает к Англии [The Times, 1916]. На следующий день Николай II был возведен в чин британского фельдмаршала.

На банкете была высказана мысль, что русским журналистам надлежит быть глазами и ушами — но вовсе не устами русского народа. Предполагалось лишь, что у себя дома они расскажут о виденном в Англии. Соответственно, в своих публичных выступлениях русские журналисты старались не затрагивать отечественные внутриполитические разногласия. Исключением был В.Д. Набоков, профессиональный политический деятель, энтузиаст нарождающегося парламентаризма, оказавшийся в Англии в момент, когда деятельность Думы в очередной раз была приостановлена. Главной целью его было добиться такого сближения с Англией, которое бы благотворно влияло на внутреннюю политику России, и во время визита он, многократно выступая по-английски, побуждал английское общественное мнение влиять на русские власти в этом направлении. На ланче, устроенном в его честь, он сказал, что неверно думать, будто к России неприменимы английские идеи и институции: так думает только узкий круг, верящий в прусский железный кулак, в прусский абсолютизм, прусское пренебрежение к идеалам и прусские способы управляться с меньшинствами [The Times]. Егоров в своих статьях в «Новом времени» и в «Таймс» негодовал на «антипатриотическое», как он считал, поведение Набокова и его единомышленников, призывая англичан к тому, чтобы, воздерживаясь от советов, позволить русским самим развивать свои внутренние учреждения.

Набоков настоятельно утверждал, что, хотя англичане замалчивают эту тему, подлинное сближение обязательно должно будет затронуть и ее: он писал в книге «Из воюющей Англии»:

> «Ни для кого не тайна, что именно в Англии всего живее и болезненнее было отрицательное отношение к некоторым внутренним сторонам русской жизни, с которыми не могло мириться английское сознание, выросшее на почве уважения к свободе и праву. В настоящее время об этих сторонах англичане умалчивают. Я не имею в виду прямых разговоров, так как, помимо всего, личный такт англичан удержал бы их от некоторых тем. Нет, даже печать тща-

тельно обходит эти темы. Другое отношение сейчас, конечно, невозможно. Но нет ни малейшего сомнения в том, что истинное сближение в будущем окажется несовместимым с таким замалчиванием всего, что по существу препятствует взаимному сочувствию и пониманию» [Набоков, 1916, с. 19]

В конце поездки Набоков подытожил ее результаты в газете «Речь», в статье «Письмо при отъезде из Англии», которым он закончил и свою книгу: в нем он от души благодарил устроителей визита за великолепный прием, выражал восхищение увиденным в Англии — могущественным флотом и колоссальным размахом в строительстве вооруженных сил, а главное — изумительным человеческим материалом [Набоков, 1916, с. 128–129]. Но в конце политик все же выражал уверенность в том, что Британия не одобряет самодержавный метод правления.

«На нашу теперешнюю связь с Англией можно смотреть двояко. Можно видеть в ней только внешний союз, служащий внешним целям и не затрагивающий внутренней жизни наших стран. Это взгляд традиционный — может быть, даже официальный, — и мы хорошо знаем, на каких избитых аргументах он базируется. Но есть и другой взгляд, — и для меня лично он представляется единственно правильным. Те, кто желает его дискредитировать, усматривают в нем призыв, обращенный к одному государству и побуждающий его вмешиваться во внутренние дела другого. Но такое смешение понятий недопустимо. Можно оставаться убежденным сторонником абсолютной самостоятельности каждого государства в его внутренних делах, и в то же время признавать, что, по самой силе вещей, внутреннее сближение неразрывно со взаимным влиянием, — влиянием интеллектуальным, моральным, даже эстетическим. И если, в результате, у нас должны получить более общее признание и более активное значение те политические и социальные идеи, на которых основана государственная и общественная мощь Англии, то истинные друзья прогресса, права и свободы не могут не желать ото всей души, чтобы росло и укреплялось это благодетельное влияние» [Набоков, 1916, с. 129–130]

Как раз во время визита деятельность Государственной думы была возобновлена, и англичане восприняли это с радостью.

Британская пресса, со своей стороны, подробно освещала политические аспекты союза с Россией и вела дебаты о степени его желательности. Обсуждалось, в частности, подозрение насчет того, что Россия после взятия Эрзерума сможет направить свои силы на юг и через Персию выйти к английским колониям — Пакистану и Индии. В Великобритании панически боялись такого передела мира. Соглашение 1907 г. разрешило далеко не все спорные вопросы, соперничество на Востоке никуда не делось. Журналисты вспоминали даже поддельное завещание Петра Великого, призывавшее обратить взоры России на Индию. Во время одного из банкетов на эту газетную кампанию отвечал Немирович-Данченко. Начав со своей отроческой любви к английской литературе — Теккерею, Маколею, Боклю, он заявил, что нечего и думать, будто Петр мог завещать своему народу подобную глупость, и уверял, что в России люди, мечтающие о завоевании Индии, сидят в сумасшедшем доме. Ветеран вспоминал своих учителей — великих военных корреспондентов Мак-Гахана и Форбса[19], с которыми сдружился на снежных высотах Шипки. Они хотели взаимопонимания с Россией, и вот оно настало.

Став, как и просили их англичане, «глазами и ушами своего народа», русские журналисты добросовестно воссоздали не только реалии передовой военной техники и позиционных укреплений, но и иной, чем в России, социальной ткани, иной организации национальных

«военных усилий», картину иных человеческих отношений. Больше всего их потрясло то, как Англии, напрягшей все силы ради войны и подчинившей ей все интересы, удалось преодолеть политическую рознь. Они не могли сказать англичанам, что их собственная страна находится в состоянии развала и ожидания катастрофы.

В полном издании дневника Чуковского есть запись, изъятая из первой печатной версии. Оказывается, Набоков сказал ему:

> «— Я постоянно чувствовал стыд: англичане из кожи лезли, чтоб доказать нам свою готовность воевать, а я думал только об одном: что у нас все висит на волоске и вот–вот треснет и разлезется по швам.
>
> После тех приветствий, которыми встретила нас тогда лондонская публика, он однажды сказал:
>
> – О, какими лгунишками мы должны себя чувствовать. Мы улыбаемся, как будто ничего не случилось, а на самом деле…
>
> –А на самом деле — что?
>
> А на самом деле в армии развал; катастрофа неминуема, мы ждем ее со дня на день…
>
> Это он говорил ровно за год до революции, и я часто потом вспоминал его слова» [Чуковский, 2003, с. 290].

Поскольку визит совпал с началом боев на Верденском выступе (21 февраля), интерес к гостям поблек еще во время их поездки. Лорд Бернам предложил организовать ответный вояж английских журналистов, но русские власти вовсе не хотели, чтобы те увидели, как на самом деле обстоят дела на фронте и в тылу в России. События следующего года лишили эту тему актуальности, а вскоре Англия стала противницей России, охваченной революцией.

После революции Немирович-Данченко, Набоков, Толстой, Башмаков и Егоров эмигрировали, из участников поездки в России оставался один Чуковский.

В ноябре 1918 г. в разгар Гражданской войны, находясь в белой Одессе, где власть Добровольческой армии держалась на ниточке, Толстой приветствовал высадку союзных англо-французских войск в газетной статье, озаглавленной «Пусть они не ошибутся». Писатель испытал сложные чувства, увидев на набережных английских моряков, собравшихся защищать город: он сразу опознал «их добродушные, точно детские лица, открытые и ясные — таких лиц я уже год не видел в России. И сразу понял, что это англичане. — Я понял, что взволновало и уязвило меня: это были стыд и отчаяние. Только что я видел людей другой породы. В каждом движении, в складке платья, в походке, в повороте головы, в улыбке — чувствовалось, что эти простые, веселые матросы несут с собою, неотделимо, как цвет их крови, гордость, честь, славу своей родины. Шапочки, надвинутые на глаза <…> говорили: мы — дети Англии, <…> мы — те, кто победил в мировой борьбе, мы — те, у кого есть милая родина. <…>Мне было так гадко, что хотелось лечь в грязь и сдохнуть» [Толстая, 2006, с. 304–308].

По этому поводу Толстой вспомнил свою недавнюю поездку в Англию

> «Вы никогда не слышали о поездке русских журналистов в Англию? Я вам напомню: по поручению английского правительства, шесть русских журналистов приехали в Лондон и были встречены с королевской пышностью. Им устраивали торжественные банкеты, где сэр Эдвард Грей[20] и лорд Сесиль приветствовали Россию; им показывали парламент — ум и сердце Англии — во время бурных прений, когда Асквит[21], красный от возбуждения, боролся с паци-

фистами; их возили на север Шотландии, где адмирал Джеллико[22] поднимал бокал за русский флот, а дредноут «Королева Елисавета» проходя, салютовал, подняв, как колонны, все свои чудовищные пушки; и, наконец, главнокомандующий Хег[23] пил с ними за славу русского оружия и за те фантастические полки, которые, в невозможных условиях, штурмом взяли Эрзерум. Все видели и слышали шесть русских журналистов, и у всех шести было чувство страха, что англичане не знают России до конца, что они слишком щедро открыли свои сокровища, что не мешало бы предостеречь их — не особенно доверяться тем людям, которые не умеют еще произносить слова — Родина» [Толстая, 2006, с. 304–308].

Англичане и французы, заключал Толстой, «помогут нам — лишь при условии, что мы дело родины поставим каждый выше своего личного дела, что мы пойдем впереди, при условии, что их протянутая рука встретит руку мужчины, а не мокрые, теплые пальцы мерзавца. Пусть союзники на этот раз не ошибутся в нас, как тогда, когда приветствовали шестерых испуганных журналистов» [Толстая, 2006, с. 304–308].

Мы помним, что и Чуковский, и Толстой, и, по-своему, Набоков в своих статьях и книгах проецировали на раздираемую распрями Россию спасительный идеал внутринационального примирения перед лицом общей угрозы, идеал, который они увидели в Англии[24]. Примирения, однако, не получилось, и страна рухнула.

В начале 1922-го Набоков был убит в Берлине, защитив своей грудью Милюкова от пули монархиста. Толстой год спустя, после 5 лет в эмиграции, вернулся в Россию. Чуковский в советское время английский эпизод в печати не вспоминал, а писал о нем лишь неформально, в «Чукоккале». Английский вояж канул в Лету, так и не став достоянием истории, поскольку основные тексты о нем стали малодоступны.

На этом фоне в 1927 г. в уже упомянутом эссе «Англичане, когда они любезны» Толстой ревизовал его, реагируя на разрыв англо-французских отношений. История этого разрыва такова:

В мае 1927 г. лондонская полиция произвела обыск в помещении советского торгового представительства и фирмы “Аркос Лтд”, заподозренной в шпионаже в пользу СССР. Изъятые при обыске документы содержали свидетельства о подрывной деятельности СССР в Китае и колониях Британской империи. Это послужило основанием для расторжения всех британских торговых соглашений с Россией. Разорванные одновременно с этим дипломатические отношения были восстановлены только в 1929 г. Премьер-министром Великобритании в это время был жесткий консерватор Стэнли Болдуин (1867–1947). В финале очерка 1927 г. за фигурой Асквита, призывавшего в 1916 г. к мести Германии, автору мерещится хищный облик министра иностранных дел в 1927 г. Невилла Чемберлена, изрыгающего угрозы в адрес Советского Союза. Заканчивается очерк ликующим сообщением о взятии Шаньтоу (в тексте Толстого — в транскрипции Сватоу). Этот город был действительно взят войсками Гоминдана, китайскими националистами, воевавшими против Шанхая, поддерживавшего британцев и американцев. Вместе с Гоминданом тогда выступили коммунисты, отсюда и ликование в советской прессе.

Если в статье Толстого 1918 г. нет еще попыток свалить на англичан и вообще союзников вину за развал и крушение исторической России, то такая модель появится в его очерке 1927 г. Надо сказать, что позиция союзников, последовательно не дававших обескровленной России заключить мир с Германией, а после революции не слишком рвавшихся спасать

историческую Россию, многими авторами, писавшими о Гражданской войне, оценивалась как решающий фактор, помогший победить большевикам; в числе этих авторов были умнейшие Виктор Шкловский в «Сентиментальном путешествии» (1922) и А. Ветлугин (В.И. Рындзюн), оба близкие к Толстому (Ветлугин в Париже и в Берлине в 1921–1922, Шкловский в Берлине в 1922–1923 годах). Так что за переменой взгляда Толстого на союзников стоит двойная мотивировка: не только верноподданническое усердие угодить советским властям, оплевывая Запад, но и оправданная досада русского «государственника», каким всегда был Толстой, на предательскую измену «англичанки». В этой перспективе тирады Асквита о мести Германии звучат особенно знаменательно — ведь именно союзники не давали заключить демократической России мир «без аннексий и контрибуций», и дело кончилось ее падением и Брестом.

В английских корреспонденциях Толстого главное все-таки — не техника и организация и не дипломатия, а восхищенное восприятие английского национального характера. Офицеры выглядят спокойными, милыми, беззаботными; везде написано «Keepsmiling», о немцах говорят со спокойным, сдержанным достоинством, без истерики и злобы. Чрезвычайно нравится ему и их манера обращаться с начальством, почтительная и исполнительная, но без искательства, непринужденная и исполненная достоинства. Такие люди хороши во всех ролях: товарищей, начальников, подчиненных. Во время визита к Уэллсу более всего впечатляет то, что он, социалист-утопист, дружит семьями с издателем реакционной газеты. Подобные зарисовки, возможно, самое ценное в толстовских очерках: тут и простуженный, с воспаленными глазами, генерал, год просидевший в окопах, в жидком иле; тут и англичане, показавшие секреты, о которых следовало в ту же минуту забыть, но, в расчете на порядочность гостей, не предупредившие, что об этом нельзя писать. Все офицеры простодушны, открыты, с огоньком юмора, и разница между ними лишь та, что один командует армиями, а другой только пятью десятками людей в окопе. Каждый — прежде всего человек и джентльмен.

Именно это восхищение цензуровалось Толстым в вышеупомянутом очерке 1927 г., написанном спустя десять лет для советского читателя. Здесь англичане — хитроумные агенты спецслужб, цинично имитирующие дружелюбие, они строят из себя простачков, действуя в корыстных целях:

> В промежутки между осмотрами военных заводов, флота и фронта устраивались для гостей банкеты с министрами и с членами королевского дома (с теми, которые любили крепкие напитки). На одном таком банкете герцог Девонширский[25], — про которого гостям сообщили, что у него «лицо Старой Англии», а лицо у него было багровое от постоянного употребления портвейна (напиток хорошего тона), с большим носом и усами, закрывающими рот, сказал гостям спич: «Черт возьми! Я хорошо не понимаю, зачем вы сюда, собственно говоря, приехали, но, видимо, вы — теплые ребята, — давайте выпьем...» (За столом громкий и добродушный хохот, переходящий почти в умиление.)
>
> Это был стиль грубоватого добродушия, так сказать — морской, соленый... (душа Старой Англии). Этого стиля держались почти все, кому требовалось производить впечатление на гостей. Только и видно было добродушнейших, — почти что придурковатых, — людей-рубах. Ты, мол, да я, мол, англичанин да русский, — давай, парень, выпьем...
>
> Даже сэр Эдуард Грей[26] (на другом банкете), задававший тон всей политике, прикинувшись простачком, похохатывал. Когда его спросили (я его спросил): много ли он путешествовал? — он посмотрел на меня детскими глазами:

— Я никогда не был на континенте. (То есть он хотел сказать — в Европе.)

— Почему?

— А я боюсь, что украдут мой багаж.

Другого стиля гостям не показывали. При них неотлучно находились рубахи-парни, офицеры, по всей вероятности, из контрразведки. Они возили гостей и по театрам, и по выставкам, и в кабаки…. [Толстой, 1958, с. 97–98].

Несмотря на эти позднейшие ревизии, вполне вероятно, что именно при чтении английских газетных корреспонденций 1916 г. Чуковского, Толстого, Набокова у русского читателя начал формироваться идеальный образ немногословного и надежного, самоотверженного и скромного британского офицера, который, по всей вероятности, оказал прямое влияние на показ положительных активных героев русской литературы последующего периода, например пильняковских коммунистов в «Голом годе».

Отдельный вопрос — то, как портреты английских генералов и адмиралов, бесконечно простых, скромных и человечных, «с огоньком юмора в глазу», могли повлиять на образы, которыми вскоре преисполнилась советская официозная словесность — «самого человечного человека», а затем и «отца народов». По-видимому, к 1924–25 годам, когда оформлялся культ Ленина, соответствующие черты успели размножиться, банализироваться и превратиться в расхожие клише. Что же касается повторения подобных черт в портретах Сталина, в том числе и у самого Толстого, в середине тридцатых годов[27], то здесь мы имеем дело не с самоцитированием, а скорее с поэтикой нового классицизма, в которой заслуга состоит в воспроизведении уже имеющихся образцов, получивших свой нормативный характер именно в силу своей расхожести и привычности.

И, наконец, можно поставить вопрос о влиянии корреспонденций участников визита на создававшийся новый культ Англии в России, от поэзии Киплинга, полюбившейся молодому поколению и до скаутизма в его советских версиях, следом которого остался «Тимур и его команда» и теннисоновский скаутский девиз в «Двух капитанах» Каверина. Культ этот распространялся также на быт, дизайн, моду. Тут можно предполагать, что глубокое впечатление мог произвести ряд зарисовок Толстого, запечатлевших английскую роскошь и интерьеры, а также восхищенный пассаж заядлого англомана Набокова, воспевающий английский стиль в военной одежде. Его поразило в Лондоне количество людей, одетых в (квази)военную форму (напомним, что Набоков был в 1914 г. призван и в описываемое время служил в чине прапорщика, поэтому был знаком с темой не понаслышке):

«Правильно было бы сказать: одетых в хаки и носящих фуражки с большими козырьками и кокардами. Дело в том, что военных атрибутов этот костюм совершенно не имеет. Холодного оружия не носят, офицеры ходят с палкой или тросточкой в руках. Внешний вид — крайне разнообразный. Практичные во всем, англичане стремятся прежде всего к удобной военной одежде. Оттого она имеет у них какой–то спортивный вид: короткое пальто с отворотами, кругом шеи широкий вязаный шарф, толстые шнурованные ботинки из желтой кожи, высокие краги, затягивающиеся ремнями, а при более “домашней” форме — обыкновенные панталоны из хаки, с завернутыми краями. Под пальто китель, тоже открытый, белье и галстух защитного цвета. В ненастную погоду сверху пальто надевается overcoat — нечто в роде непромокаемого плаща. Материал, употребляемый на все эти виды одежды, — насколько я мог убедиться, — превосходного качества» [Набоков, 1916, с. 14]

В последующие годы ценность и даже сверхценность всего английского возрастала в прямой пропорции ко все возрастающей редкости его и недоступности.

[1] Корней Чуковский был энтузиастом и популяризатором английской (и американской) литературы в России, переводчиком Уитмена; в 1903–1904 гг. — лондонский корреспондент «Одесских новостей»; радикальный журналист в 1905–1906, арестованный за публикацию оппозиционных материалов в своем журнале «Сигнал»; тогда уже знаменитый литературный критик, автор десятков первоклассных критических очерков о современных русских писателях. Толстому он также посвятил очерк (достаточно нелицеприятный), вошедший в его книгу «Лица и маски» (1914).

[2] Бенкендорф Александр Константинович (1849–1917) — граф, русский дипломат. Сын начальника III Отделения (тайной полиции), созданного при Николае I. С 1903 г. и до своей кончины — посол в Великобритании, архитектор Русско-английского союза 1907 г. Жена его, гр. София Бенкендорф, сыграла центральную роль в организации благотворительных начинаний в пользу русских военнопленных.

[3] Аладьин Алексей Федорович (1873–1927) — русский политический деятель. За революционную пропаганду был исключен из университета, эмигрировал. В 1905 г. вернулся в Россию, был избран в I Государственную думу от симбирских крестьян. Один из создателей Трудовой группы. В 1906 г., спасаясь от ареста за революционную деятельность, бежал за границу, жил в Великобритании, читал лекции о России, активно способствовал англо-русскому сближению. В июле 1917 г. вернулся в Россию, поддержал генерала Корнилова, затем примкнул к Белому движению, занимался эвакуацией войск из Крыма. Умер в Великобритании.

[4] Сэр Джордж Уильям Бьюкенен (1854–1924) — дипломат, посол Британии в России с 1910 г. В 1916 г. был избран почетным гражданином Москвы, его портрет писал Репин. В январе 1917 г. предупреждал Николая о необходимости пойти на либеральные уступки. Пытался обеспечить царской семье возможность уехать в Англию, но этот замысел не удался по малодушию Георга V, опасавшегося у себя взрыва революционных настроений. Покинув Россию, закончил свою карьеру послом в Ватикане.

[5] Участниками поездки были известные журналисты Стефан Пишон, Рене Базен и Пьер Милль [Набоков, 1916, с. 29]; до них флот посетили американские журналисты, а также двое русских: Владимир Жаботинский и Л.Л. Городецкий (там же, примеч.).

[6] Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) — русский юрист и общественный деятель, один из учредителей кадетской партии, товарищ председателя ее центрального комитета (П.Н. Милюкова). Управляющий делами Временного правительства, член Учредительного собрания от Петроградской губернии. Бежал в Крым, эмигрировал в Лондон, затем в Берлин, где вместе с И. Гессеном основал газету «Руль». Убит монархистом, стрелявшим в Милюкова, которого Набоков заслонил собою. Толстой возобновил с ним дружеские связи в Берлине и способствовал публикации ранних литературных опытов Набокова-сына. На гибель В.Д. Набокова он откликнулся трогательным мемуарным очерком в газете «Накануне».

[7] Немирович-Данченко Василий Иванович (1848–1936) — журналист, плодовитый писатель, автор многочисленных путевых очерков, военных и исторических романов. Военный корреспондент на Русско-турецкой (1877–1878), русско-японской и затем на Первой мировой войне. Эмигрировал, в 1921 г. в Ревеле опубликовал интересные мемуары «На кладбищах». Умер в Праге. Свои английские очерки отдельным изданием опубликовать не успел, рукопись его книги «У союзников» хранится в РГАЛИ.

[8] О включении Толстого в делегацию сохранился колоритный и не слишком доброжелательный эпизод в книге Роберта Брюса Локарта «Моя Европа»: «…Нашим послом мне было поручено встретиться с Алексеем Толстым. Я без труда связался с ним и сразу же пригласил на обед в Эрмитаж, модный в то время московский ресторан. Толстой оказался крупным мужчиной, но в его полноте было что-то болезненное. Дородный, темноволосый, тщательно побритый, с массивным синюшным подбородком и эксцентричным вкусом в одежде, этот человек удивил меня своим обжорством даже по русским стандартам. Его привело в восторг мое желание заплатить по счету, а я с возрастающей тревогой все ждал, когда же он, наконец, наестся и напьется вдоволь. Этот обед мне дорого обошелся, но еще задолго до его окончания я заручился согласием Толстого поехать в Англию. С каждым бокалом выпитого вина его энтузиазм возрастал. Он признался, что Англия — это страна, которой он всегда восхищался. И добавил, что эти отвратительные слухи, направленные против англичан, создаются “германскими свиньями” в Петрограде. <…> Я сомневался, что он справится с поставленной задачей.

Перед своим отъездом Толстой пришел попрощаться. На этот раз на нем были надеты обвислые шаровары, черная тужурка из шкуры какой-то дворняжки торчала из-под сюртука, и под ней ещё виднелась короткая жакетка. Все это дополнялось огромным отложным воротником и развязанным галстуком-бабочкой. Толстой выглядел как старомодный франт. Уходя, он облачился в огромную шубу. На его голове красовался странного вида котелок, которому мог бы позавидовать даже господин Черчилль. Это захватывающее зрелище только усилило мои сомнения относительно его успеха. (Англичане пришли в ужас и при виде членов русской парламентской делегации, приехавшей в Лондон на Пасху 1916 г. — в России понятия о дресс-коде сильно отличались от английских. — *Е.Т.*).

Я сильно ошибся. Алексей Толстой вернулся из Англии в приподнятом настроении. Ему все понравилось, и, преисполненный энтузиазмом, он на одном дыхании написал серию статей в восхвалении Великобритании. Москвичи зачитывались его очерками. С этого времени Алексея Толстого стали считать самым крупным русским англофилом, появившемся в Обществе по Установлению Дружеских отношений с Англией…» [Lokhart, 1952].

[9] Ср.: «Голлербах цитировал рецензию на книгу военных очерков Толстого, написанную Ал. Ожиговым (псевдоним А. Ашешова), где тот писал, что Толстой остался в ней “цельным и вдумчивым художником”, в котором “нет шовинизма и опьянения жутко-сладким вином войны, нет развязности и бахвальства, нет националистической слащавости и приторности”» [Толстая, 2006, с. 37].

[10] Аделаида Герцык писала М. Волошину 4(17) ноября 1914 г.: «Пра посылает Вам корреспонденции Алексея Толстого. Они оч[ень] хороши» [Толстая, 2006, с. 36]. Именно в одной из кавказских корреспонденций Толстого («Письма с пути») Вячеслав Иванов прочел фразу, вдохновившую его, о том, как пароход выходит в море из устья реки: Он дал ее эпиграфом к своему стихотворению «Дельфины»: «В снастях и реях засвистел ветер, пахнущий снегом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного ущелья.... Из-под самого пароходнаго носа стали выпрыгивать проворные водяные жители — дельфины; крутым побегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без всплеска» — Ср. у Вяч. Иванова:

Ветер, пахнущий снегом и цветами,
Налетел, засвистел в снастях и реях,
Вырываясь из узкого ущелья
На раздолье лазоревой равнины.
Как Тритон, протрубил он клич веселья,
Вздох весенний кавказского Борея,
Вам, курносые, скользкие дельфины,

Плясуны с крутогорбыми хребтами.
На гостины скликал вас, на Веснины,
Стеклоокого табуны Нерея,
С силой рвущийся в устье из ущелья
Ветер, пахнущий снегом и цветами.
[Иванов, 1979, с. 503–504]

Иванов опустил только начало второго предложения «Из желтоватой воды» [Толстой, 1916, с. 102]. Как видим, и тема скользкости дельфинов, и тема выхода на свободу из ущелья реки в море взяты здесь из очерка Толстого. Реалистическая желтоватая вода у Толстого опущена, потому что она мешала ивановской символической лазури. Чуковский писал в мемуарном очерке: «В 1913 году Вячеслав Иванов написал стихотворение “Дельфины”, к которому взял эпиграфом отрывок из толстовских “Писем с пути”. Отрывок начинается так: “В снастях и реях засвистел ветер, пахнувший снегом и цветами”. Этот отрывок так полюбился Вяч. Иванову, что он целиком перенес его в свое стихотворение:

Ветер, пахнущий снегом и цветами,
Налетел, засвистел в снастях и реях… и т. д.

Стихотворение помечено мартом 1913 г. Напечатано в “Невском альманахе”, 1915. …» [Чуковский, 2007, с. 261, примеч. 3].

[11] Егоров Ефим Александрович (1861–1935) — секретарь Религиозно-философских собраний в Петербурге и журнала «Новый путь», с 1904 заведующий отделом иностранной политики газеты «Новое время». Эмигрировал.

[12] Башмаков Александр Александрович (1858–1943) — крупный чиновник-правовед, националист, славянофил, деятель славянского движения, редактор «Journal de St. Petersbourg» (орган МВД) в 1904–1905 гг. и «Правительственного вестника» в 1906–1911 гг. В I Думе сформировал умеренно-националистическую «партию народного центра». При Деникине заведовал Красным Крестом, эмигрировал в Турцию, откуда переехал в Сербию и в 1924 г. в Париж, где продолжал заниматься этнографией. Был легитимистом, представлял вел. кн. Кирилла Владимировича.

[13] Роберт Уилтон (1868–1925) — английский журналист, был корреспондентом газеты «Таймс» в Петербурге в 1903–1918, во время войны участвовал в боевых действиях в русской армии, получил Георгиевский крест, осенью 1917 г. поддержал Корнилова, чем вызвал раздражение в Англии, перебрался в Сибирь к Колчаку, после его разгрома бежал, в Париже вновь стал работать в «Нью-Йорк Геральд», где когда-то начинал свою карьеру. Уилтон издал две книги: *Wilton R*. Russia’s Agony (1918); The Last Days of the Romanovs (1920).

[14] «Вчера русским писателям и журналистам была дана аудиенция в Букингемском дворце. Король обменялся рукопожатием с каждым членом делегации и гостеприимно приветствовал их в немногих сердечных словах. Граф Бенкендорф обратил внимание короля на книгу, недавно опубликованную в России г-ном Чуковским, о которой английская публика впервые узнала из статьи в Русском приложении к Таймсу. Король обратился к г-ну Чуковскому со словами высокой оценки его заслуг перед Англией как переводчика английских солдатских писем» (пер. Е.Д. Толстая) [The Times.1916. 25 Feb. P. 3].

[15] «Посмотрите на мои войска на учениях, на мой флот и на то, как работают оружейные заводы» (пер. Е.Д. Толстая).

[16] Отель «Ритц» — роскошный отель на Пикадилли, в самом центре Лондона.

[17] Лорд Роберт Сесил (1864–1958) — британский государственный секретарь иностранных дел (в описываемое время и до 1923), затем лорд-хранитель печати в консервативном правительстве, после 1925 посвятил свою деятельность Лиге нация. В 1937 получил Нобелевскую премию мира.

[18] Набоков Константин Дмитриевич (1872–1927) — русский дипломат, младший брат В.Д. Набокова, основателя кадетской партии. После Февральской революции был уволен в отставку.

[19] Мак Гахан Януарий Алоизий (1833–1878) — знаменитый американский военный журналист. Прославился репортажами с Франко-прусской войны; затем работал в Петербурге, где женился на русской (Елагиной). Наибольшую известность принесло ему расследование зверских преступлений турецких башибузуков против болгарского мирного населения. После этих публикаций Россия объявила войну Оттоманской империи, а британское правительство за нее не вступилось, поскольку вынуждено было считаться с антитурецким общественным мнением. Мак Гахан стал национальным героем Болгарии. Форбс Берти Чарльз (1880–1854) — популярный финансовый журналист, основатель журнала «Форбс».

[20] Сэр Эдвард Грей (1863–1933) — член либеральной партии, министр иностранных дел Великобритании в 1905–1916 гг. После отставки — глава палаты лордов.

[21] Асквит — сэр Роберт Генри Эсквит, премьер-министр Великобритании в 1908–1916 гг., затем глава партии либералов.

[22] Адмирал Джелико — сэр Джон Джеллико (1859–1935), командующий британским флотом во время войны.

[23] Хег — сэр Даглас Хейг, (1861–1928) — британский военачальник, в 1915 г. командовал корпусом в Бельгии. Прославился в битве на Сомме. С 1916 г. главнокомандующий.

[24] Ср. требования к прессе, предъявленные войной, описанные Толстым в ехидной перспективе советских 1920-х годов: «В штабе интеллигенции, в редакции “Русских ведомостей” (куда я был приглашен военным корреспондентом), происходило смятение: редакторы — столпы кадетской партии — выкинули лозунг: зажать в себе оппозиционный дух, как некую горечь в сердце. И до решительной победы над немцами и австрияками идти рука об руку с правительством, ибо оно выполняет сейчас национальную функцию. Но уже после войны серьезно рассчитаться за все». Вот только стоял вопрос: какое же у «Русских ведомостей» теперь будет отличие от беспринципного «Русского слова», даже от «Нового времени»? Но предложено зажать дух — и зажали. И только этим жестом, в сущности, и отгородились от «Нового времени» [Толстой, 1949, с. 85].

Ср. там же характеристику «Русского слова»: «Там лихо брали Берлин, суворовским маршем проходили через Австрию, по пути присоединяли Галицию, врывались в Константинополь, ставили крест над св. Софией и, раздвинув ноги на манер геркулесовых столпов, утверждались на обоих берегах Босфора и Дарданелл» [Толстой, 1949, с. 86].

[25] Сэр Виктор Кавендиш, 9-й герцог Девонширский (1868–1938), политик и дипломат, в 1916–1921 генерал-губернатор Канады.

[26] Сэр Эдвард Грей (1863–1933) — член либеральной партии, министр иностранных дел Великобритании в 1905–1916 гг. После отставки — глава палаты лордов.

[27] См. статью О.А. Богдановой в наст. издании.

Список литературы

Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3.

Паттерсон Дж.Г. С еврейским отрядом в Галлиполи / Пер. М.П. Благовещенской; под ред. и с предисл. К.И. Чуковского; с прилож. статей В.Е. Жаботинского и капитана И. Трумпельдора. Пг., 1917.

Колотовкина С.С. Англо-российские общественные связи в годы Первой мировой войны, 1914 — февраль 1917 г.: Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 2001.

Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917) / Под ред. М.М. Карповича и Б.И. Элькина. Нью-Йорк, 1955. Т. II. Ч. 8. Гл. 8.

Набоков В.Д. Из воюющей Англии. Пг., 1916.

Набоков В.Д. Из воюющей Англии: Путевые очерки. [СПб.], 1916.

Толстая Е. «Деготь или мед»: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923. М., 2006.

Толстой А.Н. На войне // Соч. М., 1915. Т. VI.

Толстой А.Н. Собр. соч. Т. 6: В Англии. На Кавказе. По Волыни и Галиции. 2-е изд. М., 1916.

Толстой А.Н. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 13.

Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10.

Чуковский К. Дневник: В 2 т. М., 2003. Т. 1: 1901–1929 гг.

Чуковский К. Заговорили молчавшие: Томми Аткинс на войне. Пг., 1915.

Чуковский К.И. Англия накануне победы. СПб., 1917.

Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. М., 2008. Т. 14.

Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. М., 2007. Т. 5.

Cross A. Anglo-Russian Relations at the Twilight of the British Community in Petersburg/ Petrograd/ Leningrad // Россия и Британия. Вып. 4: Связи и взаимные представления XIX–XX века. М., 2006.

Pares B. My Russian Memoirs. L., 1931.

Lokhart R.B. My Europe. L., 1952.

The Times.1916. 25 Feb.

О.А. Богданова

Военные корреспонденции А.Н. Толстого из Англии: публикации и автореминисценции (1916–1995)

Обстоятельства написания корреспонденций из Англии, публиковавшихся в газете «Русские ведомости» с 1 марта по 4 мая 1916 г., объяснил сам автор: «Английское правительство через посла пригласило нас, — шесть человек, — посетить Англию и английский фронт, чтобы мы увидели своими глазами, какую работу развила Англия за полтора года, как сражаются англичане, и какую силу готовятся противопоставить германцам в недалеком будущем» [Толстой, 1916, с. 7–8].

Всего на страницах газеты появилось 11 «писем»-очерков: четыре под рубрикой «В гостях у англичан», затем, по порядку, «Уэлльс», «Английский фронт» (четыре «письма»-очерка), «Капитан Джонс» и «Лондон». В них изложены главные впечатления автора от английского общества, армии, флота, правительства, культурной жизни и т.д. Основное внимание уделено отношению англичан к России и русским. Очерки эссеистичны, здесь много субъективных мнений о национальной физиономии обоих народов, об отдельных людях, прогнозов о развитии англо-русских связей, личных наблюдений. Тон очерков — благожелательный по отношению к Англии и ее народу. Однако, стремясь быть объективным, автор останавливался и на некоторых отрицательных чертах: таковы описание «Русской выставки» в Лондоне с ее нелепыми «уголками России» и упоминание о том, что англичане зачастую переводят второсортных русских писателей.

Вскоре, 25 декабря 1916 г., в г. «Киевская мысль» был опубликован еще один очерк из «английского цикла» — «Крепкое развлечение» (с. 4–5), повествующий о боксерском бое в одном из спортивных клубов Лондона.

Однако еще до его выхода военные корреспонденции из «Русских ведомостей» были собраны вместе и опубликованы под общим заглавием «В Англии» в шестом томе второго издания Собрания сочинений Толстого в том же 1916 г., без очерка «Крепкое развлечение» [Толстой, 1916, с. 7–76]. Но и с первой газетной публикацией в «Русских ведомостях» книжная версия 1916 г. совпадала не полностью. Во-первых, это отсутствие в книжном издании четвертого «письма» из рубрики «В гостях у англичан» под названием «Прогулка с Конан-Дойлем» [Русские ведомости, 1916, с. 2]. Почему автор не включил его в свое Собрание сочинений, остается непонятным: помимо портрета известного писателя, здесь и не встречающаяся более в очерках характеристика английского типа религиозности, и любопытные приметы военного времени. Таким образом, в книжной версии корреспонденций из Англии отсутствовали сразу два очерка, основанных на английских впечатлениях Толстого весной 1916 г., — «Крепкое развлечение» и «Прогулка с Конан-Дойлем».

Кроме того, книжная публикация, по сравнению с газетной, несколько иначе структурирована: во-первых, она состоит не из 11, а из 14 частей (за счет того, что последнее газетное

«письмо» о Лондоне разделено здесь на 4 части); во-вторых, в третьей части появился заголовок «Флот», а газетные заголовки «В гостях у англичан» были сняты совсем. И наконец, книжная публикация несколько сокращена и стилистически отредактирована. Так, например, в IX разделе выпущен целый III отдел из соответствующего «письма» в газете, где говорилось о заботе со стороны русских парижанок, в частности А.В. Ольштейн, о русских и английских военнопленных на территории Германии. Здесь же было рассказано о зверском поступке немецких офицеров, ради спасения собственных жизней зарезавших французских детей. Возможно, автор счел эти отрывки не имеющими прямого отношения к английской теме.

Дальнейшее исследование мы будем вести, опираясь на книжную версию очерков 1916 г. как последнее авторское волеизъявление. Темы и идеи цикла «В Англии» в последующие годы развивались Толстым в ряде произведений, подчас в весьма неожиданных ракурсах и контекстах. Рассмотрим замеченные нами переклички в хронологической последовательности.

Еще в годы Гражданской войны, 7 декабря (24 ноября) 1918 г., Толстой опубликовал в г. «Одесский листок» статью «Пусть они не ошибутся», продолжавшую апологетическое изображение англичан в очерках 1916 г. Здесь переданы впечатления жителей Одессы в связи с высадкой в ее порту союзного — английского и французского — десанта. У двух английских матросов — «добродушные, точно детские, лица, открытые и ясные». По отношению к нынешним русским, англичане — «люди другой породы» [цит. по: Толстая, 2006, с. 304–306], несущие на себе печать единства и славы своей родины. В воспоминании о недавней поездке шести русских журналистов в Англию появился новый, по сравнению с очерками 1916 г., мотив: Толстой говорил о чувстве страха перед разоблачением русских англичанами в том, что они не умеют ценить свою родину, погрязли в розни и распрях. Возможно, по мысли автора, страшный опыт революции научит каждого русского «дело родины» ставить выше «своего личного дела» [цит. по: Толстая, 2006, с. 306].

В 1923 г. Толстой написал очерк «О Париже» [Петроград, 1923, с. 13–16], начало которого посвящено посещению французской столицы в 1916 г. во время поездки из Англии на материковый Западный фронт. Это развитие одной из тем очерков «В Англии» 1916 г.: когда-то людные и шумные бульвары стали пустыми, кафе закрыты, окна домов темны и улицы освещены только звездами… [Толстой, 1916, с. 58–59]. Полторы страницы описания Парижа 1916-го года ужимаются до нескольких строк в 1923 г.

4 апреля 1927 г. в однодневной газете Федерации советских писателей «Рабочим Шанхая» был напечатан очерк Толстого «Бокс», оказавшийся переделкой, в духе советской идеологии и в соответствии с новой политической ситуацией, очерка «Крепкое развлечение». Затем, с утратой заголовка, текст «Бокса» вошел в состав большого фельетона «Англичане, когда они любезны», впервые напечатанного в том же 1927 г. в журнале «Огонек» и вскоре вышедшего отдельным изданием [Толстой // Огонек 1927, с. 8–10; Толстой, 1927, с. 3–17]. Последнее идентично журнальному, за исключением небольшой вставки в эпизоде с «Русской выставкой» и названия китайского города в финальной фразе (Сватоу вместо Шанхая). В дальнейших перепечатках фельетона в советское и постсоветское время [Толстой, 1946–1953; Толстой, 1958–1961; Толстой, 1982–1986; и др.] воспроизводилось именно это отдельное издание.

Сравнение текстов «Крепкого развлечения» и отрывка, соответствующего «Боксу» из фельетона «Англичане, когда они любезны», свидетельствует о глубокой идейно-стилистической переработке первоначального очерка. Так, если в 1916 г. бой описывался в нейтраль-

ном осведомительном тоне, оба боксера — с уважением к их спортивному мастерству, а умеренный авторский негативизм ощущался только по отношению к зрителям, державшим пари на кого-либо из борцов, то в 1927 г. поединок между боксерами Гарлеем и Джипом подавался как зверски-жестокий, кровавый, грубый обычай буржуазного мира, а зрительская меркантильность и равнодушие к людской боли — как определяющие черты английского характера. Когда Гарлея, похоже, убили — проигравшая свои деньги публика ушла, с досадой замечая о победителе, Джипе, — «какой-то рабочий из предместья» [Толстой, 1927, с. 10]. Слов о пролетарском происхождении боксера, взывавших к классовому чувству советского читателя, в очерке 1916 г. вообще нет.

Если обратиться к фельетону «Англичане, когда они любезны» в целом, то увидим, что переделка цикла «В Англии» в других частях еще более существенна. Во-первых, фельетон, по сравнению с очерком, сокращен более чем на две трети: опущены все эпизоды, связанные с посещением английского флота и Западного фронта на территории Бельгии — т.е. все то, что могло вызвать в русском читателе симпатию и уважение к Англии как союзнику России в Первой мировой войне. Оставлены и по-новому освещены только эпизоды, дающие возможность бросить на Англию и англичан тень: банкеты с обильной выпивкой, нелепая «Русская выставка», аудиенция у короля, посещение палаты депутатов; вставлен очерк о боксе, в котором, как уже говорилось, подчеркнуты жестокость и меркантильная подоплека этого зрелища.

В цикле 1916 г. Толстой с благодарностью отнесся к английскому гостеприимству, к многочисленным банкетам и тостам. В фельетоне 1927 г. подобные эпизоды оценены иначе: «В промежутке между осмотрами военных заводов, флота и фронта, устраивались для гостей банкеты с министрами и с членами королевского дома (с теми, которые были крепки выпить). На одном таком банкете герцог Девонширский», с багровым от постоянного употребления портвейна лицом, сказал гостям спич, который сводился к предложению вместе выпить в хорошей компании [Толстой, 1927, с. 8].

По-другому оцениваются и английские офицеры, сопровождавшие русскую делегацию. Если в восприятии 1916 г. это были «благодушные» люди с «глубокой простотой и ясностью… отношений» [Толстой, 1916, с. 20, 16], то в 1927 г. их поведение трактуется как напускной «стиль грубоватого добродушия»: «Только и видно было добродушнейших, почти что придурковатых людей-рубах. Ты, мол, да я, мол, англичанин да русский, — давай, парень, выпьем…» [Толстой, 1927, с. 8] Теперь англичане подозреваются в лицемерии и коварстве, в противоположность их оценке в 1916 г.: «…англичан… мы привыкли считать холодными, расчетливыми, хитрыми людьми <…> И все это оказалось неверно и как раз наоборот» [Толстой, 1916, с. 47].

Более того, в фельетоне 1927 г. английские сопровождающие прямо обвиняются в доносительстве: «р у б а х и — парни» были, по всей вероятности, офицерами контрразведки. А еще «рубахи-парни предупреждали: “Не ходите ночью по улицам, не стоит смешиваться со всяким сбродом”» [Толстой, 1927, с. 8].

Итак, теперь англичане — пьяницы и снобы, проявляющие классовое высокомерие, антидемократизм, они жестоки и грубы, лживы и лицемерны, на самом деле плохо, с подозрительностью относятся к русским. Говорится о них уже не с восхищением и симпатией, но с разоблачительной иронией и сарказмом.

Усилен и критический пафос эпизода с «Русской выставкой», которая, по сравнению с

1916 г., приобретает совсем другой смысл: теперь это не плод невежества и предрассудков относительно России, но коварный замысел, призванный сформировать в умах английских зрителей планы будущего завоевания нынешней союзницы. Таким образом, Англия 1916 г. превращается здесь в фактического врага — вместо Германии, чьи «зверства» показаны как карикатурное преувеличение, что отражает изменившуюся за 10 лет политическую ситуацию.

Теперь бывшая союзница Англия стала в конфронтацию к Советской России, разорвав с ней в 1927 г. дипломатические отношения. Напротив, бывший враг Германия, особенно после заключения Берлинского договора о дружбе и военном нейтралитете в 1926 г., стала основным торговым и военным партнером СССР.

Особый интерес представляют встреча с английским королем и посещение английского парламента.

В очерках 1916 г. о короле говорилось с симпатией, нейтральным тоном. В фельетоне 1927 г. монархическая тема шире и тон совершенно иной — сатирически-разоблачительный. Читатель должен почувствовать ничтожность монархической власти — король маленький человек, разделенный со своим народом. Подчеркнута родственная связь английского короля с русским царем Николаем II. Это выпад против английской и русской монархии вместе.

Показательны изменения и в картине английского парламента. В фельетоне 1927 г., на первый взгляд, изображено то же самое, что в очерках 1916 г.; однако с помощью мелких деталей, небольших вставок и определений достигается насмешливо-уничижительный тон, усиливаются отрицательные характеристики, акцентируются компрометирующие детали, добавляются социально-разоблачительные оценки. Так, например, описание лорда-канцлера 1916 г. продолжено следующим суждением в 1927 г.: «Но если покопаться в истории, то <…> привилегия сидеть на мешке с шерстью окажется привилегией гнать по шеям мужиков со своей земли и разводить овец, торговать шерстью» [Толстой, 1927, с. 10].

Но главное различие — в концовке фельетона. Автор использует кинематографический прием наплыва — и вместо лондонской палаты общин 1916 г., настроенной против Германии, оказывается в той же зале в 1927 г., во время резкого выступления Чемберлена против Советской России.

Однако положительный заряд английских очерков 1916 г., невостребованный в английской теме 1927 г., неожиданно реализовался в статьях Толстого «Сталин на трибуне» (1936) и «За родину! За Сталина!» (1939). Вот как рисуется образ вождя в первой из них: «Сталин… в полувоенной форме. В черных волосах седина, тень от усов прикрывает улыбающийся рот, веки внимательных глаз приподняты <…> Сталин <…> взошел на трибуну… Взглянул на бушующий зал. Налил воды… Не спеша выпил <…> Платком тронул снизу усы» [Толстой, 1953, с. 388–389]. Во второй статье усиливается акцент на скромности и трезвости вождя: «Сталин исключительно скромен <…> Вот он — на трибуне в громадном Кремлевском зале. В черных откинутых волосах — седина, тень от усов прикрывает улыбающийся рот. Приподнятые нижние веки темных блестящих глаз… Он наливает немного нарзана в стакан. Не спеша отпивает несколько капель… затем платком трогает усы» [Толстой, 1953, с. 454–456]. Обратим внимание на детали и характеристики: вода или нарзан, сухие усы щеточкой, полувоенная форма, внимательные темные блестящие глаза, простота, громадное общественное значение, спокойствие и хладнокровие.

А теперь вернемся к очеркам «В Англии» 1916 г. Сначала — к портрету сэра Джона Джелико, встреченного Толстым во время ознакомления с английским флотом: «…неболь-

шой этот человек…, такой простой и скромный, был самым могущественным из людей на свете, — начальником всего английского флота» [Толстой, 1916, с. 24]. Образ советского вождя явно вобрал в себя положительные черты облика и поведения ряда английских военных Первой мировой, в частности сопровождавшего русскую делегацию капитана Джонса, обладателя «глубоко мужской, ясной и простой души» [Толстой, 1916, с. 65]. А портрет короля свидетельствует об особенной скромности и внимательности руководителя английского государства: «все на нем, и платье, и башмаки казалось не новым и хорошо обношенным», он глядел «на нас внимательно серыми, выпуклыми глазами» [Толстой, 1916, С. 73].

В то же время Сталин является антитезой английским военным из сатирического фельетона 1927 г. в аспекте «трезвость — пьянство». Повторяются и конкретизируются мотивы воды (нарзана) и вина, сухих или обмоченных в вине усов (последние, правда, принадлежат герцогу Девонширскому еще в очерке 1916 г., но без отрицательной оценки). Сравним с вышеприведенной фельетонной характеристикой герцога Девонширского, с багровым от постоянного употребления портвейна лицом, большим носом и закрывающими рот усами [Толстой, 1927, с. 8].

В противоположность королю в изображении 1916 г., король 1927 г. очевидно контрастен по отношению к Сталину: у него «выпуклые, не мигающие, серые глаза с кровяными жилками, как стеклянные», «усы серпом», «глуховатый голос» [Толстой, 1927, с. 9]. Подчеркнута декоративная роль монарха, отсутствие у него реального значения в жизни нации. С помощью деталей костюма теперь акцентируется не скромность, а шаткость положения короля, одетого «в теплые брюки, под которыми как-то не чувствовалось ног…» [Толстой, 1916, с. 9]. Этот костюм контрастирует с полувоенной одеждой Сталина, его быстрой походкой.

И конечно же, Сталин-оратор противостоит как депутату Асквиту из Палаты общин 1916 г. («бритому, полному человеку, с красным от напряжения лицом и с копной седых волос» [Толстой, 1916, с. 74]), так и министру Чемберлену из той же Палаты 1927 г. («на трибуне… другое лицо, — худое, хищное, неумолимое…» [Толстой, 1927, с. 10]). Одновременно достигается впечатление единства Англии 1916-го и 1927-го гг. в ее враждебности к России (СССР). Завершает эту линию демонстративное противопоставление обеих стран как непримиримых врагов в начале статьи «За родину! За Сталина!»: «Возглавляемая Англией мировая реакция готовит планомерное, научное истребление человечества <…> Перед стариковским взором Чемберлена… плывут счастливые миражи: дымящиеся развалины гигантских городов, ландшафты, залитые нарывными газами, ряды сосновых крестов от океана до океана <…> другая сторона дела — это Иосиф Сталин, возглавляющий… силы революции, назначение которой — спасти человечество от физической и духовной гибели…», обеспечить «высшее, гармоническое развитие человеческого общества» [Толстой, 1953, с. 452–453].

Удивительным делом Англия занимает здесь место Германии из очерков 1916 г., где описывались произведенные немцами варварские разрушения: «обезображенная земля, несчастный Ипр, сровненный с землей», «исковерканная дорога», «бензиновая гарь и грязь» [Толстой, 1916, с. 54]. А ведь в 1916 г. англичанам, по Толстому, «снилась мировая гармония» и будущее Англии виделось ему «в широко понятом социализме» [Толстой, 1916, с. 48].

Антиподами являются и залы заседаний: палаты английского парламента и зал Кремлевского дворца в Москве. Контрастны их интерьеры; бодрый «вечно живой» скульптурный Ленин как бы противопоставлен понурому, явно отжившему свое лорду-канцлеру из палаты лордов, капиталисты и промышленники в палате общин — рабочим, колхозникам и т.п.

Так художественные приемы и находки 1916-го и 1927-го гг. развиваются и переосмысляются в статьях 1930-х гг.

Советские издатели обратили внимание на военные корреспонденции Толстого только в 1980-е гг., когда впервые после 1916 г. стало возможным перепечатать три небольших фрагмента из очерков «В Англии» в неизмененном виде: «Уэлльс», <«Оскар Уайльд в Лондоне»>, <«Уголки России»> [Толстой о литературе.., 1984, с. 42–51]. Публикация снабжена характерным для этой эпохи комментарием о разделявшимся Толстым «ложнопатриотическом угаре» [Толстой о литературе.., 1984, с. 481]. Те же фрагменты были еще раз перепечатаны в пятитомном собрании сочинений Толстого в 1995 г. [Толстой, 1995, с. 435–444]. На этом заканчивается история публикаций и автореминисценций военных корреспонденций Толстого из Англии 1916 г. В изданиях писателя начала XXI века они не воспроизводились ни в каком виде.

Таким образом, даже в наиболее полной своей версии в Собрании сочинений Толстого 1916 г. военные корреспонденции писателя из Англии представлены не целиком: пропущены очерки «Прогулка с Конан-Дойлем» и «Крепкое развлечение». В советское и постсоветское время английские корреспонденции Толстого перепечатывались в урезанном или искаженном виде. Поэтому актуальна задача их полной аутентичной републикации (впервые после 1916 г.), в связи с чем возникает текстологическая проблема, для которой можно предложить следующее решение: за основу берется книжный вариант 1916 г., составленный самим автором, к нему (видимо, в приложении) добавляются не вошедшие туда газетные очерки «Прогулка с Конан-Дойлем» и «Крепкое развлечение».

Воссоздание одной из граней эпохи Первой мировой войны, преломленной в творчестве выдающегося писателя, представляется важным для полномасштабного понимания ее контекста.

Список литературы

Петроград. 1923. № 4 (1 июля).

Русские ведомости. 1916. 22 марта.

Толстая Е.Д. Деготь или мед: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917–1923). М., 2006.

Толстой А.Н. Т. VI: В Англии. На Кавказе. По Волыни и Галиции. 2-е изд. 1916.

Толстой А. Англичане, когда они любезны: Фельетон // Огонек. 1927. № 16 (17 апр.).

Толстой А. Англичане, когда они любезны. Л., 1927 (Б-ка журн. «Бегемот». № 81).

Толстой А.Н. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1946–1953. Т. 13.

Толстой А.Н. Избр. соч.: В 6 т. М., 1953. Т. 6.

Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М.,1958–1961. Т. 10.

Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1982–1986. Т. 10.

Толстой А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1995. Т. 4.

А.Н. Толстой о литературе и искусстве: Очерки. Статьи. Выступления. Беседы. Заметки. Записные книжки. Письма / Сост. Ю.М. Оклянский, Н.В. Лихова. М., 1984.

Г.Н. Воронцова

Тема Первой мировой войны в творчестве А.Н. Толстого

Тема Первой мировой войны занимала одно из центральных мест в творчестве Толстого с осени 1914 г. По признанию писателя, именно война способствовала преодолению того кризиса, в котором он оказался некоторое время спустя после своего блистательного литературного дебюта («Настал день, когда я с трепетом почувствовал: нужно жить в современности <…> Я писал все хуже, все ненужнее — беспомощно барахтался в дикой стихии русского языка» [Толстой, 1986, с. 149]; «Я исчерпал темы воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, не типичны» [Толстой, 1982, с. 43]). Много позже Толстой писал о военном периоде своей жизни: «…я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие <…> Я увидел русский народ» [Толстой, 1982, с. 44]. Поездки на фронт, знакомство с военным бытом, беседы с солдатами и офицерами открыли писателю то, что он так долго искал, — дух времени. Однако в своем отношении к войне как к событию не только русской, но и мировой истории Толстой прошел через ряд порой резко контрастных этапов.

Известие о начале мобилизации 17 (30) июля 1914 г. застало писателя на пути из Коктебеля в Москву. Уже в конце августа он выехал на фронт в качестве военного корреспондента московской «профессорской» газеты «Русские ведомости». Своему отчиму, А.А. Бострому, Толстой писал: «Я работаю в “Русских ведомостях”, никогда не думал, что стану журналистом, буду писать патриотические статьи. Так меняются времена. А в самом деле я стал патриотом» [Переписка, 1989, с. 212].

На протяжении 1914–1916 гг. писатель трижды выезжал в зону военных действий: в 1914 г. на юго-западный фронт, в 1915 — на кавказский, в 1916 — на западноевропейский. Соответственно свои очерки он объединит в циклы: «По Волыни», «По Галиции», «На Кавказе», «В Англии». Военные маршруты Толстого также войдут составной частью в своеобразную летопись войны, воссозданную им на страницах романа «Хождение по мукам» (1919–1921). Она станет хронологической осью повествования, организующей художественное пространство и время произведения.

В августе-сентябре 1914 г. писатель побывал на Волыни, в местах наступления русской армии. За четверо суток проехал города Ковель, Владимир-Волынский, Грубешов, Лащево, Томашев, Тасовицы, Замостье и Холм. Затем, в начале октября, проследовал в Галицию. В письме своему приятелю, К.В. Кандаурову, он рассказывал: «Я так устал за 4 дня непрерывной скачки в телегах и бричках по лесным дорогам, под дождем, воспринимая единственные в жизни впечатления, что писать о них сейчас не могу <…> Подумать только — я прожил год жизни за эту неделю, а это лишь только начало войны» [Переписка, 1989, с. 214].

Галицийские впечатления, видимо, стали одними из самых ярких в художественной памяти Толстого. В места действия русских армий Юго-Западного фронта попадет в начале войны зачисленный в армейский полк прапорщиком один из главных героев «Хождения по мукам» Иван Ильич Телегин. К событиям в Галиции в их трагическом развитии будет дважды отсылать текст романа: в главе XVIII, где речь идет о начавшейся 5 (18) августа 1914 г. Галицийской битве, в ходе которой русские армии в упорных боях нанесли крупное поражение австро-венгерским военным соединениям, заняв Галицию и часть австрийской Польши, и в главе XIX, где зафиксирован прорыв фронта австро-германскими войсками весной 1915 г., в результате чего русские были вынуждены отступить и покинуть Галицию.

Корреспонденции Толстого 1914 г., выраставшие из коротких записей на небольших листках карманного блокнота и называвшиеся «Письма с пути», составили первую книгу военных очерков писателя. Посвящая ее балерине Большого театра М.В. Кандауровой, автор с подчеркнутой пафосностью, за которой, однако, невозможно не почувствовать масштаба совершавшихся событий, писал: «Маргарита, с глубоким чувством приношу Вам эту небольшую книгу, в ней собрана большая часть того, что я видел за две поездки на места войны. Я видел разрушенные города и деревни, поля, изрытые траншеями, покрытые маленькими крестами, крестьян, молчаливо копавшихся в остатках пожарища или идущих за плугом, посматривая — далеко ли еще от него разрываются снаряды, и женщин, которые протягивают руку на перекрестке дорог, я видел сторожевые посты на перевалах Карпат и огромные битвы по берегам Сана, я слушал, как вылетают из ночной темноты гранаты, я смотрел на наши войска в тылу и на месте работы. Я бы хотел, чтобы Вы последовали за мной в вагоне и на лошадях, пешком и в автомобиле по всем полям войны, от глубокого тыла до передовых траншей, и почувствовали, что большие жертвы приносятся для великого возмездия, и ваше сердце задрожало бы гордостью за наш народ, мужественный, простой, непоколебимый и скромный» [Толстой, 1915, с. 5].

В первый год военных действий писателю, впрочем, как и многим его современникам, более всего была свойственна идеализация целей, задач и сущности войны, что предопределило патетическую тональность целого ряда его публицистических работ. В своей первой статье на военную тему «Трагический дух и ненавистники» («Отечество») он писал: «Переворот произошел в один день, к вечеру мы стали крепким, решительным, чистым народом. Словно над всей Россией в этот день пролетел трагический дух — дух понимания, спокойствия и роковых, мирового смысла задач» [Толстой, 1949, с. 9]. В постскриптуме одного из писем отчиму Толстой с упоением отмечал: «Конечно, ты знаешь, что это мировая война, в которой погибнет наша цивилизация и настанет, наконец, прекрасный век» [Переписка, 1989, с. 213].

В основу художественных произведений писателя конца 1914 — первой половины 1915 г., созданных на военном материале, была положена идея нравственного исцеления, духовного возрождения человека на войне. Герой рассказа Толстого «Обыкновенный человек», прапорщик Демьянов, попадает на фронт в надежде, обретя силу духа, придать новый смысл своему существованию. Принимая боевое крещение, преодолевая страх, нерешительность, сомнения, он выходит из боя преобразившимся человеком. «Великий смысл» современных событий открывается ему в словах солдата Дмитрия Аникина, буквально списанного автором с Платона Каратаева из «Войны и мира»: «…кабы нам Бог войны не дал,

ограбил бы нас. Народ стал несерьезный. Чего не надо боится, а больше по пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку она и война. Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет такой же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потому что кровь — она цены не имеет» [Толстой, 1958, с. 282].

В то же время для Толстого-корреспондента, одного из немногих, был свойственен интерес к быту войны, ее непарадной стороне. Он был далек от романтического приукрашивания кровопролития и свойственного многим его современникам смакования ужасов. Не укрылось от художественного внимания Толстого и воплощение войны в тяжелом ратном труде ее участников, бедственном положении мирного населения, оказавшегося в зоне военных действий, беженцев и пленных, что наряду с описаниями разрушенных городов и деревень в его очерках и рассказах являло собой часть общей картины национальной катастрофы.

Индивидуальная интонация статей и очерков Толстого, выгодно отличавшая его в потоке военной литературы, была отмечена современниками. Уже в литературном обзоре за первый год войны говорилось, что в сборнике военной прозы писателя «нет шовинизма и опьянения жутко-сладким вином войны, нет развязности и бахвальства всезнаек, пишущих о войне за десятки верст от нее. Нет националистической слащавости и приторности» [Современный мир, 1915, с. 342].

А.И. Иванов, один из современных исследователей темы Первой мировой войны в русской литературе 1914–1918 гг., характеризуя циклы военных очерков писателя, справедливо отмечает, что они дают возможность говорить о первом этапе художественного осмысления войны, где отчетливо выделяется стремление «изобразить и почувствовать войну» [Иванов, 2005, с. 182–183]. Это «почувствованное» и вобрал в себя роман «Хождение по мукам», который стал для писателя уже следующим этапом в осмыслении и изображении одного из центральных событий мировой истории первой четверти XX в. Однако звучание военной темы в романе во многом контрастно ее воплощению в статьях и рассказах Толстого 1914–1916 гг.

О переломе в отношении к военным действиям почти всех слоев русского общества Толстой писал еще в январе 1917 г.: «Помню, в начале войны многое казалось истинным откровением. Появились герои среди обычных обывателей. Впервые, с оглядкой и радостью, произнесено было слово “родина”. На улицах Варшавы бросали цветы в сибирских стрелков. Мы пережили небывалый подъем и отчаяние, почти гибель. Все это минуло, время романтических боев прошло. Не повторятся ни кавалерийские набеги, ни головокружительные обходы галицийских битв, ни падение крепостей, ни отход на сотни верст. Война стала расчетом, фронт — буднями» [Толстой, 1917, с. 2].

Ко времени создания романа «Хождение по мукам» «романтика» войны была изжита писателем полностью. Об одном из «романтических боев» периода начала военных действий, «знаменитой» атаке «кавалергардов, когда три эскадрона, в пешем строю, прошли без одного выстрела проволочные заграждения, имея во главе командира полка, князя Долгорукого, шагающего под пулеметным огнем с сигарой во рту и, по обычаю, ругающегося по-французски», писатель упомянул на страницах произведения в отчетливо сниженном варианте, пояснив, что «кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжелых пушки, которые оказались заклепанными и охранялись одними пулеметами» [Толстой, 2012, с. 124].

«Романтическими» назвал писатель в произведении и «постановления Гаагской конференции» о том, «как нравственно и как безнравственно убивать». Подчеркнуто иронический подтекст фразы актуализировал отношение самого Толстого к абсурдности подобного рода формулировок, провозглашая абсолютную безнравственность истребления одного человека другим.

Непосредственно военным действиям в романе «Хождение по мукам» посвящено пять глав: XV, XVI, XX, XXI и XXII. К ним примыкают главы с XXVI по XXIX, где рассказывается о гибели на фронте Бессонова и побеге Ивана Ильича из плена. В остальных война проходит фоном: о сражениях и передвижениях русских и союзных войск упоминается либо в авторских отступлениях, либо в монологах героев.

Фронт в романе, как правило, связан с двумя персонажами: Иваном Ильичом Телегиным (Галицийская битва) и Аркадием Жадовым (трагическое отступление русской армии в 1915 г.). На фронте погибают Алексей Алексеевич Бессонов и Николай Иванович Смоковников.

Конкретные события войны стали хронологическими вехами романа. Сопровождая его основные сюжетные линии, они позволяют им развернуться не только в художественных, но и в реальных пространстве и времени. Так, даты в главе XXIII, где речь идет о смертельной болезни Кати, ее выздоровлении, о жизни Смоковниковых на даче под Москвой, имеющие подчеркнуто размытый характер: «В конце мая», «В первых числах июня в праздник», «В начале августа», — дополнены упоминанием в тексте военных операций («Мы потеряли Львов и Люблин», «Варшаву отдали. Брест-Литовск взорван и пал»), которые не только конкретизируют временные характеристики, но и особым образом организуют повествование.

Главе XXV, где речь идет об отъезде на фронт сначала Вадима Рощина, а затем и Бессонова, предпослано небольшое вступление, в котором с необходимой степенью суггестии описана военная ситуация 1916 г. Его автономность очевидна, в то же время этот своего рода пролог к событиям в тыловой Москве на пространстве квартиры Смоковниковых и Тверского бульвара переводит их в плоскость основного исторического действия, еще более подключая вымышленных персонажей к той реальной современной истории, дыхание которой все время ощущается на страницах произведения.

В «Хождении по мукам» Толстой не стремится к полноте в изображении военных операций, в воспроизведении внешнего рисунка войны. Его главные усилия направлены на воссоздание атмосферы военного времени, на передачу характера разразившейся катастрофы. Война в романе — это всегда боль, кровь, страдание, утрата близких и бессмысленная гибель, сломленные человеческие судьбы.

Так, повисают в воздухе полные отчаяния риторические вопросы сокрушенной войной Кати Булавиной, на которые ни у нее, ни у сестры Даши нет ответа: «За что? — проговорила вдруг Катя низким и диким каким-то голосом. — За что нам это послано? Чем я виновата? Когда кончится это, — ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше, не могу, не могу!.. — Она, задыхаясь, стояла у стены, у портьеры, бледная, с выступившими у рта морщинами, глядела на Дашу сухими, потемневшими глазами» [Толстой, 2012, с. 167].

Земля уходит из-под ног у лишившегося воли к жизни Алексея Алексеевича Бессонова, гибель которого на фронте предопределена еще в момент последней случайной встречи с сестрами: «У меня раньше оставалась еще кое-какая надежда... Ну, а после этих трупов и

трупов все полетело к черту... Создавалась какая-то культура, — чепуха, бред... Действительность — трупы и кровь, — хаос» [Толстой, 2012, с. 169].

Война в интерпретации автора «Хождения по мукам» — событие алогичное и необъяснимое, наделенное ролью пролога к новой грядущей катастрофе, «первое действие трагедии», так как «все разумные рассуждения» тонут «в океане крови, льющейся на огромной полосе в три тысячи верст, опоясавшей Европу». И никакой разум не может объяснить, «почему железом, динамитом и голодом человечество упрямо уничтожает само себя» [Толстой, 2012, с. 126].

Отношение к войне становится своего рода индикатором, с помощью которого автор характеризует персонажей. Так, за военной риторикой и политической трескотней Николая Ивановича Смоковникова («трепанием языка», как называет это Катя) скрываются аморальность и безнравственность, позволяющие ему с удовлетворением отметить, что у немцев «уже дети без кожи начинают рождаться».

Органически своей ощущает стихию войны Аркадий Жадов, потому так и поражает Елизавету Киевну его преобразившийся внешний вид: «Он был широкоплечий, русый, бритый, со светлыми, прозрачными глазами. Сидел он прямо, туго перетянутый ремнем, пил много и только бледнел» [Толстой, 2012, с. 139]. Его лицо кажется ей «страшным и прекрасным». Людей, «рискующих своей жизнью без принуждения», «у кого — органическая жажда убивать», Жадов относит к стоящим «на высшей ступени человеческого сознания» и тут же демонстрирует свою собственную принадлежность к подобным человеческим особям, проявляя завидную самоотверженность в сражении, которое «не имело никакого смысла, потому что убыль в войсках была пополнена, произведена новая мобилизация, наготовлены новые снаряды, выпущены новые партии бумажных денег»).

В то же время изживает войну соприкоснувшийся с ней Иван Телегин, отвечая на абсурдные заявления Струкова о конечных целях начавшейся революции: «Ты всю войну в тылу просидел <…> а я воевал, и знаю: в четырнадцатом году нам тоже нравилось драться и разрушать. Теперь нам это не нравится. А вот вы, тыловые люди, только теперь и входите во вкус войны. И вся психология у вас мародерская, обозная: — грабь, жги!.. Я давно к вам присматриваюсь, — у вас идея — разрушать, самим дорваться до крови... Ужасно!..» [Толстой, 2012, с. 212]

Военные главы «Хождения по мукам» во многом основаны на собственных воспоминаниях и впечатлениях писателя. Однако то, о чем было написано в годы Первой мировой войны, привнесено в текст романа в существенно преображенном виде, что связано с переосмыслением автором тех событий, свидетелем которых он был.

О русском штабе в замке, близ Лащева, Толстой рассказывал в очерках «По Волыни»: «Над местечком, на горе, стоит среди векового парка древний замок польского графа Ш. Здесь находился сначала австрийский, а потом штаб нашей армии, здесь было сердце битвы, и весь замок, все службы и парк были заполнены нашими ранеными <...> У кирпичной стены вся земля была усеяна пулями и пулями были истыканы, как решето, стены замка» [Толстой, 1949, с. 29–30]. В романе эта реальная картина использована писателем для реконструкции сцен совсем иного содержания, прежде всего связанных с лишенной патетики повседневной жизнью армейских офицеров, где внутреннее убранство «покинутого» полуразрушенного помещения, еще недавно торжественно-изысканное, оттеняет абсурдность и алогичность военных будней: «Иван Ильич вошел в прихожую. В глубине ее, над широкой,

уходящей изгибом вверх, дубовой лестницей висел гобелен, должно быть очень старинный: — среди тонких деревцов стояли Адам и Ева, она держала в руке яблоко — символ вечной радости жизни, он — срезанную ветвь с цветами — символ падения и искупления. Их выцветшие лица и удлиненные тела неясно освещала свеча, стоящая в бутылке на лестничной колонне. Иван Ильич отворил дверь направо и вошел в пустую комнату с лепным потолком, рухнувшим в углу, там, где вчера в стену ударил снаряд. У горящего очага, на койке, сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль, и присел неподалеку на патронные жестянки, щурясь от света» [Толстой, 2012, с. 115].

Как это видно, само выражение «сердце битвы», использованное Толстым в очерках по отношению к штабу армии, было бы здесь и неуместно и невозможно. На смену парадигмы указывает и замена в определениях: «древний замок польского графа Ш.» превращается в тексте романа в «покинутый» и безымянный.

Невозможно не почувствовать колоссальной разницы и между приведенными выше сентенциями Дмитрия Аникина из «Обыкновенного человека» и монологами рядовых в «Хождении по мукам», где отчетливо слышна тема греха убийства на войне: «Разве не зря — убить человека-то… У него, чай, домишко свой, семейство какое ни на есть, а ты ткнул в него штыком, как в чучело, — сделал дело. И тебе за это медаль. Я в первый-то раз запорол одного, — потом есть не мог — тошнило… А теперь десятого, или девятого кончаю… Дожили… Ведь страх-то какой, а? Раньше и в мыслях этого не было… А здесь — ничего — по головке за это гладят» [Толстой, 2012, с. 122–123].

Показательно в интересующем нас аспекте и упоминание сибирских стрелков в публицистике писателя периода войны и в романе «Хождение по мукам». В очерках «По Галиции» Толстой писал: «У нас же каждый день, каждый час вливаются в армию выносливые, крепкие, привыкшие к зимним невзгодам сибирские полки, блестяще показавшие себя в последних боях. Я видел, как подошел к станции один из эшелонов, на платформах стояли, задрав стволы, тяжелые орудия <...> Распахнулись двери вагонов, высунулись здоровенные ребята — молодые, широколицые, загорелые» [Толстой, 1949, с. 43–44]. Завершением этого сюжета в романе стали слова одного из безымянных солдат: «Видел я поле под Варшавой <…> лежат на нем тысяч пять али шесть сибирских стрелков. Все побитые, лежат, как снопы» [Толстой, 2012, с. 137].

Таким образом, ко времени создания романа «Хождение по мукам» в сознании писателя произошла дегероизация самого события войны, «парадокса с гуманнейшей культурой, которая за четыре года удачно слопала половину самой себя», военных действий и связанных с ними настроений в обществе, так как результатом кровопролитных сражений, овеянных иллюзорным «трагическим духом, духом понимания, спокойствия и роковых, мировых задач» стало не сплочение и возрождение нации, не «прекрасный век», а «военный и голодный бунт», каким в конечном итоге увидел Толстой Февральскую революцию.

Список литературы

А.Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1982.

Гр. Алексей Н. Толстой. «На войне» // Современный мир. 1915. № 2; с подписью: Ал. О.

Иванов А.И. Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг. Тамбов, 2005.

Переписка А.Н.Толстого: В 2 т. М., 1989. Т. 1.
Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1915. Т. 6.
Толстой А.Н. Из дневника на 1917 год // Рус. ведомости. 1917. № 12 (15 янв.).
Толстой А.Н. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 3.
Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 2.
Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 1.
Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1986. Т. 10.
Толстой А.Н. Хождение по мукам / Изд. подгот. Г.Н. Воронцова. М., 2012.

В.Э. Молодяков

Германия в военных стихах Валерия Брюсова 1914–1917 гг.: поэзия и пропаганда[1]

Военные стихи Валерия Брюсова 1914–1917 гг., в основном включенные в сборники «Семь цветов радуги» и «Девятая камена», редко становились предметом специального анализа. О них говорили походя, в общем контексте его поэзии, а оценки зависели от политической конъюнктуры момента: осуждение «поэзии русского империализма» в 1920–1930-е годы (Г.Е. Горбачев, А.Н. Волков, О.В. Цехновицер, отчасти И.С. Поступальский), возрождение патриотизма и осуждение «пруссачества» в 1940-е годы (Г.М. Ленобль, Л.Б. Булгакова, А.С. Мясников), акцентирование мотивов гуманизма и дружбы народов в 1960–1970-е годы (Г.И. Дербенев). Попробуем взглянуть на них в политическом контексте эпохи. Образ Германии в военных стихах Брюсова — частный, но важный аспект проблемы отражения Великой войны в русской поэзии. Драматизм его определялся тем, что главным противником России выступила страна, к которой Брюсов чувствовал культурную и интеллектуальную близость, которую он никогда ранее не воспринимал как врага.

«Великая война отличалась от предыдущих конфликтов прежде всего признанием силы общественного мнения, — утверждал главный пиарщик Америки Джордж Крил. — Это была борьба за сознание людей» [Creel, 1920, p. 3]. Особую роль в этом сыграла пропаганда, которую американский поэт и пропагандист Джордж Сильвестр Вирек определил как «кампанию, маскирующую свое происхождение и/или мотивы, проводимую с целью достижения конкретной цели путем манипулирования общественным мнением» [Viereck, 1930, p. 11].

Образ Германии в пропаганде Антанты определялся набором клише, общим для всех ее стран (анализ процесса его формирования лежит за пределами настоящей работы). Укажем основные клише, чтобы рассмотреть через их призму военные стихи Брюсова:

1. Отрицательное отношение ко всему немецкому (германофобия).
2. Мотивировка «германской агрессии» всей предшествующей историей Германии («от Канта к Круппу»).
3. Союз «свободных» держав против «деспотического кайзеризма».
4. Война не между группами стран, но между идеями; производное — концепция «последней войны» Добра против Зла.
5. «Немецкий шпионаж» и «немецкое засилье» в странах Антанты.
6. «Немецкие зверства», особенно в Бельгии и во Франции.
7. Сербия и Бельгия — маленькие отважные страны — жертвы агрессии.

В России к этому добавилась борьба «германства» против «славянства», причем имеющая «вековечный» характер.

[1] Стихотворения Брюсова цит. без ссылок по [Брюсов, 1973] с указанием дат (по старому стилю).

Начало войны вызвало вспышку германофобских настроений в России. В хоре проклятий тон задавали не только бульварные журналисты, но и такие поэты, как К.Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, С.М. Городецкий, Игорь Северянин (только из числа знакомых Брюсова). Молчание хранили немногие, включая З.Н. Гиппиус и А.А. Блока. Брюсов воспринял внутриевропейский конфликт трагически, поскольку в статье «Новая эпоха во всемирной истории» (1913) назвал потенциальными врагами европейской христианской цивилизации «панмонголизм и панисламизм» и призывал к объединению сил в борьбе «за лики гордые Шекспира, за рафаэлевых Мадонн» («Проснувшийся восток», 1910). Достижения германской культуры были для него неотъемлемой частью общеевропейского богатства, которое предстояло защищать от «проснувшегося Востока».

Первым откликом Брюсова на начало войны стали стихотворный цикл «Современность» (в измененном составе «Стоим мы, слепы…» в сборнике «Семь цветов радуги») и статья «Война вне Европы», появившиеся в одном и том же номере «Русской мысли» (1914, № 8/9). Одним из первых он распознал в начавшейся войне конфликт мирового масштаба. Сейчас для нас представляет интерес то, что Брюсов писал о Германии, как и то, что он о ней **не** писал.

Прежде всего отметим сдержанный тон его антигерманских инвектив (самое резкое выражение — «надменный германец»), не содержавших оскорблений в адрес противника. «Нет антигерманской темы ни в одном из брюсовских стихотворений первого месяца войны» [Дербенев, 1973, с. 177–178]. Неизвестны и пренебрежительные высказывания Брюсова о Германии, сделанные в частном порядке — в письмах или разговорах. Замечу, что в период Русско-японской войны его публичные высказывания о Японии и японцах были корректными, но в письмах он порой награждал их уничижительными эпитетами.

Брюсов видел в Германии конкретного военного и политического противника, а не «исконного врага». Он не предавал поношению ее историческое прошлое и культурные свершения, не призывал выбрасывать из музеев картины немецких художников и запрещать исполнение опер немецких композиторов. Здесь мы снова видим аналогию с его позицией времен Русско-японской войны, когда журнал «Весы», не избегавший шовинистических выпадов (правда, в основном в цитатах из других изданий), в разгар боев под Ляояном помещал статьи о японском искусстве и репродукции гравюр японских художников. В неподписанной, но, возможно, принадлежавшей перу Брюсова — или, по крайней мере, одобренной им — редакционной заметке прямо говорилось: «Мы хотим напомнить читателям о той Японии, которую все мы любим и ценим, о стране художников, а не солдат» [Весы, 1904, с. 39]. В «угаре» первых месяцев Великой войны о подобных публичных декларациях не могло быть и речи, но «публичное молчание» выглядело не менее красноречиво. Особенно в сочетании с такими предупреждениями, как в стихотворении «Старый вопрос» (30 июля):

Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнемся спокойно и тесно.

Условия самодержавной России не располагали к акцентированию внимания на союзе «свободных» стран (его двусмысленность стала одним из «козырей» германской пропаганды), но Брюсов отразил это в том же «Старом вопросе»:

Не с нами ль свободный француз?
Не с нами ль свободный британец?

О «свободной России», правда, ничего не сказано.

Привыкший мыслить геополитически, Брюсов не обольщался относительно «идейного» характера войны, хотя поначалу склонен был считать ее «последней войной», как в одноименном стихотворении, написанном 20 июля:

Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы.

В стихах Брюсова полностью отсутствуют «немецкое засилье», «немецкий шпионаж» и «немецкие зверства»; он также остался равнодушен к теме Сербии, а о «славянстве» вспоминал главным образом в полонофильских стихотворениях. В первые недели и месяцы войны печать «союзников» едва ли не ежедневно распространяла сообщения о повешенных «тевтонами» бельгийских священниках, изнасилованных и заживо сожженных девушках, распятых монахинях и детях с отрубленными руками. Умело организованная «пропаганда ненависти» (hate propaganda) и «пропаганда зверств» (atrocity propaganda) вызвала в обществе, в том числе русском, настоящую истерию, когда любое, тем более публично высказанное сомнение в достоверности подобных известий расценивалось как измена или, по крайней мере, пораженчество. Проверка этих «историй» стала возможна только после войны, когда выяснилась их беспочвенность. Своим авторитетом кампанию поддержал крупнейший бельгийский поэт, друг Брюсова Эмиль Верхарн. Ни обстановка в русском обществе, ни шумиха в прессе, ни авторитет Верхарна не заставили Брюсова включиться в кампанию, хотя, как отметил Г.И. Дербенев, «бельгийский народ для него — “народ Верхарна”, не народ короля Альберта, который был в это время самой популярной фигурой в странах Антанты» [Дербенев, 1973, с. 181–182].

Исключением можно назвать стихотворение «Тевтону» (сентябрь 1914) — отклик на непреднамеренное разрушение немецкой артиллерией знаменитого готического собора в Реймсе:

Ты переполнил чашу меры,
Тевтон — иль как назвать тебя?

«Союзная» пресса сделала из этого символ «тевтонского варварства», поэтому «реймский инцидент» стал «знаковым» событием для таких поэтов, как О.Э. Мандельштам («Реймс и Кёльн», сентябрь 1914) и М.А. Волошин («Реймская Богоматерь», 19 февраля 1915). Брюсов негодовал по поводу безвозвратной, как тогда казалось, утраты одной из жемчужин европейской культуры, но и здесь воздержался от шовинистических выпадов.

Некоторые тексты Брюсова времен войны читаются как диалог с Верхарном, причем не только с Верхарном-патриотом, проклинавшим «тевтонов» и клеймивший их «зверства», но с Верхарном-гуманистом, говорившим своему русскому другу в 1909 г.: «Война давно стала для европейцев анахронизмом. <…> Современному человеку столь же дико стрелять в других людей из пушек, как и заниматься людоедством» [Брюсов, 1994, с. 33]. Отзвук этих слов слышится в статье Брюсова, написанной 26 июля, накануне отъезда на фронт в качестве военного корреспондента: «Война, при известных условиях, — великое дело и последний довод в мировых спорах, в которых правый не всегда силен одной своей правотой, но война все же и горькое зло земли, тяжелое бедствие народов. Война все же ведет к одичанию и огрублению нравов, к забвению высших идеалов, к падению культурного уровня» [Брюсов, 1914, с. 2]. В стихотворении «Круги на воде» (2 декабря 1914) Брюсов писал:

От камня, брошенного в воду,
Далеко ширятся круги.
Народ передает народу
Проклятый лозунг: «мы — враги!»
(Курсив мой. — *В.М.*)

Тем же настроением проникнуто стихотворение «Западный фронт» (30 ноября 1914):

От Альп неподвижных до Па-де-Кале
Как будто дорога бежит по земле;
Протянута лентой бесцветной и плоской,
Прорезала Францию узкой полоской.
Все мертво на ней: ни двора, ни куста;
Местами два-три деревянных креста,
Местами — развалины прежних строений,
Да трупы, да трупы — тела без движений!

Стихотворение выдержано в ключе печальной констатации трагических фактов. Виноватых и правых здесь нет! — вот что автор исподволь пытается внушить читателю. В конце 1914 г. так думали — или, по крайней мере, дерзали высказываться — немногие.

Брюсов откликнулся благожелательной рецензией на «Окровавленную Бельгию» Верхарна. Здесь мы видим самые резкие для его текстов выпады против Германии: «Она всегда была страной безжалостных маркграфов и кровавых ландскнехтов. Тысячелетия она бросала свои орды на Европу. В этом ее роковое и страшное предназначение» [Брюсов, 1915, с. 5]. По просьбе Верхарна он перевел несколько стихотворений из его новой книги «Алые крылья войны» (1915), но отдал в печать только те, в которых воспевался героизм бельгийцев («Герои Льежа», позже «Генерал Леман»), оставив в архиве инвективу «Германия, истребительница народов».

Антигерманские выпады отсутствуют в стихотворениях Брюсова, навеянных личными впечатлениями от пребывания на фронте в Польше и Галиции, хотя в корреспонденциях оттуда он порой повторял пропагандистские утверждения о том, что немцы идут в атаку пьяными или что в силу нехватки призывных возрастов они мобилизуют в армию юношей и пожилых. Весной 1915 г. в его взглядах на войну произошел перелом. Более чем полгода работы на фронте закончились разочарованием в правительстве и командовании, в союзниках, а под конец и в самой войне. Мечты об очистительной грозе и освобождении «порабощенных народов» растаяли под влиянием тягостного зрелища позиционной войны.

По воспоминаниям И.М. Брюсовой, поэт «в мае 1915 г. окончательно возвратился <в Москву — *В.М.*> глубоко разочарованный войной, не имея уже ни малейшего желания видеть поле сражения» [Брюсова, 1933, с. 139]. «Затяжной характер войны, распутинщина, измены, неудачи русского оружия, растущее народное недовольство постепенно открывали Брюсову глаза. Трезвейший из русских буржуазных поэтов пытался заново ориентироваться в действительности» [Поступальский, 1933, с. 74]. Он все больше внимания уделял литературной работе, включая перевод «Фауста». Примерно тогда же Брюсов написал следующее — оставшееся «в столе» и, возможно, неоконченное стихотворение:

Во дни великого страдания,
Когда любой рассвет — кровав,
Тебе я приношу, Германия,

Венец непобежденных слав.
Да сковывает немота уста
Тех, кто забудет в этот день
Творца, изваявшего Фауста,
Елены вызвавшего тень!
Союз народов! Bone coete!
Гласи: «да торжествует Гете!»

Публикатор этого стихотворения И.С. Поступальский отметил: «Эти гуманистические стихи прибавляют, конечно, к Брюсову периода войны интереснейший штрих» [Поступальский, 1933, с. 74–75]. Эти строки можно назвать не только квинтэссенцией отношения Брюсова к Германии, но декларацией его давней позиции, отделявшей «текущий момент» от «вечных ценностей».

После возвращения с фронта Брюсов эпизодически писал стихи о войне, в которых присутствуют антигерманские мотивы. Он резко осудил военное применение авиации, прежде всего против мирного населения, чему был свидетелем в Варшаве («Аэропланы над Варшавой», 24 декабря 1914). В стихотворении 1915 г. «К стальным птицам», не вошедшем в прижизненные сборники, он вспомнил, что «первые полеты славил» и что,

Казалось: уничтожив грани
Земель, народов, государств, –
Жить дружественностью начинаний
Мы будем — вне вражды и брани,
Без прежних распрей и коварств…

Фактически это пересказ слов Верхарна: «Я рад, что дожил до завоевания воздуха. Человек должен властвовать над стихиями, над водой, огнем, воздухом. <…> Аэропланы совершенно изменят отношения к границам между государствами, усилят чувство солидарности в европейских народах, которые почувствуют себя «единой нацией», а это приведет к прекращению войн» [Брюсов, 1994, с. 32–33]. Однако

Опасней молний, хуже бури,
Те, что возносят в небо смерть!
Не в честный бой под облаками
Они, спеша, стремят полет,
Но в полночь, тайными врагами,
Над женщинами, стариками,
Свергают свой огонь с высот!

Конечно, злодеем выступает «рой германских «голубей»», т.е. военных самолетов марки «таубе» (*нем.*: голубь). Но если для М.А. Волошина («Цеппелины над Парижем», 18 апреля 1915) главным является осуждение Германии, а война в воздухе — только повод для этого, то Брюсов обличает именно войну в воздухе.

То же можно сказать о стихотворении 1916 г. «Рыбье празднество» из сборника «Девятая камена». Написанное после объявления Германией в 1915 г. начала «беспощадной подводной войны», оно осуждает ее не как очередное «немецкое зверство», но именно как варварскую форму военных действий. Горько-иронической инвективой звучат слова «Славься между рыбами, царь торпед — Вильгельм!», но и здесь мы не найдем ни шовинистических выпадов, ни грубых обобщений. Сам автор очень сдержанно оценил стихотворение: «Столь не в моем

духе, что я и судить не берусь, терпимо ли это» [Брюсов, 1973, Т. 2, с. 445], — отправляя его в «Биржевые ведомости», где оно сразу же было напечатано.

Брюсов любил Германию, возможно, больше, чем кто-либо из его знаменитых русских современников. Любил как историческую, так и современную Германию, страну великих достижений культуры прошлого и родину своих друзей, но более всего — один из столпов той многовековой общеевропейской культуры, человеком которой ощущал себя. Брюсова трудно назвать космополитом, потому что он был одарен острым чувством «своего» и «чужого», ставя судьбу и интересы России превыше всего — об этом свидетельствует его позиция в период Первой мировой войны. Но чувство «своего» и «чужого» определило его паневропеизм, в котором все духовное и культурное наследие европейской цивилизации — как дохристианской, так и христианской — безусловно принималось за «свое». Интернационализм естественно сочетался у Брюсова с патриотизмом, с чувством Родины.

Мне Гете — близкий, друг — Вергилий,
Верхарну я дарю любовь…
(«Я — междумирок, равен первым…», 1911–1918)

К неоконченному стихотворению, из которого взято это признание, автор возвращался на протяжении многих лет, включая годы войны, потребовавшей ответов на вызовы времени. Брюсов не поддался искушению «черно-белой» картины мира, которая овладела умами и обывателей, и интеллектуалов. Для этого потребовались не только мудрость и прозорливость, но и незаурядное гражданское мужество.

Список литературы

Брюсов, 1914 — Брюсов В. [О пожертвовании] // Известия литературно-художественного кружка, Вып. 7 (сентябрь 1914).

Брюсов, 1915 — Брюсов В. Окровавленная Бельгия // Рус. ведомости. 1915. № 154 (5 июля).

Брюсов, 1973 — Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2.

Брюсов, 1994 — Брюсов В. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994.

Брюсова, 1933 — Брюсова И.М. Материалы к биографии Валерия Брюсова // Брюсов В. Избр. стихи. М.; Л., 1933.

Весы, 1904 — Весы. 1904. № 10.

Дербенев, 1973 — Дербенев Г.И. Валерий Брюсов в начале Первой мировой войны // Брюсовские чтения 1971 г. Ереван, 1973.

Поступальский, 1933 — Поступальский И. Поэзия Валерия Брюсова // Брюсов В. Избр. стихи. М.; Л., 1933.

Creel, 1920 — Creel G. How We Advertised America. N.Y.; London, 1920.

Viereck, 1930 — Viereck G.S. Spreading Germs of Hate. N.Y., 1930.

Ю.Б. Орлицкий

Запоздалые «Цветы под огнем»: книга военных рассказов Михаила Герасимова (1915)

У этой книги интересная и во многом парадоксальная судьба: собранные под ее обложкой четырнадцать «рассказов 1915 года» увидели свет только в 1919 г. и через четыре года были переизданы еще раз, с дополнением одного рассказа. Тринадцать рассказов повествуют о буднях войны, о жизни тыла, о детях войны (они и есть «цветы под огнем»; новеллой с этим заглавием начинается сборник). Рассказы были написаны пролетарским поэтом Михаилом Герасимовым во Франции, куда автор эмигрировал после участия в событиях 1905–1907 гг. и где воевал в Первую мировую войну в составе иностранного легиона, пока не был выслан из страны за большевистскую антивоенную пропаганду.

Первые послереволюционные годы были не самым удачным временем для издания художественной прозы об «империалистической» войне, тем более написанной на территории одной из «стран Антанты», да еще и с нескрываемой симпатией к этой стране и ее людям. Вероятно, по этой причине книга получила крайне скромную критику: всего три небольших газетно-журнальных рецензии — правда, подписанных достаточно известными авторами: П. Лебедевым-Полянским, М. Артамоновым и Т. Чурилиным[1].

Кроме тринадцати собственно военных «рассказов 1915 года» (такой подзаголовок автор дал всей книге), в «Цветы под огнем» вошли еще два. Самый ранний рассказ, «Хризантемы», повествует о предвоенной жизни парижских низов и датирован 1913 г., он был опубликован в журнале «Просвещение» в 1914 г. Завершает книгу лирическая новелла «Осенняя дрожь», в которой красота природы («Огненная симфония осени звенела и дрожала всюду: в звездных ресницах, во вздохах леса, в опавшей листве, в сердце человека и зверя»[2] противопоставляется прозе солдатской жизни в русской провинции в военное время.

Кроме этой книги, признанный лидер пролетарской поэзии Михаил Герасимов[3] напечатал еще несколько прозаических произведений: рассказ «Марсель» — снова на французском материале: о девушке-агитаторе и ее любви с матросом (1920), воспоминания о встречах с Лениным, с которым они вместе жили в Гельсингфорсе по пути в эмиграцию (1924), и опубликованные в 1925 г. три варианта большого текста: рассказ «Две» в «Работнице», повесть «Пчелка» в «Новом мире» и самый полный вариант — повесть «Девушки из совхоза» в совместной с Владимиром Кирилловым книге «Праздник жизни»[4]. Значительный интерес представляет также «Автобиографическое письмо» Герасимова, написанное специально для «Книги для чтения по истории новой русской литературы» (1926) В. Львова-Рогачевского[5] и содержащее, несмотря на небольшой объем, несколько выразительных лирических отступлений.

Вообще, особый лиризм творчества Герасимова отмечали многие авторы (например, самарский поэт и критик Яков Тисленко писал: «Герасимов — талант лирический, сильно и

глубоко чувствующий тонкости красот жизни во всех ее проявлениях»[6]. В упомянутой уже статье Ходасевича говорится — правда, в применении к стиху Герасимова — о значении для его творчества наследия символистов, в том числе ритма четырехстопного ямба, идущего от А. Белого, и словесной инструментовки, восходящей к Бальмонту[7]. Нетрудно заметить, что эти элементы стиховой техники Герасимов, как и его непосредственные предшественники-учителя, переносит и в свою прозу.

Прежде всего это относится к многочисленным стихотворным цитатам, которые встречаются в семи из тринадцати рассказов о войне. По сути дела, это целые стихотворения, достаточно объемные, в которых задается лирический настрой всего произведения. Причем только в одном случае — в рассказе «Кошка» — введение стихотворного фрагмента мотивируется посторонним авторством: «В своей землянке я читал чужие письма. Это была обычная, интимная переписка, где каждое слово дышало любовью. В одном мне попался странный стишок, который я перевел по-русски»[8]; в остальных переход от прозы к стиху и наоборот осуществляется в авторской речи, без какой-либо дополнительной мотивировки.

При этом в трех рассказах — «Птица в клетке», «Угли» (в первом издании — «Уголья»)» и «Тулуза» — повествование начинается стихотворным фрагментом:

ТУЛУЗА

Душистый ветер от Биская
ласкает нежно тополя.
Тулуза, ты главу вздымая,
стоишь, как кормчий у руля.
Глядишь с печальною отрадой
на милой Франции поля,
где зреют гроздья винограда,
струится запах миндаля.
Вдали — корабли Пиренеи
взнесли ледяные паруса,
под южным солнцем пламенеет
их золотая полоса.
Гаронна, светлая Гаронна,
как сладок мне твой тихий зов,
твой лепет мне милее звона
старинных колоколов.
Дремотно льется в тихом поле
бубенчиков далекий звон,
и лишь старинный Капитолий
в седые думы погружен.

Я люблю тебя, Тулуза, горячая испанка у подножия Пиренеев, с главами, осеребренными вечными льдами, где только клекот орлов нарушает молчание гор. На набережных Гаронны как емко вдыхает грудь влажный запах тающих снегов, похожий на запах спелого арбуза, его несут в Гаронну тысячи извилистых ручьев, они рождаются высоко в ледниках[9].

В рассказе «Руан» стихотворением начинается вторая глава; соответственно стихи идут сразу за римской цифрой. При этом в рассказе «Птица в клетке» после стихотворений по-

мещена горизонтальная черта, отделяющая стих от прозы — так же, как в других рассказах прозаические главки одна от другой. Рассказ «Тосканская царевна», напротив, завершается стихотворным фрагментом, плавно возникающим из прозы (роль переходного ритмического звена выполняет короткая прозаическая строфа «А битва все кипит вокруг...», написанная четырехстопным ямбом, за которой идут строки хорея):

Светлый маяк в разбушевавшемся океане смерти.

Мы переметнулись через черную щель одного окопа, докатились уже до второй линии, как наш путеводный маяк внезапно потух, покачнувшись упал, провалился в черную бездну ночи..

А битва все кипит вокруг...

Клекот суровый — трещат пулеметы,
Свищет горячий свинец.
Бросили в небо пурпурный венец
Ракет озаряющих взлеты —
Взвились и в небе угрюмом застыли,
Будто созвездья новые всплыли.
Снаряды над полем следы провели –
Огнистые нити с валов на валы.
Несутся солдаты, как дикие тени
И мечутся странно среди заграждений.
Вскипают разрывы шрапнелей,
В пространствах небесных огни расцвели
И сотней осколков о смерти запели
В окопных морщинах земли[10].

В остальных стихотворные фрагменты помещаются внутри прозаического повествования. При этом в рассказе «Руан» — два стихотворения, в «Лагере Майи» — три. Таким образом, книга в целом оказывается насыщена стихотворными текстами.

Собственно стихи, в свою очередь, перекликаются с выразительными стихоподобными метрическими — т. е. организованными по силлаботоническому признаку — фрагментами, что непосредственно сближает прозу Герасимова с произведениями Андрея Белого[11]. Однако в отличие от него Герасимов чаще всего метризует не весь текст, а только его фрагменты, чаще всего начальные, в которых метризация особенно заметна. Вот начальные фразы из рассказа «Цветы под огнем»:

Вот целая семья цветов (Я4)[12]
Когда над ними с ревом пролетает / ядро, (Я5+1)
Мне больно видеть детские фигурки (Я5)
А та прижимала к дрожащим губам…(Амф4)
В решетчатом квадрате маленького / окна мелькали торопливые (Я4+4)

См. ямбические зачины двух прозаических и одного стихотворного зачинов трех строф лирического финала рассказа «Тулуза» (метрические фрагменты в прозе здесь и далее выделяются курсивом):

Прощай Беатриче! Твой образ останется у меня навсегда, в светлом зеркале канала, в окаймлении мерцающих звезд, и сгорбленные мостики, такие четкие, высеченные из черного мрамора, и ты, Тулуза, горячая испанка у подножия ледников. Дыхание древности и чего-то пряного, тропического исходит от тебя, от знойного неба, от полей, пахнущих миндалем.

Прощай, Капитолий, старинный дворец с колоннами из розового мрамора, в котором, по преданию, жил сам Юлий Цезарь,— так шептал я, двигаясь к вокзалу в стройный рядах легиона, над которым неслась крылатая песнь:

— *К оружию, граждане!..*[13].

Ср. в лирическом отступлении из «тылового» самарского рассказа «Осенняя дрожь»:

Благодарю тебя за хризантемы / и гроздья винограда, / они искрятся тысячами глаз (Я5+3+5)

Я благодарен за равнины, / покрытые крестами…(Я4+3)

Как уже отмечалось, метрические фрагменты в прозаической части повествования могут соседствовать со стихотворными фрагментами и подхватывать их метр — чаще всего это ямб:

Мелькнула дача, чей-то локон
В окне, а в небе журавли,
Земля несется мимо окон,
И тает в голубой пыли.
А я, усталый, покоренный
Журчаньем вихревым колес,
Дорогой мчался проторенной
Весь в клубах дымчатых волос...

Бегут Нормандские поля, виллы и хутора, утопающие в садах, где приготовляют яблочный сидр для всей Франции[14].

Кроме метризации стиховое начало в прозе Герасимова проявляется также в строфизации, т. е. в частом использовании в ней небольших абзацев (строф), обычно состоящих из одного предложения. Такие короткие строфы чаще всего образуют группы, организующие фрагменты прозаического текста, чаще всего — лирические по настроению и нередко метризованные:

Немного спустя ураган затихает, все прекращается.

Тишина.

Даже слишком тихо. Подчеркнутое безмолвие.

Блистает осенняя паутина, стальные преграды и цветы, а может быть это искры крови и шампанского, разлитых по земле?

Кто знает, что это такое блистает тут и там[15].

Нередко именно в коротких строфах появляется силлаботонический метр. Очень выразительный пример — миниатюрная финальная главка рассказа «Гроздья винограда», написанная ямбом:

IV.
Я плакал и стонал, хотя и не был ранен...[16]

Следует отметить также выразительную звукопись (идущую, как утверждал Ходасевич, в первую очередь от Бальмонта) — она встречается не только в стихах, но и в прозе Герасимова:

Светились виллы как глыбы белого мрамора… (повтор «л»):

Шелест шелка и листвы… («л» и «ш»);

Прощай, Париж! Последний раз я прохожу... («п» и «р»).

Необходимо заметить, что все названные приемы используются поэтом и в других, более поздних прозаических произведениях. Так, его «Автобиографическое письмо» тоже пред-

ставляет собой прозиметрическую композицию: здесь мы находим и лиризм повествования, в том числе и в рассуждениях о «непоэтических» материях («поступил на доменные печи, разгружал руду марганцевую и магнитного железняка, красные куски, похожие на мясо… Гидравлические прессы сдавливали глыбы железа, как воск, резали раскаленные балки, как масло»)[17], и цитаты из своих стихотворений, и метризацию.

Интересно, как встраивает Герасимов в «Автобиографическое письмо» цитаты из своих стихотворений: так, появлению записанного в прозаической графике отрывка из стихотворения 1913 г. предшествует появление ямба в авторском тексте, причем достаточно плавное: сначала это аналог одной строки, потом — цепочка условных строк, без предупреждения переходящая в цитату, заключенную в кавычки: «*я с тихой дрожью приникал* к рельсу ухом, ловил ответную дрожь металла: *она шептала о чудесных странах / и городах. Любил я степь вокруг, / простреленную рельсами. / Курганы ласково кивали мне губами / серебряного ковыля. / "Я на заволжские курганы / люблю взлетать в закатный час, / пока белесые туманы / еще не спеленали глаз"*»[18]. Чуть дальше Герасимов так же, без специальной оговорки, продолжает прозаический рассказ двумя четверостишиями из своего стихотворения, написанного под впечатлением от увиденного: «Работал шахтером около Монса также на рельсопрокатном и котельном заводе, где видел сгоревшего рабочего... "В листах багрового железа читая зов в межзвездный путь, плеснул из знойного разреза чугун разжиженный, как ртуть. Внезапный крик. Один распятый лежал на золотом листе, землистым пламенем объятый, горел на огненном кресте"»[19].

Аналогичным образом обнаруживается присутствие стиха и в «Пчелке». Так, здесь приводится стихотворный текст кровожадной песенки комсомольцев, обращенной к французскому премьеру Пуанкаре, едущему на восток России:

Скорей, скорей, Пуанкаре,
Лети, буржуй бездарный.
Мы вздернем тут на фонаре
На станции «Полярной»![20]

Встречается в повести также метризация и строфизация. Метр появляется чаще всего в лирических пейзажах и описаниях переживаний героев: «Вечер синий и прохладжный» (Х4); «Ночь быстро запахнула дали» (Я4); «Высокое небо прозрачно и тихо» (Амф4); «Мне сразу становится грустно и зябко» (Амф4), «Ячейка меда запечатана звездой» (Я6). В описаниях наиболее частотны и короткие соизмеримые строфы-строки.

Таким образом, можно говорить о немногочисленной прозе Герасимова как о несомненной «прозе поэта», имеющей все отличительные признаки этого явления: особый лиризм текста в целом и «лирических отступлений» в особенности, активное включение в него стихотворных фрагментов, причем в случае Герасимова — целых стихотворений; метризацию и строфизацию отдельных участков прозы, причем как собственно художественной, так и мемуарной.

Таким образом, можно констатировать, что проза Михаила Герасимова, основное место в которой занимает сборник военных рассказов «Цветы под огнем», с точки зрения ритмической организации оказывается в русле символистской и постсимволистской эстетизированной прозы.

[1] См.: Русские советские писатели. Поэты: Биобиблиографический указатель. Т. 5: С. Васильев — М. Герасимов. М., 1982. С. 415, 417.

[2] *Герасимов М.* Цветы под огнем: Рассказы. 2-е изд. М.: Кузница, 1923. С. 109.

[3] Кроме официального советского «критического» славословия, можно вспомнить небольшую заметку о поэте Ходасевича: *Ходасевич В.* Стихотворная техника М. Герасимова // Горн. 1918. № 2–3. С. 56–57.

[4] См.: *Герасимов М.* Пчелка: (Повесть) // Новый мир. 1925. № 5. С. 37–64; Две: Рассказ // Работница. 1925. № 9. С. 17–19, Девушка из совхоза // Кириллов В., Герасимов М. Праздник жизни. М.; Л., 1925. С. 51–111; Встреча в Гельсингфорсе // Живой Ленин: Воспоминания писателей о В.И. Ленине. М., 1965. С. 56–57.

[5] *Львов-Рогачевский В.* Книга для чтения по истории новой русской литературы. Ч. 1: Рабоче-крестьянское творчество за 30 лет. Л., 1926. С. 123–125.

[6] *Тисленко Я.* О пролетарской поэзии // Красная Армия (Самара). 1919. С. 29.

[7] *Ходасевич В.* Указ. соч. С. 56. См. также характерное замечание В. Львова-Рогачевского: «Новокрестьянские поэты идут от безыскусственной народной поэзии, а также и от поэтов А. Кольцова, А. Блока, А. Белого, пролетарские поэты идут от принципов научного социализма и от поэзии Верхарна, Уитмэна, В. Маяковского. Новокрестьянские поэты говорят языком народа и цветущей земли, пролетарские — языком книг (*Львов-Рогачевский.* Пролетарские писатели // Лит. энциклопедия: Словарь лит. терминов: В 2 т. М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. Т. 2. Стб. 661.

[8] *Герасимов М.* Цветы под огнем. С. 87.

[9] Там же. С. 80.

[10] Там же. С. 58–59.

[11] Подробнее см.: *Орлицкий Ю.* Андрей Белый // Орлицкий Ю. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М.: РГГУ, 2008. С. 293–312.

[12] Здесь и далее в статье используются общепринятые стиховедческие обозначения силлаботонических размеров и их аналогов в прозе: Я — ямб, Х — хорей, Дак — дактиль, Амф — амфибрахий, Ан — анапест; цифра после названия метра обозначает размер: например, Х4 — четырехстопный хорей (или, в прозе, четыре стопы хорея подряд). Значком «/» при записи в прозаической форме отделяются друг от друга стихотворные строки (в прозе — условные строки).

[13] *Герасимов М.* Цветы под огнем. С 83.

[14] Там же. С. 48.

[15] Там же. С. 18

[16] Там же. С. 20.

[17] *Львов-Рогачевский В.* Книга для чтения… С. 124.

[18] Там же.

[19] Там же. С. 125.

[20] *Герасимов М.* Пчелка... С. 38.

В.Н. Терехина

Военный лубок Маяковского и Малевича

Серия литографированных плакатов и открыток, сделанная группой авангардных художников с текстами Владимира Маяковского в сентябре–ноябре 1914 г. в издательстве «Сегодняшний лубок», вошла в историю русского искусства, стала объектом коллекционирования, о ней высказываются историки литературы [Хеллман, с. 301–314; Ковтун; Иванов, с. 115–127; Михаленко]. Но, безусловно, требуется комплексный анализ этого уникального во всех отношениях материала как отражения социально-культурной ситуации Первой мировой войны, так и с точки зрения его органичности в авангардном дискурсе. Основы такого подхода заложил Н.И. Харджиев, рассматривавший творчество Маяковского в контексте отечественного и мирового художественного развития 1900–1920-х годов. Он подчеркивал внутреннюю взаимосвязь вербального и визуального в мировосприятии Маяковского на фоне общего синтеза искусств: «Едва ли в истории искусства можно найти моменты, когда поэзия и живопись настолько тесно соприкасались между собой, как это было в период возникновения так называемого кубофутуризма в России» [Харджиев, с. 338]. При этом русский авангард в своем становлении в значительной мере ориентировался на архаическое искусство, на примитивистские формы творчества. С «парохода современности» были брошены устаревшие академические нормы и, напротив, были провозглашены «простая красота дуг, вывесок, древняя русская иконопись безвестных художников, равная и Леонардо и Рафаэлю» [Маяковский, т. 1, с. 320]. В этом ряду еще до начала Первой мировой войны заняла важное место литографированная народная картинка — лубок. Его образцы выставлялись вместе или одновременно с экспозициями новейшего искусства, но воспринимались не в историческом или этнографическом аспекте. В исключительном внимании к ним отражался совершенно особый взгляд на русский лубок авангардных художников, которые стремились включить его в сферу своего профессионального творчества. Для Михаила Ларионова народная картинка стала одной из основ его неопримитивизма. Казимир Малевич использовал схожие приемы изображения фигуры и фона в раннем «крестьянском цикле». Маяковский в юности познакомился с выдающимся сводом «народных картинок» Д. Ровинского.

«Первая выставка лубков», организованная Д.Н. Виноградовым из собраний М.Ф. Ларионова, И.С. Ефимова, Н.С. Гончаровой, Н.Ф. Роговина, состоялась 19–24 февраля 1913 г. в здании Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В экспозиции были представлены русские, японские, китайские, французские, английские лубки и, кроме того, «новые русские лубки» Н.С. Гончаровой. Затем прошла Выставка иконописных подлинников и лубков, организованная М.Ф. Ларионовым и проведенная одновременно с выставкой «Мишень» в Художественном салоне на Большой Дмитровке 24 марта — 7 апреля 1913 г. Возрождение интереса к лубкам, преодоление пренебрежительного отношения к народной картинке, к

проблеме культурного просвещения народа через создание профессиональных «народных картинок» стало главным результатом первых выставок лубка. Начавшаяся война обострила внимание к этому виду творчества как традиционному, испытанному не раз средству воздействия на солдатские, в значительной мере крестьянские, массы в духе патриотизма. Критики заговорили о «лубочном половодье»: «…лубок патентованный, разлившийся в стороне от большой литературы в целое море-окиян и хлестнувший в фабричные пригороды и подгородные деревни огромной волной “новых военных песенников”, сатир, стихов, рассказов, картин и пр., и пр.<…> По ее первому появлению в мужицких избах можно судить, что роль лубка в настоящие исторические дни является столь же ответственной, как и роль газетной печати» [Жулев, с. 54].

Работы издательства «Сегодняшний лубок» выделялись из «лубочного половодья» как наиболее самостоятельные в лубочном мире. В их создании участвовали художники Д. Бурлюк, М. Ларионов, А. Лентулов, К. Малевич, И. Машков, В. Маяковский, В. Чекрыгин. Тексты плакатов и открыток принадлежали Маяковскому. Из общего числа свыше 20 лубков и 30 открыток большая часть сделана Малевичем и Маяковским. Именно они определили характер рисунков и текстов. В статье критика Г. Магулы говорилось: «Самая забавная серия — издательства «Сегодняшний лубок» и, пожалуй, из всех лубков — самая талантливая по выдумке и смело декоративная в красках, принадлежит кисти московских футуристов. Преувеличения в духе народных сказок и куриозная примитивность рисунка веселят, а подписи совсем хороши» [Магула].

Малевич и Маяковский были внутренне готовы к сотрудничеству. Они вместе участвовали на выставке «Союза молодежи» в декабре 1912 г. в Петербурге, на диспуте «Бубнового валета» 25 февраля 1913 г. В альманахе «Пощечина общественному вкусу» на чистой странице Маяковский зарисовал участников диспута — М. Волошина, Д. Бурлюка и К. Малевича. Не только Д. Бурлюк, о чем написано немало, но и деятельный Казимир Малевич привлекал Маяковского к своим начинаниям. Он одобрительно следил за шагами Маяковского — по выступлениям против «сезаннизма» художников «Бубнового валета», по первым стихам «Утро», «Из улицы в улицу» («Разговариваю с солнцем у Сухаревой башни…»). Переехав на дачу в Кунцево, он сообщал 25 мая 1913 г. М.В. Матюшину: «Тоже Маяковский где-то тут живет» [Малевич, т. 1, с. 52]. Малевич видел в работе Маяковского со словом пример «стихотворного кубизма». В письме Алексею Кручёных 5 июля 1916 г. он в своих рассуждениях опирался на стихи Маяковского «Из улицы в улицу» и «Исчерпывающая картинка весны»: «Поэты-футуристы разрубили его (слово. — *В. Т.*) на несколько кусков, но не как-нибудь по букве, а разделили их связь между собою и получилось: у-ли ца ли ца у / лис-точки» [Малевич. т. 1, с. 91]. Нельзя не отметить, что интерес к этим стихотворениям Маяковского совпадал с движением художника в сторону алогизма и беспредметности: «Мы дошли до отвержения смысла и логики старого разума, но надо стараться познавать смысл и логику нового уже появившегося разума, “заумного” <…>. Кручёных знает, в чем дело, немного повторяется, но ничего, Маяковский тоже» [Малевич, т. 1, с. 53].

Как предполагают комментаторы писем Малевича, именно он был инициатором театрального проекта: «Кроме живописи я еще думаю о Театре футуристическом, об этом писал Крученыху…» [Малевич, т. 1, с. 52]. Вернувшись из Финляндии, Малевич пишет Матюшину, уже переговорив с Маяковским: «Я все раздумываю над нашим “Будетлянином”. У Маяковского выходит такая драма, что восторгу не будет конца, для нас блестяще он все

разрешает <…>. Я и Маяковский вносим предложение Вам, надеюсь, что и Круч<ёных> тоже, и Вы присоединитесь к нам. Именно, мы поручаем Вам снести письменное заявление от имени всего нашего Т<оварищест>ва в Союз молодежи о поддержке нас на первый спектакль» [Малевич, т. 1, с. 54]. Судя по письму, юный Маяковский (на 15 лет младше Малевича!) воспринимался как единомышленник, даже более близкий в этот момент, чем Кручёных, в понимании и претворении замысла футуртеатра. Статьи Маяковского о театре и кинематографе, о живописи несут отпечаток постоянного общения с Малевичем в течение 1913 г.

Подчеркнем, что при работе в издательстве «Сегодняшний лубок» Маяковский также испытал влияние старшего художника. Судя по хронике запечатленных событий, он не сразу начал рисовать лубки, ограничиваясь написанием текстов. В подписях он использовал многие приемы футуристической поэтики, например сдвиги, переносы, передние и составные рифмы:

Ну и треск же, ну и гром же
Был от немцев подле Ломжи! [Маяковский, т. 1, с. 358]

Пользовались популярностью экзотические рифмы, основанные на подборе созвучия к иностранным словам и названиям.

Эх ты немец, при да при же,
Не допрешь, чтоб сесть в Париже. [Маяковский, т. 1, с. 358]

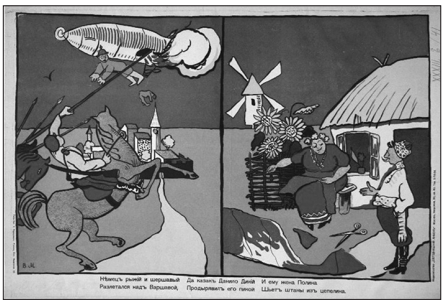
Интересно отметить, что сочетание просторечия с экзотизмами само по себе было бы известной «смесью французского с нижегородским», если бы не использование его как приема. Это каламбур, стилизация народной речи, стремление обновить литературный язык, лишить его стерильности. П. Жулев отмечал: «Подписи, конечно, читаются легко, но увы! — в их авторе нельзя не угадать парнасского Деда-Травоеда» [Жулев, с. 64].

Оговорка критика характерна — «парнасский», т.е. из области высокого мастерства. Недаром и всю серию П. Жулев называет «лубочно-художественным Олимпом». В двустишии

Да сломали чресла у
«Гебена» и «Бреслау»

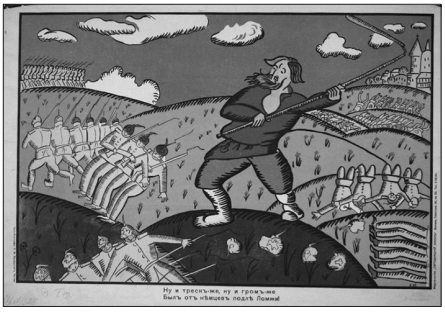
эффект создает сочетание разговорно-просторечного «Да» вместо нормативного «И» с возвышенно-устаревшим словом «чресла» и с экзотическими для русского уха названиями немецких крейсеров. Составная полная рифма *чресла у / «Бреслау»* завершает этот парад виртуозных приемов, рассчитанных, несомненно, не на окопного читателя, а на посетителя выставок («…до простого народа мало дела», лубки предназначены «для гастрономов» [Жулев, с. 64]). Выставок было немало, в основном благотворительные. Так, с 20 ноября по 4 декабря 1914 г. в Петрограде проходила выставка «Война и печать», где была собрана печатная продукция первых месяцев войны и отмечена серия «Сегодняшнего лубка». Лубки получили высокую профессиональную оценку на открывшейся в Москве 7 января 1915 г. выставке.

Примерно в сентябре Маяковский делает не только текст, но и рисунки к листу № 14 из двух сюжетов: героического (казак на коне пикой пронзает цеппелин) и комического (казачка «шьет штаны из цеппелина»). Здесь впервые в практике Маяковского возникло сцепление стихотворного текста, довольно подробной «милитарной карикатуры» и лубочного изображения, нашедшее развитие в мае 1917 г. в лубках издательства «Парус», а затем в плакатах «Окна РОСТА». Напротив, Малевич с первых выпущенных листов обнаруживает индивидуальные приемы композиции и раскраски лубков. В центре листа крупно изобра-



«Немец рыжий и шершавый…»
Текст и рисунки В. Маяковского

Плакат изд-ва И.Д. Сытина.
1914



«Ну и треск же, ну и гром же…»
Текст В. Маяковского, рисунок К. Малевича

жалась фигура, ее доминирующее положение подчеркивалось красным цветом, как сарафан в лубке № 3 «Шел австриец в Радзивилы,/Да попал на бабьи вилы», рубаха в листе «Ну и треск же, ну и гром же...». Даже сатирически показанный враг окрашен красным: «Глядь, поглядь, уж близко Висла…»

Нарисованный Маяковским вслед за этими лубками Малевича лист № 20 «Плыли этим месяцем…» стилистически близок к подписным работам Малевича: изображение укрупнено, лишено мелких деталей, графический контур объединяет, «прошивает» большие цветовые плоскости. Похожими чертами характеризуется и предыдущий (подписанный) лист Маяковского — «Эх, султан, сидел бы в Порте…» Эти же особенности почерка Малевича и Маяковского в отличие от лубков других авторов отмечены П. Жулевым: «Фигуры у них рисуются толстыми черными линиями, всякие подробности исключены, краски подбираются на некоторых рисунках весьма искусно, и весь рисунок бывает иногда не лишен замысла. Ими изображен, например, мужик, в лаптях, без шапки, с расстегнутым воротом, разбрасывающий цепом стройные ряды немецких солдат (подпись: “Ну, и треск же, ну, и гром же…”») [Жулев, с. 64].

Заслуживает специального внимания развитие художественных приемов, характерных для военных лубков Маяковского и Малевича, в их последующем творчестве. В связи с этим следует уточнить смысл неоднократно цитируемого высказывания Малевича о «народных» лубках. Впервые фрагмент был опубликован Е. Ковтуном и отнесен к серии «Сегодняшнего лубка» [Ковтун, с. 83; Михаленко, с. 72]. Однако, опираясь на доступный теперь полный текст писем Малевича М.В. Матюшину, можно с уверенностью говорить о другом замысле художника, возникшем из опыта работы над лубками. После ее завершения, 12 декабря 1914 г. Малевич писал Матюшину, что «обдумал лубки чисто народные, и если они будут в слове грубоваты, то пусть <издатель Н. Бут-

ковская — *В.Т.*> не боится, потому что это и есть народное, у них эстетизм другой. 1) «Соловей разбойник или чертова пташка», 2) Как черт Вильгельму помогает воевать, или как Вильгельм заканчивает путь. Последний, если удастся выразить, то это будет шедевр всех лубков, и др.» [Малевич, т. 1, с. 64].

«Эх, султан, сидел бы в Порте…»
Текст и рисунок В. Маяковского

Малевич, вероятно, склонялся к авторскому сюжетному лубку в традициях известного образца «Как мыши кота хоронили». Известны примеры использования этого лубка как модели, например, в листе «Как народы турка хоронили» (художник М. Щеглов, автор текста Р. Меч). Малевич был настроен сам писать стихи или другого рода тексты к своим картинкам в чисто народном, грубоватом духе, т.е. вернуться к фольклорной основе. Ему стало важно быть независимым от текста Маяковского, текста игрового, сочиненного по поводу военного события, но ради демонстрации футуристической работы со словом как таковым. Именно поэтому к его текстам неприменимы идеологические и этические нормы или оправдания [Иванов, с. 122]. Художник ссылался на собственный опыт «Сегодняшнего лубка», отмеченный в журнале «Лукоморье»: три репродукции без указания фамилии («мои лубки в красках и их очень хвалят, находят талантливыми»).

«Подошел колбасник к Лодзи…»
Текст В. Маяковского, рисунок К. Малевича

Но в конце 1914 г. практически все участники этой работы перешли от футуристической «забавности», оправданной в первые 2–3 месяца войны, к иному осмыслению все более драматических событий. Маяковский позже определил этот рубеж как уход от первоначально декоративного восприятия к антивоенным стихам и поэмам. Малевич стремился, как отмечено в письме Матюшину, к новому эстетизму. Речь шла о замысле вполне конкретном — художник обещал представить лубки спустя всего четыре дня, чтобы получить деньги к рождественским праздникам. Кроме того, планировалось не одно, а серия изображений («штук 10–15»). Вдохновленный этой задачей, Малевич подписывает письмо в духе Хлебникова королевским титулом — «Казимир Великий». Но намерение «искать материалы» к лубкам и «сделать лубок», о чем он пишет в начале января 1915 г., так и не воплотилось. Малевич сосредоточился на подготовке к открытой 3 марта в Петрограде Первой футуристической выставке «Трамвай В». Однако художник предчувствовал изменение характера своего «эстетизма», продолжая связывать его с кубофутуризмом, но по существу предчувствуя формирование супрематизма: «Да, мы тоже расцвели, но расцвели футуризмом, и теперь выдвигаем новое, может быть обратное» [Малевич, с. 65]. «Обратное»

«Глядь, поглядь, уж близко Висла…»
Текст В. Маяковского, рисунок К. Малевича

вскоре было осознано в работе «От кубизма к супрематизму» (декабрь 1915) и «От кубизма и футуризма к супрематизму» с подзаголовком «Новый живописный реализм» (январь 1916). Действительно, намечая перспективу своего движения, Малевич опирался на необходимость передать красный, синий, зеленый цвет (основные цвета лубков), минуя сюжет, только средствами живописи. Он писал: «Мы пришли к Супрематизму, бросив футуризм, как лазейку, через которую отставшие будут проходить…Мы вчера с гордо поднятым челом защищали футуризм. Теперь с гордостью плюем на него» [Малевич, т. 1, с. 42, 43].

Тогда же, в декабре 1915 г., когда Малевич провозгласил на Последней футуристической выставке «0,10» свой уход от футуризма, Маяковский выступил на страницах альманаха «Взял» с программным заявлением: «Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого. <…> не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего, и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди» [Маяковский, т. 1, с. 351]. Это говорил новый поэт, «Тринадцатый апостол», автор величайшей поэтической проповеди XX века.

Внешне они выглядели сплоченными, но Малевич справедливо подчеркивал позже, что «наш футуризм проявил себя гораздо больше в выступлениях, чем в произведениях. Громили всё и живописцы, и поэты. В России всё, что только было непохоже на натуру, считали футуризмом». По мнению Малевича, «Маяковский ближе подходил. Он грохотал, ломал, надламывал. Мотор, железо, сталь, чугун врывались в его футуристическую поэзию, но наряду с мотором врывались элементы любви, она, глаза, рыжеволосая» [Малевич, т. 1, с. 39]. Характерно, что здесь отмечены как «нефутуристические» образы стихотворения «Несколько слов о моей жене» из первой книги поэта «Я!» (1913): «Морей неведомых далеким пляжем/ идет луна — / жена моя./ Моя любовница рыжеволосая» [Маяковский, т. 1, с. 39]. Как было сказано выше, Малевич внимательно наблюдал за молодым автором «стихотворного кубизма», все более удалявшимся в область эмоциональных переживаний и психологических проблем.

Итак, к концу 1915 г. произошло размежевание группы Малевича, тяготевшей к чистой форме, «живописной зауми», с тем «содержательным», экспрессионистским направлением, которое представлял Маяковский. Прочитанные после вернисажа выставки «0,10» отрывки из поэмы «Война и мир» были восприняты художниками как измена футуризму.

«Очень хорошо помню вечер у Кульбина в конце декабря 1915 года, — вспоминала художница Надежда Удальцова. — Маяковский читал отрывки из “Войны и мира”. Среди слушателей — группа москвичей: Татлин, Попова и я. Хлебников тоже читал свои стихи, запинался, путал, а Маяковский из угла подсказывал. Он любил Хлебникова и знал его наизусть. Впечатление от стихов Маяковского было очень сильное. Но “Войну и мир” все слушатели воспринимали по-разному: одни (представители формалистического искусства) нашли, что содержание поэмы переливает через край, и даже вспомнили Леонида Андреева; другие, среди которых была и я, говорили, что, наоборот, через край бьет чувство.

Художники в то время (1914–1915) принимали Маяковского как поэта, причем поэта, уже оформившегося и вполне сложившегося. Мне кажется, что он и сам тогда просто забыл о себе как о художнике. На вечерах у Кульбина он читал стихи, выступал как поэт» [Удальцова, с. 12].

Тем не менее, в работе над лубками творчество Маяковского-художника обогатилось. Он взял на заметку эскизы костюмов героев оперы «Победа над солнцем» и декоративную пластику персонажей лубков Малевича, — они явственно проступают в листах Маяковского «Семь пар чистых» и «Семь пар нечистых» для несостоявшейся постановки «Мистерии-буфф» (1919), а затем в символических фигурах плакатов РОСТА (1919–1921). В «Приказе по армии искусств» (1918), где «Улицы — наши кисти, площади — наши палитры», слышится отзвук подписей к лубкам:

У Вильгельма Гогенцоллерна
Размалюем рожу колерно.
Наша пика — та же кисть,
Если смажем — ну-ка счисть! [Маяковский, т. 1, с. 355]

Опыт сотрудничества Маяковского и Малевича был использован осенью 1918 г. при постановке В. Мейерхольдом «Мистерии-буфф» в Петрограде. В пьесе звучали близкие лубочным подписям реплики: «одному — бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика» [Маяковский, т. 2, с. 204]. Оформление Малевича не сохранилось, но, по скупым воспоминаниям, оно соответствовало балаганному строю пьесы: условно очерченное пространство сцены, черные кубы, с которых подавали реплики актеры — из зала они казались черными квадратами.

В заключение зададимся вопросом: вправе ли мы военные лубки Маяковского и Малевича рассматривать в качестве литературно-художественного источника для понимания раннего периода Первой мировой войны? В прямом смысле, вероятно, это буффонное, игровое творчество недостаточно информативно по сравнению хотя бы с газетой. Но в культурологическом аспекте изучение плакатов и открыток «Сегодняшнего лубка» дает обширный материал для понимания эстетики русского авангарда. Сосредоточенный на критике существующего искусства и формопорождении нового, он выражал себя в игровом, эпатажном действии. Но, как подчеркивал М.М. Бахтин, «большим переворотам даже в области науки всегда предшествует, подготовляя их, известная карнавализация сознания» [Бахтин, с. 58].

Список литературы

Бахтин М.М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Жулев П. Лубочное половодье // Русская школа: Общепедагогический журнал. 1915. № 1.

Иванов А.И. О военных лубках Маяковского // Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века. М., 2008.

Ковтун Е.Ф. Издательство «Сегодняшний лубок» // Страницы истории отечественного искусства второй половины XIX — начала XX в. СПб., 1993.

Магула Г. Война и народные картинки // Лукоморье. 1914. № 30.

Малевич о себе. Современники о Малевиче: В 2 т. М., 2004.

Малевич К. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1995.

Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955.

Михаленко Н.В. Военные лубки В.В. Маяковского и религиозные мотивы его раннего творчества // Война и авангард. Белград, 2013.

Удальцова Н. Стенограмма воспоминаний. 1939 (Гос. музей В.В. Маяковского).

Харджиев Н.И. Маяковский и живопись // Маяковский: Материалы и исследования. М., 1940.

Хеллман Б. Первая мировая война в лубочной литературе// Россия и Первая мировая война: Материалы междунар. науч. коллоквиума 1–5 июня 1998. СПб., 1999.

Михаил Вайскопф

Война как обнажение приема: 1917 год в «Сентиментальном путешествии» Виктора Шкловского

Знаменитый теоретик литературы и основатель русской «формальной школы» В.Б. Шкловский был, как известно, активным участником Мартовской революции, а затем — антибольшевистского повстанческого движения. С 1915 г. он служил инструктором в петроградской школе водителей бронеавтомобилей, а после свержения монархии был прикомандирован к корниловскому Юго-Западному фронту в качестве помощника комиссара. Там он не раз участвовал в боевых действиях, водил полк в атаку, был тяжело ранен, и сам Корнилов в госпитале наградил его Георгиевским крестом. Закончил он войну уже в Иране, в составе русского экспедиционного корпуса. В числе наиболее впечатляющих персидских подвигов Шкловского — спасение целого народа — айсоров, которых он под прикрытием российской армии сумел вывести из страны, где их собирались истребить местные мусульмане. Впрочем, спасаться — на сей раз от ЧК — вскоре пришлось и ему самому. На протяжении всего 1918 года Шкловский деятельно участвует в эсеровском сопротивлении большевистскому режиму, но затем навсегда отходит от конспиративной деятельности. Тем не менее, в начале 1922, во время свирепых антиэсеровских репрессий, Шкловский бежит из советской России через финскую границу. Свыше года он живет в Берлине, где в 1923-м выходит и его «Сентиментальное путешествие», которое часто называют лучшей из русских книг, посвященных Первой мировой войне и революции 1917-го года. К тому времени он твердо вознамерился вернуться в СССР, и своего рода расширенным ходатайством о праве на репатриацию стала другая его тогдашняя книга — «Zoo», призванная засвидетельствовать полную политическую лояльность автора. В 1923 он действительно переезжает в большевистскую Россию.

Первая часть «Сентиментального путешествия», названная «Революция и фронт» и представляющая для нас наибольший интерес, создавалась целиком уже в 1919 г., т. е. по самым свежим следам великих и трагических событий. Речь здесь идет в основном о стагнации Временного правительства, оказавшегося неспособным совладать с духами революционного хаоса, обуявшими русскую армию. В плане поэтики описание любопытно, среди прочего, как попытка согласовать те или иные, порой еще даже не отстоявшиеся, воззрения формальной школы с историческими реалиями, которые в силу подобного подхода обретают иногда характер чуть ли не прямой иллюстрации к теоретическим положениям. В других случаях заслуживают внимания элементы историософского мышления Шкловского, иногда — и довольно неожиданно — роднящие его с Горьким.

Одним из редких достоинств книги, напрямую связанных, конечно, с литературоведческим новаторством и интеллектуальной смелостью ее автора, представляется мне его тяга к разрушению любых, казалось бы, самых естественных и убедительных житейских клише.

Пресловутый прием остранения выказывает здесь себя во всем великолепии, хотя сам его изобретатель в данном случае отнюдь не стремится к эпатажу. Вообще, тон его подчеркнуто суховат, доверителен и при этом очень точен в своей жесткой и экономной метафоричности.

Один из примеров остранения, перенесенного на политику, — совершенно нетривиальное отношение Шкловского к распутинщине, изобличения которой с восторгом популяризировались любыми революционерами для дискредитации монархического строя. Не в самой распутинщине, а как раз в ее народном смаковании Шкловский видит симптом надвигающегося морального краха: «Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти “Гришки и его делишки” и успех этой литературы показали мне, что Распутин явился национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника»[1]. (Вероятно, въедливый читатель мог бы проследить тут нечто вроде пунктирной линии, вскоре превратившей этого Ваньку Ключника в екатеринбургского рабочего-цареубийцу.)

Преобладающий тон в показе самой революции — то веселая, то кровавая сумятица, вакханалия всеобщей бестолковщины, никем не введенной еще в жесткое командное русло: «Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуясь инстинкту» (15). Бестолковы и городовые, неправильно установившие пулеметы — на крышах, где у огня не было настильности — и сами восставшие, стрелявшие по стенам наобум: «Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, падающими на нас сверху» (16). Главный нерв мятежа — вовсе не осознанная и целенаправленная решимость, а, напротив, нервозная нерешительность, тревожное топтание на месте, прерываемое судорогой случайных импульсов. Новоиспеченные прапорщики, прошедшие «великолепно поставленную муштровку военных училищ», с такой же готовностью отвергают революцию, с какой потом переходят на ее сторону: «Наши офицеры говорили: “Делайте, что сами знаете”» (11). По Петрограду тянутся куда поезда с военными. Их уговаривают присоединиться к восставшему народу: «Из вагонов таращились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они “ничего”, они едут мимо» (17).

Характерным образом, сама жизнь воспринимается в это время Шкловским — автомехаником и теоретиком-формалистом — как испорченный механизм, как разладившаяся машина, дающая сбои, которые вселяют в него отчаяние. Он верит в демократию и победу, он готов ехать на фронт — но в то же время признается: «Мне жаль было расставаться со своей командой, с нашей школой, которую мы довели до неслыханного в России совершенства. Команда моя осталась, подгнивая со всем революционным гарнизоном» (27). С открытой симпатией он описывает людей такого же склада, почти игнорируя при этом их политические установки. Вместе с ними он и едет на фронт. Один из них — блестящий организатор, инженер Ципкевич, «бывший правый эсер, а теперь, в сущности говоря, человек “вне политики”» (26). «Революция беспокоила его, путая все схемы и расписания. Я же был послан как ответственный агитатор»(26). Тут впору уточнить, что Шкловский всегда был убежденным оборонцем — но не из собственно агрессивно-патриотических побуждений (он был решительно против «аннексий и контрибуций»), а в надежде на то, что победа даст России возможность перейти от кровавого хаоса к правильно отрегулированной мирной жизни; еще важнее, что эта победа приведет к революции в монархических державах Оси: сперва в Германии, а потом в Австро-Венгрии и Румынии. «Ошибка моя была в том, — признается автор, — что нельзя было наступать, имея за собой сирену — демократическое правительство с буржуаз-

ным хвостом. Нельзя драться, имея драку в тылу. Наступление, по-моему, было необходимо потому, что победа войск республики быстро оправдала бы революцию в Германии <…> Нужно было наступать, пока еще была армия, но нужно было однородное правительство с быстрым проведением программы-минимум». Если угодно, это тоже была мечта о мировой революции — только не большевистского, а республиканско-демократического толка (кстати сказать, надежда на эту альтернативную мировую революцию, вынашиваемая в российских демократических кругах, — все еще плохо изученная тема).

Его последнее предотъездное впечатление — речь Ленина в Петроградском совете, заметно поколебавшая веру Шкловского в возможность остановить процесс распада: «Ленин говорил речь с элементарной стремительностью, катя свою мысль, как громадный булыжник; когда он говорил о том, как просто устроить социальную революцию, он сминал перед собою сомнения, точно кабан тростник <…> С этим ощущением стремительной, слепой, всех топчущей силы я и уехал на фронт» (28). Шкловский знал, однако, что русское наступление неизбежно — и примечательно, насколько его тогдашние мысли коррелируют с рассуждениями Толстого в «Войне и мире» — или, если угодно, упреждают последующие толстоведческие труды самого исследователя. Дело не столько в планомерности и логичности действий, задуманных в генеральном штабе, — в игру вступают теперь иные, элементарные и почти физиологические факторы; но и у них, как всегда у Шкловского, есть некая механическая подоплека: по его словам, нельзя попросту «собрать всех мужчин под ружье, отобрать от дела и так стоять, замахнувшись. Армия должна была или воевать, или разбежаться. Пока она решила воевать» (30). Однако эта решимость все явственнее разъедается пораженческим настроем, озвученным Лениным и его сообщниками. Центробежная сила управляемого ими хаоса уже отзывается и в Киеве, куда только что прибыл Шкловский и откуда он должен будет отправиться в зону военных действий. По сути, в Киеве он застал лишь самое начало гибельной пацифистской коррозии. Одну ее сторону представлял исподволь созревающий украинский национализм германофильского пошиба, а другую — та инстинктивная тяга к сдаче, дезертирству и тотальному грабежу, которая найдет для себя идеологическую санкцию в лозунгах коммунизма; и здесь Шкловский использует один из своих любимых литературоведческих терминов — «мотивировка»:

«Комитетчик-большевик еще не появился, изредка в комитет проникал какой-нибудь солдат, находящийся вне круга интеллигентско-социалистической мысли, и этот “зверь из бездны” говорил мрачные слова, запутанные, но понятные. Эти люди называли себя большевиками, масса их состояла главным образом из шкурников, т.е. людей, настроенных не жертвенно, а поэтому людей невозможных на фронте — где все были жертвами. <…> В солдатской массе они уже имели влияние, но уважаемы не были. Большевизм масс явился позже как результат отчаянья, как словесная мотивировка отказа даже от обороны» (30–31).

Стихия безудержной говорильни, оказавшейся издержками новообретенной свободы, конечно же, ослабляла армию в канун ее наступления: «Демократический принцип обсуждения был доведен здесь до абсурда <…> Но тогда это не казалось мне странным». Трудно понять, почему столь вопиющая порча военной машины не ужасала автомеханика Шкловского; но некоторое оправдание для себя он все же находит в реакции такого образцового служаки, как командующий фронтом:

«Не думаю, чтобы отчетливо понимал безнадежность положения и Корнилов. Он был прежде всего военный. Генерал, ходящий в атаки, пробивающийся с револьвером. К армии он относился так же, как хороший шофер к автомобилю. Шоферу важно прежде всего, чтобы

машина шла, а не то, кто на ней едет. Корнилову нужно было, чтобы армия дралась. Он удивлялся на странный революционный способ подготовлять наступление. Он хотел еще верить, что драться можно. Так шофер, недоверчиво пробуя новую смесь, очень желает, чтобы на ней можно было ездить, как на бензине, или способен увлекаться мыслью о езде на карбите или скипидаре» (34).

Неудивительно, что, как подчеркивает Шкловский, инициаторами активных боевых действий были наиболее культурные и интеллигентные военнослужащие. Только у них хватало воображения, чтобы рассматривать армию как целостное формирование, отвечающее за судьбу страны и революции, а не как конгломерат обособленных и подразделений, под предлогом миролюбия косноязычно отстаивавших свои эгоистические интересы. Патриотизм в данном случае идеально совпадал с техническим профессионализмом, столь ценимым автором: «Должен сказать, что все квалифицированные части армии были за наступление, а главное — за сохранение порядка и организованности. Люди городской культуры — более самоотверженные. У них в голове больше воображения, и они не могут себе представить “11-ю дивизию” или “5-ю роту” как нечто автономное» (46). (В этом своем ужасе по поводу культуры, добиваемой в стране, где так болезненно ощущался ее дефицит, Шкловский, к слову сказать, во многим сходится со своим противником — пацифистом Горьким периода «Новой жизни». Ведь Горького тоже одолевал страх за культуру, страх за судьбу немногих квалифицированных людей в России — рабочих и интеллигентов, стоящими перед угрозой гибели; и эта тревога диктовала ему тогда борьбу против Ленина с его опасными социальными экспериментами.) Эти люди, продолжает Шкловский, «может быть, и ошибались, но они ошибались жертвенно, честно, решаясь на смерть, только бы разорвать на шее революции петлю, затянутую войной» (47). «Бывало и так, что австрийский полк выбивался одними нашими офицерами, телефонистами и полковыми саперами. Врачи ходили резать проволоку, а части не поддерживали. Вся неквалифицированная Россия буксовала» (64). Как раз в этой «неквалифицированной» среде и господствовали пораженческие настроения: «Почему мы не понимали, что нельзя воевать, имея такую слизь на фронте?» — задним числом сомневается мемуарист. Непонятную и ненужную ей демократию эта «слизь» использовала лишь как предлог для дезорганизации в преддверии повального дезертирства; мыслящая личность здесь вытеснялась единым капитулянтским и паническим настроением, ищущим для себя любой мотивировки: «Полки не знали свободы слова. Они рассматривали себя как одну голосующую единицу. За противоречие били» (45).

С другой стороны, Шкловский охотно подчеркивает колоссальную роль случайных ситуаций, слабо поддающихся учету и зачастую кардинально меняющих к лучшему дух того или иного подразделения. В итоге перед нами вырисовывается нечто вроде формалистической теории о том, как побочные или вторичные обстоятельства выдвигаются на первый план и становятся определяющими, — идея, которая станет сквозной, например, в блестящем исследовании Шкловского «Материал и стиль в романе Л. Толстого “Война и мир”» (1928). Под влиянием переменчивых окказиональных факторов апатичная масса может преобразиться — и он рассказывает о том, как самоотверженно порой дрался какой-либо полк, в котором раньше царили равнодушие и пораженчество. «Армия России, — пишет он, — имела грыжу еще до революции. Революция, русская революция с максимализмом демократизма Временного правительства, освободила армию от принуждения. В армии не осталось законов, не осталось даже правил. Но был состав квалифицированных людей, способных на жертву и на держание окопов. Возможна была война, короткая и молниеносная, без принуждения. Ведь

на фронте враг — реальность. Видно — пойдешь домой, и он пойдет сзади. Во всякой армии ¾ не сражаются; если бы появились в эту войну войска, которые сражались бы так, как работают люди на себя, они могли бы не только наступать на Германию, но идти через Германию на Францию. Когда Рогатинский полк, имевший 400 штыков, увидел, как при нем закололи немцы его полкового командира, он освирепел и избил в бою до одного целый немецкий полк в полном составе» (69–70). Шкловский и сам поднял в атаку залегший было полк, вовсе не помышлявший о наступлении. Но прием остранения акцентирован и здесь — дело, оказывается, совсем не в героизме. Парадоксальным образом, именно те факторы, которые работают на пацифизм, внезапно становятся двигателем войны: «Ненависть к войне, к себе и усталость не позволяли думать о самосохранении» (62).

Эта взаимообратимость понятий по-настоящему захватывает Шкловского. В одной из своих литературоведческих работ он писал о приеме деавтоматизации и остранения: «Нужно повернуть вещь, как полено в огне». В «Сентиментальном путешествии» таким «поленом» становятся люди, а вертят их неустанно и безжалостно. Иногда, впрочем, бывает непонятно: призвана ли спокойная, обыденная интонация, облюбованная автором для показа военного бесчеловечия, шокирующе контрастировать с человеческой нормой — или же она сама с серой протокольностью отражает чудовищную реальность, сделавшуюся нормой. Вот, например, одна из сцен, связанная с истреблением курдов, которым тешились казаки из состава экспедиционного корпуса в северной Персии. Заметим, что дело происходит уже после российской демократической революции. «Кстати, о жалости. Мне описали следующую картину. Стоит казак. Перед ним лежит голый брошенный младенец-курденок. Казак хочет его убить, ударит раз и задумается, ударит второй и задумается. // Ему говорят: “Убей сразу” — а он: “Не могу — жалко”» (116).

Вполне понятно, где нашел Шкловский собственно литературные прецеденты для своих зарисовок. Он признается в глубокой антипатии к фальшивому и надуманному «Огню» Барбюса. У автора «Сентиментального путешествия» совсем другая генеалогия, глубоко родственная его чисто филологическим предпочтениям: «Про войну написать очень трудно; я из всего, что читал, как правдоподобное ее описание могу вспомнить только Ватерлоо у Стендаля и картины боев у Толстого». У обоих этих писателей его подкупал, конечно, пафос абсурдной и потому неотразимо достоверной реальности, сотканной из мелочей и случайностей, за которыми сквозят незримые силы истории. Война учила парадоксам и тем образчикам нетривиального поведения, которые теоретик Шкловский так ценил в своих филологических штудиях и которые оказывались самыми действенными реакциями в нелепице смутного времени.

На очередном митинге он вместе с другими агитаторами призывает солдат, очумелых от войны, идти в наступление. Одним из этих пропагандистов был рабочий, эсер Анардович. Призывы воевать толпе не понравились. «Нас уже решили вешать, так просто — вешать за шею, но тут всех выручил Анардович. Он начал со страшной матерной брани. Опешили и осели. Для него, революционера уже 15 лет, эта толпа казалась стадом безумных свиней; он не жалел их и не боялся. <…> “Я и из петли скажу вам — сволочь вы”». Подействовало. Нас начали качать и на руках донесли до автомобиля. А когда мы поехали, бросили нам вслед несколько камней» (49–50). Поведение, как видим, противоположно ожидаемому — и оттого оно выручило, хотя, разумеется, итог мог быть и иным: в обстановке свирепого сумбура жизнь зависит от любой случайности.

Другой пример смысловой инверсии. Враг может быть полезнее и лучше своих, в чем во время ранения Шкловский убедился на собственном опыте. Отечественные санитары, люди ленивые и безответственные, не ухаживали за ранеными — а «лучшие санитары были из пленных австрийцев. Австрийцы прежде всего дорожили местом, где их кормили и где с ними хорошо обращались, а потом, были более культурны и не могли, не умели плохо работать — так же, как хорошо квалифицированный шофер не может небрежно относиться к своему автомобилю» (64–65).

Высокая квалификация может и сама по себе спасти жизнь мужественному человеку, ибо внушает к себе инстинктивное почтение. Шкловский приводит примечательный эпизод с генералом Черемисовым, начальником штаба корпуса: «Когда какая-то команда решила убить его и поставила миномет против дома, он, выйдя на шум, очень спокойно доказал солдатам, что миномет здесь применен неправильно, так как фугасным действием снаряда будут разрушены соседние дома. Солдаты согласились и миномет убрали» (38–39). Однако именно потому, что высокая квалификация и прочие достоинства необходимы были повсеместно, Шкловский осудил такое революционное новшество, как создание ударных батальонов, ибо они оттягивали здоровые силы — «людей сравнительно высокой интеллигентности. Их гнала из полков тоска видеть уже начавшееся гниение армии. Но они нужнее были именно в полках, как соль в солонине» (35). (Кстати, трудно сказать, насколько прав тут мемуарист. В конце концов, затея с ударниками была перенята у итальянцев (команды «arditi») и немцев, которые со временем стали весьма эффективно использовать малочисленные штурмовые группы и целые батальоны: российский «ударный батальон» был просто переводом с немецкого.)

С точки зрения Шкловского, переход России к коммунизму был неизбежной и даже необходимой стадией в развитии ее запущенной болезни. Естественно, мы должны учитывать и тактические установки этого эмигранта, пытающегося добиться снисхождения у новых властей — и все же это был диагноз, не лишенный надежды на исцеление. Россия, пишет он, «начала разлагаться на первоначальные множители» (121). Большевики стали своего рода мертвой водой, заново соединяющей распадающееся тело страны, обмороком и мороком гниющего государства. «Для выяснения их роли, — говорит он, — приведу параллель. Я не социалист, я фрейдовец. // Человек спит и слышит, как звонит звонок из парадной. Он знает, что нужно встать и не хочет. И вот он придумывает сон и в него вставляет звонок, мотивируя его другим способом, — например, во сне он может увидеть заутреню. // Россия придумала большевиков как сон, как мотивировку бегства и расхищения, большевики же не виноваты в том, что они приснились» (70). Для Шкловского большевизм — это тот дикий хаос, который под собственной тяжестью рано или поздно перестроится в какой-то порядок. В конечном счете его отношение к этой власти, высказанное в «Сентиментальном путешествии», окрашено безрадостным прагматизмом, подытоженным следующим образом: «Но если бы нас спросили тогда: “За кого вы, за Каледина. Корнилова или за большевиков?” — мы <…> выбрали бы большевиков. // Впрочем, в одной комедии арлекин на вопрос: “Предпочитаешь ли ты быть повешенным или четвертованным?” — ответил: “Я предпочитаю суп”» (136).

[1] *Шкловский В*. Сентиментальное путешествие: Роман. СПб., 2008. С. 9. Все дальнейшие цитаты даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.

Д.Д. Лотарева

Неизвестная автобиография В.О. Нилендера — ратника 2-го разряда, рядового 193-го пехотного запасного полка

Личность Владимира Оттоновича Нилендера (Nieländer; (22.11(4.12).1883, Смоленск — 3.06.1965, Москва) хорошо известна всем, кто изучает культуру Серебряного века, литературные связи, традиции переводов античных авторов и антропософское движение.

Сегодня в различных справочниках и на сайтах можно найти основные сведения о В.О. Нилендере[1]. Владимир Оттонович Нилендер — филолог-классик, переводчик, преподаватель. Родился в Смоленске в дворянской семье. Учился в Морском кадетском корпусе, затем поступил в Московский университет сначала на естественное отделение, затем на классическое отделение историко-филологического факультета, которое так и не окончил (учился с перерывами до 1916 г.). В 1901 г. в Петербурге жила его сестра Елена Оттоновна, владевшая корсетной мастерской.

Друг Андрея Белого. Сотрудник издательства «Мусагет». Как антропософ входил в круг А.Р. Минцловой. На осень 1910 г. был намечен доклад Нилендера об орфических гимнах в «Мусагете». В издательстве Сабашниковых готовил издание греческих лириков, редактор издания «Персидские лирики» (М., 1915) и последнего издания стихотворений Владимира Соловьева. Служил в Румянцевском музее с 1919 г. помощником заведующего Отдела классической филологии, затем «заведующим группой Спец. читального зала». Эмиссар Музейного отдела Наркомпроса, занимался спасением частных, в том числе усадебных библиотек. Уволен из Ленинской библиотеки в 1931 г. Участвовал в театральных проектах В.Э. Мейерхольда, МХАТа. Опубликовал «Фрагменты» Гераклита Эфесского (1910), перевод трагедии Эсхила «Прометей» (1925) и другие переводы античных классиков. Член Союза писателей. Занимался вопросами поэтического ритма и писал диссертацию на эту тему.

Оформляясь на службы в советское время, В.О. Нилендер заполнял анкеты, писал автобиографии[2]. Найденная нами в архиве РГБ автобиография была создана совсем по другой причине. Документ датирован 4 мая 1930 г. В это время в Ленинской библиотеке, как и в других советских учреждениях, проходила масштабная проверка сотрудников — так называемая чистка, в ходе которой выявлялись неблагонадежные с идеологической точки зрения люди. При этом «в ход шли» все детали — происхождение, места учебы и работы, служба в царской армии, членство в различных общественных организациях. Для подтверждения «годности» советскому обществу необходимо было предъявить факты, соответствующие классовым пролетарским критериям: отсутствие собственности (у родителей в том числе) и собственный труд до революции, наличие общественной нагрузки (т.е. политически-сознательной активности). Многим сотрудникам культурных учреждений найти такие факты

в собственной биографии было трудно, поскольку туда устраивались чаще всего классово чуждые дворяне, выходцы из духовного сословия, «несоветская» интеллигенция.

Работавшая в то время в Ленинской библиотеке Зоя Дмитриевна Кананова в своем дневнике 4 мая 1930 г. записала: «На службе волненье: начинается чистка, все пишут автобиографии»[3]. Действительно, представленные во многих личных делах сотрудников библиотеки автобиографии написаны именно в это время.

Обстоятельства написания, естественно, наложили свой отпечаток на текст, который выглядит апологетическим (и не только у Нилендера). Как правило, все старались подчеркнуть, что родители никогда не владели недвижимостью, что все члены семьи трудились с ранних лет, что царский режим, так или иначе, вызывал протест и т.п.

Однако на фоне других подобных автобиографий текст Нилендера выделяется своей подробностью и стремлением не столько подстроиться под обстоятельства, сколько описать становление собственной личности. Владимир Оттонович всячески старался засвидетельствовать «благонадежность» не только свою, но и своего отца. Поскольку важнейшим критерием для сохранения рабочего места являлась общественная работа, Нилендер попытался — настолько, насколько это возможно, — представить себя как общественника, а также как человека, хлебнувшего настоящей народной жизни, в частности во время нахождения в запасном 193-м пехотном полку.

Автобиография сохранилась в ведомственном архиве РГБ (Оп. 39. Д. 351. Л. 107–107 об.), написана от руки.

[1] Краткая биографическая справка о В.О. Нилендере на сайте «Поэзия Московского университета. От Ломоносова и до…» http://www.poesis.ru/poeti-poezia/nilender/biograph.htm; *Иванов М.В.* Смоленский край: История музейной деятельности на материалах частных собраний, выставок и музеев (конец XVIII — первая треть XX вв.). Смоленск, 2005 г. См. также: *Агеев А.* Слышу умолкнувший звук // Край Смоленский. 1997. № 1–2. С. 22–27; *Друганов И.А.* Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху // Советская библиография. 1934. № 3–4. С. 130; *Полтавская Л.В., Новиков Людвиг А.* Нилендер Владимир Оттонович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4 [М–П]. М., 1999. С. 332, 333. Состав студенческого дела В.О. Нилендера (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 325. Д. 1180 а. Л. 1–56. 5 августа 1903 г. — 28 марта 1916 г.) см.: http://www.poesis.ru/poeti-poezia/nilender/frm_univ.htm

[2] Анкеты В.О. Нилендера см.: ГАРФ. Ф. А-2307 (Главное управление научных и музейных учреждений (Главнаука) НК Просвещения РСФСР; сектор науки НК Просвещения РСФСР (1921–1933 гг.). Оп. 3. Д. 76 (Штаты и списки центральных и провинциальных музеев, списки научных работников Главнауки. 1921). Л. 19; ОПИ ГИМ. Ф. 54 (Музейный отдел Наркомпроса). Д. 921. Л. 68, 68 об. Выдержки из биографии Нилендера приводятся в статье А. Агеева «Антология рославльской поэзии»: Владимир НИЛЕНДЕР. http://roslavl2.narod.ru/Stati/biblioteca/antologia/3.html, однако ссылку на источник текста автор не приводит. Между тем это явно автобиография, написанная в советское время, поскольку Агеев приводит такую цитату: <служба преподавателем Рославльской гимназии в 1913–1914 годах помогла ему в> «…исцелении от проказы декадентства, от внутренней расхлябанности, от этих колебаний между научной мистикой и безмистичной наукой».

[3] Из «Фрагментов» дневника Зои Дмитриевны Канановой / Подгот. текста, коммент. Д.Д. Лотаревой // Toronto Slavic Quarterly. # 46. Fall 2013. P. 320.

ВЛАДИМИР ОТТОНОВИЧ НИЛЕНДЕР

Автобиография

Я родился в г. Смоленске в 1883 году, 22 ноября, в семье педагога, потомственного дворянина лютеранина, инспектора училищ, затем директора Рославльской гимназии[1]. Отец мой и мать никогда не имели недвижимого имущества. Мать умерла в 1887 г.

Поступил в Рославльскую прогимназию, откуда выбыл, поступив в 1898 г. в Морской корпус — влекло море и возможность путешествий вокруг света[2].

В 1902 г. был исключен из Корпуса за плохое поведение и дерзость директору Корпуса — адмиралу Чухнину (убитому в Севастополе в 1905 г.)[3] — исключен по распоряжению тогдашнего управляющего Морским Министерством[4]; перед исключением содержался в изолированном от товарищей помещении («вследствие вредного влияния на товарищей», — так говорится в официальной бумаге).

Все это было бессознательным, правда, протестом против казарменной и жестокой дисциплины. Вдобавок, и морское дело разочаровало: я заинтересовался литературой и искусством.

Встреча у известного поэта Случевского[5] с Валерием Брюсовым решила мою судьбу: корпус стал невыносим; вскоре был исключен.

Исключенный в ноябре 1902 — подготовляюсь к поступлению в Московский Университет; весною при Смоленской гимназии сдаю экзамен; осенью 1903 поступаю на юридический факультет Московского Университета.

В Москве встречаюсь опять с Валерием Брюсовым, сотрудничаю в редактируемом им журнале «Весы», где пишу рецензии; сотрудничаю также в «Золотом Руне», «Перевале» (рецензии).

В 1905 г. встречаюсь впервые с Мейерхольдом, <занимаюсь> проблемой постановки трагедии на русской сцене[6] (в 1927 г. — через много лет — новая встреча с Мейерхольдом; на этот раз он дает мне ряд заданий, касающихся постановок и работы над «Отцами и Детьми» Тургенева и др. его постановок).

Влияние и общение с Валерием Брюсовым (так!) и Мейерхольдом заставляет меня бросить юридический факультет. Я перехожу на историко-филологический; на классическое отделение. Неоднократно покидаю университет, разочаровываясь в нем (1907–1911, 1912–1914, 1915), изучая самостоятельно науку и литературу.

Служу секретарем к<нигоиздательст>ва Сабашниковых, помогая организовать «Памятники мировой литературы», и состоя членом к<нигоиздательст>ва Мусагет — где выпускаю в 1910 г. книгу «Гераклит Эфесский. Фрагменты» (первая в Европе диалектика природы)[7].

В 1916 году, будучи ратником 2 разряда[8], мобилизуюсь и зачисляюсь в 193 пех<отный> зап<асной> полк, откуда меня откомандировывают в Управление 11 пех<отной> зап<асной>

бригады[9]; я покидаю Фундамент<альную> Библиотеку Московского Университета, где служил с 1915 года.

Октябрь 1916 года явился переломным в моей жизни. До сих пор я не знал людей и сидел над книгами и наукою в своей <каюте>. С октября 1916 года — я среди людей, и так длится до сих пор. В 193 полку было 20 000 солдат: в этом скоплении людей часто в казармах негде было найти места для спанья: рады были подремать днем, в перерыве, сидя. Была повальная чесотка. В умывальне плавала по утрам вода по щиколотки (так!); по ней носились экскременты из соседней переполненной уборной и т.д.[10]

193 полк предназначался к отправке на пополнение, когда грянула революция февральская: и я временно освободился от казармы[11]. Меня выбирают представителем от бригады на совещание полков, я — библиотекарь Управления[12].

Октябрь 1917[13] провожу в госпитале: получил сильнейший фурункулез; главный врач был доктор Н.Н. Сыренский (кажется, на Б. Садовой)[14].

В начале 1918 г. еду от Библиотеки Ун-та — куда вернулся — вывозить библиотеку Горбова в Тулу, что и выполняю успешно[15].

В 1918 году работаю в Книжном фонде[16] (у В. Брюсова[17]), в Комиссии Троцкой по охране памятников старины и искусства[18].

В 1919 мобилизуюсь в Красную армию; служу в Гумузе (Гувузе?)[19] (Зав. Фундамент<альной> библиотекой; эмиссаром Всероглавштаба[20]).

В 1919 в июне поступаю в Ленбиблиотеку[21]. Работаю в научном отделе, вывожу в библиотеку книги из Ильинского, Архангельского, из имения Зубалова и т. д. и т. д. Состою членом месткома Библиотеки, председателем кооператива. Одновременно веду научную работу. В 1925–1926 году меня приглашает к себе работать Московск<овский> Худ<ожественный> театр (для постановки «Прометея» Эсхила: перевожу хоры этой трагедии) и работаю с режиссером Смышляевым[22] и композитором Соколовым, написавшим музыку на мой перевод[23]. Издаю в Гизе[24] перевод этой трагедии в 1927 году. Приглашаюсь для работы над постановкой «Орестеи» во 2 <Московский> Худ. театр; в Государственный Белорусский (Вакханки, Эрос и Психея)[25], в студию Завадского (по греч<еской> трагедии). Работаю с актерами — на дому и в зале «А» Ленинской библиотеки. Перевожу для МХАТа 1 трагедию Софокла «Трахинянки» (совместно с В.В. Шервинским); работа, длившаяся 1½ года, завершается двумя показами ее К.С. Станиславскому; он просит составить смету постановки. Но мы снимаем постановку, т. к. актеры не имеют времени, чтобы единообразно поставить свои голоса и убрать бытовые(?) акценты.

Крайнее переутомление от театральной работы — лекций, репетиций и бесед — и расстроенное здоровье — заставляют меня в 1928–1929 оставить театральную работу… К этому присоединяется еще разочарование в актерских силах и способностях. Но в 1929 я встречаюсь с киноработниками, и с ними работаю в спецзале библиотеки (не прерывая, однако, работы в том же зале и драм театрами) (так!).

Я собираю материалы для Мейерхольда (Отцы и дети); разрабатываю материал для постановки пьесы из негрской (так!) жизни (с режиссерами Центнеровичем[26] и Зайцевым[27]); руковожу чтением некоторых учеников Консерватории, приглашаюсь в Комиссию по изданию юбилейного собрания соч. Гете; работаю над ритмикой античной прозы.

В апреле 1930 вплотную подхожу к работе в Кино. Приглашаюсь на 1-ую фабрику[28], организовываю там научно-библиографическую консультацию «Живой Архив» (*<1 нрзб.>* костюмы (?) крестьян и рабочих — в связи с «кампаниями» и строительством). Веду работу с кинорежиссерами, кинооператорами, сценографами и т. д. Одновременно основываю в Лен<инской> библиотеке научный кружок по филологии (дополнение указателя Прозорова[29] за 1896–1917 и след. годы). Это — второй по величине научный кружок библиотеки. Рационализирую работу Спецзала Библиотеки — которым заведую с 1925 года. Составляю «Каталог вещественного оформления театра и кино». Общественная моя работа происходит, главным образом, вне стен Библиотеки. Это объясняется тем, что она — работа по театру и кино, отнимающая все мое время после службы в Библиотеке, и тем, что эта работа — всегда срочная и неотложная. Театр и Кино — ждать не могут!

Этот второй период моей жизни характеризуется мною как противоположный первому — как не «кабинетный». Я считаю, что наука не должна отставать от жизни, но осуществлять ее.

Что же касается до моей семьи, то я могу сослаться на т<оварищей>, знающих моего отца хорошо, напр., на т<оварища> С.Н. Орловского (прокурора Московского военного округа), его ученика (?)[30]. Это он дал отзыв о назначении персональной пенсии моему отцу, прослужившему 50 лет на педагогическом поприще.

В. Нилендер. 4.V.1930.

[1] Архивное управление г. Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 325. Д. 1180 а. Л. Л. 48. Свидетельство (копия) № 950 от 25 января 1885 г.: «Из Смоленской Духовной консистории выдано сие свидетельство в том, что рождение и крещение сына просителя [О.А. Нилендера] — Владимира по метрическим книгам Смоленской Одигитриевской церкви записано следующей статьей: тысяча восемьсот восемьдесят третьего года ноября 22 числа титулярный советник, преподаватель Смоленской классической гимназии Оттон Августович Нилендер, лютеранского вероисповедания, и законная жена его Наталья Васильевна, православного вероисповедания, у них родился сын Владимир, крещен декабря 18 числа священником Романом Беляевым». Л. 49–56. Формуляр 1903 г. о службе отца, Оттона Августовича Нилендера. Был преподавателем Смоленской классической гимназии, позже — директором Рославльской мужской прогимназии. Статский советник. Имел награды: св. Станислава 2 и 3 степени, св. Анны 2 и 3 степени, св. Владимира 4 степени, серебряную медаль памяти Александра III. От первого брака имел детей: Наталью (1882), Владимира (1883), Василия (1887); от второго брака: Елену (1894), Льва (1896).

[2] Одно из старейших военно-учебных заведений России. Учрежден в 1752 г. на основе петербургской Морской академии и московской Навигацкой школы. На протяжении своей истории сменил несколько наименований: Морской шляхетный кадетский корпус (1752–1762), Морской корпус (1762–1867, 1906–1915), Морское училище (1867–1891, 1915–1918), Морской кадетский корпус (1891–1906).

[3] Григорий Павлович Чухнин (1848–1906) — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом. С 1 июля 1902 г. по 1904 г. был начальником Николаевской морской академии и директором Морского кадетского корпуса. Осенью 1903 г. адмирал настоял на организации комиссии Морского корпуса по проверке деятельности корпуса. 2 апреля 1904 г. назначен Главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря.

Известно, что 15 ноября 1905 г. А.И. Куприн стал свидетелем жестокого подавления восстания матросов на крейсере «Очаков» в Севастополе и даже спас от правосудия десятерых матросов. Подробности увиденного он описал в очерке «События в Севастополе», опубликованном в петербургской газете «Наша жизнь» 1 декабря 1905 г. Когда очерк был прочитан в Севастополе (газета шла из Петербурга неделю), Чухнин приказал писателю в течение трех суток покинуть севастопольское губернаторство. Куприн в этом очерке отозвался о Чухнине как об адмирале, «который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке», однако найти подтверждение этим словам исследователям не удалось. В связи с этими событиями эсеры во главе с Б. Савинковым приговорили Чухнина к казни. Первое нападение эсеров на него произошло в январе 1906 г., однако он остался жив, но через некоторое время все же был убит эсерами (см. *Петелин В*. История русской литературы XX века. Т. 1. С. 138; *Афанасьев В.Н*. Александр Иванович Куприн. М., 2008. С. 52).

[4] Павел Петрович Тыртов (1838–1903) — русский флотоводец, адмирал, с 1896 г. управляющий Морским министерством и член Государственного совета.

[5] Константин Константинович Случевский (1837–1904) — военный, государственный деятель, философ, поэт. Редактор газеты «Правительственный вестник» (с 1891 по 1902).

«Вл. Соловьев взял на себя труд просмотреть и просеять через критическое сито готовящиеся к изданию “Сочинения” Случевского в шести томах, а также объяснить читающей публике, что же представляет собой поэзия Случевского и как понимать особый, свойственный поэту “импрессионизм мысли”. Поэтический кружок “Пятницы К.К. Случевского” возник в конце 1897 г. Его посещали З.Н. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Бунин, Н. Минский. Его стихи печатаются в символистских “Северных цветах” и в “Новом пути”, в борьбе за издание которого принимал участие и Случевский. Даже после мучительной смерти поэта от рака желудка, его кружок не прекращает своего существования, преобразуясь в “Вечера памяти К.К. Случевского”. Эти “Вечера”, просуществовавшие вплоть до революции 1917 г., объединяли не только литературную “массовку”, но и Ф. Сологуба, Н. Гумилева, А. Ахматову» // Валгалла Константина Случевского или вечный дебют. *Тахо-Годи Е. А.* http://www.portal-slovo.ru/philology/37125.php?ELEMENT_ID=37125&SHOWALL_1=1

[6] В.Э. Мейерхольд с весны 1905до начала 1906 г. состоял в труппе МХТ и собирался сыграть роль царя Федора Иоанновича. Он горел этой работой, но В.И. Немирович-Данченко передал исполнение И.М. Москвину.

[7] В июле 1910 г. Нилендер написал письмо В.М. Викентьеву (ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. I. Ед. хр. 332): «Дорогой Владимир Михайлович, очень и очень благодарю Вас за Ваше милое письмо, за память обо мне. То, что я не писал Вам так долго ответа, — объясняется исключительно внутренними причинами. Это лето для меня было очень трудным. Много произошло перемен, разочарований <и т. д.> Надеюсь, что Вы, голубчик Владимир Михайлович, хоть отчасти извините меня? А когда мы увидимся, буду особо извиняться и расскажу все, как другу неизменному. <…> Сюда на несколько дней приезжает Анна Рудольфовна: она привезет мне Mead’s Orpheus. Кстати, у меня есть некоторые раритеты: писать о них не буду — но лично похвастаюсь. Скоро выйдет мой перевод Гераклита: я его <занесу> <к Вашим>, т. к. в августе уеду — а мне хочется, чтобы Вы его могли <почитать> по приезде. <…>». С весны 1910 г. А.Р. Минцлова начала заниматься с Нилендером греческим языком (см.: *Богомолов Н.А*. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 96).

«Mead’s Orpheus» — книга теософа Дж. Мида «Орфей», которая вышла в 1896 г.

См. также: *Гусева А.А*. Некоторые термины Гераклита в переводе В.О. Нилендера // VOX. Философский журнал. Вып. 9. 2010. http://vox-journal.org/html/issues/vox9/141

[8] Россия пришла к исчерпанию мобилизационных ресурсов уже к 1916 г. В этом году начался массовый призыв ратников 2-го разряда (т. е. ополченцев 2-й очереди) старших возрастов (32–43 года).

Государственное ополчение, согласно Уставу 1874 г. о воинской повинности (с изменениями 1891 г.), входило в вооруженные силы Российской империи наряду с регулярными войсками. Ополчение созывалось лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного времени, состояло из всего мужского населения, способного носить оружие и не числящегося в постоянных войсках, с 18 до 43 лет включительно. Ополченцы, кроме офицеров, именовались ратниками и делились на два разряда. В первом разряде состояли служившие в войсках и переведенные в ополчение из запаса, а из зачисленных в ополчение при призыве на службу — лица, физически вполне годные к службе, кроме пользующихся льготами по семейному положению 1-го разряда; во втором — физически негодные к службе в постоянных войсках, но способные носить оружие, и льготники 1-го разряда.

[9] В Москве квартировали запасные пехотные батальоны, развернутые в полки в 1916 г. Согласно расписанию квартирования запасных полков Московского военного округа (РГВИА. Ф. 2003/с. Д. 142. Л. 138–139 об.), 193-й пехотный запасный полк квартировал в Москве.

[10] Приведем первое впечатление писателя Бориса Зайцева, выпускника Александровского военного училища, прибывшего служить в 192-й запасной пехотный полк: «…Казармы — вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку, — кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. <…> Из окна виден двор. Солдаты шляются по нему, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки» (Борис Зайцев. Москва; Мюнхен, 1960. С. 105).

[11] По воспоминаниям Бориса Зайцева, 193-й полк был отправлен на боевые позиции на Днестр. С этим полком ушел на войну его пасынок Алексей, и там погиб. См.: Борис Зайцев. С. 108.

[12] Вот как рассказал об этом времени Борис Зайцев, который тогда был еще в училище: «…сразу же роты выбрали свои комитеты, и уполномоченные эти в любое время могли докладывать старику-генералу, начальнику училища, о своих нуждах. Царство шляп начиналось. О, если бы я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и шляпа, выбрали меня и в ротный комитет и потом в комитет семи от всего училища — мы вошли в Совет Солдатских и Офицерских депутатов Москвы. Много интересней, разумеется, было заседать, вместо лекций, в какой-нибудь для нас отведенной аудитории, или ехать в Политехнический музей на общее собрание Совета» (Борис Зайцев. С. 103).

[13] Для 193-го полка эти дни были драматическими: 28 октября (10 ноября) на протяжении нескольких часов шел бой за Провиантские магазины на углу Зубовского бульвара и Остоженки. Солдаты полка атаковали занятые юнкерами Провиантские магазины, штурмовали дома на внутренней стороне Кудринской площади, пытались пробиться к Бульварному кольцу через Пречистенку. Вечером того же дня солдаты полка выбили юнкеров из здания Страстного монастыря и разблокировали здание Моссовета.

[14] Николай Николаевич Сыренский (1879?–1958). Из семьи потомственных священников. Врач, надворный советник. В Первую мировую войну — начальник госпиталей в Полоцке. В 1917 г. переехал в Москву по направлению Реввоенсовета по ходатайству генерал-майоров Николая Иосифовича Раттэля и Михаила Михайловича Загю // Генеалогия рода Сыренских http://orthonord.ru/genealogy/syren/nikolaj_nikolaevich/

[15] В Тульской областной универсальной научной библиотеке выделяется уникальное собрание изданий на шести языках по педагогике, философии, истории, искусствоведению, рукописных и старопечатных книг — всего свыше 30 тыс. экз. Библиотека принадлежала Николаю Михайловичу Горбову.

Он родился 31 июля 1859 г. в г. Орле. Его отец — владелец мануфактур, почетный гражданин г. Ливны Михаил Акимович Горбов — был образованным человеком, перевел с итальянского «с объяснениями и примечаниями» «Божественную комедию» Данте, которую сын его издал в 1898 г. Николай Михайлович окончил Московскую частную гимназию Креймана, а затем историко-филологический факультет Московского университета. Имел широкие связи в литературных и ученых кругах. Свидетельство тому — обширная переписка, многочисленные дарственные надписи на книгах. Здесь встречаются имена философа К.Н. Леонтьева, профессора Московского университета В.И. Герье, профессора И.В. Цветаева (о том, что Цветаевы и Горбовы были знакомы домами, написала в своих воспоминаниях А. Цветаева) // http://klax.tula.ru/~tea/history/names/gorbov.htm

[16] Государственный книжный фонд — инстанция, занимавшаяся распределением национализированных после Октябрьской революции 1917 г. общественных, учрежденческих и личных библиотек. Создан в январе 1919 г. Библиотечным отделом Наркомпроса. Еще раньше, в 1918 г., в Петрограде возник Книжный фонд при Центральном комитете государственных библиотек. После того как в Москве был организован самостоятельный Государственный книжный фонд, подчинявшийся уже не Центральному комитету государственных библиотек, а непосредственно Наркомпросу, Петроградский книжный фонд был переименован в Петроградское отделение Государственного книжного фонда.

[17] После Октябрьской революции 1917 г. В.Я. Брюсов активно участвовал в литературной и издательской жизни Москвы. С 1917 по 1919 г. он возглавлял Комитет по регистрации печати; в 1918 по 1919 г. заведовал Московским библиотечным отделом при Наркомпросе.

[18] Наталья Ивановна Седова-Троцкая с 1918 по 1928 г. была заведующей Отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса.

[19] Главное управление медицинских (или высших ?) учебных заведений.

[20] Всероссийский главный штаб — один из главных органов Народного комиссариата по военным делам Советской Республики в 1918–1921 гг. Учрежден 8 мая 1918 г. взамен Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии, Главного управления Генштаба, Главного штаба, Главного комиссариата военно-учебных заведений и др.

[21] В то время Румянцевский музей.

[22] Смышляев Валентин Сергеевич (1891, Пермь — 1936, Москва) — актер, режиссер, педагог, театровед. Заслуженный артист РСФСР (1935). В 1912–1917 гг. учился на юридическом факультете Московского университета, одновременно в 1913–1915 гг. — сотрудник МХТ. В 1915–1924 гг. работал в 1-й Студии МХТ, в 1924–1931 гг. во МХАТе 2-м. Руководил фронтовыми бригадами (1917, 1919), был организатором и зав. театральным отделом Московского пролеткульта, зав. секцией массовых представлений Тео-Наркомпроса, зав. художественной частью Центральной арены Пролеткульта. Педагог и режиссер еврейской театральной студии «Культур-лига» в Москве (1925–1927).

Режиссерскую деятельность начал в 1920 г. Вместе с С. Эйзенштейном поставил спектакль «Мексиканец» по Дж. Лондону (1921, Центральная арена Пролеткульта). Затем поставил во МХАТе 2-м спектакли: «Укрощение строптивой» (1923), «Гамлет» (1924, совм. с В.Н. Татариновым и А.И. Чебаном, в главной роли — антропософ М. Чехов), «Орестея» Эсхила (1926), «Митькино царство» К.А. Липскерова (1928, совм. с С.Г. Бирман) и др. Работал и в других театрах, участвовал в постановках опер. Написал «Теорию обработки сценического зрелища» (Ижевск; М., 1921).

В.С. Смышляев являлся рыцарем «Ордена света», был посвящен в высокую степень. Дружил с М.А. Чеховым. А.Л. Никитин подчеркивает ярко выраженный мистериальный акцент в работах Смышляева (см.: Орден Российских тамплиеров. Т. I: Документы 1922–1930 гг. / Публ., вступ. статьи, коммент., указатель А.Л. Никитина. М., 2003. С. 19).

Вторая жена В.О. Нилендера — Надежда Алексеевна (ур. Шиманович, во втором браке Леонтьева) (1898–?) — также была посвящена в «Орден света». Эвритмистка, историк танца, преподаватель ритмо-пластической гимнастики, хореограф. Репрессирована (о ней см.: *Никитина В.Р.* Дом окнами на закат: Воспоминания / Лит. запись, вступ. ст., коммент. и указ. А.Л. Никитина. М.: Интерграф Сервис, 1996). В этом смысле весьма интересным является факт сотрудничества Смышляева и Нилендера.

[23] Речь идет о композиторе В.А. Соколове-Федотове, который написал музыку для спектакля «Сон в летнюю ночь» (режиссер В.С. Смышляев, художник Л.А. Никитин), постановка Белорусской гос. драматической студии в Москве; премьера 2 мая 1925 г.

[24] Государственное издательство (Госиздат) РСФСР.

[25] Возможно, речь идет о Белорусской гос. драматической студии в Москве.

[26] Центнерович (Цетнерович) Павел Владиславович (1894–1963) — актер и режиссер. В 1917 г. окончил Московский университет (физико-математический ф-т). В 1918 г. переехал в Иркутск, в 1921–1922 гг. стал художественным руководителем вновь организованного Иркутского театра. В 1922 г. переехал в Москву и поступил в ГИТИС на курс В.Э. Мейерхольда; в 1922–1932 гг. работал в Театре им. Мейерхольда режиссером-лаборантом. В 1932 г. перешел в Реалистический театр, где участвовал в постановке спектакля «Мать» по Горькому (режиссер Н.П. Охлопков). В 1934–1937 гг. работал в Центральном театре Красной Армии. В 1941–1945 гг. работал в Новосибирском ТЮЗе. В 1946–1957 гг. — главный режиссер Московского театра юного зрителя. В Липецком академическом театре драмы им. Толстого поставил «Отелло» в 1961 г.

[27] Зайцев Николай Васильевич (1908-1972) — детский театральный режиссер. Главный режиссер Одесского ТЮЗа в 1957–1965 гг.

[28] Речь идет о кинофабрике (ателье) А. Ханжонкова, с 1919 г. — Ателье на Житной улице, 29 (не сохранилось). В 1922 г. декретом Совнаркома РСФСР бывшее ателье А. Ханжонкова было передано в ведение Центрального государственного фотокинопредприятия «Госкино» в качестве Первой Госкинофабрики. С 1931 г. основное производство было переведено с Житной улицы на территорию современного Мосфильма.

[29] *Прозоров П.И.* Систематический указатель книг и статей по греческой филологии, напечатанных в России с XVII столетия по 1892 год на русском и иностранных языках. С прибавлением за 1893, 1894 и 1895 годы. СПб., 1898.

[30] Орловский Сергей Николаевич (1891–1935). Родился в Рославле в семье офицера. Выпускник юридического факультета Московского университета, с началом Первой мировой войны добровольцем поступает во Владимирское военное училище, по окончании которого в 1916 г. отправился на фронт, где в боях на передовой неоднократно были отмечены его отвага и храбрость. В дни Октябрьской революции он возглавил военно-революционный комитет при 4-м Сибирском корпусе. В 1918 г. он становится членом РКП(б), работает в Рославльском уездном комитете. Затем переезд в Харьков, где он избран членом Всеукраинского ЦИКа. С начала 1919 г. — служба в Красной Армии. Соратник наркома Ворошилова на Гражданской войне. В декабре 1930 г. был назначен на должность старшего помощника прокурора Верховного суда Союза ССР по военной прокуратуре, а с августа 1933-го — старшего помощника прокурора Союза ССР — Главного военного прокурора РККА. Он проработал на этом посту вплоть до своей кончины. Пытался противостоять произволу ОГПУ. Потребовал, чтобы прокурорские работники контролировали на местах все без исключения уголовные дела, направляемые особыми отделами в военные трибуналы. Прокуроры должны были давать собственное заключение об обоснованности и доказанности предъявленных обвинений. А копии таких заключений предписывалось направлять в Главную военную прокуратуру. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г.

такой порядок невозможно стало сохранять. На следствие отводилось всего 10 дней. Суды проходили без участия прокурора и защиты. Приговоры обжалованию не подлежали и тут же приводились в исполнение. Орловский приказал контролировать по крайней мере самые значимые дела — в отношении командиров Красной Армии. Однако это мало повлияло на ситуацию. Орловский был отправлен на лечение в Германию, где скончался. Существует версия, что он был тайно убит (см.: *Бутрим И*. Честь прокурорского мундира // Красная звезда. 2012. 21 дек.).

Е.Ю. Константинова (Кнорре)

Первая мировая война в дневниках М.М. Пришвина 1914–1915 гг.

Тема Первой мировой войны занимает одно из ключевых мест в дневниках М.М. Пришвина 1914–1915 гг. В дневниковых записях этого периода отражаются наблюдения и заметки, сделанные писателем во время двух поездок на фронт в качестве военного корреспондента: с 24 сентября по 18 октября 1914 г., с 15 февраля по 15 марта 1915 г., Эти записи становятся также основой и двух газетных очерков: «На братскую линию» (1914) [Пришвин, 2004, с. 466–478], «Отзвуки боя» (1915) [Пришвин, 2004, с. 478–481].

Жанр дневника определяет многослойность восприятия событий военного периода. Факты военных действий, а также их отражение и осмысление в «текстах войны» (воззвания, отрывки из публичных высказываний современников) фиксируются в дневнике как часть панорамы всего многогранного потока событий этого периода.

Запечатлевая подробности быта и поведения людей, писатель создает свой образ и философию войны. Одним из ключевых мотивов этого периода становится тот образ войны, который первоначально появляется в дневнике в контексте приведенной автором цитаты из публичной речи, произнесенной в Таврическом дворце, а затем становится образом-лейтмотивом лирических и философских фрагментов дневника.

Особые грани восприятия войны создает сама структура дневника. В дневнике взаимосвязаны фрагменты описания природы, событий общественной жизни, философские обобщения и лирические, исповедальные мотивы. Описание бытовых подробностей сочетается с символическими обобщениями, в которых проявляется надежда на существование другого пространства жизни, вне хаоса и смерти. Так, в одной из записей октября 1914 г. Пришвин описывает парадоксальное сочетание жизни и смерти: «На дереве птички поют. Большой выводок серых куропаток взлетел. Рощи саженые с грибами. Мальчик поет песню. Начинает овладевать страх и радость. Новые птицы летят» [Пришвин, 2007, с. 123] Зарисовки мирного быта людей (солдат, несущий молоко), наполненной жизнью природы контрастируют с описанием «мертвого пространства», где прогремел взрыв: «снаряд попал в избушку, подбросило солдата и когда опамятовался, то все была кровь, стал обирать с себя кровь, мясо, волосы и все было чужое, а сам ничего, вроде как пришел в себя. Фугасные взрывы, бабу разорвало: потянула проволоку» [Пришвин, 2007, с. 123]. Тема войны как пространства смерти, которое подавляет человека, звучит и в следующем выводе автора: «она меня давит, я беспомощен…здесь нет обитателей, здесь все подавлены так же, как я» [Пришвин, 2007, с.124]; «Даже в трущобе лесной в Рождество нельзя укрыться от войны» [Пришвин, 2007, с. 126].

Однако этот страшный, разрушающий привычное течение жизни, подавляющий человека натурализм войны оказывается в восприятии Пришвина только частью военного време-

ни: уже в следующих записях внимание писателя переключается на другое свидетельство военной жизни — утреннюю звезду на небе. Сначала описание звезды появляется как часть пейзажной зарисовки «Светлое утро, Большая звезда» [Пришвин, 2007, с.124], но уже в следующей записи образ звезды приобретает символически обобщенное значение — надежды на другую, мирную жизнь: «Все это первое утро, первое чувство мира во время войны. А в газетах вчера было, что наши захватили множество немецких повозок с рождественскими игрушками» [Пришвин, 2007, с. 124–125] . Образ рождественской звезды как символ мирной жизни и дома становится лейтмотивом следующих дневниковых записей — «звезда рождественская показывается из-за крыши сарая и быстро движется [вверх] в мороз, на восток. Звезда показалась из-за сарая — значит, за рекой огни — печки топят — топят!» [Пришвин, 2007, с. 125] , «голубой заутренний свет на снегу и большая рождественская звезда» [Пришвин, 2007, с. 127].

Наблюдая войну как событие истории, Пришвин размышляет о проявлении в событиях исторической жизни символов другой реальности — «простреленная грудь — разрушенный храм»: «Дух неизменный и вечный, что перед ним все исторические события, но все-таки война что-нибудь значит. В этом споре Роллана и Гауптмана (Гауптман: война — простреленная грудь — разрушенный храм)» [Пришвин, 2007, с. 97].

Тема войны как загадки, которую нужно разгадать, становится лейтмотивом размышлений автора в различных эпизодах дневникового текста и в очерках, написанных на основе дневника. Вглядываясь в подробности повседневной жизни, авторский взгляд выявляет случайную на первый взгляд деталь, которая вмещает в себя символическое значение всего эпизода.

Так, в августе 1914 г. в одной из записей Пришвин описывает, как изменилась Москва за десять дней войны — с 15 по 26 августа 1914 г. В центре зарисовки — разговор с извозчиком, рассказывающим о раненых, которыми был теперь наполнен город. Извозчик рассказывает об услышанных от раненых ужасах пережитого на войне — «как голову отрывает ядро, как хоронят в братскую могилу, какое несметное количество птиц там слетелось, птицы всей России и всех держав на поле сражения, так что от птиц черным-черно» [Пришвин, 2007, с. 93–94]. Однако особый смысл всему эпизоду придает концовка этой миниатюры, в котором все ужасы войны парадоксально находят свое выражение в образе-символе налетевших со всей России птиц — «рассказывая, извозчик долго крепился, а когда дошел до птиц, зарыдал» [Пришвин, 2007, с. 94].

В очерке «На братскую линию» этот сюжет разговора с извозчиком, инкорпорирован в контекст повествования о другом путешествии — пути к «братской линии» через Галицию. Тема улетевших на войну птиц становится здесь сквозным лейтмотивом и появляется в заглавии первой части очерка — «Птицы». В диалоге с попутчиками выясняется, что «всегда во время войны лошади останавливаются», что нет ни одной птицы — «птицы теперь на войне…все улетело!» [Пришвин, 2004, с. 470]. Комментируя реплики диалога, автор поясняет, что это неправда, что вороны все были на своих местах. Однако отмеченные Пришвиным, не совпадающие с реальностью высказывания людей, открывают другую правду о войне: «Я вдруг понял моих спутников, это они так по-своему переживали далекую страшную войну, это они так передавали свои глубокие, щемящие чувства» [Пришвин, 2004, с. 470].

Особый смысл обретает в дневнике и в очерке реалия военного времени — «братская линия». Путь к братской линии, за которой война, описывается Пришвиным как цепь про-

пускных пунктов — результат отчуждения и недоверия людей друг к другу. Эпизод с подрядчиком, которому не дали пропуск в Галицию из-за того, что у него были документы о свободном проезде по всей России, но не по Галиции, становится одновременно и фактической деталью очерка, и одной из кульминационных точек его сюжета. Вместе с тем, в «мазепинском краю» писателя поражает, что охотно и просто беседует с ним один из жителей, что «почти нигде не было войск, даже разъездов, патрулей, и везде было так, будто едешь по родной земле, способной нести крест татарского и всякого ига» [Пришвин, 2004, с. 473].

Эта тема разделения земли и людей создает еще один символический смысл образа войны: война — это не только сражение, война может быть и в мирное время — война как небратство, недружественность, нелюбовь, рознь людей, отчуждение. В описании ночной бессонницы появляется своеобразное обобщение виденного в течение дня, раскрывающее повседневность войны: «Остальную часть ночи я спал и не спал, я участвовал в каком-то огромном сражении слов. Мне чудилось, что эта война слов ничуть не менее страшная, чем там, на братской линии, только эта война незаметна. <…> Мне показалось этой ночью, что всегда была и есть война во всякой повседневности, только невидимая. Меня очень заняла эта ночная мысль о повседневном существе войны, и я не расставался с ней до самой братской линии» [Пришвин, 2004, с. 473].

В следующем эпизоде очерка «На братскую линию» путники наблюдают за тем, как развивались сражения русских и австрийцев через оставшиеся после них следы войны — окопы, ямы от снарядов, одинокие братские могилы. Взгляд автора останавливается на том, что в канавках, сопровождавших дорогу, появляются иногда банки из-под австрийских консервов или бумажки от махорочных пачек: «это значило, что австрийцы шли тут и русские шли и даже можно сказать, что махорка преследовала консервы» [Пришвин, 2004, с. 471]. Образ борьбы махорки с консервами становится ключевым лейтмотивом нескольких зарисовок очерка. Это детски-наивное «внимание к мелочам после виденных окопов с живыми людьми» [Пришвин, 2004, с. 471] снижает остроту враждебного противостояния разных народов: после ушедшей с этих мест войны оказывается, что людей рознит только махорка и консервы, это снижение пафоса противостояния нивелирует значение войны как борьбы за территорию, выявляя другой, более значимый для военного времени конфликт — объединяющей всех людей человечности и нарушающей этот закон жизни эгоистической воли государств.

Этот конфликт осмысляется Пришвиным в евангельском контексте как борьба за имение родителя. Тема имения появляется в запечатленных на страницах дневника снах[1], в которых недавно умершая мать Пришвина разговаривает с ним об их доме, о наследовании земли, о завещании. Пришвин передает небольшой диалог из разговора, в котором на его вопрос о том, как можно думать во время войны о кусочке земли, мать отвечает: «Так война-то идет из-за земли же» [Пришвин, 2007, с. 126]. Хозяйственные бытовые реалии повседневной жизни семьи получают в осмыслении автора неожиданный символический подтекст: «Отличный сюжет: дележ имения, дележ всей земли» [Пришвин, 2007, с.126].

Осмысление войны в евангельском контексте как дележа имения включает в смысловое пространство очерков и дневника тему войны как греха и искупления. Так, в дневниках 1915 года Пришвин осмысляет войну как дело жизни и смерти, поглощающее целиком человека [Пришвин, 2007, с. 138]. Мотив завесы и взрыва, сравнение войны с родами развивает тему духовного перерождения человека, искупления греха — «расширения души после греха» [Пришвин, 2007, с. 46], нечувствия, отсутствия сострадания, рационального, прагма-

тичного восприятия мира. Война осмысляется как «результат преобладающего значения в нынешней жизни экономических факторов над национально-религиозными» [Пришвин, 2007, с. 136].

В Евангелии образ завесы обретает особый сакральный смысл[2], завеса — это жертва Христова, завеса открывается, чтобы явить людям настоящий вечный мир человечности. В тексте дневника завеса осмысляется как путь к новому миру через аскезу внутреннего отречения человека, через подвиг причастности и участия, сопереживания другому.

В последней записи дневника 1914 г. Пришвин размышляет о христианском пути спасения человека через смирение воли и внимание к другим людям: «Спасение в унижении, смирении и страдании: счастье в несчастье, высший трепет и боль, веришь — не веришь нет минуты спокойствия; спасает-то вовсе не «падение», а то, что человек смиряется и в своем страдании других людей видит и Божьи цветы и все свое лучшее выказывает; обжиги случайных радостей: роса на елке, цветы, много цветов, утопал в цветах, добрые животные, а люди все чудаки-отверженцы; страх перед людьми “порядочными”, “умными” <...> И вообще моя натура, как я постиг это: не отрицать, а утверждать <...> нужно удалиться от людей установившихся, жизнь которых есть постоянное и отрицание, и утверждение: вот почему я с природой и первобытными людьми» [Пришвин, 2007, с. 132]. Эта же тема забвения себя звучит и в другой записи о пути к счастью во время войны: «Счастье показывается на один момент, и, чтобы взять его , нужно как можно меньше воображения, как можно скорее нужно поцеловать что-нибудь, поласкать, обняться, забыть себя...» [Пришвин, 2007, с. 92].

Тема аскезы, умаления «я», воображения для того, чтобы увидеть действительность существования других людей раскрывается и в осмыслении Пришвиным жанра записок корреспондента. Пришвин отказывается от жанра путешествий с его лирическими отступлениями, самоанализом и воспоминаниями прошлого опыта: «Эта поездка будет отличаться от всех моих прежних поездок тем, что писать я буду на месте для газеты, а не беречь материалы для последующей литературной обработки. Вообще отныне я расстаюсь с путешествиями как литературной формой» [Пришвин, 2007, с.137]. «Записная книжка: слова и темы. Журнал: каждый день (даже несильно) записывается все. Каждые пять дней из журнала выбирается материал для газетной статьи. Газетный очерк должен иметь в виду только войну и в основе — иметь опыт (посредством экскурсии) не писать из старого, только новое открытие. Нужно иметь в виду, что 1) нужно обществу и что его 2) интересует; нужно поддержать веру в народ — анализировать общество само умеет — что интересует (картина, будто сами видят, приближение позиций к тылу, например, интересная тема: сравнить, чего хочет солдат от общества и что общество хочет от солдата…» [Пришвин, 2007, с. 139–140].

Выявление «новых открытий» — скрытого смысла повседневности — реализуется и в самом строении сюжетов миниатюр, создаваемых на страницах дневника. Сюжет таких миниатюр имеет двухчастную структуру: логика основного течения событий сменяется вдруг неожиданной концовкой, что характерно для новеллы. Если основной сюжет описывает картину быта, реальность человеческих переживаний, то кульминация сюжета — новеллическое «вдруг» — выводит восприятие читателя к чему-то иному, не заданному прежней логикой течению событий — тому, что открывается войной.

Так, события одного из очерков становятся своеобразным ответом на вопрос профессора Сопешко о том, что нового дает война. «Новое в очевидности, — сказал я. И кажется это очень ему понравилось» [Пришвин, 2007, с. 118–119]. Вместе с тем, понятие нового в самой

новелле приобретает амбивалентное звучание: открытие как результат изучения природы явления в конце новеллы обретает новый оттенок смысла — открытие как плод душевного движения человека, откровение сердца. «Новое в очевидности» — это открытие профессором на основе наблюдений и опытов для решения практической задачи — как отличать самострельные раны от настоящих. Однако неожиданное значение этому сюжету придает концовка новеллы, когда профессор рассуждает о том, что судящие должны сесть сами в окопы без пищи на несколько суток, а потом судить. В той же самой очевидности профессор предлагает увидеть новое как меру гуманности и наказания — не расстреливать, а после излечения отправлять в строй, так как «пальчики» именно в том и виноваты, что нарушили равенство условий с другими, т.е. одному в лоб, а ему в палец» [Пришвин, 2007, с. 119]. В этой миниатюре реальная ситуация получает иное освещение через поступок человека — внутренний выбор доктора, евангельское звучание темы суда и осуждения создает новый поворот сюжета, особый смысл трактовки происходящего. Однако сам этот поворот происходит в душе личности — в открытом войной сердечном сочувствии другому [Пришвин, 2007, с.118].

Эти моменты открытия в человеке иного — прорисованные и наблюдаемые в каждом эпизоде — объединяются образом снятия завесы, войны как пробуждения, проявления пространства нового мира. На войне человек открывает неожиданные для себя грани характера: маленький прапорщик, бывший в мирной жизни бухгалтером, совершает свой маленький подвиг человечности, отказавшись, несмотря на выговор начальства, застрелить лошадь, потому что она посмотрела на него человечьими глазами [Пришвин, 2004, с.479–480]. Невидимые связи объединяют людей, побывавших на войне, испытавших опыт встречи лицом к лицу с неприятелем: «…при вопросе о моменте решительной встречи появлялось на лице что-то похожее на усилие улыбнуться такой же застенчивой, детской улыбкой. Вот этот свет какого-то далекого, несмелого вопроса тайной нитью соединяет эти грубые фигуры людей, наполнивших город <...> видно было по лицам, что человек еще живет тем особенным светом, — не жестокости, как можно было бы ожидать, а отречения <...> эти серые шинели связывались где-то в моем представлении с черными рясами отречений» [Пришвин, 2004, с. 479].

Итогом размышлений Пришвина о войне в этот период становится идея пути личности к творчеству нового мира. Это путь через боль — «мука за муку» — к осознанию ценности постижения полноты жизни: «Самое странное, что все случилось в три дня…жизнь постигается в короткое время…ясно и почему мы так мучимся над разрешением мировой задачи и не можем ее разрешить: просто мы не живем полной жизнью, не причащаемся ее постижению собственным подвигом. И конечно война — постижение, но не отдельным человеком, а всеми» [Пришвин, 2004, с.163]. Пришвин противопоставляет два пути человеческого хозяйствования в мире — мукой за муку, который в одной из новелл осознается героями как пасхальная радость воскресения мертвых («Смертию смерть поправ!» [Пришвин, 2007, с.159]) и рациональный путь империализации мира («Адам без земли»): «Провиденциальная точка зрения на войну: разрушение того, что неизбежно должно разрушиться: наивный эгоизм государства, фетишизм государственный, создастся взаимодействие (империализация мира): бессмертная личность и космос… И то должно совершиться (война), чтобы создалось это: без того не может быть этого — вот трагедия немца («Адам без земли») [Пришвин, 2007, с. 171]. В замыслах дневника военного времени появляется тема, которая затем станет

ключевым мотивом размышлений Пришвина в 1920–1930 гг. — тема творчества личности: «Война как момент творчества жизни: это проследить в личности. Без личности: все бессмыслица (а рост государства?) — какая нелепость одиночество во время войны — воевать и быть одному невозможно, и отсюда два пути, два вывода: один, что государство нужно создавать, другой в муке за муку. И один оканчивает мукой за муку, творит новый мир, другой признает, что он творит государство (шитье фуфаек: «все это Россия, Россия» — Розанов… святые вещи и проч.) [Пришвин, 2007, с. 173].

[1] По мнению Я.З. Гришиной, «в поэтике Пришвина генезис сна, в частности, связан с развитием жанра малой художественной прозы — уловить, восстановить явившийся во сне образ [Гришина, 2007, с. 571].

[2] В статье Лидова предлагается следующая трактовка символу завесы в христианской традиции: «В христианской традиции евангельское свидетельство о том, что храмовая завеса (катапетасма) разорвалась в момент смерти Христа, стало новым источником истолкований (Мф. 27:51; Мк. 15:38; Лк. 23:45). Согласно Посланию апостола Павла к евреям, завеса обозначает плоть Господа: "...путем новым и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то есть Плоть Свою..." (Евр. 10:19–20). Подобное понимание завесы породило важные смыслы. В нем находит подтверждение вечность Христа, который проходит сквозь завесу и, таким образом, сквозь время. Разорванная надвое завеса впервые открывает доступ в Святое святых и путь спасения для верных. Храмовая завеса становится образом искупительной жертвы Христа» [Лидов А.М., 2010].

Список литературы

Гришина Я.З. Комментарии к дневникам 1914–1917 гг. // Пришвин М.М. Дневники 1914–1917. СПб., 2007.

Келдыш В.А. Русский реализм начала XX века. М., 1975.

Келдыш В.А. Реализм и неореализм // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М., 2000.

Лидов А.М. Образ-парадигма как новое понятие истории культуры // ИМК МГУ 15.09.10 — http://dogend.ru/docs/index-414741.html

Пришвин М.М. Дневники 1914–1917. СПб., 2007.

Пришвин М.М. Цвет и крест. СПб., 2004.

Семенова С. «Сердечная мысль» М. Пришвина // Волга. 1980. № 3.

Семенова С.Г. «Жизнь, пробивающая себе путь к вечности...» (Михаил Пришвин — мыслитель) // Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М., 2001.

Фатеев В. Возвращаясь к замыслу Пришвина // Пришвин М.М. Цвет и крест. СПб., 2004.

Джованни Савино

«Самая коренная русская область»: образ Галиции в русской националистической периодике в 1914–1915 гг.

В современных исследованиях о Галиции, ее истории и образе, есть разные и интересные интерпретации. За последние 30 лет выходили работы о социальной и культурной истории края, о многонациональном характере региона, посвященные проблемам гегемонии украинского и польского национального движения. Отдельную часть занимают исследования еврейской истории и населения в Галиции.

Самая известная работа о Галиции последнего десятилетия: *The idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture,* — описывает интеллектуальную историю Габсбургской провинции с 1772 до 1918 г., и раскрывает разные нюансы и черты многонационального общества. Польские, украинские, немецкие и еврейские представители Галиции — главные герои книги Ларри Вульфа, но в ней почти отсутствует русофильское направление, его интеллектуалы и личности, иногда они упоминаются только в качестве противопоставления украинофильству. Например, газеты «Галичанин» и «Прикарпатская Русь», Общество им. Качковского никогда не упоминаются в исследовании Вульфа. Только *en passant* есть одно замечание о Русиньском национальном институте во Львове в 1848 г. [Wolff, 2010, p. 261].

В Галичине существовало русофильское направление, которое выступило против украинофильства и имело нескольких общественно-культурных учреждений. Численность русофилов с 80-х гг. XIX в. составляла меньшинство по сравнению с украинским движением. «Галицко-русское» сообщество в социальной жизни области стояло на славянофильских и консервативных позициях, связанных с Российской империей.

Русофилы видели в Царской империи самую великую славянскую державу, и считали себя наследниками славы и традиций Руси, разделенной во время монгольского ига. Такие взгляды поддерживал влиятельный сектор русских националистов. В 1902 г. 52 представителя академического мира, духовенства, чиновничества и дворянства основали в Санкт-Петербурге Галицко-русское благотворительное общество [Галицко-русское, 1903, с. 3–4]. Первым председателем общества был Антон Семенович Будилович, бывший ректор Юрьевского университета и заметный славист. Тайный советник, профессор Будилович был родом из Гродненской губернии, из семьи белорусского духовенства. Он принимал активное участие в процессе русификации образования и науки в западных губерниях Российской империи; занимая пост ректора Дерптского университета с 1892 до 1901 г., сосредоточил свои усилия на преобразование его в русский Юрьевский университет [Карский, 1909, с. 11]. Жена Будиловича была дочерью известного деятеля карпаторусского движения Адольфа Добрянского, и этот факт сблизил его, как замечает Карский, с восточнославянскими регионами Габсбургской империи. Профессор был назначен членом Совета министра народного просвещения в 1901 г. и впоследствии стал активным деятелем

консервативных кругов в имперской столице, а также автором разных публицистических сочинений. В 1906 г. совместно с П.А. Кулаковским и другими учеными он основывает журнал «Окраины России». С 1 января 1908 г. Будилович занимает позицию главного редактора ежедневной газеты «Московские ведомости». После смерти Будиловича, в 1908 г., президентом Галицко-русского общества становится граф Владимир Алексеевич Бобринский, восходящая звезда русского консерватизма, видный деятель неославянского движения и один из лидеров умеренно-правых и националистов в Государственной думе II, III и IV созыва. Деятельность графа положила начало новой бурной жизни общества, получила внимание со стороны российской прессы и габсбургских властей. Так, Бобринский стал *persona non grata* в пределах Австро-Венгрии [Отчет, 1914, с. 21–23].

Галицко-русское общество и его единомышленники пропагандировали соединение габсбургской окраины с Россией и активно подчеркивали «мучения русского народа» в Галиции. Греко-католическая церковь, по мнению галицко-русских деятелей, была средством угнетения поляков и Габсбургов. В начале XX в., когда украинское направление среди униатской иерархии стало сильнее под руководством митрополита Шептицкого, нападки против греко-католиков усилились.

До Первой мировой войны статьи и очерки о Галичине появлялись в основном в национально-консервативной печати в Российской империи. Цель русофилов и Галицко-русского общества состояла в распространении «русского дела» в российском обществе. Но еще в 1914 г. мы можем читать: «Так же мало знаем мы и о Галиции, которая когда-то жила одною жизнью с Киевской Русью и население которой то же самое, что населяет и многие наши южно-русския губернии. А между тем знать о ней нам особенно важно в настоящее время, чтобы при устройстве этой новой нашей окраины избежать ошибок, неизбежных при незнании местных особенностей и местных отношений» [Галиция и Россия, 1914, с. 3].

До начала войны книги и брошюры, которые выходили о Галиции, печатались по инициативе общественно-политических кругов националистов: например, уже в 1909 г. В.А. Бобринский издал книгу «Пражский съезд, Чехия и Прикарпатская Русь», которая была напечатана в пользу Галицко-русского общества. Внимание к Червонной Руси возрастает к 1913 г. В том же году Генштаб имперской армии издал брошюру «Галиция — место возможного столкновения с Австрией». В качестве вероятного театра войны автор Борис Филатович видел восточную часть Галиции — «наконец для нас сложившийся состав населения» [Филатович, 1913, с. 7], потому что «жители восточной Галиции в главной массе — русские и благожелательно относятся к нам, тем более теперь, когда преследование Австрийским правительством всего русскаго достигло наивысшего напряжения. Австрийское правительство видимо также считает восточную Галицию более вероятным театром войны, ибо в этой части сосредоточены вся ее оборонительныя соружения, тогда как в западной Галиции имеется только одна крепость Краков» [Филатович, 1913, с. 8]. В этом же году российское правительство стало принимать активные меры (не без сомнений) по финансированию «русского дела» в Галиции через поддержку галицко-русских обществ [Бахтурина, 2000,с. 54], потому что, как писал Бобринский, «работая в Галиции, мы работаем для нашей национальной самообороны» [Клопова, 2010, с. 88].

Образ региона как *terra irredenta*, где простое крестьянское русское население осталось без элиты, начал распространяться в русской периодике в 1914 г. В первые месяцы войны более 50 книг и брошюр были посвящены Галиции как части общеславянской освободи-

тельной войны под скипетром Романовых и ее «освобождению» от австрийского гнета [Von Hagen, 2007, p. 19–20]. Авторами этих работ были не только публицисты и писатели национально-консервативного направления. Данные тексты были проникнуты риторикой «внутреннего мира» и национального единения во время войны.

Представление о территории и населении основывалось на этносоциальных особенностях Галичины. В большинстве работ идея о Галиции как о «самой коренной русской области» — формула задуманная Галицко-русском обществом и потом использованная публицистом С. Соловьевым — стала широко распространяться. Однако встречались и интересные исключения, которые подчеркивали силу украинского движения в регионе.

«Русины, населяющие Восточную Галицию, это — те же малоруссы или украинцы, какие живут и в наших юго-западных губерниях — Подольской, Волынской и Люблинской. Говорят они тем же самым наречием, но, благодаря долгой совместной жизни с поляками, в их языке чувствуется некоторая примесь польских слов» [Библиотека Великой Войны,1914, с. 7].

Кесарь Белиловский, поэт и переводчик с украинского языка, в лекции, прочитанной в Феодосийской мужской гимназии 19-го февраля 1915 г., рассматривал использование слова «Русь» в галицком контексте: «Названия: Русь, русины, россияне удержались только в Великой Руси и в Галиции. Вот почему “руський” у малоросса означает *великорусс*. Галичане-же, одинаково с москвичами, всегда называли свою землю *Русью*» [Белиловский,1915, с. 20]. Белиловский так писал о населении Галичины: «<...> кто-же они, эти галичане, за которых льется кровь наших сынов и братьев, те-ли самые *русские*, что и мы, или другой славянский народ? На этот вопрос один только может быть ответ: да, это *Русь, зарубежная Русь*, в течение 600 лет находившаяся под игом, а ныне священнейшей жертвой — кровью наших братьев воссоединяемая с Великой Святой Русью» [Белиловский,1915, с. 25–26].

Конечно, странно читать у переводчика Шиллера и Гете на украинском языке и Франко на русском такие предложения, как «Слово *украинец* точно также ничуть не обозначает и не может обозначать в этнологическом, *племенном* смысле народности, как и слова: запорожец, кубанец» [Белиловский, 1915, с. 29].

Задача националистической периодики состояла в полной русификации области с помощью местных русофилов. Тема истории, т. е. принадлежности Галицкого княжества в системе государств Руси, стала центральным сюжетом. В каждой книге, брошюре, памфлете исторические события, которые происходили в регионе, были встроены в рамки российской истории, а также описывалось отделение «колыбели славянства» от русских земель как страдание для простого народа. Причинами мучений галицкого населения стали завоевание и господство Польского королевства.

Полонизация православного дворянства в Галиции и заключение унии с Римской церковью находились в центре националистического дискурса, а «гнет шляхты» представлялся причиной всех страданий галицких крестьян. Свержение ига стало первостепенной задачей русской власти в осуществлении пропаганды.

Острая критика польского владычества и «историческое право» России в Галиции вступали в противоречие с обещанием воссоединения польских земель. В сочинениях, посвященных новой области, авторы предлагали разделить регион на Восточную и Западную части, что составляло историческую задачу русофилов и рутенов с 1848 г. Роль греко-католического духовенства подчеркивалась довольно противоречиво в работах, посвященных «новой жизни» региона: униатский священник представлялся либо ярым врагом и предате-

лем Святой Руси, либо хранителем старых народных и православных традиций, испорченных польско-австрийским игом. Это противоречие можно объяснить конфликтами внутри Греко-католической церкви в 1860–1880-х гг., когда о. Иоанн Наумович, автор программной статьи «Взгляд из будущего» в журнале «Слово», активно выступал за приближение и возвращение униатов в Русскую православную церковь, но уже в конце XIX в. большинство духовенства стало поддержать украинские движения [Himka, с. 25 и с. 101–105]. Митрополит Андрей Шептицкий был арестован во время захвата Львова, и отправлен в глубь Российской империи, но такие меры не помогли «воссоединить» унятов, менее 1% населения приняло православие [Бахтурин, 2000, с. 167].

Проблема исторического и культурного наследия региона, между поляками и «русскими», стала центральной. Говоря о Львове, важном польском культурном центре с Оссолениумом и Университетом, авторы отмечали его «русское происхождение» и основание русским князем Даниилом Романовичем в середине XIII в. В книге В.А. Верещагина «Старый Львов», галицкий город представлен древним центром русской цивилизации, сохраняющим, по мнению автора, свой русский образ вплоть до 1569 г., т. е. до Люблинской унии [Верещагин, 1915, с. 7–16]. Напомним, что большинство населения города в 1914 г. (и до Великой отечественной войны) было польским.

Этот характер городов Галичины и Восточной Европы описал Льюис Нэмьер в очерке «Революция интеллектуалов» [Namier, 1992]. Поэтому уже в довоенных работах авторы пытались выделить «руський» этнос большинства крестьянского и «простонародного» населения [Рапопорт, 1912; Дружковский, 1914]. В галицких деревнях уже в 70-х гг. XIX века появились кооперативы и читальные залы. Общества «Просвита» и им. Качковского боролись за гегемонию на данной территории.

Таким образом, дискурс о Галиции был буколический: крестьяне, в глазах современных авторов, а также племена лемок и гуцул сохранили «русскость». Часть населения, которая жила в Карпатских горах, вызывала пристальный интерес у русских интеллектуалов.

Идея единства русского народа, от Карпатских гор до Камчатки, в то время была распространена в Лемковщине. Русские националисты видели в лемках и гуцулах потомков «русских галичан», которые сбежали от польского захвата в XIV и XV вв. Образ религиозного, верного, мужественного и простого горца приобрел большую популярность в 1914–1915 гг., он представлялся последним героем Руси, сопротивляющимся пангерманизму и полонизму.

Какие критерии использовались для определения русской национальности в крае? Дмитрий Вергун, важная личность Галицко-русского общества, заметный публицист и писатель, в работе, посвященной своему родному региону [Вергун, 1915], перечисляет четыре условия:

«1) Православное вероисповедание (в Буковине сплошное, и отдельные общины в Галиции и Венгрии).

2) Восточный обряд греко-католической церкви.

3) Обиходное местное русское наречие в части населения, официально приписанного к римско-католической церкви в Восточной Галиции.

4) Сознание принадлежности к “старой вере” (o-hid) среди омадьяренного населения северо-восточной Венгрии и название “orosz” (русский)» [Вергун, 1915, с. 11].

Вергун пропагандировал активную борьбу против «чужеродных элементов среди русского населения» [Вергун, 1915, с. 14], но, несмотря на это, он видел, как «за шесть веков своего отчуждения от общей матери России народ этот сохранил достояние предков и сбе-

рег в главных чертах русский облик края до зари нынешнего освобождения» [Вергун,1915, с. 15].

Товарищ-председатель Галицко-русского общества рассматривал нацию как «тело», а славянство как «живующий организм». Это биологическое восприятие — очевидное в работах поэта «Немецкий Drang nach Osten в цифрах и фактах» [Вергун, 1906] и в брошюре о родной Галиции. Кровь и тело, физика и география — ключевые слова в сочинениях Вергуна: «(Галиция) теперь, после пролитой на ней русской крови, стала многим родной и близкой» [Вергун,1915, с. 63]. География и топонимика составляли основу дискурса Вергуна: Карпаты — стена России от немецкого мира; существование города Ярославль, Городок и Звенигород в Галиции и на территории России.

Вергун использовал категории и критерии, которые можно найти в дискурсе европейского национализма в начале XX в. и особенно среди представителей пангерманистических кругов. Кроме использования научного дискурса галицко-русский писатель обращался к эмоциям и «нерациональным силам»: «Инстинкт собирания русской земли, сознание необходимости племенного единения для сохранения силы, составляет отличительную черту уроженцев Карпатской Руси...» [Вергун, 1915, с. 21].

Таким образом, «самая коренная русская область» (выражение уже использовалось в начале деятельности Галицко-русского общества) «возвратилась» к России, и слово «возвращение» использовалось намного чаще, чем «воссоединение». Российская империя вступила в Первую мировую войну как защитница Сербии и всех славянских народов.

Лозунг защиты и свободы малых народов Восточной Европы от поработителей занимал важное место в заявлениях Антанты. Россия также с обращением Николая Николаевича младшего обещала воссоздать Польское государство под скипетром Романовых. Кроме того, карту национальных меньшинств разыгрывали Берлин и Вена, поддерживающие проекты создания Украины и Польши. Вергун пишет об этом так:

«Габсбурги и Гогенцоллерны в последнее время разделили между собою оба Пьемонта. Гогенцоллерны, по-видимому, не прочь были содействовать восстановления саксонской династии в Польше <…> Габсбургам же предоставлялось осуществление мазепинской идеи <…> Тяжелое наследие принимает на себя русская власть ныне в Галиции, этом кладбище двух неудавшихся Пьемонтов» [Вергун, 1915, с. 62–63].

По мнению Вергуна, украинский вопрос искусственный, он — плод пангерманизма. Вергун опредлагал разделить Галицию на две части: «Восточная часть Галици, древняя “Галичина” воссоединится теперь навек с Россией, а западная будет в свое время присоединена к объединенной Польше. Все это сулит новый расцвет как русскому, так и польскому Прикарпатью» [Вергун, 1915, с. 64].

Книги и брошюры о Галиции были путеводителями для солдата, кратким курсом истории региона для школьника и студента, *instant-book* для гражданской сферы: но краткое время захвата области не могло сформировать образ *terra irredenta,* который был, например, в Италии [Banti, 2005]. Однако темы национального возрождения государства и нации как «тела» никогда не были такими распространенными, как в период соединения региона с Россией. В периодике и печати этот факт находит другие подтверждения, а также расширяет интерпретации роли России, ее общества и интеллигенции в Первой мировой войне.

Список литературы

Бахтурин А.Ю. Политика Российской империи в годы Первой мировой войны. М., 2000.

Белиловский К.А. Галиция, ее прошлое и настоящее. Феодосия, 1915.

Библиотека Великой Войны. № 3: Галиция и Россия. М., 1914.

Верещагин В.А. Старый Львов. Пг., 1915.

Вергун Д.Н. Немецкий Drang nach Osten в цифрах и фактах. Вена, 1906.

Вергун Д.Н. Что такое Галиция? Пг., 1915.

Дружковский Вс. Современная Галиция. Екатеринослав, 1914.

Галиция и Россия. М., 1914.

Галицко-русское благотворительное общество в С.-Петербурге. СПб., 1903.

Галицко-русское благотворительное общество в С.-Петербурге. СПб., 1905.

Клопова М.Э. Защита на Днестре и Сане: Русское дело и его судьба накануне Первой мировой войны // Родина. 2010. № 3. С. 88–93.

Отчет о деятельности Галицко-русского благотворительного общества в С.-Петербурге за 1913–1914 гг. СПб., 1914.

Рапопорт М. Червонная Русь. СПб., 1912.

Филатович Б. Галиция — место возможного столкновения с Австрией. СПб., 1913.

Banti A.M. L'onore della nazione: Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra. Torino, 2005.

Himka J. Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek-Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867–1900. L., 1999.

Namier L. 1848: The Revolution of the Intellectuals. L., 1992 (1-st ed. 1944).

Von Hagen M. War in a European Borderland. Occupation Plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. Seattle; London, 2007.

Wolff L. The idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford, 2010.

Л.Ф. Кацис

Владимир Жаботинский и Д. Янов в газете «День» 1912–1913 гг. (К столетию Балканских войн как пролога Первой мировой)

Празднование, если это можно так назвать, 100-летия начала Первой мировой войны, заставляет задуматься о том, как мир пришел к этому противостоянию. И здесь не обойтись без истории Балканских войн 1912–1913 гг.

Не хотелось бы, чтобы в этой череде малозаметным эпизодом остались две Балканские войны, ставшие кровавым прологом Первой мировой бойни. Однако через сто лет после событий естественно возникает вопрос: а что из статей и размышлений столетней давности в условиях новой европейской реальности расширения Евросоюза может представлять интерес сегодня?

На наш взгляд, это те работы (в нашем случае) русских журналистов, которые наиболее глубоко и подробно вникли в детали тогдашней политической жизни «больного человека Европы» и чьи оценки и предсказания оказались (настолько, насколько это возможно через сто лет!) оправданы историей после двух мировых войн, после образования и распада как СССР, так и титовской Югославии, после краха разного рода попыток славянских объединений и т. д.[1], либо такие эпизоды размышлений политологического свойства, которые становятся актуальными именно сейчас, когда навоевавшаяся в двух мировых войнах Европа настойчиво пытается объединиться.

Вот пример из статьи в «Дне», автора которой мы назовем чуть позже: «…румынскому правительству, очевидно, «обещан», в случае русско-австрийской войны юг Бессарабии, где живут около 900 000 молдаван. Это очень серьезная угроза для России. Положение молдаван, конечно, не идет ни в какое сравнение даже с положением трансильванских румын. Все-таки в Семиградии есть румынские школы, румынская проповедь в церквах, даже нечто вроде церковной автономии. В Бессарабии все русифицировано, и школа, и церковь. У нас за румынской печатью не следят и не знают, как там интересуются Бессарабией и до чего ненавидят Россию. Когда общественная ненависть совпадает с правительственной враждебностью, то положение создается далеко не шуточное. Румынскую армию знатоки давно считают не хуже болгарской; Румыния значительно больше Болгарии и может выставить, по некоторым сведениям, 400 тысяч штыков, не считая других видов оружия. В одиночку эта сила России не страшна, но в одиночку Румыния не пойдет ссориться с Россией. Но, как придаток к австро-венгерской и германской армии, Румыния есть сила крупная и грозная. Здесь надо учесть не только голую арифметику (хотя и арифметика сама по себе внушительна): учесть надо и настроение войск. Румыны, если придется, будут воевать против России с тем же подъемом, что болгары против Турции».

Это Владимир Жаботинский. Газета «День» 1 декабря 1912 г. Здесь стоит вспомнить и близкую Первую мировую, юбилей которой мы сейчас отмечаем, и Вторую мировую, и даже

сегодняшний день. Другое дело, что состояние сегодняшней румынской армии пока, к счастью, никто не проверял. Но сам по себе давний прогноз никуда не делся, и «работает»[2]. При этом сам Жаботинский еще за год до всех событий 1 января 1912 года опубликовал в «Одесских новостях» свой прогноз политических событий ближайших лет. А в 1922 г. перепечатал его в берлинском сборнике «Фельетоны», указав позже в третьей не опубликованной до сего дня главе «Повести моих дней», что ему удалось предсказать все события «наполовину правильно, наполовину — нет».

Есть и еще несколько обстоятельств, которые заставили нас обратиться к этой проблематике. С 2007 г. в Минске под эгидой общества русско-еврейской интеллигенции «Ковчег» (Москва) и Института Жаботинского (Тель-Авив) издается Полное собрание сочинений этого публициста, писателя, сионистского деятеля[3]. Выпущена двумя изданиями его библиография, где русские статьи до 1918 г. составляют около 1000 номеров[4]. Однако и сейчас находятся десятки органов русской печати, где активно публиковался Жаботинский[5]. Среди таких органов печати и либеральная петербургская газета «День».

Здесь можно найти статьи Жаботинского об убийстве русского премьера Столыпина террористом и осведомителем охранки Дмитрием Богровым[6], о фальсификации выборов в IV Государственную думу в Одессе, «заметки еретика» в защиту свободы изображения тела и любовных утех, а также статья о проблемах членства в Думе духовенства.

Среди всего этого мы находим серию статей о проблемах предоставления Сербии свободной адриатической гавани, демилитаризации возможной балканской железнодорожной магистрали, проблемах взаимоотношений между Россией и Австрией после принятия решения о так называемой Сербской гавани, описание ситуации вокруг «Монастыря и Салоник» или статью о сомнительной позиции Греции в Союзе — «Черное пятно балканского союза».

Эти статьи сами по себе очень интересны, остры, полны точных исторических предсказаний. И если бы лишь они печатались на страницах «Дня», то ничего не было бы проще, чем перепечатать их сегодня, прокомментировав пророчества, сбывшиеся и не сбывшиеся сегодня.

Однако на страницах той же газеты печатается еще один автор, очень близкий Жаботинскому по стилю, политической позиции, способам сбора материала и т. д. Это некто Д. или Л. Янов.

Но достаточно сравнить статьи В. Жаботинского «Румыния» и Д. Янова «Королевство Черной горы», чтобы, казалось бы, никаких сомнений в авторстве В. Жаботинского не осталось.

Вот отрывок из этого текста:

«Как бы ни были, однако, сомнительны успехи Черногории в этой войне, несомненно, что она получит свою долю при разделе турецкого наследства. Князь Николай пытается уже сейчас использовать стесненное положение Сербии и требует для себя Ипека и Приштины. Но пройдет ли будущая граница Черногории немного дальше или ближе, она во всяком случае будет отныне непосредственно примыкать к Сербии: санджак, служивший австрийско-турецким клином между обоими королевствами, будет теперь разделен между ними. И можно теперь уж предсказать, что расширение границ окажется фатальным для государственной самостоятельности Черногории.

Увеличение владений Николая в полтора или даже два раза еще не создаст, разумеется, условий самостоятельного экономического развития и не избавит страны от перспективы

превратиться в итальянскую колонию, начало чему положено при активном содействии князя. Эксплуатация единственной в стране железной дороги, как и управление монополией, находится в руках итальянцев. Народные массы относятся здесь к Италии с такой же ненавистью, с какой сербы относятся к Австрии. Разумеется, создание балканской федерации с общей таможенной линией и общей системой армии и флота разрешило бы в числе многих других вопросов и черногорский. Но на пути к общебалканской федерации стоят большие, прежде всего династические препятствия, и сейчас трудно еще предсказать, как они будут преодолены. Поэтому, вопрос о слиянии Черногории с Сербией выдвигается на первую очередь.

Черногорцы нимало не заинтересованы в сохранении своего особого государства, которое так мало дает им и так много берет у них. Они естественно тяготеют к Сербии, где живут люди того же языка и той же нации, но живут лучше, — богаче и культурнее. Черногорская оппозиция решительно стремится к полному слиянию с Сербией. Но до войны непреодолимым препятствием к этому был санджак. Теперь юго-западная граница Сербии совпадает с северо-восточной границей Черногории, а значит, исчезает последняя объективная причина самостоятельного существования этой последней. Остается лишь обнаженный династический интерес Николая Негоша.

Сумеет ли он отстоять себя? Это представляется более чем сомнительным. Он будет иметь против себя оппозицию внутри страны и всю Сербию — сейчас же, за порогом, Сербия переживает теперь глубокое разочарование — после крушения преувеличенных надежд. Битоли отойдет к болгарам, по-видимому, также Прилеп и Велес. На Адриатике Сербия получит лишь торговый доступ к нейтрализованному порту. Но на одном разочаровании дело не остановится, немедленно же пойдут поиски компенсаций. Нет ничего естественнее, как направить их по линии наименьшего сопротивления и вместе с тем по национальной линии — в сторону Черногории. Достигнуть на этом пути решительных результатов будет вопросом самосохранения для правящей в Сербии радикальной партии. Рука об руку с радикальной партией будет работать черногорская оппозиция. Условия для нее будут теперь несравненно более благоприятны: после этой злосчастной для Черногории войны, недовольство в стране чрезвычайно обострится, а близкая сербская граница будет означать для оппозиции не только надежное прикрытие тыла, но и арсеналы, и интендантство: из Сербии будут идти и денежные средства, и литература, и все другие “аргументы”, в которых окажется нужда... Королю Николаю — 72 года. Он еще “врло як” (очень крепок), как говорят о нем черногорцы. Но эта борьба будет ему не под силу. Помимо могущественных политических врагов против него еще более могущественные потребности экономического развития. Добром или худом, но Черногория объединится с Сербией. Сербы получат выход к морю, черногорцы освободятся от непосильной тяжести своей государственности, на Балканах станет одним очагом интриг меньше.

Д. Янов

День, СПб. № 3. 4.01.1913»

А вот кусок текста Жаботинского с политическим выводом из статьи «Сербская гавань»: «Положение Сербии без гавани чрезвычайно тяжелое, этого никто не отрицает. Но остаемся на почве национального принципа, во имя которого заварена вся балканская каша, и тогда это положение нам явится в другом свете. Сербский народ как таковой отрезан от моря.

Оставим в стороне далматов, ограничимся только независимыми сербами; тут перед нами сербская Черногория со своим портом, вполне пригодным для коммерческих целей. Конечно, это Черногория, а не Сербия, а между Цетинье и Белградом нередко вспыхивают вражда и недоверие. Существование двух сербских государств — одно из горших несчастий сербского народа. Но при чем тут албанский народ? Чем он-то виноват. С какой стати он должен платиться, с какой стати резать его на части только потому, что сербский народ разрезан на две части по собственной воле, или, по крайней мере, по воле его королей? С албанской точки зрения на сербскую жалобу возможен только один ответ: если вам нужен доступ к морю, то столкуйтесь с вашими родными братьями в Черногории, заключите с нею таможенный союз, или хоть завоюйте ее; делайте с этим сербским побережьем, что вам угодно, но не трогайте албанского побережья. И когда албанцы это говорят, или даже когда от их имени говорит граф Берхтольд, то в этом звучит правда, убедительная для всей Европы. Ибо войну, начатую во имя национального принципа, нельзя кончать насмешкой над национальным принципом.

Для нас, посторонних зрителей, тут нет, по существу, никакого конфликта между законными интересами Австрии и Сербии. Тут есть конфликт между Сербией и Албанией. Если нужен компромисс, то он, во всяком случае, не должен выразиться в отторжении албанской земли. Сербии нужен порт на Адриатике и железная дорога от берега до Ниша. Это может быть достигнуто арендой порта и нейтрализацией железнодорожной линии, под гарантии великих держав. Если правда, что Сербия в этом деле преследует только экономический интерес, то этого для нее достаточно. Выше приведены отзывы, доказывающие, что одно только присутствие адриатической железной дороги, безо всяких интернациональных гарантий, равносильно было бы полной эмансипации сербской торговли. Нейтрализация пути и аренда гавани придадут этой эмансипации полную устойчивость. А вопрос о сербской гавани в национально политическом смысле есть “спор славян между собою”, спор между Белградом и Цетинье, — спор в отдаленном будущем между Белградом и Веной, но не между Белградом и Эльбасаном. От Сам-Джованни до Превезы берег Адриатики принадлежит албанцам, и они не могут и не должны платить по сербском счету.

День. 21 ноября 1912 № 50».

Мы отдаем себе отчет в том, что одножанровые тексты, такие как политические проработки ситуации или аналитика, вполне могут быть похожи, но постановка вопроса хотя бы о взаимодействии двух публицистов в любом случае необходима.

На этом можно было бы и остановиться, но Д. Янов оказался автором еще и довольно странного то ли рассказа, то ли очерка об истории «одной сербской бригады». Вопрос жанра может быть решен при сравнении реальности конкретных событий с их описанием, но это нас сейчас не очень занимает.

Куда интереснее, что «Д. Янов», занимающий в своих статьях совсем не сербскую, а откровенно объективистскую, но ориентированную на русского читателя позицию, выражает неудовольствие тем, что журналистов не пустили на боевые позиции и не дали им пройти путь вместе со своей армией.

Мы не знаем, как это выглядело в Сербии, но знаем, как это выглядело в России и как все это касалось лично Жаботинского как раз в 1912–1914 гг., когда он был корреспондентом русских газет в странах, но не в зонах боевых действий. Ведь в 1912 г. русское правительство резко ограничило возможность присутствия в войсках корреспондентов, которые имели проблемы с русскими Охранными органами. К Жаботинскому, арестованному в Одессе в

1902 г. и отданному под надзор полиции, это относилось в полной мере. А уж об эмигранте Троцком и говорить нечего.

Не будем забывать, что к началу 1910-х гг. Жаботинский сотрудничал с Информационным отделом русского МИДа в связи с организацией еврейских боевых соединений в тылу турок, которым тогда принадлежала Палестина. В этом интересы сионистов и сербов совпадали: ослабления Османской империи хотели и те, и другие. А без распада Великих Империй не было бы ни свободной Сербии, ни, естественно, еврейской Палестины. Недаром мечта сионистов исполнилась только в 1917 г., одновременно с Февральской революцией в России, когда уже перед Октябрем была принята так называемая Декларация Бальфура[7].

Кроме всего прочего, Жаботинский был крайним федералистом, т.е. человеком, считавшим, что любой язык и этнос, независимо от размеров, имеет право на свое национальное образование. Эта идеология восходила на русской почве к украинскому политическому мыслителю М. Драгоманову, которого Жаботинский чтил.

Поэтому не должен удивлять нас дифференцированный подход Жаботинского и «Янова» к проблемам мельчайших национальных и религиозных групп на Балканах.

Однако однозначному приурочению Жаботинскому текстов «Д. и Л. Янова» мешает одно обстоятельство. Это известный псевдоним Л.Д. Троцкого, связанный с местом его рождения Яновкой. Тексты эти входят в соответствующий том его собрания сочинений[8], а там есть масса статей по национальному вопросу. Понятно, что и «Балканский вопрос» занимал тогда десятки ведущих и мелких русских журналистов. Интересно, что диалог Жаботинского и Троцкого, каким предстает чередование публикаций двух авторов, никогда, насколько нам известно, не становился предметом специального изучения. Более того, даже когда авторы касаются этих статей Троцкого в специальных посвященных им главах (Юрий Фельштинский, Георгий Чернявский или их предшественник Дмитрий Волкогонов)[9], то их не интересует тот, кто печатался в той же газете чуть ли не в очередь с Троцким. И вновь напомним, что ни при каких условиях Троцкий не мог претендовать на место корреспондента в войсках.

И еще одна деталь. Далеко не все статьи Жаботинского по Балканскому вопросу печатались впоследствии в «общей» рубрике с Троцким в газете «День», а масса статей «Янова» или «Антид Ото» (Троцкого) печатались впоследствии, равно как и до встречи в «Дне», в «Киевской мысли». А чуть позже оба автора печатались уже в «Одесских новостях» и опять на подобные темы. И статьи Троцкого далеко не всегда так похожи друг на друга со статьями Жаботинского, как приведенные нами здесь. И нам ни разу не пришло в голову делать это при изучении «Киевской мысли», а Жаботинского хотя бы под псевдонимами Attalea или «В. Владимиров» да и некоторых других, там найти можно. Наконец, и «Янов», и «Антид Ото» «Киевской мысли» не раз полемизировали с Жаботинским (общую проблему Жаботинский–Парвус–Троцкий мы пока оставим до лучших времен). Поэтому «балканский» эпизод именно в газете «День» (которая и сама была «филиацией» «Киевской мысли» по составу большинства авторов) заставляет задуматься о причинах столь, по нашему мнению, поразительной близости текстов двух далеко не всегда сходных авторов. Это могла быть и редактура кого-то из них, или третьего лица, и недолгое схождение мнений и позиций по конкретному вопросу в конкретное время и т.д.

Вопрос этот может быть решен при текстологическом анализе рукописей Троцкого и газетных публикаций. Но поразительной близости друг к другу некоторых текстов Троцкого и Жаботинского это не отменяет. А Жаботинский не так уж мало печатался в «Дне» безо вся-

кой связи с Балканами. В то же время его напарник больше, насколько нам известно, в «Дне» не засветился и имя «Янова» очень быстро исчезло из рекламных объявлений.

И два замечания в заключение. Повесть «Д. Янова»–Троцкого, входящую в Собрание его сочинений и допечатывавшуюся в «Киевской мысли» стоит сопоставить с текстами подобного рода, принадлежавшими перу «В. Владимирова», как мы показали, В. Жаботинского[10]. Одна из повестей «Три побега» печаталась в иллюстрированном приложении как раз к «Киевской мысли».

Сравнение стилистики и тематики этой прозы ждет нас впереди. Наконец, именем «Л. Янов» подписана странная книжка «Северная мелодия (сказка любви)» — поэтическое переложение саамской (по указанию З. бар-Селла) легенды стихом «Гайаваты» с внутренними цитатами из Горького и его «Песни о Буревестнике»:

Прилетел и кочкам гордый —
Прилетел и взвился к небу,
И, кружась под самым солнцем,
Пел молитву, — песни Бейве.
Прилетели чайки — сестры —
Что когда-то были пеной…
Прилетели и гагары —
С криком к озеру примчались…

Книга вышла в свет в Киеве в 1912 г.

Этого автора мы не знаем. Но предположить здесь творчество Троцкого трудно.

В любом случае, статьи Жаботинского и Троцкого (Янова) теперь стоит изучать в их единстве, а проблема атрибуции, поставленная или намеченная здесь, требует своего разрешения в любую из сторон, не исключая «Dubia».

[1] *Кацис Л., Одесский М.* «Славянская взаимность»: модель и топика: Очерки. М., 2011.

[2] *Кацис Л.* Первая мировая война в репортажах В. Жаботинского в «Русских ведомостях» и в мемуарных книгах («Слово о полку» и «Повесть моих дней») // Русская публицистика и периодика эпохи первой мировой войны: политика и поэтика: Исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 445–469.

[3] *Жаботинский В. (Зеэв).* Полн. собр. соч.: В 9 т. Минск, 2007–2012. Т. 1–4 (издание продолжается).

[4] The Writings of Ze'ev Jabotinsky. A Bibliography (1897–1940) / Ed. by M. Graur. Tel-Aviv, 2007. P. 1–177 (N 1–1010).

[5] См., например, наши работы, сопровождающие Собрание сочинений Жаботинского: Что такое «полный Владимир Жаботинский»? К проблеме атрибуции псевдонимных текстов раннего Жаботинского из журнала «Жизнь» (1901) // Альманах Института компаративистики. Т. 26: Латышско-еврейско-русский культурный диалог. Вып. 2: Еврейский текст в европейской культуре — II. Daugavpils Univ., 2012. С. 184–193; Vladimir (Zeev) Jabotinsky and His Recently Discovered Works: Problems of Attribution and Analysis // Russian Jewish European Culture 1918–1937. Studies in Judaica Series. Vol. 13. Brill; Leiden, 2012. P. 417–436; «Бездна» Леонида Андреева: Атрибуция пародийных откликов 1903–1929 года // Вопросы литературы. 2012. № 5. С. 356–400; О псевдонимах раннего Владимира Жаботинского в журнале «Освобождение» (1903–1905) // Русский сборник X. М., 2011. С. 132–182; «В. Владимиров» в судьбе и творчестве Владимира Жаботинского, 1902–1907 // Жаботинский и Россия: Сб. трудов Междунар.

конф7 «Russian Jabotinsky: Jabotinsky and Russia», посвященной 130-летию В.Е. Жаботинского (Еврейский университет в Иерусалиме, июль 2010) / Ed. by L. Katsis, H. Tolstoy. Stanford Slavic Studies. Stanford, 2013. Vol. 44. P. 34–67 и мн. др.

[6] *Кацис Л.* Моральные проблемы индивидуального террора от убийства Плеве до гибели Столыпина: Точка зрения Владимира Жаботинского // Ист. вестник: История — свидетельница времен. Т. 4 [151]. М., 2013 (июнь). С.100–135.

[7] *Schneer J*. The Balfur Declaration. The origins of the Arab-Israeli Conflict. L., 2011.

[8] *Троцкий Л.* Соч. Сер. II: Перед историческим рубежом. Т. VI: Балканы и Балканская война. М.; Л., 1926. (http://www.rwp.ru/index.html)

[9] *Фельштинский Ю., Чернявский Г.* Лев Троцкий. Революционер. 1879–1917. http://books.google.ru/books?id=hBxfVRI_B3oC&pg=PT350&lpg=PT350&dq=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%22%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%22+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&source=bl&ots=Ao53l- Более того, в биохронике Волкогонов указывает: «1912–1913 годы. Работа Троцкого военным корреспондентом “Киевской мысли” на Балканах», пропуская газету “День” вообще, хотя упоминает 6-й том Собрания сочинений Троцкого, где, скажем от себя, эта газета упомянута. Однако никаких упоминаний соучастника рубрики Жаботинского в известных нам источниках, повторим вновь, мы не встретили. http://lib.rus.ec/b/382732/read (Троцкий. Книга 1 (fb2) | Либрусек).

[10] «В. Владимиров» в судьбе и творчестве Владимира Жаботинского, 1902–1907 // Жаботинский и Россия: Сб. трудов Междунар. конф. «Russian Jabotinsky: Jabotinsky and Russia», посвященной 130-летию В.Е. Жаботинского (Еврейский университет в Иерусалиме июль 2010) / Ed. by L. Katsis, H. Tolstoy. Stanford Slavic Studies. Stanford, 2013. Vol. 44. P. 34–67.

Указатель
публикуемых статей русских писателей

	Текст	Комментарий
Федор Сологуб		
Мира не будет	30	120
Тень трагедий	34	125
Театр кроликов	37	126
Выбор ориентации	39	128
Отечество для всех	42	130
Мировая громада	44	130
Жаль Болгарию	45	130
Все вместе	47	131
Порог житницы	48	132
Завоевание правды	49	133
Суд людской	51	133
Пропаганда действием	53	134
Путь вверх	54	135
Единственные сыновья	55	135
Скифская стратегия	56	135
Гадания	58	136
Бодрая сладость	59	136
Японский Гамбург	60	137
Цена одному	62	138
Под спудом	64	139
До Урала	66	141
В.А. Мгебров	68	142
Обывательское	69	143
Два пути	70	144
Ура!	73	144
Война после войны	74	145
Удел поэта	76	146
Хочу и верю	78	147
Преображение	80	148
Дерзание до конца	83	149
Международное братство	86	149

Мятежные музы	88	150
Беседа с друзьями	91	150
Впереди всех	93	151
Умерщвление слов	95	151
Над классами	97	152
Государственное младенчество	98	153
Древняя история. Разговор	100	154
Развал	101	155
Сонная одурь	104	157
А все-таки!	106	157
Солоно	108	158
Прямой человек	110	158
Мистика войны и утопия вечного мира	111	159

Андрей Белый

Гремящая тишина	174	210
Горизонты сознания	178	215
Кризис жизни	182	218
Природа	186	222
У немецкой границы	189	226
Современные немцы	193	228
О злободневном и вечном	197	231
Восток или Запад	201	233
Мертвые города	203	237
Петроград и Москва в освещении прессы немецкой Швейцарии	207	239

Валерий Брюсов

Корреспонденции в газете «Русские ведомости». 1914

В Вильне	265	388
Рассказы очевидцев	267	389
Проездом через Варшаву	268	389
Бои под Люблином	271	390
В варшавских госпиталях	272	391
Полтораста верст по Восточной Пруссии	274	391
Тени (Письмо из Варшавы). <Телеграмма>	277	391
В Северной Польше	280	393
Русско-германская граница. Варшава	281	393
Поездка в Пултуск. <Телеграмма>	281	393
К бою под Красником	286	394
Поездка в Ярослав	287	394
Из Варшавы в Ярослав. I. Люблин	288	394
Безработица в Польше	289	395
Из Варшавы в Ярослав. II. В разоренной стране	291	395
Из Варшавы в Ярослав. III. По Галиции	295	395

Из Варшавы в Ярослав. IV. Ярослав	300	396
На позициях	303	396
Из Варшавы в Ярослав. V. Обратный путь	305	396
Тревожные дни в Варшаве	308	397
Немцы над Варшавой	309	397
На северном фронте	311	397
После победы. I. Поле битвы	318	398
После победы. II. Основа наших побед	321	399
После победы. III. На полях битв под Варшавой	326	399
В Лодзи	331	399
Германия на двадцать дней. I. Впечатления от поездки в Лодзь	332	400
Германия на двадцать дней. II. История и описание Лодзи	335	400
Немецкая цензура. (По рассказам сотрудников лодзинских газет)	339	400
Из лодзинских впечатлений	342	401
Фантастика войны	344	401
В тылу боя. (Поездка в Лович)	350	403
«Во что бы то ни стало»	354	403
Ночь в мертвом городе	357	404
О «соколах»	362	404
Клубы дыма	367	405
На театре военных действий. (День в пути)	370	405
Письма врагов и к врагам	373	405
Мимоходом. I. Опять аэропланы	381	406
Мимоходом. II. На питательном пункте. III. В Плоцкой губернии	383	406
Мимоходом. IV. Один из героев	384	406
Корреспонденции в газете «Голос»		
Варшава в дни войны	407	449
Рассказ беженцев. Письмо из Варшавы	409	450
На границе	411	451
На северном фронте	413	451
В русской Галиции	415	452
Грозные дни Варшавы	420	453
Паломничество на поля битв	423	454
На левом берегу. ‹I.›		
По личным впечатлениям и рассказам очевидцев	429	454
На левом берегу. II	432	454
На левом берегу. (Окончание)	435	455
Бои под Ловичем. (По моим впечатлениям)	438	455
Гурдов	441	455
На улицах Перемышля	444	456
Корреспонденции в газете «Русские ведомости». 1915		
Мимоходом. V. Неделя о подарках	457	561
Немецкие оправдания	460	561
С подарками. Поездки на передовые позиции. I. Ночной бой	462	561

С подарками. Поездки на передовые позиции. II. В сфере огня	464	562
С подарками. Поездки на передовые позиции. III. Походный госпиталь	468	562
Страдания и величие Бельгии. I; II	471	562
Страдания и величие Бельгии. III; IV	474	563
Два фронта	478	564
Мимоходом. VI. Ощущение войны	482	564
Мимоходом. VII. Летчики	486	565
Мимоходом. VIII. Оборона северного фронта	489	566
Современная и старая крепость	491	566
В Праснышском районе	492	567
Штабс-капитан Гурдов	496	567
К Праснышскому сражению	499	567
Литература немецких окопов	501	568
В обстреливаемом городе. (26-го февраля)	504	569
Памяти мечтателя. (Новые данные из жизни шт<абс>-кап<итана> Гурдова)	508	569
Этюды с натуры. I. В штабе	511	570
Этюды с натуры. II. В лесу	513	570
Мимоходом. VIII. Бывший театр	514	570
Мимоходом. IX. Герои Прасныша	516	571
В Перемышле. Варшава	518	571
Взятый Перемышль. <19-го марта>	518	571
Взятый Перемышль. <22-го марта>	523	572
Из поездки в Перемышль. I	527	573
Из поездки в Перемышль. II	532	574
Мимоходом. X. Порфирий Панасюк	536	574
Этюды с натуры. III. В штабном городке	540	574
Этюды с натуры. IV. Солдаты на отдыхе	543	575
Литература в Перемышле	545	575
Возрождение старины	549	576
Страна драконов и василисков	551	576
Мимоходом. XI. Вести из-под Шавлей	554	576
Окровавленная Бельгия	556	577

Леонид Андреев

В сей грозный час	586	617
Наши	590	618
Любите солдата, граждане!	590	618
Торгующим в храме	591	618
Слово о Сербии	592	619
Бельгийцам	595	621
Бельгия. Монолог	597	622
О Бельгии. К анкете для «Книги короля Альберта»	598	622
Франция — прости!	599	622
Крестоносцы	601	623

Homo	604	624
Восхождение	607	624
Освобождение	609	624

Зинаида Гиппиус

Так надо — так будет	635	684
В наши времена	636	684
Искажения	637	684
Апогей	640	684
Странности газетно-театрального мира. (Письмо в редакцию)	640	686
Наше будущее	641	687
Война, литература, театр	642	687
Скажите прямо!	647	688
Грядущее	650	689
Равноценности	653	691
Н. Ястребов. Зори грядущего; Антон Крайний. Зори ли? Грядущего ли?	654	691
Земля и камень	658	692
Раненая муза	659	692
Без «аминя». («Воспоминания кстати»)	661	692
Детский взор. («Воспоминания кстати»)	666	696
Литературное «сегодня»	671	697
Предмет десятой необходимости	674	697
Толстой и Осборн	677	697
«Петроград»	680	698

Summary

The book compiles and provides scientific commentary on articles of Russian writers of the beginning of XXth century, written during World War I, — Andrey Bely, Valery Briusov, Leonid Andreev, Zinaida Hippius, Fedor Sologub. The second part of the edition comprises materials devoted to the theme 'World War I in literary and art sources'.

CONTENTS

Foreword (Preface) (*V.V. Polonsky, Moscow*). 6

I. JOURNALISM OF RUSSIAN WRITERS
IN WORLD WAR I EPOCH

FEDOR SOLOGUB

M.M. Pavlova. World War I in Fedor Sologub's journalism 15

Articles and essays 1914–1918. *Published, with introduction and commentary by M.M. Pavlova* 30

ANDREY BELY

E.V. Gluhova, D.O. Torshilov. Andrey Bely in World War I. 165

Essays of 1916 for *Birzhevyje Vedomosti* newspaper. *Published, with introduction and commentary by D.O. Torshilov, E.V. Gluhova* *174*

VALERY BRIUSOV

A.I. Ivanov. First year of war in Valery Bryusov's correspondence. 243

G.V. Murzo. 'In a sight of war…' V.Briusov's correspondence in Yaroslavl' newspaper *Golos* 249

E.S. Danielian. Cues of war in V.Briusov's prose of war period 256

M.V. Orlova. V. Ya. Bryusov's article "In a city under fire" under war censorship 261

Correspondence in *Russkije Vedomosti* newspaper, 1914. *Published, with introduction and commentary by A.I. Ivanov* 264

Correspondence in *Golos* newspaper, 1914–1915. *Published, with introduction and commentary by G.V. Murzo*. 407

Correspondence in *Russkije Vedomosti* newspaper, 1915. *Published, with introduction and commentary by E.S. Danielian; M.V. Orlova* 457

LEONID ANDREEV

Ben Hellman, M.V. Koz'menko. Leonid Andreev. In this redoubtable hour 581

In this redoubtable hour. *Published, with introduction and commentary by B. Hellman. M.V. Koz'menko* 586

ZINAIDA GIPPIUS

M.V. Koz'menko. Zinaida Gippius: «...War can't raise soul any more...» 631

Articles of war period, 1914–1917. *Published, with introduction and commentary by M.V. Koz'menko* 635

II. WORLD WAR I
IN LITERATURE AND ART

V.V. Polonsky (*Moscow*). «A cosiness on Lobnoye Mesto»: World War I in poetiko-ideological reflections of literature of the Russian modernism 701

V.A. Keldysh (*Moscow*). «After all, something terrible has unfolded. This is a first page of the Bible» (World War I in I.A. Bunin's works) 713

D.Ju. Kozlov (*Moscow*). World War I in Russian navy memoirs 733

B. Hellman (*Helsinki, Finland*). Conscription of children: war theme in children and teen magazines of World War I period 745

O.A. Simonova (*Moscow*). War prose for women (analysis of mass fiction in 1914–1916 magazines) 758

D.M. Magomedova (*Moscow*). Quotation layer in World War I mass poetry (to the problem of texts with precedents) 764

I.F. Gerasimova (*Ryazan*). Charity movement as a theme Russian poetry of World War I period 771

A.I. Ivanov (*Tambov).* World War I in Russian writers' correspondence 778

E. Tolstaya (*Jerusalem, Israel*). «You will be eyes and ears of your people»: Russian writers visit to England in February 1916 784

O.A. Bogdanova (*Moscow*). A.N. Tolstoy's war coverage from England: publications and self-reminiscences 802

G.N. Vorontsova (*Moscow*). A subject of World War I in A.N. Tolstoy's creativity 808

V.E. Molodyakov (*Tokyo, Japan).* Germany in Valery Briusov's war poetic works, 1914–1917: poetry and propaganda 815

Yu.B. Orlitsky (*Moscow*). Belated «Flowers under fire»: book of military stories of Mikhail Gerasimov (1915) 821

V.N. Terekhina (*Moscow).* Majakovsky and Malevich's military popular print 827

M. Weisskopf (*Jerusalem, Israel*). War as disclosure of method: 1917 in Viktor Shklovsky's *Sentimental Journey* 835

D.D. Lotareva (*Moscow*). Unknown autobiography of V.O. Nilender — 2nd rank militiamen, private of 193rd depot infantry regiment 841

Vladimir Ottonovich Nilender. Autobiography. *Published and with commentary by D.D. Lotareva* 843

E.Ju. Konstantinova (*Knorre*) (*Moscow*). World War I in M.M. Prishvin diaries of 1914–1915 851

D. Savino (*Naples, Italy*). Most indigenous Russian region: image of Galitsia in Russian nationalist media, 1914–1915 857

L.F. Katsis (*Moscow*). Vladimir Zhabotinsky and D. Yanov in *Den'* newspaper, 1912–1913 (To Balkan wars' centenary as a prologue of World War I) 863

The index of Russian writers' published articles 870

Summary (in English) 875

Contents (in English) 876

Научное издание

Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН

ПОЛИТИКА И ПОЭТИКА: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Публикации, исследования и материалы

Оригинал-макет изготовлен А.З. Бернштейн
Редактор М.Л. Береснева

Подписано в печать 22.10.2014
Формат 70×100 $^{1}/_{8}$
Усл.-печ. л. 55,0. Уч.-изд. л. 71,0
Тираж 1000 экз.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
тел. (495) 691-23-01, 690-05-61

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ №

ISBN 978-5-9208-0454-9

9 785920 804549